(Роман "Мясной Бор" посвящен одной из малоизвестных страниц Великой Отечественной войны — попытке советских войск, в том числе 2-й ударной армии, прорвать блокаду Ленинграда в начале 1942 года. Среди действующих лиц романа — И. Сталин, К. Ворошилов, К. Мерецков, другие военачальники.)

Гагарин С.С.

Мясной Бор.

Книга первая. Наступление

-1-

-Я доложу о вашем прибытии, товарищ генерал, — проговорил темноволосый крепыш с капитанской шпалой в петлице. — Заседают порядком... Дело к концу, верно, идет.

Он направился было к двери, из-за нее слышался неясный шум. Сквозь него прорезался знакомый голос армейского комиссара Мехлиса. Представитель Ставки говорил громко, Лев Захарович не признавал полутонов, как не признавал и полумер.

— Не стоит, — сказал Воронов и остановил порученца Мерецкова за локоть. — Сам и доложусь...

Капитан Борода знал, что этот генерал прибыл из Москвы, а в документах его значилось: начальник артиллерии Красной Армии. Он помедлил, потом вспомнил, какая давеча шла ругань по поводу артиллерии 59-й армии, подумал об отчаянных запросах, ими командующий бомбил Москву, Мерецков и самому Сталину звонил... Вот Сталин, видать, и прислал главного артиллериста.

— Давайте без доклада, — улыбнулся порученец.

Дверь была обита черной клеенкой. В нескольких местах клеенку разодрали пули: еще недавно в Малой Вишере шли жестокие бои. "Вот и здесь дрались, в этой комнате", — подумал Воронов, передернул плечами и вошел.

Первым он увидел Мерецкова. Генерал армии сидел во главе стола, за которым разместились командиры частей, и держал в руке стакан чаю в тяжелом подстаканнике. Он удивленно смотрел на появившегося в дверях начальника артиллерии Красной Армии, и Воронов понял, что Ставка не предупредила командующего фронтом о его приезде.

Кирилл Афанасьевич принялся вставать, чтобы приветствовать гостя, но тут из-за стола выскочил Мехлис и, не здороваясь, закричал:

— Ага, вот он, главный виновник, мать его так! Прислал, понимаете, артиллерию, которая ни к... не годится. Как прикажете стрелять без оптических прицелов, товарищ Воронов? Форменное вредительство! Ни одного телефонного аппарата в батареях... Это же настоящий бардак!

Командующий фронтом поднял руку, призывая Мехлиса успокоиться, а сам виновато взглянул на Воронова: сам понимаешь, хоть я и хозяин здесь, а Лев Захарович представитель самого. Николай Николаевич своеобразную, мягко говоря, натуру Мехлиса знал хорошо. Не обратив ни малейшего внимания на его выпад, он прошел к Мерецкову и пожал ему руку. Тут командующий счел возможным поддержать Мехлиса и сказал:

— Действительно, Николай Николаевич, нехорошо получается... Пятьдесят девятую бросаем в наступление, а в некоторых батареях передков нет. О приборах и телефонах ты уже слышал.

— Вот-вот! — опять закричал Мехлис. — Сам явился... Посмотрим, как он оправдываться будет!

Воронов перевел взгляд на него и молча, в упор посмотрел Льву Захаровичу в глаза, зная, что это единственный способ заставить его успокоиться, прийти в себя. Когда Мехлис, не выдержав, отвел взгляд, Николай Николаевич в который раз подумал о том, как Лев Захарович внешне похож на Сталина. Только манеры обращения с людьми у них разные: Сталин очень редко повышал голос.

— Давайте не все сразу, — сказал Воронов. — Готов подвергнуться экзекуции, но дайте же мне последнее слово...

Люди, теперь стоявшие вокруг стола, заулыбались. Мехлис буркнул неразборчиво, демонстративно отставил стул, сел. Мерецков пригласил прибывшего гостя сесть рядом.

— Приехал к вам по приказу Ставки, — начал Воронов. — Очень там обеспокоены тревожными сигналами. Прислали меня разобраться. Для начала введите в курс событий. Что у вас тут делается и как... Вашей операции придают в Ставке большое значение. Так мне и поручено передать Военному совету фронта.

Никто этого Воронову не поручал. Его подняли с постели ночью. Звонил Василевский. Он сказал, что Мерецков с Мехлисом оборвали телефон Ставки, жалуясь товарищу Сталину о неладах с артиллерией. Пусть Воронов разберется... Это приказ Сталина. "Мехлису я верю, — передал Василевский слова Верховного. — Если он так беспокоит меня, значит, дело серьезное..."

Николай Николаевич сразу же, ночью, поднял необходимых людей и к утру выяснил, что 59-я армия прибыла на Волховский фронт из резерва Ставки. "Дела... — подумал Воронов. — Целую армию переводят из тыла на фронт, а начальник артиллерии узнает об этом последним". Ставка торопила со сроками

наступления на Волхове, и армию генерал-лейтенанта Галанина спешно отправили на передовую, лишь частично укомплектовав ее вооружением. "Остальное получите на фронте", — сказали командарму. Вот и получилось так, что эшелоны с людьми двинулись на запад, а техника и оружие продолжали идти по старым адресам, на восток, откуда уже снялись полки и дивизии Пятьдесят девятой. Надо было срочно искать грузы на промежуточных станциях, изменять маршруты многочисленных составов, разворачивать их в обратную сторону. На все это требовалось время... А времени было в обрез. Армия прибыла на волховские позиции без артиллерийского обеспечения. И тут же была введена в бой.

— Со Второй ударной, — рассказывал теперь Кирилл Афанасьевич, — такая же история... Артиллерия у нее укомплектована приборами, но с боеприпасами очень туго. Ведь к Новому году получили всего четверть боекомплекта. Мало продовольствия и фуража. Но эти грузы постепенно прибывают. А вот прицелы и телефоны...

— Уже доставлены, — перебил его Воронов. — К сведению присутствующих здесь командиров артчастей! Средства связи и артприборы можете получить на станции Будогощь. Они уже там.

Все недоверчиво зашумели.

— Липа, — сказал Мехлис. — Я вчера там был. Ничего нет...

Он повернулся к начальнику тыла. Тот закивал, потом посмотрел на Воронова и развел руками.

— А вы сами поезжайте, — сказал начальник артиллерии. — Как-никак, я здесь у вас представитель Ставки. Мне слова на ветер бросать негоже.

Он знал, о чем говорит. Еще в Москве, выяснив обстановку и поняв, что ему надо взять на себя функции "скорой помощи", ведь никто не знал, когда прибудут необходимые грузы для 59-й армии, Воронов приказал немедленно загрузить несколько вагонов телефонными аппаратами, полевым кабелем, другими средствами связи, не забыл и про артиллерийские приборы наблюдения и стрельбы. С этим и отправился на Волховский фронт.

— Отправляйтесь на станцию, — приказал Мерецков артиллеристам и снабженцам. — Совещание закрываю.

Командиры поднялись и стали выходить из комнаты. Первыми покинули ее артиллеристы. Остались члены Военного совета, среди них и начальник штаба фронта Стельмах. Мехлис держался поодаль. Воронова армейский комиссар не то чтобы не любил, по отношению к людям у Льва Захаровича не было этого

чувства. Он считал любовь вообще вредным, расслабляющим фактором. Но этого человека ценил товарищ Сталин и доверял ему. И для Мехлиса такое было высшим мерилом. Потому-то он как бы побаивался Воронова, а теперь даже несколько жалел, что набросился на него с руганью. Хотя они оба представители Ставки, но сейчас он постоянный представитель здесь, на Волховском фронте, а Воронов прибыл со специальным заданием, и по особой иерархии, которую установил для себя Лев Захарович, хоть и на полранга, а вроде выше его.

— А у меня для товарища Мехлиса письмо, — сказал, доброжелательно улыбаясь, Николай Николаевич, будто и не было недавнего на него наскока. — От Верховного Главнокомандующего. Лично.

Мехлис подбежал к Воронову, быстро взял пакет и стремительно исчез в боковой двери. Мерецков и Воронов переглянулись. Кирилл Афанасьевич смотрел встревоженно, но Воронов ничего не знал о содержании письма и пожал плечами.

— Перекусим с дороги? — радушно предложил комфронта.

— Это можно, — согласился гость.

Кирилл Афанасьевич повернулся к члену Военного совета Запорожцу, приглашая комиссара присоединиться к ним, Стельмах уже вышел прочь, чтобы распорядиться, а в комнате возник Лев Захарович. Вид у него был растерянный, недоумевающий: в конверте на его имя он обнаружил второе письмо, которое предназначалось Мерецкову.

— Главное письмо, оказывается, вам, товарищ командующий фронтом, — проговорил Мехлис, называя Мерецкова на "вы", хотя, бывало, он называл его и просто по имени-отчеству или генералом, да и "тыкать" людям Льву Захаровичу было в обыкновение.

— Мне? — удивился Мерецков. Он тоже не понял этого новшества Ставки — пересылать письмо одному для передачи другому. — Ну что ж, давайте.

Кирилл Афанасьевич, раскрошив сургуч печати прямо на пол, вскрыл пакет, не сумев скрыть предательской дрожи рук. Он и не пытался скрывать... Что они, стоящие вокруг, сами не понимают? В конверте мог содержаться любой неожиданный приказ. Отдать Мерецкова под трибунал — раз. Хотя вроде и не за что. Пока... Передать фронт другому. Тому же Воронову. Благо он уже здесь. Это два. Вызов в Ставку — три. Перемещение на другую должность — четыре... Да мало ли что мог вмещать пакет, где лежало письмо человека, одно, имя которого заставляло трепетать миллионы людей?!

Мерецков вынул вчетверо сложенный листок и быстро пробежал глазами. Его доброе, совсем не генеральское лицо, осунувшееся в последние дни и затвердевшее, когда Мехлис передал ему пакет, несколько обмякло, его осветила грустная улыбка. Генерал прочитал письмо еще раз, уже медленнее, спокойнее, и вздохнул. Он поднял листок над головой, помахал им в воздухе и сказал:

— А письмо-то всех касается, друзья. Хоть адресовано оно мне лично, но прочту я его всем.

И командующий фронтом прочитал:

— "Уважаемый Кирилл Афанасьевич!

Дело, которое поручено Вам, является историческим делом. Освобождение Ленинграда, сами понимаете, — великое дело. Я бы хотел, чтоб предстоящее наступление Волховского фронта не разменялось на мелкие стычки, а вылилось бы в единый мощный удар по врагу. Я не сомневаюсь, что Вы постараетесь превратить это наступление именно в единый общий удар по врагу, опрокидывающий все расчеты немецких захватчиков.

Жму руку и желаю Вам успехов. И. Сталин".

-2-

Степан Чекин часто вспоминал старика, который поднес ему тогда кружку браги. Зимой прошлого года, когда был еще учеником девятого класса, он прочитал "Поднятую целину" Шолохова. И вот этот дед, которого они встретили, когда, теснимые танками Гепнера, отходили от Пскова, был удивительно похож на забавного Щукаря, таким и представлял его себе Степан Чекин, недавний московский школьник.

— Братки... Уходите, братки? — печально спрашивал дед и дергал за козырек поношенную кепку, она все больше налезала на его голубые, теперь уже поблекшие глаза. — Уходите?..

— Не дашь ли напиться, дедушка? — попросил его Степан.

Он остановился у калитки, а бойцы, к ним Степан примкнул, когда после перевязки ушел из медсанбата, стали двигаться дальше.

— Догоняй! — крикнули ему.

Степан улыбнулся и махнул им вслед.

— Чем же напоить тебя, касатик? — ласково спросил дед. — Молочка али испьешь?

— Мне б воды холодной...

— Ладно. — Дед смешно подмигнул Степану. — Холодной — это можно. Только у меня кое-что повкуснее будет... Да ты зайди во двор, малец! А я сей минут в погреб нырну.

Степан посмотрел на дорогу. По ней удалялись его попутчики.

— Побыстрее, дедушка, — сказал он и вошел во двор. — Боюсь, своих не догоню...

Они, эти красноармейцы, были из другой части, но теперь каждый русский человек в военной форме был для Степана своим. "Ничего, — подумал он, — не отстану..."

Дед исчез в избе. Степан снял с плеча винтовку с примкнутым штыком, прислонил к приворотному столбу. Глухо ныла раненая рука. "Дед Щукарь" появился с большой кружкой.

— Пей, сынок, сразу полегчает, — сказал он, покосившись на перевязанную руку юноши.

Жидкость была холодной, желто-белесого цвета. Степан принял кружку и с удовольствием ощутил в ладони ее прохладную округлость.

— Что это, дедушка? — спросил он.

— А бражка это, малец. На меду варена.

Никогда Степан не пил хмельного, даже пива не пробовал. А про брагу-медовуху только в сказках читал. Дескать, по усам текло, а в рот не попало... Но жажда была нестерпимой, и Степан стал пить холодную терпкую жидкость. Она была приятна на вкус, отдавала мятой и еще какими-то травами, в них Степан не разбирался, кисло-сладкая, немного шибала в нос, будто газировка, и холодила так, что поламывало зубы.

Браги Степан выпил с пол-литра. "Еще, сынок?" — спросил дед, но парень, поблагодарив, схватил винтовку и выбежал за ворота. Солдат, к которым он прибился, на дороге не было видно. "Ничего, — подумал Чекин, — догоню... Недолго ведь я прохлаждался". Он поддернул винтовку плечом и двинулся пыльной дорогой. Еще несколько минут назад по ней двигались разрозненные группы красноармейцев, тащили пожитки на спинах и везли их на ручных тележках беженцы. Теперь здесь никого не было, и неуютное чувство одиночества охватило Степана.

Через сотню-другую шагов он почувствовал вдруг, как кружится голова. Идти становилось тяжелее, и винтовка с плеча стала сползать чаще. "Присяду минуток на пять, — решил Степан, дивясь в душе необычному состоянию, которое его охватило. — Немножко отдохну..." Степан сошел на обочину и

хотел тут же и сесть. Но сразу сообразил, что на открытом месте рассиживаться неудобно, потому и взял шагов на тридцать в сторону от дороги, где рос густой кустарник. Забрался в кусты, оберегая раненую руку и цепляясь винтовкой за ветки, сел на траву. Голову неудержимо клонило вниз, он успел расслабленно удивиться тому, что с ним происходит, и провалился в небытие.

...Разбудило его тарахтенье. Так и не понял, мотоцикл ли проехал, а может быть, из пулемета бьют. Открыл Степан глаза и не мог поначалу сообразить, куда он попал.

Тихо было кругом. Степан приподнялся, раздвинул ветки, глянул на дорогу. Никого на дороге. Послышалось некое жужжание, и Степан задрал голову. Нет, и наверху никого...

"Ага! Это вон та букашка меня напугала..." Смешно стало Степану. Голова не кружилась, но легкий звон ощущался. "Пора идти, — подумал красноармеец, — догонять своих надо..."

С винтовкой на плече он вышел на дорогу. Солнце склонилось к западу и светило ему в спину. Долго ли дремал он в кустах, Степан сообразить не мог. На душе у него было покойно, он решил, что недавние попутчики его стали на привал, поди, и поесть уже приготовили. Вдруг Степан ощутил зверский голод, и чувство это заставило его заторопиться.

Вдали показалась березовая роща. Она стояла справа от дороги. "Там меня и ждут", — решил Степан. Ему стало весело, и парень едва сдержался, чтобы не засвистать. Вспомнил, как наказал его за это недавно командир отделения младший сержант Зима. "Где он сейчас, товарищ Зима?" — легко подумал Чекин. Ему стало грустно: отбился от родного взвода, когда теперь разыщет его?.. Степан вздохнул, прошагал еще немного и вдруг резко остановился. На дороге лежали трупы красноармейцев.

...В девятом классе их было четырнадцать мальчишек. Все родились в двадцать третьем году. Кому-то исполнилось к началу войны восемнадцать, а кому-то и нет. Впрочем, всех их выгнали из военкомата, куда они, не сговариваясь, явились. "Придет и ваш черед, — сказали им. — Ждите..." Отправились в райком комсомола. "Будем вас иметь в виду..."

Чекину восемнадцати еще не исполнилось, он боялся, что из-за этого в армию его не возьмут. Но откуда только взялась напористость, ею раньше не отличался, добился своего. Второго июля он был уже зачислен в 39-й запасной полк. Едва успели их обмундировать, выдали винтовки, патроны в подсумках, сухой паек каждому в "сидор", посадили в теплушки и повезли неизвестно

куда. Выгрузились ночью. Пока суетились у вагонов, стало светать. Двумя колоннами двинулись в начинавшийся день четырнадцатого июля. Степан от любопытства по сторонам глядел, потому и споткнулся. Глянул под ноги — труп! Человек лежал лицом вниз. Ноги широко раскинуты, одна рука протянута вперед, будто достать кого хотел...

Ошеломленный, Степан съежился, шагал торопливо, часто перебирая ногами, боясь снова наткнуться на страшное препятствие. Когда заняли траншеи, младший сержант Зима объявил: часть их прибыла на фронт в качестве пополнения, теперь находятся они под Псковом. Утром ожидается атака немцев, всем быть наготове. По его команде выбираться разом на бруствер, брать противника врукопашную. А пока примкнуть штыки. Степан примкнул штык к винтовке, получилось у него ловко, и парень немного повеселел.

Рассветало... Вдруг над головой что-то пролетело со свистом и неподалеку раздался взрыв. "Всем укрыться! — распорядился Зима. — Минометный обстрел!"

Скорчившись, сидел Степан на дне окопа. Пахло непривычно кислым порохом и толом. И страшновато было, и весело. Наконец-то он попал на войну... Не понарошку, а на самом деле. Может быть, и стрелять сегодня придется.

Окопы были вырыты в полный профиль, при небольшом росте голова Степана приходилась под бруствер. Он подставил под ноги патронный ящик, хотел встать на него и взглянуть, но вспомнил о каске, стал ее примерять. Каска была большая, налезала на глаза. Чекин снял ее и положил на бруствер. Вдруг звякнуло, и каска покачнулась. Степан взял ее и увидел дырку. Тут младший сержант Зима закричал: "Немцы пошли в атаку!" Степану стало не по себе, но любопытство разбирало, страшно хотелось посмотреть на идущих в атаку немцев. Он и выглянул.

Немцы шли во весь рост, в несколько цепей. С непокрытыми головами, волосы зачесаны назад, солдат у них не стригли наголо, раскрытые рты, пилотки под погоном, рукава засучены, автоматы постреливают... "Как в кино", — подумал Чекин, не испытывая ни страха, ни желания спрятаться куда-нибудь и даже не вспомнив, что ему надо стрелять в этих людей, уже сейчас надо стрелять... Он сообразил это, когда с флангов роты ударили "дегтяри". Пулеметы уверенно и твердо дудукали, немцы продвинулись еще немного и залегли.

— В атаку! Вперед! — закричал командир взвода.

Бойцы стали выбираться из траншеи, а Степан легко выпрыгнул на бруствер, он со школы с гимнастикой в ладах, побежал с винтовкою наперевес. Все

кричали, и Степан кричал. Мощное и безудержное "А-а-а!" неслось над полем боя. Только это и различал Степан: "А-а-а!.."

Бежал он недолго. Вдруг левую руку обожгло, он выпустил винтовку, и она ткнулась штыком в землю. Чекин сел на землю и только тогда ощутил боль в руке, почувствовал, как сыро стало в рукаве гимнастерки. Оглянулся кругом. Все лежали, а Степан сидел среди поля, готовый заплакать от страха и боли.

— Ложись, твою мать! — различил Степан голос младшего сержанта Зимы. — Убьют, так и эдак! Ложись!

Степан улыбнулся сквозь слезы, от голоса Зимы стало ему спокойнее, страх исчез. Солнце уже поднялось довольно высоко и ласково пригревало левую щеку. Справа короткими, но частыми очередями бил пулемет. Наверно, стреляли и немцы. "Меня уже ранили сегодня, — думал Степан, — значит, не убьют... Ничего со мной больше не случится".

В этот момент чья-то сильная рука ухватила его за расстегнутый ворот гимнастерки и повалила на спину. Опрокидываясь навзничь, Степан услыхал свист пуль — по ним стреляли. Командир отделения Зима стащил Степана на дно окопа. Он виновато улыбался, когда младший сержант перевязывал ему руку, заартачился было, получив приказ идти в медсанбат. Но Зима, сдвинув брови, грозно крикнул: "Марш!", и Чекин побрел по траншее, так и не отомкнув штык винтовки.

В медсанбате Чекину стало жутко, страшней, нежели в бою. Серые, землистые лица измотанных медиков напомнили мертвецов из гоголевского "Вия". Эти живые покойники были забрызганы чужой кровью. Они резали раненых и сшивали, пилили им кости, закрывая обрубки лохмотьями истерзанной плоти. И здесь пахло порохом, но и кровью тоже.

Пока Степан ждал очереди, он совсем обалдел от увиденного. Едва не стошнило, когда санитар пронес мимо него солдатскую ногу в ботинке. Верхняя часть обмотки, пропитанная кровью, размоталась и волочилась по земле, пачкая траву красным.

Чекин едва дождался перевязки. Получив справку о ранении, он ушел из медсанбата и стал разыскивать однополчан. Ему сказали, что подразделения отошли из тех траншей, где были утром. Не выдержали соседи на левом фланге, и линию обороны пришлось выровнять. Теперь, яростно сопротивляясь, полки отходят на Лугу. Потом он встретил этих бойцов. "Пойдем с нами, парень", — сказал ему черноусый красноармеец, улыбчивый и добрый. Он заново перевязал Степану руку и взял опеку над ним. Он и сейчас

улыбался, лежа полусогнувшись у дороги. Голова его, повернутая влево, покоилась на тощем вещмешке. На груди Степан рассмотрел два небольших темных пятна. Сюда угодили пули.

Они все были здесь, на дороге. Те красноармейцы, с которыми шел Степан. Уже потом, став бывалым фронтовиком, Чекин сообразил, что встретила их засада. Стреляли из рощи... Никто не ушел. А сейчас он очумело вглядывался в лица убитых, узнавал и не узнавал этих людей, так они отличались, мертвые, от тех, кого знал еще сегодня. Страха не было. Степан был изумлен. Его сознание не могло вместить неожиданной и такой бессмысленной смерти. Он принялся зачем-то считать трупы. Их оказалось девять. "Девять", — повторил Чекин. И вдруг подумал: "А ведь я был бы десятым..."

И вслед за этой простой мыслью пришел дикий и яростный страх. Степан тоненько взвизгнул и бросился бежать. Он мчался в ту самую рощу, откуда пришла смерть для его товарищей. Ему казалось, что роща укроет его, спасет. Хотелось забиться в чащу, в кусты, под землю, превратиться в маленькую козявку, чтоб заползти в еле видную щель и спрятаться там от окружавшего мира, такого враждебного всему живому... Степан продолжал бежать и среди деревьев, забыв про боль в руке. Вот и рощица кончилась, впереди поляна, за нею синеет еловый лес. Тут он и услышал окрик: "Стой!", но по инерции продолжал бежать. Остановил его второй окрик и выстрел.

Чекин облапил старую березу и сполз на колени. Он и лег бы на землю, сил не было вовсе, да помешала винтовка. Она-то потом и выручила Степана.

Остановил его заградотряд. Документы у Чекина были в порядке, имелась и справка, что ранен в бою, а главное — винтовка на плече. Оружие не бросил — не дезертир. А что от полка отстал — таких, как он, тысячи...

Подержали Чекина немного в лесу, пока не сколотили из таких же одиночек и групп команду. Потом придали их новой части, с ней и отходил Степан до самого Ленинграда.

-3-

— Не думайте, что у вас тяжелее, чем у других! — почти выкрикнул Гитлер. — Я всегда стоял за жесткую оборону, если временные обстоятельства не позволяют наступать... Любой ценой сковать и обескровить противника! Если отступаешь, то тем самым даешь противнику возможность действовать, тогда он привлекает освобождающиеся силы. А при этом собственный маневр в угрожаемом направлении запаздывает. Это ведь так понятно!

Гитлер с искренним удивлением посмотрел на собравшихся в его кабинете генералов. "Странные люди, — с горечью подумал он. — Посвятить жизнь науке воевать, сделать войну профессией и быть не в состоянии постичь простые истины. Впрочем, ничего нет в этом удивительного. Обычная косность профессионалов, не умеющих разом, отбросить устоявшиеся каноны..."

— Обстановка сложная, — продолжал он. — Конечно же, русские агонизируют. Но вам известно, что даже заяц неистово защищается в минуту смертельной опасности. Сегодня мне трижды звонил фон Клюге. Генерал-фельдмаршал в отчаянье. Четвертая армия не в состоянии сдержать натиск русских. Они наносят удар с юга сразу на двух участках в направлении автострады. Дорога перерезана! Прорыв у Сухиничей расширяется. Фон Клюге просит разрешения сдать Медынь.

Гитлер замолчал. С минуту он сидел, уставясь ничего не выражающим взглядом в пространство. Гитлер мысленно перенесся туда, где противник ожесточенно рвался к автомобильной дороге Рославль — Юхнов — Москва, тесня 4-ю армию. Он будто увидел сейчас с высоты птичьего полета бескрайнюю белую равнину, ее разрезала надвое узкая полоса автострады. По снежному полю, испещренному воронками, ползли танки. Они казались темными букашками, а пехоту, которая жалась к ним под защиту брони и пулеметов, и вовсе не могли различить близорукие глаза Гитлера. Потом он увидел брешь, пробитую русскими к северу от Медыни. Она доставила ему столько беспокойства. А бравый вояка фон Клюге даже стал заикаться после прорыва русских.

Шел двести шестой день войны. Начальник генерального штаба сухопутных войск вермахта Франц Гальдер в этот день, 13 января 1942 года, записал в военном дневнике: "Наиболее тяжелый день!" Но сам Гитлер не верил в возможности русских. Он искренне считал декабрьский переход в наступление под Москвой последней их вспышкой перед закатом. И все-таки фюрер едва ли не физически ощутил, как болезненны атаки противника на позиции 5-го армейского корпуса, где русские в нескольких местах вклинились в его оборону. Он находил весьма неприятным и тот факт, что их крупные соединения прорывались на стыке между 6-м и 23-м армейскими корпусами и наступают на железную дорогу Ржев — Сычевка. А в самой Сычевке развернулись бои в районе станции. Если станция отойдет к русским, будет потеряна единственная магистраль для снабжения 9-й армии и 3-й танковой группы.

Нет, только не это! Последствия могут быть самыми непредвиденными. А ведь ему должно предвидеть все... Не думалось, что Сталин способен еще сопротивляться. Да, затянулась кампания на Востоке...

Гитлер почувствовал вдруг прилив бешеной ярости. Ему хотелось ударить кулаком по столу и что есть силы заорать, выставить вон этих напыщенных снобов. Он едва сдержался и тяжело задышал. Это все они... Подвели его рассуждениями о колоссе на глиняных ногах. А теперь плачутся, сетуют на морозы, бездорожье, фанатизм русских солдат. И просят разрешения на отход. А тут еще этот фон Лееб, старая кляча. Видите ли, ему тяжелее, чем другим... "Это мне, мне тяжелее, чем всем вам, вместе взятым!" — Гитлер дернул плечом, глянул исподлобья на командующего группой армий "Север" фон Леeба, прибывшего утром в ставку для доклада, склонил голову к левому плечу и вопросительно уставился на генерала Гальдера.

— Что там у них?

Начальник генерального штаба понял, что речь идет о положении в группе армий "Север", ответил:

— Боевые действия временно прекращены. Температура воздуха — минус 42 градуса по Цельсию.

— Славные дивизии вермахта капитулируют перед "генералом" морозом, — усмехнулся Гитлер. — А русские что, разве они не мерзнут?

— И русские мерзнут, мой фюрер, — сказал Гальдер. — Правда, пассивность с их стороны мы объясняем и подготовкой к наступлению на волховском участке. Еще в декабре служба радиоперехвата установила существование нового крупного штаба, который активно вышел в эфир. Теперь мы знаем точно, что русскими создан новый, Волховский фронт. Видимо, он возьмет на себя руководство общим наступлением противника. Сейчас в составе этого фронта четыре армии. Командует ими Мерецков.

— Тот самый? — быстро спросил Гитлер.

И он вспомнил, как трудно было ему расстаться с мыслью, что теперь, когда Тихвин у него в руках, перерезан последний рельсовый путь к Ладоге. Еще немного — и вермахт соединится с Маннергеймом. Тогда — смерть и забвение ненавистному Петербургу, источнику большевистской заразы. Тихвин у него отобрал Мерецков.

Генерал Гальдер сделал неопределенный жест рукой, потом кивнул. Гитлер невразумительно буркнул. Наступило тягостное молчание. Никто не решался нарушить его.

Фон Лееб сидел, неестественно выпрямив спину, и делал вид, что происходящее здесь, в малом кабинете фюрера, предназначенном для разговоров в узком кругу, его не касается. Он твердо решил уйти в отставку и сейчас держался из последних сил, накапливая энергию, которая могла бы противостоять магнетизму Гитлера. Фон Лееб знал о существовании особого дара фюрера убеждать, подавлять волю других и готовился к поединку.

Генерал Гальдер бесстрастно перекладывал лежащие перед ним бумаги. Он замкнулся, ушел в себя с девятнадцатого декабря прошлого года, когда фельдмаршал фон Браухич сложил полномочия главнокомандующего сухопутными войсками. Теперь его пост занимал Гитлер.

"Что ж, так угодно Богу и фюреру, — написано было на лице Гальдера. — Я — солдат. Мой долг — повиноваться тому, кто имеет право отдавать приказы. А то, что я думаю при этом, знать никому не следует. Германии нужны мои специальные знания. И я отдаю их общему делу без остатка. Вот и все..."

Остальные тоже молчали. И генерал-квартирмейстер Вагнер, которого Гитлер вызвал, чтобы выяснить, как тот будет снабжать 4-ю армию в условиях сильного натиска противника, и подполковник граф Эйленбург, только что вернувшийся из этой армии, куда его посылали поднять в войсках чувство доверия к высшему командованию и веру солдат в собственные силы, и генерал Бранд, ему поручили недавно составить расчет на использование химических средств против Ленинграда. Не смели проронить ни слова и те офицеры генерального штаба, которые присутствовали как технические специалисты.

Когда наступившая тишина сделалась невыносимой и стала звенеть в ушах собравшихся у фюрера людей, Гитлер вдруг резко встал. Выпрямляясь, он сильно толкнул свой стул, и тот упал. Толстый ковер заглушил шум от падения стула. Фюрер повернулся и с недоумением посмотрел назад, за спину. Потом он осторожно обошел упавший стул, опасливо косясь на него, будто на хищное животное, и направился к карте. Теперь Гитлер знал, что лица его никто не видит, и позволил себе сощуриться, чтоб, не прибегая к лупе, рассмотреть топографические знаки. Не поворачиваясь, фюрер спросил:

— Фон Лееб! Вы готовы говорить со мной? Узнав о вашем желании встретиться, я незамедлительно распорядился вызвать вас сюда.

— Мой фюрер! — сказал фельдмаршал тихим, но твердым голосом. — Солдаты группы армий "Север" готовы выполнить долг. Летом и осенью они наступали как одержимые. Сейчас обстановка коренным образом изменилась. Не

отказываясь от главной цели — Петербурга, мы вынуждены были из оперативных соображений перейти к обороне. Расчет был на изоляцию города, в котором осталось большое количество гражданского населения. Немедленный штурм Петербурга унес бы тысячи лучших солдат рейха, которые так нужны вам, мой фюрер, и великой Германии. Мы надеялись, что методический обстрел, нарушение коммуникаций, голод, наконец, заставят фанатиков выбросить белый флаг или, по крайней мере, позволят нам овладеть городом малой кровью. Но... русские не сдаются, мой фюрер! Более того, положение наших войск, которым противостоят три русских фронта, довольно сложное. Противник постоянно беспокоит передовые линии германских частей. Остановились танки. Нет зимнего обмундирования. Участились случаи срыва графика подвоза боеприпасов. Много хлопот доставляет нам и четвертый фронт, мой фюрер, — русская зима.

— Что?! — закричал вдруг Гитлер.

Теперь у него был повод сорваться и выплеснуть на беднягу фон Лееба все, что так долго копил он в себе, сдерживая порыв бешеного раздражения.

Генерал Гальдер тоскливо подумал о том, что ему следовало предупредить фельдмаршала. Хотя кто бы мог предвидеть, что фон Лееб сошлется на проклятую русскую зиму, да еще прямо так и произнесет, не маскируясь обтекаемыми формулировками, ненавистные фюреру слова?

"Да, — подумал Гальдер, — это, пожалуй, последний визит фельдмаршала в ставку..."

— Что? — закричал Гитлер. — Что вы сказали, фон Лееб? От вас, именно от вас, офицера старой германской школы, я слышу эти слова... Мне больно и горько! Вы...

Голос у Гитлера сорвался, он заложил руки за спину и, наклонив голову вперед, стал расхаживать по кабинету. Поворачиваясь к фон Леебу, он поднимал голову и исподлобья глядел на фельдмаршала. Прядь волос падала на глаза, и фюрер резко откидывал голову, отворачивался от неестественно прямо застывшего командующего группой армий "Север".

Когда 19 декабря фюрер объявил, что берет на себя командование сухопутными войсками вместо фон Браухича, который официально уходил в отставку по болезни, первым его действием было категорическое требование изъять выражение "русская зима" из лексикона военных, поскольку фюрер считал его психологически опасным. И Гальдеру пришлось заняться несвойственной начальнику генштаба функцией — вылавливать из донесений с

восточного фронта сакраментальное выражение, попавшее в опалу. А теперь о приказе фюрера знали, пожалуй, все, вплоть до последнего солдата. И потянуло же за язык этого фон Лееба... Нашел на что сослаться. Гальдер попытался встретиться взглядом с фельдмаршалом, но тот напряженно следил за разъяренно шагавшим в молчании Гитлером.

— Не думайте, фельдмаршал, что вам тяжелее, чем другим, — проговорил вдруг фюрер. — Трудно всем... Не мне объяснять вам, старому солдату, что такое война. Да, нашим доблестным армиям приходится нелегко! Но кто ждал там, в бескрайней России, легкой победы? Теперь осталось недолго... Последнее усилие — и враг будет повержен! Вы уже настаивали на немедленном отходе. Я ответил вам, что не могу с этим согласиться. Необходимо удерживать фронт на Валдайской возвышенности и на волховском рубеже, необходимо!

— Но, мой фюрер, русские готовятся перейти в наступление от Ладоги до нашего стыка с группой армий "Центр", — сказал фон Лееб. — Я приложу все усилия, но боюсь, что успеха не будет. Части группы армий измотаны в предшествующих боях, перебросить в срочном порядке подкрепления невозможно.

— Почему? — быстро спросил Гитлер и вопросительно глянул на принявшего невозмутимый и вместе с тем снисходительно-заинтересованный вид Гальдера.

— Слишком медленный темп движения, — ответил Гальдер. — Мы перебрасываем туда двести восемнадцатую пехотную дивизию. Но прибудет на Волховский фронт она к концу января.

— Наведите порядок на железных дорогах! Вагнера и Бенца наделить диктаторскими полномочиями! — приказал Гитлер. — В нашем положении дороги — это все. Это залог успеха! А вы...

"Бог мой! — мысленно воскликнул Гитлер. — Как я одинок! Нет около меня человека, на которого мог бы положиться. Напыщенные снобы! Лучшие военные умы нации. В них нет ничего, кроме комплекса условностей и обветшалых традиций. И этот Гальдер... Пыжится, будто павлин на птичьем дворе. Эдакий рыцарь без страха и упрека... Будто я не знаю, господин генерал-полковник, как вы еще в тридцать девятом году договорились уйти с Браухичем вместе, если я вышвырну одного из вас вон. И мне известно, что вас упросил остаться бывший Главком. Он надеется, будто сумеете влиять на меня. Попробуйте, Гальдер. Влияйте..."

Мысль о том, что кто-нибудь попытается влиять на него, хотя фюреру уже представили запись доверительного разговора между генерал-фельдмаршалом фон Браухичем и Францем Гальдером, эта мысль привела Гитлера в хорошее расположение духа.

— Вы, фельдмаршал, устали больше других, — сказал фюрер с улыбкой, обращаясь к фон Леебу, — теперь и я вижу это. И просите освободить вас от должности, не так ли?

Фон Лееб вздрогнул. Фюрер смотрел ему прямо в глаза.

— Ах, да, вы еще не успели мне сообщить об этом... Только я уже догадался о вашем желании. Странно... Всю зиму я сам снимал генералов с их постов. За трусость и безволие! Я снял с должностей около двухсот генералов, а командира сорок второго корпуса Шпонека приговорил к смерти и только потом заменил ее заключением в крепость. Теперь мои полководцы дружно принялись болеть. Их разбивает паралич, как Рейхенау. А иные попросту подают в отставку. Какая у вас болезнь, фельдмаршал?

Фон Лееб открыл было рот, но Гитлер махнул рукой:

— Можете не отвечать. Я приму вашу отставку.

Он подошел к столу, устало опустился на стул, положил локти и подпер руками голову. В кабинет неслышно проскользнул штабной офицер. Он приблизился к генералу Гальдеру и зашептал на ухо. Гальдер выслушал и кивнул. Офицер вышел. Начальник генштаба негромко кашлянул. Гитлер продолжал сжимать голову руками. Он смотрел на большую карту восточного фронта остекленевшими глазами.

— Мой фюрер, — решился наконец генерал-полковник, — сейчас звонил командующий группой армий "Центр". Противник подтянул в район Медыни свежие силы. Бои исключительно обострились...

Гитлер молчал. Он продолжал пристально смотреть на карту. Потом, не поворачиваясь, устало произнес:

— Передайте фон Клюге: я разрешаю сдать Медынь.

-4-

Во сне ей было стыдно. За месяцы, проведенные на фронте, старшина медицинской службы Марьяна Караваева даже на мгновение не допускала мысли о близости с мужчинами. Хотя мужиков было хоть пруд пруди и на нее, красивую молодую женщину, заглядывались многие. Ее чрезмерная, даже в мыслях, сдержанность не была связана с необходимостью хранить верность

мужу. Он погиб еще 22 июня, защищая пограничную заставу на Буге. Да и ей, Марьяне, не жить бы, не увези она ша лето к матери двух маленьких сыновей.

Скорее, тут было другое: Марьяна всерьез относилась к войне, к поведению людей на фронте. Считала: раз войну называют "священной", значит, и люди на ней должны быть святыми. Вот взять хотя бы ее. Мать двоих детей, а пошла воевать, оставила несмышленышей в Малой Вишере — и ушла. Не брали — добилась через райком ВКП(б). И после такой жертвы она будет этим на фронте заниматься... Нет, даже думать о таком кощунственно!

Подобная позиция женщины чутко ощущается мужчинами, и в основном Марьяну оставляли в покое. Бывало, кто из раненых по неосведомленности и пытался ухаживать за красивой сестричкой, но, получив отпор, тут же отставал.

Блюла себя Марьяна с достоинством, и тут на тебе... В холодную январскую ночь, незадолго до наступления, которое готовился начать Волховский фронт, приснилось ей такое, что у нее во сне уши пылали от стыда. Пылать-то пылали, а самой нравилось привидевшееся. И любила она пылко и беззаветно, и будто до конца растворялась в совершенно незнакомом ей мужчине. Добро бы с мужем... Нет, с тем у нее так не бывало...

В последние дни суматохи было вдоволь — медсанбат тоже готовился к наступлению. Они выдвинулись со станции Парахнино вместе с дивизией, которая еще в декабре вошла в состав 2-й ударной армии, переименованной так из 26-й армии, находившейся до того в резерве Ставки Верховного Главнокомандования. Медсанбат развернулся поближе к переднему краю, чтобы вслед за атакующими цепями двинуться вперед и начать принимать раненых. А в том, что их будет много, никто не сомневался.

...Марьяна проснулась с чувством особой бодрости, которое приносит глубокий сон, если им заканчивают длительную и хлопотливую, [19] требующую сильного напряжения духовных и физических сил работу.

"Выспалась на славу", — подумала молодая женщина. Вспомнив подробности сна, Марьяна густо покраснела и поспешно отвернулась, чтоб не выдать смятения разбитной подруге, хирургической сестре Тамаре, которая испытующе посмотрела на нее.

— Что снилось, Марьяночка? — нараспев проговорила Тамара, и Марьяна с трудом отогнала мысль, будто та все знает. Слава богу, в чужие сны никто еще проникать не умеет.

— Так, — стараясь говорить равнодушным тоном, ответила Марьяна, — ерунда всякая. Давно не спишь?

— В одно время с тобой проснулась, подружка. А мне вареники привиделись. С вишнями и сметаной. Мама мне их все сыплет да сыплет в миску, а я наворачиваю. Прелесть! Вот бы сейчас их соорудить... А, Марьяна?

— Глупая, — снисходительно проговорила Марьяна. — Ведь на дворе январь!

— И то, — согласилась девушка, — зима стоит. А на танцы сегодня пойдем?

— Какие еще танцы?

— А у артиллеристов. Ребята приглашали.

— Нашли время. Завтра люди в наступление пойдут, тысячи полягут, а вы... танцы. Прямо святотатство какое-то!

— Одно другому не мешает, — не согласилась Тамара, но, увидев, что подруга сердится, быстро проговорила: — Ну хорошо, ну ладно. Никуда не пойдем. Только ты мне тогда про первого маршала расскажи, как ты его видела. Расскажешь?

— Так я тебе уже дважды про то говорила!

— Марьяна, и в третий раз послушать такое приятно. Это ж надо, какая ты счастливая! Самого Ворошилова видела. Мне б такое — умерла б от счастья!

...В Чудове это случилось, осенью прошлого года. А до того была Малая Вишера, где оставила она, Марьяна Караваева, сыновей-мальчишек: Филиппа, которому не исполнилось еще и трех лет, и полуторагодовалого Сашку. Оставила на попечение своей приемной матери, Станиславы Адамовны, старой большевички. Уже в четыре часа дня 22 июня эта необычная женщина, испытавшая подполье и каторгу, написала военкому Малой Вишеры: "Родина в опасности! И потому благословляю дочь на ее защиту. А на двоих внуков сил у меня еще хватит. Верю — Родина нас не оставит без помощи..."

Военный комиссар наотрез отказался призвать в армию военнообязанную, обремененную двумя малыми детьми. Неделю обивала Марьяна пороги райкома, где принимали ее в партию нынешней весной. Наконец, партийная тройка приняла решение направить ее с отрядом рабочей гвардии в штаб партизанского движения Ленинграда. Их было двести человек, в отряде имени Коминтерна. Маловишерские рабочие всех возрастов, освобожденные от призыва в Красную Армию по разным недугам. Сегодня о недугах забыли... Пусть им нельзя служить в регулярных частях! Они станут драться с партизанами вместе. Двести рабочих. И среди них одна женщина — медсестра Караваева.

Вскоре их отряд прибыл на станцию Чудово. Здесь скопились эшелоны с горючим, снарядами, бомбами. Германские самолеты с крестами на крыльях уже зажгли станционный поселок. Стоял нескончаемый грохот. Люди, признаться, растерялись, но все держались вместе.

— Вспоминать страшно, — сказала Марьяна, — а тогда... Впереди уже гремели сильные взрывы, полыхал огонь. Видно, начали рваться цистерны. Вдруг откуда ни возьмись выскочил военный и нашему командиру пистолет под нос. "Расстреляю, — кричит, — сукина сына! Бери свою команду, расцепляй вагоны и откатывай. А то сейчас все взлетит к чертовой матери!"

— Ух ты! — восхищенно проговорила Тамара.

— Подожди, — отмахнулась та и продолжала рассказывать, уже сама увлекаясь, заново переживая прошлое. — Приказ ясен. Бросились к вагонам, по два-три человека на каждый. Одни расцепляют, другие откатывают подальше от взрывов. Смотрим: на дрезине кто-то подъехал, начальник какой-то, и к нам идет не спеша с адъютантом. Наш временный командир стоит к нему спиной, не видит его, значит, а нас всех для бодрости духа поливает по матушке, чтоб побыстрее шевелились. Климент Ефремович, а это был он, Ворошилов, подошел, послушал, головой качнул и говорит: "Как нехорошо!" Тот повернулся и хотел соответственно послать, да тут и застыл, рот разинув, узнал... В это время и ахнула рядом бомба. Нас и сыпануло, как горох, в канаву.

— И маршала? — недоверчиво спросила Тамара, хотя слушала эту историю в третий раз.

— И его, — ответила Марьяна. — А против взрывной волны что сделаешь? Лучше уж катиться, да подальше...

— А потом что было?

— Поднялись мы, отряхнулись. Климент Ефремович на паровозе уехал. А тут вскоре и налет прекратился. Вагоны мы раскатили, спасли многое. Пошли дальше к Ленинграду. "Все, голубчики, — сказали нам вскоре, — дальше дороги нету..." Вернулись те, кто живой остался, в Малую Вишеру. Снова я в военкомат. Там, видно, решили: ведь все равно уже баба воюет. И направили меня в инженерный батальон. С ним я и уходила с боями. А в декабре в батальоне появился представитель, отбиравший добровольцев в новую дивизию. Я изъявила желание сразу же. Отобрали несколько человек, и меня тоже. Отправили нас на станцию Парахнино, к месту формирования 46-й стрелковой дивизии. Там мы с тобой и встретились.

Вошел хирург, военврач 3 ранга Казиев.

— Чего не спите, девчонки? — спросил он. — Завтра будет не до сна. Добирайте сегодня. А то как бы вам не свалиться. Он добрыми глазами посмотрел на Марьяну и вышел.

— Хороший мужик, — сказала Тамара. — Слыхала я — большой был доктор у себя на Кавказе. Правда? [21]

— Правда, — согласилась Марьяна.

Она жалостливо подумала: "О нас побеспокоился, а самому каково придется? Вдруг прихватит..." Под величайшим секретом одна из женщин-врачей сообщила Марьяне: тяжелым недугом страдает их хирург. И вдруг безо всякой связи с предыдущей мыслью, себя за это осуждая, со странным, никогда за собой не замечаемым интересом подумала: приснится ли ей когда-нибудь еще сегодняшний сон?

"Сегодня начнет Мерецков, — подумал Сталин. — У этого упрямца должно получиться... Резвости б ему добавить. Упустил немцев из Тихвина, не успел зажать их в кольцо".

-5-

Он стоял у плотно зашторенного окна кабинета в Кремле, в котором теперь бывал все чаще. Почти всю осень, с небольшим перерывом, и половину зимы Сталин провел в подземелье станции метро "Кировская", где было оборудовано стационарное помещение для Ставки Верховного Главнокомандования. Там он работал и спал, туда вызывал командующих фронтами. Сейчас, когда линия фронта отодвинулась от Москвы, решил перейти в кремлевский кабинет. Товарищи, которые отвечали за его безопасность, пытались возражать, напоминая о злополучной бомбе: она угодила в здание Центрального Комитета партии на Старой площади. Но Сталина убедить не удалось, и вождь все чаще бывал у себя в Кремле, в привычной обстановке, которую не любил менять.

Верхний свет в кабинете был погашен. Горела лишь небольшая лампа на приземистом столе, где лежали подробные фронтовые карты с нанесенной на сегодняшний день обстановкой. Сталин внимательно и сосредоточенно рассматривал их, когда оставался в одиночестве.

Сталин продолжал думать о Мерецкове и завтрашнем наступлении, которое начнет Волховский фронт. Ему вдруг вспомнился взволнованный голос Жданова, который по телефону днем докладывал о тяжелейшем положении Ленинграда.

"Потерпите, — сказал Жданову Сталин. — Мы здесь понимаем, как трудно ленинградцам. Но теперь осталось недолго... Вы меня понимаете, товарищ Жданов?" "Понимаю, товарищ Сталин", — ответил Жданов, и слышно было, как он вздохнул.

Сталин вспомнил об этом и поморщился. Тогда, днем, он отнес эмоциональную несдержанность секретаря ЦК за счет естественного беспокойства о судьбе города. Теперь, когда минуло время, Сталину показалось, что в ждановском вздохе был некий осуждающий оттенок. Дескать, мы-то, конечно, потерпим, а вот как случилось, что вообще докатились до такого положения?..

"Вздыхает, — раздраженно подумал Сталин. — Слишком стали чувствительны все. А на чувствах далеко не уедешь. И тем более не выиграешь войну".

Сталин не захотел даже самому себе признаться в том, что понял, кому адресован упрек в виде вздоха. Разреши он себе понять это — несдобровать тогда Андрею Александровичу. Но Сталин верил в преданность Жданова, насколько он вообще мог кому-либо, включая самого себя, верить. А таких, как Жданов, у Сталина осталось немного. Теперь он берег их скорее инстинктивно, подсознательно, боясь остаться в полном одиночестве...

Обладая рядом сильных качеств, именно сильных, положительными качествами в общечеловеческом смысле Сталин не обладал, он был незаурядным человеком, поставившим перед собой задачу навсегда и бесповоротно освободиться от любых эмоциональных слабостей. При его железной воле, способности заставлять людей безропотно подчиняться, огромной работоспособности, феноменальной памяти и поистине одиссеевой хитроумности жестокую натуру Сталина отличал трагический недостаток: Сталин не умел и зачастую не хотел учиться на собственных ошибках. Разумеется, он был способен любой ценой исправить запутанное положение, умел найти выход из тупиковых ситуаций, которые нередко возникали из-за его же собственных просчетов, но всегда поворачивал дело так, чтобы виноватыми оказывались другие.

Ореол непогрешимости, который окружал личность вождя с начала тридцатых годов, не позволял широким массам советских людей ни на йоту усомниться в том, что во всех перекосах, возникающих в процессе строительства социализма, виноваты не Сталин и его окружение, а классовые враги, завербованные буржуазными секретными службами. Ошибочный, как показало грядущее, тезис Сталина о неизбежном обострении классовой борьбы по мере дальнейшего продвижения государства к социализму стал определяющим

политическим фактором, списывающим многочисленные нарушения законности и правопорядка в стране. Эти нарушения объективно ослабляли государственную мощь, порождали тенденцию недоверия к людям, а недоверие, когда отсутствие веры необоснованно, вещь опасная.

Воскресный день июня прошлого года Сталин не любил вспоминать. И при всем при том он, до последней минуты не веривший многочисленным сообщениям разведчиков о надвигавшейся войне, не считал себя виновным в происшедшем. "Нужна ли была советскому народу, делу строительства социализма война с Гитлером? — спрашивал он себя. И отвечал: — Нет, не нужна. Все ли сделал я, чтобы предотвратить ее? Разумеется, все. Ну а в том, что мы оказались недостаточно подготовленными к войне и немцы застали нас врасплох, виноваты военные. Некоторые из них, вроде Павлова, растерялись, потеряли управление войсками, допустили панику, пропустили немцев к Москве. Пришлось взять руководство войной в собственные руки. И что же? Остановили мы все-таки немцев. А потом и погнали их обратно... Фактор внезапности. Да, он позволил противнику застать нас врасплох, — усмехнулся Сталин. — Но теперь этот фактор сработал против них".

Вождь был прав. Для германской армии контрнаступление Красной Армии под Москвой было неожиданным. И это, безусловно, помогло нашим войскам одержать значительную и материальную, и психологическую победу.

А тогда, в сорок первом году? Что это было? Преступная близорукость на государственном уровне? Неоправданная самонадеянность? Стремление выдать желаемое за действительное? Странная страусовая политика!

Предвоенные недели полны парадоксальных фактов. Пятого мая 1941 года Сталин выступает перед выпускниками военных академий и произносит трезвые и, самое главное, своевременные слова о том, что не может сказать, грянет война завтра или послезавтра, но что столкновение с Германией неизбежно — это точно. Сталин призывает командиров быстрее вернуться в части и готовиться к войне. А четырнадцатого июня появляется известное сообщение ТАСС, которое дезориентировало военачальников и притупило бдительность войск.

...Сталин протянул руку и медленно отвел в сторону край тяжелой портьеры. За окном была глубокая ночь. Да, и ему пора уже спать. Но сон не приходил — сегодня вождя, несмотря на тревожный звонок Жданова из Ленинграда, не оставляло приподнятое настроение.

Сталин смотрел в ночь.

"Теперь я воюю сам, — подумал он. — Мирный человек, никогда не стремившийся к военной карьере, вынужден взять в руки меч..."

Пожалуй, сейчас Сталин был искренен с самим собой. Да, он не был военным человеком. Во времена гражданской войны часто выезжал на фронт по заданию Центрального Комитета партии большевиков, но его роль при этом была скорее политической. Правда, надо отдать ему должное, Сталин, став Генеральным секретарем, лично вникал в вопросы создания новых видов оружия, порой снисходя до мелочной опеки.

"Москва в безопасности, — думал он, — и это для нас главное. Двадцатая армия генерала Власова перешла в наступление в районе Волоколамска и прорвала немецкую оборону на реке Лама. Наш прорыв у Ржева неуклонно расширяется... Противник в мешке у Сухиничей! Еще немного — и группа армий "Центр" перестанет существовать. На юге в целях освобождения Харькова, Полтавы и Днепропетровска маршал Тимошенко готовит ряд охватывающих ударов с юго-востока против Семнадцатой армии, в районе Изюма, а со стороны Белгорода он ударит по Шестой армии..."

Сталин не догадывался, а если б ему и сообщили, то не поверил бы, что немцы уже оправились от той растерянности, в которую их повергло наступление русских в начале декабря сорок первого года. Да, сила удара и размах зимнего контрнаступления Красной Армии были таковы, что центральная часть германского фронта была поставлена на грань катастрофы. Выдохшиеся на подступах к Москве, измотанные усиливающимся сопротивлением советских солдат, армии группы "Центр" оказались не подготовленными к неожиданному повороту военных событий.

Перед солдатами фельдмаршала фон Бока, а затем фон Клюге, который сменил заболевшего командующего, зловеще замаячила судьба великой армии Наполеона. Высшее командование вермахта высказывалось за немедленный отвод войск и сокращение линии фронта.

В отчаянном положении Гитлер предпринял решительные меры. Он отверг любые помыслы об отступлении, выдвинул два категорических требования: "Ни шагу назад!" и "Удерживать фронт любой ценой!" Для подавления паники, ликвидации пораженческих настроений в войсках по его приказу были сформированы более ста штрафных рот из провинившихся солдат. Из офицеров, поддавшихся панике и отступавших под натиском Красной Армии, немцы создали десять штрафных батальонов. Все штрафники были отправлены на опасные участки фронта, чтобы кровью искупить вину перед рейхом. Позади

неустойчивых подразделений были поставлены заградительные отряды. Они получили суровый приказ: беспощадно расстреливать тех, кто попытается самовольно оставить позиции или захочет сдаться в плен русским.

Спустя несколько месяцев, в трудное лето сорок второго года, Сталин творчески использует опыт врага, о чем недвусмысленно заявит в знаменитом приказе № 227 от 28 июля.

Но главный просчет Сталина заключался в том, что вождь недооценил силу сопротивления войск противника и переоценил собственные возможности. Его план уничтожения всех трех армейских группировок врага единым и общим ударом был смел и решителен, если бы опирался на реальные возможности, которыми располагало в начале сорок второго года Советское государство. Однако последнего-то как раз и недоставало. Эвакуированные на восток заводы только развертывали производство. Значительные нехватки ощущались по всем видам вооружения, в то время как резервы третьего рейха далеко не истощились. Гитлер, организовав стойкое сопротивление собственных войск, одновременно готовился к летнему наступлению, выдвигал на восточный фронт новые силы. О них разобьются и попытки Жукова прорваться к Смоленску, и намерение Тимошенко освободить Харьков. Окажется неудачной и Крымская операция. Севастополь придется сдать.

Все это произойдет позднее. А тогда, в начале 1942 года, Верховного Главнокомандующего, находившегося под сильным эмоциональным влиянием от разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, не покидала надежда на успешное наступление на всех направлениях. Отвергнув план стратегической обороны, предложенный начальником Генерального штаба Красной Армии Шапошниковым, Сталин выдвинул идею общего наступления всеми фронтами, от Ладоги до Черного моря.

"Завтра начнет Мерецков", — снова подумал Сталин, вглядываясь в ночь, будто пытаясь пронизать взглядом пространство и увидеть скованный льдом Волхов и позиции, на которых находятся красноармейцы, готовые к неудержимому броску через эту небольшую, но такую значительную в истории Русского государства реку. Сталин пытался вернуться в своих раздумьях к личности генерала Мерецкова, к которому относился своеобразно, только нечто, засевшее в подсознании и двинувшееся оттуда, мешало ему. Вождь напряг память, пытаясь вспомнить о неприятном, сделал усилие и вспомнил.

Четыре дня назад ему пришлось подписать уязвлявшее его самолюбие письмо к Черчиллю. Сталин помнил эти строки наизусть: "Мне кажется, что Англия могла

бы без риска для себя высадить 25 — 30 дивизий в Архангельске или перевести их через Иран в южные районы СССР для военного сотрудничества с советскими войсками на территории СССР по примеру того, как это имело место в прошлую войну во Франции. Это была бы большая помощь..."

Как он мог опуститься до того, чтобы, смирив гордость, звать английскую армию в Россию?! И ведь знал, был уверен, что Черчилль не даст ему ни одного солдата, а просил... Именно это уязвляло Сталина. И даже себе не захотел бы он признаться, что просьба, обращенная к Черчиллю, проистекала от чувства смятения, которое охватило его, когда пали Смоленск, Киев, немцы захватили Шлиссельбург, перерезав коммуникации Ленинграда.

Ему было стыдно от мысли, что Сталин, известный миру железной волей и несокрушимой уравновешенностью, вдруг на мгновение проявил такую понятную в тех условиях человеческую слабость. Нет, понятную и человеческую — это для других. В обиходе Сталина нет таких категорий. Он сделал над собой усилие и усмехнулся.

"Победителей не судят, — подумал Сталин, привычно возвращая себя в состояние уверенности и волевой собранности. Он уже считал, что это был всего лишь дипломатический маневр, а вовсе не такая несвойственная ему, Сталину, растерянная просьба о немедленной помощи. — Скоро, господа союзники, мы станем получать ваши поздравления..."

Мысли его вернулись к Волховскому фронту, к генералу Мерецкову. Сталин как бы спохватился. Он резко задернул штору и повернулся к столу.

Помедлил, размышляя. Потом пересек кабинет мягкой, вкрадчивой походкой, опытный и старый, но сохранивший силу тигр. Позвонил помощнику.

Когда в дверях возник Поскребышев, он увидел вождя в обычной позе с трубкой в руке.

— Вызовите Мехлиса, — распорядился Сталин.

-6-

Трудно сказать, почему комбат Федор Скублов взял Степана к себе связным. То ли пожалел красноармейца, из-за невысокого роста да худобы Чекин казался и вовсе малолетком, то ли посчитал, что на переднем крае от него небольшой толк, так пусть останется при нем, чтоб не брать из траншеи полноценного красноармейца... Словом, попал Степан Чекин комбату под крыло и не раз благословлял судьбу. Федор Федорович научил его почти всему, что знал сам, разве что самолетом управлять не учил за неимением такового. Был Скублов

раньше летчиком, да за какой-то грех, о нем комбат не распространялся, попал в пехоту.

Осенью батальон отошел с остальными частями к Ораниенбауму. Хватил Чекин лиха и там, а потом воевал на Пулковских высотах, у Восьмой ГЭС, не пускал немцев в Ленинград. К зиме батальон обосновался на Невской Дубровке, на правом берегу реки. А на левом — немцы... Так и стояли друг против друга. Время от времени приезжали из штаба решительные такие командиры, спрашивали комбата: "Хочешь героем стать? Готовь атаку на тот берег". Если б Скублову так вот и предложили выбирать — другое дело. А у них еще и приказ на захват плацдарма лежал в планшетке. А куда ты против приказа? По команде мчались через невский лед, стремясь пересечь открытое пространство. Немцы стреляли по бегущим вполне прицельно, но поначалу били из орудий позади, чтобы вскрыть лед и отрезать русским отступление.

Однажды, возвращаясь после одной из таких атак, а если быть честным, то попросту удирая со всех ног к своему берегу, Чекин вилял-вилял мимо дырок во льду и промахнулся: врезался в полынью. А мороз был страшенный. Ему успели подать руку. Неизношенное сердце выдержало ледяной удар. В траншее разрезали на Степане заледеневшую одежду, а ноги оказались сухими, потому как бегал он к немецкому берегу в ботинках и обмотках. Тогда и понял Чекин, что эта обувка получше будет для бойца, нежели сапоги.

В часы затишья комбат Скублов учил Степана разбираться в оружии. И в отечественном, и в трофейном. Особо рьяно взялся за связного после того, как тот чуть не поднял их с комиссаром на воздух. А началось все с офицерского ремня. Ремень ему, Степану, подарил комбат. И в тот же день выдали связному автомат ППД и четыре осколочные гранаты, страшных в умелых руках, приемистых для броска из укрытия. Приладил Степан ремень по щуплой талии и видит: слева и справа тренчики висят, колечки такие. И на гранатах колечки. Смекнул — вот сюда их и цепляют. Припомнил кинофильмы про гражданскую войну. Там, в кино, к поясу за кольца вешали лимонки анархисты и революционные матросы. Подвесил гранаты и Чекин, по две на каждую сторону, автомат на грудь и отправился показаться комбату.

Вошел в землянку, улыбаясь и ожидая одобрительного восклицания. Но комбат, как увидел его, так и замер. Чекин двинулся было вперед, пытаясь что-то объяснить, но Скублов придушенно проговорил: "Не подходи... Стой на месте!" Степан остановился. Комиссар осторожно приблизился к нему, медленно расстегнул пояс с гранатами, бережно отнес их в угол, опустил и едва

выпрямился, как Федор Федорович, успев прийти в себя, с левой руки, он был левшой, залепил связному оплеуху вполсилы. И то Степан едва устоял на ногах.

Тогда и стал Федор Федорович учить связного разбираться в оружии. Ну и повоевать ему давал. Ходил с ним на позиции. Они брали винтовку с оптическим прицелом, постреливали по немцам, в сорок первом фашисты были наглые и беспечные. Когда пятерых на Степановый счет записали, присвоили ему звание сержанта. А после нового года простился комбат со связным.

— Ты теперь уже не птенец, Степан, — сказал Федор Федорович. — Прямо скажем — молодой ястребок. Вот и поезжай учиться в военное училище на командира. Глядишь, и меня обгонишь, закончу войну под твоим началом...

...Впереди закричали:

— Не растягиваться! Подходим к берегу...

"Неужели мы все озеро пересекли? — подумал Степан. — Всю Ладогу по льду... Рассказать бы ребятам в классе. Нет, не поверят".

Сержант Чекин не знал, что пересекли они только одну из бухт Ладожского озера. Степан многого еще не знал. Он радовался концу ледового пути и мечтал о коротком отдыхе, на другой рассчитывать не приходилось. Потом их роту посадят в эшелон, и начнется длинный и интересный путь до Барнаула, о котором ребята только и знали, что это город в Алтайском крае. Пройдут месяцы учебы, их петлицы украсят малиновые кубари, может быть, дадут отпуск, и Степан приедет в Москву, повидать маму и покрасоваться во дворе в новенькой лейтенантской форме.

Степан Чекин мечтал и даже не предполагал, что курсантскую роту, составленную из лучших красноармейцев и сержантов Ленинградского фронта, в самый последний момент решили не посылать в Барнаул ввиду готовящегося наступления. Сочли целесообразным развернуть курсы младших лейтенантов в непосредственной близости от боевых действий, чтобы сразу заменять уже обстрелянными ребятами выбывших из строя взводных командиров.

Рота, с которой Степан прошел пешком от Осиновца до Кобоны, вошла в состав курсов, подчиненных Волховскому фронту. А Барнаульское училище помаячило-помаячило в сознании парней и затем исчезло навсегда. Усталые, промерзшие, наголодавшиеся на той стороне Ладоги, сейчас они торопливо поглощали горячее варево, которым их кормили после перехода, и не подозревали, что скоро пойдут снова к тому городу, который недавно защищали. Пойдут другой дорогой. Она будет трудной, невыносимо трудной.

Но пройдут они ее до конца. Почти для всех дорога эта будет последней в жизни.

-7-

Александр Георгиевич Шашков, ныне начальник Особого отдела 2-й ударной армии, перед войной возглавлял управление НКВД по, Черновицкой области. Хозяйство у него было беспокойное. Территория области еще недавно входила в состав королевской Румынии. Ее пестрое население, от вольнолюбивых, не признающих никакой власти цыган до русских эмигрантов, могло надежно растворять в своей среде законспирированную агентуру потенциального врага. И хотя в тридцать девятом году с гитлеровской Германией был заключен пакт о ненападении, а любые критические выпады в адрес нацистского государства строго пресекались, чекисты понимали, откуда надо ждать удара, кто является вероятным противником Советской страны, и, не жалея сил и времени, работали по выявлению вражеской агентуры.

В субботний вечер двадцать первого июня Александр Георгиевич пришел со службы ночью, около двенадцати. Жена Лариса еще не ложилась, прогуливалась рядом с коттеджем, в котором жили, с сеттером, премилой собакой по кличке Альма.

Озабочен был начальник НКВД. Третий день докладывали сотрудники, что в городе появились слухи: скоро придут румынские войска. Население раскупает продукты в магазинах, резко поднялись цены на базаре. В одном из районов обстреляли машину с красноармейцами. Чувство беспокойства не оставляло Шашкова. А вот увидел жену, и будто осветило душу, заулыбался.

— Ужинать будешь, Саша? — спросила Лариса.

— Чай недавно с ребятами в управлении пили, не хочется ничего. Пойду наверх, на детишек взгляну.

Он едва успел подняться, чтоб посмотреть на спящих детей — сына и дочку, как внизу зазвонил телефон. Звонил его заместитель. Прерывающимся от волнения голосом он сообщил, что с той стороны только что пришел человек и передал неопровержимые доказательства того, что утром Германия двинет на Советскую землю свои войска. Шашков тотчас позвонил в Киев, но, кроме дежурного по комиссариату, никого разыскать не сумел: руководство наркомата внутренних дел отдыхало за городом.

А потом все события так завертелись, так перемешались, что до сих пор Шашков не может четко разделить их по дням и часам. Едва успел Ларису с

детьми посадить в машину и отправить в Киев. На прощание дал ей пистолет. "Ежели что — живыми не попадайтесь, — наказал жене. — Помните — вы семья чекиста. Церемониться с вами не будут". Шашков знал, что говорит. Он вообще знал о подготовке Германии к войне и о фашистах куда больше, чем рядовые советские люди, от которых после заключения с Гитлером пакта о ненападении скрывали все, что творилось в логове фашизма.

...Александр Георгиевич вздохнул и придвинул к себе папку с грифом "Совершенно секретно". Усмехнулся, прочитав гриф. Он понимал, что любые документы, проходящие через аппарат его отдела, должны быть секретными, вплоть до ведомости на зарплату штатным сотрудникам. А нештатным тем более. Но в этой папке хранились сведения о руководителях абвера в группе армий "Север". Да, у немцев эти сведения секретны. Но и после того, как они оказались у нас, вовсе не перестали быть таковыми. Теперь гриф "секретно" охраняет немецкие документы от самих немцев, которые не должны и подозревать, что нам их тайны стали известны...

Шашков вздохнул, раскрыл папку и принялся знакомиться с материалами. Документов было немного. Собственно говоря, у недавно сформированного Особого отдела фронта, которому он подчинялся, их вообще не было. Эти сведения передали им ленинградские особисты, они уже с осени прошлого года общались со службой адмирала Канариса. "Что ж, начнем с того, что добыли коллеги, — подумал Шашков, — а потом примемся работать сами".

Так, отметил чекист, в группе армий "Север" отделом 1Ц, войсковой разведкой, руководит подполковник Лизонг, а в 18-й армии — майор Вакербард. Что о них известно? Почти ничего, кроме того, что резиденция майора находится в деревне Лампово, это недалеко от станции Сиверский, где расположен штаб фон Кюхлера, командующего 18-й армией.

Начальник Особого отдела посмотрел на карту. Сиверский расположен в направлении главного удара Волховского фронта. Значит, деревня Лампово... Там расположились армейские разведчики гитлеровцев. Но главная опасность будет исходить не от них. Гораздо больших пакостей надо ждать от абверкоманд и абвергрупп, приданных войскам. В них квалифицированные специалисты, умеющие моментально использовать любую допущенную нами слабинку. Сначала посмотрим, решил Шашков, кто там во главе абверкоманд при группе армий "Север". Шиммель... Подполковник Ганс Шиммель. Возраст — за пятьдесят. Худой, вид болезненный. Шпионский стаж солидный — начал действовать на территории России еще в первую мировую войну. До нападения

на Советский Союз руководил разведшколой неподалеку от Кенигсберга. Сейчас возглавляет абверкоманду 104. Это разведка...

С Шиммелем более или менее ясно. А диверсионной работой в зоне группы армий "Север" руководит начальник абверкоманды 204 полковник фон Эшвингер. Фон Эшвингер... Хлопот нам доставит немало этот фон. Находится его контора в Пскове.

Теперь посмотрим, что у них по третьему отделу. Контрразведка. Абверкоманда 304, майор Клямрот, заместитель у него Мюллер. Мюллер... Хорошая фамилия для контрразведчика, незаметная. Известно, что подчиненная Клямроту абвергруппа 312 находится в Гатчине. Одним из ее сотрудников является обер-лейтенант Розе. Сведения добыты из протокола допроса разоблаченного агента, которого вербовал этот самый Розе. Впрочем, это ничего не значит. Обер-лейтенант во время вербовки мог выдумать себе псевдоним. Хотя в общем-то подобное не в практике официальных контрразведчиков, им нет нужды скрывать подлинное имя. Это сведения по абверу. А что им обещает гехаймфельдполицай — тайная полевая полиция, это фронтовое гестапо?

Но полностью познакомиться с непосредственными противниками начальнику отдела не дали. В дверь резко постучали, она отворилась, и в комнате появился генерал-лейтенант Соколов.

— Не помешал? — спросил он Александра Георгиевича. — Да ты сиди, сиди. Чего вскочил? Я уже больше не командарм, нечего передо мной тянуться.

— Старший по званию, — улыбнулся Шашков. — И должности.

— Не говори... Были когда-то и мы рысаками. Вот проститься с тобой пришел, Александр Георгиевич. Завтра улетаю. Отзывают в Москву. Вы, значит, в наступление, немцев-супостатов бить, а меня по одному месту мешалкой. Справедливо разве?

Начальник Особого отдела пожал плечами. Что он мог ответить бывшему командарму, с которым прослужил во 2-й ударной, тогда она еще была 26-й резервной армией, около двух месяцев? Посочувствовать разве...

— И чего он на меня взъелся? — спросил Соколов. — Чем я хуже других? В гражданскую воевал — ценили, контрреволюцию в мирное время классовых обострений ликвидировал — был на хорошем счету. А теперь?.. Направить в распоряжение Ставки! Нет, он просто-напросто не любит нашего брата, этот Мерецков, зуб у него на НКВД. Как твое мнение, Шашков?

— Видите ли, товарищ генерал-лейтенант...

— Да ты меня не величай! Давай по-простому, я ведь к тебе как чекист к чекисту пришел.

Генерал-лейтенант Соколов был раньше заместителем наркома внутренних дел, и Шашков знал его до войны. Человеком тот был энергичным, чекистское дело знал, идеи и предложения сыпались из него как из рога изобилия, но что касается военного дела, то здесь генерал остался на уровне командира эскадрона, которым он командовал в гражданскую войну. Соколов не понимал, не в состоянии был постичь современные методы ведения войны; оперативные задачи, стоящие перед армией, были для него тайной за семью печатями. Но твердо верил, что в решительную минуту возникнет перед войском на белом коне и поведет армию в атаку. Суворов и Чапаев — с них брал пример генерал Соколов и считал, что достаточно подражать этим полководцам, и дело пойдет.

Однажды Соколов отдал приказ по армии, превративший его автора в сомнительную знаменитость. Приказ гласил:

"1. Хождение, как ползанье мух осенью, отменяю и приказываю впредь в армии ходить так: военный шаг — аршин, им и ходить. Ускоренный — полтора, так и нажимать.

2. С едой неладен порядок. Среди боя обедают и марш прерывают на завтрак. На войне порядок такой: завтрак — затемно, перед рассветом, а обед — затемно, вечером. Днем удастся хлеба или сухарь с чаем пожевать — хорошо, а нет — и на этом спасибо, благо день не особенно длинен.

3. Запомнить всем — и начальникам, и рядовым, и старым, и молодым, что колоннами больше роты ходить нельзя, а вообще на войне для похода — ночь, вот тогда и маршируй.

4. Холода не бояться, бабами рязанскими не обряжаться, быть молодцами и морозу не поддаваться. Уши и руки растирай снегом!"

Однажды Шашков застал сотрудников, когда они переписывали этот приказ себе на память и коллегам из соседней армии на потеху. Что он мог теперь сказать человеку, который никак не хотел понять, что жизнь умчалась вперед, оставив его на захолустном полустанке?..

— Григорий Григорьевич, — начал Шашков, — дело впереди серьезное и ответственность у Мерецкова огромная. Идем выручать ленинградцев. А подготовились плохо. Это вы лучше меня знаете. Главное же — немцам известно о наших намерениях.

— А ты куда смотрел, особист? Допустил, значит, утечку?

— Нашей вины здесь нет, товарищ генерал. Они узнали о Волховском фронте уже спустя десять дней после решения Ставки. И сейчас спешно готовятся отразить наши атаки. Только наступать мы все равно будем!

— Без меня, — угрюмо проговорил Соколов. — А ты не виляй, Шашков. Прямо скажи: правильно меня сняли?

— Вам бы трудно пришлось, товарищ генерал. Все эти годы, после гражданской, вы были на другой работе.

— А Клыков? — спросил бывший командарм. — Он что, лучше?

— Генерал-лейтенант Клыков командовал Пятьдесят второй армией. Она уже несколько месяцев воюет на волховском направлении.

— Понял тебя, Шашков, — сказал Соколов. — Поддерживаешь, значит, Мерецкова. Ну-ну... А я все-таки считаю, что комфронта меня съел потому, как я из НКВД. И поставил успех выполнения приказа Ставки под угрозу. Где это видано, чтобы за два-три дня до наступательной операции меняли командарма? На тебя не обижаюсь, ты при своем деле, опять же остаешься в армии. Будешь с Клыковым служить. Но в Москве расскажу. Пусть прикинут, почему командующий фронтом нашего брата не любит.

— Но этот вопрос согласован с самим Верховным, — осторожно напомнил Шашков. Ему хотелось сдержать энергию Соколова, которую тот мог направить в нежелательную сторону.

— Ну и что? — запальчиво сказал генерал-лейтенант. — И на солнце бывают пятна...

Тут бывший командарм осекся и испуганно посмотрел на Шашкова, словно спрашивая начальника Особого отдела: что же такое я сейчас брякнул? Александр Георгиевич усмехнулся. Соколов растерянно посмотрел на него.

— Ты... это самое, — вдруг заговорил, запинаясь, бывший командарм. — Я вовсе другое хотел сказать... Ну, значит, доложили Верховному не так. Или там еще что... Понимаешь? — Генерал Соколов заторопился и стал суетливо совать Шашкову руку: — Значит, до свиданья, дорогой Александр Георгиевич. Авось и послужим еще вместе где-нибудь. Поговорили по душам — и ладно. И это самое... Не распространяйся, значит, про мои обиды. Все решено правильно. Отозвали меня, — значит, в другом месте нужен.

Пожав руку Шашкову, бывший командарм покинул кабинет. Александр Георгиевич смотрел ему вслед и думал, что конечно же Мерецков прав. Сам Шашков уже хлебнул сполна, повидал похожих на Соколова командиров, когда вместе с Украинской группой оказался в окружении. Четыре наши армии и

штаб фронта попали в котел у Киева! Сотни тысяч пленных... Даже думать об этом тошно.

Он снова раскрыл папку и вдруг вспомнил, что надо собрать подчиненных, поставить им задачи на ближайшее время. Поднялся и вышел в соседнюю комнату, где находился дежурный по Особому отделу:

— Соберите ко мне сотрудников. Срочно!

Разошлись далеко за полночь. Александр Георгиевич хотел поработать с документами, но сильно заломило спину, сказывалось перенапряжение. "Почитаю лежа", — решил он и расположился с бумагами на деревянном топчане, прикрытом тюфяком, набитым сеном. Читал материалы об абвере еще с полчаса. Потом почувствовал, как сознание обволакивается туманом. Очнулся, когда рука с листками безвольно свесилась вниз. Пересилив сон, Шашков поднялся, убрал папку в сейф, закрыл его и спрятал ключ в нагрудный карман гимнастерки.

Потом вытянулся на сеннике, вздохнул и стал размышлять о завтрашнем наступлении. Но скоро и эти мысли улетучились, а на краешке сознания замаячило лицо Ларисы. Александр Георгиевич подумал, что в Семипалатинске, где она осела с детьми, скоро наступит утро, и это было последнее, что воспринимал еще осознанно. Его доброе лицо, которое на людях он стремился сделать построже, осветилось: начальник Особого отдела армии во сне улыбался. Он играл сейчас с сыном в футбол.

-8-

Лейтенант Кружилин роту вел в атаку впервые. Правда, осенью прошлого года ему довелось три дня командовать батальоном, но тогда были иные условия, да и от батальона осталось меньше полсотни красноармейцев, а с ними раненный в ногу командир полка. Они его все же вынесли к своим. Вскоре ранило и Кружилина, ранило до обидного бестолково. Отводили их часть во второй эшелон на отдых и пополнение, и тут, в сотне километров от переднего края, угодили под бомбежку. Осколок хватанул Кружилина повыше бедра, приличные штаны из диагонали испортил, полушубок новенький разорвал, а главное — снес с тела добрый кусок мякоти. "Бифштексу состругал", — острил усатый санитар, перевязывая лейтенанта.

Этот "бифштекс" раной оказался нудной и заживающей плохо. Новый год Кружилин встретил в госпитале. А в первых числах января отправился из Вологды в Малую Вишеру, где расположился штаб Волховского фронта. Здесь

собрали с сотню выписавшихся из госпиталей командиров. Тут были и носившие на петлице сиротливый кубарь младшие лейтенанты, и мужики с солидной капитанской шпалой.

Кружилин был зачислен во 2-ю ударную армию и принял роту в бригаде полковника Жильцова. Стрелковая бригада готовилась к броску через Волхов на левом фланге армии. Перед ее частями был западный берег реки Волхов, а на нем — поселок Ямно. Вот по нему и следовало наносить удар. Сначала Ямно, а там видно будет.

...Поднялась ракета, рассыпалась зелеными искрами, погасла.

Военным Олег Кружилин был не то чтобы кадровым, но мог считать себя ветераном, поскольку попал уже на вторую в своей жизни войну. Когда в 1939 году началась финская заваруха, Кружилин учился на пятом курсе философского факультета в Ленинграде. Лыжник, чемпион города, Олег оставил университет и отправился штурмовать линию Маннергейма. Ему повезло. Олег не обморозился, не попал под пулю "кукушки", не сумели его снять и финские разведчики, когда Кружилин стоял на посту, а шюцкоровцы проникли в расположение батальона. Олег получил орден Красной Звезды, звание младшего лейтенанта и в университет уже не вернулся.

Финская война и все то, что с нею было сопряжено, заставили Кружилина произвести переоценку духовной базы, на которой он прежде основывался. Олег понял вдруг, как были далеки они, философы-студенты, от того, что именуется Жизнью, Бытием, понял тщетность постижения истины по книгам, предчувствуя, что в недалеком будущем грядут великие испытания для народа, которые необходимо пройти и ему тоже.

... Командиры взводов принялись поднимать людей в атаку, а с того берега, высокого, обрывистого, забили вдруг немецкие пулеметы. Люди поднимались неохотно. Замешкался второй взвод, и Кружилин подобрался поближе, помедлил мгновение, потом быстро сказал себе: "Три, четыре...", удивительно легко, будто тело уменьшилось в весе, выпрыгнул из траншеи.

— За мной! — закричал Кружилин и не оглянулся назад, не допуская и мысли о том, что рота не встанет, не пойдет за командиром.

До восточного берега Волхова шагов двести. Рота преодолела их без потерь, потому что немцы стрелять почему-то перестали. Видимо, ждали, когда русские выйдут на лед реки и превратятся в отличные мишени.

На урезе реки Кружилин не выдержал и обернулся. Изломанной цепью рота шла следом. Красноармейцы бежали молча, лица их были деловиты и

сумрачны. Кружилин встретился взглядом со своим ординарцем, сорокалетним усатым бойцом из Кургана по фамилии Веселов. Веселов вдруг озорно подмигнул командиру роты. Кружилин крикнул: "Вперед!" — и побежал через Волхов.

И тут Кружилин почувствовал вдруг странную отъединенность от всего, что сейчас происходило вокруг. Он знал, что ведет роту в атаку. Перед ним белое-белое поле, замерзший Волхов, покрытый снегом. Это поле надо перейти, перебежать, переползти. Необходимо преодолеть пространство, которое отделяет бойцов от берега. И чем меньше затратят они времени, тем больше сохранится человеческих жизней.

Все это Кружилин осознавал, но сознание его сейчас раздвоилось. Обычное, к которому привык, оно управляло поступками прежнего лейтенанта, заставляло его бежать через волховский лед, падать с размаху на лед под пулеметными очередями, ползти среди красноармейцев, подбадривая их и заставляя снова подниматься навстречу пулям.

И неожиданно возник второй Кружилин. Вокруг этой личности появился вдруг прозрачный стеклянный кокон. Он позволял видеть происходящее, но как бы не участвуя в событии, хотя этот Кружилин и находился в самой гуще боя. Стеклянный кокон принес с собой щемящее чувство одиночества. "Вот я бегу по замерзшей реке, — думал тот Кружилин, — со всеми вместе... Но я одинок. Мне не страшно, только бы вот соединиться с остальными. Весь мир сузился для меня до размеров стеклянной бочки. Я в бочке. Как князь Гвидон. И здесь я в полной безопасности. Мне ничего не грозит, пока нахожусь внутри. Только когда-нибудь мне придется выйти отсюда. Ведь должен я соединиться с бойцами! Но сейчас я тоже с ними... Кто же ведет их в атаку? Лейтенант Кружилин. И я — лейтенант Кружилин. Значит, я там сейчас и здесь, в безопасной и такой уютной бочке. Хорошо это или плохо? Но как тягостно оставаться одному!.. И умирать без свидетелей тоже плохо. Пуля меня не тронет, пока нахожусь внутри. Но пуля может расколоть стекло, тогда я выйду из заточения и окажусь среди красноармейцев!"

Рота залегла посредине Волхова. Сильный пулеметный огонь прижал ее ко льду. Соседи продвинулись еще меньше. Командир бригады спешно запросил у артиллеристов огонька. Они дружно ударили по западному берегу. И на мгновение пулеметы замолкли.

Воспользовавшись этой паузой, Кружилин вскочил и снова побежал вперед. Он приметил обрывистый участок берега и сообразил, что там-то и есть то мертвое

пространство, которое не простреливается немцами. Только бы добежать до этого пространства. Он видел, что Веселов, тяжело, с хрипом дыша, бежит справа и чуточку позади. "А остальная рота?" — подумал Кружилин, но обернуться не было сил. Ему казалось, что стеклянный кокон наполнился газом и поднимает его над льдом. Ноги Кружилина не касались замерзшей поверхности Волхова, он попросту перебирает ими в воздухе, и неведомая сила влечет его к западному берегу, влечет, спокойного и уверенного в безопасности. И Кружилин мог двигаться только вперед. Он попробовал поворотиться и не сумел. Олег видел лишь берег реки, куда гнал его некто, более сильный и властный, нежели он сам.

До мертвого пространства оставалось с десяток шагов. Злобно грохотали навстречу пулеметы. Кружилин с тихой яростью и тоской думал о серьезных потерях, которые вызывал, наверное, этот шквальный огонь. В стеклянном коконе Кружилин не слышал пулеметного треска. Он мысленно отсчитывал шаги, будто на счетах выщелкивал костяшками: "Шесть, пять, четыре..." За три шага до безопасного места Олег услышал звон разбитого стекла. И сразу будто дернули за левое плечо. Оба Кружилина слились вместе, и командир роты упал в изнеможении на промерзшую землю западного берега, под спасительным обрывом. Секундой позже свалился рядом Веселов. "Вас задело, товарищ лейтенант", — утверждающе сказал он. Кружилин отмахнулся. Он смотрел на оставшийся позади Волхов и с удивлением видел, что его рота хоть и поредела, но вовсе не так, как он предполагал. Красноармейцы подтягивались к берегу, а на противоположном на лед осторожно спускали пушки.

— Разрешите осмотреть? — сказал Веселов.

Кружилин шевельнул плечом, почувствовал мокрое в рукаве, но боли не ощутил:

— Пустое. Царапнуло, и только... Давай наверх!

Тут он увидел, как бойцы стремятся подобраться к нему поближе, как птенцы к наседке, и приказал рассредоточиться, не скапливаться под обрывом: ведь их могут забросать гранатами.

Потом лейтенант стал взбираться по правому склону, теперь пулемет бил слева от него. Он взял правее, чтоб зайти пулеметчику в тыл, приготовил гранату. Когда до открытой ячейки оставалось метров двадцать пять, Кружилин поднялся на колени и хотел метнуть гранату. В это же мгновение пулеметчик оторвался от прицела, повернулся, увидел русского офицера и вскинул руки. Вернее, одну руку, правую. Левую он силился поднять, но этому мешала

короткая цепь, его солдат был прикован к пулемету. Он стоял изогнувшись, с искаженным от страха смуглым лицом.

Эта цепь и неловкая поза смертника так поразили Кружилина, что он опустил руку с гранатой. Но тут же справа увидел блиндаж и метнул в его открытую дверь гранату. Глухо прозвучал взрыв.

Когда Кружилин поднялся, немецкий пулеметчик лежал ничком. "Погиб", — с сожалением подумал командир роты. Ему хотелось узнать, за что солдата приковали к пулемету. Немцев, кроме двух трупов на краю воронки, не было видно. Лейтенант подошел к пулеметчику и несильно ткнул его носком в бок. Тот вдруг вздрогнул и встал на колени. Его оливковые глаза умоляюще смотрели на Кружилина. Цепь между пулеметом и его левой рукой натянулась.

— Компаньеро! — сказал вдруг солдат; был он щупловатый, черноволосый, нос с горбинкой, тонкая шея болталась в ошейнике воротника. — Но дойч! Испано... Испано!

— Испанец? — изумился Кружилин. — Откуда же ты тут взялся?

Солдат что-то залопотал, быстро и невразумительно. Он пытался жестикулировать одной рукой.

Прибежал командир первого взвода старший сержант Фролов.

— Заняли первую линию, — доложил он. — Гансы отошли. Во взводе четверо убитых, шестерых зацепило. Двоих серьезно. А вы посмотрите, что у них там, у курвецов, было. — Старший сержант протянул командиру роты зеленый армейский репродуктор: — Такие стояли вдоль берега. Мои ребята семь штук этих хреновин разыскали. Ушлые гады, чего придумали... Вот суки!

Испанец увидел в руках Фролова репродуктор и оживился. Он заговорил, показывая что-то в нише под пулеметом.

— А это что за чучело, мать его за ногу? — спросил старший сержант.

— Говорит, что испанец... Да сбей ты с него эту цепь, — брезгливо поморщившись, сказал Кружилин подоспевшему Веселову.

Освобожденный от пулемета испанец выхватил из ниши микрофон и протянул его Кружилину. От микрофона тянулся провод.

— Но фойер! Но фуэго! Но! — закричал испанец. Он ухватил руками воображаемую гашетку и, запрокинув голову к небу, застрочил поверху: — Та-та-та-та-та-а!

Теперь Кружилин сообразил, почему так мало было потерь при сильном, как он сам его ощущал по слуху, пулеметном огне. И почувствовал боль в плече.

Назначенный командовать 18-й армией фон Кюхлер 22 июня 1941 года пересек Государственную границу СССР и, встречая довольно незначительное сопротивление, быстро продвинулся через Елгаву в направлении на столицу Советской Латвии. Через две недели гитлеровские полчища стояли уже у псковских земель. Когда пали Нарва и Луга, его армия штурмом взяла Шлиссельбург. Потом дивизиям фон Кюхлера удалось подойти к окраинам Ленинграда. В районе Стрельны и Петергофа они вышли к Финскому заливу, отрезав в Ораниенбауме части 8-й армии Ленинградского фронта, которые так и остались там, не сдвинувшись ни на шаг и прикрывая собою Кронштадт с суши.

На этом успехи немецких войск кончились. Не сумев взять Ленинград с ходу, они подвергли город блокаде. И вот теперь активные действия русских на волховском участке серьезно обеспокоили генерал-полковника фон Кюхлера. Это беспокойство усугублялось недавним разговором с Францем Гальдером. Начальник генерального штаба сухопутных войск сообщил ему, что Риттер фон Лееб подал рапорт об отставке. Фюрер еще не принял решения, кем заменить командующего группой армий "Север", но фон Кюхлеру надо быть готовым стать преемником фон Лееба.

Генерал-полковника это известие не обрадовало. Он вспомнил о соседе, командующем 16-й армией. Генерал Буш будет вне себя от ярости, когда узнает, что попал под его начало. Фон Кюхлеру известно, в каком сложном положении находится армия Буша под Старой Руссой и у Демянска. Там русские постоянно контратакуют, дивизии несут большие потери. Теперь спрашивать за тамошнее положение будут и с него, фон Кюхлера. Он погладил чисто выбритую щеку длинного, худощавого лица. Достал белоснежный платок и тщательно протер монокль. Генерал-полковник никогда не пользовался им, но со стеклышком на шнурке не расставался, считая неотъемлемой деталью генеральской формы.

Когда по его звонку вошел адъютант, он увидел, как командующий разглядывает на свет лампы стекло монокля. Не отрываясь от этого занятия, фон Кюхлер спросил:

— Собрались? Зовите всех.

Первым в кабинет вошел майор Вакербард, ведающий войсковой разведкой. За ним появился зондерфюрер Майсснер. Потом подслеповатый, одетый в мешковатый мундир, поминутно подправляющий пенсне капитан Шот,

начальник абвергруппы. Вошли представители вышестоящих организаций абвера при армии фон Кюхлера, чины из гехаймфельдполицай... Командующий проводил широкое совещание с тайными службами, обеспечивающими его войска.

Майор Вакербард беспокойно оглядывался на дверь. Все остальные уже уселись и преданно смотрели на генерал-полковника. Наконец, в дверях появился заурядной внешности офицер в полевой форме оберст-лейтенанта вермахта. Майор Вакербард оживился, встал, пошел вошедшему офицеру навстречу, подвел к фон Кюхлеру.

— Позвольте, господин генерал-полковник, представить вам нашего гостя. Оберст-лейтенант Ганзен, заместитель начальника "Абвернебенштелле-Ревал" фрегатен-капитана Целлариуса.

— О, — улыбнулся, обнажив крупные зубы, командующий, — я знаком с вашим шефом, оберст-лейтенант. Интересный человек.

— Совершенно верно, экселенц, — склонил голову Ганзен. — Все мы гордимся тем, что служим под началом фрегатен-капитана. Он большой специалист во всем, что касается Петербурга.

"Немудрено, — подумал фон Кюхлер. — Александр Целлариус в конце тридцатых годов возглавлял филиал абвера в Финляндии. Тогда Петербург можно было разглядывать в бинокль. Впрочем, я тоже видел этот город только в бинокль..."

— Я собрал вас, господа, чтобы сообщить то, что вы должны знать лучше меня. Русские начали наступление на всем волховском участке. Одновременно активно заявили о себе войска Ленинградского фронта, особенно в районе отрезанной от него пятьдесят четвертой армии. Сейчас майор Вакербард кратко охарактеризует обстановку, а затем я хотел бы услышать, какие сюрпризы приготовили русским ваши специальные службы. Говорите, майор.

— Прошло двое суток, — сказал Вакербард, — как с восточного берега Волхова противник принялся атаковать наши позиции. Это начал действовать новый, Волховский фронт под командованием генерала армии Мерецкова.

— Старый знакомый, — пробормотал фон Кюхлер. — Видимо, Сталин считает его специалистом по войне в забытых богом местах.

— Фронт состоит из четырех армий, — продолжал майор Вакербард. — Две из них нам известны по прежним боям. Это пятьдесят вторая и пятьдесят четвертая. В связи с тем что русские плохо соблюдают правила радиообмена, а также согласно показаниям первых пленных удалось установить: из резерва

прибыли на Волхов еще две армии: пятьдесят девятая и вторая ударная. Фамилии командармов уточняются. В настоящее время русские атакуют по фронту протяженностью более чем сто пятьдесят километров, от озера Ильмень до левого фланга пятьдесят четвертой армии. Новый фронт действует пока без согласования с этой армией Ленинградского фронта, нам это на руку, так как позволяет маневрировать резервами. Странно, что русские не подчинили эту армию Мерецкову... По истечении двух суток ожесточенных боев частям второй ударной армии и правого фланга пятьдесят второй удалось вклиниться в оборону наших войск на волховском рубеже. Разведка показывает, что русские наносят главный удар на рубеже нашей сто двадцать шестой пехотной дивизии и правого фланга двести пятнадцатой. Кроме того, отмечаются крупные сосредоточения сил против грузинского и киришского плацдармов, а также на северо-восточном участке армии по обе стороны Погостья...

Генерал-полковник слушал начальника разведслужбы и думал о том, что необходимо срочно произвести перегруппировку войск, заменить потрепанные в Тихвинской операции соединения — им не устоять сейчас против массированного удара Мерецкова. В первую

очередь пополнить людьми и техникой сильно ослабленные танковые и мотодивизии тридцать девятого моторизованного корпуса, которые он вывел на отдых в район Любани. Здесь обнаружится, по-видимому, самый опасный участок. Если русские исправят допущенную ошибку и пятьдесят четвертая армия генерала Федюнинского начнет действовать с Мерецковым согласованно, то его войскам в Чудово, Киришах и Любани грозит окружение. Этого нельзя допустить!

После недавнего звонка Франца Гальдера у генерал-полковника фон Кюхлера неожиданно возник план зимнего штурма Ленинграда. Он был хорошо информирован о положении в городе. Силы его защитников на пределе. После массированного налета в сочетании с артобстрелом танки с мотопехотой двинутся вперед. Лишенный воды, тепла, электроэнергии и продовольствия, город не выдержит натиска. То, что не дали ему сделать осенью, он, став командующим группой армий "Север", совершит зимой. На этот раз русский "генерал" мороз будет воевать на его стороне.

Но Мерецков пока путает ему все карты. Судя по всему, он решил наступать всерьез. Если они прорвутся в тыл армии Буша у Старой Руссы, а восемнадцатую сбросят с волховского плацдарма, группе армий придется нелегко. Главное — остановить Мерецкова...

Между тем фон Кюхлер умудрялся слушать абверовцев и представителей других тайных служб. Он не имел ничего против плана диверсионных акций, о которых доложил начальник абвергруппы. Понравилась идея организации лжепартизанских отрядов, которые должны действовать в боевых порядках прорвавшего оборону противника. Одобрил и засылку разведгрупп в тылы Волховского и Ленинградского фронтов.

Командующий армией, который через три дня примет дела у фельдмаршала Риттера фон Лееба, заинтересованно и деловито вел совещание специалистов по тайной войне с противником. И никто из них не догадывался, что генерал-полковника преследует назойливая мысль, на которую не может пока "найти ответа: чем ознаменует он вступление в должность командующего группой армий "Север"?

-10-

Едва прогремели первые выстрелы наступления, начался нескончаемый поток раненых. Их везли на машинах, повозках, собачьих упряжках, несли на руках. Некоторых вели, бережно обняв, другие шли сами, прижав к груди искалеченные руки или опираясь на самодельные костыли. Медсанбат заполнился страдающими людьми. Они стонали, кричали, плакали, бессильно матерились, бредили и звали маму. Тех, кто побывал в руках хирургов и остался жив, брала под опеку эвакорота, отправляла в тыл. Но санитарных машин не хватало, и подправленные на операционном столе бойцы скапливались в медсанбате, довольно скоро превратившемся в истинный ад.

Двое солдат принесли командира роты. Не опуская носилок на землю, они остановились у входа и угрюмо смотрели на Марьяну, она выскочила глотнуть свежего воздуха.

— Глянь, сестрица, — сказал один из солдат, пожилой, с серебристой щетиной на скуластых щеках, — комроты наш. Куда его?

Марьяна откинула зеленую немецкую шинель, ею был прикрыт командир, и отпрянула от носилок. У комроты был вырван живот, внутренности исчезли, из грудной клетки через пробитую диафрагму в полость выполз край розового легкого.

— Кого вы принесли? Он же выпотрошенный весь!

— Как же так? — растерянно пробормотал второй красноармеец, помоложе. — Живой ведь был...

Первый солдат взглянул на командира, отвернулся и принялся быстро и мелко креститься, бормоча неразборчиво.

— Кончился ваш командир, отвоевался, — сказала Марьяна. — Несите его вон к той сараюшке, там покойников складывают. Документы нашему комиссару сдайте. А сами-то целы?

— У меня в боку дырка, — сказал солдат, что помоложе. — А у папаши в плече осколок. Иначе бы из строя не ушли.

Днем работалось еще легко. Отоспались накануне, да и сказывалась некоторая азартность, с которой медики принимали первые жертвы наступления. Они вполне отдавали себе отчет в том, как важна и благородна их работа на войне. И нелегкое дело, которое доверили им, свершали добросовестно и увлеченно, стараясь совместить умелость со скоростью исполнения. Это было сложно, но медики старались.

Закончился короткий зимний день. Быстро надвигалась темень. Но война продолжалась и в темноте, раненые прибывали и прибывали. Глубокой ночью работали уже без порыва, без приподнятости, без чувства удовлетворения от того, что еще одному вернули жизнь, пусть и войдет он в эту новую ипостась калекой. Пришла тупая, подавляющая все мысли усталость.

Наступление топталось на месте. Атаки бойцов разбивались о хорошо укрепленные позиции немцев на левом берегу Волхова, и цепи красноармейцев откатывались, оставляя на ничейной земле убитых и раненых. Под шквальным огнем вытащить их было невозможно, и живые еще люди долгими часами оставались на снегу, тщетно ожидая помощи. Многие так и не дождались ее...

Утром следующего дня атаки возобновились. Кое-где удалось сбить противника с занимаемых позиций и вклиниться в его оборону. Тогда и усилился поток искалеченных, среди которых оказались и обмороженные. И потому опять без устали работали хирургические пилы. Они отделяли пришедшие в негодность конечности. Хирурги пластовали куски живого еще мяса, сшивали кровоточащие разрезы, и очередной калека покидал стол, чтоб уступить место другому страдальцу.

Онемевшие пальцы не слушались врачей. У одного из хирургов судорогой искривило кисть, и медсестра Тамара Бенькова растирала ему руку спиртом. Другой врач пилил-пилил кость ноги чернявому и усатому лейтенанту, остановился в изнеможении, подозвал санитара: "Пили ты, я смотреть буду, чтоб правильно..." И санитар ерзал хирургической пилой по обнаженной кости,

поначалу отворачиваясь, потом провористей, пока доктор копил в себе силы для сложной и точной работы.

Принесли обгоревшего танкиста. Пытались снять с него комбинезон и не смогли: вместе с обуглившейся тканью сходила кожа, обнажая сочившееся кровью мясо. Хирург Свиридов быстро осмотрел его, танкист был без сознания, и сделал знак: снимайте со стола.

— На нем живого места нет, — сказал хирург. — Не будем понапрасну тратить время. Умрет бедняга через час...

Вдруг в помещении для послеоперационных раздался дикий крик. Санитары и медсестры бросились туда, а военврач Казиев, который искал пулю в раскрытой грудной клетке солдата, даже головы не повернул.

Пришел в себя после наркоза огромного роста старшина с ампутированными по локоть руками и наглухо забинтованным лицом — у него в руках взорвалась граната. Не видя белого света, решил, что его заживо похоронили, и страшная мысль подняла старшину. Он двинулся вперед и натолкнулся на санитара. Замутненное сознание старшины было во власти навязчивых видений, решил, будто перед ним противник. Исступленно закричав, старшина обхватил санитара похожими на ласты обрубками и силился свалить его на землю. С трудом старшину смогли удержать, чтоб Марьяна ввела ему морфий. Она побыла с ним рядом, пока старшина не затих, и прислушалась, как раненые бредили.

— Обходи слева! Прикройте меня! — требовал один.

— Маша, Маша... Мне больно! Где ты? — звал из угла горячечный голос.

— Не нравится, суки?! Так вас, гады! Подавай ленту, Вася!

— Мой костер... Искры гаснут на лету... А-а-а! Мать вашу... Холодно! Замерзаю... Глотнуть дайте! Где моя фляжка?

— Не подходи! Стрелять буду! Не подходи...

— Мама, мама! Меня кусают... За ноги кусают! Отгони собаку...

Вошел командир медсанбата Ососков.

— Караваева, — строго сказал он, — рассиживаешься. А там полно шоковых. Иди к себе.

Она посмотрела на старшину. Старшина спал. "Что с тобой будет, когда очнешься?" — подумала Марьяна. У входа в шоковое отделение Марьяна едва не столкнулась с санитаром Шмакиным. Он тащил из операционной эмалированный бачок с крышкой. В бачке находились части человеческих тел, которые хирурги не смогли приладить... Марьяна посторонилась. Санитар

шагнул мимо нее, потом вдруг зашатался, колени подогнулись, и Шмакин стал мешком опускаться наземь. Марьяна успела схватить его за ворот некогда белого, а теперь уже грязно-кровавого халата, надетого поверх шинели, но бачок Шмакин из рук выпустил, и сам повалился набок, уронив крышку. Содержимое бачка медленно поползло наружу.

— Вставай, Шмакин, вставай! — закричала Марьяна. Она изо всех сил, теперь уже двумя руками, пыталась поднять санитара, хотя бы удержать, не дать ему упасть на эту кучу костей и мяса.

Откуда ни возьмись возник военврач 3 ранга Ососков, их командир медсанбата. Он ударил санитара по щеке, потом по другой. Шмакин заморгал... Марьяна почувствовала, как его обмякшее тело обрело уверенность, и санитар встал на ноги, раскачиваясь.

— Дайте ему нашатырного спирта, старшина, — распорядился Ососков. — Обморок... Третьи сутки на ногах и без сна, вот и скис мужичок. Держись, Шмакин, держись! Да приберите здесь. — Командир медсанбата показал рукой на опрокинутый бачок.

— Давай сначала это вынесем, Шмакин, — сказала Марьяна.

Она подняла бачок за край и увидела в куче желтую пятку с белесыми мозолями по краям. У Марьяны мелькнула мысль: не надеть ли перчатки. Мысль показалась ей смешной и праздной. И она равнодушно ухватилась пальцами за пятку, подняла ампутированную ступню и бросила в бачок. Потом ей попалась раздробленная кисть. Соскальзывали с пальцев сине-зеленые кишки, местами разорванные, видимо, осколком. Когда бачок был наполнен вновь и Марьяна взялась за ручку, чтобы помочь санитару вынести, Шмакин остановил ее.

— Сам сделаю, — сказал он, — мое это дело, сестрица. А понюхать спиртику потом забегу.

— Забегай, — сказала Марьяна и отправилась выводить пострадавших из шока, их нельзя оперировать в таком состоянии.

В середине второго дня случилось несчастье с хирургом. Военврач 3 ранга Казиев почувствовал себя плохо. У него начались почечные колики. Боль он испытывал невыносимую. Самому впору завыть от страданий, а права такого не имел, потому как поступление раненых не прекращалось. Сунулась Тамара к нему со шприцем с морфием, чтобы поунять грызущую боль, но Казиев крикнул:

— Назад! Нельзя мне морфий! Усну.

Ососков спросил его:

— Сменить вас, Марсал Ахметович?

— Кто меня сменит? — возразил Казиев. — Вы, комбат?

Ососков смутился:

— Я не хирург.

— То-то и оно, — сказал военврач. — Тепло мне давайте, на спину тепло. И тогда я еще постою...

Хотели грелками помочь, но грелки мешали движениям хирурга.

— Стол придвинем к "буржуйке", — сказала Марьяна.

Придвинули стол. Старший из медбратьев, санитар Садыков, пришел с охапкой дров. Загудела железная печка, повернулся к ней спиной Казиев, пронизало его тепло, и боль отпустила немного.

— Следующего! — приказал хирург.

На стол лег пулеметчик. Пуля попала в рот, разорвала язык и застряла у шейного позвонка.

А потоки поступил в медсанбат капитан Чесноков. Доставили его бойцы потерявшим сознание и звавшим в бреду женщину по имени Таня. Разбитной красноармеец с обвязанным лбом, связной Чеснокова, рассказывал:

— В нас одним снарядом угодило... Меня, значит, по лбу, а капитана по низу живота. Знает, что с ним приключилось. И Таню зовет, жена это его, перед войною поженились, а его из отпуска отозвали. Теперь вот застрелиться хочет, едва оружию отняли. И то сказать — какая теперь житуха у мужика! Пусть бы там ногу али руку снесло... Калека, это верно, да жить можно. А так... Ежели по совести, то я б ему сам пистолет в руки сунул.

— Дурак, — сказал военврач Свиридов. — Пистолет бы дал... Вот ты его и приставь к глупой башке. Думаешь, твой капитан один такой на войне? Вот сестра его из шока выведет, а я ему все там хозяйство зачищу, и отправим в госпиталь. А уж в госпитале спецы. Соорудят ему любое естество, на чей хошь вкус. Понял, дундук?

— Понял, — недоверчиво проговорил боец. — Да только разве такое возможно?

— У нас все возможно, солдатик, — пробасил угрюмый пожилой санитар по фамилии Семенихин. — Вот был ты, скажем, полумертвый, а у нас сразу оживешь. Опять же, если полуживой, то мы тебя обратно можем сделать мертвым. Желаешь?

— Да ну тебя, — махнул связной комбата и ушел на перевязку.

Ближе к вечеру, уже начинало темнеть, Марьяна вышла наружу, поискала клочок незатоптанного снега и принялась тереть им лицо. В голове прояснилось.

— Послушай, санитар, где бы перевязаться?

Марьяна поначалу не сообразила, что обращаются к ней, она забыла о солдатских брюках и про убранные под шапку волосы. Она повернулась и увидела высокого командира в белом полушубке и слегка сбитой на затылок ушанке. Командир улыбнулся, приложил руку к виску:

— Простите, доктор, обознался.

— Я не доктор. Старшина медицинской службы.

— Сестра милосердия, — уточнил командир. — Мне бы плечо посмотреть. Онемело окаянное. Ранили вчера.

— И вас никто не смотрел?

— Как никто? Мой связной перевязывал, он и смотрел... Да и у вас я случайно. Был в штабе дивизии, пленного доставил. Вот мимоходом и сюда заглянул: плечо немного беспокоит.

— Пойдемте, — сказала Марьяна. — Я вас сама посмотрю.

— Тогда, если позволите, представлюсь вам, сестрица, — несколько церемонно проговорил командир, поклонился, потом вытянулся перед Марьяной. — Лейтенант Кружилин, комроты. Можно называть меня и попросту — Олег.

Марьяна улыбнулась. Ей показалось, что она уже встречалась с этим человеком. И Олег нравился ей сейчас. Обращением вежливым, что ли? На внешность мужчин Марьяна давно не обращала внимания, по крайней мере, запретила себе делать это.

— А меня Марьяной зовут. Пойдемте, лейтенант Олег.

...Бесновался Чесноков. Братья Садыковы, санитары, едва удерживали его на койке. Капитан Чесноков хрипел. Розовая слюна, он искусал себе губы, пузырилась в углах рта. Капитан яростно ругался сорванным голосом и требовал пистолет. Марьяна сделала Садыковым знак рукой: отпустите Чеснокова. Тот сразу попытался вскочить, уцепившись руками за халаты санитаров. Марьяна быстро положила руку капитану на лоб. Чесноков оставил санитаров, обхватил руку сестры, зарылся в нее лицом и протяжно, по-волчьи, завыл. Марьяне стало жутко. Сделав над собой усилие, она протянула к голове капитана руку и принялась гладить по волосам.

— Ну что ты, что ты, миленький, — говорила она. — Перестань, пожалуйста. Так ты мне всех раненых перепугаешь. Ничего страшного не случилось... Перестань! Все обойдется. Не надо так убиваться. Потерпи... Ты ведь мужчина!

Тут она осеклась, произнеся привычные слова, которыми всегда утешала страдающих подопечных. А капитан хоть выл-выл, а слова ее услышал. Он смолк и оттолкнул руку Марьяны.

— Мужчина, говоришь? — процедил он сквозь стиснутые зубы. — Был им еще недавно... А впрочем... Ты права, сестра. Разнюнился, как жалкая баба. Все. Кончаю истерику. Иди к другим, сестрица. Капитан Чесноков хлопот вам больше не доставит.

— Вот и хорошо, милый, — облегченно вздохнула Марьяна и пошла из палаты вон, обрадованная и смущенная вернувшейся к капитану твердостью духа.

Ночью она спала рядом с закутком, который оборудовал для отдыха командир медсанбата. Разбудил Марьяну выстрел. Стреляли под самым ухом у нее. Она вскочила и босиком — спала, лишь стянув с себя сапоги, — выбежала наружу. Из закутка появился комбат Ососков. Был без ремня, вид заспанный и ошалелый, в руке болталась портупея с пустой кобурой. В маленькой каморке рядом с постелью комбата и опрокинутой сейчас табуреткой, на которую Ососков положил перед сном портупею с личным оружием, лежал ничком человек. Левая его рука была неестественно изогнута к виску и сжимала пистолет.

— Вот черт, — сказал Ососков. — Не было мне печали...

Комбат нагнулся, осторожно высвободил из пальцев человека пистолет, убрал оружие в кобуру, надел портупею, затянулся ремнем. После этого военврач Ососков взял мертвеца за плечо и перевернул лицом вверх. Это был капитан Чесноков.

-11-

"Защиты от подлинной внезапности не существует, — подумал Мерецков вне всякой связи с только что прочитанным текстом и машинально перевернул страницу. — А какая тут внезапность!.. Пленные, захваченные еще до Нового года, сообщали, что немцам известно и о создании нашего фронта, и о подготовке к наступлению. Этот козырь — внезапность — покрыли еще до того, как мы извлекли его из колоды...

Генерал армии поднял книгу к глазам. Внимание привлекла фраза, которую он прочитал с живейшим интересом: "Князь опять засмеялся своим холодным смехом.

— Бонапарте в рубашке родился. Солдаты у него прекрасные. Да и на первых он на немцев напал. А немцев только ленивый не бил. С тех пор, как мир стоит, немцев все били. А они никого. Только друг друга..."

Мерецков хмыкнул и захлопнул книгу. Это был четвертый том собрания сочинений Льва Толстого, выпущенного Сытиным в 1913 году в приложении к журналу "Нива". Раздобыл его Кирилл Афанасьевич в Москве после памятного разговора со Сталиным, когда Мерецкову сообщили о создании Волховского фронта.

Сталин тогда спросил у Мерецкова:

— Вы читали "Войну и мир" Толстого, товарищ Мерецков? Советую перечитать. Лев Толстой правильно ставит в романе вопрос о значении народа в освободительных войнах. Именно народ выигрывает такую войну. Мы с вами лишь выполняем его волю. Поэтому наша ответственность за порученное дело неизмеримо повышается, товарищ Мерецков... "Война и мир" — полезная книга.

Если Сталин советует — надо читать. Он может в любой момент спросить, до какой страницы добрался. Гм... Про немцев старый князь Волконский так лихо высказался на девяносто девятой. Только ленивый, значит, их не бивал... Да... Времена переменились. Не поленились бы мы разобраться в сути гитлеровского феномена перед войной — глядишь, и не сидел бы теперь генерал Мерецков в Малой Вишере.

Кирилл Афанасьевич убрал книгу, подошел к столу, застланному картой, сел и разгладил карту рукой. Вот она, линия его фронта. Похвастать пока нечем. Двое суток бьют волховские армии в оборону противника. И все тщетно. Успели, сволочи, укрепиться. Инженерные войска у них действуют по всем правилам и техникой снабжены отлично. А у наших саперов лопата и топор, и гоняют их зачастую командиры затыкать дыры, хотя существует особый приказ, он запрещает использовать специальные части не по назначению.

"И соседи, — подумал Кирилл Афанасьевич. — Бывает, что успех операции зависит от них больше, чем от тебя самого. На левом фланге генерал-лейтенант Морозов наступает на Старую Руссу. Если его армия возьмет город, это напугает противника. Ведь тогда возникает угроза окружения его новгородской группировки. Надо связаться с Павлом Алексеевичем Курочкиным. Он —

толковый мужик, широко мыслящий командующий фронтом. С ним можно договориться о координации совместных ударов. Ведь Северо-Западному фронту выпала не менее трудная задача. И немцев разбить под Старой Руссой, и ударом правого фланга выйти к Сольцам и Дну, отрезать дивизиям генерала Буша пути отхода от Новгорода и Луги. А что сейчас поделывает сосед справа?" Мерецков вздохнул. Никак не мог успокоиться и осознать факт автономности 54-й армии. Вспомнилось памятное совещание в Ставке, которое проходило месяц с небольшим назад. В Москву Мерецков прибыл с командующими новыми армиями, 59-й и 2-й ударной, Галаниным и Соколовым. Из Ленинграда приехали Жданов и Хозин. Андрея Александровича, секретаря ЦК и Ленобкома, Мерецков знал давно. Они ведь вместе работали в Питере. А вот возникшая необходимость координировать действия с генерал-лейтенантом Хозиным, который сменил Федюнинского после недолгого пребывания того на посту командующего Ленфронтом, была не по душе Мерецкову. Он был знаком с Михаилом Семеновичем еще до войны, когда тот начальствовал в Академии имени Фрунзе. Хозин был сложным человеком, трудным в общении, болезненно самолюбивым, мнительным. Слишком долго он оставался в тени, а это способствовало возникновению комплекса неполноценности, развивало у него стойкое убеждение в том, что его несправедливо обошли. Когда Жуков в сентябре прошлого года привез его и Федюнинского в Ленинград, Хозин стал начальником штаба фронта. Потом командовал 54-й армией вместо разжалованного незадачливого маршала Кулика. Побыв недолго в роли командующего фронтом, генерал-майор Федюнинский в самом начале наступления немцев на Будогощь и Тихвин забил тревогу и за спиной у Жданова попросил у Ставки разрешения поменяться с Хозиным постами. Так Михаил Семенович стал командовать фронтом. На совещании в Ставке 12 декабря держался с достоинством и по отношению к Мерецкову несколько высокомерно. Хозин давал понять, что именно он возглавляет основные силы на северо-западном направлении, а Волховский фронт и его, Кирилла Афанасьевича, армии лишь придаются ленинградцам.

Когда после доклада Шапошникова Мерецков поставил вопрос о передаче Волховскому фронту 54-й армии, Хозин яростно запротестовал. Напрасно Кирилл Афанасьевич доказывал, что отрыв этой армии от его фронта усложнит боевое взаимодействие войск, призванных решать одну и ту же задачу.

— Ну и что из того, что Федюнинский находится за внешним кольцом блокады? — горячился Михаил Семенович. — Его армия будет наносить удары с

вражеского тыла. Этим она окажет Ленинграду максимальную поддержку. Федюнинцы будут рваться к родному городу.

При этом он постоянно поворачивался к Жданову, как бы призывая поддержать его, и тот кивал в знак согласия.

— Что-то до сих пор Ленинград не видел особой помощи от этой армии, — проворчал Мерецков.

Ему вдруг стало нестерпимо обидно оттого, что приходится доказывать очевидные вещи опытным как будто бы в военном отношении людям. Кольнуло и пришедшее осознание: вряд ли кто разделяет его предчувствие, что совместная работа пойдет у них с Хозиным вкривь и вкось.

— На этом закончим, — сказал Сталин. — Если товарищи ленинградцы считают, что такое положение для них подходит, оставим все неизменным. Все мы знаем товарища Мерецкова как талантливого полководца и хитрого хозяина, который всегда себе на уме, который старается собрать на своем дворе как можно больше добра. Но если товарищ Мерецков одной армией освободил Тихвин, то четырьмя армиями он непременно разобьет Кюхлера и снимет блокаду Ленинграда.

...Мерецков снова раскрыл "Войну и мир" Толстого. С минуты на минуту он ждал вызова из Москвы, а сообщить туда что-либо существенное пока не мог. Немцы крепко держались за плацдармы возле Киришей и Грузина на правом берегу Волхова. 4-ю армию они даже контратакуют. 59-я армия Галанина топчется на месте. Противник сосредоточивает силы в районе Спасской Полисти, опасаясь, что мы, завладев этим поселком на шоссейной дороге Новгород — Ленинград, двинемся вдоль железнодорожной магистрали, параллельно Волхову, прямо на чудовскую группировку. А именно так нам и надлежит поступить...

"Пока я могу рассчитывать на успех только там, где решительно действует Вторая ударная армия Клыкова и армия Яковлева, — подумал командующий фронтом. — В направлении на Новгород наши атаки, увы, безуспешны. Но дивизия полковника Антюфеева уже заняла Красный Поселок. Это хорошо. Сегодня утром командармы Клыков и Яковлев ввели в бой резервы. Активность наступающих войск усилилась, но и противник наращивает сопротивление. И о чем, о каких успехах докладывать мне сейчас в Ставку?"

Мерецков вспомнил, как звонил недавно, после разговора со Сталиным, генерал-лейтенанту Клыкову.

— Николай Кузьмич, смелее вводите резервы.

— У меня осталась стрелковая бригада.

— Вводите и ее! Вводите все, что у вас есть. Надо изо всех сил давить немца на том участке, где у вас обозначилась возможность прорыва обороны противника.

Кирилл Афанасьевич вспомнил, что почти слово в слово повторил фразу, которую слышал от Верховного.

— Положение чрезвычайно сложное, — проговорил командарм. — В таком положении остаться без резервов...

Мерецков хорошо понимал Клыкова. Он знал, что отсутствие резервов всегда вызывает у военачальника неуверенность. Но Кирилл Афанасьевич хорошо помнил и содержание сталинского письма, которое привез ему в Малую Вишеру начальник артиллерии Воронов. "Единым и общим ударом, — горько усмехнулся генерал армии. — Это хорошо выглядит на бумаге. А на деле наскоки, не обеспеченные в достаточной мере поддержкой авиации и артиллерии, малоэффективны. Но чем я подкреплю усилия пехоты?"

Командующий встал из-за стола и хотел идти в аппаратную, но в комнату влетел возбужденный Мехлис.

— Плохо воюем, генерал, — сказал он Мерецкову. — Товарищ Сталин обеспокоен. Я ему докладывал, что...

— Я тоже, — перебил его Кирилл Афанасьевич.

— Что "тоже"? — не понял Мехлис.

— Тоже докладывал сложившуюся обстановку.- Лев Захарович хмыкнул и недовольно повел носом.

— Пора уже сообщать Ставке о наших успехах, товарищ Мерецков. А их не видно. Необходимо срочно выехать в войска и накрутить командармам хвосты. Разучились бить фашистов. Кстати, как дела в Пятьдесят второй?

Мерецков протянул сообщение генерал-лейтенанта Яковлева.

"К 13.00, — сообщал командарм-52, — правое крыло армии в составе трех дивизий вышло на западный берег реки Волхов. Частями 46 и 305 сд овладели районами Заполья, Лелявино и лесом севернее. Армия отбивает контратаки на Теремец".

— Это уже не хрен собачий, — сказал Лев Захарович. — Это уже нечто. Надо включить населенные пункты в доклад Ставке.

— Все сделано, — отозвался Мерецков. — И вот еще. Я передал Клыкову, Второй ударной, две стрелковые дивизии из армии Галанина.

— Не жирно ли будет? — возразил Мехлис. — А с кем пойдет на Ленинград Галанин?

— Он стоит пока на месте. А Клыков пробивается вперед.

— Что скажут в Ставке? — заопасался Мехлис. Командующий фронтом поморщился: "До чего же надоела мелочная опека! На помочах водят, как сопливого мальчишку".

— Звонил Василевскому, возражений нет. Но пойдемте... Время докладывать в Москву.

Они пришли в аппаратную в тот момент, когда на ленте аппарата Бодо возникли слова: "Ставка вызывает Мерецкова".

— У аппарата Мерецков, — сказал Кирилл Афанасьевич.

— И Мехлис, — подал голос Лев Захарович.

— И Мехлис, — будто эхо, повторил командующий фронтом.

— Верховный Главнокомандующий требует объяснений по поводу вашего бездействия, — передал Василевский.

Кирилл Афанасьевич посмотрел на Мехлиса и развел руками. Представитель Ставки решительно шагнул к аппарату.

— Передавайте. Говорит Мехлис. Мы не бездействуем, мы воюем, товарищ Василевский. Противник превосходит армии фронта в авиации, технических средствах, артиллерии. У нас мало снарядов, у немцев их хоть завались. Кроме того...

Договорить ему не дали. Аппарат Бодо стал работать на прием. Задвигалась лента, на ней проступали слова: "Меньше разговоров, товарищ Мехлис. Не для того мы послали тебя туда. И кто у вас командующий фронтом? Мехлис или Мерецков? Какие новости, Кирилл Афанасьевич? Сталин".

Мехлис съежился и отошел от аппарата. Мерецков занял его место, заговорил.

— Новости у нас, товарищ Сталин, такие...

Вошел в аппаратную капитан Борода и протянул генералу армии записку. Мерецков быстро прочитал ее и живо наклонился к аппарату, словно собираясь увидеть через него Москву.

— Хорошие у нас новости, товарищ Сталин! — почти что выкрикнул Кирилл Афанасьевич и замолчал. Сдерживаясь, стал ждать, когда его слова передадут в Ставку. Понемногу успокаиваясь и не глядя на подскочившего к нему Мехлиса, который пытался прочитать записку, ее командующий держал перед глазами, стал диктовать телеграфистке:

— Войска Второй ударной армии под командованием генерал-лейтенанта Клыкова прорвали оборону противника в районе поселка Мясной Бор! Участок прорыва расширяется...

"Хорошо, — ответно отстучал аппарат. — Когда Вторая ударная армия закрепит этот успех, бросайте в наступление кавалеристов Гусева, Тринадцатый корпус. Я очень надеюсь на вас, товарищ Мерецков. Сталин".

-12-

Все трое прибыли на фронт в сочельник.

По дороге нервничали — боялись не успеть в часть до рождества, тогда придется праздновать его в пути. Особенно переживал католик Вилли Земпер. Рождество Христово он считал главным праздником верующего человека, отдавал ему предпочтение даже перед пасхой. И Земпер только отмахивался, когда Рудольф Пикерт, изучавший теологию в Йенском университете, утешал его, говоря, что крестьянской душе Вилли должна больше нравиться пасха.

— Твой праздник — пасха, дорогой Вилли, — разглагольствовал Пикерт в вагоне поезда, идущего в Плескау. — Тебе известно, как возникла идея воскресения господня, которое отмечается именно весной?

— Как-как, — буркнул Земпер, — очень просто. Христос воскрес и был взят на небо — вот и праздник.

— Но ведь у евреев тоже есть пасха, — возразил Руди, подмигивая молчуну Гансу Дребберу, не любившему участвовать в подобных разговорах друзей.

Дреббер считал эти споры пустой болтовней, недостойной настоящих немцев.

— Да какая там у них пасха, — отмахнулся Земпер.

— Не пора ли нам перекусить? — предложил Ганс. — От вашей трепотни у меня аппетит разыгрался.

— Чудесная мысль, Дреббер! — воскликнул Руди Пикерт. — Ты не только лучший пулеметчик, но и самый деловой человек среди нас. Загляни-ка и в мой ранец. Там еще осталась бутылка старого доброго кюммеля.

— Так что ты там твердил про еврейскую пасху? — спросил Вилли, едва выговаривая набитым ртом слова.

— Она возникла именно как земледельческий праздник, дорогой крестьянин. Твой, Вилли, праздник. Наши предки, заметив, как возрождается жизнь весной, как прорастает брошенное в землю зерно и деревья вновь покрываются листьями, решили, что их боги так же умирают и воскресают. Эта идея крепко сидела в головах и финикийцев, и греков, и древних египтян, я не говорю уже

про иудеев. Скажем, на берегах Нила так же верили в смерть и возрождение Озириса, как мы верим в воскрешение Христа.

— Ни хрена вы ни во что не верите, ни в бога, ни в черта, — проговорил Земпер, отрезая кусок колбасы.

— Я воевал под началом Роммеля у Тобрука, — сказал вдруг Ганс Дреббер, потянулся к бутылке, взял ее в руку, взболтнул. — Какой человек этот Роммель! Настоящей тевтонской закваски. Если б весной сорок первого года ему как следует помогли, то сейчас мы с вами несли б гарнизонную службу в Каире.

— А знаешь, Ганс, рождество в Каире это не так уж и плохо, — проговорил Пикерт. — Хотя... Нет, там слишком жарко. И потом, где найдешь к празднику елку? А вот пасху египтяне раньше отмечали шикарно. И говорили друг другу: "Озирис воскрес!"

— Сказано в писании: "Если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша", — торжественно произнес Земпер и победно глянул на Пикерта.

— Слушай, Вилли, зачем тебе ползать по переднему краю, охотясь за неосторожными Иванами? — спросил Руди. — Ты мог бы пристроиться служкой к армейскому священнику.

— У нас в дивизии они все евангелисты, а я католик. Да и грамоты моей недостаточно. Ты, Руди, скорее бы подошел.

— Гм, может быть... Кстати, ты помнишь, Вилли, кто был дедушка у Христа? Как его звали?

Ганс Дреббер бросил на столик нож:

— Возвращаются из отпуска, а разговоры у них, как у кастрированных монахов! Солдатам фюрера и вовсе не к лицу уделять так много времени этому иудею. От его имени у меня свербит.

— Эге, — сказал Руди Пикерт, — тут ты ошибаешься, дорогой Дреббер. Христос не был иудеем.

— Как же это так? — недоверчиво глянул на него Ганс. — Самый что ни есть иудей. По крайней мере, рожден был от еврейки.

— Вот тут ты и промахнулся. Где родился Христос? В Галилее. И мать его оттуда родом. Значит, кто Христос? Галилеянин. Да, проповедовал он и в Иудее, но к жителям ее по происхождению отношения не имел.

— Интересно, — сказал Вилли Земпер и вдруг протянул Пикерту руку. — Спасибо тебе, товарищ. Снял ты с меня сомненье. Знаю, что всех иудеев надо

брать к ногтю. И тут меня уговаривать не нужно. А вот нет-нет да и вспомню о Христе. Теперь другое дело! Значит, не иудей?

— Галилеянин, — ответил Пикерт.

— Про этих фюрер ничего не говорил, может быть, они даже истинные арийцы.

-13-

Эти бедолаги умирали дважды. Нет, умерли они только один раз, но смерть для них пришла и по второму кругу.

К исходу первого дня боев белый снег на льду реки Волхов почернел от трупов. Вновь и вновь поднимались красноармейские цепи, поднимались, чтобы броском достичь левого берега, и падали, сбитые, придавленные, сраженные ошалелым огнем укрепившегося в совхозе "Красный ударник" противника.

А день был солнечным и будто бы безмятежным. На добром морозце под лучами солнца искрилась изморозь на ветках и в мелких кристалликах снежной пыли возникали крошечные радуги. Еще недавно бойко чирикали в утоптанных колеях воробьи, стремясь добыть непереваренные зернышки из конского навоза. В лесной чащобе, окружавшей совхозные пашни и сенокосы, мерно стучали трудолюбивые добытчики — дятлы. Теперь вся живность спряталась, будто отродясь здесь ее не бывало. Сейчас люди стремились сделать друг друга мертвыми. Они дрались не понарошку, а всерьез...

Наконец, люди с правого берега достигли другой стороны и, убивая окопавшихся, сумели там закрепиться. Вскоре прилетели самолеты. Они построились в завывающее кольцо и один за другим заходили на бомбометание по оставленным немецкими солдатами позициям. Порой из брюха "юнкерсов" валились супербомбы. Огромные фугасы сотрясали землю и вырывали в ней невиданных размеров воронки.

Потом и это кончилось. Раненых подобрали санитары и отправили в медсанбаты. Те, кому помощь была не нужна, ждали своей очереди. Живое тепло в них исчезло, тела задеревенели, мороз их сохранил такими, какими были они в последнее мгновенье.

Собирать их стали на третьи сутки. Наспех сколотили похоронную команду, в нее вошли обозники и "сорокоты", солдаты старших возрастов из хозяйственного взвода. Не торопясь и не мешкая, запрягли они лошадей в розвальни и принялись свозить с волховского льда и отвоеванного берега трупы. Собирали сначала своих... Поскольку враг на данный момент побежденный, он может и подождать. На площади совхозного поселка фугас

разметал землю, образовав воронку шагов в пятнадцать шириной. Могильщики зачистили ее, поправили края, и получился неуклюжий ров, ему назначено быть братскою могилой.

Туда их, покойников, и свозили. Одного подняли еще на нашем берегу: не сумел добраться до реки. Хватила пуля в грудь, он задохнулся, постоял мгновенье, повернулся спиной к тому месту, которого хотел достичь, и повалился навзничь. Так и лежал, удивленно глядя в прозрачное, без единого облачка небо. А чуть подале обнялись солдат и помкомвзвода. Увидел сержант, как упал землячок из Тамбова, подполз под огнем, обхватил за плечи: что, мол, случилось, браток... Тут его и ударило в темя. Вдвоем их положили на сани и в могиле устроили рядом.

На середине Волхова трупов было больше. Лежали они разно, кто и сидел, с ними хлопотнее — не разгибались... У берега, где оборонялись немцы, убитых мало, а вот в траншеях навалило. Красноармеец штык в противника успел воткнуть, но очередь из автомата ему досталась. Винтовку боец не выпустил из рук, и сейчас она соединила обоих мертвецов, заставляя солдат-похоронщиков материться: разделить врагов и после смерти было трудно...

Они свозили трупы целый день, рядами клали в общую могилу. Когда готов был первый ряд, приехал с того берега начальник и долго мотал душу командиру хозвзвода, лейтенанту-очкарику из запасных.

— Народное добро, — кричал на похоронщиков начальник в белом полушубке, — добро не бережете! Куда вы их таскаете, одетых? Инструкцию забыли? А как потом мне за все отчитаться? Шинели, полушубки, сапоги... Вы б их еще с оружием в руках свалили. Немедленно все снять! Нательное белье оставить! И строго все учесть. Потом я с вас спрошу, бездельники и разгильдяи!

Стали раздевать убитых. Мат, как воздух вокруг от мороза, загустел, стал позлобнее и кощунственней. Не так просто раздеть закоченелый труп... А что делать? Надо. Так положено по инструкции. И то сказать, не такие мы и богачи, чтоб гимнастерки и ботинки несношенные, шапки и добрые еще ремни гнили вместе с теми, кому не повезло. Во что других оденешь, когда прибудут новобранцы из бескрайней и неисчерпаемой России? Народу в ней не счесть, а вот с обмундировкой для красноармейцев плохо. Потому и существовало положение в те месяцы войны: хоронить павших ратников в одном исподнем...

У раздетых трупов вид оказался и вовсе жалкий. Только некому было это заметить. Солдаты-нестроевики озверели от неблагодарной работы, они

мечтали покончить скорей с мертвяками, укрыть их от людского глаза, а ведь еще немцев заставят убирать, растуды их налево и во все стороны.

Но всякая работа приходит к концу. Закончилась и эта. Уже темнело, когда на площади вырос объемистый холмик, под ним укрылось двести восемьдесят человек, собравшихся сюда со всех концов страны.

Начинало темнеть, и сумерки сгустились вовсе, когда загудело фиолетовое небо и с него вновь посыпались бомбы. Немцы посчитали, что русские войска принялись подтягивать тылы, возможно и командные пункты перенесли в "Ударник", авось и приласкаем кого из их начальства подарочным фугасом. В налет никто не пострадал. Кроме мертвых. Полутонная бомба попала в могилу на площади поселка. Взрыв разметал останки убитых. На деревьях небольшого сквера застряли оторванные конечности, повсюду валялись куски туловищ, изуродованные головы, разные части человеческих тел, облепленные обрывками серого солдатского белья.

И снова в бессильной злобе матерились назначенные в похоронную команду пожилые солдаты, а их пятидесятилетний лейтенант, который втайне верил в бога, беззвучно плакал, глядя на свершившееся святотатство, и изумлялся в душе бессердечию всевышнего, который терпел такое кощунство.

Основное они собрали до наступления ночи. Остатки подбирали на рассвете. Братская могила дважды убитых выросла на прежнем месте. В третий раз их убивать не стали.

-14-

Анатолий Дружинин служил в гвардейском артдивизионе. Высокое звание гвардейского дивизион получил за Тихвин, после того как вместе с другими частями 4-й армии отбил его у немцев. Ровно месяц назад, восьмого ноября, когда пал этот город, последняя станция на железной дороге, идущей к Ладожскому озеру, Гитлер торжественно заявил: теперь Ленинград поднимет руки... Но случилось иначе. Генерал Мерецков, только что остановивший финнов на Свири, прибыл из 7-й Отдельной армии, навел под Тихвином порядок, остановил отступление 4-й армии и так организовал контрнаступление, что немцы сами убрались из города, а потом и на левый берег Волхова-реки.

Десятого января обрел дивизион новое имя, стал называться Девятым отдельным гвардейским противотанковым, и придали его 4-й гвардейской дивизии. До конца месяца дрались новоиспеченные гвардейцы вместе с

пехотой и танками за грузинский плацдарм. Грузино — бывшее имение графа Аракчеева, того самого, что был "без лести предан" государю императору, находилось на правом берегу Волхова. Но в Грузине сидели немцы. И как сидели! По Грузине била наша тяжелая артиллерия, самолеты сбрасывали крупные бомбы и бочки с горючей жидкостью — надо было во что бы то ни стало сбить противника с укрепленного пятачка, отогнать за Волхов. Но едва танки и пехота переходили в наступление, из старых подземных казематов гитлеровцы открывали бешеный огонь. Трудным орешком оказался этот плацдарм...

Дивизион поелику возможно подолбал немцев у Грузино. А когда ударная армия Клыкова прорвала вторую линию обороны у Мясного Бора и вырвалась, на оперативный простор, гвардейцев-истребителей перебросили туда. Артиллеристы одолели Волхов у поселка Селище. Они оказались на левом берегу, где только что закончились бои. Вокруг все было серым. Земля, перемешанная со снегом, едкий дым над пепелищами, безучастные лица трупов, низкое, уставшее смотреть на скорбные результаты человеческого безумия небо...

Первые бойцы натолкнулись на труп женщины. Она лежала у куста ивы, прижав к груди трехлетнюю девочку. Голова девочки была приподнята, будто силилась она заглянуть матери в глаза. На ресницах застыли слезы. Белокурые волосы шевелил ветер. Ветер становился сильнее, развел поземку, и поземка намела у трупов небольшой сугробик. Поодаль находились старик со старухой. Старик сжимал в руках плотницкий топор с широким лезвием, а старуха подняла руку со сложенным в троеперстие пальцами — оборонялась крестным знамением...

— Кто их? — прошептал наводчик Илья Киреев. — За что?

Ему не ответили. Трясущейся рукой полез Киреев в карман за кисетом. Позади закричали:

— Почему остановились? Продолжать движение!

Илья подбежал к тягачу, тот уже двинулся прочь. Кирееву подал руку заряжающий Назин, и он забрался на сиденье, мрачно глядя перед собой.

Объявили привал. Стали искать, где приткнуться. Уцелевшие избы заняли раненые. Деваться артиллеристам было некуда. Отправились в ближний лес, расположились на опушке под открытым небом. И не только они, но и пехота маялась без пристанища на снегу. Страшно хотелось есть, горячего бы... Но кухонь в Новой Керести не было, остались они за Мясным Бором.

Старшина батареи раздал хлеб, консервы, концентрат "суп-пюре гороховый".

— Сейчас костерок соорудим, — весело сказал командир расчета Анатолий Дружинин, — баланду сварганим...

— А под трибунал не хочешь? — спросил его старшина Сорокин. — Никакого огня! Особист предупредил: "Кто костер разведет, тот, считается, немцам сигналит... И значит, приговор окончательный и обжалованию не подлежит, привести в исполнение на месте..." Соображаешь, сержант?

— Вполне, — ответил Дружинин, — А что нам с этими кирпичами делать? — Он подбросил в руке заледеневшую буханку хлеба.

— Солдатскую смекалку запряги, — бросил ему старшина и ушел в другую батарею.

— Топором его, Толя, — сказал Назин. — Кузя, давай ментом к тягачу! Волоки топор...

— Я что, лысый? — проворчал подносчик снарядов, небольшого роста солдатик по фамилии Кузин. — Чуть что — сразу Кузя, Кузя...

— Давай-давай, — оборвал его Назин. — Старших надо слушаться, парнишка.

Он призывался еще за два года до войны и справедливо считал себя старшим по отношению к Кузину, призванному весною сорок первого. Кузя принес топор. Командир орудия положил буханку на пенек, рубанул разок и заматерился. В основном досталось старшине, его печенке и ближайшим родственникам. Топору промороженный хлеб не поддавался, крошился на мелкие кусочки.

— Погоди, — остановил его Назин, — не суетись, сержант. Тут я рядом саперов видел...

От саперов заряжающий появился с двуручной пилой.

— Клади буханку, — сказал Дружинину. — А вы держите!

Двое держали, двое пилили буханку, как бревно. Получилось.

Кое-как поели. Уже стемнело. Надо было придумывать ночлег. Мороз все давил и давил, к полуночи стало совсем невмоготу.

Киреев сплюнул, и все услышали, как, упав на землю, тоненько звякнула льдинка затвердевшей на лету слюны.

— Ни хрена себе уха, — сказал наводчик. — Тут мы все к утру замерзнем. Ну и война! Разве так можно? Огонь не разводи, в избах места нету... В такой мороз добрый хозяин собаку на двор не выгонит, а мы, люди, хуже собак сейчас.

Назин достал флягу и тряхнул ею.

— Может быть, согреемся, командир? — предложил Дружинину неуверенным тоном. — Спиртик тут у меня, чистяга...

— Спрячь, — коротко бросил Анатолий. — Он врет, твой спиртик. После него-то скорей замерзнешь.

— Лично я не возражал бы глотку промочить, — придвинулся к Назину Киреев. — А то ведь околеваю...

— Разговорчики, Киреев! — оборвал наводчика Дружинин. — Солдат, гвардеец... Разнюнился, как баба. Двигайся побольше!

Он встал с поваленного дерева, на котором сидел, и затрусил вокруг тягача с орудием. За ним двинулся Назин, подносчик снарядов Кузин, водитель Володарский. А Киреев походил-походил по тропе, потом уселся на станину орудия, привалился спиной к казеннику и затих.

А мороз все жал. Они промерзли до костей, чертовски устали, ноги пронизывала ноющая и саднящая боль. Хруст снега под обледеневшими валенками казался вызывающим, был раздражительным, царапающим душу. То один, то другой на ходу засыпал, спотыкался и падал с тропы в снег. Неожиданное падение прогоняло сон. Упавший, матерясь на чем свет стоит, поднимался, остальные, прекратив движение, ждали его, и вновь согнутые усталостью фигуры начинали кружить у тягача с сорокапяткой.

— А что Киреев? — спросил вдруг командир орудия и остановился. — Красноармеец Кузин, проверьте.

Маленький Кузин подбежал к прикорнувшему наводчику, принялся трясти его за плечо.

— Отвали от меня! — заорал Киреев. — Дай поспать... Тебе говорю...

— Живой, — облегченно вздохнул Дружинин. — Но вот мы, бегаючи, выживем вряд ли... Назин! Ломай голову — надо придумать чего ни то, однако.

— Шалаш разве соорудить? — сказал Назин. — Да что в нем толку. Костер нужен! Живой огонь...

— Исключается! — резко ответил командир орудия. — Думай!

Назин крякнул, повертел большой головой, боец носил ушанку последнего размера, хлопнул руками о полы шинели, исчез в темноте.

Вернулся он быстро.

— Сержант, — сказал Дружинину, — надо тягач немного продвинуть, шагов на сто. Пойдем со мной, сам глянешь.

Заряжающий нашел окоп, отрытый в полный рост и очищенный от снега. Когда тягач осторожно наехал на него, накрыв грузным телом, артиллеристы

завалили гусеницы снегом. Просвет между передком тягача и землей закрыли сосновыми лапами, а с кормы завесили проход плащ-палаткой. На дно окопа настлали еловых веток, поверх положили брезент. Назин наполнил соляркой три пустые банки из-под консервов, отчекрыжил по длинному куску от старого ватника и приладил их навроде фитилей. Когда все набились в эту своеобразную землянку, заряжающий запалил фитили. Горели они жарко, но жирно. Безбожно коптили, потрескивали, только от них исходило тепло, его так не хватало гвардейцам.

Они даже подремать сумели до рассвета.

Наутро, когда дивизион готовился сняться и от Новой Керести идти на отведенные ему позиции под Ольховкой, они узнали, что в эту ночь в соседней батарее замерзли насмерть три артиллериста, что приняли "наркомовскую норму".

-15-

На курсы младших лейтенантов Чекин не попал. Когда рота ленинградских сержантов, так и не доехавших до Барнаула, прибыла в Малую Вишеру, им вписали в красноармейские книжки слово "курсант" и объявили, что для них училищем станет поле боя.

"Проявите мужество — дадим вам всем в петлицы лейтенантские кубари..." Вот так-то все и получилось.

А на Волхове уже вовсю дрались. Потери были большими — немцы укрепляли здесь оборону с августа сорок первого года. Выкуривать их было трудно. Снарядов у наступающих частей Волховского фронта в обрез. Полагались чаще на "ура", на штык и гранату, опять же на безотказную "капитана Мосина, образца 1891 дробь тридцатого года". Но ей, этой славной винтовочке, не сладить вовсе с автоматом гансов.

В частях не хватало младших командиров. И курсантскую роту подняли ночью по тревоге, выдали лыжи, сухой паек и при полной боевой выкладке отправили к переднему краю.

Шли в кромешной тьме; вдоль зимника, проложенного от Малой Вишеры к деревне Папоротно, где еще недавно стоял штаб 2-й ударной армии. По зимнику двигались грузовики с погашенными фарами. Иногда лыжники обгоняли плетущихся шагом обозников — те везли в санях продовольствие и фураж.

В Папоротно был привал. Отдохнули часок — и снова на лыжи. К утру пришли в деревню Костылево, это уже на левом, отбитом у немцев берегу Волхова. Так они незаметно и втянулись в горловину прорыва, оставив Мясной Бор, захваченный недавно 366-й дивизией полковника Буланова, по левую руку. Курсантов разбросали по ротам и взводам прорвавшихся частей 2-й ударной, и с того дня все слилось для Степана Чекина в монотонную кровавую круговерть, когда он стрелял в немцев, бросал в них гранаты, подбадривал бойцов, старался не попасть под выстрел снайпера — кукушки.

Его назначили командиром первого отделения и поручили прочесать лес. Левее тем же самым занимался соседний взвод. Вскоре они соединились с красноармейцами этого взвода, заняли опушку леса и перекресток двух просек. Здесь и закрепились. Немцы расположились неподалеку. Через поляну, за которой они сидели, Чекин различал, как гансы переговаривались между собой. Шагов сто пятьдесят или двести было до них, всего-то. А воздух морозный, тихо, далеко слышно...

У Степана одиннадцать бойцов оказалось в подчинении, среди них были и казахи. Кто эти люди, откуда, парень не знал, не было времени познакомиться поближе. Кого помнил по фамилии, кого по имени звал, кое-как обходился. Прикинул — позицию заняли, надо укрепляться. За ночь оборудовали окопы в снегу, замаскировались так, чтоб сверху их не приметили, знали уже, как пиратствуют немцы в небе, проделали в снегу ходы сообщения. Одна беда — не могли развести костер. За костер — смерть двойная: и от противника, и от своих тоже. Но сухари были, опять же по дороге сюда нашли убитую лошадь, и наголодавшийся под Ленинградом Чекин приказал вырубить саперными лопатами по доброму куску конины каждому бойцу в "сидор". Жевали мерзлое сырое мясо, под сухарь оно шло вполне сносно, а казахи, так те и вовсе были довольны.

Так и держали оборону. Спали по очереди, часовых Чекин лично проверял, поэтому дремал урывками, чутко, вроде и не спал, все прислушивался во сне к тому, что происходило вокруг.

Понемногу обмораживались. Пальцы на руках распухли, кожа слезала с них, как кожура с вареной картошки. О картошке Степан мечтал. Так хотелось ему взять в руки дымящуюся, горячую картофелину и не торопясь чистить ее, катая в ладонях и дуя, чтоб хоть чуточку остыла. Но картошки не было. Были сухари и конина. И так дней десять, а может и больше... Степан считал дни, потом сбился.

Приходил командир в полушубке, с ним красноармеец с автоматом. Командир сказал, что он комиссар батальона, в который они входят. Назвал свою фамилию, потом имя комбата, но Чекин вскоре забыл и то, и другое. Комиссар подивился их маскировке, похвалил окопы и ходы сообщения и сказал, что если немцы полезут на них, то держаться надо до конца. Степан пожал плечами и ответил: "А как же иначе?" Комиссар внимательно всмотрелся в осунувшееся лицо маленького сержанта и спросил, сколько ему лет. Чекин покраснел, ему в ноябре исполнилось восемнадцать, а рядом были бойцы, слушали. Степан нахмурился и пробормотал, что, дескать, уже двадцать ему, с гаком.

Комиссар улыбнулся, взял сержанта за плечо, дружески встряхнул. Представлю всех к награде, сказал он. С тем и ушел. Больше его Чекин никогда не видел. Награды Степан так и не получил, но, вспоминая порой об этом посещении, на комиссара не обижался. Кто знает — может быть, и не дошел он тогда до командного пункта.

А немцы на их позицию почему-то не лезли. Левее все время шел бой, не смолкал грохот артиллерии, рвались мины, да и ихние самолеты кружились в той стороне. А тут тихо. Чекин уже нервничать стал, и красноармейцы, это он видел, потихонечку психовали от ожиданья. Но вскоре им подвезло. Накануне снова разгорелся бой на левом фланге, в лесу, а с восходом скупого зимнего солнца Степан вдруг углядел, как на поляну вытянулись десятка два немцев, а следом повозка с лошадью. "Братцы, — сказал Чекин, — такой случай упускать нельзя. Дадим немцам жару и сами погреемся..." И как только оказались гансы напротив чекинских красноармейцев, ребята дружно врезали из винтовок, а пулеметчик Миша, фамилии его Степан не помнил, умело стал строчить из "дегтяря".

Поднялся истошный крик. Застигнутые врасплох, солдаты заметались. Лошадь в повозке убили сразу, и Степан подумал, что это кстати: запасы мерзлой конины уже истощились. Человек десять они уложили в снег навсегда. Остальные подхватили раненых и скрылись в лесу. Вечером бойцы пошли за трофеями. Автоматы подобрали, гранаты на деревянных ручках, удобные такие для приведения в действие, и бросать их ловко, с нашими работать не так сподручно, а главное — галет набрали, и шли они после сухарей вроде как за лакомство ребятам.

На второй день Степана с отделением сменили другие бойцы, и перебросили их в 372-ю дивизию — оборонять и расширять проход, по которому шло

снабжение для 2-й ударной. А в какой они были раньше части — Чекин так никогда и не узнал. Теперь они заняли оборону у деревни Теремец Курляндский. Самой деревни не существовало, от нее остался один дом. У этого дома, на огородах, и оборудовал окопы Степан Чекин. У Теремца Курляндского жилось им получше. Порой горячую пищу доставляли в термосах и по сто граммов мальчишкам давали. Водку никто прежде не пробовал, да и сейчас морщились, не научились пока.

Вместо сухарей появился хлеб. Правда, он промерзал насквозь, но ребята приспособились делить его пилой на пайки, а мерзлые куски прятали на груди, где хлеб отходил до положенного ему состоянья.

Неплохое затеялось житье, только длилось оно недолго. Ночью подняли по тревоге и вывели всех на другую сторону Теремца. Там сосредоточились красноармейцы из других рот; принял Степана под опеку и новый командир взвода, младший лейтенант, фамилию его Чекин тоже не запомнил, но что хорошим он был командиром — это в памяти сохранилось... Тут объяснили их взводному задачу. Пройдете, значит, пять-шесть километров в сторону Замошья и там найдете противника. С противником вступить в бой и в эту сторону, к Теремцу Курляндскому, его не пускать, потому как горловину прорыва надо всячески расширять, а немцы будут стремиться ее сузить, а то и перерезать совсем.

С тем и двинулись. Из тех, кто объяснял задачу, никто с бойцами не пошел. Указали только направление. Шли-шли по нему и оказались под носом у гансов. Те подпустили взвод поближе и открыли огонь из автоматов. Убитых пока не было, а вот раненые появились. Стали зарываться в снег. Немцы в лесу, а красноармейцы в чистом поле, неуютно... Чекин заметил справа черную стену леса, скомандовал отделению: "На четвереньках — марш!" Подались к лесу. Командир взвода и остальные отделения отправил туда. Заняли оборону на опушке, окопались, тут и рассветать стало. И пришла беда. Подловила "кукушка" командира взвода. Пуля раздробила ему берцовую кость. Идти в медсанбат не мог. Чекин выделил двух бойцов и отправил командира, а сам остался за него, поскольку был во главе первого отделения, так и полагается по уставу.

Но сначала решил Степан избавиться от "кукушки". Немецкий снайпер еще одного бойца подстрелил, наповал сразил, попав в голову. Если его не остановишь, так он весь взвод перестреляет. Степан прикинул, откуда стреляли, и стал заходить туда по большой дуге, чтоб с другой стороны

подобраться к немцу. Снег был глубокий, идти нелегко, да это и к лучшему, наверно, торопиться не приходилось, хочешь не хочешь, а иди медленно и, значит, осторожно.

Подошел Чекин к снайперу метров на триста. Ближе подбираться не стал. Услышать может... Степан видел стрелка на дереве, хорошо видел. А раз так, то снять его из трехлинейки дело нехитрое, ежели стрелять вообще умеешь. Чекин стрелять умел, научился еще на Невской Дубровке.

Вроде подстрелил "кукушку" Степан, но подходить к дереву не торопился. Немецкие снайперы часто так прикупали ребят. Изобразит этот тип на дереве картинку, будто в него попали, сбросит что-нибудь: вещмешок или чучело специальное... Мужики обрадуются и бежать к дереву: готов, дескать, стервец эдакий. А тот того и ждет, выцеливает братцев-кроликов. Потому Степан и еще две пули в "кукушку" засадил, для верности стало быть.

Снайпер с дерева не упал, уронил только карабин с оптическим прицелом. Зацепился в ветвях, а может быть, и привязан был. Карабин Степан подобрал — бельгийский маузер образца 1924 года — и вернулся к своим. А там его обрадовали: ребята обнаружили длинную канаву в лесу, для оборудования позиции замечательная штука. Заняли канаву и увидели, что к ней из глубины немецкой обороны протоптана тропа. Попытался Чекин рвануться к немцам по тропе, но те так застрекотали из автоматов, что пришлось вернуться и засесть в канаве.

Теперь противник пошел в атаку, только наскок этот отбили шутя. Но завыли мины, появились потери. Чекин раненых отправил в тыл, пришли на замену новые бойцы. Степан едва успел их расставить — снова полезли немцы. Подпустили их поближе и отбились гранатами, кидали гранаты дружно. Чекин был ребятами доволен. Немного передохнули, и тут один боец-казах тащит из дальнего конца канавы немецкий пулемет МГ-34. А другой — чемоданистого вида ящик с магазинами к нему. Степан машинку эту знал отлично (комбат Скублов научил работать на ней), приладил пулемет на сошках поудобнее и, когда немцы снова показались, от души врезал им как следует.

Затихло на время, самый раз дух перевести. Да не тут-то было. Один чудик из второго отделения, заводной такой парень, психованный немного, забрался на сухое дерево, что стояло правее и впереди, и заорал во всю мочь: "Гитлер капут! Гитлер капут!" И такое тут поднялось! Не приведи господи. Немцы форменным образом взбесились. Закидали взвод минами, а потом пошли в атаку. Взвод встретил их залпами, Чекин стрелял из МГ-34, и опять отбились,

правда, едва-едва. Тут и пополнение пришло, десять красноармейцев, и с ними человек в полушубке. Идет по канаве и кричит: "Кто старший?" Показали ему бойцы на Степана, тот на левом фланге был. Подошел, поздоровался. "Я, — говорит, — старшина Петров, назначили меня командиром взвода к вам, будем драться вместе". Степан увидел четыре треугольничка на петлицах, обрадовался. Какой из него взводный? А этот старшина — сразу видно, что кадровый, бывалый вояка.

А гансы опять полезли, начался бой, теперь он едва не закончился для них бедою. И Чекин, и старшина все внимание вперед и влево определили, за правый фланг не беспокоились, потому как немцы туда не лезли. Степан был самым левым, потом два бойца-казаха, за ними Петров и с ним еще человек десять. Тут немцы поднялись и, стреляя из автоматов, пошли прямо на них. Пока отстреливались, в суматохе боя не заметили, что справа от Петрова их траншея вдруг опустела. Казах ткнул Степана в бок и показал, что оттуда все ушли, и сам за спиной Петрова побежал по траншее на тропу. Степан крикнул старшине: "Смотри вправо!" Петров повернулся и в свою очередь показал Чекину, как по тропе двигались к ним полдюжины рослых немцев, поливая все вокруг из автоматов. За ними, шагах в пятидесяти, двигались еще с десяток солдат.

"Давай гранаты!" — крикнул старшина и сам метнул одну за другой две штуки. Немцы попадали. Степан отдал Петрову свою гранату, а сам взял другую у бойца-казаха. Старшина еще одну бросил в немцев и побежал по траншее со второй гранатой в руке. Степан с казахом бросились за ним. В правом конце траншеи, куда прорвались немцы, лежал раненый казах и кричал: "Ходи нет!" Четыре бойца здесь были убиты, семеро раненых лежали на тропе, в снегу. Оттуда, где взорвались гранаты Петрова, доносились стоны ошарашенных разрывами немцев.

"Будем пробивать новую тропу", — приказал старшина. Перевязали раненых и стали утаптывать снег. С великим трудом продвигались по лесу и наткнулись вдруг на роту 82-миллиметровых минометов. "Почему не стреляете, мать вашу вперехлест?" — закричал на них старшина. "Нет команды", — отвечали минометчики Петрову. "А где командир?" — "На поляне, метров сто отсюда". Там стоял домик, из него вышел командир роты со "шмайссером" на плече. "Кто такие, — заорал, — куда идете?" Петров объяснил и добавил, что от взвода у него осталось три человека, и ни одного патрона, кроме той гранаты, что так и держал в руке, ничего... Тут им вынесли цинк с патронами, и принялись они

набивать карманы. Вооружились, вызвали санитаров забрать раненых, а сами отправились в канаву, оборонять рубеж.

Потом Петрова из взвода забрали, снова прибыло пополнение, были убитые и раненые, а Степан все воевал и воевал, будто заговоренный, никак его не цепляли пули. И вот он уже на другом рубеже. Их двенадцать человек, они заняли оборону в двух воронках, а чуть поодаль, в шалашах, раненые бойцы, которые не в состоянии двигаться сами, и потому Степан Чекин не может отступить с отделением ни на шаг. Он ждет, когда стемнеет, чтоб уйти подальше в лес, а немцы все наседают, и солнце будто остановилось в небе... Теперь их в этой воронке только двое, патроны остались лишь в магазинных коробках винтовок и по одной гранате на брата. Стрельба все усиливается, она ближе, ближе, и Степан видит, как в пятнадцати метрах встают два немца, и один из них кричит: "Русь! Едреный русь! Сдавайся! Твою мать..." Тут Степан вместе с бойцом заорали озлобленно и бросили в немцев по последней гранате. Ахнул сдвоенный взрыв, и стрельба прекратилась, тихо стало...

Начали отползать к шалашу, где были раненые. Вскоре еще трое ребят подоспели из второй воронки, сделали волокуши, чтобы тащить раненых в тыл. Пока возились у шалаша, совсем стемнело. Тут послышались голоса в лесу, русские голоса. Это подходил саперный батальон. Саперы вооружены были на славу. И ручники у них, и немецкое оружие, и винтовки СВТ, и автоматы нашего производства. Саперы — славные парни! — помогли им и раненых обиходить, и боеприпасами поделились. А потом дружно жахнули по немцам, те почувствовали, что против них идут с автоматическим оружием, и отступили.

До утра был Степан с оставшимися в живых бойцами у саперов. А утром пошли искать свою часть. По дороге его и зацепил пулей в правое плечо немецкий снайпер.

-16-

Воевать генерал Клыков начал рядовым, в германскую войну, прямо с четырнадцатого года. А вот в следующем окончил уже школу прапорщиков, стал командиром взвода, потом получил под начало роту, дослужился до звания штабс-капитана и должности помощника командира полка, дрался с немцами на Западном, Северо-Западном и Румынском фронтах.

После Октября пошел в Красную Армию, начинал с ротного командира, а закончил гражданскую командиром бригады. В 1921 году подавлял кронштадтский мятеж. В мирное время побывал на различных военных постах,

в том числе и военным комендантом Москвы довелось послужить... Командование 52-й армией принял в июле 1941 года и еще до того, как в декабре 1941 года Мерецков выгнал немцев из Тихвина, перешел в наступление. Двигаясь по обе стороны Октябрьской железной дороги, дивизии его армии освободили Малую Вишеру, ряд других населенных пунктов от Большой Вишеры до станции Дубцы и отбросили немцев за Волхов. В ряде мест клыковцы форсировали реку, преследуя врага, но противник ввел в дело свежие силы и отжал их на восточный берег. И только в районе поселка Водосье и станции Торфяное, находящихся на западном берегу, продолжала атаковать гитлеровцев 111-я дивизия полковника Рогинского.

Семнадцатого декабря был создан Волховский фронт, которому Ставка ВГК в категорической форме предписывала ни на один день не прерывать наступления, начатого 4-й и 52-й армиями. Протяженность фронтов этих армий сокращалась. Одна смещалась к правому флангу, другая — к левому, а между ними занимали позиции 59-я и 2-я ударная, выдвинутые из резерва Ставки.

Двадцать пятого декабря 52-я армия продолжала расширять захваченный ею плацдарм северо-восточнее станции Чудово, пытаясь прорваться к важному стратегическому пункту, и одновременно начала перегруппировку войск к левому флангу. Генерал Клыков имел четкую задачу: с началом общего наступления Волховского фронта двигаться в направлении Луги, охватывая одновременно Новгород с севера и окружая находящиеся там немецкие части. А справа занимала позиции 2-я ударная. Ее ждали еще 18 декабря, но первые боевые подразделения прибыли только в канун Нового года. Предполагалось, что свежие части ударной с ходу вступят в бой и помогут клыковцам развить успех. Но к переднему краю была доставлена только живая сила. Сила была снабжена и вооружена из рук вон плохо. Тылы безнадежно отстали. Николай Кузьмич смотрел-смотрел на это безобразие и распорядился выделить из запасов собственной армии хлеб, продукты, артиллерийские снаряды... Тогда он, конечно, не знал, что военная судьба накрепко свяжет его со 2-й ударной...

Накануне Нового года Клыков выехал в Малую Вишеру. Он хотел проверить тыловое хозяйство и заодно договориться о координации действий с правым соседом. По дороге Николай Кузьмич видел брошенные орудия, грузовики, они принадлежали 2-й ударной.

В штабе Клыков нашел командарма Соколова и рассказал ему о том, что видел на дорогах. Соколов тут же велел генерал-майору Визжилину, начальнику штаба, навести порядок.

— Когда думаете наступать? — спросил Николай Кузьмич.

— Сразу после Нового года, — ответил Соколов. Клыков с сомнением поджал губы, качнул головой.

— Нереально и безнадежно, — сказал он. — У вас тылы еще не подтянулись, второй эшелон, небось, на колесах где-то катит. Поверьте мне, генерал, здешний фронт — твердый орешек. Я воюю в этих краях с осени сорок первого... Обстановка сложная. Немцы укрепились еще в августе. Тот, ихний, берег Волхова — высокий и обрывистый. Это обеспечивает немцам хорошее наблюдение и прекрасный обстрел нашего берега и подступов к реке. Мы проводили разведку боем. Она показала, что система огня противника начисто исключает мертвые пространства. Чем вы будете брать противника, если у ваших пушек нету снарядов?

— Снаряды есть, — возразил Соколов, — только очень мало...

— Четверть боекомплекта, — уточнил член Военного совета армии Михайлов.

Клыков осуждающе покачал головой:

— Это же анекдот, а не наступление...

— Я докладывал Мерецкову. Комфронта заверил меня, что все будет доставлено к началу боя.

— Блажен, кто верует, — пожимая плечами, проговорил Клыков. — Вы все-таки предложите, генерал, отсрочить наступление. Необходимо время, чтобы подтянуть тылы, заготовить огневой запас. Немцев не возьмешь на ура, голых кулаков они не боятся...

Клыков не знал, говорил ли Соколов с Мерецковым, но приказ наступать получили все три армии — его 52-я, 59-я генерала Галанина и 2-я ударная. Только вот единого общего удара не получилось. Немцы отбили атаки армии Соколова, она с тяжелыми потерями отошла на исходные рубежи.

В ночь на 10 января 1942 года генерал Клыков получил приказ Мерецкова прибыть в деревню Папоротно. Здесь находился штаб 2-й ударной. Клыкова встретил порученец командующего фронтом.

— Ждут вас, товарищ генерал. Все в сборе... Пройдите сюда, — гостеприимным жестом показал куда пройти Клыкову капитан Борода.

В комнате, куда вошел Николай Кузьмич, находились трое: Мерецков, член Военного совета фронта Запорожец и представитель Ставки Мехлис. Запорожец смотрел на прибывшего генерала исподлобья. Мерецков мельком взглянул на него, когда тот стал докладывать о прибытии, и опустил глаза к бумагам, которые лежали перед ним. Лев же Захарович, напротив, смотрел на генерала с

благожелательной улыбкой, чему Николай Кузьмич подивился. Всем был известен характер представителя Ставки, и улыбка эта Клыкову не понравилась. О судьбе командарма-34 Качанова, расстрелянного на Северо-Западном фронте в сентябре по приказу Льва Захаровича без суда и следствия прямо на месте, хорошо знали в Красной Армии.

Клыков закончил доклад. Кирилл Афанасьевич оторвался от бумаг и встал.

— Позвольте, — сказал он, — представить вам нового командующего Второй ударной армией — генерал-лейтенант Клыков, ветеран Волховского фронта. Давно воюет здесь.

Клыков удивленно посмотрел на командующего, потом перевел взгляд на Запорожца.

— Поздравляю, генерал! — крикнул Мехлис.

— Да, — продолжал Мерецков, — генерал Соколов отстранен от должности. Со Ставкой вопрос согласован. Принимайте армию и продолжайте операцию.

Открылась дверь. Спросив разрешения, вошли начальник штаба и армейский артиллерист.

— Ваши новые подчиненные, генерал, — сказал Мерецков, улыбаясь.

Улыбка показалась Клыкову вымученной, несколько виноватой.

— Продолжать операцию, — медленно произнес Николай Кузьмич. — Но с чем ее продолжать? Насколько мне известно, армия снабжена из рук вон плохо...

— Выбирайте выражения, командарм, — строго проговорил молчавший до того Запорожец. — Разумеется, отдельные недостатки имеют место, но...

Клыков, не дослушав члена Военного совета, повернулся к начальнику артиллерии, резко спросил:

— Снаряды есть?

— Нету, — ответил тот. — Все израсходованы.

— Ха, — сказал Николай Кузьмич и развел руки в стороны. — Так с каким же, извините, хреном прикажете наступать, товарищ командующий? Без снарядов?

Мерецков вспыхнул.

— Ты военный человек, Клыков! — громко сказал он. — Приказано продолжать операцию, — значит, обязан наступать... Понял? А за неисполнение приказа знаешь что с нашим братом бывает? Тоже мне... Разговорился! Я, может быть, сам...

Он запнулся, искоса взглянул на Мехлиса. Тот сумрачно молчал.

У Клыкова затвердело лицо, резко обозначились скулы, он упрямо сжал губы и смотрел поверх головы Мерецкова в угол.

— Итак? — спросил Мерецков. — Ваше слово, командарм...

— Без снарядов, без дополнительного времени на организацию наступательной операции вести в бой армию нельзя, — твердо, отчеканивая каждое слово, произнес Клыков. — И вы, товарищ генерал армии, знаете об этом не хуже меня.

Мерецков вздохнул. Спокойным, усталым голосом сказал:

— Хорошо. Что вам надо, Клыков?

— Снаряды. И время на подготовку...

— Сколько потребуется снарядов?

— Не менее пяти боекомплектов на прорыв немецкой обороны и потом по два боевых комплекта на каждый день боя. Кроме того, я прошу дать мне минимум пять суток на организацию наступления. Необходимо восполнить потери, которые уже понесла армия...

— Слыхал, Александр Иванович? — Мерецков повернулся к Запорожцу: — Дает командарм... Откуда я их возьму, снаряды? Мне ведь не жалко, только где взять? Негде, Клыков. Весь фронт на голодном пайке. Знаешь ведь: наступаем всюду. И здесь, и в центре, и на юге... Все резервы на строжайшем учете Ставки.

"Может быть, поначалу резервы создать, а потом и наступать... всюду", — подумал Николай Кузьмич, но вслух сказать это не решился, да и не его это дело — решать за Ставку.

— Словом, — продолжал Мерецков, — даем на эту операцию по три четверти боекомплекта...

— Курам на смех, — ответил Клыков. — Мне даже как-то странно слышать это, товарищ командующий.

— Александр Иванович, — заговорил Мерецков с Запорожцем, — как ты посмотришь, если мы отдадим Второй ударной наш неприкосновенный запас? Давай-ка посчитаем.

Кирилл Афанасьевич взял карандаш и лист бумаги, подсел к члену Военного совета. Они стали говорить вполголоса, а Мерецков черкал карандашом по бумаге.

Клыков сначала смотрел на них, потом перевел взгляд на Мехлиса. Вдруг Лев Захарович подмигнул ему. Клыкову стало зябко.

— Вот, — сказал командующий фронтом и поднес листок к глазам, — слушай, Клыков. Получишь сразу полтора комплекта, потом, с началом операции, еще два. От сердца отрываем... Доволен?

— Мало, — сказал командарм.

— Ну, знаешь, — возмутился Мерецков и хлопнул листком по столу, припечатав его ладонью.

Мехлис поднял вдруг руку.

— Товарищ Клыков прав, — сказал он. — Что это за наступление без снарядов? Действительно, Верховный Главнокомандующий требует тщательного сбережения резервов. Они нужны для решительного удара, которым мы в ближайшее время разгромим противника и вышвырнем его с нашей земли. Верно и то, что вашей операции по освобождению Ленинграда придается огромное значение. Поэтому надо удовлетворить просьбу командарма. Как представитель Ставки обещаю вам, генерал, что вы к началу операции получите три боевых комплекта. Остальные два будут подвезены уже в ходе боя... Принимайте армию и докажите нам, на что вы способны.

Мехлис порывисто приблизился к Николаю Кузьмичу и крепко стиснул его руку.

— А время?! — воскликнул Клыков. — Сколько дней даете на подготовку?

— Три дня, — жестко ответил Мехлис. — И ни часом больше... Согласно приказу Ставки Волховский фронт начинает общее наступление тринадцатого января.

-17-

Вилли Земпер вышел из блиндажа, прошел метров пятнадцать по ходу сообщения и стал мочиться на заснеженную стенку окопа, с интересом наблюдая, как желтая горячая моча съедает голубоватый снег.

— Руки вверх! — крикнули вдруг по-русски.

Земпер вздрогнул, согнулся, ожидая удара, и разразился отборной бранью, когда услышал хохот Рудольфа Пикерта. Как истинный баварец, Вилли умел отменно ругаться.

— Перебил удовольствие, — ворчал Земпер, когда они возвращались в блиндаж. — Не мог подождать немного с дурацкими шуточками.

— Уж очень у тебя был философский вид, — сказал Руди.

Он возвращался с патрулирования позиции, промерз насквозь, но был в хорошем настроении, предвкушая добрый завтрак и кружку горячего кофе.

— Я смотрел на тебя и думал, что ты, по крайней мере, решаешь проблему космического порядка. О чем думал, Вилли, когда так вдохновенно поливал стенку?

— О коровах, — ответил Земпер.

— Не вижу связи, — сказал Пикерт. — Ганс! Как насчет жратвы? Твой товарищ проголодался, как нагулявшийся по крышам мартовский кот, оберегая ваш с Вилли покой.

— Кофе в термосе, — ответил Ганс Дреббер, он был сегодня дежурным во взводе и потому освобожден от постовой службы, — а завтрак на столе. Торопись, пока не остыл.

Блиндаж их был рассчитан на шесть человек, но помещалось в нем пока четверо. Кроме трех товарищей жил здесь их фельдфебель Карл Фауст. Пользуясь тем, что обнаружилось свободное помещение, Фауст устроил себе выгородку, занавесив один из углов шелком от парашюта, на котором угодил на их позиции русский летчик.

Сейчас Фауста не было. Он менял группы, обеспечивающие контроль за позициями, которые находились между опорными пунктами. 25-я пехотная дивизия обеспечивала главную полосу оборонительной линии, опираясь на хорошо укрепленные узлы в Трегубове, Спасской Полисти, Мостках, в Любимом Поле и Мясном Бору. Главными были Спасская Полнеть и Мясной Бор. Рядом с последним и находилась рота обер-лейтенанта Шютце, в которой служили Ганс Дреббер, Рудольф Пикерт и Вильгельм Земпер.

Оборонялись здесь они по обычной для зимнего времени схеме. Основную часть пехоты немецкое командование всегда стремилось разместить в населенных пунктах.

С местным населением захватчики при этом не церемонились. Крестьян вместе с малыми детьми выгоняли на улицу, едва дав им время, чтобы собрать пожитки. Люди подавались в начавшие подмерзать с осени болота, на волховские сопки — невысокие приподнятости, что вроде плоских островков возвышались над низменностью. На островах посуше, там и рыли землянки. Иные беженцы забивались в леса, норовили уйти в партизаны, отходили в сторону Пскова, старались выжить в сильные морозы, они начались уже в декабре.

Одновременно проводились серьезные инженерные работы, после которых деревушки превращались в значительные узлы сопротивления, взять их без предварительной мощной обработки артиллерией и авиацией было почти невозможно. На пространствах между населенными пунктами сплошной обороны немцы не создавали. Они не видели необходимости торчать в окопах на морозе, доходящем в эту зиму до пятидесяти градусов. Эти промежутки немцы патрулировали дозорами, усиленными и часто сменяемыми группами. В

случае необходимости, когда создавалась опасность проникновения русских в их тыл через эти участки, дозоры поддерживались сильным огнем всех видов оружия из глубины и с флангов. Кроме того, загодя изготовившиеся резервы контратаковали подразделения Красной Армии.

Так воевали немцы. Русские воевали по-иному.

...Вошел Карл Фауст. Он обвел солдат усталым взглядом, остановил его на Земпере:

— Время, Вилли. Надеюсь, не забыл, что пришла очередь идти патрулем?

— Помню об этом и днем, и ночью, — огрызнулся Земпер. — И даже во сне... Сейчас буду готов.

Пикерт с наслаждением отпил глоток горячего еще кофе, крякнул от удовольствия, погладил себя по груди, он был сейчас в тонком вязаном свитере серого цвета, повернулся к товарищу, который принялся собирать амуницию, спросил:

— Так отчего же все-таки коровы, Вилли?

— Какие коровы? — спросил Земпер, он отводил затвор автомата, проверяя, не осталось ли случайно патрона в канале ствола.

— О которых ты думал, когда мочился на снег окопа, дорогой ландзер.

Вилли улыбнулся во все лицо. Оно стало добрым, просветленным.

— Эх, Руди, — сказал он, и грустная нотка появилась в голосе, — городской ты человек. Тебе не понять крестьянина... Когда идешь по дороге, где только что прошли твои коровы, и видишь желтый от их мочи снег, то сердце готово выскочить из груди от счастья. Так тогда хорошо на душе. И чем желтее снег, тем лучше. Значит, коров у тебя много... Ведь и eine Kuh deckt viel Armut zu — одна корова покрывает большую бедность.

— И ты мечтал, как пригонишь из России стадо коров, которые зальют мочой всю Баварию... Не так ли? — спросил саксонец, прожевав кусок и запивая его кофе.

— В России нет хороших коров, — ответил Земпер. — Разве что в Прибалтике... А здесь все они беспородны. Ублюдки, а не коровы. Нужна серьезная племенная работа на десятки лет. Мне до этого не дожить... Поступлю проще. Закончим войну — отправлюсь в Голландию. Ведь все мы, ветераны восемнадцатой армии, участвовали в походе на эту страну. Вот и пусть отдадут мне мой голландский трофей в виде двух-трех десятков коров.

— Бери уже сотню, Вилли, — предложил Ганс Дреббер.

— Я не жадный, — откликнулся Земпер. — К моим пяти голштинским да двадцать добрых коров из Голландии — о большем и не мечтаю.

Вилли был уже одет. Он повесил на шею автомат и взял в углу карабин с оптическим прицелом, с которым не расставался: авось удастся подстрелить зазевавшегося ивана.

— Счастливо, Вилли, — напутствовал Земпера Руди Пикерт. — Хорошей тебе охоты. Не забывай, что с каждым русским, отправленным тобой на тот свет, ты все ближе к встрече с голландскими коровами. Ведь генерал Кюхлер не позволит тебе отправиться в эту благословенную страну до тех пор, пока мы не победим здесь, в этой промерзшей до земного центра России.

— Удивляюсь, — сказал Дреббер, наблюдая, как Пикерт, закончив завтракать, прибирает на столе, — какого черта ты торчишь вместе с нами в этом вонючем Мясном Бору!..

— А где бы ты посоветовал мне торчать?

— В Плескау, при штабе группы армий, или, на худой конец, в Сиверском, у Кюхлера под крылом. Я говорю о службе пропаганды. Ты грамотный парень, Руди, учился в университете. А язык подвешен не хуже, чем у доктора Геббельса. В качестве пропагандиста ты принесешь больше пользы нашему делу, чем даже Вилли Земпер с его безотказным карабином.

— Может быть, Ганс, может быть, — сказал Пикерт. — Но все дело в том, что я не член партии...

— Тоже недоразумение. Ты, Руди, наш человек, искренне преданный идеям фюрера и национал-социализма, хоть и позволяешь себе порой двусмысленные шуточки. Но это у тебя от интеллигентской закваски, я понимаю... Тем не менее в любой момент поручусь за тебя перед нашей партией. Ты подумай над моими словами.

Ганс Дреббер встал, и теперь Пикерт увидел, что мастерил его товарищ, сидя в углу. Это была аккуратная рамочка, которой Ганс оправил портрет фюрера, его Руди видел в последнем номере иллюстрированной газеты для солдат вермахта. Дреббер повернулся, оглядывая стены блиндажа, их уже украшали шесть портретов Гитлера, отыскал свободное место и стал пристраивать туда седьмое изображение фюрера.

— Выпьем кофе? — спросил Ганс у Руди, покончив с хлопотами. — Я подогрею на спиртовке.

Пикерт согласился. Он давно хотел поговорить с товарищем и подумал, что сейчас как будто подходящее время.

— Послушай, Ганс, — сказал Руди, когда эрзац-кофе был согрет и ландзеры принялись пить его из алюминиевых кружек, — мы знаем друг друга третий год. Для военного времени — это вечность. И я всегда преклонялся перед твоей искренней верой в фюрера. Мне знакомо и его учение, читал и труды коммунистических корифеев. Они утверждают, что за национал-социалистами пошли представители мелкой буржуазии, лавочники, деклассированные элементы, ну и сельские хозяева, вроде нашего Вилли. Но ведь ты, Ганс, типичный представитель германского пролетариата. Дед твой — гамбургский грузчик, отец — квалифицированный металлист, сам ты был призван с военного завода, где работал на фрезерном станке. И таких, как ты, в нашей роте немало. Пойми меня правильно, Ганс. Я хочу разобраться... Уж такой у меня извращенный ум. Не могу принять чего-либо до конца, пока не докопаюсь до сути. Конечно, мне понятна привлекательность идей фюрера, но...

— Погоди, — остановил его Ганс. — Никогда и не с кем не говорил об этом. Тебе, пожалуй, расскажу, хотя и замечал, как ты порой ухмылялся, когда я вешал на стены вот эти портреты. Для меня фюрер — выше бога, мне он дороже родного отца. Хочешь знать почему? Он помог мне ощутить себя Человеком, личностью.

— Даже так? — удивился Пикерт.

— Представь себе... Мой отец, Руди, и дед, кажется, и прадед тоже были социал-демократами. Отец, правда, вышел из этой партии болтунов и вступил в национал-социалистскую. Я был еще мальчишкой, но уже понимал, что у социал-демократов нет цели, не защищают они интересы рабочих. Речи говорить умели, но справиться с буржуазией, с голодом не могли. Довольно быстро выяснилось, что путь, по которому вели нас эти говоруны, порочен. Надо было строить социализм в Германии по Гитлеру. Мы сделали выбор — и не ошиблись. Конечно, наша партия не могла совершить все сразу. Версальский мир заставил сначала вооружаться и показать всем тем, кто терзал бедную Германию, на что способны мы, немцы, когда нас ведет такой человек, как фюрер...

— Ты настоящий наци, Ганс! — воскликнул Пикерт. — Завидую твоей убежденности!

— Дорогой мой товарищ, — грустно проговорил Дреббер и покачал головой, — ты не знал, что такое кнопки...

— Какие кнопки? — недоуменно спросил саксонец.

— Обыкновенные. Те, что используют как застежки на белье и платье. Кнопки... Много кнопок! Двадцать тысяч кнопок! И всего за одну марку...

— О чем ты говоришь, Ганс?

— О кнопках, которые привели меня к фюреру. Послушай, Руди, про это вам не рассказывали в университете. Во времена кризиса, в тридцать первом году, мне исполнилось двенадцать лет. Мой старик получал грошовое пособие, как безработный. Таких, как он, в Германии были миллионы. Правительство бессильно. А толстосумы спешили нажиться, корыстно использовать национальное богатство. И вот крупнейшая в Гамбурге галантерейная фирма решает отказаться от машинного производства. Ручной труд белых рабов стал им выгоднее. Они стали раздавать работу на дом... Приходит мой старик на склад и получает по счету крохотные бельевые кнопки. Махонькие такие штучки, Руди, похожие на небольших жучков или божьих коровок. А к этим "коровкам" придаются сотни картонок с рекламой фирмы: ухмыляется полуголая баба, натягивает чулочки и надпись — "Хуберт Кохинур". Но тут небольшая как будто загвоздочка. Ведь старик Дреббер получает пособие. Узнают, что он подрабатывает у "Хуберта", пособия лишат. Значит, работу эту он берет так, чтоб никто не пронюхал. А коли боится, то стоит ли с ним церемониться, с этим бывшим рабочим, профессионалом высокого класса?!

Дреббер опустил ладонь на края алюминиевой кружки и сжал так, что они едва не сблизились. Руди осторожно разжал его пальцы и высвободил кружку. Ганс не сопротивлялся.

— И вот, дорогой мой товарищ, — продолжал он, шумно вздохнув, — представь себе каморку в подвале. На столе коптит керосиновая лампадка. Вокруг — наша семья. Отец с матерью, полуслепая уже бабка, мои старшие брат с сестрой, Паулю было тогда восемнадцать, потом он погиб в Африке, Лизхен — пятнадцать. Сижу здесь и я, с нами десятилетний Карл и маленькая Мария. Ей только шесть лет... Шесть лет, Руди!

Голос Ганса прервался. Помолчав, он начал говорить снова.

— Перед каждым из нас двумя кучками половинки кнопок. Левой рукой берешь чистую картонку с ухмыляющейся стервой, продеваешь правой снизу часть кнопки со шпеньком и накрываешь ее сверху другой половинкой... Вот и вся операция. Два движения на каждую кнопку. Да еще когда берешь карточку, и еще — откладываешь заполненную в сторону. За каждые шестьсот карточек мы получаем одну марку. Одну, Руди. Двадцать тысяч кнопок, сорок пять тысяч движений. И одна марка... Мы всё потихонечку слепли. Работа мелкая, зрение

напряжено. Через каждые десять — пятнадцать минут кто-нибудь вставал из-за стола, шел в угол, где стояла миска с водой, мочил в ней пальцы и прикладывал к глазам. Нам говорили: помогает. Глаза у всех были красными, а у бедной Марии они постоянно слезились. Теперь я, солдат вермахта, ношу очки, а у сестренки зрение совсем плохое.

Потом пришел фюрер... Фюрер не дал нам до конца ослепнуть, помог вытравить из наших душ рабское начало, оно уже свивало гнезда в сердцах. Отец получил работу. Пауль устроился в порту. Я смог снова ходить в школу. Фюрер вернул нам человеческое обличье. И если надо, я всю эту страну покрою его портретами... Этому человеку ничего не надо для себя лично. Все его помыслы, вся его жизнь принадлежит народу Германии. И пусть я только песчинка, но и составная часть этого народа тоже. Ты понял меня, Руди?

Пикерт не успел ответить. В блиндаж ворвался командир взвода лейтенант Геренс.

— Всем быстро! — закричал он. — Тревога! Русские наступают со стороны Волхова! Занять позиции и приготовиться к бою!

-18-

Александр Иванович Запорожец, член Военного совета Волховского фронта, прибыл на наблюдательный пункт генерала Клыкова, на левый берег Волхова, едва его подразделения продвинулись в глубь вражеской обороны. Клыков не стал ждать, когда ему построят блиндаж, а занял первую же попавшуюся землянку между лежащими рядом деревнями Костылево и Арефино, в пятнадцати километрах от Мясного Бора, за который вела сейчас бой 366-я дивизия полковника Буланова.

— Доложи обстановку, Николай Кузьмич, — сказал Запорожец командарму, и Клыков, водивший пальцем по карте и ворчавший неразборчиво под нос, не услыхал пока в голосе его странной интонации.

— Трудно берем оборону, — ответил Клыков, — трудно... Жестко окопался немец. Авиацию бы сюда! И снаряды вот бережем... Обещанные два боекомплекта так пока и не получили.

— Подвезут, — заверил Запорожец. — Мы тут тебе гвардейские минометы подбрасываем.

— "Катюши"?! — оживился командарм. — Это здорово! За это спасибо, товарищ армейский комиссар. "Катюши" немца с места сдвинут. Он ведь, немец, какой: его только выкури, стронь с позиции... Побежит, аж пятки засверкают. Но

остановиться не давай. Упустил момент, задержался немец — он тут же зарывается в землю. Тогда его снова оттуда ковыряй. Добрые у них саперные войска.

— У нас не хуже, — отозвался Запорожец, беспокойно как-то озираясь по сторонам. — Вы бы только в бой их не бросали, саперов. Чуть где слабинка — специальные войска идут на затычку. А ведь есть приказ Ставки... Беречь саперов надо! Ну, что у тебя дальше, говори...

— По всему фронту наступления армия вышла на шоссе Новгород — Чудово. Тактическую оборону мы прогрызли. Ведем бой за Спасскую Полнеть и Мясной Бор. Бор этот самый полковник Буланов только что взял, докладывал недавно, а вот у Спасской Полисти дивизию полковника Антюфеева противник остановил. Понимает, что мы рвемся к Чудову вдоль железной дороги, а там и Любань недалеко. Не пускают нас туда немцы. Ну что еще? Сто девяносто первая дивизия очистила от противника Любино Поле. Рогинский ведет бой за деревню Мостки. — Клыков посмотрел на часы. — Должен уже взять... Я дал твердые сроки. Рогинский любит, когда ему назначаешь время: взять, мол, деревню к пятнадцати ноль-ноль. И берет... Сейчас связной прибудет, если по дороге не убьют.

— Насчет связного не скажу, генерал, — проговорил Запорожец, — а вот ты сейчас на волоске от смерти... Понял! Растуды тебя налево!

Клыков недоуменно посмотрел на члена Военного совета, смешно заморгал глазами. Он впервые слышал, как матерится армейский комиссар, хотя знаком был с Запорожцем давно.

— На чем ты сидишь, Клыков? — закричал вдруг Запорожец, не в силах больше сдерживаться. — Я тебя спрашиваю?..

— На табуретке, — попытался улыбнуться все еще ничего не понимающий генерал-лейтенант.

— Сам ты табуретка, Николай Кузьмич, прости меня на резком слове... Иди сюда, будущий покойник!

Он подхватил командарма под руку, подвел к входу, где стоял часовой, и ткнул пальцем в тонкую проволоку, уходящую в сторону.

— Вот она, твоя смерть, командарм... Задень ее — и только пыль останется от генерала Клыкова. Да и от меня тоже... Вызывай "саперов! Мне на тот свет рано, да и ты, Клыков, не торопись.

Прибыли саперы. Они установили, что землянка, в которой командарм так поспешно оборудовал наблюдательный пункт, действительно заминирована.

Сто килограммов взрывчатки заложили сюда враги. А проволока, обнаруженная глазастым комиссаром, тянулась к капсюлю натяжного действия.

— Должник я твой, Александр Иванович...

— Должник, — ворчал Запорожец. — Ладно, после войны рассчитаемся. А вот если б жахнуло тут тебя, я бы в карточку твою учетную строгача вписал. Посмертно...

От командира 111-й дивизии прибыл связной и доложил, что деревня Мостки освобождена, подразделения очищают от противника лес западнее Спасской Полисти.

— А сама Полисть? — спросил армейский комиссар. — Когда возьмешь ее, Клыков?

— Там Антюфеев, — сказал командарм, — решительный и смелый командир. И если его дивизия остановилась, значит, там черт знает что у немцев. Хочу сам пробраться туда.

— Нет уж, сиди здесь, — остановил его Запорожец, — не то скоро ты и роты поведешь в атаку... Гости к тебе будут, Николай Кузьмич. И Спасскую Полисть ты к их приезду постарайся взять.

Едва Запорожец уехал, обстановка резко усложнилась. С двух сторон, от Подберезья с юга и от Спасской Полисти с севера, немцы крупными силами пошли в контратаку. Их поддерживал сильный артиллерийский и минометный огонь.

"Хотят взять нас в клещи, — подумал командующий 2-й ударной. — А мы едва-едва зацепились... Может быть, Галанин поможет?"

— Свяжитесь со штабом Пятьдесят девятой армии, — приказал Клыков связисту. — Пусть усилят атаки правее Спасской Полисти.

"Если у Галанина обозначится успех, — размышлял Николай Кузьмич, — немцы бросятся туда и ослабят нажим на нас".

— Кончились снаряды, — доложил начальник артиллерии.

— Не подвезли, значит... Ах вы, стервецы несчастные! Разрешаю израсходовать неприкосновенный запас!

— Но ведь... — начал было артиллерист.

— Разрешаю! — закричал Клыков, и тот исчез.

Вскоре командарму доложили, что немцы в поддержку пехоте двинули танки.

"Только их еще не хватало, — горько усмехнулся про себя Клыков. — Чем их остановишь? Штыками?"

— Товарищ генерал-лейтенант, — обратился к нему начальник штаба, — мы оставили Коломно. Немцы наседают. Подразделения откатываются к берегу реки. Под угрозой деревня Костылево.

— Где снаряды? — закричал Клыков. — Начальника охраны ко мне! И вы все — за мной!

Командарм выскочил из землянки, увлекая за собой группу штабистов. На ходу отдавал приказания.

— Из второго эшелона выдвинуть через Костылево Двадцать вторую стрелковую бригаду! Всю охрану НП в бой! Командирам Триста шестьдесят шестой и Сто девяносто первой дивизий бросить навстречу противнику, который наступает от Подберезья на Любино Поле, все резервы! Приказываю: все резервы, до последнего человека!

— Подвезли снаряды, товарищ командующий, — доложил появившийся начальник артиллерии.

— Чего вы ждете? — резко спросил Клыков. — Немедленно открывайте огонь! Снарядов не жалеть! Где обещанные "катюши"?

Никто командарму не ответил. Он замолчал и смотрел, как недалеко от наблюдательного пункта развертывалась стрелковая бригада, цепи ее стали быстро продвигаться вперед. Немцы тоже приближались. Еще несколько минут, и бригада в шестистах метрах от клыковского НП завязала огневой бой с противником.

— Товарищ генерал, перейдемте в укрытие, — неуверенно проговорил за спиной командарма его порученец, но Николай Кузьмич досадливо отмахнулся.

Бой разгорался.

"Сомнут, — подумал Клыков. — Вон их сколько... Да еще эти танки".

Цепи стрелковой бригады залегли: немцы обрушили на них минометный огонь. Командарм выругался сквозь зубы. И тут вдруг загудело, завыло, зафурыкало. Из-за Волхова, со стороны Городка, протянулись по небу огненно-дымные стрелы. Они накрыли передовые цепи наступающих, вздыбили землю и снег; поле, по которому продвигался противник, заволокло багровой и черно-коричневой завесой.

Наша пехота снова поднялась в атаку. Навстречу ей бежали в ужасе немецкие солдаты без оружия, с поднятыми руками.

"А что у меня на левом фланге?" — подумал командарм, И будто прочитав его мысли, начальник штаба доложил, что немцы, наступавшие от Подберезья,

опрокинуты и отступили по шоссе к Новгороду. Атака танков отбита. Один из них захвачен. Сообщают, будто это какой-то особый, экспериментальный танк.

-19-

Фельдфебелю Фаусту не повезло. Когда русские пошли в атаку и прорвались в их тыл, занимая траншеи вокруг опорного пункта, который защищала рота обер-лейтенанта Шютце, Фауст повел солдат в бой и на повороте траншеи столкнулся с рыженьким и щуплым на вид иваном. Тот потерял шапку, а может быть, ее сорвала пуля. Отросший на голове ежик волос отливал ярко-медным. Иван держал перед собой винтовку с примкнутым штыком и, когда Фауст вывалился на повороте, пронзительно крикнул и всадил фельдфебелю штык в живот.

Боли фельдфебель не почувствовал. Его охватила ярость оттого, что путь ему дальше заказан. Фауст взревел, вскинул автомат и увидел: у автомата нет рожка-магазина. А русский солдат, растерянно улыбаясь, дергал и дергал штык, застрявший в его теле. Они заняли проход. Руди Пикерт, двигавшийся следом, увидел, как все застопорилось, выбрался на бруствер. Он смотрел, как пытается выдернуть штык из Фауста рыжий парень. Фельдфебель ревел и визжал, выпучив глаза. На губах его пузырилась пена. Фауст схватил автомат за ствол и, действуя им как дубинкой, пытался ударить русского по непокрытой голове. Тот, не выпуская винтовки из рук, отклонял голову от ударов, и приходились они по плечам, прикрытым серою шинелью.

Короткой очередью Руди свалил рыжего, и тот упал навзничь, так и не выпустив винтовки. Фауст схватился руками за штык, выдернул его из себя и с громким стоном упал на дно траншеи.

По их телам пробежали Ганс Дреббер и остальные солдаты. Пикерт остановился наверху. Он заметил, что к нему, неистово крича, приближается с десяток русских солдат, спрыгнул в траншею, на ходу оборвал шнурок у гранаты и швырнул ее. Оглянулся и на мгновение оцепенел от ужаса: его граната возвращалась обратно. Руди слыхал от бывалых вояк, что эти русские ухитряются перехватывать гранаты на лету и возвращать туда, откуда они прилетели, но сам такое видел впервые.

"Ловкие черти", — отстранение подумал Руди, будто не его смерть вращалась в воздухе. Но тут же рванулся вниз, упал ничком, стараясь втиснуться в лисью нору, вырытую в стенке. Граната, к счастью, не долетела до траншеи и

разорвалась в воздухе, над бруствером, сбросив на спину Пикерта комья мерзлой земли.

Руди встал на четвереньки, потом поднялся и увидел незнакомого ландзера. Впрочем, его никто бы сейчас не узнал... Осколки разорвали солдату лицо, оно превратилось в кровавую мокрую маску. Он тискал лицо окровавленными руками, завывая и суча ногами. Руди схватил его за рукав, лихорадочно думая, как помочь солдату, но тот вдруг, тихонько заскулив, поднял вверх руки, крутнулся на месте и упал плашмя на дно окопа.

Донесся голос командира взвода. Геренс приказывал рассредоточиться и приготовиться к контратаке. Руди поискал глазами Дреббера. Ганса не было видно. "И Вилли Земпер пропал", — подумал Пикерт, и тут из глубины их обороны заработали минометы.

Атака русских захлебнулась.

После минометной подготовки атаки обер-лейтенант Шютце приказал роте наступать. Пикерт выбрался из траншеи и двинулся вперед, успев сменить у автомата магазин и рассмотрев, что Ганс Дреббер идет слева от него и чуточку впереди. Русские стреляли, но винтовочный огонь их был редок. Беспрерывный треск немецких автоматов, частые очереди заставляли иванов прижиматься к земле — вести прицельный огонь было им трудно. Иные вообще стреляли просто так, не отрывая головы от земли.

А Руди Пикерт и его товарищи упрямо продвигались вперед, поливая пулями лежащее перед ними пространство.

— Вперед, солдаты! Еще немного — и мы сбросим иванов в реку! — браво кричал командир взвода. И вдруг швырнул в сторону автомат, поднял вверх руки и застыл так на мгновенье.

Руди, обогнав Ганса, повернулся и заглянул ему в лицо. Из правого глаза командира взвода, вернее, из того места, где только что был глаз, стекала по шее кровь. Геренс, не опуская рук, закружился вдруг, широко раскрывая рот, будто зевал, и ничком сунулся в изрытый снег.

Руди добрался до большой воронки. На дне ее валялся разбитый станковый пулемет. Рядом лежали два мертвых ивана, а третий, обросший густой черной щетиной, с ужасом смотрел на Пикерта и мелко-мелко крестился. Саксонец застрелил его и собирался бежать дальше, только вдруг завыло над головой, небо разорвалось в клочья, и Руди бросился в воронку, припал к земле рядом с убитым им красноармейцем.

Вокруг грохотало, казалось, небо обрушилось на землю.

"Это дьявольское оружие русских! — мелькнуло в сознании Пикерта, который инстинктивно прижимался к теплому еще трупу врага. — Господи, если ты существуешь, помоги мне выбраться живым... Господи, помоги!"

-20-

Пришел командир танковой роты и доложил начальнику Особого отдела, что захваченная машина исправна.

— Форменная у них чепуха стряслась, товарищ комбриг, — сказал танкист, углядев на воротнике кожаной куртки Шашкова вишневый ромбик. — Видно, когда двинули по нему из нашей мухобойки, — так непочтительно назвал он сорокапятку, — то от сотрясения оборвался провод зажигания. Движок у него и скис. А немчуре и невдомек. Вот и драпанули... В неподвижном танке сидеть — кишка у них слаба. А машина хоть куда! Могу и в бой на ней двинуть...

— В Москву надо двигать, парень, — заметил Шашков. — А пока до Малой Вишеры сумеешь?

— Это нам раз плюнуть. Вот только ледок на Волхове как? Удержит ли такую махину?

— Должен удержать, — произнес Александр Георгиевич.

Командарм Клыков прислал начальника инженерной службы. Тот должен был дать заключение по волховскому льду. Трофей — ладно, а вот собственные танки находились еще на правом берегу, их давно пора было бы двинуть на помощь матушке-пехоте. Армейский инженер обследовал состояние реки и доложил, что сможет нарастить лед до необходимой толщины, только нужна солома.

— А где ее взять? — спросил Шашков и подумал, что теперь он еще и в хозяйственных делах увяз с этим чертовым трофейным танком.

А куда денешься, если есть строжайшее указание фронтового начальства.

Соломы в окрестности не было. Шашков связался с Клыковым, командарм разрешил взять батальон красноармейцев из резерва, те быстро разобрали сараи на берегу и всю ночь укладывали сплошной бревенчатый настил на волховском льду. А утром прилетели "юнкерсы". Они разделились в воздухе на две группы и, завывая, принялись бомбить замаскированные танки на правом берегу реки. Вторая группа метила в одиноко стоявший на шоссе трофей, его не догадались спрятать. Собственно говоря, остался немецкий танк на прежнем месте по той причине, что кто-то слил из его бака горючку. Шашков замотался, продумывая с инженером, как усилить лед, потом сараи крушил для настила и,

между прочим, распорядился доставить бочку горючего на левый берег. Бочку привезли в санях, и только на рассвете явился к начальнику Особого отдела прикомандированный к нему танкист и доложил, что привезли с того берега солярку. "Ну и что с того?" — не сообразил поначалу Шашков. "Хреново получается, товарищ комбриг, — мрачно сказал танкист. — Немецкие танки на бензине ходят..." Пока отряжали гонца за бензином — рассвело, тут и воронье налетело.

Впрочем, трофейную машину здорово закидало снегом и мерзлой землей от близких взрывов, а танк ничуть не пострадал. Дождались ночи, и он двинулся в Малую Вишеру. Шашков с инженером подергались немало, опасаясь за крепость льда на Волхове, но, усиленный саперами, лед не подвел, выдержал многотонную тяжесть.

...Штаб армии не отставал от рвущихся к Ленинграду дивизий. Не успел Шашков вернуться из Малой Вишеры в Новую Кересть, как командарм Клыков приказал штабу перебираться дальше на северо-запад, в деревню Огорели, она стояла рядом со станцией Огорелье на железной дороге Новгород — Ленинград. А командный пункт Клыков решил перенести правее, в деревню Ручьи.

Уже была захвачена станция Еглино, 59-я стрелковая бригада оседлала разъезд № 7, а кавалеристы Гусева, подкрепленные 46-й дивизией и одним из полков дивизии Антюфеева, повели через Красную Горку наступление на Любань. Противник стягивал резервы. Боевые действия приняли своеобразный характер. Дрались за немногочисленные населенные пункты, укрепленные немцами, наступали вдоль дорог. Обходные маневры исключались из-за глубокого снега, в нем безнадежно увязала техника, выбивались из сил люди. Отсутствовала и сплошная линия фронта. В промежутки между группками измученных бессонными ночами красноармейцев, лишенных горячей пищи и крыши над головой, просачивались автоматчики. Когда гитлеровцам удавалось незаметно снять часовых, они вырезали русских целыми взводами.

Шашков был с командармом на КП, когда за их спинами началась вдруг ожесточенная стрельба. Посланный командиром роты боец сообщил, что в тыл прорвалась группа автоматчиков. Вскоре ее окружили и стали понемногу расстреливать: сдаваться в плен гитлеровцы не помышляли.

— Надо остановить бойцов, — сказал начальнику Особого отдела командарм. — Перебьют всех, на развод не оставят. А мне "язык" нужен. Распорядитесь, Александр Георгиевич.

Клыков контрразведчика и комиссара называл по имени и отчеству.

— Впрочем, — спохватился он вдруг и расстегнул кобуру пистолета, — я пойду тоже, авось и самому пострелять придется.

Особист хотел было возразить: не дело командарма ходить на немцев с пистолетом, но он знал, что спорить с Клыковым бесполезно, и только мигнул порученцу: выдели, парень, двух надежных бойцов из нашей роты.

Так и пошли, ориентируясь на затихавшую стрельбу.

Позади послышались крики: "Эй! Посторонись! Дорогу дай!" Их догнали крытые санитарные сани. Они свернули вправо, откуда все еще слышались выстрелы. Вот уже деревья скрыли сани, когда Шашков неожиданно метнулся наперерез по натоптанной тропе и закричал возчику, чтоб тот немедленно остановился. На передке саней сидел пожилой солдат. Большая, не по голове шапка-ушанка закрывала верхнюю часть лица, густая, тронутая проседью борода задорно выдавалась вперед.

— Чего надобно? — недовольно спросил солдат Шашкова, который был в белом полушубке и обычной ушанке, без знаков различия. Солдат держал в руках вожжи, готовый вот-вот тронуться с места.

— Кого везешь? — спросил Шашков.

Возчик презрительно отвернул лицо и сплюнул вправо.

— А никого... Вон стреляют в лесу. Али не слышишь? Вот и еду — может, нужен кому окажусь. Тут подошел Клыков с охраной. Командарм посмотрел на задок саней, прикрытых пологом из брезента, и все увидели подошвы огромных ботинок, торчащих из-под полога.

— Вье! — крикнул лошади возчик. — Вье-вье!

Он задергал было вожжами, собираясь скрыться, но Шашков остановил:

— Погоди... Ты все-таки посмотри, кого везешь.

— Вот еще хрукт на мою голову, — сказал возчик и принялся слезать с облучка.

Он обогнул сани, подошел к задку, увидел ботинки и спокойно постучал о подошвы кнутовищем.

— Эгей, парень, — сказал возчик, — давай вылазь, покажись начальству. Вроде бы я тебя не сажал...

Он рассмотрел уже папаху Клыкова, смекнул, что зарвался, но виду не подавал, будто все происходящее его не касалось.

Ботинки оставались неподвижными.

— Кому говорят — вылазь! — озлился солдат и снова стукнул кнутовищем в подошвы.

Повинуясь знаку Шашкова, двое бойцов откинули полог и извлекли оттуда здоровенного унтер-офицера с автоматом на шее. Когда тот выпрямился, растерянно озираясь, оказалось, что рослый начальник Особого отдела едва повыше плеча этого немца.

— Ну и гусь! — сказал Клыков. — Ничего себе пассажир...

— А говорил — никого, — укорил, улыбаясь, Шашков возчика.

Ошарашенный случившимся, солдат молча смотрел, как обезоруженного немца повели красноармейцы. Потом не спеша развязал тесемки, снял шапку, крякнул, поскреб коротко остриженную голову, повернулся к начальнику Особого отдела и с неожиданным надрывом заорал: "Да мало ли их здесь шатается, говнюков эдаких?! Разве за всеми усмотришь?" Тут боец присовокупил собственное мнение о близлежащих родственниках забравшегося к нему в сани немца, так же не спеша натянул на голову шапку, завязал тесемки, плюхнулся на низкий облучок, задергал вожжами, крикнув при этом "вье-вье", и тронулся туда, где выстрелы еще не затихали.

— Вот и "язык" для вас, товарищ командующий, — сказал Шашков. — С доставкой на дом...

— Как вы догадались? — спросил Клыков.

— А я не догадался... Видел, как он из-за ствола метнулся и прыгнул под полог в сани.

— Видели? — удивился Николай Кузьмич. — Но ведь мы рядом шли...

— Профессиональный навык, товарищ генерал. Двадцать лет охочусь за бандитами. А этот пассажир с теми же повадками.

— Пусть его допросят побыстрее, — сказал командарм. — Скажите разведчикам, чтоб подключились. Обстановка у противника быстро меняется. Немцы всерьез озабочены нашим наступлением. Я просто нутром чую, как они отовсюду гонят сюда свежие силы.

...Николай Кузьмич оказался прав. Захваченный унтер-офицер, он был в составе той команды, которая шастала по нашим тылам и сумела выйти на КП командарма, на удивление быстро согласился давать показания. Шашков даже засомневался в искренности намерений пленного. Немцы из группы армий "Север" были крепкими орешками, расколоть их почти всегда оказывалось трудно. А этот заговорил... Конечно, его надо было перепроверить, но уже первая сообщенная им новость была важной и подтверждала опасения командарма: в район Любани прибыли пять новых пехотных дивизий. Они составили оперативную группу, командовал которой генерал Герцог.

Шашков крепко устал за эту ночь и решил дать себе небольшую передышку. Поручив продолжать допрос заместителю, Федору Горбову, прилег в землянке. Но едва он перевел дух, как в землянку вошел возбужденный Федор Трофимович. В руках у него были листки бумаги.

— Что случилось? — спросил Шашков.

— Пленный сообщил... Вот! — И Федор Трофимович подал листки Шашкову.

Начальник Особого отдела быстро пробежал глазами протокол допроса и присвистнул от удивления.

— Дела... — сказал он. — Значит, ефрейтор Гуго Вахман утверждает, будто Гитлер и Франко находятся сейчас в Любани?

-21-

Сведения Гуго Вахмана были верными, но устарели. Гитлер и Франко уже покинули передний край. Третьего дня их специальный поезд вернулся в Сиверский, где располагался штаб 18-й армии, и, не задерживаясь здесь, двинулся в Плескау — так захватчики именовали теперь древний русский город Псков.

Гитлера утомила эта поездка. Вообще-то он любил выезжать к переднему краю, ибо считал, что таким образом держит руку на пульсе войны, не дает генералам ввести фюрера в заблуждение по поводу истинного положения вещей.

Гитлера знобило, он кутался в песцовую шубу, подаренную ему Квислингом, и вяло отвечал на попытки Франко затеять подобие светской беседы. Фюрер не любил каудильо, испанский диктатор был неприятен ему как личность. Но теперь он находился здесь, на восточном фронте, в качестве высокого гостя, и приходилось, скрепя сердце, выносить его общество, делать вид, что помимо политических и военных целей их связывают и дружеские чувства.

Досадуя на собственную неосторожность, которая привела к простуде, Гитлер вспомнил о том, что косвенно в этом виноват Франко, и раздражение его усилилось. Когда они прибыли на позиции испанской пехотной дивизии под Любанью, ее командир генерал Аугустино Муньос Грандес открыто стал жаловаться на сильные морозы, к ним не привыкли его солдаты. Франко не оборвал наглого испанца, это пришлось сделать фон Кюхлеру, сопровождавшему их. И тогда он, Гитлер, вышел из штаба с непокрытой головой и шел до машин, стоявших довольно далеко, демонстрируя пренебрежение к русскому "генералу" морозу. Мальчишество, конечно, только

досадили ему эти проклятые испанцы. Фон Кюхлер жалуется — и вояки они плохие. Видно, придется снять их с опасных участков, оставить за этими голубыми только охранные функции.

Франко дуется — почему его дивизию направили в группу армий "Север", испанцам было бы легче воевать в Крыму или на Украине. Пусть дуется. Если б не уговоры Канариса, он, фюрер, вообще ввел бы войска за Пиренеи. Но эта хитрая лиса Канарис считает, что Испания им выгоднее как невоюющее государство. Конечно, нейтралитет у каудильо липовый, но устраивает он и англичан, и Германию. Только было бы лучше заставить его воевать. И не только символически, как до сих пор...

Гитлер судорожно вздохнул, косо взглянул на Франко, который пил сейчас подогретый апельсиновый сок, едва не утопив крючковатый нос в хрустальном бокале. Фюрер почувствовал к нему физическое отвращение и медленно отвернулся, чтобы скрыть его. Каудильо ничего не заметил. Ему неуютно было в России, особенно в Любани, где умирают его мальчики. Но что поделаешь? Он должен был послать Голубую дивизию в эту варварскую страну, чтоб отблагодарить Германию за помощь в борьбе против красных. Хорошо, что хоть отделался только этим и не дал втянуть себя в общую свалку.

Франко испытал прилив гордости при мысли о том, что сумел устоять против давления со стороны этого страшного человека. "Человека ли? — мысленно усмехнулся каудильо. — Стоит мне войти в помещение, где находится он, как мои ноздри начинают ощущать запах серы..." Ему показалось, что он действительно слышит этот запах, и Франко поднес пальцы к носу, незаметно почесал его.

"Как он похож на еврея! — с тоскою подумал Гитлер. — Испанцы — выродившаяся раса. Присутствие крови мавров и иудеев не могло не сказаться и через века. Мой бог! На какие только компромиссы не приходится идти, чтобы выполнить главный долг — достойно возвеличить народ, к которому принадлежишь сам..."

И вдруг Гитлер, который мрачно смотрел, как за окном быстро сгущаются январские сумерки, с облегчением понял, что питает его отвращение к Франко. "Да, это он — главный виновник моих неприятностей в проклятой стране большевиков, — подумал Гитлер, и сознание его прояснилось. — Это из-за его, Франко, нежелания активно участвовать в войне пришлось перенести сроки начала операции "Барбаросса" на пять недель. Если бы он своевременно закрыл Гибралтар, англичанам теперь было бы не до Балкан... И югославы не

воротили бы носа от союза со мной, не оглядывались на возможную помощь Черчилля. Тогда мне не пришлось бы отвлекать силы на захват Югославии, войска успели бы полностью сосредоточиться и перегруппироваться на русской границе, и началось бы все, как было намечено, 15 мая, а не 22 июня. Пять недель! Пять недель я потерял из-за этого недоноска Франко. И все выглядело бы иначе, если б дивизии группы армий "Центр" подошли к Москве в августе, а не в октябре!"

Фюрер стиснул зубы, но усилием воли заставил себя расслабиться. Теперь он разобрался в причинах плохого настроения, ему прояснилась первопричина некоторых его неудач на Востоке. "Мудр не тот, кто не совершает ошибок, — едва улыбаясь про себя, подумал фюрер, — а тот, кто сумеет не повторять их..."

Фюрер не стал додумывать мысль, резко поднялся, шуба из песцов упала на устланный ковром пол. Он подошел к окну и принялся глядеть сквозь пуленепробиваемое стекло. Петербург теперь был за его спиной и справа, но Гитлеру казалось, будто он различает идеально распланированные кварталы ненавистного ему города.

Вошел адъютант и сообщил: поезд подходит к Плескау.

Франко поднялся из-за стола и осторожно приблизился к Гитлеру.

— Мой фюрер, — проговорил каудильо, — я бесконечно горжусь нашим совместным путешествием в эту поверженную доблестными солдатами вермахта страну. И мой народ...

Он хотел сказать нечто возвышенное о военном содружестве испанского и немецкого народов, но в облике Гитлера вдруг проявилось такое, что Франко запнулся, оборвал фразу.

Гитлер думал об отчаянном сопротивлении русских под Петербургом осенью прошлого года, о новом фронте генерала Мерецкова, который наверняка еще немало досадит ему. Он вспомнил, что сообщают разведчики о чудовищном голоде в Петербурге, о том, что в промерзшем насквозь городе продолжают производить снаряды и танки... В душе Гитлера шевельнулось чувство удивления стойкостью этих людей. Он даже испытал легкий укол зависти.

"Смогли бы так долго держаться мои немцы?" — подумал фюрер.

-22-

Конечно, медсестра Караваева знала, как внезапно возникают и тут же рвутся короткие фронтовые связи между мужчинами и женщинами. Ей было известно о

привычке иных старших командиров приближать к себе хорошеньких связисток, медсестер, санитарок... К чести девушек, надо отметить: они предпочитали общество молодых лейтенантов, взводных и ротных командиров, но у тех возможностей не было почти никаких, хотя чувства были, наверно, более искренними и чистыми.

Впрочем, всяко бывало. Война любви не помеха, скорее наоборот. Но Марьяна не принимала никаких доводов подружек, уверявших ее, что в исключительности фронтовой обстановки есть и привлекательная сторона: даже самая последняя дурнушка не засидится в девках при таком изобилии мужиков. Не надо, разумеется, представлять себе дело таким образом, будто на войне только и делали, что занимались любовью. Но и о ней не забывали тоже. Караваева знала с десяток любовных историй, должна бы вроде и привыкнуть, только вот от Тамары этого не ожидала.

...Прикорнув на часок перед рассветом, Марьяна неожиданно пробудилась, хотя и спала не более четверти часа. Она лежала в темноте с открытыми глазами, прислушиваясь к странным звукам, что приходили из соседней комнаты, из-за тонкой перегородки — там размещался командир медсанбата. Но сегодня Ососкова не было — он уехал в Малую Вишеру за медицинским припасом. Кто же тогда в его комнате? Марьяна, напрягая слух, различила знакомый певучий голос Тамары. Голос прерывался, его сменял неразборчивый шепот, и страсть, которая переполняла его, казалось, прожигала тонкую перегородку. Мужской голос узнать Марьяна никак не могла.

Марьяна порывисто поднялась, оправила на себе одежду, вышла из домика и принялась ждать, когда появятся осквернившие храм милосердия люди, чтобы высказать возмущение. Кроме того, ей не хотелось, чтоб кто-либо узнал, кроме нее, о нравственном падении подруги.

И предосторожность Марьяны оказалась нелишней. Едва она заняла необычный пост, как появился санитар Шмакин с явным намерением войти к командиру медсанбата. Но Марьяна строго отправила его прочь, сказав, что Ососков еще не вернулся. Теперь необходимо было приготовиться на случай, если первым выйдет мужчина. Марьяне не хотелось обнаруживать перед ним, кем бы он ни был, свою осведомленность. Другое дело — Тамара. Той она выдаст по первое число.

И конечно, сначала вышел мужчина. Это был их военврач Саша Свиридов. Почему-то Марьяне казалось, что Тамара выберет чужого. Саша ведь был молодым еще парнем, даже усы отрастил, чтобы казаться постарше. Свиридов

закончил военный факультет Харьковского медицинского института перед самой войной, побывал в окружении под Смоленском, дважды ранен, еще весной сорок первого года женился, и Марьяна знала, что в Ашхабаде у Саши родилась дочурка.

Это ее доконало. Ладно бы какой-нибудь залежный обольститель... Но Саша Свиридов! Боже мой, что творится на белом свете!

— Ты! — свистящим шепотом, голос у Марьяны сорвался, произнесла она, войдя в закуток командира медсанбата, теперь превращенный предприимчивой Тамарой в пресловутый шалаш, где с милым чувствуешь себя как в раю. — Ты... как могла? И с кем! С этим мальчишкой... Какая же ты сволочь!

— Это уже лишнее, — сказала Тамара. — Ты меня не сволочи, Марьянушка. Выслушай прежде. Даже бандитам дают на суде последнее слово. А за это в трибунал пока не отправляют.

Она лежала на комбатовской койке, одетая в солдатские кальсоны, они прятали ее округлые и соблазнительные бедра. Верхнюю часть подштанников прикрывала нижняя мужская рубаха, развязанные тесемки свисали меж упругих Тамариимых грудей, они приподнимали грубое бязевое полотно, образуя ладные такие холмики.

— Понимаешь... — лениво проговорила Тамара, зевнув и виновато улыбнувшись, прикрыла рот мягкой ладошкой, потом потянулась томно, так что хрустнули косточки.

Марьяна гневно глянула на нее, и Тамара вдруг резко поднялась и села на комбатовской постели.

— Прикройся! — придушенно сказала Марьяна и бросила Тамаре гимнастерку, лежавшую на табуретке, — Стыдоба-то какая...

— А чего стыдиться, Марьянушка? — спросила Тамара, натягивая через голову гимнастерку. — Сам бог благословил нас на это , когда создал мужчин и женщин. А Саша… Он хороший. Добрый и ласковый. Я к нему по-простому, как к боевому товарищу отношусь. "Тамара, — говорит он мне, — как ты насчет этого ?" Я и отвечаю, что если желание у тебя имеется, то с моей стороны возражения нету. "Вот и хорошо, — говорит Саша, — понимаешь, чувствую, что приладимся друг к другу... Опять же, — говорит, — для здоровья необходимо". Я его и пожалела.

— Ну и как? — презрительно спросила Марьяна. — Приладились?

— Еще как, — засмеялась Тамара, — Славный он мужик, Саша Свиридов. И никакой не мальчишка... На два года старше меня.

— А любовь? — сказала Марьяна. — Ее-то куда?.. Как животные!

— Не скажи, — возразила Тамара, и в голосе ее зазвучала обида. — Совсем меня засрамила... Скотина, она ведь не ведает, что творит, ей род надо продолжить — и все. А мы с Сашей друг другу радость подарили. И может быть, никогда нам больше не испытать ее. Вот убьют его завтра или меня...

— Что ты каркаешь, дура! — прикрикнула Марьяна. — Удовольствие... Убьют... Безобразники вы! И ничего больше!

Она опустилась на койку рядом с Тамарой, закрыла лицо ладонями и зарыдала. Тамара, натянувшая уже брюки и сунувшая ноги в стоптанные валенки с обшитыми кожей пятками, притянула голову плачущей подруги к груди и принялась гладить ее по волнистым, хотя и обрезанным коротко, волосам, приговаривая: "Ну что ты, родненькая... Успокойся, Марьянушка... Все буду делать по-твоему! Ни одного мужика больше не пожалею..."

Марьяна плакала. Сейчас она и сама не смогла бы объяснить, почему плачет. Та обида, которую вдруг испытала, гневаясь на подругу, странным образом истончилась в ее душе и готова была растаять бесследно. Не волновало больше Марьяну, что в объятиях Тамары оказался военврач Свиридов. Теперь ее мучило иное. Наверное, и плакала она оттого. Марьяна стыдилась собственной вспышки, припоминая упреки, которыми осыпала Тамару.

Она вдруг вспомнила недавний сон и те мысли, которые он вызвал. Привидевшееся показалось ей преступлением, зачеркивающим нравственное право осуждать за что-либо Тамару. В сознании молодой женщины неожиданно взорвалась некая психологическая бомба, она смяла ее духовные устои и заставила обратиться к самой себе. "Не случайно ведь мне приснилось такое , — думала она, — не случайно... Значит, и я преступаю , и более подло, чем Тамара. Преступаю тайно, в сновиденьях, уверенная в безнаказанности, ничего не боясь и ничем не рискуя. И никому не принося удовольствия", — горько усмехнулась Марьяна, вспомнив наивные оправдания Тамары, теперь они казались ей едва ли не святыми...

Она подняла голову, всхлипывая, и не мешала Тамаре стирать ее слезы, смотрела остановившимся, невидящим взглядом. Тамара продолжала бормотать утешительные слова, а Марьяна все корила себя за черствость, самонадеянность и пошлое ханжество. "Кто дал мне право осуждать ее? За какие заслуги возложила на себя полномочия святой? За собственное воздержание? Тьфу! Кому оно нужно, мое воздержание! Желаешь —

воздерживайся, никто тебя не принуждает. Но по какому праву ты судишь других?"

Ей захотелось заплакать снова, но Марьяна услышала: сюда кто-то идет, и превозмогла себя. В дверь, постучав, просунул голову Свиридов и проговорил, стараясь не глядеть на сидевших рядышком медсестер:

— Комиссар объявляет общий сбор. Давайте по-быстрому!

— Что случилось, товарищ военврач? — как ни в чем не бывало спросила Тамара.

— Особисты приехали.

...Их было двое, особистов. Один совсем еще молодой, в перешитом под бекешу полушубке, новехонькой ушанке, сбитой на затылок, со щегольским чубом, нависавшим над левым глазом.

Второго Марьяна знала. Довелось ей однажды перевязывать главного чекиста в дивизии, вот он тогда и приезжал за начальством. Она и фамилию его запомнила. Беляков он, вот кто... Было ему лет сорок, может быть, чуточку побольше, но двадцатидвухлетней Марьяне он казался едва ли не стариком. Правда, морщин на лице Белякова образовалось много, и, наверное, когда он улыбался, они собирались у глаз в добрые лучики.

Был тут и рослый, красивый красноармеец, одетый в старую, видавшую виды шинель, одна пола ее спереди была прожжена насквозь, а на спине расплылось большое масляное пятно. Судя по петлицам, был он из артиллеристов. На голове чудом держалась сплющенная блином шапка. Несмотря на жалкую обмундировку и отсутствие на шинели пояса, выглядел парень довольно браво, и только глаза у него казались просящими, жалкими. Левая рука у красноармейца была обмотана некогда белыми тряпками. Теперь они приобрели кроваво-бурый цвет. Руку артиллерист держал у груди, иногда, когда раненая уставала, он поддерживал ее правой.

Беляков разговаривал с комиссаром, а вокруг молодого особиста и распоясанного парня постепенно стали собираться ходячие раненые, медсестры и санитары.

Одной из последних пришла Тамара. Она увидела раненого красноармейца и подошла к нему.

— Что же ты, милый, руку свою не обиходишь? — упрекнула она. — Давай-ка перевяжу... Экой ты распустеха!

Парень вздрогнул, когда Тамара к нему обратилась, смешно заморгал длинными пушистыми ресницами, испуганно глянул на стоявшего рядом

особиста. А Тамара ловко взяла руку красноармейца и принялась бережно снимать повязку. Он потянул было руку к себе и снова взглянул на того особиста, что стоял рядом. Особист нехорошо усмехнулся, потом махнул рукой:

— Перевяжи, перевяжи его, сестрица.

Тамара заканчивала перевязку красноармейца, у него была навылет прострелена ладонь, когда появился Беляков в сопровождении комиссара медсанбата. Он удивленно глянул на Тамару и раненого, парень виновато улыбнулся и отвел глаза. Беляков вопросительно посмотрел на молодого коллегу, тот пожал плечами, а старший чекист покачал головой.

— День солнечный, — обратился Беляков к комиссару, — и потеплело даже... Соберите людей на поляне. Раненых, кто может двигаться, и медицинский персонал. Времени у нас в обрез.

Комиссар поморщился и отвернулся.

— Караваева, — сказал он Марьяне. — Извести всех...

Стояли полукругом у сосен, кое-кто и за деревья зашел, а на открытое пространство молодой особист вывел раненого красноармейца. Свежая повязка белела на его руке, которую парень не прикладывал больше к груди. Оставив его одного, особист приблизился к Белякову, который стоял на правом фланге рядом с Марьяной.

— Скажете слово, Фрол Игнатьевич? — спросил молодой. Беляков махнул:

— Давай сам, Лабутин, приобщайся.

Лабутин подошел к комиссару, сказал ему что-то, склонившись к уху, и тот кивнул.

— Товарищи красноармейцы! — крикнул Лабутин, когда вновь оказался рядом с тем, кто в одиночестве стоял перед нестройными рядами раненых бойцов и военных медиков. — Доблестные бойцы Второй ударной армии! Перед вами стоит человек, который недостоин больше этого звания! Он хуже ненавистного врага, хуже любого фашиста... В то время, как вы честно проливали кровь в боях с немецкими оккупантами, эта сволочь стреляла в себя! Он сам прострелил себе руку, чтоб спасти свою подлую шкуру... Смотрите!

Лабутин схватил обреченного за левую руку и резко ее поднял.

Лицо у парня искривилось, глаза наполнились слезами, он всхлипнул, а в толпе громко ойкнула Тамара.

— Этот самострел изувечил себя, чтоб избежать смерти, — продолжал Лабутин. — Но разве вы все хотите ее? Нет! Каждому хочется жить, это так... Но лучше

смерть в священном бою, чем то, что ожидает этого подонка... Собаке собачья смерть!

Последние слова Лабутин произнес с особой силой, срываясь на крик, и посмотрел на Белякова. Ему показалось, что старший товарищ насупился, и Лабутин решил перейти к деловой части процедуры. Он знал, что Беляков недолюбливал красноречия при свершении невеселых дел. Фрол Игнатьевич считал, что все сказано в приговоре военного трибунала, коротко сказано и ясно.

И Лабутин принялся читать приговор. Приговор был лаконичным: "На основании таких-то статей... приговорить к расстрелу. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит... Привести в исполнение на месте".

— Кто желает привести? — крикнул Лабутин и расстегнул кобуру.

Среди раненых стоял Степан Чекин. Он случайно попал в этот чужой, не его дивизии медсанбат, когда угодил под выстрел немецкой кукушки. Рана оказалась несерьезной, и сержант упросил Ососкова оставить его для излечения на месте.

— Есть желающие? — снова выкрикнул Лабутин и вынул из кобуры наган,

Степан Чекин видел уже и не такое. Кто побывал на Невской Дубровке, тот на всю жизнь насмотрелся. И голод, и холод прошел, только медные трубы не играли для них торжественных маршей, время для маршей не приспело. А дезертиров при нем расстреливали, и самострелы бывали. Вот еще голосующие находились. Те вроде как похитрее шкурничали, звали немца на помощь. Сидит в окопе и руку над бруствером тянет, голосует, надеясь, что фашист его приласкает пулей, и тогда получит он себе рану что надо, без порохового нагара, без следов тряпки или хлеба, ведь некоторые умельцы руку перед выстрелом обматывали портянкой или приставляли к ней буханку. Только и тех, и других довольно просто ловили и брали на цугундер. Конечно, кто и вывернуться сумел, не без того, и сейчас в тылу загорает...

Желающих привести пока не находилось. Раненые были насуплены, они хмуро смотрели на опустившего плечи парня, но стрелять в него никто не решался. И Степан вдруг вспомнил, как на Невской Дубровке им давали пайку хлеба, похожего на мыло. Ее делили на части, чтоб растянуть на весь день, и хлебный запас никто не прятал, он лежал у каждого в блиндаже на полочке при нарах. Но вот хлеб стал вдруг пропадать. Обнаружить вора делом оказалось несложным, поймали с поличным. И все разрешилось само собой. Никаких тебе допросов у следователя, ни прокурора с трибуналом. Вытащили вора из

блиндажа в траншею, там его и кончили по молчаливому приговору, списав все на немецкого снайпера. Такое время — голодное и жестокое.

Правда, сам Чекин в того подонка не стрелял, по молодости его освободили. Но солдатскую казнь одобрил, хотя, признаться, и жутковато было. Сейчас же к рослому и статному парню, его выправку не могли скрыть ни жалкая одежда, ни униженное положение приговоренного к смерти, Чекин испытывал чувство брезгливости. И ничего больше.

А этот стрелявший в себя боец думал сейчас о смерти. Он уже приготовился к ней, когда ему объявили приговор в трибунале, когда везли его из дивизии в медсанбат, чтобы расстрелять в назидание остальным. Только новая перевязка, ее свершила умелыми руками Тамара, скомкала душу. В сознании вдруг затеплилась надежда. Ему показалось: все, что сейчас происходит, не настоящее, понарошку. Пугают его, наставляют подлым примером красноармейцев, все скоро кончится, его отправят в штрафную роту, и там он искупит, обязательно искупит свою вину. Ведь не боится он смерти теперь! Теперь он, после всего, ничего не боится! Только бы позволили искупить...

Пусть разрешат ему умереть в бою! Лишь бы не так... Не хочется умирать, как собака! Не надо собачьей смерти... Эти слова рвались из него, но приговоренный к расстрелу молчал.

Когда Лабутин стал вызывать желающих исполнить приговор и никто не откликнулся, вновь колыхнулась в сердце самострела надежда. Он ищущим взглядом всматривался в суровые лица бойцов, стараясь разглядеть в них сочувствие, но красноармейцы отводили в сторону глаза...

В третий раз возвысил голос Лабутин. Но теперь в призыве его звучала некая безнадежность, он понял, что желающих не найдется, и призывал больше для порядка.

И тут решилась Марьяна. Не раз говорила она подругам, как собственными руками задавила бы человека, струсившего в бою. Такой вот и был сейчас перед ней. Она вспомнила погибшего в первый день войны мужа, ребятишек, оставленных бабке, осиротеть окончательно они могут ежечасно, увидела вдруг искалеченных, которые страшной вереницей прошли через ее руки, и тех, кто умер, не выходя из шока, и подумала о том, что этот вот красавчик на самом деле страшнее отъявленного фашиста...

Лабутин, не поднимая нагана, крутнул барабан. Марьяна шагнула вперед. Она хотела выкрикнуть: "Дайте мне! Я его расстреляю", но тяжелая рука опустилась ей на плечо и остановила.

Не пустил ее Беляков.

Марьяна повернулась, изумленная, и увидела добрые, а сейчас и укоризненные глаза Белякова. Он притянул ее за плечо к себе и, склонившись к уху, сказал:

— Ты что, дура? Хочешь, чтоб и после войны он тебе снился? Не егозись... Лабутин сам. Он справится, умеет.

Лабутин всего этого не видел. Теперь он знал, что процедуру заканчивать ему. Левой рукой приподнял шапку, скользнул ее краем по лбу, подбирая чуб, и плотно нахлобучил на голову. Затем еще раз крутнул барабан револьвера и медленно взвел курок.

Только сейчас до конца осознала Марьяна, что собиралась сделать. Ее затрясло всю, она повернулась, закрыла лицо руками и пошла прочь; раненые расступились, давая сестре дорогу. И Марьяна не видела, как Лабутин зашел приговоренному за спину, а тот вдруг пал на колени, протянул руку к стоявшим в молчании людям и зашептал, с трудом разлепляя запекшиеся губы:

— Товарищи, помилуйте… Помилуйте! Товарищи, помилуйте...

А Лабутин медленно поднял наган и направил ствол в затылок парня. И солдат ощутил движения особиста. Он вскинул руки, упала в снег его жалкая, не по размеру шапка. Приговоренный обхватил голову, заросшую волосами, будто пытаясь уберечь ее. И тогда Лабутин выстрелил. Потом дал верности еще два раза. Пули нагана раздробили кисти рук казненного теперь солдата и пронизали мозг.

Не отнимая рук от головы, красноармеец некоторое время продолжал стоять на коленях, будто в него и не стреляли вовсе, хотя каждый выстрел толкал его вперед. Лабутин подождал несколько секунд, потом ткнул казненного стволом револьвера в плечо. Труп мягко завалился набок.

— Расходитесь, товарищи, — закричал Лабутин, — и залечивайте честные раны, полученные в бою с гитлеровскими захватчиками! И расскажите об увиденном сегодня товарищам по оружию! Пусть знают все: никакой пощады подлым трусам и предателям!

Он обошел труп и приблизился к комиссару медсанбата.

— Прикажите санитарам зарыть его где-нибудь. Думаю, что мероприятие прошло удачно. Лучше бы, конечно, если б кто-нибудь из легкораненых согласился привести... Впрочем, и так хорошо.

Когда Лабутин садился с Беляковым в машину, он спросил:

— Как, по-вашему, Фрол Игнатьевич? Справляюсь я с процедурой?

— Справляешься, — ответил Беляков. — И патронов не жалеешь.

...Едва уехали особисты, поступила новая партия раненых, и в начавшейся обычной суматохе отодвинулись недавние события. У Марьяны один за другим умерли два красноармейца, и сестра поймала себя на том, что приняла их смерть равнодушно. Это расстроило ее, она сделалась сама не своя. Трудно представить, во что бы вылились выпавшие на ее долю за короткий промежуток времени тяжелые испытания, если б не стряслась иная беда: к медсанбату прорвались немцы.

Это была одна из рейдовых поисковых групп в составе двух взводов автоматчиков. Используя своеобразие фронтовой обстановки на Волховщине, когда русские вели наступление не сплошной линией, а только по опорным пунктам, германское командование посылало летучие группы хорошо вооруженных солдат из числа ветеранов в тылы 2-й ударной армии с заданием нападать на штабы, отдельные подразделения, перехватывать обозы с боеприпасами и продовольствием.

Группа, которой командовал обер-лейтенацт Цильберг, проникла в расположение русских несколько дней назад. Ничем не обнаруживая себя, немцы обошли ряд мелких подразделений, стараясь не распыляться на незначительные стычки и выискивая добычу покрупнее. Они рассчитывали напасть на штаб 46-й дивизии, но штаб недавно передвинулся вперед, и Цильберг потерял бы его из виду. Тогда он решил взять "языка", чтобы сориентироваться в обстановке. Но захваченный в плен старшина, который вез в санях продукты к переднему краю, не сказал ни слова. Пришлось его заколоть. Поэтому, когда обер-лейтенанту доложили о том, что обнаружен медсанбат, он облегченно вздохнул: легкая добыча, которая не будет стоить ему ни одного ландзера (наёмник, — нем .), к тому же тут целый легион штиммефанген (немецкий военный жаргон, выражение — калька с русского "взять языка"). От раненых толку мало, если их подстрелили давно, но военные врачи, несомненно, знают, где находится штаб. И потом, обер-лейтенант Цильберг отдавал себе отчет в том, что, уничтожив такое крупное, но вовсе беззащитное медицинское подразделение, как санитарный батальон, он нанесет чувствительный удар по врагу,

...Первым увидел немцев один из братьев Садыковых. Он вышел глотнуть свежего воздуха, так как кружилась голова от запаха крови и лекарств, и незаметно для себя зашел в глубь леса метров на двести. Садыков, это был старший из братьев, сначала учуял запах немецких сигарет и насторожился. Он еще не видел самих гансов, но услыхал их речь и принялся осторожно

смещаться к медсанбату. Последние метры Садыков уже бежал изо всех сил, хватая ртом воздух. Так он и ворвался к комиссару, с раскрытым ртом и непривычно расширенными глазами.

— Немцы, товарищ комиссар, немцы!

— Какие немцы, Садыков? Откуда они?

— Сюда идут! Я автомат пошел брать.

Санитарам полагались обычные винтовки, но Садыков-старший раздобыл где-то два автомата, себе и брату, и тщательно прятал их, особенно от начальства, резонно опасаясь, что отберут.

Теперь они пригодились, дегтяревские машины. Садыков-старший занял позицию там, откуда увидел немцев, а брата послал на противоположную сторону, справедливо полагая, что фашисты появились здесь не для прогулки.

Комиссар же, не мешкая, поднял врачей и сестер, санитаров, раненых, тех, кто мог держать оружие в руках. Таких в медсанбате оказалось довольно много, да вот беда — вооружить их было нечем. У врачей, правда, имелись пистолеты, у санитаров — винтовки, только куда им против автоматов. Но драться собирались все. Кулаками, зубами, саперными лопатами, чем придется. Тут-то санитар Шмакин и заявил, что у него имеются два ящика гранат. Разбираться, откуда они взялись, было некогда, и комиссар распорядился раздать гранаты раненым и санитарам.

Солдаты Цильберга одновременно окружали медсанбат. Двигались они осторожно, медленно, держа наготове автоматы, но шагали в полный рост, уверенные в безнаказанности. Садыков-старший хладнокровно подпустил их поближе и ударил из автомата. Эти очереди на какие-то мгновения ошеломили немцев. Но они залегли и открыли бешеный ответный огонь.

Так начался этот неравный бой. В первые же его минуты из-за беспечности и самонадеянности обер-лейтенант Цильберг потерял нескольких ландзеров. Что ж, война есть война. Но и русские обречены, он перебьет их всех на расстоянии, забросает гранатами, даже не поднимая людей в атаку.

Но русские, раненые и "клистирные трубки", продолжали отбиваться.

Медсестра Караваева залегла в неглубокую яму с трехлинейкой, которую ей дал комиссар. Стреляла Марьяна хорошо, спасибо погибшему мужу, заставил учиться, сдала она даже на ворошиловского стрелка. Правда, немцев не было видно, они зарылись в снегу и стреляли по медсанбату из-за сугробов. Но Марьяна и целилась туда, откуда раздавались очереди, откуда доносились неясные крики: то ли команды, то ли проклятия.

Военврач Свиридов, залегший рядом, стрелял из пистолета. Пистолет, конечно, не винтовка, разбрасывает сильно, кучности от него не жди, на сильном морозе нередко отказывает, но другого оружия не нашлось, и Свиридов целился аккуратно, по всем правилам. У него было две обоймы. Первую он уже использовал, и теперь стрелял редко, боясь проворонить и выпустить последнюю пулю.

А враг подбирался все ближе. Комиссар прикинул расстояние до него и велел группе легкораненых бойцов и санитаров выдвинуться вперед и метнуть по две гранаты, одну за другой, по его сигналу.

— Ракету пущу, — сказал он, — красную. Вы сразу и того... Получилось неплохо, метнули как надо. Немцы даже стрелять перестали. Цильберг, правда, быстро пришел в себя.

— Гранаты к бою! — передал он по цепи.

Сейчас он покажет им, проклятым фанатикам. Кстати, с ракетой они придумали неплохо. Имеет смысл перенять.

— Бросать по зеленой ракете! — приказал он.

Цильберг выстрелил из ракетницы. Немецкие гранаты на длинных деревянных ручках полетели кувыркаясь к русским, у которых боеприпасы были уже на исходе.

Их разрывы нанесли урон защитникам медсанбата. Погиб усатый сержант с забинтованной головой, его собирался угостить папиросой Лабутин. Осколками ранило комиссара, положило на месте двух санитаров. Были потери среди раненых, ожидавших отправки в тыл и уже предвкушавших заслуженный отдых в госпитальной палате.

Погиб и Саша Свиридов. Граната с деревянной ручкой упала между ним и Марьяной. Военврач быстро схватил ее, видимо, хотел бросить обратно, но даже размахнуться не успел. Граната взорвалась у него в руках.

Свиридов принял на себя все осколки, заслонил Марьяну и тем спас медсестру. Взрыв оглушил ее, контуженная, она упала ничком, теряя сознание. Марьяне показалось, будто она услыхала в тот миг голос Тамары: "Вот видишь, как получилось. Даже не завтра — сегодня не стало Саши". И еще ей показалось, что она услышала далекое родное "ура!".

Так оно и было. К ним пришла помощь. Правда, она могла и опоздать, задержись Олег Кружилин с ротой хотя бы на полчаса. Вроде бы случайность. Только нигде так безраздельно не властвует его величество Случай, как на войне. Здесь он зачастую легко опрокидывает тщательно расписанные расчеты

гениальных стратегов и талантливых полководцев. А то и приносит нежданные победы.

Нет, не случайно обер-лейтенант Цильберг старался как можно быстрее покончить с медсанбатом, опасаясь, что шум боя привлечет нежелательное внимание. Правда, разведка доложила ему, что поблизости никаких строевых частей противника нет. Откуда было знать ей, что двумя неделями раньше здесь перевязывал задетое пулей плечо Олег Кружилин? А потом, вернувшись в часть, получил приказ отправляться в 46-ю дивизию во главе переданной туда для пополнения роты. К месту назначения были две дороги. Он выбрал ту, возле которой находился медсанбат. И не случайно. Олег запомнил медсестру, что делала ему перевязку, звали женщину довольно необычно — Марьяной, и теперь ему захотелось повидать ее.

Услышав шум боя, Олег тотчас развернул роту. Первый взвод со старшим сержантом Фроловым он послал в обход слева, приказав не ввязываться в бой, пока не начнет атаку с фронта.

— Услышишь "ура!" — открывай огонь, — сказал Кружилин Фролову.

Третий взвод должен был зайти немцам с правого фланга, а сам командир роты с остальными бойцами собирался атаковать обнаглевшую немчуру, которая рвалась к медсанбату, с фронта.

Удар по врагу был сильным и неожиданным. На участке Фролова ландзеры Цильберга быстро смекнули, что почем, и сразу перестали сопротивляться, бросили автоматы в снег, подняли руки. Фролов мужиком был хозяйственным, рассуждал всегда трезво. Он полагал, что пленный немец лучше мертвого, потому как живого можно заставить работать, мертвый же и на удобрение не годится. А работы им, пленным, в разоренной России под завязку. Пусть и вкалывают теперь.

Поэтому Фролов не позволил разъярившимся бойцам прикончить пленных. И, окажись здесь Цильберг, отправил бы и его на Урал или в мифическую Сибирь, о которой ходили среди пришельцев чудовищные слухи. Но обер-лейтенант был там, где атаковал третий взвод. Командир взвода малость промешкал, запоздал на десяток минут и дал возможность Цильбергу отойти с полудюжиной солдат. Конечно, отряди сразу же Олег Кружилин погоню, их бы догнали, но командир роты не знал об этом, а когда допросил солдат и стало ясно, что обер-лейтенанта нет среди убитых и раненых, было уже поздно.

Но еще до первых допросов Олег Кружилин разыскал среди защитников медсанбата Марьяну Караваеву. Она сидела, прислонившись спиной к трупу

Свиридова, и ошалело мотала головой — в ушах звенело и гудело, земля качалась перед глазами. Кружилин бережно поднял ее, поддерживая, провел в полузавалившуюся палатку. В палатке было сумрачно, маленькие целлулоидные оконца плохо пропускали свет. Кругом раздавались стоны раненых, комиссар пытался навести порядок, слышался звонкий, певучий голос Тамары.

— Мне душно, — проговорила Марьяна, и Кружилин вывел ее на воздух.

Небо на западе побагровело, и солнце зацепилось уже за верхушки сосен. Едва оно скроется за ними, на землю придут синие февральские сумерки. Ночи пока еще длинные, а этот зимний короткий как будто бы день тянется нескончаемо долго — столько событий вместил в себя.

Кружилин оглянулся. Снег вокруг был затоптан. Он увидел за помещением эвакороты две санитарные машины и подумал, что там снег почище. Олег повел туда Марьяну. На полдороге она вдруг остановилась, отстранилась и пристально глянула на [90] него:

— Где-то я уже видела вас.

— Конечно, — согласился Кружилин, улыбаясь, — вы перевязывали меня.

— Нет, — возразила она, — не здесь, в другом месте.

Они дошли до санитарных машин. Олег завел Марьяну в пространство между ними, здесь не ступала по снегу нога человека, зачерпнул пригоршню и стал тереть Марьяне лицо.

— Хорошо, — говорила она. — Трите сильнее, не бойтесь!

На разгоряченном лице Марьяны таял снег, капли сползали по лбу и щекам.

— Вот почти и прошло все, — сказала Марьяна и принялась искать платок.

Кружилин выхватил из кармана индивидуальный пакет, быстро разорвал его и стал бинтом стирать капли с Марьяниного лица. Они так увлеклись, что не заметили, как из санитарной машины осторожно выбрался немецкий солдат с автоматом. Он понимал, что долго в машине не просидишь, могут в любое мгновение прийти русские, вот эти же двое, и обнаружат его. Надо добраться до леса, и черт его, Курта Форштадта, возьми, если он не заставит эту парочку помочь ему спастись.

Курт встал метрах в четырех за спиной Кружилина — Марьяна тоже пока не видела немца — и тихонько сказал:

— Ком! Руих!

Иди, значит, и чтоб было тихо...

Кружилин, повернувшись, увидел перед собой изготовленный для стрельбы автомат и ухмыляющегося немца. Тот был без шапки, длинные волосы его свисали на лоб, открывая пробор посередине. Олег смотрел на этот пробор и чувствовал, как спазмы перехватили горло. Внезапное появление немца на секунду парализовало его, но, когда Курт снова заговорил, к Олегу вернулась способность оценивать обстановку. А чего ее оценивать? Хуже не придумаешь. Разгромили немцев, а один из них, оказывается, спрятался в санитарной машине. И вот теперь...

— Снимать, — сказал Форштадт и обвел автоматом круг, показывая, что имеет в виду кружилинский полушубок. — Быстро давай!

Кружилин понял жест немца. Он глянул на побелевшее лицо Марьяны, вздохнул, медленно поднял правую руку и расстегнул верхнюю петлю полушубка. За пазухой у него лежал пистолет, правда, патронов там осталось два или три. Только вот даст ли ему этот тип выстрелить?

— Но-но! — сказал Курт, будто прочитал мысли Олега, и угрожающе повел ствол автомата.

"Нет, не даст, собака, — подумал Кружилин, — не успею... Как глупо все получилось! Надо отвлечь его!"

— Не понимаю, — сказал Олег по-немецки, подбираясь рукой ко второй петле, — на что вы рассчитываете. Уйти вам не удастся даже в моей одежде. Кругом расставлены часовые. Предлагаю сдаться в плен. Слово офицера — вам будет сохранена жизнь, вы вернетесь на родину после войны.

Курт несколько оторопел, услышав чистейшую немецкую речь, да еще с восточно-прусским выговором. Он поначалу ничего не понял, затем вдруг решил: перед ним предатель, перешедший на сторону русских. Что же делать?

Это минутное замешательство стоило ему жизни. Случайно оказавшийся поблизости Чекин сразу понял ситуацию, в которую попали командир и медсестра. Он бесшумно придвинулся, метнулся за кузов второй машины, перевел дыхание и с силой метнул хирургический нож с тяжелой рукояткой в затылок Форштадта.

— Ты даешь, парень, — сказал Кружилин, снимая с трупа автомат. — Силен бродяга! Из десантников небось?

— Нет, просто сержант. Степаном меня зовут.

Вступив в должность командующего группой армий "Север", генерал-полковник фон Кюхлер вызвал к себе подполковника Шиммеля, который представлял в 18-й армии ведомство адмирала Канариса.

— Считайте разговор конфиденциальным, — сказал генерал. — Меня интересует ваша личная оценка обстановки, сложившейся в результате наступления ударной армии русских на волховском участке фронта.

— Не приходится сомневаться в серьезности намерения русских, — сказал Шиммель. — Да, экселенц, никаких оснований сомневаться.

Генерал-полковник знал, как яростно атакует позиции обеих его армий противник. В ряде мест он прорвал оборону и успешно продвигается вперед. Положение становилось все более угрожающим. Зимний штурм Петербурга приходилось откладывать на неопределенный срок. Особенно беспокоила командующего 2-я ударная армия. Если не удастся остановить ее наступление, придется просить у фюрера помощи.

— Вы помните, экселенц, как дрались русские у стен Петербурга осенью, — сказал абверовец. — Энтузиазм их не оскудел за эти недели. Мои люди были недавно в городе. Да, там можно увидеть на улицах трупы людей, умерших от голода. Но среди жителей города не обнаружено никаких следов паники или смятения. А солдаты Второй ударной, кстати говоря, довольно плохо снабженные продовольствием и боеприпасами, будто одержимые, дерутся с отборными нашими дивизиями.

— Что вы можете сказать о перспективных планах противника? — помолчав, спросил фон Кюхлер.

— Я располагаю проверенными сведениями о намерениях русских. Против группы армий "Север" действуют сейчас три фронта — Ленинградский, который пытается пробиться к городу извне, Волховский и Северо-Западный. Задача Волховского фронта вполне ясна. Главное для Мерецкова — заставить нашу восемнадцатую армию отказаться от окружения Петербурга и обойти войска генерала Линдеманна с юга. Четвертая армия Советов соединяется с пятьдесят четвертой в совместном наступлении на Тосно, а затем вместе движутся на Ораниенбаум. Пятьдесят девятая армия наносит фронтальный удар на Сиверский и дальше, в направлении Волосово. Вторая ударная, взломав оборону на линии Спасская Полнеть, Мясной Бор, Подберезье, что она уже успела сделать, поворачивает на Лугу. Северо-Западный фронт генерала Курочкина силами одиннадцатой армии наступает восточнее Старой Руссы, атакует позиции нашей шестнадцатой армии. Ударом вдоль реки Ловать и через

юго-восточную часть озера Ильмень окажет помощь армиям Мерецкова. Курочкин будет стремиться установить связь с северными флангами русских армий, которые в районе Осташкова рвутся на Холм. Этим двойным ударом, который противник нанесет с юга и севера, он хочет уничтожить два наших армейских корпуса между Валдайской возвышенностью и озером Ильмень. Если намеченные операции увенчаются успехом...

— То группа армий "Север" перестанет существовать? Вы пришли к такому выводу, герр подполковник? — спросил фон Кюхлер.

— Делать выводы ваша прерогатива, экселенц.

— Не скромничайте, — проворчал командующий. — Ваша информация бесценна и заслуживает награды. Я позабочусь о ней.

— Прошу вас, экселенц, ничего не предпринимать, — встревожился подполковник. — Видите ли, эта беседа наша... Как бы вам сказать... Вы сами хотели, чтобы она носила приватный, что ли, характер. В первую очередь я должен проинформировать свое берлинское начальство. Но я прежде всего солдат, экселенц, солдат Германии. И посчитал нужным поделиться сведениями с вами, человеком, который решает судьбу рейха здесь, на ответственнейшем и труднейшем участке восточного фронта.

— Никто о нашем разговоре не узнает. Лишь одно соображение. Я немедленно докладываю в ставку о полученных от вас сведениях и требую от фюрера необходимые резервы. Придется провести передислокацию и снять какие-то соединения из-под Петербурга. Дивизии русских в городе истощены и обескровлены, они нам сейчас не опасны. А вот те, что идут с востока...

Представитель Канариса вздохнул. Фон Кюхлер продолжал:

— Естественно, меня спросят об источнике стратегической информации. Кстати, как вам удалось раздобыть ее? Когда вы расписывали далеко идущие планы русских по разгрому моих войск, я, признаться, думал: уж не присутствовали ли вы на совещании в Кремле?

— Ну что вы, экселенц, — грустно улыбнулся Шиммель. — Если бы разведчики получали такую возможность, то войны не возникали бы вообще. Они начинались и заканчивались бы на картах.

"Тонкая работа у этих людей, — подумал фон Кюхлер, — но если они попадают в точку, один вот такой подполковник равноценен армии. Да, обстановка складывается более серьезная, нежели виделось мне. Необходимы резервы! Придется просить фюрера о личной аудиенции. Надо самому лететь в ставку!"

Командующий с нескрываемым интересом посмотрел на Шиммеля.

— Странный вы человек, подполковник. Редко встретишь людей, которые не жаждут награды...

— Фридрих Ницше, экселенц, говорит, что человек был верблюдом и носил тяжести. Потом стал львом и, наконец, сделался ребенком. Фюрер учит нас, как превратиться во взрослого человека. Что касается меня, то я — подросток накануне конфирмации.

Фон Кюхлер не успел ответить. Открылась дверь, заглянул адъютант и срывающимся голосом попросил извинить его.

— Для господина командующего телеграмма особой важности!

— Давайте, — коротко бросил генерал-полковник и нетерпеливо взял телеграмму.

Пока он читал, адъютант стоял вытянувшись рядом, искоса поглядывая на Шиммеля.

— Идите, — сипло проговорил фон Кюхлер, голос у него сорвался, он закашлялся. — Идите!

Адъютант сорвался с места и исчез.

Фон Кюхлер снова углубился в чтение, потом отвел глаза, достал монокль, повертел в пальцах, будто недоумевая, что это у него в руке, раздраженным жестом сунул монокль обратно, поднялся. Подошел вплотную к начальнику абверкоманды, который встал навытяжку, едва генерал-полковник поднялся со стула.

— Знакомы вы лично со Сталиным или нет — не знаю, — сказал он. — Только вы дьявольски осведомленный человек, подполковник. Ваши мрачные пророчества начинают сбываться... Сообщение генерала Буша. Крупные силы русских, которые наступали в южном направлении от Старой Руссы, прорвали нашу оборону. Противник окружил возле Демянска шесть дивизий и две бригады. Сто тысяч солдат и офицеров вермахта попали в котел, подполковник! Сто тысяч! Что я скажу фюреру?

-24-

На этот раз атака захлебнулась. Батальоны стрелковой бригады, которую поддерживали огнем истребители танков, продвинулись вперед на сотню метров и залегли на подступах к Сенной Керести. Наступил рассвет, который не предвещал ничего хорошего оставшимся в живых людям. Они узнали: весь предстоящий день пролежат в снегу, подвергаемые бомбежке и

артиллерийскому обстрелу. И минами противник будет бросаться, это точно. Свои станут стрелять скупо, они ждут ночи, чтобы повторить атаку.

Батарея, в которую входило орудие Дружинина, почти не пострадала. Один убитый в соседнем расчете да трое раненых — это не потери, пустяк. Теперь артиллеристы окапывались, маскировали новые позиции, готовили запасные.

— Наш подопечный стрелковый батальон, — сказал командир батареи, — сегодня ночью идет в наступление. Вместе с другими, конечно. Мы поддерживаем его огнем по обычной схеме, дело вам привычное. Готовьтесь, а я буду на командном пункте.

Батальон занимал позиции на левом фланге 58-й стрелковой бригады перед деревней Сенная Кересть, о которой бойцы никогда прежде не слыхали. Слева, на Кривино, наступала 4-я гвардейская дивизия, о чем артиллеристы узнали случайно, от забредшего к ним заблудившегося красноармейца. А что делается в других местах, артиллеристы не ведали, потому как не положено.

Ровно в полночь начали работать "катюши". Потянулись к немцам оранжевые ведьмины языки, опаляя жарким духом артиллеристов. Впереди бог знает что творилось. Тут и артполк покидал немцам 152-миллиметровые гостинцы. А сорокапятчики молчали. Их дело — следовать за пехотой, оказывать ей поддержку в борьбе с танками.

Вот огонь артиллерии перенесли в глубину обороны противника, ахнула в небо зеленая ракета. Призрачный свет ее выхватил из тьмы вешки над окопами, ими обозначила пехота коридоры для прохода танков. Значит, пошли ребятушки. Даешь немецкого гада и Сенную Кересть! Танки с автоматчиками на броне рванулись вперед. А с ними и артиллеристы подъехали хоть малость. Потом отцепились, орудия развернули, теперь начнется их работа. Танковый удар в сочетании с ударом "катюш" ошеломил противника. Тут еще и ночное время роль сыграло. Не любили гансы ночью воевать, неуютным им казалось это время для драки, неправильным, что ли... А нашему солдату оно вроде бы все равно — что днем, что ночью. Начальство про сие раскумекало и иначе как ночью атак не производило. И частенько небезуспешно.

И сейчас, в эту глухую полночь, гансы дрогнули и отступили. Дружинин глянул окрест и увидел, как в полсотне метров вымахнуло из траншеи с пяток фашистов. Они увидели копошащихся у орудия батарейцев, навели было на них автоматы, но упреждающе тявкнула осколочным пушка, осколки посекли автоматчиков наповал.

— Вперед! — крикнул Дружинин, и бравый его расчет потащил орудие к немецким окопам.

Тут они обнаружили брошенную 37-миллиметровую противотанковую пушку. Наводчик Киреев и заряжающий Назин быстро осмотрели ее: исправна и даже в казеннике бронебойный снаряд — выстрелить фашисты не успели. А в ровике полным-полно ящиков с боевым припасом. Развернули пушку и давай палить по отступающему врагу. А рядом стрелял из своего орудия Толя Дружинин, он был за наводчика, а заряжающим стал у него маленький Кузин. Так и палили из двух стволов, пока не появились комбат Шабуров, старший лейтенант, и ординарец с ним.

— Молодцы, истребители! — крикнул комбат. — Всех представлю к наградам. Иди, Киреев, к нашему орудию, сержанту помогай.

Шабуров наводил, ординарец подавал снаряды, а Ваня Назин заряжал пушку и делал все так ловко, будто всю жизнь стрелял из немецкой тридцатисемимиллиметровки.

Неожиданно перед ними возник танк. Он прятался, что ли, в лощине или подбирался по ней, но возник внезапно и принялся поливать вокруг из пулемета. Пехота залегла. Шабуров изловчился поджечь танк трофейным снарядом, красноармейцы поднялись в атаку и дрались уже во второй линии окопов. И в это время донесся из ближнего леса скрежещущий вой — это сыграл немецкий шестиствольный миномет. Дико проверещали в воздухе мины, и одна из них шандарахнула у трофейной пушки комбата. Клубы дыма и снега закрыли расчет.

— Вот суки! — закричал Киреев. — Угробили ребятишек!

Оседал подброшенный в воздух снег, и рассеивался вонючий, чесночный дым. Ординарцу комбата снесло осколком голову, а старшему лейтенанту перебило пальцы на правой руке. Назин оказался невредимым. Только вот пушка была искалечена изрядно. Осколок ударил в поворотный механизм орудия и заклинил его.

— Отвоевался! — заорал вдруг комбат.

Он был контужен и не слышал собственного голоса, потому и кричал, глядя на изувеченную руку, нелепо выглядевшую без пальцев.

— Не могли мне левую отсечь, собаки!

Дружинин бросился к комбату, затянул убитую руку у основания кисти, чтобы остановить кровь, принялся было перевязывать, но Шабуров оттолкнул его.

— Иди к орудию, сержант! — снова заорал он. — Я потерплю. Да вот и этот перевяжет... Как тебя зовут? Назин, вроде. Мотай бинт, говорю, мотай на кочерыжку!

Снова рвануло за позицией. Они лишь головы пригнули, когда проверещали осколки, а маленький Гриша Кузин негромко вскрикнул, поднял руки, обхватил ими голову, потом захватал-захватал широко раскрывшимся ртом, будто захлебывался, воздух и ткнулся лицом в стреляные гильзы. Назин поднял тщедушное тело, привалил к орудийному щитку, осветил лицо фонариком, увидел, как плывут по щекам красные ручейки. Осколок ударил под каску, пробил висок и вышел на затылке.

— Убили мальчишку, гады!.. Сколько ему было, Дружинин? — спросил комбат, неловко пытаясь обернуть свободным концом бинта набухшую кровью повязку.

— Весной призывался, прошлого года, — ответил сержант. — Девятнадцать-то, поди, сравнялось...

— Небось и бабу не мял ни разу, — некстати отметил Шабуров и хрипло приказал: — Кузина схоронить, позицию удерживать! Иду в медсанбат.

Бой то затихал, то снова разгорался, то снова затихал. Расчет закатил орудие в укрытие и стал рыть для Кузина могилу.

...Рассвет 10 февраля 1942 года противотанкисты встретили в другом месте. В гиблых низинных краях отыскали высокое сухое место. Тут они и расположились с пушчонкой, грустно прозванной с начальных дней войны "Прощай, Родина". Уж очень их много гибло, истребителей-пушкарей.

Позицию в этот раз оборудовали по всем инженерным правилам. Землянку соорудили с двойным бревенчатым накатом, запасных окопов нарыли, тягач закопали в землю, выставили охранение, поскольку известно: шастают гансы в наши тылы.

Справа доносился приглушенный гул артиллерийской канонады — там Ольховка. Там и южнее, перед Мясным Бором, шли жестокие бои за Спасскую Полисть, из нее противник угрожал коммуникациям 2-й ударной. А здесь пока было тихо. Неподалеку тарахтели неутомимые У-2, немцы их прозвали швейными машинками. Они заходили на вражеские окопы и бросали вниз небольшие бомбы. Урону крупного не производили, но пришельцев держали в постоянном страхе и нервной подвешенности.

— Земляк, — сказал Дружинину старший сержант Алексей Шилин, командир соседней пушки, он пришел Анатолия навестить и разжиться у него махорки на

пару заверток, — в тылу у нас немецкие траншеи и блиндажи. А если кто прячется там? Обследовать потребно.

— Что ж, обследуй, — согласился Дружинин. — От нас Киреева возьми. Да пусть прихватит пару лимонок. Только вы, ребята, не трогайте барахло. Фонарики там, ручки, портсигары... Минируют их. Без рук останетесь, не клюйте на приманку.

Добрались до траншеи, Киреев остался снаружи, на всякий случай, а Шилин спустился в уцелевший блиндаж и осветил его. На нижних нарах лежал в луже крови немецкий офицер.

— Сюда, Киреев! — заорал старший сержант. — Нашел! Есть тут одна недобитая падаль. Бросили ее с перебитыми ногами.

Вошел Киреев, мельком взглянул на офицера и сказал:

— Смотри, лампа целая. Керосиновая и со стеклом. Богато живут, пришмандовки.

Он засветил лампу и подошел с ней к нарам, где стоял возле немца Алексей Шилин.

— Перевязывать его надо, однако, — задумчиво проговорил старший сержант. — Теперь он уже не вояка и все ж таки человек.

— Вяжи, — согласился Киреев. — Если очухается, "язык" твой будет, старшой. "Боевые заслуги" схлопочешь.

— Вместе нашли, вместях и заслуги делить, — отозвался Шилин и повернул офицера, чтобы заняться удобнее с ним.

Тот разлепил опухшие губы и забормотал в бреду по-немецки.

Шилин ворчал, перевязывая немца. А тот вдруг раскрыл глаза. Поначалу ничего не понял, а потом различил стоявшего рядом ивана, попытался отодвинуться, зашептал:

— Русс Иван капут... Москау капут... Хайль Гитлер!

Он попытался поднять руку в нацистском приветствии, но сумел лишь немного оторвать ее от беспомощного тела.

— Ну ты даешь, падла! — возмутился Шилин и перестал перевязывать. — Ему помощь, понимаешь ты, а он, кровосос дремучий, фюреру честь отдает! Ты мне, сука, русскому сержанту, козыряй! И пощады проси, курвец несчастный!

Крик Алексея придал Вильгельму Гаузе силы. Окровавленной рукой достал из-под себя парабеллум, но молча следивший за ним Киреев выбил пистолет.

Отогнув край ватного одеяла, что завешивало вход, вошел водитель тягача Гриша Володарский. Остановился в дверях, не опуская одеяла, и морозный

воздух ворвался в блиндаж. Гауптман жадно задышал, судорожно раскрывая рот. Лицо его стало осмысленным, искривилось презрительной гримасой, он приподнялся на локте.

— Русские свиньи! — тихо, но внятно произнес Вильгельм Гаузе. — Капут! Всем вам капут! Хайль Гитлер!

— Поц ты проклятый, — сказал немцу Гриша Володарский. — Поц ты — и больше никто. Поцелуй меня в зад.

Последнюю фразу он произнес для Шилина и наводчика непонятно, и гауптман встрепенулся.

— А, — сказал он, усмехнувшись, — юде... Шаезе юде? Юде капут!

Гриша взвизгнул, метнулся по блиндажу, увидел на столе парабеллум, его положил туда Киреев, ткнул стволом в грудь офицера и нажал на спуск. Патрон был на месте, видно, гауптман стрелял из парабеллума в недавнем бою. Выстрел в упор отбросил офицера, он упал навзничь и сразу затих.

— Не дело, Гриша, — сказал, помолчав, Киреев. — Вреда от него уже нет, а пользу извлечь можно было.

— Извлечь! — скрипнул зубами Володарский. — А какую пользу он получил, расстреляв моих стариков? Что ему сделали они, какой вред от старых людей? Бить их надо, без пощады бить! И правых, и виноватых. Весь их поганый род под корень!

Шилин ничего не говорил. Он подошел к противоположным нарам и стал разбрасывать поношенные теплые вещи.

— Смотрите, братцы, — сказал он. — Прижал мороз голубчиков, в бабьи платки рядиться стали. Отбирают полушубки у мужиков.

Вдруг нары заскрипели, куча тряпья зашевелилась, и из-под нее выполз на свет молодой белобрысый солдат. Будто подтверждая последние слова старшего сержанта, был он укутан в женскую шерстяную шаль, поверх сапог — огромные соломенные боты. Глаза солдата прикрывали роговые очки, сквозь очки было видно, как испуганно глядел он на русских.

Солдат поднял руки и забормотал:

— Гитлер капут! Русский камрад гут! Гитлер никс гут!

— В плен захотел, собака! — закричал Гриша Володарский. — А пулю не хочешь?

— Остынь, — сказал Шилин. — Раздухарился ты сегодня.

— Застрелю пса! — сунул парабеллум в лицо солдату Володарский.

Киреев оттолкнул его и вырвал из рук парабеллум.

— Что это с тобой, Гришаня? — ласково спросил он. — Он ведь безоружный. И сам сдался... А ты с пистолетом, да и трое нас на одного. Нехорошо, брат Григорий.

Володарский, шатаясь, подошел к лавке, сел на нее, руки положил на стол и опустил на них голову.

— Как зовут? — спросил Шилин, он знал немного немецкий.

— Иозеф Гауптман. Берлин, Фридрихштрассе, шесть, — с готовностью ответил тот. — Был денщиком у господина капитана.

— Что ж ты его не перевязал, денщик хренов? — заметил Киреев. — И даже защитить не попытался. Я б на твоем месте так с пяток бы здесь уложил, не менее.

Иозеф Гауптман выпучился на него, не понимая.

— Вас ист дас? — сказал он.

— Вот именно вас, — пробормотал Киреев и пренебрежительно махнул. — Видел я вас на одном месте...

В блиндаже вдруг послышались странные звуки. Они огляделись и увидели, что это плачет Гриша Володарский.

— Ты чего это, дурила? — спросил Шилин и несильно тряхнул Гришу за плечо.

Водитель тягача поднял заплаканное лицо.

— Ребята, — всхлипывая, сказал Володарский, — это до чего же я озверел!.. Убил раненого человека. И пленного застрелить хотел! В какого волка они превратили меня! Что сказала бы на это моя бедная мама?

-25-

К началу февраля тяжелые бои на территории, которую 2-я ударная армия освободила от захватчиков, еще более ожесточились. Кавалерийский корпус Гусева, находившийся до того в резерве Мерецкова, и стрелковая дивизия полковника Рогинского, войдя в прорыв у Мясного Бора, стали стремительно продвигаться в северо-западном направлении, охватывая чудовскую группировку гитлеровцев. Конники Гусева шли на Ольховку и Финев Луг.

Противник в спешном порядке ставил на пути заслоны, но пока кавалеристы относительно легко их сбивали. За пять дней корпус продвинулся на сорок пять километров от Мясного Бора.

Сразу наметилась определенная закономерность в поведении обороняющихся немцев. Когда кавалерийский корпус, а также идущие на острие главного удара 327-я дивизия Антюфеева и 59-я стрелковая бригада продвигалась на

север и северо-запад, все шло относительно нормально. Пришельцы оказывали сопротивление. Оно хотя и с трудом, но преодолевалось яростным и неудержимым авангардом 2-й ударной. Стоило же взять правее, попытаться приблизиться к Октябрьской железной дороге и вообще двигаться в этом направлении, как сопротивление гитлеровцев резко возрастало. Создавалось впечатление, что противник стремится выжать армию генерала Клыкова в малонаселенные пространства, покрытые гиблыми болотами, лишенные транспортных магистралей.

Вскоре наши соединения полностью овладели железной дорогой Новгород — Ленинград на участке Село Гора — станция Еглино. Но беда заключалась в том, что эта дорога вела в никуда... На юге был занятый врагом Новгород, на севере — блокированный Ленинград. До следующей дороги, лежащей западнее и ведущей из Питера в Сольцы, добраться не успели, да это ничего бы и не дало — концы ее опять-таки вели к врагу. Вот бы взять Любань и окружить немцев в Чудове! И бесформенный мешок, каким представлялась на карте освобожденная 2-й ударной русская земля, стал выбрасывать отросток на северо-восток, в сторону Любани.

Надо сказать, что никакой нарочитости в том, что противник слабее сопротивлялся в стороне от Октябрьской дороги, не было. Попросту немцы не создали там сплошной линии обороны и, захваченные врасплох, постепенно отдавали, не без боя конечно, укрепленные пункты. В то же время, чем больше расширяла армия боевые действия, тем длиннее становилась линия ее фронта, появились дополнительные напряжения и трудности. Когда началось наступление, 2-я ударная армия действовала в полосе шириной двадцать — двадцать пять километров. А в момент наибольшего успеха линия фронта достигла двухсот километров. Конечно, командование фронта тут же принялось укреплять армию за счет соседей, но двести километров передовой линии — это не бык на палочке... И вот тогда обнаружились просчеты в управлении войсками.

Наступил февраль. В первый день месяца, на рассвете, выдвинутые вперед разъезды 87-й кавалерийской дивизии уткнулись в укрепленный пункт Ручьи. За Ручьями лежал Апраксин Бор, потом Вороний Остров, а там и рукой подать до Любани. Но конники опоздали. Воздушная разведка противника засекла движение дивизии полковника Трантина. Германское командование спешным порядком бросило сюда резервы, подтянуло артиллерию и танки, лихорадочно

торопясь создать линию обороны, чтобы связать Кривино, Ручьи и Червинскую Луку.

А наши конники слишком далеко вырвались вперед, артиллерия от них отстала, боеприпасов оставалось мало. На внезапность атаки теперь рассчитывать тоже не приходилось. Оставались на вооружении решительность и дерзость. Иногда они помогали. Командир эскадрона Меньшенин любил, например, наносить удары по флангам. Вот и теперь он решил обойти деревню Ручьи с востока, увлекся, зашел немцам в тыл и попал между молотом и наковальней. Позади у него гарнизон Ручьев, а впереди — резервные батальоны, что шли к немцам на помощь со стороны Любани. Деваться было некуда. И тогда Меньшенин развернул эскадрон и ударил по тем, кто ничего не подозревал. Решив, что Ручьи захвачены русскими, гитлеровцы в панике метнулись обратно. Комэска снова развернул ребят на сто восемьдесят градусов и повел в наступление на укрепленный пункт, атаковал его с той стороны, откуда немцы ждали подкрепление.

На второй день февраля на помощь конникам стали подходить стрелковые бригады... За ними двигалась 191-я стрелковая дивизия полковника Старунина. На правый фланг этих соединений, к Сенной Керести, выходила 4-я гвардейская дивизия генерал-майора Андреева. Через горловину Мясного Бора в прорыв втягивались все новые и новые части.

Генерал-лейтенант Клыков уже не раз и не два сетовал в разговоре с комфронта Мерецковым на возникшие сложности в управлении разраставшейся армией. Дивизии и бригады, говорил Николай Кузьмич, понесли огромные потери и пока не пополнены свежей силой. Как отдельным соединениям, им ввиду обескровленности трудно решать самостоятельные задачи. Обстановка меняется ежечасно, сложность ее нарастает. Штаб армии не в состоянии обеспечить надежную связь с возросшим числом соединений.

Мерецков и сам понимал, что происходит. Но Кирилл Афанасьевич также знал, как не любят в Ставке разговоров об оперативных группах. Выждав несколько дней, командующий все же набрался духу и связался с Москвой для обоснования предложения о создании временных оперативных групп. Кирилл Афанасьевич ссылался на опыт Тихвинской операции. Тихвин в Ставке помнили, и это помогло пробить идею.

Парадоксальность ситуации состояла в том, что рождение оперативных групп было сугубо армейским делом, никаких тут особых разрешений сверху не требовалось. Группы создавались приказом по армии — вот и все, прерогатива,

так сказать, любого командарма. И от Мерецкова требовалось дать Клыкову рекомендацию на сей счет, ограничиться устным распоряжением. Но Кирилл Афанасьевич помнил о недавнем случае. Десятого января он говорил по прямому проводу с Верховным. "Хотим создать в Четвертой армии оперативную группу, товарищ Сталин..." — "Опять мудришь, товарищ Мерецков, не хочешь угомониться и воевать спокойно, — с многозначительной интонацией проговорил Верховный. — Зачем дробить армию на две части? Зачем распылять собственные силы? Четвертую надо сохранить как армию во главе с генералом Ивановым. Никакой опергруппы в составе ее не нужно".

После такой отповеди Мерецков не решался выдвигать и соображения по 2-й ударной. Потом все-таки рискнул и был удивлен легкостью, с которой Ставка пошла ему навстречу.

Были созданы три группы, их возглавляли генералы Андреев, Коровников и Привалов. А когда 13-й кавкорпус Гусева и другие соединения вышли на линию Сенная Кересть, Ручьи и Червинская Лука, Мерецков понял, что у него появилась возможность разгромить немецкие войска, сосредоточенные в районе Чудово, Любань. Достаточно перерезать Октябрьскую железную дорогу северо-западнее станции Чудово, и они окажутся отрезанными от главных сил, лишатся путей подвоза боеприпасов и даже не смогут отойти к своим. Но генерал армии явственно ощущал, как выдыхаются, становятся все слабее удары его прорвавшихся подразделений. Да, он потребовал от генерала Клыкова уничтожить противника в районе Острова и Спасской Полисти, а затем не позднее 6 февраля стянуть в район Сенной Керести и Ольховки 327, 374, 382 и 4-ю гвардейскую дивизии. Затем объединенными силами ударить в сторону деревни Пятница, после чего на станцию Бабино, что от Чудово в двадцати километрах. Гусевский корпус получил приказ выйти к Красной Горке, от нее близко Любань...

Конники не подвели. Внезапно атакуя противника, 25-я кавалерийская дивизия подполковника Трофимова на плечах отступающих немцев ворвалась в село Дубовик и к концу дня 6 февраля вышла к Большому и Малому Еглино, Конники нанесли удары по флангам этих укрепленных пунктов, а приданная им 59-я стрелковая бригада полковника Глазунова атаковала железнодорожную станцию Еглино с фронта.

Эти пункты удалось захватить лишь к утру 10 февраля. Немцы отошли к Верховью, Каменке и Глубочке, создав там такую крепкую линию обороны, перед которой эскадроны остановились и спешились. Время было упущено,

стремительный порыв затух. Чтобы продолжать операцию с тем же размахом и темпом, необходимы значительные резервы. Их не было. Спешившись же, кавалеристы лишились главного преимущества — возможности вести подвижный и маневренный бой. Да и в конном строю они изрядно страдали от снежных заносов. Досаждала и оторванность от тылов, они находились за сотню километров с гаком, не хватало боеприпасов, продуктов, а главное — фуража. Солдат себе и из топора суп сварит, а вот лошади такое предложить нельзя.

Но Мерецков все расширял и расширял полосу боевых действий 2-й ударной. Он по-прежнему верил в обещание Ставки: скоро прибудет к нему из резерва новая общевойсковая армия. Кирилл Афанасьевич все поставил на эту карту. Однако обещанного Мерецков не дождался. И не потому, что Ставка не хотела помочь волховчанам. У нее попросту не было такого резерва.

-26-

Подвел, как говорится, под монастырь командира роты его связной Василий Веселов. Случилось это, когда они прибыли в расположение 176-го стрелкового полка, которым командовал Иван Дорофеевич Соболь. Уже в штабе 46-й дивизии, куда откомандировали их из бригады полковника Жильцова, Кружилин узнал, что его новый комполка человек обстрелянный, отличился в боях за Малую Вишеру, что он грамотный командир, требовательный, порядок любит и четкость исполнения приказов. Что ж, без таких качеств командир на войне вовсе не командир.

Но самого Соболя Кружилин так и не увидел. Встретил старшего лейтенанта начальник штаба. Расспросил, где воевал, сколько в роте штыков, какова она по составу. Довольно улыбнулся, узнав, что Кружилин был на финской, а все солдаты роты форсировали Волхов еще в январе. Правда, осталось их всего половина от штатного списка, но каждый из оставшихся пяти новобранцев стоит.

— Пошлю тебя во второй батальон, — сказал начальник штаба. — С командиром полка вопрос согласован, и комбат-два в курсе дела. Бери ихнего связного в провожатые и дуй на передок с парнями. Во втором у нас потери большие, вот и укрепишь.

Хотел Олег спросить о легендарном Соболе у начштаба, да подумал, что это будет выглядеть неуместным, мальчишеское любопытство, и только, не к лицу ветерану, каким считал себя Кружилин.

"Еще увидимся, — подумал командир роты — какие наши годы... Говорят, что Соболь с переднего края не вылезает, так что ко мне в роту пожаловать не преминет".

Комбат оказался веселым и свойским парнем, одногодком Олега и тоже участником финской войны. Только воевал он севернее, в районе Суомуссалми. Был тогда комбат Хлыстун взводным, только что училище окончил, и прибыл с Украины в снега и морозы Карелии. Финны дали им углубиться на их территорию, заманили в глухие леса, заваленные сугробами, затем обошли с флангов лыжными батальонами, отрезали пути отхода.

— И стали нас кончать, как голых цуциков, — рассказывал Хлыстун за ужином, который устроил в честь нового ротного, когда узнал, что они одну и ту же кампанию тянули, хотя и в разных местах.

— А ты, значит, на линии Маннергейма хлопотал?

— На ней самой, — отвечал Олег. — Все в лоб и в лоб!

— Вот именно: в лоб! — помрачнев, в рифму выругался комбат. — Я тогда под Суомуссалми ноги поморозил, чудом выбрался из катавасии. Отнимать левый мосол хотели. Гангрена, дескать... Но обошлось. Вот и воюю. А так бы сейчас в Ашхабаде семечками торговал, в эвакуации. Хотя нет, с Украины бы не поехал, в партизаны б ушел или в подполье, там ведь и безногие годятся.

— А все ж лучше с ногами, — проговорил Олег.

— У тебя все бойцы в валенках? — спросил комбат, ковыряя ложкой в банке с разогретой тушенкой.

— Все, — ответил Кружилин. — У меня старшина толковый.

— Это здорово! А тогда, в Карелии... Не приведи бог! Окружили нас финны и давай долбать. Сколько народу положили! И все ни за хрен собачий. Туда бы лыжников, сибиряков послать, а не нас, хохлов морозонеустойчивых. Да что там! В нашей дивизии даже кавказские парни были. И с автоматами финны все, как один, у нас же тогда об автоматах и не слыхали, в руках их никто не держал.

— Да, дегтяревский уже после финской войны появился.

— А где он сейчас, дегтяревский? — горько спросил Хлыстун. — У меня в батальоне ППД у разведчиков только имеются, ну и у автоматчиков во взводе...

— В моей роте у всех помкомвзводов и командиров отделений есть, — заметил Олег.

— Богато живешь, старшой. Раскулачу, ежели что. Ладно, шучу... Я вот как-то заявил в штабе полка: надо, мол, у немцев автоматы ихние отбирать и

потихоньку вооружать красноармейцев. Пусть сами добывают у гансов патроны и бьют фашистов. Так меня в Особый отдел потянули.

— За что? — удивился Кружилин.

— За публичное восхваление вражеского оружия, пропаганду немецкого превосходства. Так-то вот, брат Кружилин. Спасибо Соболю — отбил. Мы ведь с ним Малую Вишеру брали вместе.

— Слыхал я про Соболя. Толковый, говорят, мужик.

— С ним не пропадешь, это точно! А вот когда с чухонцами схлестнулись да надавали они нам физдюлей, у меня в госпитале едва мозги не свернулись набекрень. Как же так случилось, что маленькая Финляндия с ее тремя миллионами населения сумела нас, шестую часть мира, больно щелкнуть по носу?

— Их побольше будет, финнов, — сказал Олег, — три миллиона и восемьсот тысяч.

— Один хрен, — махнул комбат, — какая разница... Вся ихняя армия после поголовной мобилизации не составляла и трехсот тысяч человек вместе с шюцкоровцами. Эти дрались как черти.

— Недооценивали мы финнов, — вздохнул Кружилин, — вот и вляпались. Ведь поначалу хотели войсками одного Ленинградского военного округа их задавить, да не вышло. Объявили частичную мобилизацию, добровольцев послали. Я сам тогда ушел, прямо из университета.

— По-доброму на лыжах ходишь? — спросил Хлыстун.

— Чемпион Ленинграда, — просто сказал Олег.

— Да ты же бесценный парень! — восхитился комбат. — Тебе бы разведротой командовать. И немецкий, небось, знаешь?

— Говорю и читаю свободно.

Хлыстун закрутил головой:

— Нет, заберут тебя из батальона, Кружилин, заберут. Как до сих пор не засекли такого командира роты — даже странно. Ты вот тогда скажи мне: правда, что линию Маннергейма вся Европа строила?

— Вся не вся, а иностранных специалистов финны привлекали. Там они такого понастроили! Елки-палки... Особенно запомнился мне дот "Миллионный". Крепкий был орешек!

— Сволочи, — сказал комбат, — готовились как надо. А мы их кулаками хотели... И чего они зуб на нас заимели?

— Финнов ведь тоже надо понять, — проговорил Кружилин, ощупывая в кармане пустой кисет. — Одурманенные пропагандой Маннергейма, они поверили, что мы спим и видим, как бы напасть на них. Вот и старались изо всех сил. Ведь такие укрепления на границе, как линия Маннергейма, строят не для нападения, а на предмет защиты. Финны считали нас опасным соседом, от которого лучше отгородиться неприступной стеной. Не забывай, комбат, что долгие годы эта территория находилась под властью русских царей. Ведь Романовы, занимавшие российский престол, имели помимо других и титул "Великий князь Финляндский".

...Они оба сражались в заваленных снегами лесах карельской земли, но многого не знали, Хлыстун и Кружилин. Они располагали официальной информацией о том, что Советское правительство, обеспокоенное захватнической политикой Гитлера и тесными связями его с крайне реакционными кругами Финляндии, хотело отодвинуть финскую границу на Карельском перешейке так, чтобы Ленинград был вне зоны действия дальнобойной артиллерии. В обмен на это Советский Союз якобы предлагал Финляндии районы Реболы и Порайори. Это позволяло финнам расширить собственное пространство в узком месте, не причиняло никакого ущерба их безопасности, но лишало Германию возможности использовать просимую Советским правительством землю в качестве плацдарма для нападения. Более того, дополнительные площади, которые Советский Союз отдавал в качестве компенсаций, более чем вдвое превышали размер территорий, о которых он просил.

Однако эти предложения, составленные, мол, на аргументированной и рациональной основе, финны отвергли. Более того, как было объявлено советскому народу и всему миру, 26 ноября 1939 года финны обстреляли приграничную полосу Советского Союза. В условиях когда русский медведь предъявил маленькой Финляндии ультиматум, это было равносильно самоубийству, а потому и выглядело неправдоподобно. Финны призвали совместно расследовать инцидент, но их предложение было отвергнуто. А через день Советский Союз расторг с северным соседом пакт о ненападении. Уже 29 ноября Москва заявила о том, что финны предприняли новые нападения на советскую территорию. Дипломатические отношения были разорваны, и 30 ноября началась война, представленная советским людям как отражение наглой агрессии финских милитаристов.

Откуда было знать Кружилину и Хлыстуну о том, что Сталин всегда считал предоставление Лениным самостоятельности финнам политической и государственной ошибкой? Ведь он давно вынашивал логический замысел войти в историю человечества как великий собиратель земель, некогда принадлежащих Российской Империи.

Большая удача с разделом Польши, а особенно Договор о границах и дружбе, подписанный с гитлеровской Германией 28 сентября в Москве, вдохновили Сталина. Новое соглашение с фюрером устанавливало сферы влияния обеих держав и определяло отказ Германии от ее интересов в прибалтийских лимитрофах, Бессарабии и Финляндии. Договор о границах и дружбе с рейхом развязывал Сталину руки...

Когда началась война с Финляндией, последняя обратилась 3 декабря к Лиге Наций за поддержкой и защитой. На призыв Лиги Наций прекратить военные действия Сталин велел ответить, что Советский Союз не ведет никакой войны с Финляндией. Ведь он 2 декабря 1939 года заключил Договор о взаимопомощи и дружбе с Финляндской Демократической Республикой, правительство которой находилось в Териоки, на советской территории. А те, что в Хельсинки, просто шайка агрессоров и авантюристов, которых финский народ жаждет выбросить вон из страны, С помощью Красной Армии, разумеется...

Именно правительство в Териоки и просило Советский Союз 1 декабря 1939 года помочь устранить опасный очаг войны, который создан в Финляндии ее бывшими правителями.

Одновременно Карельская автономная республика была преобразована в союзную Карело-Финскую, и мир, уже начинавший постигать внешнеполитические приемы вождя всех времен и народов, приготовился присутствовать при исчезновении финского государства.

...Начальный период военных действий сложился для Красной Армии неудачно. Это повлекло усиление на Западе общей тенденции к недооценке мощи Советского Союза. Выступая 20 января 1940 года по радио, Уинстон Черчилль заявил, что советско-финляндская война "открыла всему миру слабость Красной Армии". Это ошибочное мнение в какой-то степени разделял и Гитлер.

Но если беспристрастно разобраться в событиях того времени, то истинные причины наших неудач крылись в объективных условиях, в которых проводились боевые действия. Обилие естественных препятствий, снежная и морозная зима, густая сеть озер и лесов, отсутствие надежных дорог, идущих

из внутренних районов страны к финской границе. Имела место и недооценка возможностей противника, его вооружения и моральной стойкости войск.

Новое наступление под командованием Мерецкова, начавшееся 11 февраля 1940 года, меньше чем за две недели прорвало оборону финнов на глубину линии Маннергейма. Советские войска обошли оба ее фланга и двинулись на Выборг, совершая одновременно широкий обходный маневр. Поражение Финляндии стало неизбежным, и 6 марта 1940 года ее правительство запросило мира.

На этот раз, несмотря на вовсе другие условия, новые советские требования были исключительно умеренными. Спохватившись, Сталин поступил по принуждению обстоятельств, ограничившись выполнением программы-минимум.

...Но откуда было все это знать командирам? Они дрались на той, "местного значения", войне и теперь сражались на самом трудном фронте Отечественной. Пролитая в бою кровь, она вовсе не обязательный предвозвестник смерти. Не убили в финскую, авось и эту выдюжим...

— Давай за победу, — предложил Кружилин.

— За победу можно... Все равно оторвем им башку, — сказал Хлыстун. — И фюреру ихнему, и всей его братии.

— Естественно, — отозвался Олег. — Куда они денутся!

Помолчали. Затем Хлыстун пододвинул к себе вещмешок, достал пачку махорки, протянул Олегу.

— Бери, командир. Редкая вещь — моршанская махра с красной надписью. Да ты спрячь про запас! А пока крути цигарку из моего кисета, закуривай.

— Хороша, — сказал Кружилин, затянувшись едким дымом. — Аж селезенку щекочет.

— Знаешь, как маялся тогда в Карелии без курева. Не знаю, что больше — ноги от мороза или уши без курева опухли. А в госпитале закурил, будто на свет заново родился. Там и про нашего комдива узнал. Арестовали его. Говорили, что из Москвы сам Мехлис приезжал, требовал его расстрелять за потерю управления. Но вроде до этого не дошло.

— Расстрелять — дело нехитрое, — заметил Кружилин.

Ему и невдомек было, что самому не далее как к утру реально будет угрожать "нехитрое дело". А подвел его под возможный расстрел верный и расторопный связной Веселов.

— Послушай, Руди, — сказал Вильгельм Земпер. — Ты у нас большая голова. Не объяснишь ли мне, что значит медвежья болезнь?

— С чего ты вдруг заинтересовался ею? — спросил Пикерт.

Он едва спасся тогда, в день русского наступления. Многих солдат из их роты недосчитались после залпов дьявольских "катюш". Дивизию спешным порядком переформировали и отвели на станцию Спасская Полнеть. А Мостки пришлось отдать русским. Спасская Полисть стала главным бастионом обороны. Севернее ее, вдоль шоссе и железной дороги Новгород — Чудово, в их руках оставались поселки Коляжко, Свинец, Глушица, Лядно и Холопья Полнеть, там рядом и Чудово, за которое надо держаться изо всех сил. Захват станции русскими обрекал на гибель тех, кто оставался в Любани, они теряли отличный плацдарм, который приковывал к себе четыре армии большевиков. Выдвинутый же в южном направлении от Чудово выступ со Спасской Полистью на острие постоянно угрожал коммуникациям 2-й ударной армии у Мясного Бора. Этот выступ необходимо было усиливать, не жалея ни солдат, ни боеприпасов.

"Пусть красные и прорвались в наши тылы и идут по бездорожью, безлюдным лесам и гиблым болотам на помощь Петербургу, — успокаивали себя немцы. — Пока мы в Спасской Полисти, а напротив, по ту сторону прорыва, в Подберезье стойко борются солдаты фюрера, противник не может быть спокоен за свои тылы". Они упрямо держались за станцию. Бои ожесточались, красные будто с цепи сорвались, лезли и лезли на укрепленные пункты, атаковали постоянно, особенно ночью, и немецкое командование понимало, что, будь у них поддержка с воздуха да усиленный артиллерийский огонь, Спасскую Полнеть вермахту не удержать.

И Вилли Земперу, и Дребберу, и Пикерту до сих пор везло — пули их миновали. Правда, Руди крепко тряхнуло ближним разрывом снаряда, но, к счастью, он отделался тем, что неделю плохо слышал. Теперь рота обер-лейтенанта Шютце занимала позиции на берегу реки Глушица, к западу от Спасской Полисти. До войны здесь был хутор, сейчас от него не осталось ни одного строения. Но еще осенью саперы открыли на сухом месте добрые четырехнакатные блиндажи, между бревен наката положили слой фанеры, и потому земля не сыпалась сверху даже от близких разрывов, стены обшили струганными досками.

Жилось в таких блиндажах тепло и уютно. Да если б еще не беспокоили атаки русских, которые не признавали никаких правил и дрались ночью, дрались в то время, когда доставляли обед, дрались по воскресеньям и в будние дни.

Заступавшие на посты часовые изо всех сил таращили глаза в черную ночь: разведчики противника вовсю охотились за "языками". Они сознавали, как важна их роль на этих позициях, которые надо удерживать любой ценой. Но от понимания того, что испытываемые ими лишения помогают фюреру одерживать великую победу над Россией, легче не становилось.

Приносили оживление письма с родины, правда, порой они раздражали своей наивностью и полным непониманием домочадцами того, что происходит в России. Разряжали обстановку анекдоты, грубые розыгрыши, игра в скат, рассказы о приключениях в отпуске и в довоенной жизни и, разумеется, постоянные разговоры о женщинах и о том, что всегда связано с ними. Тут уж изощрялись кто во что горазд, хотя торжественные панегирики в честь собственного мужского ухарства и сексуальной доблести были на три четверти сочинены.

— Так кто тебе говорил про медвежью болезнь? — спросил Руди Пикерт у Вилли Зампера.

— Покойный фельдфебель Фауст, — ответил баварец, — Сейчас вдруг вспомнил, как незадолго до того боя, когда рыжий Иван заколол его штыком, я просил включить меня в группу, которая отправлялась за "языком"

— Хотел получить медальку на мундир? — поддел Руди приятеля. — Ты слышишь. Ганс? Наш Вилли мечтал отличиться, а от нас, товарищей, это скрывал,

Дреббер не ответил. Он писал письмо в Гамбург, порой останавливался, видимо вспоминая домашних, взгляд его теплел, и Ганс мурлыкал под нос любимую песенку: "...он придет, день священной мести! Мы добудем свободу в бою... Пробудись, трудовая Германия, кабалу разорви свою!"

— И что же ответил тебе покойный Фауст, в отличие от своего знаменитого тезки не сумевший стать бессмертным?

— Он сказал, что доложит обер-лейтенанту Шютце, только пусть я не буду на него в претензии, когда на той стороне попадусь к русским в лапы и меня прихватит медвежья болезнь. Это что-нибудь заразное?

Руди расхохотался. Ганс оторвался от письма и улыбнулся.

— Старый солдат, — говорил сквозь смех Пикерт, — старый солдат Вилли Зампер, гроза иванов, лучший снайпер полка, не знал про медвежью болезнь... Вот это да! Нет, Вилли, не заразна эта болезнь, как не заразна детская испачканная пеленка! Немного вони и последующая, стирка кальсон, если тебе жалко их выбросить, — вот и вся медвежья болезнь.

Земпер растерянно моргал, переводя взгляд с Ганса на Руди, постепенно до него доходило.

— Вот дерьмо! — выругался он, — Значит, этот дохлый теперь толстяк намекал, что я в состоянии обделаться со страха?

— Не только намекал, Вилли, он прямо имел это в виду, — подал голос Ганс Дреббер. — Но я думаю, что Фауст был несправедлив к тебе, дружище,

— Прохвост! — сказал Вилли и перекрестился. — Не надо так о мертвом, но уж очень он меня обидел. Тех, кто делал в штаны, мне видеть приходилось. Неприятная штука, скажу вам, ребята. Неужели это может случиться с любым?

— Это происходит независимо от воли человека, — проговорил Руди. — Непроизвольно, Понимаешь, Вилли, в момент сильного испуга наступает своеобразный шок. Проявляется он, ты знаешь, видел новичков в первом бою, по-разному. И вот у некоторых возникает временный паралич сфинктера...

— Чего-чего? — перебил его Земпер. — Как ты сказал?

— Паралич сфинктера, Вилли. Это такой вроде бы клапан...

— Запирающий твою задницу, — вмешался Ганс Дреббер.

— Идите вы сами в нее! Дурачите мне голову!

— Ты послушай, — улыбнулся Руди, — Ведь сам затеял разговор. Так вот, испуганный мозг, буду объяснять тебе популярно, запутывается и посылает сфинктеру ложный сигнал: Раскрыться! Тот, стало быть, разжимается и перестает удерживать кал, предоставляя это делать кальсонам. Вот и вся механика, дорогой Земпер.

— Ну и ну, — покрутил головой Вилли, — чего не узнаешь, воюя вместе с такими умниками. И это может с любым случиться?

— В принципе с любым, — ответил Пикерт.

— Только не со мной, — заявил Земпер. — В моем роду не водились засранцы!

— Это легко проверить, — снова подал голос Ганс Дреббер. — И заодно сделать приятное для товарищей...

— Ты что придумал, Ганс? — поинтересовался Руди.

— Что бы ты сказал по поводу жареной картошки, Руди?

— Слопал бы котелок, даже если она будет приготовлена на "обезьяньем сале" — маргарине.

— Тогда слушай, Вилли. Ты знаешь сожженный сарай на ничейной земле на нашем правом фланге?

— Знаю, — ответил Земпер. — На прошлой неделе я подстрелил рядом с ним ивана.

— Так вот. Мой земляк из третьей роты, ефрейтор Генрих Блюхер, под большим секретом рассказал, что под сараем сохранился погреб, а в погребе лежит картошка. Там есть лаз под обрушившуюся кровлю, она упала так, что образовался низкий навес. Проникаешь туда, находишь люк, открываешь его и насыпаешь в ранец картошки. Возвращаешься обратно, и мы устраиваем пир.

— И всего-то? — возмутился Земпер. — Невысоко же ты ценишь солдатскую доблесть фронтового товарища.

— Погоди, — остановил его Дреббер, — не кипятись, Вилли. Сходить в тот сарай — дело не простое. Генрих Блюхер предупредил меня, что про картошку эту известно русским. И те по ночам наведываются туда...

-28-

— Значит, вы отрицаете преднамеренность ваших действий?

— Безусловно. Я говорил уже об этом другому товарищу.

— Сотруднику. Наши люди для вас сотрудники Особого отдела, старший лейтенант.

— Понятно. Уже и товарищем не могу вас именовать. А меня вы по званию величаете. Не разжаловали еще?

— Нет, не разжаловали. Вы находитесь под следствием как командир Красной Армии, обвиненный в преднамеренном членовредительстве. Разжалует вас трибунал, когда вынесет обвинительный приговор.

— Вы уверены, что дойдет до трибунала?

— На войне и не такое бывает.

— Но ведь это же бред какой-то!

— Не скажите. В моей практике всякое случалось.

— А честные люди в вашей практике встречались?

— Оскорбить меня хотите, старший лейтенант? Не стоит. Нутром чую, что вы говорите правду. Но вот нутро свое вывернуть и пристукнуть, как печатью, листки с протоколом допроса не в состоянии. Необходимы доказательства. А где они, кроме ваших показаний, свидетельства врача да истерических воплей красноармейца Веселова, который обвиняет во всем себя и просит расстрелять его вместо вас, командира роты? И то сказать — положение необычное. Не поверят вам в трибунале.

— Но ведь я прошу медиков оставить меня в роте!

— Нельзя. Характер травмы не позволяет. Это раз. И потом, вам скажут, что вы заговорили так после разоблачения. А до того стремились удрать с передовой, для чего и совершили самострел.

Круг замкнулся. Выхода не было. Его допрашивали в четвертый раз. Сначала молодой особист Лабутин, а сейчас вот этот, пожилой. Как он назвал себя? Беляков, кажется.

— Как ваше имя и отчество? — спросил Кружилин.

— Фрол Игнатьевич, — ответил слегка удивленный Беляков.

— Мне можно вас так называть?

Белякову нравился этот комроты. Надо же случиться такому, угораздило парня попасть в переплет! Фрол Игнатьевич встречал на войне трусов: дезертиров, самострелов... Попадались и явные враги: предатели, перебежчики, пособники оккупантов. Скольких он повидал на чекистском веку! А этот был другой. Только вот как его выпутать из дела? Машина закрутилась, следствие начал вести Лабутин, он и заварил эту кашу, случайно встретив Кружилина в полковом медпункте.

...А виноват во всем был Вася Веселов. Собственно говоря, его ведь тоже винить можно было лишь косвенно. Дурацкая история произошла в ту ночь, когда Олег Кружилин вернулся от гостеприимного комбата Хлыстуна в роту.

Он обошел бойцов, устроившихся кое-как с ночлегом: красноармейцы расположились в едва обжитых местах, которые занимали те, кому пришли они на смену. Потом вернулся к себе, в отбитый у немцев дзот. Он был немного покалечен прямым попаданием 82-миллиметровой мины, но жилье в нем Веселов успел оборудовать сносное. В дзоте сохранилась и железная печка заводского изготовления с пламегасителем на трубе. Гансы ставили их в каждом жилом помещении. У этой не было дверцы, ее Веселов не обнаружил.

А Кружилин ему наказывал:

— Пока огонь в печке горит, спать не ложись, следи. Я, пожалуй, сосну немного. Протопишь, тогда и сам заваливайся.

Олег не спал две ночи подряд, пока добирался к новому месту службы. А комбат намекнул, что утром ожидается на позициях Соболь, надо будет еще до рассвета быть на ногах, проверить готовность бойцов и ждать командира полка или сигнала идти в атаку.

Он уснул, едва коснулся головой вещмешка, на который положил ушанку. Валенки Кружилин снял, пусть просохнут, а чтоб ноги не зябли, натянул на них

шерстяные носки, что получил с подарком из Киргизии недавно, портянки развесил, чтоб проветрились, лишились малость тяжелого духа.

Командир спал в гимнастерке и ватных брюках. Олег не стал производить обычный поиск насекомых: крепко устал и, признаться, не верил в эффективность вылавливания вшей вручную. Вот отдать всю одежду в прожарку — это дело. На крайний случай пропитать бы белье раствором особого мыла "К", говорят, на два месяца действует, вши его будто боятся. Но про это мыло были пока одни разговоры, никто его в натуре не видел.

А Веселов разделся и стал трясти рубаху над раскаленной печкой. Вши падали и трещали, а Веселов улыбался. Нравилось ему казнить насекомых огнем... "Мясным духом потянуло", — говаривал при этом Веселов и ухмылялся. Только делал он это так, чтоб старший лейтенант не видел. Ко всему был приучен Кружилин, брезгливостью не отличался, а эти веселовские штучки не переносил.

Закончив, связной натянул рубаху с гимнастеркой, подумал, что не худо бы и кальсоны обыскать, да надоело уже. Огонь в печке поубавился, дрова догорали. Веселов решил подтопить, только сосновые уже кончились, оставалось несколько березовых полешек, он и сунул их в огонь, пусть, дескать, догорают.

Спать Веселов не собирался — надо за огнем следить. Но прислонился к столбу, поддерживающему накат, и незаметно уснул. А березовые дрова, попавшие в сильный жар, занялись сразу и пылко, треща и стреляя искрами...

Кружилину снилась Марьяна. Он гулял с ней по Летнему саду и рассказывал об установленных в нем скульптурах. Марьяна слушала прилежно и только порой загадочно поглядывала на Олега. Подошли к дедушке Крылову, который спокойно сидел, окруженный героями басен, и добродушно смотрел на них сверху. Кружилин вдруг почувствовал ломоту в ногах, особенно в правой, из которой вырвало осенью кусок мяса.

— Не устала, Марьяна? — спросил Олег.

— Давай посидим, Олежек, — сразу согласилась она, и у Кружилина сразу потеплело на сердце: первый раз Марьяна назвала его так, как в детстве называла мама!

Едва они присели на скамью, в глубине одной из аллей послышались лай собаки и крики испуганных людей. К ним бежала громадная серая овчарка. Она обогнула памятник Крылову и легкой трусцой молча направилась прямо к

Олегу. Он хотел подняться, но будто задеревенел вовсе. А Марьяна вскочила на скамейку и в ужасе смотрела на собаку.

— Олег, Олег! — крикнула Марьяна, но Кружилин сидел неподвижно. Он сразу увидел, что собака была необычной, с человеческой головой. Она приблизилась вплотную, поставила лапы на колени, и Олег вдруг понял, что в лицо ему смотрит Гитлер.

Он выглядел таким же, как Олег привык его видеть на карикатурах. Узкий длинный подбородок, усики, темная челка, свисающая над левым глазом, тонкие губы... Гитлер разжал их, и Кружилин внутренне вздрогнул, увидев, как обнажились острые клыки. Боковым зрением Олег сумел рассмотреть, как за спиной у Марьяны выросли крылья. Они были прозрачными, как у стрекозы, и трепетали, вспыхивая на солнце радужными бликами. Марьяна взмахнула крыльями и вспорхнула над аллеей Летнего сада. Вот она сделала круг, второй, поднимаясь все выше и выше.

— Прощай, Олежек, прощай! — донеслось из поднебесья, и Марьяна растаяла, растворилась в лучах ласкового солнца.

А Гитлер-собака гавкнул Олегу в лицо и вцепился клыками в правую ногу. Кружилин ощутил боль, почувствовал, что левая теперь слушается его, и стал бить оборотня свободной ногой, но тот сильнее стискивал челюсти. Боль сделалась нестерпимой, и старший лейтенант проснулся.

Дрова в печке прогорели, но тепла от нее еще не было. В открытую дверцу видно было, как рдели подернутые пеплом угли. Фитилек коптилки погас. Слышался мирный храп Веселова. Ноздри Олега ощутили едкий дым сгоревшей ткани.

Олег резко поднялся, боль ударила по ноге, и теперь он увидел, что на нем тлеют ватные брюки...

... — Дрова березовые были, понимаете, доктор, — сконфуженно объяснял Олег врачу на полковом медпункте. — Уснули мы, значит, с Веселовым, а они, дрова то есть, стрельнули угольком.

— Понятное дело, — говорил врач, осматривая серьезный ожог, который заполучил Кружилин. — Такое бывает. Большой недосып, усталость. Сильное торможение нервных центров, отключилась чувствительность... Надо отправлять в медсанбат. Сейчас вы не вояка, старший лейтенант. Недели две, а то и целых три, в лежачем состоянии. Передвигаться хоть можете?

— Медленно и с костылем, — ответил Олег. — Вон палка моя.

— С костылем в атаку роту не поведешь, — сказал врач. — Скоро отправятся санитарные сани в медсанбат. А пока справку вам дадим.

— Погодите со справкой, товарищ военврач третьего ранга, — сказал, поднимаясь, неизвестный Кружилину командир. Он сидел в углу и молчал, пока сестра перевязывала ему руку, прислушивался к разговору. — Со справкой успеется. Перевяжите его пока. Я сам отвезу старшего лейтенанта... в Особый отдел.

-29-

Бригада выдохлась на подступах к деревням Большое и Малое Еглино и железнодорожному разъезду, перешла к обороне. От немцев ее отделяла хорошо простреливаемая долина речушки Еглинки, используемая под огороды. Здесь, на перекрестке двух железных дорог, немцы соорудили мощный узел сопротивления, взять его с ходу измотанная в предыдущих боях 59-я отдельная стрелковая бригада не смогла. Она крайне нуждалась в пополнении людьми, боеприпасами, необходимо было подтянуть тылы, бригадную медицину, да и отдохнуть красноармейцам не мешало бы, многие дошли, что называется, до ручки. Бригаду следовало бы отвести во второй эшелон, но никто на это не рассчитывал, не было таких наивных.

Правее бригады рвался на Глубочку и Красную Горку вместе с дивизией Антюфеева 13-й кавалерийский корпус, стремившийся в скором времени захватить Любань — до ее пригородных улиц добирались уже разведгруппы. Фронт 2-й ударной армии расширялся, в прорыв втягивались все новые и новые соединения, и второму эшелону, снабжавшему их необходимым, было не до 59-й бригады, которая, несмотря на потери, все-таки продвигалась вперед. Самое большее, на что могла рассчитывать бригада, это на пополнение. И вскоре комиссар бригады Иосиф Харитонович Венец узнал от командира, что к ним следуют три маршевые роты лыжников-уральцев.

Полковник Глазунов был в бригаде человеком новым. Его назначили командиром вместо подполковника Черника, безудержной храбрости человека, но потерявшего управление боем под Спасской Полистью, где поначалу воевала бригада, за что и снят он был с должности.

... — Иван Федорович, — сказал Венец, — надо посмотреть на пополненье... Уральские лыжники, говорите?

— Они самые, комиссар, — отозвался комбриг. — Так передали из штаба армии. Должно быть, ловкие ребята. Вот бы с ними в обходный маневр против немца сыграть.

— А когда выступление, товарищ комбриг? Нам бы хоть чуточку времени дали на подготовку...

Венец никак не мог себе простить, что не поспорил тогда, под Спасской Полистью, со штабом армии по поводу сроков подготовки атаки на гитлеровский укрепрайон. Конечно, комиссар отдавал себе отчет, как мало он значил со своими соображениями. Известно ведь было в их кругах, что приказ о неудержимом, не прекращающемся ни на мгновение наступлении исходит чуть ли не от Верховного. Но было бы куда легче, если б он хотя бы попытался поговорить с членом Военного совета армии Михайловым. Правда, этот суровый и нелюдимый человек отнюдь не располагал к неофициальным разговорам по душам,

— Пополнение ждем к ночи, комиссар, — сказал Глазунов, — наступать же мы будем утром. Приказ я только что получил.

— Опять! — едва не вскричал в отчаянии Венец. — Черт знает, чем они думают. Нет, положительно в штабе армии сами не ведают, что творят. Ведь люди прибудут ночью в незнакомое место, а поутру идти в атаку!

— Давно воюешь, комиссар? — спросил Иван Федорович.

— Будто не знаете, — буркнул Венец. — С первого дня.

— Пора бы и привыкнуть, что пополнение у нас с колес бросают в бой. С колес-то ладно. А вот с пешего марша по бездорожью — это как? Ладно, хоть эти-то у нас лыжники. Только с ними, какими б лихими вояками ни были, на фланговый маневр не пойдешь, потому как условия наши, местность им еще не знакома. Ладно, вот прибудут, тогда вместе на них и поглядим.

Несмотря на разницу в возрасте — комиссар Венец был совсем еще молодым человеком, — они по-доброму сошлись с Глазуновым. Полковник как-то сразу вызвал у него и других политотдельцев и штабистов искреннюю симпатию. Был Иван Федорович человеком спокойным и рассудительным, обладал командирским тактом, да и умения ориентироваться в быстро меняющейся обстановке боя ему не занимать. Комбриг прожил нелегкую жизнь, был едва ли не вдвое старше комиссара, а вот сошлись они сразу и душевно. На войне день такой дружбы года мирного приятельства стоит. А если командир с комиссаром в ладу и во взаимопонимании врага воюют, значит, и урону врагу больше, и лишние сохранятся солдатские жизни. Это уж закон, проверенный кровью.

Сутки прошли, как бригада прекратила атаки и перегруппировала скудные силы, ждала обещанного усиления. Трясли собственные резервы, шерстили тылы, выбирая оттуда кого только можно было. И не переставали беспокоить немецкую оборону активными действиями поисковых разведгрупп, вели наблюдение за передним краем. И опять комбаты матерились: мало времени, отпущенного им на подготовку.

Уже стемнело, когда получили сообщение, что на бригадный обменный пункт прибыли три маршевые роты лыжников-уральцев. К встрече давно были готовы. И командование бригады, и ее штаб, и сотрудники политотдела собирались отправиться в роты: посмотреть людей, взводных и ротных командиров, разъяснить им и бойцам задачу, провести хотя бы короткие (сейчас не до разговоров) партийные и комсомольские собрания.

Пришло бригадное начальство на обменный пункт и обомлело. Вот так пополнение, вот так лыжники-уральцы! Ни лыж у них, ни оружия... Перли пехом от Малой Вишеры несколько суток, смертельно устали, пороху еще не нюхали. Венец собрал взводных, смотрел на них и едва не плакал — пацаны желторотые, такие же, как и красноармейцы. Правдой было только то, что формировались роты на Урале.

Плакать комиссару не положено ни от жалости, ни от злости, ни от обиды. Потому Венец и виду не подал, как разочарован таким "усилением". Стали вооружать новых бойцов по принципу: чем богаты, тем и рады, винтовки и патроны в бригаде были.

— Какой там обхват с флангов, товарищ комбриг! — говорил Иосиф Глазунову, когда остались вдвоем, чтоб предварительно обменяться мнениями. — На рассвете им в бой, этим лыжникам... Да они и стрелять как следует не умеют! А взводные командиры? Ни одного кадрового! Все после трехмесячных курсов, мальчишки. А утром идти в атаку!

— И пойдем, Иосиф, — вздохнул полковник, — сам знаешь ведь: пойдем. Никуда не денемся! И сволочей из обоих Еглино и разъезда выбьем. Нельзя нам их не выбить! А сделаем так. Сколотим из опытных ребят специальные роты, направим через лес — там, левее Большого Еглино, он довольно густ — в обход. На подготовку два часа! Пусть выходят пораньше. А "лыжников" используем, перед фронтом обороны по линии двух деревень.

— Перебьют их немцы, — покачал головой Венец.

— Перебьют, — согласился Иван Федорович. — Это уж непременно. А иначе укрепленный район не взять. Пусть новички начнут, отвлекут внимание гансов,

а наши обстрелянные парни ударят с тыла. Тогда посмотрим, кто кого. Главное — чтоб молодые шумели побольше... Ты уж по части этого обеспечь, Харитоныч.

И снова отправился комиссар в роты. Говорил со взводными, толковал с отделенными, внушал всем сразу и каждому бойцу: побольше шуму, ребята. Стреляйте и стреляйте! Видите врага или нет, возник он или отсиживается в траншее — стреляйте...

В одном из взводов Венец обратил внимание на рослого парня, тот понуро стоял в стороне, отвернув лицо и будто не слушая комиссара.

— Ваша фамилия, товарищ красноармеец? — спросил комиссар.

Тот вздрогнул, вытянулся.

— Пивоваров Семен, товарищ комиссар! — ответил сиплым голосом.

— Простудили горло?

— Никак нет.

— Готовы идти в бой?

— Так точно!

— Стреляете хорошо?

— Не пробовал, товарищ комиссар. Только из мелкашки.

— Откуда родом?

— Из города Нижний Тагил.

— Дайте мне винтовку, лейтенант, — сказал Венец стоявшему рядом командиру взвода. О нем комиссар уже знал, что тот студент политехнического института, из Свердловска, а зовут его Вова Антокольский. На фронт пошел добровольцем, их курс пока забронирован, инженеры-металлурги они, будущие.

— Вот смотрите сюда, — сказал Венец, чувствуя, как стыдно ему сейчас перед ребятами, не за себя стыдно, он ведь не виноват, что их прислали сюда, неумелых, липовых солдат, а за кого ему стыдно — комиссар старался не уточнять. — Смотрите сюда, ребята. Вставили обойму, досылаете патрон, поворот — и патрон заперт в стволе. Теперь можно стрелять в фашиста. Только не забудьте снять винтовку с предохранителя. Вы, лейтенант, проверьте это перед самой атакой. И стреляйте, товарищи красноармейцы, побольше стреляйте!

Он знал, что говорит, молодой комиссар Венец. Знал, какими становятся новички в первой своей атаке.

И наступил девятый февральский день сорок второго года...

Маршевые роты новичков поднялись по команде и, нестройно крича, изломанными цепями двинулись через поля и огороды, занесенные снегом, к видневшимся в серой дымке избам сросшихся вместе деревень. Большое и Малое Еглино ощетинились огнем. Цепи залегли. И поднялись, и снова упали. Командиры рот отсылали связных к взводным, а те ползали среди лежащих красноармейцев, неумело ругали их щенячьим матом и чуть ли не плача уговаривали подняться в атаку. Увидел взводный Антокольский, как лежит, уткнувшись лицом в снег, Семен Пивоваров, подполз к нему, толкнул в плечо. Вздрогнул уралец, поднял голову, повернулся к лейтенанту.

— Ты почему лежишь, Пивоваров? — закричал Антокольский. — Наступать ведь надо! Вставай... Вставай, кому говорят! Нехорошо так поступать, а еще комсомолец. Вперед, Пивоваров!

Антокольский и сам встал на колено, протянул вперед руку с пистолетом, чтобы вскочить на ноги, и тут крупнокалиберная разрывная пуля угодила ему в лоб. Взрывом лейтенанту снесло переднюю часть черепа, она упала рядом с лицом все еще лежавшего красноармейца, кусочки розовато-серого мозга ударили красноармейца по глазам. Пивоваров замычал, зажмурился. Откатился в сторону, не выпуская из рук винтовки, рывком поднялся и закричал бессмысленное "а-а-а". Правой рукой потрясал винтовкой, грозил ею немцам, а левой размазывал по лицу кроваво-серую кашицу, что мгновение назад была мозгом взводного командира. Потом Пивоваров взял винтовку наперевес и бросился к таким далеким, исчезающим в серой дымке еглинским избам.

...Комиссар Венец находился в первом батальоне. Несмотря на протесты комбата, имевшего на этот счет особый приказ полковника Глазунова, Иосиф ушел в атаку в цепи стрелкового взвода, им командовал сержант Григорий Расев. Бойцы развернулись в цепи — их прикрыл огнем взвод лейтенанта Богородицкого — и короткими перебежками подобрались к восточному краю деревни Большое Еглино, не потеряв ни одного человека. Сержант Расев совершил немыслимый прыжок и бросил связку гранат во вражеский станковый пулемет. Пулемет замолчал. Бойцы схватились с Гансами врукопашную, а за спинами их уже раздалось торжествующее "ура!". Это поднялся в атаку первый батальон...

Расчет полковника Глазунова полностью оправдался. Расправлявшиеся с новичками из уральских маршевых рот немцы не заметили, как в тыл им зашли ветераны. Они ошеломили гитлеровцев неожиданным ударом, и те поспешно отступили из Большого Еглино, бросив оружие, значительные запасы

продуктов, что было весьма кстати для жившей на скудном пайке бригады, и штабной автобус, набитый документами и канцелярским имуществом.

А правее, у Малого Еглино, бой становился все ожесточеннее, немцы продолжали изо всех сил цепляться за деревню и железнодорожный разъезд. Они укрепились в подвалах домов, удерживали опорные позиции. Более того, гитлеровское командование вознамерилось вернуть Большое Еглино, применив танки. Со стороны разъезда показались три тяжелых танка, захваченных в 1940 году во Франции. Лобовая часть у них была экранирована дополнительной броней. А у бригады лишь сорокапятки, их снаряды для такой машины что слону дробина. Но вырвался вперед орудийный расчет сержанта Жукова, начал дуэль с плененным когда-то и теперь верно служившим захватчикам французом.

— Прямой наводкой, ребята! — крикнул командир орудия, и артиллеристы выкатили сорокапятку руками на окраинную улицу деревни.

— Бронебойным!

Подносчик Вася Анохин подал длинный узкий снаряд, щелкнул замком, запирая его в стволе.

— Огонь!

Из танка их еще не видели. Машина, тяжело урча мотором и лязгая гусеницами, крутила башней, высматривая атакующих правее беззащитного, стоявшего на открытом месте расчета. Его едва прикрывал куцый броневой щит пушки, надежный разве что против винтовочных пуль и мелких осколков, так себе щиток, мертвому припарка.

Снаряд ткнулся в броню танка и с визгом ушел вверх. Рикошет, хотя и били бронебойным.

— Огонь! — заорал Жуков, и снова, как горох от стенки, отлетел снаряд.

Не брал он тяжелые танки...

— По гусеницам наводи! — крикнул сержанту Анохин.

— Навожу! — ответил Жуков и увидел, что танк повернул к ним башню и, не стреляя, рванулся на их позицию.

Бойцы еще могли отскочить от мчавшейся на них громадины в разные стороны, и тогда была бы небольшая возможность сохранить жизнь. Только не захотели Анохин и Жуков оставить пушку. Теперь Жуков метил в рвущиеся к ним траки, от них летел в стороны снег, траки быстро съедали последние метры, а он все наводил и наводил, кричал: "Огонь!", и маленькая сорокапятка злобно лаяла на стальную махину, гордая в решимости умереть, но не отступить.

Не отступили... Когда оставалось немного, Бруно Мильгауз напрягся в сиденье, чтоб легче принять на себя удар. Он слился с машиной, летящие по каткам траки стали его конечностями, руки удлинились, продолжились через рычаги во фрикционы, бешено работающий мотор заменил Бруно его сердце. Он кричал бессмысленное, но кричал молча, приученный разговаривать в танке только о том, что относится к боевой обстановке, ведь любое произнесенное слово слышал весь экипаж. Бруно любил давить живое мощью и многотонным весом своего тела-танка. Он испытывал нечеловеческое наслаждение, подлинная страсть охватывала все его существо, и Бруно давил убегающих в поле красноармейцев летом сорок первого года, расплющивал беженцев с их жалкими тележками для скарба, давил раненых, лежащих на топчанах под тентом палаток окруженного медсанбата, утюжил русские окопы, раздавливал грузовики с пехотой и штабные эмки. Но больше всего Бруно любил кромсать вот такие безобидные для его тяжелого танка пушчонки...

Последний снаряд наверняка разбил бы трак у танка. Только времени Жукову уже не хватило. Танк навалился всей многотонной массой, правая его гусеница ударила пушку по левому колесу. Ствол сорокапятки задрался кверху, казалось, он потянулся, чтобы схватить за орудийное жало врага и попытаться его вырвать... Но ствол у нее был коротким и задирался все выше. И когда смотрел уже в серое равнодушное небо, грянул бесполезный теперь выстрел.

А танк-"француз" опрокидывал пушку на головы ее хозяев. Они припали к орудию, будто ища у него спасения. Жуков спрятал голову за щиток, словно щиток мог спасти его, впрочем, сержант не думал об этом, он прикрылся скорее по привычке, так его всегда учили. Подносчик Анохин потянулся за новым снарядом, но глянул, как далеко стоит ящик, и остался на месте. А заряжающий Юсов, не получив в руки снаряда, увидел, как стал приподниматься открытый казенник, упал, стараясь обнять его.

Бруно Мильгауз опрокинул пушку, она упала, накрыв артиллеристов, и Бруно смял все, что было перед ним, потом взгромоздился на исковерканные останки, мстительно крутнулся и раз, и другой, поурчал от сладострастия, ухнул, довольный победой, и помчался по улице, высматривая новую добычу.

Пытался остановить другой танк расчет сержанта Маметьева. Он тоже бил по тракам, и тоже не успел. И тогда громыхающий, извергающий пламя и чад танк затоптал и сержанта Маметьева, и наводчика Антонова, и Губаревича — подносчика снарядов.

И Жуков, и Маметьев не отступили... Много было таких, не отступавших! И лязгающий убийца не избежал возмездия. Пока он расправлялся с расчетом Маметьева, командир батареи лейтенант Феофанов выцелил его сзади. Выстрел — и гусеница распласталась. Второй — попадание в моторную группу. И разорвалось железное сердце железного зверя.

...Глазунов и Венец обходили утром бывшее поле сраженья. Было уже 10 февраля 1942 года. Они выбили немцев из обеих деревень и железнодорожного разъезда, потеснили противника дальше, в сторону Каменки, подбираясь к рокадной одноколейке. И вот комбриг и комиссар пришли туда, где начали атаку уральские ребята. Раненых давно подобрали, убитые ждали похоронной команды, теперь им было не к спеху. Глазунов и Венец обошли труп взводного Антокольского, постояли над ним молча с минуту, закурили, пошли дальше. Ближе к деревне убитых было больше.

— Я помню этого парня, — сказал Иосиф Венец, глядя на распластавшего в стороны руки, лежащего лицом вверх красноармейца. — Говорил с ним перед боем, как заряжать винтовку показывал. Семеном его звали, из Нижнего Тагила.

Комбриг нагнулся и попытался высвободить винтовку из сжатых пальцев Семена. Но тот оружия не выпускал.

— Гляди-ка, — сказал Глазунов, — и после смерти воином остался. Помоги, комиссар. Винтовка его пригодится другому.

Вдвоем они освободили тагильчанина Семена от оружия, и стал он теперь обыкновенным человеком. Обыкновенным мертвым человеком.

Венец прошел дальше. Его остановил возглас комбрига:

— Ты видишь, комиссар? Смотри сюда! Ведь он винтовку с предохранителя так и не снял...

— В горячке, — не поворачиваясь, сказал Венец. — С молодыми бывает. На этом поле здесь он такой не один.

— Погиб в бою, а по врагу не выстрелил ни разу, — проговорил комбриг, догоняя комиссара. — Какой ценой измерить его смерть?!

-30-

Всем давно хотелось отварной картошки.

Порой диву даешься, когда видишь необычную нежность, с какой истинно русский относится к бесхитростному блюду — картошке в мундире. Какая уж тут хитрость! Отмыл клубни, залил водой и ставь на огонь. А закипит вода —

посоли круто. Ну, это на чей вкус. Иные варят в несоленой, а потом щедро макают освобожденную от кожуры, исходящую паром картофелину в крупную соль, она так приятно поскрипывает на зубах... Эх, картошка! До чего же полезный и вкусный продукт, особливо в те времена, когда выпадают народу голодные испытанья!

Никто не воспел картошку в торжественных одах, но, если бы принято было водружать растениям памятники, на Руси поставили б картошке настоящий мемориал. А ведь были времена — никак не хотели ее принять. Бунтовали жестоко, дрались с екатерининскими солдатами, отвергали ведьмины яблоки, и снова (привычное дело!) лилась русская кровь. Теперь и не верится даже. Немыслим русский стол без жаренной на подсолнечном масле с луком, испеченной в жаркой золе костра, отварной с селедочкой, намятой со шкварками...

А им хотелось попросту — в мундире. У помкомвзвода день рождения случился. На войне обычно про эти дни не вспоминают, только раз на раз не приходится, тут вот и вспомнил сержант Меледин, что стукнуло ему аж целых двадцать два.

Степан Чекин в роте этой был новичком. Он досрочно отпросился из медсанбата. Комбат Ососков отпустил его без особых возражений, и Чекин хотел вернуться в свою дивизию, но дивизия сменила позиции, знать о ней могли лишь в армейском штабе, куда сержантов и на порог не пускают.

На прежнем месте он воевал недолго, ни к кому не успел привязаться быстротечно и кровно, как привязываются на переднем крае, и корешков у Степана там не было. Вот и остался в сорок шестой. Так и попал на скромное торжество сержанта Меледина.

— Котелок бы картошки слопал, — мечтательно сказал именинник, — да ежели с огурцом еще...

— Селедки можно, — отозвался старшина, — имеется в заначке.

— У тебя чего в той заначке только нет, — заметил сержант из третьего взвода Ермолай Трутнев, долговязый и сумрачный сибиряк.

— Картошечки! — простонал Денис Меледин. — Чую дух от нее.

— Может, тебе и бабу к ночи? — спросил старшина Гурьев. — Конечно, бабу я произвести не в состоянье, а вот картошку...

— Добудешь? Трофейный парабеллум подарю...

— На кой хрен он мне сдался, я наганом обойдусь, — сказал Гурьев, звали его Виктором, и был он один, пожалуй, кадровый сверхсрочник в батальоне. — А с этим закусем, по которому ты млеешь, дело не простое. За ним идти опасно.

— Куда? — вскинулся Меледин.

— Сиди, сержант, — остановил его Гурьев, — не выпрыгивай. Твое дело сторона. У тебя, брат, праздник.

— Слыхал я про тот сарай, — сказал Ермолай Трутнев. — Херня все это на постном масле, байки.

— А я в третьей роте давеча жареной отведал, — возразил Гурьев. — Картошка из того погреба была. Понял? Смелые там ребята, в третьей. Каждую ночь ходят.

— Доходятся, — буркнул Трутнев. — Давайте жребий бросим.

— Не надо жребия, — сказал вдруг молчавший до тех пор Степан. — Чего там... Я пойду.

...Эти двое не боялись друг друга. Страх всколыхнулся было на донышке сознания и угас. Не потому, что его задавили усилием воли. Необычность обстановки, а главное — вовсе не военный характер затеянного ими не дали страху разрастись и превратиться в ожесточение, ярость, желание уничтожить другого. Может быть, эти чувства порождаются не страхом, только он содержится в первоначале побуждения, заставляющего поднять меч. Страх, опасение за свою жизнь, стремление сохранить ее — естественное состояние живого, почуявшего опасность, инстинктивное состояние. И когда страх не развился, возникла пустота, и в незаполненное место пришло любопытство.

...Степан Чекин, руководствуясь напутствием старшины Гурьева, как пробраться в погреб с картошкой, забрался в него первым. Он захлопнул за собой двойной, обитый старым одеялом люк, спустился по приступке и оказался на куче картошки, неведомо как сохранившейся в разоренных голодом краях.

Погреб был просторным. Чекину показалось, что под люком картошка подмерзла, на ощупь была твердой и холодной, и тогда он сместился в угол; угол был пустым, видно, картошку ссыпали сверху и не успели распределить по закромам.

Тьма в погребе была кромешной. В углу картошка, представилось Степану, была не такой холодной. Он стянул с плеча вещевой мешок и стал бросать клубни, ощупывая каждый: ненароком не закинуть бы гнилой. Вещевой мешок грузнел и обретал добрую форму. Чекин прикидывал рукой, далеко ли до края, чтоб завязать хватило; еще немного — и будет довольно...

Степан, опытный вояка, понимал: его ночной поход на ничейную землю станет известен в роте, и лихость эту оценят красноармейцы. Правда, если узнает

начальство, то может и врезать за ухарство, но Степан знал, что официально никто командиру роты не сообщит, а слухи, они и есть слухи. И потом, ему самому страсть как захотелось картошки в мундире. Да еще если под обещанную старшиной селедочку...

Он набрасывал в мешок последние клубни, когда открылся вдруг люк. Тот, кто открыл его, помедлил, а Степан замер в углу, затаился. Миновали секунды... Пришелец наверху включил фонарь. Луч света упал в погреб, поерзал-поерзал по картошке и погас. Человек стал спускаться, он мурлыкал песенку, тихо мурлыкал, одну мелодию и различил Степан. Но сразу понял — чужой.

Вилли Земпер, это был он, снова зажигать фонарь не стал. Ему и в голову не приходило, что в погребе может находиться кто-нибудь еще. Он был прекрасной мишенью, когда спускался. И если его не убили, то просто потому, что это некому сделать. А Чекин Степан и сам не мог объяснить, почему сразу не ухайдакал немца. За пазухой у него был наган. Ахни разочек — и нету пришельца. Видимо, время еще для того не приспело. Не так скрестились военные пути-дороги этих людей. Да и не сразу понял Чекин, кто спускается в погреб. Мало ли кто какие песни мурлычет... А когда Вилли Земпер засветил зажигалкой парафиновую плошку и поставил ее на ступеньку, чтобы освещала ему поле действия и руки чтоб оставались свободными, тогда стрелять было поздно: возникло любопытство.

Впервые Чекин видел врага так близко. Конечно, в атаке он уже не раз лицом к лицу сходился, но в атаке перед тобой не человек, а воплощенное в его обличье зло. А вот так... Тихо, мирно горит плошка, ганс мурлычет себе спокойно, снимает с плеча пустой ранец из рыжей телячьей кожи, отстегивает крышку и, став на колени, деловито, по-хозяйски, с крестьянским пониманием начинает ощупывать клубни.

Земпер решил: эта картошка под люком подмерзла. Он потискал-потискал один клубень, поднес к лицу, понюхал и отшвырнул в сторону. Обвел глазами погреб, едва освещенный плошкой, и встретился взглядом с Чекиным. Он тоже никогда не видел так близко русского. Убивал он их всегда с расстояния, даже лиц их, встречающих смерть от его руки, никогда не видел. После его снайперского выстрела кувыркнулся в снег — вот и продолжил боевой счет баварский крестьянин.

Теперь же они глядели друг на друга и не знали, что им делать. Каждый пришел в погреб с мирной целью, кровавые заботы войны оставив там,

наверху, и на какое-то мгновение солдаты двух враждебных армий растерялись...

Когда Чекин был на Невской Дубровке, зимой установились с немцами особые отношения по части питьевой воды. Она была в Неве, а Нева находилась под обоюдным обстрелом. Но когда собирались за водой, на той или другой стороне начинали бренчать [121] ведрами, бить металлическим в донья. Оповестит таким образом немцев красноармеец и спокойно идет к проруби за водой. С той стороны не стреляют. Приспичит тем невской водицы попробовать — они бренчат. Тогда наши дают им напиться... Однажды прибыл товарищ из штаба и увидел: гансы собрались на водопой, дав перед этим сигнал. Удивился гость, схватил винтовку, прицелился и выстрелил уж было по немцу с ведрами, да случившийся рядом сержант ударил по стволу. Пуля ушла в небо, а разъярившийся штабист вторым выстрелом прикончил самого сержанта. Скандала особого не произошло, дело замяли, но всякое бренчанье прекратили. За водой на невский лед ползали теперь ночью...

Вилли Земпер виновато улыбнулся. У него вдруг возникло странное чувство, которого не испытывал ни в Голландии, ни в Польше, ни тем более в России. Баварцу почудилось, что застали его в погребе у соседа, веселого и разбитного Уго Лойке. Вилли даже чуть было не рассмеялся, до того вздорным и нелепым показалось ему это ощущение, но как будешь смеяться, если этот иван таращит на тебя глаза.

Обстановка была и смешной, и нелепой, но враждебностью в густом и тяжелом воздухе погреба не пахло. Может быть, случись так, что встретились они у вещмешка с картошкой или телячьего ранца, который мог стать собственностью лишь одного из них, тогда возникла бы необходимость борьбы за обладание. Но картошки было вдоволь, она заполняла вместительный погреб, и нет нужды вступать в спор из-за нее.

Первой мыслью, которая пришла к Земперу, было намерение уйти несолоно хлебавши. Если, конечно, иван позволит ему сделать это. "Ein Mann — kein Mann" (один в поле не воин), — подумал Вилли, — надо уносить ноги подобру-поздорову". У него был с собой пистолет, но сейчас он даже не вспомнил о нем. Зато вспомнил шуточки Руди Пикерта о медвежьей болезни и разозлился, представив, как будут хохотать товарищи, когда он придет с пустым ранцем. Они попросту не поверят тому, что Земпер побывал в погребе.

Тогда Вилли взял в руки картофелину, показал Степану и сделал движение, будто кладет ее в ранец. Чекин пристально смотрел на немца. Тот повторил движение и вопросительно глянул на него.

"Черт возьми, — мысленно воскликнул Степан, — да ведь он просит у меня разрешения! Хрен с тобой, немецкая говядина, набирай ранец…"

Чекин кивнул: давай, мол, пользуйся, а что еще оставалось, и Земпер, покивав благодарственно в ответ, принялся накладывать картошку в ранец, не забывая ощупывать каждую и даже подносить ее к свету. Передвинуться в место получше солдат не решился. Наверно, попалось ему и достаточно мерзлой, и Вилли понимал это. Только сказано ведь: кто вовремя не приходит, получает то, что остается.

Пока Вилли Земпер набирал картошку в ранец, Степан Чекин лихорадочно соображал, что ему делать дальше, прикидывал, как лучше им разминуться. Поначалу хотел загнать Вилли в угол с наполненным ранцем, чтоб выбраться из погреба первым, ведь Земпер загораживал люк, он устроился прямо под ним. Но эту идею Степан отверг. Ему не хотелось поворачиваться к гансу спиной, вылезать из погреба первым.

— Уходи, — сказал он немцу, когда тот застегнул наполненный ранец.

Вилли вопросительно взглянул на Чекина — не будешь стрелять? — и сержант отрицательно покачал головой. Земпер поверил ивану. Он просунул левую руку в лямку ранца, а правой снял со ступеньки парафиновую плошку, она мешала ему подниматься, и осторожно приладил ее среди клубней, хотя первой его мыслью было резко отбросить мерцающий огонек в угол подвала и стремглав броситься к спасительному люку. Но Вилли пересилил себя. Он оставлял огонь русскому и открывал ему беззащитную спину.

Вилли, покинув погреб, оставил люк открытым. И только теперь Степан понял, что оказался в дурацком положении. А что, если мордатый ганс караулит его наверху? С другой стороны, пойди Чекин первым, что помешало бы тому выстрелить в поднимавшегося по ступенькам Степана?..

Сержант завязал мешок, приладил его за плечами, достал наган, крутнул барабан, взвел курок. Со взведенным курком на долю секунды выстрелишь быстрее.

Горела плошка. К шибавшему в нос картофельному духу примешивался запах сгоревшего парафина. Чекин взял плошку в руки. Парафин расплавился, фитилек плавал в лужице, и Степан пожалел, что не сумеет унести плошку с собой, сгодилась бы в хозяйстве.

Он поднял на плечо вещмешок, задул огонь, надвинулась темень, потом опустил плошку, горячий парафин пролился и несильно обжег ему пальцы.
Лесенку Степан преодолел рывком, держа револьвер наготове. Выметнувшись из люка, сразу упал на земляной пол сарая, прислушался. Никто не стрелял, никто не кричал ему "Руки вверх!".
Чекин захлопнул люк, чтоб не перемерзла в погребе картошка, и выбрался из-под упавшей кровли сгоревшего сарая.
В чистом поле он перевел дух и осмотрелся. Ветер усилился. По ничейной земле суетилась поземка. Начиналась метель.

-31-

Тамара Бренькова готовилась умереть. Она знала, что с такой раной не выживают. Мало того, Тамара всем существом чувствовала приближение смерти. Погибель ее обернулась бомбовым осколком с иззубренными краями. Он рассек молодое, сильное тело не успевшей ни разу родить женщины, и только о том жалела сейчас Тамара, что не оставит после себя никакого следа на земле. Когда, после налета немцев, похоронили врача Свиридова, Тамару будто подменили. Она осунулась, замкнулась, все валилось у нее из рук. Комбат Ососков как-то сгоряча наорал на сестру, потом пригляделся внимательно и махнул рукой: "Не жилец на белом свете, смерти девка ищет..."
Принято считать на войне, что, ежели кто умереть собрался, жизнь кому стала в тягость, того косая быстренько приберет к рукам. Правда, не всегда получается так. Бывает, лезет мужик в пекло, вызывает огонь на себя, чуть ли не грудью пули ловит, а те его минуют и минуют... Но чаще все же происходит по первому правилу.
Подловилась Тамара на одной-единственной бомбе, ее сбросил к ним "юнкерс", прилетевший бомбить соседнюю батарею. По чьему-то недосмотру артиллеристы оказались неподалеку от медсанбата, в семи километрах от переднего края. Ососков ходил к пушкарям выяснять отношения, ругался, но те и бровью не повели. Вскоре ударили с новых позиций по немцам, их быстренько засекла воздушная разведка и вызвала "юнкерсы". Один из них и принес погибель медсестре Бреньковой.
Тамара лежала в отдельной палатке, где помещалась аптека. Марьяне разрешили отлучиться от раненых, ее подменила новенькая медсестра.
— Небо, — сказала Тамара, — хочу видеть небо... Вынеси меня, Марьяна, на волю.

Вдвоем с начальником аптеки они взялись за носилки, на которых лежала Тамара, вынесли наружу.

— Хорошо, — проговорила Тамара, и голос ее прервался. Она полежала молча и снова зашептала. Глаза ее были закрыты.

— О чем ты, Томочка, милая? — спросила Марьяна.

— На белом коне, — услышала она, — маршал на белом коне... И музыка, Марьяна, играет... А у меня платье красивое...

"Бредит, — подумала Марьяна, — бредит, бедняжка!" Тамара открыла вдруг глаза, они были осмысленными и смотрели на Марьяну с легкой укоризной.

Странное дело, сама Марьяна пребывала сейчас в заторможенном состоянии. Ей бы разрыдаться, заголосить, выплеснуть скорбь наружу, но слишком много вокруг было горя и страданий. И Марьяна загоняла вовнутрь рвущийся наружу крик, который мог бы облегчить ее исстрадавшуюся и не пожелавшую окаменеть душу.

— Маршал, — донесся до Марьяны шепот умирающей, — маршал приехал... На белом коне.

До слуха Марьяны донесся непривычный шум двигателя, она подняла голову и увидела: меж сосен остановился на дороге бронетранспортер, за ним грузовик с бойцами в кузове. Бойцы спрыгнули и растянулись цепью вокруг бронированной машины, оттуда вышли командиры, к ним уже бежал, спотыкаясь, комбат Ососков. Добежав до группы, Ососков принялся было докладывать, но один из прибывших махнул, все повернулись и пошли в сторону. И вдруг командир, невысокого роста, в темной бекеше с коричневым воротником и такого же каракуля невысокой папахе, глянул в Марьянину сторону, и та узнала в нем Ворошилова.

— Тамара, Тамара, — горячо зашептала она, склонясь к уху подруги, — погоди немножко! Не умирай, милая... К нам Ворошилов приехал! Понимаешь? Климент Ефремович сам!

Тамара закрыла глаза, вздрогнула вдруг, вытянулась, лицо затвердело, улыбка попыталась исчезнуть, но тень ее сохранилась.

...Ворошилов прибыл на Волховский фронт 17 февраля 1942 года, сменив в качестве представителя Ставки Верховного Главнокомандования Мехлиса. Сталин отозвал Льва Захаровича в Москву, чтобы поручить подготовку весеннего наступления в Крыму. Ко времени приезда Ворошилова в Малую Вишеру, где дислоцировался штаб Волховского фронта, положение войск четырех армий было своеобразным. Вторая ударная армия, занимавшая

центральное положение, глубоко продавила оборону противника и вела в его бывших тылах кровопролитные бои. На правом фланге со злополучными уступами у Чудово и Спасской Полисти, где сосредоточились ее главные силы, сражалась 59-я армия. Еще правее 4-я армия упорно пыталась сбить немцев с киришского плацдарма на восточном берегу Волхова. На левом фланге фронта 52-я армия не сумела ликвидировать уступ ко 2-й ударной и изо всех сил сдерживала теперь натиск противника со стороны Новгорода. Стало ясно: задуманное вначале широкое наступление всех армий фронта не получилось. Разрабатывался новый оперативный план — 2-й ударной наступать на Любань. 59-я армия будет по-прежнему пытаться взять Спасскую Полнеть, откуда противник постоянно угрожает коммуникациям 2-й ударной. Операция получила название Любанской. Под ним она и войдет в историю войны.

За два дня до приезда нового представителя Ставки Мерецков уточнил задачу армии Клыкова: остановить продвижение частей в направлении Абрамов Клин, Веретье Русское и Каменка как бесперспективное. От станции Глубочка войскам надлежало повернуть на северо-восток, к Любани, а на отвоеванных уже западных участках перейти к обороне. Кавалерийский корпус Гусева развертывался на Ушаки. Ему предписывалось во что бы то ни стало выйти на Октябрьскую железную дорогу. Эта же цель была поставлена перед оперативной группой генерала Привалова, которая должна была перерезать дорогу между станцией Чудово и Любанью, перед этим разгромив немцев в Червинской Луке и Ручьях.

Приказ был отдан. Но выполнить его оказалось не так-то просто. Противник разгадал этот замысел. Пользуясь железными дорогами, которые находились у него в руках, он перебросил с других, менее тяжелых участков фронта крупные силы, передислоцировал авиацию и успешно отбивал атаки соединений 2-й ударной, обессиленных, обескровленных в многодневных боях, нуждавшихся в пополнении боевой техникой, вооружением, живой силой.

Уже 24 января, анализируя обстановку в зоне боевых действий группы армий "Север", генерал Гальдер отметил: "На севере положение несколько лучше, так как здесь противник наносит удар на направлении, куда мы подтягиваем силы. В противном случае мы не смогли бы удержать фронт у Ленинграда".

Следовательно, 2-я ударная била туда, где ее ждали. Потому и осталась на прежних позициях группа генерала Привалова, продолжая вести жестокие бои за Кривино, Ручьи и Червинскую Луку, потому и споткнулись славные конники

генерала Гусева, застопорили движение на оборонительной линии Красная Горка, Верховье, Коровий Ручей.

...Ворошилов поводил-поводил глазами по оперативной карте, расставив большой и указательный пальцы, прикинул расстояние от Мясного Бора до станции Еглино, хмыкнул. Хоть и не так все складывалось, как задумывала Ставка, а все-таки молодец эта 2-я ударная... И Гусев, как бог, ведет кавалеристов. Только куда там с саблями на танки. Хватит, пробовали уже в сорок первом. Самолеты нужны и пушки, а главное, снарядов побольше. Разве это война, если комбату за расход боеприпасов угрожают трибуналом!.. А Ставка жмется, экономит. Он, Ворошилов, знает истоки этой скаредности. Затеяны крупные операции, от моря до моря, резервы собирают повсюду, тщательно метут по закромам и сусекам, но, как там ни скреби, пусто еще в кладовых, пусто... Для членов Ставки не было секретом, что в эти полгода ожесточенной войны истрачены почти все накопленные в мирное время боеприпасы. Давеча генерал Воронов рассказывал, как в самый Новый год получает звонок из Ставки: "Отправляются на фронт два лыжных батальона, дело срочное. А у них ни одного автомата. Надо вооружить..." Начальник артиллерии Красной Армии приказал выяснить возможности. Оказалось, что в резерве всего 250 автоматов. Доложил Ставке и получил приказ: "Сто шестьдесят автоматов отдайте лыжникам, а себе оставьте девяносто". Так и встретил Воронов сорок второй год, не имея и полной сотни автоматов в резерве. И смех, и грех. А планы затеяны грандиозные... Что ж, нашим людям любые планы по плечу, только б вооружить их как следует. Сейчас бы к стратегической обороне перейти, перемалывать немцев, зарывшись в землю, пока Урал и Сибирь не заработают в полную свою мощь. Но опять же ленинградцев надо выручать, ждать они больше не могут...

Ворошилов вздохнул. Вспомнив о Ленинграде, он мысленно перенесся в проклятый сентябрь прошлого года, когда был заменен Жуковым по указанию самого. Обида на Сталина до сих пор не проходила. Мог бы и по телефону, лично отстранить. Но по записке, переданной с тем же Жуковым... Ему бы, Ворошилову, мог и прямо сказать. Не будучи профессиональным военным, Ворошилов сложному и противоречивому военному искусству никогда не учился, ни до революции, ни в последующие годы. Да, он занимал должности политических комиссаров на фронтах гражданской войны, а в тридцатые годы даже возвысился до народного комиссара обороны. Но все это благодаря расположению к нему Сталина. Всем, всем он обязан ему, вождю. Может,

поэтому он, Ворошилов, становился совершенно безвольным существом, оказываясь рядом с ним. Выручала его безграничная, а главное — безоговорочная преданность Сталину, в которой тот имел возможность убедиться во время Царицынской эпопеи, когда Ворошилов с готовностью поддержал организованную Сталиным массовую экзекуцию военспецов. Будущий отец народов усмотрел в тогдашних неудачах происки бывших царских офицеров, принятых на службу в Красную Армию. Все они были арестованы, погружены на баржи, которые вывели на Большую Волгу и затопили, не потратив на "врагов" революции ни единого патрона. Сталин помнил о царицынской солидарности Клима Ворошилова, а после инсценированного судебного процесса над Тухачевским и другими военачальниками заявил на расширенном заседании Военного совета: "Когда я приехал в Царицын, мы с товарищем Ворошиловым сразу разобрались в обстановке и нашли множество врагов народа..." После него выступал Климент Ефремович и призывал военачальников осмотреться вокруг, не находится ли рядом изменник, требовал сомневаться в каждом и, ежели что, доносить, доносить, доносить...

С первой их встречи у Сталина не было как будто бы повода быть недовольным своим протеже. Хотя кому, как не ему, Ворошилову, знать, что вождь может отправить на тот свет любого. И без всякого повода.

Конечно, один мотив в действиях Сталина всегда присутствовал: личное соображение, опасен человек для него или нет. Причем понятие опасности для вождя было настолько расширительным, что втянуло в трагическую орбиту миллионы ни в чем не повинных людей. И кровь, пусть не всех, а только части их, была и на руках Ворошилова тоже.

Климент Ефремович снова поколдовал над картой. Он должен был сказать Мерецкову то, что на словах передал для командующего Волховским фронтом Сталин.

— Извини, Кирилл Афанасьевич, — решился маршал, — конечно, я понимаю... Словом, Ставка тобой недовольна.

Мерецков, наклонив голову, молчал.

— Верховный Главнокомандующий просил передать, чтоб ты был поактивнее, что ли... Топчется, говорит, Мерецков на месте.

"Сам же видел, — мысленно выругавшись, подумал Кирилл Афанасьевич, — сам карту пальцами мерил... И на картах Ставки эти позиции нанесены". Он понимал, что Ворошилов лишь гонец, передавший полководцу нелестное о нем

мнение Верховного. Но Сталин был далеко, и злиться на него не полагалось, а Ворошилов, маленький, с большими залысинами и одутловатым лицом, в последнее время поусохший, но все еще полный и какой-то домашний, вовсе не похожий на маршала, сидел с ним рядом. Ворошилов искоса взглянул на Мерецкова и подумал, что нелегко Кириллу Афанасьевичу дался тот вынужденный отдых в июле и августе сорок первого.

— В ближайшее время, — сказал он, — вы должны перейти к активным наступательным действиям. Во что бы то ни стало необходимо взять Любань. Это приказ, генерал.

Мерецков встрепенулся:

— Да-да, конечно, сейчас это главное. Если овладеем Любанью, то с чудовской группировкой будет покончено. Командарм Клыков прислал доклад: "На моем участке в воздухе все время господствует авиация противника и парализует действия войск. Дорожная сеть в плохом состоянии, содержать ее в проезжем виде некому. Из-за отсутствия достаточного количества транспортных средств подвоз фуража, продовольствия, горючего и боеприпасов далеко не обеспечивает существующих потребностей".

— Помочь ему надо, Клыкову, — сказал Ворошилов. — За счет собственных резервов, Кирилл Афанасьевич. Ставка тебе ничего сейчас не даст, учти. Понимаешь?

— Как не понимать, понимаю... А толку от этого? — возразил Мерецков. — Сам сижу на подсосе, укрепляю Вторую ударную за счет других. По закону сообщающихся сосудов... А Клыков считает, что для дальнейшего развития наступления ему необходимы три свежие дивизии, дивизион реактивных установок, не менее двух автобатальонов, трех строительных батальонов, пятнадцать бензовозов... Вот он пишет: "Пришлите сено, надо пополнить конский состав и прикрыть армию с воздуха". Прикрыть... Чем я прикрою, если у меня на весь фронт всего двадцать истребителей, да и те устаревших типов, "мессеры" жгут их, как хотят? Малую Вишеру бомбит каждую ночь, а отогнать подлецов нечем.

Ворошилов молчал. Он чувствовал себя неловко в роли толкача, которую отвел ему Сталин на Волховском фронте. Титул громкий — представитель Ставки. А за ним пустой звук, если ты не можешь ничем помочь Мерецкову.

— Кавдивизия полковника Полякова, которую я направил Клыкову, уже подходит к Красной Горке, — продолжал, успокаиваясь, Мерецков. — Доукомплектовывается дивизия полковника Антюфеева. Постоянно направляем

во Вторую ударную маршевые роты, артиллерию, танки. Боеприпасов мало, Климент Ефремович!

"Их не только у тебя мало", — хотел ответить Ворошилов.

— Мы тут прикинули с начальником штаба и решили забрать из Пятьдесят второй армии одну дивизию. Снимем из горловины прорыва и стрелковую бригаду полковника Пугачева. Бросим на укрепление группу Привалова. Она ведь тоже наступает на Любань.

— Вызови Стельмаха. Пусть о противнике доложит, с кем мы имеем дело. А то я что-то толком не разберусь с картой. Наворотили тут названий немецких...

Когда вошел генерал-майор Стельмах, Ворошилов спросил начальника штаба фронта:

— Кто ведает разведкой у Клыкова?

— Рогов, — ответил Стельмах, — полковник Рогов.

— Знакомая фамилия, — пробормотал маршал.

— Перед войной Рогов служил в разведуправлении Генштаба, — дал справку начальник штаба. — Толковый разведчик.

— Посмотрим, — сказал Ворошилов, — чего он тут наворочал, этот толковый. Докладывай, начштаба.

— Когда мы перешли в наступление, — кашлянув и посмотрев на командующего, проговорил Стельмах, — немцы всполошились и принялись перебрасывать в район прорыва различные части, снимая их с других участков, в том числе и с ленинградских позиций.

— Вот-вот, — оживился Ворошилов, — тут вы молодцы, облегчили питерцам положение. Имеем точные сведения: в январе фон Кюхлер собирался штурмовать город. А положение там — не приведи господи... Жданов докладывает в Ставку — плохо ленинградцам.

— В войсках, и особенно у Клыкова, политическая работа ведется на этой основе, — сказал Мерецков. — Каждый фашистский снаряд в нас — это снаряд, который не полетел в сторону Ленинграда.

Он кивнул Стельмаху: дескать, продолжай.

— Вскоре на опасных участках собралось так много воинских частей, что немцы почувствовали: управлять ими стало трудно. Тогда командование противника перебросило в этот район штабы некоторых соединений. Они объединили все части и подразделения в особые бригады и группы.

— Кто у кого опыт перенимал? — улыбнувшись, спросил маршал у Мерецкова.

— Не знаю, — ответил генерал армии. — Только такие оперативные группы я еще под Тихвином придумал и при освобождении города использовал. Может быть, они тогда и переняли...

— Учишь немца, как воевать, — проворчал Ворошилов шутливо. — Впрочем, мы создавали опергруппы уже в самом начале войны.

— Вскоре в районе Спасской Полисти, — продолжал Стельмах, — появилась бригада "Кехлинг". Она объединилась с другими частями и получила название группы Хенике. Здесь же действуют бригада "Шеидес" и пехотная дивизия. Любань прикрывают группа "Бассе" и пехотная дивизия. На левом фланге фронта, с юга, действуют пехотная и охранная дивизии, а также группа Яшке. В западном направлении на базе корпусного штаба создана группа Герцог. Группы эти постоянно растут, усиливаются резервными частями. Кроме того, против Второй ударной немцы бросили едва ли не всех своих европейских лакеев.

— Как это? — спросил Ворошилов.

— В районе Любани и Спасской Полисти воюют испанцы-франкисты из Голубой дивизии. Прибыли на фронт легионы бельгийских фашистов — "Фландрия", голландских — "Нидерланды", отряды норвежцев-квислинговцев. Есть и подразделения эстонских националистов, польские солдаты под присмотром немецких офицеров. Ихняя пропаганда старается изобразить этот "интернационал" как крестовый поход Европы против большевиков.

— Крест бы им всем в одно место, — сказал Ворошилов. — Осиновый...

— Лучше кол, Климент Ефремович... А впрочем, и против креста не возражаю, — отозвался Мерецков.

— Пока и противник не обладает преимуществом в живой силе, и пушек у нас побольше. Но гитлеровцы располагают большими запасами мин и снарядов, подвоз к войскам у них не затруднен: железные дороги в их руках. Мы же не в состоянии соперничать с противником в создании артиллерийско-минометной плотности огня. Каждый снаряд на счету! Но главная опасность, главная наша забота — их авиация. Она буквально терроризирует стрелковые части и особенно кавалерию.

Ворошилов вдруг резко поднялся и направился к двери.

— Поехали, — на ходу бросил он Мерецкову, — во Вторую ударную.

В эту февральскую ночь 1942 года Сталину не спалось. Он вообще плохо спал по ночам, потому и сместил собственный отдых на утренние часы. Впрочем, и сейчас было раннее утро. Но в это время Сталин обычно уже спал, и вся страна, вернее сказать, руководящая ее часть позволяла и себе прикорнуть в специально оборудованных комнатах.

Справедливости ради надо сказать, что эта традиция — смещать дневное время на ночь — возникла еще до того, как Сталин превратился в существо высшего порядка. Не спали по ночам в первые дни октябрьского переворота, недели и месяцы становления Советской власти, в тревожном ожидании Брестского мира, в архитрудную эпоху военного коммунизма. Позднее, когда Ленин приступил к созданию хозяйственных основ государства, Председатель Совнаркома неоднократно возвращался к проблеме нормального ритма деятельности партийного и советского аппарата. Но выкорчевать до конца привычки военного коммунизма, а иных у взявших власть партийцев, увы, не было, Ленину не удалось.

С его смертью исчезло последнее препятствие для группы лиц, которым импонировал командный, волевой, армейский стиль руководства партией, экономикой, государством, народом. Поэтому сплотились они вокруг Генерального секретаря, который во всеуслышание объявил себя защитником ленинских идей.

...Сегодня Сталин долго не спал. Он лежал вытянувшись на узкой железной кровати, прикрытый серым солдатским одеялом, лежал на спине, опустив на глаза набрякшие за беспокойный день веки, и тщетно пытался уснуть.

Сталин не признавал снотворных и никогда не пользовался этими средствами. Не верил он в силу подобных лекарств. А тех, кто не умел взять и просто уснуть, вызвав сон обычным усилием воли, считал людьми безнравственными, развращенными, такими, у кого нечистая совесть.

Сейчас вождь повернулся лицом к стене и попытался в веренице непрестанно сменяющихся событий последних дней найти нечто, что могло так чрезмерно возбудить его сознание. Вспомнил письмо, отправленное недавно президенту Рузвельту. В нем Сталин благодарил за предложенный Соединенными Штатами Америки второй миллиард долларов военной помощи по ленд-лизу. Этот миллиард был как нельзя кстати, но Сталин принял его со строгим достоинством и, сдержанно поблагодарив Рузвельта, не преминул заметить, что пока организация доставки грузов из Америки в Советский Союз оставляет желать лучшего.

Нет, это событие надо отнести к разряду положительных, оно вовсе не могло вызвать у него бессонницу. События на фронте? Особых причин для беспокойства как будто нет и там. Правда, Сталин, пока еще смутно, начинал понимать, что зимнее наступление Красной Армии против группы армий "Центр" начинает пробуксовывать и затухать. Теперь он возлагал большие надежды на будущий удар, который нанесет Тимошенко в направлении Харькова, северо-западнее Изюма, и на Крымскую операцию. Этими двумя ударами он подрежет Гитлеру хвост и вернет Донбасс. Еще немного — и Красная Армия перехватит стратегическую инициативу.

Вождь вздохнул, повернулся на спину и открыл глаза. Понимал: уж если начал разбирать в уме положение на фронте, уснуть не удастся.

Он полежал несколько минут, бездумно глядя в темноту, потом решительно поднялся и сел на койке, свесив ноги, обутые в шерстяные носки: в последнее время у него стали зябнуть ноги.

С легким усилием нагнулся и поднял за голенище разношенный сапог из мягкого хрома. Некоторое время он медлил и едва не решил было снова улечься, но теперь спать и вовсе расхотелось. Сталин обулся, легонько притопнул, чтобы сапоги сразу осели, ладно пришлись по ноге, и принялся, неслышно ступая, подниматься по лестнице, которой пользовался только он один, направляясь на второй этаж, где располагался служебный кабинет.

Здесь Сталин не задержался, прошел в библиотеку, она помещалась рядом. Среди шкафов, заставленных книгами и закрытых стеклянными дверцами, Сталин остановился и наморщил лоб, будто пытаясь вспомнить, что привело его сюда. Потом решительно подошел к одному из шкафов, где находились немецкие издания, открыл дверцу и снял с полки "Майн Кампф", сочинение Адольфа Гитлера. Издание было роскошным, с золотым обрезом: Нюрнберг, 1937 год... Сталин подержал-подержал в руке книгу, презрительно фыркнул и отправил на место, достав стоявшую рядом невзрачную книжицу в черном коленкоровом переплете. Это был русский перевод "Моей борьбы", выполненный для служебного пользования.

Сталин раскрыл книгу наугад, и в глаза ему бросилась отмеченная вертикальной чертой фраза: "Молодой человек должен научиться молчать и, если нужно, молча терпеть несправедливость. Если бы немецкому юношеству в народных школах меньше вдалбливали знаний и внушали большее самообладание, то это было бы щедро вознаграждено в годы 1915 — 1918".

"Теперь у его солдат самообладания даже излишек, — подумал, усмехнувшись, Сталин, — только основываться это чувство должно на осознании справедливости того дела, за которое ты воюешь... Нет, он уже проиграл войну, как проиграл ее Наполеон, как будто бы победив русское войско в Бородинском сражении и вступив в Москву. Нынешняя война — схватка идеологий. У него плохие специалисты по России. У колосса вовсе не глиняные ноги..."

Сейчас вождь не признался бы даже самому себе, что в свое время недооценил опасность фашизма, пришедшего к власти в Италии уже в 1922 году. Более того, Сталин находил нечто рациональное в дружбе с Муссолини, о чем прямо и недвусмысленно сказал 17 июня 1924 года в докладе "Об итогах XIII съезда РКП (б)" на курсах секретарей укомов при Центральном Комитете.

И уж вовсе трагедией для всего международного рабочего движения явилось стойкое убеждение Сталина относительно социал-демократических партий. Вождь заносил их одним чохом в лагерь врагов социализма и считал куда более злейшими противниками, нежели постепенно набиравших силу нацистов.

В силу того что коммунистические партии входили в Коминтерн, раскольнические идеи Сталина, ведущие к ослаблению общего народного фронта, обостряли противоречия внутри рабочего класса Западной Европы, многие лучшие представители которого традиционно входили в социал-демократические партии. Особенно ярко проявилось это в Германии. Пока немецкие социал-демократы выясняли партийные отношения с такими же пролетариями, но входившими в партию коммунистов, а порой и открыто враждовали друг с другом, Гитлер и его партия вербовали сторонников из беспартийной, колеблющейся массы трудящихся, не сумевших вырваться из мелкобуржуазной стихии. Так непримиримое отношение коммунистов к социал-демократам, подогреваемое ошибочными взглядами Сталина, разобщило реальные силы, которые могли дать отпор фашизму, раскололо народный фронт и позволило Гитлеру прийти к власти.

Беда Сталина была и в том, что вождь остро ощущал собственную неполноценность от невысокой образованности, иногда доходившей до явного невежества. Это не так страшно, когда подобная личность находится в социальном кругу равных по статусу людей. Но когда недоучка становится вождем и его слову внимают миллионы, как устоять и не уверовать, будто ты и в самом деле мудрейший из мудрых!

Трудно сейчас сказать, изучалась ли на Политбюро анкетная биография Сталина, когда в 1922 году решался вопрос о его выдвижении на пост генерального секретаря ЦК РКП (б). Следует подчеркнуть, что эта должность в те времена рассматривалась скорее как техническая. Необходим был человек, который наладил бы оперативную деятельность Центрального Комитета, роль которого в эпоху новой экономической политики существенно преображалась. Во всяком случае, никого тогда не остановило то существенное обстоятельство, что основные зачатки знаний Сталин получил в духовной семинарии, готовя себя к религиозной карьере.

Это весьма роковое обстоятельство, которое многое объясняет в том Сталине, каким узнала его последующая история.

Религиозная система воспитания основана не на знании, не на поисках противоречий, в столкновении которых рождаются истины, а на слепой вере. "Верю, — следовательно, существую" — так, исказив картезианский принцип, определили бы мы принцип религиозной методологии. И в нем был весь Сталин. Отсюда его фанатизм, отсюда бесчеловечная нетерпимость, жесткий догматизм, патологическая склонность к глобальной иерархии, повсеместное насаждение в практику византийских методов, упование на командно-бюрократический стиль руководства и неуклонное приобщение народа к догмату непогрешимости Бога — Вождя.

Как знать, обладай Сталин культурой светской, глубокими и систематическими знаниями, гибким и аналитическим умом, не скованным в ранней юности религиозными догмами, может быть, ему показались бы смешными миллионные тиражи его портретов и бюстов, распространяемых в стране, фанатичное поклонение толпы вызывало бы искреннее раздражение, а мысли о зловещей тюрьме народов в которую вождь превратил великое государство, вызвали бы в душе его неподдельный ужас и смятение.

Но никому из членов Политбюро тогда, в 1922-м, не пришло в голову вспомнить, где и чему учился в юности Сталин. Иначе не произошли бы события, которые дорого обошлись российским народам и всему миру.

...Сталин листал "Мою борьбу" и наткнулся на отмеченную его рукой фразу. "Народное государство, — утверждал Гитлер, — видит идеал человека в непреодолимом воплощении мужской силы и в бабах , вновь производящих на свет мужчин".

"Пошляк, — раздраженно подумал Сталин и захлопнул книгу. — Жалкий и примитивный пошляк... И такой человек стоит во главе государства!"

Раз и навсегда определив для себя отношение к Гитлеру, которое сложилось еще в двадцатые годы, когда он впервые узнал о нацистском движении в Германии, Сталин не изменил его до сих пор, хотя этот человек, достойная натура для карикатуристов, отнял у него добрую половину России и еще недавно стоял у ворот Москвы.

Еще один парадокс личности Сталина, а этих парадоксов было хоть отбавляй, заключался в том, что вождь в глубине души завидовал фюреру германского народа. Он высоко ценил его деятельность внутри страны, которая позволила за три-четыре года поставить униженное Версальским договором немецкое государство под ружье. Гитлер сумел сделать то, что до сих пор не удавалось сделать ему, Сталину, — объединить собственную страну вокруг великой триады: один вождь — один народ — одно государство.

Гитлер ухитрился малой кровью отделаться от соперника Рема в 1934 году, а ему, Сталину, неделями пришлось высиживать на судебных процессах, скрываясь от их участников за специальными ширмами. Генеральный штаб Германии с первых дней прихода фюрера к власти верой и правдой стал служить Гитлеру, а ему, Сталину, пришлось устроить чистку в армии, убрать из нее всех, в ком не был уверен. Очень скоро с Гитлером стали считаться правители Франции и Англии, а он, Сталин, до сих пор не уверен в лояльности акул капитализма, борьбе с которыми посвятил всю свою жизнь.

Словом, этому выскочке слишком легко все удавалось. Значит, в нем было нечто такое, чего Сталин не мог понять. С одной стороны, неразгаданная причина успехов Гитлера вызывала неосознанное к нему уважение. А с другой, усиливало неприязнь к вождю германского народа, которую он маскировал презрением, ибо это чувство заглушало комплекс неполноценности, с особой силой вспыхнувший в роковое воскресное утро начала войны.

Сталин вернул русский перевод "грязной стряпни пошлого маньяка" на место и решительно вернулся из библиотеки в кабинет. Сел за стол, нашарил в кармане небольшой ключ на кожаном шнурке и открыл им левый ящик письменного стола. Там лежала толстая тетрадь в кожаном коричневом переплете.

Никто не знал, что Сталин вел дневник, не вязалось подобное занятие с обликом и характером этого человека. Конечно, дневник был под стать его хозяину. Никаких эмоциональных записей, никаких сомнений, фраз с вопросительными или неопределенными интонациями. Сухой перечень событий, упоминания о значительных встречах, своеобразный временной реестр деятельности.

Сталин листал тетрадь, воскрешая в памяти былое, развертывая ретроспективу прошлого, изменить которое даже он, всемогущий, был не в состоянии. Сейчас он бессознательно искал причину сегодняшней внутренней неустроенности и понял, откуда она пришла, когда увидел запись беседы с начальником Генерального штаба генералом Жуковым.

Это случилось год тому назад.

...Никому не дано изменить прошлое, а вот на будущие события человеку оставлена возможность воздействовать. Весь секрет в том, с какой степенью точности сумеет человек смоделировать варианты будущего и выбрать из них именно тот, что в совокупности с действующими факторами даст необходимый результат. Умение предвидеть вовсе не несет в себе ничего таинственного и сверхъестественного, оно предполагает умение верно оценивать имеющиеся факты и те, на возникновение которых можно рассчитывать, учитывать законы сцепления и взаимного уничтожения чужих интересов, точно разлагать события на составные и вновь собирать разрозненные детали свершившегося воедино. И тот, кто овладел этим инструментом и тонко применяет его в практической [134] деятельности, никогда не раскрывает зачарованной публике секретов успехов. Простые смертные видят конечный результат и отчаянно рукоплещут политическому гению, поставившему мат противнику.

Ошибки людей, обязанных предвидеть, дорого обходятся человечеству. В наши намерения не входит анализ причин, вызвавших вторую мировую войну, безусловно, ее возникновение определено глубокими экономическими и политическими причинами. И тем не менее вовсе не трудно составить список из десятка — всего десятка! — имен, обладатели которых совершили в канун войны непростительные ошибки. Поступи они иначе — события бы развивались в ином направлении, мировая война могла бы не разразиться. Хотя, разумеется, и эта трагическая десятка — порождение экономических факторов, причудливый конгломерат прямых связей. Знание законов диалектики помогает понять мир, но этого знания порою недостаточно, чтобы предостеречь человечество от роковых последствий.

Открытых агрессоров казнили в Нюрнберге. Они заслужили петлю, и в этом ни у кого нет сомнений. Но как нам судить тех, кто так или иначе не сумел увидеть возможного результата собственных неправильных действий и тем самым создал предпосылки для трагического развития событий?..

...Сталин заскрипел в ярости зубами, он был наедине с собой, мог позволить себе это. Он едва не бесновался, вспоминая, чем занимался Генштаб в последние недели предвоенного времени.

Германия заканчивала формирование ударных кулаков на западной границе, а в Тбилиси в конце мая и начале июня сорок первого проводились учения Закавказского военного округа. Затем генштабисты перебрались морем в Красноводск и приступили к командно-штабным учениям в Среднеазиатском округе. И только за сутки до войны бригада Генштаба вернулась поездом в Москву.

Конечно, все это не было ошибкой в чистом виде. После заключения с Германией Пакта о ненападении 23 августа 1939 года, а затем Договора о границах и дружбе 28 сентября 1939 года и особенно после встречи Молотова с Гитлером в ноябре сорокового года оценка международной военно-стратегической обстановки вытекала из сталинского утверждения: возможной в исторической перспективе войне Германии с СССР будет предшествовать удар Гитлера по Англии. И в этом случае интерес Генерального штаба к Южному театру военных действий, где находились английские колонии, был отнюдь не случаен. Но Гитлер сделал собственный ход конем, лишив Сталина ферзевых преимуществ.

Таково было недавнее прошлое, и даже Сталин не мог его изменить. Он понимал, что дьявольская игра, которую затеял Гитлер, обернется против него самого, убежденности Сталину тут было не занимать. Но ему приходилось признавать: Гитлер выиграл пару-тройку первых ходов. Это постоянно мучило его и роковым образом заставляло торопиться, чтобы поскорее взять верх, путало тщательно разработанные Генеральным штабом планы.

После успешного контрнаступления под Москвой Борис Михайлович Шапошников предложил на рассмотрение Ставки план перехода Красной Армии к стратегической обороне. Генштаб исходил из соображения: немцы пока сильны, а наши резервы еще незначительны. Военная промышленность, переброшенная на восток, до конца не развернулась. Перемалывать агрессора в оборонительных боях, создавать глубокоэшелонированную оборону и не давать ему продвинуться дальше, пока не будут накоплены значительные силы, — такова была суть предложений.

Сталин отверг эту разумную программу. "Ты как Илья Муромец, — недовольно сказал он Шапошникову, — хочешь тридцать три года сиднем сидеть, Борис Михайлович. Гитлер уже выдохся... Единым и общим ударом по всему фронту

мы опрокинем его армии и вышвырнем их вон с нашей земли. Советские люди не поймут нас, товарищи, если мы будем звать их к пассивной обороне".

После этого были разработаны наступательные операции на весну 1942 года, операции, направленные против всех трех групп германских армий. Ни одна из них не увенчалась успехом. Остановленные немцами ударные группировки Красной Армии подверглись жестокому встречному удару армий вермахта. В большинстве своем дивизии были окружены и перестали существовать. И тогда начался тяжелейший период Великой Отечественной войны, весь трагизм которого без всяких прикрас отразился в июльском приказе Сталина "Ни шагу назад!".

Ни о чем таком сейчас он и не подозревал. Сталин захлопнул тетрадь, подумав, что надо отвести определенное время для заполнения дневника: вел он его нерегулярно. Пришла мысль: зачем он, собственно, ведет эти записи, ведь мемуары писать не собирается... Но мысль показалась Сталину праздной, он погасил ее. Раз не спится, надо работать, решил Сталин. Он снял телефонную трубку и сказал:

— Волховский фронт, Ворошилова.

Соединили сразу. В трубке ответили:

— У аппарата член Военного совета Запорожец.

"Главный разувальщик РККА, — усмехнулся Сталин. — Он что, так и спит у телефона?" Сталин многое знал о высших генералах и комиссарах. Ему, по докладам службы безопасности, были известны их пристрастия и привычки, особенности натуры и чудачества, которые присущи каждому человеку. Вождю нравилось в разговоре с тем или иным намекнуть на осведомленность, повергая собеседника в крайнее смущение.

Александр Иванович Запорожец отличался тем, что, встретив взвод или роту красноармейцев на ученье или в гарнизоне, останавливал их и командовал: "Садись!" Затем приказывал разуться и проверял чистоту портянок и ног, утверждая, что здоровые ноги — главное оружие красноармейца. Перед войной Запорожец возвысился до поста начальника Главного политического управления РККА, но Сталин, узнав о портянках, решил, что для такой должности он мелковат, и заменил его Мехлисом.

— Где Ворошилов? — спросил Сталин у Запорожца.

— Маршал выехал с комфронта во Вторую ударную армию, товарищ Сталин.

— Хорошо, — проговорил Сталин и медленно опустил трубку.

Ему вдруг захотелось услышать голос Ворошилова, вот он и позвонил человеку, с которым его связывали сложные и запутанные отношения, а коли его нет на месте... Сталин даже слегка рассердился. Ему, понимаешь ты, звонят, а он...

Дверь приоткрылась, из приемной выглянул Поскребышев, поздоровался. "Будто и не ложился всю ночь, — отметил Сталин, — нюхом чует, что не сплю". Ему было невдомек, что каждый шаг его фиксировался с того момента, когда он свесил с койки ноги в шерстяных носках домашней вязки, надел сапоги и направился в библиотеку. Поскребышев уже тогда мгновенно отрешился от сна и ждал, когда возникнет в нем необходимость.

Сейчас он стоял в дверях и медлил, не уходил. Сталин вопросительно посмотрел на помощника.

— Поздравляю с праздником, — сказал Поскребышев.

— Какой такой праздник? — с сильным кавказским акцентом спросил недоуменно вождь.

— Сегодня двадцать третье февраля, товарищ Сталин.

-33-

Кружилина выручил Фрол Игнатьевич Беляков. Он поверил Олегу и, рискуя навлечь на себя нерасположение прямого начальства, обратился через его голову к приехавшему в дивизию начальнику Особого отдела армии Шашкову.

Положение Олега было незавидным. Лабутин быстро закончил дело и готовился передать его в военный трибунал. Положение усугублялось еще и тем, что Кружилин в части был новичком, он даже с командиром полка Соболем не успел познакомиться. А запрашивать на Олега характеристику с прежнего места службы Лабутин считал излишним.

— Мало ли каким он был прежде, — спокойно заявил молодой особист Белякову, — главное, что у нас совершил. До того маскировался, выжидал момент. Понимаю: случай сомнительный. Поэтому вряд ли его расстреляют. Разжалуют и отправят в штрафники. А ежели честный он — кровью вину искупит. И чего вы так с ним колготитесь, Фрол Игнатьевич? Плевое ведь дело!

Беляков давно понял: убедить Лабутина ему не удастся. Пошел прямо к Шашкову.

— Ветеран, говоришь, финской войны? — переспросил Александр Георгиевич. — Боевой командир? Доброволец? Недоучившийся философ? Знает немецкий? К тому же умеющий спать без задних ног. В самом буквальном смысле. Такое бывает, Фрол Игнатьевич, ты меня не убеждай. Помню, в Туркестане неделю

без сна гонялись за басмачами. До того устали, что один бравый конник, уснув у костра, задницу себе прожег. Волдыри были — жуть! Отправили в госпиталь, в седле он был, конечно, не ездок. Что вы, сами не могли тут разобраться — членовредительство или несчастный случай?

Беляков развел руками.

— В трибунал еще не передали? — спросил Шашков. — И то хорошо... Ладно, приведи мне засоню, хочу на него поглядеть.

Когда Беляков вышел распорядиться, Александр Георгиевич вздохнул, покачал головой, достал из левого кармана листочки, вырванные из школьной тетрадки в клеточку. Это было письмо Ларисе и детям. Он написал его еще позавчера и до сих пор не мог отправить. Когда выдавалась свободная минута, вновь прочитывал письмо, будто разговаривал с близкими, дописывал фразу-другую.

Привели Кружилина.

— Садитесь, — предложил ему, улыбаясь, Шашков. — Как нога? "Большое, видать, начальство", — подумал Олег, рассмотрев ромб на воротнике его гимнастерки.

— Пока болит, товарищ комбриг, — ответил Кружилин, почувствовав неожиданную расположенность к этому человеку с залысинами и тронутыми сединой висками. — В дурацком я положении...

— Это верно, — согласился Шашков. — С одной стороны, вроде бы и анекдот, а с другой... Впрочем, с анекдотом покончено. Я ознакомился с вашим делом и прекращаю его. Сколько вам времени надо на поправку?

— Да я ведь здоров, товарищ комбриг! Хоть отсюда в бой...

— Я не комбриг, а майор государственной безопасности, товарищ Кружилин. Мое звание соответствует в армии генеральскому. Фамилия — Шашков, зовут — Александр Георгиевич. О вас знаю все. А в бой... В бой вы пойдете, старший лейтенант, когда подлечите ногу и получите от меня задание. Вы любите стихи?

— В каком смысле? — недоуменно глянул на Шашкова Олег.

— Подвох ищете? — сощурился, сохранив улыбку, Александр Георгиевич. — А без всяких смыслов. Любите или нет?

— Люблю, — ответил Кружилин.

— И я тоже, — сказал Шашков. — Стихи — это лучшее, что может произвести человеческая душа. Помните что-нибудь наизусть?

— "Под небом мертвенно-свинцовым, — тихо проговорил Кружилин, — угрюмо меркнет зимний день, и нет конца лесам сосновым, и далеко до деревень. Один

туман молочно-синий, как чья-то кроткая печаль, под этой снежною пустыней смягчает сумрачную даль".

— Грустно, но хорошо, — сказал после небольшой паузы Шашков. — Сами написали?

— Что вы, — улыбнулся Олег. — Это Иван Бунин.

— Я знал, что он и стихи писал, а вот слышу их в первый раз. Что-нибудь еще можно? Вы хорошо читаете, Кружилин.

— Тогда вот это... "Курган разрыт. В тяжелом саркофаге он спит, как страж. Железный меч в руке. Поют над ним узорной вязью саги, беззвучные, на звучном языке. Но лик сокрыт — опущено забрало. Но плащ истлел на ржавленной броне. Был воин, вождь. Но имя смерть украла. И унеслась на черном скакуне..."

— Молодец, — сказал, покачав головой и поджав губы, Александр Георгиевич. — И вы, Кружилин, и Бунин. Как точно написано!..

"Кто он? — ошалело думал Олег. — Зачем все это? Особый отдел, обвинение в членовредительстве, грозная тень трибунала за спиной этого человека и... разговор о поэзии?"

— И я люблю стихи, многие знаю на память, — проговорил Шашков, и Олег вдруг увидел, какие добрые глаза у этого замотанного нелегкой службой человека. — Особенно мне нравится Надсон.

— Это разные поэты.

— Конечно-конечно, — согласился особист. — А университет вы оставили зря... Я понимаю — война. Но и в такое тяжелое время нужны люди, которые бы на высоком уровне осмысливали то, что свершается сейчас. Неправда, Кружилин, что музы молчат, когда говорят пушки. Как раз напротив! Нам и сейчас нужны философы, а после войны тем более. Обещаете вернуться в университет?

Лицо Шашкова было серьезным, он пытливо смотрел на Олега.

— Обещаю, — сказал командир роты.

— Ну и ладно. Значит, договорились. А теперь о деле. Я забираю вас к себе на службу. Вы хороший лыжник, мастер спорта, прекрасно знаете немецкий язык и неплохой командир роты. У нас есть о вас отзыв командира бригады, в которой служили прежде. И потом, смотрю я на вас и вижу, что не подведете.

— Не подведу! — воскликнул Олег. — Только... Не знаю ведь я вашей работы. И мне бы хотелось на переднем крае...

Шашков рассмеялся:

— Вы что подумали? Нет, вас я беру на самую что ни на есть армейскую службу. Вы так и останетесь командиром роты, но роты особого назначения. А воевать придется в тылу врага. Подходит?

— Еще бы, — взволнованно сказал Олег. — Неожиданно, правда. Только что обвиняли бог знает в чем, и вдруг...

— Про обвинение забудьте, случается у нас. Есть молодые сотрудники, они пришли к нам в сложное время и порой перехлестывают. Не та у них закалка, старший лейтенант. Мне вы сразу пришлись по душе. И Беляков заступился, через голову начальства обратился ко мне. Игнатьичу я верю — чекист старой школы.

— Спасибо, — просто сказал Олег. — Жду ваших указаний.

— Пока лечите ногу. Даю вам на это неделю. И начинайте подбирать людей. Вам выдадут мандат от нашей, так сказать, конторы. По мандату вы можете взять в новую роту любого сержанта или красноармейца. Отбирайте крепких и отчаянных, обязательно лыжников, хороших стрелков. Через две недели доложите о том, что рота спецназначения сформирована. Сейчас познакомлю вас с порученцем и комиссаром Особого отдела армии. Возникнут трудности — обращайтесь к ним. В сложных случаях — непосредственно ко мне.

Отпустив Кружилина, Шашков распорядился вызвать Лабутина.

— Вы убеждены в виновности этого человека?

— Моя убежденность — дело десятое, — ответил Лабутин. — А вот факты — упрямая вещь, товарищ майор государственной безопасности. Спалил он ногу? Спалил. Вышел из строя? Вышел. Налицо уклонение от выполнения воинского долга. А раз так...

— Раз так, то отправляйся в трибунал, — закончил за него Шашков. — А товарищ Лабутин пишет себе в актив еще одного разоблаченного труса. Да? А вот виноват ли в случившемся старший лейтенант Кружилин — это не важно?

— Не верю я, что можно во сне гореть и ничего не чуять... И вообще пусть докажет свою невиновность! — воскликнул Лабутин.

— Но ведь это же беззаконнейшая формула, Лабутин. Вам не известно, что бремя обвинения лежит на обвинителе? Напомнить, что такое "презумпция невиновности"?

— Мне представляется, что это давно устаревшая категория буржуазной лжедемократии, товарищ майор государственной безопасности. Я так полагаю, что, когда идет война, тут уж не до соблюдения юридических тонкостей. Обнаружил факт — к стенке.

Смотрел Шашков на молодого особиста и думал: "Из каких щелей пролезли в органы подобные лабутины? Фанатик он или дурак? Скорее всего, не фанатик и не дурак, а хитрый тип, сумевший попасть в их поредевшие во время оно ряды и теперь чувствующий себя как рыба в воде. Фразой овладел, принцип "бей своих, чтоб чужие боялись" усвоил... Чего еще надо? Нет, как он ловко войну приплел, оправдал ею нарушение соцзаконности! Присмотреться надо к этому ретивому парню. А сейчас разговор спустить на тормозах..."

— Эдак вы мне половину дивизии перестреляете, — как будто бы шутливо проговорил Шашков. — Быть бдительными — наша общая обязанность, Лабутин. Но без перехлеста. Мы караем только врагов. Невиновные не должны попадать под наш меч. Понимаете?

— Понимаю, — сказал Лабутин.

В тот же день Александр Георгиевич вернулся к себе. В Особом отделе его ждала шифровка из Малой Вишеры. В ней сообщалось о том, что представитель Ставки направлялся в хозяйство генерала Клыкова. Майору госбезопасности Шашкову предписывалось лично обеспечить его надежную охрану.

...Вечером Лабутин написал секретный рапорт, который без промедления направил начальнику Особого отдела Волховского фронта. В рапорте излагались события, связанные с намеренным членовредительством, совершенным старшим лейтенантом О. Н. Кружилиным, и сообщалось о мягкотелой, граничащей с преступной потерей бдительности позиции, которую заняли оперативный работник Беляков и поддержавший его начальник Особого отдела армии Шашков.

Рапорт был получен, проанализирован, доложен выше и оставлен пока без последствий. До нового сигнала.

-34-

Глухой лес, окружавший редакционные землянки, был покрыт уже сетью тропинок, метрах в трехстах проходил хорошо укатанный зимник, и было слышно, как идут порой по нему грузовики. Войска неплохо обжили окрестности. На деревьях — указатели, дощечки с цифрами, вон уже и почтовый ящик красуется — хозяйство ППС — полевой почтовой станции. Рядом дорожники сообщают: "До Керести — 3 км". Сбоку стрелка — куда сворачивать... Подалее красный крест и номер медсанбата. А вот и грозное предписание: "Лес не рубить! За нарушение — трибунал..." Словом, обжились,

обтерлись, вросли в походный быт, втянули в него и этот угрюмый лес, пока еще не тронутый бомбежками и артобстрелом.

Стороной прошли Черных и Родионов, они направлялись к землянке, в которой помещались редактор и ответственный секретарь газеты. Бархаш подумал, не присоединиться ли к ним, спросить у Кузнецова, в какой номер поставит его материал о зенитчиках, сбивших вчера "Юнкерс-88". Не успел он сделать и сотни шагов, как за деревьями показались две выкрашенные белой краской эмки. Они остановились поодаль, и из передней вышел Румянцев, вслед за ним у машины оказался плотный, невысокого роста человек, по виду — начальство. Ему помогал выбраться из эмки рослый молодой командир, он и сейчас не отходил от этого человека.

Редактор "Отваги" огляделся, увидел Бархаша, глазевшего на них, и махнул ему: иди, мол, сюда. Тропинку, на которой стоял Борис Павлович, отделяла от дороги полоса нетронутого снега метров десять — пятнадцать. Бархаш ступил в снег, провалился по самые некуда, чертыхаясь, попер напролом, а когда выбрался на дорогу, то увидел, что рядом с Румянцевым стоит Ворошилов и улыбается.

— Тяжеловат снежок? — спросил Климент Ефремович, а Бархаш отряхивался и лихорадочно думал, как ему поступить, доложить маршалу, кто он и что делает.

— Здравствуйте, — сказал он.

— Наш сотрудник, — торопливо вмешался Румянцев. — Интендант третьего ранга Бархаш.

— Почему "интендант"? — спросил Ворошилов. — По хозяйственной, что ли, линии?

— Нет, — возразил редактор, — товарищ Бархаш — один из лучших творческих работников. Но почему-то некоторым военным журналистам присвоены такие звания.

— Они ведь политработники все, — сказал Климент Ефремович, — значит, и звать их надо комиссарами. Кадровый?

— Никак нет, из запаса, — вспомнил Бархаш уставной ответ.

— И кем были на гражданке?

— Профессор, философ, товарищ маршал!

— Гм, — хмыкнул Ворошилов и посмотрел на редактора. — И много у вас бьющих гражданских?

— Почти все, товарищ маршал. В прошлом ополченцы Фрунзенского района Москвы.

— А этот, как его?.. Мне говорили о нем в штабе фронта. Сын известного поэта...

— Всеволод Багрицкий?

Румянцев замялся. Багрицким он был недоволен. Сева не мог приладиться под стиль армейской газеты, трудно принимал суровые требования, которые предъявляло военное время к журналистским материалам. И был ершист, болезненно самолюбив, не стеснялся сказать о несогласии с правкой и самому редактору. Николай Дмитриевич был по натуре добрым человеком, но выпускать газету на войне да еще в таких условиях — дело не простое. Тут и выстоишь на одной лишь оперативности, надежной четкости и дисциплине. А в какие времена поэты ладили с нею?

— Он и сам поэт неплохой, хотя и молод, всего девятнадцать. Но вот как журналист... У нас ведь злые сроки, товарищ маршал. Вышел из боя корреспондент — и вместо отдыха будь добр напиши об этом событии. И тут не до особых литературных красот, не до изящества стиля. Срочно, доходчиво до красноармейского сердца, по существу... И в номер! А Багрицкий...

— Даром хлеб ест, что ли? — грубовато спросил Ворошилов. — Ему был неприятен разговор, и маршал жалел, что затеял его.

— Ну, — отозвался редактор, — так мы вопрос не ставим. Опыта еще недостает, конечно...

— Так учите парня! — повысил голос Ворошилов. — Вы сами сказали: мальчишка. Видать, и необстреляный еще. Вот и помогите ему стать настоящим военкором.

Он повернулся к начальнику политотдела армии, который ехал во второй машине, давно уже выбрался из нее и скромно стоял в стороне, не вмешиваясь в разговор маршала и редактора "Отваги".

— Напоминаю вам: газете уделять повседневное внимание. Я был на переднем крае и видел, как ждут "Отвагу" красноармейцы. И не только на раскурку. Сначала газету прочитывают, это я вам могу засвидетельствовать.

Румянцев забежал вперед и двинулся к редакционным землянкам, увлекая за собой высоких гостей. Бархаш остался на дороге.

"А мне куда? — подумал Борис Павлович. — Идти вслед за начальством? Зачем? Никто ведь не звал".

В нерешительности он потоптался на месте, потом посмотрел в противоположную сторону и увидел: из сарайчика, где хранили газетную бумагу и редакционный скарб, вышел с банкой в руках Сева Багрицкий.

— Что это у тебя? — спросил Бархаш.

— Это... бензин, — заикнувшись, ответил Багрицкий. — Старик Рапопорт просил принести, литеры промыть.

Бархаш заметил на его лице горькую гримасу и встревоженно спросил:

— Что с тобой, Сева?

— Я все слышал, Борис Павлович, — сказал Багрицкий.

В глазах его стояли слезы.

...Во 2-ю ударную армию он прибыл из Чистополя. Сюда, в самое сердце Татарии, добралась в суровую осень прошлого года группа писателей, покинувших Москву, когда началась общая эвакуация. Более двух миллионов москвичей вывезли к концу октября из столицы. Был среди них и Всеволод Багрицкий.

Сева в Чистополе чувствовал себя худо. Здесь было холодно, голодно, неуютно и одиноко, хотя обстоятельства и стиснули вместе тех, кто привык в тиши домашних кабинетов оставаться наедине с работой, А Багрицкому было горше других. Совсем еще мальчишка, он рано испытал оглушающую вначале, а затем саднящую непрестанно неизлечимую боль утраты близких. Уже находясь в армии и не зная, что жить ему на белом свете осталось только десять дней, 16 февраля 1942 года Всеволод записал в дневнике: "Сегодня восемь лет со дня смерти моего отца. Сегодня четыре года семь месяцев, как арестована моя мать. Сегодня четыре года и шесть месяцев вечной разлуки с братом. Вот моя краткая биография... Я брожу по холодным землянкам, мерзну в грузовиках, молчу, когда мне трудно. Чужие люди окружают меня. Мечтаю найти себе друга и не могу. Не вижу ни одного человека, близкого мне по ощущениям, я не говорю — взглядам. И жду пули".

В Татарии он страдал еще оттого, что долго не мог попасть на фронт.

Это было в Коктебеле в воскресенье, когда подошел комендант писательского Дома творчества и сказал о вторжении фашистов. Он вспомнил о Коктебеле и не верил, что существовал уютный дом Максимилиана Волошина, в котором обитают сейчас немцы. Это представлялось фантастичным, если не сказать потусторонним, явлением, будто каналы на Марсе или пришествие Антихриста. Надо идти воевать, решил Сева. Но к армии его не подпустили, сняли с воинского учета — зрение ниже любых допустимых норм. А потом и вовсе отправили в тыл, не дав остаться в Москве, а Сева уже видел себя в уличных боях, был готов умереть на баррикадах, если ненавистные пришельцы предпримут попытку войти в город.

Кровожадных завоевателей, говорящих на языке Шиллера и Гете, отбросили от столицы, а Багрицкий мучился далеко от Москвы и писал заявления в Главпур Красной Армии, просил использовать его на фронте, пусть не с винтовкой, так с пером в руках — можно ведь разить противника и словом. А для измученной неустроенностью души Сева писал такие строки: "Мне противно жить, не раздеваясь, на гнилой соломе спать и, замерзшим нищим подавая, надоевший голод забывать. Коченея, прятаться от ветра, вспоминать погибших имена, из Москвы не получать ответа, барахло на черный хлеб менять... Дважды в день считать себя умершим, путать планы, числа и пути, ликовать, что жил на свете меньше двадцати..."

До двадцати дожить ему не дадут...

Попасть на фронт помог Севе Фадеев. Он поддержал просьбу Багрицкого о направлении в одну из газет действующей армии. Так начался его путь к Малой Вишере, Мясному Бору, Новой Керести и деревне Дубовик... Всеволод появился в "Отваге", когда наступление 2-й ударной уже началось. Газета выходила ежедневно и остро нуждалась в свежих материалах. Корреспонденты постоянно находились на переднем крае, продвигались вслед за батальонами в глубь немецкой обороны, бывало, хаживали в атаку. А потом возбужденный боем журналист возникал в редакции, бессвязно отвечал на вопросы любопытных, отмахивался от чрезмерно назойливых, боясь расплескать впечатления, и усаживался писать, чтоб сохранить свежесть восприятия и передать ощущение яростных натисков пехоты в скупых строках материалов, выправленных затем редактором и военной цензурой.

Всем была не по душе эта правка, хотелось разойтись, размахнуться, выдать нечто такое, чтоб помнилось годы... Но законы фронтовой печати неумолимы. Позднее можно судить, где и почему ограничения были излишними, а когда они действуют, их не обсуждают.

Газета "Отвага" была на хорошем счету. Ее хвалила в обзорах "Красная звезда", отмечала волховская "Фронтовая правда", не забывал и добрым словом поддерживал "Агитатор и пропагандист Красной Армии". А такое бывает еще и тогда, если не допускают в газете проколов. Ляпы не возникают, если редактор и ответственный секретарь, да еще и начальник боевого отдела держат ухо востро, не допускают слабины и зорко следят за содержанием и формой любого материала.

Ни о чем этом Багрицкий, понятное дело, не подозревал. Он видел в редакции только вечно спешащих людей. Не умея постичь их работы, Сева с

мальчишеским максимализмом занес сотрудников "Отваги" в разряд скучных людей, не способных подняться над проблемами сиюминутности, выйти из круга, очерченного начальством.

Редакция располагалась поначалу в селе Папоротно, на правом берегу Волхова. А когда войска 2-й ударной форсировали Волхов и взяли Мясной Бор, "Отвага" перебралась в Новую Кересть, затем в Кересть Глухую, оттуда выдвинулась в район Красной Горки, на острие главного удара.

В первые дни пребывания среди людей, гораздо старших по возрасту, достигших положения еще в гражданской жизни, побывавших в жестоких боях под Смоленском, вырвавшихся осенью сорок первого из окружения, до чертиков нанюхавшихся пороху, Севе было невдомек, какими смешными и мелкими могут показаться им обуревавшие его смятенную душу сомнения. Родионов и Бархаш, Кузьмичев и Перльмуттер, ответственный секретарь Кузнецов делали необходимое дело, старались свершить его получше, а главное — оперативно. Люди, помудревшие на войне, относились к ней и своему месту в трудной и кровавой работе как к обычному занятию, не произнося громких слов о долге и тем более не употребляя высокого стиля в газетных корреспонденциях. Они попросту трудились, будто читали лекции в мирное время, писали статьи по истории философии или о поэтике Лермонтова, вели семинары со студентами и принимали у них зачеты. Им было недосуг следить за тем, какое впечатление они произведут на молодого поэта. Но если б знали о сумбурности и хаосе, царящих в Севиной душе, то не преминули бы отнестись к нему с большей осторожностью и тактом. А Багрицкий решил: в редакции собрались сухие и равнодушные люди, всем на него наплевать. Потому-то юношеский скепсис сквозил в каждой строчке его дневника. "Встретили меня приветливо, накормили обедом, даже спросили, как я себя чувствую... Поселили с очень хорошими людьми. Но сразу же мне бросилась в глаза некая усталость у сотрудников, невозможность увидеть вещи сверху, узкое восприятие событий... Живу вместе с тремя сотрудниками редакции. Очень приятные, образованные люди. Но на мой взгляд — чудаки. Один из них историк-философ..."

Это он про Бархаша. Двое других — Николай Родионов и Лев Моисеев, в мирное время крупный специалист в области международных отношений. А Сева их одним чохом зачислил в чудаки. Как знать, останься он с ними подольше... Впрочем, и чудаки, и сотрудники с "узким восприятием событий", и вся армейская газета во главе с ее редактором были обречены. А Сева, не

ведая ни своей судьбы, ни трагической участи Николая Дмитриевича, писал о Румянцеве: "В редакции идет давнишняя борьба между редактором и остальным коллективом. Сейчас она медленно приближается к кульминации. Сперва я оставался в стороне от всей этой муры. Но наконец и меня затронули редакционные дрязги. Увы, все мои работы правятся редактором и теряют всякий намек на индивидуальность. Я вспыльчив и часто отвечаю грубостью. А редактор ищет причины, чтобы придраться. Окружающие меня люди втихомолку ругают начальство. Только я до сих пор не могу понять, почему нужно бояться батальонного комиссара".

Румянцев не придирался к поэту, он обязан был делать газету в соответствии с требованиями военного времени. И делал ее в меру сил и способностей.

... — Я вызвал вас, чтобы поручить ответственное задание.

Настроение у Румянцева было преотличное. Визит высокого гостя прошел удачно. Особенно доволен был Николай Дмитриевич тем, что Ворошилов при расставании недвусмысленно заметил начальнику политотдела армии:

— Не мне объяснять вам, какое значение имеет для всех вас армейская газета. Забота о ней, о сотрудниках редакции — первейшая обязанность поарма...

Когда маршал уехал, Румянцев вызвал Багрицкого. Он помнил неприятный разговор с маршалом о Севе, и редактору хотелось сделать нечто такое, что сняло бы ощущение неловкости. Румянцев и сам еще недавно был гражданским журналистом и не успел обрести присущую некоторым начальникам способность не раздумывать о душевном состоянии тех, кому отдал приказ или кого подверг разносу.

— У нас в гостях был Ворошилов, — сказал Румянцев.

Сева смотрел редактору прямо в глаза, и Николай Дмитриевич принялся ненужно перебирать бумаги на столе.

— Его пребывание на фронте — тайна, — проговорил он. — Писать об этом не будем. Но Климент Ефремович поедет на передний край, в кавалерийский корпус. Вы будете сопровождать маршала.

— В качестве дармоеда? — нервно спросил, не отрывая лихорадочно блестящих глаз от лица Румянцева, Багрицкий.

— Что вы такое болтаете? — резко вскинулся редактор, пряча за резкостью тона возникшее вдруг смущение.

— Я слышал ваш разговор с маршалом обо мне, товарищ батальонный комиссар. Слышал, как вы жаловались на меня.

Румянцев почувствовал, что краснеет, и это разозлило его.

— Какая чепуха! — воскликнул он. — При чем тут дармоед? Я говорил маршалу, он спрашивал о вас, что вы не имеете опыта военного корреспондента. Разве не так? Ваши материалы сырые, излишне эмоциональны, вы плохо знаете обстановку...

— А зачем вы правите меня? — упрямо спросил Сева. — Да и других тоже... Все заметки в газете на одно лицо... Зачем?

— Ну, знаете... Надо побольше съесть каши на фронте, чтоб задавать такие вопросы.

"И чего это я оправдываюсь перед мальчишкой? — с обидой на самого себя подумал редактор. — Гаркнуть ему "Смирно!" и отправить на губу за пререканье..." Он живо представил подобную сцену, увидел себя в ней со стороны и улыбнулся.

Багрицкий недоверчиво и удивленно смотрел на него.

— Ладно, — отстраняюще повел ладонью Николай Дмитриевич, — не ко времени спор. Прорвемся к Ленинграду, будет свободный денек, тогда объясню вам, что к чему, Багрицкий. А пока присматривайтесь. Замечаю: сторонитесь товарищей по оружию. А у них многому сумели бы поучиться. Не согласны?

— Возможно, — тихо проронил Сева.

— Так вот. Следуйте за маршалом. Я обо всем договорился. Когда будете у конников Гусева, найдите лихого парня, рубаку, разведчика — словом, приключенческого героя. Сделайте о нем очерк. Получится — половину полосы не пожалею. И никакой правки!

-35-

Военврач Мокров не думал, что станет вдруг кавалеристом.

Существует поговорка о том, что, дескать, человек предполагает, а бог располагает. Так вот на войне и предполагать надо с опаской. И когда Михаил Мокров, молодой, но уже с хорошей практикой хирург, колдовал в операционной одного из госпиталей города Валдая, устранял у солдата ущемленную грыжу и томился желанием попасть на фронт, судьба сама пришла к нему и ждала его в коридоре.

— Вы военврач Мокров? — шагнул к Михаилу высокий и стройный командир, затянутый в портупею. — А я Комаров, начсандив Двадцать пятой. Здравствуйте, коллега.

Мокров недоверчиво оглядел Комарова. Коллега? Не похож на врача сей бравый кавалерист. Скрипучие ремни, наган со шнурком в кобуре, кожаная

планшетка... И шашка колотится о голенище, а на задниках сапог побренькивают шпоры.

С виду начсандив был мрачноват, но позднее Мокров убедился, что мужик он золотой. Обаятельным умницей оказался новый командир, бывший преподаватель медицинской морской академии в Ленинграде. Так война расположила — флотский доктор оказался в седле.

— Старший врач Сотого кавалерийского полка — такая ваша должность, — сказал Комаров. — Собирайтесь и отправимся вместе.

По дороге он спросил:

— Верхом ездить приходилось?

Михаил смутился. Как ответить на этот вопрос? Вырос он в деревне, а кто из деревенских пацанов не ездил на крутых конских спинах? Конечно, безо всяких там седел, резко ударяясь о круп тощим, поджарым задом.

— Конечно, — стараясь говорить уверенно, ответил хирург.

Прочь сомнения! Главное, вырвался на фронт, получил назначение в боевую часть. Про дивизию эту Мокрову слыхать доводилось. Формировалась она в Петергофе из самых что ни на есть питерцев и уже отличилась в боях. Парни собрались в Двадцать пятой отчаянные, в заполошье и бешенстве боя рубили, бывало, гитлеровскую пехоту, как капусту.

Комаров внимательно посмотрел на новоиспеченного кавалерийского врача:

— Ботиночки вам сменить надо. Ладно, скажу хозяйственникам, раздобудут вам сапоги. Шпоры — тоже...

Комаров улыбнулся. Тут молодой хирург и понял, что с начальством ему повезло. Улыбка у Ивана Николаевича была светлая, сразу преобразила его хмурое с виду лицо, и Мокров подумал, как все удачно сложилось, и даже пришло к нему горделивое чувство: в кавалерию попал.

Но сапог ему не раздобыли по причине, как любят выражаться интенданты, "отсутствия наличия". Это обстоятельство доставило потом немало неприятных мгновений полковому врачу. Вид у него в седле, обутого в ботинки с обмотками, был еще тот... Ладно, хоть кобылицу подобрали Мокрову спокойную, с крестьянской повадкой: курбетов никаких на марше не выкидывала, а ежели и падала порою с седоком, то совершала сие спокойно и неторопливо, давая возможность военврачу поаккуратнее приземлиться.

А в строю старший полковой врач всегда держался в хвосте колонны, дабы не шокировать кавалеристов собственным пехотным видом. Движется, бывало, не торопясь, на ходу обретая навыки кавалерийской езды, и слышит, как бойцы

кричат иногда: "Доктор, а доктор! У тебя баллон спустил..." Все ясно, значит, опять проклятая обмотка размоталась... Так до зимы и маялся, а потом выдали валенки, и вообще спешился Мокров, стал командовать медсанэскадроном в Дубовике, где разместился штаб кавкорпуса. Дивизии дрались у Красной Горки, изо всех сил рвались к Любани, а в Дубовик доставляли раненых. Поначалу их было немного, и медики легко справлялись с обработкой, благо и медикаментов хватало. Но бои продолжались, сопротивление фашистов возрастало, наши потери росли, и в медицинской службе обнаружилось слабое звено — вывоз потерпевших. На чем только не пытались отправить их в тыл! В первую очередь, конечно, на санитарных машинах. Только было машин немного, да и с проходимостью обычной. По зимним-то разбитым дорогам, по снежному крошеву на них далеко не уедешь. Возили и на лошадках, собачьих нартах, даже на аэросанях. Счет этим транспортным средствам велся на единицы, а вышедших из строя красноармейцев и командиров считать приходилось сотнями.

В кавкорпусе Гусева в основном служили ленинградцы, у многих из них остались в осажденном городе семьи. Они знали, что армия рвется к Ленинграду, чтобы разорвать кольцо блокады, и потому дрались неистово, осмысленно и трезво жертвовали жизнями, понимая, какая цель впереди, какая цена их героическим усилиям.

В конце февраля бои за овладение Любанью ожесточились, и раненых стало еще больше. Медики едва справлялись с беспрерывным потоком искалеченных людей, так надеющихся на милосердную помощь. Работали побригадно, сначала по очереди — одни режут и сшивают, другие набираются сил. Потом очередь спуталась, несли хирурги службу у столов до изнеможения, обмороков от усталости. Когда врач без сознания падал на руки санитаров, его относили в сторону и тут же тормошили коллегу, смежившего веки час назад. Он протирал глаза, встряхивался и заканчивал операцию.

Однажды Мокров находился в перевязочной, когда фельдшер Павлов, адъютант медсанэскадрона, сказал ему, что в штаб Гусева прибыл Ворошилов. Измотанный бессонными ночами, военврач не закрепил в сознании его слова, ни одной мыслишки при этом не возникло, все задавила тяжелая усталость: приехал — уехал, кто и зачем — не все ли равно...

Около шести утра Мокров решил прилечь на часок, ушел в комнатушку, не раздеваясь, рухнул на пол, успев подостлать полушубок, знал, что, едва

рассветет, снова ему пурхаться в неостановимой круговерти. Спал он недолго. Застучали в дверь, и молодой голос спросил:

— Здесь командир медсанэскадрона Двадцать пятой кавдивизии? Вас вызывает товарищ Ворошилов.

Оказалось, за Мокровым пришел молодой ворошиловский порученец.

Маршал занимал большую избу, но в горнице, куда ввели командира медсанэскадрона, Климента Ефремовича не оказалось. Зато достаточно было крупных начальников с ромбами на петлицах. Михаил Мокров представился, и ему сразу же принялись задавать вопросы: как, мол, дела у него в хозяйстве. Вначале вопросы шли общие, потом Михаил сообразил, куда клонит тощий человек с двумя ромбами в петлицах: ему хотелось узнать, много ли случаев членовредительства было с начала наступления.

— Среди кавалеристов дивизии ни одного, — ответил военврач.

— Так ли это? — спросил человек с двумя ромбами. — А вот у нас другие сведения...

Мокров пожал плечами:

— Конечно, попадались и такие, но из других частей. Мы ведь всех пользуем. А среди кавалеристов не было ни одного.

— Ишь, — сказал командир с двумя ромбами, — а ты патриот своей части, доктор.

— Ничего в этом дурного не вижу, — заметил рослый человек с залысинами, он стоял у печки, и у него краснел в петлицах один ромб. — И военврач прав. По кавкорпусу Гусева мы не имеем ни одного случая членовредительства. Это факт.

— Вы, Шашков, тоже... патриот. Послушать вас да этого доктора — не армия, а сплошные герои. Хотя наша статистика показывает...

Мокрову так и не дано было узнать, что показывает статистика, которой располагал этот неприятный человек. Занавеска, прикрывавшая вход в другую комнату, откинулась, и в горницу вошел небольшого роста человек, обутый в серые солдатские валенки, защитного цвета френч. На петлицах его Михаил рассмотрел темно-зеленые маршальские звезды. Ворошилов показался воеврачу стареньким и усталым, одутловатое лицо заросло густой щетиной, в которой явственно проглядывала значительная проседь.

Все находившиеся в комнате командиры вскочили, а Мокров еще больше вытянулся у косяка входной двери, от которой он так и не отодвинулся ни на полшага.

— О чем спор затеяли, товарищи? — спросил Ворошилов. — Кому здесь не нравится, что во Второй ударной армии мало членовредителей, нет дезертиров? А по мне, этому радоваться надо. Кстати, я собираюсь официально передать Военному совету армии, что Ставка выражает удовлетворение по поводу политической работы в войсках. Ни одного случая перехода на сторону врага! Это что-нибудь да значит. Особый отдел армии...

— Товарищ маршал, — предостерегающе посунулся к Ворошилову человек с двумя ромбами и повел глазами в сторону Мокрова.

Климент Ефремович резко повернулся к Михаилу, цепким взглядом окинул его.

— Кавалерийский доктор? Вот и скажите нам: вы сами распознаете тех, кто занимается членовредительством, или действуете по представлениям особистов, как эксперты?

— Когда как, товарищ маршал, — ответил Мокров. — Но чаще их сами же красноармейцы и засекают. Паршивой овце в добром стаде не укрыться.

— Слыхали? — Ворошилов повернулся к продолжавшим стоять командирам. — Отменные слова... Спасибо, доктор. Иди к раненым, возвращай их в строй. У вас, медиков, огромной важности работа на фронте.

Когда Мокров повернулся, чтобы выйти, дверь вдруг распахнулась, и возник на пороге еще один командир, его Михаил знал, это был начальник Особого отдела их дивизии.

А особист дивизии, спросив у Ворошилова разрешения обратиться к Шашкову, сказал, что тот срочно нужен по неотложному делу. Обратившись к маршалу за позволением уйти, они быстро удалились.

Едва закрылась за ними дверь, Ворошилов прошел в комнату, где стояли телефоны. Обладатель двух ромбов на петлицах последовал за ним.

— Немудрено, — сказал он, — что Шашков поддержал утверждение врача о малом количестве самострелов. У нас есть сведения, что он покрывал членовредителей. Ведь это же ясно, товарищ маршал, что эффективность работы наших контрразведчиков определяется количеством выявленных и разоблаченных дезертиров, паникеров, самострелов и шпионов. И, согласитесь, проще простого заявить: дескать, в нашей армии существует особого рода патриотизм, и этим прикрыть бездеятельность и, что хуже всего, утрату бдительности...

— Ну вот что, — оборвал его Ворошилов. — Вы мне Шашкова не троньте. Я о нем побольше вашего знаю. Понятно?

— Так точно, товарищ маршал! — опустив руки по швам, ответил человек с ромбами на петлицах.

— Что там у вас стряслось? — спросил Александр Георгиевич.

Они шли в соседнюю избу, где разместился Особый отдел кавкорпуса. Шашков понимал: произошло нечто исключительное, если дивизионный особист решился вызвать его, когда он разговаривал с Ворошиловым.

— С той стороны пришел человек, Александр Георгиевич. Доставил срочное сообщение для вас лично.

— Где он? — спросил Шашков.

— У меня в отделе чаи гоняет. Едва не обморозился, пока добирался, оголодал... Мои ребята его угощают и присматривают за ним заодно.

Шашков усмехнулся:

— В избу, значит, пустил, как гостя, а охрану все же выставил?

— Так он согласно паролю свой, а там кто его знает. Вот увидите и решите, ваш ли он человек.

— Разберемся, — пообещал Шашков, прикидывая в уме, с чем мог прийти из-за линии фронта посланец.

В избе за чаем сидел в стареньком костюме человек неопределенного возраста.

— Как добирались? — спросил его Шашков, когда их оставили одних. — На немцев не нарывались?

— Бог миловал, — ответил посланец. — Партизаны меня до линии фронта провели, а тут уж я сам изловчился.

"Да, — подумал Александр Георгиевич, глядя на сидящего перед ним человека, заросшего рыжей с проседью бородой, одетого как местный житель, — ловок ты, братец, ничего не скажешь..."

— Торопился я, — сказал посланец, — знал, что несу сообщение крайней важности. И, кажется, не опоздал... Времени в обрез, товарищ комбриг.

...Спустя четверть часа взволнованный Шашков быстро поднялся по ступенькам избы, в которой размещался Ворошилов. Климент Ефремович сидел у стола, загроможденного аппаратурой связи, и писал в блокноте.

— Что нового, чекист? — спросил он у Александра Георгиевича, когда тот, откинув занавеску, вытянулся у порога.

— Товарищ маршал, — сказал Шашков, — вам необходимо срочно уехать из этого села.

— Почему? — полюбопытствовал Ворошилов, добродушно улыбаясь Шашкову и будто не замечая его расстроенного лица.

— Немцы охотятся за вами, товарищ маршал! — воскликнул начальник Особого отдела.

— Ну и что? Они давно за мной охотятся, с начала войны. Полагаюсь на тебя, Шашков, авось не подведешь, не дашь им меня в обиду. Что скажешь?

— Я не шучу, товарищ маршал. Только что прибыл из-за линии фронта человек. Он доставил сообщение о том, что абвер узнал о пребывании вас во Второй ударной армии и вычислил ваш путь. По всем предполагаемым пунктам вашего пребывания, в том числе и по Дубовику, будут нанесены массированные удары с воздуха.

— Когда? — спросил Ворошилов.

— Сегодня, товарищ маршал. Это может произойти в любую минуту. Поэтому я прошу вас как можно быстрее...

— Куда торопиться, Шашков, — возразил Климент Ефремович. — Чему быть — того не миновать. Не видел я ихних бомбежек, что ли?

— Товарищ маршал! — воскликнул Александр Георгиевич, и в голосе его появились умоляющие нотки. — Климент Ефремович... Поймите меня! Не могу я вас здесь оставить, не могу! Сведения достоверные, это точно... А ведь я отвечаю за вашу жизнь. Даже и не случится ничего... Вы знаете, что мне будет, если узнают: Шашкова предупредили, а он мер не принял? Да и просто по-человечески не могу согласиться с вами!

— Что с тобой будет, мне известно, — спокойно проговорил Ворошилов. — А ты мне вот что скажи, Шашков. По службе кипятишься или по-человечески?

— Как можно спрашивать об этом, товарищ маршал? — с обидой в голосе сказал майор госбезопасности.

— Ну-ну, понял тебя... Раз так надо — действуй. Тебе, брат, виднее. Передай от моего имени приказ — собираться в дорогу. Куда спрятать-то меня надумал?

— Об этом не беспокойтесь, — повеселел Александр Георгиевич. — Спрячем как надо. Сам черт не разыщет.

...Разбиравший историю с налетом на Дубовик Шашков отметил, что эскадрильи "юнкерсов" появились над деревней точно в шесть часов вечера 26 февраля. Именно в это время маршал назначил совещание с командованием кавалерийского корпуса. Случайностью это быть не могло.

Начальник Особого отдела в первую очередь вывез из деревни Ворошилова и тех, кто его сопровождал. Успели переместить и часть штаба кавкорпуса. Командира и его комиссара в Дубовике не было, ждали их к восемнадцати ноль-ноль. Шашков позаботился, чтоб Гусева и Ткаченко перехватили по

дороге выставленные загодя люди. Но в Дубовике оставались два медсанэскадрона, тыловые подразделения корпуса. Сдвинуть с места их не успели, и бомбовый удар пришелся по ним.

...Военврач Мокров вернулся из перевязочной за час до налета, решил перекусить и отдохнуть немного, чтобы к ночи снова встать к операционному столу. Дома был его заместитель Сакеев.

— Чайку бы горячего, — сказал Михаил, — и поесть бы не мешало. Как у нас с харчами на сегодня?

— Сейчас сообразим, — ответил Сакеев, вышел из комнаты, где они размещались, и Мокров услыхал, как он говорит в сенях со старшиной. Занимали они полуподвальный этаж солидного дома на каменной основе. До войны здесь размещалась почта. Дом заметно выделялся в Дубовике размерами, и штабисты его сразу облюбовали. Только командир корпуса велел отдать помещение медицине. Наверху лежали раненые, а под ними квартировало врачебное начальство.

Но поужинать Мокрову не пришлось. Едва запустил ложку в котелок с оставшимся от обеда и теперь подогретым гороховым супом, как взвыл над головой авиационный мотор. Раздался оглушительный взрыв, дом содрогнулся, послышались другие взрывы, поглуше первого, и началось...

Сакеев бросился к двери, а Мокров, застыв с куском хлеба в левой руке и с ложкой в правой, остолбенело смотрел на заместителя, который бился плечом в заклиненную дверь. Дверь не поддавалась.

Грохнул еще один близкий взрыв.

— Давай в окно! — крикнул командир медсанэскадрона, бросая ложку в котелок, хлеб он засунул в карман полушубка.

Сакеев ногой, обутой в валенок, выбил оконную раму и вывалился наружу. Потом вскочил и бросился бежать по деревенской улице.

— Ложись! — крикнул ему Мокров. — Ложись, дурья твоя башка!

Где там! Сакеев бежал вдоль линии домов, смешно отбрасывая ноги. Вокруг рушились избы, летели вверх и в стороны обломки бревен, смрадный дым заволакивал деревню, в нем и скрылся убегающий военврач. А Мокров выбрался из окна, согнувшись, добежал до ворот и залег там, мысленно простившись с замом. Ведь тот, кто бегает во время бомбежки, куда как в большей опасности оказывается. Мокров лежал у ворот и чувствовал, как потрескивают доски, когда их пронизывают иззубренные куски металла. Ворота стали вдруг крениться, вот-вот прихлопнут его, и врач стал отползать.

Едва затихли взрывы и стал удаляться гул моторов, с запада стала нарастать новая звенящая волна. Опять загрохотало вокруг. Недалеко ухнула бомба, по спине Мокрова забарабанили мерзлые комья земли. Осмелев, он поднял голову и увидел черные края воронки. Мелькнула мысль: пробраться туда, залечь, уберечься от разрывов. Но Михаил тут же, сделав усилие, повернулся на спину и вдруг почувствовал, что одолевший его страх и оцепенение, желание слиться с землею, зарыться в нее подобно кроту удивительным образом исчезли. Мокров смотрел в небо, оно все больше и больше темнело, и думал: "Еще немного — и "юнкерсы" уберутся восвояси". Но коршуны продолжали ходить по кругу, и, когда оказывались над определенной точкой — откуда было знать Михаилу, что метят они в штаб корпуса, где должен заседать сейчас Ворошилов с командирами, — над этой точкой они сбрасывали бомбы. Но угодить в такую мишень нелегко, и бомбы разбрасывало вокруг, они падали рядом со штабом и подалее, крушили избы с размещенными в них ранеными бойцами.

После третьего захода "юнкерсы" улетели. Командир медсанэскадрона отряхнул с себя землю и снег, кашляя от едкого чесночного смрада немецкой взрывчатки, побежал в операционную. Она уцелела. Правда, оказались выбиты стекла, врач, который делал операцию, тяжело ранен. А боец пролежал налет на столе, ждал, когда им снова займутся.

— Найдите другого хирурга! — распорядился Мокров, увидев входящего Сакеева и даже не успев удивиться тому, что тот жив. Потом узнал: отделался Сакеев пустяком — осколок сделал дырку в валенке, только и всего. — Обойду деревню, определю потери.

Пострадали от бомбежки главным образом медики. Погиб коллега Мокрова командир медсанэскадрона 87-й кавдивизии. У Михаила убили двух фельдшеров: молодую девушку Тосю Васячкину и парнишку, прибывшего на днях из пополнения. Тяжелое ранение получил старшина Иоффе. Осколком в живот ударило врача, который работал во время налета в перевязочной. А в два дома, где лежали нетранспортабельные раненые, случились прямые попадания. Живых там не оказалось вовсе...

Прикинув потери, Мокров собрал людей и организовал немедленную помощь пострадавшим. Едва медики успели перевязать новых [153] раненых, за околицей один за другим опустились три самолета. Командир звена сказал, что в штабе фронта знают о налете, его прислали забрать тех, кто нуждается в немедленной эвакуации в госпиталь. Таких было много. Мокров едва упросил

летчиков сделать второй рейс и был несказанно обрадован, когда самолеты вернулись. Все-таки шесть санитарных рейсов... Большое дело.

Ночь надвинулась быстро, укрывая тяжелым покровом разрушенную деревню. Окончательные потери подсчитали уже утром. Убито было девяносто человек. Среди них Мокров на всю жизнь запомнил двоих...

...Покинув операционную, он выбежал тогда на улицу, пересек ее и увидел на земле, против входа в небольшой домик, убитую лошадь. Она была запряжена в подводу, нагруженную красными одеялами, их получили в аптеке для части. Живот лошади был распорот. Оттуда медленно выползали кишки и вздувались кровавым шаром. Михаил обогнул бездыханную лошадь, прыгнул на крыльцо, толкнул дверь и вошел в комнату. За столом, стоявшим в углу горницы, сидели двое, опустив головы на руки.

"Вот дают, — подивился Мокров, — такую бомбежку проспали".

Он хотел разбудить парней, потом присмотрелся внимательно и вдруг понял: перед ним мертвецы.

-36-

Письмо покойному отцу написать Багрицкий так и не собрался.

Это странное и неосуществленное им намерение появилось у Севы еще до начала войны. Однажды он гостил у Марины Цветаевой, тогда затеялся разговор о русских писателях, живущих в Париже, и поэтесса обронила фразу о нежных и печальных письмах Алексея Михайловича Ремизова: он постоянно их писал умершей уже Серафиме Павловне, супруге.

Как будто бы никто не обратил внимания на эту деталь, лишь удивились чудачеству старого писателя, а Всеволод внутренне вздрогнул. Его оглушило и потрясло рассказанное Мариной. Багрицкий не спал до утра, думая о том, что ответил бы ему отец, если б представилась такая фантастическая возможность.

Но сам написать он так и не собрался. Всеволоду казалось, что в этом письме надо сообщить о чем-либо значительном, переломном... Началась война, и Всеволод собрался на фронт, слагая в уме первые строчки доклада отцу о боевом крещении. Но вместо переднего края была эвакуация, серые чистопольские будни. Когда он все-таки прибыл на Волховский фронт, работа в газете разочаровала молодого поэта. Реальное бытие оказалось иным, вовсе отличным от того, какое рисовало воображение. И хотя он осознавал необходимость собственного участия в общей борьбе, но вся его натура не

могла и не хотела примириться с тем прикосновением к войне, какое отвела ему судьба.

Книжный мальчик, хотя и познавший изнанку жизни, Всеволод пытался видеть окружавший его мир не слабыми глазами, они и так подвели его и принесли унизительную кличку "белобилетник". Он стремился воспринимать действительность восторженным сердцем и населял Землю романтическими героями, рыцарями без страха и упрека, увенчанными звездами и летящими сквозь вражьи порядки на Красных Конях. Но вот найти собственное место в жестокой и кровавой схватке с фашизмом оказалось гораздо труднее. Возникло множество жгучих вопросов. Способен ли он глаголом жечь сердца людей, как умел это делать его отец, благородный и мужественный воин? Недаром ведь его везли в последний путь на орудийном лафете. А что делает на войне он, Всеволод Багрицкий, обладатель тетрадки незрелых стихов и должности литературного сотрудника армейской газеты?

Не о чем пока писать отцу... Может быть, потом, если свершит нечто героическое, значительное, можно будет с гордостью рапортовать отцу туда. А пока...

"Отец остался жить во мне, — думал Багрицкий, — а в ком или в чем я оставлю след на земле? Так ли я жил, чтоб быть уверенным — отец мне скажет: "Горжусь тобою, Сева". Газетных строчек в "Отваге" для этого мало. К тому же, зачастую это уже не мои строки. Они исправлены, а подчас и переписаны Кузнецовым или батальонным комиссаром. Да, я получил в руки оружие, но стреляет оно плохо, порой и прицеливаются, и нажимают на спусковой крючок другие. Стихи?.. Тут бы я мог, это личное, сокровенное, только мое, но "Отвага" — не литературный альманах. И я понимаю редактора, когда он приказывает набрать слабую басню о Гитлере, а мою лирику вежливо возвращает. Бойцам сейчас не до хореев и ямбов..."

...Выполняя приказ редактора, Всеволод вместе с Ворошиловым приехал в Дубовик, но маршалу на глаза старался не попадаться. Конечно, в лицо его Ворошилов не знает, но, увидев, может вдруг спросить: кто ты, дескать, таков?.. А тогда и припомнит разговор с Румянцевым, который Сева нечаянно услышал. В сознании его не закрепилась последняя фраза Ворошилова о том, что его, молодого корреспондента, учить, воспитывать надо. Зато он хорошо помнил, как мялся, подыскивая слова, Румянцев, как оборвал его маршал обнаженно грубым вопросом: "Что, хлеб даром ест?" Узнал бы об этом отец... Нет, нет, даже помыслить о такой возможности кощунственно, греховно!

Ни комкора Гусева, ни комиссара Ткаченко в Дубовике не оказалось. Они были на переднем крае, в районе Красной Горки. Ворошилов поначалу вознамеривался ехать туда же, но потом сдался на уговоры Шашкова, согласился подождать Гусева и Ткаченко в штабе, тем более они тоже выезжают в Дубовик.

В политотделе корпуса Багрицкого познакомили с комиссаром кавполка старшим политруком Сотником. Сева представился ему и попросил бравого усача определить геройского парня, лихого кавалериста. Багрицкий намеревался добросовестно отнестись к поручению редактора и написать романтический очерк.

— А у нас все такие, — сказал комиссар полка, — кого ни взять. Одни рубаки в полку. Ленинградцы ведь, товарищ Багрицкий. Их не только в бой не надо поднимать, останавливать приходится, чтоб не увлеклись да от своих не оторвались.

— Понимаю, — сказал Сева, — вся армия про гусевцев толкует. После войны книги о них напишут. А пока вы мне одного порекомендуйте, для очерка в "Отваге".

— Одного, значит? Подумаем... Вот! — оживился старший политрук. — Этот будет вам в самый раз. Политрук эскадрона Василий Онуприенко. Правда, не питерский — из кубанских казаков будет. Но призывался в Ленинграде, грузил пароходы в морском порту. Начинал войну рядовым, а сейчас младший политрук.

— А чем он отличился, этот казак?

— Перебил штаб немецкого батальона неделю назад, когда мы подошли к поселку Восход... Командир эскадрона лейтенант Ростокин вместе с Васей Онуприенко определили слабое место в обороне противника и неожиданной лихой атакой сбили немцев с железной дороги. Затем конники на плечах фашистов с ходу ворвались в поселок Восход, а впереди остальных — Василий. Он отрезал немецкий штаб и добыл отличных "языков", не считая важных документов.

— Значит, вы его рекомендуете мне в качестве героя? Сотник кивнул:

— Я его к ордену Красного Знамени... гм... рекомендую. Наградной лист заготовил на него, не успел еще в политотдел отправить. Взгляните.

Багрицкий пробежал глазами листок.

"...Во время боя за населенный пункт Восход младший политрук Василий Яковлевич Онуприенко и командир дивизиона Василий Иванович Ростокин

ворвались в дом, где находилось несколько немецких офицеров. Один фашист выстрелил из автомата и ранил лейтенанта Ростокина в руку и грудь. Онуприенко подскочил к немецкому офицеру, ударил автоматом по голове и расколол ему череп. Два других офицера, выбив окно, выскочили во двор. Онуприенко бросился на улицу и меткой очередью уничтожил обоих офицеров. Остальные захвачены им в плен..."

— Как мне попасть в полк, товарищ комиссар?

— Нет нужды в этом, товарищ Багрицкий, — сказал Сотник. — Герой наш здесь. Руку ему пулей задело, в медсанбате он.

...Они сидели друг против друга за ветхим самодельным столом, разделенные его некрашеной, отскобленной поверхностью.

— Курить можно, товарищ корреспондент? — спросил Василий.

Это был рослый, плечистый парень, может быть, двумя или тремя годами постарше Севы. Острижен был коротко, но уже намечался будущий волнистый чуб, темные усы украшали его продолговатое лицо с прямым, чуточку горбатым носом. Глаза у Василия веселые, с хитринкой.

— Отчего же, — сказал Багрицкий, — конечно, курите. Кавалерист пододвинул кисет Севе, и тот неумело стал сворачивать козью ножку. Василий деликатно отвел глаза...

— Давайте знакомиться, — проговорил Сева. — Про вас я уже знаю. А меня зовут Всеволод, фамилия Багрицкий, корреспондент газеты "Отвага".

— А я думал, что вы куда старше, — несколько смущенно произнес Василий. — Судя по стихам, я их в школе учил, вы и на гражданскую успели. А на вид — так мы вроде бы с вами годки.

Багрицкий покраснел. Это был уже не первый случай, когда его путали с покойным отцом.

— Меня зовут Всеволод, — повторил он. — А вы, Василий Яковлевич, знаете стихи Эдуарда Багрицкого.

— Однофамилец ваш будет али сродственник какой?

— Отец... Умер восемь лет назад, — несколько суховато ответил Сева, и Василий почуял, что собеседнику тема не по душе, перестал спрашивать.

— Как вы оказались в Ленинграде?

— Работал в порту. Хотел устроиться матросом в пароходство, я ведь действительную службу проходил под Ленинградом, в финской участвовал. А мне говорят — поработай полгода грузчиком, потом пойдешь в море. Согласился. Уже и документы были готовы. Задержись война недели на две,

неизвестно, в какой стране я был бы сейчас, а может, и рыбы давно схарчили меня. Узнал случайно: формируется кавалерия. Добился, чтоб направили туда, ведь Онуприенки — кубанские казаки, из Запорожской Сечи. Про Тараса Бульбу читали? Так это Гоголь с моего предка списал. — Василий лукаво усмехнулся и подмигнул Севе. — Анкета у меня хоть куда. Я военкому прямо заявил: являюсь родичем Тараса Бульбы. Поверил... Так и воюю с шашкой в руке.

— Рубить ею приходилось?

— А как же! Для чего же она, сабелюка, еще служит? Только рубать... Гансы, они хлипкие на это дело. Лаву на лаву — для них несподручно. Мне батя рассказывал, как ходили они в атаку в Галиции. Германские драгуны не дюжили против нас. И опять же, когда наш прорыв — у них паника. "Казакен! Казакен!" — кричат и тикают куда глаза глядят. Навроде как наши в сорок первом от ихних танков. И на машины гансы сели, потому как им, полагаю, от конников наших спасения нету.

— Вот когда вы рубите человека саблей, — проговорил Багрицкий, — какие испытываете чувства при этом?

— Какого человека? Я человеков не рублю, — обиженным тоном произнес Василий. — Как можно по людям шашкой? Я ведь только гансов. Фашистов, стало быть.

— Понимаю, — сказал Сева. — Их, конечно, шашкой надо.

Он достал блокнот и попросил младшего политрука рассказать об эпизоде с пленением немецкого штаба. Василий говорил бойко, с красочными подробностями. Скосив глаза, он смотрел, правильно ли корреспондент записывает фамилии бойцов. В его речи мягко звучало южно-русское "г", особенность певучего говора всегда умиляла Всеволода. Он записывал рассказ Онуприенко и остро завидовал младшему политруку, который сходился с врагом лицом к лицу и проделывал это с будничным хладнокровием, будто выполнял повседневную работу, хотя не такую, прямо скажем, и приятную... Только она необходима, никуда не денешься от нее, а коли так, то и справлять ее потребно добросовестно и аккуратно.

— Перекурим это дело, — предложил Василий, придвигая к себе кисет, он так и оставил его на столе. — С непривычки аж язык задеревенел. А стихи вы мне не почитаете? Люблю стихи, товарищ корреспондент. И вашего, значит, папаши мне нравятся. "Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед..." Здорово! Или про Опанаса. Еще Есенина

люблю, про мать-старушку, например. Непонятно только, почему запрещают Есенина? Говорят, хулиганил будто много и вином баловался. Ну и что? Стихи-то у него великие. Прочитайте что-нибудь.

— Хорошо, — сказал Сева, — слушайте. "Мир опустел... Земля остыла... А вьюга трупы замела, и ветром звезды загасила, и бьет во тьме в колокола. И на пустынном, на великом погосте жизни мировой кружится Смерть в веселье диком и развевает саван свой!"

— Здорово-то как! — восхищенно воскликнул Онуприенко. — Это вы про наше наступление написали... Главную суть ухватили, товарищ Багрицкий. Так я все и воспринимал, но чтобы выразить... Подобное лишь поэту под силу. Спасибо вам за стихи. Их бы в нашей "Отваге" напечатать, чтоб другие бойцы прочитали. Или было уже в газете?

Багрицкий улыбнулся:

— Это старые стихи, написаны они давно и не мною, увы... Был такой русский поэт Иван Бунин. Впрочем, почему был? Он и сейчас еще жив, только далеко от нас, в Париже.

— Белогвардеец, значит? — жестко спросил Василий.

— Нет, в белой армии Бунин не служил, — ответил Сева. — Иван Алексеевич — большой поэт. Академик, бессмертный. Только вот не понял того, что случилось у нас в стране, уехал.

— Жалко, — сказал кавалерист, — сейчас бы ему работа нашлась. Хорошие стихи — большая сила. С ними и в атаку идти легче. А свое не прочтете, товарищ Багрицкий?

— Свое? — переспросил молодой поэт. — Можно, пожалуй.

Он раскрыл записную книжку, перелистал ее и принялся читать, сначала негромко, потом, воодушевляясь, во весь голос:

— Как будто во сне или дреме товарищи рядом лежат. Мерещатся в злом окаеме позиции вражьих солдат. Прошел я войны половину, окопы в глубоких снегах. Мне надо прожить эту зиму, привстав во весь рост в стременах. Атаки, атаки, атаки... Дыхание криком полно. С глазами веселой собаки я пью фронтовое вино. А сердце все ждет наступленья, и руки на связках гранат. Да здравствует смерть в исступленьи забывших о слове назад!

— Ну, — воскликнул младший политрук, — вы даете, товарищ Багрицкий! Здорово! Добрые стихи!

— Это сегодня, — сказал Сева, — сегодня сложилось. Ждал, пока вас разыщут. Вот и получилось. Как вам? Ничего?

— Отличные стихи! Вы мне позвольте списать их, ребятам в эскадроне прочту. Поди и не поверят мне, что с настоящим поэтом за жизнь толковал.

— А знаете что, вы возьмите прямо так... Ладно?

Багрицкий вырвал из записной книжки листки со стихами и протянул их кавалеристу.

— Вот спасибо вам. А как же вы? Помните наизусть?

"Конечно, — подумал Сева, — я помню эти строки. Если выживу, не забуду, а погибну — унесу с собой".

Василий Онуприенко свернул листки, вынул из-за пазухи партийный билет, бережно уложил в него Севины стихи и спрятал документ обратно. Счастливая улыбка не покидала лица кубанца, и теперь Багрицкий до конца поверил в его пусть еще неразвитую, но искреннюю природную любовь к поэзии.

"А ведь есть смысл заниматься стихами, если живут на свете такие парни, как этот Василий, — подумал Всеволод. — И коль я хоть чуточку задел его тем, что родилось у меня в душе сегодня, значит, оправдал день, который прожил в Дубовике..."

Он пристально глянул в лицо кавалеристу, тот продолжал улыбаться, и Сева вдруг почувствовал, как стало зябко, он явственно ощутил, что его собеседнику не придется осваивать мирную жизнь, никогда не увидит он с палубы судна заветного океана. "А ведь его убьют скоро", — с щемящим сердце ужасом подумал он.

Багрицкий судорожно раскрыл записную книжку, сжал в руке карандаш, готовясь задавать коннику новые вопросы. Задать их Всеволод не успел.

Над деревней завыли "юнкерсы". Багрицкий машинально глянул на часы, было восемнадцать ноль-ноль.

— Пожаловали, чертяки, — с веселой ворчливостью проговорил младший политрук. — Поговорить не дадут с человеком...

Свист первой бомбы они еще услыхали. Она разорвалась на улице, неподалеку от избы, где сидели Багрицкий и герой его ненаписанного очерка. Осколки насквозь прошили нетолстые бревна стены и поразили обоих. Сева еще увидел, как дернулся кавалерист, удивленно раскрыл глаза, и тут же мутная пелена погасила в них живое, голова Василия стала клониться и упала на застывшие на тщательно отмытой светло-желтой столешнице руки.

О собственной боли Багрицкий не узнал, не дано было времени осознать ее. Он увидел смерть кавалериста, и эта смерть не удивила Севу. И сам он так и не

понял, что умирает... Роняя голову на записную книжку, молодой поэт успел заметить, как дверь вдруг растворилась и в горницу вошел Эдуард Багрицкий.
— Ты почему ничего не написал мне с фронта? — укоризненно спросил отец.

-37-

— Вы смотрели фильм "Александр Невский"? — неожиданно спросил Сталин.
Генерал Хозин вздрогнул. Он, разумеется, наслышан был о кинокартине и в связи с этим вдруг припомнил, как в бытность начальником Академии имени Фрунзе присутствовал на заседании кафедры военной истории, оно затеялось для обсуждения статьи академика Тихомирова в журнале "Марксист-историк" за 1938 год. Впрочем, эта статья напоминала скорее рецензию разгромного свойства, называлась "Издевка над историей (о сценарии "Русь")". В ней известный историк подверг резкой, если не сказать уничтожающей, критике режиссера Эйзенштейна и писателя Павленко, авторов сценария фильма об Александре Невском. Тихомиров справедливо обвинил режиссера и писателя в историческом невежестве, литературной пошлости, грубом искажении действительности XIII века. Но фильм в том же 1938 году все-таки был отснят и вышел на экраны. И Хозин знал о его успехе, яро антинемецкой направленности, о том удивлении в военной среде, когда в марте 1941 года, в обстановке тщательно оберегаемой официальной лояльности ко всему германскому, "Александр Невский" был вдруг удостоен Сталинской премии. Это расценили как предостережение, хотя внешне ничего не изменилось и высших командиров РККА по-прежнему упрекали в немцебоязни.
Михаил Семенович знал многое, что связано было с фильмом, вплоть до анекдотов из актерской жизни, но вот беда: самого-то фильма генерал Хозин не видел.
— Не успел еще посмотреть, товарищ Сталин, — поколебавшись мгновение, ответил командующий Ленинградским фронтом.
Поначалу он хотел было по-солдатски рубануть "Так точно!", да вовремя спохватился, успев подумать о том, что Сталин может вдруг спросить о каких-либо художественных или иных деталях кинокартины, и тогда он непременно попадет впросак. Правда, со слов товарищей Хозин знал, что авторы фильма в основном пренебрегли замечаниями академика Тихомирова и протащили на экран все увесистые исторические клюквы, вроде князя Александра, гуляющего с бреднем по берегу озера Ильмень без штанов, в длинной полотняной рубахе, или многочисленных его детей — это в двадцать-то

княжеских лет отроду! — спящих вповалку на крестьянских полатях, перенесенных волею режиссера в терем. Темнить Сталину вряд ли кто решился бы на этой одной шестой части планеты.

— Напрасно, — сказал Сталин, сунул в рот трубку и затянулся дымом.

Хозин молчал.

— Это произведение большой художественной и нравственной силы, товарищ Хозин, — заговорил после некоторой паузы Сталин. — И мне кажется странным, что именно вы, командующий Ленинградским фронтом, который призван очистить от фашистских захватчиков и берега Невы, и псковские с новгородскими земли, территорию, подопечную семьсот лет назад Александру Невскому, вы, генерал Хозин, не нашли времени посмотреть кинокартину о героическом прошлом русского народа.

Сталин повернулся к Михаилу Семеновичу, пристально глянул на генерала, вздохнул сожалеючи и перевел взгляд на портрет святого князя. Вместе с Суворовым и Кутузовым с первых дней войны поселился в этом кабинете и Александр Ярославич.

— Обязательно посмотрю, товарищ Сталин!

— Это будет правильно. Иначе вас не поймут ваши подчиненные, которые видели картину, и, надеюсь, не один раз. Я давно замечал, что кадровые командиры недооценивают роль политической работы в войсках. Это опасный признак. Сначала выступают за ограничение прав военных комиссаров, что означает вывод Красной Армии из-под контроля партии, а затем, одержимые бонапартистскими устремлениями, становятся на преступный путь прямой измены Родине. Вы понимаете, о чем я говорю?

— Понимаю, товарищ Сталин, — ответил Хозин, стараясь не выдать предательской дрожи в голосе.

Разговор принимал крайне опасный поворот. Михаил Семенович хорошо знал, что Сталин намекает на Тухачевского. Бывший маршал, а ныне "враг" народа, казненный несколько лет назад, довольно последовательно выступал за единоначалие в армии, укрепление роли командира как цементирующего сверху донизу фактора в РККА. И теперь генералу Хозину стало весьма неуютно. Что стоит Верховному Главнокомандующему взять и провести в логических построениях смертельную параллель?..

— Наша армия по-настоящему народна, — продолжал Сталин, — она от плоти и крови советских людей. А партия — и того более... Значит, военный комиссар в армии, равно отвечающий перед партией и народом за успех военных

операций, отнюдь не противопоставлен командиру, нет, он усиливает ответственность последнего и увеличивает боеспособность подразделений...

— Согласен с вами, товарищ Сталин, — осмелился подать реплику командующий фронтом, он воспользовался небольшой заминкой в рассуждениях вождя.

Сталин насмешливо сморщился:

— А кинофильм вы посмотрите. Мы поступили правильно, выпустив его на экраны перед войной. Серьезную идеологическую работу против фашизма мы, связанные пактом с Гитлером, развернуть не могли. Тем не менее присудили фильму премию. Мы намеренно пошли на такой шаг в сорок первом году. Это было недвусмысленным предостережением немцам. И я уверен: очень скоро ваши войска утопят гренадеров фон Кюхлера и в Чудском озере, и в Ильмене.

— На Ильмене скорее всего войска генерала Мерецкова, — осторожно заметил Хозин.

Сталин быстро взглянул на командующего, в его желтых глазах промелькнуло любопытство. Он помолчал, надеясь, что Михаил Семенович расшифрует явный намек, но Хозин испытывал некую неуверенность, сбитый с толку разговором Сталина о фильме "Александр Невский". Он намеревался ведь высказать Верховному собственные соображения по поводу того, что происходит на Волхове, но теперь Хозин не решился ничего более добавить к фразе о Мерецкове.

— Вы, товарищ Хозин, — медленно заговорил Сталин, выпустив изо рта сизое облако, и принялся плавно водить рукою в воздухе, разгоняя табачный дым, — вы тоже могли бы стать народным героем. Советские люди никогда не забыли бы имени человека, который освободил бы из кольца вражеской блокады колыбель революции. Единым и общим ударом разгромить войска группы армий "Север" — вот ваша ближайшая задача. Что может быть благороднее ее, генерал? Но пока я не вижу у ленинградцев обнадеживающих успехов. Ваши Пятьдесят пятая армия, действующая изнутри на Ульяновку, Тосно, и Пятьдесят четвертая, идущая к ней навстречу со стороны Погостья, до сих пор не сумели соединиться... Что вы на это скажете, товарищ Хозин?

...Что можно сказать по этому поводу? Его войска в силу сложившихся обстоятельств были разорваны на несколько изолированных друг от друга соединений. 21-я и 23-я армии еще с августа прошлого года находились в состоянии позиционной войны с финской армией, которая, вытеснив русских с Карельского перешейка, остановилась на старой государственной границе

осени 1939 года. На ораниенбаумском пятачке части 8-й армии. Они со всех сторон отрезаны по суше от других частей Красной Армии и сообщались с блокированным Ленинградом лишь по воздуху и морю. Южные предместья города защищали 42-я и 55-я армии. Последняя держала оборону и на правом берегу Невы, стыкуясь левым флангом с Невской оперативной группой. 54-я же армия генерала Федюнинского находилась вообще за внешним кольцом блокады, занимая участок между южным побережьем Ладоги и правым флангом 4-й армии Волховского фронта.

В январе согласно директиве Ставки армия Федюнинского перешла в наступление на двадцатикилометровом участке фронта от разъезда Жарок до станции Лодва. Успеха наступление не имело и быстро выдохлось. Причины тому самокритично были изложены в журнале боевых действий армии: "Общее наступление армии, начатое в 10.30 13 января, успеха не имело в силу следующих причин: отсутствия четко продуманного плана операции; нанесения удара по расходящимся линиям и на довольно широком фронте при малочисленном составе дивизий; отсутствия постоянно действующей войсковой разведки, особенно разведки флангов; почти полного отсутствия поддержки наступающих войск со стороны штурмовой и бомбардировочной авиации; до предела насыщенной огневыми средствами обороны противника".

Генерал Федюнинский быстро перегруппировал войска на участке прорыва, пополнил запасы боеприпасов и спустя трое суток снова двинул их в наступление. И сам командующий, и его штабисты верили в мешающую силу пехоты, не понимая, что возросшая за счет автоматического оружия мощь огня немцев сводит на нет смелость и отвагу красноармейцев, не дает подняться в атаку. Тут бы ввести в дело танки и артиллерию, авиацию, но где их взять?.. К тому же "план операции не был разработан, разведка осветила район недостаточно в связи с малым временем, отведенным на подготовку операции, рекогносцировка не производилась, — бесстрастно фиксировал журнал боевых действий причины второй неудачной попытки. — Приказ подписан в 20.45 15 января, спущен в соединения в 22.00, получен только к полуночи. Светлого времени в распоряжении командиров дивизии и полков не было..."

Да, утром 16 января началось новое наступление, и вот оно тоже захлебнулось. И тогда в районе Погостья наступила тишина. А 2-я ударная армия прорвала оборону противника у Мясного Бора, развивая и закрепляя успех.

Февраль принес с собой обильные снегопады, они завалили лесные дороги, забили чащи, прикрыли предательским покровом незамерзающие болота.

Природа действовала на руку немцам. Они сидели в уютных и теплых блиндажах, в глубоких траншеях, оборудованных еще с прошлого года, и выкуривать их оттуда было нелегко.

Армия Федюнинского топталась на месте. Бои не прекращались ни на один день, а продвижения вперед не было.

... — Недавно побывал у Федюнинского, товарищ Сталин, — проговорил Хозин. — Он получил директиву фронта об изменении направления боевых действий. Теперь он пойдет навстречу Второй ударной армии.

— Пойдет навстречу... Наконец-то спохватились, вояки, — проговорил Сталин. — Два месяца боев — и ни с места. Сначала атакует Клыков, а Федюнинский ворон ловит. Потом идет в наступление Пятьдесят четвертая, а Вторая ударная уже выдохлась. Болтаетесь вы там, как дерьмо в проруби. Сидел на Пятьдесят четвертой маршал Кулик — без толку. Пришлось его разжаловать в генерал-майоры. Потом были в этой армии вы, генерал Хозин. Вас сменил этот халхинголец Федюнинский. Тоже герой! Едва не сдал немцам Волхов, растерялся, запаниковал. Не сумей он осенью исправить положение, я б его в лейтенанты разжаловал. Может быть, прав был генерал Мерецков, когда просил подчинить ему эту армию? Что вы скажете, товарищ Хозин?

— Совершенно верно, товарищ Сталин. Войска обоих фронтов решают одну задачу — освободить Ленинград. И для организации общего удара необходимо сосредоточить руководство войсками в одних руках.

— В чьих руках, товарищ Хозин? — прищурился Сталин. Михаил Семенович не ответил, позволив себе слегка повести плечами и легонько, едва слышно, вздохнуть.

— Хорошо, — сказал Сталин и сделал рукою отстраняющий жест, закрывая тему. — Вы мне вот что скажите. Почему Федюнинский просил освободить его от командования фронтом, решил поменяться с вами, спустился на пост рангом ниже?

— Он объяснял это тем, что я старше его по званию.

— И ему, дескать, неловко командовать вами? Чепуха, генерал! Военные видят особую изюминку, когда судьба отдает им в подчинение людей более высокого ранга. Нет, Федюнинский просто-напросто испугался немецкого наступления. Фашисты рванулись к Тихвину, угрожая соединиться с финнами. Положение Ленинграда резко ухудшилось, и Федюнинский сообразил, что ему несдобровать, если не удержит город. Тогда он и позвонил в Ставку.

Василевский доложил мне о его предложении. Я понял, о чем беспокоится герой Халхин-Гола, и поддержал его просьбу.

Сталин хотел добавить, что тогда, после доклада Василевского, он подумал о головокружительной карьере Федюнинского. В 1939 году он был еще помощником командира полка, а в 1941-м уже стал командовать фронтом. Через два года! Карьера в истории небывалая! Пожалуй, и у Наполеона не было такого взлета, а Федюнинский конечно же не Бонапарт. Но Сталин, успевший мгновенно проанализировать эту мысль, не стал делиться ею с собеседником. Ему вспомнилось сейчас: почти такая же карьера была у генерала армии Павлова. Командир танковой бригады в Испании и сразу — командарм во время финской войны, потом, в 1940 году, начальник Автобронетанкового управления РККА, накануне войны — командующий войсками Западного Особого военного округа, по которому так лихо прокатились фашисты, уничтожив в первый день войны почти всю его авиацию прямо на аэродромах. Тогда же, в сорок первом, комфронта Павлова и еще нескольких генералов Мехлис расстрелял за потерю управления войсками. Но расстрелами только напугаешь генералов, воевать с помощью казней никого не научишь. Теперь Сталин это понимал. Ведь все они, неожиданно для себя взлетевшие наверх люди, не были виноваты в отсутствии стратегического мышления. Когда им было приобрести его? Они заполнили образовавшийся в Красной Армии вакуум. Он возник внезапно в 1937 — 1938 годах, когда проводившаяся в связи с делом Тухачевского, Егорова, Якира и других кровавая чистка в армии и на флоте привела к устранению более пятнадцати тысяч старших командиров. Но особенно велик был процент "санитарной вырубки" в среде высшего командного состава.

Интересно, что Хозин думал сейчас об этом же. Он вспомнил, как муссировались в стенах Академии имени Фрунзе крылатые слова генерала Павлова, тогдашнего начальника Автобронетанкового управления. Дмитрий Григорьевич, опираясь на личный опыт войны в Испании, где применение танков носило локальный характер, терпеть не мог разговоров о мощности механизированных соединений вермахта, которыми немцы довольно умело маневрировали в Польше и на Западе. "Что нам эти хваленые фашисты? Да у них картонные танки! Из фанеры! — говорил Павлов. — Дайте мне сотню-другую наших тяжелых машин, и я через неделю буду в Берлине!" Выступал Павлов и за ликвидацию танковых корпусов: ими, дескать, трудно управлять. Впрочем, и неудивительно. Каждый военный знал, что стратегия фланговых

ударов танковыми клиньями была предложена бывшим маршалом, а ныне "врагом" народа Тухачевским. Следовательно, каждый, кто за эту идею цеплялся... И так далее. Перед самой войной опыт гитлеровских полчищ на Западе принялись постепенно учитывать и у нас, стали формировать механизированные корпуса, но война началась раньше, нежели успели обеспечить их необходимой техникой. Теперь каждый из этих двоих, Сталин и Хозин, думали по-разному об одном и том же. Пауза затягивалась. Возник в дверях Поскребышев и застыл, выжидающе глядя на Сталина. На его немой вопрос ответил:

— На проводе товарищ Ворошилов.

— Давайте, — коротко бросил Сталин и, не обращая на Хозина внимания, прошел к телефону.

— Сталин слушает, — сказал он. — Хорошо... Можешь возвращаться. Доложишь обо всем на месте, в Москве.

Он помолчал, давая, видимо, выговориться представителю Ставки, звонившему из Малой Вишеры, потом заговорил вдруг таким тоном, что Михаил Семенович удивленно уставился на него.

— Послушай, Климентий, — сказал Сталин, — мы здесь совсем недовольны твоим поведением на фронте. Нам докладывают, как ты не бережешь себя. Попадаешь под бомбежки, обстрелы... Немцы, понимаешь, облавы на тебя устраивают. Как "ничего особенного"?! Почему не сообщил, что тебя ранили в районе... Подожди, как эта деревня называется? Да-да! Поселок Вдицко! Царапина, говоришь? И от царапины люди умирают, Климентий. Береги себя, прошу.

Сталин положил трубку на рычаг и повернул к Хозину лицо, на котором застыла совсем незнакомая генералу добрая улыбка. Лучики морщинок у глаз собрались вместе, придавая Сталину вполне домашний облик. Михаил Семенович едва не открыл от изумления рот.

Сталин шел к Хозину с протянутой для прощального пожатия рукой. Улыбка с его лица исчезла, и командующему Ленинградским фронтом казалось теперь, что тот, иной Сталин только привиделся ему.

— Вы свободны, генерал Хозин, — сказал Сталин вяло, будто нехотя, пожимая Михаилу Семеновичу руку. — Возвращайтесь домой. И кланяйтесь от меня Жданову.

Поминали Багрицкого. Сегодня утром его тело доставили в санях к поселку Кречно и погребли в лесу.

Сидели за столом притихшие, растерянные немного. Смертей все навидались досыта, но гибель Севы задела особенно глубоко, так как неосознанное чувство вины перед молодым поэтом неузнанно глухо царапало душу. Разговор не вязался. Когда разлили поминальное, Перльмуттер накрыл ладонью кружку и глуховато заговорил:

— "Люблю отчизну я, но странною любовью! Не победит ее рассудок мой. Ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные преданья не шевелят во мне отрадного мечтанья. Но я люблю — за что, не знаю сам..."

При этих словах Женя Желтова шумно всхлипнула. Лазарь Борисович на мгновенье запнулся, тоскливо взглянул на нее и снова повторил лермонтовскую строку:

"Я люблю — за что, не знаю сам — ее степей холодное молчанье, ее лесов безбрежных колыханье, разливы рек ее, подобные морям; проселочным путем люблю скакать в телеге и, взором медленным пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальных деревень..."

Перльмуттер замолчал. Он поднес кружку к лицу, пристально всматриваясь в ее содержимое через сильные линзы очков, морщась, неумело выпил, далеко запрокинув голову. Женя пододвинула Лазарю жестяную миску с закуской, сооруженной Анной Ивановной, главной хозяйкой в редакции, эту роль она взяла на себя, хотя ей и основной, корректорской, работы хватало... Женя попыталась вложить в руку Перльмуттера ложку, но Лазарь отстранился, смотрел сквозь стекла очков поверх голов остальные товарищей, сидящих за поминальным столом, отыскал на ощупь корочку хлеба и принялся жевать ее, внутренне отрешенный, перенесшийся в иной, лишь ему ведомый мир.

— Изысканный труп хлебнет молодого вина, — вдруг громко и внятно произнес Вучетич, и эти бессмысленные слова прозвучали в сгустившейся тишине многозначительно и зловеще.

Теперь все смотрели на Евгения, и художник смутился, повел рукою перед лицом, будто отстраняя от себя нечто.

— Это не я, — сказал Вучетич. — Изобретение сюрреалистов.

Редактор Румянцев шумно вздохнул. Он крепился изо всех сил, старался держаться спокойно. С той самой минуты, как узнал о смерти Багрицкого, Румянцев корил себя за последнее задание, которое дал Севе, Николай

Дмитриевич представил себя единственным и прямым виновником смерти поэта, и сейчас ему хотелось встать и всенародно покаяться. Он отдавал себе отчет, какими глазами будут смотреть на его глупую выходку Бархат и Родионов, Вучетич и Женя Желтова, Кузнецов и задиристый Черных. Разумом он понимал неизбежность смерти на войне, незапланированный ее приход к нему ли самому, коллеге, а сердце не хотело принимать именно этой смерти.

Не глядя на газетчиков, Румянцев налил себе водки, рывком выпил, уцепил неуверенной рукой пачку папирос на столе и, сутулясь больше прежнего, направился к выходу из землянки.

Все переглянулись, но промолчали.

— Вот дневник: Севы, его стихи, — сказал Кузнецов, — доставили с документами из Дубовика. Документы я сдам в политотдел, а это надо сохранить самим или отослать к нему домой.

— Его дом теперь здесь, — тихо произнесла Анна Ивановна Обыдина, — в волховских лесах.

— Но ведь остались родственники, — возразил Саша Ларионов.

— Так и сделаем, — сказал Лев Моисеев. — В тылу и дневнику, и стихам надежнее.

— А кончится война, — вздохнула Женя, — Севины стихи напечатают. Как о ней будут тогда писать, о войне?

— По-разному, — заметил Вучетич. — В прямой зависимости от совести художника.

— Сейчас мы делаем газету, ведем как бы летопись войны, — задумчиво проговорил Николай Родионов. — Потом новый Толстой напишет по нашим страницам "Войну и мир".

— Сомневаюсь, — качнул головой Черных. — По нашей газете он вряд ли чего поймет. "В районе пунктов А, Б и В противника атаковали подразделения Иванова, Петрова и Сидорова..."

— Ничего, — сказал ответсекретарь Кузнецов, — и этого уже много. "Атаковали" — вот главное. Не забывай, Виталий, что в распоряжении будущего Толстого окажутся документы, которые сейчас для журналистов закрыты. Журналы боевых действий, донесения командиров, директивы штабов. И потом, я надеюсь, что книгу о нас всех напишут до того, как все мы, оставшиеся в живых на этой войне, уйдем из этого мира. Я с радостью отдам тому, кто захочет написать правду об этой жестокой бойне, все, что сбережет моя память.

— Добрым или злым приходит человек в мир? — неожиданно спросила Женя. — Злым или добрым?

— Руссо говорит: добрым, — сказал Бархаш.

— Ни тем, ни другим, — возразил Кузнецов. — Человека научают и тому, и другому.

— А предрасположение к добру или злу? — подал голос Вучетич. — Дурная наследственность, например... Или навязшие в зубах разговоры о национальной приверженности тех же немцев к порядку, скажем? Это куда вы отнесете?

— Друзья мои, — мягко проговорил, чуть улыбаясь, Николай Родионов, — национальные особенности обусловлены экономическими и историческими причинами. Положение Германии в Европе, сложившаяся социальная и историческая обстановка определили национальный тип с особой идеологией, моралью, нравственными принципами. Ведь не прошло еще и сотни лет с той поры, как Германия, объединенная Бисмарком, стала единым и независимым государством. А до того — более трехсот карликовых княжеств, и житель каждого зависел от воли и прихоти сюзерена. И вдруг — лозунг: "Мы опоздали к разделу мира, только кусок пирога урвем во что бы то ни стало..." Вот и рвут. С одной стороны — ханжеская буржуазная мораль, чистота и порядок, тарелки с умилительными надписями на кухне, а с другой — неглубокий слой цивилизации, который удивительно быстро и для всех неожиданно стерся, едва Гитлер провозгласил: "Немцам все дозволено!" Не знаю, доживу ли до того дня, когда пересечем границу Германии, но твердо знаю, что наши газеты перестанут писать, что любой немец — зло.

— И мне хотелось бы почитать, как напишут о войне, — проговорил Бархаш. — Врать будут много — это точно. Особенно сразу после войны. И это естественно. Осознание победы, эмоциональный взрыв отодвинут в сторону проблему необыкновенных тягот войны, небывалое напряжение человеческих сил, потрясение духа. Если соберемся писать о том, что пережили, нам будет трудно охватить войну целиком. Для каждого из нас война личности, а она замыкается "Отвагой", тем, что мы видим в частях Второй ударной. Для командира взвода война — это его два-три десятка солдат и те позиции, которые они занимают. Для комбата вся война — в его батальоне. О красноармейце уже не говорю... И заметьте: переосмысление войны из будущего ведет к неизбежному искажению минувшей действительности.

Уверен: у нас будет две войны. Одна — литературная, описанная в романах, а другая — наша с вами война, война каждого из тех, кто принял в ней участие.

— Миллионы собственных войн, — сказала Женя Желтова.

— Да, если хотите, — согласился Борис Павлович. — Ну, а что до немцев, то, отдавшись Гитлеру и его шайке, Германия произвела над собой духовную самокастрацию. Это неизменно при формуле "один вождь". В третьем рейхе нет инакомыслящих, они содержатся в концлагерях. Кастрированная нация слепо идет за фюрером, в подавляющем большинстве верит ему. Мы уже избавились от иллюзий лета сорок первого года, когда надеялись: после нападения Гитлера на Советский Союз в Германии вспыхнет революция. Ее не будет! Немцы станут драться до конца. И мы должны полностью их уничтожить! Нет, не Германию. Мы должны разбить вымуштрованное войско, разгромить первоклассную военную машину. Необходимо привести немцев к полному, исключающему компромиссы, поражению и этим до предела унизить их. Только через унижение, которое послужит немцам очищающим горнилом, они смогут прийти к осознанию вины перед человечеством.

— Самое страшное — немцы совершают это в полной уверенности, что они правы, — сказал Саша Ларионов.

— Тут вот еще что следует учитывать, — заметил Николай Родионов, — Культура культурой, а полтора десятилетия голода, безработицы, ущемленного национального самолюбия — не шутка. Не успела Германия насладиться в прошлом веке победоносным вторжением во Францию, погреть руки в африканских колониях, как ее пребольно щелкнули по носу Версальским миром. И вот стертая в силу обстоятельств личность рядового немца приходит в восторг от возможностей, их сулит каждому немцу — каждому! — национал-социализм фюрера. Где уж тут культуре справиться с таким вожделением!

— Одной культуры мало, — заметил Виктор Кузнецов. — Необходимо еще нечто. Ну хотя бы тот самый инстинкт общечеловечности, о нем пишет Достоевский, размышляя в "Дневнике писателя" о национальных особенностях русского народа.

— Инстинкт общечеловечности, — задумчиво повторил Перльмуттер. — Хорошо сказал Федор Михайлович, емко. Это единственное, на чем может удержаться наш неустойчивый мир.

— Мне думается, — заметил Виктор Черных, — что война довольно быстро преобразуется в миф. Возникнут легенды, которые непозволительно будет исправлять тому, кто захочет рассказать жестокую, но справедливую,

единственно возможную правду. Война наша станет вроде Троянской войны для греков — строго замкнутой системой взаимообусловленных событий, где одно действие сцеплено с другим и не может трактоваться иначе, чем это сделано у Гомера.

Он положил руку на плечо Кузнецову.

— Поэтому, товарищ ответсекретарь, ни память твоя о собственной войне, ни материалы "Отваги" не понадобятся.

— Ты не прав, Виталий, — возразил Бархаш, повертывая и наклоняя в руках зеленую эмалированную кружку с недопитой водкой. — Античные трагики — Софокл, Эсхил, Еврипид — не следовали рабски установившейся версии мифа, они свободно перерабатывали его, давали собственное толкование, хотя оно зачастую расходилось с тем, что веками закреплялось в сознании греков. На то они и подлинные художники. Иначе мастер не может. Понятное дело — сразу после войны больших по значению книг о ней не ждите. Необходимо время, потребное на то, чтобы медленно возникающий катарсис от небывалой трагедии, пережитой народом, сумел окрепнуть в предсознании и полностью овладеть человеческими умами, овладеть объективно, без личных, субъективно искажающих минувшую действительность факторов. Такие, братцы, пироги...

Еще Аристотель в "Поэтике" утверждал: Софокл изображает людей такими, какими они должны быть, а Еврипид такими, каковы они на самом деле. Это заявление немножечко в лоб, правильнее понимать, что Софокл создавал не натуралистические, а обобщенные образы людей, формировал типические характеры... Все это должен учесть и будущий создатель трагедии, которой мы с вами живые — пока! — участники. А что есть трагедия? По Аристотелю, это воспроизведение важного и законченного действия, оно имеет определенный размер, объем, и воспроизводится при помощи речи, языка, и в каждой из частей украшено различно, посредством действия, а не рассказа, и свершает благодаря состраданию и страху очищение этих чувств. Очищение, друзья мои славяне... Вот чему мы подвергаемся в кровавом горниле. Катарсису! Осмыслить явление, вызывающее сострадание или страх... Тот, кто будет писать о нашей войне, обязан научиться очищать чувства от их подсознательно!" сути, изначальной формы, показывать: мы умели управлять чувствами на войне. Тогда этому автору поверят и те, кому пришлось воевать. Женечка, передай банку с тушенкой, и я выпью за катарсис... И да не минует он каждого из нас!

Выпили одни мужчины. Пока закусывали, никто не промолвил ни слова. Потом заговорил Перльмуттер:

— Вот тут мы древних поминали... Для греческих писателей мифология была историей, и ни один из них никогда не боялся отступить от традиционного смысла. Конечно же, герои Троянской войны не могли оказаться вдруг трусами, но вот та же Елена могла, по утверждению поэта Стесихора, оказаться верной женой. Стесихор уверен: Парис обольстил не ее, а подставную Елену... Античные писатели считали вправе, признавая основные вехи истории-мифа, по собственному усмотрению трактовать отдельные факты, перетасовывать героев и события, извлекая из новой расстановки необходимый им смысл.

— Мне вспомнилось сейчас, — проговорил Бархаш, — как Сократ, заявивший афинянам, что не предаст убеждений из страха перед смертью, сослался при этом на пример Ахилла. Мать сказала герою, что убийство им Гектора неумолимо приведет его самого к смерти. И Ахилл предпочел заведомую погибель возможности прослыть трусом. Я думаю, что совершенно напрасно пренебрегаем мы вот такими пропагандистскими примерами в работе среди красноармейцев...

— Вернись в двадцатый век, Борис, — вздохнул Родионов. — Какие Ахиллы, какие Гекторы?! Да у нас в ротах есть солдаты, которые едва расписываются. Я не говорю уже о нацменах, те команд на русском языке не понимают. А ты им Гомера предлагаешь... Не смеши меня, пожалуйста, дорогой. И потом, у нас, если хочешь, есть собственные примеры.

— Ты знаешь... — вскинулся Бархаш, но Кузнецов остановил его.

— Перестаньте, ребята, — сказал Виктор. — Не для этого мы собрались сюда. Женя, почитай нам стихи, что-нибудь жизнеутверждающее.

— Не хочется стихов, Виктор Александрович.

— А ты что молчишь, Евгений? — спросил Вучетича Виталий Черных. — Хочешь, прочту эпиграмму на Лазаря?

— Вучетич не ответил. Никто не знал, о чем он думает. Художник редко вмешивался в околонаучные споры, которые по всякому поводу или вообще без оного затевали его товарищи. Кто знает, что виделось ему в те часы и минуты, когда Евгений молча слушал и думал, думал о своем.

— Да нет, ты послушай, — не унимался Черных. — "Честь женщины всегда висит на волоске..."

— Перестаньте, Виталий, — сказала ему Анна Ивановна. И тут Женя Желтова принялась читать:

— "Свой дикий чум среди снегов и льда воздвигла Смерть. Над чумом — ночь полгода. И бледная Полярная звезда горит недвижно в бездне небосвода. Вглядись в туманный призрак. Это Смерть. Она сидит близ чума, устремила невзрачный взор в полуночную твердь — и навсегда звезда над ней застыла".

— Да... жизнеутверждающе, — не удержался Виталий.

— Грустные стихи, — тихо проговорил Кузнецов.

— Их любил Сева Багрицкий, — ответила Женя.

Послышался звук отворяемой в землянку двери. У входа стоял редактор "Отваги". Стекла промороженных очков его мгновенно запотели, и оттого лицо Николая Дмитриевича казалось слепым.

-39-

Соболь угрожающе вскинул автомат.

— Назад! — закричал он сиплым голосом. — Назад!

Охваченная паникой толпа, тяжело и надрывно дыша распаленными, ощеренными ртами, выкатив расширенные страхом глаза, неудержимо и обреченно надвигалась на командира полка.

— Подлюги! — орал Иван Соболь, направив ствол поверх голов рвущихся сквозь глубокий снег красноармейцев. — Что делаете?! Назад!.. Пришмандовки!

Трахнула в небо горохом сердитая очередь, но безобидные эти пули никого не остановили.

— Назад! В душу, в гроб! Мать вашу! Назад! — в последний раз крикнул Соболь и решительно пригнул ствол автомата. Снова закричал: — Пришмандовки!

...В праздничный день 23 февраля 1942 года 46-я стрелковая дивизия генерал-майора Окулича вышла к захваченной недавно конниками Гусева Красной Горке и сменила на позициях 80-ю кавалерийскую дивизию. Теперь ее комдив, полковник Поляков, мог наступать на Любань. Этот город стал главным направлением боевых усилий 2-й ударной армии.

За одну ночь по глубоким снегам долины реки Сичева кавдивизия прошла полтора десятка километров и к утру следующего дня изготовилась для нанесения удара в двух километрах северо-западнее деревни Кирково. Здесь кавалеристы получили возможность немного отдохнуть, привести в боевое состояние оружие, перегруппироваться.

А в это время 46-я дивизия, миновав Красную Горку, вышла уже на подступы к Любани. Два кавалерийских эскадрона гусевцев и один батальон 176-го полка

этой дивизии в последние дни февраля находились в четырех километрах юго-западнее города. Оставалось сделать последнее усилие — и Любань будет взята. Ведь теперь и армия генерала Федюнинского изменила направление главного удара и пробивается сюда же, навстречу клыковцам. Вот-вот клещи сомкнутся, Октябрьская железная дорога будет перерезана, а любанско-чудовская группировка противника окажется в котле.

Иван Дорофеевич Соболь командовал 176-м стрелковым полком и воевал на Волхове с осени прошлого года, когда и фронта с этаким названием не существовало. Его дивизия входила в 52-ю армию, ею командовал тогда Николай Кузьмич Клыков. Полк Соболя оставил во время оно Малую Вишеру, и опять же именно Соболь отобрал ее у немцев, когда в ноябре сорок первого генерал-лейтенант Клыков повел армию в одно из первых в истории Великой Отечественной войны наступлений, отбросившее фашистов за реку Волхов.

Командиром Соболь был в прямом смысле геройским. В меру суров, осмотрителен, порою осторожен, по семь раз мерил, а когда приходило время — выкладывался до конца. Умел цепи водить в атаку, получалось это у него красиво и ловко, хотя в ту пору уже велись разговоры: мол, это законная прерогатива взводных, дескать, даже комроты обязан находиться позади цепей и руководить боем, а не мчаться навстречу пулям с пистолетом в руке. Пока это была только голая теория, а на практике и генералы иной раз ходили в атаку.

Соболь сочетал в себе и те, и другие качества. Воевал он хладнокровно, умело и был везуч. На войне, как и в жизни, одному везет, другому не очень, а третий не вылезает из неприятностей. Толковый командир полка, солдата берег, но и собственную военную выгоду понимал. На чужом горбу в рай въезжать не собирался, но и себя объегоривать никому не давал.

Конечно, Соболю очень хотелось ворваться в Любань первым. И рядом ведь была, рукой подать. Но для немцев уже не секрет, чего хотят Соболь, Окулич, Гусев, Клыков и Мерецков. Удары русских перестали быть неожиданными. Немцам дали возможность снять с ленинградских позиций отдохнувшие там в период затишья части и бросить под Любань. Сюда прибыли полностью укомплектованная пехотная дивизия, ряд отдельных артиллерийских и минометных частей. Спешно переброшенные в этот район инженерные войска укрепляли и без того мощную систему обороны.

На третий день боев противник нащупал слабое место красных на стыке двух боевых частей и обрушил удар на правый фланг стрелковой бригады. Гитлеровцы шли в психическую атаку во весь рост, приставив к животам

автоматы. Атаку поддерживали танки. Красноармейцы не выдержали, побежали.

— Бегут! — крикнул лейтенант Петушков, врываясь на КП Соболя. — Товарищ командир! Бегут...

— Охолонись маленько, Петушков, — урезонил адъютанта Соболь, — не шебуршись, понимаешь... Толком доложи — кто бежит, куда и зачем.

— Сосед слева, Двадцать вторая бригада, не выдержала натиска противника и оставляет позиции, открывая наш левый фланг. — И уже другим тоном добавил: — Попросту драпают, Иван Дорофеевич. Худо дело, немцы в тыл к нам могут зайти.

— Драпают, говоришь? — переспросил Соболь, обдумывая решение.

Потом схватил автомат, бросил ремень на шею.

— Комиссар! Воюй здесь пока. Петушков, за мной!

Стрелковая бригада в беспорядке отступала.

"Прав Петушков, — пробилась в сознании бегущего наперерез толпе Соболя мысль, — действительно, драпают... Надо что-то придумать... Что придумать? Сейчас не поймут они и не примут ни одной команды. Остановить! Остановить!.. Иначе гансы на их плечах пройдут ко мне в тыл, и тогда погибнут и эти обезумевшие от страха люди, и мой ни в чем не повинный полк".

— Стой! — закричал командир полка, потрясая автоматом. — Куда бежите, сволочи?! Стой!

Но слишком глубоко отравил красноармейцев страх. Ни отчаянная матерщина Соболя, ни его угрозы, ни очереди поверх голов бегущих не отрезвили помрачившееся сознание людей, одурманенное разгулявшимся инстинктом самосохранения. И тогда Соболь решительным жестом пригнул задранный к небу ствол автомата и принялся в упор расстреливать рвущуюся к нему толпу.

Толпа остановилась. Новый страх, опасность, возникшая там, где искали спасения от смерти, по-иному ошеломила дрогнувших людей. До сознания дошло, что это не зряшные пули в воздух: пули несли гибель. Один уже ткнулся бездыханно в снег. Заверещал по-заячьи, ужаленный свинцовой пчелой, бедолага справа. Опасность была зримой и казалась им более страшной. Она попросту была непереносимой оттого, что пулю они могли получить от своего командира. Красноармейцы залегли, и Соболь прекратил стрельбу. Он понимал, что выиграл схватку, переломил психику отступавших, теперь они приходят в себя, страх быстро тает в их душах, разогреваемый затеплившимся чувством стыда. Командир полка пробежал сквозь осевший в

снег перерождающийся в эти мгновения рой красноармейцев и, отчаянно, но теперь уже весело матерясь, поднял их в контратаку.

Стрелковая бригада отбросила фашистов и заняла прежние позиции. А вечером на КП Соболя прибыл новый комдив, полковник Черный, а с ним товарищ из Особого отдела. От него и узнал Иван Дорофеевич, что автоматной очередью по отступавшим он убил одного красноармейца, другого ранил, а главное, подстрелил, правда не до смерти, начальника штаба стрелковой бригады, который, стало быть, оказался в толпе трусов и паникеров. Соболь чесал в затылке, скупо отвечая на вопросы особиста. Тот составил протокол, допросил заодно Петушкова и сказал полковнику Черному: не видит необходимости отстранять Соболя от командования полком, пока не доложит о случившемся начальству.

— Представьте, я тоже не вижу необходимости, — желчно ответил Черный. — Соболь трое суток держал на плечах дивизию, продолжая оставаться командиром в собственном полку. А с вашим начальством свяжусь. Мне так думается, что допросы вам у соседей слева надо снимать.

— Там работают товарищи, — ответил особист. — И вообще, товарищ полковник, у каждого на войне свое дело.

— На войне надо воевать, дорогой товарищ, — увесисто, подчеркнуто выделив слово "воевать", ответил Черный. — И если вы закончили необходимые мероприятия, давайте оставим КП Соболя, не будем ему мешать в его деле.

Новый комдив и особист покинули его. Иван Дорофеевич попросил у Петушкова фляжку, наполнил на две трети кружку, медленно, не чувствуя горечи, выцедил водку и принялся неторопливо грызть ржаной сухарь, предложенный знавшим вкусы командира полка адъютантом.

-40-

"И сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела... Большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла". Пророчествовать он давно перестал. Когда-то создал Иоанн Богослов откровения, изложил их так, как повиделось ему в больном, преломленном фантастической верой сознании. Он попытался испугать отступников вселявшими в души ужас картинами Страшного Суда, напрягал поэтическое воображение, а потом за эти две тысячи без малого лет столько раз убеждался:

сколь жалки суровые пророчества его рядом с последовавшей за ним действительностью.

..."И я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя... И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы... По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну... На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее — как стук колесниц, когда множество коней бежит на войну... Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные; головы у коней — как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера".

Двести лет назад срубили здесь, в глухом углу Волховщины, скромную деревянную часовню, на скрещении лесных проселочных дорог. Предназначалась она для жилья не господу богу, как все обычные храмы, а святому Иоанну Богослову, который в первом веке после рождения Христова однажды в воскресный день, находясь на острове Патмос, услыхал вдруг громкий голос, как бы трубный, который говорил: "Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний; то, что видишь, напиши в книгу..."

Стояла часовня в лесном и болотном краю, потихоньку ветшала. Путников здесь было немного, больше местные жители, новгородцы. Заметив, как вывернула дорога на часовню, они считали, каков отмерен ими путь, а приблизившись, истово крестились и, зная, кому часовня служит приютом, поеживались, вспомнив об обещанном им Страшном Суде, украдкой вздыхали, проговорив тихонько иль подумав: "Все там будем".

Пронеслись над Россией вьюжные годы гражданской, немало церквей предалось мечу и пожару, старую жизнь расшибали и в черта, и в мать, и в бога, а вот это строеньице плотницких дел мастеров уцелело. Икона с ликом Иоанна тоже здесь обитала, на том же месте, куда поместили ее в восемнадцатом веке. А осенью сорок первого года в окрестных лесах появились пришельцы.

... — Поцелуй меня в задницу, — вежливо, не повышая тона, предложил Вилли Земпер.

— В этом есть такая необходимость? — спросил Пикерт. — Процедура не из приятных, но ежели ты обещаешь мне две недели отпуска в фатерланд, то изволь, Вилли, я готов.

— Зря только будешь стараться, — насмешливо заметил Ганс. — Задница нашего Вилли недостаточно компетентна. Сохрани поцелуй для генерала Линдеманна. Тогда отпуск тебе обеспечен.

— Так придется и сделать, — фыркнул Руди. — Не обессудь, мой милый Земпер.

— Подите вы оба к черту! — озлился баварец, сорвал со столба, поддерживающего накат блиндажа, автомат и вышел.

Приятели расхохотались. Настроение у них было преотличное. Две недели назад их роту сняли с передовой и отвели в резерв. Вскоре солдатам объявили: они приданы специальной службе и будут выполнять особые задания в тылу прорвавшейся за Волхов русской армии. Устанавливается двойное денежное содержание и дополнительный паек, командованием обещаны внеочередные отпуска для отличившихся солдат.

Через несколько дней на операцию отправился первый взвод. Он быстро вернулся, не потеряв ни одного человека, вырезав три десятка зазевавшихся Иванов, доставил важные документы и трофеи, притащил также двух штиммефанген — молоденького красноармейца и мрачного вида пожилого фельдфебеля, или, как они называются у них, сержанта.

Пленных немедленно забрали в штаб, а героям выдали усиленную порцию шнапса, и те веселились на славу, бессчетно и красиво рассказывая о кровавых, теперь уже не страшных, подробностях вылазки. Отличившиеся ландзеры получили отпуска и готовились уехать в Германию.

— О, хаймат! — воскликнул по этому поводу Руди Пикерт. — О, родина! Как бы я хотел быть на месте этих счастливчиков!..

Он вернулся с проводов, которые устраивал его земляк-саксонец, и принес русский автомат нового образца, его добыли в поиске.

— Приятель просил сохранить до его возвращения, — сказал Руди. — Но я думаю, что имею право взять автомат с собою на дело, тем более к нему есть три круглых магазина.

Вилли долго и придирчиво осматривал трофейное оружие, и видно было, как пришелся по душе ему русский автомат.

— Послушай, Руди, не хочешь ли сменяться на мой карабин с оптическим прицелом?

— Охотно, — отозвался Пикерт. — На штиммефанген, которого ты добудешь. Я тебе отдаю автомат, а ты мне одного их них. Наш командир роты установил

твердый тариф. Один "язык" — один отпуск на родину. Бери автомат, Вилли, а я поеду в Дрезден. Согласен?

— Поцелуй меня в задницу, — вежливо ответил Земпер.

Вечером того же дня, когда состоялся солдатский обмен любезностями, взвод, в котором служили три приятеля, подняли по боевой тревоге. Обер-лейтенант Шютце сообщил солдатам: они немедленно выступают для проведения диверсионно-разведывательной операции в тылу 2-й ударной армии. Вместе с ними будет действовать ложный "партизанский" отряд, составленный из друзей рейха — местных полицаев. Командовать операцией приказано ему, обер-лейтенанту Шютце.

-41-

К началу марта 1942 года 2-я ударная армия значительно пополнилась за счет подразделений, бригад и дивизий, переданных ей Волховским фронтом из других армий. Теперь прорвавшее немецкую оборону на Волхове, устремившееся на помощь Ленинграду войско насчитывало более двадцати крупных соединений, не считая отдельных артиллерийских дивизионов и полков, танковых частей и лыжных батальонов. В руководстве армии произошли серьезные перестановки. Начальника штаба Визжилина заменил полковник Виноградов, командир стрелковой дивизии, в декабре сорок первого года отличившейся при освобождении Тихвина. У начальника оперативного отдела Пахомова принял дела комбриг Буренин. Заместителем командующего армией стал генерал-майор Алферов. А комиссаром армии, членом Военного совета, был назначен Иван Васильевич Зуев.

Когда авангард дивизии полковника Антюфеева подошел к позициям кавалерийского корпуса генерала Гусева, решили создать особый отряд из 80-й кавдивизии, 110-го стрелкового полка, им командовал еще недавний командир лыжного батальона майор Сульдин, и двух танковых рот. Отряду была поставлена задача: не прекращая движения в ходе перегруппировки, прорвать оборону гитлеровцев у Красной Горки и на плечах врага двигаться не задерживаясь на Любань.

Объединенным силам удалось с маху прорвать полосу укреплений. Кавалеристы и пехота устремились к Любани.

В это же время пришла в движение и нацелилась, наконец, в необходимом направлении огромная армия Федюнинского. В штабе ее сменился начальник оперативного отдела. Стал им полковник Семенов, он был преподавателем

кафедры оперативного искусства Академии Генерального штаба. Наставник бархатных воротничков сумел доказать, что является неплохим практиком. Семенов увидел суть оперативных ошибок, совершенных командармом. Эти ошибки, их гораздо позднее признает и сам Иван Иванович, привели к тому, что армия топталась на месте, несмотря на героизм и мужество командиров и красноармейцев.

Семенов, разобравшись в обстановке, предложил командарму отказаться от парадоксального состояния, в которое они попали, когда ударяли по врагу, повернувшись спиной к прорвавшимся в тыл к немцам клыковцам. "Нужно идти к ним навстречу", — доказывал Федюнинскому эту бесспорную истину начальник оперативного отдела. Иван Иванович колебался. В глубине души он соглашался с доводами опера, но ведь команды сверху на то не поступало... Решиться же на самостоятельные действия или хотя бы доложить о соображениях начальству командарм не мог.

Трудно сказать, как долго продолжалось бы топтанье армии на месте, если бы в Ставке не пришли к тем же выводам. В конце февраля Ленфронт получил директиву о наступлении на Любань, и теперь Федюнинский имел от командующего фронтом прямое указание: "не позднее первого марта перейти в решительное наступление в общем направлении Кондуя, Любань и во взаимодействии с Волховским фронтом окружить и ликвидировать любанско-чудовскую группировку противника".

Наступление началось в последний день февраля. И случилось то, что нередко случалось в тот печальный период войны. Задерганные категорическими требованиями Верховного, полководцы не осмеливались ослушаться и поднимали солдат в атаки точно в предписанный срок, не имея времени на подготовку. Взлетала в небо ракета, и свет ее был не торжественно-победным, а обреченно-поминальным. Атаки захлебывались, обильно лилась кровь, полки отходили на прежние рубежи, подсчитывали потери, учитывали допущенные просчеты и снова шли вперед...

Федюнинский выступил на Любань 28 февраля. Штаб армии не успел к этому времени довести до частей планирующие наступление документы, которые предоставили бы войскам достаточную для решения поставленных задач информацию. 80-я стрелковая дивизия из-за того, что пополнение прибыло в самый последний момент, опоздала с выходом на исходный рубеж. Связь между соседями была скверной, командиры частей смутно представляли себе, как они будут взаимодействовать друг с другом. Немцы же доподлинно знали о

готовящемся ударе, хорошо подготовились к отражению его, и потому наступавших встретил такой сильный и точный огонь артиллерии и минометов, что о захвате переднего края противника и думать не приходилось.

Но Федюнинского неудача первого дня не смутила. Командарм снова и снова поднимал дивизии, бросал их в бой. Прошел второй день наступления, и он не принес успеха. Третий, четвертый, пятый... Успеха не было, но красноармейцы неутомимо атаковали фашистов. Наконец, 5 марта Федюнинский скомандовал отбой, приказал закрепиться на достигнутых — кое-что, конечно, у немцев отняли — рубежах, подумать о противотанковой обороне, прикрыть фланги укреплениями, организовать тщательную разведку. Теперь к наступлению готовились серьезно. Назначено оно было на девятое марта.

Необычная операция разыгрывалась в волховских лесах и только полузамерзших, несмотря на дикие морозы, болотах. Как две руки, тянулись друг к другу две армии — 54-я и 2-я ударная. Сцепиться бы им — и тогда конец немецким дивизиям в Чудове и Любани. Но достичь этого пока не удавалось. Много чего не хватало в войсках: снарядов и продовольствия, овса для лошадей и автоматического оружия, истребительной авиации и валенок для красноармейцев. А ведь они там не просто воевали, эти фронты вели наступательные операции, которые требовали перевеса над противником во всем. Его же, увы, не было. И только в одном у русских перевес был бесспорным: перевес в стойкости духа.

-42-

Олег Кружилин довольно скоро сформировал роту специального назначения, которая должна была выполнять необычные задания, в частности бороться с ложными партизанскими отрядами. О том, что их созданием широко занимается полковник фон Эшвингер, начальник абверкоманды 204, давно был осведомлен майор госбезопасности Шашков.

Отбирать людей для спецроты помогал Кружилину порученец начальника Особого отдела. Веселый, остроумный парень, он сказал Олегу:

— Поначалу выбери лучших из той роты, которой командовал на переднем крае, тех, с кем в атаку ходил. Это твой золотой фонд, старлей. За неубитого двух иль даже трех не нюхавших пороха дают... Ведь ежели на ура ходил, а жив-здоров остался, значит, на тебе особое господне благословение, как ни крути, а есть на войне везучие. А с другой стороны, как говорят в Одессе: без. Вот и тяни их, обстрелянных, к себе. Потом вспомни кого-нибудь из знакомых

командаров — во взводные их, значит. Можешь брать из любой части — откуда угодно отпустят, мандат тебе Егорыч подписал. И для остроты ощущений возьми пяток бывших блатных. В них много дерьма, но попадаются отчаюги , их ты можешь при случае использовать. Этих я тебе сам подберу. Рота у тебя анкетная, а среди штрафников и уголовнички есть, есть и другие . Вторых в роту брать не надобно. Соображаешь?

Совету его Кружилин, понятное дело, внял. Из своей роты отобрал человек двадцать красноармейцев, коих знал лично, да сверх того двух сержантов, одного командира взвода, младшего лейтенанта Гришу Куренцова, да связного Васю Веселова. Тот аж дар речи потерял, когда увидел вернувшегося живым и невредимым командира. Взял и старшего сержанта Алексея Фролова, решив поставить серьезного тридцатипятилетнего мужика на должность ротного старшины.

Когда был в 176-м полку, случайно встретил Степана Чекина, ловко попавшего гансу ножом в затылок в медсанбате. Степан, не задумываясь, пошел служить под начало старшего лейтенанта, а на второй день привел в роту Авдея Сорокина, сержанта из Свердловска, с ним они направлялись в пехотное училище и Ладогу пересекали, а вот оказались во 2-й ударной. Взял Кружилин и Авдея.

Наконец, рота была полностью укомплектована. Делилась она, как обычно, на взводы, а вот те отделений не имели, состояли из поисковых пятерок, по шесть таких боевых групп в каждом взводе. Рота усиленно готовилась к будущим операциям, отрабатывалось взаимодействие между взводами и пятерками, спешно обучались и сами красноармейцы. Опытные специалисты из Особого отдела и армейские разведчики знакомили их с приемами самообороны без оружия, учили использованию подручных средств, активным действиям в тылу врага в составе пятерки, втроем, вдвоем или в одиночку. Несколько раз боевые группы просачивались сквозь оборону и исчезали в лесу, чтобы вернуться с "языком" и разведывательными сведениями.

Только настоящей работы у кружилинских ребят пока не было. Шашков ждал, когда ему сообщат из-за линии фронта о выходе в наши тылы ложного партизанского отряда. И вот, наконец, сообщение поступило. Больше сотни головорезов, орда гнусных предателей, кровавыми делами отрезавших себе все пути к искуплению грехов, двинулись в район деревни Федосьино, чтобы под видом настоящих партизан проникнуть у Глубочки сквозь русские позиции и неожиданным ударом ликвидировать штаб действующей на этом направлении

стрелковой дивизии. О том, что этих "партизан" сопровождает на незначительном расстоянии отборный взвод хорошо обстрелянных ветеранов вермахта из роты Вернера Шютце, Шашков не знал. Его о том не предупредили, поскольку это осталось неизвестным и для информаторов в немецком тылу.

Роту Олега Кружилина подняли по боевой тревоге; старший лейтенант получил задание перехватить этот отряд между Федосьино и Гуммолево, окружить его и беспощадно уничтожить, постаравшись при этом взять в плен руководителей, они могли дать ценные сведения. В случае необходимости Кружилин мог привлечь на помощь расположенные в районе Глубочки регулярные части, о взаимодействии с ними была достигнута с командованием дивизии договоренность.

Выступили на задание в полном составе. Не хватало только одной пятерки. За два дня до того во главе со старшим сержантом Фроловым она отправилась за "языком" в поиск. В состав пятерки вошли Степан Чекин с другом Авдеем, упросивший отпустить его — хоть на разок! — связной командира роты Вася Веселов и солдат из бывших штрафников, известный в уголовном мире как вор в законе, Георгий Клыков из Армавира, носивший когда-то кличку Банщик.

-43-

Взвод ландзеров двигался параллельно "партизанскому" отряду, имея его у себя справа. Обер-лейтенант рассчитывал обойти Глубочку и лежащий за нею разъезд восточнее, выйти на рокадную железную дорогу и подебоширить у русских в тылу. Шютце знал, что слева по ходу его движения сконцентрированы штабы подразделений противника, ведущего тяжелые бои, и если он устроит переполох — это облегчит положение дивизий вермахта, едва сдерживающих на этом участке натиск русских.

Довольно скоро немцы обогнали отряд ряженных под народных мстителей полицаев и вышли к железнодорожному полотну у разъезда, там, где проселочная лесная дорога, соединявшая Глубочку с деревнями Сустье Полянка и Сустье Конец, вплотную подходила к насыпи. Здесь Вернер Шютце решил перейти полотно и задержаться на другой стороне, подождать в условленном месте лжепартизан и двигаться с ними по направлению к станции Ловецкая и поселку Коровий Ручей.

Немцы без особых помех перешли железную дорогу, углубились в лес и затаились в нем, выставив наблюдателей. Но рота Олега Кружилина уже вклинилась между пришельцами и теми, кто стал служить им. Выдававшие себя

за партизан предатели заметили, как их еще севернее Глубочки окружили боевые пятерки спецроты. Но была слишком поздно: вырваться из кольца было невозможно.

Кружилин понимал, что он в состоянии пленить весь этот сброд, пленить с наименьшими для себя потерями, а то и вовсе без таковых. Но Олег хорошо чувствовал и состояние бойцов, знавших, какого сорта враг перед ними. "Языки" из этих вояк были никудышные, немцы мало что доверяли изменникам родины, вот если б только их предводителя захватить в плен... Старший лейтенант представлял, какие возникнут перед ним трудности во время конвоирования сотни озверевших от страха перед возмездием головорезов. Может быть, и есть среди них те, кто попал в эту стаю случайно. Но коль надел ты на себя волчью шкуру и завыл с ними вместе, то и разделяй их судьбу.

Словом, Кружилин приказал открыть огонь, не пытаясь даже склонить предателей к сдаче в плен. В ходе боя он принялся сдерживать красноармейцев, чтобы сохранить жизнь нескольким из разгромленного отряда, как говорится, для пользы дела. И командиру роты никогда не было дано узнать, что, затеяв бой с теми, кого он мог гораздо быстрее разоружить, Кружилин обрек на мучительную смерть бойцов из группы старшего сержанта Фролова, которые выходили из немецкого тыла, выполнив боевое задание и ведя с собою "языка".

Им был незадачливый обер-лейтенант Цильберг, однажды ускользнувший от обычной роты Кружилина и попавшийся теперь в руки его боевой пятерки.

... — Уж очень тощий немец, — с сожалением сказал Георгий Клыков. — Будь он пожирнее, я б с него мясо срезал и такой бы вам устроил шашлык...

— Не трепись, — оборвал его старший сержант Фролов. — Подбрось лучше хворосту в костер.

— Это мы одним ментом, старшой.

Перед последним броском к своим группа Фролова залегла на дневку. Выбрав в лесу место поукромнее, поглуше, они разожгли под лапами одной из елей костер, пообббив предварительно с этих лап снег, чтоб не угодил, когда подтает, в огонь. Дым от костра стлался по стволу ели и растворялся почти весь среди хвои, не обнаруживая затеявших привал красноармейцев.

Приготовленное на открытом огне горячее варево — по нему стосковались за эти несколько сухомятных суток рейда — ели молча. Лишь развеселый Жора Банщик балагурил, не забывая подносить ко рту ложку, которой ловко орудовал в котелке.

— Мы — ребята армавирские, дело знаем туго, — говорил он. — Где армавирец прошел, там одесситу делать нечего. Знаете блатную поговорку? Одесса — мама, Ростов — папа, а Армавир — маленький сыночек.

— Хорош сыночек, — насмешливо сказал Веселов. — Малыш из яселек.

Жора отмахнулся.

— Побьем этих паразитов — у них останусь, — сказал Георгий Клыков. — Все одно их присоединим, будет закон советский, а порядок, конечно, немецкий. При их порядке воровать сподручней. Говорят, будто у них и замков даже нету.

— Зато ворам руку отрубают, — сказал Авдей Сорокин. — Попался раз — левую, второй — правую...

— А третий? — спросил Степан Чекин.

— А в третий раз — язык, — вставил Фролов, — чтобы некоторые болтали меньше. А иногда и кое-что другое рубят.

Весьма не по душе был ему треп блатного парня, но пленного обер-лейтенанта, который, нахохлившись, сидел немного поодаль, взял именно Жора Клыков.

— Надо бы и его накормить, — напомнил Степан, кивнув в сторону обер-лейтенанта, — у нас и осталось... Вот.

— Иди и покорми с ложечки, — предложил Клыков. — И сосочку дай, пусть пососет. С молочком.

— Я ему руки развяжу и постерегу, пока ест, — сказал Чекин. Фролов молча кивнул.

— Послушай, Жора, — спросил Клыкова Вася Веселов, — а почему тебя Банщиком прозвали? Хорошо парить умеешь? Или в заключении спинки начальникам намывал?

— Ну ты, — рванулся было к Веселову Жора, — падла... Чего лапшу кидаешь?

— Не шебуршись, Клыков, — спокойно сказал Фролов, и Жора вдруг закатился смехом.

— Уморил ты меня, баклан, — сказал он, отсмеявшись. — Надо же... Учудил! Да при чем тут мыло и прочие веники?! Ты вот сколько иностранных языков знаешь?

— Нисколько, — смутившись, ответил Веселов. — "Гутен морген" по-немецки знаю. "Хальт" опять же, "хенде хох"...

— Вася ты, — презрительно сказал Клыков, — и к тому же полный хенде хох. А я так вот шесть языков знаю!

— Академик, — усмехнулся Фролов.

— А что. Три европейских и три наших — армянский, адыгейский и по-татарски мал-мал умею. Так вот по-немецки, баклан Вася, бан означает "вокзал". А вся шпана от Одессы до Ростова, и даже дальше, за Батайский семафор, знала про Жору, что он есть первейший вокзальный вор, а потому и Банщик. Не какой-нибудь клюквенник, который от бога из церкви тянет, или там краснушник — спец по товарным вагонам, или кукольник — мошенник, я не говорю уже закусошников, которым и шестерню перед вором в законе трудно доверить... У меня профессия — обеспечивать вокзалы. Но все это временно, былое. Вы ушли, как говорится, в мир иной... Когда обижают народ эти вот размудяи, у Жоры иная забота — побольше пустить их на шашлык. И сидеть мне до смерти в сучьем кутке, я хотел сказать, в камере-одиночке, если рука моя потянет к себе хоть один чемодан до дня полной победы. Даже если вокзал этот будет немецким...

Он перевел дыхание и хотел еще что-то сказать, но Фролов вдруг предостерегающе поднял руку. Все прислушались. В лесной тишине донеслась до них немецкая речь.

— Вяжи его! — шепотом приказал Чекину старший сержант. — Затаиться! Приготовиться к бою... Только пока не стрелять! Авось пройдут мимо... Немца спрятать под дерево!

...Первым заметил русских Вилли Земпер. Обер-лейтенант послал его вперед в паре с долговязым мекленбуржцем Густавом Круммахером подыскать место для привала, и понимавший лес баварец вышел к тому дереву, где расположилась группа Фролова. Оба немца были совсем близко, когда старший сержант понял, что враги их обнаружат, и срезал обоих прицельной очередью из автомата.

Густав Круммахер был убит наповал, а под судьбою Земпера черту подводить было еще рано. Две пули угодили в него. Одна разорвала шинель под мышкой, пронизала одежду и вышла вон за спиной, не оставив на теле Вилли и царапины, а другая ударила в рожок автомата, заклинив пружину подачи патронов. Оба сразу упали в снег. Густав Круммахер мертвым, а баварец поначалу ошеломленным от неожиданности, потом уже смекнул: раз в него стреляли в упор и попали, то ему вовсе ни к чему изображать себя живым. И Земпер лежал неподвижно в снегу, догадавшись, что встретила их, видимо, разведгруппа противника. Будучи обнаруженной, она примется уходить, ей не до того, чтобы уточнять — жив или мертв Вилли Земпер.

Когда обер-лейтенант Шютце услыхал треск автомата, он рассыпал взвод цепью, выставив с левого и правого флангов по два человека, приказал им

быстро разойтись в стороны, затем продвинуться вперед и разведать окружавшую местность. Шютце доподлинно знал, что русских подразделений здесь быть не должно, но в этой странной войне, завязавшейся на Волховщине, трудно предполагать что-либо уверенно. Фронт перевернулся... Сплошной его линии не существовало. Да тут еще непредсказуемые действия русских, которые атакуют и ночью, и в праздники, когда порядочные солдаты позволяют себе отдохнуть от трудной работы, именуемой войной.

С остальными ландзерами обер-лейтенант стал осторожно продвигаться вперед, к месту, откуда стреляли. Но кругом было тихо. Как и предполагал Вилли Земпер, русские даже не приблизились к ним, чтобы удостовериться в результатах огня. В одно мгновение они свернули стоянку, прихватили Цильберга и стали отходить в южном направлении. Пленный хотел было замедлить движение, чувствуя, как близится освобождение из плена, но Жора Клыков вытащил из чехла остро отточенный нож, выразительно поводил лезвием у горла Цильберга и спросил: "Пойдешь как следует, сучий потрох?" Обер-лейтенант согласно закивал. "Я, я!" — забормотал он и больше не рисковал, ухитрялся поспевать за быстро идущими разведчиками.

— Дорога, старшой, — доложил Авдей Сорокин, — а за ней поляна...

— Пошли! — приказал Фролов. — А этому черту дай, Клыков, в зубы, если будет валандаться.

Он хотел пересечь дорогу до того, как немцы отрежут группу, но, едва она попыталась выйти из леса, вдоль дороги, справа и слева, раздались автоматные очереди. Посланцы Шютце опередили Фролова.

— Хана, ребята, — сказал старший сержант. — Обошли нас, гады. Влипли мы... Как эти самые куры в лапшу угодили. Надо прорываться. Но куда? Позади и по сторонам немцы. Вот она, дорога, а за ней открытое место. Опять же с нами документы трофейные и этот вот гусь.

— Смотри, старшой, — сказал Веселов. — Вишь, вот там...

— Чего там? — отозвался Фролов.

— Кусок ельника выдвинул на поляну, а за ним виднеется домишко. А может, и сарайчик какой.

— Принимаю решение, — сказал Фролов. — Наше спасение в "дегтяре", к нему есть четыре запасных диска, и опять же автоматы. Только в чащобе от пулемета пользы хрен да маленько. Ему обзор нужен. А в лесу нас гранатами забросают. Будем пробиваться к сарайчику, в общем, к избушке этой. Черта берем с собой. А ты, Степан, как самый из нас мелкий и вроде бы шустрый,

уходи с документами. Всех немцы не выпустят, а ты мышкой, значит, проскользни. И веди к нам подмогу. Авось и выдюжим, отобьемся. Словом, как бой завяжем, давай, Степа, в сторону и, не открывая огня, смывайся.

— Лепи скачок, Степуха, — хлопнул Чекина по плечу Банщик, — и доложи начальству: мы торчим, как гвозди, и гансам не дадим себя подкрамзить, поймать то есть. Двигай до хаты, малый, за нас будь спок.

Обер-лейтенант Шютце не успел разгадать замысел разведчиков. Группа Фролова в броске достигла намеченной цели, отвлекла при этом внимание немцев от затаившегося до поры Чекина и без потерь разместилась в присмотренном Веселовым строении. Это была часовня Иоанна Богослова.

Упустив русских разведчиков, дав им возможность занять часовню, к которой нельзя было пробраться скрытно, обозлившийся Шютце сразу послал взвод в атаку. Но Авдей Сорокин успел изладить к бою "Дегтярев", и тот встретил их неприветливо.

Атаки с ходу у немцев не получилось. Двоих Авдей уложил наповал, троих ранил. Стеная и ругаясь, они отползли в укрытие, где их перевязали и оставили пока в ожидании отправки в тыл, хотя Вернер Шютце плохо представлял, что будет делать с ранеными. Теперь обер-лейтенант сожалел, что ввязался в драку с группой разведчиков, а это хорошие вояки, справиться с ними будет непросто. Он и отказался бы от этой затеи, но, наблюдая в бинокль за ходом перестрелки, явственно увидел, как русские гнали перед собой немецкого офицера. Честь его была задета, он лично должен освободить боевого соратника, кем бы он там ни был, а иванов уничтожить или взять в плен. Лучше второе, они могут многое рассказать. Это не случайные красноармейцы из обоза или хозяйственной команды.

А в это время иваны, судьбу которых раскладывал обер-лейтенант Шютце, думали-гадали, что им делать с пленным офицером.

— В расход его! — категоричным током заявил Клыков.

— Немец, он командованию, конечно, нужен, — размышлял вслух Алексей Фролов. — Да вот доставим ли живым?

— Самим бы выбраться, — вздохнул Веселов.

— Не каркай, Вася, — оборвал Авдей, он возился с диском, набивал тарелку винтовочными патронами, вынутыми из вещмешка. — Если выберемся, то и его с собою потянем.

— Успел ли уйти Степан? — проговорил Фролов.

— Смылся Степуха, это точно, — уверенно сказал Жора.

— Почему так считаешь? — спросил Веселов.

— А немцы б его нам уже показали, — объяснил Георгий. — Живого или б мертвого. Любят они таким макаром на психику давить. А раз не кажут — оторвался Чекин.

— Дай бог, — промолвил Фролов и огляделся по сторонам.

Ему показалось, будто кто еще присутствует в часовне. Только нет, никого здесь не было, кроме трех его товарищей да пленного офицера.

— Дай-то бог, да и сам не будь плох, — чинно начал Клыков, а затем выдал такой складный мат, сюжетно основанный на священном писании, что остальные чуточку озадаченно закрутили головами, заулыбались.

— Ты вот что, Георгий, — сказал, пряча улыбку и стараясь нахмуриться, Фролов. — Мы все тут, конечно, неверующие, только находимся вроде как в храме. Крест видел на крыше? Опять же надо уважение к другим, которые верят, иметь. У нас, это самое, свобода совести. Поэтому уважай... Шапки тут ломать не надо, околеем от мороза, а языки попридержите, с матом поменьше, Бога и Христа не трожьте.

Немцы открыли стрельбу, все попадали на деревянный пол, прижимаясь к нему, расползлись по углам, изготовились встречать незваных гостей, если они снова пойдут в атаку. Но те постреляли и смолкли. Обер-лейтенант Шютце не хотел больше терять солдат.

В его взводе был фельдфебель Эрих Толлер, выходец из Силезии, знал русский язык.

— Покричите им, Толлер, — предложил Шютце. — У них ведь ни одного шанса остаться в живых. Пусть выпустят немецкого офицера, потом выходят без оружия сами. Я сохраню им жизнь.

Эрих Толлер покричал. Вначале Банщик выдал на голос очередь из автомата, но Фролов выругал его, велел беречь патроны. Пусть себе треплются в удовольствие.

— А ежели я их отсюда покрою? — предложил Георгий.

— Остынь, — сказал Алексей. — Береги силы и злость копи, не пыли ею попусту, пригодится еще. Главное ведь впереди.

Несколько раз принимался кричать Эрих Толлер. Старая часовня молчала. Обер-лейтенант посмотрел на циферблат. Если через полтора-два часа не успеет расправиться с русскими, начнет темнеть, а ночью всякое может случиться. Нет, ждать он больше не будет.

— Готовьте огнемет. Мы изжарим этих упрямцев живьем.

-44-

...Часовня горела. Она сразу занялась веселым огнем, когда подкравшийся поближе Ганс Дреббер, он первым вызвался идти к часовне, чтоб поджарить русских, выпустил из огнемета свистящую оранжевую струю.

Одновременно обер-лейтенант приказал начать атаку с противоположной стороны, а Вилли Земперу выпустить из карабина обойму-другую патронов с зажигательными пулями под стрехи часовни, пусть горит сразу со всех сторон. И часовня горела... Гансу Дребберу отползти с огнеметом не удалось. Его заметил Вася Веселов, показал Фролову.

— Вон тот гад, что огнем плевался! Вишь ты, замер, будто я его не вижу... Может, выскочить, старшой, да захомутать его сюда, совсем ведь близко?!

— На кой хрен он сдался, — угрюмо проговорил Алексей, — тут вот с этим надо что-то думать...

— Погодь, Вася, — сказал Георгий, шаря по карманам, — счас мы ему устроим Варфоломееву игрушку. Ага, нашел!

Он взял карабин Авдея Сорокина и вложил в патронник один-единственный патрон, у которого кончик пули был окрашен в черный цвет, — зажигательный...

Ганс Дреббер, решив, что его не обнаружили, стал потихоньку отползать назад, прикидывая, заслуживает ли костер, устроенный им, отпуска в Гамбург. Ему вдруг явственно привиделись веселые мордашки сестренок, озабоченное и такое доброе лицо мамы, и Ганс улыбнулся. Ну, немного, еще немного...

Георгий Клыков уже выделил Ганса. Сильнее начинали трещать от огня крыша и стены часовни, и выстрел из карабина был лишь немногим громче усиливающегося треска. Зажигательная пуля угодила в баллон огнемета, закрепленный на спине Дреббера, — у Клыкова была точная рука, стрелял он хорошо. Горючая жидкость в баллоне взорвалась и разом окутала тело солдата. Ганс Дреббер с пронзительной ясностью понял, что произошло, и от страшной, ударившей по сознанию мысли у Ганса разорвалось сердце, он избежал мучительного конца. Огонь принялся пожирать уже мертвое тело.

— Сволочи! — закричал в исступлении Руди Пикерт, когда увидел, как там, где находился Ганс, взметнулось рыжее пламя.

Он вскочил на ноги и метнул в сторону часовни гранату, но граната разорвалась в снегу, не осилив и трети расстояния. Руди бросился вперед, стреляя из автомата.

— Назад! — закричал ему Шютце.

Сорокин видел солдата, он повел очередью из "Дегтярева", но вдруг его пулемет замолчал. Пуля, выпущенная Пикертом, ударилась о чугунный светильник, прикрепленный к стене, и на излете угодила Авдею в висок. Сорокин медленно, будто нехотя, завалился на бок.

— Хаймат! — крикнул Пикерт. — Родина! Вперед, солдаты!

Воспользовавшись заминкой, которая возникла у русских, немцы бросились в атаку, но не успели одолеть и полсотни шагов, как Фролов, заменивший Авдея у пулемета, встретил их длинной очередью. Шютце отвел солдат, на чем свет стоит ругая, Пикерта, увлекшего порывом даже его, опытного и осторожного офицера.

— Пусть сгорят дотла, — сказал он. — А чтоб не было вам скучно — стреляйте по всему, что начнет вдруг двигаться.

Часовня горела, а немцы стреляли. Одной такой неприцельной пулей убили Веселова.

— Двое нас осталось, Георгий, — грустно улыбнулся Алексей. — Да еще этот... Кончать его надо. Пули вот жалко. На исходе наши припасы. Что скажешь?

— А если его так, — почему-то вдруг став заикаться, сказал Клыков. — По кумполу трахнуть или пером...

— Давай так, — согласился Фролов. — А я у пулемета подежурю. Жарко становится. Сгорим мы скоро, Георгий. А могут и убить до того. Тогда этот ганс живым останется, одним врагом будет больше. Действуй!

Фролов отвернулся и стал осматриваться. Дым лез в глаза, дышать становилось все труднее.

— Найн! — раздался истошный крик. — Найн!

Старший сержант повернулся.

Связанный Цильберг катался по полу, пытаясь уклониться от удара ножом, а растерянный Клыков стоял полу согнувшись и смотрел то на Цильберга, то на зажатый в руке нож.

— Эх ты, — сказал Алексей. — А еще жиган!

— Не могу я, старшой, — забормотал Георгий, — не могу так... Связанный ведь он и безоружный. Прости меня, брат, рука дрожит.

— А ты забудь, что он человек, — сказал старший сержант. — Нелюдь это, оборотень... Негоже, правда, в храме такое свершать, только Бог нас не осудит, мы ведь Сатану сничтожаем. Возьми его за воротник! И дай-ка мне нож...

Георгий подхватил Цильберга и прислонил спиною к стене.

— Найн! — прошептал обер-лейтенант. — Не хочу умирать...

Фролов не знал немецкого языка и не понял этих слов. Он решил, как поступить, и, успокоительно махнув Цильбергу, спрятал за пазухой нож.

Цильберг жалко и вымученно улыбнулся.

— Смотри! — вдруг крикнул старший сержант и протянул руку перед лицом обер-лейтенанта. — Смотри!

На лице его возникло неподдельное изумление. Цильберг повернул голову, подставив Фролову незащищенную шею. Неуловимо быстрым движением Алексей выхватил нож и точным ударом вонзил в сонную артерию немца.

— Вот так, — сказал Фролов оцепеневшему Георгию и вытер лезвие ножа о серо-зеленую полу Цильберговой шинели. — Смерти своей так и не увидел. И это хорошо. А ты пугал его, трясся над душою с ножом в руке.

Он шагнул к пулемету, закашлялся и разом, обеими руками, схватился за грудь.

— Старшой! — закричал Георгий.

Фролов медленно поворачивался к нему, оседая на пол.

— И меня убили, Георгий, — прошептал он сухими, потрескавшимися от жара губами. — Один ты воевать остался...

...В мерцающем, с проблесками света и провалами во тьму, сознании Клыков увидел ярко залитый солнцем вокзал в Херсоне. На садовой скамейке сиротливо высился чемодан из желтой кожи, перетянутый ремнями, три блестящих замка украшали чемодан, а вокруг не было ни души. "Уж больно нахрапом в руки идет, — пробилась мысль. — Отвертеть такой угол!.. Может, на крючок меня лепят? Не лучше ли отвалить?" Банщик оглянулся по сторонам. Желтый угол манил его к себе, и Жора осторожно двинулся к чемодану...

Горящее бревно упало ему на ноги, искалечив ступни, и Клыков вернулся в страшный мир.

— В Бога, в Христа, в преисподнюю! — выругался он. — И умереть не могу по-человечески... Другим, небось, любимые да дети видятся напоследок, а я перед смертью углы на бану верчу... В душу и мать!

До слуха Георгия донеслись голоса немцев. Не слыша выстрелов, они осмелели и осторожно приближались к горящей часовне. Клыков видел их сквозь дымную пелену и мелькавшее перед глазами пламя, видел неясные расплывающиеся тени, лопочущие на чужом языке. Он подумал о пустых автоматных дисках и вдруг вспомнил о ноже. Собрав последние силы, Клыков встал на колени. С усилием вытянул из чехла нож, зажал в руке и, не обращая

внимания на огненные языки, они лизали его со всех сторон, двинулся на коленях, волоча бездействующие ступни.

...Пришельцы отпрянули и схватились за оружие, когда из затянутого огнем и дымом пролома в стене часовни тлеющим комом вывалился русский солдат. Он упал навзничь и пытался перевернуться на спину, в правой руке его был нож.

Обер-лейтенант Шютце подошел к ивану, зачерпнул ладонью горсть снега и бросил на обожженное лицо.

— Кто ты есть? — спросил Шютце.

Русский солдат застонал. Расплавившийся снег растекался по лицу.

— Подымите его! — приказал командир роты. — Если не слишком поджарился, возьмем с собою.

Услыхав голос немца, Клыков собрался с силами, перевернулся на спину, так и не выпустив ножа из руки. Затем он встал на колени. С перебитыми ногами... Большего Георгий сделать был не в состоянии. И вот так, на коленях, отведя руку с ножом в сторону, бывший вор по кличке Банщик, а ныне достойный сын оскорбленной России, медленно двинулся к обер-лейтенанту Шютце, потрясенному увиденным, и офицер попятился от дикого виденья.

Затем командир роты очнулся от наваждения и поднял парабеллум. Он хотел стрелять в лицо, но в такое лицо стрелять Вернер Шютце не посмел. Рука его дрогнула, немного опустилась, и пули, ударившие Георгия в грудь, трижды оттолкнули от обер-лейтенанта ползущую к нему на перебитых ногах смерть.

— Бросьте его в огонь! — приказал Вернер Шютце.

"Какие фанатики! — подумал он, внутренне содрогаясь от тоскливого предчувствия. — С ними нельзя воевать по правилам... Уничтожить, всех уничтожить! Но как сделать это и сохранить для Германии ее солдат?"

...Огонь тем временем охватил уже повсюду тяжелый, громоздкий оклад иконы Иоанна. Он быстро оглодал деревянный ящик, что скрывал доску с ликом святого, и стал подбираться к золоченому нимбу, проглотил плечи и жарко задышал Богослову в лицо. А Иоанн говорил. Он устал проклинать посланцев нового Сатаны и понял, что ничем не поможет тем, они остались бездыханными внизу. Этим людям не помогут его Откровения, им бы гранат и патронов побольше да от огня б защитить. Но патронов не делали в первом веке нашей эры, а от огня спасти не мог Богослов и себя самого.

Чувствуя теперь, что скоро исчезнет в дымной пасти свирепого Дракона, Иоанн Богослов вспомнил вдруг древнее пророчество, им он заключил во время оно Апокалипсис.

— И увидел я, — прошептали губы Иоанна Богослова, кривясь от близкого огня, готового уже пожрать их, заставить умолкнуть навеки, — увидел... сходящего с неба, который имел ключ от бездны...

Огонь внизу уже расправился с четырьмя красноармейцами и теперь сладострастно пожирал старую, высохшую доску с ликом творца Откровений.

— ...Взял дракона, змия древнего, который есть Дьявол и Сатана, — изо всех сил противился огню Иоанн, стараясь договорить последнее, — и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет!

"...Обязательно случится. Верю, верю в это! Только тысячи лет мало... Да будет так вечно!" — успел подумать Иоанн и умер.

День был безветренным и морозным. Столб белого-белого дыма долго тянулся к небу от того места, где стояла на волховской земле часовня. Этот дым далеко был виден окрест. За ним следили солдаты из тех и других окопов, а столб поднимался к небу, и никто никогда не узнал, что по этой белой дороге уходили в бессмертие вместе давно забытый людьми пророк и четыре русских красноармейца.

Книга вторая. Болотные солдаты

-1-

Противно пахло горелым мясом. Руди Пикерт молча стоял над почерневшей кочерыжкой. Она убого и, жалко скорчилась в небольшой яме — ее образовал растаявший от сильного жара снег. Это было все, что осталось от Ганса Дреббера, рабочего парня из вольного города Гамбурга, а потом солдата вермахта, любившего на досуге мастерить рамки к портретам фюрера. Об этом думал сейчас Пикерт. В какую рамку поместит он фотографию Ганса, чтобы верный товарищ остался с ними до конца проклятой войны...

— Возьмите у него жетон, Пикерт, — услыхал Руди голос обер-лейтенанта Шютце. — И будем уходить... Мы слишком наследили.

Руди Пикерт застыл перед останками товарища. Фельдфебель Толлер потянул его за рукав, но саксонец отмахнулся.

— Свинство! Свинство! Свинство! — истерически закричал он. — Будь прокляты эти русские!.. Будь проклята эта свинская война!

— Успокойте товарища, Земпер, — приказал командир роты. — Его крик привлечет сюда иванов. Мы и так всполошили их стрельбой и пожаром. Надо уходить! Эй вы, Пикерт, я приказываю вам взять себя в руки, баба вы эдакая! Слюнтяй!

— Ганс был его другом, господин обер-лейтенант, — проговорил Толлер.

Вилли Земпер подошел тем временем к Руди, обнял за плечи и отвел от того, что было прежде Гансом Дреббером.

— Все мы кому-нибудь друзья, — пробормотал Вернер Шютце, приближаясь к солдатам, готовящимся к отходу.

Он видел, что ни Пикерт, ни Земпер даже не попытались достать из обгоревших останков алюминиевый смертный жетон с номером погибшего солдата. Обычно жетон переламывался пополам, одна часть оставалась в трупе и хоронилась с ним, а другая пересылалась в рейх в качестве свидетельства о том, что славный воитель тысячелетней империи отправился в Валгаллу.

"Ладно, — подумал обер-лейтенант, — Дребберу все равно, похоронить его мы тоже не успеем. И я не могу заставить ландзеров разыскивать жетон в этом пережаренном бифштексе".

Шютце прикинул направление по компасу и приказал быстро уходить в лес. Он полагал: если русские начнут преследовать отряд, то попытаются перехватить либо на участке железной дороги от Еглино до Лисино-Корпус, либо к востоку, где его соотечественники цепко держались за Октябрьскую магистраль. Поэтому Вернер Шютце двинулся от догоревшей часовни на север. Обер-лейтенант оказался прав. Там его никто не преследовал.

"Во имя чего погиб сегодня Ганс? — размышлял, уходя от возможной погони, недоучившийся теолог из Йенского университета, — И в чем тогда смысл его появления на свет? Зачем он родился в далеком отсюда Гамбурге, страдал в детстве от голода, выжил в африканской пустыне, не подохнув от жажды и пыльного смерча? Чтобы закончить жизненный путь так ужасно? Кому угодна смерть Ганса? Богу или фюреру, которого Ганс поистине обожествлял? То, что однажды создано, должно быть в свое время разрушено. На этом утверждении построил Гегель закон отрицания. Значит, все случившееся — законно? Бред свинячий! Извращение. Издевательство над здравым смыслом. А есть ли смысл в том, чем занимаемся мы в этих забытых богом местах, которые фюрер так громко назвал Ингерманландией?!"

Руди Пикерт, шагая через лес, вспомнил, как Гитлер сказал однажды в рейхстаге: "Я буду там, где мои солдаты носят походную форму..."

— Не видно его что-то в нашем строю, — пробормотал саксонец.
— Ты молишься, Руди? — негромко спросил его, обернувшись, он шел впереди, Вилли Земпер. — За нашего Ганса?
— За здоровье фюрера, — буркнул Руди.

-2-

Начало марта на Волховщине ничем не предвещало будущей весны. Стояли крепкие, особенно по ночам, морозы, держались зимники, по ним снабжалась 2-я ударная, ее коммуникации растянулись уже до двух сотен километров. Снег на проложенных в лесу и среди замерзших болот путях утаптывался с января. Только прикатать его из-за сильных холодов было трудно. Он стал подобен песку, забивал дорожные колеи, в нем буксовали армейские ЗИСы и полуторки, увязали санитарные повозки и собачьи упряжки.
Очистив от захватчиков огромную территорию, армия так растянула боевые порядки, что наступать сплошным фронтом было невозможно. Правда, с момента прорыва армия постоянно пополнялась боевыми подразделениями, их командующий фронтом снимал с позиций других армий, где наступление застопорилось, но и у этих дивизий таяли силы. К началу марта клыковцы только продавливали немецкую оборону по нескольким направлениям.
Попытки 52-й и 59-й армий расширить горловину к югу и северу от Мясного Бора яростно отбивались гитлеровцами. Железнодорожные станции Спасская Полисть и Подберезье на участке Чудово — Новгород все еще были в руках врага.
Большие надежды вселил в командование 2-й ударной армии и Волховского фронта прорыв вражеской обороны у Красной Горки, в результате которого 80-я кавалерийская дивизия и 1110-й стрелковый полк вышли на ближние подступы к Любани. И Мерецков, и Клыков расценили этот прорыв как серьезный шаг к окружению и уничтожению чудовской группировки фашистов. До Любани оставалось всего пять километров. Но противник незамедлительно выдвинул мощные заслоны автоматчиков, перебросил артиллерию на опасные участки, применил авиацию. Гитлеровцы собрались с силами и отбросили наши подразделения от Красной Горки.
Первого марта Гальдер записал в дневнике: "Группа армий "Север": ...части противника, вырвавшиеся вперед в направлении Любани, отрезаны нашими войсками".

Но 80-я кавдивизия и антюфеевский полк оказались не только отрезанными от основных сил армии, они остались без боеприпасов, продовольствия и фуража, их тылы не успели войти в прорыв. Не было и связи: маломощные радиостанции не дотягивались до штаба армии.

По приказу генерал-лейтенанта Клыкова были предприняты попытки прорвать гитлеровскую оборону в районе Красной Горки и восстановить связь с теми, кто оказался в окружении. Подошли остальные полки 327-й дивизии, 22-я стрелковая бригада и отдельный танковый батальон. Красноармейцы вновь и вновь бросались на позиции немцев, однако прорвать их было невозможно.

Гитлеровцы, перебросив из-под Ленинграда части 212-й пехотной дивизии, ряд отдельных артиллерийских, минометных и саперных частей и подразделений, оказывали упорное сопротивление. Между тем положение 80-й кавдивизии и 1110-го стрелкового полка продолжало ухудшаться. Небольшие запасы питания, которые имелись при кухнях, а также НЗ у бойцов и командиров кончились. Не было и фуража. Люди и лошади голодали.

Напрашивалось единственно возможное решение: ударом с тыла прорвать оборону противника и выйти на соединение с основными силами армии. Командир кавдивизии полковник Поляков так и поступил. В ночь на 8 марта войска начали выход. В голове главных сил двигались параллельно друг другу два передовых отряда: кавполк и усиленный стрелковый батальон. Они, подойдя с тыла к обороне противника в трех-четырех километрах к западу от Красной Горки, внезапной атакой прорвали ее и соединились с войсками армии.

...Активные боевые действия в районе Красной Горки, то затухая, то разгораясь с новой силой, продолжались до половины марта. Сюда были брошены значительные силы 2-й ударной армии. Еще 26 февраля Ставка в категорической форме потребовала от командования Волховского фронта выйти на Октябрьскую железную дорогу и не позднее 5 марта ликвидировать чудовскую группировку противника. Для решения этой задачи создавалась ударная группа, в которую включались войска, действующие в месте прорыва, а также подтянутые из глубины. Группа усиливалась танками и артиллерией. Одновременно подобные группы создавались в других армиях. Ударная группа 59-й армии нацеливалась на перехват Ленинградского шоссе и железной дороги севернее Спасской Полисти. В 4-й армии создавалась группа для действий навстречу 2-й ударной армии.

Для оказания помощи Волховскому фронту в предстоящем наступлении Ставка дала указание Ленинградскому фронту нанести удар не позднее 1 марта силами 54-й армии навстречу 2-й ударной армии. Намечалось усилиями двух фронтов ликвидировать любанско-чудовскую группировку противника.

Генерал армии Мерецков выдвинул перед Ставкой ВГК два варианта решения судьбы 2-й ударной армии. Он просил Верховного Главнокомандующего усилить фронт хотя бы еще одной армией, обещанной ему, кстати, еще в декабре прошлого года при создании Волховского фронта. Этот вариант давал возможность использовать уже достигнутые результаты и закончить операцию до конца зимней кампании, пока не началась распутица. Ставка не возражала против этого, но и резервов Мерецкову не выделяла.

Предусматривалось также отвести 2-ю ударную из занятого ею района и при благоприятной обстановке искать решение оперативной задачи на другом направлении. И Клыков, и Мерецков склонялись к этому решению, если не получат подкреплений. Они считали его единственно верным, оно гарантировало сохранение сил армии и удержание плацдарма на западном берегу Волхова.

Как нежелательная альтернатива существовал — увы! — и третий вариант: перейти к обороне на достигнутых рубежах, переждать распутицу и, накопив силы, начать наступление. Но этот план таил в себе большую опасность. Было совершенно ясно: оставление армии в лесисто-болотистой местности при легкоуязвимых коммуникациях может привести к срыву снабжения ее необходимым и даже к окружению. Так что полагаться следовало только на два варианта: новые резервы или отход к Волхову. Резервов у Ставки ВГК не было, но сталинский приказ "единым и мощным ударом..." оставался в силе. И 2-я ударная армия, находившаяся в постоянном наступлении уже около двух месяцев, истекая кровью, продолжала драться с гитлеровцами, оттягивая от Ленинграда все новые и новые силы противника.

Ни Клыков, ни Мерецков, ни сам Верховный Главнокомандующий не знали, что в эти дни в ставке Гитлера происходило совещание в присутствии командующего группой армий "Север" фон Кюхлера. И педантичный Гальдер вечером 2 марта записал в дневнике: "...принято решение перейти в наступление на Волхове 7 марта — до 12.3. Авиацию сосредоточить в период 7 — 14.3.

Фюрер требует за несколько дней до начала наступления провести авиационную подготовку — бомбардировка складов и войск в лесах бомбами

сверхтяжелого калибра. Завершив прорыв на Волхове, не следует тратить силы на то, чтобы уничтожить противника. Если мы сбросим его в болота, это обречет его на голодную смерть".

Красноармейцы и командиры, политруки и комиссары, пехотинцы, лыжники, танкисты, саперы и артиллеристы, военные врачи и санитары и подавно не знали, что в эти мартовские дни судьба решается в двух ставках. Они знали одно: впереди — Ленинград. Они знали, что там ежедневно умирают от голода тысячи мирных жителей. Бойцы понимали: да, им, солдатам, сейчас тяжело, но многократно тяжелее женщинам, детям и старикам осажденного города. И надо совершить невозможное, чтобы облегчить их участь. И бойцы жертвовали собой у Дубовика и Новой Керести, у Червинской Луги и Вдицко, умирали в глубоких снегах, завалivших неизвестные для них прежде деревни Финев Луг и Русское Веретье. Клыковцы мужественно исполняли солдатский долг и делали это без громких слов, с полным осознанием необходимости их сверхчеловеческих усилий.

Надвигалась первая военная весна. Еще сердились по ночам морозы, но в полдень все сильнее пригревало солнце.

-3-

Антюфеев удивлялся тому, что немцы вроде бы не боятся окружений. Полки его дивизии обходили, маясь в глубоких снегах, деревни, а противник не двигался с места, сидел, окопавшись, в дотах и дзотах, в подпольях домов, превращенных в надежные убежища. И выкурить оттуда его было, увы, нечем... Вопреки уставам и наставлениям 327-я стрелковая дивизия, которую Иван Михайлович сформировал в Воронеже в октябре сорок первого года, не имела артиллерии, если не считать одного гаубичного дивизиона. Да и тот не имел снарядов. Полагались в основном на штык и гранату. Гранат, правда, тоже не хватало. И еще, погромче "ура!" кричали. К такому Антюфеев был приучен еще в первую мировую войну, которую начал на Юго-Западном фронте в 1916 году. Дрался Антюфеев и с Врангелем, и с махновцами, с июня по август 1939 года воевал с японцами на Халхин-Голе. А в первые недели Великой Отечественной отбивался от румын и венгров на реке Прут, с боями отдавал гитлеровцам Кишинев, Николаев, Херсон...

Этот небольшого росточка, решительный и смелый полковник был любимцем красноармейцев и подчиненных ему командиров. Уже с первых дней наступления 2-й ударной армии и командарм, и Мерецков высоко оценили

военные качества Антюфеева, бывшего пастуха и батрака у богатых хозяев Оренбуржья. Его дивизия всегда была на острие прорыва, еще с тех январских дней, когда пересекла волховский лед и вышибла противника из укреплений, построенных вдоль дороги Новгород — Ленинград.

Теперь, в начале марта, полковник Антюфеев сосредоточил боевые порядки дивизии на подступах к Любани, имея соседями слева кавалеристов из дивизии Полякова, а справа обстрелянную еще в осенних боях прошлого года 46-ю стрелковую дивизию.

Красную Горку, захваченную недавно, пришлось немцам отдать... Полковник Антюфеев порою задумывался о ходе общего наступления армии. Правда, он располагал довольно скудной информацией о масштабах операции, проводимой 2-й ударной, не говоря уже об оперативном положении всего Волховского фронта. Командир дивизии, он знал лишь соседей, знал командиров по именам, не подозревая порой о том, какие получены ими директивы из штарма. Подобная практика — держать в неведении командиров по поводу происходящего в масштабах уже на порядок выше того "шестка", который им определен, — складывалась из соображений бдительности, желания скрыть намечаемые планы. Но секреты будущих операций довольно легко раскрывались четко налаженной разведкой гитлеровцев, хорошо поставленной службой радиоперехвата, аэрофотосъемкой, умением проигрывать ситуации противника. В то же время наши командиры, довольно часто воевавшие в неведении того, что происходит за пределами их боевых частей, лишались возможности творчески предвидеть ход событий, быть готовыми к возникновению непредвиденной обстановки.

И все-таки Иван Михайлович, человек незаурядный и в военных делах основательный, знаком был, в общих чертах конечно, с тем, что происходит в гигантском мешке, в который вползла армия, огрызая его края в постоянных боях и расширяя освобожденное от супостата пространство. Ощущая на собственной дивизии перебои со снабжением, он с тревогой думал о том, что руководство армии и фронта недостаточно заботится об обороне горловины прорыва; подгоняемое Ставкой, отдает войскам директивы, направленные исключительно на развитие дальнейшего наступления. Антюфеев, да и его соседи также, ежедневно получают категорические приказы о наступлении. Позиции, которые захватывают красноармейцы, к обороне не подготавливаются, инженерные сооружения возводятся на скорую руку, ибо все знают: завтра, если уже не сегодня вечером, последует приказ "Вперед!".

Конечно, Иван Михайлович понимал, что такие приказы мобилизуют бойцов, повышают их моральный дух, внушают уверенность в победе. Но у них притупляется чувство осторожности, командиры перестают думать о возможной обороне, забывают, что враг может нанести контрудар. Вот и Красную Горку потеряли в конечном итоге потому, что, захватив ее, не закрепились должным образом в ожидании подхода основных сил.

Второго марта Антюфеев узнал, что генерал армии Мерецков прибыл вчера в штаб Клыкова и сегодня будет у кавалеристов. Не исключено, что побывает и в штабе его дивизии, ведь она входит в оперативную группу генерала Гусева.

Иван Михайлович сказал начальнику штаба:

— Надо бы угостить чем-нито высоких гостей... Как считаешь?

— Имеется трофейный коньячок, — с готовностью ответил тот, — опять же шпроты.

— Не годится, — поморщился Антюфеев: комдив не одобрял выпивки на переднем крае, хотя они и были разрешены самим. — Надо о "языке" подумать. С разведкой у нас дело швах. Ясности по немцам не имеем. Что там, за передним краем, представляем с трудом. Тут бы "язычок" и был к месту. Им бы и порадовать гостей.

— Уже намечено, товарищ полковник, — сообщил начштаба. — Из полков направлены разведгруппы, да и дивизионные разведчики обещались не подкачать.

— Тогда вроде бы все вытанцовывается. Будем ждать гостей.

...Ничего, признаться, хорошего Антюфеев от высоких визитеров не ждал. Добрую славу завоевала его дивизия, газета "Отвага" сравнивала его бойцов с чапаевцами, но сверху управляли ею как-то нервно, дерганно. После боев в горловине прорыва дивизия наступала на Спасскую Полисть и едва не взяла этот сильно укрепленный узел немецкой обороны, Антюфеевцы атаковали поселок с ходу — времени на разведку командование армии и фронта им не отпустило. Прорыв, он, конечно, и есть прорыв... Полки развернулись, ахнули "Ура!", тут-то противник и открыл сильный артиллерийский и минометный огонь. Приданные дивизии танки застряли в глубоком снегу, скопившемся по берегам реки Полнеть. Да и пехота тонула в сугробе по пояс. И все же к концу короткого зимнего дня 1102-й полк ворвался с боем на северную окраину Спасской Полисти. Немцы двинули танки — пришлось отойти. А 1098-й полк сумел окружным путем достичь домов на южной окраине, завязалась ожесточенная схватка на улицах поселка. Тогда-то и узнал комдив, что на всех

вероятных направлениях его движения противник закопал танки, они били и били осколочными прямой наводкой. Тут бы бога войны на помощь призвать, так он без снарядов вовсе не бог, а только недоразумение одно.

Дивизию сменили, и направилась она в конце февраля к деревне Огорели, что на северо-запад от Мясного Бора, километрах в пятидесяти. Сосредоточилась в лесу, неподалеку от вспомогательного пункта управления 2-й ударной. Антюфеев сразу к Клыкову прибыл доложиться. Там находился и Мерецков. Объяснил Иван Михайлович обстановку, и командарм с комфронта согласились. Да, дивизии надо дать дня три на отдых, подтянуть тылы, распределить по ротам пополнение. На ходу получили семьсот человек необстрелянных еще новобранцев.

Сел комдив на коня и поехал к себе. Но до штаба доехать ему не дали. Догнал на автомобиле адъютант Мерецкова: вернись, говорит, хозяин требует. "Плохо дело", — подумал Антюфеев. Оно так и было... Комфронта сказал, виновато улыбаясь:

— Прости, полковник, но обстоятельства изменились. Принятое решение отменяю. Поднимай дивизию и сегодня же в ночь выступай в сторону Красной Горки, переходишь в распоряжение генерала Гусева, командира Тринадцатого кавкорпуса. Знаешь такого?

— Слыхал, — упавшим голосом произнес Антюфеев.

— Овладеете с ходу Красной Горкой и будете в дальнейшем вместе с генералом Гусевым наступать на Любань...

И снова двадцать пять километров пешком, по лесу, по снежной, целине... К проклятой Красной Горке, где его 1110-й полк вместе с 80-й кавдивизией взломали-таки оборону немцев и устремились на Любань. Опять эта непонятная спешка... В результате главные силы задержались на несколько часов, не поддержали наступления, противник контратаковал и закрыл прорыв. Потом Антюфеев видел, какие у немцев были в том районе отличные рокадные дороги. По ним гитлеровцы и перебрасывали резервы туда, где создавалось угрожающее положение...

...Приехавшие Клыков и Мерецков от обеда отказались, сытно, видать, накормили их кавалеристы, а чаю выпить Кирилл Афанасьевич не отказался. Едва принялись чаевничать, появился начальник штаба и стал подавать комдиву таинственные знаки.

— Ты чего там кривляешься, будто клоун какой? — спросил вдруг Клыков, который будто бы и не смотрел в сторону начштаба.

— Товарищ генерал армии, разрешите обратиться к командиру дивизии? — подал тот голос, и Мерецков кивнул.

— Доставлен "язык", товарищ полковник! Даже два...

— Ого! — оживился выглядевший уставшим и подавленным Мерецков. — Вот хорошо, удружили антюфеевцы.

— Веди! — распорядился командарм.

"Языки" были громадного роста, в землянке стояли согнувшись. Привели же их двое красноармейцев, маленьких, не достававших головами до плеч захваченных ими в плен немцев.

Один из гитлеровцев держал в руках пулемет, у другого были две коробки с лентами, снаряженными патронами.

— Откуда они? — спросил Мерецков.

Помощник начштаба сообщил: ефрейтор Ганс Шмундт и рядовой Рудольф Кашке, пулеметный расчет из Баварского стрелкового корпуса, прибыли из рейха неделю назад.

— Что же это они у вас с оружием в руках? — спросил Клыков, обращаясь к героям дня.

Один из них был человеком уже пожилым, лет под пятьдесят, вислые усы, глаза зеленые, с хитринкой.

— А мы, стало быть, затворчик-то того, — заговорил боец. — У Ванятки он в кармане...

— У какого Ванятки? — вмешался Антюфеев.

Не помнил он этого красноармейца, видно, прибыл недавно.

— У сынка моего, — кивнул на стоявшего рядом парня. — Семейно мы, товарищи командиры, воюем...

— По моему, значит, примеру, — заметил Мерецков. — Вот у меня и жена, и сын на фронте.

— С женами по простому нашему званию не полагается, — вздохнул боец. — Да и то сказать: кто в колхозе хлеб ростить будет? А с Ванькой я сам напросился. Меня было в обоз... Нет, говорю, несогласный... Уважили.

— Да как же вы с такими бугаями справились? — не переставал восхищенно дивиться Клыков.

— Оченно просто, товарищ командир, не вижу, прошу извинить, вашего звания из-за тужурки. Ползем мы, значит, с Иваном к ихним порядкам, в разведку уговорились. Глядим сквозь кусты: эти двое по тропинке шасть и шасть. Один, вот этот, машинку несет, а второй — два чемодана. — Он дотронулся до

коробок с патронами. — Подошли они к нашему кусту, тут я и выскочил. Штыком на них, а сам кричу по-немецкому...

Тут он втянул в себя воздух, выгнул грудь колесом, выкатил глаза и заорал что есть силы:

— Хинда хох!

Баварцы вздрогнули и вытянулись, стукнув головами о накат землянки.

Все так и покатились от хохота. Вытирая слезы, комфронта спросил:

— Ну и что они?

— А ничего... Вот этот машинку на снег опустил и руки до верху. А второй чемоданы побросал и тоже команду мою сполнил. Тогда говорю: забирайте железки и шагом марш до штаба. Так и привел.

Клыков не выдержал, бросился к бойцу, обнял его крепко, от пола оторвал.

— Какой же ты молодец! — сказал командарм. — Возьми вот часы на память... К награде тебя и сына комдив представит. А я... Бабу твою сюда доставить не могу, а отпуск дать право имею. Съезди домой на побывку, солдат. Спасибо тебе!

...Рядовой Семен Ячменев, а это был он, в отпуск отбыть не успел. Его убили 19 марта 1942 года, в тот день, когда немцы первый раз закрыли коридор у Мясного Бора. Иван пережил отца на три месяца и сложил голову у деревни Теремец Курляндский. На отца мать получила похоронку, а сын ее до сих пор считается без вести пропавшим...

-4-

Генерал-лейтенант Андрей Андреевич Власов направлялся к новому месту службы. Еще вчера он командовал 20-й армией, которая в декабре 1941 года вела наступление на правом фланге Западного фронта, освободила Волоколамск, Шаховскую, Солнечногорск и отбросила врага от Москвы на двести верст.

После окончания операции командарм Власов получил очередное генеральское звание, был награжден орденом Ленина, его портрет вместе с фотографиями комфронта Жукова и других командармов был опубликован в газете "Правда". Теперь он, удостоившийся хвалебного очерка в центральной печати — его написал сам Илья Эренбург, — получил более высокое назначение и летел на штабном "дугласе" в Малую Вишеру, где по личному указанию Сталина должен был стать правой рукою Мерецкова, его заместителем.

Вместе с Власовым спешили на Волховский фронт член Государственного Комитета Обороны и секретарь ЦК ВКП(б) Маленков, представитель Ставки ВГК Ворошилов и командующий ВВС Новиков. Они знали о пристрастном отношении Верховного к этому так уверенно взлетевшему к вершинам военного руководства генералу и держались с ним, как с равным, хотя их собственное положение было куда более высоким, чем у этого долговязого человека, подчеркнуто скромного, но умеющего сохранять в присутствии вышестоящих начальников чувство собственного достоинства.

Одет был Власов в длинную кавалерийскую шинель, сшитую на заказ из желто-зеленого английского сукна. Портупеи генерал не носил, поэтому вид у него, несмотря на три звездочки в петлицах, был скорее штатский. Андрей Андреевич напоминал школьного учителя, и этому впечатлению весьма способствовали большие очки в роговой оправе: у него была сильная близорукость. За толстыми стеклами почти невозможно было рассмотреть его несколько тусклые, но выразительные глаза, внимательно и цепко глядящие на окружающий мир.

Рано утром "дуглас" взлетел с подмосковного аэродрома и в сопровождении истребителей взял курс на северо-восток, чтобы, отдалившись от линии фронта, до которой было не так уж и далеко, выйти потом на Малую Вишеру с нашей, более безопасной стороны.

Известно было, что штаб Волховского фронта всерьез беспокоит фашистская авиация. Поэтому туда и летел главный летчик РККА Новиков. Ставка поручила Александру Александровичу разобраться в действиях волховской авиации. Но сам Новиков, еще недавно воевавший в ленинградском небе, хорошо понимал: фронту нужны самолеты, а не ревизоры в больших чинах. На Власова, сидевшего рядом с маршалом, это место предложил ему Ворошилов, командующий ВВС поглядывал уважительно и с некоторым любопытством. Последнее объяснялось тем, что Новикова интересовала психология людей, побывавших в окружении. Он знал, что генерал Власов командовал в начале войны моторизованным корпусом и отходил с ним к Киеву, ведя арьергардные бои. После сентябрьской катастрофы под Киевом, когда из-за промедления с приказом Ставки об оставлении города, по сути, все армии фронта вместе со штабом Кирпоноса оказались в окружении, Власов после месяца блужданий по тылам противника сумел выйти к своим, сохранив при этом партийный билет. А данное обстоятельство всегда было решающим при определении дальнейшей судьбы командира.

Наслышан был Новиков и про боевые действия 20-й армии, которой командовал в Московской битве этот окруженец. Ему хотелось расспросить Андрея Андреевича о характере взаимодействия армии с авиацией в декабре сорок первого, но делать это до того, как нарушит молчание маршал или секретарь Центрального Комитета, Александр Александрович считал несубординационным, бестактным.

Маленков и Ворошилов не произнесли пока ни слова. Безмолвствовал и генерал Власов. Он сидел у окна и бесстрастно смотрел, как обходят время от времени "дуглас" истребители сопровождения. Изредка поглядывал за борт и Климент Ефремович. Вот ему показалось, что истребитель прошел слишком близко, и Ворошилов проворчал:

— Озорничают твои летуны, генерал. Чего доброго, вмажут по крылу — костей наших не соберут. Как тогда по "Максиму Горькому".

Все четверо вспомнили трагедию тридцатых годов, когда летчик, выделывавший вокруг самолета-гиганта фигуры высшего пилотажа, не рассчитал и столкнулся в воздухе с уникальной восьмимоторной машиной. Тогда погибла большая группа авиационных специалистов. С семьями они были поощрены за отличный труд этим парадным полетом.

Холодком давней уже смерти повеяло в салоне самолета.

Ворошилов почувствовал себя неуютно — нарушил традицию: в доме повешенного не говорят о веревке, а в воздухе не принято вспоминать о катастрофах. Чтобы переменить тему, он повернулся к Власову и спросил:

— Успели познакомиться с условиями боевых действий у волховчан, генерал?

И, не дожидаясь ответа на вопрос, досадливо подумал, что снова летит к Мерецкову с пустыми руками. Обещанная общевойсковая армия из резерва Ставки, о которой давно шла речь, никак не вытанцовывалась. Сейчас все наличные силы по приказу вождя бросались на проведение операций, имеющих целью вышвырнуть гитлеровцев из Крыма, окружить и уничтожить их и на харьковском выступе, с тем чтобы освободить в дальнейшем Донбасс. Волховчанам же, от которых требовали тем не менее развития наступательных операций, не оставалось ничего другого, как изыскивать боевые ресурсы по собственным сусекам.

...Ворошилов сразу же вспомнил, как принял его недавно Верховный по возвращении в Москву с Волховского фронта. Получив санкцию на визит к вождю, он появился в приемной и вопросительно взглянул на невозмутимого, воплощающего собой саму бесстрастность Поскребышева.

— Говорит с товарищем Молотовым, — сообщил Поскребышев. — Но вам велено зайти сразу.

Молотова Ворошилов не любил. Конечно, последнее необходимо рассматривать с учетом той психологической обстановки, которая определяла сложившиеся еще в довоенные годы взаимоотношения между членами Политбюро. Они хорошо знали об участи тех, чьи кости безымянно лежали в земле, и одним из главных, определяющих их поведение факторов был страх за собственную судьбу. А зависела она от того уровня преданности вождю, который определял он сам, по ему одному ведомым критериям. Поэтому тем, кто окружал Сталина, приходилось опасно лавировать во взаимоотношениях и с ним, и с теми, кто его окружал, чтобы влияние на вождя одного, если только можно говорить о влиянии на него кого бы то ни было, не вышло бы боком для другого, то есть для тебя лично.

Ворошилов хорошо знал, что Сталин в значительной мере доверяет Молотову проводить его внешнеполитическую линию. Конечно, Вячеслав Михайлович никогда не бывал уполномочен на дипломатические комбинации стратегического характера, тут он неукоснительно следовал железным установкам вождя. Но в пределах допустимого позволял себе некие импровизации и почти никогда не ошибался, ибо прекрасно знал, чего хочет Сталин.

Сейчас Молотов приветливо улыбнулся Ворошилову и даже привстал, вежливо наклонив голову, оставаясь тем не менее; на месте.

Зато Сталин, едва маршал появился в дверях, развел руки и двинулся навстречу, играя одну из своих коронных ролей — роль радушного хозяина и старшего брата, искренне заботящегося о младшем.

— Ай-ай-ай, — укоризненно сказал Сталин, пожимая Ворошилову руку. — Совсем ты отбился от рук, товарищ Ворошилов. А еще народный маршал, прославленный полководец... Немцам позволяешь за собой охотиться. Преступно ведешь себя на фронте, под пули лезешь. Легкомысленно поступаешь, дорогой Климент Ефремович, нехорошо! Мы все очень нуждаемся в тебе, твоем опыте, а ты даешь вывести себя из строя. Что у тебя с рукой?

— Да ничего особенного, товарищ Сталин, — растроганно произнес Ворошилов, давно постигший правила игры. — Локоть слегка царапнуло, — продолжал он, искоса глянув на Молотова.

Народный комиссар иностранных дел казенно улыбался, склонив голову к правому плечу, поблескивая стеклышками пенсне. Глаз его Ворошилов

рассмотреть не мог, но знал, что без пенсне лицо Молотова становится растерянным и заносчивым одновременно.

— Сегодня локоть, а завтра что-нибудь посерьезнее, — сказал Сталин. — Не надо рисковать, дорогой Клим, твоя жизнь так нужна советскому народу. Не научишься быть осторожным, перестану пускать на фронт.

— Нельзя ему без фронта, — подал голос дипломат. — Человек он сугубо военный...

Эту реплику Ворошилов отнес к разряду недружелюбных. Здесь ничего не забывалось, все тщательно оценивалось, взвешивалось и хранилось впрок. В данном случае маршал счел себя оскорбленным словами Молотова, принял их как издевку, ибо все трое знали, что, по существу, никогда Ворошилов военным не был.

Конечно, у него и на Молотова существовало собственное досье, только пользоваться им надо было умно. Вот вспомнил он сейчас, как первым зааплодировал в 1935 году Молотов, когда Сталин, оценивая деятельность Гитлера в Германии, заявил на Политбюро, что новоявленный фюрер станет тем броненосцем мировой революции, который вспорет брюхо буржуазной Европе.

Сейчас бы и подпустить по поводу броненосца... Только нельзя до поры. Это бьет по самому, и реакция его на такой намек может быть непредсказуемой.

— Обещаю беречься, товарищ Сталин, — широко осклабясь в добродушной, простецкой улыбке, он мастерски умел ее изображать, заверил вождя Ворошилов.

— Тогда садись и потерпи пока, — сказал Верховный. — Сейчас мы закончим... Что еще у тебя, товарищ Молотов?

— Международный Красный Крест, Иосиф Виссарионович, — мягко, как бы извиняясь за то, что отнимает время по таким пустякам, произнес Молотов.

Сталин нахмурился.

— Опять эти благотворители, — буркнул он, схватил со стола погасшую трубку и с раздражением стукнул ею о край пепельницы. — Чего они хотят на этот раз?

— Все то же, — спокойно ответил Молотов. — Хотят облегчить участь наших пленных. Обещают потребовать от Гитлера соблюдения Женевских конвенций, а также организовать доставку писем командиров и красноармейцев их родным... За свой счет.

— Какой такой счет, понимаешь?! — вспылил Сталин, и от этого акцент его еще больше усилился. — Эти трусы, позволившие пленить себя фашистам, не заслуживают нашего внимания. И никакой там Красный Крест или тем более Полумесяц нам не указ! Благотворители...

— Немцы нарушают также Гаагскую конвенцию 1929 года, — невозмутимо подлил масла в огонь нарком, и Ворошилов крамольно подумал, что Молотову доставляет удовольствие видеть Сталина в раздраженном состоянии.

Маршал хорошо помнил, при каких обстоятельствах вождь отказался подписывать Женевские конвенции о гуманном отношении к военнопленным, выработанные международной общественностью в тридцатые годы. К этому времени сложилась навязанная Сталиным военным доктрина, по которой Красная Армия будет вести исключительно наступательные операции. Из новых уставов убрали почти все упоминания об обороне. В сознании командиров внедрялась мысль о том, что возможная война будет вестись исключительно на территории агрессора, которого Красная Армия легко разобьет в его собственном логове. А при такой войне о каких пленных может идти речь? Только о вражеских, разумеется. Тогда же Сталин произнес известную фразу: "Советские люди в плен не сдаются!" — и отказался подписывать любые соглашения на этот счет.

Про Гаагскую конвенцию вождь слышал впервые и потому подозрительно посмотрел на Молотова.

— По этой конвенции пленных офицеров нельзя привлекать к физическому труду, — пояснил Молотов.

— А мы ее соблюдаем? — повернулся Сталин к маршалу. Тот молча кивнул.

— Значит, нас не в чем упрекнуть, — удовлетворенно произнес Сталин. — И на этом закончим... А добрым дядям из Красного Креста надо сказать, чтоб не совали нос в чужие дела. Пусть поберегут деньги для подлинно благородных целей, помогают потерпевшим от стихийного бедствия, например. А с нашими людьми, нарушившими присягу и сдавшимися на милость врага, мы сами разберемся. Если не сейчас, то обязательно после победы над немецкими оккупантами. Иди работай, товарищ Молотов...

Пока нарком иностранных дел шел к двери, осторожно прикрывал ее с другой стороны, Сталин молчал, пристально разглядывая Ворошилова. Тот знал, что глаз отводить нельзя: вождь решит — задумал недоброе. Надо было смотреть Сталину в глаза, только упаси бог сохранять при этом независимый вид... Вождю не нравились те, кто давал ему понять, что сохраняет чувство

собственного достоинства. Вот и приходилось постоянно дозировать внешнее состояние личности, хотя сама личность при этом разрушалась. Не случайно Сталина окружали морально полураздавленные люди, которые положили себе за правило не сомневаться ни в едином его слове, потому как это был единственный способ спасти жизнь. О спасении души думать уже не приходилось. Но, видимо, они сами на эту тему вовсе не размышляли, почитая установившийся режим единственно разумным.

— Снова поедешь к Мерецкову, — сказал Сталин, убедившись, что за недолгое время отсутствия этот человек, про которого вождь разрешил советским людям петь, будто именно он, "первый маршал, в бой нас поведет", не отбился от рук, не возомнил на фронте ничего лишнего. — Слишком долго топчется на месте этот хваленый стратег. Видно, мы недостаточно воспитывали его у Лаврентия. А там хорошая школа. Как ты считаешь, Климент Ефремович?

Ворошилов поежился. Он хорошо знал, при каких обстоятельствах Мерецков в июле и августе сорок первого года был изъят из обращения.

И тут Ворошилова осенило.

— Надо ее самому пройти, эту школу, — весело сказал он. — Как можно судить о том, чего не знаешь?!

Сталину понравился ответ.

— А не боишься? — спросил он.

— У меня грехов нет, — так же бесшабашно продолжал вести удачно выбранную линию Ворошилов. — Готов хоть сейчас...

Сталин с любопытством глянул на него, погрозил пальцем.

— Не надо, дорогой Клим, — сказал он. — Не шути так... У Лаврентия система без задней скорости. Начнет работать — и тогда даже я тебе не помогу. Так что там у Мерецкова? Когда он возьмет Любань?

Ворошилов начал было объяснять положение, сложившееся на Волховском фронте, но Сталин прервал его:

— Ты думаешь, что я напрасно здесь ем народный хлеб? Мне хорошо известно, что происходит у Мерецкова. Вторая ударная армия прошла почти половину пути до Ленинграда. Это большой успех! Его надо закрепить и развивать дальше, не останавливаясь ни на минуту. Говоришь, нужны резервы? А кому не нужны резервы? Мне думается, Мерецков просто разучился или устал воевать... Генерала Власова знаешь?

— Кто ж его не знает! — подыграл маршал.

— Вот именно, все знают, — удовлетворенно заметил вождь. — Скромный человек и хороший командир. Как он гнал немцев в декабре! Мы решили послать его заместителем к Мерецкову.

— Правильное решение, — поддакнул Ворошилов, хотя еще не успел оценить сказанное.

— Я рад, что ты согласен со мною, Клим, — усмехнулся Сталин. — Вот и повезешь генерала на Волховский фронт. Представишь Мерецкову. Поддержи Власова в Малой Вишере как представитель Ставки. Предвижу большое будущее у этого человека.

Тогда Сталин не сказал маршалу, что вместе с ним и Власовым полетит на фронт и Маленков. Теперь Ворошилов понимал, что Верховный по-прежнему лелеет надежду прорваться к Ленинграду единым и мощным ударом и верит: однажды отличившийся генерал Власов и здесь совершит чудо. Сам Ворошилов по большому счету был дилетантом в вопросах стратегии, но, долгие годы общаясь с военными специалистами, понимал, что в батальных делах чудо всегда опирается на материальные ресурсы.

-5-

...Теперь маршал надеялся на объективность Маленкова, который должен собственными глазами увидеть положение 2-й ударной, а потом поддержать обоснованность просьбы Мерецкова о резервах в Государственном Комитете Обороны.

Ворошилов, конечно, не мог заранее знать, что Маленков ограничится беглым разговором в штабе фронта, в армию Клыкова ехать откажется и вернется в Москву, убежденный в более или менее сносном положении волховчан.

Не знал он и того, что Георгий Максимилианович, затеяв сейчас с Власовым разговор о подробностях сражения 20-й армии за Волоколамск, мысленно перелистывает страницы его личного дела, с которым ознакомился перед полетом.

Маленкова заинтересовали те годы, когда Власов находился в Китае. Его послали туда военным советником к Чан Кайши с должности командира полка, дислоцированного в Ленинградском военном округе. Китайский вождь дал высокую оценку деятельности Власова и наградил его высшим орденом. По возвращении бывший советник стал командовать стрелковой дивизией, которая в 1939 году заняла первое место по боевой и политической подготовке в РККА.

"Сейчас ему чуть больше сорока, — подумал Маленков. — Запас времени для роста есть, но вовсе не такой большой... Впрочем, война всегда вносит серьезные коррективы в человеческие судьбы. Они могут быть и со знаком "минус" до крайнего его предела, и со знаком "плюс". Судьба человека на войне — уравнение со многими неизвестными".

Эта мысль показалась ему толковой, и Маленков хотел записать ее. Можно употребить, отчитываясь перед хозяином о поездке на фронт.

Но едва он собрался достать книжку, в салон вошел летчик и сообщил: самолет идет на посадку.

Так без особых приключений генерал-лейтенант Власов прибыл к новому месту службы. Это произошло 9 марта 1942 года, на двести шестьдесят первый день войны.

— Что у вас с семьей, Иван Михайлович? — спросил Мерецков. — Все ли в порядке?

— Всей семьи-то у меня — один сын, товарищ командующий, — вздохнул Антюфеев. — Жена умерла в тридцать восьмом году...

Комдив не любил распространяться на эту тему, хотя и не мог без щемящей тоски думать о судьбе сына, которого не видел с тридцать девятого.

— Сын-то, надеюсь, в надежных руках? — продолжал Кирилл Афанасьевич.

Полковник пожал плечами, и Мерецков, уловив нежелание Антюфеева говорить об этом, прекратил расспросы.

...А Иван Михайлович вспомнил, как в июне 1939 года его вызвали в штаб Уральского военного округа. На приеме у командующего войсками округа тот объявил, что Антюфеев назначается командиром 82-й стрелковой дивизии.

— Выезжайте немедленно к новому месту службы и принимайте часть! — распорядился Ершаков.

Говорил Антюфеев и про недостаточный опыт, и про семейное положение, и о том, что десятилетний сын остался в летних лагерях дивизии, на попечении девчонок из столовой военторга...

Но командующий был неумолим. И Иван Михайлович уехал, даже не простившись с сыном.

И подался он вскорости на Дальний Восток. Добрались с полками до Читы, и тут дивизию повернули в Монголию, оттуда на Халхин-Гол...

Так и крутит Антюфеева военная судьба, и никакого отпуска в ней для свидания с сыном не предусмотрено.

...Наступила пауза. Генерал Клыков решил заполнить ее.

— Скажи, Иван Михайлович, как на духу, почему не удержали Красную Горку? И что тебе нужно, чтоб вместе с гусевцами взять Любань?

— Да-да, — оживился Мерецков. — Мы ведь с командармом потому и приехали к вам, побывав уже у кавалеристов и в бригаде. Ставка и лично товарищ Сталин требуют от нас этого решительного наступления. А приказы надо выполнять. Мы должны были взять Любань к первому марта, а сейчас...

— Любань надо брать, это бесспорно, — сказал комдив. — Но ведь у противника хорошо налаженный подвоз по Октябрьской железной дороге, а у нас только зимний санный путь. Да и тот "мессеры" утюжат как хотят. А ежели растает зимник? Мы же утонем в болотах! О которых, кстати сказать, у нас нет никаких данных. Вряд ли во всей армии найдется человек, кто знал бы, как здесь воевать в распутицу.

— Ты за армию, Антюфеев, не расписывайся, — грубо оборвал комдива Клыков. — Ежели на то пошло, то такой человек сейчас перед тобой. Я воюю в этих болотах с осени прошлого года! Только не собираюсь, в отличие от тебя, сидеть здесь до весны...

— Весна уже началась, — усмехнулся Антюфеев.

— Ладно, ладно, товарищи, — остановил их Кирилл Афанасьевич. — Ставка знает о положении армии, высоко оценивает ваши успехи и не оставит без заботы. Нам обещана серьезная помощь. А пока принято решение взяться как следует за строительство дорог. Мы дадим вам саперные части, но и силами красноармейцев надо поспешествовать общему делу. Кроме того, у меня есть сведения, будто ленинградцы, армия Федюнинского, активизирует боевые действия в направлении Любани.

— Мои разведчики встречались с его парнями, — заметил Антюфеев. — Начштаба может доложить...

— Зови-ка его сюда! — распорядился Клыков. Но тот уже сам появился на пороге.

— Звонят из штаба армии, — сообщил он, обращаясь к Мерецкову. — Вас срочно требует Москва, товарищ командующий.

...Когда комфронта с Клыковым прибыли в Огорели, их встретил начальник связи 2-й ударной генерал-майор Афанасьев.

— Налажена прямая связь со Ставкой... Уже вызывали три раза. Прошу сюда, товарищ генерал армии.

Клыков проводил Мерецкова до помещения и остался снаружи.

— На проводе Сталин. Вы не взяли Любань к назначенному нами сроку, товарищ Мерецков. Вторая ударная армия срывает график наступления по всему фронту. Чем вы объясняете подобный неуспех?
— Нужны резервы, товарищ Сталин. Армия находится в трудном положении. Растянутые коммуникации, плохой транспорт, господство авиации противника. Несогласованность действий с Ленинградским фронтом. Нам ведь обещаны Ставкой резервы, но...
— Сейчас трудно каждому советскому человеку, товарищ Мерецков. И резервы нужны на других фронтах так же, как на Волховском. Мы видим выход в укреплении командного состава. И потому назначаем вашим заместителем генерала Власова. Этот участник и организатор боев под Москвой поделится опытом успешных наступательных действий против фашистов. Вам, наверное, известна, товарищ Мерецков, та диалектическая истина, что кадры решают все. Действуйте поактивнее сами и требуйте того же от подчиненных. Генерал Власов вылетел уже на фронт. Вы поняли меня, товарищ Мерецков?

-6-

Операция была сложной, и поначалу Настя опасалась, что не справится с ней...
В декабре сорок первого ей исполнилось двадцать три года. За год до войны эта скромная рязанская девушка закончила медицинский институт в Москве и попросилась на работу куда-нибудь подальше. Председатель комиссии с интересом посмотрел на миловидную худенькую выпускницу, пошелестел бумажками и спросил:
— Приморский край вам подойдет, коллега? Приморский — это на Дальнем Востоке... Не побоитесь?
Настя Еремина с раннего детства ничего и никого не боялась. Так ее воспитала мама, женщина независимая и гордая, убедившая малолетнюю тогда еще Насте ну, что к людям надо относиться так, как ты хочешь, чтоб они относились к тебе самой.
"Хоть и далеко еду, — думала Анастасия, отправляясь во Владивосток, — а только и там хороших людей в достатке".
В Приморье ее встретили радушно. Определили в больницу Буденновского района, что в ста восьмидесяти километрах от Владивостока. Но до того послали на восьмимесячные курсы хирургов широкого профиля, где Настя Еремина прошла добрую специализацию.

Но поработать в районной больнице пришлось недолго — началась война. И Еремина стала военврачом в 92-й дивизии, направляемой на фронт.

Едва медсанбат, прибыв с Дальнего Востока на Волховщину, выгрузился на станции Хвойная и развернулся вблизи боевых порядков, заработал его страшный конвейер, по которому пошли искалеченные воины. До тысячи раненых проходило через него за сутки! Шли ожесточенные бои под Тихвином, положение здесь сложилось крайне тяжелое. Медики не успевали обрабатывать раненых, и те терпеливо ждали своей очереди.

...На самодельном столе лежал перед Ереминой командир роты, получивший ранение в живот, да еще осколком мины раскроило лейтенанту голову. Неглубоко, правда, — касательно, но удар контузил его. И пока не сморил общий наркоз, бедолага галлюцинировал, мучился от бредовых видений, заполнявших больное сознание.

И все же лейтенанту повезло. Три пули, доставшиеся ему, пронизали брюшную полость, ухитрившись почти не повредить кишечник. А главное, на стол командир попал совсем "свежим", часа через два после ранения.

Поначалу Еремина растерялась, когда вскрыла брюшную полость. Три пулевых ранения — не шутка... Но разворошила Настя сине-зелёные кишки командира роты и поняла: сумеет вытащить парня с того света. Только вот этот кусочек кишки, размочаленный пулей, она вырежет и сошьет заново. Ничего, ему всего двадцать лет, этому лейтенанту Сорокину, до свадьбы заживет. И никто не узнает, что стал у него кишечник на несколько сантиметров короче, и девушки будут любить.

...Третьего дня Анастасия встретила в медсанбате Сашу Баскакова, знала его по мединституту, он был двумя курсами старше, заправлял комсомольскими делами, яркий и общительный парень, в которого втайне были влюблены едва ли не все девчонки. Настя знала, что Саша увлекался психиатрией, его оставили в аспирантуре. А вот сейчас встретились на фронте. Баскаков ходил в военврачах второго ранга и сопровождал в поездке во 2-ю ударную знаменитого профессора Вишневского, главного хирурга Волховского фронта.

Настя подивилась тому, что Саша ее узнал. Значит, все-таки как-то выделял среди студенток, запомнил... Целый вечер они проговорили, Саша и ночевать здесь отпросился у начальства, обещав догнать Вишневского в Новой Керести.

— Как у вас по части любви? — спросил он вдруг, улыбаясь.

— В каком смысле? — покраснела Анастасия.

— В самом прямом, — ответил Саша. — В природном... Седьмого марта были мы в одном медсанбате. Так Вишневский застал одну из медичек с мужиком в самый, как говорится, разгар событий. Только он у нас гуманист, шуму поднимать не стал. Если, говорит, в раю наши пращуры не смогли удержаться, то при этой адской жизни им сам бог велел... А ты как считаешь?

Настя пожала плечами, смущение она уже одолела.

— Слишком много работы, чтобы задумываться над этим... — И перевела разговор, он был ей не по душе, спросив Сашу: — А что ты, психиатр-аспирант, делаешь на фронте?

— Во-первых, бери выше, я уже год как защитился. А во-вторых, дел на передовой у психиатра хоть отбавляй. Война выбивает разумное существо из привычного ему состояния. Случаев отклонения от психической нормы предостаточно... К сожалению, армейское начальство считает это блажью, и психиатрической службы, как таковой, в действующей армии нет. Нас если и терпят, то больше в качестве экспертов, когда надо дать заключение о раненых — псих он или притворяется, чтобы попасть в тыл.

— Я сама часто наблюдаю отклонения, — сказала Настя. — Особенно у тех, кто ранен в голову. Недавно один вообразил, будто в голове у него поселились немцы, заняли там круговую оборону. Так он все вызывал огонь на себя, требовал взорвать его голову вместе с врагами.

— Вот видишь. Видения у раненых, видения у здоровых, но измотанных боями на передовой бойцов. Собственно, здоровы они только в том смысле, что в их тела не вонзились пули или осколки. Практически же через две недели боев, а то и за меньший срок, эти люди становятся глубоко больными.

— У нас тут, в медсанбате, не слаще, — промолвила Анастасия.

— А разве ты сама, голубушка, здорова? Признайся: слышишь полоса?

— Бывает, — смутилась молодая женщина. — Но я считаю, что это просто обман чувств, вызванный усталостью.

— Верно. И не только от нее. При этой, прямо скажем, нечеловеческой обстановке, в которой ты находишься постоянно, возникновение иллюзий и галлюцинаций закономерно. Если ты помнишь курс психиатрии, то знаешь, что иллюзии суть явления, когда есть предмет, создающий восприятие, но последнее извращено. А при галлюцинации вообще нет внешнего объекта, служащего источником восприятия. Голоса, звон в голове, видения — типичный обман чувств. Нужен отдых для перенапряженной психики, но кто нам его даст?

Действительно, было не до отдыха. Сейчас дивизия рвалась к Любани. Все три стрелковых ее полка, артиллерийские и другие подразделения несли серьезные потери, с трудом продвигались на север, имея задачу захватить две рядом лежащие деревни — Сустье Полянка и Сустье Конец. За ними лежал треугольник — Заволжье, Хоченье и Русская Волжа. А там и рукой подать до Любани.

"...Ну, главное — позади, — подумала Анастасия, аккуратно укладывая содержимое брюшной полости лейтенанта Сорокина. — Сейчас зашью бедолагу и пусть теперь выкарабкивается... Экая мускулатура у него! Все образуется, только побыстрее добраться бы ему до железной дороги, а по ней в тыловой госпиталь".

Она вспомнила Сашу Баскакова, на сердце посветлело, и Настя невольно улыбнулась, зная, что сквозь марлевую маску сестра Елена ничего не заметит.

Сделала первые стежки, шов получился ровным, будто на показательной операции профессора Емельянова в институтской клинике госпитальной хирургии. "Ай да Настя!" — залюбовалась она собственной работой. И тут услыхала вдруг шум за спиной, кто-то ворвался в палату и резким голосом закричал:

— Хенде хох!

-7-

Обер-лейтенант сумел оторваться от преследования. Рота Кружилина, которая опоздала прийти на помощь четырем своим красноармейцам, не догнала его. Шютце быстро увел ландзеров на север, следы их затерялись в лесу. Случилась вдруг изрядная метель, она и помогла пришельцам убраться невредимыми восвояси.

Обер-лейтенант обошел выдвинутые к Красной Горке передовые посты 327-й дивизии, для надежности взял еще севернее, чтобы не войти в соприкосновение с русскими, а затем резко свернул направо, зная, что так он быстрее попадет к позициям родной дивизии. Вернувшись, Шютце немедленно доложил командованию о результатах рейда. За время, проведенное в тылах противника, его люди собрали данные, которые свидетельствовали о том, что русские по-прежнему стремятся только наступать. Иваны не заботятся о собственной обороне, беспомощны в случае контрудара. Их пехота не обеспечена огневой поддержкой, несет огромные потери в постоянных

фронтальных атаках, в которые упорно бросают солдат их командиры и комиссары.

Вернер Шютце высказал и собственное предположение: на главном направлении удара русские, атакующие Любань, скоро выдохнутся.

— Если не получат значительного подкрепления, господин генерал, — добавил обер-лейтенант. — Но это маловероятно.

— Почему вы так считаете?

— Они бы их уже получили. Русские не хуже нас знают: после зимы наступает весна. А ведь они сидят на болоте! Или наступать сейчас, но для этого нужны свежие силы, или отводить армию из мешка... И я позволю себе добавить, господин генерал, что время работает на нас. Если закроем коридор у Мясного Бора, русская армия окажется в ловушке.

"Он говорит так, будто присутствовал на совещании у фюрера", — усмехнулся командир дивизии.

Люди Вернера Шютце получили трехдневный отдых, а те, кто особенно отличился, внеочередной отпуск для поездки на родину. Среди этих счастливчиков оказались Руди Пикерт и Вилли Земпер. Баварец, не мешкая, собрал пожитки и уехал проведать любимых коровок, а Руди отказался от заслуженной награды и, отдохнув немного и отоспавшись, напросился в очередной рейд. Студент-богослов не мог забыть ужасной смерти Ганса Дреббера и презрел христианский принцип всепрощения. Он жаждал мстить русским. На них, безбожников, нормы евангельской этики не распространялись.

...Четвертый день шастала группа из четырех солдат, в которую входил и Руди Пикерт, по русским тылам. Она вклинилась туда на стыке позиций 46-й и 92-й дивизий. Разведчики, попытали счастья вправо от основного маршрута, но там дело дважды срывалось, и группа, возглавляемая обер-фельдфебелем Куртом Вайсмахером, вышла на тылы дальневосточников.

В эти дни, полные боевых забот и тревог, Руди Пикерт обрел душевное равновесие, из которого так неожиданно для него самого, старого солдата, навидавшегося ужасов войны сверх меры, его выбила огненная смерть Ганса Дреббера. Теперь саксонец начинал видеть в его кончине некое жертвенное, необходимое начало. В огне, сожравшем товарища, Руди усматривал символический смысл, призванный освятить свершаемое ими, рыцарями вермахта, в этой погрязшей в неверии стране, в которой так много еще языческого, варварского, увы...

Размышляя об этом, Руди Пикерт вспоминал письмо от жены фельдфебеля, которое Вайсмахер показал ему перед выходом в тыл русских. Его Катрин писала: "Хотелось бы, чтобы у вас все поскорее кончилось, но я боюсь, что Петербург легко не сдастся... Говорят, что русские стали крепко драться. Трудно себе представить, чтобы подобный народ требовал от нас столько жертв. Надо раз и навсегда выкинуть его из мировой истории".

— У моей толстушки куриные мозги, — усмехнулся Курт, когда Руди обронил замечание о политичности мышления его супруги. — Это она пересказывает идеи своего братца Михеля, который пристроился по пропагандистской части у нашего гауляйтера под крылышком. Прежде он пописывал статейки об арийском расовом превосходстве, а теперь учит немцев, как осуществить его на практике. К сожалению, русские не читают наставлений моего умного родственника, они явно не жаждут оказаться на задворках истории и дерутся, как черти.

— Пусть бы приехал сюда и поучил нас воевать, — проговорил случившийся при разговоре Ганс Вебер. С ним и Гейнцем Адамом фельдфебель и Руди готовились отправиться в поиск.

— После войны немецкий народ воздаст должное тем, кто дрался в этих забытых богом местах, и тем, кто отсиживался в рейхе, — сказал Руди и поморщился, осознав, как напыщенно и фальшиво прозвучала его фраза.

Курт Вайсмахер рассмеялся.

— Такие, как Михель, будут нами командовать и после войны, Руди, — сказал он. — Я давно присматриваюсь к тебе, земляк, и не могу понять: ты или в самом деле святой, или... Может быть, перенес контузию, тяжелое ранение головы? С твоим умом и хорошо подвешенным языком самое место среди офицеров пропаганды, а не среди солдатни.

— Я хочу постичь дух этой священной войны, — стараясь говорить попроще, с виноватой улыбкой сказал Пикерт. — А это возможно только среди вас.

— Ты прав, товарищ, — с серьезным видом произнес Гейнц Адам и вдруг громко испортил воздух. — Понюхай, понюхай, чем она пахнет, эта свинская война!..

"Может быть, они правы, — думал сейчас Руди Пикерт, вспоминая, как хохотали до икоты ландзеры, по достоинству оценив выходку Адама, — и война эта действительно свинская... Но тогда смерть Ганса бессмысленна?! Как же так?.."

Идя на лыжах вслед за Вайсмахером, который довольно легко преодолевал зимнее бездорожье, поскольку работал прежде егерем в охотничьих угодьях

Саксонии, Руди Пикерт с удивлением вдруг, поймал себя на мысли о том, что войну он ненавидит больше, нежели врагов. Он и прежде бывал смущен тем, что ему не удавалось персонифицировать то зло, которое обязаны были олицетворять русские. Руди немало повидал пленных красноармейцев и командиров, наблюдал он, как в их колоннах выявляют комиссаров и евреев, подлежащих согласно приказу фюрера расстрелу, — этим занимались зондеркоманды. Сходился Руди с ними лицом к лицу и в боевых схватках, в которых погибали его сослуживцы. Но ведь и они, немцы, отправляют на тот свет немало русских парней...

Идущий впереди Курт Вайсмахер остановился и поднял руку. Гейнц Адам и замыкавший движение группы Вебер тотчас же взяли вправо и влево, изготовились к стрельбе. А Руди приблизился к обер-фельдфебелю.

— Тропа, — шепнул Курт. — И порядком набитая... Осмотри ее, Руди, а я тебя прикрою.

Пикерт выдвинулся вперед.

Тропа была странная. Слишком узкая для автомобилей или даже конной повозки и достаточно широкая для пешеходов.

Справа донеслась приглушенная стрельба. Можно было разобрать звуки автоматных очередей, хлопанье винтовок, вот застучал пулемет, потом послышались разрывы мин.

— Наши ведут бой с русскими, — сказал Курт, когда Руди вернулся с тропы. — Попробуем устроить засаду?

Пикерт не успел ответить. Пришел непонятный звук слева. Ландзеры залегли. Из-за деревьев вылетела собачья упряжка. На длинных, узких санях, увлекаемых дюжиной псов, запряженных попарно, сидел солдат и подгонял собак непривычными для немцев криками.

Упряжка пронеслась под носом у ландзеров, не успевших сообразить, что им сделать, какое принять решение.

— In Rick unk Schick, — прошептал Курт на ухо лежавшему рядом Руди. — Все идет как следует... Это тропа для собачьих упряжек, на которых русские вывозят раненых в тыл. Парень ехал пустой. Значит, указал нам дорогу.

Вайсмахер подал знак остальным и, когда Вебер с Адамом приблизились, приказал разделиться по двое. Он с Вебером пойдет по левой стороне тропы, а Руди с Гейнцем по правой. Как только та или иная группа берет штиммефанген, все уходят восвояси.

Когда Пикерт увидел, что тропа привела их к поляне, на которой стояли брезентовые палатки, он решил: перед ними штаб русских. Стрельба, которую они слышали еще недавно в отдалении, стихла. Руди овладело приподнятое настроение, он уже не помнил о тех сомнениях, которые подбирались к нему недавно. Теперь его душу заполонил азарт охотника, почуявшего добрую добычу, с которой ждут его там, в родном батальоне. Захватить в плен и доставить в штаб русского офицера — что может быть заманчивее для такого бывалого солдата, как он!

Вместе с Гейнцем Адамом саксонец подобрался к палатке, что находилась с краю. Вокруг нее никого не было видно, если не считать часового, он топтался у входа в тамбур, сунув винтовку с примкнутым трехгранным штыком под мышку.

Руди оглянулся и глазами показал Гейнцу на часового. Адам понимающе кивнул. Роли ландзеры давно распределили. Адам снимает часового и остается у входа, страхует товарища. Пикерт проникает в помещение, берет штиммефанген и выводит его на Гейнца. Вдвоем они надежно скручивают русского и отходят в лес, где соединяются со второй группой. Если дело сработать чисто не удастся и возникнет шум, Курт с Вайсмахером открывают огонь, отвлекая на себя Иванов, дают первой группе отойти. А потом отрываются сами. Все было отработано Strich füt Strich — тютелька в тютельку, до мелочей.

Гейнц без труда снял рохлю-часового, тот даже не пикнул. Руди проскользнул в палатку, которую освещали две керосиновые лампы, различил стол, над которым склонились фигуры людей.

"Попал в самую точку. Это штаб русских", — успел подумать Пикерт и вскинул автомат:

— Руки вверх! — Никто не шелохнулся. — Хенде хох! — повторил он.

— Замолчите! — резко ответил ему молодой женский голос на немецком языке. — И выйдите немедленно вон! Здесь идет операция, а вы нестерильны...

Пикерт подумал вдруг, что они забрались к своим, так ввел его в заблуждение немецкий язык. Но как же тогда часовой?

Тем временем тот, в чью спину Руди направил оружие, властно произнес:

— Не мешайте! Мне надо закончить операцию...

"Мистика!" — подумал Пикерт, опуская автомат.

Снаружи раздался выстрел. Руди успел машинально отметить: стреляли из пистолета. И в то же мгновение он рухнул под тяжестью двух санитаров в белых халатах, ринувшихся на него с разных сторон.

Пикерта скрутили.

А военврач Еремина, отчитавшая его, невозмутимо, стежок за стежком, зашивала брюшную полость лейтенанту Сорокину.

-8-

"Предчувствие смерти на фронте... Откуда оно? Какими неизведанными путями приходит к человеку?" — подумал вдруг Мерецков, закрывая третий том "Войны и мира". И тут же вздрогнул от осознания следующей мысли: ведь те страницы романа, которые он прочитал, отнюдь не касались ни самой смерти, ни рокового для обреченного человека понимания неминуемого ее прихода.

Толстой рассуждал о причинах возникновения Отечественной войны. Зло иронизируя над расхожими уверениями записных историков, будто Наполеон 12 июня 1812 года переправился через Неман в связи с обидой, нанесенной герцогу Ольденбургскому, или нарушениями параграфов континентальной системы, Лев Николаевич склонялся к мысли о неотвратимости той войны, утверждал, что фатализм в истории неизбежен для объяснения неразумных явлений.

Мог ли командующий Волховским фронтом вслед за Толстым полагать, будто и роковое воскресенье июня сорок первого года случилось по причинам, не поддающимся человеческому разумению? Ведь миллионы его соотечественников твердо знали: война началась агрессивным нападением гитлеровцев на Советский Союз. Это истина, не требующая никаких доказательств. Но почему фашистская Германия дерзнула пойти на такой апокалиптический шаг? В силу самой природы государственного устройства своего, определенного в первую очередь нацистской идеологией. Вот так все было ясно и понятно. Да задумываться глубоко никому над этим не следовало. К чему размышлять, ежели Отечество в опасности? Драться надо!..

Но Мерецков, бывший начальник Генерального штаба Красной Армии, знал куда больше, чем простые смертные. Человек острого, аналитического ума, Кирилл Афанасьевич непроизвольно предвосхищал военные события. Собственный опыт и обрывочные сведения о высших политических тайнах Мерецков соединял вместе, и, подобно мозаике, возникали перед ним такие картины, в чудовищность которых, как в фантастическое наваждение, не

хотелось верить. Да что там не хотелось — страшно было даже обозначать эти догадки в сознании!

Прочитав письмо императора Александра Наполеону — царь написал его на следующий день после вторжения, предлагая корсиканцу образумиться и вывести французские войска из владений России, — Мерецков вспомнил первый день в Москве в начале войны в должности военного советника. Прибыв в столицу, он полагал, что сразу же встретит Сталина, но того не было видно. Спрашивать же у кого бы то ни было, где находится и чем занимается вождь, попросту не принято. Тимошенко, которому Кирилл Афанасьевич доложил о прибытии из Ленинграда, только спросил: "Ну как там?" Узнав, что пока тихо, кивнул и предложил Мерецкову ознакомиться с боевой обстановкой на Западном направлении. Назавтра Мерецков более или менее представлял картину развернувшихся сражений и окончательно понял, что началась масштабная война, и будет она затяжной, кровопролитной.

И в тот день Сталина нигде не было. Его присутствие, даже незримое, ни в чем и никак не проявлялось. Не появился он и на третий день пребывания Мерецкова в странной должности военного советника. Кому и что должен был советовать Кирилл Афанасьевич? Тимошенко? Так тот и сам был военным человеком, и в качестве наркома обороны возглавлял Ставку Главного Командования, подписывал директивы вместе с начальником Генштаба Жуковым. Давать рекомендации последнему? Но Георгий Константинович, который к тому же сменил его, Мерецкова, на посту начальника Генерального штаба, был вовсе не из тех людей, которые прислушиваются к чьим-либо советам.

Не мог Мерецков учить военному уму-разуму и гражданских членов Политбюро, поскольку это ему не по рангу, да и не вмешивались они в эти крайне напряженные дни во фронтовые дела. Оставался вождь, которому могли бы понадобиться военный опыт и специальные знания Мерецкова. И на четвертый день, улучив момент, когда остались вдвоем, Кирилл Афанасьевич осторожно спросил у Тимошенко:

— А нас товарищ Сталин не хочет собрать? Тогда следует подготовиться...

— Кого это — вас? — хмуро спросил Семен Константинович, потирая бритый затылок.

— Военных советников, — застенчиво улыбаясь, ответил Мерецков. Он уже знал, что кроме него самого такой же титул получили Воронов и Жданов, Ватутин и Микоян, Шапошников и Вознесенский.

— Ему сейчас не до советников, — сказал нарком обороны.

Маршал едва не произнес опасную фразу о том, что Сталин и прежде ни в чьих советах особенно не нуждался, но вовремя прикусил язык. Конечно, были они с Мерецковым вдвоем, и Тимошенко почитал Кирилла Афанасьевича весьма порядочным человеком, но, как говорится, береженого и бог бережет...

— Ты помнишь, как мы докладывали ему план отражения агрессии? — после некоторой тягостной паузы, за время которой оба успели подумать об одном и том же, спросил Семен Константинович.

Мерецков кивнул. Еще бы ему не помнить тот памятный день, 5 октября 1940 года!

— Так вот, похоже, что ты был прав, Кирилл Афанасьевич, — глухо произнес Тимошенко и замолчал.

...После мартовского заседания Политбюро ЦК ВКП(б), посвященного разбору итогов войны с Финляндией, когда была подвергнута резкой критике система боевой подготовки и воспитания войск Красной Армии, Генеральный штаб под руководством Шапошникова все лето разрабатывал оперативный план сосредоточения и развертывания Вооруженных Сил на случай войны. Шапошников считал: боевые действия против Германии, а именно она рассматривалась в качестве потенциального противника, можно ограничить западными рубежами Советского Союза,

Когда в августе 1940 года маршала Шапошникова, автора антигерманского оперплана, Сталин неожиданно сместил с должности начальника Генштаба, Мерецков, принявший у Бориса Михайловича дела, полностью согласился с концепцией последнего. Как и Шапошников, Кирилл Афанасьевич считал: наиболее выгодным для Гитлера, а потому и более вероятным, будет нападение на Советский Союз сразу по всему фронту. Но главный удар немцы сосредоточат против позиций Западного военного округа, к северу от устья реки Сан. Поэтому, докладывая вместе с Тимошенко 5 октября 1940 года лично Сталину соображения Генштаба, Мерецков предлагал развернуть основные силы Красной Армии от Балтийского побережья до полесских болот, на участках Западного и Прибалтийского округов.

— Вы ошибаетесь, товарищ Мерецков, — сказал тогда Сталин. — Для того чтобы вести войну против нас, Гитлеру нужны богатые промышленные и продовольственные ресурсы Украины. Надо укреплять прежде всего Юго-Западное направление.

— Там сдерживание сил противника будут обеспечивать Киевский и Одесский округа, — сообщил Мерецков, быстро взглянув на Тимошенко, который хранил молчание. — Но меньшим количеством сил и средств... Мы полагаем, что Германия нанесет в том направлении только вспомогательный удар.

— Может быть, и вы, товарищ Тимошенко, считаете Юго-Западное направление безопасным? — медленно произнес Сталин.

Голос его был спокойным и бесстрастным, но вот именно это и повергало военных в обессиливающий ужас.

Нарком обороны недавно прибыл с Юго-Западного направления, где знакомился с обстановкой, и теперь должен был высказаться на этот счет. Тимошенко понимал, что в утверждениях Сталина есть определенный смысл. Но это только с одной стороны, с точки зрения вульгарно-практической: враг начнет войну с захвата наиболее богатых сырьевых, промышленных и сельскохозяйственных районов Страны Советов. Все верно... Но существует еще и военная диалектика, многочисленные составляющие, они тщательно проанализированы Оперативным управлением Генштаба.

— Конечно, — сказал он, — Украина для Гитлера лакомый кусочек...

— Вот мы и договорились, — подхватил Сталин. — Надеюсь, что и товарищ Ватутин с нами согласен?

Первый заместитель Мерецкова безмолвно присутствовал здесь же. Услышав свою фамилию, он вздрогнул и согласно кивнул.

— Так что вы, товарищ Мерецков, остались в одиночестве, — весело сказал Сталин. — Демократия восторжествовала... Исправьте план отражения агрессии соответствующим образом. Будем ждать удара по Украине.

В январе 1941 года Мерецкова заменил в Генштабе Жуков. Два обстоятельства сопутствовали этому событию. В конце декабря 1940 года в Москве созвали совещание высшего командного состава Красной Армии, на котором присутствовали члены Политбюро. Генерал армии Мерецков выступил с докладом по общим вопросам боевой и оперативной подготовки и особо отметил слабую подготовленность высшего командного состава и штабов. Всем было ясно, что Мерецков связывает этот опасный недостаток с широким притоком на высшие посты, оказавшиеся вакантными после репрессий в армии, молодых, неопытных выдвиженцев.

Это не осталось незамеченным, и на полочку с надписью: "Судьба Мерецкова" — лег черный шар. Второй шар оказался там в связи с разбором военной игры. Она проводилась после совещания в ЦК и показала, что на Западном

стратегическом направлении "синяя" сторона — потенциальный противник — поставила в тяжелое положение условную Красную Армию, которой командовал Павлов. И Мерецков, докладывая Сталину о плачевном состоянии "красных", подавленных танковым и авиационным преимуществом "синих", был оборван вождем, который, не скрывая досады, заявил:

— Надо помнить слова Суворова, товарищ Мерецков: победа достигается не числом, а уменьем. Арифметическое большинство — это хорошо... Но важно командное искусство, боевой опыт непобедимой Красной Армии.

Теперь, когда война, которую все ждали и от которой все отмахивались, как от нечистой силы, вдруг разразилась, даже по тем сведениям, которыми располагала Ставка, можно было судить: Гитлер наносит главный удар группой армий "Центр" по Белорусскому военному округу генерала Павлова.

28 июня 1941 года пал Минск. Западнее его остались в окружении и продолжали сражаться одиннадцать дивизий. В этот же день были захвачены Ровно и Бобруйск. 30 июня начальник генерального штаба сухопутных войск Франц Гальдер записал: "Фюреру представляется особенно важным ускорить наступление пехотных соединений группы армий "Север" на Ленинград..."

В этот день генерал армии Мерецков, помня о собственном статусе военного советника, передал через Поскребышева памятную записку на имя Сталина. В ней Кирилл Афанасьевич анализировал создавшееся положение, предлагал срочные меры для выработки стратегической линии текущего момента.

Первого июля Мерецков был вызван к Сталину на его дальнюю, рублевскую дачу. Шел десятый день войны.

Военный советник Ставки не знал, что 22 июня, в шесть часов утра, когда сообщения о повсеместном вторжении вооруженных сил Германии на советскую территорию не вызывали никаких сомнений, нарком иностранных дел срочно связался с Гитлером по прямой линии правительственной связи, она пока еще действовала.

— Будем считать вашу акцию недоразумением, — сказал Молотов. — Мы готовы рассмотреть все претензии рейха и удовлетворить их немедленно.

Действуя с согласия Сталина, поверженного в крайнее смятение, Молотов обещал отдать немцам западные районы Украины и Белоруссии, Прибалтийские республики, согласиться с владычеством Германии в проливах Босфор и Дарданеллы.

— Нет, — ответил Гитлер. — Военная машина запущена, остановить ее не представляется возможным. И даже я бессилен что-либо изменить.

Вот тогда и случился со Сталиным удар. У него отнялась левая рука, язык временно перестал ему повиноваться. Целую неделю не покидал Сталин кунцевской дачи, находясь там под неусыпным наблюдением врачей, работу которых контролировал Берия. Затем вождю стало полегче, он перебрался в район Рублева, где находилась вторая его резиденция, дальняя.

Только на восьмой день войны Сталин был в состоянии вникнуть в ход военных действий, принял с докладом маршала Тимошенко, сказал ему, что необходимо произвести кадровые изменения в наркомате, сосредоточить полноту власти в стране в руках особого органа. 30 июня 1941 года был образован Государственный Комитет Обороны со Сталиным во главе. В этот же день он ознакомился с запиской Мерецкова и потребовал его к себе.

Сейчас Кирилл Афанасьевич мчался в черной эмке на запад. Его вызвали прямо из кабинета в Генеральном штабе, у подъезда усадили в машину с номером, который указывал на принадлежность к НКВД. Рядом сел незнакомый человек с малиновыми ромбами на петлицах, на переднем сиденье устроился еще один сопровождающий, в синей габардиновой гимнастерке без знаков различия.

Человек с ромбами сказал, что Мерецкова ждет товарищ Сталин, и генерал армии понял: это связано с его запиской. Пока они спускались к Москве-реке, а потом мчались по Можайскому шоссе мимо утопавших в садах домиков деревень Фили и Кунцево, генерал вспоминал основные положения своей докладной...

...Еще в бытность начальником Генерального штаба Кирилл Афанасьевич поднимал вопрос о пересмотре Полевого устава Красной Армии 1939 года, в котором недооценивалась возможность вторжения неприятельских войск на советскую территорию. Теперь он понимал, что именно это явилось одной из причин такой неожиданной замены его Жуковым.

Предвоенная теория стратегии отвергала саму идею "молниеносной войны", считала ее однобокой, авантюристической и абсолютно буржуазной. Монопольное право на существование в умах, а главное, в делах военных руководителей страны приобрел принцип, переросший в стойкое убеждение: всякое нападение на Советский Союз будет тут же отбито. А затем боевые действия переместятся за линию границы и завершатся полным разгромом агрессора на его собственной территории.

Поэтому наша военная теория главенствующую роль отводила наступлению. Поражения Польши и Франции объяснялись отсутствием организованного сопротивления, действием внутренних врагов и неоднородным национальным

составом армии в Польше. При этом странным образом забывалось о том, что по национальному признаку Красная Армия еще менее однородна, нежели войска Речи Посполитой. Конечно, в принципе не отрицалась и оборона как отдельный вид вооруженной борьбы. Но обороне отводилась исключительно подчиненная роль, которую она могла играть только на отдельных, незначительных направлениях. Признавался возможным вынужденный отход, но только на локальных участках фронтовой линии, как временное явление, опять-таки обусловленное подготовкой к наступлению.

И уж вовсе никогда не ставился в стратегических играх вопрос, даже предположительно, о том, как выводить из-под угрозы окружения крупные войсковые контингенты. Только за одни разговоры об этом можно было угодить туда, где ни о каких Макаровых телятах и слыхом не слыхали.

Вот об опасности серьезных окружений, а к этому дело шло с первых дней войны, и предупреждал Сталина военный советник, анализируя начало деятельности Ставки...

...Немедленный переход к стратегической обороне — вот главный тезис той записки Сталину, из-за которой генерала армии Мерецкова на огромной скорости мчали сейчас на рублевскую дачу.

Когда Мерецков вошел, Сталин сидел за письменным столом. Одет он был в светло-серый полотняный френч с отложным воротником и большими накладными карманами. А когда поднялся и вышел к замершему у порога Мерецкову, последний обратил внимание, что вождь обут не в привычные сапоги — из-под мятых неопределенного светлого цвета брюк выглядывали носки домашних кожаных туфель.

Левая рука Сталина была на перевязи из черной материи. Молча кивнув Мерецкову, вождь, не подав ему руки, правой показал на мягкое кресло у низкого столика в углу, и Кириллу Афанасьевичу пришлось сесть спиной к приоткрытой двери, ведущей в смежную комнату, за которой явно, генерал армии это нутром чувствовал, кто-то находился.

Кресло, в которое Сталин усадил Мерецкова, было неудобным. Его сиденье заставляло запрокидываться назад, и Кирилл Афанасьевич примостился в неудобной позе на самом кончике. По сути дела, он устроился на корточках, в то время как вождь взял для себя стул с прямой спинкой из ряда стоявших у стены.

Усаживаясь, Мерецков снизу вверх глянул на Сталина, поразился осунувшемуся смуглому с желтизной лицу, рябинки на котором стали еще

рельефнее, четче. "Круто ему пришлось", — участливо подумал Кирилл Афанасьевич и тут же строжил себя, внутренне одернул: а кому сейчас легко...

— Мы познакомились с вашим письмом, товарищ Мерецков, и сочли возможным разобраться с некоторыми вопросами, которые вы поднимаете в этом письме, — медленно подбирая слова, глуховатым и как бы слабо мерцающим голосом заговорил Сталин. — Мы учитываем, что вы исполняли долг военного советника. Поэтому считаем записку документом рекомендательного характера. Я правильно говорю?

— Так точно, товарищ Сталин, — торопливо закивал Мерецков.

— Но прежде чем вернемся к предмету разговора, мы хотели бы услышать, как вы оцениваете военную обстановку на фронте?

Мерецков слегка кашлянул, потом, сдерживая внутреннюю дрожь, принялся говорить о сложившейся на первое июля дислокации. Сведения у него, как и в целом у Генерального штаба, были отрывочными, неполными, и разрывы в них Кирилл Афанасьевич заполнял логическими построениями, рожденными домысливанием за противника, собственной интуицией.

— Главное беспокойство вызывает положение наших войск в районе Бобруйска, товарищ Сталин... Мы стягиваем туда все наличные силы, вводим в бой сохранившуюся авиацию. Успели взорвать железнодорожный мост через Западную Двину у Риги, это не позволило противнику занять город с ходу. На Юго-Западном направлении, где против нас действует семнадцатая армия вермахта, в районе Дубно, окружен наш Восьмой механизированный корпус.

— Почему окружен? — дернулся Сталин. — Кто позволил?..

— До самого последнего времени части Красной Армии получали приказы о проведении только наступательных операций. В условиях когда немцы охватывают наши фланги, вбивают в стыки между соединениями танковые клинья, любое продвижение вперед, в Западном направлении, в отрыве от соседей приведет к неминуемому окружению. И нехватка горючего... Танкисты врывают машины в землю, создают тем самым опорные пункты для оборонительных боев.

— Оборонительных?! — зло фыркнул Сталин. — Агрессор давно должен быть выброшен с советской территории, а ваша хваленая Красная Армия не может справиться с наглецами! Почему Павлов и Кирпонос, которых мы подняли из низов, которым доверили такую власть, не могут организовать достойный отпор врагу?

— Может быть, недостаток боевого опыта подобного масштаба, — осторожно заметил Кирилл Афанасьевич.

— Но почему фашисты беспрепятственно продвигаются вперед? — как бы размышляя вслух и адресуясь в первую очередь к себе, спросил вождь.

...Что мог ответить ему Мерецков? Он вспомнил, как в начале января 1941 года его, начальника Генерального штаба Красной Армии, вместе с первым заместителем Ватутиным и наркомом обороны Тимошенко вызвали в кремлевский кабинет Сталина. В присутствии секретарей ЦК ВКП(б) Жданова и Маленкова вождь предложил Кириллу Афанасьевичу проанализировать недавнюю оперативную игру. Но едва Мерецков принялся излагать суть действий "противника", а под ним, естественно, подразумевалась Германия, Сталин остановил его и спросил, что думает начальник Генштаба об операциях вермахта в Польше, Западной и Северной Европе.

— Германский генеральный штаб полностью заимствовал нашу тактику и стратегию глубокого боя, — ответил Мерецков, вовсе не заметив, как тревожно глянул на него Ватутин, а Тимошенко медленно отвернул лобастую голову и принялся смотреть в сторону. — Они довели до совершенства взаимодействие войск в наступательной операции. Главную роль немцы отводят в ней крупным танковым силам, соединениям мотопехоты и воздушным армиям люфтваффе. Собирают силы в один кулак, стараются разгромить противную сторону в кратчайшие сроки. Наступление ведется высокими темпами, обходя ошеломленного противника на флангах, разрезание линии фронта мощными клиньями, которые действуют по сходящимся направлениям. И еще одно немаловажное обстоятельство, которому немцы придают огромное значение, — фактор внезапности... Опасность со стороны вермахта самая реальная. Порох надо держать сухим!..

Тогда Мерецкову показалось, что Сталин не слушает его, думает о чем-то другом, предостережения генерала армии никакого впечатления на него не произвели. Тут время, которое отвели Мерецкову, кончилось, и ему пришлось прерваться, не завершив разбор игры, не показав, как "синие" могут поставить "красных" в крайне затруднительное положение. Ватутин почувствовал, в какое положение попал начальник, и бросился на помощь. Он попытался вклиниться в разговор. Но Сталин махнул рукою с зажатой в ней трубкой. Жест был крайне очевидным, и Николай Федорович споткнулся на полуслове.

— А что вы думаете по поводу пороха, который так эмоционально изобрел сейчас товарищ Мерецков? — обратился Сталин к наркому обороны. Потом

Семен Константинович говорил Мерецкову, что это не имело тогда ровно никакого значения, но Мерецков всегда помнил: маршал Тимошенко не поддержал его, не разделил опасений...

...Но что он сейчас ответит Сталину на прямой вопрос о причинах безостановочного продвижения немецких войск в глубь страны? Вероломством Гитлера? Упрекнуть самого за то, что он так слепо верил в договор о ненападении, надеялся: сытый Гитлер умерит экспансионистские аппетиты?! Но разве повернется у Мерецкова язык, чтобы произнести в этом доме подобное!.. Опасно рассуждать здесь о сытых и голодных.

Сталин вдруг медленно поднялся со стула, и стало очевидным, что делал это не нарочито, как всегда: ему действительно физически было трудно двигаться быстрее.

...Так вот и тогда, в Кремле, вспомнил Мерецков, он встал и прошелся по кабинету, остановился, затянулся из трубки и пахнул дымом, потом плавным движением руки разогнал дым.

— Маршал Тимошенко просил назначить начальником Генерального штаба товарища Жукова. Ни у кого нет возражений?

Поскольку все посмотрели при этом на Семена Константиновича, тому стоило большого труда скрыть удивление. Он слышал о собственной просьбе впервые. Да и не мог он предлагать именно Жукова, потому как было известно, что со штабной работой Георгий Константинович не знаком вовсе, да и тяги к ней не обнаруживал. Просто Сталин запомнил его выступление на разборе военных игр, в которых Жуков командовал условным противником...

...Но вопрос Мерецкову сейчас был задан, на него следовало отвечать немедленно.

— Фактор внезапности, товарищ Сталин, — сказал Мерецков, внимательно следя за выражением лица собеседника и радуясь тому, что, судя по мелькнувшей в глазах вождя искре заинтересованности он попал в точку.

— Они совершили акт вероломства, — подхватил Сталин, — и потому неминуемо попадут под колесо истории! Что вы предлагаете, товарищ Мерецков?

Кирилл Афанасьевич несколько удивился: ведь все изложено в памятной записке, но, ободренный вниманием Сталина, сразу забыл об этом.

— Теперь мы знаем, что немцы и с нами в современных условиях воюют так, как учил нас самих воевать военный теоретик Триандафиллов...

— А может быть, и Тухачевский тоже? А, Мерецков? — прервал его Сталин. — Если мне не изменяет память, вы были начальником штаба у Уборевича, а потом и у Блюхера?

"Так точно!" — хотел ответить Мерецков, но голос у него пресекся, и Кирилл Афанасьевич только кивнул.

Сталин подошел к столу и взял в руку листки. Мерецков узнал в них злополучную докладную.

— Вы предлагаете Советскому правительству проводить тактику "выжженной земли". — Сталин потряс листками и бросил их на стол. — Взрывать мосты, снимать при отступлении рельсы со шпал, угонять вагоны и паровозы, сжигать хлеб и топливо, угонять скот... А в оставленных Красной Армией районах оставлять группы диверсантов, создавать повсеместно партизанские отряды... Так я вас понял?

Кирилл Афанасьевич снова кивнул. Он хорошо помнил, что еще в 1933 году была выдвинута идея партизанской войны в случае нападения кого-либо на Советский Союз. Были проведены уже и кое-какие организационные мероприятия. Но вскоре возобладал принцип ведения боевых действий на чужой территории, и в условиях господства наступательной тенденции даже говорить о партизанской борьбе стало неуместно.

— Значит, вы считаете положение настолько серьезным, что предполагаете объявить войну всенародным делом? — спросил Сталин. — И не верите больше в возможности Красной Армии?

В вопросе вождя был явный подвох, но Мерецков пренебрег личной безопасностью, ему надо было убедить Сталина в том, что опасность безмерно велика.

— Поймите меня правильно, товарищ Сталин, — горячо заговорил Кирилл Афанасьевич. — Я безусловно верю в Красную Армию! Но ее надо спасать от неминуемых окружений, которые последуют одно за другим, если Ставка будет отдавать противоречивые, не сопряженные с реальной обстановкой приказы войскам. Необходим планомерный отход Красной Армии по всему фронту! Планомерный и повсеместный! Раз уж мы проиграли приграничное сражение, надо воспользоваться территориальными преимуществами и заманивать врага в глубь страны, перемалывать его людскую силу и технику в оборонительных боях. Ведь вы знаете, что наступающий всегда оказывается в худшем положении, ибо из-за трудностей, связанных с растягиванием его коммуникаций, перебоев в снабжении, он вынужден разбрасываться, в то

время как отступающий сокращает коммуникации, ведущие из его тылов, наращивает военный потенциал и те массы, которые противостоят противнику. Надо заставить немцев продвигаться вперед с крайней осторожностью. А наша стратегия должна состоять в строго размеренном отступлении, в навязывании немцам боевых действий в самых невыгодных для них положениях. Потери Красной Армии при ее отступлении будут куда большими, если она отойдет после проигранного сражения, нежели те, которые будут у нас, если мы отойдем добровольно, без паники и разброда в войсках. Неприятель должен погибнуть не столько от нашего меча, говорил Клаузевиц, сколько от собственного напряжения.

— Начитались Клаузевица, Мерецков? — буркнул вождь и повернулся так, что полуденное солнце сделало его правое ухо с несколькими рябинами багрово-непрозрачным.

Вид мясистого уха, не пощаженного оспой, вселил в Мерецкова веселящий ужас, ощущение отчаянной решимости, и на замечание вождя о Клаузевице он дерзко ответил:

— Его внимательно читал, отмечая диалектичность выводов, и Владимир Ильич тоже... А мы все верные ученики его.

Это и решило судьбу Мерецкова. До последней фразы Сталин полагал отпустить генерала армии подобру-поздорову, резонно рассудив, что в его советах присутствует здравый смысл. Более того, перед появлением Мерецкова Сталин раскрыл книгу Клаузевица "О войне" и внимательно прочитал главу, называвшуюся "Отступление внутрь страны". И не сошлись Кирилл Афанасьевич на авторитет Ленина, который действительно высоко ценил теоретический труд Клаузевица, было бы с ним иначе... Но Сталин никому не позволял его действия соотносить с поведением того человека.

— Идите, товарищ Мерецков, — равнодушным голосом сказал он и медленно повернулся к генералу армии спиной. — Мы подумаем над вашими словами.

Уже в дверях Кирилл Афанасьевич почувствовал, что из смежной комнаты в кабинет Сталина кто-то вошел, но узнать в этом человеке Берию не успел.

— Каков гусь?! — воскликнул Берия на грузинском языке.

Сталин не прореагировал на выпад Лаврентия Павловича. Он думал.

Берия выжидательно молчал.

— Сегодня Пятая армия Потапова начала отход на линию старых укрепрайонов, — проговорил Сталин. — Ты, Лаврентий, так и не успел привести их в порядок...

— Но ведь все силы НКВД были направлены на создание второй линии Сталина у самых границ! — воскликнул Берия.

— Где она, вторая линия? Там давно уже немцы. Они идут прямо на Киев! Если бы не Потапов и Рокоссовский...

— Какой Рокоссовский?

— Тот самый... — поморщился Сталин.

— Прости меня, Сосо, только я не доверяю бывшим зекам...

— Замолчи! — закричал вдруг вождь.

Берия вздрогнул, съежился, снял пенсне, принялся протирать кусочком замши, который он носил в нагрудном кармане пиджака. Лицо его, лишенное зловеще поблескивавших стекол, стало невыразительным и безвольным.

— Может быть, ты сам поедешь на фронт, Лаврентий? — насмешливо спросил Сталин. — Примешь под свое командование армию, а то и целый фронт... Согласен?

Берия растерянно молчал.

— То-то! Ты готов всех моих генералов перестрелять... С кем я тогда воевать буду? Рокоссовский на деле уже доказал, что мы были правы, поверив ему. Пусть берет армию на Западном направлении, оно сейчас самое ответственное.

— А с ним что будем делать? — приободрившись, спросил Берия, и Сталин понял, что речь идет о Мерецкове.

Вождь задумался, и Берия почтительно ждал ответа. Затем нетерпеливо щелкнул пальцами.

— Нет, — решительно не согласился Сталин, потом продолжил в неспешной манере: — Мерецков — хитрый русский мужик. И довольно упрямый русский мужик... Любит исторические параллели, понимаешь, проводить. Вот это его качество и не устраивает нас. Но поскольку кадры решают все, надо постоянно воспитывать людей, в том числе и Мерецкова. Ты понял меня, Лаврентий? Воспитывать!

Берия согласно кивнул.

-9-

...Военный советник Ставки генерал армии Мерецков арестован был на следующий день.

Когда 3 июля Сталин прямо из Кремля, отказавшись от подготовленной для него студии на Центральном телеграфе, выступил по радио с обращением к

народу, Мерецков сидел уже во внутренней тюрьме НКВД на площади Дзержинского, бывшей Лубянской.

С речью вождя Кирилл Афанасьевич познакомился только в сентябре 1941 года, когда был отпущен на волю. Его поразило, что почти все мысли, высказанные им в памятной записке, нашли отражение в сталинском обращении к народу. Конечно, в докладной Мерецкова не было патетического "Братья и сестры! К вам обращаюсь, друзья мои...", но идеи "выжженной земли", партизанской войны, перехода к всенародной борьбе с супостатами были высказаны Сталиным в прямой и откровенной форме.

К сожалению, военную сторону концепции Мерецкова Сталин не воспринял. Стремление во что бы то ни стало отыграться, немедленно наказать Гитлера за то, что тот поставил его, великого стратега, мягко говоря, в дурацкое положение, толкало его, оправившегося уже от психологического срыва и взявшего военные бразды в собственные руки, на непоследовательные действия. Именно эта непоследовательность, обусловленная желанием немедленно исправить положение, остановить захватчиков не там, где это удобнее Красной Армии, а там, где хочется вождю, привела к неоправданным потерям в Белоруссии и на Смоленщине, на Днепре и в Донбассе и едва не завершилась утратой Москвы и Ленинграда.

Теперь Мерецков знал и о том, что Сталин отверг разработанный Генштабом план стратегической обороны на 1942 год, и командующий Волховским фронтом старался не думать, к чему это приведет. Он сосредоточивал волю и командирское умение на решении тех задач, которые были поручены лично ему.

Кирилл Афанасьевич понимал, что и 2-я ударная армия, которая делала погоду для всего фронта, и остальные три армии на Волхове являются частью общего организма Вооруженных Сил страны. И ошибки стратегического порядка, допущенные в Ставке, обязательно ударят и по тем, кто рвется сейчас к осажденному Ленинграду. ...Он закрыл том "Войны и мира", заложив меж страницами тонко очиненный карандаш, и посмотрел в окно, за которым ярилась снежная круговерть.

"Пурга-то какая, — подумал Мерецков. — И не первый день... Спасибо природе. Люди хоть отдохнут от бомбежки".

Заболел Яша Бобков вовсе некстати. Пятого марта Иван Васильевич Зуев, у которого Яков еще до начала войны служил порученцем, получил новое

назначение и на следующий день выехал из деревни Бор, где размещался их штаб, в Малую Вишеру.

— А ты лежи, казак, — сказал он Бобкову, — пока температура не спадет... Потом догонишь. Я ведь по соседству буду, не за тридевять земель еду.

Порученец шибко за комиссара переживал, знал, что тот пробирается во 2-ю ударную армию довольно опасной дорогой, неровен час, попадет под артобстрел или бомбежку.

Но Иван Васильевич был пока еще в штабе Волховского фронта. Доложился Мерецкову и члену Военного совета фронта Запорожцу, познакомился с оперативной обстановкой на позициях армии Клыкова, с которым ему предстояло воевать вместе. В разведотделе дивизионному комиссару рассказали о соединениях фашистов, которые противостоят 2-й ударной.

Через неделю Яков решил, что достаточно окреп, не подведет комиссара там, где, по сути, в тылу врага сражается 2-я ударная. Он снялся с довольствия, получил предписание и отправился в Малую Вишеру. В политуправлении фронта о нем позаботился старый знакомый по службе в Прибалтике дивизионный комиссар Рябчий.

— Через коридор у Мясного Бора поедешь ночью, — сказал он. — Вот карта с маршрутом, и привет Васильевичу передавай. ...Мгла стояла кромешная.

— Мясной Бор, — негромко произнес водитель полуторки. Он вез снаряды и сейчас остановился, поджидая отставшие машины автобата.

— Где? — спросил Бобков, вытягивая шею, прильнув к лобовому стеклу.

Водитель, сорокалетний здоровяк, казавшийся юному политруку пожилым человеком, неопределенно и как бы насмешливо даже повторил:

— Тут он, Мясной Бор, вокруг нас.... Конечно, на самом деле его давно нет, в январе тут к хренам все размололи, и сейчас еще молотят. Да только земля-то эвонная, Мясного Бора.

Он отключил двигатель и стал прислушиваться: не подъезжают ли отставшие товарищи.

Яков был подавлен темнотой, настороженной тишиной и невидимым Мясным Бором, которого не существовало, но тем не менее окружал он их, таинственный и зловещий, обросший солдатскими легендами и отнюдь не веселыми байками о гибельности самого распроклятого на Волховском фронте места.

— В командировку али насовсем? — спросил водитель.

— Насовсем, — ответил Яков, не заметив, как двусмысленно прозвучал его ответ.

— Трудновато там, парень, — с братской участливостью сказал водитель.

И вдруг в стороне, куда они собрались ехать, вспыхнуло от снарядных разрывов небо. Звук разрывов пришел немного позднее. Артиллерийская стрельба велась с обеих сторон. Ближе к правому флангу коридора (по карте Яков знал, что там расположена Спасская Полисть) возник пулеметный огонь, доносился треск автоматных очередей.

— Паскуды, — спокойным голосом определил водитель. — Просочились к дороге и оседлали ее.

— Значит, они закрыли проход? — удивленно спросил политрук.

— Ничего это не значит, — буркнул водитель. — Сейчас там с ними разберутся... Такие фокусы немцы постоянно выкидывают. Но силов наглухо закрыть проход недостает пока у них, у пришмандовок.

Хотя и молод был Яша Бобков, но военный опыт имел, от самой границы отходил с боями. Невесело сделалось ему от того, что услышал. А тут еще командир с двумя солдатами к машине подошли, проверили документы и подтвердили: да, прорвалось до роты немцев, ехать пока нельзя.

"Как же они воюют при таких ненадежных коммуникациях?" — подумал Яков. Сам политрук не связывал еще себя и Ивана Васильевича с армией, для которой их полуторка везла снаряды.

Стрельба в горловине прорыва то затухала, то разгоралась вновь. Прошло более часа, прежде чем она сместилась вправо. Вспыхивающие за окаемом зарницы стали слабее, перестали ухать разрывы снарядов. Незаметно подкралась и навалилась на окружающее пространство, которое называли Мясным Бором, всепоглощающая темнота.

Водитель уловил шум двигателей позади, вывалился из кабины, сбегал узнать, не его ли товарищи прибыли. Пока он отсутствовал, снова появился патруль. Это были уже другие люди. Они тоже проверили документы у политрука и разом подоспевшего водителя. Тогда и узнал Яков, что фамилия шофера была Фирсов. Командир, проверявший документы, сказал:

— Спокойной дороги вам, политрук. А ты, Фирсов, гляди в оба. Авось опять вернешься с гостинцем.

Когда отъехали от поста с километр, Яков спросил:

— Какие гостинцы молено привезти отсюда?

Повеселевший оттого, что личность он, оказывается, непроходная, Фирсов добродушно фыркнул.

— Известно какие... Двух "языков" им доставил. Хотели гансы меня уконтрапупить, да не вышло. Сами в навар угодили.

И Фирсов рассказал, что в прошлом рейсе отстал он от колонны, — как на грех, спустило колесо. Пока ставил полуторку на домкрат, приноравливал к ступице запаску, рассвело... Тут и вышли на него из леса четверо.

— Так прямо и ходят по дороге? — удивился Яков.

— Просачиваются... Мы к ним, они к нам. Вроде как на охоту. А шофер у машины — добыча простая. "Хенде хох!" — и в дамках. Вот потому и охамели. Чего там с ним, шоферюгой, валандаться. Бдительность, значит, и потеряли. Двоих я самолично положил, а парочку прихватил с собой. Один из них даже водителем оказался, до войны буржуя возил. Он мне и запаску ставил...

— Как так? — не понял политрук. — А второй?

— Сначала я этому шоферюге велел камрада своего связать и в кузов бросить, а потом работать заставил. А когда колесо на месте было, сам его скрутил и сунул в кабину. Так и довез до Мясного Бора.

"С ним не пропадешь", — подумал Яков, и тут он, наверно, задремал, ибо толчок резко остановившейся машины заставил вернуться в реальный мир, который сознание политрука восприняло не сразу. "Еду на фронт, к Ивану Васильевичу", — сказал себе Яков, чтобы окончательно стряхнуть временное оцепенение, и услыхал, как с водителем кто-то разговаривает.

— В кабине товарищ политрук, — ответил Фирсов.

Теперь Яков видел, что небо посерело, в середине марта, рассветы все дальше забираются в глубину ночи. Остановивший машину человек встал на подножку и сунул голову в кабину.

— Старший лейтенант Кружилин, — представился он. — Есть просьба, товарищ политрук... Если вы до Ольховки, подбросьте двух моих ребят с "языком". Надо его в Особый отдел армии доставить, майору госбезопасности Шашкову лично.

— Пусть садятся в кузов, — сказал Бобков. — Вы тоже с ними?

— Нет, — улыбнулся Кружилин. — У меня другие дела. Он спрыгнул с подножки и крикнул в сторону:

— Сержант Чекин! Давайте пленного сюда! Поедете с этой машиной в штаб.

Когда неожиданные пассажиры устроились на ящиках со снарядами, укрытыми брезентом, Фирсов повел полуторку в неведомую для Якова Ольховку.

Полковник Рогов получил сведения о том, что немцы накапливают силы в северной части горловины прорыва, одновременно подтягивая резервы к Подберезью. Александр Семенович долго сидел над картой, пытаясь смоделировать ход размышлений германского командования. По всему выходило, что главный удар фашисты нанесут с севера. Утвердившись в этой мысли, он стал суммировать агентурные сведения, чтобы подготовить доклад командарму, и в этот момент зазвонил телефон.

— Мое почтение соседу, — послышался приветливый голос начальника Особого отдела. — Что нового?

— Утешительного мало, — ответив на приветствие, проговорил Рогов. — У противника наблюдается оживление...

— И я по тому же поводу, — сказал Шашков. — Мои ребята доставили "языка". Интересный тип! Рассказывает о серьезных приготовлениях немцев.

Начальник разведотдела хотел было съязвить по поводу того, что сосед занимается не своим делом — "языки" не по части особистов проходят, у них иные задачи, — но промолчал. Во-первых, подначивать этих людей — себе дороже. А во-вторых, Александр Георгиевич Шашков был вовсе не похож на тех, кого обычно знал Рогов. Присматриваясь к нему, Александр Семенович понял: Шашков — чекист революционной закваски. Даже странно, что уцелел он в свистопляске тридцать седьмого года, когда у мужественных обитателей Лубянки, не пожелавших стать палачами, рубили собственные головы.

Только вот преодолеть неприязнь к соседям Рогов в принципе не мог. Слишком свежи были воспоминания о том времени, когда военных разведчиков, которых он сменил в Маньчжурии, арестовывали прямо на Ярославском вокзале и после трагикомедии следствия и суда ставили к стенке как врагов народа. И не только тех, кто приехал из Северного Китая. Разгром Четвертого, разведывательного, управления Генерального штаба РККА велся повсеместно, был уничтожен и начальник его — Берзин, знаменитый Старик.

Особенно уязвляло Рогова, когда его боевым товарищам, верным сынам партии и народа, подвергавшимся за кордоном ежеминутной смертельной опасности, предъявляли в качестве обвинения связь с буржуазией. "Нас и посылали туда для этой самой связи !" — мысленно восклицал Александр Семенович, апеллируя к руководству НКВД или тем, кто за этим руководством стоял.

Возмущаться-то он возмущался, но только молча: вслух об этом говорить было равносильно самоубийству. Но заставить себя отвечать взаимностью на теплое

отношение к нему особиста не мог. Предупредителен был и вежлив, не больше. Хотя и понимал: лично Шашков к этим делам не причастен. Но перебороть чувство настороженности Рогов был не в состоянии.

— Мы его вам потом передадим, немца, — продолжал Александр Георгиевич. — Официально... А если хотите прямо сейчас послушать — милости прошу к нам.

"Когда тебя так вежливо приглашает начальник Особого отдела — надо идти", — усмехнулся Рогов.

-11-

...Пленным немцем, которого отправил с полуторкой Фирсова в Ольховку Кружилин, был захваченный бойцами его роты обер-лейтенант Теодор фон Бюлов. Недавно прибыв в Сиверский, он был прикомандирован к ведомству Ганса Шиммеля. Старый разведчик направил фон Бюлова в Чудово и Спасскую Полисть, где размещались и готовились к наступлению на Мясной Бор вновь прибывшие подразделения, призванные укрепить группу "Яшке". Молодому офицеру абвера захотелось принять личное участие в операции по прощупыванию северного участка горловины прорыва, которую решено было провести силами двух рот.

После артиллерийского удара по переднему краю противника автоматчики спецотряда прорвались к дороге, ведущей от Волхова в мешок, завязали бой с подоспевшими из глубины красноармейцами.

Тут же оказалась и рога Кружилина, у которой были схожие функции: проверить уровень назревающей опасности со стороны Спасской Полисти. Две силы столкнулись. После ожесточенного ночного боя немцы, не любившие, кстати говоря, воевать в это время суток, отошли назад, подобрав раненых. А Теодор фон Бюлов, как говорится, живой и здоровый, угодил в плен, не успев уничтожить документы и предписание, подписанное Шиммелем. Едва Олег Кружилин узнал по бумагам, какую птицу заловили его ребята, он решил, что такой "язык" позарез нужен в штабе армии. А поскольку его шефом был начальник Особого отдела, он и отправил гостинец Александру Георгиевичу лично, в собственные руки.

Сейчас Теодор фон Бюлов сидел в кабинете Шашкова, прихлебывал из фаянсовой кружки настоящий кофе. "Премия ему за толковый рассказ", — усмехнулся Шашков. Немец уточнял для Рогова, какие новые подразделения прибудут в Чудово в ближайшие дни.

— Собственно говоря, формирование группы "Яшке" закончено, — сказал абверовец. — Мы начали б наступление неделю назад, но подвела погода...

Рогов и Шашков переглянулись. Значит, стычка в горловине, когда Кружилин взял в плен этого немца, была разведкой боем. Главный удар может быть нанесен в любой момент.

— Надо срочно сообщить об этом Первому, — сказал Александр Семенович, поднимаясь.

Шашков кивнул и вызвал конвой.

— Пусть допьет кофе, — распорядился он. — Потом готовьте его к отправке в штаб фронта.

У Клыкова, к которому они оба вошли, предварительно доложившись, находился Зуев, новый член Военного совета. Командующий кивком пригласил вошедших садиться, а комиссар улыбнулся им и продолжал говорить, обращаясь не только к командирам, но и к Рогову с Шашковым.

— Тут мы с командующим про оборону в условиях болотистой местности размышляем, — сказал Зуев. — У Николая Кузьмича опыта не занимать, с прошлой осени здесь воюет...

— По мне бы, не оборонять болота, а побыстрее выбраться из них, — проговорил Клыков.

— А кто против? — сказал Иван Васильевич. — Но может статься, что нам придется оборонять захваченные уже рубежи. Есть резон еще раз обратить внимание на особенности войны в весеннюю распутицу, ведь она уже не за горами. Надо учесть, что болота, которые без специально проложенных гатей для пехоты непроходимы, станут естественными препятствиями для немецкого наступления. Ведь переправа через них еще более затруднительна, нежели через реки. С другой стороны, если будем организованно пользоваться ими, то коммуникации армии станут неуязвимыми, ибо гать вовсе не мост, который можно разрушить до основания. Значит, дороги, дороги и еще раз дороги! Мы обязаны обезопасить тылы от любых неожиданностей.

— Одна из них, кажется, назрела, — вклинился в разговор майор госбезопасности Шашков. — Полковник Рогов располагает достоверными сведениями на этот счет.

— Давай-давай, разведка, — грубовато поощрил Рогова командующий. — Докажи, что твои люди не зря едят хлеб.

Начальник разведотдела вздохнул. Сколько раз приходилось выслушивать ему необоснованные упреки в плохой работе его товарищей! "Наша разведка не ест

хлеб даром", — мысленно ответил Рогов командарму, но вслух принялся говорить о том, что узнал от собственных агентов и Теодора фон Бюлова, абверовского офицера.

— Ну что же, — сказал Клыков, выслушав начальника разведотдела, — дело ясное: немцы вот-вот полезут с флангов и постараются захлопнуть ловушку, которую мы сами себе соорудили.

Николай Кузьмич выругался в сердцах, остальные сочувственно промолчали. Все эти трудные недели командование фронта, подвергаясь само в свою очередь понуканиям Ставки, гнало и гнало 2-ю ударную армию вперед, расширяя освобожденную от оккупантов территорию. А горловина прорыва, надежность флангов которой обеспечивали целых две армии, оставалась под постоянной угрозой. И то, что было жизненно важным для клыковцев, находилось в ведении других командармов, дивизиям которых окружение отнюдь не грозило.

— Все это так, — согласился Зуев, — но воевать по-другому нам уже поздно. Армия очистила от врага огромную территорию. Надо думать о том, как сохранить ее и приумножить. Либо ценой утраты части отвоеванного пространства приобрести более выгодные плацдармы.

— Нельзя наступать бесконечно долго, не пополняя людские ресурсы, вымаливая у фронта снаряды поштучно, — сказал Николай Кузьмич. — Порою в оборонительных боях нанесешь противнику больший урон и сохранишь собственных бойцов. А вот когда с голыми руками лезешь на стенку...

Иван Васильевич согласно кивнул. Он уже неплохо представлял себе положение, в котором оказалась 2-я ударная. В Малой Вишере Мерецков и Запорожец убеждали его: надо стоять на первом варианте. Это означало — армии наступать, а фронту выбивать для нее у Ставки резервы. И хотя комиссар Зуев не знал действительного положения в стране, он по ряду косвенных признаков понимал: к глобальному наступлению мы еще не готовы.

— Надо срочно сообщить об этих сведениях Мерецкову и Запорожцу, — сказал член Военного совета. — Пусть предупредят наших соседей...

Отправив пленного в Особый отдел, Олег Кружилин собрал роту и в пешем строю отправился к южной части горловины прорыва, в тот оборонительный стык, который образовывали боевые позиции двух стрелковых дивизий. Он знал: главный удар по коммуникациям армии будет нанесен противником с севера, но считал возможным одновременное наступление с противоположной

стороны. Имело смысл разведать немецкий передний край у Замошского болота.

За время пребывания в должности командира роты специального назначения Кружилин стал привыкать к необычному статусу, который в общем и целом пришелся по душе, потому как соответствовал его инициативной натуре. Задания Кружилин получал неординарные, а для выполнения их ему была предоставлена полная свобода действий. По сути, его рота стала диверсионным отрядом с одновременным возложением на него задач по обеспечению безопасности тылов наших войск от действий немецких лжепартизанских отрядов, которые должны были беспокоить наши тылы, перерезать коммуникации частей и нападать на их штабы.

Такая игра с противником в кошки-мышки, в которой Кружилину отводилась роль кота в хозяйском амбаре, пришлась ему по душе. В конце концов Олег был молодым парнем и его философское образование, эрудиция, военный опыт финской кампании и суровых месяцев Отечественной войны подвигали на редкую в условиях гигантского, четко организованного убойного механизма возможность лично определять способы и приемы уничтожения пришельцев. Неделю назад Олег Кружилин подобрал у разоренного дома, в деревне Финев Луг полуразорванную книжку. Она была раскрыта на странице с приведенным там текстом фрагмента сочинения Гераклита. Находка поразила Кружилина. По сохранившемуся титульному листу он узнал, что это первый том выпущенной в Казани в 1914 году монографии А. Маковельского "Досократики".

Финев Луг и Гераклит! "Пути Господни неисповедимы", — усмехнулся Кружилин, бережно обтер книгу и велел сержанту Чекину спрятать в вещмешок, а когда выдалось свободное время, перелистал "Досократиков", остановился на текстах Гераклита, учением которого интересовался в университете.

Сейчас он снова задумался над одним из важнейших тезисов Гераклита, который издавна вызывал споры исследователей. "Следует знать, — заявил во время оно мудрец из Эфеса, — что война всеобща и что правда — борьба и что все происходит через борьбу и по необходимости". На первый взгляд казалось, что Гераклит спорит с извечным представлением о войне, как о губительном для человечества явлении, восхваляет разрушительное начало, проповедует вселенскую вражду всех против всех.

"Но ведь это вовсе не так, — размышлял Кружилин. — Не битву или сражение возвеличивает Гераклит, это было бы слишком просто для него. Нет, эфесец

интуитивно формулирует закон единства и борьбы противоположностей, который лежит в основе диалектического устройства бытия. В борьбе он усматривает источник постоянного обновления жизни. Разрушая все отжившее, борьба помогает родиться новому... Но что возникает взамен тех личностей, которые ежеминутно погибают от Мурманска до Крыма? Что нового рождается в результате их смертей? Ведь каждый человек — Вселенная! И ни одна личность не имеет аналога, каждый человек уникален, хотя интеллектуальные возможности моих современников все те же, что две и три тысячи лет назад, когда жили Анаксимандр и Сократ, Гераклит и Диоген Синопский. Что знаем мы о нашем веке? Каков будет следующий, двадцать первый от Рождения Христова?.. Поистине: "Вечность — это ребенок, который забавляется игрой в шашки". Нет, Гераклит, сумевший понять это, знал еще нечто такое, что я, его далекий предок, никак не могу ухватить..."

...Рота Кружилина медленно, но верно передвигалась в заданном направлении, следом за высланным вперед боевым охранением. В охранение Олег определил надежных ребят, хотя все они были у него как на подбор, одеты и обуты куда как добротно, вооружены отечественными автоматами, а кому не хватило отечественных — носили трофейное оружие. Это категорически возбранялось, но для кружилинских бойцов Особый отдел позволил такую вольность: свои ведь, и опять же спецподразделение.

Были у Кружилина и лошади, десятка два сумел его старшина роты Влас Иванович Дорошенко добыть разными путями, о путях этих Олег не спрашивал. Верхом перемещались те, кто был выслан вперед, имелись кони у связных и взводных командиров. Доброго жеребца по кличке Холуй нашел Влас Иванович и для комроты. Да трое санок-одиночек имелось в хозяйстве. На двух установили "максимы", а третьи передали военфельдшеру Дроздову. Тут тоже было отличие: на обычную роту полагался рядовой санинструктор, а Кружилину определили лейтенанта медицинской службы.

Рота шла по рокадной дороге, она соединяла тот пучок зимников, который, сузившись у Мясного Бора и одолев горловину порыва, расходился затем в сторону нескольких населенных пунктов. Дороги эти накатывались прямо по снегу, и не надо было обладать особым воображением, чтобы представить себе, какими станут эти пути через две-три недели.

Думал об этом и Олег Кружилин, но гнал тревожные мысли, резонно полагая, что высшее командование знакомо с извечным правилом: после зимы наступает весна, а за нею катится лето. Вообще-то командир роты нередко задавался

вопросами, не входившими в круг его прямых обязанностей. Но сомнениями ни с кем не делился. Когда же становилось невмоготу от несоответствия того, что говорилось в обозримом прошлом и происходило на самом деле, а ответов на главный вопрос нынешнего бытия — почему немцы хозяйничают в Новгороде и едва не захватили Ленинград — Кружилин не находил, Олег начинал думать о Марьяне.

Он сумел передать ей три записочки с оказией и от нее получил два письма. Это, конечно, хорошо, но вот встретиться бы... Но рассчитывать на такое пока не приходилось — беспокойную службу удружил Олегу майор госбезопасности Шашков. Правда, он обещал дать им вскорости трехдневный отдых: ведь роте надо помыться, обстираться, а то в лесах люди совсем запаршивели.

Навстречу прошла батарея гаубиц, впряженных в вездеходы, на время они отравили чистый воздух морозного утра. Метель стихла еще вечером, и день обещал быть солнечным. Старший лейтенант с тревогой посмотрел на ясное небо. Лес вокруг становился редким, и в случае налета укрыться роте почти негде.

"Надо накормить людей горячим, — подумал Олег. — Светло, костры жечь можно... И пусть подремлют часок, пока тихо".

— Привал! — приказал Кружилин.

...Он сидел на поваленном дереве, у развилки двух зимних дорог, сидел спиною к перекрестку и пил фруктовый чай, его прислали с подарками из Средней Азии. Вкусом сладкая жидкость, ординарец не пожалел для компоты сахара, напоминала компот, который готовила мама. Олежка любил его пить горячим, обжигаясь, глотая размякшие сухофрукты...

Командир роты расслабился и, наверное, задремал. Во всяком случае, не услышал шагов за спиной. Но когда мягкая ладошка вдруг закрыла ему глаза, он сразу понял, что это Марьяна.

-12-

В свободное от государственных забот время Гитлер любил просматривать секретные досье. Многочисленными равными службами рейха они были заведены на всех его ближайших помощников и тех государственных деятелей, с которыми фюреру приходилось так или иначе общаться. Велось и объемистое "Дело Сталина", в которое по крупице вносились разнообразные сведения — от подлинных документов до сомнительных анекдотов. Его пополняли и ведомство

адмирала Канариса, и заграничная разведка РСХА, и секретная служба министерства иностранных дел.

Гитлер полагал, и не без оснований, что досконального знание сильных и слабых сторон бывшего союзника, а теперь главного противника, осмысление таких подробностей его невиданного возвышения в государстве, о которых не знала широкая публика, изучение механизма безмерного усиления личной власти советского вождя помогут ему, фюреру германского народа, успешнее и с меньшими потерями совладать с врагом номер один.

Дотошное знакомство с жизнеописанием Сталина пробуждало в Адольфе Гитлере двойственные чувства. С одной стороны, его самосознание тешило некое сходство определенных психологических пружин, действие которых заставляло двух таких разных людей совершать одинаковые поступки. С другой — Гитлера, склонного к мистике и ведовству, раздражало и порой даже пугало буквальное совпадение жизненных установок, которые предлагала им судьба. Ну вроде, скажем, такого факта, что оба они сыновья сапожников. Кроме того, у того и другого были равные основания сомневаться в фактическом отцовстве скромных родителей, и воображение, отягощенное вполне естественным и понятным комплексом неполноценности, рождало головокружительные версии, благо у них всегда был на памяти пример сына плотника из Назарета.

...Вчера Гитлер покинул штаб-квартиру близ Растенбурга в Восточной Пруссии, откуда с начала войны управлял действиями вермахта на восточном фронте, и в тот же день прибыл в Берлин. Накануне отъезда он принял Гальдера, который сообщил, что погода на волховском участке наладилась, и Кюхлер начинает операцию по окружению группировки генерала Клыкова.

— Отбиты атаки противника к югу от Донца, — продолжал начальник генерального штаба. — А вот в полосе группы армий "Центр" разразилась небывалая метель, все боевые действия прекращены. Правда, по северному флангу девятой армии русские успели нанести несколько сильных ударов.

— Похоже, они всерьез приняли нашу дезинформацию об операции "Кремль", — усмехнулся Гитлер.

— Это так, — подтвердил Гальдер. — По сведениям разведки, противник поверил в то, что мы собираемся возобновить новое наступление на Москву, и выставил нам на пути значительную часть своих резервов. Теперь меня беспокоит ладожский участок, — продолжал Гальдер. — Армия генерала Федюнинского продолжает продвигаться на Любань.

Гитлер нахмурился. Он вспомнил вдруг поездку в этот заваленный снегом городок, неприятное общество Франко, перед которым надо было играть роль любезного хозяина.

— Что вы намерены предпринять? — спросил фюрер.

— Готовим контрудар в районе Погостья. Между двумя армиями русских нет координации действий, они подчинены разным фронтам и наступают на Любань в разное время, как бы по очереди. Это дает нам возможность маневрировать резервами.

— Так и поступайте впредь, Гальдер. Удачный маневр на войне сродни вдохновению, вдруг посетившему художника...

Весь следующий день, 16 марта, Гитлер провел в Берлине, довольно долго разговаривал с гауляйтером столицы рейха доктором Геббельсом наедине, обкатывал на верном соратнике идею нового закона, который должен был принять рейхстаг. Речь шла об официальной передаче Гитлеру, руководителю народа, верховному главнокомандующему вооруженными силами, главе государства и вождю партии, ничем не ограниченных прав.

Настроение у фюрера было приподнятое. Вчера он заявил в кругу тех, кто помогал ему управлять тысячелетней империей, что нынешним летом русская армия будет уничтожена. Сегодня ему сообщили, что наступление противника в районе Керчи и на остальных участках фронта группы армий "Юг" выдохлось... На западном направлении обстановка стабилизировалась, а в районе Погостья русские отброшены. Наступление же против попавшей в мешок 2-й ударной армии развивается успешно. Еще немного — и ловушка захлопнется.

Порадовало Гитлера и сообщение о том, что испытание нового химического отравляющего вещества "Трилон" прошло успешно.

"Если до лета русские не поднимут руки, я задушу этот проклятый город газами", — с ненавистью подумал он о Ленинграде, пожалев, что не может сделать это уже сейчас. Специалисты доказали фюреру: химическое оружие куда эффективнее работает в летнее время.

На вечер он пригласил поужинать в неофициальной обстановке доктора Геббельса с супругой и еще нескольких видных представителей партии и армии. Но рейхсминистра пропаганды Гитлер просил прийти пораньше, хотел согласовать с ним очередное обращение к армии и народу. Когда Геббельс вошел к фюреру, тот сидел на диване, у освещенного торшером столика орехового дерева, просматривал тонкую папку с документами.

— Садись, Йозеф, — дружеским тоном предложил Гитлер. — Я хотел обсудить с тобой тему выступления, но Борман занял мое время этим неожиданным материалом. Не знаю, право, не знаю, как и отнестись к нему.

Фюрер полистал подшитые листки, закрыл папку и отодвинул ее.

Геббельс понял, что его не приглашают ознакомиться с содержимым, и выжидательно молчал.

— Эти документы говорят о том, что Сталина не было в Москве во время этого парада на Красной площади, вокруг которого они подняли такой шум, — пояснил Гитлер.

— Я знал об этом, — спокойно ответил Геббельс. — И говорил вам, мой фюрер, когда мы смотрели этот так плохо смонтированный хроникальный фильм, где войска идут в сплошной метели, а Сталин выступает в то же самое время при ясной погоде.

— Фильм — это пустяки, — отмахнулся Гитлер. — Твои кинооператоры, Йозеф, могут проделывать и не такие фокусы. Здесь вот, — постучал костяшками пальцев по папке, — Борман представил мне доказательства. Если это, разумеется, не фальшивка... Речь идет о том, какие шаги предпринял Сталин, чтобы никто не узнал о его трусливом бегстве из Москвы.

Глаза у Геббельса загорелись. Он вскочил и взмахнул руками.

— Так это же сенсация, мой фюрер! Пропагандистская бомба! Значит, не было его на параде, не читал Сталин и юбилейный доклад... Потому-то и не появилось о последнем событии ни одной фотографии в советских газетах! Так-так-так... Все становится понятным. Дайте мне эти документы, мой фюрер, и завтра же об этой уловке узнает весь мир! Мы пригвоздим...

Геббельс весь подался вперед и, припадая на укороченную ногу, сделал два судорожных шага к столику, где лежала такая страшная папка. Протянутая рука его дрожала...

— Нет, — резко и решительно ответил Гитлер и потянул документы к себе. — Я хочу сам разобраться... Сам!

Геббельс вздрогнул от хлесткого, как выстрел, "Нет!" фюрера, попятился, обессиленно опустился на диван, пожал плечами. В глазах его застыло недоумение.

— Оставим это, — вяло помахал рукою над столиком Гитлер.

Геббельсу вдруг показалось, что фюрер забыл, зачем он приглашал его. Еще сегодня такой оживленный, если не сказать взбудораженный, во время обсуждения законопроекта об исключительных правах вождя империи и

народа, Гитлер выглядел подавленным, отсутствующий взгляд его блуждал. Фюрер сунул сложенные вместе ладони между колен и сидел так, ссутулившись, опустив подбородок на грудь, несколько минут. Геббельс не решался нарушить молчание, ждал, терзаясь в догадках о причинах такого состояния Гитлера.

Наконец Гитлер поднял голову, удивленно, как показалось рейхсминистру, посмотрел на злополучную папку, потом перевел взгляд на Геббельса, небрежно кивнул ему, будто ободряя, медленно поднял документы со стола и плоскостопо зашаркал к сейфу, который скрывался в стене, прикрытый натюрмортом одного из малых голландцев. Фюрер ценил их за правдоподобие и тесную связь с реальной прозой жизни.

Часть стены с картиной отвернулась, обнажая зев стального хранилища, и необыкновенный материал исчез в глубине.

У Геббельса мелькнула крамольная мысль: не узнать ли подробности у Мартина Бормана, подготовившего эти документы? Но ему тут же вспомнилось, каким тоном произнесено было короткое "нет", и рейхсминистр выбросил едва зародившееся намерение из головы... А Гитлер закрыл сейф и стоял у стены неподвижно. Наконец он быстро поворотился и пошел к привставшему Геббельсу, широко улыбаясь, глаза фюрера маниакально блестели, он протягивал гостю руку и быстро-быстро говорил, привычно загораясь, будто выступал на партийном митинге.

— Как хорошо, что ты пришел пораньше, Йозеф, мой старый товарищ по борьбе! Я знаю твой острый ум, блестящие способности идеолога нашей партии и фатерланда... Выступление перед народом мне хочется посвятить взаимоотношениям духа и рассудка. Если рассудок всегда стремится к ясности и определенности, и эта черта присуща немцам, то арийский дух нации обязан проникать в неведомое. Но духу человека трудно идти вместе с рассудком по единой дороге логических рассуждений. Если дух будет следовать логике, он довольно скоро придет туда, где все ему будет чужим и даже опасным. Рассудочное противостоит духовному! И наоборот... Вот почему я считаю: дух человека и его воображение всегда должны находиться в царстве Случая. Только нищие духом пребывают в жалкой необходимости! Но истинному духу по плечу неисчисленные богатства возможного... Когда отвага и смелость солдата вдохновляются умением обуздывать возможное, они обретают крылья, и тогда окрыленная дерзость, помноженная на риск, превращается в тот божественный материал, из которого куется победа!

Мне говорят, Йозеф, что необходимо овладеть теорией, она есть повивальная бабка практики. Но если теория лишена духа и самодовольно шествует впереди, повязывая нас сводами замшелых правил, я растаптываю эту теорию солдатским сапогом и объявляю ее бесполезной для нации! Бессмысленна та теория, которая не считается с человеческой природой немца, с его могуществом, дерзостью, жизненной силой. Так и в военных делах, в которых, как считают мои генералы, я мало что смыслю, приходится иметь дело не с голой теорией, которой учат в академии, а с живыми людьми. Третьего не дано, Йозеф... И неведомому я противопоставляю арийскую храбрость и веру немцев в национал-социализм, веру Германии в собственные силы! Насколько они велики, настолько велик и риск. И тут простор, который отдан неведомому! Самые существенные начала в войне — вера в собственные силы и мужество... Пусть теория выдвигает правила, по которым полководцы прошедших времен выигрывали войны! Мой личный закон — риск, освященный духом, риск, в котором есть мудрость и осторожность, они следуют вместе и вознаграждают того, кто уверовал в примат интуитивного озарения над сухим и бескрылым рассудком...

Мелкие капельки пота выступили на низком угреватом лбу фюрера. Спадающая прядь жирных с перхотью волос слиплась и приклеилась над правым глазом. Гитлер несколько раз резко мотнул головой, будто лошадь, которую одолели оводы. Но прядь не отклеивалась, она мешала ему говорить, и фюрер замолк, полез в карман за платком, отер лицо, стоял перед Геббельсом, раскачиваясь с пяток на носки и обратно.

— Блестяще, мой фюрер! — вскричал рейхсминистр. — Какая философская глубина в этих рассуждениях!.. Вы пошли куда дальше чудака Гете, заявившего о вредности беспочвенных теорий!

Гете говорил вовсе о другом, но доктор Геббельс был убежден, что фюрер не станет уличать его с томиком "Фауста" в руках.

Когда Гитлер декламировал перед ним тезисы речи, рейхсминистра не оставляло ощущение, будто он уже где-то слыхал подобные рассуждения, а может быть, и читал об этом.

Впрочем, доктор Геббельс наедине с собой не обольщался на счет фундаментальности собственных знаний. Еще меньше, полагал он, их было у фюрера, природный гений которого могли лишь заблокировать университетские учебники, написанные к тому же европейскими блудодеями от науки, которые ставили перед собой сознательную цель заморочить головы

бесхитростным немцам. Поэтому министр пропаганды не стал доискиваться до источника вдохновения фюрера, который до того, как получил те документы от Бормана, перелистывал классическое творение Клаузевица, оттуда он и почерпнул сегодняшние идеи, интерпретировав их в национал-социалистском духе,

— Считаешь, что эти мысли могут лечь в основу обращения фюрера партии к армии и народу? — спросил Гитлер, называя себя в третьем лице.

— Безусловно! — подтвердил рейхсминистр.

— Тогда отправимся ужинать, Йозеф... Все уже собрались.

В этот вечер англичане не бомбили Берлин, и затянувшийся ужин — фюрер любил застольные беседы, вернее, монологи, поскольку говорил только он, — прошел на славу.

17 марта Гитлер был уже в Вольфшанце.

-13-

— Ты старайся чаще мыться, — сказала Марьяна. — Когда тело у человека чистое, тогда он не так мерзнет...

Кружилии хмыкнул, потом расхохотался, удержаться не смог.

— Ты чего? — удивилась Марьяна.

— Прости, — сказал Олег. — Просто одурел от счастья. От того, что вижу тебя... Надо же! Как неожиданно встретились...

— А я раненых везу и думаю: где-то тут Олег воюет. Вот бы повидаться! И даже загадала...

— Что загадала?

— Разное, — смутилась Марьяна. — Мне командир медсанбата говорит: поедешь на Большую землю ранбольных сопровождать. Это последние...

— Как "последние"? — переспросил Олег.

— Из тех, что вывозят в тыловые госпитали. Потому как больше вывозить не будут: армейские госпитали развертывают и долечивать раненых будут на месте.

"Значит, всерьез мы здесь устраиваемся, — подумал Кружилин. — Отводить армию не будут. Но во что превратится все это пространство в апреле?!"

— Надолго остановились? — спросил он Марьяну. — Мне так хотелось... Словом, о многом надо сказать...

— Мне тоже, — просто и бесхитростно ответила молодая женщина. — А ты сразу дальше?

— Служба, Марьянушка, — улыбнулся Олег виновато. — Но полчаса у нас с тобой есть.

— И мы раньше не тронемся. Ждем, когда подвезут раненых из соседнего медсанбата, есть места в машинах. Давай отойдем в сторону, тут столько бойцов вокруг...

— Это все мои орлы. Чудесные люди!

Ошеломленный нежданной встречей с Марьяной, Кружилин во все глаза смотрел на нее, вовсе не замечая, с каким любопытством поглядывают на них красноармейцы. К мужскому любопытству примешивалась и гордость за ротного: вон какая красавица, ладная такая сестренка прибежала к нему. Подобные крали обычно при большом начальстве обретаются, а в низы идут такие, кто ни фигурой, ни лицом особливо не вышел.

Олег с Марьяной вышли на дорогу и повернули к замаскированным светлыми полотнищами санитарным машинам, с воздуха их мудрено будет заметить. Тут возник перед ними Дорошенко.

— Дозволяйте до вас обратиться, товарищ старший лейтенант, — пробасил он. — Надыбав я туточки пункт питания дивизии... Продукты они нам по предписанию дают, а вот по части горилки треба ваша подпись. Нехай бойцы за пять суток вперед получат, это по пив-литра на брата выйде...

— Смотри только, Влас Иваныч, чтобы не выдули сразу, — предупредил Кружилин. — Пусть хранят как НЗ... К бане оставят. В походе ни капли!

— Будьте уверены, товарищ командир! — успокоил старшина.

— Какая мерзость эта водка! — с отвращением произнесла Марьяна. — Да еще на фронте... Кроме вреда, ничего не приносит. Мальчишкам по восемнадцати лет всего, а им спиртное на каждый день. Ведь так и спиться недолго!

— У меня многие в рот не берут, — сказал Кружилин.

— Сейчас не берут, а пока война кончится — научатся, — возразила Марьяна. — Хочу товарищу Сталину написать — пусть прекратит это безобразие.

"Он сам его и ввел в действующей армии, — подумал Олег. — Через два месяца после начала войны..."

Но вслух ничего не сказал, вспомнил только портрет вождя в аккуратной рамочке над изголовьем в закутке, где спала Марьяна. Там еще ребятишки ее висели, глазастые такие карапузы таращились с фотографии. Оттого, что они были у Марьяны, еще большей нежностью проникался к молодой женщине Кружилин.

— Так ты старайся мыться почаще, — безо всякой связи с предыдущим разговором сказала Марьяна. — Тебе проще... Вот когда мы, девки, мыться затеваем — вот неудобств-то! Несподручно бабе на войне...

— Может быть, тебе в госпиталь перейти, — заговорил Олег. — Ну хоть в Малую Вишеру, что ли?.. У тебя сыновья...

— У твоей мамы, Олежка, тоже сын, — стараясь говорить ласково и спокойно, не любила разговоров о ее тыловой в перспективе жизни, возразила Марьяна. — Довольно об этом.

— А я на тебе жениться хочу, Марьянушка, — вдруг произнес Олег, испуганно посмотрев ей в глаза. Он и сам. не понял, как возникла эта мысль, но, высказав ее, уверился в том, что постоянно думал об этом.

— Прямо так, сейчас? — улыбнулась Марьяна. — Видишь, сосна стоит со сломленной верхушкой? Обойдем вокруг нее три раза — вот и поженились. А твой усатый старшина и благословит нас вместо отца с матерью.

— Я ведь серьезно, Марьяна...

— И я не шучу, — посерьезнев, ответила молодая женщина. — Невеста я хоть куда... Приданое богатое — два сына.

— У нас с тобой и третий будет, — сказал Олег.

— Будет, — кивнула Марьяна. — Вот это я тебе обещаю, Олежек. А жениться... Засмеют нас люди. Зачем их потешать? Люб ты мне... Если бы не война, куда хочешь с тобой пошла бы, только позови. Но помнишь, как мы пели когда-то: "Дан приказ: ему на запад... Ей в другую сторону..."

— Я на юг направляюсь, — усмехнулся Кружилин.

— Ну а я на восток... Вот и разошлись наши пути, Олежка. Но если ты так хочешь, то знай: с этой минуты я твоя жена. И вокруг сосны ходить не надо.

— Правда? — спросил, восхищенно глядя на нее, Кружилин.

Марьяна опустила глаза, и Олег схватил ее, притянул к себе и принялся целовать в глаза, щеки, губы.

Шапка-ушанка свалилась с головы Марьяны, она смеялась, отворачивалась, пыталась освободиться из цепких Олеговых объятий. Помнила ведь, что стоят на дороге, а вокруг едут и едут люди, смотрят на них, улыбаются, вон кто-то и засвистел уже озорно, посыпались шутки, и соленые, и не очень...

Наконец, она уперлась ему в грудь руками, оттолкнула Олега. Кружилин бросился поднимать со снега ее шапку, потом оглянулся и увидел, что позади стоит политрук его роты Сиянов с незнакомым командиром.

— Из эстафетной роты лыжного батальона, — представил его Иван, делая вид, что вовсе не заметил, как обнимался с женщиной командир. Впрочем, о Марьяне он знал, Олег рассказывал о ней этому душевному и надежному человеку.

— Старший лейтенант Женишек, — козырнул эстафетчик. — Получен секретный пакет из штаба армии. Вручить вам лично. — Он зачем-то оглянулся и, понизив голос, сказал: — По линии Особого отдела.

Кружилин принял пакет, расписался за него и повернулся. Марьяны рядом не было. Она бежала к колонне санитарных машин, с которых снимали маскировочные полотнища, и на ходу махала ему на прощание.

-14-

Комиссару снова снились Дергачи.

Впрочем, сны к нему приходили редко. Днем Иосиф Венец до предела изматывался на службе, которая не имела аналогов в истории армий и, не будучи определенной никакими правилами, зависела целиком и полностью от партийной совести и чувства долга того, кто ее исполнял.

Комиссар Венец, несмотря на молодость, был опытным политработником, грамотным в военном отношении человеком, искренним патриотом и настоящим коммунистом. Все его существование на войне было отдано людям 59-й бригады, которых он принял под начало в саратовском селе Дергачи в октябре. Вот и полгода не прошло с тех пор, а многих уже нет на белом свете, прожита целая жизнь с теми, кто еще оставался пока живым. В Дергачах Венец был и швец, и жнец, и на дуде игрец — словом, отец родной для бойцов, ибо сам формировал бригаду; командир ее и начальник штаба прибыли едва ли не в день отъезда. Вот он и учил красноармейцев, призванных из запаса и совсем еще новичков, военному делу, имея под рукой лишь деревянные винтовки да самодельные трещотки, которые проходили за пулеметы.

В этих самых Дергачах, которые не оставляли подсознания комиссара и возвращались в редких снах, из серьезных помещений имелась только школа, где разместился штаб бригады. А личный состав разбросали на постой в крестьянских домах Дергачей и окрестных деревень, и собирать их оттуда было непросто.

Комиссар с порученцем жили у молодой и красивой женщины. Она таким певучим голосом приглашала к столу, так приветливо и зовуще улыбалась Иосифу, что у того щемило сердце. Венец наскоро ел нечто вкусное, стараясь

не поднимать глаз от тарелки, а потом спешил в штаб, откуда возвращался запоздно.

Может быть, потому и снились комиссару Дергачи. Снились кривая улица, деревенские избы, и шла к нему от колодца с двумя полными ведрами та самая хозяйка... Он пытался вспомнить ее имя, а вспомнить не мог, и это тревожило, смущало комиссара, который гордился тем, что знает пофамильно всех коммунистов и комсомольцев, что составляли костяк бригады. На них и опирался потом Венец в боях под Мясным Бором, Ольховкой, Дубовиком, Еглинкой и вот здесь, у Каменки, где наступательный порыв выдохся и бригада перешла к обороне. Женщина подходила все ближе. Венец подумал, что можно обойтись без имени, всегда найдутся слова, которые его заменят: голубушкой можно ее назвать, поздороваться, наконец... Да мало ли слов, для слуха женского приятных и согревающих ей душу?!

Комиссар шагнул навстречу и вдруг увидел, как лицо женщины исказилось, она уронила ведра и закрыла лицо руками. Венец резко повернулся. К ним шел офицер в странной на первый взгляд форме. В руках он держал автомат и злорадно ухмылялся.

"Где я видел его?" — подумал Венец.

— Курт! — крикнул офицер, и комиссар узнал этого типа.

В начале февраля у села Дубовик подразделения бригады столкнулись с ротой эстонских карателей-националистов, шаставших по окрестным деревням на предмет уничтожения тех, кто сохранил верность Отечеству. Роту разгромили вдребезги, а командир ее попал в плен. Были свидетели из местных жителей, они рассказали, как этот палач собственноручно стрелял в детей и женщин.

Трибунал приговорил эстонского фашиста к смерти, и взвод красноармейцев из 59-й бригады привел приговор в исполнение. И Венец понимал, что не мог воскреснуть этот садист, а вот на тебе — надвигался на них с немецким автоматом в руках и яростно щерился самодовольной усмешкой.

Женщина за спиной комиссара закричала, и автомат в руках эстонца затрясся. Звука выстрелов Венец не слыхал, а как пули пронзали его — чувствовал. Проходили сквозь тело, а ему хоть бы что. "Бессмертный я стал, что ли?" — улыбнулся комиссар, переходя в иное состояние, между сном и бодрствованием, и наблюдая за событиями как бы со стороны.

Он проснулся с ощущением праздника и даже забыл о том, что так и не досмотрел сон.

"Срочно надо позвонить Ткаченко! — подумал комиссар. — Наверно, наш трофей уже в штабе корпуса..."

— Долго я спал, Сережа? — спросил Венец у ординарца, который спустился в землянку с дымящими котелками.

— Когда за обедом пошел, вы еще за бумагами сидели... А надысь заглянул — голова на столе. Может, ляжете по-людски? Счас тихо везде. Немцы притаились.

— Это у нас они притаились, Сергей.

Всю ночь с полковником Глазуновым, комбригом, допрашивали они офицера, попавшего в плен на их участке. Приехал этот офицер в штаб 18-й армии из Берлина, привез наградные знаки, документы, предписания. Решил навестить друга, который находился неподалеку. На встрече крепко выпили. Потом Линдеманн в сопровождении солдата отправился в штаб, где его ждала машина, чтобы отвезти в Сиверский. Он шел впереди и распевал во весь голос песни...

...Давно уже давили на них из штаба кавкорпуса: "Обеспечьте "языка"!" Венец позвал к себе Тихонова, дельного такого командира саперной роты. Комиссар знал: ежели что серьезное затеваешь — положись на саперов.

— Такие вот пироги, Тихоныч, "язык" нужен... Понимаю, что не по адресу. Но разведчики наши кота за хвост тянут, а бригаде позорно. Генерал Гусев опять же просит не подвести.

— Не подведем, товарищ комиссар, — степенно отвечал саперный комроты. — Есть у меня добрые пареньки. Прямо теперь и назову: старшина Чушкин и ефрейтор Ванюшин. Эти справятся. Только пусть им переход обеспечат и прикроют, ежели что.

Разведчики знали о существовании пешеходной тропы в тылу у немцев, туда и подсадили Чушкина с Ванюшиным. Ждут-пождут, вот и удача. По одежде определили: тот, что горланит песни, — офицер, его и брать. Автоматчика заднего ножом — и в кусты.

Начальник разведки ждал в группе наблюдения, встречал добытчиков и по телефону обрадовал Глазунова с Венцом. Они к нему срочно выслали лошадей, запряженных в сани. Привезли голубчика, уже протрезвевшего, но сильно он был нафанаберенный, нагличал, развалился на стуле, утверждал, обычное дело, что Германия все равно победит...

А командир с комиссаром с любопытством смотрели на него, на них были куртки надеты, петлиц не видно. Нагляделись на белокурую бестию, потом

Венец по-немецки скомандовал ему: "Встать!" — и уже обычным голосом сказал, что перед ним полковник Красной Армии. Немец вскочил, вытянулся: "Извините, герр оберст", а Иван Федорович представил Венца: "Это наш комиссар".

Линдеманн едва не обделался со страху.

— Значит, меня расстреляют?..

— Мы в принципе не стреляем пленных, — сказал ему Венец, говоривший на языке противника свободно. — Это во-первых. А во-вторых, нет нужды скрывать, что особа вы для советского командования важная, с вами не только здесь говорить будут, но и в самой Москве. И в знак того, что говорю правду, возвращаю вам фотографию жены с детьми.

Линдеманна будто подменили. А когда ему дали кружку крепчайше заваренного чая, обер-лейтенант обмяк, с готовностью отвечал на вопросы, Венец с Глазуновым только диву давались.

— Кто это? — спросил комбриг, увидев на фотографии, а их была целая пачка, генерала у красивого лимузина. Все офицеры стояли перед ним навытяжку, а Линдеманн в вальяжной позе.

— Отец, — ответил Линдеманн, и комиссар едва не присвистнул: командующий 18-й армией тоже был Линдеманном.

"Но это пусть уточняют наверху", — резонно подумал Иосиф, вспомнив, что уже трижды звонили из штаба корпуса, требовали пленного отправить к ним. Его уже собрали в дорогу, когда Линдеманн обвел глазами командира с комиссаром, вздохнул и снова сел к столу, попросил листок бумаги. Он быстрым, заученным движением нарисовал карту волховского участка фронта, нанес положение 2-й ударной, а затем перечеркнул мешок крест-накрест.

— Я привез командованию приказ на ваше уничтожение здесь, — сказал Линдеманн. — Фюрер хочет окружить вашу армию и обречь ее на голодную смерть в болотах.

Он отвернул обшлаг щегольской шинели и вынул листок бумаги.

— Возьмите, — Линдеманн протянул бумагу Глазунову. — Копия приказа...

"Ведьмины дети! — чертыхнулся Венец. — Называется: обыскали пленного!"

— Присовокупь, Иосиф Харитонович, — распорядился Глазунов. — Этой бумаге цены нет. И схемку, схемку его приложи! Так оно нагляднее будет...

И вот теперь Венец звонил комиссару кавкорпуса Ткаченко, хотел узнать, что думают отцы-командиры об опасности, нависшей над 2-й ударной.

— Ты, Венец, хороший комиссар, — едва скрывая раздражение, ответил Ткаченко. — Но комиссар бригады. Вот когда будешь членом Военного совета фронта, тогда и руби дерево по плечу. Как реагируем, спрашиваешь? А чего мы должны паниковать от какого-то немецкого рисунка? У нас и самих руки длинные, мы ихнего немчуру и в Берлине нарисуем.

-15-

До Любани 59-я стрелковая бригада не дошла километров пятнадцать. Примерно столько же осталось пройти до этого города частям 54-й армии генерала Федюнинского, которые перешли в решительное наступление в районе Погостья 9 марта, когда 2-я ударная активные наступательные операции прекратила и находилась в неведении относительно грядущего.

Почему же не было организовано взаимодействие между двумя армиями? Дело в том, что, выполняя одну и ту же стратегическую задачу, они подчинялись разным фронтам. Чрезмерный, неоправданный бюрократизм, нетерпимый и в мирной жизни, будто раковые метастазы, проник во все мышцы гигантского организма, который назывался действующей армией, и затруднял руководство ею.

Усложненное бумагопроизводство, непозволительное в боевых условиях, отвлекало командиров и комиссаров на сочинение всевозможных справок и докладных, в то время как учет выбывших из строя был поставлен из рук вон плохо и число пропавших без вести достигало астрономических цифр. Ведь зачислить в эту графу любого было куда проще, чем организовать поиск человека.

Более или менее сложное ранение, требовавшее госпитализации, оборачивалось для воинов дополнительным психологическим стрессом, ибо навсегда лишало его боевых товарищей. Неким бюрократом в высоком звании был определен порядок, по которому выздоровевший боец или командир никогда не возвращался туда, где служил прежде. Его направляли на пункт формирования, а там распределяли в любую часть, только не туда, где получил он вражескую пулю или осколок снаряда и где продолжали воевать его товарищи.

Моральный ущерб от негодной практики трудно, увы, определить. Но вред от нее был достаточно велик, если учесть, что противник особенно заботился о поддержании духа товарищества в подразделениях, и связь раненого солдата или офицера вермахта с родной частью не прерывалась.

Неоправданным было и отсутствие очередных отпусков для командиров и красноармейцев. Утверждения, будто это снизило бы нашу боеспособность, абсолютно беспочвенны! Наоборот... Краткосрочный, дней на десять, отпуск снимал бы у фронтовика, особенно семейного, психологические напряжения, укреплял духовную связь армии и тыла, сглаживал бы и будущие демографические проблемы. Это хорошо понимала и учитывала противная сторона, где каждый солдат имел право по очереди с товарищами оставить позиции и на законном основании отправиться в фатерланд.

Отсутствие надежных радиостанций приводило к тому, что в штабах держали большое количество командиров, которых использовали в качестве связных. Они развозили пакеты, разыскивали потерявшиеся части, зачастую гибли сами, наткнувшись на боевые охранения и передовые отряды немцев, а в ротах командовали сержанты, батальоны вели в атаку младшие лейтенанты.

В той же 2-й ударной в батальонах уральских лыжников были изъяты лучшие роты, которые назвали эстафетными. Крепкие, выносливые бойцы, которым следовало быть разведчиками или десантниками-диверсантами, гоняли на лыжах, развозя бумаги, на всем пространстве от Малой Вишеры до штаба Клыкова, впрямую уподобляясь гонцам средневековой старины.

Практика отдания приказаний сверху донизу исключала разумные их истолкования с учетом местных условий, которые были, естественно, неизвестны вышестоящему штабу. Во главу угла ставилось формальное исполнение приказа. Если ставилась задача взять деревню, то следовало поднимать людей в атаку и бросать их под пулеметы окопавшихся, организовавших оборону немцев, саперное обеспечение которых и инженерное оборудование находились на высшем уровне. Недаром уже в первые месяцы войны у наших командиров сложилось убеждение: выбил противника — гони его, не давая остановиться даже на сутки. Ибо благодаря хорошей технической оснащенности враг мгновенно закопается в землю, откуда достать его будет нелегко.

Приказы в подразделения поступали так, что времени на подготовку наступления уже не оставалось. Командиру было уже не до разведки переднего края врага, не до проигрывания будущей операции с помощниками. Не успевал он и сосредоточить резервы, продумать иные варианты, кроме фронтального удара, броска пехоты в лоб противнику, с надеждой на "Ура " и одержимость в бою русского солдата.

Но особенно большой ущерб наносила несогласованность действий частей и соединений. Наиболее ярко проявилась она на примере 2-й ударной и 54-й армий.

Получив отпор наступлению, начатому 28 февраля, оно проводилось, как говорилось выше, без всякой подготовки, генерал Федюнинский прекратил атаки и всерьез принялся готовиться к новой операции.

К девятому марта, когда 2-я ударная, навстречу которой пробивался в сторону Любани Федюнинский, стала спотыкаться, замедлила наступательное движение, группировка 54-й армии, состоящая из пяти стрелковых дивизий, одной стрелковой и трех танковых бригад, развернулась на участке разъезда Жарок — Погостье.

Новый план наступления разработали генерал-майор Березинский, который только что сменил бывшего начштаба армии, и недавно прибывший полковник Семенов, начальник оперативного отдела.

План был грамотным. Атакующая группировка состояла из двух эшелонов и резерва, имела глубокие построения. На первой линии в исходном положении изготовились 193, 281 и 11-я стрелковые дивизии, 122-я и 124-я танковые бригады. За ними стояли 80-я и 294-я стрелковые дивизии с 16-й танковой бригадой. В резерв Федюнинский определил 6-ю бригаду морской пехоты, правый фланг укрепил 177-й стрелковой дивизией, а на левый, кроме того, поставил 115-ю стрелковую дивизию.

Все было четко продумано, взаимодействие подразделений оговорено заранее, роли командиров распределены, каждый знал предписанную ему задачу. Но толку от этого не случилось вовсе. Дело в том, что 54-я армия, подчиненная Ленинградскому фронту, действовала сама по себе, а 2-я ударная Волховского фронта никак не связывала собственные планы с дальнейшими намерениями Федюнинского.

Удары двух армий по врагу мог и должен был координировать генерал армии Мерецков, но командующий Волховским фронтом был для Федюнинского посторонним человеком, у него имелось собственное начальство — генерал Хозин, человек, который болезненно относился даже к малейшему посягательству на его власть, хотя бы оно и существовало только в его воображении. И, потому генерал Федюнинский лишь ему сообщил о том, что главный удар наносит в направлении Кондуя, Смердыня, Любань, в двух километрах западнее Шалы.

Соседи о том ничего не знали.

На этот раз мощная, хотя и непродолжительная — опять сказался недостаток снарядов — артподготовка была для противника неожиданной. Гитлеровские артиллеристы начали вести ответный огонь, но было уже поздно. Русские танки и пехота, которая шла вслед за машинами, ворвались на переднюю линию оборонительных сооружений, принялись сокрушать батареи и выбивать фашистов из дзотов и блиндажей.

Дальше всех продвинулся вперед на правом фланге генерал-майор Кривцов, его 281-я дивизия сражалась грамотно и умело, и потерь в ней было относительно немного. Медленнее, чем Кривцов, но упорно давили немцев подполковник Перевозников, комдив-188, и полковник Грибов со своей 11-й дивизией. Немцы ввели было в бой резервы, которые были под рукой, но перелом уже свершился, остановить собравшихся в единый кулак русских было трудно, да кое-где и невозможно. Враг дрогнул и стал отходить, срываясь временами в неуправляемое бегство, бросая пушки, минометы, автомобили. Часть тяжелой техники и снарядов с боеприпасами противник успел при отходе взорвать.

На второй день наступления три дивизии первого эшелона вышли на линию артиллерийских позиций немцев. Федюнинский, окрыленный первым успехом, приказал расширить полосу прорыва и поручил 288-й дивизии и 16-й танковой бригаде захватить Шалу, опорный пункт противника. Тут комдив полковник Кичкайлов и доказал, что умеет воевать, дай только возможность для творческого маневра. План захвата Шалы он сочинял вместе с танкистами. И вот танковый батальон майора Кудрявцева посадил на броню пехоту и пошел в обход опорного пункта с востока. Другой батальон танков, им командовал майор Калинин, со стрелками на броне рванулся в обход Шалы с запада. А сам Кичкайлов силами пехоты нанес фронтальный удар.

Взяв Шалу, комдив повернул боевые порядки на юг, в сторону Кондуя.

-16-

Майор Соболь, встретивший дивизионного комиссара Зуева и майора госбезопасности Шашкова на командном пункте полка, был не то чтобы сам не свой, но и умиротворенным его душевное состояние назвать нельзя. Хотя он и понимал: арестовывать за то, что открыл огонь по бежавшим в панике соседям из стрелковой бригады полковника Пугачева, его не будут. По крайней мере сегодня. Ведь для этого вовсе необязательно являться сюда таким большим чинам. Взять его в конверт мог бы и кто рангом пониже.

— Ну, что, комполка, — спросил, пожимая Соболю руку, член Военного совета, — будем брать Любань?

— Если бы все воевали, как Соболь, — заметил Шашков, — то давно б взяли... Соседи майора подводят.

Он весело подмигнул командиру полка, и Иван Соболь облегченно вздохнул.

— Чего вздыхаешь, анархист? — запросто хлопнул его по плечу Зуев. — Сухарей ординарец насушил?

— Давно держу их про запас, — слабо улыбнулся Соболь. Он еще не до конца поверил, что на этот раз пронесло.

— Ладно, не будем тебя пугать, майор, — серьезно сказал Зуев. — Товарищ Шашков доложил мне твою историю. Мы посоветовались и решили: поступил ты в тех условиях правильно. Другого выхода у тебя не было, товарищ Соболь. А за решительность, находчивость и мужество... Да-да, мужество! По своим стрелять — это, брат, надо крепкие нервы иметь! Словом, Военный совет армии представляет тебя к ордену Ленина. Поздравляю, майор!

— Спасибо, — растерянно, вот такого он никак не ожидал, пробормотал Соболь, потом спохватился и рявкнул что есть силы: — Служу трудовому народу!

— Служи-служи, — сказал Зуев, пожимая Ивану руку. — Не хуже по крайней мере, чем прежде. Только в следующий раз стреляй поаккуратнее... Жалко все-таки людей, не чужие ведь. А свои-то, полковые, не побегут?

— Обижаете, товарищ комиссар! У меня и не бойцы вовсе — орлы!

— Только что не летают, — заметил Шашков, и все облегченно рассмеялись.

— У меня подобный случай имел место в двадцатом году, — продолжил разговор начальник Особого отдела. — Поляки поднажали у наших позиций, народ и хлынул бежать кто куда... А мы с моим другом оказались у пулеметов. И открыли огонь по отступавшим. А что делать? Остановили их очередями, опомнились мужики и пошли обратно на поляков, отбились, ликвидировали прорыв. А нас с товарищем к ордену... Только я глупый тогда был. Говорю командиру: "Зачем мне орден? Будто старорежимному офицеру..." Ладно, отвечает, получишь золотые часы.

Шашков вздохнул. Фамилию друга и однополчанина Васи Бутаско не назвал намеренно. Того парня-орденоносца, ставшего комиссаром дивизии у Якира, в 1938 году расстреляли как врага народа. Полевой телефон в углу землянки напомнил о себе. Боец-связист обратился к Зуеву:

— Это вас, товарищ член Военного совета.

Иван Васильевич слушал невидимый голос, кивал, односложно повторял: "Да, понятно, да... Немедленно выезжаю". На вопросительный взгляд Шашкова ответил:

— Немцы начали серьезное наступление от Спасской Полисти на юг. Хотят закрыть нам горловину.

-17-

"Итак, — отметил Мерецков в записной книжке слова Толстого, — Бородинское сражение произошло совсем не так, как (стараясь скрыть ошибки наших военачальников и вследствие того умаляя славу русского войска и народа) описывают его..."

Он добрался до этого места вчерашней ночью и ахнул, потрясенный тем, как писатель заглянул через без малого сотню лет в его смятенную душу. И вот уже целые сутки, в минуты, когда боевая обстановка позволяла отвлечься и расслабиться на мгновение, все думал и думал о том, какие ошибки совершал в собственной жизни генерал армии Мерецков.

"Говорят, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает", — невесело подумал Кирилл Афанасьевич. Значит, и ему довелось ошибаться, ибо натуру Мерецкова всегда определяло деятельное начало. Насколько он помнил себя, с семи лет уже помогал отцу пахать и боронить. И с тех пор к любой работе относился дотошно и пытливо. Ни абы как свершить ее, а потом и трава не расти, а чтобы еще и сделан был намеченный для него урок способом наиболее подходящим, говоря по-научному — оптимальным. Потому и военная карьера Кирилла Афанасьевича складывалась больше по штабной части. Прямо-таки вселенскую дистанцию прошел — от начальника штаба отряда Красной гвардии в Судогде, что во Владимирской губернии, до главы Генерального штаба Красной Армии. Такой вот, значит, диапазон...

Потому и без ошибок у него не обходилось. Только был у Мерецкова особый измеритель собственных промахов. Он определял их количеством вреда, который причинял другим людям. А на войне ошибка полководца — это десятки и сотни тысяч человеческих жизней. Потому Мерецков и старался так организовать боевые действия, чтоб побольше бойцов и командиров осталось в живых. А для этого все силы надо собирать в кулак.

"В кулак, — усмехнулся Мерецков и провел ладонью по расстеленной на столе карте, где было нанесено положение его армий, а с юго-запада и северо-

востока 2-я ударная и 54-я армии двигались навстречу друг другу. — Кулака пока не получается, пальцы все врозь..."

Была уже поздняя ночь, шел второй час, но командующий фронтом оставался в штабе. С утра жена его Евдокия Петровна уехала в госпиталь, повезла группу московских артистов, чтобы развлечь и приободрить раненых. Но до сих пор ее не было, и Кирилл Афанасьевич тревожился за судьбу супруги, терзаясь желанием позвонить и навести о ней справки и соображением, что делать это неловко. Хотя, коль воюет он семейно, держа рядом и жену, взявшую, правда, на себя благородную миссию организации помощи раненым, и Володьку, новоиспеченного лейтенанта, который командует танковым взводом, чего там стесняться звонка. Телефонисты быстренько соединятся с госпиталем и выяснят: уехали артисты с Евдокией Петровной или, может статься, заночевали на месте.

Но Мерецков никуда не звонил. Он перелистывал третий том романа Толстого, но страниц напечатанного на них текста не различал. Вновь и вновь возвращался Кирилл Афанасьевич в тот июльский день сорок первого года, когда он возвращался с рублевской дачи вождя, подавленный сухим приемом, но уж конечно не допускавший мысли о том, что завтра его арестуют.

"Считать ли ошибкой ту записку для него? — подумал Мерецков. — Или, может быть, говорил с ним не так?.. Была ли польза от этой затеи? Но ведь я выполнял долг! Обязан был сообщить Сталину, что происходит на фронте, как выйти нам всем из создавшегося положения. И пострадал ведь только я один, а дело выиграло. Он включил ряд положений записки в свою речь третьего июля. Конечно, жаль, что в самые горячие дни меня устранили. Но ведь и потом было жарко... Да и сейчас не видно конца войне, хотя он и обещает народу отпраздновать Новый год в Берлине. Понимаю — так ему хочется, только слишком часто мы выдаем желаемое за действительное, слишком часто..."

Июль и август прошлого года, проведенные в тюрьме, бесчеловечные побои, от обычных зуботычек до зверского истязания резиновыми палками, здесь особо отличался следователь Шварцман, Мерецков вспоминать не любил. Жизнь его как бы пресеклась, и эти страшные недели казались кошмарным сном. Потом начался другой период, когда от генерала как бы требовали искупления несуществующей вины. Все знали, по какой причине он отсутствовал, но делали вид, будто ничего не произошло, словно и не исчезал никуда заместитель наркома обороны.

Тон такой задал сам Сталин. Когда допущенный к нему Мерецков, похудевший и бледный от недостатка свежего воздуха и света, едва не затравленный вконец, вошел в кабинет вождя, он увидел его слегка сутулую спину и слабую, почти детскую, кисть руки с зажатой в ней погасшей трубкой, мундштуком которой Сталин водил по карте, висевшей на стене.

Мерецков застыл у порога и с замершим сердцем смотрел в спину вождя. Теперь он боялся этого человека. И страх никогда больше не оставлял Кирилла Афанасьевича, хотя он понял, как нужен Сталину, и довольно успешно, еще до конца сорок первого года, доказал, что умеет воевать в новых условиях.

Сталин стал медленно поворачиваться... Вождь не любил вертеть шеей, и когда хотел узнать, что там у него, за спиной, то изменял положение всего туловища. При этом всегда казался настороженным, будто ждал удара в спину и готовился отразить нападение. Теперь Сталин смотрел на Мерецкова и не произносил ни слова. Молчал и возвращенный из опалы генерал.

Вождь продвинулся к Мерецкову на несколько шагов и спросил:

— Как вы себя чувствуете, товарищ Мерецков?

— Чувствую себя хорошо, — собрав волю в комок, произнес Кирилл Афанасьевич. — Готов к выполнению боевого задания!

— Это хорошо, что вы готовы, товарищ Мерецков, — неторопливо заговорил Сталин. — Мы не сомневались в том, что получим от вас именно подобный ответ... Сейчас нам крайне нужны ваши специальные знания, уровень которых, как мы убедились, значительный и глубокий. Надо вылететь на Северо-Западный фронт, к генералу Курочкину. Он хорошо командовал армией летом, а сейчас пятится вместе с фронтом на восток. Надо разобраться в обстановке, помочь командованию правильно оценить, в чем состоит его воинский долг. С вами поедут товарищи Мехлис и Булганин. У Мехлиса особые полномочия.

Вылетели они 9 сентября, и уже через два дня Кирилл Афанасьевич лично убедился, как пользуется особыми полномочиями Мехлис.

После встречи с командующим Северо-Западным фронтом группа представителей Ставки ВГК выяснила, что 11-я армия генерал-лейтенанта Морозова держится уверенно, Новгородская оперативная группа тоже. Решили отправиться в 27-ю армию. И надо же было натолкнуться у совхоза "Никольский" на полковника Озерова, начальника штаба 34-й армии, которой командовал генерал Качанов. Этого командарма Мерецков знал по Испании, отменный человек и толковый вояка, умница. Он-то и послал Озерова

навстречу представителям Ставки, когда узнал об их приезде. Сам, стало быть, нарвался...

Черным коршуном налетел на Озерова Лев Захарович. Где связь, кричал он, где ваши подразделения, где командарм Качанов?.. Пытался Озеров объяснить, что рации на колесах уничтожены немцами, в части выехали связные офицеры, но вестей от них пока нет.

— Потеряли управление войсками! — бушевал Мехлис.

Он приказал разжаловать Озерова в рядовые красноармейцы.

Прибыв в штаб Качанова, Мехлис устроил форменный разнос, слушать командарма не стал, отошел с Булганиным в сторону, дело было на поляне, у штабной палатки. Вдвоем шептались, Мерецкова не приглашали, он был при них вроде как и не представитель Ставки, а практикант-стажер, недавний еще арестант.

Потом Мехлис вернулся к группе растерянных командиров и громогласно объявил:

— Согласно особым полномочиям, которыми наделил меня товарищ Сталин, за потерю управления войсками гражданин Качанов приговорен к расстрелу. Решение окончательное, обжалованию не подлежит и приводится в исполнение на месте!

Все оторопели. Качанов, храбрый и мужественный человек, снискавший в Испании любовь и признательность республиканцев, растерянно смотрел на Мехлиса, потом перевел взгляд на Кирилла Афанасьевича, он и до сих пор помнит недоуменный вопрос в глазах Качанова. Командарм будто спрашивал Мерецкова: как можно так неумно шутить в боевой обстановке?

Кириллу Афанасьевичу и самому казалось в ту пору, что Мехлис для острастки перебрал, хотя знал уже о его роковой роли в судьбе генерала Павлова и других командиров Западного фронта. Но Лев Захарович и в этот раз вовсе не шутил.

Все произошло так быстро, что никто и опомниться не успел. Мехлис подскочил к командарму, пытался сорвать звезды с петлиц. Звезды не поддавались.

— Снимите ремень и гимнастерку! — приказал он.

Медленно, находясь в некоем обалдении, негнущимися пальцами командарм расстегнул портупею, опустил на землю ремень с тяжелой кобурой. Потом стянул через голову гимнастерку и вытянулся по стойке "смирно", белея на фоне зеленых елок нижней рубахой. Рубаха была новой и чистой. Качанов незадолго до роковой встречи, точно предчувствуя беду, заменил исподнее...

Мехлис кивнул порученцу Фисунову, и тот подошел к командарму.

— Отойдите в сторонку, к елочкам, — вежливо попросил генерала порученец.

Качанов повиновался. Тут же по знаку Фисунова выступили вперед и закрыли спинами от остальных обреченную жертву четыре автоматчика.

— Огонь! — скомандовал Фисунов. Протрещали короткие очереди.

Мерецков да и все остальные были ошеломлены. Только ни одна из пуль не задела невинно приговоренного к смерти человека, не рискнули красноармейцы из охраны взять на душу грех даже и по приказу.

— Мудаки и засранцы, — презрительно, сквозь зубы сказал Мехлис. — Предателя не в силах расстрелять...

Тут он произнес забористую матерщину, на которую был великий мастер, и нетерпеливо махнул порученцу.

Фисунов, плотный, упитанный, невысокого роста, еще до войны работавший с Мехлисом в "Правде", посредственный журналист, но по-собачьи преданный Льву Захаровичу помощник, его доверенное лицо, деловито подскочил к крайнему бойцу и вырвал из его рук автомат. Не целясь, длинной очередью дважды полоснул по груди Качанова.

Пули взорвали тело командарма. Мгновение стоял Качанов неподвижно, все еще не веря в собственную смерть, и красные пятна успели проявиться на белоснежной рубахе. Затем герой испанской войны повернулся к убийце правым плечом и беззвучно упал ничком на пожелтевший осенний мох.

...Скрипнула дверь, и в комнату вошел капитан Борода. Парню страсть как хотелось спать, он еле сдерживался, чтобы не зевать, но как уснешь, если батя продолжает работать.

— Звонила Евдокия Петровна, — доложил Борода, верный телохранитель Мерецкова и добрый ангел семьи. — Она уже дома. Спрашивала про вас, товарищ командующий.

— Сейчас поеду, — улыбнулся Кирилл Афанасьевич и облегченно вздохнул, поднимаясь из-за стола.

Но уехать ему не удалось.

Отстранив Бороду с порога, вошел возбужденный начальник штаба фронта Стельмах.

— Звонил вам домой, а вы еще здесь, — сказал он. — Меня разбудил оперативный дежурный... Из Пятьдесят девятой армии сообщают, что противник крупными силами смял их позиции и полностью закрыл горловину прорыва.

— А что Яковлев? — спросил встревоженно Мерецков. — Как Пятьдесят вторая армия? У них тихо?

Стельмах пожал плечами:

— Выясняем. Но известно, что немцы, наступающие со Спасской Полисти, соединились со своими частями, которые жали со стороны Подберезья.

"Вот и случилось то, чего давно опасался, — смятенно подумал Кирилл Афанасьевич. — Вторая ударная окружена!"

-18-

Сдав раненых на эвакопункте, Марьяна возвращалась в медсанбат на попутной машине. Ехала на мощном ЗИСе, кузов которого был под завязку нагружен мешками с овсом — фуражом для конников генерала Гусева.

Водитель попался молодой, разбитной малый, рубаха-парень, по фамилии Ерохин Никита, младший сержант, как он сразу отрекомендовался. Едва Марьяна поместилась в кабину, он бросился в атаку, пробуя на сестричке, как он принялся ее называть, все тринадцать разработанных им самим способов обольщения. Марьяна, которая все еще пребывала в радужном состоянии от недавней встречи с Олегом, с улыбкой наблюдала за стараниями парня, а когда он счел ее молчание за признак того, что система начинает срабатывать, Марьяна ударила его по руке, которая поползла к ее колену, хотя и упрятанному в ватные брюки, и громко вдруг скомандовала:

— Смирно!

Ерохин вздрогнул и схватился правой рукой за рулевое колесо.

— Ты чего? — спросил он ошеломленно. — Совсем сдурела?

— Веди машину аккуратно, младший сержант Ерохин, — насмешливо сказала Марьяна. — И слушай приказы старших по званию.

— Это кого же? — окинул ее презрительным взглядом.

— А меня... Старшину медицинской службы Караваеву.

Никита вдруг расхохотался.

— Во, — сказал он, — теперь хоть фамилию начальника узнал. А то б умер от страха и не знал бы в раю, кого мне благодарить за эту любезность.

— Думаешь, что в рай попадешь?

— А как же?! Там тоже шоферня необходима. Боженьку со святыми подвезти, опять же овса им подбросить для небесной кавалерии, вот как сейчас везу. А вообще-то девка ты лихая, товарищ старшина.

— Не девка я, а баба давно. Двое сыновей у меня растут, пока я тут воюю. Понял, братец?

Никита недоверчиво глянул на Марьяну.

— Заливаешь, подруга, — возразил он. — С дитями в армию не берут.

— Напросилась... Верно, детных женщин не берут. Но кто действительно хочет на фронт, тот обязательно попадет. И броня не остановит.

— Это правильно, — согласился Никита. — У меня у самого броня была. Я ведь слесарь-наладчик высокой руки, на Ростсельмаше цены мне не было. Не хотели пускать... А я военному шоферские права на стол: гляди, говорю, первый класс! Как Красная Армия без такого водителя обойдется? Вот и кручу здесь баранку. А мог бы и в тылу ковать победу. Забожись, что два сына!

— Ей-богу, — растерялась Марьяна. — Не веришь?

— Ну ладно... Верю, сестренка. Мое вам почтение. Надо же!..

Никита надолго замолчал. Дорога была разбита нескончаемым потоком машин, конных повозок и двигавшихся в обе стороны людей. Расставленные через полтора-два километра посты предупреждали о возможных налетах вражеской авиации, но самолетов пока не было видно, хотя погода стояла вполне летная.

Сейчас они проезжали участок, который удерживала справа от Дороги 372-я дивизия. Она защищала северную часть горловины, [251] сдерживала немцев, рвущихся сюда. Но этого, конечно, ни Марьяна, ни младший сержант Ерохин не знали. Последний вел машину изредка поглядывал на симпатичную сестренку, проникаясь к ней теплым чувством, но вовсе иного свойства, чем-то, которое заставило его еще недавно так балагурить.

Но вдруг он выругался сквозь зубы, взял круто вправо и распахнул дверцу.

— Случилось что? — спросила Марьяна.

— Да вон видишь: застрял парнюга... Вася Пилипенко сидит в снегу на брюхе.

Он выбрался из кабины. Марьяна поняла, что придется задержаться, и решила размяться, спрыгнула в снег, потом вышла на дорогу. ЗИС Пилипенки стоял, чуть накренившись. В его кузове сидели два пленных немца, а охранявшие их молоденький командир с румяным лицом и красноармеец с автоматом на плече стояли у кабины вместе с водителем, который объяснял Никите, как подал он вправо, уступая колонне танков, и залетел в глубокий снег.

— А что же танк тебя не дернул? — спросил Ерохин.

— Некогда им было, — отвечал незадачливый Пилипенко. — Шибко гнали... Вроде там немцы прорвались. Так они оборону затыкать поехали.

— Затычники, мать иху... Трос давай!

— Мы поможем, — сказал командир, сопровождавший немцев.

— Помогайте, — отозвался Ерохин. — Только сперва этих дятлов сгоните. — Он показал рукою на сидевших в кузове пленных. — Машину утяжеляют, курвецы мордоряшные... На кой они вам нужны? Цацы, что ли, какие?

— Важные "языки", — ответил командир. — Везем в штаб фронта. Он повернулся к машине и приказал немцам сойти.

— Потом, когда дерну, пусть все толкают, — распорядился Ерохин и поволок трос.

На дороге было пустынно. Еще недавно по ней шли люди, двигалась техника, а сейчас оставались только две автомашины.

Марьяна подошла к увязшему ЗИСу, поздоровалась со всеми, с любопытством посмотрела на немцев. Один из них был офицером, другой солдатом или унтер-офицером, в подобных тонкостях Марьяна не разбиралась.

Увидев красивую молодую женщину, командир подтянулся, козырнул медсестре и представился:

— Лейтенант Поляков. Юрий...

Марьяна назвала себя. Потом спросила, что это за немцы.

— Один из офицеров будет, — с готовностью принялся объяснять Поляков. — А второй из рядовых, но шибко образованный и потому нужный начальству. Вот и везем их в тыл.

— Так у них и образованные воюют? Я думала, что только темные люди позволяют себя одурачить разным там гитлерам.

Услыхав слово Гитлер, немецкий солдат, из образованных, осклабился и несколько дурашливо провозгласил:

— Я, я! Гитлер капут!..

— Не паясничай, — строго сказала ему Марьяна, и тут Никита Ерохин крикнул, что сейчас начнет двигать ЗИС, пусть наваливаются на машину Пилипенко, помогают.

Трос натянулся, все облепили борта ЗИСа, уткнулись руками в зеленые доски и пленные немцы. Продолжавший ухмыляться солдат оказался рядом с Марьяной. "Чего это он лыбится? — подумала она. — Будто к теще на блины едет..."

Ей казалось, что вид у немца должен быть удрученный, скорбный такой, подавленный... А у этого улыбка во весь рот.

— Чему радуешься, обалдуй? — спросила она в сердцах. — В Сибирь ведь тебя отправят.

— О! — воскликнул немец. — Сибир есть гут! Карашо Сибир... Родима сторонка!

— Заткнитесь, саксонец, — предложил Руди Пикерту обер-лейтенант фон Бюлов. — Мне совсем не нравится эта задержка в пути. Как бы нас не размазали на дороге бравые ребята из люфтваффе!

— Раз-два... Взяли! — кричал Юрий Поляков, принявший на себя роль старшего странной команды, состоявшей из двух пленных немцев, старшины медицинской службы женского пола, красноармейца Юсупа Хабибуллина и его самого.

Водитель Пилипенко давал газу, сидя в кабине. Застрявшая в снегу машина стала подаваться, и за криками и суматохой никто не услышал, как прошелестели над их головами мины. Они разорвались с большим перелетом, и осколки пока до них не долетели.

...Руди Пикерту повезло. Везение на войне — штука особая. Не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. В волховских лесах Руди с тоской вспоминал об африканском солнце, когда можно было ходить, что называется, без штанов, забыв, как проклинали солдаты Роммеля проклятый песок, недостаток воды, невыносимое пекло и готовы были заложить душу за пригоршню такого освежающего великолепного белого снега.

На войне все относительно и познается в сравнении. Можно уцелеть на передовой и попасть по дороге в рейх в тот эшелон, который выбрали для диверсии партизаны. Можно спастись в опрокинутом под откос вагоне и угодить под английские бомбы, находясь на побывке в любом городе Германии, в том числе и в Берлине. Руди Пикерт отказался от внеочередного отпуска за удачный рейд в русский тыл и остался на передовой. А его товарищ из соседней роты, Гуго Вишневски из Силезии, отправился навестить жену и ребятишек на законном основании. Решил обрадовать свою Эльзу сюрпризом и нагрянул на собственный хутор ночью, застав благоверную супругу в их семейной постели с польским пленным — солдатом, которого определила Эльза в работники через арбайтсамт. Весельчаку Гуго, поддерживавшему дух ландзеров и в пустыне, и в этих проклятых богом болотах, на этот раз чувство юмора изменило. Он достал трофейный наган, который за каким-то чертом потащил с собой с фронта, и поделил семь патронов барабана на две неравные части, один оставил себе, остальные разрядил в любовников. Так кому повезло: Руди или Гуго Вишневски?

— Руих, — сказал Пикерт. — Тихо...

Он приложил палец к губам, подмигнул Марьяне и улыбнулся.

— Куда пошел? — снова спросила Марьяна.

Руди скорее почувствовал, чем понял, что говорит эта женщина, и показал рукою на север. Оттуда доносилось еще глухое бормотанье стихавшего боя. В другой стороне сражение только разгоралось.

— Ауфвидерзеен, — попрощался Руди Пикерт.

Марьяна растерянно молчала.

— Просчай, русский баб, — сказал он.

-19-

Пакет, полученный Кружилиным с эстафетной почтой, содержал приказ повернуть роту в обратном направлении и выйти в район дислокации гвардейского артдивизиона. Там рота должна была получить огневое подкрепление в виде двух 45-миллиметровых орудий и вместе с ними оседлать поросшее лесом возвышение под названием Остров. Мимо проходила дорога, по ней немцы перебрасывали резервы от Спасской Полисти. Кружилину приказывали возглавить боевую группу, состоявшую из бойцов его роты и двух артрасчетов, и с их помощью сорвать снабжение немецких войск.

Олег расписался за полученный пакет в толстой тетради и прикинул по карте расстояние. Получалось, что к концу дня они доберутся до места.

Отдохнувшие на привале бойцы поспешали проворно. Олег оставил коня ординарцу и прошел три-четыре километра с красноармейцами. Сначала с первым взводом, потом понемногу с остальными, пока не оказался в хвосте колонны. Ребята у него были к переменам привыкшие, никто даже не спросил, с чего вдруг они развернулись. Значит, так надо, рассуждали они, начальству виднее, а придем на место, там и поставят задачу, кому какой иметь маневр.

О том положении, в котором находится 2-я ударная, мало кто знал, разве что высшие командиры. У каждого был собственный шесток, и с него далеко увидеть было нельзя. Может быть, это и к лучшему...

Командир дивизиона выслал навстречу Кружилину связного, и вскоре Олег пил чай в землянке артиллерийского штаба.

— Два орудия с тягачами я уже выдвинул в направлении Острова, — сказал командир.

— Хорошо живете, — заметил Кружилин. — Тягачами пушки таскаете?

— Это, пожалуй, единственный дивизион фронта такой. Остальные на лошадях. И покрупнее нашего калибром.

— А болота? — забеспокоился командир роты. — Как там с проходимостью?

— Сам Остров, конечно, сухой, потому его и называют так. А подходы разведайте. Народ у меня повыбивало... Тут я и за начштаба, и за начальника разведки. Вышли из строя... И в батареях некомплект. Поэтому даю тебе политрука, комсорга дивизиона. Только что из медсанбата, но парень стойкий.

— Мне ведь стрелять надо, — возразил Кружилин, — а не собрания проводить...

— Так он сам из артиллеристов. Выдвиженец. Командиром орудия у меня был. Тридцать девятого года призыва. Вояка!

Кружилин улыбнулся:

— Я тоже тридцать девятого. Питерский.

— Ну вот, — сказал командир дивизиона, — а мне как раз довелось в том году училище у вас закончить. И сразу в освободительный поход, навстречу немцам пошел, ко Львову. Тогда бы с ними и схлестнуться, пока эти падлы не заматерели.

— Нельзя было, — вздохнул Кружилин. — Договор... Дружба,

— То-то и оно, — поддакнул артиллерист, потом спохватился, со вздохом сказал: — Ладно, стратеги... Давай ближе к делу. Политрука того зовут Дружинин. Задачу знает. Ты старший, а ему обеспечить поддержку твоей команды артогнем.

— Снарядов-то хватит? — спросил Кружилин.

— Смотря на какой предмет, — усмехнулся комдив. — Если до конца войны, то навряд... Но поверь: не жадничал. Понимаю, для чего тебя с моими пушками посылают. И ни пуха тебе, ей пера!

Хоть и не очень быстро волокли орудия тягачи, а все же пораньше пехоты успели они к Острову. Остановились в двух километрах, надо было разведать подходы. Сам Остров зарос матерым лесом, а вокруг чахлые сосенки — верный признак излишка воды, тут-то могут случиться и совсем гиблые места, где утопить орудия что два пальца намочить...

На передний тягач Олег взял с собой двух связных, здесь и Анатолий Дружинин поместился, а на второй втиснулся пяток бойцов, самых что ни на есть отпетых, из отделения разведки, которым командовал теперь Степан Чекин. Остановившиеся машины с орудиями быстро замаскировали, поскольку близился рассвет, ночь они затратили на подъезд к Острову. Одного из связных Кружилин отправил к роте, чтоб подтягивалась к временной позиции, а разведчикам поставил задачу: с двух сторон подобраться к Острову и проверить — не заняли ли его часом немцы.

— Главное, — сказал командир роты, напутствуя Степана Чекина, — не обнаружьте себя. Если на Острове обосновались немцы, надо по возможности узнать о них все, а самим остаться незамеченными. Тогда атака будет для них неожиданной. Ухватил, сержант?

— Вполне основательно, — серьезно, хотя и не по-уставному ответил Степан.

Старший лейтенант посмотрел на его мальчишескую физиономию и ободряюще улыбнулся.

Ночь была на исходе, приходилось торопиться, и разведчики исчезли. Время для атаки Острова, если она понадобится вообще, было ни то ни се. К ночному бою Кружилин опоздал. Пока подтянется, пока вернется Чекин — рассветет... Впрочем, командир роты знал, что если хочет воспользоваться преимуществами неожиданного нападения, то ночное время как раз и хорошо использовать для подготовки к нему, а саму атаку можно предпринять и утром. Надо только хоть что-то для начала знать о противнике. А уж потом он разыграет будущий бой в сознании, учтет сопутствующие факторы, варианты возникновения неожиданных ситуаций, постигнет логику возможного поведения того, кто противостоит ему сейчас. Олег Кружилин давно убедился, что философский, диалектический подход к любому военному действу, которое он предпринимал сам или ему навязывало развитие событий, помогает принять единственно верное решение. Во всяком случае, умение разлагать возникающее явление на составляющие и находить становой вектор, который определял развитие будущих действий противника, позволяло бывшему студенту выходить победителем в кровавой игре.

Кружилин выставил наблюдательный пост, к нему должны были вернуться Чекин и его товарищи, и отодвинулся в глубь леса, где укрылись тягачи с сорокапятками.

— Как твои пушки, политрук? — спросил он Дружинина.

— Все готово, — ответил Анатолий. — Хотел было расцепиться с тягачами и развернуть орудия.

— Пока не надо, — сказал Олег. — Если немцев здесь нет, ходом рванем туда. А коль обнаружатся, выбьем пехотным маневром, малыми кровью и шумом. Ты уж лучше с Острова по немецким дорогам постреляй.

— Про болота думаю, — озабоченно промолвил политрук.

— Судя по всему, у самого Острова топко... И морозы не помогли, есть провальные места. Тут до войны торф брали, остались ямы, заполненные жижей, она плохо промерзает. Разведчикам наказал проходы разведать.

— Подремли пока, — предложил Дружинин.
— И то дело, — согласился Олег.

-20-

В ту ночь Евдокия Петровна так и не дождалась мужа домой. Едва Стельмах доложил о серьезном наступлении немцев, Мерецков немедленно связался со Ставкой Верховного Главнокомандования. На проводе был Василевский.
— Беда, Александр Михайлович, — посетовал командующий. — Окружили немцы Вторую ударную.
— Товарищ Сталин еще здесь, — сообщил Василевский. — Сейчас он занят пока. Давай, Кирилл Афанасьевич, сообщи все, что имеешь по развед-каналам, я ему предварительно доложу.
— Нам известно, что немецкое командование перебросило к северному фасу прорыва свежие подкрепления, — сказал Мерецков, — в том числе новую пехотную дивизию и полицейские дивизии СС. Главный удар наносится вдоль шоссейной и железной дорог Чудово — Новгород, в южном направлении. Части Пятьдесят девятой армии подавлены авиацией, мощным минометно-артиллерийским огнем. Вчера вечером войска противника, наступающие с севера, соединились с частями новгородской группировки. Коридор закрыт в четырех километрах западнее Мясного Бора.
— Серьезное дело, — сказал Василевский. — Сейчас доложу Верховному... Жди на связи.
Мерецков опустил трубку и оглядел собравшихся на переговорном пункте близких к нему по службе людей, которые по сигналу "Общий сбор!" уже прибыли в штаб фронта. Были здесь и Запорожец, член Военного совета, и новый заместитель Мерецкова генерал Власов, прибывший из Москвы. Генерал Стельмах по знаку Мерецкова вышел: необходимо срочно выяснить у направленцев оперативного отдела возможное изменение обстановки. А вдруг, она к моменту, когда трубку возьмет Сталин, волшебным образом станет получше...
Но голос Сталина в трубке не возникал, и Кирилл Афанасьевич вспомнил слова Толстого об ошибках. Принято говорить, что надо учиться на собственных ошибках. Подумал: это верно... Но что касается ошибок военных, то лучше учиться на чужих. Свои обходятся большой кровью собственного народа. Потому и разбирают былые сражения в академиях.

— Опять паникуешь, Кирилл Афанасьевич, — внезапно возник в телефонной трубке странно веселый голос Сталина. — Зачем страхи нагнетаешь? Кто там у тебя кого окружил?

Верховный только что разговаривал с Мехлисом, представителем Ставки в Крыму. Лев Захарович, едва сдерживая торжествующие нотки в голосе, сообщил: отброшена танковая дивизия противника.

— И практически разгромлена, товарищ Сталин, — добавил Мехлис.

— Молодцы! Передайте бойцам мою личную благодарность, — несколько взволнованно, позволив себе чуть-чуть отклониться от взвешенно-размеренной, невозмутимой манеры, распорядился вождь.

А до того звонил из Перхушкова командующий Западным фронтом Жуков и доложил: накапливание сил для проведения удара по войскам группы армий "Центр" проводится успешно. Запланированная германским командованием операция "Кремль", имеющая целью повторить бросок на Москву, будет сорвана.

Поэтому Сталин легко отнесся к сообщению о том, что 2-я ударная армия окружена.

— Очередные фокусы хитрого ярославца, — сказал Сталин, и Василевский понял, что речь идет о Мерецкове, ибо знал, что вождь величает рязанца Кирилла Афанасьевича по никому не ведомой причине ярославцем. — Хочет выжать дополнительные резервы, вот и втирает нам очки.

— Но ведь ему обещали выделить в ходе операции общевойсковую армию, — осторожно напомнил Василевский и тут же мысленно обругал себя, всем существом пронизанно осознав, что вляпался некстати.

Сталин посмотрел на Александра Михайловича так, будто видел его впервые, в глазах разгоралось недоумение: кто этот человек, о чем он толкует?

— Кто обещал? — спросил вождь. — Вы, товарищ Василевский? Или, может быть, товарищ Сталин? Но товарищ Сталин не девка, чтобы

обещать...У Мерецкова четыре армии, а ему хочется иметь их пять, потом шесть... Типичная психология русского мужика! Где он там?.. Я сам скажу, что надо делать.

Настроение вождя было подпорчено напоминанием этого поповича, который, как черт ладана, боялся тайны собственного происхождения и во всех анкетах писал, что отрекся от старенького отца-священника. Но Сталин не дал исчезнуть зародившемуся в душе доброму предзнаменованию, что породили доклады Мехлиса и Жукова, и потому удивил Мерецкова благодушным тоном.

— Знаю, знаю, — прервал Сталин командующего Волховским фронтом, который начал было излагать ситуацию. — Товарищ Василевский доложил. Надеюсь, ничего серьезного не произошло. Коммуникации Второй ударной защищают две армии. Такого нет ни на одном фронте, товарищ Мерецков... Почему вы паникуете? Я думаю, что человеку, который отобрал у немцев Тихвин, ничего не стоит очистить горловину прорыва силами двух армий. Товарищ Василевский намекает на необходимость выделения для этой незначительной операции еще одной армии, но нам показалось, что это просто неудачная шутка. Вы согласны со мной, товарищ Мерецков?

— Согласен, товарищ Сталин, — подавив едва не вырвавшийся вздох, незамедлительно ответил Кирилл Афанасьевич.

— Вот и хорошо! Поручаю вам лично руководить операцией. Ликвидируйте конфликт собственными силами. Поищите скрытые резервы. Вы у нас человек запасливый, Кирилл Афанасьевич.

На этой фразе Сталин и оборвал разговор. Он знал: теперь Мерецков не скоро осмелится просить ту самую армию, о которой Верховный прекрасно помнил и без некстати вылезшего Василевского. Он ободрил хитрого ярославца, повязал лично выраженным доверием. Это был правильный ход. Давить сейчас на Мерецкова нецелесообразно, он помнит педагогику Лаврентия, с которой его познакомили после визита на рублевскую дачу. Кнута для ярославца достаточно, иначе сломается, а надо заставить его воевать, и сегодня более уместен пряник. "Ничего, у нас там есть теперь Власов, — подумал Сталин. — Немного освоится, и мы посмотрим, не заменить ли им Мерецкова".

При всей дьявольской прозорливости, к сожалению, используемой им только в сфере политической интриги, и знании человеческой психологии, которое носило у него прикладной характер, Верховный не мог предположить, что именно в эту минуту Кирилл Афанасьевич смотрит на Власова и думает в унисон с вождем. Он хорошо помнил разговор со Сталиным о командных кадрах.

— Вы останетесь в Малой Вишере, — сказал Кирилл Афанасьевич заместителю. — А я отправлюсь в горловину прорыва.

Власов вытянулся во весь длинный рост и сдержанно кивнул.

-21-

— Сани, — сказал Дружинин, — Надо изготовить сани...

— Потянем лошадьми? — сообразил Олег Кружилин.

— Опасно, — покачал головой политрук. — Лошади могут провалиться... Сами дотащим, на себе.

— Тогда приступай. Твои-то справятся гвардейцы? А то у меня старшина добрый плотник.

— Не откажусь, если поможет. Ребята наши топоры в руках держать вроде умеют, да больно молодые. Пусть твой дед покомандует, надежнее будет.

Олег тут же дал вводную старшине Дорошенко, а сам собрал командиров взводов.

Но сначала следовало точно уяснить, какими силами располагает противник, выявить огневые точки, подавить артиллерийским огнем, слава богу, у них есть эти кусачие малышки, а потом брать немца на ура. Можно так, а есть и другие пути... Вернулись из поиска разведчики.

— Немцев там не больше полсотни, — докладывал Чекин. — Артиллерии нет... Но два бронетранспортера по разным сторонам Острова — вроде как боевое охранение.

— А на них крупнокалиберные пулеметы? — уточнил Кружилин.

— Так точно, товарищ старший лейтенант, — подтвердил Степан. — Там у них и посты в землянках. Есть тропа, по ней ходят патрули. Постоянных постов нет, только укрытия из снега.

— Понятно, — сказал Кружилин. — Здесь мы орудия и протащим... К той дороге нам не подобраться, по ней немцы ездят. Главное — уничтожить бронетранспортеры! На южный конец пойдет первый взвод, отсюда ему поближе. Второй взвод скрытно подбирается к западной стороне, убирает патрули и атакует центр Острова, где огневые силы немцев, их землянка-казарма и командный пункт. Третий взвод изготавливается для того, чтобы вслед за вторым проникнуть на Остров и защищать его, ликвидируя отдельных солдат противника и двигаясь при этом к южному и северному концам Острова. Я с разведчиками иду на лыжах к северному концу, он самый дальний, и беру на себя тот бронетранспортер. Командирам взводов проследить за маскировкой бойцов, всем надеть халаты, оружие обернуть бинтами. Сохранять максимальную скрытность до последней минуты. Сигнал к атаке — зеленая ракета. Подать ее, когда будет уничтожен северный бронетранспортер. Вопросы есть?

Никто не отозвался.

— Старшина Дорошенко готовит сани для орудий. Ты, Иван, — обратился Кружилин к политруку Сиянову, — останешься за меня здесь, у пушек.

Обеспечь с остающимися бойцами охрану орудий, а после двух зеленых ракет тащите их на Остров.

...Часовой их заметил случайно, и, хотя Степан Чекин опередил его, не дал выстрелить, срезал очередью, фактор неожиданности был утрачен. Теперь пулемет с бронетранспортера бил так, что не давал подобраться ни спереди, ни с боков. Кружилин знал, что, судя по времени, первый и второй взводы подобрались к исходным позициям и ждут зеленой ракеты.

Старший лейтенант отполз назад, где в непростреливаемом пространстве залегли разведчики, нашел глазами Степана:

— Надо подавить пулемет, сержант!

— Да-да, — засуетился и замельтешил всегда невозмутимый и чуточку бравировавший спокойствием сержант Чекин. — Да-да, я мигом, — торопливо заговорил он, трясущимися руками отвернул полы маскхалата и принялся засовывать за пазуху схваченного ремнем ватника противотанковую гранату.

Олег удивленно смотрел на него, не понимая, что же случилось вдруг с сержантом.

— Я мигом, товарищ командир, — снова пролепетал смущенный Степан, стараясь не смотреть на Олега, и тот вдруг сообразил, что к сержанту пришло осознание близкой смерти.

"Его сейчас убьют", — подумал Кружилин.

-22-

До штаба 372-й дивизии, которой командовал подполковник Сорокин, добраться Мерецков и сопровождающие его командиры на машинах не сумели. Опасно, да и дороги одним только вездеходам под силу. Двинулись по ходу сообщения, выкопанному в глубоком снегу, с намороженными брустверами. В льдинках, по-весеннему оплывших, празднично отражались солнечные зайчики.

— Командир дивизии находится в полку майора Баранова, — сообщил начальник штаба. — Разрешите доложить обстановку, товарищ командующий?

— Сами разберемся, — буркнул Мерецков. — Дайте провожатого, пусть покажет дорогу к полку.

Свиту он покинул в штадиве, взял только капитана Бороду. Знал, что большой группой перемещаться у переднего края небезопасно. Воздушная разведка фашистов фиксирует передвижения и не замедлит навести огонь артиллерии или минометов.

Когда вошли в редкий лес, уже изрядно поврежденный осколками, Кирилл Афанасьевич вдруг ощутил чертовский голод. Сказывалась бессонная ночь. Хорошо бы подкрепиться. Но тогда в сон потянет, а этого он себе позволить не мог: еще не ясно, что же происходит. Хотя, конечно, особенной тайны здесь нет. Люди безмерно устали, защитить их от бомбежки нечем, а противник подтянул свежие силы и господствует в воздухе.

"Сухарь, что ли, попросить у Бороды", — подумал Мерецков, но было уже поздно, они подходили к командному пункту полка.

Подполковник Сорокин, комдив, хотел доложить обстановку, но командующий фронтом мягко остановил его: пусть, мол, хозяин расскажет.

— Только что отбили четвертую атаку, — сказал майор Баранов. — С утра лезут... Хотят на моем участке пробиться.

— Атакуют в южном направлении? — спросил Кирилл Афанасьевич.

— Именно так, — подтвердил командир полка. — Опасаюсь за левый фланг. Сосед мой не выдерживает напора и отходит. Связь прервалась утром и пока не восстановлена, хотя дважды посылал людей. Не вернулись...

— Пошлите в третий раз! — жестко произнес Мерецков. — Без связи с соседом вы не армейский полк, а стадо баранов!

Тут он вспомнил фамилию майора и, досадуя на несдержанность, такого за ним не водилось, вздохнул.

— Поймите, — заговорил он мягким тоном, давая тем самым понять: сожалеет о том, что накричал на командира, — необходимо срочно прикрыть левый фланг. Если сосед дрогнул и отошел, немцы вклинятся на разрыве и немедленно зайдут вам в тыл.

— Это уж непременно, — подал голос подполковник Сорокин, недовольно глядя на Баранова. Комдиву было неприятно выслушивать от Мерецкова очевидные вещи.

— А ваша позиция — главнейшая в системе обороны горловины прорыва, майор, — продолжал Кирилл Афанасьевич. — Отступите вы — все посыпется. Подкрепление дадим, но и полк должен держаться.

— Продержимся, товарищ командующий, — заверил майор Баранов. — Только бы сосед не подвел.

— Соседом мы сами займемся. Вы только связь с ним наладьте. Пройдем на левый фланг, комдив.

— Там опасно, товарищ командующий.

— На войне всюду опасно, — отозвался Мерецков. Над их головами медленно описывал круги двухфюзеляжный разведчик противника.
— Так и летает? — спросил Мерецков. Сорокин пожал плечами:
— А что я могу сделать? У меня никаких средств ПВО, только две счетверенные пулеметные установки на полуторках, да и к ним нет бензина, и стоят они в соседнем полку. Да и что пулеметы с их винтовочным калибром против немецких самолетов с бронированным корпусом?! С таким же успехом можно горохом стрелять. А пикирующие бомбардировщики по нескольку раз в день прилетают бомбить позиции. Большие потери... Да и нервы людям выматывают. "Юнкерсы" выстраиваются в круг и ходят один за другим над окопами, гвоздят сверху. И этого хвоесоса отогнать не можем. Он же любое перемещение войск фиксирует и берет на карандаш.
Воздушный разведчик будто услыхал подполковника. Самолет сошел с круга, срезал его и полетел над лесом. Оттуда выходила колонна бойцов, около взвода. Фигуры в серых шинелях хорошо были видны среди лишенных зелени берез и осин.
— Уже заметил, — сказал командир дивизии. — Сейчас сообщит артиллеристам... Прошу вас, товарищ генерал армии, давайте отойдем. Бойцы идут в нашу сторону, а этот козел наверху скорректирует огонь с упреждением. Бить будут прямо сюда. Рассуждал Сорокин здраво, чего бы его не послушать, и Мерецков свернул на боковой путь. Через несколько минут снаряды стали рваться там, где они только что были.

-23-

"Его сейчас убьют — подумал Олег Кружилин, видя, как засуетился Степан Чекин. — И сержант почувствовал это..."
Кружилин не единожды наблюдал такое состояние у людей, которые вот таким же роковым образом подходили к предсмертной черте, оно вдруг возникало в неподходящее, как вот сейчас, время. Старший лейтенант пытался объяснить себе, откуда приходит к обреченным предчувствие неминуемой кончины. Он отбрасывал, разумеется, версии о неведомом голосе сверху, некоем сигнале, который получает человек свыше. Материалист и диалектик по складу характера и убеждению, Олег объяснял подобное состояние общим срывом психики. Терпел-терпел боец необычность военного бытия, в котором погибнуть можно от тысячи причин, и сломался, потерял самообладание. А когда приходит к тебе подобный мандраж — ты уже не боец. Теряешься,

перестаешь правильно оценивать обстановку, суетишься, как вон Чекин сейчас, делаешь ошибки, а на фронте цена ошибки — собственная жизнь.

И теперь Кружилин понимал, что Чекина посылать на задание нельзя, ведь для сержанта наступил кризис. Степан его одолеет, конечно, и станет, как и прежде, одним из лучших младших командиров в роте. Но это случится позднее, а этот боевой приказ уже отдан... Олег не имеет права отменить его и поручить задание Чекина другому. Это будет несправедливо, и бойцы его не поймут. Да, он осознает, что сейчас Степан не вояка. Чекин обречен: в таком состоянии его срежут через десяток шагов после выхода из мертвой зоны. Но это понимает только он один.

"Что же делать? — лихорадочно думал Кружилин. — И Чекина потеряю... и задание он вряд ли выполнит... Но у меня есть другой выход!"

— Отставить, Чекин! — крикнул командир роты и ободряюще подмигнул сержанту. — Дай-ка сюда гранату... Остаешься за старшего, сержант. Как только этот заткнется, даешь зеленую ракету. Потом с ребятами в атаку! Держи... — Он протянул Степану ракетницу.

"Так будет лучше. Может быть, не повезет мне лично, но с пулеметом я разберусь, это точно..."

Веселая отчаянность пришла вдруг к Олегу Кружилину. Теперь он верил, что справится с бронетранспортером и рота, возьмет Остров. Приказав двум разведчикам выдвинуться вправо и бросить оттуда несколько гранат, чтобы отвлечь внимание пулеметчика, Кружилин стремглав пересек заросший кустами пологий склон Острова и укрылся за стволом кряжистой, растущей в отдалении от остальных деревьев сосны. Его перемещение осталось незамеченным. Теперь еще пара-тройка таких пробежек, и ему удастся пересечь правый сектор обстрела вражеского пулемета. Он зайдет немцу за спину, а поскольку пулемет закреплен, чтобы развернуть его, потребно время. Вот оно-то и отпущено старшему лейтенанту, чтобы выполнить задуманное. Не успеет — винить некого...

Помог ему Чекин. Сержант понял замысел командира, хотя тот и не говорил ему ничего.

После разрывов гранат на правом фланге немецкий пулеметчик обратил туда внимание, но вскоре увидел, что там русские не идут в атаку, и перенес огонь в другую сторону, поняв, что его попросту отвлекают. Но при этом не заметил и маневра Кружилина. Тем более что в этот момент из-за откоса, где укрывались Чекин и его бойцы, донеслось громкое "ура!", потом в воздух взлетели шапки.

Для немца-пулеметчика это было нечто новое. Он дал в ту сторону две-три очереди, пули срезали кусты на откосе, но русских не задевали, там была мертвая зона. А те все кричали и кричали, подбрасывая ушанки. Удивленный немец перестал стрелять.

Остров занимало подразделение, входившее в полицейскую дивизию СС, прибывшую для усиления любанско-чудовской группировки. Вояки были опытные, их на мякине не проведешь.

— Что там происходит, Гудман? — крикнул пулеметчику гауптшарфюрер Бреннеке, занявший с командой из десяти эсэсманов круговую оборону вокруг машины.

— Не могу понять, — ответил Курт Гудман. — Они сошли с ума или просятся к нам в плен...

— Держи их на прицеле, — приказал Бреннеке. — Оберштурмфюрер идет к нам на помощь.

В это время Олег Кружилин был уже на нужной позиции. Примерившись, он швырнул одну за другой две гранаты-лимонки, так что они разорвались по обе стороны бронетранспортера. Гранаты эти оборонительные, и бросать их надо из окопа, надежного укрытия, иначе рискнешь сам попасть под их осколки. Потому командир роты, едва услыхав сдвоенный взрыв, тут же сунулся в снег под дерево головой и почувствовал, как в ствол сосны, укрывшей его, шмякнули кусочки металла. Потом рванулся вперед с увесистой противотанковой гранатой в руке, иначе ее не добросишь, с силой метнул выкрашенный зеленой краской гостинец в моторную часть вездехода. И тут же упал, проломив корочку ледяного наста, которым покрылся подернутый синькой снег, перекатился в сторону и распластался на спине за деревом...

-24-

— Перетрясите тылы, — сказал Кирилл Афанасьевич генералу Галанину, командарму-59. — Соберите всех, без кого можете обойтись, в штабе. Надо срочно помочь Сорокину! Если его сломят, последствия окажутся непредсказуемыми... Еду на южный фас горловины к генералу Яковлеву. Но пока добираюсь до штаба армии, свяжитесь с ее командующим, передайте от моего имени приказ: выделить из Триста пятой дивизии два отряда. Пусть направит их прикрыть левый фланг Сорокина, иначе противник обойдет его.

"Вот не ожидал от Галанина, что надо поучать его, — думал Мерецков по дороге. — Как можно в такой обстановке сидеть сложа руки?! А ведь грамотный

генерал, академик, всегда умел сохранять ясную голову в критическом положении..."

Трясясь в машине, Кирилл Афанасьевич с горечью размышлял о том, что меры, которые он предпринимает сейчас, похожи на крыловскую байку про Тришкин кафтан. Снять часть сил с 305-й дивизии и помочь Сорокину — крайний случай. Ведь и та дивизия стережет немцев у Большого Замошья, не дает им просочиться в тылы 2-й ударной с юга. А вдруг они полезут и с этой стороны? Чем он тогда поможет Барабанщикову? Будет снимать бойцов из других дивизий? Но каких? Откуда ему взять свежие силы?

Вопросы, вопросы... В одном месте отрежь, на другое положи заплатку, там укороти, здесь надставь — вот к чему сводятся усилия командующего фронтом. Есть выход, он давно его придумал. Необходимо перебросить из 4-й армии новую дивизию, которая недавно получила основательное подкрепление. На это уйдет не меньше двух-трех дней. Только не имеет он права самостоятельно двигать дивизии фронта, перебрасывать их из одной армии в другую. Надо и этот вопрос согласовывать со Ставкой. Иначе его, Мерецкова, обвинят в самовольстве, а это тяжкий грех в глазах Сталина. Верховный не любит, когда кто-либо проявляет собственную инициативу. Это исключительно прерогатива вождя. Остальные обязаны исполнить его волю. И поэтому Мерецков сначала убедится, что исчерпал местные возможности, и только затем позвонит Василевскому и договорится о переброске дивизии.

В штабе 52-й армии генерал Яковлев встревоженно сообщил: немецкое наступление со стороны Новгорода усиливается. Сейчас гансы сосредоточили атаки против позиций 65-й дивизии. Полковник Кошевой держится изо всех сил, но сил у него, увы, немного. Хорошо хоть, что в армии есть пока снаряды, и Яковлев серьезно поддержал Кошевого артиллерией.

— Куда теперь? — привычно спросил Мерецкова капитан Борода, когда командующий фронтом уселся в машину.

— Туда, где только что были, — устало махнул комфронта.

По дороге он подремал немного, тревожно возвращаясь на ухабах в бытие. По приезде узнал, что в 59-й армии ничего существенного не случилось. Галанин божился: наскрести что-либо путное в тыловых подразделениях трудно. Нестроевики там больше, женщины, интенданты, не умеющие зарядить винтовку. Мерецков снова подумал о том, что Иван Васильевич определенно нуждается в смене обстановки, он скажет об этом Василевскому позднее, бывает такое на войне. Спросил про дивизию Сорокина.

— Туго у него на левом фланге, — ответил полковник Пэрн, начальник штаба армии. — И немцы обходят. Остановить не удается.
— Вам всем придется туго, если не сладите с противником, это я обещаю, — зловещим голосом, он умел быть жестким, сказал Кирилл Афанасьевич.

-25-

Гитлер сидел за письменным столом, уединившись в Зеленом домике, скромном строении в лесу, где разместились подземные бункеры "Вольфшанце". Покойный Тодт, которого сменил Альфред Шпеер, предлагал при сооружении "Волчьего логова" выстроить на поверхности комфортабельные помещения с зимним садом и бассейном. Но фюрер решительно возразил.
— Я — солдат, — гордо заявил он. — Из этого "логова" буду вести войну с главным врагом Германии. Орхидеи и штабные карты — понятия несовместимые. Скромность, скромность и еще раз скромность!
Поэтому весь гигантский механизм ставки спрятали под землю. Наверху соорудили скромные домики для фюрера и ближайшего окружения. Строения были однотипными и тщательно замаскированными. Последнее обстоятельство — незаметность "Волчьего логова" для воздушных наблюдений — и было решающим в той категоричности, с которой Гитлер отказался от будущих особняков Тодта. Домики были одного цвета, но тот, где жил фюрер, называли почтительно Зеленым, остальные носили номера: блок такой-то сектора А, В или С.
...Почувствовав некоторую усталость, Гитлер решил отвлечься от работы над оперативными документами. Обойдя стол, он открыл сейф и достал оттуда альбом, в котором хранились старые акварели. Они были написаны им в трудные годы. Последняя попытка поступить в Академию художеств, где его в тот раз, осенью 1908 года, даже не допустили до экзаменов, и Гитлер неудержимо скатился на венское дно. Он мог попытаться еще раз, хотя и не имел среднего образования... Но сколько можно пресмыкаться перед вонючими снобами! Нет, он познает глубину унижения, чтобы затем подняться над ничтожествами во весь рост и отомстить им, отомстить, отомстить!
Гитлер часто задышал, воспоминания потрясли его, и ему стало жалко себя. Но усилием воли он расслабился, погасил закипевший было гнев. Наедине с самим собой Гитлер предпочитал не разыгрывать сцен — не было зрителей. Он раскрыл альбом и уселся на диван. Первая акварель изображала здание венской оперы. Гитлер улыбнулся. Да, этими картинками он зарабатывал себе

на жизнь... Писая городские этюды, пейзажи, изображал на листах архитектурные достопримечательности столицы Австро-Венгерской империи и сбывал их продавцам рам для картин из дорогого багета. Молодой Адольф распалял воображение, представляя, как покупатель рамы вынимает написанную им работу и велит слуге выбросить на помойку, вставив взамен модную мазню удачливого халтурщика. Но и этот скудный, равно как и унизительный для большого, непонятого художника, заработок пришел к Гитлеру только к 1913 году. До этого он жил в жалких меблирашках, гнусность которых была невыносимой, потом Гитлер назовет их в "Моей борьбе" пещерами. Когда же не стало денег и на убогое пристанище, будущий вождь нации стал спать на садовых скамейках или под дунайскими мостами, а в холодное время обитал в ночлежных домах, дольше всего в "Мужском доме для неимущих", который находился на улице Мелдеман. Ради нескольких мелких монет он помогал дворникам убирать снег, на Западном вокзале подносил пассажирам чемоданы, мыл окна в магазинах, выбивал ковры... Подрабатывал Гитлер и как временный разносчик, но в этом качестве использовали его редко: вид у Гитлера, как у бродяги, был, мягко говоря, неприглядным.

Потом фюрер, всегда ненавидевший тех, кто получил образование, людей воспитанных и культурных, всех этих хлюпиков-интеллигентов, будет с гордостью повторять, что именно в те годы получил он знание практической жизни, которого не даст ни один университет мира.

"Я сам сделал себя, — любил говорить Гитлер. — Обошелся в собственном образовании без жидовских профессоров, тайная цель которых лишить настоящих немцев индивидуальности и подлинного самовыражения. Я читал необычайно много и притом основательно... За несколько лет я таким образом создал запасы знаний, которыми и сейчас еще питаюсь". Фюрер всегда подчеркивал, что открыл особый метод усвоения прочитанного. Суть его в том, чтобы запоминать существенное. Остальное нужно забывать, тогда чтение имеет какой-либо смысл...

Фюрер взял в руки еще одну акварель.

С поблекшей бумаги, краски уже выцвели, на него смотрел рядами окон королевский дворец в Хофбурге. Гитлер вспомнил, как дважды прогоняли его жандармы, когда он пристраивался на площади с жалким мольбертом. Теперь фюрер может занять любой королевский дворец в любой европейской стране. Жить в нем как хозяин... Но зачем ему это? Он ведь не толстяк Геринг, столь падкий на роскошь и внешнюю мишуру. Геринг — пошляк и плебей, ему не

понять, что тому, кто развил в себе высшее духовное начало, не нужны никакие богатства мира.

За акварелью лежал листок с отпечатанным для него текстом, как всегда, на машинке с особо крупным шрифтом. Фюрер близоруко сощурился, поднес листок к глазам. Это была цитата из недавнего выступления Геббельса на закрытом совещании. Рейхсминистр пропаганды говорил: "Чувства оставим поэтам и девицам, за церковью сохраним загробный мир, слабоумные пусть предаются мечтам о героизме и сгорают от любви к родине. Самое главное — все они должны выполнять наши приказы. Мы полагаемся на идеализм немецкого народа..." Доктор Йозеф Геббельс был единственным среди окружения фюрера обладателем высшего образования.

"Интеллигент, — усмехнулся фюрер, хотя слова Геббельса импонировали ему. — Вот бы окунуть Йозефа в клоаку "Мужского дома для бедных" на Мелдеманштрассе..." Эта мысль так позабавила, что Гитлер позволил себе немного похихикать, глаза его при этом злорадно умаслились. Гитлер захлопнул альбом, спрятал в сейф, закрыл его и вызвал генерала Шмундта.

— Хочу пройтись по свежему воздуху, — сказал фюрер шеф-адъютанту. — Какая погода?

— Прекрасная, мой фюрер, — почтительно, но без подобострастия склонил голову Шмундт. — По-весеннему тепло...

— Это тепло посадило на землю мои самолеты, — проворчал фюрер. — Проклятое обледенение!

На него ссылался утром Геринг, оправдывая снижение активности люфтваффе на фронтах центральной и северной групп армий.

Генерал Шмундт подал Гитлеру легкое, с подкладкой из верблюжьей шерсти пальто. Шеф-адъютант боготворил фюрера.

-26-

Пока Мерецков мотался поперек коридора между штабами 52-й и 59-й армий, организуя новую брешь к западу от Мясного Бора, а пехотные дивизии вермахта, заполнившие горловину прорыва, пытались обойти наши дивизии с флангов и вытеснить к востоку, 2-я ударная, оказавшись в окружении, продолжала наступательные операции, хотя снабжение армии прервалось. Весенняя распутица приближалась. А с нею вместе приближались голод и цинга.

...После авиационного налета на село Дубовик медсанэскадрон Михаила Мокрова вот уже месяц обретался в тылах кавдивизии, исполняя привычную работу фронтовых медиков. Убитых в тот налет похоронили в братской могиле. За телом Севы Багрицкого пришла машина, и товарищи из "Отваги" увезли его, чтобы предать земле неподалеку от временной стоянки редакции.

Изрядно потрепанный медсанэскадрон перевели из Дубовика в рабочий поселок Радофинниково. Здесь приток ранбольных стал понемногу снижаться, ибо атаки кавалеристов и их соседей — пехотных частей — утратили прежний яростный характер, и на этом участке фронта установилось временное затишье. Но зато навалились новые напасти: начались перебои с медикаментами. Бинтов и прежде не хватало, медперсоналу приходилось использовать старые, для чего надо было тщательно стерилизовать их кипячением, потом прополаскивать неоднократно... Воду же получали дедовским способом: набивали снег в ведра, баки и тазы и грели на кострах. На это уходило огромное количество дров, их рубили санитары и красноармейцы хозвзвода, запасники второй категории, люди в принципе хворые.

Едва гитлеровские части закрыли коридор, резко сократилась дневная выдача продуктов. Правда, Мокров человеком был запасливым и держал в заначке несколько мороженых лошадиных туш, были у него и сухари припрятаны, и концентраты. Только на войну не напасешься, и весь этот неприкосновенный запас растает за несколько дней. Вот почему беспокойные мысли все чаще приходили к Михаилу. И когда он увидел прибывшего с передовой комиссара 100-го полка Сотника, то почувствовал облегчение: с этим лихим рубакой и поговорить интересно, и душу можно отвести, и знает он побольше их, медиков, о складывающейся ситуации.

Старший политрук Петр Сотник, бравого вида казачина, обладатель буденновских усов, человек непомерной храбрости, о которой кавалеристы складывали легенды, шумно приветствовал командира медсанэскадрона. Он прибыл верхом, его сопровождала группа конников, они охраняли в дороге трое саней-розвальней, в которых привезли раненых бойцов.

— Героя привез тебе, доктор, — громогласно сообщил Сотник. — А ну-ка, поди сюда, брат Черкасов! — Сотник поманил красноармейца, что выбрался из саней и стоял поодаль, поддерживая забинтованную руку. — Коневод Черкасов из эскадрона товарища Муханова, — представил смущенно улыбающегося парня комиссар. — Расскажи доктору, как ты отличился в бою. Ну, чего язык проглотил? Стесняешься? Ладно, сам расскажу, ведь мне на тебя наградной

лист писать. И Сотник довольно живописно (он умел красочно подать подвиги кавалеристов полка, которых считал как бы собственными детьми, хотя ему и тридцати еще не было) рассказал, как эскадрон Муханова выбил из деревни пехотный полк противника. Потом отразил бешеные контратаки, а когда немцы бросили против конников танки, кавалеристы встретили их мужественно и хладнокровно.

— Саблями? — шутливо подначил Мокров комиссара.

Сотник погрозил врачу пальцем.

— Про сабли разговор будет особый, — сказал он, решив простить пока доктору неуместный выпад. — Тот, кто саблей владеет, ему и граната — сестра родная. Вот этот парень связал гранаты и пополз навстречу танку. Изловчился и подорвал проклятую немчуру. Только сам не уберегся, осколок собственной же гранаты оторвал ему три пальца.

— Тобой, Черкасов, я сам займусь, — сказал Мокров. — Но что же ты так неосторожно?

— Хотел поближе к танку подползти. Боялся, что связку гранат не доброшу, товарищ военврач, — заговорил наконец коневод. — Тяжелая больно связка...

— Сколько же в ней гранат было?

— Да вроде двенадцать, — просто ответил Черкасов.

Сотник оглушительно рассмеялся:

— Видал? А ты говоришь — с саблями против танков...

Военврач вызвал медсестру Лиду Калистратову и велел ей готовить бойцов к операции. А Сотник забрал тех, с кем приехал в Радофинниково, и ушел с ними, оставив лошадей в расположении медсанэскадрона.

— Вечером загляну, доктор, — сказал он. — И дело есть, и потолкуем за стаканом чаю. А вот это возьми на память. Немцы бросают с воздуха, попадают и в наши окопы.

Он подал ему сложенный вчетверо листок. Это была листовка немецкого командования, обращенная к солдатам вермахта. Называлась она "Бейте гусевцев!". В листовке расписывалось, какие свирепые звери эти красные кавалеристы, дети тех самых казаков, которые сражались против армии кайзера в первую мировую войну. Большевики выращивают казаков в особых питомниках, где кормят сырым мясом, с детских лет воспитывают в них жестокость, заглушая начисто инстинкт самосохранения. Не случайно гусевцы не сдаются в плен. Поэтому их надо беспощадно уничтожать во имя фюрера и рейха.

— Потом мне на русский язык переведешь, запиши текст на бумажке, — попросил Сотник. — Использую в политработе с бойцами. До вечера, доктор.

...Вернулся Сотник поздно, но Мокров ждал его. Он позвал девушку-санинструктора, попросил накрыть на стол по-домашнему да посидеть с ними для украшения мужской компании. Но комиссар выглядел озабоченным, потирал худые, почерневшие скулы, хмурился неведомым мыслям, и Михаил незаметно кивнул ей: накормлю сам, напою крепким чаем и уложу спать.

И стал ухаживать за гостем.

— Тут вот клюквы немного сохранили, Петр Иванович. Насыпайте в чай.

— Ты бы ее лучше раненым оставил.

— Есть и для раненых...

— Положу немного, для вкуса. Хорошо, что заварил чай покрепче. Спасибо. У нас этого добра и в помине не сыщешь... Ночью дело будет, доктор. Возьму у тебя мужиков-санитаров в помощь.

— Ожидается бой?

— Да нет, — улыбнулся Сотник. — Приготовили мы с пехотинцами площадку за поселком. Ждем самолеты с продуктами.

— Это очень кстати! — оживился Мокров. — Может быть, и нам что-либо перепадет?

— Всенепременно... Только дашь от себя людей, чтоб быстро погрузили и увезли. А то немцы могут нам всю эту вечерню испортить. Мы же костры будем жечь, а на них не только наши бабочки, но ихние мотыльки тоже прилетят.

После третьего стакана чаю Сотник будто что вспомнил, легонько стукнул себя кулаком по лбу:

— Да! Ты вот сегодня про сабли вспомнил... И у меня днями спор вышел в политотделе корпуса. Есть там у нас один парень, толковый, ничего не скажу, второй месяц, правда, всего на фронте. Но задел меня, понимаешь, доктор, как и ты давеча, этими саблями, с которыми мы на танки ходили. Помнишь бой под Некрасовкой в сорок первом году?

— Еще бы, — отозвался военврач. — Сам в атаку не ходил, но как ваш полк ринулся на танки с саблями наголо, всю жизнь буду помнить.

— В атаку тебе ходить и не положено, — улыбнулся комиссар. — Впрочем, и ездить на лошади ты тогда еще не умел, не знал, с какой стороны в седло садятся. Так к чему я?.. Ага, этот, значит, парень твердит: кавалерия устарела, война танков, век техники и все такое. А я и не спорю... На коня мы сели в сорок первом не от хорошей жизни. Но и передергивать не надо. Ведь не

рубили же мы в самом деле саблями танковую броню! Нет, кавалерийская атака предпринималась для того, чтобы отсечь пехоту от танков и уничтожить ее. Это раз, А какой пример для пехоты, которой мы, конники, показали, что гадов можно бить, и бить крепко?! Два... И пехоте помощь. Когда танки без поддержки, их легче гранатой или бутылкой достать. Уже три... И вообще, роль кавалерии не сошла еще на нет. Если мы с тобой доживем до старости, доктор, то объясним нашим внукам: не смейтесь над теми, кто с саблями наголо летел на железные машины оккупантов.

— Пусть сначала вообразят себя на их месте...

— И это тоже, — согласился Сотник. — Но мы довольно быстро разработали новые тактические приемы, учли обстановку, в которой пришлось воевать. Действуем то в конном, то в пешем строю. Сбиваемся в крупные отряды или рассыпаемся на мелкие группы, образуем пешие разведывательные группы. А рейды по тылам противника?! Неожиданные удары по ночам, когда враг убежден в безнаказанности и не ждет нападения! Понятное дело, как самостоятельный род войск конница утратила значение, но во взаимодействии с основными частями Красной Армии мы не раз покажем немцам, где у нас на Руси раки зимуют.

...Когда в ночном, испещренном звездами небе послышался рокот самолетных моторов, старший политрук Сотник подал команду:

— Зажигай!

Костры, обозначавшие посадочную площадку — большое снежное поле, вспыхнули одновременно. Их было четыре, и если их соединить воображаемыми линиями, то получился бы крест из двух неравных по длине перекладин. Та, по которой следовало садиться самолетам, была почти вдвое больше поперечной, и летчики заходили на эту линию с востока.

Михаил Мокров стоял рядом с Сотником, были тут еще незнакомые врачу командиры, и старался представить, как видят их огненный крест пилоты приближающихся к Радофиннихову воздушных кораблей. Он вспомнил вдруг старинную гравюру, помещенную в "Истории географических открытий", которую любил рассматривать, а потом и перечитывал не единожды в детстве. Португальский капитан, видимо Васко да Гама, стоял на мостике каравеллы и со страхом всматривался в незнакомые звезды над бушпритом плывущего в неведомые дали парусника. Это было созвездие Южный Крест. И Михаил, став взрослым, часто думал: какое надо было иметь воображение, чтобы в этих

четырех небесных огоньках, поднимающихся после пересечения экватора из океана, увидеть символ веры!

"А что видят в наших кострах на земле эти парни в воздухе?" — успел подумать Мокров, когда "кукурузник" пророкотал над головами и стал затихать в стороне. Видимо, то был разведчик.

От комиссара Михаил знал, что ожидается посадка четырех "дугласов", обутых в лыжи, могут прилететь и самолеты По-2. Они доставят продукты и медикаменты, назад повезут раненых, которых подготовили и кавалеристы, и пехотинцы из антюфеевской дивизии. Они терпеливо ждали полета на Большую землю в санитарных машинах, в открытых кузовах грузовых машин и санях-розвальнях, запряженных лошадьми.

Судя по басовитым звукам, которые возникли в ночном морозном воздухе, к ним шел на этот раз "Дуглас". Но, как вскоре выяснилось, и он садиться не собирался. Снова послышались голоса, извещавшие о том, что летчики сбрасывают груз в мешках. Один из таких мешков угодил в костер, подняв тучу искр.

— Поправить костер! — прозвучал голос комиссара, а с востока все шли и шли новые машины.

Всего прилетело четыре "Дугласа". Они сбросили груз, ориентируясь на огненный крест, но сесть никто не решился. А может быть, и команды им такой не было.

Когда улетел последний посланец Большой земли, Сотник приказал приступить к сбору разбросанных по полю грузов.

Уже светало. Мокров отправил раненых в медсанэскадрон. Сотник опасливо поглядывал на темный еще север, оттуда могли прилететь немцы, торопил красноармейцев.

К нему подошел Михаил, спросил:

— Есть что-нибудь по медицинской части, Петр Иванович? Сотник сплюнул в сердцах, досадливо махнул.

— Ничего не пойму, — сказал он. — Обещали доставить и то, и другое. Так мне в штадиве заявлено было. А на поверку вышло: овес в мешках сбросили. Нужная, конечно, вещь. Надо и лошадей чем-то кормить. Но...

— Как?! На всех самолетах один овес? Сотник не ответил.

— И-го-го! — дурашливо заржал случившийся рядом красноармеец и сбросил в общую кучу мешок со спины.

— Давайте курсантов, — устало произнес Мерецков. — Чего уж там... Надо спасать положение.

Не хотелось ему вводить в бой последний резерв, "личную гвардию", как иногда шутливо называл командующий фронтом курсы младших лейтенантов и учебную роту младших командиров. Народ там переборный, испытанный в боях сорок первого года.

Мерецков связался со Ставкой и получил разрешение перебросить к Мясному Бору из 4-й армии 376-ю дивизию полковника Угорича. Но дивизия подоспеет, самое меньшее, через два дня. Противник, который прорвался основными силами в четырех километрах к западу от Мясного Бора, по обоим берегам лесной речушки Полнеть, расширяет прорыв в обе стороны, спешно закрепляется. Если промедлить с контратакой, воздвигнет такие укрепления, что потом неимоверные усилия понадобятся их одолеть. А дополнительные усилия всегда влекут за собой лишние жертвы. Их можно избежать, рискнув жизнями курсантов.

— Вводите их в бой, — сказал Мерецков и потребовал связи с командармом-два.

Судя по голосу, Николай Кузьмич всерьез разболелся. Только на прямой вопрос о здоровье ответил, что у него все в порядке, оснований для беспокойства не имеется.

— Ну тогда ладно, — сменил тему генерал армии. — Знаешь, что твою армию окружили?

— Так я с самого начала так и воюю, — ответил Клыков ворчливым тоном. — Докладываю: пять дней уже как нет подвоза. Люди начинают голодать. И стрелять по врагу опять же нечем.

— Я распорядился активизировать полеты авиации к вам, — сообщил Мерецков. — Кое-что забросят, готовьте площадки. Только нужна и твоя помощь, Николай Кузьмич. Соседи не справляются, ударь и ты со своей стороны.

— У меня одна армия, которая с боями идет к Ленинграду, а у соседей целых две армии... Две! Странное дело получается!

Кирилл Афанасьевич спорить с Клыковым не стал, в объяснениях командарм не нуждался. Он понимал его состояние: завидного в положении ударной армии мало. К тому же Клыков и в самом деле болен, хотя и продолжает хорохориться.

— Сделаем таким образом, — мягко и буднично заговорил командующий фронтом. — Снимешь с Красной Горки Пятьдесят восьмую стрелковую и танкистов-гвардейцев Седьмой бригады. Это будет крепкий кулак. Собирай их в районе Новой Керести. А мы пока готовим для контратаки свежую дивизию. Вместе ударим с двух сторон. Двух дней тебе достаточно?

— Достаточно, — коротко ответил Клыков.

...Мерецкову сообщили: курсанты внезапным ударом опрокинули противника, занявшего дорогу за Мясным Бором, и при поддержке 372-й дивизии соединились с частями, которые действовали с южной стороны. Дорога во 2-ю ударную была свободной.

— Закрепляйтесь, закрепляйтесь немедленно! — наставлял Мерецков начальника штаба Пятьдесят девятой армии. — А главное, следите за тем, чтобы войска не теряли связи друг с другом и штабом армии.

Полковник Пэрн согласно кивал, нетерпеливо ожидая, когда командующий отпустит его, чтобы предпринять меры для закрепления первого успеха.

— Вернусь ненадолго в Малую Вишеру, — сообщил Кирилл Афанасьевич. — Утром снова буду здесь. Если продержитесь до ночи, потом будет легче, немцы до утра вас трогать не будут. А там и Угорич подоспеет.

В машине он сразу уснул и спал до тех пор, пока эмка не подкатила к штабу. Михаил Борода предупредил дежурного, что они выезжают, и потому Мерецкова встречали Запорожец и генерал Власов. Правда, член Военного совета сразу ушел на партийное собрание в редакцию "Фронтовой правды", и Мерецков с Власовым остались в кабинете вдвоем.

— Как вы тут без меня? — спросил Кирилл Афанасьевич. Заместитель пожал плечами, находя вопрос неконкретным. Власов прежде не был лично знаком с Мерецковым, хотя, как и каждый командир, знал о нем, бывшем начальнике Генерального штаба. К манере Кирилла Афанасьевича обращаться с окружающими его людьми мягко, по-домашнему, конечно, в тех случаях, когда нет нужды проявлять жесткость, Власов не привык и потому поспешил официально доложить, что дивизия полковника Угорича начала движение.

— Но раньше чем через двое суток вступить в бой не сможет, — добавил Власов.

— Как обстановка в Четвертой? — спросил Кирилл Афанасьевич.

— Пока сносная... Противник проявлял активность между Лезно и Волосье, но это скорее отвлекающие действия. Силы немцы бросили на юг... В конце

концов, на все направления их не хватает. Четвертая армия держится крепко, товарищ командующий.

— Зовите меня по имени и отчеству, Андрей Андреевич. Ведь мы с вами одни.

— Слушаюсь, — склонил голову Власов.

"Солдафон у меня заместитель. А ведь Академию Фрунзе закончил", — подумал Кирилл Афанасьевич.

Подавив возникшее чувство — Мерецков всегда, даже в мыслях, старался без повода не обижать людей, а Власова пока не раскусил, — Кирилл Афанасьевич вздохнул.

— С Четвертой армией мы освободили Тихвин, — с гордостью сказал он. — Первый город, откуда насовсем выкинули немцев.

— А Малая Вишера? — спросил Власов.

"Смотри-ка, — удивился Мерецков, — умеет поправлять начальство. Или он только меня не боится?"

— Верно. Малую Вишеру освободил генерал Клыков. Но какой это город? Большая деревня...

— У меня в Двадцатой армии был начальник штаба из Четвертой, — сказал Власов. — Сандалов его фамилия, зовут Леонид Михайлович. Толковый штабист, до войны бархатный воротник и ботинки с лампасными штанами носил. Под Москвой показал себя с лучшей стороны. Ведь в первые дни боев я был еще в госпитале, и Сандалов обходился без меня, взял на себя и командирские заботы.

— Славу тоже поделили? — улыбаясь, спросил Мерецков.

— Слава — вещь ненадежная, Кирилл Афанасьевич, — серьезно ответил Власов. — Сегодня она есть, а завтра... Мой корпус осенью сорок первого окружили под Киевом. Впрочем, как вы знаете, не только мой корпус... Целый месяц бродил по немецким тылам, пытался выйти к своим. Проще, конечно, было бы застрелиться, как сделал это Кирпонос. Ну и что? На одного генерала в Красной Армии было бы меньше... А я вышел! И сохранил партийный билет... Потому товарищ Сталин мне и поверил. А выйди я без билета? Где бы сейчас был?

— Во всяком случае не в Малой Вишере...

— Почему? — возразил Власов. — Может быть, даже и во Второй ударной. Только в штрафной роте.

— Их там, слава богу, нет. Обходимся, Андрей Андреевич, без штрафников. Вот что... А не поужинать ли нам вместе? Пойдемте ко мне. Живу я семейно. Моя

Евдокия Петровна рада будет познакомиться с новым человеком. Ведь вы недавно из Москвы... Расскажите, как выглядит сейчас столица-матушка.

Решение пригласить Власова на ужин возникло у Мерецкова неожиданно, в последнюю минуту. Ему не хотелось приглашать домой этого человека, пусть и героя битвы под Москвой. К тому же есть подозрение, что Сталин прочит Власова на его, Кирилла Афанасьевича, место. Впрочем, может быть, зря он тревожится и опасения его напрасны? Тогда многое может проясниться в разговоре за семейным ужином: заместитель его разомлеет, расслабится, утратит бдительность.

Но разгадать Власова оказалось не так-то просто. Он постоянно сводил разговор на Сталина. Верховный удостоил Власова личной беседой, доверил бывшему комкору Двадцатую армию, принявшую участие в великом сражении.

— И доверие товарища Сталина мы оправдали, — сказал Андрей Андреевич. — Отняли у фашистов Шаховскую, Солнечногорск, Волоколамск, отбросили врага от Москвы.

— Вам, наверно, скучно в новой должности, — пустила пробный шар Евдокия Петровна, радушно потчуя гостя. — Привыкли лично руководить войсками. К тому же известный теперь полководец.

Ход был таким прозрачным, что Мерецков поморщился: переборщила Дуся. Впрочем, она женщина, ей подобное простится, сойдет за непосредственность, что ли. Но Власов будто не заметил подвоха.

— Это верно, такая ипостась, конечно, не по мне, — улыбнулся он, и его грубо вырубленное лицо с большими роговыми очками на крупном мясистом носу несколько помягчело. — Я больше все сам командиром был. Как призвали меня в Красную Армию в девятнадцатом году из Нижегородского университета, так и командую до сих пор. Поначалу, конечно, был рядовым на врангелевском и польском фронтах. Потом курсы краскомов. Так и пошло. Командир взвода, роты, батальона, полка, дивизии...

— Помню, — сказал Мерецков, — в первые дни войны ваша дивизия отличилась в Перемышле. Не отступила ни на шаг, пока немцы не стали обходить ее.

— Это уже была не моя дивизия, — скромно возразил Власов, — Перед войной я сдал ее, получив механизированный корпус. Правда, механизированным он был только на бумаге.

— Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, — к месту ввернула Евдокия Петровна. — Это у нас бывает. А вот, говорят, вы еще и в Китае бывали, Андрей Андреевич?

"Откуда она знает? — удивился Мерецков. — Я, во всяком случае, ей об этом не говорил..."

— Довелось, — признался Власов. — Целых два года провел в китайской армии, был военным советником. На военно-дипломатической службе, так сказать.

— И орден там получили? — продолжала хозяйка, смущая супруга осведомленностью.

— Было такое дело, — улыбнулся Власов, и Кирилл Афанасьевич малость успокоился, увидев, что расспросы его жены доставляют гостю удовольствие.

Теперь положением полностью овладела Евдокия Петровна. Мерецков помалкивал, понимая, что вопросы хозяйки могут касаться и тех сфер личной жизни его заместителя, до которых он касаться не имеет права. И действительно, разговор перешел на семейные дела гостя. И тут Кирилл Афанасьевич с удивлением узнал, что генерал Власов женат в третий раз. Однолюб и человек в привязанностях постоянный, он всегда с опасливым любопытством смотрел на многоженцев, вернее сказать, на тех, кто разводился и начинал семейную жизнь с нуля. Но Власов так просто и естественно объяснил семейные неувязки, что даже Евдокия Петровна, никогда не жаловавшая разведенцев, сочувственно покивала.

— На детишек мне не везло, — говорил генерал-лейтенант. — Потому и расходились с обоюдного согласия. А вот с Агнессой у нас получилось... Был у нас сыночек.

— Случилось что? — спросил Кирилл Афанасьевич, не заметив, как жена подала знак: не береди душу. Но Власов спокойно объяснил, что первенец их погиб под бомбежкой на второй день войны, когда жена пробиралась на восток.

— Потом со мной была, она ведь военврач... Вместе и в окружение под Киевом попали, выходили втроем, еще с нами старший политрук. Сначала, правда, шли всем штабом, потом от каждой встречи с немцами, зачищавшими котел, группа становилась все меньше. Отпустил я бороду... Агнесса все смеялась: на лесного бандита стал, говорит, похож.

— А вы бы ее сюда сейчас забрали, — посоветовал хозяин. — Поскольку военврач… Вон моя Евдокия Петровна госпитальное дело опекает. Взяла бы и вашу супругу под крыло.

— Спасибо, — поблагодарил Власов. — Сейчас не получится... В положении она, снова сына ждем.

— А вы уверены, что не дочка родится? — улыбнулась хозяйка.

— Уверен, — серьезно сказал Власов.

Заговорили о том, что женщины на войне вроде бы и нужны, да только лишних хлопот доставляют командирам. Мерецков то присматривался к Власову, то надолго задумывался и спрашивал себя: узнал ли заместителя за ужин больше, нежели за две недели общей службы? И получалось, что по-прежнему не знал, каков этот человек и с какими намерениями приехал на Волховский фронт.

"На карьериста, выскочку из выдвиженцев предвоенных лет вроде бы не похож, — размышлял Кирилл Афанасьевич. — И в Китай уехал еще до того. А после такой работы за кордоном вполне естественно получить дивизию. Или превратиться в японского шпиона... Но Власов вернулся чуть позже и счастливо не загремел, стал комдивом. И при нем ведь она, Девяносто девятая, заняла в тридцать девятом году первое место в РККА. Это могло, конечно, быть заслугой и прежнего командования, но и сдал он ее новому комдиву боеспособной. Достаточно вспомнить о ее боях в Перемышле. Должностью заместителя Власов явно тяготится, привык сам держать вожжи в руках. Что же мне с ним делать? Держать в штабе? А если он глаза и уши самого? Сейчас мы это проверим".

— Андрей Андреевич, — обратился он к Власову, — есть у меня для вас предложение, даже, если хотите, просьба.

Заместитель командующего с готовностью повернулся к Мерецкову.

— Сложная обстановка у Клыкова — это вы уже знаете. А ведь мы надежды возлагаем на Вторую ударную большие. Мне одному не разорваться. Надо на фронтовом хозяйстве сидеть, ведь еще три армии на шее, коридор защищать да и со Ставкой быть на связи. Вот бы вам и отправиться к Николаю Кузьмичу с полномочиями от фронта. К тому же и прибаливает генерал Клыков. Я здесь, а вы там... В четыре руки и управимся. А если честно, то и не мешали бы друг другу.

— В этом есть резон, Кирилл Афанасьевич, — оживился Власов. — Когда прикажете отправляться?

— Вот закрепимся в коридоре, Угорич подойдет с дивизией, за это время ознакомилась с материалами по Второй ударной в нашем штабе — ив добрый путь. Не теряю надежды, Андрей Андреевич, на обещанную Ставкой армию. Подкрепить бы ею Клыкова, взять Любань, соединиться с Федюнинским, а затем и совместный удар в одном направлении — на Питер. Мы еще прогуляемся с вами по знаменитой улице Двадцать пятого октября!

— По Невскому проспекту, стало быть, — усмехнулся Власов. — Хорошая надежда. Только не доверяю я надежде, Кирилл Афанасьевич, полагаю ее большим злом для человека. Расхолаживает она его тем, что обязательно обещает лучшее, приучает ждать с моря погоды. Вот и сидят, которые надеются, сложа руки, ждут, когда придет дядя и выручит их, кусок хлеба отрежет да еще и помаслит сверху. Нет, хорошо сказал русский народ: на бога надейся, а сам не плошай.

"Наверное, он прав, — подумал Мерецков. — Не слишком ли я верю в мифическую армию, которую посулил мне Сталин еще в декабре? В самой природе надежды есть нечто от смирения... Не склоняюсь ли я покорно перед обстоятельствами? А ведь именно обстоятельства необходимо обращать на пользу общему делу..."

Власов собирался уже откланяться, начал хозяйку благодарить за хлеб-соль, и тут возник в дверях Михаил Борода.

— На связи штаб Пятьдесят девятой армии, — сказал он.

Мерецков сразу понял, что вести будут неутешительными. Докладывал полковник Пэрн: пришельцы вновь перерезали дорогу...

-28-

Если посмотреть на карту Любанской операции, поражает едва ли не идентичное изображение территорий, на которых действовали 2-я ударная армия и чудовская группировка немцев. По сути, та и другая находились в треугольных по конфигурации мешках, одна из вершин которых и была той пуповиной, что связывала войска армии с остальным фронтом. Вот ее-то та и другая сторона и стремились перерезать. Разница была лишь в том, что через немецкий треугольник проходила Октябрьская железная дорога, по ней противник доставлял через Тосно необходимое для ведения боевых операций. Эту дорогу и стремилась перерезать 2-я ударная, к ней же двигался с боями и генерал Федюнинский от Погостья. А горло 2-й ударной стремились перехватить подразделения двух армейских корпусов, 1-го и 38-го, они подчинялись командующему 18-й армией Линдеманну, одному командующему. У Любанской же операции было два хозяина.

Поэтому, пока Мерецков мотался между штабами двух армий, пытаясь раскупорить перехваченное горло 2-й ударной, генерал Федюнинский, прорвав оборону немцев в юго-западном направлении, вводил в бой 4-й гвардейский стрелковый корпус генерала Гагена. Задача, которую поставил генерал-майору

Гагену, была предельно проста — развивать наступление на Зенино и Смердыню. Только вот сделать это было не так-то просто.

Немцы яростно контратаковали. Поддерживаемые авиацией и артиллерийским огнем, они стойко держали оборону. Тогда русские взяли на вооружение иную тактику — обходить населенные пункты, оставляя их в тылу, с тем чтобы уничтожение довершили подразделения второй линии. В лесах лежал глубокий снег, красноармейцы продвигались с великим трудом. На пятый день наступления 3-я дивизия гвардейцев подошла к Зенино. Комдив Мартынчук, следуя избранной линии военного поведения, 505-й полк под началом старшего политрука Прошина направил в обход деревни с востока, а роту танков из 98-й бригады, ею командовал лейтенант Нагайцев, двинул с запада. Танкисты и пехота действовали в согласии друг с другом, на таком уровне, увы, командиры умели договориться. Общий стремительный удар — и немцы выбиты из укреплений. 20 марта деревня Зенино стала свободной.

К этому времени, как известно, противник перерезал 2-й ударной армии горло, проход у Мясного Бора перестал существовать.

Но закрепиться гвардейцы не успели. Пришельцы ведь тоже понимали, что повременишь — и русских сбросить будет труднее. Поэтому и не дали красноармейцам никакой передышки, стали наступать с юга пехотным батальоном в сопровождении танков. Разгоряченные недавним боем, гвардейцы отбили эту атаку. Немцы откатились. Стало темнеть, и до утра было относительно спокойно. Но едва забрезжил рассвет, гансы, ободренные артиллерийским огнем и бомбовой поддержкой с воздуха, появились на южной стороне деревни Зенино.

...В последние дни марта генерал армии Мерецков находился на пределе физических и духовных возможностей. Много лет спустя он откровенно признает, что ему "довелось многое повидать за годы войны. И вот, перебирая в памяти увиденное, полагаю, что те недели были для меня самыми трудными. По накалу событий, по нервному напряжению, им сопутствовавшему, вряд ли можно их с чем-либо сравнить...".

Статья 28 второй части Декартовых "Начал философии" гласит: "Несомненно, что одному движимому телу мы можем приписать одновременно не больше одного движения". Но если бы кто-то попытался проследить в эти дни за движением командирской воли Мерецкова да и его собственными перемещениями в войсках, то счел бы постулат Декарта опровергнутым.

Вернувшись из Малой Вишеры к утраченной горловине прорыва, теперь заполненной частями вермахта и эсэсовцев, Кирилл Афанасьевич связался с Клыковым и узнал, что 7-я бригада танкистов-гвардейцев и 24-я стрелковая бригада сосредоточились в районе Новой Керести для удара по немцам с запада.

— Самостоятельность я проявил, — сообщил Николай Кузьмич. — Не ругайте... Повернул части из группы Коровникова. Пусть тоже пошумят. Легче будет пробиваться.

— Правильно сделал, Николай Кузьмич, — поддержал командарма Мерецков. — Мы тут тоже готовимся. Атаку с вашей стороны производите по общему сигналу, не прозевайте.

Стремительный удар танков и пехоты со стороны 2-й ударной был для противника неожиданным. Он дрогнул и стал отходить. 7-я бригада наступала не в полном составе, без танкового батальона, но и те машины, которые составляли батальон майора Тезикова, буквально продавили новый коридор вдоль дороги Новая Кересть — Мясной Бор. А ведь за эти дни немцы успели и артиллерию подтащить, и дзоты оборудовать...

Двадцать седьмого марта клыковцы соединились с 376-й дивизией полковника Угорича, которая наступала от Мясного Бора. Брешь была пробита. Ширина ее поначалу не превышала 600 — 700 метров, и, хотя коридор противник простреливал насквозь и с обеих сторон, по нему уже двигалась автомобильная колонна из тридцати машин: повезли для армии продукты, боеприпасы и фураж.

Мерецкова первый успех удовлетворить не мог. Рискуя жизнью, он метался в самом пекле, организуя новые совместные удары тех, кто наступал с запада, и частей 59-й армии.

Утром 28 марта наши войска вновь ударили по противнику. Ценой неимоверных усилий коридор расширили до двух километров. На большее, увы, не хватило сил...

Несколько раз немцы пытались отбить утраченные позиции, бросали в бой новые части. Особенно тяжко пришлось 372-й дивизии и 58-й бригаде, потери у них были значительными. Но закрыть пробитую брешь противнику не удалось.

Мерецков 29 марта снова побывал в коридоре, чтобы убедиться в относительной надежности восстановленной дороги, ведущей в мешок, в котором сидела армия Клыкова. Опытный полководец, он понимал

иллюзорность достигнутого успеха, но старательно отгонял прочь подступавшую порой отчаянную решимость снова попытаться доказать Верховному, что нельзя так непрофессионально воевать, слишком большой кровью оборачивается это для народа. Кирилл Афанасьевич обманывал себя тем, что мысленно твердил: "Я солдат, мое дело — исполнять приказы", стараясь заглушить поднимающийся из глубины души протест.

Мерецков не боялся смерти, спокойно расхаживал по передовой, не кланялся пулям, терпеливо пережидал бомбежку, хотя и не бравировал презрением к опасности. Но стоило ему вспомнить "педагогику" Берии, и тогда вновь, в который уже раз, страх подавлял рассудок, разрушал волю командующего фронтом.

Поздно вечером Мерецков добрался до штаба 52-й армии, решив узнать у Яковлева, какие пакости готовят немцы со стороны Новгорода. Тут положение было более надежным. Дивизию Кошевого противник оставил в покое, принялся искать по всегдашней манере, где у нас завелась слабинка. Командарм, угощая Мерецкова ужином, с гордостью рассказал, как отличился взвод курсов младших лейтенантов.

— Есть у меня толковый парень, — говорил Яковлев, — младшим лейтенант Ахлюстин. Так он первым вышел с нашей стороны к Замошью, там у северной стороны дралась дивизия Барабанщикова. Соединился с ней, вышиб немцев из леса, который подходит с юга, к дороге, занял этот путь и держал его, пропуская автоколонны с грузами, пока не подошел полковник Угорич. Хочу к Красному Знамени его представить...

Он вопросительно глянул на Мерецкова: дать герою такой орден в компетенции командующего фронтом. Но гость, обхватив обеими руками и прижав к груди кружку с чаем, свалил голову к правому плечу, спал. Яковлев немного растерялся, заопасался, как бы Кирилл Афанасьевич не облил себя чаем, протянул руку, чтобы взять кружку. Не открывая глаз, Мерецков ясным голосом проговорил: "Заслужил".

— Может быть, приляжете, Кирилл Афанасьевич? — по-домашнему обратился хозяин. — У меня тут есть хорошее местечко для ночлега.

Мерецков встрепенулся, удивленно посмотрел на кружку с чаем.

— Надо ехать, — неуверенно сказал он. — С другой стороны — все равно усну, а какой сон в машине...

— Уютная у меня нора, — подзадорил Яковлев комфронта, который смотрел на него мутными от усталости глазами. — Еще в январе у немцев отбили. Генеральский блиндаж. Крепость, а не нора.

— И тепло? — спросил командующий фронтом.

— Специально протопили... А главное — сырости нет.

— Тогда веди, — согласился Кирилл Афанасьевич. — На два часа. Потом уеду. Надо в Ставку докладывать, что пробили дорогу...

Блиндаж был оборудован немцами в сухом месте, надежно прикрыт четырьмя накатами бревен да еще укреплен железнодорожными рельсами. Стены его были обшиты вагонкой, потом шла фанера, по ней немцы клеили обои — это офицерский вариант, солдаты же обходились листами из иллюстрированных журналов для вермахта. В блиндаже стояла широкая кровать с никелированными спинками, украшенными металлическими шарами, постель была застелена красивым верблюжьим одеялом. Тут же находился круглый столик, на его лакированной столешнице была нарисована шахматная доска, но вместо слонов и пешек стояли чайник и стаканы в подстаканниках. Левее такого необычного во фронтовых условиях стола разместилась чугунная печка с затейливой дверцей и двумя конфорками, такие специально для нужд вермахта отливала фирма "Блумгартен и сыновья" в Эссене. Справа висело большое зеркало, а к нему присоединился умывальник, наш, отечественный, жестяной, покрытый голубой краской.

— Это и есть твоя нора? — спросил, хмыкнув, Мерецков. — Богато живешь, Яковлев... Будто немецкий генерал.

— А почему русский генерал должен жить хуже немецкого? — обиженно спросил командарм. — Да я здесь и не бываю... Держим вроде гостиницы для особо почетных гостей.

— Ну спасибо, — усмехнулся генерал армии.

— Белье свежее, можете раздеться.

— Боюсь, что обовшивел за эти дни, напущу в твой отель диверсантов, — засомневался Мерецков, которого неудержимо потянуло в такую удобную по внешнему виду кровать. Да если под одеялом чистая простыня, тогда и вовсе это редкое удовольствие на фронте.

— Переловим! — весело отвечал Всеволод Федорович, убедившийся в том, что комфронта клюнул на приглашение и остается у него.

— Только условились — два часа. А до того ни единой живой душе не позволяй меня тревожить. Нет меня здесь.

— Так точно, Кирилл Афанасьевич. Мышь не проскользнет.

Мерецков полагал, что уснет, едва коснувшись головой подушки, которая оказалась удобной, с начинкой из пуха. "Угодил Яковлев", — подумал Кирилл Афанасьевич, намереваясь провалиться в сон. Перед внутренним взором мелькали эпизоды минувших боев, в них командующий личного участия, разумеется, не принимал, в атаку цепи не водил, но как шли красноармейцы на ура, ложились под пулеметами, бомбами, минометным обстрелом, а потом вставали — это Мерецков видел с наблюдательных пунктов дивизий и полков. С тягостным чувством вспомнил командующий, как после особо яростного налета "юнкерсов" было нарушено боевое управление передовым полком 376-й дивизии, как растерялся, утратил лицо, слинял душевно майор Хотомкин, командир полка, а комдив не только не пресек решительными действиями панику, но и сам поддался ее влиянию, хотя Мерецков и знал Угорича как дельного и сметливого командира.

Пришлось проявить максимальную жесткость, на ходу вразумлять подчиненных, не позволяя ни себе, ни окружающим хоть на мгновение расслабиться. На войне такой миг смерти подобен... А когда от растерянности твоей зависит судьба десятков, сотен и тысяч людей, целой армии, никто не имеет права терять лицо. И человек от природы добрый, по сути своей верящий людям, Мерецков, не задумываясь, расстрелял бы труса и паникера, особенно такого, у кого на петлицах разместились шпалы.

Кирилл Афанасьевич знал, что в жизни военных бывают ситуации, когда наступает вдруг психологический срыв. От него не избавлены ни новички, обретающие в первой атаке иное душевное качество, ни видавшие виды ветераны, которых вдруг вяжут по рукам и ногам невесть откуда взявшиеся, парадоксальные по внешней форме, но вполне объяснимые при глубоком анализе сути конкретной личности заторможенность и внезапный паралич воли. Нечто подобное произошло с Хотомкиным и Угоричем. И Мерецков, убежденный в том, что эти командиры не подведут его впредь, сейчас испытывал неловкость за них. Генералу армии было стыдно за проявленную ими слабость, да и себе Кирилл Афанасьевич не нравился, ибо не любил определенных критической ситуацией состояний, когда в его натуре проявлялись черты бешеной одержимости. Теперь Мерецков был доволен Угоричем: полковник завоевал вдруг так, что только держись. Он быстро осваивался в условиях Мясного Бора, где леса чередовались болотами, а

пришельцы, обладавшие полугодовым опытом сражений на Волховщине, наседали на дивизию с трех сторон сразу.

Кирилл Афанасьевич был уверен в командире 376-й дивизии, знал, что полковник Угорич еще не раз докажет, какой он толковый вояка, хотя и погибнет вскорости в одном из боев. Но об участи любого человека на войне никто не ведает, потому и Мерецков постепенно успокаивался, решив для себя, что с Угоричем хлопот у него не будет. По неведомым законам ассоциации он вспомнил вдруг про Антюфеева, которого считал лучшим комдивом фронта. Впрочем, и подумал о нем вовсе не случайно, а как бы возражая Угоричу: вот, мол, комдив-327 на твоем месте вряд ли бы растерялся.

"А на каком-то другом повороте войны могло и Антюфеева на какую-нибудь несуразность подбить, — возразил сам себе Мерецков. — А разве ты сам гарантирован в далекой или близкой перспективе от ошибок и срывов?"

Он принялся размышлять о природе фатализма на войне, задаваясь вопросом: вредно ощущение обреченности или полезно? Но додумать ему не позволили шаги на лестнице.

"Неужто время прошло? — удивился Кирилл Афанасьевич. — А я еще и не спал вроде..."

Он хорошо помнил: света в блиндаже не было. Но сейчас, когда эти двое вошли к нему и молча смотрели на него, приподнявшегося в кровати, Мерецков сразу узнал их. Это были его бывшие командующие, у которых Кирилл Афанасьевич служил начальником штаба, — Иероним Уборевич и Василий Блюхер.

-29-

Генерал Шмундт, шеф-адъютант фюрера, сопровождая последнего на прогулке, держался от Гитлера слева и на полшага позади. Так они и перемещались по дорожкам леса, в котором стояли наземные строения "Волчьего логова". Дорожки были посыпаны желтым песком, специально привезенным с побережья Балтики, ибо фюрер, который редко бывал на море, любил все, что было с ним связано, а к бородатым подводникам Деница испытывал прямо-таки отцовские чувства.

Хорошо изучивший натуру Шмундта и знавший об исключительной личной преданности шеф-адъютанта, Гитлер почувствовал сейчас, когда они шли по пустынным аллеям — во время прогулок фюрера всему персоналу ставки предписывалось не попадаться ему на глаза, — что Шмундт хочет и не

решается спросить его. Гитлер усмехнулся и неожиданно для спутника остановился. Шмундт едва не споткнулся, но успел замереть, демонстрируя хорошую выправку.

— Говорите, — поощрил его фюрер. — Не стесняйтесь, Шмундт, выкладывайте, о чем вас просил в последнем разговоре Гальдер. Я догадываюсь, что именно об этом вы хотите сейчас мне сказать...

— Мой фюрер! — восторженно воскликнул Шмундт. — Я потрясен вашей прозорливостью! Именно так... Генерал-полковник имел со мной беседу. Речь шла о развитии более доверительных отношений между генеральным штабом сухопутных войск и…

Тут шеф-адъютант запнулся.

— И мною? — закончил за него Гитлер, насмешливо сощурившись. — И Франц Гальдер, завзятый хитрец, которого я терплю только потому, что он едва ли не единственный баварец среди этих надменных пруссаков, захвативших верх в генштабе, Гальдер утверждал, что никто не вправе требовать доверия, не оказывая его людям со своей стороны... Не так ли, Шмундт?

Последнюю фразу Гитлер произнес едва ли не слово в слово, как говорил шеф-адъютанту начальник генерального штаба. И влюбленный в фюрера Шмундт снова отнес это на счет уникальной способности фюрера ухватывать суть любого явления. Шеф-адъютанту хотелось убедить офицеров генштаба, и в первую очередь Гальдера, в особой полководческой одаренности кумира. С другой стороны, он полагал, что общее дело только выиграет, если и Гитлер станет относиться к людям Гальдера с должной благосклонностью. Ведь после зимней кампании, когда фюрер взял на себя командование вермахтом, вождь уже не скрывал недоверия к генеральному штабу, приказал даже не присваивать заслуженным его офицерам очередные звания. Об этом и говорил со Шмундтом сегодня, в воскресный день, Франц Гальдер. И беседа их вовсе не прослушивалась. Слова Гальдера о необходимости большего доверия к его подчиненным со стороны вождя Гитлеру были известны из другого источника: от самого начальника генштаба, который никогда не скрывал намерений повысить в глазах Гитлера престиж подчиненных, а заодно и упрочить собственное положение.

— Мне показалось, что генерал-полковник искренне стремится к полному взаимопониманию, — осторожно добавил Шмундт, изложив содержание его беседы с Гальдером.

Они продолжали идти по аллеям, сминая песок, который еще недавно лежал в балтийских дюнах. Вокруг было тихо. Ярко светило весеннее солнце, мир казался безмятежным и пребывающим в неге расслабленности, покоя.

— И для того чтобы достичь взаимопонимания, Гальдер хочет, чтобы я повысил звания его людям? — помолчав, сказал фюрер.

— Только заслужившим это офицерам... Гитлер расхохотался.

— Что, разве в генштабе таковые имеются, Шмундт?! Странные люди, эти военные... У них возникает комплекс неполноценности, если их вдруг обойдут в звании! Вот вы, Шмундт, пришли ко мне оберст-лейтенантом, а сейчас уже генерал. Скажите, разве росли любовь и преданность к вашему фюреру вместе с очередными воинскими званиями? Если бы все было так просто, то сделал бы вас фельдмаршалом, дорогой Шмундт. Но я верю вам, мой друг, верю, что вы будете любить фюрера, даже если он разжалует вас в рядовые. Разве не так?

— Совершенно справедливо, мой фюрер! — воскликнул шеф-адъютант.

— Зачем им звания? — вслух размышлял Гитлер. — Ведь от того, что оберст станет генералом, а генерал фельдмаршалом, лучше воевать эти люди не станут...

Он замолчал, а потом повернулся к спутнику и неожиданно громко, срываясь на крик, заговорил:

— Не могу им простить Москвы, Шмундт, не могу! Ведь это они зловеще каркали надо мной, предрекая вермахту судьбу великой армии Наполеона! Требовали свернуть наступление и отойти на запасные позиции! Если бы я не взял командование в собственные руки, не отдал бы приказ "Ни шагу назад!", мы проиграли бы русскую кампанию. Генералы из генштабистов, которым я доверил судьбу войны на восточном фронте, проявили полную несостоятельность. Фон Лееб, Гепнер, Гудериан... Они осмелились не выполнить моих указаний, и я был вынужден убрать их из России. А теперь военные хотят новых званий! Какие ничтожества окружают меня, Шмундт!

Фюрер положил руку на плечо шеф-адъютанта и пристально посмотрел ему в глаза.

— Бы храбрый человек, Шмундт, но так еще наивны... Видите, и генеральское звание не принесло вам политической мудрости, она придет только с опытом. Вы говорили о доверии... В политике, запомните это, Шмундт, нельзя доверять никому! Даже самому себе... Верить надо только идее, которую ты предлагаешь народу. Если вождь сомневается в идее, народ сразу почувствует это и отвергнет такого человека.

— Но мы говорили о доверии к военным, — растерянно проговорил Шмундт. — Ведь они же не политики...

— Еще какие! — воскликнул Гитлер. — А зачастую еще и политиканы... Вы забыли, Шмундт, что война — это продолжение политики иными средствами! Но я не доставлю своим генералам удовольствия заниматься политиканством. Нет, не доставлю!

Голос у него пресекся, и последние слова Гитлер произнес шепотом. Он отвернулся и быстро зашагал по желтой дорожке. [285] ...Когда возникало сомнение, было ли оно вызвано внешними факторами или внутренней неуверенностью, а в таком состоянии Гитлер бывал довольно часто, только ни с кем сомнениями не делился и советов не спрашивал, тогда фюрер и сопоставлял собственные действия с возможным в этой ситуации поведением главного соперника и врага. Гитлер всегда боялся Сталина. Страх этот определялся той потусторонней, едва ли не дьявольской загадочностью личности большевистского вождя. Склонный к мистике, фюрер олицетворял Сталина с Вельзевулом, с которым можно заключить сделку во имя высших интересов, только ни один еще смертный, а у Гитлера хватало ума не числить себя по архангельскому разряду, не мог быть спокоен за себя, подписав договор с Сатаной. Он хорошо знал, что Сталин презирает его, хотя и отдает должное тем титаническим усилиям фюрера, которые позволили ему всего за четыре года поставить изнуренную Версальским миром Германию под ружье, вышибить из сознания немцев горечь поражения, заглушить в них комплекс неполноценности, объединить нацию в стремлении к реваншу.

Понимал Гитлер и ту роль, которую отводит ему Сталин, неоднократно заявлявший, что Советскому Союзу предпочтительнее сильная Германия в Центральной Европе, которая будет служить противовесом агрессивным устремлениям империалистов Англии и Франции.

Сталин не видел реальной угрозы Советской России со стороны рейха и надеялся на его, Гитлера, политику, в которой кремлевский диктатор находил сдерживающие моменты во взаимоотношениях поверженной в первой мировой войне Германии со странами-победительницами.

Большой удачей Гитлер считал заключение Договора о ненападении 23 августа 1939 года, который позволил ему на время пренебречь опасностью с Востока, разделаться с Польшей, а затем и с разложившейся Францией, страхи декадентов, пьяниц и моральных вырожденцев. И когда Вячеслав Молотов, русский премьер и дипломат, выступил 31 октября 1939 года на сессии

Верховного Совета СССР, назвав действие Красной Армии, двинувшейся навстречу вермахту через русско-польскую границу 17 сентября, ударом, который привел, по его словам, вместе с вторжением немецких войск к распаду польского государства — "уродливого детища Версальского договора", Гитлер окончательно уверовал в крупную свою политическую победу. Он с облегчением вздохнул, отодвинув в дальний угол сознания всегдашний страх, его внушало фюреру азиатское коварство Сталина. Теперь можно было не опасаться удара с Востока, разделаться с Западом, отомстить за те унижения, которые принес Германии Версальский договор. Но вовсе ни к чему разглашать намерения заранее... И фюрер выступил 10 октября 1939 года в Спорт-паласе, заявив громогласно, что у Германии нет оснований воевать с Францией и Англией. Но вечером того же дня он провел секретное совещание с высшими военными чинами и объявил им о необходимости мощного и молниеносного удара в западном направлении, который теперь, после уничтожения Польши, становится допустимой реальностью.

Финская кампания русских оказалась для Гитлера неожиданностью. Создание Сталиным собственного финского правительства в городе Териоки, преобразование Карельской автономной республики в Карело-Финскую союзную можно было рассматривать как свидетельство далеко идущих политических планов этого человека, которого так и не удавалось разгадать фюреру. Первые неудачи Красной Армии у линии Маннергейма и в заснеженных лесах Карелии ободрили Гитлера, он с воодушевлением повторял сказанные в этой связи слова Черчилля о том, что РККА — колосс на глиняных ногах. И, понимая, что фюреру надо успокоить себя мыслями о несовершенстве русской армии, ему принялся подыгрывать хитроумный Канарис, так и проморгавший появление у большевиков танка Т-34 и реактивных минометов.

Всего за неделю до того дня, когда гигант Сталин ввязался в так скомпрометировавшую его драку с маленькой Финляндией, а именно 23 ноября 1939 года, Гитлер собрал в имперской канцелярии высших военачальников. В довольно обстоятельном докладе фюрер охарактеризовал внешнеполитическое положение рейха и еще раз, он любил это делать, подчеркнул, что выполнил обещания, которые давал немцам в двадцатые годы, когда его политическая карьера только начиналась.

Переходя к планам на будущее, Гитлер сказал:

— Не для того я создал вермахт, чтобы тот не наносил ударов, во мне всегда была внутренняя готовность к войне. Получилось так, то нам удалось сначала

ударить по Востоку... Теперь мы можем держать на восточном фронте только несколько дивизий. Создалось положение, которое мы раньше считали недостижимым.

Да, тогда он считал, что Сталин удовлетворится половиной бывшей Польши, которая отошла к Советскому Союзу, как это и было оговорено заранее во время поездки Риббентропа в Москву в августе. Пришлось отдать русским и Львов, бывший Лемберг, который никогда прежде не принадлежал России и являлся частью Австро-Венгерской империи, хотя и был населен галицийскими славянами. И Гитлер знал, как были недовольны его генералы, когда захваченный ими Львов пришлось оставить, передав город и всю Прикарпатскую Украину выдвинутым на запад частям Красной Армии. Но фюрер сказал, что привык платить политические долги. Гитлер не хотел дразнить Сталина, давать ему повод усомниться в его лояльности. И Договор о границах и дружбе Советского Союза с Германией был успешно подписан Молотовым и Риббентропом 28 сентября 1939 года.

Двадцать третьего ноября Гитлер говорил генералам о том, что Россия в настоящее время не опасна, она ослаблена многими внутренними событиями, а кроме того, у нас с ней договор... Но в соглашения эти Гитлер никогда до конца не верил, особенно после того, как августа 1940 года тот же Молотов публично заявил о том, что его страна не удовлетворена происшедшими территориальными изменениями. Значит, кремлевскому диктатору мало половины Польши Карельского перешейка, Северной Буковины и Бессарабии, балтийских республик-лимитрофов. На какую теперь жизненно важную для самого рейха землю положит глаз этот непредсказуемый человек? Вряд ли Сталин ограничится восстановлением границ Российской империи на что имеет юридическое право, хотя создатель большевистского государства Ленин объявил на весь мир о праве народов на самоопределение, вплоть до отделения от метрополии. Судя по нынешним действиям Сталина, он считает эту идею предшественника мягко говоря, преждевременной. Но ему, фюреру германского народа, от этого не легче. Его собственный долг состоит в том, чтобы переиграть коварного азиата, противопоставить арийскую мудрость, крепость немецкого духа и традиционную организованность единой нации варварски грубой силе недалеких славян, разобщенных к тому же жесткой внутренней политикой их вождя.

Когда Молотов был у него в Берлине в ноябре 1940 года, он открыто предложил ему обратить интересы Советского Союза на юго-восток, подумать о

разделе английских колоний, выйти на острова Индийского океана. Видимо, посланец Кремля не имел соответствующих полномочий от хозяина, потому как Молотов со славянским упрямством твердолобо сводил разговоры к единственному: "Какова цель германской активности на Балканах?"

Хотя и понаслышке, Гитлер был знаком с идеями панславизма, давнишней мечтой балканских славян, мечтающих объединиться под крылом Великой России, поэтому фюрер не сомневался в том, что Сталин считает Балканы собственной вотчиной. А дальше лежит Греция — родина православия, она предпочитает альянс с единоверцами на севере союзу с мусульманской Турцией" Тут завязывался сложный политический узел, который можно было разрубить военным вторжением вермахта. Первый ход сделал Муссолини, захватив Албанию, потом, задравшись с греками, которые насыпали итальянцам в задницу перца, пришлось Германии выручать союзников. Потом фюрер, разгневанный действиями генерала Симовича, оккупировал Югославию, чутко прислушиваясь к тому, что скажет Москва. Москва загадочно и зловеще промолчала.

Непредвиденный маневр в Югославии заставил фюрера перенести вторжение в Россию с 15 мая на 22 июня. Теперь он понимал: пять недель отсрочки были для него роковыми... Если решился воевать с русскими, надо было делать это пораньше, Но кто знал, что, даже захваченные врасплох, большевики, разобщенные их армии, руководимые растерявшимся военным руководством Советов, будут так яростно сопротивляться?!

Позицию Гитлера в решении глобального вопроса, который ставил на карту существование тысячелетней империи, — воевать или не воевать против Сталина, можно коротко охарактеризовать русской поговоркой: и хочется, и колется,

Фюрер постоянно балансировал на альтернативном канате: в союзе со Сталиным против всего мира или против него. Пытаясь удержаться на первом варианте, Гитлер официально предложил Молотову в ноябре 1940 года вступить в Тройственный блок, на что получил уклончивый ответ. Пока русские не хотели связывать себя подобными контактами. Но когда 6 мая 1941 года Сталин объявил себя Председателем Совета Народных Комиссаров, у фюрера затеплилась надежда: это сделано неспроста. Может быть, удастся все-таки договориться на уровне личной встречи глав двух правительств. Но шло время, Кремль сохранял подозрительное для фюрера спокойствие, оно раздражало Гитлера, который все больше убеждался в необходимости перейти Рубикон,

одновременно внушая себе и окружающим, что план "Барбаросса" ожидает неминуемый успех.

Смущал Гитлера и Пакт о нейтралитете, заключенный Сталиным с Японией 13 апреля 1941 года. Фюрер знал, что к этому идут обе стороны, и поэтому 5 марта 1941 года появилась директива № 24 "О сотрудничестве с Японией". Пятый проект ее предписывав: японцам не следует делать никаких намеков относительно операции "Барбаросса". А уже в апреле Гитлеру докладывали, как подчеркнуто был Сталин с министром иностранных дел Мацуокой, приехавшим в Москву проездом из Берлина для подписания японо-советского договора. Иностранные дипломаты были потрясены тем, что Сталин лично явился проводить самурая на вокзал, а прощаясь на перроне, обнял и произнес многозначительно: "Ведь мы тоже азиаты, а азиаты привыкли держаться вместе!"

Канарис доложил фюреру, что группа русских командиров из окружения наркома обороны Тимошенко пригласила на дружескую вечеринку английского военного атташе. При этом большевики поднимали тосты за здоровье англичанина, а потом, разогревшись, стали пить за "победу над нашим общим врагом".

В канун нападения на Советский Союз Гитлер, уже никому не веривший, и даже дуче, к которому относился с большим уважением, чем к кому-либо, сообщил о принятом решении за сутки до 22 июня. Впрочем, он и сам до последнего дня не был уверен, какой из двух сигналов предпочтет — "Дортмунд" или "Альтону". Но, скрывая планы в отношении СССР от союзников, фюрер не препятствовал тому, чтобы наисекретнейшая информация уходила по дипломатическим каналам к русским. Все более или менее крупные чиновники ведомства Риббентропа, не говоря уже о послах, знали о плане "Барбаросса". Это обстоятельство позволило русскому военно-морскому атташе в Берлине Воронцову представить московскому руководству подробный отчет о приготовлениях вермахта... В дипломатических кругах германской столицы вовсю велись разговоры о предстоящей акции. Генрих Гиммлер представил фюреру подробный доклад об том и прямо спросил: "Что мне делать с болтунами?" Гитлер пренебрежютельно махнул. "Пусть болтают", — сказал он.

Сам фюрер, принявший окончательное решение готовить опера-"Барбаросса" лишь 18 декабря 1940 года, уже после визита Молотова в Берлин, трижды в сорок первом году пытался косвенным. Разумеется, образом предупредить русских о своих намерениях. 30 января, в годовщину прихода к власти его

партии, фюрер выступил с пространной речью, в которой обещал немцам новые, победы [289] над Англией. Дав внешнеполитический анализ мировых событий, Гитлер ни единым словом не упомянул о Советском Союзе. 25 февраля Гитлер снова публично заверил Германию и весь мир в том, что "владычицу морей" ждет поражение. И опять ни слова об СССР. В апреле Уинстон Черчилль обратился к Сталину со ставшим вскоре знаменитым, в силу своей предугаданности, основанной на сведениях разведки, посланием. В нем английский премьер предупреждал кремлевского вождя о предстоящем нападении рейха на страну Советов. Гитлер испытал двойственное чувство, когда узнал о реакции загадочного азиата, заявившего, что предупреждения Черчилля "не беспристрастны", так как англичане и американцы пытаются втравить русских в войну.

— Я не соизволю превратить моих красноармейцев в английскую пехоту! — заявил тогда Сталин.

Это обстоятельство смущало Гитлера. Он ждал от русского вождя решительных демаршей, чтобы начать с ним новый тур политических торгов, но Сталин, заваленный абсолютно достоверной информацией о плане "Барбаросса", не предпринимал никаких ответных действий. Значит, полагал фюрер, у большевистского вождя имелся некий иной замысел, постичь который фюреру не дано. Оставалось только опередить Сталина, бросить в атаку на Красную Армию все накопленные на новой границе с русскими силы. Но 1 мая Гитлер выступил с речью о войне на Балканах и вновь ни словом не обмолвился о Советском Союзе.

Кремль безмолвствовал вплоть до 14 июня, когда появилось Заявление ТАСС. Гитлер не понял этого шага Сталина и в соответствии с логикой предыдущего поведения распорядился проигнорировать этот демарш. Тем более что Канарис докладывал фюреру: "В условиях сложившейся у Советов внутренней обстановки население страны восприняло Заявление ТАСС как истину в последней инстанции".

Гитлер знал, что среди его единомышленников есть люди, которые не считают план "Барбаросса" единственной альтернативой сложившемуся положению. Среди них были и адмирал Редер, и тот же Гальдер... Но фюрер хорошо помнил и собственные слова, произнесенные в узком кругу высших руководителей рейха: "Красная Армия обезглавлена. Восемьдесят процентов командных кадров уничтожено. Она ослаблена сейчас как никогда. Это основной фактор моего решения. Нужно воевать, пока военные кадры не выросли вновь..."

Гитлер шумно вздохнул.

"Это принадлежит истории, — подумал он. — Какой смысл забивать голову тем, что стало уделом архивных крыс в профессорских мантиях! Они оправдают любые действия победителя, а побежденные недостойны этих усилий. Но в связи с чем я вспомнил давние события?.."

... — Вспомните о русских новоиспеченных генералах, Шмундт, — сказал Гитлер, решив назидательно поделиться с шеф-адъютантом возникшими у него соображениями. — За два года они получили много внеочередных званий, вырастая из командиров полков в командующих округами, но стратегического мышления не приобрели, и это в значительной мере помогло нам в сорок первом году. Не в званиях дело, дорогой Шмундт, вовсе не в них!

Фюрер хотел сказать, что вот у него же нет никакого офицерского звания, никогда не учился он в училищах и академиях, но прекрасно справляется с ролью главнокомандующего. Однако остановил себя, решив, что преданному Шмундту этого говорить не стоит.

— И все-таки я обещаю вам подумать, что можно сделать для вашего друга Гальдера.

Шеф-адъютант хотел возразить, что дело не в их дружбе, он печется о пользе общего дела, но Гитлер вдруг сказал:

— Посмотрите, Шмундт... Вот там, за деревьями... Кажется, это Гальдер. Он направляется сюда.

— Наверно, важные вести, мой фюрер. И господин генерал-полковник спешит сообщить их вам.

— Наверняка скажет сейчас какую-нибудь гадость, — проворчал Гитлер, останавливаясь.

Франц Гальдер приблизился к фюреру, который стоял набычившись, сложив руки перед собой.

— Мой фюрер, — бесстрастно начал генерал-полковник, — русские восстановили брешь на волховском участке фронта. Полагаю, что противник делает отчаянные попытки добиться успеха еще до начала оттепели.

Гитлер насмешливо хмыкнул. Он вспомнил поездку в Любань, злорадно подумал, как мерз там Франко, который потащился за ним, посмотреть на своих недоносков из Голубой дивизии. Кюхлер тогда жаловался: испанцы воюют плохо, годны разве что охранять пленных.

— Я бы на месте русских делал то же самое... Кому хочется сидеть в болотах! Кстати, Гальдер, надо позаботиться об особом знаке для ландзеров, дерущихся

там. Ведь им, как и русским, приходится несладко. Будем каждого из них награждать медалью "За Волховский фронт".

Гальдер был несколько удивлен спокойной реакцией фюрера. Начальник генштаба не знал, что Гитлер уже отрешился от тех событий, которые волновали его, и ушел в обдумывание операции "Зигфрид", впоследствии ее назовут "Блау".

— Представьте мне доклад о пополнении резервов на весну сорок второго года. Обязательно позаботьтесь о соблюдении принципа землячества при распределении пополнения по боевым частям. Присутствие рядом земляков укрепляет дух солдата.

— Будет исполнено, мой фюрер, — ответил Гальдер, не решаясь спросить, каковы будут инструкции по поводу вновь образовавшегося коридора для 2-й ударной армии русских. Он решил, что фюрер забыл уже об этом. Но Гальдер ошибался. Возвращаясь в Зеленый домик, Гитлер продолжал думать не только о предстоящем наступлении на южном участке восточного фронта, но и о том, что происходит на Волхове.

"Русские сами сунули голову в этот мешок, — размышлял фюрер. — Конечно, они сорвали нам зимние оперативные планы относительно Петербурга, но я не ожидал от хитрой лисы Мерецкова, что он может так легкомысленно загнать огромную армию в ловушку. Весьма опрометчивый шаг. Понятное дело, Мерецкова подгоняет Сталин, который решил, будто настал уже его час... Нет, он ошибается. Я постараюсь вскоре доказать ему это!"

-30-

Первым в блиндаж спустился Блюхер. Был он в кавалерийской шинели с довоенными еще малиновыми разговорами, на голове — суконный шлем с шишаком и звездой во лбу: большой матерчатой, нашитой на шлем, и маленькой, в центре эмалевой, с золотыми серпом и молотом. Шинель у Блюхера была затянута портупеей, на ремне — кобура с неизменным наганом, другого личного оружия Василий Константинович не признавал.

— Царство небесное проспишь, Мерецков! — весело обратился Блюхер к ошеломленному неожиданным визитом Кириллу Афанасьевичу. — Проходи, Иероним Петрович, здесь он, начальник штаба, отдыхать изволит...

Хорошо рассмотрев Блюхера, Мерецков так и не сумел понять, как одет Уборевич, его бывший командующий, с которым они служили вместе в Белорусском военном округе. Но Кирилл Афанасьевич хорошо понимал, что это

именно он, командарм первого ранга, хотя и знал: ни того, ни другого гостя давным-давно нет на белом свете. Странное дело, но Мерецков не растерялся, увидев в блиндаже бывшее начальство. Немного смутила мысль о том, что надо одеваться при них, он помнил, что Яковлев уговорил его таки лечь спать, сняв теплые сапоги, стеганые брюки и суконную гимнастерку с портупеей. Но когда комфронта откинул одеяло, то увидел, что спал он почему-то одетый. Оставалось только обуться и после взаимных приветствий взяться за ручку большого чайника, стоявшего на конфорке немецкой чугунной печки — сбоку притулилась заварка в алюминиевом трофейном котелке — и налить гостям чаю. Они оба уже разделись, и теперь Мерецков хорошо видел шитые золотом маршальские звезды на воротнике у Блюхера и созвездие из ромбов у командарма первого ранга Уборевича.

— А к чаю ты что-нибудь покрепче держишь, комфронта? — весело подмигнув, спросил Василий Константинович.

— Тут я не хозяин, — ответил Мерецков. — Но командарм, наверно, кое-что держит...

Он приподнялся, надо, конечно, предложить понемножку выпить — такая встреча! — но Иероним Петрович придержал Мерецкова за локоть.

— Товарищ маршал, разумеется, хотел пошутить, — мягко, с незаметной улыбкой, которая чувствовалась скорее в голосе, нежели на лице, проговорил Уборевич. — Мы на фронте, где никакая водка немыслима.

— Гражданскую войну свалили без сивухи, — проворчал Блюхер, помешивая ложкой в большой фаянсовой кружке с синими незабудками на боках, — самогонщиков ставили к стенке, за один только запах командиров и комиссаров отправляли в трибунал... А Верховный ввел обязательную норму спиртного через два месяца после начала войны. Для чего?

— Чтоб думали поменьше, — спокойно ответил Уборевич. — О причинах безобразных неудач, вопиющих потерь, бессмысленных жертв. Расчет прост, Василий Константинович. Выпьет красноармеец наркомовские сто граммов и подобреет, забудет на мгновение о тяготах войны, про стыд сорок первого года. И пьет-то он за здоровье того, кто дал ему эту отраву, — за наркома обороны, за товарища Сталина... Двойной расчет. Пьющие люди глубоко не размышляют и собственной воли не имеют.

— А чай у него хорош, — усмехнулся Блюхер. — Крепкий, сладкий, а главное — горячий... Но мы, Кирилл Афанасьевич, вовсе не чаи пришли к тебе распивать. Разобраться хотим, что происходит у вас. Расскажи, как воюешь, что

противник, каким макаром ты его бьешь и почему он у тебя в сердце России оказался, святое русское место — Великий Новоград — поганит...

— Будем пить чай и делать военный совет, — опять смягчил Уборевич, и Кирилл Афанасьевич испытал к Иерониму Петровичу чувство благодарности. Общаясь с Блюхером, человеком прямым и в поведении бесхитростным, предпочитавшим обнаженные отношения, Мерецков всегда испытывал некую если и не робость, то смущение.

Они были такими разными, Блюхер и Уборевич. С последним тридцатидвухлетний Кирилл Афанасьевич служил с осени 1928 года, когда Иероним Петрович стал командовать Московским военным округом. В штабе округа Мерецков пробыл несколько лет, а Уборевич до назначения на эту должность два года учился в Высшей военной академии германского генерального штаба. Сын литовского крестьянина, он был старше Мерецкова всего на полгода. Но тому казалось, будто Уборевич куда более опытный по возрасту и не по годам мудрый. Словом, старший брат, от которого Мерецков столькому научился за пять лет совместной службы. Сначала в Москве, потом в Белоруссии... Он до сих пор сохранил искреннее и благодарное чувство к Уборевичу.

"Но ведь это враг народа, — шепнул внутренний голос. — И знаешь, что с тобой будет за то, что чаи с ним распиваешь?"

И про Шварцмана, Черного человека, вспомнилось сразу. О нем Мерецков никогда не забывал.

"Ну и пусть... Надоело дрожать! — обозлился Кирилл Афанасьевич. — И потом, если Уборевич с Блюхером на фронте, значит, все в порядке, значит, хозяин разрешил им приехать и помочь нам разобраться в том, над чем ломаем головы с сорок первого года. Над их же судьбами еще раньше".

И еще он подумал о защитительной речи, которую произнес бы перед самим товарищем Сталиным, если бы тот согласился выслушать Мерецкова. До него доходили крайне осторожно передаваемые слухи, будто вождь неофициально приходил на процессы тридцать пятого и других годов. Был он и на суде над полководцами Красной Армии, отгороженный от участников этих судилищ особого устройства ширмой, из-за которой мог все видеть и слышать, оставаясь незамеченным.

Впрочем, от чего защищать Уборевича? Разве Сталин не знал, что этот трижды награжденный орденом Красного Знамени человек в семнадцать лет стал подпольщиком, через два года выслушал приговор царского суда, еще через

год закончил офицерские курсы при Константиновском училище, храбро дрался на Висле, Немане и в Бессарабии, командуя артиллерией. После февральской революции подпоручик Уборевич стал большевиком, читал лекции в солдатском университете, командовал ротой, после Октября — уже полком. В 1919 году он принял на Южном фронте Четырнадцатую армию, громил деникинцев, а в Дальневосточной республике стал военным министром...

А разве боевой путь Василия Блюхера менее ярок? Он тоже был военным министром ДВР и председателем ее Военного совета, главным военным советником Национального правительства Китая в Кантоне, обладал огромным авторитетом не только у нас в стране, но и за рубежом. Именно Блюхера пригласил к себе Сунь Ятсен, чтобы легендарный человек помог ему сформировать подлинно народную китайскую армию.

Это про армию Блюхера пели от мала до велика: "Дальневосточная! Смелее в бой! Дальневосточная! Даешь отпор! Даешь отпор!" Дал он таки отпор, Василий Константинович, правым гоминьдановцам во время заварушки на Китайско-Восточной железной дороге в двадцать девятом... Он и орден Ленина, учрежденный годом позже, получил за номером один, а еще в сентябре 1918 года, и то же первым в стране, — Красного Знамени.

И хотя разными они были — сдержанный, даже суховатый, всегда подтянутый, будто готовый к парадному прохождению по Красной площади, Уборевич и более общительный, открытый, любивший добрую шутку Блюхер, — того и другого объединяло общее для них качество: удивительная военная прозорливость, стратегически широкое мышление, умение оперировать крупномасштабными категориями, без чего никогда не сможет состояться полководец.

И принимать единственно верное решение, оказавшись в нестандартной ситуации — а война порождает их ежечасно, ежеминутно, — это они тоже умели...

"Как нам не хватает их сегодня!" — с пронзительной тоской подумал вдруг Мерецков.

— Смотри-ка, Иероним Петрович! — воскликнул Блюхер, откусив крепкими зубами от кусочка сахара и кладя его справа от себя на блюдце. — Хозяин наш жалеет, что не может взять нас к себе комдивами...

— Шутите... Я бы вам фронт с радостью уступил, Василий Константинович, — искренне сказал Мерецков, вовсе не удивляясь тому, что Маршал Советского Союза прочитал его мысли. Он вообще перестал чему-либо удивляться и уже не

различал, когда он и его гости произносили необходимые фразы вслух, а где переходили на внутренний диалог, который странным образом оказывался доступным всем троим.

— Нет уж, — отмахнулся, посерьезнев, Блюхер, — теперь вы сами воюйте, наше время кончилось. Пусть и не по собственной вине... Сам ты, Кирилл Афанасьевич, об этом лучше других знаешь. Обидно, конечно, что лишены святого права встать рядом, бок о бок с вами на защиту Отечества. Хотя и понимаем: обойдется народу такое отсутствие большой кровью.

— Уже обошлось, — вздохнул Мерецков. — И то ли еще будет...

— Дело даже не в том, что нет сейчас на фронте меня или Василия Константиновича, — спокойным тоном, с едва уловимым акцентом проговорил Уборевич. — Надо смотреть дальше, в корень. Неоправданное омоложение всех без исключения командных кадров...

— Вынужденное омоложение! — перебил Блюхер, и Уборевич кивнул.

— Это обстоятельство резко снизило интеллектуальный уровень руководящего состава РККА, — продолжал Уборевич. — Не секрет, что особую подозрительность у НКВД вызывали командиры, закончившие военные академии. Их брали в первую очередь, не говоря уже о генштабистах. Полками начинали командовать вчерашние лейтенанты, зачастую закончившие только краткосрочные курсы, комбатов назначали дальше, на корпус и даже армию.

"А Иван Иванович сумел за два года подняться с помощника комполка по тылу до командующего фронтом", — подумал Мерецков о Федюнинском, соседе справа. И еще он вспомнил о том, что вырубленными оказались как раз те командиры, которые хорошо знали нынешнего противника, лично знакомились с организацией германской армии, бывали на стажировках в частях рейхсвера, учились в его академии генерального штаба, проходили практику в немецких частях. Их уже нет... А за линией фронта живы-здоровы генералы Гитлера, которые изучали в свое время Красную Армию, занимаясь этим по обмену в военных школах Советского Союза.

— Впрочем, — вздохнул Уборевич, — о кадровом составе Красной Армии к началу войны ты, Кирилл Афанасьевич, знаешь не хуже нас — даже лучше. Ведь сам был начальником Генерального штаба...

— И вообще, уцелел чудом, — усмехнулся Маршал Советского Союза. — Счастливый и тебе самому непонятный случай... Но пока ты сидел у Берии в домзаке, Сталин сообразил, что, расстреливая растерявшихся генералов, не сумеет научить воевать остальных. Зачем по его приказу Мехлис уничтожил

Павлова и других товарищей? За потерю управления войсками Западного фронта, за то, что именно по Белоруссии так резво прошлись немцы до самого Смоленска. Но ведь они и задумали сделать именно так. А Сталин всегда твердил, что Гитлер основной удар нанесет по Киевскому округу. Ошибся Сталин, но к стенке Мехлис поставил Павлова. Мерецков передернул плечами: перед его мысленным взором возникло вдруг растерянно-изумленное лицо командарма Качанова. Его бессмысленная смерть по воле Мехлиса навсегда осталась в памяти комфронта,

— У генерала Павлова не было опыта командования такой огромной областью, каковой являлся Белорусский военный округ, — заметил Мерецков. — Когда б ему приобрести стратегическое мышление... В Испании он был всего лишь танковым комбригом. И потом, в роли командующего округом Павлов беспрекословно и слепо выполнял волю Сталина: никаких действий, предупреждающих возможную агрессию потенциального противника. Вот Павлов и боролся изо всех сил с немцебоязнью в войсках, страшась, чтоб его не зацепила немилость самого.

Кирилл Афанасьевич опустил голову. Гости его молчали.

— Все мы боялись, — произнес после паузы Мерецков.

"Меня ведь тоже зацепило", — хотел напомнить этим людям, которые явились и судить его, и открыть глаза, и произнести вслух те страшные вещи, о которых ему и думать-то не полагалось, ибо любое сомнение считалось греховным, а эпитимия определялась с простодушной скромностью, безо всякого изыска в разнообразии — от десяти лет ИТЛ до пули на задворке тюрьмы.

"Хорошо, что не знают о судьбе генералов Штерна, Рычагова, Смушкевича, Локтионова и других, — подумал Мерецков. — Их расстреляли, когда немцы стояли под Москвой".

— Знаем, — спокойно сказал вдруг Уборевич, и Мерецков смутился.

Он всегда казнился и подумывал прибегнуть к личному оружию, когда вспоминал очную ставку с Локтионовым, единственным из двух десятков поделыциков устоявшим под пытками и не подписавшим дикую напраслину на себя.

— И про дубинки Шварцмана нам известно тоже, — заметил Блюхер. — Мне было легче, я умер сразу. Не терзай себя, Афанасьевич, и воюй дальше...

Кирилл Афанасьевич подумал, что его двухмесячная отсидка ничто в сравнении с их страшной судьбой. Невероятная жестокость даже не в том, что прославленных полководцев лишили жизни и права защищать Отечество от

лютого врага. Еще и надругались над их добрыми именами, объявили предателями, изменниками, врагами народа, отравили этим немыслимым фактом сознание советских людей, дети которых по настоянию педагогов в букварях выкалывали глаза на портретах истинных героев, веривших в партию коммунистов.

"Интересно, — возникла вдруг праздная мысль у Мерецкова, — знают ли они сами об этом? Про буквари?.."

Комфронта устыдился того, о чем подумал, но еще более горький стыд пришел к нему от сознания как бы собственной причастности к тому, что произошло. Нет, на руках Мерецкова не было крови расстрелянных людей, генерал армии не подписывал смертные приговоры, как делали это Буденный и Ворошилов. Не довелось ему излагать и особое мнение в трибунале, как поступил Василий Блюхер, не согласившийся с обвинением, предъявленным Тухачевскому и его товарищам, за что сам был вскоре уничтожен.

Но вот он, Мерецков, продолжал жить и даже — плохо ли, хорошо ли — командовал фронтом, а от них, с которыми вместе служил когда-то, в чей командирский гений безгранично верил, даже праха теперь не осталось. И Кирилл Афанасьевич испытывал острое чувство вины за то, что он, человек по всем параметрам не лучший, чем эти двое, оставался по эту сторону бытия, в котором им уже не оставалось места.

— О нас — ладно, — решительно сказал Блюхер и отодвинул кружку с недопитым чаем. — Останется память, а история рассудит... Времени сейчас мало, давай о твоих делах. Верно, Иероним Петрович?

Уборевич кивнул и впервые улыбнулся.

Мерецков вдруг вспомнил, как впервые встретился с ним еще по службе в МВО, в ноябре 1928 года. Это было время кардинальных изменений в Красной Армии, переходившей от не оправдавшей себя территориально-милиционной системы на иную организационную структуру. За несколько дней до начала учений войск Московского гарнизона Уборевич подарил Мерецкову только что вышедшую из печати собственную работу "О подготовке комсостава РККА. Полевые поездки, ускоренные военные игры и выходы в поле".

"Давно это было... Будто в иной исторической эпохе, — подумал Кирилл Афанасьевич. — Интересные вещи узнал из его работы! Тогда и стал вырабатывать собственный командирский почерк".

— Ну-ка, ну-ка, похвастай, чему ты научился у Иеронима Петровича, — сказал Блюхер, склоняясь над картой, которую Мерецков развернул на столе прямо

поверх кружек с чаем. Убрать их не позволил Василий Константинович, сказав, что он только мельком посмотрит, для общего впечатления.

— Хреновая обстановка, — вздохнул Маршал Советского Союза, складывая карту.

Уборевич молчал. Блюхер протянул карту командующему фронтом, взял чайник, долил кипятка в кружку.

— На что рассчитываешь, Кирилл Афанасьевич? — спросил Василий Константинович. — На резервную армию Ставки? Твой фронт ее не получит. Сталину нужна эффектная победа. Скажем, выбросить немцев из Крыма или вернуть Донбасс. А там сейчас собрались такие герои, что обещают хозяину справиться с этими задачами, не требуя от Ставки никаких резервов. Да их у нее и нету в наличии. И все равно они выглядят в лучшем свете, чем ты, сидящий в болотах. Герои не просят, а ты уже надоел Сталину просьбами о помощи. Пока вождь надеялся, что вы пробьетесь к Ленинграду, что было бы впечатляющим в международном масштабе фактом, ваша судьба его интересовала. А какая-то маленькая Любань... Нет, это не звучит. Не произведет впечатления и на союзников. Хотя ее захват и уничтожит чудовскую группировку противника.

— Помните, Кирилл Афанасьевич, как ездили вы в Германию изучать опыт тамошней штабной работы? — спросил Уборевич.

Мерецков помнил. В конце двадцатых годов его поразил высокий для своего времени уровень военной техники в рейхсвере. И сейчас он понял, что Уборевич спросил его об этом не случайно. Хорошо изучивший немецкую армию, Иероним Петрович полагал ее потенциальным противником Отечества и всегда ратовал за механизацию и моторизацию РККА. Именно он провел в МВО первое учение с участием недавно сформированной мотомехбригады. Это опытное соединение обязано было проверить теоретическую мысль, высказанную Триандафилловым, заместителем начальника Генштаба и большим умницей, человеком, который впервые в истории военного искусства предложил глубокие операции с применением больших масс танков, мотопехоты, конницы и авиации... То учение провалилось, управлять бронетанковыми войсками никто не умел. Но Уборевич продолжал верить в стратегическую дееспособность крупных танковых соединений. Образовалась троица военных интеллектуалов — Триандафиллов, Тухачевский и Уборевич. Они оттачивали рожденную полководцами Красной Армии архисовременную идею, довели ее до совершенства. И были объявлены врагами народа, а мысли

их, ставшие соответственно вредительскими, взяли на вооружение генералы вермахта, успешно применив русскую теорию против самих же русских в сорок певом.

— С тех пор немцы многому научились, — ответил Мерецков на вопрос командарма первого ранга. — Меньше автоматизма, больше инициативы, маневра. И в техническом отношении сильны, хорошо развито саперное дело. Опять же автоматическое оружие имеют. Густой огонь не дает красноармейцам головы поднять, не только прицелиться из винтовки.

— Значит, идея маршала Кулика, как экономить патроны в бою, не оправдалась? — усмехнулся Блюхер.

— Не оправдалась. Без автоматов нам просто зарез. ППШ — хорошая машинка, но мало их в войсках. Не успели еще наделать...

— Вот, пока не наделали, и сидели б в стратегической обороне, — проворчал Василий Константинович. — Как толково предлагал эту позицию на сорок второй год Шапошников! Для наступления надо превосходство создать. Превосходство не только в живой, хорошо обученной силе, но и в танках, авиации, артиллерии, боеприпасах. И в автоматическом оружии тоже. Как же современной армии воевать без автоматов? Об этом Иероним Петрович еще в двадцать четвергом году писал...

"Верно, — подумал Мерецков, — была статья Уборевича в "Военном вестнике", где он утверждал: Красную Армию необходимо срочно оснастить легким автоматическим оружием".

Сейчас даже не верится, что уже в столь отдаленные от сорок второго года времена находились люди, которые предвидели нынешние просчеты. Кирилл Афанасьевич помнил, что в той давней статье автор подчеркивал: станковые пулеметы в несколько раз дороже легких пулеметов или тем более автоматов. Во время наступления красноармейцы, вооруженные легкими, а потому и мобильными, пулеметами и автоматами, нанесут обороняющемуся противнику куда больший урон... Парадоксально, но это было опубликовано в 1924 году! В начале тридцатых годов возникла реальная возможность приобрести лицензию на производство финского автомата "Суоми". Вопрос этот рассматривался на заседании Реввоенсовета. Отвечавший тогда за вооружение РККА Григорий Иванович Кулик, ставший затем Маршалом Советского Союза и уже в начале войны разжалованный Сталиным за бездарность в генералы, безапелляционно заявил категорический протест.

— Это ж какую прорву патронов надо при автоматической стрельбе! — возмутился он. — Бойцам только волю дай, они и будут пулять в разные стороны... То ли дело винтовка! Каждый выстрел только в цель... Один патрон — один убитый вражеский солдат.

Предложение по поводу автоматов для РККА после таких аргументов — кто же будет против экономии боеприпасов? — тут же и похерили. А в тридцать девятом финны задали нам жару с помощью "Суоми". Спохватились мы тогда и на базе этого автомата в пожарном порядке создали собственный пистолет-пулемет Дегтярева, образца 1940 года, прямо-таки близнец финской машинки. Только неудобный получился автомат, не пошел он у нас, куда ему до безупречного ППШ-41, появившегося перед нападением тевтонов.

Только мало ППШ на фронте, до сих пор не успели наделать, хотя производство автоматов Шпагина настолько простое, что наловчились их изготовлять в любой механической мастерской.

— Техника в современной войне — вещь, конечно, серьезная, — сказал Уборевич. — Тут немцы по многим параметрам нас опередили. По крайней мере, часть пехоты посадили на машины. Но и механизированными войсками надо умело командовать, творчески использовать принципиальные положения тактики и стратегии.

Мерецков знал, что вопросам теоретической подготовки командного и политического состава Красной Армии Иероним Петрович придавал первостепенное значение. Еще в 1921 году, будучи командующим 5-й армией в Сибири, он основал журнал "Красная Армия на Востоке" и печатал там статьи, в которых призывал готовиться к войне с будущим противником, у которого — это исторически неизбежно! — военная выучка и приемы боя будут на несколько порядков выше, нежели у Колчака и Деникина, Юденича и у белополяков. "Подумать только! — мысленно воскликнул Мерецков. — Ведь он предвидел такую возможность в двадцать первом году!"

— Ты пришел ко мне, Кирилл Афанасьевич, уже после службы в Белоруссии, — напомнил Блюхер. — Прошел хорошую школу, будучи начальником штаба у Иеронима Петровича... А поскольку достиг немыслимых высот, сам командовал Генштабом, скажи: как случилось, что забыли наши предостережения против зазнайства и шаблона в военном деле? Почему твои командиры ударяются в панику, потеряв управление боем? Я уже не спрашиваю о том, почему они это управление теряют, а вот при наступлении бьют в одну раз и навсегда выбранную ими точку...

— Точку им определяют сверху, Василий Константинович, — заметил Уборевич. — Деревню Н. взять к восьми утра в лобовой атаке... Нужна ли эта деревня для улучшения общей обстановки дело десятое. Главное — успеть включить ее в боевую сводку и донести наверх. Не так ли?

Мерецков согласно кивнул. Эти люди говорили правильные вещи, но слишком они оторвались от сложившейся практики. А кто ее сложил, практику эту? Мы сами... Каждый стремится показать, что он лучше, нежели другие, более достойный, потому как имеет материальный успех: взял деревню Н. А скольких жизней стоила эта деревня, которую уже к вечеру, может быть, придется отдать, ибо брали ее, не согласуясь с обстановкой, возможностями собственных бойцов и соседей, сие начальство не волнует. Он ведь тоже хорошо теперь выглядит там, где именно так выглядеть положено. Комфронта хорошо знал от знакомых генштабистов о прошлогоднем конфликте Жукова с Рокоссовским. Последний, командуя 16-й армией, против которой, действуя в направлении против Москвы, гитлеровцы бросили 5-й армейский, 40-й и 46-й моторизованные корпуса, творчески оценил обстановку и решил занять выгодную оборонительную позицию в районе реки Истра и водохранилища. На этих рубежах можно было надежно отбиваться небольшими силами, а высвободившиеся войска отвести во второй эшелон, перегруппировать и бросить на более опасное, клинское направление. Рокоссовский, тщательно взвесив все "за" и "против", обсудив идею в собственном штабе, обратился к Жукову за разрешением загодя отвести войска на истринский рубеж. Иначе противник все равно отбросит армию туда и, не дав закрепиться, на ее плечах с ходу одолеет истринское препятствие.

— Стоять насмерть! Ни шагу назад! — категорически ответил командующий Западным фронтом.

Рокоссовский резонно заметил, что позади 16-й армии нет никаких войск. Если мы все погибнем, то путь на Москву будет открыт. Лучше немного отойти и уж на естественном рубеже стоять насмерть.

— Нет! — упрямо заявил Жуков.

Армейские правила позволяют в исключительных случаях обратиться через голову прямого начальства. Рокоссовский не о собственных амбициях думал, а тревожился о судьбе Москвы, что была за его спиной. Командарм снесся с начальником Генштаба, и Шапошников утвердил единственно верное решение. Ведь сила у немцев была в танках. Они бессильно ткнутся в природный барьер, а мотопехота не сумеет использовать собственную подвижность. Но едва

Рокоссовский начал маневр, пришла грозная радиограмма комфронта: "Войсками фронта командую я! Приказ об отводе войск за Истринское водохранилище отменяю, приказываю обороняться на занимаемом рубеже и ни шагу назад не отступать. Генерал армии Жуков".

Самые мрачные прогнозы Рокоссовского оправдались. Смяв слабый северный фланг армии, немецкие танки взяли Солнечногорск и Клин. Враги нависли над Москвой со стороны Дмитрова и Яхромы, и только ценою неимоверных усилий, неоправданных потерь командарму-16 удалось остановить немцев на подступах к столице. Просто чудо, что мы не потеряли Москву...

— Чудес на войне не бывает, Кирилл Афанасьевич, — произнес Блюхер. — За каждым чудом военная мудрость полководца, подкрепленная мужеством отдающих жизни за Отечество солдат. Рокоссовский был прав, а Жуков проявил недопустимую вообще, а в тех условиях и вовсе преступную, амбициозность — давай называть вещи собственными именами. Впрочем, лихому и чересчур волевому кавалеристу есть у кого учиться, есть с кого брать пример.

— У нас уже нет времени, Василий Константинович, — мягко остановил Блюхера командарм первого ранга. — Теперь это уже история, и пусть об этом судят потомки. Вернемся к положению, в котором оказался наш бывший начальник штаба. Время для решительного наступления упущено. Наступила весна. Скоро исчезнут дороги, и Вторая ударная окажется по горло в болоте. Надо отводить ее на захваченный плацдарм, к левому берегу Волхова.

— Пока не поздно, — добавил Блюхер.

— Я не могу принять такое решение, — растерянно проговорил Мерецков. — Это прерогатива Ставки. И потом... Оставить такую огромную территорию... Меня не поймут. Там... — Он поднял глаза к мощным накатам блиндажа.

— А ты отстаивай собственную точку зрения, настаивай, требуй! — сказал Василий Константинович. — Ведь всегда был таким смелым человеком! И умницей. Недаром так доверял тебе на Дальнем Востоке! Так почему же ты сейчас...

Уборевич предостерегающе поднял руку, и Блюхер в сердцах ударил кулаком по колену, чертыхнулся.

— Что он с вами сделал, этот тиран с комплексом неполноценности?! — с пронзительной жалостью глядя на Мерецкова, проговорил Маршал Советского Союза. — Разве можно хорошо воевать, оглядываясь по сторонам, боясь не вражеской пули, а немилости самого?!

— Мы постараемся, Василий Константинович, постараемся, — срывающимся голосом сказал комфронта. — Выиграем войну, выиграем! Не благодаря, а вопреки ему...

Имени его произнести Мерецков не Неумел, духу не хватило. Черный человек затаился в затененном углу трофейного блиндажа, но командиры поняли бывшего начальника штаба.

— Гитлер проиграл войну уже в тот момент, когда начал ее, — заметил Уборевич. — Покорить Восток — это его навязчивая идея, ее он широко развивает в "Майн Кампф". Этого он и добился с нашей помощью в тридцать девятом году, когда объединил разделенную Версальским миром на две части Германию за счет уничтожения польского государства. И та его война, и эта беспрецедентны в истории человечества, не имеют дипломатического раунда, который всегда предшествует боевым действиям. Гитлер решил вести войну с нами колониальным способом, то есть с особой жестокостью. С первых дней война стала всенародной, это война интернационального духа русского народа, для которого решается вопрос жизни: быть или не быть, против немецкого национального эгоизма, расового шовинизма, извлеченного Гитлером из-под оказавшейся весьма тонкой скорлупы цивилизации. Рано вот решили вы глобально наступать, поспешность эта дорого обойдется, но все равно Красная Армия обречена на победу!

— Но почему без вас?! — воскликнул Мерецков.

Блюхер хмыкнул, а Уборевич пожал плечами.

— Убирая соратников Ленина, которые не могли бы до конца примириться с узурпацией политической и государственной власти этим человеком, а потом и тех, кто способствовал разгулу неоправданного и небывалого в истории террора, Сталин не мог спокойно спать, не убрав высших военных, — пояснил Иероним Петрович. — Но ведь если бы на самом деле Михаил Николаевич Тухачевский и все мы, осужденные Специальным присутствием Верховного суда СССР как военные заговорщики, были агентами иностранных разведок еще с двадцатых годов, то что помешало бы нам совершить переворот еще до полной победы социализма, провозглашенной Семнадцатым съездом, на который, кстати говоря, всех нас, врагов народа, делегировала партия?! Никакой логики!

— У тиранов собственная логика, — буркнул Василий Константинович. — Надо мной и суда-то не было... Я отказался приговорить товарищей к смерти, вот за это меня и убили в камере следователи НКВД.

— Со мной все проще, — усмехнулся Уборевич. — Подпоручик царской армии и в академии германского генштаба обучался...

...Мерецков вспомнил давний теперь уже случай, имевший место после того, как он вернулся из Испании. Шло лето проклятого тридцать седьмого года. На совещании высшего комсостава обсуждалась ошеломляющая новость: Тухачевский, Уборевич и другие — враги народа. Дали слово Мерецкову, ждали: навалится на Иеронима Петровича, с которым — присутствующие знали — служил долгие годы. А Мерецков все про Испанию толкует, про военный опыт тамошних сражений. Из зала реплики: "Давай по существу!", "К повестке ближе...". И Сталин вмешался: что, мол, думает Мерецков о случившемся? Тут Кирилл Афанасьевич и ахнул. "Не понимаю, — сказал, — почему выступающие костерят Уборевича? Если знали, что плохой, то почему молчали? А я вот ничего дурного о нем не скажу, всегда ему безоговорочно верил". Зал затаил дыхание, похоронил Мерецкова. И Сталин вдруг понял: представилась возможность показать, как ценит он прямодушие, искренность, да и этот наивный ярославец по-своему честен. "Мы тоже им верили", — со спокойной грустью сказал он.

На следующий день Мерецкова назначили заместителем начальника Генштаба. Но и в этой ипостаси его не оставляли в покое, да и кто мог на него рассчитывать в те страшные месяцы, когда никому не дано было полагать, что завтра не станет он вовсе покойным. Осенью пришел на Мерецкова с Дальнего Востока донос. Написал бывший сослуживец, и логика его была до крайности проста. Работал Мерецков с Уборевичем в Белоруссии? Был такой грех... разоблачен Уборевич как враг народа? Факт общеизвестный. Вывод напрашивался однозначный: и Мерецков враг народа, только не раскрытый еще.

Казалось бы, бред сивой кобылы. Но людей тогда брали и по куда более абсурдным обвинениям. Кирилла Афанасьевича не взяли, его стали всячески проверять, неделями терзали изматывающими душу допросами, пока в качестве свидетеля. Правда, в декабре позднее расстрелянный начальник Политуправления РККА Смирнов предписал отослать его документы в НКВД, присовокупив заключение: "Дело Мерецкова всячески разбиралось".

И Кирилл Афанасьевич, продолжая служить в Генштабе, не знал, что поведение его постоянно фиксируется их военным комиссаром. "За последнее время, — отмечал 20 июля 1938 года И. В. Рогов, — Мерецков работал не с полным напряжением, явно проявлял боязнь в принятии решений и даче указаний.

Избегал подписывать бумаги и резолюций на бумагах никаких не писал, настроен был нервно и имел подавленное настроение. В разговоре со мною очень часто вспоминал, как его вызывали в НКВД и какие он давал объяснения".

Через шесть недель военком дополнял досье на замначальника Генштаба: "По-прежнему Мерецков настроен нервно и неоднократно в разговоре с командармом Шапошниковым говорил, что "вот на меня все показывают, а я ведь ничего общего с врагами не имел".

Не тогда ли родилось выражение: "Доказывай потом, что ты не верблюд..."? Может быть, и позднее. Впрочем, какое это имело значение? Все равно доказать что-либо почти никому не удавалось.

Потом случился разговор, тот самый, что был двумя годами позже, в тридцать девятом, когда вернулись в Россию последние "испанцы". Мерецков лично его не знал, этого человека, Николая Лященко, военного советника, пробывшего в Испании два года, самый большой срок. Республиканцы ласково называли его Колас, вроде бы Коля, если по-нашенски.

Рассказал эту историю Мерецкову его соратник по спецкомандировке на Пиренейский полуостров, тезка Лященко, советник в Испании по артиллерии Николай Николаевич Воронов. Когда из пяти маршалов осталось в живых два, советники получили инструкцию: предложить испанцам убрать из политических уголков их частей портреты маршалов — врагов народа. Получил указание и советник корпуса Колас, долговязый, вызывавший у малорослых испанцев почтительное изумление двухметровым ростом.

Комиссаром корпуса был анархист, к нему и обратился Лященко с деликатной просьбой. "Не могу этому поверить, — сказал анархист. — Из пяти маршалов трое стали врагами... Никакой логики. Ну ладно, Тухачевский и Егоров — бывшие офицеры. А легендарный Блюхер? Крестьянский сын. Сделаем так. Ты знаешь, Колас, что я член ЦК нашей партии. Свяжусь с руководством, пусть исследуют версию связи маршалов с иностранной разведкой..." Через десять дней комиссар официально сообщил русскому советнику, что проведенной в двенадцати [303] государствах агентурной проверкой установлено: никаких контактов с секретными службами у маршалов не было.

— Ладно, — сказал комиссар-анархист, — портреты мы уберем, только уничтожать не будем, спрячем. Придет и их, этих ребят, время.

Воронов взял слово с Мерецкова: услышал и тут же забудь. Этот Лященко и так чересчур смел и независим в суждениях, не подведи его. Кирилл Афанасьевич

ни единой душе не обмолвился, а забыть не мог, нередко травил себе душу вопросом: разве у Сталина не было возможности установить истину? Конечно, была...

— Сколько угодно, — ответил Блюхер. — Только зачем, если он сам организовал фальшивое обвинение... А про Вторую ударную ты подумай, Кирилл Афанасьевич. Ведь ее командование высказывается за отвод. И ты это знаешь.

— Надеюсь на помощь Ставки, — опустил голову Мерецков.

— Ставка не есть даже господь бог, — усмехнулся Уборевич, поднимаясь с места. — Воюй грамотно, Кирилл Афанасьевич, независимо и экономно, мы собирались делать это когда-то вместе.

— К твоему соседу слева заглянем, — пояснил, надевая шинель, Блюхер. — Курочкин толково бьет немца, даже котел ему под Демянском соорудил. Только показать успехи не умеет, потому и затрут его, Павла Алексеича, замолчат, помяни мое слово.

Мерецков снова лежал в такой удобной постели Яковлева, когда в блиндаже возник вдруг Сталин. Проворно приблизился к Мерецкову и ткнул мундштуком трубки в подбородок.

— Куда они ушли? — спросил Сталин. — О чем вы здесь говорили? Отвечай нам! Что говорили?

Он тыкал генерала армии трубкой и требовал рассказать содержание недавнего разговора.

...Кирилл Афанасьевич силился приподняться, но тело отказывалось повиноваться.

— ...Говорили. Уже время, Кирилл Афанасьевич. Вы просили разбудить... — услышал он вдруг голос Яковлева. — Трясу вас, а вы все произносите что-то.

Мерецков рывком поднялся и свесил ноги с кровати. Серые валенки, заботливо просушенные Мишей Бородой, стояли рядом. Адъютант выжидательно поглядывал на хозяина от двери.

— Да-да, пора ехать... Спасибо за гостеприимство, Всеволод Федорович, — поблагодарил Кирилл Афанасьевич. — Фамилий никаких я тут не называл?

— Вроде не слыхал... — Яковлев отвел взгляд в сторону. "Неужели он и сон мой видел?" — с веселым ужасом подумал Мерецков.

Приближалась пасха. В этом году весенний праздник приходился на пятое апреля, 288-й день войны. И хотя начали прибывать посылки из Германии, а кое-кто из ландзеров собирался поехать в отпуск, настроение у солдат было неважным. В результате яростных атак русские восстановили прежнее положение. Огромная армия, вонзившаяся боевыми порядками в их глубокие тылы, продолжала угрожать чудово-любанской группировке.

Конечно, солдатам было не до забот командующего, их война была несоизмерима с войной фон Кюхлера или генерала Линдеманна, но и любой ландзер хорошо понимал: чем скорее завяжут они мешок, в котором оказалась 2-я ударная, тем лучше. По опыту прошлого года многие из них знали, какие неприятности могут причинить русские, даже если те оказываются оторванными от остальной Красной Армии. И тут еще погожие деньки, которыми побаловала природа во второй половине марта, сменились ненастьем. Задул сырой и промозглый ветер, с неба валил мокрый снег, перемежавшийся с холодным дождем. Зимние дороги быстро исчезали. Лесные тропинки превратились в канавы, заполненные кашей из талого снега. Снег облеплял обувь, обувь постоянно промокала и не успевала просохнуть за те недолгие часы, которые отводились солдатам на отдых.

...Когда Руди Пикерт, вооруженный трофейным автоматом, вышел к своим, ему не сразу довелось попасть в роту обер-лейтенанта Шютце. Документов у бывшего студента не было никаких. При обыске русские отобрали у него даже посмертный жетон, поэтому ничем принадлежность к германской армии он доказать не мог.

Пикерта тут же отправили в ближайшее отделение гехаймфельд-полицай — тайной полевой полиции, оно выполняло функции гестапо в действующей армии. Там Руди подвергли перекрестному допросу, и, чтобы связаться с командованием пехотной дивизии, его задержали под арестом, время от времени вызывая на допросы. Теперь на них спрашивали об увиденном Пикертом в тылу противника.

Когда саксонец вместе с прибывшим за ним фельдфебелем Венделем вернулся в родную роту, товарищи встретили его как выходца с того света. Все искренне радовались возвращению Руди Пикерта, особенно Вилли-баварец, который благополучно отбыл отпуск в родных краях, даже использовал предоставленное ему фюрером время отдыха для того, чтобы жениться.

Блиндаж, в который определили Руди Пикерта, серьезно пострадал от артогня, не раз переходя из рук в руки. Но ко времени возвращения саксонца

солдатское жилище уже поправили, навесили выбитую взрывом дверь, заменили обшивку стен, соорудили нары. Словом, ничего, кроме стойкого запаха взрывчатки — блиндаж забросали гранатами, не напоминало о событиях, участником которых Пикерту быть не довелось.

Фельдфебель, угрюмый горбоносый верзила из Мекленбурга, начавший службу в рейхсвере, еще по дороге сообщил ему о женитьбе Земпера.

— Чего это ему приспичило? — спросил Пикерт. Вендель пожал плечами:

— Сам спросишь. Я договорился с командиром роты: будешь жить в моем блиндаже: там и твой Вилли-баварец разместился. Сам ты ведь из Дрездена? Главное, чтоб не пруссак... И тогда сразу тебе скажу: временно будешь под моим присмотром, так положено, камрад. Я за тебя, отвечаю, но ничего об этом не говорил. Так что давай не подведи меня.

— Спасибо, господин фельдфебель, — с чувством отозвался он. Руди понимал, что после русского плена так и должно быть. Где гарантии, что его не завербовали? Но узнать напрямую о том, что к нему приставили соглядатая, было, разумеется, неприятно,

— На вдове женился наш Вилли, — продолжал Вендель, — и с маленьким ребенком вместо приданого.

— Разве в Баварии перевелись девушки?

— Minne ver Kehrt die Sinne, — отозвался фельдфебель. — Любовь выворачивает наизнанку все пять чувств... Подробности узнаешь дома.

Возвращение "блудного сына", чудесное спасение Руди отмечали в пасхальный день. Когда объединили содержимое праздничных посылок, стол выглядел довольно богато. Выпили шнапса за воскресение господне, и каждый с сожалением подумал, что им-то подобной гарантии никто не предоставит. Но вслух сказать об этом ни один из ландзеров не решился. Не потому, что были такими уж религиозными людьми. Попросту оттого, что солдаты на войне становятся суеверными, и поминать имя господа всуе, да еще завидовать его сыну, много лет назад воскресшему в этот день, представлялось им в ряду тех поступков, совершать которые не следует.

— Теперь за твое возвращение, дорогой Руди, — сказал Вилли Земпер. — Честно признаться, я тебя похоронил... Ну, думаю, один остался, оба моих лучших товарища пали в борьбе.

— Но ведь вернувшийся из поиска Вайсмахер рассказывал тогда, что Руди, по всей вероятности, попал в плен, — возразил ефрейтор Гейнц Оберман.

Молодой еще, призыва сорок первого года, он появился в роте в отсутствие Пикерта, равно как и другой новичок, Эрнст Майер. Оба они прибыли на Волховский фронт в соответствии с предписанием генерального штаба: заменять здесь солдат старших возрастов более молодыми, несущими службу на Западе, в Норвегии и на Балканах. Нюхать боевой порох им еще не доводилось, и действия по закрытию бреши у Мясного Бора стали боевым крещением ребят.

— Ты думаешь, рабство в Сибири, на которое русские обрекают пленных, лучше почетной смерти в бою? — спросил Земпер. — Впрочем, я полагаю, что когда мы прогоним русских за Урал, то начнем обмен пленными. Так что, Руди, у тебя оставался шанс.

— Не знаю, как насчет рабства, но там мне говорили, что пленные у русских получают по восемьсот граммов хлеба в сутки. Такая же норма и для их солдат на передовой, — сообщил Пикерт.

— Это пропаганда, — уверенно заявил Эрни Майер.

— А ты бы помалкивал, когда говорят старые солдаты, сосунок, — мрачно оборвал его Ганс Вендель. — К тому же за столом находится старший по званию.

— Извините, господин фельдфебель, — поднялся из-за стола и вытянулся во весь рост Майер.

— Ладно уж, сиди, — махнул Вендель. — Конечно, мы не в казарме учебного полка, а на фронте, но и здесь распоясываться нельзя. Иначе это будет не армия, а бордель.

— Кстати, в Плескау открыли шикарный бордель для унтер-офицеров, — попытался сменить тему ефрейтор Оберман. Он тоже был из молодых, но успел получить нашивку. "Небось ловкий парень", — с неприязнью подумал Руди Пикерт.

— Успел там побывать? — спросил Земпер.

— Конечно, — осклабился Гейнц.

— Эти новички всюду успевают, — проворчал Вендель. — Чересчур легко им стало служить... Неплохо бы всем помнить, какую школу проходили мы, новобранцы, в рейхсвере. Унтер-офицеры драли с нас по семь шкур, а нам это даже нравилось, потому как чувствовали: они стараются для нашей пользы и во имя родины. Германии нужны такие солдаты, которых не было ни в одной стране. Иначе б мы так и продолжали униженное существование...

— Немецкий солдат всегда славился особой выучкой, — поддакнул Оберман, полагая, что ему-то, ефрейтору, относящемуся как бы уже к избранным в этой компании, можно вставить слово.

Вендель покосился на него, налил себе шнапсу, сказал всем "Прозит!" и выпил, не предложив остальным.

Утвердив сим образом старшинство, фельдфебель продолжал:

— Прежде всего нас учили уважать унтер-офицеров и тех солдат, кто призван раньше... Мне известно, что сейчас молодые солдаты избегают строевой подготовки. Честно признаюсь: в то время и мне казалось, что нет связи между приемами маршировки и способностью хорошо воевать. Теперь убедился: именно строевая подготовка делает солдата боеспособным. Он становится собранным не только внешне, но и внутренне. Это еще как помогает в бою.

Ганс Вендель откашлялся и вдруг рявкнул изо всех сил:

— Nabacht! Смирно!

Эрни Майер вскочил и вытянулся. Гейц Оберман дернулся было встать из-за стола, но понял, что это розыгрыш, и неуверенно улыбнулся. Руди и Вилли закатились хохотом.

— Ein blöoler Kerl, — добродушно произнес Вендель. — Himmeldonnerwetter... Ruht! Вольно! Садись... Можете налить себе, ландзеры.

Теперь фельдфебель выпил со всеми тоже.

— Винтовку каждый из нас берег, как самое дорогое, относился к ней, как к любимой девушке, — вспоминал Вендель. — А когда нам выдали учебные обоймы с патронами из латуни, мы ежедневно чистили их, они блестели, будто зеркальные. Если надлежащего блеска у кого-нибудь не было, унтер-офицер назначал полчаса дополнительной строевой подготовки... А маршировка под духовой оркестр! Мы ходили строевым шагом поротно, повзводно, отделениями, в одиночку... Отрабатывали помимо строевого шага еще и гусиный, старопрусский парадный шаг. Когда шлифовали ружейные приемы, казалось, что солдаты превратились в единый механизм, и от этого каждый обретал дополнительную силу. Нашей родной матерью был ротный фельдфебель, командира мы видели редко, все замыкалось на обере. Я и сейчас его вспоминаю чаще, нежели стариков в Мекленбурге. Да... Носили мы в те времена башмаки со шнуровкой. Каждая подметка у них приколочена тридцатью двумя гвоздиками. По утрам выходили на строевую или отправлялись в поход. Пять часов безостановочно топали, и, конечно, кто-то гвоздики из подошвы терял. Но когда рота возвращалась на обед, ставила

винтовки в пирамиды, умывалась и тут же строилась, чтобы идти в столовую, ротный фельдфебель заставлял нас поднимать то левую, то правую ногу, а сам обходил строй с тыла и проверял, все ли гвоздики на месте. Те, у кого их не хватало, получали полчаса строевой... А ну-ка, Майер, подай мне твои сапоги!

Эрни вскочил из-за стола и принес сапоги, они сушились у чугунной печки, солдат недавно вернулся из патрульного обхода и сидел сейчас в носках.

— Так и есть, — сказал Вендель, — не хватает трех гвоздиков.

— Я забью их на прежнее место, господин фельдфебель.

— Непременно... Фронтовые условия не позволяют погонять тебя на плацу. А надо бы... Для твоей же пользы, камрад. Ладно... Давайте споем мою любимую песню.

Не дожидаясь ответа, Ганс Вендель повел "Гарцует длинной вереницей на конях гордый полк". Первым с готовностью подтянул Гейнц Оберман, потом Вилли, опасливо поглядывая на фельдфебеля, вступил и Эрни Майер. Руди Пикерту подтягивать не хотелось, он покачивал в лад головой, вспоминая собственную подготовку в качестве новобранца уже не в рейхсвере, в котором служил Вендель, а в вермахте, где все было примерно таким же, о чем рассказывал фельдфебель. И у них были старички, которые после стрельбы отдавали молодым чистить их оружие. И возражать при этом не полагалось. И петь они умели в противогазах, и ползали по грязи, ее специально находили для них унтер-офицеры, с завязанными глазами разбирали пулемет, бросали боевые гранаты, учились окапываться, лежа на боку. И тогда им нравилось это, ибо каждый понимал: они солдаты фюрера, призванные умножить славу Великой Германии, а это возможно лишь тогда, когда сумеют завоевать для народа необходимое жизненное пространство.

Побывав в плену и неожиданно избавившись от пресловутой Сибири, Руди Пикерт сейчас, когда любимую песню фельдфебеля закончили строкой "мы конница кайзера" и по предложению Гейнца Обермана стали петь "Хорст Вессель", подумал вдруг, что вернулся к ландзерам другим человеком. Он равнодушно смотрел на праздничный стол, где были сардины и голландский сыр, вареная курятина и белый хлеб, шоколад, банки с печеночным паштетом, фляжки со шнапсом и бутылки с ромом и коньяком, и вспоминал скромную еду русских, жидкий чай с непременным кусочком сахара, тогда еще конвоир показал пленному, как надо пить чай вприкуску.

Наивно было бы думать, что в душе Пикерта произошла переоценка ценностей и бывший студент-теолог выбрался из тенет нацистского воспитания. Дитя

времени, воспитанник Великогерманского союза молодежи, влившегося затем в "Гитлерюгенд", Руди Пикерт не мог так просто взять и сбросить психологический груз с тщанием и профессионализмом привитой ему идеологии. Но сейчас он думал о том, что в системе подготовки солдат, которая существовала и в рейхсвере, и в вермахте, была заложена зримая цель: создать недумающих исполнителей, которые счастливы от того — об этом прямо сказал только что Вендель, — что ощущают себя составными частями единого механизма. Такой механизм можно использовать в неправедных целях.

До сих пор Руди Пикерт считал, что участвует в справедливой войне. Он хорошо помнил воззвание Гитлера, с которым тот обратился к немецкому народу 22 июня 1941 года. Тогда вождь пространно осветил события истории от Версальского договора до наших дней. Обвинил Советы в тайном сговоре с Англией, целью которой было сковать немецкие силы на Востоке. Гитлер далее сказал и о том, что пытался прийти к соглашению с Россией и приглашал для этой цели Молотова в Берлин в ноябре 1940 года. Но, ввиду непомерных требований русских, особенно в отношении Финляндии, Болгарии и Дарданелльских проливов, где Советский Союз хотел оборудовать сухопутные, военно-морские и авиационные базы, договориться со Сталиным не удалось. Советский Союз усиливал войска на восточной границе великого рейха, столкнувшись с Великобританией, науськивал Югославию против немцев, а в последнее время русские, мол, открыто стали посягать на германскую территорию... Это заставило его вновь вверить солдатам судьбу и будущее германской империи и народа.

Первый червь сомнения шевельнулся в душе Руди Пикерта уже в самом начале кампании на Востоке, когда стало ясно: война для русских явилась полной неожиданностью. Не ждали они ее и не хотели. Может быть, и худо жилось мужикам и бабам под большевиками, но и в доблестных ландзерах не видели они освободителей.

Находясь в России, Руди интересовался по мере возможности православной церковью и даже беседовал с теми из священников, которые знали немецкий язык. Пикерта удивила их антинемецкая позиция, хотя прямых выпадов против немцев служители церкви не позволяли. Но Руди были известны случаи, когда священники призывали верующих бороться с германцами, хотя их и расстреливали специалисты из зихерхайтдинст — службы безопасности. К зиме, особенно после поражения под Москвой, Пикерту стало ясно, что силой

оружия победить этот народ, заставить его безропотно повиноваться невозможно.

Руди помнил пророческие слова Фридриха Великого, который говорил о русских противниках: "Их нужно дважды застрелить, а потом толкнуть, чтоб они упали". Он и его товарищи неоднократно в этом убеждались и летом сорок первого, и весной сорок второго. Правда, русских можно до единого уничтожить физически, но кто тогда станет работать на этих необозримых пространствах? Да и по-христиански ли обрекать на смерть полтораста миллионов человек? Будто услышав мысли Пикерта, Ганс Вендель завел разговор о том первом дне, когда они ворвались в Россию.

— На этом проклятом Волхове иваны дерутся еще ожесточеннее, нежели их пограничники в тот день... Послушай, Руди, ты у нас самый грамотный, почти профессор, почему они так дерутся за эту забытую богом землю?

— В этих местах складывалось их государство. Великий Новгород, князь Рюрик, потом князь Александр. Русские чтут их, как мы Рыжебородого Короля, канцлера Бисмарка, Гинденбурга. Словом, в исторических местах довелось воевать нам, друзья!

— Отныне человечеству придется учить только одну историю — Великого рейха! — напыщенно произнес ефрейтор Оберман. — Давайте выпьем за здоровье фюрера!

— Что ж, — усмехнулся, протягивая руку к бутылке с ромом, Руди Пикерт, — выпьем.

Он отогнал праздные мысли, а когда все пили в честь Гитлера, став по этому случаю в положение "смирно", Руди сказал:

— По-моему, мы свиньи... Наш друг Вилли так и рвется рассказать о медовых деньках, которые провел с молодой женой, но ему и рта раскрыть не удается. Поделись, Вилли, ощущением от брака. Кроме старины Венделя никто из нас не был им осчастливлен.

— Нашлись, не скрою, в деревне и такие, что удивились: почему выбрал вдову, мало ли незамужних у нас осталось, — воодушевленно рассказывал охмелевший и от этого ставший непривычно красноречивым Земпер. — А я так скажу: Магда уже испытанная мать. У нее от погибшего Рудольфа родился отличный мальчишка. Вырастет — займется русской Сибирью. Там, говорят, богатейшие есть места, хотя и природа суровая. Моя Магда создаст крепкую расу, она подлинная германская мать. Я и выбрал ее потому, что проверена в

деле. И сам, конечно, оставил собственный след. Жду к новому году прибавление семейства.

— Откуда тебе знать, что оставил? — спросил его, улыбаясь, Руди Пикерт. — Времени прошло как будто немного.

Вилли обиженно хмыкнул.

— Не ожидал сомнений от старого товарища... Тебе ведь известно, Руди, что я потомственный крестьянин. Сколько раз случал коров и прекрасно знаю, как это делается. Будь уверен: не промахнулся. Да и Магда такая мишень, что не попадет в нее лишь городской хлюпик с противоестественными наклонностями...

Подвыпившие ландзеры хохотали и требовали у Земпера подробностей. Вилли с готовностью хвалился прелестями Магды. У новичков разве только слюни не текли, глаза вожделенно блестели от воображаемых похотливых сюжетов. Разошелся и угрюмый Вендель, уточнял подробности, которые свидетельствовали о его богатом сексуальном опыте.

Необъяснимая тоска охватила Руди. Пришла мысль о том, что его, наверно, скоро убьют, но вовсе не это тревожило душу. Стараясь отвлечься от сальных реплик, которыми товарищи перебивали рассказ Земпера про любовные утехи с Магдой, он подумал, что если верить Аристотелю, а у Руди не было оснований сомневаться в идеях мудреца из Стагира, то существует равнодушная, статичная материя, которая становится деятельной, порою даже слишком, благодаря некоему перводвигателю.

"Материя есть субстрат, в котором осуществляется бытие, — размышлял бывший студент-теолог. — Без материи бытие невозможно. Но до тех пор, пока не возникла форма, первичная материя лишена определенности, у нее нет никаких свойств. И только благодаря активной форме материя воплощается в активную вещь. Так считает Аристотель. И как его мысли созвучны тому, что происходило в Германии! Возник перводвигатель — фюрер, и инертная немецкая нация стала активной формой бытия. Но Аристотель считал, что источник движения находится вне материального бытия, он независим от первичной материи. Другими словами, это бог как конечная форма. Значит, наш фюрер — бог?"

Помимо его воли мысль казалась сумасшедшей, он фыркнул.

"Динамизм Аристотеля всегда финалистичен, — подумал Руди. — Но имеет ли финал та форма существования материи, которую мы называем войной?"

Саперным батальоном в дивизии Лайшова командовал Таут. Биография у этого сорокашестилетнего майора была необыкновенная, хоть роман пиши... Впрочем, судеб таких в России немало, только проходили они по категории нетипичных, ибо герои обретались до революции в дворянском звании. Родился Михаил Павлович в 1896 году, в семье начальника полиции Дальневосточного края. Едва мальчишке исполнилось девять лет, отдали его по семейной традиции в Хабаровский кадетский корпус, где Миша Таут воспитывался восемь лет. И поскольку имел склонность к математике, то был отправлен в Петербург, в инженерное училище, то самое, которое закончили во время оно и Федор Достоевский, и герой Севастополя Тотлебен, и генерал Карбышев.

С февраля 1915 года Михаил Таут уже воевал, а к сентябрю семнадцатого командовал саперной ротой и был в звании поручика. Грянула революция, и офицер-сапер стал с марта восемнадцатого года красным командиром. А брат его оказался у Деникина, шел вместе с Доброармией на Москву, грозился повесить курвеца Мишку на Тверском бульваре. Почему именно там — Михаилу Павловичу узнать не довелось: Москву Деникин не взял, а брат сгинул.

Десять лет прослужил Таут в Красной Армии, закончил Военно-электротехническую академию, да и потом, вплоть до 8 июля 1941 года, работал на оборону. А когда призвали снова служить, попал комбатом к полковнику Лапшову.

Афанасий Васильевич комдивом был чапаевского типа, чуть ли не с экрана знаменитого васильевского фильма сошел. Может быть, вплотную и не был похож на актера Бабочкина, а вот повадками — Чапай. И судьбы у них были схожие. Старший унтер-офицер в старой армии, потом гражданская война, военная служба в мирное время, курсы "Выстрел", испанская война, с которой он вывез личный трофей — обаятельную Миллягроес Эрейну Фернандес, законную жену самого что ни на есть испанского происхождения.

Командиров в жизни Таута было предостаточно, а слабость, так принято в мужской среде обозначать любовь к человеку, питал он только к Афанасию Лапшову. Да и тот глубоко уважал "господина поручика", как однажды в шутку назвал сапера комдив в присутствии комиссара Майзеля, который тоже из бывших профессоров, заведовал кафедрой философии до войны. К тому времени Тауту присвоили майора вместо безликого военинженера третьего ранга. Он и сказал, не скрывая обиды, что звать его надо не "господин поручик", а "товарищ майор".

— Да ты никак обиделся, Палыч? — все еще улыбаясь, встревожился Лапшов. — Я ведь не в упрек сказал, побольше бы таких поручиков в Красной Армии.

Тут он вздохнул, и Михаил Павлович с комиссаром хорошо поняли отчего. С октября сорок первого дрались они в составе 52-й армии, обороняли Малую Вишеру, на которую наступала 126-я пехотная дивизия вермахта. Тогда и усилил Лапшов батальон Закирова тремя ротами саперов Таута, чтоб отбивали немцев на западной стороне. Солдаты в саперном батальоне, как правило, умелые, из тех, кто постарше, и воюют они грамотно. Да больно скудно вооружены были, винтовки без штыков, на весь батальон только два автомата, к каждому по одному диску. И ни одного пулемета...

Роту саперов противник окружил, минами засыпал. Гибли красноармейцы, не в силах ответить, — артиллерийского подкрепления у них не было никакого. Но дрались они, что называется, зверски. Ничего другого не оставалось. Да только на ярости одной долго не продержишься. Хорошо, когда есть кому умело эту ярость собрать и по-умному ее использовать. Да вот незадача: приемами тактическими тогдашние командиры владели слабо. К маневру прибегать боялись, все в лоб да в лоб, фланговых ударов, обходов не знали, искать слабину в боевых порядках .врага не умели. А откуда умению взяться, если средний комсостав — взводных, ротных командиров, комбатов — пополняли запасниками, у которых военной подготовки почти никакой.

Это и имел в виду, вздыхая, Афанасий Васильевич. А тогда, в Малой Вишере, саперы помогли дивизии, задержали противника, дали остальным полкам выгрузиться из эшелонов, занять боевые позиции.

Малую Вишеру все-таки сдали, но засидеться в ней немцу не пришлось. Уже в середине ноября генерал Клыков повел армию в наступление. И теперь дивизия Лапшова перла на противника изо всех сил, но гитлеровцы успели так закрепиться, что усилия нередко пропадали напрасно.

Тут-то Михаил Павлович и доказал, что не зря его столько лет учили военному делу. Вызвал Лапшов Таута на КП и говорит дружеским тоном:

— Понимаешь, надо мне правый фланг усилить, никак стрелковый полк не сдвинется с места, застрял под деревней Пустая Вишерка. Дай мне саперную роту, а?

"Мог бы приказать, — подумал Таут. — А просит потому, что запрещено саперов использовать в цепи, поскольку спецвойска".

Но как не дать для пользы дела? Только инженер решил помочь комдиву. Пока гансы отбивали атаки нашей пехоты с фронта, саперы Таута вышли на правый

берег реки Малая Вишера, оседлали дорогу на Тихвин и неожиданно ворвались в Пустую Вишерку с северной стороны. Едва возникла угроза окружения, немцы стали отходить. Потери у саперов, ударивших во фланг, были пустяковые.

Вспомнив давний теперь уже эпизод, Михаил Павлович вздохнул. И оттого, что седой историей ему казалась осень сорок первого года, и оттого, что нет у него теперь комдива Лапшова, уникального самородка, истинно русского человека, штучной, как говорили прежде, работы. И самому Тауту напрямую командовать некем, хотя и повысился он в должностном ранге, став дивизионным инженером. Дивизия эта была тоже хоть куда, в Сибири формировалась, народ в ней был отборный. И командовал ею орел — полковник Витошкин. И армия была все та же — 2-я ударная, а все-таки Тауту без Лапшова неуютно, вроде не хватает чего. Может быть, тосковал майор без бравых саперов, с которыми столько хлеба-соли откушано, а военного горя помыкано и того больше.

Когда Таута неожиданно откомандировали в штаб фронта с личным делом, Афанасий Васильевич посокрушался по поводу разлуки, но решение командования одобрил.

— Поезжай, — сказал он. — Думаю, пошлют молодежь учить, опыта у тебя на саперного академика хватит. Опять же не молодой такую лямку на передке тянуть, в тылу помоложе курвецы отираются.

Ан нет, службу дали хоть и повыше, да только опять в снегах Мясного Бора. "Теперь уже не в снегах, они через неделю растают, — подумал Таут, вертя в пальцах ручку, раздумья отвлекли его от составления порученного доклада. — Что будем делать, оказавшись в болотах?" Он еще в начале марта говорил об этом с Лапшовым, когда стало ясно: сил наступать у армии нет, но выводить ее отсюда не собираются. А сейчас уже начало апреля...

Звонил армейский инженер, сказал, что штаб армии собирает совещание саперных командиров, будет разговор о дорогах.

"Давно пора", — подумал Таут и спросил, когда прибыть.

— Не только прибыть, но и выступить надо... Член Военного совета лично на вас указал. Пусть, мол, изложит соображения с учетом опыта противника. Ведь воюет в этих краях давно... И про "буржуйки" помянул...

Таут усмехнулся. Ох уж эти "буржуйки"! Прославился он с ними на всю армию. Вот и новый комиссар наслышан... А что тут мудреного? Голь на выдумки хитра. От бедности, нужды и не такие штуки выдумаешь. Впрочем, печки из жести еще в революцию возникли. Их дивизию передали командарму Клыкову

в конце февраля. Она пересекла у Мясного Бора дорогу Чудово — Новгород и расположилась пока в резерве за линией Большое Замошье — Теремец Курляндский. Расположилась — это громко сказано. Залегла в лесах — вот это ближе к истине. Немцы прочно удерживали укрепленные с осени деревни, а русским предоставляли возможность маневрировать в заснеженных пространствах, по бездорожью и безлюдью.

Хлопот у саперов было выше головы, содержать дороги в порядке в условиях февральских метелей — не шуточное дело. Но это еще полбеды. Беда в невозможности передохнуть, обогреться, поспать после изнурительной, а точнее сказать, каторжной работы. Часы на морозе — это ладно... А ежели целые дни напролет, а потом и недели — тут уж хоть караул кричи. Какие избы сохранились — отдай под раненых, тут святое дело. А здоровые на снег, под елки, в лучшем случае валились на хвойные лапы, покрытые плащ-палаткой. Сваливались в кучи, чтобы греть друг друга, а кто лежал отдельно — к утру коченел. У Таута каждый день по одному-два человека недоставало в батальоне на утренней поверке. Находили их уже мертвыми…

Тогда-то и организовал Таут мастерскую по изготовлению печек, так называемых "буржуек", и труб к ним, да еще с пламегасителями. Сначала саперов обеспечили теплом. Они рыли в снегу просторные ямы, сверху закрывали плащ-палатками, а посредине устанавливали "буржуйки", выводя дым от них по трубам наружу. Бойцы ложились вдоль стен, поручив дневальному топить чудо-печку. Прекрасно высыпались, чтобы утром снова воевать. Теперь на морозы и ночную авиацию саперы клали, как говорится, вдоль и поперек, да еще и с прибором.

Идея и в полках прижилась, батальон Таута заказами завалили, потом и из других дивизий за опытом приезжали. Лапшов был доволен: решили у себя в дивизии проблему отдыха красноармейцев. И как-то заметил, вроде невзначай: почему в Управлении тыла РККА не нашлось такого поручика, как у него. Разве нельзя всю Действующую армию такими устройствами снабдить?

Это вырвалось у Лапшова после того, как Михаил Павлович трофейную печку ему показал, которые отливала для вермахта немецкая фирма. Противник, значит, сообразил, что в России бывают морозы, а нашему руководству и в голову не приходило, что бойцы будут спать на снегу. И даже опыт финской кампании ничему не научил...

О последнем Лапшов не говорил, майор Таут сам подумал. И теперь сидел за колченогим столом, который скрипел и шатался, прикидывал на бумаге, что ему известно о постановке саперного дела у немцев.

Он начал с колючей проволоки, которой у саперов 2-й ударной не было вообще, и когда возникла в ней крайняя нужда, использовали трофейную, с немецких заграждений снимали. О спирали Бруно и говорить не приходилось. Окопы противник всегда роет в полный рост, обязательно обшивает при этом стенки жердями, а дно выстилает ветками или лозняком, чтоб грязь не возникала. Офицерские блиндажи отделываются у гансов весьма аккуратно. Стены из досок — подтоварника или жердей, обшиты фанерой или прессованным картоном. Накаты многослойные, между слоями обязательная прокладка, чтобы не сыпалась земля. Солдатские помещения поскромнее, но все равно оборудованы с удобствами. Фабричного изготовления печки стоят повсюду.

Думает противник и про отхожие места. А как же?!

"О них даже в Библии есть ссылки, — усмехнулся Михаил Павлович. — Вопрос этот и в древности считали серьезным... И Александр Македонский, и Юлий Цезарь лично следили, как оборудуются в полевых условиях солдатские сральни".

Немцы их устраивают в боковом ответвлении главной линии окопов, тщательно дезинфицируют хлорной известью, даже в зимнее время.

В здешних природных условиях дзоты они строят на особых плотах, в три-четыре бревенчатых слоя. И раз мы, судя по всему, не собираемся отходить из гиблых мест, надо укрепления сооружать, исходя из немецкой практики, они ее освоили еще осенью прошлого года. Передний край противник минирует весьма тщательно, применяя различные устройства, часто нам незнакомые, от чего большие потери среди саперов. Поэтому надо бы получше обрабатывать минные поля артиллерией. "Если есть для этого снаряды", — мысленно присовокупил дивизионный инженер.

Тут он вспомнил, как, захватив в феврале деревню, они обнаружили на переднем крае брошенный впопыхах компрессор. Сначала не сообразили, для чего он здесь, а потом разузнали. Если шурфы для зарядов наши саперы выбивали ломами вручную, то ихние саперы имели для этой цели отбойные молотки, для того и компрессор. И даже электродрели у них для сего применялись. С такой техникой пришельцы успевали в кратчайшие сроки

зарыться в землю, потому и родилась поговорка: "Сбил немца — гони, не давай сесть на землю. Дал ему остановиться — он тебе сам на голову сядет".
В саперы противник отбирает наиболее грамотных в техническом отношении солдат. И никогда не бросает их затыкать дырки в обороне, бережет. У нас, правда, такая установка имеется тоже, но... Теперь он сам инженер дивизии и обязан твердо заявить: надо и нам беречь саперов.
Ладно, хватит о немецком превосходстве. Еще поймут не так, как надо. Не в масштабе армии надо об этом говорить, никто его там не услышит из тех, могущих что-либо изменить в существующем положении. Будем по-прежнему заниматься самодеятельностью. Вот и дороги, которых уже нет — зимники-то ухнули с весной, — надо затевать строить...

-33-

— Прочитайте, — распорядился Сталин, не проявляя желания взять листок в руки, будто брезгуя им, хотя текст был переведен с немецкого и перепечатан.
Василевский мельком взглянул на Верховного Главнокомандующего, легонько кашлянул и стал читать, поначалу бесстрастно, потом с некоторым даже выражением:
— Война скоро кончится! Для победы нужно напрячь все силы, забыть о нервах, о жалости. Убивай, убивай и убивай! Нежность понадобится твоей семье после войны. Обо всем и обо всех думает фюрер! Каждый немец должен убить сотню русских — это норма. Сейчас мы на мировом футбольном поле играем русскими головами, потом будем играть головами англичан, а там — покажем старому еврею Рузвельту, этому паралитику, чего мы стоим...
Василевский замолчал.
— Что скажете, товарищ Василевский? — спросил Сталин, поворачиваясь к генералу. "Памятку немецкого солдата" он слушал, стоя к нему боком.
— Какой-то курьез, товарищ Сталин...
— Это не курьез, товарищ Василевский. Вы прочитали мне документ большой политической силы. А сделаем мы вот что. Передайте этот листок товарищу Молотову. Надо отослать дипломатической почтой в Соединенные Штаты Америки. А посол пусть при случае покажет ее мистеру президенту.
Сталин усмехнулся, представив на мгновение, как у Рузвельта вытянется физиономия, хотя ему не впервой узнавать от гитлеровских пропагандистов, будто президент Соединенных Штатов идет на поводу у еврейского капитала.
— Что у вас еще, товарищ Василевский?

До немецкой памятки Василевский докладывал о положении в районе Погостья, где наступала в направлении на Любань 54-я армия. Перегруппированные федюнинские дивизии существенно продвинулись вперед, но сопротивление противника, хорошо понимавшего, что его ожидает, если русские выйдут на Октябрьскую железную дорогу, резко усилилось. Тогда Сталин не задал Василевскому вопросов, и потому Александр Михайлович счел для себя возможным ответить, что у него больше ничего нет.

— А что же думает по этому поводу Мерецков?

— На Волховском фронте сложная обстановка, товарищ Сталин. Две армии удерживают проход у Мясного Бора, но противник усиливает нажим, чтобы лишить Вторую ударную армию коммуникаций. Много сил ушло на восстановление коридора. Сама Вторая ударная продолжает атаковать в направлении Любани, но ей приходится отвлекать силы для отражения натиска противника по всему периметру освобожденной территории. Разрешите...

Василевский развернул карту, показал положение сторон, но Сталин досадливо махнул рукой.

— Потом, — сказал он. — Вызовите на связь Мерецкова. Мы будем говорить с командующим Волховским фронтом через два часа. Можете идти, товарищ Василевский. Карту оставьте.

Когда Сталин остался один, он подтянул к себе карту и равнодушным взглядом окинул ее. Потеряв надежду единым общим ударом трех фронтов — Ленинградского, Волховского и Северо-Западного — разгромить группу армий "Север", Сталин уже не испытывал к операции острого интереса. Его охватывало смутное беспокойство при мысли о положении в Крыму, но там сидел Мехлис, твердивший, что не подведет. А Мехлису он всегда верил.

Верховный Главнокомандующий по-прежнему считал главным направлением летнего наступления противника московское. Умелая дезинформация об операции "Кремль", подброшенная германской секретной службой, приносила плоды. Впрочем, у Сталина были некоторые основания предполагать, что немцы снова пойдут на Москву. Ведь они продолжали держать в группе армий "Центр" до семидесяти дивизий!

Отвергнув предложенный Шапошниковым план стратегической обороны, который считал необходимым сосредоточить основные резервы в районе Воронежа, ибо ожидал наступления противника именно здесь, Сталин не принял и идею Жукова: наступать на Западном фронте.

— Это полумера, — сказал он. — Надо самим наносить удары по врагу. Советский народ ждет скорейшего освобождения советских земель от фашистских захватчиков, а мы тут с вами играем в военные игры. Пусть наши удары будут носить упреждающий характер! Мы не можем ждать, когда оккупанты снова полезут на нас. Пора гнать их с советской территории!

Упреждающие так упреждающие... Жуков для себя такой удар оговорил, в западном, естественно, направлении. Тимошенко получил разрешение разгромить харьковскую группировку, а Мехлис вылетел в Крым, чтобы там вместе с генерал-лейтенантом Козловым, командующим фронтом, выбросить немцев с полуострова. Мерецкову, Хозину и Курочкину поручили разбить фон Кюхлера и снять блокаду с колыбели революции.

Единственно возможный план, разработанный Генштабом с учетом действительного наличия в стране боеприпасов и обученных резервов, был отвергнут Сталиным и заменен планом наступательных операций по всему фронту, от моря, что называется, и до моря...

В приказе наркома обороны по случаю 24-й годовщины Красной Армии прямо указывались сроки окончания войны. Сталин заверял красноармейцев, весь советский народ в том, что Новый, 1943, год будем праздновать в Берлине.

Верил ли он сам этим сверхоптимистическим прогнозам? Ответ вовсе не может быть однозначным. С одной стороны, на глазах Сталина немцы дошли до Москвы, положение в сорок первом году сложилось отчаянное. И МГК ВКП(б) по указанию Политбюро на всякий случай всерьез готовился к подпольной борьбе в захваченной оккупантами столице, на что Щербаков получил лично от вождя секретные санкции. С другой стороны, контрнаступление Красной Армии показало, что воевать мы совсем не разучились, и у советского народа найдутся силы, внутренние резервы для преодоления вражеского нашествия. Сталин вовремя догадался, что сила народного духа, о которой писал Толстой, проявится быстрее и надежнее, если он обратится к русскому патриотизму. Отсюда и его слова о святых знаменах Александра Невского и Суворова, которыми осенил вождь уходящих на фронт воинов. Конечно, в Красной Армии были представители всех национальностей, но Сталин хорошо знал об особом интернационализме именно русского народа, лишенного шовинистического чванства, удивительно терпимого к любым инородцам, с уважением относящегося к чужим богам и святыням.

Бывший народный комиссар по делам национальностей, Сталин успел наработать практический навык общения с теми, кто действовал в других

республиках, особенно русскими партийцами, направленными Центральным Комитетом в Баку и Тифлис, Киев и Туркестан. Он понимал, что страхи по части великорусского шовинизма надуманы, раздуваются как раз теми, кто исподволь насаждает в обществе межнациональную рознь, что ослабление русского духа — а попытки к тому предпринимались во все предвоенные годы — ведет к ослаблению всего советского. Но интернационализм русских коммунистов поколебать было не так-то просто. И вовсе не случайно партийных деятелей русского происхождения, вступившихся за представителей местных кадров, бравые молодцы Ягоды, Ежова, Берии арестовывали по обвинению в национализме — узбекском, армянском, украинском, киргизском...

Уже первые недели войны показали, что гитлеровцы прекрасно понимают: именно русские люди являют собой цементирующее начало в социальной структуре Советов. Пропагандистские ведомства рейха в идеологической войне против Советского Союза делали ставку на межнациональную рознь, пытались поссорить народы, вбивали клин между русскими и украинцами, белорусами и литовцами, провозглашали независимость прибалтов и крымских татар. В Берлине вовсю функционировал Туркестанский комитет во главе с президентом Вали Каюм-ханом, который объявил себя единственным выразителем воли и чаяний мусульман, призывал их вступать в особые легионы, которые присягали на верность Гитлеру. Не прекращались попытки Геббельса натравить и русских на евреев. Сталину показывали текст пропуска в плен, где на русском языке было написано: "Не желая воевать за интересы комиссаров и жидов, добровольно перехожу на сторону германской армии..." Уже поступали агентурные сведения, что во время проверки красноармейцев и командиров, попавших в плен, после расстрела комиссаров и евреев — здесь для фашистов все было однозначным, пленных украинского происхождения отпускают по родным хатам, подчеркивая: гитлеровское командование не видит в них никакой опасности для рейха.

Мусульман — в туркестанские легионы, украинцев — по домам, прибалтов и крымских татар — в их собственные вооруженные силы... Сам ход событий подсказал Сталину идею опереться на русский патриотизм, он всегда спасал Отечество. Историю Российского государства Сталин знал неплохо. И подобный сдвиг в представлениях был положительным моментом в его военно-политической деятельности, он помог Сталину овладеть многотрудной ситуацией. И если бы другие вожди русского народа помнили об этом

постоянно, а не спохватывались только в критических положениях, то не было бы на свете государства прекраснее России.

Собираясь ехать в Крым, Мехлис сказал Сталину, что в политдонесениях комиссары сообщают: в командирской среде возникло и получило распространение неофициальное обращение друг к другу.

— Какое же обращение? — спросил Сталин.

— Братья славяне, — ответил Лев Захарович. — Мне кажется, мы имеем дело со вспышкой панславизма, товарищ Сталин.

— Не там видишь опасность, товарищ Мехлис, — несколько добродушно, насколько можно представить Сталина в подобном качестве, усмехнулся вождь. Никогда не был он высокого мнения об интеллекте Льва Захаровича, но ценил его за личную преданность и духовный аскетизм, беспощадную требовательность к себе и еще большую к окружающим. Сейчас Верховный иронично улыбался, ибо хорошо знал: Мехлис понятия не имел о том, что такое панславизм, его явно снабдил этим словом кто-то из умников — политуправленцев.

— Опасность панславизма, равно как и этот политический термин, придумали германские империалисты в Вене и Берлине еще во время кайзера Вильгельма. И слово антисемитизм родилось, между прочим, там же... А русским людям, Мехлис, несвойственна идея национальной исключительности. И если отбросить политический аспект нынешней войны, то сражаются в ней две этнические общности. С одной стороны — германские народы, одурманенные фашистской идеологией, а с другой — в основном именно братья славяне: русский, белорусский и украинский народы. Поэтому успокой комиссаров, товарищ Мехлис. Пусть не обнаруживают в таком обращении ни панславизма, ни шовинизма.

"Русский народ как ребенок, — вздохнул Сталин, посмотрев на портрет Кутузова, украшавший кабинет в ряду с другими портретами полководцев прошлого. — И Толстой был не прав, когда утверждал, что народ сам по себе изгнал Наполеона из России, а Кутузов только подчинялся силе его духа, следовал воле народной. Нет, народ никогда не знает, чего он хочет. Неуправляемая масса, она целиком зависит от воли человека, который сумеет стать для народа олицетворением его идеала. Воля личности есть персонифицированная воля класса... Когда то и другое совпадает, личность остается в истории. Но эта личность гибнет, если ждет, когда интересы класса совпадут с ее представлением об этих интересах..."

Близилось время обеденного перерыва, которое условно наметил себе Сталин. Неприхотливый в еде, как, впрочем, и в других житейских привычках, подчеркнуто небрежный в одежде, нарочито сдержанный в быту — его железная койка, прикрытая серым солдатским одеялом, известна была с легкой руки Лиона Фейхтвангера всему миру, — Сталин не любил принимать пищу в одиночестве. Особенно это касалось ужина, на меню которого никогда не отражалось полуголодное состояние советского народа в целом. Бывали гости у вождя за столом и во время обеда. Сегодня аппетит не приходил, и Сталин прошел во вторую комнату, она скрывалась за официальным кабинетом, велел принести ему туда чаю и перекусить накоротке.

Там он уселся за небольшой, старинной работы стол-бюро и придвинул календарь. На листке с сегодняшней датой среди других записей значилась фамилия Хозина. Командующий Ленфронтом просил о личной встрече, и Сталин поставил рядом крестик, начертав его синим карандашом. Это означало, что генерал-лейтенант Хозин будет вызван в Ставку.

Перелистав календарь, Сталин дошел до 20 апреля и поморщился. Это был день рождения Гитлера, и год тому назад вождь подписал ему поздравление, выдержанное в самых лестных тонах. А в письме, отправленном по дипломатическим каналам, сквозила надежда договориться обо всем по-хорошему. Сталину и в самом деле было тогда невдомек, что Гитлер не на шутку встревожен его внешнеполитическими акциями, что зондаж Молотова в ноябре 1940 года в Берлине принес один лишь вред германо-советским отношениям. Не имея от вождя достаточных полномочий, Молотов играл втемную. Хотя он и склонялся к союзу с осью Рим — Берлин — Токио, но делал это в такой латентно-психологической форме, что Гитлеру порой казалось: Сталин прислал верного эмиссара для того, чтобы посмеяться над ним, фюрером немецкого народа.

Конечно, требование согласиться на сухопутные и военно-морские, авиационные базы Советов в Дарданеллах представлялось Гитлеру чрезмерным. Да и не в проливах дело... После визита Молотова в Берлин фюреру казалось, что захватническим намерениям Сталина вообще нет предела.

Разумеется, Сталин был вовсе не таков, каким предполагал его Гитлер. Но объективности ради надо сказать: определенные действия советского руководителя вполне могли создать у фюрера пусть и ложные, но повлиявшие на его дальнейшие планы представления. Сейчас Сталин опасливо подумал:

"Не готовят ли немцы какого сюрприза? Не начнут ли где-нибудь неожиданного наступления по случаю дня рождения их фюрера? Всякое можно ожидать. Но застать себя врасплох он этому подлецу не позволит, хватит!"

Теперь, когда война шла без малого триста дней, Сталин окончательно уверовал: неудачи первого периода связаны с неожиданностью нападения. Да, он переоценил Гитлера, полагая его более дальновидным политиком, приближающимся где-то к нему самому. Увы, Гитлеру оказалось не под силу провидеть истинное величие его, товарища Сталина. Он повел себя как мелкий шулер, припрятав в рукаве пятого туза. Что же, Гитлер жестоко поплатится, он проиграет, этот австрийский маньяк сомнительного происхождения. Никому не дано обманывать товарища Сталина... Об этом хорошо известно внутри страны. Теперь об этом узнает весь мир.

Как всегда, сама мысль о том, как его обошел Гитлер, привела Сталина в дурное расположение духа. Но работать с таким настроением вождь не любил и сейчас попытался стереть воспоминание о том раннем воскресном утре 22 июня, когда приказал Молотову звонить в Берлин. По давнему опыту Сталин знал, что в этих случаях надо переключиться на иное раздумье.

Сталин вернул листки перекидного календаря на место и поднялся. С минуту он стоял, как бы прислушиваясь к неким процессам, происходящим внутри его сознания. В мыслях проносились, не задевая чувств, обрывки событий, вереница образов, череда лиц, уже умерших и ныне пока живущих... Эта лавина сорвала и поглотила под собой то, о чем Сталин стремился забыть, но лавина была безликой, ничего во внутреннем восприятии вождя еще не отложилось.

Он вздохнул, спиной почувствовав, как бесшумно принесли ему чай и легкую закуску, погладил указательным пальцем густые усы. Пора их поправить, укоротить до таких всем привычных размеров.

Возникшая мысль об этом непроизвольно напомнила ему человека, у которого тоже были усы, иной, правда, формы и цвета. Вождь не любил его, слишком тот близок был к товарищу Ленину, и эта близость еще больше высвечивала его собственную славу. Сталин был всегда с ним лоялен, хотя и позволял себе не соглашаться, отвергать идеи, на которые был так плодовит пролетарский писатель. Вождь подошел к встроенному в стену шкафу, открыл глухую дверцу и снял с полки синюю папку. В ней хранилась переписка с Горьким.

...Шальная пуля ударила комдива Лапшова в руку. Почувствовал он, будто кто дернул за палец, глянул, поморщился, увидев кровь. Надо было развернуть карту, он схватился за край и испачкал ее.

— Найдите кого-нибудь, пусть перевяжет, — приказал адъютанту.

Тот, значит, и передал: "Срочно фельдшера на НП! Комдив ранен!"

И пошли перекликаться связисты... В штаб дивизии дошло, что ранен — и все. Согласно инструкции начальник штаба сообщил в армию: Лапшов ранен. А когда спросили, каков характер ранения, ответил: ранен, но остался в строю. Так до Малой Вишеры и докатилось...

Палец фельдшерица полковнику перевязала, и тот продолжал руководить боем. Потом глянул на Таута.

— Ты чего это, майор, обеспокоенный такой? Боишься, что опять саперов в атаку пошлю? Ничего, сами справляемся,

А чего греха таить: боялся за комдива. Лихости у Лапшова хоть отбавляй. Ему бы в иное время родиться, когда вожаки выходили друг с другом схватиться на глазах застывших дружин. Но время то миновало, и в нынешней войне не пристало комдиву водить роты в атаку. А Лапшов водил... и не раз дерзко испытывал судьбу. Таут навсегда запомнил, как обходили с комдивом позиции полка майора Захарченко, подошли к открытой поляне, противник ее простреливал насквозь. Имелись и жертвы среди тех, кто пытался пересечь пространство напрямик.

— Надо обойти кустарником, товарищ комдив, — сказал Таут. — Переходить здесь опасно...

— На войне везде опасно! — с вызовом ответил комдив. — Времени в обрез, комбат, некогда круголя давать... Махнем напрямик!

И полковник Лапшов, озорно подмигнув саперу, побежал через поляну. Таут, конечно, следом — не отставать же от упрямца! — и с такой злостью на комдива бежал что забыл о приблизившейся смерти, которая только чудом их не настигла, хотя немцы стреляли по ним остервенело. Свалившись на снег у пушки, чтоб отдышаться, Лапшов с улыбкой спросил:

— Люблю вот так нервы себе пощекотать... Как ты к этому относишься, Палыч?

— Да если б и любил такое хулиганство, то нет у меня права подобным заниматься... Кто позволил вам, товарищ полковник, рисковать жизнью? Она принадлежит Отечеству! И будь моя власть, строго бы вас наказал за это...

Лапшов удивленно посмотрел на комбата, потом хмыкнул, стараясь скрыть растерянность, отвернулся.

— Слава богу, что власть пока у меня, — проговорил он, стараясь обернуть случившееся в шутку. — А то бы ты меня в штрафную роту... Давно меня никто так не распекал. А вообще-то по делу... Никому не позволено лихачить, других за сие гоняю.

— У нас в кадетском корпусе, — остывая, сказал Таут, — офицер-воспитатель беседы с нами проводил. О том, как должен вести себя командир в бою. И про так называемую личную храбрость. Где она уместна, а где только вредит делу.

— И что бы мне от него сегодня было, от твоего казенного батьки?

— Трое суток карцера, — ответил Таут, поднимаясь.

— Ладно, считай, что от тебя их получил, Михаил Палыч, — согласился комдив.

— Только отсижу после войны.

Весь день он был непривычно молчалив, а на КП полка разнес майора Захарченко за то, что командиры не носили касок.

"И об этом скажу на совещании, — подумал дивизионный инженер, сделал пометку на листке бумаги. — Постоянное нарушение правил безопасности! У немцев любой генерал, направляясь на передовую, надевает каску. У нас командиры их вообще не носят, вроде как проявлением трусости считают, что ли... А ведь даже касательное ранение в голову, от которого защищает каска, может оказаться смертельным".

Правда, и Лапшов каску не носил, ну что ты с ним поделаешь!

Вечером того же дня, когда остались вдвоем, комдив сказал Тауту:

— Про твой рассказ думал... У нас привыкли все старое хаять. Кадеты, юнкера... Такие-сякие. А смотри, как толково вас учили, с пеленок готовили к войне. Иначе и нельзя, пока враги существуют. Почему бы и у нас кадетские корпуса не завести?

После этого случая по первости Афанасий Васильевич берегся, а потом снова ходил, не кланяясь пулям. Отчаянной храбрости человек, искренне уверовал в неуязвимость, не верил, будто смерть сумеет его подстеречь.

Майор Таут улыбнулся. Он вспомнил о сокровенной мечте своего комдива: взять в плен генерала Нуньева Грандеса. Тот командовал Голубой дивизией испанцев и воевал по соседству с ними.

— Генерал он, конечно, хреновенький, — говорил Афанасий Васильевич. — Имел я дело с ихними вояками в тридцать седьмом, и если б нам силенок тогда добавить... А почему мне сей Грандес нужен? Корешков испанских, что по тюрьмам сидят у Франко, на него б поменял. С дерьма ведь тоже польза бывает.

Первыми в синей папке лежали листки копии письма Сталина к Горькому от 17 января 1930 года. Оно лежало на виду потому, что Сталин уже обращался к этим документам, вспомнив давнее предложение писателя создать журнал "О войне".

Судя по письму Горькому, в котором Сталин отвечал писателю на ряд вопросов, автор его находился в добром расположении духа. Он согласился с тем, что пора в печати говорить о наших достижениях, критики, дескать, и в самом деле избыток. Положительно отозвался о нынешней молодежи, одобрил идею журнала "За рубежом". Его закрыли потом, уже в тридцать восьмом году. Не те начались времена, чтобы печатать всякую ругань и поклепы в наш адрес. Советским людям это было ни к чему.

Понравилось тогда Сталину и предложение об издании популярных сборников о гражданской войне. Он пожелал, чтобы поручили возглавить это дело Алексею Толстому. А вот по поводу специального журнала "О войне" Сталин высказался неодобрительно. "Мы думаем, — писал он, — что целесообразнее будет трактовать вопросы войны (я говорю об империалистической войне) в существующих политических журналах, тем более, что вопросы войны нельзя отрывать от вопросов политики, выражением которой является война".

Он считал, что рассказы о войне надо печатать с большим разбором. "На книжном рынке фигурирует масса художественных рассказов, рисующих "ужасы" войны и внушающих отвращение ко всякой войне (не только к империалистической, но и ко всякой другой). Это вредные буржуазно-пацифистские рассказы..."

В этом категорическом заключении Сталина крылся серьезный психологический просчет. Десять лет назад закончилась гражданская война, вырастало поколение, не знавшее ее ужасов. Мальчишкам, родившимся в двадцать первом году, предстояло защищать Отечество в сорок первом. Но с пионерского возраста будущие ратники Великой Отечественной слышали как заклинание: "Красная Армия всех сильней!" Они видели в кино красивую смерть героев, читали книги, в которых армия вторжения уничтожалась за двенадцать часов, и морально совершенно не были подготовлены к тем ужасам, что ждали их впереди. Сейчас вождь подумал, что журнал следовало бы тогда создать, но соображения его по части опасности пацифизма, тем не менее, абсолютно верны. Разве не могут склонить молодого человека к дезертирству

или, того хуже, к сдаче противнику в плен те ужасы войны, которые загодя обрушивает на него литература?

Сталин осознавал ее политическое значение и потому никогда не сбрасывал литературу со счетов, верил в реальную помощь собственным планам. Конечно, писатели — люди неуравновешенные. Есть среди них просто хулиганы, позволяющие себе в стихах намекнуть на его якобы осетинское происхождение. Но с такими у него разговор короткий... К счастью, среди этой братии достаточно здравомыслящих людей, даже из бывших, они правильно понимают момент исторической истины и, поднимаясь выше примитивных дифирамбов, создают литературные образы крупных деятелей из прошлого России, помогая лично ему, товарищу Сталину, революционно преобразовывать советское общество. Товарищ Сталин прав, когда утверждает: незаменимых людей нет и хорошо подготовленные кадры решают все. Можно и нужно работать и с трудно управляемыми представителями литературы и искусства. Когда после создания Союза писателей товарищ Щербаков, присматривавший по линии ЦК за творческой интеллигенцией, стал жаловаться на неуправляемость литераторов, их склонность к групповщине, профессиональным дрязгам и попросту личным сварам, Сталин сказал:

— У меня нет других писателей, товарищ Щербаков... Надо работать с этими.

С Горьким все было не так-то просто. Этот человек был лично близок к Ленину, об этом знал мир, с этим приходилось считаться, И Сталин соглашался на предложения Горького, чтобы свернуть почти все его начинания вскоре после смерти Алексея Максимовича. Но идею журнала "О войне" Сталин не поддержал. Ему никогда не доводилось встречаться с ужасами войны вблизи. Сталин панически боялся смерти в любых ее проявлениях, и к тем, кто описывал войну достаточно реалистично, относился с опаской, как бы подозревая, что это делается неспроста, автор непременно хочет уличить его, товарища Сталина, в трусости... Ему и невдомек было, что ни один писатель в мире не сможет написать о войне страшнее, чем она есть на самом деле.

Отношение к войне у вождя было ребячье. Он любил играть в войну. Отсюда и желание лично присутствовать при демонстрации нового оружия, прямые контакты с конструкторами самолетов, многочасовые обсуждения с ними технических деталей. Изобретателей пулеметов привозили к Сталину в кабинет, где он внимательно рассматривал новую конструкцию, предлагал установить в боевом положении, сам укладывался на ковер, держась за ручки пулемета и имитируя стрельбу, дотошно расспрашивал о начальной скорости

полета пули, скорострельности, боевом применении. Вождь мог сейчас позволить себе необыкновенные игрушки , они помогали ему забыть унижения двусмысленного детства, когда его, тщедушного мальчишку, сверстники не звали к себе, не определяли ни в жестокие стражники, ни в смелые и благородные разбойники. Сталин играл в войну, а Красная Армия оставалась без автоматов, и бойцы ее с упоением пели "когда нас в бой пошлет товарищ Сталин", не представлял себе, что в бою убивают насмерть.

Под январским письмом в синей папке хранились листы верстки последнего издания очерка Горького о Ленине с окончательной правкой автора, которую он внес по совету вождя. Сталину было известно, что уже 27 января 1924 года Горький писал переводчику Эль Мадани: "...очень огорчен смертью Ленина... Пишу воспоминания о нем. Я крепко люблю того человека и для меня он не умер. Это был настоящий, большой человек, по-своему — идеалист. Он идею свою любил, в ней была его вера". 11 апреля отрывки из очерка печатали "Известия", вскоре вышло и полное издание. Сталин, ревниво относившийся ко всему, что касалось Ленина, внимательно прочел материал.

О себе вождь не нашел ни слова. Другого, конечно, от Горького ждать не приходилось. Но были там строки, которые мешали борьбе Сталина с Троцким. Ленин, по словам Горького, говорил; "Меня хотят поссорить с этим человеком... Но скажите, Алексей Максимович, кто бы мог в России создать в течение года регулярную Красную Армию?" Это был политический козырь для Троцкого, и Сталин попросил автора поправить это место. В новой редакции было сказано обыденно, хотя от имени Ленина, что Троцкий сумел организовать военных спецов. О том, как Троцкий расстреливал их, уничтожил Думенко и Миронова, не было, разумеется, ни слова. Далее Горький, который понял, какой текст нужен вождю, приписал: "Помолчав, он добавил потише и невесело:

— А все-таки не наш! С нами, а — не наш. Честолюбив. И есть в нем что-то... нехорошее, от Лассаля..."

Работая над очерком о Ленине, Горький заколебался и по поводу высказывания Владимира Ильича про умников. Алексей Максимович в первой редакции его Собрания сочинений, вышедшего в 1928 году, рассказывал, как, ходатайствуя за "неких интеллигентов, он сослался на то, что Ленин любит умных людей.

— "Да, — ответил Владимир Ильич. — Умников люблю... Русский народ талантлив, но ленивого ума. И когда я встречаю в России умного человека — это либо еврей, либо с примесью еврейской крови".

Поскольку фраза эта никак не ложилась в безупречный иконописный облик покойного вождя, субъективно отказавшего великороссам в быстроумии, и опять же несправедливо приподнимала Троцкого, еврея по происхождению, а высланного из страны Льва Давидовича следовало теперь, безусловно, принижать, Алексей Максимович после некоторых раздумий снял и это неудобное место.

В общем и целом подобная редактура вполне удовлетворила Сталина. Он даже временно простил Горькому близость к Ленину.

...Все, связанное с Лениным, являлось для Сталина темой номер один. Провожая вождя революции в последний путь, Сталин на весь мир огласил его завещание и внешне неизменнно демонстрировал верность ленинским идеалам. На Красной площади был выстроен скромный, но внушительный мавзолей, повсюду висели портреты Ильича. На словах прибегая к его духовному наследию, Сталин разгромил троцкистов, выиграл битву с оппозицией, с правым уклоном. Но внутренне никогда не мог и не хотел примириться с тем, что Ленин был прежде, что именно он подготовил и успешно осуществил Октябрьскую революцию. Резонно полагая, что отстоять завоевания Октября, построить и защитить социалистическое общество не менее важная задача, он был уверен, что честь выполнения ее принадлежит все-таки ему, товарищу Сталину. Вождь едва ли не с первых недель самостоятельного правления принялся одну за другой отменять ленинские установки.

Еще за несколько дней до смерти Владимира Ильича, выступая 17 января 1924 года на XIII конференции РКП (б) с докладом "Об очередных задачах партийного строительства", Сталин принялся рьяно защищать подведомственный ему лично партийный аппарат от обвинений в бюрократизации. Существование бюрократического режима в Центральном Комитете Сталин объяснял тем, что "мы имеем нэп, то есть допустили капитализм, возрождение частного капитала". Ленин еще жив, а его идея новой экономической политики извращается, подается участникам партийного форума как реставрация буржуазных устоев в стране.

Уже тогда в политический лексикон Сталина проникают выражения "насаждение идей", "чужестранцы в партии" и тому подобные.

Больше всего выводили Сталина из себя любые предложения по развитию внутрипартийной демократии. В этом он видел покушение на собственную автократическую власть в Центральном Комитете.

"Вы можете иметь партию, построившую аппарат демократически, но если она не связана с рабочим классом, то демократия эта будет впустую, грош ей цена!" — патетически восклицал Сталин 24 мая 1924 года на XIII съезде РКП (б). Нет нужды говорить, какой зловещей демагогией обернулись эти слова. Несмотря на категорическое утверждение Ленина о том, что бюрократизм — злейший враг партии и народа, Сталин с трибуны съезда утверждал: партия "может существовать и развиваться даже при бюрократических недочетах".

Не желая перестраивать созданный им партийный аппарат наверху, Сталин решительно поддерживал проведение партийных чисток внизу. "Основное в чистке, — говорил он, — это то, что люди... чувствуют, что есть хозяин, есть партия, которая может потребовать отчета за грехи против партии. Я думаю, что иногда, время от времени, пройтись хозяину по рядам партии с метлой в руках обязательно следовало бы. (Аплодисменты)". Остается только удивляться политической и психологической слепоте тех, кто аплодировал Сталину в 1924 году, вождем его впервые назовет Лазарь Каганович через пять лет, недоумевать, как не заметили они дважды повторенного слова хозяин рядом со словом партия.

Перечень того Ленинского, что тут же, не дождавшись даже, пока Ильича водворят в мраморный склеп, принялся отменять бывший тифлисский семинарист, занял бы многие и многие страницы. Формула "Сталин — это Ленин сегодня", официально провозглашенная позднее, означала полное выкорчевывание, выламывание политического, экономического и научного фундамента государства нового типа, который едва успел заложить Владимир Ильич. На словах как будто по Ленину, на деле — все наоборот. Именно Сталин восстановил в 1925 году государственную монополию на торговлю спиртным, введя в повседневную практику производство и продажу алкоголя населению. А ведь Ленин еще в 1921 году предупреждал, что мы не пойдем на торговлю водкой и прочим дурманом, хотя это и крайне выгодно для торговли, потому, что это будет шаг назад, к капитализму... Сталин был иного мнения, потому как и сам пил, и любил напаивать других. Авось проговорятся, откроют враждебные по отношению к вождю настроения. Он и на фронте завел обязательные сто грамм с иезуитской целью: выпьют за здоровье наркома и позабудут, кого надо винить за промахи и неудачи.

После 1927 года новая экономическая политика Ленина была свернута повсеместно. Начала складываться сталинская модель социализма, краеугольным политическим камнем которой был тезис об обострении

классовой борьбы. Тут Сталин не был оригинален. Он использовал идею Троцкого о перманентной, незатухающей революции, только навыворот, применительно к одной стране, России. Ведь обострение классовой борьбы возможно, видимо, только при постоянно сохраняющейся революционной ситуации...

Все ленинские предложения по строительству социализма, а также люди, связанные с Ильичем, его соратники безмерно раздражали Сталина. Он внушил себе, и не без активной помощи новых приближенных, свитских партийцев определенного толка, что история именно его обрекла на этот титанический труд — создать небывалое до сих пор общество.

И если подверженному мистике, обладающему психопатическими наклонностями Гитлеру было присуще фанатическое самообожествление, то закомплексованную натуру Сталина определял чудовищный, глобальный сальеризм.

Постоянно ощущая значительность предшественника, узурпатор-генсек методично, изо дня в день выхолащивал душу из тех немногих, но емких тезисов ленинского учения о социализме. Поклявшийся у гроба свято выполнять завещание Ильича, Сталин буквально переиначил те первые прикидки новой жизни в мирных условиях, которые успел сделать Ленин, ибо следование по указанному им пути не стыковалось с принципом: гений и злодейство несовместимы. А поскольку гения не было и в помине, оставалось одно злодейство.

Охваченный постоянно отягощающим его душу сальеризмом, Сталин изо всех сил стремился доказать самому себе и всему миру, что является не только продолжателем дела Ленина. Нет, история подвигла товарища Сталина на большее. Он обязан исправить ошибки, допущенные прекраснодушным либералом, идеалистом, как правильно назвал его товарищ Горький. Владимир Ильич был, вероятно, неплохим теоретиком, с этим соглашался товарищ Сталин, но слабо знал условия страны, в которой спланировал социалистическую революцию. Вождь считал: товарищ Ленин долго жил за границей, не встречался лично с психологическим коварством, на которое способен русский мужик, если не взять его в ежовые рукавицы. А товарищ Сталин постиг главный принцип: чем больше на крестьянина нажмешь, тем больше из него выжмешь.

А эта благородная идея — предоставить всем нациям право на самоопределение? Чистой воды утопизм, который привел к тому, что мы

потеряли Польшу, Финляндию, Бессарабию, исконно русские губернии в Прибалтике, за которые упорно воевали Иван Грозный и Петр Первый, выдающиеся государственные деятели, к ним вождь питал особую слабость. Безмерные заботы легли на его плечи, ему выпала судьба исправить последствия ошибочных действий предшественника, делая при этом вид, что образ гения в глазах народа велик и хрестоматийно безупречен.

Сталин хотел уже захлопнуть синюю папку и отправить ее на место, но заметил, что один из документов уложен неаккуратно, и, чтобы поправить его, вытащил наружу. Это была стенограмма допроса доктора Левина на утреннем заседании Военной коллегии Верховного суда 8 марта 1938 года, на процессе "правотроцкистского блока". Вышинский дотошно расспрашивал Льва Григорьевича, как тот якшался с Генрихом Ягодой, который посылал доктору цветы, хорошее французское вино, предоставил дачу в Подмосковье для летнего проживания, а потом предложил уничтожить под видом лечения Максима Пешкова и Менжинского,

"Через несколько дней после их похорон, — рассказывал Левин, — меня снова вызвал к себе Ягода и сказал: "Ну вот, теперь вы совершили эти преступления, вы всецело в моих руках, и вы должны идти на то, что вам сейчас предложу, гораздо более серьезное и важное... Нужно устранить с политической арены некоторых членов Политбюро, а также Алексея Максимовича Горького. Это есть историческая необходимость".

Сталин усмехнулся и убрал стенограмму. Он помнил, что Левин в действительности произнес эти слова. "Историческая необходимость"... Так оно и было на самом деле, и никто не осмелится судить иначе. Тогда, бессменно высиживая на судебных заседаниях, упрятанный от глаз участников процесса системой специальных ширм, Сталин иронично думал, как не правы критики за границей, которые упрекают Советы за отсутствие суда присяжных. А разве он, поневоле слушающий жалкий лепет ничтожных людей, спешащих предать друг друга, не представляет такой суд? Если народы Советского Союза доверили товарищу Сталину историческую судьбу, то разве откажут они ему в праве выносить контрреволюционному шлаку вердикт — виновны или невиновны? Конечно, виновны! И в этом отсутствии альтернативы тоже историческая необходимость.

Закрывая в памяти давнишние теперь события, Сталин вспомнил вдруг последнее слово Бухарина и поморщился. Последнее слово не понравилось вождю. Недостаточно подготовил "любимца партии" Николай Иванович Ежов...

"Я категорически отрицаю свою причастность к убийству Кирова, Менжинского, Куйбышева, Горького и Максима Пешкова", — заявил тогда Бухарин.

— Плохая работа, — с запоздалым недовольством в адрес давно отправленного на тот свет Ежова вслух произнес Сталин.

Но довольно... Он хорошо отвлекся и теперь может вернуться к текущим делам. Даже аппетит появился.

Сталин сделал два глотка из стакана в тяжелом подстаканнике из серебра. Вождь любил этот скромный, но благородный металл.

Чай остыл. Вернувшись в кабинет, Верховный Главнокомандующий позвонил Поскребышеву, а когда тот возник в дверях, сказал:

— Будем обедать как обычно.

— Вы заказывали Мерецкова, Волховский фронт, — напомнил секретарь. — Командующий на проводе.

Вчера Сталину доложили, что командарм Клыков тяжело болен, но отказывается оставить 2-ю ударную армию, утверждает, что может находиться на передовой. Сейчас он спросит Мерецкова, почему товарищ Сталин лучше командующего фронтом знает о том, что происходит в его армиях. "Хватит лирических отступлений... Надо воевать дальше", — подумал вождь.

-36-

Во 2-й ударной начинался голод. За две недели, пока шли бои за восстановление коридора, ни одна машина с продовольствием от Мясного бора не прошла. Немедленно урезали пайки, но запасов до окружения сделано было немного, они быстро таяли. Когда же брешь вновь пробили, ситуация улучшилась не намного. Машины со снарядами и продуктами днем не ходили, так как противник исправно обстреливал дорогу.

Поначалу поедали вытаивавших из-под снега убитых лошадей. Но падали этой, так непредвиденно выручившей, хватило ненадолго. По-прежнему летали по ночам трудяги По-2, они сбрасывали кое-какие продукты. Но разве накормишь десятком-другим мешков с сухарями целую армию? Особенно трудно приходилось медсанбатам. Количество раненых в них постоянно увеличивалось, а эвакуация тех, кого выходить здесь не могли, почти прекратилась.

Хронически не хватало бинтов и медикаментов, а когда растаял снег, возникли новые проблемы. Все кругом было пропитано водой, которая не давала строить укрытия, мешала воевать, наконец. И в то же время без воды, как известно, ни

туды и ни сюды. А ее в медсанбате требовалось больше, чем где-либо. Стирка бинтов, кипячение шприцев, хирургических инструментов, да мало ли еще что...

А добывали ее так. Сколачивали из досок ящики без дна, снизу прикрепляли свернутую в три-четыре слоя марлю. Затем рыли в болоте ямы, опускали в них эти ящики и помечали вешками. Ждали день или ночь, потом черпали ведрами из этих своеобразных колодцев воду и снова процеживали сквозь марлевые фильтры. Добытая таким способом болотная вода цветом напоминала кофе без молока. Ее тщательно хранили, выдавая для питья по кружке на сутки. Остальное шло на хозяйственные нужды.

Добыванием воды занимались легкораненые бойцы из особого "витаминного взвода", который не значился в штатном расписании, его образовал по собственной инициативе комбат Ососков. А назвали бойцов этих "витаминщиками", потому как создавали взвод для сбора хвойных иголок. Еще в марте появилась в войсках цинга, она ведь приходит не только от нехватки витаминов, но и в тяготные дни общего изнуренья, а уж последнего было у этих болотных солдат больше, чем может вынести человек.

Брали красноармейцы мешки, вооружались ножницами и стригли с еловых лап зеленые иголки. Порою и так ломали ветки, кусочками складывали в посуду. Настаивали на кипяченой воде и поили в принудительном порядке каждого раненого и персонал медсанбата. Командир пример подавал, на глазах у остальных выпивал кружку отвратного питья: на голодный желудок от него душу выворачивало. А пить приходилось... Как же иначе? Не станешь пить — заболеешь цингой. Стало быть, придется тебя в госпиталь отправлять, как пострадавшего не от вражеской пули, а по собственной воле. Чем отличаешься ты тогда от самострелыцика?

Потому время от времени и появлялся в медсанбате уполномоченный Особого отдела. И когда иной боец посылал, матерясь, "витаминщика" в непотребное место, особист подходил к нежелавшему пить отраву упрямцу и многозначительно расстегивал кобуру пистолета...

Когда 46-я стрелковая дивизия, в медсанбате которой служила Марьяна Караваева, перешла к активной обороне, медики развернули милосердное хозяйство в полутора километрах от санитарных рот полков. Врачей и сестер, санитаров было в строю немного, по штату мирного времени, да и то заполнен вовсе не под завязку, и медики на войне выбывают из строя. Не хватало людей и в приемо-сортировочном отделении, и в операционно-перевязочном взводе, и

в хирургическом, где производили особо сложные операции — ранения в брюшную полость, ампутации конечностей, открытые и закрытые пневмотораксы, повреждения черепа. А были еще и перевязочный взвод, и противошоковое отделение, где Марьяна выцарапывала, по выражению ведущего хирурга Казиева, у смерти покалеченных бойцов и командиров. Потом эвакоотделение, аптека, хозвзвод, санпропускники... И все это необходимо было каждый раз оборудовать заново. Медсанбату что — ему развернуться полагалось за два часа. Прибыли на место, получили команду поставить палатки — и через два часа будьте готовы принять первых раненых. А вот баня — дело серьезное, соорудить ее посреди леса-болота не просто.

На банное производство полагался по штату один человек. И был им запасник второй категории, пятидесятилетний Шнякин. Все на нем: вода, дрова, инвентарь, а главное — помещение. Вот тут и загвоздка — взяться ему неоткуда. Еще в феврале, когда вши особо служивых одолели, Шнякин соорудил для раненых баню. Поскольку стояли в лесу, материалу в избытке, санитар и спроворил ребят из выздоравливающих. Возвели сруб, в нем таяли снег, грели воду, даже камни где-то санитар-банщик разыскал, парилку устроил. Но в бане той мыли раненых, до медиков очередь не доходила, а милосердная команда тоже, увы, чесалась. Особенно трудно женскому племени приходилось, а его в медсанбате было довольно.

Марьяна всегда особой чистоплотностью отличалась, а тут хоть белугой вой, никаких тебе возможностей для соблюденья. Однажды Шнякин цап ее за руку:

— Помыться, дочка, не желаешь?

— Шнякин, миленький, да с дорогой душой! Но ведь бойцов еще столько немытых...

— Пойдем со мной. Тут я филиал сообразил. Ежели приноровишься, то вроде как в Сандунах побываешь.

В Сандунах Марьяне мыться не доводилось, но про знаменитые бани она слыхала. А филиал у Шнякина был хитроумный. Закутал елку плащ-палатками, под дерево лап набросал — вот и вся тебе баня. Нырнула туда Марьяна, а дядька Шнякин ей два ведра подает — с водой горячей и холодной. Марьяна под ноги портянку бросила, одно плечо моет, а второе уже ледком покрылось, плеснет на него водой — отходит... Ничего, вымылась на славу. Счастье это выпало ей за зиму дважды, в остальное время все на бегу как-то, где водой на себя плеснешь, где снежком лицо освежишь, потом и вообще мыться по-шнякински стало опасно. С весной немцы постоянно обстреливали медсанбат,

плотность огня усиливалась, не хотелось в разголышенном виде отправляться на небо.

...Марьяна только что написала коротенькое письмецо ребятишкам и маме, как ее вызвал Ососков.

— Надеюсь на тебя, Караваева, — сказал военврач, — потому как бедовая и везучая ты.

Он критически осмотрел старшину медицинской службы — невысокую, в замурзанной шинели, подпоясанной брезентовым ремнем, в ватных брюках, ботинках с обмотками. Все это жалкое одеяние сидело на ней относительно ловко, а шапка-ушанка, сбитая на затылок, даже придавала задорный вид.

— Задача сложная, Марьяна, — назвал сестру по имени комбат, давая понять: приказ приказом, но тут и его личная просьба тоже. — Прорваться надо через коридор... Даю тебе трехтонку, попытайся провезти шестерых раненых и сдать их в госпиталь.

— Так он же их, раненых, уже не принимает!

— Знаю... А ты исхитрись и сдай. А главное — добудь хоть десять флаконов эфира. У нас скопилось двенадцать человек с ранениями в живот. Чем мне их усыплять прикажешь?.. Рискнешь?

— А что же, — ответила Марьяна, — попробую, все мы тут рискуем.

Госпиталь удален был от медсанбата километров на тридцать. Ехать предстояло по деревянному настилу, через проклятое место, которое простреливалось артиллерией фашистской с обеих сторон. Да еще их снайперы охотились за смельчаками, которые рисковали ездить по настилу в светлое время.

В кузов уложили раненых, травмы у них были сложные, только и могла их спасти черепная операция.

— Потерпите, — говорила Марьяна, стараясь уложить их аккуратнее. — Бог даст, доберемся... Там вас на самолет и в хороший госпиталь отправят. А сейчас потерпите...

Побитая, изношенная трехтонка запрыгала по лежневке, как горная коза. Чуть скорость добавишь — тряска душу вынимает. А когда добрались до опасного места, посыпались мины. Осколки расщепляли деревянные борта грузовика, кое-кого из раненых бойцов в кузове ранило повторно, они стонали и матерились. А шофер, вцепившись в баранку, гнал и гнал машину вперед, будто ее было кромешного ада, словно не пробивали ветровое стекло пули снайперов.

Марьяна влипла в спинку сиденья. Ей казалось, что пули свистят у нее и водителя перед грудью. А впрочем, так оно и было на самом деле.

Она лишь молила неизвестно кого: "Только бы не прямое попадание, только бы не в машину..."

Наконец минометный обстрел вроде прекратился. А тут новая беда: закипела вода в радиаторе, пар повалил.

— Ты сиди, девка, а я воды из болота наберу, — сказал пожилой водитель и достал брезентовое ведро.

Он уже и дверцу открыл, а Марьяна — хвать его за рукав.

— Стой! — закричала. — Снайперы кругом, кукушки... Если тебя убьют, кто машину с ранеными поведет?

Она выскочила на бревна лежневки, оступилась и едва не свалилась в подступавшую со всех сторон воду. Подняла капот — пар еще пуще повалил. Отошла метров на пять — пули дзинькают... По спине холодный пот, напряглась, в душе будто струна какая дрожит. Нагнулась на краю лежневки, зачерпнула воды брезентовым ведром, медленно выпрямилась и неторопливо двинулась к машине.

Вдруг пулей снесло шапку. Подняла ее, увидела дырку, повернулась в ту сторону, откуда стреляли, погрозила кулаком, быстрей шагнула к машине.

На этот раз пулями пробило дужку ведра, но вода не вылилась. Марьяна помянула черта, крепче ругаться не умела, взяла ведро за края, прижала к груди. И снова толкнулась пуля в ведро. Из пробитого чуть повыше середины отверстия побежала струйка.

— Забавляетесь? — громко спросила Марьяна, будто невидимые стрелки могли ее услышать. — Ну и черт с вами!.. А я все равно залью радиатор.

Больше не стреляли.

Когда она села в кабину, водитель восхищенно глянул на нее и молча покачал головой.

В деревню влетели с ходу. Марьяна знала, где размещена сортировка госпиталя, поэтому блуждать не пришлось. Подъехали к избе с высоким крыльцом, вокруг тихо, безлюдно, будто и войны нет. Марьяна знала: раз госпиталь закрыл прием раненых — умолять бесполезно. И решилась на крайность. Она выскочила на крыльцо и подперла дверь оказавшимся под рукой колом.

— Давай быстро, браток! — крикнула водителю.

Тот понял ее с полуслова, откинул продырявленные осколками мин борта машины, и, не мешкая, они перенесли раненых на крыльцо, уложили на спину. А документы на них Марьяна рядом пристроила.

Санитар в белом халате, видя эту картину, барабанил в окно, что делаете, кричал, такие и сякие... "Ничего, — думала Марьяна, садясь в машину, — вы уже, можно сказать, в глубоком тылу, приветите моих болезных. Некуда вам теперь деться! А ежели все по правилам делать, они поумирают, бедняга, пока на них бумаги изладят".

Тем временем санитар выскочил через окно с автоматом в руках.

— Стой! — закричал вслед и ударил очередью в воздух.

— Гони! — сказала Марьяна водителю. — Нас немцы не убили, а этот только пугает...

Теперь любой ценой раздобыть эфир, иначе те ребята, что ранены в живот, умрут у них в медсанбате. Надо разыскать склад медикаментов. Немного поплутали, но все-таки нашли. Марьяна проникла внутрь и увидела: за столом сидит старик-интендант, заведующий складом. И больше никого. Марьяна оглянулась, накинула на дверь крючок, вытащила пистолет. В левой руке расписка: "Медсестра МСБ-322 такая-то получила со склада госпиталя 10117 десять флаконов эфира".

Сунула бумажку интенданту. Он покосился на листок и спросил:

— А где резолюция начальника госпиталя?

Марьяна пистолет к нему поближе подвела.

— Вот резолюция. Или одной такой мало?

Завскладом молчал. То ли напугала его, то ли безразлично ему было. Марьяне не до того. Огляделась, нашла ящик с эфиром, положила в подол десять флаконов, им лишнего не надо, попятилась к двери. Интендант даже не шелохнулся. Марьяна толкнула задом дверь, потом ногой захлопнула ее. Увидела в петле замок, накинула петлю и просунула сверху дужку замка... Кто его знает, вдруг старикан выскочит на улицу, как тот санитар давеча с автоматом, и завопит: "Грабят!" Впрочем, расписку она ему оставила, пусть потом наказывают Марьяну, главное — раненых спасти.

— Теперь все, — сказала она водителю. — Вези обратно, авось не подстрелят по дороге.

Снайперы больше не беспокоили. Изредка постреливали минометы, справа и слева поднимались фонтаны грязи, но машина так дребезжала по бревнам лежневки, что даже и разрывов их счастливая Марьяна не слыхала.

Когда проскочили опасное место, вдруг вспомнила, что письмо ребятишкам и маме везет обратно.

"Вот дуреха! — обругала она себя. — Надо было и полевую почту разыскать. Ведь, по сути дела, за линией фронта побывала..."

-37-

Когда Вилли-баварец, от души забавляясь, стрелял по русской солдатке, так уморительно тащившей воду в ведре к машине, ему и в голову не могло прийти, что с нею уже встречался однажды Руди-саксонец. На войне и не такие случаются чудеса.

Убивать ее Вилли не собирался. Сегодня охота была удачной, двух иванов на тот свет он уже отправил. Мог бы добавить и третьего. Вот если б вышел на лежневку шофер. Но из кабины выскочила с ведром молодая женщина. В солдатской одежде она выглядела довольно несуразно. Вилли ухмыльнулся, но через оптический прицел рассмотрел миловидное лицо и решил: пусть едет дальше, ее счастье, что он добрый сегодня. Большого вреда эта русская девка рейху не принесет, а вот на будущей его, Вилли Земпера, ферме в России работница из нее получится неплохая. Можно такую и на кухню взять, а приучив к аккуратности и необходимости ладить с хозяином, сделать горничной.

Тут он вспомнил о Магде и решил, что дарит русской девчонке жизнь ради молодой хозяйки, потом он расскажет об этой забавной истории жене.

Когда машина, подпрыгивая на бревнах лежневки, ушла к Мясному Бору, Вилли Земпер решил, что на сегодня хватит, пора возвращаться в роту. Днем на дороге никого не подкараулишь, разве что сумасшедшие, вроде этих проскочивших, осмеливаются двигаться под обстрелом.

Баварец припал к окуляру прицела и внимательно осмотрел все намеченные им ориентиры: не покажется ли где зазевавшийся иван. Никакого движения Земпер не обнаружил и подумал, что больше сюда не придет, надо менять позицию, заставил он русских держаться настороже.

Удачное место, которое Вилли выбрал для охоты, находилось на узкой сухой полоске между двумя обширными болотами, Гажьими Сопками на севере и Прошкиными на юге. Что это за такие Гажьи Сопки, Земпер не знал, но ориентировался в окрестностях достаточно свободно.

Аккуратно надев на оптический прицел замшевый чехол, Вилли встал на четвереньки и выполз из логова, которое устроил для себя, замаскировавшись

от случайного обнаружения, поскольку русские находились с трех сторон. Теперь забросить за спину карабин, взять в руки автомат, с ним куда сподручнее управляться с русским патрулем, на который не исключено нарваться, и потихоньку пробираться домой. Ведь сейчас Вилли находился на опасной земле — сторона эта принадлежала противнику.

Вилли повернулся, продел руку под ремень карабина, как вдруг глаза его встретились с взглядом другого человека. На мгновение застыв, Земпер интуитивно понял: русский. Человек был скрыт кустами, но глаза его баварец видел, этого было достаточно. Оставалось надеяться: незнакомец еще не понял, что обнаружен. Постараться не делать резких движений и занять при этом более выгодную позицию. И Вилли, не завершив начатого движения правой рукой, стал разворачиваться так, чтобы левой рукой отбросить карабин, выстрелить из него сложнее, и ухватить висевший на карликовой березке автомат. Но выследивший его солдат был наготове, угадал намерения Вилли.

— Стоять! — звонко выкрикнул он и повел стволом автомата.

Вилли знал это новое оружие русских с деревянным прикладом, странно толстым из-за дырчатого кожуха стволом и круглым диском, в котором прятались десятки патронов.

Мелькнула дикая мысль о том, что парень этой машинкой может сделать из него, Земпера, настоящий фарш.

— Брось оружие! — услышал Вилли и безропотно подчинился.

Русский говорил на своем языке, но захваченный врасплох немец хорошо понял его. Страха у Земпера не было. Вилли ни мгновенья не сомневался, что выкрутится, переиграет ивана. Судя по всему, молоденький и щуплый солдатик — он поднялся в кустах, и теперь Вилли рассмотрел противника — наткнулся на него случайно, помощь не зовет, значит, поблизости нет никого.

В последнем Вилли Земпер был прав. Обнаруживший его сержант был один. Но произошло это вовсе не случайно.

...И до того немецкие снайперы пошаливали, обстреливая Остров, на котором рота Кружилина и два орудия во главе с политруком Дружининым уже три недели кряду держали активную оборону. Не давали они противнику перебрасывать подкрепления по единственной дороге между Гажьими Сопками и Грядовским Мохом. Здесь немцы пытались прорваться в тылы соединений, входивших в оперативную группу генерала Иванова.

Выходило, что Олег Кружилин и Анатолий Дружинин оседлали единственный проход между двумя болотами и приняли на себя мощный бомбовый и

артиллерийский удар. Были потери, но затем бойцы научились рассредоточиваться по кромке Острова. Они укрывались в поросших низкой сосной болотах, в то время как "юнкерсы" вываливали смертоносный груз на мачтовые деревья сухого места. Главное, пушки пока были целы, и едва немцы пытались двинуть против Острова технику, сорокапятки преграждали им путь.

Но вот от снайпера не спрячешься, он сам всегда надежно укрыт от глаз, а бьет наверняка. Попал под пулю и командир роты, но ранен был удачно. Пуля, направленная снайпером политруку в голову, не снимавшему не в пример остальным каску, срикошетировала, скользнула по металлу и задела Олегу левое плечо. Военфельдшер обработал рану, перевязал, намекнул было о медсанбате, но Кружилин удивленно глянул на него, а когда тот напомнил о последствиях, Олег пообещал показаться врачу, как только сменят их на этом бойком месте.

Степан Чекин появился в блиндаже под конец перевязки.

— Подкараулю, — сказал он старшему лейтенанту. — И прихлопну... Раз повадился шкодить, значит, придет еще раз. Хамская порода...

— О чем это вы, сержант? — спросил Кружилин.

— О снайпере, — удивился Чекин тому, что его не поняли сразу. — Прошу разрешения отлучиться завтра на день. На сегодня ганс работу закончил, а с утра появится снова. Красноармейцы уже боятся его, дергаются. Настроение у бойцов падает, товарищ старший лейтенант. Особено, когда вас, значит, того...

— Справишься? — больше для очистки совести, чем по необходимости, спросил Кружилин. — Напарника, может, возьмешь?

— Лишняя помеха только, — пожал плечами Степан. — Завтра к вечеру живым доставлю...

Потом ругал себя за эту похвальбу. Вырвавшееся обещание "доставлю живым" было лишним. Получится — и ладно. Только на войне брать обязательство — пустое дело.

Вот и сейчас, когда рыжий здоровенный немец оказался у него на мушке, проще было срезать его из автомата — и делу конец. А теперь веди его на Остров, хотя толку от эдакого "языка" немного. Что он знает важного? А его кормить надо, бугая, хотя у них стало с продуктами вовсе худо. Но раз навязался с обещанием командиру — надо вести.

Степан Чекин вздохнул.

— Иди вперед! — мотнул он стволом автомата.

Сержант стоял там, где кусты выползли за тропинку, расширяя ее, и Вилли Земперу надо было выбраться из устроенного им логовища, свернув налево, оттуда дорога вела к своим, или направо, оттуда, наверно, пришел этот недоносок, как про себя окрестил русского паренька баварец.

Сержант велел Земперу свернуть налево, и у того затеплилась неясная еще надежда. Вилли не знал, что Степан Чекин, охотясь за ним уже второй день, разведал еще один прямой путь на Остров. По нему он и хотел провести пленника в роту.

Когда Земпер послушно выбрался на тропинку, Степан приказал ему поднять руки и стоять так, не поворачиваясь. А сам подобрал валявшийся карабин, снял с ветки автомат. И тут он совершил первую ошибку. Оба автомата повесил на плечо, а карабин с оптическим прицелом — мечта каждого стрелка — взял на изготовку, дослав патрон в ствол.

— Марш! — сказал Чекин Вилли Земперу.

Через двести метров пути Степан приказал свернуть Земперу налево. Тот в нерешительности остановился — вокруг было болото.

— Давай смелее, — потребовал Чекин. — Проверено уже... Марш-марш!

Потом сообразил, что на узкой тропе, по которой сейчас пойдут, немцу не удержать равновесия, и разрешил ему опустить руки, допустив, таким образом, вторую ошибку.

Вилли Земпер приободрился. Он понял, что русский делает одну оплошность за другой, и неторопливо, обстоятельно, как привык делать все, стал искать выход из создавшегося положения. Баварец верил, что справится с врагом. Это вопрос времени, но и затягивать нельзя, пока не отошли они еще далеко. Незаметно Земпер принялся убавлять расстояние между собой и конвоиром. Он старательно спотыкался, изображая, будто ходьба по упругой, пропитанной водой тропинке стоит ему труда. Земпер даже дважды упал, постаравшись сделать это вполне натурально.

Все эти фокусы ландзера Степан Чекин принял за чистую монету. Ему и в голову не пришло, что тот может валять дурака, подлавливать его на какой-либо оплошности. Он даже с изрядной долей презрения подумал о слабой выносливости хваленых немецких солдат, потом отнес неловкость пленника за счет естественного страха за грядущую судьбу и успокоился. Такая раскладка соответствовала расхожему психологическому стереотипу, который с помощью прессы стойко утвердился в сознании Степана: пленный немец всегда растерян, напуган, повторяет "Гитлер капут" и божится, что он из бывших

социал-демократов. Так, по крайней мере, изображал дело автор сочинений о немыслимых приключениях наших разведчиков в немецком тылу, которые из номера в номер публиковались в волховской "Фронтовой правде" за подписью некоего А. Чаковского.

А Земпер дождался, когда Степан Чекин совершил третью ошибку. Чтобы заставить якобы изнемогавшего от усталости пленного двигаться быстрее, он ткнул его стволом карабина в спину. Немец только и ждал этого. Он резко повернулся и с силой ударил рукой по стволу. Опешивший Чекин не удержал карабин в руках, и тот плюхнулся в бурую болотную жижу.

Однако Земперу радоваться удаче не пришлось. От резкого движения он потерял равновесие, судорожно замахал руками, пытаясь удержаться на неустойчивой тропинке, но сделать этого не сумел и рухнул в болото.

Но и Чекин не удержался. Левая нога его соскользнула с тропинки. На плече его висели тяжелые автоматы, они потянули его в сторону, и Степан упал в болото вслед за баварцем. Как всегда бывает в подобных случаях, принялись барахтаться, только усугубляя незавидное положение. А когда выбились из сил и затихли, оказалось, что трясина засосала обоих по грудь.

Вилли Земпер был ближе к тропинке, но более тяжелый, он и погрузился глубже. Степан Чекин оказался за спиной немца и немного подальше, чем тот, от тропинки. Сержант приказал себе успокоиться и осмотрелся. Неподалеку росла кривая осина. Одна из ее ветвей тянулась над поверхностью болота, в котором барахтались двое, но дотянуться до нее не могли ни тот, ни другой.

Земпер выругался. Он еще не верил в погибель, ибо продолжал надеяться на счастливый случай, он еще придет, не может вот так все и закончиться в этом вонючем свинском болоте.

А Степан Чекин вдруг понял, что у него осталась единственная возможность спастись. Он видел, что немца засосало покрепче, а ему, Степану, можно еще до него дотянуться. Сначала до немца, а потом... Сержант выбросил вперед правую руку и почувствовал: кончиками пальцев он коснулся плеча снайпера. Еще, еще немного! Он дернулся, пытаясь выскочить из трясины, и цепко ухватился за погон на правом плече врага. "Только бы не оторвался!" — со страхом подумал Чекин.

Переведя дух, стал понемногу подтягиваться к погружавшемуся баварцу. Тот чувствовал, как русский ухватил его за плечо, но увидеть его не мог, не был в состоянии и повернуться: болото цепко держало тело в смертельных объятиях.

А Чекин осторожно подтягивался, стараясь не делать резких рывков и движений, от которых быстро таяли силы. Он чувствовал, как сокращается расстояние между ним и осиновой веткой, хотя до нее еще было неблизко.

Вилли же перестал бороться за жизнь. Он понял, что случай не придет, и не в его, Земпера, силах что-либо изменить. Веривший — в бога и фюрера, солдат в последнюю минуту не вспомнил ни того, ни другого. Он думал о родной Баварии, о Магде, которая, конечно же, справится с малышом его покойного друга, вынянчит и того, кто непременно у нее родится и станет хозяином здешней земли. Иначе не было никакого смысла в том, что сейчас происходит. И уверенность солдата в справедливости происходящего помогла скрасить последние жуткие минуты его жизни.

Когда Степан подтянулся к погружающемуся Земперу так, что смог и второй рукой ухватиться за его плечо, он принялся вытягивать себя из трясины, опираясь на баварца, который стал теперь под его тяжестью погружаться еще быстрее.

Он еще пытался выпрастывать из хлюпающей жижи руки, но движения их становились все медленнее и, наконец, совсем прекратились. Зловонная жидкость подступила к подбородку, потом полилась в рот. Вилли закашлялся, захрипел, дернулся, будто хотел сбросить щуплого ивана, оседлавшего его в последнем прыжке к жизни. Но тот уже опирался обеими руками о плечи баварца, не оставляя последнему ни единого шанса. Тело погрузившегося в болото Земпера стало той опорой, которая позволила Чекину дотянуться до спасительной ветки.

Вилли Земпер умер не от удушья. У него разорвалось сердце от горькой мысли, что ему никогда не увидеть собственного сына. А обессиленный Степан Чекин, так до конца и не осознавший, что побывал на том свете, лежал поперек ненадежной тропинки и старался вспомнить, где он встречал человека, так похожего на этого немца. Ему и в голову не пришло, что виделись они зимою в погребе с картошкой.

-38-

— Всех, кто способен держать оружие в руках, — в ружье! — сказал Зуев. — Каждый снаряд — в цель! Каждый грамм продовольствия — на учет и под строгий контроль! Мы должны постоянно помнить, товарищи, что в Ленинграде сейчас умирают тысячи детей, женщин и стариков. Они ждут, когда мы придем к ним на помощь... Надо ли говорить, какую свору фашистов удерживаем мы

здесь, в этих болотах? Не будь Второй ударной армии, они бы всем скопом навалились на беззащитный Ленинград. Держаться, держаться и еще раз держаться!

Дивизионный комиссар, характеризуя положение, сказал собравшимся на расширенное заседание Военного совета армии командирам и комиссарам частей, что с первых дней апреля контратаки противника значительно ослабли, немцы не пытаются больше закрыть коридор. К сожалению, и у нас нет сил расширять его. Более или менее сносной стала обстановка по тем оперативным направлениям, где еще недавно наступала 2-я ударная. Только вот в районе дороги к Мясному Бору артиллерийский обстрел, бомбовые удары по колоннам машин, гужевому транспорту, даже отдельным людям почти не прекращаются.

— Но дорога все-таки действует, — рубанул рукой Иван Васильевич, — хотя полностью обеспечить армию не в состоянии. Поэтому Военный совет, рассмотрев перспективы и возможности, вынес решение: начать строительство узкоколейной железной дороги. Начальником строительства утвержден майор Марков, начальником штаба старший лейтенант Байдаков. Дорогу построить в две недели!

Собравшиеся невольно ахнули. Срок был фантастический. Комиссар Зуев выдержал паузу, обвел всех грустными, выразительными глазами и тихо сказал:

— Иначе армия погибнет от голода.

Калашников, замначальника политуправления фронта, прибывший в Малую Вишеру только вчера, посмотрел на генерала Власова, который безучастно слушал дивизионного комиссара. Они оба были здесь представителями фронта. Константин Федорович, недавно еще сугубо штатский человек, оказавшийся вдруг на генеральской должности, чувствовал себя неуютно. Потому он и смотрел пристально на Власова, как бы просил его сказать веское слово.

Но Андрей Андреевич молчал. А когда поймал взгляд Калашникова, лишь пожал плечами. Командующий армией тоже не произнес ни слова. Заседание вел Зуев, и это никого не удивляло: Иван Васильевич на равных с Клыковым отвечал за судьбу армии. К тому же присутствующие знали, что Николай Кузьмич серьезно болен и держится из последних сил.

"Вид у командарма, действительно, неважнецкий, — подумал Калашников. — Никак нельзя ему здесь оставаться..." Он, собственно, и приехал в армию, чтобы убедиться в этом. Вчера его пригласил к себе Запорожец и дал срочное поручение.

— Задание есть, — сказал Александр Иванович, — к Зуеву надо съездить... Сегодня в ночь и давайте. Посмотрите сами на командарма. Сильно занедужил Клыков, но упирается, не хочет в госпиталь. Похвальное, конечно, стремление остаться на передовой, но больной командарм — это непорядок. Товарищ Сталин об этом узнал, звонил нашему комфронта... Поговорите с Зуевым, с командармом. Если болен, передайте: сам товарищ Сталин приказывает Клыкову временно сдать армию.

— А кому? — вовсе не по-военному спросил Калашников.

— Тогда и решим, — ухмыльнулся наивности новоиспеченного комиссара Запорожец. И тот смотрел сейчас на Клыкова, изнуренного болезнью, и старался понять душевное состояние командарма, так неожиданно выбитого из седла. Ну пуля там или осколок — это понятно, война. А вот выбыть из строя по болезни, конечно, обидно... Калашников в силу собственной некомпетентности плохо представлял обстановку, в которой оказалась 2-я ударная армия, и искренне верил в близкий успех операции, когда уже не за горами соединение с 54-й армией соседнего фронта, а там и победный марш к городу революции.

Сейчас, слушая члена Военного советами Калашников, и собравшиеся понимали, что положение стало определенно неопределенным. На войне, увы, часто возникают подобные ситуации, когда идти вперед нет сил, а отступить назад не имеешь права. Твой же успех или неуспех выражается вполне материальными гектарами отвоеванного или, наоборот, утраченного земельного пространства. Его отобрала у пришельцев 2-я ударная, но этот огромный кусок болотного и лесного края без дополнительных усилий до конца освоить по-военному армия не могла, соединиться с федюнинцами тоже не получалось... Сидевших на заседании командиров могла разве что утешить мысль: в точно таких же условиях находится группировка из шести дивизий противника общей численностью до 100 тысяч человек. Их окружили войска генерала Курочкина, и немцы прочно сидели в демянском котле, получая помощь извне лишь по воздуху.

Но все это было на соседнем фронте, то есть как бы в условиях информационной закрытости военного времени, на другом конце планеты. И то сказать: о боях на Африканском побережье наши люди знали из газет больше, чем о десанте на Керченский полуостров.

Здесь же собрались опытные военные, хорошо понимавшие: армию отсюда не отведут, разве что петух жареный клюнет. А поскольку Зуев заговорил об узкоколейке, командиры и комиссары облегченно вздохнули: будем всерьез

садиться в болото. И потому, значит, никаких курортных настроений, обустраиваться станем по возможности надолго, а там как прикажут. Хоть в этом есть некая определенность.

Лучше всех знал о сложном положении армии Рогов. Имея за линией фронта агентурные источники, Александр Семенович в начале марта, до блокады коридора, пришел к выводу: противник уже превосходит нас по живой силе и технике и боеприпасов у него не в пример нам в избытке. Продолжать наступление в этих условиях бессмысленно, соединиться при таком раскладе с войсками Ленинградского фронта армия не сможет. Существует реальная угроза окружения. Пока не поздно, необходимо просить командование фронта обеспечить охрану коридора и дать армии соответствующее подкрепление. Если у фронта таких возможностей нет, надо выводить армию к Мясному Бору, чтобы сохранить людей, ибо болотный этот котел обречен на погибель.

Так и сказал он, начальник разведки, на совещании командиров дивизий и бригад, когда их собрал Клыков еще до мартовского окружения. Большинство командиров поддержали его.

Потом, медленно подбирая слова, стал говорить командарм:

— Понимаю опасения полковника Рогова и разделяю их. Положение армии сложное. За два месяца непрекращающихся боев люди смертельно устали. Снабжение ненадежно, с дорогами безобразие. А впереди — весна... Все это так, дорогие товарищи. Но буду с вами откровенен: если я поставлю вопрос о судьбе армии перед командующим фронтом так, как сформулировал его Рогов, то завтра у вас будет новый командарм.

Тогда генерал Клыков хотел еще добавить, что подобный поступок с его стороны сродни самоубийству, но, посмотрев на потупившихся командиров, увидел, что они и так все хорошо понимают.

А сейчас, когда он держится на одном характере, болезнь беспощадно грызет его изнутри и, судя по всему, армию придется сдавать — Мерецков намекнул, что таково указание Верховного, — Клыкову кажется, что зря он смалодушничал тогда, поверил: выделит им Ставка свежую армию из резервов.

Рогов поднял голову и встретился взглядом с начальником связи генерал-майором Афанасьевым. В последнее время тот был чем-то немало встревожен. Рогов заметил, что перемена эта наступила тогда, когда в штабе появился генерал Власов. Александр Семенович даже спросил связиста: "Вы что, служили с ним вместе?" "Было дело", — уклончиво ответил Афанасьев, и на этом разговор прервался. Впрочем, у него и так забот хватает. Средства связи

допотопные, громоздкие радиостанции на колесах, которые немцы мгновенно пеленгуют и подвергают прицельной бомбежке, проводная связь ненадежная. Слишком велики расстояния, имеются частые обрывы, кабеля опять же не хватает... Всю зиму Афанасьев использовал эстафетные роты, подобрав подходящих ребят из лыжных батальонов. Создал цепочку постов связи, между которыми бегали на лыжах гонцы с пакетами, как при Александре Невском или там Дмитрии Донском...

А что делать? Подобных раций, как у него, Рогова, начальник связи не имеет. Такие передатчики только для агентурной надобности существуют. Задумавшись о связи, Рогов вспомнил, как недавно вызвал его к себе Мерецков. Разговор происходил с глазу на глаз.

— Вот что, полковник, — сказал Кирилл Афанасьевич, — используя собственную шифросвязь, будете лично мне сообщать об оперативном положении армии.

— Наряду со штабом?

— Помимо штаба, — с нажимом сказал Мерецков.

Рогов в разведке не новичок, сразу сообразил: командующий фронтом хочет иметь независимый источник информации. Только вот зачем он ему? Не доверяет командованию? Хочет иметь объективные сведения для проверки сообщений оперативного отдела штарма? Может быть. Ведь сняли же в феврале с поста начальника штаба генерал-майора Визжилина, который вводил фронт в заблуждение относительно того, что на самом деле в армии происходит.

Теперь на его месте недавний комдив полковник Виноградов, бывший однокашник Рогова по академии. Вот он, Павел Семенович, сидит у краешка стола рядом с командармом. Сосредоточенно слушает, толковый, вдумчивый командир, хорошо он себя показал еще в декабре прошлого года, когда брали Тихвин. Ему и невдомек, что комфронта контролирует его работу через Рогова, дружка по академии. Впрочем, Виноградову и не положено про это знать — таковы суровые правила войны.

...Узнав о строительстве новой дороги, да еще железной, начсанарм Боборыкин с облегчением подумал, что может быть, разрешится наконец проблема эвакуации раненых. Их скопилось в армии видимо-невидимо. Еще в марте, во время приезда Вишневского, главного хирурга фронта, Боборыкин возражал против развертывания хирургических госпиталей на территории мешка. Но с ним не согласились. Растянется, мол, тогда путь раненого от медсанбата до операционного стола в госпитале. Надо придвинуть хирургов к передовой

линии. Что ж, придвинули, стали делать сложнейшие операции едва ли не на передовой и оставлять раненых тут же, при госпиталях. Срабатывал военно-бюрократический механизм... После медсанбата пострадавших везут в госпиталь, их положено эвакуировать. После госпиталя раненым положено долечиваться при самом госпитале. Значит, ни о какой эвакуации в тыл и речи быть не может, считается, что госпитали и так всегда располагаются в тылу. И ни транспорта тебе дополнительного, ни персонала для эвакуации...

Вот и остаются тяжелораненые на шее у армии, которая и здоровых-то не знает как накормить, обиходить. А вывозить послеоперационников в грузовиках по жердевой дороге, особенно тех, что с черепными травмами, равносильно убийству. Многие умирали в пути.

... У Шашкова собственные заботы. Недавно Зуев собрал в политотделе армии военных юристов прокуратуры, трибунала и сотрудников Особого отдела. Используя сведения о повышенной активности вражеских спецслужб, Зуев в категорической форме призвал всех к усилению работы в войсках, повышению бдительности, предупредил: агентура противника в ближайшее время предпримет попытки нанести удар изнутри.

"Это естественно, — подумал Шашков. — Атаки наши затухают, армия переходит к обороне... На долгий ли срок — мы не знаем, но что противник примется активно разлагать армию, сие и ежу понятно".

Постоянно связанный с партизанским движением в Ленинградской области, Шашков располагал сведениями о том, что немцы поспешно готовят диверсионные группы для действий в тылу 2-й ударной. Ищут бывших лесников и охотников, хорошо знающих безопасные тропы в болотах, вербуют их в полицаи, суля дом в деревне и по две коровы каждому, не считая денежного содержания в оккупационных марках.

Сегодня Александр Георгиевич добился, наконец, того, чтобы на смену Олегу Кружилину отправили регулярное подразделение. Надо наполнить специальную роту бывалыми людьми, поискать местных, держать Кружилина наготове, может быть, придется послать в рейд для борьбы с диверсантами. Опасность большая, есть информация о том, что немцы ориентируют группы лазутчиков и диверсантов на ликвидацию наших штабов и командных пунктов.

...Зуев поднял голову, поискал глазами Яшу Бобкова, порученца, кивком подозвал к себе и передал записку для Румянцева, редактора "Отваги". Николай Дмитриевич развернул полученный листочек. Дивизионный комиссар спрашивал, не готовы ли в "Отваге" провести семинар с прибывшими на

военный совет редакторами дивизионных газет, надо воспользоваться случаем. Румянцев посмотрел на Ивана Васильевича и согласно кивнул: отчего же не провести, в "Отваге" сильные сотрудники, до войны других учили уму-разуму.

Когда объявили перерыв, Калашников подошел к Зуеву, отвел его в сторону и передал разговор с Запорожцем.

— Мое личное мнение, если позволите, сильно сдал Николай Кузьмич, — сказал замначальника политуправления. — Невооруженным, как говорится, глазом видно...

— Мне Александр Иванович тоже звонил, — вздохнув, сказал Зуев. — Жалко, но что делать. Пришлось сказать командарму: приказ самого. Иначе в тыл лететь не соглашался.

Дивизионный комиссар сообщил Калашникову также, что Военный совет на закрытом заседании обсудил ситуацию и высказал свое мнение: Николаю Кузьмичу необходимо срочно лететь на Большую землю.

— Говорить остальным об этом пока не будем, — объяснил Зуев. — Зачем людей будоражить? Назначит фронт нового командарма — тогда все сразу и объясним.

"Разумно", — подумал Калашников, невольно подчиняясь обаянию тридцати пяти летнего комиссара, который будто родился военным человеком.

Константину Калашникову и самому-то только-только исполнилось тридцать лет. Другой работы кроме партийной он просто не знал. Но тут уж преуспел. До войны был секретарем МГК ВКП(б), занимался идеологической работой, это по значимости, пожалуй, не меньший ранг, чем у Зуева теперь. Военного, правда, опыта никакого.

После перерыва Калашников сел рядом с генералом Власовым. В конце концов, оба представители фронта, почему бы и не держаться вместе. К тому же Константин Федорович знал Власова как героя сражения за Москву, видел его портрет в "Правде" и сейчас надеялся сойтись с ним поближе.

Клыков отсутствовал, и Калашников решил, что командарм готовится в дорогу. Снова заседали около часа. Боборыкин о проблемах с вывозом раненых сказал, и Зуев заверил начсанарма: Военный совет считает это проблемой номер один. Приняли решение доставлять грузы и вьючным способом тоже. Кавалерийский корпус Гусева, собираясь уходить на переформирование, оставлял лошадей.

— В помощь и на прокорм, — невесело пошутил кто-то из угла.

Закрыв совещание, Иван Васильевич подошел к Калашникову.

— Еду провожать Николая Кузьмича, — сказал он. — Если вы готовы отправиться домой, можем и вас отправить самолетом. Так вроде быстрее и безопаснее.

"Выпроваживает, — с обидой подумал замначальчика политуправления. — Не любит ревизоров..." Он ошибался. На самом деле Зуев думал о его безопасности, проверяющих дивизионный комиссар не боялся, просто не замечал их в этом качестве. Приехал товарищ с Малой Вишеры, интересуется, чтоб было что доложить начальству, и пусть интересуется, у них секретов нет, обыкновенная работа, как и везде. Ну разве что с увеличенной долей риска. Эту долю и хотел уменьшить для гостя член Военного совета.

— Предпочитаю возвращаться тем же путем, что и приехал, — сухо ответил Константин Федорович, давая понять: считает неуместными разговоры о его отъезде. Сочтет сам нужным — уедет.

Но Зуев и не заметил этой сухости, он согласно кивнул, когда Калашников пожелал проводить командарма.

Клыков бодрился изо всех сил. На аэродроме обнял Зуева, сорок дней воевали вместе, а будто бы годы.

— Не было у меня еще такого комиссара, Ваня, — шепнул Николай Кузьмич, боясь, что ввиду общего ослабления не удержит слезу. — Авось еще и послужим вместе. Береги армию. Тем, кто зимний ад прошел, — цены нету. А я даю слово большевика: не лягу в госпиталь, пока до Мерецкова не дойду и лично не доложу ему о трудной обстановке. Потребую реальной помощи фронта. Или...

Николай Кузьмич не стал говорить, что за этим "или". Да Зуев и сам хорошо понимал, что командарм, наверно, скажет Мерецкову: выводи армию из болот, Кирилл Афанасьевич. Теперь такое вроде может себе позволить, поскольку больше не командарм. Только вот и сейчас, пожалуй, не решится. Вот о помощи будет просить, и даже в категорической форме. А где ее взять тому же Мерецкову?

— Поправляйся, Николай Кузьмич, — ласково проговорил он, искренне сожалея о разлуке. Клыкова комиссар ценил, генерал был одним из немногих, кто умел грамотно воевать и солдат берег, а последнее для Зуева было главным мерилом военного искусства. — Армию сберегу... Возвращайся командовать.

Иван Васильевич не мог знать, что напророчил он только на вторую половину. Комиссар произносил обычные слова, которые говорят в таких случаях, старался только вложить в них больше чувства, чтобы скрасить командарму

последние минуты перед расставанием. Генерал Власов и замначальника политуправления стояли поодаль. Они уже попрощались с Клыковым и тактично отошли: пусть простятся эти двое.

— Мне хотелось бы поговорить с вами отдельно, — сказал Константин Федорович. — Ведь вы давно уже во Второй ударной...

— Можно и поговорить, — отозвался Власов, не высказывая ни особого восторга, но и без тени какой-либо досады. — Давайте в штабе или на чашку чая ко мне... Вы ведь в Москве прежде служили? Расскажете о столице. Вроде неплохо Москву знаю, учился в академии, но, признаться, давно в ней не бывал.

— Как это? — не понял Калашников. — Вы ж армией там командовали!

— Так то под Москвой, — ухмыльнулся Власов. — А саму ее, первопрестольную, и не видел, можно сказать. Сначала в госпитале, потом в войсках... Хотя первый штаб наш был на Ленинградском проспекте. Но там всем поначалу Сандалов заправлял, начальник штаба, Леонид Михайлович. Не знакомы?

— Не имел чести, — несколько смущенно ответил Калашников. — Я ведь в Действующей армии недавно...

Власов с интересом всмотрелся в собеседника.

— А по какой вы части были? — спросил он.

— Секретарь Московского горкома партии, — стараясь произнести титул без нажима, ответил Калашников.

Власов уважительно промолчал и понимающе кивнул.

— Ополчение нам готовили, — сказал он, давая понять, что пусть товарищ не смущается, они, военные люди, понимают: фронт силен тылом.

— И этим тоже занимался, — многозначительно ответил Калашников.

Они стали пить чай. Власов рассказывал о жизни в Китае, о том, каким шикарным орденом его там наградили.

— А в прошлом году на параде вы были? — неожиданно спросил Власов.

Калашников вздохнул.

— Нет, отсутствовал в столице в те дни, — запнувшись, ответил он. — Но фильм о нем, конечно, смотрел.

В стране не было, наверно, человека, который не видел бы хроники о параде на Красной площади Седьмого ноября.

— К нам в армию части прямо с того парада приходили, — пояснил вопрос генерал Власов.

Они оба не знали, а Константину даже Щербаков — секретарь ЦК и его шеф по МГК ВКП (б) — об этом не сказал, когда тот вернулся из командировки, что ход с парадом Александр Сергеевич придумал. Тогда Щербаков собрал командиров частей, подготовленных к отправке в армии Западного фронта, и заявил им: "Партийное руководство, представители столицы хотят лично убедиться в готовности отправляемых на защиту Москвы войск. Смотр проведем в первой половине ноября на Зубовской площади". Собрали воинские части на Зубовской, а оттуда провели их по Красной площади. Это прохождение и сняли на кинопленку. А Сталин произнес речь в другое время и в другом месте. Эти кадры подмонтировали к хронике, и пропагандистскую задачу документальный фильм выполнил блестяще.

— Речь товарища Сталина на параде помню наизусть, — с волнением произнес Калашников. — Мобилизует она, вдохновляет. Особенно слова вождя о прославленных знаменах русских полководцев. Здорово сказано!

— И своевременно, — живо отозвался генерал Власов. — Когда Отечеству бывало туго, его не раз и не два спасало обращение к патриотизму народа. Вспомните Сергия Радонежского, патриарха Гермогена, Минина и Пожарского, партизанов войны восемьсот двенадцатого года...

Он хотел добавить, что как ни крути с идеей союза свободных республик, а государственность наша была, есть и остается российской, на ней, матушке Великороссии, все и держится, она и скрепляет народы и народности воедино, не давая пожрать их завидущим соседям.

"Но бог его знает, что за человек, — подумал Андрей Андреевич, — из партийной касты опять же...Не состыкует мои слова с инструкцией и смутится. От смущения и донесет…

Генерал Власов и в дурном сне не мог предположить, что, оказавшись в немецком плену и формируя РОА для борьбы со Сталиным, он положит в идеологическую основу другой армии именно русский национальный принцип, по которому немыслимо великое государство без руководящей роли в нем именно России.

Вспомнил ли он там, в Германии, об этом разговоре с комиссаром Калашниковым? Неизвестно... Сведениями такими мы, увы, не располагаем.

В избу, постучав, вошел Зуев.

— Вот вы где, — весело сказал он. — Я смотрю, вы, Андрей Андреевич, совсем освоились, даже гостей вместо нас, хозяев, привечаете... За вами я, товарищ

генерал-лейтенант. Мерецков зовет нас к аппарату Бодо. А Николай Кузьмич благополучно долетел... В госпитале уже.

...Они обступили стол, на котором был закреплен буквопечатающий аппарат, и напряженно следили, как выползает из него бумажная лента.

Генерал Власов хотел о чем-то спросить стоявшего по другую сторону аппарата полковника Виноградова, но тут девушка-бодистка кивнула, и Зуев поднял предостерегающе руку.

На ленте появился текст: "Мерецков Зуеву. Кого выдвигаете в качестве кандидата на должность командующего 2-й ударной армией?"

Иван Васильевич обвел присутствующих взглядом, вздохнул и сказал:

— Передавайте. На эту должность кандидатур у нас нет. Но считаю необходимым доложить вам о целесообразности назначения командующим армией генерал-лейтенанта Власова.

Власов пожал плечами, не вымолвил ни слова. Наступила пауза. Выдержав ее, Власов шагнул вперед:

— У меня есть другое предложение. Передавайте. Временное исполнение должности командующего армией необходимо возложить на начальника штаба армии полковника Виноградова.

"Хорошая идея, — подумал Иван Васильевич. — Я бы и сам предложил полковника Виноградова, если б рядом не стоял командарм, отличившийся под Москвой".

Снова на ленте побежали слова: "Мерецков и Запорожец — Власову. Считаем предложение Зуева правильным. Как вы, товарищ Власов, относитесь к этому предложению?"

— Соглашайтесь, Андрей Андреевич, — мягко произнес Зуев. — Мы уже к вам привыкли...

— Разве что так, — усмехнулся Власов. — Давайте ответ. Думаю, судя по обстановке, что, видимо, придется подольше остаться в этой армии. А в отношении назначения на постоянную, штатную должность, если на это будет ваше решение, то я его, конечно, выполню.

На этот раз паузы не было. Ответ командующего Волховским фронтом не замедлил появиться на бумажной ленте: "Мерецков. Хорошо. После нашего разговора последует приказ".

— Останусь жив, — сказал Вучетич, — поставлю здесь памятник...

— Прямо на болоте? — язвительно спросил Черных.

— Зачем на болоте? — запальчиво отозвался Евгений. — Там, где армия прорвалась! В Мясном Бору. На плацдарме.

— Погодите, ребята, о памятниках думать, — остановил их Кузнецов, появившись из секретарской каморки с листком в руке. — Мы ведь пока все живы... Вот послушайте лучше, какую справку ставлю на первую полосу. Это про нашего нового командарма. — И Виктор прочитал: — "Вновь назначенный командующий нашей армией генерал-лейтенант товарищ А. А. Власов родился в 1901 году в селе Ломакино Гагинского района Горьковской области в семье крестьянина-кустаря. До 1920 года учился, получил высшее специальное образование. С 1920 года непрерывно в рядах Красной Армии — последовательно на должностях: красноармейца, курсанта, командира взвода, роты, батальона, полка, дивизии, корпуса. Участвовал в гражданской войне на Южном, Врангелевском фронтах. В период мирного строительства командовал 99-й стрелковой дивизией, занявшей первое место в РККА по боевой подготовке, ныне гвардейской. С первых дней войны товарищ Власов на фронте. Командовал механизированным корпусом, оборонял Киев. В дни нашего контрнаступления под Москвой командовал армией. Войска товарища Власова совершили прорыв вражеской обороны на реке Лама и освободили от немецких оккупантов Солнечногорск, Волоколамск, Шаховскую, Середу и другие населенные пункты Московской области. Последнее время товарищ Власов был заместителем командующего фронтом. Награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды и медалью "XX лет РККА".

— Подходяще, — отозвался Родионов. — Бывалый генерал... Но Клыкова все равно жалко.

— Поправится — вернется, — подала голос Женя Желтова.

Черных вновь заспорил с Вучетичем, теперь о принципах монументализма в скульптуре. Евгений считал, что надо поражать воображение зрителя, шокировать его. Скульптору необходимо ввергнуть человека в катарсисное состояние, только тогда он проникнется идеей, заложенной в творении. А Виталий полагал необходимым для человека жить среди произведений искусства, сосуществовать с ними и постепенно — исподволь! — проникаться теми чувствами, какие хотел выразить художник.

— Впрочем, понятен твой пафос, Женя, — насмешливо сказал Черных. — Не случайно ты работал в той фирме...

Виталий намекал на управление проекта гигантского Дворца Советов. По слухам, приходящим из Москвы, частично возведенный стальной каркас дворца, сооружаемого на месте взорванного храма Христа Спасителя, спешным порядком разобрали: он был хорошим ориентиром для немецких самолетов.

Намек был очень прозрачным, и Вучетич, не любивший, когда об этом напоминали, ему тоже не нравился проект гигантского дворца, вспылил. Кузнецов сокрушенно покачал головой. Виктору было не по душе, когда ссорились его друзья, тем более по таким надуманным, по его мнению, несерьезным мотивам. Он вспомнил, что хотел зайти в типографию, и подался к выходу.

Недавно редакция "Отваги" вернулась из деревни Озерье, где оказалась чересчур близко к передовой, на прежнее место, в Огорели. Разместились теперь в палатках, выбрав место посуше, землянки залило вешней водой. Полно воды было и вокруг редакционной стоянки, и журналисты, типографские работники, чтобы как-то сообщаться, прыгали с кочки на кочку. Виктор быстро допрыгал до типографии. Впрочем, это громко сказано — типография... Печатная машина была смонтирована на грузовике, по возможности замаскированном под деревьями. Левин и Холодов, оба чумазые, горбились у наборных касс. Печатников Смолина и Лакина не было видно. Они работали ночью и не ушли в укрытие, когда начался артобстрел, и снаряды стали ложиться совсем близко. Им надо было к утру выдать тираж, чтобы "Отвага" успела уйти в войска. Да и прятаться, честно сказать, негде, разве что в холодную воду залезть и сидеть в ней по горло, но от снаряда это не спасет.

Кузнецов вспомнил, как сегодня утром встречал прибывшую к ним лошадь, запряженную в волокушу. На колесах сейчас не проехать, пришлось вернуться к опыту предков. Это соседи приехали, из кавдивизии, за пятнадцать километров приволокли по трясинам сверстанные полосы газеты "Боевая кавалерийская" — печатная машина у них поломалась.

В болотной грязи и мокрые с головы до ног, люди осторожно сняли с волокуши замотанные мешками свинцовые полосы и, натужно сгибаясь под тяжестью, понесли их к грузовику с печатной машиной. Сработают тираж и обратно повезут бравым конникам уже газету.

Было непривычно тихо. "Праздник у них, что ли", — подумал о немецких летчиках Кузнецов, не подозревая, что попал в точку: сегодня был день рождения Гитлера.

— Скоро поплывем, — услыхал Кузнецов за спиной голос наборщика Голубева и отвернулся. Николай Иванович, сощурясь, смотрел из-под руки на солнечные блики в подступившей со всех сторон воде.

— Мы-то ладно, — продолжал он, — вроде как в тылу... А каково бойцам в распутицу? Тут ни окопа тебе не вырыть, ни землянки, чтоб схорониться. Надо на сваях укрепления ладить.

Кузнецов кивнул. Все так, как говорит старый рабочий. Хотя удивительное дело: в письмах военкоров никто не жалуется на природные условия. Будто нет ни болот, ни воды, не упоминают бойцы и о самом настоящем голоде, который начался в частях. Все голодают, только говорить об этом не принято, как, впрочем, и у них в редакции.

— Батальонный на горизонте, — сообщил Голубев и тут же исчез, чтоб не попадаться на глаза редактору.

На всякий случай надо быть от начальства подальше, хотя Румянцев Николай Дмитриевич был добрейшим, широкой души и чуткого, отзывчивого характера человеком. Но в редакции и особенно среди работников типографии пользовался репутацией строгого начальника. Его откровенно побаивались, особенно те, кто пришел в армию с сугубо штатских должностей, философы и литературоведы.

Поскольку Виктор знал Румянцева еще до войны, а сам был к ее началу уже, как говорится, газетным волком, то в присутствии батальонного — так за глаза звали редактора сослуживцы — отнюдь не смущался, относился к нему без комплексов, спокойно.

— Вас Зуев хвалил, Виктор, — сообщил Румянцев с места в карьер. — Здравствуйте... Мы ведь не виделись еще.

Кузнецов растерялся, но, чтобы скрыть это, потянул из кармана трубку, которую курил с большим тайным неудовольствием, но все-таки курил для придания внушительного вида.

— Не интересуетесь, за что вас отметил член Военного совета? — сняв очки и насмешливо поморгав близорукими глазами, спросил Румянцев. — А ведь это ордену соответствует, молодой человек.

— Сами расскажете, — несколько грубовато ответил Виктор.

Он вовсе не хотел, но так уж получилось у него, от смущения.

— И расскажу... За доклад на семинаре дивизионных редакторов. "Если ваш Кузнецов так работает с письмами красноармейцев, как говорил на семинаре,

то за газету я спокоен. Передайте Кузнецову мою благодарность". Улавливаете?

— Спасибо, — просто ответил Кузнецов. Ему была приятна похвала Зуева, комиссара в редакции уважали не за высокую должность. Пожалуй, один Вучетич на него дулся: поймал его Зуев раз в расхристанном виде у типографии и с ходу вкатил пять суток гауптвахты. Сидеть Евгению, правда, не пришлось, наказание было символическим, но Вучетич считал решение комиссара несправедливым. Ведь знал член Военного совета, что перед ним не просто красноармеец, а художник армейской газеты.

— Потому и вкатил, что знал, — заметил Борис Бархаш при молчаливом одобрении остальных.

Кузнецов вспомнил, как Бархаш недавно пытался объяснить смысл философского закона, постулированного монахом-францисканцем, этот закон известен как "бритва Оккама". Он утверждал, что Виктор в секретарской работе действует оккамовским методом, опиравшимся на принцип простоты или принцип бережливости. Кстати, в сдаваемых материалах сам Борис, видимо, полагался на высказанную Уильямом Оккамом идею: "Множественность никогда не следует полагать без необходимости".

Ответсекретарь хоть и не давал спуску коллегам за качество материалов, но ладил с ними, и, пошумев иногда в связи с очередной правкой их сочинений, они приходили к мысли, что на такой должности другим быть просто невозможно. Но в эпиграммах, а на них мастаков в редакции хватало, Виктору доставалось. Хрестоматийными считались строчки: "И от голода зол и суров, заскучав без какао и торта, всеармейский шакал Кузнецов доедает в углу Раппопорта..." Моисей Маркович был безобидным стариком-наборщиком из ополченцев. Он сердился на автора стихов, считал их пустой забавой и повторял: "Ну, почему Витя Кузнецов должен меня обязательно кушать? Такой воспитанный молодой человек..."

-40-

— Прощай, Анатолий, — сказал Кружилин. — Славно мы с тобой повоевали...

Роту особого назначения на Острове сменили, где она и так уже слишком завоевалась, выполняя несвойственные ей функции. Забирали отсюда и Дружинина с его противотанкистами, которых осталось всего шесть человек при одном орудии. Другое накрыло прямым попаданием фугаски с "юнкерса". Выбирались по наплавному мосту, его навели саперы. Распутица отрезала

поредевший гарнизон, хоть вплавь выбирайся... Они б и выплыли, да вот пушку надо переправить. Опять же и заменяющей их стрелковой роте как-то забраться на болотный форпост предстояло.

— Тебе, поди, за наше сидение шпалу дадут? — сказал вдруг Анатолий. Он искал добрые слова на прощанье, подходящего ничего не нашлось, вот и ляпнул ни с того, ни с сего. — Шибко ты грамотный, старшой. На всю жизнь запомню наши разговоры.

Кружилин рассмеялся:

— Тогда запомни и еще одну мудрость: "Новое званье изменяет натуру человека, а ум его остается прежним".

— Это точно, я таких в высоких чинах встречал.

Друзья расстались. Олег Кружилин с остатками роты двинулся к штабу армии, а Дружинин зацепил сорокапятку уцелевшим вездеходом и подался разыскивать свой гвардейский дивизион, продолжавший оборонять позиции в районе Ольховки.

— Заждались тебя, политрук, — проворчал комиссар дивизиона, когда Дружилин доложил, что прибыл меньше чем в половинном составе из спецкомандировки.

— Слыхали, что бойко воевал, но вот технику надо было сберечь, — проговорил молчавший до поры командир. — Ну да ладно, на войне как на войне... Теперь вникай. К нам пришло пополнение, имеются среди бойцов пехотинцы в прошлом. "Учебку" они прошли, но стрельба, сам понимаешь, вовсе другое дело. Тут надо не только политическую работу с ними проводить. Опять же ты старый артиллерист, кадровый. Так что мы в тебе видим двойного помощника. Понимаешь?

— Так точно! Ну, а как вы все же тут воевали?

— Как обычно, — ответил комиссар. — Мы же гвардейцы... А положение незавидное. Как закрыли проход — урезали бойцам паек. Через неделю снова... По ночам прилетали самолеты, но что они смогут довезти? Норма такая: по семьдесят пять граммов сухарей каждому и по килограмму муки или крупы для болтушки на десять человек. Люди сдают на глазах, многие уже пухнут от голода, зубы шатаются...

— Мы на Острове отвар из хвои пили, — вставил Дружинин.

— Мы тоже, — буркнул комдив, — пьем... Не гвардейцы уже, а настоящие хвоесосы.

— Пока снег был, ели павших лошадей, — продолжал комиссар. — Кое-как держались. Теперь лошадиные трупы разложились, вонь от них — за версту слыхать. Да еще цинга навалилась. А зелени в лесу нет... Так бы хоть ею могли подхарчиться. Да ты обойди батареи, сам увидишь. Новых бойцов посмотри, со старыми поручкайся. Оцени обстановку свежим глазом. Потом нам с комдивом доложишь. Вот тебе и первое наше задание. У самого-то как здоровье?

— Не жалуюсь, товарищ батальонный комиссар. У нас на Острове получше было с харчами. Кое-что у немчуры добывали. Разведчики в поиск за ихней жратвой ходили...

— Хорошо пристроился, Дружинин, — усмехнулся комдив. — А нам от пушек никуда не отойти. Возле них и помирать положено. Одно слово — "Прощай, Родина!". Ну ты иди, пообщайся с народом.

Анатолий, узнав, что земляк его, лейтенант Найденов, жив и здоров, отправился к нему на огневую позицию. Найденов — веселый парень, балагур, с таким служить — милое дело. Истребление танков — опасное занятие, можно сказать, смертельное, напряжение небывалое... Тут лейтенант всегда к месту что-либо эдакое сказанет, тогда и бой глядится не таким страшным.

— Как живется, друзья? — спросил Анатолий у бойцов расчета.

— Не спрашивай, земляк, — вздохнул, озорно подмигивая, лейтенант. — Жизнь хороша, как сказка, смерть в ней развязка, гроб — коляска, спокойна, нетряска... Садись и святым молись!

Бойцы оживились. Среди них политрук заметил новичков, спросил одного, как с рационом в батарее.

— Пока терпим, — улыбнулся тот, сообщив, что зовут его Василием, а по фамилии он будет Минаев. — Вот без курева — ухи аж пухнут, это точно. Пробовали и мох смолить, и березовые листья. Горло дерет, кашель саднит, слезу вышибает, глаза на лоб лезут. Такую гадость да на голодный желудок... Тьфу! Может, вы, товарищ политрук, позычите нам на пару затяжек, тогда и веселее будет.

— А как насчет маршанской махорочки, друг Минаев? — спросил
Дружинин, доставая кисет.

— Да мы о такой прелести и мечтать не смели! — ахнул красноармеец.

Остальные сдержанно загомонили, придвинулись ближе.

— Где же, земляк, такие пайки ныне дают? — спросил лейтенант Найденов, сворачивая самокрутку.

— Дают... Держи карман. Вчера по дороге купил у некурящего связиста. Суточный паек сухарей и всю получку за февраль пришлось ему отдать. Курите, ребята, не стесняйтесь... Живы будем — разживемся папиросами "Дюбек".

— От которых черт убег? — подхватил Минаев, и Дружинин понял: парень утвердился в батарее как острослов, надо к нему присмотреться.

Таких заводил, если стержень у него твердый, надо потихоньку продвигать и в политбойцы, и в младшие командиры.

— Ах ты, божья травка, христовый табачок! — воскликнул Минаев, затягиваясь дымом. — Теперь и завтрак будет в самый раз.

Над костром висели чайник и небольшое ведерко.

— Воду жарите? — спросил политрук.

— Обычно сухарь в кипятке распускаем, — ответил командир орудия, сержант Ряховский, уралец из Невьянска, с ним Анатолий в тридцать девятом году был в учебном артдивизионе. — Еловый навар опять же идет с сосновым настоем. Но сегодня у нас пир: завтрак с мясом. Дай-ка, Вася, фанерку.

Ряховский вытащил из-за голенища алюминиевую ложку, сполоснул водой из чайника, опустил в ведерко и выловил тушку ежа.

— А бульон, ребята, оставим, — сказал он. — В обед и ужин мучной суп на нем сварим.

Мясо ежа Ряховский аккуратно разделил на фанерке и по кусочку опустил каждому бойцу в кружку с кипятком.

— Ваша доля, товарищ политрук, — протянул Минаев кружку политруку.

Тот понял, что отказываться нельзя: от души предлагают.

— Еще б и посолить, — с аппетитом жевал ежатину Василий, — цены б этой свининке не было!

Уже несколько дней в дивизионе не было ни щепотки соли. Не было ее и в других частях армии.

— Погодите, — остановил политрука незнакомый ему красноармеец. — Сейчас еще десерт будет... Опять же витамин.

Он поднял с земли каску, в ней была прошлогодняя клюква, и положил в кружку с десяток ягод.

— Доедаем, — пояснил лейтенант Найденов. — Насобирали ведро на проталине, пока болота не раскисли. Теперь туда не пройти. Добавляем в рацион, авось цингу обманем.

Едва допили кипяток, начала бить дальнобойная артиллерия немцев. Снаряды, буровя с шипеньем воздух, проносились над головами и бухали в тылу, на дороге к Мясному Бору.

— Пойду, — сказал Дружинин. — Спасибо за угощение.

— В соседней батарее вчера взрывом барсука из земли вывернуло, — сообщил Ряховский. — Вот это был стол! А у нас только маленький поросенок...

Он поднялся, отряхнул видавшую виды шинель и оглушительно рявкнул:

— Подъем! Кончай ночевать... Расчету приступить к профилактике материальной части!

Лейтенант Найденов сказал:

— Провожу тебя немного.

Отошли от позиции, командир подал политруку листок:

— Заявление написал... Если достоин, хочу воевать коммунистом. А эти бумаги от моих ребят. Вася Минаев и Сережа Харламов в комсомол просятся.

— Просятся только на горшок, — поправил лейтенанта Анатолий. — Ну ладно, не дергайся... Примем тебя в партию, а ребят твоих в комсомол. Тебе сам рекомендацию напишу... А к Минаеву ты присмотрись. Хороший сержант из него выйдет.

Заглянул на соседнюю батарею, там уже позавтракали, чем — Дружинин не уточнял, и вовсю отрабатывали действия у орудия, натаскивали новичков. Солнце пряталось за лесом, когда политрук отправился к штабу дивизиона. По пути встретил старшего лейтенанта Чумакова, помощника начальника штаба, туда его назначили, пока Анатолия не было здесь. Вид у Чумакова был озабоченный, взгляд отсутствующий. Шел медленно, прихрамывал, ноги передвигал с трудом.

— Заболел? — участливо спросил Дружинин.

— Голова кружится, да и коробит всего... Иду с позиции сержанта Горбачева. Насмотрелся на бойцов — душу от жалости воротит. Истощали, ослабли, пухнут с голода. Увидели меня — повеселели, вдруг сообщу новости какие. А чем я их порадую? Дорога работает только ночью, снабжение ухудшается... Был недавно в Мясном Бору, насмотрелся на эту Долину Смерти. Горы разбитой техники, каша из перемолотых трупов. Об этом, что ли, говорить бойцам?

Дружинин сразу и не нашелся, что ответить помначштаба.

— Верно, — подбирая слова, заговорил он, — дела у нас не ахти... Как говаривал старшина в "учебке": хреновата ваша вата, наша чище и белей. Надо, видимо, на стратегическую важность нашего сидения в болотах

нажимать, я так думаю. Да, мы не прорвались с ходу к Ленинграду, силенок не хватило. Но немца-то держим! Ему-то в Питер никак не сунуться, пока мы на хвосте его сидим.

— А то я сам не понимаю, политрук, — сказал Чумаков. — Мне пропаганду разводить не надо.

Некоторое время шли молча. Потом Чумаков остановил Дружинина, тронув его за рукав.

— Вон тот лес видишь? Нашел я там на дороге труп красноармейца, недавно убитого снарядом. Одежду и белье сняли... А вот все мясо на ногах обрезано до костей.

— Не может быть! — воскликнул Анатолий.

— Сам не хотел верить. Прямо обалдел, увидев. Кто мог такое сделать? Почему? Неужели?.. Да нет, подобного еще не бывало. Такая мерзость!

— Может быть, погонщики собачьих упряжек, — неуверенно сказал Дружинин. — На корм...

"Ерунда какая, — подумал он. — Проще собак съесть..."

— До сих пор перед глазами стоит... Сейчас вот поделился — легче стало.

— Что сказал — хорошо, — отозвался Анатолий. — И больше никому. Слух разнесется — бойцов деморализует.

— Понятное дело, — согласился помначштаба.

"Сообщить в Особый отдел? — размышлял Дружинин. — Так это вроде не по их части... А по чьей же тогда?"

Весь оставшийся путь шли молча. Пока добрались до штабных землянок — стемнело. Выпили по кружке кипяченой воды с настоем из брусничных листьев и легли спать.

-41-

Из дневника Виктора Кузнецова.

17 апреля 1942 года. У нас новый командующий — генерал-лейтенант Власов. Командарм Николай Кузьмич Клыков заболел. Евгений Вучетич вернулся из санчасти, куда обращался за медицинской помощью, там он узнал, что заболел командарм серьезно и, по-видимому, надолго... Очень жаль нашего командарма. Все, кто встречался с ним, отзываются о нем с большой симпатией. У нас в редакции так и остался не использованным его клишированный портрет, который берегли для торжественного события — прорыва блокады Ленинграда...

23 апреля. В "Отваге" поместили справку о новом командарме. Биография его весьма героическая...

Новый командующий производит впечатление. Обращает на себя внимание его самоуверенность и властность. Редакционное знакомство началось с забавного случая: с ним нечаянно столкнулись на дороге наши корреспонденты — Лазарь Перльмуттер и Виталий Черных. Эти люди — трудно поддающиеся военизированию и, как правило, редко бреющиеся отважники. Командарм остановил их, строго спросил, кто они такие. Филолог постарался отрапортовать как мог, а Виталий Черных тем временем пытался спрятаться за спиной Лазаря. Узнав, что перед ним журналисты из армейской газеты, Власов заметно подобрел, сам отрекомендовался, не упустил случая заметить, что любит журналистов, и распорядился передать редактору, чтобы тот явился к нему на следующее утро.

В назначенный час Николай Дмитриевич прибыл к командарму. Власов добродушно пригласил его к завтраку с блинами — "Сейчас масленицу устроим" — и начал разговор о вещах, казалось бы, имеющих отдаленное отношение к нынешнему положению армии. Он говорил, что надо лучше браться за партийную и пропагандистскую работу, наладить питание солдат — это безобразие, что в красноармейской столовой нет соли. На шесть часов вечера Власов назначил совещание начальников отделов в политотделе.

Любопытное для нового командующего начало. Кто видел Власова раньше, говорят о его недюжинных способностях, считают широкообразованным, культурным военачальником. До войны ему довелось быть военным советником в кабинете Чан Кайши, за что был награжден китайским золотым Орденом Луны. Ордена, правда, не носит. Заметно стремление казаться человеком широкой души, демократом славянофильского типа. Первым здоровается с красноармейцами.

28 апреля. На вчерашнем совещании в политотделе Власов произнес речь, сразу предупредив, что это первое и последнее совещание. Впредь будет беседовать только индивидуально. Рассказал о встрече со Сталиным в тяжелые для Москвы ноябрьские дни 1941 года. Власов, контуженный под Киевом, переживал страшные дни после сдачи врагу столицы Украины, где он командовал механизированным корпусом, а потом и 37-й армией.

— Я хандрил и по-стариковски брюзжал. Никто не навещал меня в госпитале, я ничего не знал о судьбе корпуса. Перед падением Киева видел, как плакал Хрущев, и сам не мог перенести горечь утраты, чувствовал, что заболел

надолго... Однажды мой адъютант доложил мне, что утром в госпиталь звонил Сталин и, узнав, что сплю, не велел меня беспокоить и просил передать, что интересовался моим здоровьем, хотел бы меня видеть в Москве, как только буду чувствовать себя лучше... На другой же день я был здоров!.. В Кремле мне пришлось ждать минут пятнадцать, — продолжал Власов. — Секретарь Сталина извинился передо мной и сказал, что Сталин лег только в семь утра и просил разбудить в десять. Ровно в десять Сталин принял меня. Он был свеж, подтянут, бодр. Только худоба и совершенно седые волосы свидетельствовали о том, как ему нелегко. "Ну, докладывайте", — обратился ко мне Иосиф Виссарионович. Я растерялся. Докладывать мне было не о чем. Сталин, видимо, почувствовал мое состояние: "Ну, тогда я доложу..." И вождь подробно рассказал о положении на фронтах, о моем корпусе, о повсеместном отступлении наших войск. Удивляла его осведомленность. Он все хорошо знал. Дислокация не только армий, но и дивизий была ему известна. Знал на память множество имен командиров... Рассказ Сталина удручил меня. Я сидел опустив голову, а Сталин ходил по кабинету, дымил трубкой и тоже молчал. Потом посмотрел на меня и совсем по-новому, оживившись, заговорил: "Чего нос повесил, генерал? Наступать скоро будем! Да, да! Наступать! Тут, под Москвой, и начнем наступать. Тут начнем разгром немцев. Вы знаете, как иногда бывает на состязаниях: бежит спортсмен, уже недалеко заветная ленточка. Вот-вот он ее порвет. Но в самый последний момент сдает, не хватает духу. И его обходит бегущий сзади. Так будет и с немцами. Мы не упустим этого момента, генерал, мы ждем его, ловим. Он должен вот-вот наступить. Наполеон тоже говорил, что на войне бывает момент, когда может не хватить духу. Надо уловить этот момент! Только вот не помогаете вы мне, генералы, опыта не передаете. А мне так нужен сейчас военный опыт, я ведь штатский человек. Все в писанине приходится рыться..."

Перед тем как приехать в вашу армию, — продолжал Власов, — я совершил инспекционную поездку по другим армиям фронта. И надо вам сказать, что больших беспорядков, чем в вашей армии, не видел нигде. Нет дисциплины... А ведь это — самое главное. Единственное, чем сильна немецкая армия и чем она нас бьет, это дисциплиной и организованностью. Надо уметь воевать без паники. Надо создать спокойную обстановку на фронте. Только тогда можно нормально работать. Надо учиться у Сталина спокойствию и выдержке. Чем сложнее обстановка, тем надежнее должны быть условия, способствующие спокойной работе...

Речь командарма, свободная, не подчиненная заранее намеченной схеме и словно рождающаяся экспромтом, легко переходила с одного предмета на другой, порою утрачивала логическую связь, но слушать его было интересно, и сам оратор, чувствовалось, понимал это.

— Командир должен быть отцом родным для бойцов. Солдат должен знать командира. Моему отцу восемьдесят лет, но попробуйте ему сказать, что раньше в армии были муштра и мордобой. Спросите его о командире, он и сейчас готов за него жизнь отдать. "Человека любить надо", — говорит мой отец и всегда вспоминает такой пример из солдатской жизни. Один солдат проворовался. За воровство полагался военный суд и тюрьма. Построил командир полк и обратился к солдатам: "Этот мерзавец украл у своих же. Что, солдаты, прикажете делать? Суду предать или самим расправиться?" Солдаты молчат. Командир повторил вопрос. Тогда кто-то из строя подал голос: "Будь отцом родным..." Полковник засучил рукава и со всего плеча врезал провинившемуся. Два зуба выбил и родным отцом остался. Вот так-то. Любить человека надо...

— Задачи нашей армии, — снова возвращается генерал к теме доклада, — остаются те же. Мы должны помочь Ленинграду. Но сейчас будем решать частные задачи. Что будем делать дальше — пока не скажу. Дел хватит. А сейчас надо действовать здесь. Меня спрашивают, будет ли у нас пополнение? Будет! Страна готовится к новым боям. Жалуются некоторые товарищи, танков, мол, нет. Страна готовит могучие резервы. Армии, дивизии во множестве готовятся к боям. Скоро будут вести наступление немцы, перейдем к наступлению и мы. Их силам, как бы они ни были велики, мы должны противопоставить в достатке собственные силы.

Речь свою Власов закончил весьма картинно:

— Я начну с установления дисциплины и порядка. Никто не уйдет из моей армии просто потому, что ему захотелось уйти. Люди моей армии будут уходить либо с орденами на повышение, либо на расстрел... — Полюбовавшись произведенным эффектом, он добавил: — Относительно последнего я, конечно, пошутил. Сам не люблю эту меру, но предупреждаю, что сурово буду расправляться с любым проявлением недисциплинированности.

Наш философ Борис Бархаш чаще других сотрудников "Отваги" встречается с Власовым, так сказать, в домашней обстановке. Ему даже приходилось в шахматы с ним играть.

— Как у нас бывает почти всегда, — рассуждал при нем командарм, — командир думал, думал, а на утро собрал бойцов, сорвал шапку с головы и с криком "Ура! За Родину!" побежал впереди всех в атаку. Я запрещаю это делать! Нет, ты накануне дополди на брюхе до каждого бойца, расскажи ему о предстоящей атаке, сам осмотри местность, по которой пойдут люди, а раз уж начался бой — сиди на КП и руководи боем. Генерал нам обходится дороже, чем солдат. Солдата можно в две недели подготовить, а генерала — десяток лет потребуется. Правда, у нас сейчас такое положение, что боец нередко — профессор...

Власов испытующе поглядел на корреспондента. Он знал, что Бархаш пришел в народное ополчение профессором философии. К тому же, вероятно, и партия за шахматной доской складывалась не в пользу командарма.

— Но, тем не менее, жизнь генерала на войне дороже жизни профессора-солдата, — закончил Власов.

-42-

— Вот что, доктор, — сказал командир медсанбата. — В дивизии резко увеличилось количество желудочно-кишечных расстройств...

— Немудрено, — отозвалась Смолина. — Люди голодают, давно на подножном корму, бойцы едят все, что кажется им съедобным. Варят кожаные подсумки, конскую сбрую, ремни, березовую кору, охотятся за лягушками, ищут червей... Словом... Да вы только посмотрите, на кого похожи наши ранбольные!

— Не надо, товарищ военврач третьего ранга, — остановил ее Ососков. — Знаю не хуже вас, если не лучше. Не про то речь. Отмечены факты отравления лошадиной падалью. Теряем бойцов. Комиссар дивизии потребовал провести разъяснительную работу в войсках. Надо обойти позиции, посмотреть, где и что варят красноармейцы, рассказать им, какая участь их ждет... Всякую гадость немедленно уничтожить!

— Не так-то это просто, — проговорила Смолина.

— На войне простых дел не бывает, Тамара Николаевна, — стараясь смягчить тон, сказал командир медсанбата. — Возьмите с собой старшину Караваеву. Она девушка боевая, да и веселее вдвоем.

Собрала Смолина выздоравливающих бойцов, стала рассказывать им, что можно, а что нельзя употреблять в пищу. Вид у несчастных был хуже некуда. Всматривалась доктор в их глаза, видела, как равнодушно глядят на нее, слова не доходят до сознания, вязнут, будто в болоте. А лица? Одни отечные, кожа

натянута, блестит, кажется, вот-вот лопнет... А другие, наоборот, худы как кащеи, скулы заострились, провалились щеки. И лихорадочный блеск в глазах. Заметила Смолина, как боец, до того будто внимательно смотревший на нее, вдруг склонил голову, уснул.

Военврач подошла к нему, тронула за плечо:

— Не положено спать на лекции, гвардеец, — шутливо проговорила она, пытаясь разрядить гнетущую обстановку.

— Загнулся гвардеец, доктор, — просипели из угла. — Померши он...

Смолина двумя пальцами приподняла веко у бойца. Умер, бедолага, не успев узнать, что можно ему потреблять в пищу, а что медицина не рекомендует.

Разыскала Марьяну Караваеву, рассказала о задании комбата. Собрались женщины в обход боевых позиций. Километра полтора отошли от медсанбата, наткнулись на красноармейцев, сидевших вокруг костра. Сразу в двух котелках варили падаль.

— Где взяли мясо? — спросила Смолина у сержанта, понуро сидевшего на сваленном дереве. Сержант и головы не поднял, а один из бойцов неопределенно махнул рукой в сторону.

— Надо немедленно все уничтожить! — сказала Марьяна. — Никто даже не шелохнулся.

— Берите, старшина, котелки и выливайте, — командирским голосом приказала Тамара Николаевна сестре милосердия. Марьяна взялась за котелок, Смолина помогла ей снять второй. Вылили под кочку, старательно затоптали ногами.

— Товарищи красноармейцы! — говорила военврач. — То, что было у вас в котелках, хуже немецкой пули...

Слушали молча, вопросов не задавали.

Когда пошли дальше, Марьяна спросила:

— Думаете, убедили?

— Хочу надеяться, — ответила Смолина. — А что делать?

Вскоре наткнулись на пятерых бойцов, которые, мешая друг другу, снимали уздечку с головы лошади. Лошади уже не было, только голова с уздечкой. Трофей этот медики отобрали, после недолгих объяснений заставили закопать поглубже. И снова отправились в нелегкий путь...

В березовом лесу насобирали с десяток листовок на русском языке. Гитлеровцы сообщали, что готовы принять голодных русских солдат. Пусть берут котелки и отправляются на пункты питания. Сегодня в меню борщ украинский с салом, тушеное мясо с картошкой, компот из сухофруктов. Смолина помогала Марьяне

рвать фашистское меню в клочья и шепотом, чтоб не слыхала медсестра, ругала Гитлера и всю его немецкую родню до седьмого колена.

Едва вернулись в медсанбат, к Марьяне кинулась начальник аптеки военфельдшер Попова, сердечная скромная женщина.

— Ох, Марьянушка, тебя тут командир дожидается!

— Так он же сам нас послал с заданием, — недоуменно произнесла Караваева, думая, что аптекарша про Ососкова говорит.

— Да чужой командир! Молодой такой и симпатичный...

Из-за палатки вышел улыбающийся Олег Кружилин.

У Марьяны ноги подкосились. Вот его-то она никак не ждала! В последние дни лишь изредка вспоминала о встречах с ним, как о чем-то далеком и нереальном.

— Ты ли это? — растерянно спросила Марьяна.

— Как будто бы я. И по делу, перевязку вот сменили, и просто так. Тебя навестить... Дали сутки на поправку здоровья, как легкораненому.

-43-

Направляясь в Ставку, генерал армии Мерецков находился в подавленном состоянии. То, что произошло накануне, не поддавалось разумному толкованию. Кирилл Афанасьевич полагал, что за десять месяцев войны, два из которых он провел в тюрьме, можно привыкнуть к непредсказуемости сталинских поступков. Он считал более логичным смещение его с поста командующего фронтом, поскольку задача прорваться к Ленинграду волховчанами не выполнена. Другое дело, что у них не хватило сил. Но если бы его, Мерецкова, сделали за этот просчет в оценке боеспособности 18-й армии вермахта козлом отпущения, он понял бы этот обычный сталинский маневр и принял его как нечто несправедливое, но должное по нынешним временам.

Но то, что произошло 23 апреля 1942 года, было за пределами здравого смысла.

За неделю до этого Кирилл Афанасьевич отправил Клыкова в госпиталь, внимательно выслушав его и заверив, что сделает все от него зависящее для облегчения судьбы армии, хотя Мерецков считал сложившийся в ней командный состав удачным. Армию принял опытный генерал. Вкупе с таким комиссаром, как Зуев, дело Власов поправит. Конечно, без новых резервов, с

измученными голодом и болотным бытом людьми многого не добьешься. Но поправить положение можно.

И вот для захвата Любани, а этот вопрос с повестки дня не снимался, Мерецков принялся формировать на базе выведенной в резерв фронта гвардейской дивизии 6-й стрелковый корпус. Все, что поступало в эти дни по скупым разнарядкам Ставки, собственные заначки, людей и боеприпасы Мерецков отдавал корпусу, полагая, что свежие войска, переданные Власову, помогут захватить Любань.

Но планам этим сбыться не было суждено.

"Что же происходит, — горестно думал Мерецков, сидя в "дугласе", который утром 24 апреля поднялся с маловишерского аэродрома и взял курс на Москву, — почему судьба мне ставит подножку в решающий момент? Может быть, это расплата за предыдущее везение? Ничего себе везение — одиночная камера и ночные допросы... Ладно, забудь об этом, не имеешь права помнить, по крайней мере сейчас, когда идет война. Ведь у тебя было и Лодейное Поле, и Тихвин, и возможность проверить на практике придуманный тобой маневр: бить немца по трем сходящимся направлениям. И ведь получалось! При тех силенках получалось... А что сейчас? Как могла Ставка пойти на подобное безумие? Толстой говорит о Кутузове: тот обладал способностью созерцать события. Как там князь Андрей сказал: "Он ничему полезному не помешает и ничего вредного не позволит". Да, Кутузов мог не позволить повредить русской армии. А что могу я? Может быть, смириться и стать послушным орудием в руках провидения, которое в наше время называется "товарищ Сталин"? А что еще остается делать? Ведь я уже пытался помочь ему, да и всем нам, выйти из июньского воскресенья с меньшим для Отечества злом..."

Он вспомнил вчерашнее утро, когда ему доложили, что прибыл генерал Хозин. "Чего это вдруг? — подумал тогда Мерецков. — Ни сам Хозин не предупредил меня, ни Ставка... Наверно, приехал для координации общего наступления на Любань. Буду просить у него Пятьдесят четвертую армию. Пусть отдаст Федюнинского нашему фронту".

Генерал-лейтенанта Хозина Мерецков знал достаточно хорошо, но в близких или товарищеских отношениях оба генерала не были. Когда после известных перемен в руководстве РККА как грибы после дождя стали появляться новые люди и уверенно занимать освободившиеся посты, генерал Хозин ни в чем особенном не преуспел и, по слухам, считал себя обойденным. Звездный час его пришел, когда в сентябре 1941 года Жуков отправился в Ленинград, имея в

руках записку Сталина, в которой тот приказал Ворошилову сдать подателю сего бразды правления фронтом. С собою Жуков прихватил двух генералов — Федюнинского и Хозина. И когда позднее Сталин в аварийном порядке затребовал Жукова спасать Москву, тот оставил на посту комфронта Ивана Ивановича, которого тянул наверх с Халхин-Гола, а Хозина бросил командовать 54-й армией. Там был снят с поста командарма Маршал Советского Союза Кулик, позволивший немцам отрезать себя от Шлиссельбурга и потому разом сменивший большую звезду на две маленькие, превратясь в заурядного генерала.

Когда немцы, опередив наступление Ленинградского фронта, намеченное на 20 октября, за четыре дня до этого рванулись к Тихвину, намереваясь соединиться с финнами на реке Свирь, Федюнинский резонно заопасался по поводу собственной участи. В тот же день, 16 октября, он стал просить Ставку поменять его с Хозиным местами. Так Михаил Семенович занял высшую командную должность, до которой его, увы, не подняли в мирное время.

Теперь Хозин появился в кабинете Мерецкова, и тот удивился нескрываемой радости на лице соседа. "Чего это он сияет?" — недоуменно подумал Мерецков, знавший об отсутствии у генерала особых к нему симпатий.

— Здравствуйте, Михаил Семенович, — радушно сказал Мерецков, двинувшись навстречу Хозину. — Какими судьбами?

— Вот, — забыв ответить на приветствие, произнес Хозин, не в силах сдержать торжествующей улыбки.

Он достал из кармана и протянул Мерецкову листок бумаги.

И тогда Кирилл Афанасьевич, не веря глазам своим, прочитал директиву Ставки Верховного Главнокомандования от 21 апреля1942 года. Москва ликвидировала Волховский фронт, а его четыре армии передавала генералу Хозину. Образовывался единый Ленинградский фронт в составе двух направлений. Ставка отдавала Михаилу Семеновичу под начало девять армий и две армейские группировки, находящиеся на пяти изолированных друг от друга территориях, а если считать и позиции 2-й ударной, то и в целых шести местах.

"Как он со всем этим управится?" — подумал Мерецков.

Большого усилия стоило Кириллу Афанасьевичу сохранить невозмутимость. Кому-кому, а Хозину не даст он повода говорить потом, что Мерецков растерялся от этакой вести. Сам Михаил Семенович хорошо помнил, каким жалким выглядел Ворошилов, когда прибывший в Смольный Жуков прямо на заседании Военного совета вручил маршалу сталинскую записку. Ему хотелось

бы повторить тогдашнюю ситуацию, проиграть ее сызнова, но теперь уже с самим собой в главной роли, в сентябре он был молчаливым статистом. И Хозин не скрывал разочарования. Но сейчас они были с Мерецковым вдвоем, и хозяин принял новость, лишающую его должности, будто так оно и разумелось. Не дрогнул, не спросил растерянно: "Как же так?.."

— По этой директиве мне и Балтийский флот подчинен, — некстати сказал Хозин.

— С чем и поздравляю, — буркнул Мерецков. — У нас на Волховском корабли не держим... Сейчас вызову начальника штаба и члена Военного совета, ознакомлю товарищей. Но пока имею к вам личную просьбу. Вторая ударная армия в трудном положении. Прошу обратить внимание на необходимость срочного ее усиления. Фронт сформировал для этой цели стрелковый корпус. Сохраните его. Вот и все, о чем хотел вас просить. Командуйте... Надеюсь, вам повезет больше.

— Мы подумаем над вашим предложением, — сказал Хозин. — Но боюсь, что корпус придется отдать. Товарищу Сталину нужен сейчас каждый боец. Я был вчера в Ставке. Затеваются серьезные дела на юге. Здесь обойдемся собственными силами.

— Не обойдемся, нет!

Сейчас он корил себя, что не сдержался, грохнул кулаком по столу так, что Хозин от неожиданности вздрогнул.

— Извините, — буркнул Мерецков, остывая, и вышел из кабинета, столкнувшись в дверях с Запорожцем.

— Иди, знакомься с новым комфронта, Александр Иванович, — сказал генерал армии и пошел звонить в Ставку. Когда его соединили с начальником Генштаба, он дрогнувшим голосом спросил Василевского:

— Что произошло, Александр Михайлович?

— А ты что — читать разучился? Генерал армии Мерецков назначен замом Жукова по Западному направлению...

— Но фронт-то зачем развалили? Какой в этом смысл?

— Спроси чего полегче, Кирилл Афанасьевич, — ответил Василевский, и Мерецков явственно услышал, как тот тяжело вздохнул. Не телефонный это разговор...

— Но что будет со Второй ударной? Она в критическом положении! Прошу не трогать Шестой стрелковый корпус, Александр Михайлович... Говорил Хозину, но тот иного мнения.

— За армию не беспокойся, тут есть кому думать!

— Прошу доложить мое мнение товарищу Сталину, — перешел на официальный тон Мерецков. — Срочно вылетаю для доклада.

— Вылетай, — усталым голосом согласился Василевский. — Чтоб завтра был у нас к обеду, ставлю твой вопрос на доклад Верховному.

С тем Мерецков и приближался сейчас к Москве, размышляя от тоски, снедавшей его со вчерашнего дня, о том, что никакие блага жизни, ни слова, ни физическое довольство, вещное изобилие или власть не могут служить высшим принципом, определяющим поведение человека. Кириллу Афанасьевичу казалось теперь, что главным можно считать только процесс формирования человеческого характера, достижения человеком нравственной и интеллектуальной зрелости.

"Научиться выявлять заложенные в каждом из нас возможности, — подумал Мерецков, — и правильно использовать их... Теперь понимаю, что удовольствие и страдание не существуют сами по себе. Они только учат нас или добру, или злу... Но почему одних ожесточает страдание, а других научает сострадать себе подобным? Я лечу сейчас, чтобы разговаривать с ним о Второй ударной, просить его помочь болотным солдатам многострадальной армии, рискуя впасть в немилость, а она может стоить мне головы. Но кто меня уполномочивал на это? Ведь больше не командую Волховским фронтом, в Действующей армии нет такого фронта, и за все, что произойдет теперь в Мясном Бору, спросят с генерала Хозина..."

...Василевский был весьма занят, срочно готовил для Сталина доклад об обстановке на юге.

— Там идет перегруппировка наших войск, — сказал он Мерецкову. — Ждем серьезных событий... Твое время на восемнадцать ноль-ноль.

— Ты только скажи мне, Александр Михайлович, как возникла эта глупость?

— Поосторожнее, брат, с терминологией, — усмехнулся Василевский. — Директива Ставки — высший закон военного времени.

— Тогда объясни, как появился этот "умный" закон?

— Генерал Хозин был у Верховного и заявил: если Волховский фронт присоединят к Ленинградскому под его общим командованием, то силами, которыми располагает Волховский фронт, прорвет блокаду Ленинграда. Товарищу Сталину понравилась эта идея. Главное, никаких тебе резервов, кадровая перестановка — и Ленинград освобожден...

— Но это же авантюра! — вскричал ошеломленный Мерецков.

— Не забывайся, Кирилл Афанасьевич... Надеюсь, ты у Верховного не вспомнишь таких слов. Иначе не пущу к нему. У тебя и без того тонкая шея... Договорились?

— Не вспомню, — угрюмо пообещал Мерецков.

...Сталин принял его в присутствии Маленкова и Василевского.

Кирилл Афанасьевич доложил, что согласно директиве командование Волховским фронтом он передал генералу Хозину и сейчас готов приступить к новым обязанностям.

— Беспокоит меня судьба Второй ударной, — сказал Мерецков. — Армия совершенно выдохлась. При нынешних ее возможностях Власов не может ни наступать, ни эффективно обороняться. Коммуникации армии находятся под ударами немецкой артиллерии и авиации. Там всего лишь один узкий коридор! Противник в любой момент может его перерезать, как это случилось месяц тому назад. Если ничего не предпринять, то разразится катастрофа, товарищ Сталин!

"Все-таки употребил нехорошее слово, — укоризненно подумал Василевский, едва заметно покачав головой. — Неисправимый лирик... Всегда у него личная точка зрения. Опасно живет Кирилл Афанасьевич".

— Там теперь у вас генерал Власов командует? — спросил Маленков. — Во Второй ударной?

— Не у меня, Георгий Максимилианович, — остывая, ответил Мерецков, — у генерала Хозина.

— Тогда положение не такое уж безрадостное, — сказал Маленков. — Власов сумеет наладить дело.

— Делу помогут только свежие силы, соответствующие резервы, — упрямо не согласился Мерецков. — Как, бывший комфронта, знающий обстановку на месте, прошу не брать оттуда Шестой стрелковый корпус. Нужно укрепить им Вторую ударную. Если по каким-либо неизвестным мне причинам сделать этого нельзя, армию Власова необходимо немедленно отвести из волховских болот на укрепленный нами плацдарм по линии шоссейных дорог Новгород — Чудово. Прошу поверить в мою искренность и военный опыт!

С тех пор как Мерецков вошел и принялся докладывать, Сталин не произнес ни слова. Теперь он поднялся и принялся ходить по комнате. Все молча ждали, когда вождь начнет говорить.

— Товарищ Мерецков напрасно нервничает, — в обычной неторопливой манере произнес Сталин. — Никто не сомневается ни в его искренности, ни в его

боевом опыте, которым товарищ Мерецков, бесспорно, обладает. За это мы и ценим товарища Мерецкова. Но ошибка его в том, что товарищ Мерецков полагает, будто только ему близки интересы Волховского фронта и Второй ударной армии. Мы считаем, что здесь находятся люди, которым дороги интересы каждого фронта, каждой армии. — Сталин значительно помолчал, давая остальным время проникнуться высказанной им мыслью, затем буднично произнес: — Есть предложение принять к сведению сообщение товарища Мерецкова и отпустить его к новому месту службы.

Книга третья. Время умирать

-1-

Вынужденная смена командующих положения 2-й ударной не изменила. А через неделю был ликвидирован Волховский фронт. Когда об этом стало известно к западу от Мясного Бора, оптимизма у нового командарма Власова и члена Военного совета Зуева не прибавилось. Они сомневались в необходимости подобной рокировки, резонно опасаясь, что станет она для Любанской операции началом ее конца.

Первым на свидание с незнакомым начальством вылетел в Малую Вишеру Зуев. Комиссар не был в армии двое суток и вернулся утром тридцатого апреля. Встречавший его у посадочной площадки Яша Бобков поразился перемене, которая случилась с Иваном Васильевичем. Изможденное лицо комиссара осунулось еще больше, резче обозначились скулы, щеки запали. Но к такому Зуеву верный его оруженосец привык, вроде и не замечал худобы начальства, все вокруг были такими. Но вот глаза... Умные и выразительные, наполненные жизнерадостным светом, они неизменно вселяли надежду, подбадривали упавших духом, укоряли тех, кто поддался минутной слабости, прибавляли решимости тем, кто в ней нуждался. Сейчас же глаза у комиссара были потухшими, и Яков испугался.

Пока ехали к командному пункту армии, Иван Васильевич молчал. Он будто не замечал робких взглядов Бобкова, который не смел заговорить первым, и только в конце дороги Зуев сжал рукою Яшине плечо, встряхнул легонько, слабо улыбнулся и сказал, глубоко вздохнув:

— Так-то вот, друг мой ситный... Велено рассчитывать только на собственные силы.

Так сказал член Военного совета и командующему армией, добавив: стрелковый корпус, который Мерецков готовил на подмогу, Хозин передал Северо-Западному фронту.

— Надо спешить с узкоколейкой, — напористо продолжал Зуев, стараясь смять гнетущую тишину, она возникла после его безрадостной вести. — Армия голодает... Срочно завезти больше продуктов!

— И снарядов, — спокойно заметил Власов. — Голод, комиссар, уставами не предусмотрен. И обязанность воевать с нас никто не снимает. Имеется ли у армии харч или нет его вовсе.

Сказано это было жестким, непререкаемым тоном. Но Зуев уловил в словах командарма и подспудную горечь, двойной смысл произнесенного. Иван Васильевич внимательно всмотрелся в генерал-лейтенанта, человека сдержанного, переходившего в официальной обстановке на сухую манеру общения.

— Тем более нужно все внимание обратить на строительство дороги, — упрямо проговорил Зуев. — Возьму ее под собственный контроль.

Власов пожал плечами.

— Сделайте одолжение, Иван Васильевич, — скупо, как бы пересиливая привычную сдержанность, улыбнулся он. — Не подумайте только, что я недооцениваю значение узкоколейки. Уж коль выпала нам доля воевать в болотах, лучше делать это имея хоть какие-то надежные средства сообщения.

— Тогда я отправлюсь туда сейчас же, — решительно сказал Зуев.

— Но имейте в виду: немцы не меньше нашего понимают значение этой стройки, — предупредил командарм. — Потому на строительстве ад кромешный, Иван Васильевич. Будьте предельно осторожны. Там бомбят и стреляют...

— Буду, — усмехнулся член Военного совета.

Неуклюжая попытка Власова предостеречь его хотя и показалась Зуеву наивной, но тронула комиссара.

— Собирайся, Яша, — сказал он Бобкову, который, ждал его за дверью. — Поедем сейчас...

Хотел Яков сказать, что надо бы и отдохнуть, время-то обеденное, но вид у начальства был неприступный. Зуев, по всему видно, был мысленно уже там, где по лесам и болотам прокладывали узкоколейку к Мясному Бору.

"Прав Андрей Андреевич, — подумал комиссар, когда добрался до ближайшего участка строительства и слушал доклад случившегося здесь начальника штаба

батальона Байдакова. — Может быть, и не ад, в геенне, по слухам, болот не бывает, но что-то около того..."

Он и прежде не оставлял дорогу без внимания, часто бывал здесь, обедал с саперами, которых называл "рабочим классом Красной Армии", порою и сам брался за инструменты, оставался ночевать. Работы шли днем и ночью, не останавливались и во время артобстрела или бомбежки. И Власов резонно предостерегал Зуева об опасности.

-2-

— Снаряды кидают по-прежнему и бомбят часто, — объяснял старший лейтенант Байдаков. — Одно утешение: взрывается далеко не каждый "гостинец".

— Из-за болот? — спросил Зуев.

— Так точно, — ответил начальник штаба. — Известное дело... Хлюпнет — и все. Как болванка. Потому и не укрываются бойцы, товарищ дивизионный комиссар, смысла нету. Да и где прятаться?

— А как с питанием?

Байдаков вздохнул:

— Как везде...

— Я распорядился, чтобы вашим саперам и дорожникам выдали немного продовольствия из НЗ.

— Получили уже, спасибо. Но к завтрему никак не закончим, духу не хватает, хотя люди изо всех сил стараются.

Работы шли уже четырнадцатый день, задачу саперам Военный совет армии поставил жесткую: к Первому мая открыть движение по узкоколейке. Этот срок наступал завтра, только Зуев и сам видел, как до предела истощились люди.

— Не праздника ради жмем, Байдаков, — сказал комиссар начальнику штаба стройки. — Бойцы голодают... И стрелять по фашистам нечем.

Байдаков кивнул и посмотрел в сторону дальнего леса, откуда сваливались "юнкерсы".

— И отогнать их, стрекозлов, некому. Сейчас бы сталинских соколов сюда...

Зуеву почудилась некая ирония в последней фразе старшего лейтенанта, и комиссар внимательно посмотрел на Байдакова. Но лицо начальника штаба было непроницаемым. Он искренне жалел о том, что не видит в волховском небе наших летчиков.

"Где они, соколы, — горько усмехнулся про себя Иван Васильевич, хорошо помнивший, как горели новехонькие машины на аэродромах возле западной границы, от которой он отступал в июне сорок первого. — Подожди, брат Байдаков, новых орлят вырастим, более мощные самолеты построим. А пока на выдержке и мужестве потянем, с испытанной трехлинейкой в руках... Что делать, если русскому человеку другого оружия, кроме духа его природного, вдоволь пока не предоставлено".

Вслух комиссар ничего не сказал. И время для агитации неподходящее, и Байдаков в призывах не нуждается. Про сталинских соколов он скорее по традиции сказал. А Зуев вспомнил день 19 июня прошлого года. Перешел границу солдат вермахта, его срочно доставили в Каунас, где расположился штаб 11-й армии. Допрашивал его Иван Васильевич, как говорится, "со товарищи". Начальник Особого отдела Кокшаев присутствовал и полковник Сошальский, глава армейской разведки. Яша Бобков протокол вел, дело серьезное, без бумаги нельзя. Перебежчик и рассказал: в ближайшие дни немецкие войска перейдут государственную границу.

— В какой именно день? — спросил немца полковник Сошальский.

— Пока неизвестно... Ждут некий особый сигнал, он придет в субботу, 21 июня. Этот сигнал и решит: быть войне или ее отменят.

Ответ показался странным, и командиры переглянулись. Как же так? Если намечена война, то о какой отмене может идти речь? Подобная нерешительность не укладывалась ни в сознании чекиста Кокшаева, ни военного разведчика Сошальского, ни опытного, хотя и молодого по возрасту политработника Зуева. К этому времени они были уже во власти стереотипа, по которому сила и могущество высшего руководства определялись непреклонностью воли, отсутствием колебаний, невозможностью существования альтернативных вариантов. Всем троим, юнец Яша не в счет, показалось бы даже диким предположение, что товарищ Сталин может вдруг отказаться от принятого им лично решения в любом деле, да еще в таком жизненно важном, как война. Ведь ее всегда готовят. Никому и в голову бы не пришло, что и от войны можно в последний момент вдруг отказаться. Поэтому показания перебежчика сочли противоречивыми, а потому и недостоверными. Немца отправили по инстанции, сопроводив тщательно записанными Яшей Бобковым показаниями.

И никому из них и в голову не пришло, что стоп-кран для самой жестокой в истории человечества войны существовал до тринадцати часов 21 июня 1941

года. Именно до этого рокового — тринадцатого! — часа войска трех армейских группировок вермахта ждали одного, из двух предусмотренных фюрером заранее сигналов. Если приходил "Дортмунд", дивизии взламывали русскую границу в половине четвертого утра 22 июня... Но ежели возникало вдруг кодовое слово "Альтона", война отменялась.

Что надо было сделать для этого? Ничтожно мало — предъявить Германии разумный, но жесткий ультиматум. Сам Гитлер до последнего ждал его, ибо знал о нежелании Сталина воевать. Но стремясь подтолкнуть события, чтобы поскорее ввязаться в смертельную драку, которая страшила и его самого, фюрер досыта кормил генералов байками об агрессивности Кремля, о том, что план "Барбаросса" суть превентивная мера, имеющая целью опередить большевиков. И когда вермахт перешел границу, а его командиры увидели, что застали русских, не помышлявших о нападении, врасплох, немецкие генералы усомнились в искренности вождя партии и государства. Но карты были уже сданы. Приходилось играть по навязанным Гитлером правилам. Сигнал "Альтона" не прозвучал и превратился в исторический феномен, о котором комиссар Зуев никогда не узнает.

-3-

Поезда по железной дороге давно уже не ходили, но горстка разбитых боями домов по-прежнему называлась в сводках разъездом. Еще зимой, когда земля вокруг была завалена снегом, станцию освободила стрелковая бригада, положив здесь при этом немалое число красноармейцев. Разъезд Еглинский стал самым западным участком пространства, где избавились русские люди от власти оккупантов. И горько было осознавать, что именно отсюда начнется печальный, трагический путь нового отступления на восток.

Сопровождался отход ликвидацией Волховского фронта и сменой руководства. Группу войск, входящую теперь в Ленфронт, возглавил генерал Хозин, обосновавшийся в штабе Мерецкова. Преемником Клыкова во 2-й ударной незадолго до того стал Власов. А 25 апреля командующего 59-й армией Галанина отозвали в Москву, и войска принял под начало Иван Терентьевич Коровников, который возглавлял ранее оперативную группу.

Михаил Семенович Хозин едва ли не в первые дни понял, что силы, которые Ставка ему отпустила, вовсе не годятся для наступательных действий. И теперь остается только гадать, чем он руководствовался, легкомысленно обещая Сталину без резервов снять блокаду Ленинграда. Армия Власова была ударной

только по названию. Ее дивизии и бригады были значительно ослаблены во время тяжелых зимних боев. К концу апреля снежные дороги окончательно порушились, колонные пути, проложенные через болотистые участки и лесные массивы, стали непроходимыми. Мало того, что это обстоятельство срывало снабжение войск, оно затрудняло, а подчас и вовсе исключало любой маневр армии внутри гигантского мешка, в котором та находилась. А разве может армия, лишенная возможности передвигаться, оставаться боеспособной?

Уже в день отъезда бывшего комфронта Мерецкова в Москву генерал Хозин приказал 59-й армии перейти к временной обороне. Вместе с тем Михаил Семенович предписал ее командованию и другую задачу: готовить ликвидацию противника в районе Трегубозо, Приютино, Спасская Полнеть, чтобы расширить горловину прорыва в северной ее части, обезопасить 2-ю ударную от окружения. Новый командарм Коровников удар по противнику нанес неумело и потому довольно слабо. Успеха никакого Иван Терентьевич не добился, и немцы продолжали, накапливая резервы, усиливать группировки, сосредоточенные на флангах прорыва.

Вскоре и генералу Козину стало ясно, что требовать от 2-й ударной вести наступление не только бессмысленно, но и опасно. И он тогда вместо победного марша на Ленинград вынужден был отдать приказ: с 30 апреля 1942 года армии перейти к обороне.

В этот же день разгорелись бои под Еглино: противник пробовал собственные силы. Нажим на разъезд осуществлялся и прежде, но в канун Первомая командованию вермахта хотелось доложить фюреру об успехе под Ленинградом.

Силы были явно неравными. Станцию обороняли три десятка красноармейцев. А Первого мая на Еглино пошел в наступление свежий батальон пехоты, поддержанный танками. Помощи еглинцы так и не получили, но поступил приказ: организованно отойти. Поступил, когда станцию окружили фашисты. И все же бойцы пробились штыками и гранатами, возвратились к своим, сумев вынести всех раненых на руках.

-4-

...День 1 Мая 1942 года от Ладоги до Ильменя был безоблачным и солнечным. Газета "Отвага" вышла по случаю праздника в две краски. Украшал ее приказ войскам 2-й ударной, его писал Зуев. Приказ был выдержан в оптимистических тонах, не противоречил — как можно! — общему духу приказа наркома

обороны. В нем Сталин снова заверял красноармейцев и советских людей, что Красная Армия будет отмечать Новый год в Берлине. "Отвага" тоже не оплошала, ее призыв гласил: "Воины Ударной, вперед к Ленинграду!"

О том, что сдали немцам западный рубеж и армия перешла к обороне, газета читателей не извещала.

Первомайский день в столице рейха тоже выдался как по заказу. Предстоял традиционный в нацистском государстве парад на Унтер ден Линден, и проснувшийся рано утром гауляйтер Берлина и министр пропаганды доктор Геббельс с удовольствием отметил, что погода не помешает, фюреру достойно приветствовать немецких солдат со ступеней мавзолея Гинденбурга.

В последние апрельские дни гауляйтеру пришлось немало потрудиться для пропагандистского обеспечения праздника. К обычным заботам Геббельса добавились и хлопоты, связанные с пребыванием фюрера в столице. Гитлер вечером 24 апреля покинул Ставку и выехал в Берлин, чтобы выступить в рейхстаге и потребовать от депутатов исключительных полномочий, которые наделяли фюрера единоличной и неограниченной властью. Йозеф Геббельс, как глава партийного руководства имперской столицы, отвечал за подготовку процедуры, которая затвердила бы де-юре фактическую диктатуру Гитлера в Третьем рейхе.

Все прошло как нельзя лучшее Подготовленные заранее депутаты германского парламента дружно, как один, проголосовали за предложенную резолюцию, сложив с себя, таким образом, полномочия избранников народа, отказавшись от последних, даже иллюзорных остатков демократии.

Победа в рейхстаге вселила в фюрера и его верного соратника Геббельса новую духовную энергию, привела их в состояние эйфории. Казалось, рухнула последняя преграда на пути к идеальному германскому государству. Оставалось разделаться с большевизмом на Востоке. Но это вопрос времени. Вовсю развернута подготовка к операции "Блау", успешное проведение которой — а иного и быть не может! — вспорет Сталину брюхо, лишит русских основных кормящих их южных районов и нефти Майкопа, Грозного и Баку.

Ужиная с Гитлером накануне праздника труда, министр пропаганды заметил: прав был некий философ, который сказал, что история повторяется. Фюрер поднял на Геббельса глаза.

— Что ты имеешь в виду, Йозеф? — спросил он.

— Коварные намерения Сталина... Ведь он хотел нанести удар в подбрюшье Европы, нацелившись на Румынию, Болгарию, Грецию и Дарданеллы. И сделать

это малой кровью, не ввязываясь с нами в драку. Какое счастье, что нам удалось его опередить, мой фюрер! Теперь мы наносим ему такой же удар...

Оживившийся было Гитлер вдруг помрачнел.

— К сожалению, мы не обошлись малой кровью, — со вздохом произнес он. — Генерал Гальдер отмечает в последней сводке — потери сухопутных войск на Восточном фронте составили миллион сто пятнадцать тысяч человек. Из них офицеров — свыше тридцати четырех тысяч... Много крови пролил немецкий народ в России. Но великая цель оправдывает средства! Последнее усилие — и мы отбросим сталинские дивизии за Волгу, а на Кавказе соединимся с турками. Путь на Индию будет открыт.

— Да будет так! — восторженно воскликнул Геббельс.

...Сейчас Геббельс стоял справа и чуть позади от кресла с высокой и прямой спинкой. В кресле, стоящем на подиуме мавзолея Гинденбурга, сидел фюрер, принимавший парад. Одет вождь был в традиционный коричневый френч с накладными карманами и партийной повязкой на рукаве, без знаков различия, их Гитлер не носил, ибо не имел никаких воинских званий. Единственным украшением френча был Железный крест, полученный фюрером на фронте в первую мировую войну.

Войска еще не начали движения к Бранденбургским воротам и заполонили пространство перед мавзолеем. На нижнем ярусе подиума и на тротуаре, перед ограничительной линией, разместились увечные ветераны восточного фронта. Кое-кто был на костылях, с подвешенными к груди руками на черных перевязях, иных привезли сюда в инвалидных колясках. Министр пропаганды знал: фюрер любит подчеркнуть особую признательность немцам, пролившим кровь за торжество национал-социалистской идеи, и специально распорядился доставить из берлинских госпиталей раненых героев.

К мавзолею медленно подошел черный мерседес с открытым верхом. Рядом с шофером в нем прочно стоял, не держась за поручень, но сохраняя равновесие, рейхсмаршал Герман Геринг, он объезжал изготовившиеся к параду войска. Когда автомобиль остановился, рейхсмаршал энергично вскинул правую руку, приветствуя фюрера. Гитлер скупо улыбнулся, встал с кресла и ответил на приветствие, приподняв руку, полусогнутую в локте.

Пока Геринг поднимался по ступеням, министр пропаганды почувствовал, как возник за его спиной Гиммлер. Доктор Геббельс невольно вздрогнул. Ему было известно, что Черный Генрих давно, действуя кропотливо и обстоятельно, собирал досье на него, в котором главное место занимали описания милых

забав рейхсминистра с подопечными его ведомству киноактрисами с Бабельсбергской киностудии. Именно за это прозвали Геббельса, обладавшего феноменальными мужскими достоинствами, "бабельсбергским козлом". Но доктор не очень опасался этих компрометирующих материалов: кто из партийной верхушки не грешен. Рейхсфюрер внушал ему иной, мистический страх, ибо Геббельсу всегда, хотя доктор и был атеистом, при появлении Генриха явственно чудился запах серы, и от подобного наваждения избавиться ему не удавалось.

— Прекрасная погода, — заметил Гиммлер.

Доктор Геббельс подвинулся вправо, давая возможность рейхсфюреру пройти вперед и встать рядом, поближе к креслу фюрера. При этом он оборотился к стоявшему позади Гиммлеру и кивнул: сегодня они встречались впервые.

— Ничего, ничего, — улыбнулся Черный Генрих, и стекла его пенсне злорадно блеснули. — Мне и отсюда хорошо видно, из-за твоей спины, партайгеноссе Геббельс.

"Проклятый дьявол!" — мысленно выругался доктор.

Тем временем раздались воинские команды, грянул оркестр, размещенный слева от мавзолея. Стоявшие лицом к фюреру солдаты и офицеры повернулись теперь к Бранденбургским воротам. Начался парад.

Впереди сводных колонн армейских подразделений шли командиры и знаменосцы. Все войска были в касках и вооружены карабинами. На подходе к мавзолею солдаты переходили на парадный прусский гусиный шаг, менялся ритм движения, сплошное море металлических касок вдруг начинало ходить волнами, вызывая ощущение неодолимой мощи вермахта.

Эмоциональный Геббельс испытывал искренний восторг, он чувствовал, как грудь его переполняет необыкновенная радость от сопричастности к всемирно-историческим событиям, которые вершит гений фюрера. "С такими солдатами Германия утвердит идеи национал-социализма не только на берегах Индийского океана", — растроганно думал Геббельс. Он искоса поглядывал на Гитлера, видел, как весел и оживлен фюрер, обменивающийся короткими замечаниями с Герингом, который стоял по другую сторону кресла, почтительно, хотя и соблюдая достоинство, наклонялся к вождю.

С той же стороны, уже за рейхсмаршалом, в группе высших военачальников находился и Франц Гальдер, прибывший на празднование в Берлин. Настроение у начальника генерального штаба было отнюдь не праздничное, хотя на бесстрастном лице его никак это не отражалось. Два предыдущих дня

он провел в военной академии, где ужинал с офицерами-слушателями и давал завтрак в честь преподавателей, там и поделился с ними информацией о положении на фронте. Речь шла о развертывании стратегической операции, и фюрер требовал сосредоточить на главных направлениях будущего наступления максимальное количество резервов. Гальдер понимал, что Гитлер поставил на карту. Фюрер постоянно твердил в кругу приближенных о необходимости летом сорок второго года полностью разгромить Красную Армию. Сам Франц Гальдер серьезно сомневался, что это возможно. И его удручало, что во время встречи со старыми знакомыми, преподавателями академии, он почувствовал: они разделяют его сомнения. Нет, разумеется, никто не говорил подобного вслух. Но, опытный военный, Гальдер понял это и по задаваемым ему вопросам, хотя внешне они носили безобидный характер, и по осторожным фразам академиков, скрытый смысл которых был ему хорошо понятен.

Сейчас, спокойно наблюдая, как маршируют перед мавзолеем Гинденбурга немецкие солдаты, Гальдер знал: для многих из них это последний парад в жизни. Он вспомнил, как год тому назад вернувшийся из Москвы полковник Кребс представил ему доклад о боевом состоянии Красной Армии. Незадолго до этого, на совещании у фюрера 30 апреля 1941 года, Гальдер снова поднял вопрос о том, чтобы не начинать войну против русских, не накопив достаточных сил.

Настойчивость Гальдера вызывала у фюрера двойственное чувство. С одной стороны, предостережения, исходящие от генералитета, призывы действовать осмотрительно давали Гитлеру возможность в любой подходящий момент прибегнуть к сигналу "Аль гона" и отменить операцию "Барбаросса". К этому могло привести нечто экстраординарное, может быть, некая неожиданность во внешней политике Сталина, его решительный выпад, которого Гитлер ждал до тринадцати ноль-ноль 21 июня 1941 года. Ведь вовсе не случайно план "Барбаросса" начинался фразой: "На тот случай, если Россия изменит свое теперешнее отношение к Германии, необходимо принять в качестве предупредительных все меры, которые позволят... разгромить Советскую Россию в одной быстротечной военной кампании".

Директива по стратегическому развертыванию сухопутных войск на Востоке по этому плану была подписана главкомом фон Браухичем 31 января 1941 года, и Гитлер до самого последнего балансировал между "Альтоной" и "Дортмундом", склонившись, в конце концов, к последнему варианту.

Необходимость сделать этот мучительный и, как теперь понимал Гальдер, роковой выбор заставляла фюрера, с другой стороны, искать и выпячивать любые моменты, которые бы подтверждали возможность начать и выиграть войну с Россией. Поэтому доклад полковника Кребса, суть которого начальник генштаба немедленно сообщил фюреру, принес ему глубокое удовлетворение. Полковник Кребс, исполнявший в Москве обязанности военного атташе, сообщал, что, хотя наркомом обороны Тимошенко и приняты радикальные меры по перевооружению Красной Армии и расширенной подготовке командных кадров, большевистские вооруженные силы куда слабее, нежели они были в 1933 году. Чтобы выправить последствия репрессивных ударов по офицерскому корпусу в 1937 — 1938 годах, России понадобится двадцать лет... Характерно, что в первую очередь уничтожены те русские офицеры, которые учились по обмену в военной академии Германии, хорошо были знакомы с боевыми особенностями рейхсвера и вермахта. Это могло иметь крайне негативное значение для Германии в будущей войне, но сейчас таких командиров в Красной Армии больше нет. После серии жестоких чисток в предвоенные годы в отдельных военных округах России дивизиями командовали капитаны и старшие лейтенанты. Теперь они стали полковниками, но военной мудрости, стратегического опыта приобрести, естественно, не успели.

В этом месте доклада Кребса Франц Гальдер не преминул заметить, что в сухопутных войсках вермахта нет ни одного командира полка, который бы не имел офицерского опыта первой мировой войны. Фюрер благодарно улыбнулся начальнику генштаба и часто-часто задышал. Это свидетельствовало о том, что Гитлер растроган и старается сдержать переполняющие его чувства.

Гальдер понимал, как сильно подвинул фюрера доклад Кребса к решению выбрать "Дортмунд". В первые недели войны генерал и сам находился в полной уверенности в том, что они поставили на единственно верную карту. Ошеломляющий успех вторжения, окруженные группировки русских, пленные, трофеи... Как тут было не потерять голову и такому осторожному в оценках человеку, как Франц Гальдер! В дневнике за 6 июля 1941 года он записал: "Русская тактика наступления: трехминутный огневой налет, потом — пауза, после чего атака пехоты с криком "ура" глубоко эшелонированными боевыми порядками, до 12 волн, без поддержки огнем тяжелого оружия, даже в тех случаях, когда атаки производятся с дальних дистанций. Отсюда невероятно большие потери русских". А на последующий день: "Оптимистическое

настроение у командования 11-й армией сменилось разочарованием. Наступление... опять задерживается. Причины этого неясны".

Теперь-то Гальдер лучше разбирается в причинах начавшихся тогда сбоев, которые зимой едва не привели вермахт к судьбе Великой армии Наполеона. Он вспомнил о чистках в армии противника, и в сознании всплыла цифра "34039". Она обозначала число потерянных с начала войны собственных офицеров.

"Как и у русских, эти жертвы из категории лучших, — невесело подумал Гальдер. — Таковы законы судьбы. Когда потрясаются основы жизни, под колесом истории оказываются достойные".

Он посмотрел туда, где виднелся купол Тиргартенского дворца, будто прикидывал: не покачнется ли колесо, под которым рано или поздно окажется он, генерал Гальдер...

Перед мавзолеем Гинденбурга гусиным прусским шагом проходили в первомайском параде последние батальоны.

Когда мавзолей миновали войска, Гитлер вместе с генералом Шмундтом, старшим адъютантом, спустился к раненым ландзерам. Он здоровался с каждым из них за руку, затем прицеплял к мундирам Железные кресты, их нес Шмундт на серебряном подносе. Вождь успевал ободрить награжденного двумя-тремя словами, не забывал при этом и ласково потрепать счастливца по щеке.

Добродушная, отеческая улыбка не сходила с лица фюрера. Настроение у Гитлера было превосходное.

-5-

От осознания собственного бессилия и беспомощности ей хотелось заплакать... Это как во сне: пытаешься уйти от грозящей опасности — и не в состоянии ни пальцем шевельнуть, ни двинуться с места.

Но во сне нет-нет да и пробьется пока еще слабое, эфемерное, но снимающее страх соображение о том, что вот проснешься — и все кончится. А тут явь была такой ужасающе реальной, что Настя Еремина призывала на помощь остатки самообладания.

Под ее руками все рвались и рвались бледно-зеленые с синевой кишки, истончившиеся от постоянного недоедания, а теперь множественно проколотые острыми остьями овсяных зерен. Лежавший на операционном столе боец находился в наркотическом состоянии, и у Анастасии подспудно возникало глухое раздражение от того, что напрасно распылился в воздухе так бережно

сохраняемый эфир. Но военврач Еремина помнила и его запавшие глаза, залитые мукой, черные руки, охватившие раздутый живот, и жалобный шепот: "Доктор, пожалуйста... Доктор, пожалуйста!"

Теперь бы ему проклинать ту минуту, когда веселым зайчиком запрыгала мысль: как повезло! Брел красноармеец по лесной дороге и вдруг... Лежит на обочине кавалерийская торба, гусевский, видать, вояка обронил, их ведь через порядки 92-й дивизии выводили в тыл. Молодой воин, дурачок неискушенный... Столько дней голодать, а тут добротное зерно, не какой-нибудь заменитель из березовой коры, добрый овес, его и лошади кушают с аппетитом, и детей кашей подобной кормят. Мочи терпеть голодуху никакой, разумение о том, что с зерном сделать можно, не приобрел парнишка, городского был происхождения, образца двадцать третьего года, понимал лишь одно: перед ним пища. Вот и наглотался, едва пережевывая зерна овса из торбочки. Непереваренные желудком острые зерна проникли в кишечник и стали там разбухать, одновременно пронзая тонкие стенки.

Парень был обречен. И все же Настя пыталась его спасти. Она вскрыла брюшную полость, еще не зная, что там обнаружит. Хотела убрать часть пораженной ткани, соединить здоровые участки, но таких уже не было почти. Анастасия выводила набитые овсом плети, они рвались у нее в пальцах, и никакое врачебное мастерство уже не могло спасти красноармейца.

Подошел старший хирург, взглянул мельком, не теряй времени, сказал. Командных ноток в голосе его Еремина не уловила, вроде совет коллеги, значит, можно еще потянуть, тут и профессиональная честь задета, и парня жалко, хотя вон какая очередь увечных. Правда, поток раненых несколько поиссяк — армия перешла к обороне, но артобстрелы и бомбежки исправно калечат людей, война никому не дает передышки. И обидно: по-глупому пропадает мальчишка, не в священном бою, а вот так, от того, что съел не то и не так, как следовало бы.

Он пребывал в наркотическом сне, который и сном-то назвать нельзя, ибо в таком состоянии психика отключена наглухо, никаких, пусть и нереальных, просветов в обыденный мир. Не снилась красноармейцу мать, которой напишут: сын ее умер от ран, полученных в сражениях с немецко-фашистскими захватчиками у поселка Мясной Бор, что в Ленинградской области. Не смог перед смертью увидеть молодую жену Наташу, с которой сыграл свадьбу за неделю до войны. Так и не узнал Николай Петранков, бывший слесарь из

города Красноярска, что месяц назад родила ему Наталья сына, которого в честь отца назвали Николаем.

Для него все кончилось в тот момент, когда наркоз отключил сознание. Снова и снова пыталась исправить роковую оплошность Анастасия. Она выбилась из сил, понимала: нет никаких шансов, и продолжала работать. Нелепый сподобился случай, и так хотелось выцарапать у смерти бедолагу.

Снова возник старший хирург. На этот раз не сказал ни слова, лишь глянул удивленно на Анастасию.

Хотела Еремина глубоко вздохнуть, и даже грудь поднялась, принимая воздух. Но сдержалась, остановила на мгновение дыхание, осторожно выдохнула, расслабилась, усилием воли стерла произошедшее, знала по опыту: поступишь иначе — замучают воспоминания.

— Кто у нас следующий? — уже спокойно, переключаясь на иной случай, спросила Анастасия хирургическую сестру.

— Проникающее ранение грудной клетки, доктор.

— Хорошо, — промолвила военврач, она уже переключилась, быстрыми движениями убирала вовнутрь содержимое брюшной полости несчастного Петранкова. Зашивать не имело смысла, ему все равно, а время, цена которому жизнь другого человека, потеряешь.

— Снимайте, — сказала она санитарам.

Насте казалось, что забудет того несчастного красноармейца, чьи кишки так обреченно рвались в ее пальцах.

Но врач Еремина ошиблась. Она помнила его всю жизнь.

-6-

Первым провалился в воду Яков.

Восьмого мая вместе с Зуевым отправились они в 46-ю дивизию, к полковнику Черному в гости. Ехали верхом, бездорожье стало форменным бичом. Единственной магистралью, которая сообщала десятки частей сидящей в болотах армии с внешним миром, была построенная саперами майора Маркова узкоколейка. Дорога хоть и железная, только вот паровозы по ней не ходили, их просто не было. Облепляли груженый вагон полтора десятка красноармейцев и толкали его. Раненых вывозили на открытых платформах, клали в два ряда, стараясь того, кто побольше весом, положить вниз. Только все уже весили немного, истощились от голода и недосыпа: немцы затравили людей бомбежками и артобстрелами.

Дорога была одноколейная, про балластировку под шпалами мало кто думал, не до того, торопились. Поэтому вагоны с грузом в восемь — десять тонн часто сходили с рельс и валились в воду, она подступала к насыпи и справа и слева. Но хоть так, а дорога действовала. Выходила она из болот и леса и вела к Мясному Бору.

— А как же здесь местные жители ухитрялись сообщаться? — спросил Яков дивизионного комиссара, когда они уже часа полтора перемещались по залитому водой пространству, полагаясь на чутье и животную сноровку лошадей.

— В это время, Яша, они сидели на сухих островах и ждали, когда спадет весеннее половодье.

Еще в апреле, когда все вокруг потекло, Зуев часто беседовал со сторожилами, прикидывал, как спасти армию в невероятных условиях. Он понимал: воевать в болотах голодным бойцам и командирам невозможно, дивизии и бригады надо отводить к волховскому плацдарму. Но была у Ивана Васильевича особая обязанность. Смысл ее заключался в том, чтобы обеспечить выполнение любого приказа, который отдали или еще отдадут сверху. Правда, он надеялся на благоразумие начальства, оно ведь с предельной точностью осведомлено о тяжком положении 2-й ударной, тут комиссар не стесняется и в политдонесениях режет правду-матушку, не опасаясь прослыть паникером.

— Так они и сидели сиднем до лета? — удивленно воскликнул Бобков. — Ну и житуха... Не позавидуешь.

— Завидного мало, — согласился дивизионный комиссар. — Только ведь многие наши предки так жили. Когда славянские племена смещались к северу, они попадали в эти места, издавна населенные людьми, которые называли себя весью, от слова "веси" — вода, значит. Так и устраивались вместе, старались не ссориться, не было этого в заводе у нашего народа. В этом-то и есть наша сила, Яков: не зариться на чужое, принимать с уважением иные обычаи и привычки.

— А при Александре Невском все так и было, как сейчас? — спросил Бобков и левой рукой, свободной от поводьев, обвел вокруг.

— Если ты про болота, то все так и было, — улыбнулся Зуев, он ехал позади Якова, конь о конь здесь не пробиться.

Иван Васильевич подумал, что следует рекомендовать комиссарам и политрукам проводить беседы с бойцами о том крае, в котором они воюют. Вот статья в "Отваге" про битву на Чудском озере хорошо была воспринята в

частях. Надо бы еще и про Новгород рассказать. Только там сейчас фашисты. Древний город у воинов за спиной, армия рвется к Ленинграду...

"Рвется, — усмехнулся про себя Зуев. — Это, к сожалению, уже в прошлом..." Он снова вспомнил поездку в Малую Вишеру, генерала Хозина, который не сумел скрыть растерянности после того, как дивизионный комиссар доложил ему и Запорожцу о реальном состоянии армии.

— А что же генерал Власов? — спросил Михаил Семенович. — Ведь он так отличился под Москвой...

— Власов — не волшебник, — пожал Зуев плечами. — Под Москвой он командовал наступающей армией. А здесь принял у генерала Клыкова войска, которые вели беспрерывные бои свыше трех месяцев кряду. Да еще в таких сложных условиях...

— Надо что-то делать, — осторожно заметил Александр Иванович.

Запорожец хотел напомнить про стрелковый корпус, который Мерецков готовил на смену 2-й ударной, но что толку говорить о нем, если Хозин передал резервы в распоряжение Ставки.

— Пока переходите к обороне, приказ мы подготовим, — неуверенно сказал Михаил Семенович. — Потом будет видно...

С тем Зуев и улетел к болотным солдатам. А сейчас, когда узкоколейка заработала и в армию относительно регулярно стали поступать грузы, а из частей стали вывозить раненых, комиссар решил объехать передний край, встретиться с людьми, выяснить обстановку.

— Будь осторожнее, Яков, — предупредил он молодого спутника. — Не угоди в воронку...

И будто напророчил. Через сотню метров конь Бобкова ухнул в ледяную воду по самые уши. Провалился и застыл, только морду тянет вверх, чтобы не захлебнуться.

— Но! Но! — принялся понукать лошадь порученец.

— Сойди с седла! — крикнул Зуев, дергая собственного коня вправо, стараясь обогнуть случившуюся на пути ловушку.

Яков соскользнул с лошади, дна ногами не достал, не бросая поводьев, стал загребать рукой, чтобы плыть впереди застрявшего коня и помочь ему выплыть. Пока возился, забыл о комиссаре, а когда добрался до твердого дна, оглянулся и увидел, что Иван Васильевич плывет к берегу, а конь его пробирается следом: тоже провалились.

Нашли сухое место, принялись раздеваться, выкручивать одежду. Зуев подтрунивал над посиневшим от холода спутником, приговаривал:

— Это тебе, брат Яша, не в Испании воевать...

Про Испанию Бобков только в книгах читал, про Дон-Кихота знал и про то, как быков на стадионе убивают: "Тореадор, смелее в бой!.." И конечно, про мужественных республиканцев, про оборону Мадрида, в которой и комиссар участвовал. "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях".

— Тут и на танке не пройти, — рассуждал тем временем Зуев, и Яков знал, что ему можно верить на слово: в Испании комиссар был танкистом и республиканцев обучал, как воевать на броневых машинах.

Зуев переоделся в отжатую от воды одежду, а порученец еще белел в кустах кальсонами, пытался выкрутить досуха ватные штаны, которых так и не снял еще с зимы.

Неподалеку послышался женский смех. Парень присел со штанами в руках, а Иван Васильевич шутливо крикнул:

— Кто там прячется? Выходи и покажись старшему по званию...

Перед ним возникла молодая женщина в зеленых брюках, заправленных в обмотки, на ногах большие ботинки, шапка на затылке, прядь волнистых волос выбилась из-под нее. Ватная телогрейка с прожженной левой полой распахнута, и женщина принялась застегивать ее, едва заметила два ромба в петлицах незнакомца.

— Старшина медицинской службы Караваева! — бросив ладонь к виску, доложила девица.

— А зовут-то как? — спросил Зуев приветливо.

— Марьяной, товарищ комдив, — ответила она, но, заметив на рукаве Зуева звезды, поправилась: — Извините... Товарищ дивизионный комиссар!

— Все одно, — махнул рукою Зуев.

Марьяна верно уловила особенность ситуации, ее неофициальность, что ли, и крикнула Якову, все еще управлявшемуся в кустах:

— Да не смотрю я на тебя, парень! Надевай штаны спокойно... Иван Васильевич от души расхохотался.

— Видишь, Марьяна, в какую топь угодили. Где мы сейчас?

— В расположении медсанбата 46-й дивизии... Вон за деревьями наши палатки.

— А ты что здесь делаешь?

— Хотела клюквы прошлогодней раненым набрать... Да где там! Всю уже обобрали. Зуев помрачнел:

— Голодают люди... Знаю, знаю, милая девушка. Всем сейчас нелегко. Вот спасибо саперам — изладили дорогу. Завозим и снаряды, и продукты.

— С медикаментами худо, — добавила Марьяна.

— И про то наша забота. Ведь целая армия! Скольких накормить надо... Хвойный настой пьете?

— Обязательно пьем и бойцов заставляем...

— Это хорошо. Только цинги нам еще не хватало.

Хотела Марьяна сказать, что ею уже болеют красноармейцы, да не решилась, сообразила, кого повстречала. Начальство большое, ему, поди, и не до таких мелочей.

— Веди нас к командиру, русалка, — попросил мягким тоном Иван Васильевич. — Лошадей у вас оставим, а сами станем на своих двоих в штаб дивизии добираться. Так оно, видно, надежнее будет. Ты готов, герой?

Последний вопрос Зуев обратил к Якову, который выскочил на открытое место при полной амуниции.

— Так точно! — ответил порученец, оправившись от смущения и искоса поглядывая на красивую девушку с четырьмя треугольничками в петлицах.

— Тогда бери коней и двинемся.

Шли медленно, держа в руках длинные палки, часто проваливались по пояс в воду. До штаба полковника Черного добрались в сумерках.

Здесь им дали переодеться в сухое, напоили горячим чаем. Потом Иван Васильевич собрал командиров, судил-рядил с ними, как оборонять то, что они с немыслимым трудом отвоевали.

В три часа ночи противник неожиданно атаковал позиции майора Соболя.

— Странно, — сказал полковник Черный. — Там они обычно не рискуют лезть, ищут, где послабее.

— Разведка боем? — предположил дивизионный комиссар. — Может, проверяют: не отвели мы Соболя с этого участка?

— Наш Иван сейчас их убедит в том, что никуда он-таки не делся, — усмехнулся Черный.

Прошло около часа, и противник угомонился.

— Ишь ты, — сказал Зуев о немцах, — по ночам стали воевать. Придет время — заставим по нашим правилам драться.

"А пока, — подумал он, — сидим у моря в ожидании погоды... Вернее, увязли в болоте по уши. Или сами себя вытащим, или..."

Про это даже думать не хотелось.

— Послушайте, Кружилин, — сказал начальник Особого отдела, — вы знаете эти стихи?

Олег удивленно посмотрел на Шашкова. Он вспомнил, что в первую их встречу Александр Георгиевич говорил с ним о поэзии и даже читал вслух Надсона. За время совместной службы при не таких уж и частых встречах Кружилин успел составить впечатление об Александре Георгиевиче как о незаурядном, нестандартном человеке. Шашков не вписывался в схему, по которой обыкновенный пехотный командир, а им и был по существу старший лейтенант, судил о сотрудниках этого ведомства.

Прямо скажем, популярностью в армии особисты не пользовались. Их попросту боялись, а тех, кого боишься, нельзя уважать. Конечно, армия — не пансион благородных девиц, а на передовой во сто крат неуместнее понятия "любишь" — "не любишь". По жестокой необходимости существует армейская контрразведка, с которой у любого командира и красноармейца не может быть отношений, как у любимого зятя с тещей.

Все отлично понимали, что враг хитер и коварен, того и жди, учинит какую-нибудь пакость, это уж непременно. И про лазутчиков-парашютистов слыхали, и про шпионов-агентов помнили постоянно. Как тут без контрразведки обойтись? Но что со своими-то лютовать? Вот в бою тебя товарищ грудью прикрыл, на твоих глазах танк немецкий спалил, в рукопашной схватке фашиста достал штыком, да известно к тому же, что семья у него погибла под бомбой в одночасье, трудно тогда поверить, что был он рядом с тобой как изменник и враг народа. А все потому, что произнес у костра неосторожное слово, сказал в кругу своих, не было вроде никого из начальства рядом. А приходит вскоре уполномоченный, неотвратимый как судьба, и уводит с собой беднягу. Какая уж тут любовь к сотрудникам Особого отдела...

Кружилин вторую войну работал, опыта ему не занимать, теперь и сам при этом ведомстве состоял, и спецподписку у него взяли. По наивности он полагал, что теперь как бы свой и, вроде жены Цезаря, вне подозрения. Но как-то сержант Чекин, краснея и запинаясь, сообщил, что один из особистов настоятельно требует от него сообщать обо всех разговорах командира роты с бойцами.

— И чтоб вы об этом не знали, — выдавил из себя Степан. — Ну, про то, что я сообщаю...

— Разумеется, — усмехнулся Кружилин. — И что ты решил?

— Сказал, что подумаю... А мне тот особист строго говорит: "Тут и думать не о чем, ведь ты же комсомолец!"

— И это верно, — задумчиво произнес Кружилин. — Тогда соглашайся, Степа.

— Так это же... — Он хотел произнести слово, которое у них, мальчишек, еще в школе считалось самым позорным, но язык у Чекина не повернулся. — Я никогда им не был...

— И не будешь, — успокоил его командир роты. — Это военная необходимость, дружок. Парень ты грамотный, приметливый, что говорить тому товарищу, сообразишь.

"Значит, одного теперь знаю, — невесело подумал Олег. — А сколько их еще?.. Вот уж не думал, что и в такой роте будут стукачи, чтобы следить за особо проверенным командиром".

В обычной роте, которой он командовал прежде, в той роли, которую определили Чекину, был даже один из командиров взводов. [381] Олег случайно об этом узнал, не показав, разумеется, вида. Он иногда размышлял: почему к нему не обращались с подобными предложениями? И даже не подозревал, что за ним у особистов закрепилась недобрая слава "умника и вольнодумца". И Шашков, конечно, сильно рисковал, взяв Кружилина к себе на службу.

Сейчас он с интересом наблюдал за Кружилиным, который, с трудом скрывая недоумение, взял листок со стихами. Они были переписаны от руки двумя семистишиями аккуратным, писарским почерком.

— "Из крови, пролитой в боях, из краха обращенных в прах, из мук казненных поколений, из душ, крестившихся в крови, из ненавидящей любви возникнет праведная Русь", — прочитал Кружилин, оторвал взгляд от листка, посмотрел на Шашкова, облегченно вздохнул и улыбнулся. — "Я за нее одну молюсь, — читал он следующие строки, — и верю замыслам предвечным: ее куют ударом мечным, она мостится на костях, она светится в ярых битвах, на жгучих строится мощах, в безумных плавится молитвах".

— Хорошие стихи, — проговорил после некоторой паузы Кружилин. — Это написал Максимилиан Волошин.

— Не белогвардеец, часом? — осведомился Шашков, и было по всему видно, как хочется получить ему отрицательный ответ. — Душка ты тут не усматриваешь чужого?

— Ни в коей мере, — возразил Олег. — Известный советский поэт.

Тут он покривил душой, зная, что в известных Волошина официально не числят.

— Не слыхал, — вздохнул Александр Георгиевич. — Но если так говоришь... У меня в отделе только ты один из университета.

— Так я же не закончил его, товарищ комбриг, — протестующе сообщил Кружилин.

— Все равно грамотный, — усмехнулся Александр Георгиевич. — Даже слишком... Ну ладно, шучу. Спасибо тебе, Кружилин. Выручил меня. По поводу задания поговори с моим замом. Горбов уточнит детали. Свободен.

— Есть, — козырнул Кружилин, так и не поняв, зачем понадобилась Шашкову эта литературная консультация. Он так никогда и не узнает, что минуту назад спас жизнь двум молодым людям, которые имели неосторожность без ссылки на автора использовать стихи в письмах друг другу. Насте Ереминой писал военврач Баскаков, который не забыл той памятной встречи в медсанбате 92-й дивизии и продолжал посылать приглянувшейся ему девушке весточки.

Военный цензор счел безымянные стихи идейно сомнительными, если не хуже того, и сообщил уполномоченному Особого отдела. Тот, получив сигнал, завел соответственно дело-формуляр по имевшему место факту. Машина получила первый импульс и грозно, неотвратимо стала надвигаться на двух ни о чем не подозревающих молодых людей. Бездушный, а потому и безжалостный каток раздавил бы их беспощадно. Но сотрудники Шашкова знали о его слабости к поэзии, и на одном из звеньев этой цепи кому-то пришло [382] в голову потрафить начальству, подбросив ему нечто эдакое, возвышенное, что ли. Сигнал выделялся среди стандартных донесений о сомнительном анекдоте, рассказанном в окопах, или несчастном бойце, неосторожно обматерившем в сердцах колхозный строй после прочтения письма с намеками из дома.

А тут стихи... Командир, мол, в сем деле знаток, пусть он и решает. История раскручивалась нешуточная. Чьи стихи, зачем их привел в письме военврач Баскаков, какой в них смысл?.. Особенно "казненные поколения" смущали. Тут и Александр Георгиевич заколебался. С одной стороны, надо на экспертизу посылать, где тут знатоков литературы сыщешь. С другой — на смех могут поднять в инстанции. Шашкову, мол, делать больше нечего. А решение принимать надо. Тут и подвернулся Олег Кружилин... Ему начальник Особого отдела доверял не только по анкете, а еще и нутром чуял предельно своего, ограждал от недобрых поползновений, берег, возможности к тому у Шашкова, конечно, были.

Наложив резолюцию о прекращении "поэтического" дела, Шашков раскрыл папку, где лежали списки командиров, знающих немецкий язык. Списки были

составлены согласно циркуляру, полученному сверху и гласившему: ввиду особых обстоятельств, в которых находится 2-я ударная, при тенденции к ухудшению обстановки надо выявить всех знатоков языка противника и установить за ними негласный надзор.

"Так, — сказал себе Александр Георгиевич, прочитав казенную бумагу, — мы еще воюем, а нас уже приговорили..." Ведь что может для полуокруженной армии означать формулировка "ухудшение обстановки"? Только полное окружение. И тогда командир Красной Армии, знающий немецкий язык, оказывался по этой директиве потенциальным изменником, пособником врага.

Список был не так уж велик, германистов в Красной Армии, особенно тех, кто учился у немцев военному делу, давно уже вывели под корень, но кое-кого из новеньких включили сюда. Были здесь корреспонденты из "Отваги", переводчики из штабов, сотрудники разведотдела, кроме самого Рогова. Тот знал английский, и у Шашкова иронично проклюнуло в сознании: не будь Англия в союзе с нами, попал бы его сосед в агенты Интеллидженс Сервис.

Занесли в список и Кружилина, только еще в черновике Александр Георгиевич вычеркнул его фамилию. Так, на всякий случай. Пока Олег у него под рукой, он его в обиду не даст, но ведь и сам Шашков смертен, а списки пойдут наверх, где хрен его знает для какой цели их могут использовать.

Профессионал высокого класса, уцелевший от чисток и "санитарных рубок" в аппарате НКВД, Александр Георгиевич крепко усвоил: самое надежное дело — ни в каких списках не значиться вообще.

И в новом перечне "шибко грамотных и умных" Олег Кружилин уже не состоял.

Шашков вздохнул и занялся планом совместных с партизанскими отрядами действий за линией фронта. Ему переслали для ориентировки [383] копию рапорта командира отряда, состоявшего из студентов и преподавателей института физкультуры имени Лесгафта.

Едва он успел прочитать документ, вошел его новый помощник Ряховский.

— К вам просится начальник связи, — сообщил он.

— Просятся на горшок, парень, — усмехнулся Шашков. — Когда ты в себе военную косточку разовьешь? А еще милицией командовал.

До службы в армии Ряховский возглавлял райотдел под Гродно.

— Зачем мне да и моим костям еще одну мосалыгу, — отшутился тот. Он и вправду худ был до неправдоподобия.

— К вам генерал Афанасьев, товарищ майор государственной безопасности, — теперь уже четко доложил бывший милиционер.

— Пусть заходит, — ответил Шашков.

-7-

В начале мая, едва ландзеры отметили День труда, роту, где служил Руди Пикерт, охватило уныние. Их командира, обер-лейтенанта Шютце, ставшего гауптманом, перевели в соседний батальон начальником штаба.

Старик Вендель первым пронюхал через знакомого писаря, что новым их ротным назначен лейтенант Герман Титц.

— Ну, держитесь теперь, засранцы вы эдакие, — сказал Вендель солдатам, придя в блиндаж с новостью. — Этот славный вояка поубавит вам прыти, какую вы обрели при добряке Шютце.

— Почему, господин фельдфебель? — почтительно спросил Венделя новобранец Хорст Фельдман, занявший место пропавшего без вести Вилли. По иронии судьбы он тоже был крестьянином из Баварии, приученным к порядку и уважению к старшим.

— Старший фельдфебель, щенок! — рявкнул на него Вендель, любивший нагнать страху на желторотых.

Фельдман вытянулся во фронт и, заикаясь, попросил извинить его.

— Вольно! Садись! — смилостивился Вендель. — Распустились на фронте... Впрочем, тебе-то, Фельдман, некогда было распускаться, без году неделя на передовой. Тебя попросту недоучили в тылу. Ничего, лейтенант Титц устроит вам русскую баню...

— Не томи нас, Вендель, — примиряющим тоном попросил Руди, как старый солдат он мог себе позволить говорить с обер-фельдфебелем почти на равных, по крайней мере вне службы. — Почему нового командира роты считаешь монстром?

— Да потому, что он пруссак! — воскликнул Вендель. — А для любого пруссака, когда тот надевает военный мундир с офицерскими погонами, люди становятся оловянными солдатиками, независимо от того, сколько их у него в подчинении: взвод, рота, дивизия или целая армия. У надменных болванов особое устройство в головах: оно исключает заботу о том, чтоб воевать малой кровью.

— Ты знаком с лейтенантом Титцем? — спросил Руди Пикерт.

— Я знаю, что он пруссак — этого достаточно.

— Но ведь и Фридрих Великий был родом...

— Ну и что? — оборвал Руди на полуслове обер-фельдфебель. — У того счет вообще шел на миллионы...

Пикерт заметил, как испуганно округлил Хорст Фельдман глаза, и перевел разговор, резонно полагая такой поворот разговора опасным.

— Интересно, а у русских есть свои пруссаки?

— Главный пруссак у русских — Сталин, — неожиданно для всех и прежде всего для самого себя выпалил и пунцово зарделся юнец Фельдман.

— Дурак, — сплюнул в угол Вендель, а Руди Пикерт от души захохотал. Едва успел отсмеяться, как за дверью блиндажа послышались голоса. Ушлый Вендель шестым чувством учуял: начальство... Свирепо глянув на ландзеров, он вскочил с места, поправил мундир и застегнул распахнутый ворот.

Солдаты только успели привести себя в порядок, как дверь распахнулась и в блиндаже стало тесно от вошедших в него офицеров. Здесь оказались и их новый ротный с застывшим, ничего не выражающим лицом, и офицер пропаганды, и майор Гельмут Кайзер, батальонный командир. Он и представил ландзерам среднего роста человека лет пятидесяти или около того, одетого в офицерскую шинель без знаков различия и суконную шапку-кепи, похожую на головной убор альпийских стрелков.

— Солдаты! — несколько торжественным тоном сказал майор Кайзер, — К нам на фронт прибыл почетный гость, наш германский писатель, член Имперской палаты словесности господин Иоганн Ширрваген... Выполняя поручение самого фюрера, он напишет книгу о доблестных воинах Волховского фронта.

"Сам фюрер" такого поручения Ширрвагену не давал, но тот оспаривать слова майора не стал, позволил себе лишь тонко улыбнуться. Впрочем, у него имелось предписание рейхсминистра пропаганды, оно ведь тоже значило немало. Кайзер глянул на офицера пропаганды, и тот глазами указал на Руди Пикерта, которого знал лично. Командир поманил саксонца пальцем, и тот, браво выпятив грудь, шагнул вперед.

— Тот самый храбрый солдат, который перехитрил русских и вернулся в родной батальон с оружием противника в руках, — представил Пикерта майор. — Поступаете в распоряжение господина Ширрвагена, солдат. Лейтенант Титц! Распорядитесь...

-8-

Вид у генерала Афанасьева был подавленный и изнуренный. Вошел он как-то боком, виновато глянул на Шашкова и на предложенный чекистом стул уселся робко, осторожно.

— Что с тобой, Алексей Васильевич? — спросил начальника связи армии Александр Георгиевич. — Вроде как с повинной явился ко мне...

— Да оно вроде так и есть, — слабо улыбнулся Афанасьев.

— Тогда выкладывай, — подмигнул генерал-майору Шашков. — Повинную голову меч не сечет...

— Это верно, — согласился начальник связи. — Я как за щитом к тебе, Александр Георгиевич, только неофициально. Посоветоваться надо... Попал в пиковое, понимаешь, положение.

И Афанасьев рассказал Шашкову, что служил он во время оно вместе с нынешним командармом в одной дивизии, был тогда нынешний генерал-лейтенант Власов командиром полка.

— Еще до тридцать седьмого года, — многозначительно уточнил Алексей Васильевич.

— Так это же замечательно! — воскликнул Шашков. — Встретились бывшие сослуживцы...

Начальник Особого отдела лихорадочно пытался сообразить, с чем пришел к нему этот человек, ибо просто так к нему в кабинет не ходят, даже и предупреждая о приватном характере визита. Генерал этот не о ком-нибудь, о самом командующем затеял разговор! И лучше пока подольше прикидываться простачком...

— С одной стороны, — согласился начальник связи. — Но тут заковыка в том, что я был в составе тройки, которая занималась чисткой армейских партийцев. А Власов, значит, того... Подлежал рассмотрению.

— И что вы с ним решили? — осторожно спросил Александр Георгиевич.

— Оставить в партии. Несмотря на происхождение...

— А что у него с этим вопросом? Справку в газете "Отвага" читал? Из семьи крестьянина-кустаря. Почти пролетарий из сельской местности. У них, нижегородских, к кустарным промыслам особое пристрастие.

— По нашим данным тогда выходило, что кулак у него батя... Корову имел и в колхоз ее сдавать противился.

— А как сын это объяснял?

— В отпуск, говорит, с женой приезжал, это еще до начала коллективизации было, и купил отцу корову в подарок. Ее тот и не хотел сдавать. Но все одно раскулачили, хотя и высылке не подвергали. Потому по документам в кулаки его отец не попал.

— Так вы по документам чистили или еще по каким бумагам? — спросил Шашков.

Разговор принимал неприятный характер и начинал раздражать Александра Георгиевича, который никак не мог понять, чего добивается Афанасьев. Но чекист заставлял себя терпеливо слушать и расспрашивать начальника связи.

— Имелось и еще кое-что, — уклончиво ответил Алексей Васильевич. — До революции старший Власов церковным старостой состоял...

"Значит, уважали его односельчане", — подумал Александр Георгиевич, но вслух ничего не сказал.

— Брат его Иван замешан был в заговоре, еще в гражданскую войну, — продолжал Афанасьев. — Приговорен к высшей мере. А еще сам Андрей Андреевич духовную семинарию закончил...

— И не только он, — усмехнулся Шашков.

— Что? — вскинулся Афанасьев и, сообразив, испуганно закивал: — Да-да... Это, конечно, не факт. Я понимаю...

— Так о чем ты печешься, Алексей Васильевич? — теряя терпение, но сохраняя дружелюбный тон, спросил Шашков. — Вычистили вы нашего командарма из партии или нет?

— Оставили, — уныло сообщил Афанасьев. — Двое были за то, чтобы оставить... А третий против них голосовал. Вот он и сидит сейчас перед тобой. Соображаешь?

— Да, — протянул озадаченно Александр Георгиевич. — Дела, брат, твои... И генерал об этом знает?

Начальник связи кивнул. Впрочем, и Шашков спросил только для проформы. Хорошо ведь понимал, что Власову известен товарищ по партии, настаивавший на исключении его из рядов. Александр Георгиевич неоднократно присутствовал на таких публичных партийных казнях, где члены тройки открыто высказывались "за" или "против".

— Что же мне теперь делать? — с тоской спросил Афанасьев.

Шашков пожал плечами. Что он мог ответить? Посоветовать разве... Только связист, видимо, ждет вовсе другого. А чего ждет Афанасьев от начальника Особого отдела?

— Я к тебе как партиец к партийцу, — подсказал ответ начальник связи. — Посоветуй... Может, объясниться с командармом? Шашков покачал головой. Это и вовсе выходило глупо.

— Он тебе хоть чем-то дал понять, что помнит? Или намекал как?.. Я про Власова говорю.

— Ни боже мой... Будто и не было ничего. Делает вид, что никакого конфликта не сотворилось.

— Ну, вот и ты делал вид, Алексей Васильевич, — поднимаясь из-за стола, энергично заключил Шашков. — Служи и ни о чем таком не думай. Командующий, если и помнит, то молчанием дает понять: забудь. Мало ли что было. Воевать надо, а не прошлые тебе ошибки вспоминать, ему — обиды.

"А чего же он к комиссару, к Зуеву, с этими сомнениями не пошел? — подумал Александр Георгиевич. — Дело-то партийному ведомству ближе. Хитер связист..."

— Бывай, Васильич, — вслух сказал он, протягивая руку гостю. — И будь спокоен. В случае чего считай: сигнал я от тебя получил.

-9-

На целых три дня освободил майор Кайзер бравого саксонца от службы, велев сопровождать писателя Ширрвагена, пока тот работает в их батальоне. Заодно надо поделиться впечатлениями о пребывании у русских. Не так часто встречаются на фронте солдаты вермахта, сумевшие уйти из рук врага.

Доктор Ширрваген обрадовался возможности свободно выспросить подробности о противнике у человека, побывавшего на той стороне. Сказочная удача! Он утрет нос коллегам по Имперской палате словесности, у которых есть, конечно, неплохие работы о героизме германских солдат в России. Но вот никто еще до него, доктора Ширрвагена, не додумался изобразить русских фанатиков изнутри! Не голодных, в оборванной одежде пленных за колючей проволокой лагеря, а тех, кто еще жив и здоров, стреляет в них, доблестных защитников рейха и европейской культуры. [387] — Боюсь, что мало чем могу помочь вам, доктор, — сказал Руди писателю, когда тот поделился с ним творческими планами. — Показать русскую армию изнутри — дело архитрудное. Наверное, как и ихнему Эренбургу написать про нашу роту.

— Вы знаете имя главного пропагандиста противника?

— Русские часто цитируют его в листовках.

— Но ведь он призывает убивать всех немцев подряд?!

— Вы меня не поняли, доктор, — улыбнулся Руди. — В листовках для немцев его, конечно, не цитируют... Офицер пропаганды показывает мне переводы тех

листовок, которые распространяет противник для собственных солдат. И потом, книги Эренбурга выходили когда-то в Германии. Я, кажется, читал что-то его.

— Понятно, — сказал Ширрваген. — С Эренбургом мы выяснили... Кстати, почему бы вам, юноше, почти закончившему университет, не служить по ведомству пропаганды? Я могу за вас похлопотать...

— Спасибо, доктор. Боюсь, что это не мое призвание. Ведь мне довелось изучать богословские науки. Родители мои были набожными людьми. А мне захотелось изучать философию, чтобы постичь смысл жизни. Не решил я для себя только одно: останусь мирянином и стану, скажем, преподавателем в университете или приму сан и буду совмещать углубленные занятия философией с врачеванием душ прихожан? Но фюрер предложил мне третий путь. И вот я здесь, в России, уж скоро год сражаюсь за идеалы национал-социализма, хотя и не состою в партии.

— Так вам цены нет как пропагандисту! — вскричал Иоганн Ширрваген. — Я лично доложу о вас доктору Геббельсу, рейхсминистру! И вам немедленно присвоят офицерское звание, Пикерт!

— Оставьте меня здесь, с моими товарищами, доктор, — улыбнулся Руди. — Пусть я изопью отмеренную мне чашу до дна. С удовольствием расскажу вам о том, что видел у русских, хотя, может быть, это не совсем то, о чем вы хотели бы узнать. Ни пыток, ни угроз расстрела... Рогов у иванов я тоже не видел.

— Ценю ваш юмор, Пикерт, и все-таки не могу понять, что держит вас в окопах...

— Хотите откровенно? Впрочем, я честно выполняю солдатский долг, тут меня никто не упрекнет. И дело не в идеологических расхождениях. Я верный слуга фюрера и рейха. Но еще и христианин. Мне приходится убивать неверующих русских, потому как на мне военная форма, они мои противники, враги. И я понимаю, что национал-социализм возник как естественная реакция на изжившую себя буржуазную демократию. Фюрер сумел создать в Германии бесклассовое общество, честь ему за это и хвала. Но я не могу согласиться с тем, что право на существование принадлежит только избранному народу. Христианская мораль, господь наш учат равенству всех людей, уверовавших в бога. А я верю в Иисуса Христа. Вот это противоречие и мешает мне стать офицером пропаганды.

— В ваших словах есть нечто, — задумчиво произнес Ширрваген.

— Поймите, доктор, чтобы забыть о собственной вере в бога, я должен признать господом нашего вождя. Но возможно ли такое?

"Еще как возможно", — мысленно усмехнулся писатель.

— Мне кажется, и фюрер был бы против того, чтобы его называли богом, — закончил Пикерт.

— Вы правы, Руди, — домашним тоном, проникновенно сказал Ширрваген. — Фюрер — земной человек, такой же внешне, как мы с вами. И в этом его подлинное величие.

"Аминь, — завершил про себя Пикерт. — Не слишком ли я откровенен с этим борзописцем?"

Доктор ему нравился раскованностью мышления, что было довольно редким явлением, и ума у писателя доставало. Руди давно не общался с эрудированными людьми, но береженого, учили его в детстве, и ангелы берегут.

— Конечно, — продолжал Ширрваген, — фюрер не является богом в общепринятом смысле. Но как существо, которому всецело доверяют люди, он бог для девяти из десяти немцев. Если же фюрер выиграет и эту, последнюю, войну, он станет богом для всей германской нации. — Писатель усмехнулся. — А вы, значит, тот самый десятый немец?

— Десятый, — спокойно согласился Руди. — Но тот, кто никогда и ни при каких обстоятельствах не оставит фюрера в беде. Даже если...

Саксонец хотел сказать, что и в том случае, если усомнится в правоте вождя, но доктор Ширрваген поднял руку.

— Не продолжайте, — сказал он. — Я понял... И, поверьте, оценил вашу искренность, камрад.

Писатель употребил это слово, такое привычное в солдатской среде, с неким неуловимым для Руди Пикерта оттенком, и с этой минуты между ними возникла незримая связь не только интеллектуальной, но и нравственной сообщности.

— Скажите, доктор, — спросил саксонец, меняя тему разговора, — верно ли, что рейх покинули известные прежде писатели?

— Уехали в основном расово неполноценные литераторы, — спокойно ответил Ширрваген, который на четверть был евреем и по евгеническим принципам, возведенным в рада государственного законодательства, подлежал немедленному исключению из Имперской палаты словесности. Но его дед по материнской линии, от которого Ширрваген и получил неарийскую "четвертушку", уже два или три поколения числился немцем. Дед считал себя евреем только в историческом смысле, происходил от библейского народа, но резонно и справедливо полагал, что поскольку вырос в условиях немецкой

культуры и думает на немецком языке, то и есть самый что ни на есть "дойч" по разуму своему и сердцу.

К счастью, дед никогда не делился подобными соображениями с окружающими, и потому те и не подозревали о его исторических корнях. Не возникло расовых проблем и у его внука, который, увы, знал правду о деде, но с фатальной обреченностью не думал, к какому концу приведет его банальная по сути история, и пока честно и добросовестно служил фюреру и рейху.

— Но кто-то ведь остался! — повторил вопрос иначе дотошный саксонец.

Он неплохо знал немецкую классику, читал книги братьев Маннов, обоих Цвейгов, Лиона Фейхтвангера и, конечно, Ремарка. До их изъятия из обращения в рейхе, конечно. Теперь они жили в эмиграции, о них в Германии попросту забыли, и Руда хотелось узнать, кто же все-таки из среды известных литераторов принял идеи национал-социализма.

— Ганс Фаллада, Герхарт Гауптман, Бернхарт Келлерман, — со вкусом произнес фамилии известных писателей доктор Ширрваген. — Титаны немецкой литературы! Представьте себе, Пикерт: расовый паспорт Фаллады прослеживает его чистую родословную с семнадцатого века. Иначе б его не приняли в нашу Палату. А писателям-евреям пришлось уйти... Их бытие немыслимо в нашем рейхе! Вы помните, как наш рейхсминистр пропаганды в одной из речей охарактеризовал обобщенный тип еврея? Сейчас я вам это прочту, Пикерт... У меня записано в блокноте. Вот, послушайте: "Враг мира, разрушитель культуры, паразит среди народов, сын хаоса, средоточие зла, фермент разложения, демон, несущий в себе начало упадка человечества". Что вы скажете на это?

Руди Пикерт пожал плечами.

— Я христианин, доктор Ширрваген, — ответил он.

Они находились в блиндаже, который командование выделило Ширрвагену для работы. Последний предложил расположиться здесь и бывшему студенту. Разговаривать тут было удобно, писатель и солдат не заметили, как пролетело время, и часы доктора показывали третий час ночи.

— Пора ложиться спать, — сказал доктор Ширрваген. — Как говорится, у утреннего часа золото во рту.

-10-

Выдалась у Марьяны небольшая передышка.

— Разрешите сходить в деревню, — попросилась она у командира медсанбата. — Может быть, съестного раздобуду. Страх один на раненых смотреть, оголодали вовсе. И санитары движутся шатаясь, вроде хмельные...

— Окстись, девка, — простецки ответил Марьяне Ососков и вяло отмахнулся, от недоедания тоже ослаб, экономил силы. — Какая еда в деревне?! Аль не видишь, как ребятишек, беженцев подкармливаем? Да и на себя посмотри: на кого стала похожа. Кожа да кости...

— Были бы кости, товарищ командир, а мясо нарастет, — отшутилась Марьяна. — Нам, женщинам, полегче голодуху выносить, мужики скорее сдаются... Я больше на огороды надеюсь. Может быть, там и взошло чего.

— Ты забыла, где находишься, старшина, — вздохнул комбат. — Новгородчина ведь, почти что север... Что тут вырастет в середине мая?

— На щавель надеюсь, он раньше прорастает, пощиплю где придется. Вдруг заячьей капусты наберу или кислицы?

— Тогда иди, — разрешил Ососков. — Коль всю энергию не сработала еще — действуй.

Деревня, куда направилась Марьяна, была недалеко. По прежним временам за полчаса бы дошла. А тут от слабости ноги дрожат. Хотела подсесть в попутную машину, но та мучительно, с великой натугой одолевала колдобины и залитые водой ямы. Она поняла, что на своих двоих все же быстрее доберется.

Поселение было хуторского типа — одна улица вдоль дороги, за домами, на берегу речки, лежали огороды. Сохранилось здесь целыми домов пять, добротные пятистенки или крестовики с большими окнами, украшенными резными наличниками. В домах расположился полевой госпиталь, забиты ранеными были и подворные постройки. Стояли палатки, такие, как у них в медсанбате, и во дворах, в затынной части усадеб. Остальные хаты были разрушены, выглядели страшно. Стены вывалены разрывами бомб и снарядов, домашний скарб разметало по сторонам, все обезображено и бесстыдно обнажено. Сохранившиеся изгороди палисадников, в которых кустилась черемуха и сирень, только подчеркивали мерзость запустения, которое неотступно, неотвратимо надвигалось на бывшие человеческие жилища.

Повсюду стояли заполненные коричневой водой огромные воронки. В них плавали разбухшие трупы лошадей — прибежища зеленых мух, слетавшихся к обильной падали. На местах, где посуше, хоронили в братских могилах умерших от ран. Погибших в бою здесь не было, этих зарывали у переднего края.

Марьяна свернула к одному из таких свежих холмиков, под которым, судя по записям на фанерной дощечке, прибитой к колышку, лежало до трех десятков несчастных. Фамилии их нанесли химическим карандашом, но весенние ливни превратили трагический мартиролог в размытое, с потеками, пятно. Она попыталась прочесть фамилии, но кроме отдельных слогов и букв разобрать ничего не сумела.

Здесь, на сухом приподнятом месте, густо росла, стелилась зеленым ковром заячья капуста, мелкие трилистники сплошь закрывали землю между могилами. Мелькнула у Марьяны мысль раскрыть прихваченный вещмешок, набить его скорее живительной травой, но подумала, что нехорошо так будет. Понимала: предрассудки, а рвать траву над захоронением не смогла.

Обойдя развалины одного из домов, Марьяна вышла к огородам и прошлась по обнажившимся из-под снега, порою уже просохшим грядкам, которых не коснулась весной рука человека, и потому безжизненных, даже не разрыхленных. Грядки были пустыми, командир оказался прав, искать здесь что-либо напрасно. Но возле изгороди она увидела бледные листки щавеля. Отщипав побеги, Марьяна спустилась к реке и нашла поляну, заросшую желтыми цветками, что первыми появляются после зимы.

Ей вспомнилось, что из таких же одуванчиков варят варенье. Но вот как это делается, Марьяна не знала. "Это же не одуванчики, — одернула она разыгравшееся воображение, и тут возникла перед глазами глиняная миска с гречневой кашей, залитой горячим, дымящимся молоком и такой аппетитной пенкой. — Это другие цветы... Одуванчики будут позднее".

Она сорвала несколько цветков и спрятала их в кармашек гимнастерки, покажет доктору Сидорову, тот сказывал, что ботаником был еще до того, как в медицину подался. Серьезный такой военврач, хотя и молодой еще, на место погибшего Саши Свиридова прибыл.

"Наверное, от голода память стала плохая, — вяло думала Марьяна, собирая заячью капусту и щавель на огороде третьей или четвертой по счету избы. — Никак не вспомню название цветка. Знаю, что двойное какое-то название... И больше ничего на ум не приходит. Конечно же, это еще от того, что соли давно у нас нет. А что говорит медицина про обессоливание организма?"

Тут и огород кончился, и щавеля больше не было, хотя мешок она заполнила едва наполовину. Вышла к целому дому, во дворе — сарай, правда, без крыши. Здесь было полно раненых и, судя по всему, только что привезли еще партию. Во дворе громко спорили два военных врача: один молодой еще, высокий и

симпатичный, в сапогах со шпорами, а второй маленький, с рыхлым, а может быть, опухшим от голода лицом, с красными от бессонницы глазами.

— Какой кретин отдал такое распоряжение? — кричал, срывая голос, опухший, и Марьяна поняла вскоре, что это начальник полевого передвижного госпиталя. — Как можно передавать раненых мне, сидящему в болоте, из части, уходящей в тыл?

— Вы, пожалуйста, без намеков, — спокойно объяснил ему врач со шпорами и предостерегающе повел взглядом вокруг. Марьяну они пока не замечали, а раненые на носилках, установленных во дворе, маялись собственными болячками. — Команду мы получили из санупра фронта. Корпус выходит на переформирование к Мясному Бору. Транспорта у нас нет, легкораненых берем с собой, долечим по дороге. А вот лежачих...

— Сбагриваете мне? А чем кормить? Опять же медикаменты... А потом что с ними будет, если не дай бог...

Начальник госпиталя не договорил и теперь, в свою очередь, беспокойно оглянулся по сторонам: не слышит ли кто паникерские рассуждения. И тут вдруг увидел Марьяну.

— Почему не на рабочем месте? — строго спросил он. — Марш к раненым! Откуда мешок? Фамилия? — И не дав Марьяне ответить, сестра несколько растерялась от выпаленных разом слов, добавил: — А почему я вас прежде не видел?

Марвяна доложила, кто она и откуда. И собралась уже уходить, когда высокий, со шпорами на сапогах, сказал ей: задержитесь, старшина, имею к вам отдельный интерес.

Врачи поспорили немного, и стало Марьяне понятно, что тот, кто в этом дворе хозяин, начальник хирургического передвижного полевого госпиталя. А второй из кавалеристов, уходящих на Большую землю, начальник медсанэскадрона.

— Сдавайте ранбольных, — устало махнул начальник госпиталя.

И пошел со двора, на ходу потирая опухшую щеку.

А врач из конников отдал команду выскочившему из-за угла избы молодцеватому парню в кубанке и, конечно же, со шпорами на сапогах, а сам подошел к Марьяне.

— Значит, вы из Сорок шестой, сестрица? — ласково улыбаясь, сказал он. — Правильно я вас расслышал?

— Слух у вас отменный, товарищ военврач второго ранга, — улыбнулась в ответ Марьяна. — Могу я быть свободной? Меня в медсанбате, поди, хватились...

— И я о том же, старшина, — посерьезнел доктор. — Ах да, надо себя назвать... Михаил Мокров, командир медсанэскадрона. Про конников-гусевцев слыхали?

— А кто про них не слыхал... Говорят, немецким танкам стволы у пушек саблями отсекали. Верно?

Мокров рассмеялся:

— До этого не доходило, но похожее случалось. Есть у вас в санбате Сидоров, военврач?

— А как же! Анатолий Никитич...

— Вот елки-палки! Это же мой однокашник! Повидаться бы... Случайно узнал, что он у вас. Не успею, наверное. А жалко... Он посмотрел на часы.

— Да мы ведь рядом стоим, — сказала Марьяна.

Очень ей хотелось, чтоб повидались друзья. Она хорошо знала цену таким встречам. И Мокров понравился Марьяне. "На Олега чем-то похож", — подумала она. Все мужчины, которые гляделись ей, напоминали Марьяне Олега.

— За два часа успеем? — спросил Мокров.

— Свободно, — ответила молодая женщина.

— Тогда пойдем, дорогу покажешь.

Марьяна шагнула вперед, и вдруг ее так шатнуло, что она повалилась на руки военврачу.

— Голодная небось, — утвердительно спросил подхвативший ее Мокров.

Старшина медицинской службы высвободилась из рук доктора и виновато кивнула.

— Расклеилась немножко, — слабым голосом, приходя в себя от короткого голодного обморока, объяснила она.

— На вот, погрызи. — Мокров протянул ей большущий, с ладонь величиной, сухарь. — А то ведь и не дойдешь до родного дома. Зубы острые? Цингой не повредила?

— Что вы! — оживилась при виде сухаря Марьяна, откуда и силы взялись. — Мы ведь хвойный отвар регулярно пьем, тем и сами спасаемся, и ранбольных вызволяем.

— Матерят они вас, поди, — усмехнулся Мокров.

— Не без того, — согласилась Марьяна. — А что поделаешь? Терпи... Они ругаются, а мы ласково: еще кружечку, миленький. Военврач с интересом посмотрел на Марьяну. Они выбрались уже на обходную дорогу, по деревне сейчас не ездили, улица ее была завалена обломками разрушенных домов, изрыта огромными воронками от крупнокалиберных бомб.

— С толковой сестрицей служит мой однокашник, — заметил врач-кавалерист. — Жаль, что следуем в пешем порядке, лошадей вам на прокорм оставили.

— И что бы тогда было? — усмехнулась Марьяна.

— Через седло б перекинул и в эскадрон... За такую сестру милосердия ничего б не пожалел. В хирургическом взводе небось?

— Шоковая я, товарищ военврач.

— Ого, — с уважением глянул Мокров. — Тем более... Может быть, добровольно перейдешь?

— Не в нашей это воле, доктор, — уже по-домашнему ответила Марьяна. Спутник нравился ей все больше, не чета их толковому, но вовсе не такому душевному Ососкову. И манеры у последнего не те, мужиковатый у них командир. А этот... Сразу видно — кавалерист. Лихой гусар, если по-старому считать, о чем Марьяна знала из книг писателей прошлого века.

А гусар Мокров промолчал, соглашаясь, покачал головой и вздохнул. По дороге, прежде пустынной, двигались машины, покрытые брезентом, вперемежку с тягачами, которые тащили за собой небольшие пушки. Это уходили из мешка противотанкисты.

Вот и дивизион Дружинина. Сейчас тягачи с сорокапятками двигались мимо остановившихся на обочине Марьяны и Мокрова. Младший политрук увидел их, велел водителю притормозить и пригласил их к себе в кабину.

— Такси подано! — галантно сообщил он и жестом предложил Марьяне садиться.

"Где-то я видел эту сестричку", — подумал Дружинин, давая знак водителю трогать. Проехали вместе недолго, Анатолий так и не успел припомнить, где встречался с медсестрой.

— Далеко ли путь держите? — спросил Мокров у младшего политрука, так любезно пригласившего их в вездеход.

— Военная тайна, — усмехнулся Дружинин.

— А если угадаю?

— Попробуйте, доктор, — рассмотрел Анатолий змею с чашей на петлицах Мокрова.

— Сосредоточиться в лесу юго-западнее Кречно, — приказным тоном вдруг произнес военврач.

— Есть сосредоточиться! — лихо ответил Дружинин и рассмеялся.

Водитель вездехода крикнул политруку, и тот, приоткрыв дверцу, задрал голову, посмотрел наверх.

— Сволочь, — сказал он, — выследил колонну! В небе кружил корректировщик.

— Проклятый костыль! — выругался Анатолий и в сердцах захлопнул дверцу. — Приготовьтесь выскакивать, ежели что... Потом, беззаботно улыбаясь, спросил:

— А что, доктор, это правда, будто человек может обходиться без пищи аж целых сорок дней?..

Ответа Дружинин не дождался. Справа от дороги взметнулся огромный столб воды. Вездеход резко дернулся и остановился.

Марьяна опомниться не успела, как ее вынесла из вездехода могучая неведомая сила и кинула в вонючую жижу болота. Там уже барахталось несколько артиллеристов. Благо не глубоко, всего по пояс.

Впереди ахнул взрыв и высоко взметнулось рыжее пламя: в один из ЗИСов, загруженных бочками с бензином, попал снаряд. Бочки и автомобиль разнесло напрочь, легкий бензин, схватившийся огнем, разбросало по болоту, и оно загорелось. Раздались крики тех, кого достал неумолимый жар. Марьяна, потрясенная, смотрела на гигантский костер.

Языки огня расползались по воде, настигая людей, на некоторых из них загоралась одежда и ее помогали тушить те, кто оказывался рядом. Другие спешили прочь, с трудом выдирая ноги из вонючей тины, проваливаясь в невидимые воронки, падая лицом в грязь.

Марьяна попыталась выкарабкаться из болота. Ее ухватил за руку появившийся откуда-то Мокров. Вытянул на дорогу и велел оставаться у вездехода, развернуть аптечку: придется оказывать помощь обожженным бойцам.

Тем временем остатки разбитого ЗИСа столкнули с дороги. Пламя угомонилось. Пришел военфельдшер дивизиона, стали прибывать пострадавшие. Марьяна с фельдшером начали обрабатывать ожоги. У многих обгорели брови и ресницы, опалило волосы.

— Ну вот и дело нам нашлось, — спокойно сказал Мокров, когда обработали последнего обгоревшего. — А мешок твой, сестрица, целый?

— Вот он, — отозвался водитель вездехода, — в сохранности. Мешок с травой лежал на сиденье командира расчета.

— Вези витамины раненым, — улыбнулся врач-кавалерист, — а я обратно... Толе Сидорову привет. Мою фамилию не забыла?

— А как же к нам?.. Вы ж хотели повидаться...

— Теперь не успею. Кто знал, что нас приключение ждет. Никитичу кланяйся. Мокрова, мол, повстречала.

— Он ведь у нас ботанику знает, — вовсе некстати произнесла Марьяна и вдруг встрепенулась. — Я же ему цветочки несу! Никак не могу вспомнить, как называются... Двойное название какое-то.

Она расстегнула карман мокрой гимнастерки, достала жалкие остатки желтеньких, теперь измочаленных цветков.

— Двойное название, говоришь? — переспросил Михаил Мокров. — Верно... Мать-и-мачеха их зовут... Не такой я ботаник, как Сидоров, но хоть это, а помню.

— И верно, — обрадовалась Марьяна. — Спасибо вам, доктор. Встретимся после войны — пойду к вам в больницу работать.

— Ловлю на слове, — искренне обрадовался военврач. — И младший политрук тому свидетель...

-11-

Бои в Мясном Бору не прекращались. Звуки канонады, бомбовых разрывов доносились с востока, и бойцы гнали от себя растущее смятение, ибо сражение шло уже там, где полагалось быть тылу.

После падения Еглино части 2-й ударной оставили западный выступ и отошли на новый рубеж обороны, передовые позиции которой заняли 382-я стрелковая дивизия и 59-я бригада с ОСБ на левом фланге. Пришлось оставить и село Дубовик, где прежде был штаб кавкорпуса. Со стороны Красной Горки сдерживали натиск немцев сразу три стрелковых дивизии и одна отдельная стрелковая бригада. По двухсоткилометровому обводу мешка развернулись и другие части, в том числе и дивизии соседних армий.

...Мерный, нестихающий гул сражений в мясноборовском коридоре доходил и до Новой Керести, где разместилась армейская газета. Деревень со словом "Кересть" в названии вокруг было несколько — Глухая и Малая, Сенная, просто Кересть. Виктора Кузнецова удручало, что по законам военной цензуры ему приходилось вычеркивать из газетных материалов необычно звучавшие названия населенных пунктов. Ведь за каждым из них целая история! Вот бы вернуться сюда после войны в компании топонимиков и разобраться, почему

так называется Финев Луг, что означает Кречно, какая связь с днями недели у Пятницы, как родилось Подсосонье, откуда взялись Земтицы и Теремец Курляндский, что такое Огорели, Вдицко, Сустье Полянка, Тигода и Пустое Рыдно, рядом с которым есть еще и Рыдно Жилое.

Кузнецов никому из товарищей об этом не говорил, потому как был по натуре сдержан. Виктор не умел раскрываться, стеснялся бурных проявлений чувств, на что горазды были некоторые его коллеги из "Отваги". Но рассказы друзей слушать любил, умел сопереживать, а это великое свойство, далеко не каждый им наделен. В тех, кто хотел ему выговориться, у Кузнецова не было недостатка. Потому, несмотря на подначки и заглазное прозвище "сухарь", ответ. секретаря в "Отваге" по-своему любили.

Вчера Борис Бархаш и Николай Родионов летали на По-2 за Волхов. Редактор хотел дать материал о летчиках, помогающих бойцам выстоять в проклятых болотах.

— Хреново помогают, — заметил Николай, — но чем могут... И на том спасибо.

Они побывали на аэродроме, нашли отличившихся, а ночью подались домой. Рассказывали о перелете через Мясной Бор в разное время, каждый отдельно, и Кузнецов еще раз подумал, как неодинаково люди видят войну и как по-разному о ней станут писать, когда она закончится и все дальше станет уходить в прошлое. Вот эти оба, два журналиста, втиснутые в крохотную кабинку фанерно-тряпочного По-2, видели одно и то же. А как отличалось то, что говорили они Кузнецову!

— Ночной бой в коридоре — удивительное зрелище! — рассказывал Бархаш. — Цепочки трассирующих пуль, взлетающие ракеты, вспышки разрывов... Праздничная иллюминация! Фантастика! Мне казалось, что я на другой планете, и сейчас вот мы сядем в городе братьев по разуму, и я обращусь к ним с призывом к вечному миру. Мне стало даже не по себе от того, что смертный бой внизу навеял представления о празднике неких, пусть возникших только в воображении, несбыточных видений. Наверное, нельзя отрываться от суровой действительности... Правда, она вскоре сама реально напомнила о себе, когда с земли по нам стали бить зенитки. Мы летели без парашютов, да и вряд ли бы успели воспользоваться ими. И все-таки, Витя, красиво выглядит бой среди ночи! Понимаю: битва не может нравиться людям. О войне надо писать страшно, готовить надо людей к войне и в то же время отвращать от нее в мирное время, заместить как-то агрессивное начало в нас неким другим движущим чувством. Но тот бой, который я видел с неба, никогда не забуду,

хотя и боюсь восторга, что пришел мне тогда в душу. Может быть, я извращенец какой, Витюша?

— Говорю им: дайте парашюты, — рассказывал Родионов. — Смеются летуны... Места там вам едва на двоих хватит. И еще груз будет. Обрадовался, думаю, харчишек борзописцам привезу, накормлю вас, мастеров армейского пера. Давайте, говорю, ваш груз. Приносят два тюка, один мне, другой Борису вручают. Вот вам, объясняют, боевое задание. По сигналу летчика откроете мешки и будете кидать вниз пачки... "Пачки чего?" — спрашиваю. На меня таращатся недоуменно: листовок, конечно. "Вы что, никогда не летали?" Летать-то летал, но без подобных мешков. Серьезное политическое мероприятие, объясняет парень со шпалой, поручение политотдела.

— И бросали? — спросил, скупо улыбаясь, Кузнецов.

— А как же! Борис Павлович так увлекся, что едва сам не выбросился. Забыл, что без парашюта.

В редакции о положении армии знали лучше, чем в нижестоящих штабах, но и журналистам неведомы были планы командования 2-й ударной, которое, впрочем, и само пока смутно представляло, какую судьбу уготовили им генерал Хозин и Ставка.

...Кузнецов вздохнул и отложил в сторону законченный макет нового номера газеты. "Думы у тебя, ответсек, невеселые, но от выпуска "Отваги" никто не освобождал. Пусть не хватает пищи обычной, нельзя позволить перебоев с духовной..."

Вошел редактор. Посмотрел на аккуратно нарисованный макет, довольно глянул из-под круглых очков.

— Вы как всегда стахановец, Витюша, — мягко, почти ласково проговорил Румянцев. — Прогуляться в войска не хотите?

Кузнецов молча встал, с готовностью одернул гимнастерку: "Что за вопрос, конечно хочу". Впрочем, Николай Дмитриевич сам хорошо знал об этом.

— Вы знаете, что некоторые части выводят за Волхов, — сказал Румянцев, и секретарь снова молча кивнул. — Они скапливаются в районе Кречно. Оттуда сейчас ведут дорогу-лежневку, чтоб вызволить технику. С обратной стороны к нам придут машины с припасами и бензовозы. Надо бы подскочить туда, посмотреть, как строят дорогу, и написать о лучших саперах.

— Выезжаю, — просто сказал Кузнецов.

Подгоняемый Хозиным, генерал Федюнинский задумал рокировку.

Начальный успех, которого он добивался, введя в бой корпус Гагена, противник свел почти на нет, выдвинув новые резервы. Но директива Хозина нацеливала 54-ю армию на Любань, чтобы взять город и соединиться в нем со 2-й ударной.

"Ежели сниму тех, кого фашист потрепал, — думал Иван Иванович, — а взамен поставлю отдохнувших, то, глядишь, и опережу Власова, первым выйду на Октябрьскую железку".

Так и сделал. Потрепанные в боях части определил во второй эшелон, а те, что живой силой пополнились, успели немного отдохнуть, двинул в наступление. И грянул бой сразу в нескольких местах. Ладили отнять у немцев Смердыню с Кородыней, Липовик с Дубовиком, Макарьевскую Пустынь, еще с полдюжины больших и малых деревень и поселков.

Тут и случилось, что следовало ожидать, когда наступление откладывается до весеннего распутья. Прежде двигали на немца в обход населенных пунктов, где враг укрепился полгода еще назад. Расчет был на то, что окруженный противник запаникует и ослабнет духом. Бить же их в лоб — себе дороже: снарядов нет, авиации тоже, штыком и гранатой, увы, не пробьешься, зазря людей положишь, а опорным пунктом не овладеешь.

И как ни рвалась армия к железной дороге, весна наступала быстрее. Снежные дороги исчезли, болота стали непроходимы. Лишь деревни на возвышенных местах стоило захватывать у немцев, чтобы сделать их форпостами обороны, накапливать там силы для нового удара. Только немцы и сами отнюдь не дураки, за деревни держались зубами, а наступавшие на них в обход русские танки проваливались в залитые водой воронки, да и естественных преград на их пути оказалось предостаточно. Пехота же наша не просыхала, обретаясь в постоянной мокроте и сырости, снарядов для артиллерии, как обычно, не хватало. Наступление забуксовало.

Как две руки тянулись друг к другу 2-я ударная и 54-я армии двух фронтов в страстной надежде соединиться в Любани... Сколько беспримерных подвигов свершилось с той и другой стороны! Дрались, прямо скажем, удивительно бесстрашно, а если коэффициент ввести на климат и природу, то и вовсе бесподобно, ибо ни на одном из фронтов Отечественной войны не было подходящих аналогов.

...Яростно рвался к Дубовику танк младшего лейтенанта Петрова. Не рассчитал водитель, угодила тридцатьчетверка в речку, и ни туда ей двинуться, ни сюда.

Обиднее всего, что вокруг никого из своих не оказалось. А гитлеровцы — тут как тут... Окружили танк, лопочут на гансовском языке, на ломаном русском призывают сдаваться в плен. Танкисты на уговоры никакого внимания, принялись отбиваться, благо боезапас не был израсходован. Кучу врагов вокруг положили.

Так прошли сутки, начались вторые, а подмога все не приходила. Скоро и стрелять станет нечем... Петров уже на личный пистолет поглядывал: как бы не прозевать, не выпустить во врага последнюю пулю — ее он для себя берег. Но держался покуда сам и командира орудия Новожилова, механика-водителя Малика и заряжающего Белякова ободрял.

И еще сутки продержались ребята. Дождались родную матушку-пехоту. Красноармейцы подсобили голодным и измученным танкистам, вызволили боевую машину из ловушки, благословили на новый праведный бой.

...Ежедневные атаки на Дубовик распыляли силы русских, а вот оборона гитлеровцев крепла, насыщаясь артстволами из резерва, и явственно было для всех, что изнуренным федюнинцам не под силу захватить поселок. Впереди снова замаячил призрак позиционной войны.

Мысли о том пока не произносились в штабе армии вслух, но укреплялись в сознании генерала Федюнинского, его помощников в оперативном отделе. Размышлять они были вольны как угодно, а вслух сказать, что наступление сорвалось, никто не решался. И потому по инерции шли из армейского штаба команды "Вперед!". Кое-где измотанным людям удавалось в жестоких схватках немного подвинуться к Любани, захватить еще одну деревню, разгромить еще один немецкий гарнизон.

Когда 115-я дивизия вместе с танкистами удачно сшибла немцев с железной дороги в трех километрах юго-восточнее разъезда Жарок и отбросила противника к Посадникову Острову, Федюнинский ввел в этот прорыв корпус Гагена, надеясь фланговым охватом овладеть Дубовиком. И захватил бы это разнесчастное село: на его северной окраине уже дрались вовсю гвардейцы. Если бы не эскадрильи люфтваффе. Они свели на нет усилия бойцов, обрушив на них с воздуха тонны смертельных гостинцев. Отогнать стервятников было некому: у нас каждый самолет на учете. Вот и вынужден был отойти генерал Гаген.

Когда Кузнецов собрался в дорогу, к нему неожиданно присоединился Бархаш. Он отошел от группы журналистов, в центре которой стоял Евгений Вучетич. С ним ожесточенно спорил Ларионов, остальные — Кузьмичев, Моисеев и Родионов — слушали их молча.

— Наши бурсаки, — кивнул в их сторону философ. — Завтра уж будут в тылу...

Четверых журналистов отправляли на трехмесячные курсы переподготовки.

— На прощание наставляют бедного Женю? — спросил Кузнецов.

Они направлялись к редакционной полуторке, ее разрешил взять, чтобы добраться до Кречно, Румянцев.

— Великий спор затеяли ребята, — улыбнулся Бархат. — По поводу личности нового командарма...

— Опасный спор, — заметил Кузнецов, и Бархаш, умеющий различать оттенки в произносимых товарищем словах, уловил в них иронию.

— Евгений опять попался на глаза начальству, — продолжал Борис. — Теперь самому Власову. Вот он и рассказывал, как тот поприветствовал его первым. Да еще и добавил: "Здравствуйте, товарищ боец". Каково?

— А спор-то о чем?

— Мнения разделились... Одни говорят: здорово это, демократичный генерал, красноармейца ценит, видит в нем отнюдь не пушечное мясо. Другие считают, что это заигрывание с массой, панибратство и все такое прочее. Сам Вучетич горой стоит за генерала: сразу, мол, отличил, кому надо оказывать честь.

— Наш командарм и других бойцов приветствует первым, — отметил Кузнецов.

— Слыхал об этом, только мне он, слава богу, навстречу не попадался.

— Так ты ведь, Боря, не красноармеец, а командир, тебе генерал первым козырять не будет. А если опоздаешь руку поднять к головному убору, влепит он тебе на полную катушку. Власов наш по части выправки педант,

— Какая выправка в полевых условиях?!

— Не скажи, — возразил Кузнецов. — Сейчас она еще нужнее. А по части козырянья тут вот какая история. Еще до войны Управление пропаганды спустило инструкцию. В ней говорилось, что красноармеец — основа советского воинства, он — представитель рабочих и крестьян, потому и достоин глубокого уважения. Значит, не будет зазорным командиру, первому увидевшему бойца, первому и поздороваться с ним, показав собственную высокую культуру.

— Интересно, — сказал Бархаш.

— Это была только рекомендация, — продолжал Виктор, — устав никто не отменял. Тем не менее, как теперь ясно, наш командарм рекомендацию эту для

себя лично принял. По крайней мере, придерживается ее в повседневной жизни.

— Надо присмотреться к нему, — задумчиво произнес философ.

— Присмотрись, — усмехнулся ответсекретарь. — Только не в ущерб положенным с тебя для "Отваги" строчкам. Кстати, для начала очерк о нем прочти, сам Эренбург написал...

— В "Красной звезде"?

— В ней самой. За одиннадцатое марта... А ты зачем со мною едешь?

— Досье хочу пополнить на одного политрука-артиллериста. Выдвиженец из сержантов, из гвардейского дивизиона. Дрались они здесь отлично.

...У Кречно всюду валили лес, гнали к Мясному Бору лежневку. Нет более тягомотного дела, чем пытаться проложить по болотам дорогу. Руководил строительством полковник Бугачев, начальник штаба 4-й гвардейской дивизии.

— Вы, товарищи корреспонденты, погуляйте пока, с народом потолкуйте, — предложил он журналистам, когда Бархаш и Кузнецов представились ему. — А я комиссию приму — участок проверяют. Потом усиленный обед вам обещаю...

Бархаш искал своего героя, но не нашел: Анатолий Дружинин ушел уже с батареей к Долине Смерти.

— Так бойцы участок коридора прозвали, — пояснил батальонный комиссар Ляпунов. — Тот, где последний переход в шесть километров. Самое узкое место. Противник покоя здесь никому не дает. Гибнут там люди изо дня в день. Одним словом, Долина Смерти.

— Надеюсь, что парень этот ее удачно минует, — тихо сказал Бархаш. — А я поеду обратно...

— Погоди, — остановил товарища Виктор, — нам ведь обед посулили. Да и строителей отличившихся не записал. Освободится Бугачев, расспрошу его.

Бойцы по колено в воде таскали мокрые, скользкие бревна, часто спотыкались, падали, матерились на чем свет стоит, вновь поднимались. От постоянного недоедания силы у людей были на исходе, дрожали от слабости руки, гулко колотилось сердце, пот заливал глаза и тоскливо сводило желудок.

— Хочу побывать в Долине Смерти, — сказал вдруг Борис Бархаш.

— Это можно, — отозвался Ляпунов, — только зачем? Для газеты то, что вы там увидите, не пойдет. Кладбище техники по обочинам, весь лес срезан, торчат расщепленные пни в полтора-два метра. И трупы повсюду. Тучи воронья над ними... — Комиссар сердито сплюнул: — Об этом в "Отваге" ни слова не дадите. Так зачем вам погибать? Успеете еще. Пишите о героях, их и здесь достаточно.

Закуковала кукушка. Стали прислушиваться, считать, сколько лет жизни отмерит им птаха. Считал и Бархаш. Но он не знал, в каком масштабе считает кукушка: недели, месяцы или годы означает каждое ку-ку. Откуда ему знать, что в каждом ее вскрике только один день из тех, что отпущены ему судьбой? Что скоро он примет смерть, о которой никто и никогда не расскажет людям, а вдове его придет казенная бумажка со страшными словами: "Пропал без вести". Они означают, что военный корреспондент Бархаш отныне стал лицом без права на память, лицом вне закона, а значит, и вдова, и сиротка-дочь не имеют права ждать никакой помощи от государства. И таких пропавших, которые наверняка бы предпочли считаться убитыми, оказалось при не очень дотошных подсчетах многие сотни тысяч.

Но сейчас бывший философ был жив и здоров, хотя и расстроен тем, что не нашел своего героя.

— Генерал Гусев! — встрепенулся стоявший рядом и тоже считавший ку-ку полковник Бугачев и двинулся навстречу комкору, среднего роста человеку с изогнутой саблей на левом боку. Тот поздоровался с Бугачевым, и журналисты услыхали, как Гусев сообщил: фронт выделил истребителей, они прикроют с воздуха выход кавалеристов и гвардейского дивизиона.

— С нами выходит и часть беженцев, — сообщил вполголоса Ляпунов. — Женщины с детьми, старые люди... Оголодали вовсе. Может быть, кого и спасем.

— А как же все мы, остальные? — вырвалось у Бархаша.

— Вместо нас замену пришлют, — уверенно ответил комиссар, Ляпунов не сомневался в этом. — Нас — отсюда, других, хорошо вооруженных, с боеприпасами, — сюда. Обычное дело! Закон войны!

— Зачем?.. — сказал вдруг Бархаш и обвел рукою пространство, где измазанные болотной вонючей грязью люди ладили путь, по которому хотели уйти из гибельных мест. — К чему все это? Где первопричина хаоса, именуемого войной?

— Продолжение политики иными средствами, — усмехнулся Кузнецов. — А верующие люди объясняют проще: божья кара за грехи людские, суд господень...

— Нет, — сказал бывший философ, — только высшее, вселенское, зло может измыслить такое зверское дело, как война!

Кузнецов внимательно посмотрел на товарища и отрицательно качнул головой.

— Высшего зла не существует, его попросту не может быть, — сказал он. — Хотя зло всегда и умаляет добро, только никогда не может полностью его уничтожить.

Бархаш изумленно глянул на Кузнецова.

— Да ты знаешь, кого ты пересказал? Представляешь?! - Виктор смущенно улыбнулся:

— Не представляю... Пришло на ум сейчас, вот и все.

— Так говорил Фома Аквинский, — пояснил Бархаш, но Виктор, что называется, и ухом не повел.

— Может быть, — спокойно проговорил он.

— "Кому назначен темный жребий, — вполголоса произнес Борис, — над тем не властен хоровод. Он, как звезда, утонет в небе, и новая звезда взойдет. — Он замолчал, испытующе посмотрел на Кузнецова. — И краток путь средь долгой ночи, друзья, близка ночная твердь! И даже рифмы нет короче глухой, крылатой рифмы: смерть..."

-14-

Власов и Зуев прилетели в Малую Вишеру 12 мая и на следующий день предстали перед руководством Волховской группы войск Ленинградского фронта. Вел совещание генерал-лейтенант Хозин. После доклада командарма слово взял Иван Васильевич.

— Надо строить транспортную дорогу от Финева Луга до Новой Керести. Будем тянуть ее через Кересть Глухую. От Кречно до Мясного Бора худо-бедно, а какой-то путь имеем. Только вот внутри оперативного района, собственно мешка, в котором мы сидим, любая переброска войск, диктуемая обстановкой, — проблема. Наличие транспортных связей развяжет нам хоть в какой-то степени руки.

— Что ж, я рад тому, что комиссар армии настроен так оптимистично, — улыбнулся Хозин. — Ему, видимо, и поручим руководить стройкой.

— Кому же еще, — поддержал командующего фронтом Власов. — У Ивана Васильевича опыт... Одну "железку" на пустом месте уже соорудил...

Нахмуренное лицо Зуева несколько посветлело.

— А что? — сказал он. — Дороги строить лучше, нежели воевать.

Тут бы и перейти к текущим вопросам, но последняя реплика дивизионного комиссара задела члена Военного совета фронта Запорожца за живое.

— Когда войну закончим, тогда и решим, кому что делать, — раздраженно произнес он. — Все мы Ивана Васильевича уважаем, но я бы предостерег его от выражений типа "мешок". Не в мешке вы находитесь, дорогие товарищи, а на освобожденной от немецко-фашистских оккупантов советской территории, обороняете ее от гитлеровцев. Так и надо рассматривать вашу задачу в военном и особенно в политическом аспекте. А такие слова деморализуют бойцов, вносят элемент паникерских настроений, что, как вы сами хорошо, товарищи, понимаете, нам вовсе ни к чему. Поэтому я попрошу быть осмотрительнее и подобных терминов гражданских не упоминать.

Наступило неловкое молчание. Кто-то должен был прервать его первым, и все с надеждой посмотрели на Хозина.

Командующий откашлялся.

— Подведем итоги, — сказал он. — Дороги — дело нужное, особенно в вашей зоне... — Он выразительно глянул на Запорожца, и тот согласно кивнул. — Мы тоже не сидим сложа руки, — продолжал Хозин. — Заканчиваем строительство наплавного моста в Селище и новой переправы в Шевелево. Там работают три саперных батальона и понтонеры майора... Как его?

— Ермаков, товарищ командующий, — подал голос Стельмах.

— Вот-вот... Саперы работают день и ночь, да еще под ударами вражеской авиации. Плохо у нас пока с прикрытием, но когда-нибудь будет и хорошо.

Все, будто по команде, вздохнули.

— Вам уже довели мою сегодняшнюю директиву: Второй ударной занять более выгодный рубеж по линии Ольховка, река Рогавка, Финев Луг... Ставка Верховного Главнокомандования о нашем решении знает, но план этот ею пока не утвержден. К сожалению, Пятьдесят девятая армия не в состоянии потеснить противника в районе Спасской Полисти. Немец ожесточенно отбивает наши атаки, подтягивает резервы.

— По уточняющимся сейчас данным, — вклинился в паузу начальник разведки фронта, — для усиления группы Венделя из рейха прибывает Баварский стрелковый корпус.

Хозин поморщился. Не ко времени вылез, незачем ошарашивать людей. Да и нежелательную параллель могут провести: дескать, Хозин отдал Ставке стрелковый корпус, а немцы такую подмогу своим присылают.

— Мы надеемся, что противник не догадывается о нашем решении сократить линию обороны Второй ударной, — сказал Михаил Семенович. — Значит, нам необходимо сохранить их уверенность в том, что войска волховской группы

будут укреплять транспортные коммуникации, связь с вашей зоной за счет расширения горловины прорыва ударами Пятьдесят девятой армии с востока. Одновременно продолжать отражать натиск немцев из района Новгорода и Подберезья. Тут вся ответственность ложится на Пятьдесят вторую армию. А Пятьдесят четвертая армия, которую принял генерал Сухомлин, будет продолжать наступление на Любань в районе Погостья. Таким образом, совместными усилиями мы обязаны прорвать фронт германских войск.

— Так мы обороняться будем или наступать? — спросил генерал Власов.

— И то, и другое, — оживился Хозин. — В этом и будет состоять своеобразие нашей стратегии. Вам что-нибудь неясно, Андрей Андреевич?

Власов неопределенно повел плечом.

— Вопросов не имею, — бесстрастным тоном произнес он.

— Из состава нашей армии выводят кавкорпус Гусева, Четвертую дивизию, полк гвардейских минометов, артиллерию, — подал голос Зуев. — А вместо боевых частей развертывают полевые госпитали, хотя раненых и без того скопилось на освобожденной территории огромное количество. Получим ли мы что-либо взамен?

— Да у вас там свыше сорока боевых частей! — вскричал Хозин. — Мне известно, что Мерецков ободрал все армии фронта, бросая их дивизии в вашу ненасытную прорву! А вы еще плачетесь... Вот я сам как-нибудь соберусь, приеду к вам и проверю, где вы там прячете боеспособные единицы!

— Они были такими прежде, товарищ командующий, — смело глядя Хозину в глаза, ответил Зуев. — Да, Мерецков укреплял нашу армию, ибо она шла на острие прорыва, Но теперь эти части обескровлены непрерывными боями, измучены голодом, который начался еще в апреле. Военный совет делает все, чтобы мобилизовать бойцов, дух армии необычайно высок, несмотря на лишения и потери. Но человеческим возможностям все-таки есть предел.

— Вы правы, комиссар, — устало произнес Хозин и опустил голову. — Силы человека не беспредельны... Но вот резервов для вас у меня нет никаких. Обходитесь как-нибудь сами.

"А что я скажу Сталину?" — с тоской спросил себя командующий фронтом.

Командующему Ленинградским фронтом

14 мая 1942 года в 02 часа 50 минут

№ 170379

Отвод 2-й ударной армии на рубеж Ольховские Хутора — озеро Тигода не дает нам больших выгод, так как для удержания этого рубежа потребуется не менее

четырех-пяти дивизий. Кроме того, с отводом армии на этот рубеж не устраняется угроза армейским коммуникациям в районе Мясного Бора. В силу этого Ставка Главнокомандования приказывает:

1. Отвести 2-ю ударную армию из занимаемого ею района и организовать уничтожение противника в выступе Приютино — Спасская Полнеть одновременным ударом 2-й ударной армии с запада на восток и ударом 59-й армии с востока на запад.

2. По выполнении этой операции войска 2-й ударной армии сосредоточить в районе Спасская Полисть — Мясной Бор с тем, чтобы прочно закрепить за собой совместно с 59-й и 52-й армиями Ленинградскую железную дорогу и шоссе, а также плацдарм на западном берегу реки Волхов.

Получение подтвердить.

И. Сталин

А. Василевский

-15-

...Несколько дней назад Василевский доложил Сталину, что состояние 2-й ударной безнадежно, оперативная обстановка такова, что ее стоит, видимо, отвести на отвоеванный еще зимой волховский плацдарм.

Сталин на его слова реагировал довольно вяло. Он уже утратил интерес к Любанскому варианту, поскольку должного пропагандистского эффекта захват мало кому известной станции не давал. Стратегические результаты незавершившейся, увы, операции вождя не волновали. Вот прорваться к Ленинграду, сокрушить всю группу армий "Север", это да, этим стоило ему, Верховному, заниматься.

Кроме того, он находился в приподнятом настроении от бодрых реляций из Крыма, которые слал ему Мехлис, предвкушал освобождение Харькова, что обещали вождю Хрущев, Ватутин и Тимошенко.

Тем не менее Сталин нашел время для Волховского фронта и решил судьбу 2-й ударной.

— Отводите, согласен, — равнодушно сказал он. — А что думает генерал Хозин?

— То же самое, товарищ Сталин, — быстро ответил Василевский, ловко, но без суетливости собирая карту и дивясь про себя тому, что не далее как три недели назад Хозин обещал безо всякой помощи Ставки освободить колыбель революции от блокады.

"Видимо, не до конца представил, что там происходит, — осторожно и тайно подумал о вожде Василевский. — Считает маневром".

Во всяком случае, тогда вождь директиву подписал и формально развязал Хозину руки. Но сегодня, 19 мая, Сталин уже знал, что Крымская битва проиграна бесповоротно. Ему не было, конечно, известно, что генерал Гальдер записал в этот день в дневнике: "Керченскую операцию следует считать законченной. 150 000 пленных и большие трофеи". Но Сталину доложили: полный разгром.

Угрызения совести не мучили вождя. Он сделал вывод: да, во всем виноват Мехлис, которого он, товарищ Сталин, послал на помощь комфронта Козлову. Да, Мехлис действовал от имени товарища Сталина и, подмяв под себя слабовольного Козлова, наделал грубых ошибок. За это Мехлис будет сурово наказан. Он, кстати, уже прислал товарищу Сталину депешу, в которой требует для себя немедленного расстрела.

Вождь вспомнил этот казус и ухмыльнулся: много на себя берет Мехлис. Это он, товарищ Сталин, решает, кто достоин расстрела, а кто может быть и повешен.

Он позвонил помощнику.

— Мехлис здесь, — сообщил тот, возникнув в дверях.

Сталин странным образом благодушно кивнул. Вид у него был непривычно смиренным.

"Надвигается буря", — бесстрастно подумал Поскребышев.

-16-

"Мессершмитт" свалился из-за серого облака и короткой очередью срезал ползущий над лесом "кукурузник". Тот даже не загорелся... Убитый летчик посунулся вперед, толкнув вниз ручку управления, и двукрылый самолет, клюнув носом, упал в болото.

— Пропали наши сухарики, — горестно и с шутовским одновременно ерничеством вздохнул ординарец комдива. — Размокнут...

Хотел его обматерить в сердцах Иван Михайлович, но крепким словом Антюфеев никогда не злоупотреблял. Только поднял неторопливо руку и несильно толкнул балбеса в затылок.

— Виноват, товарищ полковник! — рявкнул смекнувший, что проявил дурость, парень, от неожиданности едва не свалившись с болотной кочки, на которой стоял рядом с комдивом.

Полковник Антюфеев поворотился влево, кивнул начальнику разведки. Тот молча козырнул и отошел распорядиться: авось кто и жив там остался, если самолет трясина не засосала. Дело шло к полуночи, а небо все голубело, только там, где кучковались облака, было грязновато-серым. Иван Михайлович Антюфеев вспомнил, что до Ленинграда им осталась сотня километров, а там ведь сейчас белые ночи, что поэты всегда воспевали. Для них же это природное волшебство боком выходит: теперь и ночью "кукурузникам" с сухарями не пробраться. Тот, кого тюкнул сейчас "мессер", далеко не первый из тех, что нашел погибель в болотах.

"Вот и сухари пропали", — невольно подумал Антюфеев и теперь уже себя мысленно обругал: о погибшем летчике надо горевать, а не о сухарях. Хотя если с другой стороны посмотреть, то те самые сухари для многих бойцов означают продление жизни. Только и то верно, что целую армию, залегшую в диких топях, не прокормить теми мешками с сушеным хлебом, что кидают авиаторы. Его дивизия давно перешла на подножный корм. Правда, был он куда как скуден — травинки объедали, едва они появлялись на свет божий, хвоя на отвар шла. Вот еще березовым соком пробавлялись. А дохлых лошадей — они весной так выручили всех — давно уже на харч перевели.

Но оборону Антюфеев, стоявший, против Красной Горки, держал вместе с соседями стойко. И будет держать. Не зря старый вояка Мерецков назвал его еще зимой лучшим на Волхове комдивом. Только вот дивизию жалко, таяла она, будто старый снег на весеннем солнце. Рожки да ножки остались от того полнокровного соединения, которое 7 ноября 1941 года так браво вышагивало на параде в Воронеже перед маршалом Тимошенко и Хрущевым. Тает дивизия... А пополнения нет, припасы не поступают, красноармейцы берегут каждый патрон. К пушкам тоже не хватает снарядов, за ними отряжают бойцов, и те несут их на себе по неверным тропинкам и гатям пешком за многие километры. ,

Вот осмотрел он сейчас позиции полка, которым командует Иван Сульдин. Грамотно командует, с умом использует особую природу здешних мест. Но ты хоть Александром Македонским будь, а без того, чем люди воюют, то есть оружия с припасами и харча, жар-птицу победы за хвост не поймаешь.

Комдив с печалью глянул в сторону, где исчез незадачливый "кукурузник", отвернулся. А перед ним возник Иван Сульдин.

— Из армии звонок, — понизив голос, сообщил он.

Разговор тот был коротким, но толком комдив почти ничего не понял. Речь не о приказе — тут все лаконично и потому предельно ясно: сдать дивизию начальнику штаба, а самому немедленно прибыть на армейский КП. Но вот зачем, Ивану Михайловичу, как и водится у военных, не сообщили. Обычное дело — сдать боевую часть, явиться к начальству... Зачем — разъяснят на месте.

Но Антюфеев вдруг запаниковал. Он расстроился скорее не от неясности положения, а от того, что соратники заволновались, едва ли не слезу пустили, узнав, что командира отзывают.

Комиссар Чувилин отвел комдива в сторону.

— Не дрейфь, Иван, — по-домашнему шепнул ему. — Я так полагаю, что решили тебя отозвать неспроста. Не по твоему размаху ты командуешь теперь. По нашим сусекам народ подсобрать — на добрый полк едва собьется. А ты большой квалификации товарищ. И в армии это тоже понимают.

Сказал "спасибо" Антюфеев комиссару, а кошки на душе все одно скребли.

Сдача дел времени большого не заняла. Написал Антюфеев последний приказ: убываю, дескать, согласно высшей воле, а вам в комдивы определяется другой товарищ. И в акте расписался: 327-ю сдал...

На рассвете — по времени, конечно, ведь белые ночи — небо над головами так всю ночь и не потемнело, отправился с ординарцем в путь. До штаба армии было километров тридцать или тридцать пять, это если мерить по старой, еще зимней дороге, которая давно испарилась. А по нынешней и того больше. Ехали верхом на страшно отощавших лошадях, их еще не всех съели: голод голодом, а кони и для войны нужны.

О таких переходах, какой едва за длинный день одолели Антюфеев и верный его оруженосец, потом обычно никому не рассказывают, стараются забыть. Не передать словами, как шастали по болотам, надо самому отведать. Но и их одолели бывший комдив и Ваня Христофоров, к позднему вечеру прибыли в штаб армии.

— Здравствуй, герой, — сказал Антюфееву Власов, едва тот возник на пороге. — Проходи и садись, гостем будешь. Давно о тебе слыхал, еще от Мерецкова. Думал — ростом великан.

Генерал-лейтенант рассмеялся и навис над маленьким полковником, дружелюбно поглядывая сквозь большие очки в роговой оправе.

— Не тушуйся, полковник, не в росте дело, — продолжал Андрей Андреевич. — Суворов еще меньше твоего удался, а каким орлом летал над всей Европой.

Опять же при такой комплекции пуль и осколков достанется меньше. Тут ты меня, Антюфеев, и вовсе обошел. Ну да ладно, все это суетное... Давай с тобой сейчас перекусим чем бог послал, а потом и о деле поговорим. Слыхал небось, что голодное брюхо к умным разговорам глухо? Присаживайся к столу, Иван Михайлович, давно хотел познакомиться с прославленным комдивом.

На сердце у Антюфеева полегчало, по всему выходило, что не для казни его вызывали, хотя и такая встреча пока еще ни о чем не говорила. Может, Власов из тех, кто мягко стелет, да потом жестко спать.

Тут появилась молодка в красноармейской форме, и командующий армией пояснил: после госпиталя долечивается прямо на фронте, вот и прикомандировали к нему медсестру.

Антюфеев удивился: зачем генерал ему это объясняет, не его, полковника, ума дело. А хозяйка, как мысленно стал звать ее Иван Михайлович, подала на стол мелко нарезанную копченую колбасу и початую бутылку коньяка. Это заставило гостя вытаращить глаза от изумления: о подобных роскошествах они в дивизии и думать забыли.

Приняли по норме, закусили. Хозяин принялся рассказывать, как он в Китае служил военным советником, потом в Россию вернулся и, командуя дивизией, вывел ее на первое место в РККА... И дальше — всю одиссею: как под Киевом воевал, как выходил из окружения и затем отличился под Москвой.

Слушать Власова было интересно, но Антюфеев едва не ерзал от нетерпения на табуретке, так хотелось спросить о собственной судьбе.

— Доложи обстановку, Антюфеев, — вдруг строгим голосом приказал генерал.

Иван Михайлович доложил, что обстановка хуже некуда.

— Не у тебя одного такая, — снова по-домашнему проворчал Власов. — Вся армия в похожем состоянии. Проход у Мясного Бора почти закрыт, только формально мы не окружены полностью. В штаб фронта летаем ... Две армии обеспечивают нашу связь с Большой землей, а результата никакого. Не только не расширили проход у Мясного Бора, но и удержать его не смогли.

Власов помотал головой, будто отгоняя надоедливую муху.

— Наша армия получила директиву фронта, — снова официально заговорил командарм. — Будет выходить из мешка на волховский плацдарм. Бывшая ваша дивизия, полковник, отходит последней в арьергарде. Но эти заботы для вас уже в прошлом. — Власов усмехнулся и пристально посмотрел на Ивана Михайловича. Тот растерянно глядел на генерала. — Поздравляю, для вас все кончилось. Муки выхода из окружения, а дело это, поверьте мне, хлопотное,

испытывать не придется. Есть указание фронта, полковник... Вы назначены заместителем командарма Пятьдесят второй армии. Словом, едете к генералу Яковлеву. Отправим самолетом в следующую ночь. Еще раз поздравляю!

"А ведь я вроде крысы, — с тоской подумал Антюфеев, — бегу отсюда, как с тонущего корабля..."

Никакой вины за ним не было, а чувствовал себя Иван Михайлович гадко, так, будто предал товарищей по дивизии.

— Разрешите сказать, товарищ командующий? — выдавил он глухо.

Власов удивленно глянул на маленького полковника, поправил очки.

— Говори, — разрешил он.

— Разрешите остаться! — умоляющим голосом произнес Антюфеев.

— Не понял, — повел бровью генерал Власов.

— Спасибо за доверие, но сейчас не могу... Как же товарищей бросить?! Ведь я привел дивизию сюда, с января вместе воюем с немцем, и вдруг... Меня, значит, самолетом, а дивизия в болоте сиди? Дозвольте обождать, товарищ командарм?.. Хочу со всеми выйти.

Ответить Власов не успел, в блиндаж вошел Зуев. Его Иван Михайлович прежде тоже не видел, но знал по рассказам: молодой, подтянутый, красивый, одним словом, комиссар.

Иван Васильевич вопросительно глянул на полковника, тот встал, представился. Фамилию и звание назвал, а про должность промолчал, он с ней уже некоторым образом расстался.

Зуев стиснул руку Ивану Михайловичу, посмотрел улыбчиво, дескать, знаю про такого, наслышан о делах.

— Ты полюбуйся на этого героя, Иван Васильевич, — заговорил Власов, показывая на Антюфеева. Махнул рукой: садитесь, дескать. Присели к столу. — Полковник сдал дивизию начштаба, а на Большую землю лететь не хочет. Не могу товарищей, мол, бросать... Ходатайствует оставить его в дивизии до выхода армии на плацдарм. Таково, говорит, мое желание... Что будем делать?

— Доброе желание, — улыбнулся Зуев и лукаво подмигнул гостю. У Антюфеева отлегло чуточку от сердца.

— А приказ фронта? — подыграл Власов, и по тону, каким он спросил это, Антюфеев понял, что обоим по нутру его протест.

— Туда мы наше мнение сообщим, — продолжая улыбаться и хитро поглядывая на Ивана Михайловича, не возьмет ли слова обратно, проговорил Зуев. — И

добавим: просьбу комдива поддерживаем, оставьте его у нас до выхода Второй ударной.

— Годится? — спросил Власов.

— Так точно, товарищ генерал-лейтенант! — во весь голос рявкнул радостный Антюфеев.

— Голос у тебя, полковник, не по росту, — заметил Власов. — Значит, надо к голосу и званье подгонять? А вообще-то, полководцы все, как правило, туго растут.

Пока запрашивали штаб фронта, хозяин Антюфеева не отпускал. А тот как на иголках сидел, ждал, как решат его судьбу в Малой Вишере. Зуев же все про настроение бойцов выспрашивал, как продовольствие распределяют, что с воздуха и по огненной дороге через Долину Смерти идет, про немецкие призывы сдаваться, про их листовки и реакцию на них красноармейцев.

Антюфеев рассказал, как однажды немцы, зная о голодном пайке русских, буханки хлеба на штыках над бруствером подняли и кричат: "Иди сюда, Иван, таких буханок у нас пропасть!" Бойцы из полка Сульдина подобрались заранее поближе к их траншеям и, когда те с хлебом забавлялись, взяли их с двух сторон врукопашную. Выбили с позиции, забрали в плен с пяток солдат и хлебные буханки.

— На всех, кто был в бою, распределили, а половину отдали в медсанбат, — рассказывал комдив. — Одну буханку мне принесли, с цифрой на горбушке: "1937". Пять лет хранили...

— Такой хлеб я видел, — сообщил Зуев. — Еще зимой трофеи брали. В Москву отправили экспертам, пусть знают, как немцы хлеб готовили к войне.

— Буханку-то себе оставил? — подмигнул Власов полковнику.

Тот недоуменно посмотрел на командарма, потом до него дошло, и Антюфеев покраснел.

— Как можно, — пробормотал он. — Раненым отдал...

— Не обижайтесь, Иван Михайлович, — мягко произнес Зуев. — Андрей Андреевич пошутил...

— А разве он этого не понял? — удивился Власов. — Значит, устал воевать наш славный Антюфеев, если чувство юмора подрастерял. Ничего, скоро отдохнем, силы накопим и начнем ломать супостата.

Ответ из штаба фронта гласил: полковника Антюфеева до выхода 2-й ударной оставить в прежней должности.

21 мая 1942 года, в семнадцать часов двадцать минут, Ставка Верховного Главнокомандования передала в Малую Вишеру директиву для генерала Хозина. В директиве подчеркивалось, что главная и ближайшая задача для войск волховской группы войск Ленинградского фронта — отвод 2-й ударной армии. Предписывалось, прочно прикрывшись на рубеже Ольховские Хутора — Тигода от атак противника с запада, ударом главных сил армии в восточном направлении с одновременным встречным ударом 59-й армии уничтожить немецкие войска в выступе Прйютино — Спасская Полисть.

В указаниях Ставки подчеркивалось: не допустить, чтобы противник соединил чудовскую и новгородскую группировки, ибо это означало бы полное окружение 2-й ударной.

Командование группы армий "Север" до сих пор пока не подозревало о намерениях русских. В оценке обстановки, которую составил штаб в начале мая, говорилось, что советские войска будут придерживаться прежней тактики: стремиться раздвинуть коридор, связывающий 2-ю ударную с главными силами, атаковать изнутри волховского мешка и давить на Любань со стороны Погостья.

Когда генерала Федюнинского отозвали в Москву, 54-ю армию принял генерал-майор Сухомлин. Изучив обстановку и выслушав точку зрения начальника штаба армии Березинского, Сухомлин боевым состоянием армии весьма удручился. Почти все ее дивизии были измотаны непрерывными боями, люди устали так, что валились с ног. А тут еще весенняя слякоть, она и везде-то несподручна для войны, в этих же местах губительна. Дороги превратились в километры вязкой грязи. Снаряды и продукты доставляли на руках за двадцать — тридцать километров.

Генерал Сухомлин ясно представлял: ситуация, увы, не для активных действий. Но... По ту сторону Октябрьской железной дороги ждала помощи 2-я ударная, ей было еще труднее. Штаб фронта нажимал на Сухомлина: только вперед! Он повздыхал-повздыхал, потом усилил гвардейцев Гагена, и 4-й стрелковый корпус нанес удар на Липовик. С отчаянной решимостью рванулись бойцы в атаку, и им удалось вклиниться в оборону противника.

Этот успех, хотя был он довольно незначительным, показался немцам совсем некстати. Поначалу они ввели в сражение одну пехотную и одну танковую дивизии, завязали бои с тем, чтобы остановить наступление Гагена. А вскоре перебросили на этот участок фронта еще две дивизии.

Сбив темп атак, противник и сам принялся активно огрызаться. Сначала ротой или двумя бросался останавливать гвардейцев, завязывая встречные бои, потом стал переходить в наступление уже полками. Корпус Гагена остановился, а кое-где и отошел, дав возможность противнику выпрямить в ряде мест линию фронта.

Тогда генерал Хозин приказал снять корпус с передовой. Отважных гагенцев отводили на пополнение в тыл. А остальные части должны были начать инженерные работы по всей линии фронта, перейти к обороне.

-18-

Из Берлина в "Вольфшанце" Гитлер вернулся 24 мая, пробыв в столице рейха три дня. Здесь он наскоро решил ряд проблем, связанных с форсированным выпуском новых танков, продовольственной программой, пересмотром режима работы военной промышленности и пополнением резервной армии новобранцами весеннего призыва. Фюрер торопился в ставку, чтобы лично убедиться в начавшемся триумфе операции "Блау". Он знал уже, что вчера был закрыт изюмский котел, и хотя русские активно контратакуют внешний обвод окружения, сочетая эти удары с попытками прорваться изнутри, судьба трех русских армий предрешена. Еще немного — и дивизии вермахта устремятся к Волге и на Кавказ.

Особенно радовала Гитлера так удачно завершившаяся крымская кампания. Шутка ли — полтораста тысяч одних только пленных! Не считая огромного количества боевой техники, оружия, снаряжения, которые бросили на полуострове русские, в панике переправляясь через Керченский пролив.

Продолжавший держаться Севастополь фюрера уже не беспокоил. Его падение — вопрос времени. А тогда можно снять армию Манштейна и перебросить ее к Петербургу, и к осени он, фюрер, раздавит этот ненавистный город. Из вчерашней сводки, полученной им еще в Берлине, Гитлер знал: на севере наступило затишье. Русские прекратили атаки против 2-го армейского корпуса, перешли к обороне в районе Погостья и готовятся отвести войска из волховского котла. Надо принять меры к тому, чтобы не дать им безнаказанно уйти, хотя эта операция теперь носит уже частный характер. Главное сейчас происходит на юге.

"Через два дня в Африке перейдет в наступление Роммель..." — подумал фюрер, заканчивая скромный обед, на который он пригласил ближайшее окружение из тех лидеров партии и государства, что имели собственные

постоянные резиденции в районе "Вольфшанце". Находился здесь и Франц Гальдер, к которому Гитлер подобрел в последнее время. Это было связано с успехами вермахта на Востоке. Прогнозы фюрера оправдывались, и Гитлер интуитивно ощущал, как ослабевает хотя и скрытый, но постоянный скепсис начальника генерального штаба.

Сегодняшний обед фюрера состоял из листиков салата, двух половинок редиса, Гитлер любил сочетание красного и белого в нем, молочного супа и отварной рыбы без гарнира. Ел фюрер неровно. То быстро прожевывал пищу, набрасывался на нее с одержимостью голодного человека, то забывал поднять вилку, увлекаясь разговором.

Еду Гитлер запивал минеральной водой. Он давным-давно отказался от спиртного и мяса, не пил даже пива, хотя путь его к власти начался из мюнхенских пивных Хофсброй и Бюргербройкеллер. В принципе, Гитлер был равнодушен к кулинарным премудростям. Он испытывал слабость только к тортам и пирожным, которые издавна закрепились в его сознании как символ сытной жизни, о ней он мечтал, ночуя под дунайскими мостами и обретаясь впроголодь в венских ночлежках.

Да, торты фюрер обожал. И хотя его личный врач не рекомендовал Гитлеру есть много сладкого, он объедался, когда по случаю каких-либо торжеств устраивал пиршества в кругу соратников. Вот и в минувший первомайский день, когда усталые возвратились они с парада, главный кондитер вождя потряс всех сюрпризом: он изготовил торт в виде Кремля. С каким поистине детским восторгом фюрер схватил нож и принялся кромсать зубчатые стены русской твердыни, отделяя приближенных кусками незавоеванной еще территории! Себе он выбрал Покровский собор, хотя его варварская красочность претила строгому художественному вкусу вождя.

Сегодня Гитлеру подали только небольшую порцию сладкого, он с грустью посматривал на нее, не решаясь попросить добавки: врачу вождь верил. Будучи сдержанным в быту, от принципиального трезвенничества до нормативной сексуальности, Гитлер сквозь пальцы смотрел на излишества и пороки верных янычаров — партайгеноссе. Не требовал от них и соблюдения диеты за тем столом, к которому приглашал разделить с ним трапезу.

Поощрял он и мужские разговоры. Сегодня даже заулыбался, когда Геринг, оттолкнувшись от замечания генерала Гальдера о трудностях мобилизационной кампании, — тот уже ставил вопрос о разбронировании части рабочих, занятых в военной промышленности, — вспомнил вдруг о трактатах двадцатых годов.

Они проповедовали многоженство как главный принцип существования будущего "солдатского государства".

— История показала, что мы напрасно не взяли идеи этих авторов на вооружение, — прожевывая кусок сочного лангета, сказал рейхсмаршал. — Один средний немец мог бы без особого труда покрыть трех-четырех истинно германских матерей. И тогда ни одна здоровая немка, могущая выносить ребенка, не пустовала бы, уклоняясь от долга перед партией и народом.

— Местные власти и органы пропаганды поощряют зачатия женщин, не имеющих законных мужей, особенно от фронтовиков, прибывающих в рейх для проведения отпуска, — заметил Альфред Розенберг.

— Все это самодеятельность, — отмахнулся Геринг. — Процесс зачатия не так уж и прост, товарищи, чтобы пускать его на самотек... Тут нужна истинно немецкая практичность и четкий порядок.

— Ты прав, Герман, — согласился с рейхсмаршалом фюрер. — Стоит подумать над этим... Правда, Генриху прибавится работы. Придется бдительно следить за тем, чтобы соблюдалась расовая чистота плановых зачатий.

Он выразительно посмотрел на Гиммлера, и рейхсфюрер наклонил голову, показывая, что готов проделать и эту пусть и хлопотливую, но такую необходимую для могущества рейха работу.

Тут Гиммлер собрался было сообщить о том, что в медицинском управлении РСХА уже отработана и успешно осуществляется операция Soden Knaben — содовые мальчики. Искусственно зачатые дети были названы так потому, что врачи, опытные специалисты войск СС, брали сперму отборных представителей нордической расы и в содовом растворе вводили в матки тех немок, которые хотели ребенка, но по природной стыдливости не соглашались на половую связь с подобранным для зачатия партнером.

Отцом такого младенца записывали самого фюрера, и государство брало на себя обязательство заботиться о нем как о сыне вождя.

Рейхсфюрер знал, что Гитлеру понравится его инициатива, но говорить об этом сейчас не стал. Во-первых, Черный Генрих считал себя хорошо воспитанным человеком и полагал неприличным произносить за обеденным столом такие слова, как сперма, и ему подобные. А во-вторых, его осуществляемая уже идея произведет на фюрера больший эффект, если он поведает ее Гитлеру в разговоре наедине, когда ему, Гиммлеру, понадобится склонить вождя к какой-либо просьбе рейхсфюрера.

Упоминание о прошлом оживило Гитлера.

— Ты не забыл, Герман, как стрелял в потолок? — спросил он у Геринга.

Тот недоуменно воззрился на вождя, мысли заворочались в замутненном обильной пищей сознании, потом Геринг вспомнил и широко осклабился.

— В Бюргербройкеллере? — спросил он.

— Да, — сказал фюрер, не замечая, как ловко убирают со стола тарелки с остатками пищи, он вошел, что называется, в раж и не видел ничего вокруг, — тогда мы были молодыми, но хорошо понимали: миром управляет незыблемый принцип — у кого сила, тот и властелин. Потому и ненавистны мне большевики, что они провозгласили равенство людей... Это ведет к хаосу и разврату! Существует лишь единственная раса избранных — раса светлокожих арийцев, и немцы в ней — первые среди первых. Мы поставили перед собой задачу привести наш народ к мировому господству и уже близки к победе. Напрасно пытался Сталин добиться власти над всем миром моими руками. Фюрер германского народа без труда разгадал его дьявольский план и переиграл коварного азиата. Я не побоялся рискнуть принести в жертву немецкий народ, чтобы привести Германию к великой цели. Тот, кто сомневается в праве немцев главенствовать над другими, над человеческой мякиной, недочеловеками, будет безжалостно уничтожен!

Теперь мы у себя дома навели абсолютный порядок, — продолжал Гитлер при абсолютной тишине, воцарившейся за столом. — Слава богу, нет больше у нас и тени парламентской суеты, которая только мешала фюреру осуществлять великую миссию. Мы создали гениальную пропаганду, на которую не были способны старые партии. Эта система внедрения в головы немцев идей национал-социализма действует безупречно, она заменила насквозь прогнившую демагогию болтунов-депутатов. Народ в массе глуп и ленив, безволен и простодушен. Народ — большой ребенок, который даже наказание воспринимает как награду, если верит в авторитет фюрера-отца. Умелое сочетание кнута и пряника — вот секрет могущества того, кто взялся осуществлять родительский надзор за собственной нацией. А к тем, кого покорил великий рейх, больше кнута! Они должны еще и бояться хозяев, а вместо пряника пусть радуются куску хлеба и похлебке. Тот же, кто работает особо хорошо, в награду получит талоны на водку и табак. Да-да! В этом я вижу двойной смысл... Никакой медицинской помощи сброду восточных земель! Никаких прививок, минимум санитарии... И не жалеть шнапса для отличившихся на работе! Производство патронов обходится дороже

производства спирта, которым мы довольно быстро и без особых затрат сократим население России.

— Гениальная мысль, мой фюрер! — воскликнул рейхсминистр Альфред Розенберг, когда Гитлер сделал паузу, остановив на нем взгляд.

— Постоянное потребление алкоголя славянскими работниками приведет к увеличению числа умственно неполноценных, — осторожно заметил Франц Гальдер. — Снизится качество трудовых ресурсов.

— Для умственно неполноценных в рейхе есть закон об их обязательной ликвидации, — не снимая возвышенного порыва ответил Гитлер. — Если мы очищаем нацию от психически больных немцев, то зачем нам делать исключение для русских дебилов? У Генриха найдутся специалисты и для подобных акций.

Рейхсфюрер Гиммлер молча кивнул.

-19-

Звание Героя Лапшов получил в конце марта. Тогда только-только пробили путь к Мясному Бору, а вскоре прибыл в дивизию комиссар Зуев.

— Ну, Афанасий Васильевич, поздравляю от души и рад безмерно, — сказал он полковнику Лапшову. — Полагаю, что всей армии от этой награды почет и уважение. Героев у нас пока не густо...

— Мало своих представляете, товарищ дивизионный комиссар, — смело ответил Лапшов, таким он был не только в бою, политначальства тоже не боялся. — Мне-то ведь за старые дела награда вышла...

— Знаю, — спокойно ответил Зуев. — За Чонгарский полк, за прошлогоднее лето. "Отвагу" тебе привез. Смотри, что в газете пишут. — И комиссар прочитал: — "С первых дней Великой Отечественной войны тов. Лапшов командует полком. Его полк в течение 29 дней вел упорные непрерывные бои. О размахе этого сражения говорят такие цифры. Полк выпустил по врагу 25 млн. патронов, 24 с половиной тысячи противотанковых снарядов, десятки тысяч снарядов и мин разных калибров.

Немцев приводило в ярость упорство советских воинов. За голову полковника Лапшова гитлеровцами была обещана награда в 50 тысяч марок".

— Мало оценили, мандрилы, — проворчал комдив. — Я им куда как больше ущерба причинил...

— Это точно, — согласился Зуев. — Ты посмотри, тут и про нынешние дела есть. Вот послушай: "Артиллеристы и снайперы, гранатометчики и пулеметчики

Лапшова истребили за время боев более восьми тысяч немецких солдат и офицеров, подбили и захватили пятьдесят орудий разного калибра, в том числе шестнадцать тяжелых, уничтожили двенадцать танков, тридцать автомашин и тягачей. Зенитчики-лапшовцы имеют на счету двадцать пять сбитых немецких самолетов. В числе захваченных лапшовцами трофеев три миллиона патронов, сто повозок, склад с боеприпасами, двести километров телефонного кабеля, пятнадцать раций, сто тридцать велосипедов и мотоциклов..." Возьми на память, — протянул он газету, — Тут еще пишут, что ты немцев бьешь их снарядами.

— Верно пишут, — ухмыльнулся комдив. — До сих пор бью... А что делать, если своих не хватает. И вот эту оружию таскаю... — Он похлопал по магазину-рожку немецкого пистолета-пулемета, который висел у него на шее. — Намекал мне наш комиссар, получается, мол, что пропагандируешь как бы оружие врага, — продолжал он. — Да я не согласился. Удобная штука, я ее заместо нагана теперь держу. У вас нет возражений, товарищ член Военного совета?

— Носи, — махнул Зуев, — Что с тобой, Афанасий Васильевич, поделаешь...

Было что-то в Лапшове от взрослого ребенка, и комиссар это понимал. "Такими прежде святые были, — думал Зуев, когда торжественно вручал полковнику Золотую Звезду, — А в гражданскую из них Чапаевы выходили,, из подобных людей".

За ужином по случаю награды комдив показал Зуеву старую фотографию, в шестнадцатом году сделанную. Фуражка набекрень, лычки старшего унтера на погонах, бравые, задорные усы, брови вразлет, веточка сирени в петле гимнастерки на груди и три Георгиевских креста над левым карманом. Кавалер!

...В середине мая пришла на фронт другая весть: товарищ Сталин постановление Совнаркома подписал, по которому стал полковник Лапщов генерал-майором.

-20-

— Толпа любит, когда вождь не просит у нее, а требует, — сказал Гитлер. — Она уважает силу, а сильный берет сам то, что принадлежит ему по праву избранности. Мышление так называемой народной массы и действие ее определяются куда меньше трезвым размышлением, нежели эмоциональным ощущением. Поэтому наши идеологические службы должны обращаться в первую очередь к чувству народа, а уже потом и в куда меньшей степени к его рассудку. И не бойтесь лгать во имя высшей цели! Она всегда оправдывает

средства... Чем больше лжи, чем величественнее она, тем скорее и бесповоротнее поверят в нее ваши подопечные. И всегда усиливайте это направление той безоговорочной, наглой, односторонней тупостью, с которой сочиненная вами ложь преподносится.

Мир — это бездна, в которой исчезают одно за другим целые поколения. Тогда что же является главной ценностью окружающей нас Вселенной? Что есть безусловное? Сама жизнь, которая есть миф и, будучи таковой, нуждается в постоянном приукрашивании, потому-то ложь и неизбежна. Не случайно, — продолжал фюрер поучительным тоном, — великий Ницше подчеркивал: жизнь есть условие познания, а заблуждение есть условие жизни… Мы должны любить заблуждение и лелеять его — оно материнское лоно познавания. Человек живет в мире фантазий, измышлений, ложно понятых ценностей. Все это так. Но я поправил бы Ницше одним соображением.

Да, заблуждение для всех, кроме тех, кто этим заблуждением управляет. Далеко не всем дано понять, в чем подспудная цель фюрера. Да... Но Ницше совершенно прав, когда утверждает: люди по природе не равны. Любое равенство — уродство. Ведь оно только помогает выжить слабому, а это ведет к вырождению. Все слабые и неудачники должны погибнуть: таково первое положение нашей любви к людям. И мы должны им помочь в этом! Природа не знает пощады, жизнь жестока и беспощадна. Овца существует для того, чтобы ею насытился беспощадный к слабым германский волк!

Гитлер ударно завершил фразу, почти выкрикнув слова "дойчес вульф", и неожиданно смолк. Наступившую паузу никто не смел нарушить, а фюрер как-то сразу обмяк, уронил подбородок на грудь, смотрел отсутствующим взглядом в стол.

"О чем это я? — вяло спросил себя Гитлер. — При чем тут овца и германский волк? Сталин... Вот кто меня подсознательно беспокоил! Пока я тут безмятежно говорю с друзьями, вероломный и непредсказуемый кавказец затевает очередную коварную хитрость. Нельзя так расслабляться! Вождь Германии обязан всегда быть начеку..." Самому себе страшился Гитлер признаться, какой мистический ужас вызывает у него тот человек. Фюрер не верил ни в бога ни в черта, но Сталина полагал некоей третьей, роковой силой. Вслух он сказал:

— Роммель готовится наступать от Эль-Газалы к Эль-Аламейну. И это хорошо. Но мне хотелось бы узнать обстановку на восточном фронте. Вы готовы, Гальдер?

— Да, мой фюрер.

— Сейчас мы перейдем в оперативную комнату, — набирающим силу голосом проговорил Гитлер, не вставая, тем не менее, со стула. — Там мне обо всем и доложите, Гальдер. И потом... Не пора ли перебраться в новую ставку, генерал? Фюрер обязан быть там, где дерутся его ландзеры.

— Полковник Цильберг доложил мне вчера, что новая штаб-квартира в Виннице готова. Ждем вашего приказа, экселенц.

Такое обращение к вождю согласно нормам партийной морали не употреблялось, но в устах Гальдера оно звучало как обращение к генералу более высокого ранга, и ефрейтору Гитлеру импонировало вполне.

— Хорошо, — сказал Гитлер и удовлетворенно кивнул. — Я назначу день отъезда.

Он приподнялся со стула и оглядел уже стоявших соратников по его борьбе.

— Сегодня Троица, — напомнил Гитлер. — Мы отнюдь не религиозны, но чтим этот день как народный праздник. Надо соблюдать немецкие обычаи, товарищи, но обязательно наполнять их партийным, национал-социалистским содержанием. Устроим в честь Троицы ужин.

Гитлер откровенно улыбнулся. Он радовался поводу заказать личному кондитеру грандиозный торт.

-21-

Командующего фронтом Хозина ободряло то обстоятельство, что Ставка без обиняков согласилась на отвод 2-й ударной и на переход армии Сухомлина к жесткой обороне. С погостьевским направлением все ясно. Там надлежало ждать лучших времен. Теперь отвести войска генерала Власова к Мясному Бору и забыть о том, что он, генерал Хозин, не только не пробился к Ленинграду, но и не сумел взять Любань.

А как быть с тем, что дал Верховному слово? Выходит, обманул? Можно и помягче: ввел в заблуждение, не оправдал доверия, подвел, переоценил себя, не разобрался в обстановке... Все равно плохо, хуже некуда.

"Товарища Сталина нельзя обманывать... Товарища Сталина нельзя обманывать..." Дикая и бесспорная по смыслу фраза рефреном звучала в сознании Хозина в эти майские дни. Он остановил уже наступление 54-й армии, но почему-то медлил с отводом 2-й ударной, будто нарочно давая немцам время окончательно разобраться в обстановке, разгадать намерения русских и предпринять маневр освободившимися в районе Погостья частями.

Только 18 мая, через четыре дня после получения разрешения об отводе, командующий фронтом связался со штабом армии и узнал, что отвод может быть начат не ранее 22 мая — не готовы транспортные коммуникации к новым рубежам.

— Почему же вы так долго тянете с дорогой? — довольно резким тоном спросил Михаил Семенович у Власова.

— Нам приходится делать дорогу из сплошного настила бревен, — ответил генерал-лейтенант. — И на большое расстояние... Ведут строительство только два дорожных батальона неполного состава. Никак не справляются.

— С таким сроком согласиться не можем, — возразил Хозин. — Обстоятельства против нас. Они требуют форсировать строительство дороги. Почему вы надеетесь только на дорожные батальоны? У вас много тыловых учреждений. Немедленно мобилизуйте их! Надо к исходу 20 мая дорогу закончить... Действуйте решительно и энергично!

Из Малой Вишеры положение, в котором находилась 2-я ударная, казалось не столь трагическим. Легко было отсюда говорить о тыловиках, которых уже давно поставили в строй, на место выбывших воинов. На шее армии висело также огромное количество тяжелораненых бойцов и командиров. Их не сумели вывезти по санному пути, постоянные бои увеличивали число страдающих обитателей медсанбатов и госпиталей.

Но генерал Хозин судил обо всем по сводкам. Во 2-ю ударную он так ни разу и не выбрался, собственными глазами увидеть болотный ад, в котором находилась армия, не удосужился.

Конечно, уже с наступлением весны все силы надо было бросить на ремонт старых транспортных связей и строительство новых путей. Это хорошо, что построили узкоколейку. Но одним концом дорога упиралась в район, до которого надо было еще добраться тем частям, что веером расположились на большом пространстве.

Во все периоды Любанской операции инженерное обеспечение армии было организовано из рук вон плохо. Саперные и дорожные батальоны никогда не были укомплектованы по штатам, особенно не хватало транспорта и специальных машин, дороги строили вручную. Можно упрекнуть, разумеется, и командование, оно могло использовать на строительстве и другие технические части, вообще пораньше заняться путями-дорогами, ведь приказ о том был отдан фронтом еще в марте.

Трудно объяснить, почему за дороги взялись так поздно. Тут, наверно, сказалась надежда прорваться все-таки к Любани — вот и будет тогда в наших руках Октябрьская железная дорога на участке до Малой Вишеры, а оттуда и до самой Москвы. Зачем тогда лежневки и гати в болотах? Ведь в те дни во 2-й ударной никто не думал об окружении. А силы тратились уже последние. На строительство спасительных дорог их уже недоставало. В дороги и генерал Хозин поверил, подгонял Власова ежедневно. Тут случился разговор с генералом Бодиным, представителем Генштаба, который прибыл в штаб фронта, чтобы на месте разобраться в обстановке.

— Отсутствие дорог, — говорил Хозин, — нас держит. Без путей отвода нечего и думать о благополучном проведении в жизнь директивы Ставки. Это было бы равносильно тому, что согласиться бросить в болотах всю материальную часть, артиллерию и автотранспорт и продолжать воевать с одними винтовками. Этого допустить мы никак не можем. Как только будет готова еще одна дорога, помимо узкоколейки, по которой вывозим раненых, тогда операцию по отводу армии проведем быстрее и организованнее.

— Как же вы собираетесь это делать? — спросил Бодин.

— Сначала выведем материальную часть и тылы западной группы армии Коровникова, — объяснил . Михаил Семенович. — Кое-какие части уже здесь, за пределами горловины. Четыре дивизии, а также кавкорпус, правда без артиллерии, перебрались к Мясному Бору. Затем очередь тылов Второй ударной... После чего развернем оставшуюся артиллерию по линии река Кересть, Ольховка, Финев Луг и начнем отвод армии Власова по рубежам, одновременно создавая кулак для нанесения удара по противнику в выступе Спасская Полисть — Приютино.

— План толковый, — согласился представитель Генштаба. — Только вот позволят ли вам немцы тянуть это дело дальше? Товарищ Василевский поручил мне сообщить: Ставка требует немедленного выполнения ее директивы!

Генерал Бодин как в воду глядел. 21 мая в журнале боевых действий группы армий "Север" появилась запись: "Движение в месте прорыва западнее Волхова все больше свидетельствует о том, что советское командование готовится отвести войска из района вклинения". И соответствующий практический вывод: "С 22 мая на всех участках начинается наступление сильных ударных частей, направленных на сужение волховского котла".

В тот же день к деревне Филипповичи скрытно подобрались две роты вермахта и восемь поддерживающих пехоту танков. Внезапным ударом они захватили

деревню. Но ночью подразделение 23-й стрелковой бригады, отвечавшей за этот участок фронта, в яростной атаке отбило Филипповичи. Утром немцы возобновили бой, но, потеряв три танка, временно отошли. Перегруппировавшись, на следующий день снова атаковали, выполняя общий приказ: не дать 2-й ударной армии уйти.

Немцы открыли сильный артиллерийский и минометный огонь по укрепленным позициям 1102-го стрелкового полка дивизии Антюфеева, занимавшего оборону южнее Червинской Луки. Поставив дымовую завесу, двести пехотинцев с танками двинулись на антюфеевцев. Но саперы позаботились о гостинцах, и часть танков подорвалась на минном поле. Гибель бронированных машин захватчиков не остановила, они вводили в бой новые танки и пехоту. Пехоту отсекали от танков фланговым огнем из пулеметов, затем брали в штыки. К вечеру бой затих, противника остановили.

Зато атаки последовали на других участках фронта. Гитлеровцы грызли армию уже со всех сторон. Только тогда командование 2-й ударной приступило к отводу войск.

-22-

Генерал Лапшов собрался в дорогу. Собственно говоря, генералом он был пока лишь на бумаге. В петлицах старенькой гимнастерки по-прежнему теснились по четыре жестяных, крашенных зеленой краской шпалы: где было взять генеральские звезды в тогдашней обстановке? Но и с прежними знаками отличия все звали его по-новому, передавая друг другу: "Батя-то наш генерала получил".

Тут и прибыл Афанасию Лапшову повторный приказ: назначен замом командарма-4, дивизию сдать во временное командование подполковнику Тарковскому, а самому выбираться через Мясной Бор в штаб фронта.

Такой расклад устраивал Лапшова. Воевать в обороне он не любил, его деятельный характер не терпел занудливости позиционной войны, да еще в гнусных этих болотах.

Жалел, что не смог обойти все полки и проститься, хотя и мало там осталось тех, с кем мыкал зимнюю военную страду, вот и Таута на повышение забрали. Правда, случился на лапшовском КП майор Захарченко. Тот самый, кому еще зимою комдив приказал взять деревню Гора, выбить оттуда легион голландских фашистов "Нидерланды" и обязательно захватить "языка". Захарченко подобрался к деревне ночью, бесшумно снял часовых и перебил весь легион,

беспечно почивавший по избам. Когда спохватились — в плен брать уже некого. На упреки Лапшова колоритный хохол, ходивший в неположенной ему по званию папахе и расстегнутом на груди полушубке, отвечал:

— Виноват, товарыщ полковник... А "языка" не взяв потому, как по-ихнему не балакаю. Апонцив я бив, хвинов и нимцив бив, гишпанцив тоже бив... Тольки галанцив не бив! И етим паразитам "Хенде хох!" сказать не можу. Пока толмача шукали, всех галанцив хлопцы мои и кончили.

Сейчас он обнял Лапшова, прослезился, достал большой клетчатый платок и шумно облегчил с его помощью нос.

— Прощай, батько, — сказал он Лапшову, хотя был его куда постарше. — Не поминай лихом... Мы тут нимца еще поколотим, будь за нас в полной надеже.

Редактор Крылов принес макет будущей дивизионной газеты "В бой за Родину".

— Хорошо бы дать в прощальный номер и ваше напутствие, товарищ генерал, — сказал он. — Но ваш отъезд — военная тайна. Тогда вот какую хитрость мы учинили... Цензура это позволяет. Дадим шапку над полосой: "Будем свято хранить боевые традиции своей части, будем драться с врагом, как учил нас генерал Лапшов!"

— Чувствительно, — сказал комдив. — Только одно непонятно... Что за тайну ты придумал? Ну, уезжаю... А кто знает, куда? Нет, давай по-другому... Так, мол, и так, в связи с тем, что отбываю к новому месту службы, хочу со всеми через газету попрощаться. А напутствия вам, друзья, будут такие...

Крылов записывал, генерал увлекся, время поджимало. Ординарец Игорь Смирнов нетерпеливо поглядывал на командира: им предстояло отправиться к Мясному Бору пешком, и за светлую ночь надо было выйти к своим.

Последней простилась с бывшим уже теперь комдивом Варя Муханкина, фельдшерица. Генерал звонко расцеловал симпатичную девушку в обе щеки, она от голода ничуть не подурнела, только усохла чуток.

— Замуж тут без меня не выходи, Варвара, — с притворной строгостью наказал Лапшов. — Хочу на свадьбе твоей погулять... Договорились?

Варя кивнула, потом лицо ее сморщилось, она вдруг заревела во весь голос, ткнулась генералу в перекрещенную ремнями грудь.

— Ну-ну, — растроганно проговорил Афанасий Васильевич, — перестань, девка, народ смотрит... Ты ведь, как-никак, лейтенант Красной Армии.

"Какие люди! — размышлял генерал, пробираясь по разбитой бомбежкой лежневке, которую спешно латали саперы. — Голодные, обовшивевшие, без поддержки артогнем и с воздуха, а как воюют!.. Верно говорили нам на курсах

"Выстрел": важен не избыток снарядов, а дух войска. Для армии он главнее, чем боеприпасы".

В голову лезли обрывочные мысли, мутило от голода, и тогда генерал обрывал листья с приобочных кустов, жевал их, глотал горькую кашицу вместе с обильно выделявшейся слюной. Он думал о жене, которую попробует вызвать в Малую Вишеру, если задержится в ней. Она может быть полезна в штабе как переводчица с испанского: Голубая дивизия Франко по-прежнему воюет в составе армии Линдеманна. Вспоминал об оставленных товарищах, было немного не по себе, но Лапшов считал, что больше пользы принесет там, где наступают. А отвести дивизию к плацдарму сумеет и Тарковский или тот, кого назначат вместо него.

Афанасий Васильевич никогда не задумывался, почему его так беззаветно любят красноармейцы. Учившийся от случая к случаю, он и не подозревал, что все его поступки интуитивно совершались им по законам военной психологии. Так, еще в прошлом году, когда дивизия готовилась драться за Малую Вишеру, командир обходил посты и увидел спящего часового. По всему выходила тому бедолаге верная смерть. Но что придумал Лапшов?! Взял у спящего парня винтовку и стоял в карауле, пока не пришёл разводящий со сменой. И в трибунал заснувшего красноармейца не отдал, учтя, что тот выдохся вконец после дневного перехода.

Кто подсказал тогда Лапшову психологический ход, известный биографам Наполеона? Афанасий Васильевич и слыхом не слыхал о подобном поступке "маленького капрала", но повторил его, став для бойцов человеком и командиром с большой буквы.

Он раз и навсегда запретил общие наказания, когда за проступок одного виноватят целое отделение или взвод. Считал, что доверием скорее добьешься порядка, чем страхом от предстоящего наказания. При этом учил командиров мгновенно пресекать своеволие, быть справедливыми к бойцам, искренне заботиться о них, но в то же время и спрашивать строго за промахи и нарушения.

Долину Смерти ординарец предложил обойти стороной, взяв южнее.

— Знаю тропинку, — сказал Смирнов. — По ней уже ходил, когда из Вишеры возвращался, пройдем оки-доки, товарищ генерал.

— Это ты по-японски, что ли, Игорь? — проворчал Лапшов. — Оки-доки... Заведешь меня к немцам...

— Как можно?! — воскликнул Игорь.

Но к противнику они все же едва не попали. Как случилось это — не понять. Но только на тропе, которая считалась нашей, встретили двух немцев с термосами за спиной. Генерал не растерялся и срезал обоих из автомата, который почти не снимал с шеи, едва ли не спать с ним ложился.

Термосы были полными. Одна посудина оказалась с супом, но в ней Лапшов наделал дырок, когда полоснул по фрицам очередью, и теперь содержимое на глазах вытекало. А во втором термосе, целом, была картошка с мясом. Его подхватил на плечи Смирнов — не пропадать же такому добру.

Путники взяли на север, чтоб выйти к узкоколейке: рисковать на незнакомых тропах генерал больше не хотел...

-23-

В пехоту Никонов попал случайно.

Прибыл он на станцию Заозерная, где формировался стрелковый полк, вместе с дружком Маликовым, с ним вместе обучались в Новосибирске на радиокурсах для командиров. В штабе говорят: "Маликов пойдет в роту связи командиром радиовзвода. А вот что с тобой, [422] Никонов, делать — не ясно. За штатом ты у нас... Может быть, в Канск поедешь? Там наша дивизия формируется, начальства больше, оно и решит..." "Где начальства больше, там порядка меньше, — ответил языкастый лейтенант. — Оставьте в полку, авось сгожусь на что". "Ладно, — ему отвечают, — бери под начало штабной взвод, а там будет видно".

После дивизионного учения всех погрузили под "Прощание славянки" в товарняк и повезли на запад. Долго ли, коротко, а добрались до города Череповец. Пока выгружались, пошел снег, и пришлось топать в пешем строю до Белозерска уже по белому первопутку. Здешние места казались сибирякам скудными. Избы хилые, природа не впечатляет. Удивлялись: и как только люди в скучище такой обитают, с тоски не воют?

От Белозерска через Кириллов путь им велено было держать на Вологду. Шли все светлое время суток, темное тоже прихватывали, часов по шестнадцать в беспрестанном движении. Привал на прием пищи и чтобы поспать немного где придется. Так и добрались до Вологды, от нее под Тихвин ехали "железкой", а там и в бой вступили, отняли город у немцев. Кому не повезло, остались лежать в промерзлой уже земле. А оставшиеся в живых счастливцы двинулись на Будогощь. По дороге видели множество немецких трупов. Два из них, видно

заброшенные туда разрывом снаряда, застряли в голых ветвях деревьев, будто огромные нелепые куклы.

На войне оно как: сегодня тебе повезло, а завтра судьба рассердилась... Впереди Ивана Никонова повозка двигалась, одноконная, везла военный скарб взвода. Когда свернули на боковую дорогу, первые повозки прошли по ней след в след. И ничего... А повозочный их взвода из колеи выбрался и ехал на ладонь правее. Так и угодил передним колесом на мину для танка. Беднягу вообще не нашли, будто испарился. А лошади оторвало взрывом заднюю половину. Постромки не дали оставшейся части упасть, и когда Никонов подбежал к тому, что осталось, лошадь была еще жива, стояла на передних ногах и тряслась.

Дивизия полковника Сокурова считалась резервной, ее бросали то влево, то вправо от основного направления удара, там, где Мерецков, руководивший Тихвинской операцией, ощущал более сильное сопротивление гитлеровцев. Отступая, те уничтожали любое жилье, и сибиряки, несмотря на крепчавшие в декабре сорок первого года морозы, спали в снегу.

Поначалу сибиряки воевали у Федюнинского, в 54-й армии, потом дивизию передали под начало командарма Галанина, но главное лихо караулило их во 2-й ударной. При прорыве через Волхов, дело было уже в январе, пошли южнее Селищенских Казарм, температура упала в тот день до минус сорока. Для обогрева привезли водку в бочках, прямо из ковша поили красноармейцев.

— Против приказа товарища Сталина ничего не имею, — сказал Никонов бойцам взвода. — Но как старый таежник прошу: водку не пейте. Поначалу вам будет казаться, что стало теплее, но к утру превратитесь в мерзлую кочерыжку. Водка всегда лжет, ребята, помните мои слова.

Послушались взводного, водку пить не стали. А утром с ужасом смотрели на трупы замерзших красноармейцев из других взводов — им так и не пришлось пойти с ними в наступление. Конечно, погибать всюду нехорошо, только замерзнуть от водки перед атакой совсем позорно. Но похоронки написали им по форме, родные так и не узнали, как погибли их сыновья.

К Волхову незаметно подобрались по оврагу, потом выбежали скопом на лед и — "Ура!". С того берега стреляли, только народ уже разъярился и все валил и валил по красному волховскому льду. Потом влетели в снежные ячейки, только что брошенные немцем, на плечах его стали продвигаться к Спасской Полисти.

Тут Никонов огляделся. На станции возле железнодорожной платформы стоят пока еще целые дома с сараями, тянутся ровной улицей, огородами спускаются

к речке Полнеть. Ближе к шоссе водокачку приметил, башня ее — удобное место, чтобы держать под контролем округу, если, конечно, пулемет на ней установить.

Взвод Никонова охранял КП, который комполка разместил за пару-тройку сотен шагов от переднего края, в небольшой землянке. Для бойцов укрытия не было, они сгребали снег, чтоб устроить хоть какую-то заграду, натягивали палатку, сбивались кучей, грелись от собственного дыхания и друг от друга. Еще ближе к противнику обнаружили яму, решили: быть в ней наблюдательному пункту.

— Давай, Никонов, тяни туда телефон, — приказал комполка. — Ты ведь у нас еще и связист к тому же...

Потянул Иван телефон, заработала связь с передним краем, тут и пришел приказ взять Спасскую Полисть непременно, любой ценой.

— До единого штыка в атаку! — распорядился комполка, которому Первый по телефону накрутил хвоста до отказа.

Шли врассыпную, по снежному покрову, уже испятнанному воронками от мин и снарядов. И Никонов шел, ободряя бойцов. А навстречу ощетинились амбразуры вражеских дотов. И автоматчики, и пулеметчики, и снайперы забавлялись на выбор, выбивая из цепей белые полушубки — немцы давно знали, что в них щеголяют советские командиры. Потом артиллерия ударила, и все полетело кувырком. Бойцы растерялись, стали бегать среди разрывов.

— Ложись! — кричал Никонов. — Ложись, курвы эдакие!

Сам он залег в воронку, но постоянно выглядывал: необходимо ведь присматривать за взводом. И видел, как изрешетили осколки метавшегося по полю командира отделения, сержанта, нетрусливого вроде парня, а вот впавшего в неразумную суету.

Потери в этот раз случились большие, залегла пехота. Лежала в снегу четверо суток. Когда наступала ночь, взводный ползал от одного бойца к другому и проверял: жив или нет, и сколько годных осталось у него в строю штыков. Подберется к одному, начинает трясти... Бывало, что лежит иной уже закоченевший — морозы не сдавали, жали крепко, сибиряков тоже вниманием не обходили.

Во все дни наступления бойцы и запаха горячей пищи не чуяли. Полевые кухни пытались приблизиться к передовой, но их засекали немцы еще на подходе и расшибали вдребезги прицельным огнем. А термосов тогда у нас еще не завели, это потом у немцев их переняли. Обыкновение было другое: полежат-

полежат голодными бойцы несколько суток, потом их отводят назад кормить, а на их место маршевая рота ложится, чтобы под огнем противника попоститься.
Артиллерии в полку не было никакой. Патронов к трехлинейке выдавали по две обоймы на брата. Значит, если ты десять раз по врагу выстрелил, то война твоя в этом наступлении кончилась. Но кто стерпит, чтобы оставаться живой мишенью! Вот и ползали бойцы средь убитых, обшаривали земляков, искали оставшиеся патроны — мертвым они без надобности.
Так и ждали, когда высшие командиры и их штабы найдут выход из создавшегося положения.

-24-

Оренбургский батрак Антюфеев, волею революции ставший комдивом, в гимназиях и университетах не обучался, труды древних философов не читал, обходясь в мирной жизни конспектами "Краткого курса", которыми снабжал его комиссар. На войне же вообще было не до того, и потому Иван Михайлович так и не узнал, что некий Сократ еще в на нашей эре доказывал: смысл жизни, нравственное содержание ее выше самой жизни. Но отсутствие подобной информации отнюдь не помешало Антюфееву достойно довоевать собственную войну, пусть она и оказалась у него короче, нежели у иных.
Трудно сказать, от природы ли, воспитания ли был комдив-327 духовно целостным человеком. К тому же природа наделила его недюжинным военным талантом. Таких людей у нас принято называть самородками, намекая на то, что способности их даются не упорным трудом и учебой, а ниспосылаются свыше, а их странные, на первый взгляд, поступки иной раз вызывают озабоченность у окружающих. Так было и с решением Антюфеева остаться в дивизии. Комиссару Зуеву оно пришлось по душе, а некоторые посчитали неумным чудачеством.
...Вскоре после возвращения в родную дивизию Иван Михайлович получил приказ, постепенно оставляя оборонительные позиции, отойти на основной рубеж. Положение соединения было архисложным. Оно дальше других углубилось в захваченную врагом территорию. Начнешь отходить поспешно — насядут немцы, ворвутся на твоих плечах в середину мешка. Будешь медлить — оголятся собственные фланги, ведь соседи отходят назад. Тогда противник может отрезать тебя от остальной армии.
Словом, командир, торопись, не поспешая...

К концу дня 28 мая дивизия отошла на основной рубеж, определенный армейским штабом. Одновременно здесь развернулся ряд других соединений армии. Теперь за этим рубежом собрался, пусть и из потрепанных батальонов, серьезный кулак. Сюда же, вовнутрь уменьшившегося мешка, вывели армейскую технику, эвакуированных беженцев, раненых и больных красноармейцев и командиров. Этих последних скопилось великое множество, их не успевали отправлять по узкоколейке в тыл.

Ночью с 28 на 29 мая Антюфееву доложили, что к ним прибыло какое-то подразделение с пакетом из штаба. Радостью полыхнуло сознание Ивана Михайловича, подумал: "Пополняют нас! Наверно, пойдет встречь теперь дело..."

Но это был Олег Кружилин с половиной роты. Незадолго до этого от немцев перешло несколько наших бывших бойцов. Попав в плен, они согласились пойти в разведшколу, другого пути для спасения не было. Закончили учебу в Риге, получили первое задание: проникнуть в тылы 2-й ударной и срочно выяснить, что там происходит, сама ли армия отходит или затеяла маневры перед новым броском. Но сообщений от них абвер так и не дождался: они тут же сдались и попали к Шашкову на допрос.

Из допроса перебежчиков начальник Особого отдела узнал, что немецкое командование засылает в наши войска группы головорезов для ликвидации штабов, и чекист принял решение разделить роту Кружилина. Половину пустил в обход по левому обводу мешка, а сам Олег получил приказ обойти правое полукольцо и предупредить командиров частей об опасности.

— Когда доберешься до Триста двадцать седьмой, там и останься пока, — напутствовал Шашков командира роты. — У Антюфеева большие потери, подкрепи его ребятами, они у тебя орлы. И присмотри за ним самим.

Шашков не сказал, что об этом его Зуев просил. Комиссар считал себя лично ответственным за комдива, старался сберечь его. Только на войне это не всегда выходит, чаще случается наоборот.

— Когда начнется новый отход, обезопась его тылы, штаб, — продолжал Шашков. — И карауль лазутчиков! Они сейчас, как грибы после дождя, начнут возникать. Потом, когда штаб армии будет выбираться, к нам присоединись.

Комдив принял старшего лейтенанта приветливо, чаем принялся поить.

— Ты из чекистов будешь? — спросил он Олега.

— Обыкновенная пехота, — улыбнулся Кружилин.

— Это хорошо, — кивнул Антюфеев и, спохватившись, торопливо стал объяснять: — Я, конечно, не в том смысле имел в виду... Понимаешь, к ним мы со всем уважением, только сейчас тут дела у нас скорее по части строевого командира. Улавливаешь?

— Вполне, — согласился Кружилин, и Антюфеев удовлетворенно засопел.

Чаевали со вкусом, спокойно, ибо к тому времени противник отошел ко сну. Антюфеев только ахал восхищенно, когда Олег ему про Питер толковал: комдиву там бывать не довелось. Но тут примчался взъерошенный адъютант.

— Товарищ полковник! — заорал он, заставив поморщиться комдива. — Звонили из штаба армии... Сам товарищ Зуев велел поздравить! Вам присвоено звание генерала! Разрешите, товарищ полковник...

Антюфеев укоризненно покачал головой.

— Суетишься, — с легкой укоризной сказал он. — И обращаешься не по уставу. Что же ты меня полковником кличешь, если я уже генерал?

...2-я ударная заняла новый район обороны. Его передний край проходил от села Ольховка по реке Рогавка к Финеву Лугу. Район был выгодным, поскольку не давал противнику возможности прицельно обстреливать русские тылы, и армия впоследствии могла успешно продвигаться к Мясному Бору, сохраняя за собой оборудованные аэродромы у Новой Керести и Финева Луга.

За короткий срок в районе обороны саперы успели соорудить кое-какие инженерные сооружения. На главных направлениях построили дзоты, сделали на просеках завалы, заминировали подходы, насколько возможно в подобной почве отрыли и окопы.

Когда противник попытался с ходу продвинуться вперед, его боевые порядки наткнулись на плотный огонь из-за укрытия. Атаки захлебнулись, немцы от фронтального удара отказались.

И в штабе фронта, и в штабе армии полагали, что первая часть мер по выводу 2-й ударной исполнена по намеченному плану. Ведь сумели же без особых потерь оторваться от противника и занять новый район обороны. Еще немного, и все части армии соберутся вместе, как и предписано директивой Ставки Верховного Главнокомандования.

Казалось, что теперь, когда события подчинены неумолимой военной логике, вот-вот завершатся последние приготовления, и армия организованно начнет выбираться из гигантской ловушки. Но излишний оптимизм на войне — опасная штука, командирам не следует забывать реальное соотношение сил. А истекшие месяцы войны со всей наглядностью показали, что германские

генералы достигали успеха исключительно за счет маневра, больших запасов снарядов и мин, преимуществ автоматического оружия, господства авиации в воздухе. Когда же дело доходило до прямой схватки — ее выигрывал красноармеец. Таким образом, моральное превосходство уже в самом начале войны было на русской стороне. И если окруженные войска и попадали в плен, то это, как правило, происходило лишь после длительного и жестокого сопротивления.

Поэтому и не было во 2-й ударной ни одного человека, от командующего до красноармейца, который сомневался бы в успехе задуманного и успешно пока осуществляемого плана возвращения героической армии на ею же отвоеванный в январе волховский плацдарм. Все приободрились, появилась надежда, что эта их жестокая работа в неприглядном, голодном краю в скором времени завершится. Тогда всем дадут отдохнуть малость, смыть в банях болотную грязь, подхарчиться, а затем вновь приняться за ратный труд, который они привыкли исполнять как должное, без лозунгов и громких слов.

...А пока наличные силы 2-й ударной сжимались в кулак, чтобы ударить по южной и северной частям горловины и беспрепятственно начать выход. Начальник генштаба сухопутных войск вермахта уже 26 мая записал в дневник: "Противник выводит силы из волховского и погостьевского котлов". Если о наших намерениях определенно знал Франц Гальдер, то тем более осмысленно планировали собственные действия фон Кюхлер и генерал Линдеманн. Германское командование произвело перегруппировку сил, выдвинув на острие главного удара по коридору Эрика — так называло оно Долину Смерти к западу от Мясного Бора — две пехотные, одну моторизованную дивизии, отдельные части Баварского корпуса, артиллерийские, минометные и специальные подразделения.

Против истощенных голодом и общей усталостью, плохо вооруженных красноармейцев в ночь на 31 мая бросились в атаку сытые, налитые агрессивной силой пришельцы. Одновременными ударами от Спасской Полисти, с севера, и Подберезья, с юга, в общем направлении на Мясной Бор, они перервали тонкую пуповину, которая связывала ударную с войсками Ленфронта. Армия оказалась полностью окруженной.

-25-

Подчеркнутое равнодушие, с которым Сталин отнесся к совету Мерецкова проявить особое внимание к судьбе 2-й ударной, встревожило Кирилла

Афанасьевича. Хорошо помня о непредсказуемости решений вождя и еще в большей степени внутренне содрогаясь при мысли о возможных репрессиях, генерал армии, назначенный заместителем Жукова по Западному направлению, решил держаться на приличном расстоянии от Ставки.

Направление объединило несколько фронтов и считалось едва ли не самым важным, ибо в Ставке по-прежнему верили подброшенной абвером дезинформации о том, что и в летнюю кампанию сорок второго года главный удар вермахта будет направлен на Москву. Впрочем, у Генерального штаба были некоторые основания полагать, что подобная опасность реальна, ибо немцы держали перед фронтами, прикрывавшими столицу, свыше семидесяти дивизий.

Когда Кирилл Афанасьевич прибыл в резиденцию Западного фронта, расположенную на месте небольшой деревеньки Власиха, близ платформы Перхушково Белорусской железной дороги, он напрямик сказал Жукову, что в должности его зама будет чувствовать себя неуютно.

— Лучше буду рангом пониже, да только при самостоятельном деле, — сказал Мерецков. — Пойми меня правильно... Может быть, армию какую дашь?

Жуков задумался. Ответил не сразу вовсе не потому, что в чем-то подозревал бывшего начальника Генштаба, который просится всего лишь в командармы. Интриганства за тем и другим не водилось, просто Жуков прикидывал, как на такой вариант посмотрит сам.

— К Сталину надо идти, — проговорил он наконец. — Решение Ставки единолично изменить не могу. И нет пока ничего стоящего для тебя. Но обещаю... А пока съезди на Калининский фронт, посмотри, как там Конев справляется. И прикинь предложения об улучшении стратегической обороны на правом фланге направления

И Мерецков поехал подо Ржев. Здесь начинался Калининский фронт. Его боевые позиции огибали город, затем выдвигались к западу и пересекали Волгу. Потом линия обороны поворачивала на юг и через Рижскую железную дорогу уходила к верховьям Днепра, а от них снова на запад. После станции Ярцево фронт устремлялся на север, изгибался на юго-запад к Демидове, и снова на север, к Велижу, затем на северо-запад к Великим Лукам, а от этого пункта по реке Ловать до города Холм. Вот у Холма и кончались позиции группы армий "Центр" и жуковского направления. Далее, к озеру Ильмень, стоял генерал Курочкин с Северо-Западным фронтом, а за ним и его, Мерецкова, родной Волховский фронт. О нем Кирилл Афанасьевич не забывал,

сердце часто саднило от дум про обреченную 2-ю ударную. Уж Мерецков-то лучше других понимал, какая судьба ждет ее.

У Конева он дотошно изучал обстановку, прикидывал вместе с командующим, как срезать причудливые изгибы передовой линии. Их узорчатая изощренность и оперативные выгоды сулила, и чревата была реальной опасностью для собственных войск.

В той роли наблюдателя и консультанта, в которой сейчас выступал Мерецков, у него оставалось время для размышлений, для теоретических раздумий по поводу происходящего на войне. Опытный штабист, умеющий по крохам информации, добытой из разных источников, составлять общую картину происходящего на фронте, он окончательно убедился в том, насколько мудрым и безальтернативным был план стратегической обороны на сорок второй год, предложенный Шапошниковым Ставке. Он до конца понял, что Красная Армия будет терпеть поражения до тех пор, пока Верховный не уяснит для себя роль и значение Генерального штаба, этого мозга любой армии, как метафорично назвал его Борис Михайлович в одноименном учёном труде. Но кому б он, Мерецков, сам чудом вырвавшийся из тягот зловещего гостеприимства Берии, мог растолковать эту мысль? Однажды он уже попытался советовать Сталину. А чем кончилось? Чаще всего вспоминалась ему последняя встреча со следователем Шварцманом, уже составившим до того обвинительное заключение, носившее до кровавой одури стандартный характер: немецкий шпион, завербован германской военной разведкой. И повод был: проходил стажировку в генеральном штабе рейхсвера.

Когда его снова вызвали, решил — все. Суда, правда, еще не было, но до того ли в военное время! Зачитают приговор и тут же приведут в исполнение. Поразили улыбающееся лицо Шварцмана, его мягкий, едва ли не воркующий голос, предупредительные манеры. Вместо "поганый фашист" и "гитлеровский ублюдок", как он называл его прежде, вдруг по имени и отчеству... Следователь заботливо усадил Мерецкова, предложил папиросы, заговорил, продолжая сострадательно улыбаться:

— Неувязка вышла, Кирилл Афанасьевич, извините, конечно. Должен ваши показания поправить, такова служба. Вот вы пишете: "Немецкий шпион..." Да какой же вы шпион, дорогой товарищ Мерецков! Зачем же на себя напраслину писать?

— Это вы писали, — глухо проговорил генерал.

Мелькнула мысль о том, что затевается новая, теперь уже сверхдьявольская провокация, но старался не думать ни о чем, лишь бы снова не били и кончали поскорей.

— Но с ваших слов, с ваших слов, товарищ генерал армии! — зачастил, ернически подмигивая Мерецкову, следователь. — Разыграли вы нас, разыграли... А мы и поверили, будто вы шпион. Вот ведь нелепость какая... Шутник вы, Кирилл Афанасьевич, шутник!

Он вдруг посерьезнел и поднял над головой листки с протоколом допроса, на котором у Мерецкова выбили признания в немыслимых грехах.

— А с этим вот что сделаем...

Следователь Шварцман разорвал листки пополам, сложил, снова разорвал и театральным жестом бросил в корзину клочки бумаги.

— Вы свободны, товарищ генерал армии, — официальным тоном сообщил его теперь уже бывший мучитель. — Вас ждет парикмахер, потом душ... Форму вашу погладили, машину заказали. Пожалуйте бриться.

— А Евдокию Петровну... — едва прохрипел потерявший голос Мерецков.

— Уже известили, — кивнул следователь. — Ждет вас в родных пенатах. Желаю боевых успехов!

Потом Кирилл Афанасьевич часто вспоминал рассуждения Сунь-Цзы, военного стратега Древнего Китая, он познакомился с его теориями именно в Германии. "Если полководец станет применять мои расчеты, усвоив их, он непременно потерпит поражение, и я ухожу от него. Если он усвоит их с учетом выгод, они составят мощь, которая поможет и за пределами их".

"Подумать только, — сокрушался Мерецков, перебирая в памяти наставления Сунь-Цзы, — в какой седой древности рождались гении военного искусства! А вот те, кто берется воевать, ни слышать, ни видеть ничего не хотят... Как сделать, чтоб опыт не только китайцев, но и собственных предков и даже нынешней войны облечь в зримые формы грамотных военных решений?"

И вспомнил слова: "...сто раз сразиться и сто раз победить — это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего — покорить чужую армию, не сражаясь.

Самая лучшая война — разбить замыслы противника; на следующем месте — разбить его союзы; на следующем месте — разбить его войска.

Если у тебя сил в десять раз больше, чем у противника, окружи его со всех сторон; если у тебя сил в пять раз больше, нападай на него; если у тебя сил вдвое больше, раздели его на части; если же силы равны, сумей с ним сразиться; если сил меньше, сумей оборониться от него; если у тебя вообще

что-либо хуже, сумей уклониться от него. Поэтому упорствующие с малыми силами делаются пленниками сильного противника".
Мерецков усмехнулся. "Так завещал военным Сунь-Цзы, — думал он. — Я — не лучший его ученик..."

-26-

После неудачного наступления предельно поредевший полк, в котором служил лейтенант Никонов, отвели на исходные позиции. Едва отдышались — немцы пошли в контратаку. Молча шли, без артподготовки, надеялись, что получивший недавно крепкий отпор противник не окажет достойного сопротивления.
А Симоненко, который сторожил у палатки, заприметил их вовремя, крикнул: "Немцы!" Все, конечно, заняли места, а пришельцы уже в тридцати метрах. Никонов подал команду и стал расстреливать противника в упор.
Тут и ротный возник:
— Беги, Никонов, с пятком парней на правый фланг, там совсем худо...
Кликнул Иван самых надежных и, невзирая на плотный огонь, подался туда. Одного бойца вскоре убило, другому пуля в живот угодила, двое бойцов потащили его в санчасть, с таким ранением медлить негоже. Добрался Никонов до правого фланга только вдвоем с Мякишевым, был у него во взводе такой парень. Худо бы им пришлось, немцы стали с фланга обходить, да случился вскоре лейтенант Григорьев с пулеметом открыл прицельный огонь, ландзеры принялись отступать.
— Пойду я, — сказал Григорьев, — а вы тут держитесь... Ручной пулемет на плечо — и удалился.
Посмотрел Никонов вокруг, видит: спрятался Мякишев за единственную ель и стоит там, будто броней укрылся.
— Беги за патронами! — крикнул Никонов. — А то маловато остается.
Убежал Мякишев и больше не вернулся, видать, нашла его шальная пуля. Хоть и остался Никонов один, а защищать позицию надо: через это место может батальон противника в нашу сторону пройти и наделать безобразий в тылу. Рядом с елью Иван воронку разглядел, возле нее кусты краснотала с метр высотой. "Вот для тебя и позиция готова, Ваня, — сказал себе Никонов. — Тут тебе и КП, и НП — все вместе".
Устроился поудобнее, ориентиры прикинул, стал ждать. А кругом тихо-тихо, будто и войны нет никакой... Но вот идут солдат двенадцать. Подпустил метров

на пятьдесят и открыл огонь, прямо как в тире выцеливал. Попадали, а те, кто жив остался, стали отстреливаться. Только они все в ель ладили попасть, думали, что он там укрылся. А ель-то была от Ивана в трех метрах правее, воронку же кусты прикрывали, никто не догадался выстрелить по ним.

Тех, кто лежа стрелял, Иван тоже перещелкал. А тут и вторая группа появилась, не подозревая, что идет под пули ворошиловского стрелка, да еще и сибирского охотника к тому же. Положил он и этих немцев. Потом третью группу в расход пустил. Всего осталось лежать двадцать три трупа. Остальные отползали сами, кто и раненых волок по солдатской дружбе, выручали камрадов.

Опять стало тихо, и ночь наступила. Осмотрелся удачливый стрелок — ни души вокруг. Надо своих искать. Пошел туда, где стояла их палатка, из нее они выскочили по крику Симоненко. Сейчас он, раскинув руки, лежал на земле мертвый. И Снегирев неподалеку, и Швырев с Авдюховым, и другие ребята из его взвода.

Никак не мог Иван уложить в сознании, что вот недавно еще они разговаривали, шутили, читали письма из дома, добросовестно справляли ратное дело, выручали друг друга в бою, а вот теперь лежат бездыханные, только он один жив и даже не задет осколком или пулей.

Жутко стало Никонову среди мертвых. Поднялся он и побрел искать живых. По дороге заглянул в землянку комполка, там было пусто и зловеще неуютно. Повернул на дорожку, ведущую в тыл, миновал кустарник и едва не попал под автоматную очередь. "Немцы, — решил Иван, — у наших ведь автоматов нет". Ощупал себя: так и есть — шинель на боку прострелили, стервецы.

И тут вдруг завыло в небе и понеслись огненные хвостатые кометы. Никонов — командир обстрелянный, он сразу смекнул, что это дали залп "катюши". И как раз в то место, где он сейчас ждет неизвестно чего. "Потому-то и нет здесь никого, — подумал Иван, — что наши отошли с позиций. Сюда же проникли немцы, вот их-то реактивщики и решили накрыть, кому же известно, что я, лейтенант Никонов, остался на этом участке?"

Он упал ничком в канаву вдоль дороги и руками голову прикрыл. Снаряды рвались вокруг, поднимая огненные столбы, все вокруг горело, даже земля.

Когда стихло, Никонов поднялся и подался в тыл. Километра через три показалось село. Едва он приблизился к крайнему дому, оттуда заорали: "Стой! Кто идет?"

— Свой идет, не видишь, что ли!

Узнал командира полка и еще с десяток командиров.

— Где был? — строго спросил комполка.

— Немцев стрелял, товарищ майор. А сейчас их там нет. Командир недоверчиво посмотрел на лейтенанта.

— Казаков! — приказал он помощнику начштаба. — Иди с ним и проверь, есть ли там фашисты. Одна нога здесь, другая там!

Побежали резво, без опаски, а когда вернулись и Казаков подтвердил, что никого нет, командир приказал выдвинуться на прежние позиции и занять их.

Так и сделали. А утром Казаков пошел к прежней никоновской позиции считать, сколько же тот немцев убил. Пришел назад и докладывает:

— Восемь штук уложил, товарищ майор!

— Чего же ты хвастал, что больше двух десятков? — укоризненно спросил комполка.

Никонов пожал плечами:

— Казаков даже до елки не дошел, на моей позиции не был, издалека прикинул. — А потом махнул рукой: — Да мне все равно, сколько их было. Трудодни за мертвяков не начисляют.

-27-

— Ну, Кирилл Афанасьевич, радуйся или печалься, — сказал Жуков. — Армию тебе у Сталина выбил. Принимай Тридцать третью...

— Тридцать третью? — удивленно переспросил Мерецков. — Так она же, по сути дела, не существует...

Этой несчастной армией друг его командовал, генерал-лейтенант Ефремов. В апреле нынешнего года в ходе общего наступления от Москвы армия освободила Наро-Фоминск, Боровск. Затем прорвала фронт, рванулась к Вязьме, и тут ее остановили немцы. 4-я танковая армия нанесла по Ефремову контрудар, а затем за его спиною фланговые обхваты захлопнули западню. Армия вместе с десантниками и кавалеристами Белова оказалась в окружении. Сам командарм был тяжело ранен, а когда возникла опасность попасть в плен, застрелился.

Подробности стали известны позже, но сейчас вокруг его имени ходили невероятные слухи, их передавали шепотом. Дело в том, что немецкий генерал Гофман, которому донесли о геройской смерти Ефремова, распорядился похоронить русского командарма на центральной площади Вязьмы с высшими воинскими почестями. Это смутило агентов нашей разведки в городе, за линию

фронта посыпались сообщения с домыслами: фашисты хоронят генерала-коммуниста с оркестром и отдают почести неспроста. Значит, он был их шпион, не иначе. Поэтому имя Ефремова было сейчас как бы под запретом. Не произнесли его в этом разговоре и Жуков с Мерецковым, который в роли завербованного абвером уже побывал.

Да, речь шла об, армии, которой, по сути дела, не было. Из окружения вышли жалкие ее остатки, две сильно побитые дивизии, третью вообще отвели в тыл на переформирование. Вот и все, чем располагал новый командарм.

— Так я и Сталину сказал. Негоже давать Мерецкову такую армию, — продолжал Жуков. — Один призрак! Командовать некем. Вот, говорит Сталин, и хорошо. Пусть нам Кирилл Афанасьевич эту армию воссоздаст. Опыт у него большой на пустом месте работать... Так что давай, кудесник, верши чудеса. А я помогу по возможности.

-28-

В поредевший полк, в котором воевал лейтенант Никонов, стало поступать пополнение, молодое, необстрелянное. Шли казахи и узбеки, люди, русского языка не знающие. Были они верующими, уповали на аллаха, но бог либо отказался от них, либо не мог договориться с тем богом, в которого верили убивающие мусульман пришельцы. Когда кто-нибудь падал мертвым, остальные собирались вокруг трупа единоверца, воздевали к небу руки, молились аллаху, а может быть, и проклинали его...

Русские красноармейцы понимали чувства и настроения своих соотечественников с далекого юга. Недобрыми словами бойцы отзывались о тех начальниках, которые посылали на север, в леса и болота, слабо подготовленных к боевым испытаниям, специфичных по образу жизни и складу характера людей. Понятно, фронт велик, потери большие, но ведь можно распорядиться так, чтобы, скажем, больше южан воевало в тех природных условиях, в которых они могли бы принести больше пользы в битве с врагом.

Но передний край оказывался пустым, держать позиции было некому, приходилось драться и за младших братьев. Пришло, правда, однажды доброе пополнение, батальон уральских лыжников. Всем по двадцать годов, в чистеньких маскхалатах, веселые такие ребята, рвутся в бой, зубоскалят... Прямо с марша их и бросили в атаку. И через полтора часа никого из них не осталось. Пространство перед опять уцелевшим Никоновым было донельзя избито снарядами, воронка на воронке, вокруг все устлано трупами, есть и

кучи из мертвецов, потому как раненые подползали к трупам, чтобы ими прикрыться, и умирали здесь от ран или попросту замерзали. Окопов у красноармейцев не было никаких, кто б для них обеспечил инженерное оборудование позиций в мерзлой почве под огнем врага. Ячеек личных тоже никто не рыл, защищались трупами товарищей, они и выручали живых после смерти.

Передохнули малость и снова пошли несколькими полками на Спасскую Полисть. Никоновский полк наступал на левом фланге, рядом с водокачкой, и лег почти весь бездыханным. Но водокачку и один дом в конце улицы все-таки захватили, забились в подпол, стали осваиваться в нем, как в опорном пункте. Возле дома обнаружили траншею, заняли ее комполка Красуляк, комиссар Ковзун и Никонов с телефонистом. Вот и КП образовался...

— Бьют со стороны Чудова из пулемета и мины бросают, — сказал Красуляк. — Связь есть?

Связь была, соединили комполка с артиллеристом дивизий Довбером.

— Видишь дома от тебя справа, у водокачки? — спросил Красуляк.

— Вижу, — ответил Довбер.

— Дай по ним огонька...

— Сейчас сработаем в лучшем виде.

Стукнули с огневых позиций боги войны, да только не на ту риску прицелы установили, снаряды не в дома, откуда немцы стреляли, пошли, а прямо на командный пункт Красуляка.

— Ты что, сдурел, Довбер! — заорал Красуляк. — Окривел на оба глаза! Ты куда стреляешь?

Осколок пробил ему полу полушубка и на излете упал на ногу комиссару.

— Прекрати стрелять, если не умеешь! — кричал командир полка. — Своих поубиваешь...

Послушался Довбер, прекратил стрелять. До полной темноты едва попытаешься высунуться, противник открывает шквальный огонь. А подавить его нечем, комполка уже не рисковал просить огонька у Довбера, от отечественного снаряда помирать — нет ничего обиднее.

— Вот что, Никонов, — сказал Ивану командир, когда стемнело, — держи тут оборону, а я малость отдохну.

Тот ответил, как положено, передернуть решил затвор карабина, чтоб дослать патрон в положенное ему перед выстрелом место, но затвор вдруг отказал.

"Плохая примета", — подумал Никонов, а сам подошел к куче винтовок на дне траншеи, стал выбирать оружие поисправнее.

Потом решил спуститься в подвал дома, который облюбовали его бойцы, но тут немцы открыли огонь по строению зажигательными пулями, оно загорелось. Из дома выскочили несколько красноармейцев и побежали прочь. Иван затормошил командира полка, тот вроде бы и не спал, встрепенулся.

— Стой! — закричал, увидев бегущих в тыл.

Те, что называется, и ухом не повели.

— Стрелять буду! — в бешенстве закричал Красуляк, вырвал из рук Никонова винтовку, выстрелил раз, другой, третий...

Двоих командир полка свалил, стрелял метко, а остальных, которые все бежали, спас Иван, решительно отведя ствол винтовки в сторону.

— Ты чего?! — заорал командир.

— Бесполезно, — ответил Никонов. — Всех перестреляете — не остановятся. В сполохе они, очумели от страха. Бесполезно стрелять. Отдайте винтовку.

— Держи, — остыл Красуляк, протянул оружие Ивану, огляделся. — Мы с комиссаром отойдем, а вы нас прикройте. Тут не НП теперь, а тир, и мы в нем — мишени.

Дом горел весело, в траншее стало жарко. Никонов подумал: "Начальство-то мы прикрыли, они отошли, а самим теперь как выбираться? При таком освещении мы у немцев как на ладони. Прежним путем нам не уйти". Он понимал, что теперь надо применить какую-либо военную хитрость. Подозвал телефониста Поспеловского, тот только один и остался при нем, объяснил:

— Двинемся перебежками перед амбразурами, у самых домов. Проскочишь амбразуру — и сразу ложись. Желательно в яму.

Так и пошли. Подбирались к очередной амбразуре и, полусогнувшись, шмыгали мимо нее. Немец спохватится, даст очередь, а они уже далеко.

Пока Иван в кошки-мышки со смертью играл, мимо пулеметных стволов бегал, то думал с тоской: гранат бы! Хоть бы по одной покидать гансам, мандрилам нечесаным, в дырки. Но с гранатами дело обстояло худо. В большой они находились тогда нехватке, и трехгранный надежный штык подкрепить было нечем.

Так они с Поспеловским и преодолели всю линию обороны станции. Потом повернули налево и оказались у своих. Их привели в избу, где Никонов увидел собственного комполка, еще человек пять других командиров.

Вел с ними разговор представитель 2-й ударной, полковник Кравченко. Поначалу наорал на лейтенанта: "Кто такой?! Пошел отсюда!"

Красуляк вмешался:

— Мои люди, товарищ полковник. Никонов у меня навроде начштаба...

— Ладно, — махнул Кравченко, — пусть сидит. А вы все доложите, сколько у вас осталось людей.

Но тут он заметил, что один из командиров полков задремал.

— Спишь, сукин сын, на обсуждении боевых действий! — сорвался на крик представитель штарма. — Застрелю на месте!

Никонов вздохнул. Столько раз он это слово на войне слышал, что даже привык к нему. Уж на что до крайности аккуратный, все делает толково, приказы исполняет справно, а и ему кричали "застрелю" не раз... Зачем?

Бедняга комполка поднялся с места, пошатываясь.

— Четвертые сутки лежим на снегу, товарищ начальник, — просипел он. — Не евши тоже... Опять же на морозе... А тут в тепле разморило. Виноват...

— Сиди, черт с тобой, — смилостивился Кравченко. — А вы, кто рядом, толкайте его, если снова заснет. Докладывайте, сколько осталось людей в полках.

У одного оказалось пять человек, у другого шесть, у Красуляка даже семеро. А всего в шести полках набралось тридцать пять человек.

— Объявляю вас оперативной группой. Старший — Красуляк, — распорядился Кравченко. — Ставлю задачу: к утру взять Спасскую Полисть. Выполняйте боевой приказ!

— А подкрепление? — подал голос один командир.

— К утру обещают прислать, — ответил представитель штаба армии. — Но до того надо взять поселок.

Когда пришел новый ясный день, наступавших на поселок остались считанные единицы. Правда, обещанное пополнение попозже прислали. С ним пошли в атаку с правой стороны шоссе Новгород — Ленинград и снова отбили водокачку. Но больше не осилили. К вечеру атаки прекратили, новые силы тоже иссякли. Командиры полков, Красуляк и Дормидонтов, положив своих красноармейцев, решили вернуться на исходные позиции.

Они перешли речку у моста, стали подниматься на берег, и тут их выцелил немецкий пулеметчик. Дормидонтова убил наповал, а Красуляка незначительно ранил в руку.

У Сталина болела голова. Он вызвал Поскребышева и чай велел заварить покрепче, нежели это делалось по обыкновению. Конечно, можно было снять боль, добавив в чай коньяка, однако вождь справедливо полагал, что прием спиртного с утра вовсе не опохмеленье, а обычная пьянка, только в начале дня. Но товарищ Сталин не может не работать в такое тяжелое для страны время, как бы он себя плохо ни чувствовал. Он дотерпит до обеда и тогда может позволить себе выпить рюмку доброй русской водки, которую предпочитает любым напиткам мира. Водка так хорошо разгоняет кровь, да еще если смягчить ее горечь, запив глотком хванчкары или киндзмараули.

Спиртное вождь пил каждый день, и в праздники, и в будни. Первый раз за обедом, после шести часов пополудни. Этот обед, на котором решались судьбы страны, переходил в ужин, затягивался до полуночи и дальше. Сталин любил играть роль радушного хозяина, который щедро потчует гостей, заодно зорко наблюдая за поведением и произносимыми подвыпившими соратниками фразами.

Но вчера Сталин сам перебрал спиртного. Вождь начинал чувствовать: ему передавалась неуверенность и робость, которые постепенно охватывали того невзрачного и щуплого человека по имени Иосиф Джугашвили, живущего в сталинском незыблемом и гранитно-бронзовом могущественном обличье.

"А голова болит у товарища Сталина", — мысленно усмехнулся он, и от этого тайного остроумия ему полегчало.

Поскребышев принес заказанный чай, и Сталин, коротким кивком поблагодарив помощника, спросил:

— Что у нас с утра?

— Награждения, товарищ Сталин...

Поскребышев знал: эта часть работы для вождя самая приятная, а поскольку о головной боли товарища Сталина ему тоже было известно, то помощник и предложил начать рабочий день с рассмотрения представлений к высшим наградам. Одарять ими хороших людей Сталин любил. Тогда он физически ощущал себя Отцом миллионов винтиков, которые все вместе составляли смонтированный им, Великим конструктором, небывалый по силе и могуществу государство-механизм. Воочию представала оборотная сторона проводимой им политики обострения классовой борьбы при победившем социализме. Врагов народа, вредителей и диверсантов, инакомыслящих — к стенке и в лагерь. Тем, кто с нами, — ордена и медали. Сейчас, когда шла война, Сталин придавал

наградам особо большое значение. Чтобы оперативнее осуществлялся процесс, широкие полномочия получили командующие фронтами, Военные советы, которые могли самостоятельно определять уровень награды, до Красного Знамени включительно. Ордена Ленина и Золотые Звезды Сталин распределял сам. Конечно, потом это формально закреплялось калининским указом, но без визы вождя Михаил Иванович и шагу самостоятельно сделать не мог.

Пока Сталин просматривал наградные представления, он допил чай и велел Поскребышеву принести еще. Скоро явится Василевский с бумагами... Видеть его Верховному не хотелось, ничего приятного попович сказать не может. Да, помощнички у товарища Сталина никуда не годятся, разве можно с ними по-настоящему воевать с фашистскими наглецами и тем более выиграть войну. Один Мехлис чего стоит: просрал Крым фашистам. Но Мехлиса расстреливать товарищ Сталин не захотел. Если всех расстреливать, с кем тогда ему бить немецко-фашистских оккупантов?! Всё хотят свалить на товарища Сталина, и войну тоже...

С Мехлиса он снял по два ромба и понизил в должности. Для самолюбивого Льва этого хватит. Человек он лично преданный Верховному, еще поработает на общее дело. И Главпур у него товарищ Сталин отобрал, поручил его заботам Щербакова. Саша тоже лично предан. Хотя и закладывает иногда лишнее за воротник, но кто из нас без греха, в кого бросим камень?

— Василевского сегодня на полчаса позднее, — распорядился Сталин. — Поработаю там...

Это означало, что он отдохнет в задней комнате, где располагался его второй кабинет, туда никто, кроме прислуги, не допускался.

Вчера Василевский, который вместо заболевшего Шапошникова руководил Генштабом, сообщил Верховному о том, что противник отрезал 2-ю ударную и отдельные части двух других армий. Войска Волховской группировки теперь сражаются в отрыве от основных сил фронта.

— А что же генерал Хозин? — спросил Сталин.

— Готовит одновременные удары с запада и востока, — ответил Александр Михайлович.

— Генерала Власова надо выручать, — наставительно произнес Сталин. — Мы не можем рисковать такими полководцами. Что с Ефремовым? Узнали, почему фашисты хоронили советского генерала с оркестром?

— Версия пока одна: из уважения к мужеству противника, — пожал плечами Василевский.

— Какое уважение к врагу? Что за толстовские проповеди, понимаешь? Вы забыли, что являетесь военным человеком, товарищ Василевский, а не каким-нибудь духобором. Врага надо не уважать, а уничтожать! И если оккупанты хоронят коммуниста Ефремова с отданием воинских почестей, значит, в чем-то считают его своим. Иного быть не может, товарищ Василевский! Хорошо, с этим разберется Лаврентий Павлович, он сделает это профессионально. Что еще?

— Манштейн штурмует Севастополь...

Сталин не знал, что Гитлер находится сейчас в группе армий "Юг", на месте выясняет возможности вермахта для развертывания операций "Волчанск" и "Изюм". Верховный по-прежнему находился в плену версии о грядущем наступлении группы армий "Центр" на Москву. Он спросил Василевского о судьбе окруженного кавкорпуса Белова. Новости были неутешительными, они отовсюду были такими...

В задней комнате, куда Сталин удалился со стаканом чая в руке, он подошел к сейфу и достал оттуда Ветхий Завет, добротное издание на русском языке с рисунками Гюстава Доре.

Вождь никогда не обращался к образам и примерам из иудейской и христианской мифологии, не цитировал Библию ни в выступлениях, ни в статьях. Сталин не хотел напоминать людям о том, что получил пусть и незаконченное, но духовное образование. Но оставаясь наедине с самим собой, любил рассматривать картинки, исполненные пером гениального рисовальщика, прочитывая порою тот или иной сюжет, пару-тройку крылатых, наполненных сокровенным и потаенным смыслом выражений.

Например, вождю очень нравилось место в Нагорной проповеди, где Иисус Христос произносит, обращаясь к ученикам: "Не думайте, что я пришел ниспровергнуть закон или пророков: я пришел не ниспровергнуть, но исполнить. Истинно говорю вам, пока не прейдет небо и земля, ни одна йота или одна черта не перейдет из закона, пока все не свершится". Как были бы к месту эти слова в те времена, когда товарищу Сталину приходилось отбивать нападки тех, кто, надев на себя двойную личину, пытался помешать ему, вождю советского народа, в утверждении в стране социализма! Но цитировать Христа всенародно было бы политически неверным, вождя-атеиста неправильно бы понял народ.

Сегодня Сталин раскрыл Библию на Книге Руфи, занимавшей в ветхозаветном разделе Писаний особое место. Увидев знакомые страницы, Сталин вздохнул, ибо ему показалось многозначительным случайное совпадение с теми мыслями,

какие пришли незадолго. И вождь прочитал: "Не проси меня покинуть тебя, чтобы возвратиться от тебя, ибо куда ты пойдешь, я пойду, и где ты будешь жить, я буду, твой народ — мой народ, и твой бог — мой бог! Где ты умрешь, я умру, и там буду похоронена. Так пусть сделает Яхве мне и так добавит, что только смерть разлучит нас".

Жестокий смысл этих слов вновь вывел вождя из душевного равновесия. Он принялся прихлебывать горячий еще чай мелкими глотками и, прикрыв набрякшими веками желтые с крапинками тигриные глаза, постепенно вытеснял из сознания запоздалое сожаление о том, что рядом с ним нет такой женщины, как библейская Руфь.

Это давалось ему нелегко. Товарищ Сталин должен и может отказаться от любимой. Иосиф Джугашвили — нет.

-30-

Орден Красного Знамени комиссар Лебедев получил 22 июля, через месяц после начала войны. Он встретил ее секретарем парткомиссий политотдела армии, которой командовал генерал Курочкин, и показал себя настоящим воином в кровавой неразберихе тех дней. Когда армия оказалась под Смоленском в тяжелейшем положении, а на переправе через Днепр, где скопилось множество техники, при налете "юнкерсов" возникла паника, Лебедев под разрывами бомб бросился к мосту и железной рукой навел порядок. Попав в окружение, сколотил боевой отряд из разрозненных бойцов и командиров и вывел к своим более трехсот человек. В сентябре бросили Лебедева военкомом управления тыла, но в этом качестве он пробыл недолго. В октябре Николай Алексеевич был уже в 52-й армии генерала Клыкова на посту комиссара армейского тыла. Заведование, прямо скажем, не из легких. А когда на все, от продуктов питания до снарядов, крайняя нехватка, то хлопотливее работы на фронте вообще не сыскать.

Но и в таких условиях Лебедев ухитрялся добиваться четкого взаимодействия тыловых частей, без успешной деятельности которых невозможен боевой успех. Так Николай Алексеевич и провоевал до мая сорок второго. Когда же генерал Хозин принял решение об отводе 2-й ударной на волховский плацдарм, член Военного совета фронта Запорожец вызвал Лебедева в штаб.

— Поедешь во Вторую ударную, — сказал он, — будешь там Власову с Зуевым помогать. Армия голодает. Боеприпасы на исходе. Мы приняли решение укрепить их тобой.

— Может быть, лучше армию укрепить боеприпасами и продуктами? — осторожно подсказал Лебедев. — Наладить снабжение с этой стороны, решить транспортную проблему...

— Много разговариваешь, Лебедев, — проворчал Александр Иванович. — Разве ты забыл, что кадры решают все? Вот мы тебя и того, значит... Как лучшего комиссара тыловой службы направляем на горячий участок.

Снова не сдержался Лебедев, когда Запорожец сказал:

— Там для тебя два мешка листовок приготовили. Возьмешь в самолет для раздачи бойцам.

— Может быть, лучше сухарей?

Запорожец наставительно поднял палец. Поначалу он хотел поставить на место белокурого красавца. Но Александр Иванович был в добром настроении, он уже подписал шифровку в Главпур — тыл 2-й ударной укрепили опытным работником, потому снисходительно разъяснил:

— Двумя мешками сухарей армию не накормишь, Лебедев. А несколько тысяч листовок поднимут дух красноармейцев. Слыхал о том, что не хлебом единым жив человек? То-то...

"Предлагать голодным людям пропагандистские листовки значит оскорблять их человеческое достоинство", — упрямо подумал Лебедев. Вслух он этого, конечно, не сказал, поскольку понимал бессмысленность и опасность подобных заявлений. Но до вылета к месту назначения обошел подразделения, которые снабжали армию генерала Власова, и, пребывая уже в новом качестве, подкрутил развинтившиеся гайки в интендантском механизме. Это было не так-то просто сделать, ибо повсюду распространился слух: 2-ю ударную выводят из мешка. А коли так, чего ради гнать туда в таком количестве припасы, рискуя людьми и техникой.

При этом Лебедев еще раз убедился, что был прав, когда предлагал отсюда заниматься снабжением армии. Что он сможет там организовать, среди болот и разоренных деревень, где нет никаких возможностей для прокормления тысяч изнуренных уже голодом людей?

От Вишневского, главного хирурга фронта, Лебедев узнал: в мешке находятся тысячи тяжелораненых.

— Сколько тысяч? — спросил бригадный комиссар.

— Точных данных нет, — пожал плечами Вишневский. — Связи, сами понимаете, никакой... Может, восемь тысяч, а возможно, и все десять — двенадцать. Если не больше...

"Дела! — мысленно воскликнул Николай Алексеевич. — Как же их вывозить оттуда?"

Он немедленно отправился к Грачеву, начальнику тыла фронта, договорился о бензовозах, так как знал, что грузовики и санитарные машины армии стоят из-за нехватки бензина. Можно было и еще кое-какие вопросы решить, но полагалось лететь к новому месту службы.

Едва Лебедев появился в штабе 2-й ударной, Зуев предложил собраться узким кругом и обговорить, что может предложить им свежий человек. Были, кроме командарма, начальник штаба Виноградов, Шашков, недавно назначенный глава политотдела Гарус. Лебедев рассказал о том, что он стронул из Малой Вишеры к Мясному Бору. Но все понимали: дело не в том, сколько отправили к ним припасов, а в том, сколько немцы дадут доставить сюда.

— Есть еще один источник пропитанья, — сказал Виноградов, когда перебрали возможности для снабжения. — Отбивать продукты у врага...

— А что? — оживился Зуев. — Это неплохая идея... Образуем специальные группы. Разведчиков занарядим — ведь ходят они за "языками". Заодно и продукты прихватят.

Идея Лебедеву понравилась, но промолчал — человек он здесь новый, необходимо осмотреться, прежде чем высказываться.

Теперь все смотрели на Власова, ожидая, что скажет командарм. Андрей Андреевич снял большие очки в роговой оправе и близоруко посмотрел на подчиненных. Так он всегда поступал, когда нужно было принять решение на людях, а некие сомнения смущали его. Без очков лица окружающих превращались в размытые светлые пятна, люди как бы исчезали, он вдруг оставался один, отгороженный от всех слабым зрением. Так легче определиться, выбрать линию поведения. Об этой его манере Зуев уже догадывался и сейчас отвел глаза, ибо понимал, что тот не видел его вопрошающего, ожидательного взгляда.

— Предложение неплохое, и даже дерзкое, я бы сказал, — неторопливо заговорил Власов. — Словом, в нашем, то есть русском, духе... Но вот что. Не видится ли вам, товарищи, в том некая идеологическая неувязка. Отобьем мы у врага продукты, накормим бойцов, они и скажут друг другу: ну и порядки, братцы, пошли... Свои интенданты груши околачивают, а мы сами на немецкое снабжение перешли. Нравственный вроде минус.

Командарм смотрел теперь на Шашкова, и начальник Особого отдела понял, что надо высказаться.

— Не думаю, — спокойно сказал Александр Георгиевич. — Голодное брюхо к идеям глухо... К боевым приказам, к сожалению, тоже. Не знаю, что мы там наскребем у немцев, но попробовать стоит. И политических моментов бояться не надо. Подобная операция отнюдь не система, а частный случай. Наш боец правильно все поймет и обратит в шутку. Во всяком случае, не поднимется до политических обобщений. По нашим данным, настроение в войсках хоть и голодное, но боевое. Люди верят в командование, ведут разговоры о том, что за Мясным Бором формируется целая армия, она и заменит их здесь.

"Целая армия, — вздохнул Зуев. — Если бы это было так на самом деле!"

— Кроме того, — продолжал Шашков, — предлагаю попробовать сей вариант силами Особого отдела. Есть у меня рота умельцев-молодцов. Посмотрим, что и как у них получится...

— Ну, что же... Если ЧК не видит в этом крамолы — у меня тем более возражений нет, — сказал Власов.

-31-

Побились-побились за Спасскую Полнеть Иван Никонов с товарищами — они менялись у него непрестанно, превращаясь в мерзлые трупы, — и вот ихний полк, от которого давно осталось только название, отвели малость передохнуть. Именно малость, ибо вскоре подошли маршевые роты. Быстро сформировали новые батальоны и снова двинули в дело.

Шли лесом. Пересекли шоссе и железную дорогу, снова углубились в чащу. Тихо вокруг. Вскоре пришел сладкий для пехоты приказ: "Привал!" Только присели — раздался выстрел.

— Кто стрелял? — закричал командир.

Таковых не сыскали, но едва бойцы успокоились, полетели в них снаряды. Многих убило и ранило.

— Организуй, Никонов, доставку раненых в санчасть, — распорядился комполка. — Чтобы они маневр наш не задержали...

Поднял Иван взвод, стал выводить пострадавших, и тут фашистские автоматчики отрезали их от своих. Что делать? Пока отбиваешься, раненые замерзнут. Велел быстро вырыть в снегу яму и уложить их кучней, чтоб грели друг друга. Но в полку почуяли неладное, ударили по просочившимся автоматчикам. Выручили Никонова с его командой из беды.

— Всем разобраться по взводам, приготовиться к движению поротно! — раздалась команда.

Полк стал собираться воедино, и тут снова прозвучал выстрел. На этот раз засекли, как с одной из елей пошла в воздух трассирующая пуля. Присмотрелись — человек на ней. Тут ему с разных концов врезали. Командир полка из пистолета стрелял, обойму патронов со злости выпустил, но тот наводчик так и не упал, видно, привязан был крепко к дереву.

— Быстро-быстро поднимайсь! — закричали вокруг.

Поняли командиры, что надо сменить позиции, иначе снова накроют. Так и сделали, никого не потеряли в этот раз. Полк двинулся к железной дороге и на станции наткнулся на крепкую оборону. Тут полегло много народу, и вскоре патроны, а их опять дали только по две обоймы на винтовку, почти кончились. Попытка с ходу выбить противника из оборонительных укреплений не удалась, пришлось отойти. Но теперь немцы перешли к преследованию. Отстреливаться было уже нечем, и бойцы в беспорядке рассеялись в лесу.

Едва оторвались от автоматчиков, раздались разрывы снарядов — это противник открыл заградительный огонь, не давая им беспрепятственно отойти. Свернули в сторону, но немцы снова их настигли. Петляли в лесу, как офлаженные охотниками волки.

На третьи сутки беспрестанного движения по снежной целине стали спать на ходу. Командиры отобрали наиболее сильных бойцов, велели им поднимать упавших в снег красноармейцев и ставить их на протоптанные уже тропинки. Кого подняли, а кто так и лежит там до сих пор...

Прошло четверо суток, вышли к кострам, они горели только днем, за огонь в ночное время расстреливали на месте. Очумевшие красноармейцы шли на костры, протягивали руки к огню и падали, ничего уже не ощущая, в пламя. Загоралась одежда, но усталость была сродни наркозу, когда осознания происходящего не возникало. Никонов видел, как боец с обгоревшими кистями рук в истлевших от пламени валенках — из них торчали обугленные пальцы, с перекошенным в бессмысленной гримасе лицом зачерпывал остатками ладоней снег и бросал его зачем-то на огонь. Когда штаб полка, следовавший за боевым охранением, вышел на эти костры, для многих чудовищный этот сугрев был уже роковым.

— Затушить костры! — приказал комполка, а кого можно было спасти, оттащили подальше.

...Через пятеро суток силы кончились вовсе. Люди падали в снег, и никто уже поднять их был не в состоянии, замерзали. Когда ночью вдруг остановились, упал и Никонов. Но тут ему улыбнулось фронтовое счастье. Вообще-то ему постоянно везло, у Спасской Полисти убить Ивана могли десятки раз. И здесь, когда он был уже считай что мертвым, случилась рядом группа вернувшихся из-за линии фронта разведчиков, два из них Ивановы красноармейцы, бойцы его взвода.

— Нечего, лейтенант, в снегу байбайкать, — с суровой нежностью ворчал пожилой мужик по фамилии Зырянов. — На-ко, сухарика пожуй, да поднимайся, поднимайся... Чай, сам сибиряк-охотник, знаешь, что от такого сна бывает.

Пять суток блужданий по лесу да без маковой росинки во рту — тут и сибиряк загнется. Никонов сухарь сжевал и загибаться раздумал. "Надо вставать, — подумал он. — За меня мою работу делать никто не станет. Пока живой — давай воюй, лейтенант Никонов".

Поднялся вовремя, дело ему тут же нашлось. Полк блокировали с двух сторон, немцы открыли огонь, завязалась перестрелка. Что делать? Скоро ведь отвечать врагу будет нечем...

— Собрать оставшиеся патроны! — приказал командир. Все, что нашлось в подсумках, отдали остающимся их прикрывать, а сами стали выходить из-под обстрела. Отошли пару километров, обошли пришельцев и вернулись на старое место, где группа прикрытия лежала вся перебитая,

— Ну, — сказал комполка, — вот что, братцы... Стрелять нечем, а пробиваться к своим надо. Примкнуть штыки! Встретим немцев — возьмем их на "ура". Больше брать не на что... И потихоньку, не поднимая шума, рассчитайсь!

Двадцать человек их от полка осталось.

— Значит, я двадцать первый, — усмехнулся командир полка. — Очко... Пошли, славяне!

Ночь была звездная, мороз жал по-страшному, двигались торопко, мечтали о тепле и горячем чае, про встречу с немцами не думали.

Снова пересекли железную дорогу. Неподалеку от станции увидели огромный костер, вокруг него стояло много немцев, грелись. Командир провел группу в семидесяти метрах от костра, прикинув, что из-за сильного огня их не заметят. Так и получилось. Прошли мимо греющихся у гигантского костра немцев без единого выстрела. Впрочем, с нашей стороны и сделать-то их было нечем. У

командира, правда, оставался патрон в пистолете для себя, и Никонов сохранил пару в барабане револьвера.

Вернулись все двадцать один человек на прежние позиции у Спасской Полисти, откуда начался бессмысленный рейд полка. Было два батальона, осталось, как сказал комполка, ровно очко.

Отправили людей за кашей, ее наварили много, и на тех, кто не вернулся, ешь теперь, живые, не хочу... По правилу — кому сколько влезет — умяли по полтора-два котелка. А Гончарук, большой мужик, тихоповоротный, ведро каши схарчил. Народ удивлялся, сочувствовал: пропадешь, Гончарук. Не пропал боец, обошлось благополучно.

И снова полк на переформирование отошел.

-32-

После совещания в штабе Лебедев подошел к начальнику Особого отдела:

— Мне б хотелось лично участвовать в продуктовой операции.

— Выяснить возможности источника продснабжения? — Шашков понимающе улыбнулся и согласно кивнул: — Сделаем в лучшем виде. Хоть вам и не положено по чину, только я вас понимаю, товарищ...

— Просто Николай Алексеевич...

— Хорошо, — согласился Шашков. — Завтра прибудет Олег Кружилин с людьми, есть у меня такой лихой вояка-философ. С ним и пойдете в поиск. Операцию поручу разработать Астапову. Он большой спец по части ловушек.

К прибытию Кружилина старший лейтенант госбезопасности Астапов уже прикинул, где сподручнее перехватить им у противника продовольствие. Олег доложил про обстановку на берегах реки Тигода, за которую как за естественную преграду отходили, сосредоточиваясь, части 2-й ударной, и Шашков сказал: со всеми людьми поступаешь в распоряжение Астапова.

— Пойдешь в поиск за щами и кашей, — усмехнулся Александр Георгиевич. — И комиссар тыла с вами. Отвечаешь за него головой, брат Кружилин...

...Олег взял с собой четверых бойцов и Степана Чекина. Сержант так и остался маленьким и тщедушным, но хватким был до удивления, чем и завоевал уважение красноармейцев. В надежность его верили, а это на войне первейшее дело.

Значит, вместе с комиссаром их было семеро. Астапов до лесной чащи между двумя болотами группу проводил.

— Пройдете лесом, там гать лежит, — напутствовал особист, испытывая некую неловкость от присутствия бригадного комиссара, тот ведь старший, ему надо докладывать.

А с другой стороны, ответственность за операцию на Олеге. Выручил Лебедев.

— Вы ему, ему толкуйте, — мягко направил он особиста. — А я иду в поиск вроде как посредник. А вообще — живьем хочу врага увидеть. У вас он, говорят, особо стойкий.

— Да уж, — отозвался Астапов, — есть такое дело. Серьезный противник. А главное — сытый.

Он уточнил, что гать эту немцы зовут Вильгельмштрассе. Они все лесные дороги назвали именами берлинских улиц, у них даже Унтер ден Линден имеется. Но это подальше, туда не добраться.

— По этой самой Вильгельмштрассе проходит транспорт, — сказал Астапов. — Имеем сведения, что доставляют и продукты.

...Идти по настилу рискованно, можно с Гансами носом к носу столкнуться, и Олег приказал перебраться на боковую тропу. Она, правда, наполовину была залита водой, но идти, ощупывая ногами, достаточно ли прочен грунт, можно. Прошли с километр, углубляться дальше в тыл было опасно, и Кружилин группу остановил. Вернулся и высланный вперед Чекин.

— Гать рядом, — сказал он. — И кто-то по ней уже едет... Слышал звук мотора, кажется, вездехода.

— Быстро вынуть жерди из настила! — распорядился командир роты. — Вы останьтесь со мной... — Последнее относилось к бригадному комиссару, вооруженному немецким автоматом, подарком Шашкова.

По бревенчатому настилу, перебирая жерди траками гусениц, неспешно перемещался тягач с открытым верхом и прицепом на коротком жестком буксире. В кузове тягача сидели четверо немцев.

"Подходяще, — подумал Кружилин, — и еще водитель на закуску..."

Старший лейтенант знал, что Чекин с бойцами уже разобрал настил и залег с той стороны гати. Сейчас тягач остановится...

— В чем дело, Ганс? — заорал, вскакивая в кузове, унтер-офицер. И до Олега донеслись знакомые "доннер-веттер", "шаесе", "химмель гот" и "ферфлюхтер".

Унтер-офицер бегал там, где обрывался настил, изощрялся в ругательствах, вставляя в бедный по этой части немецкий язык сочный русский мат. Виртуоз он был в этой области отменный, и Олег невольно улыбнулся. Наконец старший команды увидел в кустах жерди, брошенные впопыхах Чекиным и его

ребятами. Теперь он стал кричать на солдат: "Штайн ауф! Шнеллер! — Вставайте! Быстрее!" Солдаты мигом соскочили с тягача и принялись стаскивать жерди на место. Они по двое, унтер тоже включился в работу, лишь водитель не тронулся с сиденья, носили изъятые из Вильгельмштрассе бревна.

Пока гансы работали, разведчики подтянулись к тягачу поближе и ждали, когда немцы исправят настил. Тем оставалось уложить последнее бревно, когда Кружилин скомандовал: "Хенде хох!" Унтер отпустил край бревна, испуганно воззрился на вылезших из болота русских. Вид у иванов был, мягко говоря, бродяжий. Бойцы поснимали с пленных карабины, а Чекин лишил унтера ремня с пистолетом.

Все произошло так молниеносно и гладко, что о водителе, сидящем в кабине, забыли. А ганс неторопливо вытянул из-за спинки сиденья автомат, приоткрыл дверцу и направил ствол в спину бригадного комиссара Лебедева.

Движение водителя не осталось незамеченным Кружилиным. Но стрелять ему было несподручно, и Олег, метнувшись, сбил Лебедева с настила. Пули ударили в бревна. Водитель попытался внести поправку, но выпустить вторую очередь не дал ему Степан, который, не целясь, ударил из висевшего на плече автомата.

— Быстро в кузов! — крикнул Кружилин бойцам, уже связавшим пленных немцев.

Тягач, замерев на бревенчатой дороге, мирно урчал мотором — водитель не заглушил его. Последнее бревно так и не успели положить, оно валялось вдоль настила.

Олег занял место водителя и уверенно включил скорость. Рядом разместился комиссар Лебедев.

"Наследили, — думал Кружилин, стараясь прибавить ходу, хотя и понимал, что по такой дороге тягач с прицепом не погонишь. — Стрельба эта вовсе ни к чему... Только переполошили гансов. Но, может, проскочим?"

Еще немного — и следует свернуть направо, а потом вывести машину на лесную дорогу и полным ходом к своим. Уже на полпути домой Олег остановился, приказал Чекину сменить его за рычагами управления. Надо было осмотреть прицеп, узнать, чего они тянут в качестве трофея. Прицепом, затянутым сверху брезентом, оказалась полевая кухня с двумя котлами. А в них — еще горячая гречневая и рисовая каша со свиной тушенкой.

— Всем разрешаю по котелку, — сказал Лебедев. — Вместо медали "За отвагу".

— Вполне эквивалентная замена, — подал голос Кружилин. — Я тоже согласен на кашу...

— Сегодня напишу представление к награде, — серьезно сказал Николай Алексеевич. — Вы спасли мне жизнь, Олег. Спасибо. Он протянул Кружилину руку.

— Ничего больше не оставалось делать, — смутился старший лейтенант. — А то Шашков мне за вас голову бы оторвал.

-33-

Полк отвели на переформирование, а Ивану Никонову командир приказал сопровождать пять человек, очень слабых и обмороженных красноармейцев, в медсанбат. Вот и повел он их по фронтовой дороге. Скоро и ночь наступила. Заприметили в стороне огонек, видят, шалашик стоит. Зашли погреться, а там бойцы из пожилых мужичков обитают, за дорогой следят, ремонтируют ее. Угостили их супом из концентрата, никоновские сослуживцы уже и не помнили, каков на вкус суп бывает. Остались ночевать. Впервые за зиму спали не в снегу, а под крышей, хотя и убогой, на подстилке из лапника. Словно в раю побывали, такая им вышла награда.

Утром отправились в путь. Сколько-то верст сумели пройти, но ввиду того, что о супчике одно воспоминание сохранилось, обессилели вконец. Машины их обгоняли, а вот ни одна не брала, как Никонов ни пытался голосовать. И поперек пути становились, но все равно никто не пожалел, прут что есть мочи: отскакивай, мол, из-под колес, не загораживай, дескать, дорогу.

Гончарук, который давеча ведро каши съел, обозлился.

— Ложусь в колею и хрен с ними! — сказал он. — Пусть давят... Все одно иначе в снег упаду и замерзну.

Сказал — сделал. Первый же шофер грузовика, разглядев человека в колее, засигналил, а тот ни с места. Подвел водитель машину вплотную, выскочил на дорогу, хотел попинать Гончарука, но тут лядащие бойцы с Никоновым во главе надвинулись на него, стали взывать к совести, разъяснили, кто они и откуда телепаются доходяжно.

— Лезьте в кузов, — сжалился водитель, — да только не высовывайтесь, чтоб вас никто не видел. Запрещено нам попутчиков подвозить, окромя раненых. А вы, ребята, целые вроде...

Довез он их до станции Гряды, высадил у двухэтажного полуразрушенного дома, сказал, что здесь собираются такие же, как они, недокормленные

слабаки. И верно, там полно было вышедших из боев красноармейцев. Вновь прибывших они угостили мучной болтушкой и кое-как разместили поспать.

Утром Никонов узнал: неподалеку склад с мукой разбомбило, ходят туда бойцы и скребут муку вместе со снегом. Кипятят эту смесь, вода паром уходит, а питательное нечто остается на дне. Отрядил Ваня, взводный, собственных добытчиков, и к завтраку они были уже со своим, незаемным харчем.

Комендант в Грядах сказал, что остатки их полка находятся в районе Дубцов. Так они и вернулись в родные пенаты, к домашнему, так сказать, очагу, непостоянному, правда, но очагу. И стоило только Ивану увидеть лица тех, с кем недавно в сотне шагов от костра с немцами прошли, и будто бы кровных родичей нашел. А впрочем, теперь они такими кровными стали, что крепче родства не бывает.

Не успели отдышаться — три маршевых батальона тут как тут. Вот и снова полк наличного состава, есть кого тратить у Спасской Полисти, которую так все еще и не взяли. Никонов на повышение двинулся, ему поручили командовать связью. Выделили одну лошадь с повозкой под имущество. Велел загрузить гужевой транспорт катушками с телефонным проводом и рацией. Вскоре зовет его начштаба, капитан Стерлин. — Жалуются на тебя, Никонов. Загрузил, говорят, всю подводу. А с тобой еще и взвод автоматчиков ее делит. Разберись!

Посмотрел Иван — на подводе куски мерзлого лошадиного мяса, трупов конских под снегом было довольно. Доложил капитану. Стерлин выругался сквозь зубы, но приказаний никаких не сделал. Понял капитан, что те, кто уже побывал в боях, боятся остаться опять без продуктов, вот и расстарались сами, не надеются на интендантов. А Никонов все-таки велел часть мяса сбросить, надо же и другим дать на подводе место.

Теперь полк под Спасскую Полнеть больше не посылали. 382-ю дивизию погнали через горловину прорыва. Потому и прошли они мимо Мясного Бора на шоссейную и железную дороги, по накатанному уже зимнику, прямо на запад. Первый батальон прорвал оборону врага на реке Кересть, и скоро полк был у Финева Луга. Подвернули правее и вышли к железной дороге, здесь немцы засопротивлялись, разгорелся бой.

Никонов со связистами перемещался в передних цепях пехоты. В наступающих батальонах собственной связи не было, вот Иван и таскал катушки вместе с бойцами, пока стрелки дрались у насыпи "железки". Взять ее пока не удавалось.

Утром Никонов велел Гончаруку отправиться в тыл полка, к той самой повозке, и принести телефонный аппарат взамен разбитого пулей. Полдня Гончарука прождал, обругался весь, а после обеда звонок Никонову пришел. Из заградотряда спрашивают: "Есть у вас боец Гончарук?" "Есть такой, — отвечает Иван, — Послан утром с заданием в тыл, за аппаратом, но до сих пор не прибыл". — "А почему он у вас, лейтенант, в немецкой шинели ходит?" Никонов отвечает: "Ватник свой сжег у костра, новый не раздобыл, вот пока и носит трофейную штуку. Прошу, товарищи, его отпустить".

Вернулся Гончарук, ругается на чем свет стоит: "Падлы тыловые! Торчат за нашими спинами в полушубках и с автоматами, ряшки наетые, русского не могут от немца отличить, пусть он и в ихней шинели пока..."

Ватная одежда под шинелью не ноская была. От искр костров куртки и штаны горели как порох. И мокрели быстро, тяжелыми становились, сохла ватная лопотина долго. Заменялись бойцы, снимая одежду и обувь с убитых, которые не закоченели пока. Бывали и курьезы. Бедняга только ранен, сознание потерял, а с него валенки уже тянут. Очнется, кричит: "Да живой я еще, так вашу и разэдак!" — "Извини, браток... Но и спасибо скажи, что в сознание тебя привел, иначе бы задубел ты на тот свет, это точно".

Бывало, валенки толковые надыбает боец, а хозяин их давно закоченел, с такого нипочем не снимешь. Тогда тащит труп к костру и ноги ему, безответному, греет. Потом уже и от обувки, ненужной теперь павшему, беспрепятственно освобождает...

Так и снабжались от мертвых всю зиму сорок второго года.

-34-

Доставленный Кружилиным унтер-офицер сообщил, что к северу от Мясного Бора накапливаются германские войска. Он сам видел, как там зарывают в землю танки, превращая их в доты. Саперы ведут прокладку новых гатей, в том числе и рокадных, позволяющих маневрировать резервами. Из района Погостья прибывают освободившиеся там части. По всему выходило, что противник готовится нанести по русским дивизиям и бригадам, сидящим в мешке, внушительный удар.

Командованию 2-й ударной стало ясно, что медлить с отходом нельзя. Необходимо как можно скорее покинуть гибельные волховские болота, выбраться на плацдарм за Мясным Бором.

Но удар пришельцев с двух сторон по горловине прорыва в ночь на 31 мая оказался роковым. Выйдя крупными силами на единственную коммуникацию армии, немцы опередили наше командование и перепутали его оперативные планы.

Как предполагалось, дивизии и бригады 2-й ударной, создавшие временный оборонительный заслон на основном рубеже, должны были изготовиться для удара с запада на Лесопункт, навстречу атакующим в противоположном направлении боевым частям 59-й армии Коровникова. Начало операции намечалось на 2 июня. К исходу этого дня в полосе планируемого наступления сосредоточивались 46-я и 382-я стрелковые дивизии, 22, 25, 53 и 59-я стрелковые бригады. 57 осб и 166-й отдельный танковый батальон, состоявший из девяти тяжелых машин Т-60, направлялись к реке Полнеть, чтобы обеспечивать оттуда проход к Мясному Бору. Но 2-й ударной для завершения боевого развертывания не хватило двух суток.

Пришельцы опередили ее. Они захватили Долину Смерти и заполнили коридор прорыва собственными войсками.

Маневр двойного удара, задуманный генералом Хозиным на оперативной карте, в жизненной реальности не был осуществлен. Теперь приходилось думать о том, как очистить Долину Смерти от немецких солдат, дать возможность окруженным войскам вырваться на волю.

Директива Хозина была лаконичной и предельно ясной. Генералу Власову предписывалось объединить наличные силы, которыми он располагал к западу от реки Полнеть, и нанести удар на восток, оставляя в резерве те части, которые обороняли основной рубеж и обеспечивали безопасность флангов.

Первыми столкнулись с противником 57-я стрелковая бригада и танкисты 166-го отдельного батальона. Но встреченная сильным огнем пришельцев, сама не имеющая никакой артиллерии, измотанная и обескровленная в предыдущих боях, стрелковая бригада затопталась на месте. Лишенные поддержки матушки-пехоты, остановились и тяжелые танки.

Потерпев неудачу на этом направлении, командование армии немедленно сориентировалось и решило нанести главный удар в сторону Лесопункта. К концу дня 4 июня между лесными, спокойными в мирное время и тихими, речками Глушица и Полисть собрались красноармейцы и командиры 46-й дивизии и остатки четырех бригад. Их командиры имели четкий приказ: утром 5 июня начать наступление на восток, навстречу армии Коровникова, пробивающейся на запад.

Четыре бригады и дивизия — внушительный кулак... Но, по сути, от соединений этих остались одни названия. В ротах было по десять — пятнадцать бойцов, да и то из тыловых по преимуществу подразделений, пожилых возрастов, к тому же обессиленных многодневной голодовкой. Иные бойцы не только воевать, двигаться могли с трудом.

Передислокация войск сразу была замечена противником. Едва части, выделенные для удара, сосредоточились в указанном месте, "юнкерсы", как воронье, слетелись на поживу и принялись, ходя по кругу, сбрасывать бомбы на головы красноармейцев.

Поскольку враг разгадал маневр, решили его обхитрить, начать наступление не утром, как намечалось, а раньше, в два часа ночи, без артподготовки, которая обычно как бы предупреждала немцев — "Идем на вы!". Ударить решили внезапно.

Но внезапности не получилось: противник понял, для чего сюда собрались иваны, и был готов отразить их отчаянные попытки прорваться. Но боевой порыв частей был так яростен и жесток, что русским удалось перейти реку Полисть, уничтожить дзоты на восточном берегу и продвинуться на сотню-другую метров вглубь.

А поутру пришельцы бросились на русских разъяренно. Жертва не только сопротивлялась, но и пыталась ускользнуть, этого нельзя было допустить! И немцы пустили в ход все, чем располагали: они засыпали смельчаков минами и снарядами, сверху бесчинствовали самолеты, бросались в атаки ландзеры, пытаясь сбросить русских в реку. Но те отбивались залпами из винтовок, переходили в штыки. И все же потом, когда кончились патроны, пришлось им вернуться на западный берег.

Не было людей в ротах, не было патронов в подсумках, не было снарядов в зарядных ящиках пушек... Была беспредельная храбрость, удивительная, нечеловеческая стойкость, могучая сила духа. Но всего этого оказалось мало, чтоб выиграть современный бой.

Приказом командарма расформировали все тыловые части и влили в стрелковые роты. Роты стали побольше, но боеприпасов в расчете на одного бойца оказалось меньше. Снаряды и патроны доставляли по воздуху, а еще нужны были медикаменты для огромного количества раненых и хотя бы сухари для поддержки сил красноармейцев.

А ночи в июне здесь светлые. Истребителей на фронте не было почти, "кукурузники" и "дугласы" шли без конвоя, их беспрепятственно уничтожали в воздухе наглые "мессершмитты".

Со стороны 52-й армии, в южной части бывшей горловины, прорвала оборону немцев 7-я танковая бригада. Гвардейцы с приданной им пехотой устремились на выручку 2-й ударной. Но танкисты плохо знали местность и наскочили на болото, утратили темп движения, атака их сорвалась.

Теперь противник перенес внимание на те подразделения, которые держали основной рубеж, находясь в арьергарде по отношению к главным силам армии. Здесь, на линии Ольховка, река Роговка и Финев Луг, разместились позиции дивизии Антюфеева. Гитлеровские генералы бросили против его потрепанной дивизии почти всю свою наличность: пехотную дивизию, пехотный полк и полк полицейской дивизии СС, мотоциклетный батальон и танковую дивизию. Через захваченных разведкой "языков" генерал-майор Антюфеев узнал, что на подходе к Финеву Лугу еще одна пехотная дивизия.

Глаза боятся, а руки делают... Пусть хоть вся 18-я армия вермахта пойдет на 327-ю, а драться все равно надо. Поскольку же войну Антюфеев работал профессионально, по-суворовски берег солдата, то потерь у него было меньше, чем у других. И дивизия отбила несколько атак противника, нанеся ему большой урон.

Но опять сработала немецкая метода: не лезь напролом там, где русские стойко дерутся. Получив отпор у Финева Луга и не сумев сломить Антюфеева, противник ударил в районе Ольховки, захватив деревню и окружающую ее местность.

-35-

Искали Мерецкова. Жуков все телефоны оборвал, дозванивался из Власихи до 33-й армии, только никак не могли найти командующего. "Где-то в войсках, на позициях", — отвечали главкому. Наконец прорезался далекий голос Кирилла Афанасьевича.

— Где ты там пропадаешь? Немедленно выезжай! — закричал в трубку Жуков.

— Беру карту и выезжаю! — ответил Мерецков, подумав, что вот и дождался он для себя военного дела.

— Давай без карты! Ты сам нужен, лично... Понимаешь?

Екнуло сердце: что там еще приключилось? Мчался в штаб фронта во весь дух, даже не переоделся. А в штабе Жуков его еще больше ошарашил.

— Три раза звонил Сталин, тебя спрашивал, — пояснил Жуков. — Нам велено срочно прибыть к Верховному.

— А что стряслось, Георгий Константинович? — стараясь говорить спокойно, спросил Мерецков.

— Если б я знал... Машину уже готовят. Давай по стакану чая хватим с закуской и двинем на ковер.

— Вроде не за что на ковер...

— Как знать... Человек предполагает, а Верховный располагает. Что гадать! Там все и узнаем.

...Всегда бесстрастный, непроницаемый Поскребышев порывисто встал, когда в дверях за низкорослым в надвинутой на лоб фуражке Жуковым увидел коренастого Мерецкова.

— Вас ждут, — недовольным голосом сказал Поскребышев. — Идемте.

Он увлек Кирилла Афанасьевича к двери, но сам вошел первым, сразу шагнув вправо, высвобождая дорогу запыленному генералу армии.

В кабинете Сталина находились сейчас все члены Политбюро. Это уже потом Кирилл Афанасьевич рассмотрел среди них хорошо знакомых Тимошенко и Хрущева, прибывших в Москву с Юго-Западного направления, А поначалу у него зарябило в глазах от множества лиц, так примелькавшихся на портретах. Всех их он также знал и по тем не частым, в общем-то, встречам, когда возглавлял Генеральный штаб, и по зигзагам судьбы, которая в последний год задавала ему немыслимые загадки. Она приучила Кирилла Афанасьевича к осторожности и осмотрительности.

Впрочем, и эти люди, имена которых были известны каждому винтику гигантского механизма государства, находились в состоянии вечного ужаса перед тем, кто вел сейчас заседание Политбюро. Засыпая в персональных постелях после позднего ужина у вождя, ни один из них не знал, где ему придется ночевать завтра, не ждут ли его тюремные нары в одиночной камере.

Сейчас они со смешанным чувством рассматривали Мерецкова, хорошо помня его начальником Генерального штаба и зная о том, что этот генерал армии в начале войны два месяца хлебал баланду, изготовленную поварами Лаврентия Павловича. Тот, кто посмелее, переводил взгляд с Мерецкова на Берию, который как ни в чем не бывало сидел, подбоченившись, вполоборота к Кириллу Афанасьевичу, смотрел в сторону, будто никого не видел.

Давно уже исчезли из состава Политбюро те, кто работал с Лениным. Кто-то умер естественной смертью, другие были убиты или сами наложили на себя

руки. Теперь Сталина окружали только те, кого подобрал вождь для работы в партийном аппарате лично. Малейшее сомнение в их лояльности было равносильно смертному приговору, и потому здесь сидели те, кто прошел селекцию страха и глобальной демагогии. Тех, кто привел Сталина к безудержной власти, уже не было в настоящей реальности. И люди, которые сейчас с болезненным любопытством рассматривали Мерецкова, явившегося на заседание Политбюро в грязных сапогах и запыленном мундире, хорошо понимали, чем они обязаны вождю. И не любивший показного, явного подхалимства по отношению к себе, товарищ Сталин мог рассчитывать на их личную преданность.

— Откуда вас вытащил Жуков? — недоуменно спросил Верховный и мундштуком трубки ткнул Мерецкову под ноги. — Вы пешком добирались в Кремль, товарищ Мерецков?

— Никак нет! Спешил к вам, товарищ Сталин, — ответил генерал армии. — Разрешите привести себя в порядок. Двух минут хватит.

— Даем вам пять минут, — сказал Сталин.

Он поднял руку с трубкой и замедленно помахал ею, милостиво отпуская Мерецкова.

Когда Кирилл Афанасьевич, почистив сапоги и одежду, вернулся, рассказывал о чем-то Молотов, и все внимательно слушали, кивали, но смотрели при этом на вождя.

— Как дела на Западном направлении, товарищ Мерецков? — спросил Сталин.

— Готовимся отразить наступление противника, — ответил Мерецков и после небольшой заминки добавил: — Если оно последует...

Верховный на оговорку эту внимания не обратил, он спрашивал для проформы.

— Нас беспокоят дела на Волхове, товарищ Мерецков, — заговорил вождь, и Кирилл Афанасьевич незаметно вздохнул: слава богу, наконец стало проясняться, зачем искали его в пожарном порядке. — Мы совершили большую ошибку, поверив генералу Хозину и объединив Волховский и Ленинградский фронты. Генерал Хозин нас подвел, не пробился к Ленинграду, хотя и лично сидел на том направлении. Дела генерал Хозин вел плохо. Мало того, не выполнил нашу директиву об отводе Второй ударной армии. А теперь немцы перехватили ее коммуникации, армия генерала Власова окружена.

Сегодня вождь получил радиограмму от президента Соединенных Штатов. Рузвельт благодарил Сталина за визит Молотова в Америку, выражал удовлетворение результатами переговоров с наркомом иностранных дел. Самое

время потребовать от союзников открытия второго фронта, но Сталину легче было это сделать, если бы советские армии одна за другой не попадали в окружение.

— Пусть будет так, как было, — сказал Сталин. — Мы восстанавливаем Волховский фронт, а вас назначаем его командующим. Поезжайте к месту службы, товарищ Мерецков. Болота — места для вас привычные. А на подмогу дадим Василевского, он отправляется вместе с вами... Во что бы то ни стало необходимо вызволить Вторую ударную из окружения! В крайнем случае, пусть бросят тяжелую артиллерию и технику. Надо спасать людей, Кирилл Афанасьевич. Люди в нашей стране дороже всего.

Мерецков на мгновение отвел глаза от товарища Сталина и мельком задержался взглядом на лице Хрущева. Никита Сергеевич едва заметно улыбнулся и вдруг лукаво подмигнул.

Кирилл Афанасьевич недоуменно моргнул. Он как будто не был особенно близок с простодушным на вид партийным руководителем, хотя и официально встречался в бытность того и секретарем Московского горкома, и секретарем Украинского ЦК. Поступок Хрущева — подмигивать на заседании Политбюро! — показался Мерецкову странным. К тому же генералу армии было известно, как неудачно сложились военные дела на том направлении, которым заведовали бритоголовый Тимошенко и этот рано полысевший человек. Вроде бы и не ко времени ему веселиться, а что не к месту, так это уж точно.

Откуда Мерецкову было знать, что Хрущев проявил к нему внимание как к крестнику своему, которого Никита Сергеевич спас от неминуемой смерти. В прошлом году, прибыв в Москву из Киева, чтобы лично доложить вождю о нависшей над украинской столицей опасности, Хрущев был оставлен Сталиным на ужин. Трапеза на этот раз проходила в узком кругу. Кроме Берии, неизменного участника застолий, и киевского гостя, были Щербаков и Каганович, увидев которых смекалистый Хрущев прикинул, что это неспроста: все трое возглавляли они в разное время организацию московских коммунистов. Еще раньше, категорически запретив Хрущеву и думать об оставлении Киева, Сталин вдруг спросил, обращаясь ко всем троим московским секретарям:

— Сможем ли мы, товарищи, продолжать борьбу, если придется отдать Москву?

Наступила тягостная тишина. Никто не решался ответить первым. Но Хрущев и Каганович относились к бывшим, оба, не сговариваясь, повернулись к

Щербакову. Александр Сергеевич закряхтел, закашлялся, заметил, как откровенно ухмыляется Берия, отчаянно выпалил:

— Конечно! За Урал уйдем, но борьбы не прекратим, товарищ Сталин! Стоять будем насмерть!

— Насмерть совсем не надо, — медленно заговорил Сталин, — советскому народу мы нужны живые. И Москву мы не отдадим, хотя готовиться к этому необходимо, товарищ Щербаков.

Вождь наставительно поднял палец, потом наставил его на секретаря МГК, будто целясь из пистолета.

Все молчали. Тема, казалось, были исчерпана, только разговор увял, и тут Хрущев интуитивно решил: самое время!

— Был в Генштабе сегодня, — беззаботно и вроде бы невзначай, Никита Сергеевич такое умел, заговорил он, — и нигде не вижу Мерецкова. На каком он фронте? Толковый ведь мужик...

Сталин усмехнулся и кивнул Лаврентию Павловичу.

— В тюрьме сидит, — бесстрастно сообщил тот.

Хрущев знал об этом давным-давно, но прикинулся простачком, хохотнул скоморошно и простодушно, в привычной манере, которая надежно вводила проницательного Сталина в заблуждение, воскликнул:

— Во дает, хитрый ярославец! Нашел время в тюрьме сидеть! Мы тут, значит, гражданские люди, воюем, а кадровый генерал отсиживаться изволит...

Хрущев шел по лезвию бритвы. "Хитрым ярославцем" звал Мерецкова вождь, и Никита Сергеевич нарочно слово это употребил. Реакция Сталина не могла быть предсказуема, тут все зависело от совокупности чисто субъективных оттенков. Как произнесет Хрущев эти слова, в каком контексте, вложит ли некий двойной смысл, скажет с психологическим нажимом или обойдется без особой эмоциональной нагрузки. Любая мелочь имела значение в той опасной игре, которую затеял с вождем этот "щирый Микита", об умственных способностях которого Сталин был невысокого мнения, но приблизил потому, что Хрущев нравился Иосифу Джугашвили. Тот помнил, что этот хохол не только мастер плясать гопака, но и толково работал с его покойной женой в Промакадемии. Иногда товарищ Сталин считался со слабостями глубоко запрятанного в его существо обыкновенного человека.

Сейчас он подозрительно глянул на Никиту Хрущева, несколько пережавшего в разыгрываемом спектакле, но решил, что гость из Киева не поднялся над привычным амплуа, сомнений в его недалекости у Сталина не возникло.

— Ты прав, Мыкыта, — усмехнулся вождь. — В такое трудное время, которое переживает весь советский народ, никто не имеет права отсиживаться в тюрьме. Разберись, Лаврентий, с Мерецковым. Пускай воюет...

Из директивы Ставки Верховного Главнокомандования от 8 июня 1942 года, в 03 часа ночи

№ 170450

Ставка ВГК приказывает:

1. Разделить войска Ленфронта на два самостоятельных фронта: а) Ленинградский, в составе войск ныне действующей Ленгруппы; б) Волховский, в составе войск Волховской группы.

2. Ленинградскую и Волховскую линию между Ленинградским и Волховским фронтами оставить существующей...

4. За невыполнение приказа Ставки о своевременном и быстром отводе войск 2-й ударной армии, за бумажно-бюрократические методы управления войсками, за отрыв от войск, в результате чего противник перерезал коммуникации 2-й ударной армии и последняя была поставлена в исключительно тяжелое положение, снять генерала Хозина с должности командующего войсками Ленинградского фронта...

6. Назначить командующим Волховским фронтом генерала армии Мерецкова, освободив его от командования 33-й армией.

И. Сталин А. Василевский

-36-

Пока 382-я дивизия, в которую входил полк Никонова, продвигалась по безлюдным лесным пространствам, противник особого сопротивления не оказывал. Отдельные группы прикрытия немцев отходили, отстреливаясь. Так они добрались до станции Глубочка, и тут командира роты связи Маликова, с которым еще в Сибири Никонов прибыл в полк, застрелил с дерева снайпер. Роту связи принял Иван.

Дивизия вышла в самый северный угол мешка, в который забралась 2-я ударная. Правее, в шестнадцати километрах, была Любань, с той стороны доносилась глухая канонада — прорывалась к ним на соединение армия Федюнинского. Сосед справа — дивизия Антюфеева — двигался прямо на, Любань. Слева дралась 59-я стрелковая бригада. Прямо с фронта — железнодорожное полотно, на картах его не было. Дорогу построили перед войной и нанести не успели. Левый фланг обороны проходил по болоту, пока

замёрзшему, с редкими островками растительности на нем, и упирался в другую железную дорогу, ведущую из Новгорода в Ленинград.

По ту сторону фронта, закрепившись в Глубочке и Верховье, русским противостояла германская 291-я пехотная дивизия. Это и был главный противник 382-й дивизии, которая двумя сильно ослабленными полками занимала пятнадцать километров линии фронта. Русские были южнее дороги, а передний край немцев проходил в пятистах метрах севернее ее.

Наступил март, но морозы еще жали крепко. Как только закрепились здесь, Никонов оборудовал землянку в сотне шагов от насыпи. Поначалу и комполка здесь был с комиссаром, но едва перешли к обороне, оба они сместились на полтора километра в тыл, там и поставили командный пункт. А Никонов со связистами остался на переднем крае и принялся обживаться. Слева в двадцати шагах росли три толстых осины, там они пулеметное гнездо оборудовали. А справа дежурные точки завел: бойцы несли службу в них посменно, а грелись и спали в землянке. Но всегда один из красноармейцев сидел у входа с пулеметом, караулил, чтоб не вырезали их, сонных, как курят — немцы это дело обожали и шастали по нашим тылам.

За спинами никоновских ребят и чуть левее расположились минометчики, защита вроде надежная, но с минами у них было худо, из тыла на себе носили, а много ли натаскаешь? И с продуктами неважно. Главный харч — сухари, но было их раз-два и обчелся. Скоро стали крошки мерять спичечным коробком. И потому ели все что придется. Имелась одна лошадь, так ее употребили без остатка.

Сначала у Ивана под началом было десять человек, потом пришли из пополнения семеро, у каждого по пять штук патронов.

— Теперь ты укрепился, Никонов, — сказал комполка. — Давай утром в наступление иди...

— В каком смысле? — спросил Иван. — Разведку боем произвести или показать гансам, что мы еще живы?

— Тебя учить — только портить, — отговорился командир. — За Родину, за Сталина — и, значит, "ура"... Приказ ясен?

— Так точно! — ответил Никонов. Службу он понимал хорошо, а что еще ответишь, все равно придется наступать.

Разведать скрытные пути подхода у Ивана не было времени. Он поднял бойцов и повел их в атаку. Противник тут же их и засек, открыл огонь из пулеметов, минами забросал, положил роту на землю, прижал намертво, не оторвешься.

Дядю Васю Крупского убили, пожилого бойца, бывалого. Рядом с Иваном красноармеец Пушкин залег, паренек лет двадцати, очень на поэта лицом похожий, и даже звали его Александром Сергеичем. "Поползу, — говорит, — к Крупскому, может быть, в вещмешке у него пожевать найдется..." "Лежи и не дергайся", — комроты ему отвечает. Не послушался, плечом двинул, готовясь ползти, и голову, конечно, приподнял. Тут его и стукнула в лоб разрывная пуля, вынесла затылок.

Тем наступление и кончилось. Отползли назад только к вечеру. Когда вернулись к землянке, так и места не узнали: все искромсали снарядами супостаты. Осины разнесло в щепки, вокруг воронок полно, а вот в землянку не попали, слава богу. Но другая неприятность приключилась. Левее минометных позиций в обороне образовалась брешь. Немцы нащупали брешь и просочились в нее. Затем неожиданным ударом выбили минометчиков и сели на их позиции, позади Никонова почти. Теперь дорожка от КП никоновского полка проходила через немцев, а Никонов про это еще не знал.

Очередная смена с дежурных точек спала без задних ног в землянке, а часовой с пулеметом у входа задремал, прикрывшись плащ-палаткой. А тут два немецких солдата с их переднего края двинулись к тем, что сели на позиции наших минометчиков. Двигались прямо через нору, где спали красноармейцы. Один рядом прошел, а второй ступил на плащ-палатку и провалился, на часового угодил.

Поднялся гвалт. Немец, правда, не растерялся, выбрался в суматохе и дунул изо всех сил туда, куда и направлялся.

— А если б он гранату бросил? — спросил Никонов у часового.

— Тогда нас и хоронить не надо... Тут бы все в землянке и остались.

Наказал под плащ-палатку часовым не залезать, сидеть у пулемета и постоянно озираться: враг с любой стороны может нагрянуть.

Те, что недавно прибыли, стали рассудка с голодухи лишаться. Приказов не воспринимали, смотрели бессмысленно, только глаза блестели. Иные опухать начали, иные с лица спали, скулы острые, носы торчат. Порою падают, ноги не держат. А воевать надо, никто их здесь не заменит. Попросил Никонов тех, кто с ним уже горе военное мыкал, поддержать новичков. Те им внушают: ешьте все съедобное и то, что не очень, — кору с деревьев, ветки, кости старые. А Самарин порылся-порылся в сторонке, нашел лошадиный задний проход, когда конягу ели, то побрезговали им, бросили, отрезав. Этот кусок кишки боец и сжевал сейчас при всех.

— Ну, Самарин, — воскликнул комроты, — теперь жить будешь!

Ребята из пополнения ободрились, превозмогли себя, стали жевать все, что под руку и на глаза попадется.

Потом с самолета и муку сбросили. Наварили они болтушки, совсем повеселели. Вскоре передали, что будут болтушку варить в тылу, для всех сразу. Интендантам, дескать, сподручнее. Никонов прикинул: за несколько километров посылать носильщиков за ней негоже, не дойдут до кухни и сгинут по дороге. Так он всех бойцов растеряет. Потому и остались его бойцы без приварка.

А немцы давно о голоде русских прознали и все изгалялись над ними, буханки с хлебом поднимали и звали отобедать борщом, кашей с салом. Красноармейцы поначалу матерились. Никонов им говорит: силы тратите на мат, гансам в этом и резон. Потому не обращайте внимания на них, будто ничего этого нет, никто вас обедать и не зовет.

Послушались и больше не матерились, берегли силы бойцы, им ведь еще и воевать нужно.

Доходили до них слухи, будто армия окружена, но приказ держать оборону никто не отменял и красноармейцы ее держали. Потом стало известно: прорвали вражеское кольцо, коридор снова заработал. Скоро и на себе никоновцы ощутили перемену. Прибыло пополнение. В их роте появились два взводных — лейтенанты Тхостов и Голынский, потом и политрук Коротеев.

— Хватит, Никонов, быть тебе пехотой, — сказал командир полка. — Налаживай связь... И с едой стало получше: сухарей стали давать побольше.

Но тут еще событие случилось. Поступил приказ товарища Сталина: наладить учет потерь в технике и живой силе, строго отчитываться за их расход. В штабе полка акт быстренько сочинили и дали на подпись Ивану и Поспеловскому, телефонисту. Боец акт подписал, а Никонов уперся. Во-первых, подписи свои комполка Красуляк и начштаба Стерлин не поставили. А во-вторых, увидел Никонов в акте липу: все потери списывали на бомбежку. Но ведь не так все происходило, по дурости начальства много народу гибло.

— Все было не так, — сказал Иван, — и подписывать акт не стану. Дважды в штаб вызывали его, но стоит Иван на своем — и точка.

— Удивляюсь, — говорит Красуляк, — как ты, Никонов, жив остался...

Ежели честно, то Иван этому не очень удивлялся. На Севере он в Березове работал, по тайге в командировки ездил, на оленях кочевал при морозах за

пятьдесят, и в снегу лежать приходилось. Привычный был Иван к подобной жизни, потому и уцелел, наверно.

Опять его вызвал начальник штаба капитан Стерлин.

— Подписывай акт! Товарищ Сталин сведения ждет, а ты, падла сибирская, враг народа недорезанный, уперся!

Стерлин вытащил пистолет, наставил на Ивана:

— Застрелю!

— Стреляй, — ответил Никонов. — Раз немцы недострелили, от своих смерть приму. Совесть, она дороже жизни. Стреляй!

— Остынь, капитан, — вмешался комиссар Ковзун. — Никонов — командир молодой, текущего момента не понимает. Работать с ним надо...

Стали работать. Для начала приставили двух автоматчиков и в штаб дивизии под конвоем — шагом марш. Там ждал его Ульянов, начальник Особого отдела.

— Почему акт не подписываешь? — строго спросил он. — Или приказ товарища Сталина не для тебя?

— Хочу умереть честным человеком, — ответил Никонов. — Ну, подпишу я акт... А потом будет проверка, прочтут, что все в акте свалено на бомбежку, в том числе и без вести пропавшие. На тех, кого навсегда списали, придут на фронт письма, кто-то остался жив, а числится мертвым. Что тогда будет? Я ведь предлагал в полку написать честный акт, как все было. Иную технику мы другим частям передавали, из-за нехватки бензина оставляли в деревнях, там же и раненые бойцы оседали, всякое бывало. Это и надо отразить в бумаге. Правду войны, товарищ начальник Особого отдела.

Ульянов усмехнулся:

— Правду войны, говоришь? Многого хочешь, лейтенант... Хотя ты и прав, конечно.

Тут пришел комдив, теперь их дивизией Карцев командовал, Кузьма Евгеньевич. Комиссар, начальник штаба появились, другие командиры.

— Ты, Никонов, выйди пока, — предложил Ивану Ульянов. — Видишь, и без тебя тесно.

Торчал Иван у входа в землянку и слышал, как спорили там, прав ли этот настырный сибиряк и как их вообще сочинять, подобные акты. Сошлись на том, что писать надо правду. По возможности, конечно...

Совещание закончилось, и Никонова отправили домой, уже без конвоя. В полку образовали комиссию, куда включили Сидоркина, начальника санчасти, Ивана и еще трех командиров. Акт выправили по-другому, объяснили реальные

потери и почему имели место. Потерь было много, одних пропавших без вести двенадцать с половиной тысяч...

-37-

— Получайте директиву и отправляйтесь немедленно на Волховский фронт, — распорядился Сталин и взглянул на Мерецкова в последний раз.

Кирилл Афанасьевич кивнул и поднялся. Прежде чем повернуться и направиться к двери, Мерецков нашел глазами Хрущева и посмотрел на него, чтобы убедиться, на самом деле Никита Сергеевич подмигнул ему. Лицо Хрущева было серьезным и непроницаемым.

"Показалось", — решил генерал и поспешил к выходу, ему хотелось поскорее вернуться к привычному делу.

А члены Политбюро продолжали решать судьбу великой страны.

Положение было многотрудным. Красная Армия продолжала утрачивать инициативу, противник повсеместно навязывал собственные решения, успехи пока не намечались. В Крыму вот-вот должен был пасть так долго сопротивлявшийся Севастополь.

...Отпустив Мерецкова, Сталин довольно быстро свернул заседание Политбюро и объявил, что приглашает всех ужинать на Рублевскую, дальнюю, дачу.

— Там, понимаете, свежий воздух, — по-домашнему сообщил вождь, гостеприимно обводя членов Политбюро оливковыми глазами. — Много заседаем, товарищи, поэта Маяковского на нас нет.

Сегодня Сталин собирался по совету Берии устроить пышное застолье, а самому, оставив гостей пировать без него, вернуться в Кунцево. Берия надеялся, что в отсутствие вождя кое у кого развяжутся языки, авось и возникнет серьезный компромат.

Большой поклонник русского царя Ивана Грозного, Сталин любил собирать примеры из его жизни. Недавно специалисты познакомили его с новым разысканием. Однажды царь Иван организовал для приближенных пир, сам государь в нем не участвовал, но чтобы узнать их подлинные мысли, подослал послухов. Доклад последних удивил Грозного. Захмелевшие бояре не проговорились ни единым словом, они были горазды лишь "песни вспевати, и собаки звати, и всякие срамные слова глаголати".

— Почему они молчали, Лаврентий? — спросил Сталин у Берии, рассказав ему про этот случай. — Эти тоже молчат... Ты мне еще ни разу не сообщил, как

анекдоты про меня говорят. Вот и Грозный тоже удивлялся. Водка всегда развязывает язык.

Берия пожал плечами:

— Если надо анекдот, мы его организуем.

Вождь поморщился:

— Ты меня не понял, Лаврентий. Я хочу знать: почему они молчат, если даже меня нет рядом? Но если ты мне скажешь, что они меня любят, я посажу тебя, Лаврентий, в тюрьму.

— Этого про них не скажу, но за тебя, Сосо, готов сесть в тюрьму.

— Отсидеться хочешь? Не выйдет... А кто за нас с тобой воевать будет? Да... Значит, говоришь, держат язык за зубами? Все равно никому не верю!

Этим двоим, повязанным между собой общим грехом, было невдомек, что многочисленные и беспощадные вырубки партийного леса, террористические налеты на ближайшее окружение вождя оставили у подножия трона только тех, кому, как и во времена Ивана Грозного, все было в высшей степени безразлично. То, что они приучились при этом общаться между собой на языке газетных передовиц, было знамением века — и только. А в остальном ничем они от опричников Ивана Васильевича не отличались, у тех и других отсутствовали всякие нравственные императивы.

Вот разве что жертв во втором историческом варианте оказалось во много крат больше.

-38-

"Ночами продвигаемся по направлению к Мясному Бору, поминутно задерживаясь в пробках на дороге", — писал в дневнике Виктор Кузнецов 27 мая, незадолго до того, как немцы заняли коридор, или Долину Смерти. Дневники вести на фронте было категорически запрещено. Но многие командиры делали записи украдкой. Журналистам сам бог велел пренебречь инструкцией Особого отдела. Но осторожный Кузнецов подстраховался, оформил личный дневник как летопись газеты "Отвага".

В редакции появилось много новых людей. Уехали на учебу Моисеев, Родионов, Кузмичев и Ларионов. Недавно исчез Евгений Вучетич, пришло на него персональное предписание — откомандировать...

— Кто твой ангел-хранитель, Женя? — спрашивали художника товарищи, но Вучетич отмалчивался.

Он быстро собрался, сдержанно простился со всеми и незаметно исчез. Виктору хотелось думать, что Евгению было стыдно, по-человечески неловко покидать их в такое трудное время. Кузнецов всегда думал о людях лучше, нежели они того заслуживали...

"Передвигаемся ночью, — продолжал записывать ответственный секретарь, — днем все замирает, машины водители прячут или маскируют, если стоят у дороги. Длительные остановки способствуют выпуску газеты без перебоев. Наши корреспонденты проводят основное время в войсках, появляясь в редакции лишь затем, чтобы продиктовать на машинку материал в газету. Даже возвращение в редакцию становится нередко проблемой: "Отвага" почти никогда не оказывается в обусловленном заранее месте, ее приходится разыскивать.

... Финев Луг. До войны это большой рабочий поселок. Теперь — развалины. На станции — остовы обгоревших вагонов. Полотно железной дороги давно разрушено, но станцию продолжают бомбить. По соседству прячется среди деревьев узкоколейка, она действует вовсю: готовится к отправке состав платформ, груженных зенитками и полевыми орудиями. Невдалеке пыхтит, хлопотливо посвистывая, крохотный, замаскированный цветущей черемухой паровозик. Он терпеливо ожидает конца бомбежки.

30 мая. Мясной Бор снова перекрыт. В Огорелях, которые мы миновали несколько дней назад, оккупанты. Они торопятся занять территорию, которую мы оставляем, ставят под угрозу тылы основной группировки армии, нацеленной на Мясной Бор.

Утром приезжал знакомый командир из антюфеевской дивизии.

— Жмут! — ответил он на вопрос, как у них дела.

Дивизия Антюфеева по-прежнему творит чудеса. Но и эти храбрецы не все могут. Между деревней Вдицко и Финевым Лугом гитлеровцам удалось прорвать нашу оборону.

3 июня. Наш островок все меньше. Накануне вечером редакции определен участок обороны. Мы с Николаем Дмитриевичем изучали его: по фронту около двухсот метров. Люди, свободные от выпуска очередного номера газеты, находятся на боевых постах.

Дважды налетали бомбардировщики. Потери: четверо убиты, шестеро тяжело ранены, двое сравнительно легко. Почти все пострадавшие — наши ближайшие соседи, армейский отдел политпросветработы. Бомбы вывели из строя обе их машины. Убит воентехник Цыганков — наш постоянный внештатный

корреспондент. За минуту до смерти он разговаривал с нашей машинисткой Валей Старченко. Когда послышался вой приближавшихся стервятников, Цыганков шутливо спросил ее:

— У нас будете умирать или к себе пойдете?

Спустя час мы хоронили товарища, устлав могилу ветками цветущей черемухи. Изувеченное тело погибшего с головой закутано в плащ-палатку. Бросаем в могилу комки влажной земли. Под их ударами упруго вздрагивает коченеющая нога...

6 июня. Поступил срочный приказ немедленно сменить место расположения. Пришлось прекратить печатание очередного номера. Во всем чувствуется лихорадочная поспешность. К вечеру выясняются причины переполоха. Оказывается, ночью было предпринято наступление двух наших армий — 2-й ударной и 59-й — навстречу друг другу. Губительный огонь противника не позволил расширить прорыв.

7 июня. Медленно продвигаемся вперед, преодолевая за ночь не более 500 — 800 метров. Из-за отсутствия бензина газету будем печатать вручную. Николай Кочетков полдня ходит возле трехтонки, прикидывая, как бы получше приспособить деревянную ручку к заднему, приподнятому над землей колесу автомобиля, от которого внутрь кузова уже протянут ремень к маховику печатной машины. Умелец Кочетков сделает... Объявлена запись добровольцев крутить колесо. Редактор просит записать его первым.

По дороге к Мясному Бору миновали могилу Всеволода Багрицкого. Эти места я не узнал — так все изменилось с зимней поры. На дереве еще сохранилась фанерка: "Я вечности не приемлю..." Холмика уже нет. Могила обвалилась и наполовину заполнена черной водой. В воде плавает хвойный, тоже почерневший венок. Мы подошли к могиле с Борисом Бархашем, обнажили головы.

А сзади раздавались нетерпеливые гудки автомобилей.

— Эй, почему остановились?

— Скорее проезжайте! — подскочил к нам незнакомый шофер.

— Тут похоронен наш товарищ, — сказал Борис Бархаш.

Недалеко от могилы Багрицкого — огромная, заплывшая болотной жижей воронка. Зимой ее не было. Вражеская фугаска не оставила в покое поэта и после его гибели.

12 июня. Ночью филолог Перльмуттер принял по радио материалы о поездке Молотова в Англию и США. Готовим экстренный выпуск. Редактор с группой

молодежи отправился за бензином. Николай Дмитриевич собрался выпрашивать на газету со всех машин по литру или кто сколько не пожалеет. К газете хорошо относятся, и редактор рассчитывает на успех экспедиции.

Плохо с продовольствием. На костре кипит жиденький суп, заправленный крошечной щепоткой крупы. Заварку для чая заменяют смородинные листья. Саша Летюшкин приспособился варить "зеленые щи" из какой-то болотной травки-трилистника. Эту травку наш сибиряк Ятин называет кислицей.

Наборщик Голубев принес корректурный оттиск, на обороте которого выведены карандашом шутливые строки, свидетельствующие о неистощимом оптимизме нашего "корректорного цеха". Вот начало нового стихотворного опуса Жени Желтовой, названного ею "Есенин на военный лад":

Хорошо б за Волхов Живым перебраться...

В конце стихотворения указаны точные обстоятельства и условия творчества: "Сочинено 11 июня 1942 г. в 12.00. Жду оттиска с машины. Лес. Дождь. Солнышко. Бомбежка".

13 июня. Вечером наш квадрат леса снова бомбили восемнадцать "хейнкелей". У зенитчиков редкая удача — сбили сразу пять самолетов. С полуночи появились слухи о том, что путь через Мясной Бор открыт. Пока только для пеших...

Противник жмет. Сдана Ольховка. Это прямая угроза Новой Керести, в районе которой мы стоим.

От Антюфеева возвратился Чазов. За последнюю неделю антюфеевцы уничтожили более четырех тысяч гитлеровцев. Это в шесть раз больше тех штыков, которыми располагает дивизия. Вчера за десять часов противник выпустил по расположению дивизии не менее тысячи снарядов и столько же мин. Антюфеев говорит, что еще одного такого напора ему не сдержать. Враг все время подтягивает резервы. А у него очищены все тылы. Боеприпасов нет. Нет продовольствия. И все-таки они держатся, держатся!..

С КП армии вернулся редактор Румянцев. Никаких отрадных новостей. Никаких успехов в проклятой дыре.

— Военный совет фронта требует от бойцов, командиров и политработников армии вести решительную борьбу с трусами и паникерами, распространителями провокационных слухов, — сказал он. — Но я думаю, что вряд ли, однако, в этом есть потребность. Трагические обстоятельства до конца вскрыли духовные и нравственные качества человека. Мне еще никогда не приходилось встречаться с такой строгостью и подтянутостью, которые особенно характерны

для всех в эти дни. Словно бы каждый принял твердое решение, которое не может быть ни пересмотрено, ни отменено".

...Борис Бархаш вернулся с командного пункта армии, принес последние новости.

— В Мясном Бору осталось пробиться метров триста, — сказал он Кузнецову, — Вроде подкинут нам штурмовую авиацию, появятся те летчики, к которым мы пробирались с Родионовым. И вот еще что. Держи...

Он протянул ответственному секретарю листовку.

— Гарус, начальник поарма, велел дать в номер...

— Сделаем, — просто сказал Кузнецов. Листовку читать не стал — еще вчера Румянцев принес ему из штаба такую же, но публиковать в газете команды не давал.

А к вечеру прибыл из-под Ольховки Лазарь Перльмуттер и радостно сообщил, что фашисты изготовили к атаке сорок танков, но вдруг налетели наши штурмовики и с одного налета "пришмандорили" четырнадцать штук.

— Как ты сказал, Лазарь? — улыбнулся Виктор, — Что сделали?

— Пришмандорили, — повторил филолог и растерянно посмотрел на ответсека. — Что-нибудь не так? А, ты про этот термин... Мне один старшина рассказывал и попутно употребил. Солдатский язык, Витя... Жаргон войны.

— Этот жаргон существовал и до прошлого года, Лазарь, — возразил Кузнецов. — Словечко давнее, с детства его помню.

Он принялся было развивать мысль на тему, почему нельзя злоупотреблять слэнгом в журналистике и даже в художественной литературе, но увидел вдруг, что товарищ вовсе не слушает его.

— Что с тобою, Лазарь? — спросил его Кузнецов.

— Меня скоро убьют, Виктор, — спокойно ответил Перльмуттер. — Вот я и думаю о том, что останется от меня в мире, в котором вы будете продолжать существовать.

Когда затевали такие речи, считалось, что человек сам себя приговорил, а где и как смерть найдет обреченного — вопрос времени, не больше.

Поэтому Виктор замолчал и сказал философски:

— Никого не минует чаша сия... Кто раньше, кто позднее.

— Хотелось бы закончить интересную работу о Лермонтове, — вздохнул Лазарь. — Начал перед самой войной. Теперь уже не судьба. — Он встрепенулся: — Знаешь, Витя, я не жалею, что уйду из вашей жизни так рано. Всего задуманного никому не удавалось исполнить. Но свидетелем и

участником каких событий я стал! Ты напиши обо всем этом, Виктор, обязательно напиши...

— Найдется кому писать, — проговорил Кузнецов. — Не дело ты говоришь, Лазарь, заныл будто новобранец. Сам и напишешь... А смерти, если хочешь, как таковой не существует. Мне думается, что есть просто переход из одного состояния в другое. И потом, ты ведь продолжишь существование в нашей памяти. Ведь если погибну я, а ты закончишь войну в Берлине, то напишешь об "Отваге", о товарище батальонном, Севе Багрицком. И обо мне, редакционном шакале Кузнецове...

— Непременно напишу! — воскликнул Перльмуттер. — Не сомневайся в этом, Витя...

— Значит, и я не умру на этой войне, а буду воскресать всякий раз, когда ты вспомнишь обо мне.

— Ты прав, — задумчиво проговорил Лазарь. — Для меня вот Лермонтов никогда не умирал. Да и для всех русских людей тоже...

Они стояли у облепленной болотной грязью полуторки и разговаривали о бессмертии, которое оба давным-давно заслужили.

Лазарь Перльмуттер обвел глазами искореженный лес вокруг.

— Давно не слыхал пения птиц, — сказал он. — А ведь тут и соловьи должны водиться.

— Соловьи уже отпели, — заметил Кузнецов. — Сейчас тут впору воронам каркать, но их тоже распугала война...

— Да, вороны были бы здесь к месту, — согласился Перльмуттер.

Он заговорил вдруг для Виктора непонятно, прочитал первые строчки памятного с детства Артура Рембо, но вспомнил, что Кузнецов не знает французского, помедлил, подбирая слова, потом принялся негромко, печально произносить:

Ночные, траурные птицы, Из разоренных ветром гнезд К распятьям у пустых борозд Слетайтесь, черные провидцы... Над пожелтелою водой Рассейтесь злобною ордой!

Прокаркайте над бездорожьем, Где с незапамятной зимы Черны могильные холмы... Напомните о них прохожим! В ком голос чести не умолк,

Завещанный исполнит долг. На ветке дуба, как на мачте, Расселись чинною толпой... Я славке майской крикну: пой! По нашим храбрецам не плачьте, По тем, кто спит среди травы И для грядущего мертвы.

— В будущем я хотел бы остаться живым, — заключил, с минуту помолчав, Лазарь. — Ты знаешь, Виктор, в "Философии общего дела" Николай Федоров говорит о том, что история как факт есть взаимное истребление, истребление друг друга и самих себя, ограбление, расхищение через эксплуатацию и утилизацию внешней природы, всей земли, есть собственное вырождение людей и умирание. Доколе же человек будет истребителем себе подобных и хищником слепой природы? Ты веришь, Виктор, что эта война будет последней?

Кузнецов достал из кармана давным-давно пустую трубку и сунул ее в рот. Это помогло ему овладеть собой, ибо слова Лазаря задели ответственного секретаря: подобные мысли давно не давали ему покоя.

— Верю в разумность человека, — сказал он. — Разрушить природу, думаю, человеку не под силу, ведь он только часть ее. Но вот изменить среду обитания человек может. Сделать ее такой, что ему в этой среде не останется места.

Перльмуттер усмехнулся:

— Оптимистом тебя не назовешь, но такой подход единственно честный...

От дороги подошел регулировщик. Мокрые ватные брюки на нем болтались вокруг ног жалкими мешками. На голове шапка с жестяной зеленой звездой, телогрейка, похожая на старушечью, последнего срока носки, кацавейку. Подпоясан брезентовым ремешком, кожаные давно уже съели.

— Товарищи комиссары, — обратился он, заметив звезды на рукавах кузнецовской гимнастерки, — лежневку опять разбомбили... Капитан Ряховский просит помочь. Не справляемся мы...

Кузнецов вызвал редактора, и Румянцев отдал приказ, ставший уже привычным: тот, кто не занят на выпуске газеты, отправляется на ремонт дороги.

Смерть немецким оккупантам!

ДОБЛЕСТНЫЕ ВОИНЫ 2-Й УДАРНОЙ АРМИИ!

В огне и грохоте орудий, лязге танков, реве самолетов, жестоких схватках с гитлеровскими мерзавцами завоевали вы славу доблестных воинов Волховских рубежей.

Мужественно и бесстрашно, в течение суровой зимы и весны, вели вы борьбу с фашистскими захватчиками.

Боевая слава воинов 2-й ударной армии золотыми буквами запечатлена в истории Великой Отечественной войны.

Сейчас, когда потребовала обстановка, по приказу командования фронта армия занимает новые, более выгодные рубежи для обороны и наступления, чтобы еще крепче, еще сильнее бить врага, уничтожать его живую силу и технику, срывать его планы. Организованно занимая новые рубежи, 2-я ударная армия одновременно наносит сокрушительные удары по врагу. Тысячи немцев кормят могильных червей под Красной Горкой, Червино, под Дубовиком и Еглино. Наши силы велики, и они могут быть умножены — это уже почувствовали на своей шкуре немецко-гитлеровские мерзавцы.

Мы теперь несравненно лучше, чем в прошлом году, вооружены для борьбы с вражескими танками и самолетами, для борьбы за победу и в воздухе, и на земле.

От каждого воина 2-й ударной требуется величайшая дисциплинированность и организованность. Каждый боец должен сражаться отважно, держаться непоколебимо, быть готовым скорее погибнуть смертью храбрых, чем не выполнить воинский долг.

Товарищи бойцы, командиры и политработники 2-й ударной армии!

Ни минуты успокоенности и благодушия. Помните, что врагу нанесены сильные удары, но враг еще не разбит, он коварен и лют, готов на всякие подлости, провокации, гнусности. Будьте бдительны, дисциплинированы, подтянуты. Решительно ведите борьбу с трусами, паникерами, распространителями провокационных слухов. В обороне и наступлении будьте непоколебимыми, упорными и настойчивыми — в этом ваш долг, долг воина Красной Армии перед матерью-Родиной. Беспощадно истребляйте коричневую чуму. Каждый убитый фашист, каждое уничтоженное орудие противника, каждый взорванный, сожженный танк, каждый сбитый фашистский самолет — все это приближает день гибели гитлеровской грабъармии.

Партия, советское правительство и вождь народов Народный Комиссар Обороны товарищ Сталин поставили перед воинами Красной Армии задачу — в 1942 году полностью разгромить фашистскую грабъармию.

Выше боевые знамена, овеянные славой в боях с немецкими оккупантами! Свято храните и множьте героические традиции 2-й ударной армии!

Воинским умением и стойкостью обеспечим разгром врага в 1942 году.

Нас ведет к победе Сталин! Смерть немецким оккупантам! Да здравствуют воины 2-й ударной армии! Да здравствует наша победа!

ВОЕННЫЙ СОВЕТ ФРОНТА

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФРОНТА

Для Никонова и его товарищей наступила весна, потеплело, и тогда на них навалились вши. Мужики говорили, что чем голоднее становится, тем вшей больше прибывает, только научного объяснения факту дать никто не умел.

В конце марта прибыл представитель Ставки, фамилии его Никонов не узнал, сказали, мол, засекреченный товарищ. Собрал этот тайный представитель всех уцелевших от предыдущих боев командиров и сообщил, что коридор немцы перекрыли и, значит, дерутся они в окружении, не зная, что за спинами их находятся уже немцы. На других фронтах тоже сложилась трудная обстановка. Потому никаких подкреплений для них не будет, надо обходиться собственными силами, но стоять насмерть, умереть в бою, ни в коем случае не сдаваться на милость врагу.

Потом объявил: "Кто хочет умереть коммунистом, подавайте заявление". Иван Никонов вспомнил, как всегда последний патрон оставлял для себя, плен лейтенант считал изменой Родине, живым сдаться противнику и не помышлял. Отец его за первую германскую войну получил весь набор Георгиевских крестов — один золотой и три серебряных. Потом в Красной Гвардии был, в командиры РККА вышел. Ни за что бы Иван, сам комсомолец с тридцать первого года, отца не опозорил. Подал Никонов заявление в партию, и приняли его единогласно.

Наступать уже не пытались. Оборонялись от немцев и кормили вшей, сами же оставались без кормежки.

Далее велено было занять позиции гусевцев-кавалеристов, у которых лошадей съели, а самих вывели через Мясной Бор. Командный пункт их полка расположился у реки Хвороза, а старые позиции, которые держали до того кавалеристы, за рекой Тосно, вправо от железной дороги, у деревни Верховье. В полку осталось несколько десятков человек. Время от времени присылали с дюжину-другую из расформированных тыловых частей, из нестроевиков второй категории, как правило, пожилых бойцов. Толку от них было мало, но рапорты посылались исправно: полк укреплен живой силой.

Надо было показать оккупантам, что мы еще вояки хоть куда и даже наступать способны. Поэтому приказа перейти к обороне 382-я дивизия, равно как и другие части 2-й ударной, не получала. Минометов уже не было, патроны выдавались поштучно, орудия стояли без снарядов. Те, кто прибывал из тыловых подразделений, пока не обессилели, таскали снаряды и патроны в

цинках на себе со станций Радофинниково и Дубцы. У артиллеристов, правда, остались три лошади, но их сразу употребили в пищу. Потом стали собирать выброшенные поначалу потроха, ноги, кожу, кости... Порою давали граммы сухарей, доставленных на самолете. В болотистом лесу прокормиться трудно, это не тайга, да и скудное волховское зверье война распугала, зелень пока не появилась.

Лопаток окапываться ни у кого не было, да и рыть землю бессмысленно, потому как сразу выступала вода. Нагребали вокруг себя прошлогодних листьев, зарывались в них, лежали не шелохнувшись, ибо немец засечет и отправит на тот свет. Только шаришь осторожно вокруг. Что рука твоя ухватит, то, значит, и жуй помаленьку, авось окажется питательным.

Появились случаи самоуничтожения. Сначала одиночные самоубийства, потом сразу трое покончили с собой, из них два командира.

Комиссар Ковзун оповестил: всем, кто может ходить, собраться на командном пункте.

— Недопустимые ЧП, товарищи командиры, — сказал Ковзун. — Позор нашему полку... Надо воевать, а бойцы стреляются. Проведите разъяснительную работу.

Командир первого батальона объяснил: те, кто на это пошел, так отощали, что не могли с земли подняться, повернуться даже.

И Никонов голос подал:

— А ежели совсем дошел, идти не могу, как быть? Не сдаваться же немцам!

Комиссар Ковзун лейтенанту не ответил, с тем и отпустил всех.

Пустели боевые точки. Людей становилось меньше, а пополнения больше не прибывало. Решили организовать сменные дежурства на переднем крае. Никонов с лейтенантом Федей Голынским попеременно туда ходили. Берут двух бойцов, ручной пулемет и кочуют от одной точки к другой. Доберутся, постреляют — и к следующему месту. Оттуда тоже устраивают пальбу, создают впечатление, будто по всей линии сидят красноармейцы, а их и на сотню метров не наберется даже по одному.

Противник, конечно, проведал об этом и учинил каверзу.

А за два дня до того прибыл в полк новый помощник начальника штаба — ПНШ сокращенно. Как выяснилось в тот же вечер, вредный такой мужик. Смеркалось, тишина установилась вдруг, бывают на фронте и такие минуты. Тут он для проверки позвонил на точку правого фланга, где дежурил Гончарук,

связист из Ивановой роты. Чем-то ответ его ПНШ не показался, не уставной вроде ответ.

— Никонов, — приказывает ротному, — немедленно смени Гончарука! Он, такой-сякой, разговаривать со старшими не умеет... Снять его с дежурства!

Иван с Гончаруком с первых дней воевал, боец хоть куда, обстрелянный до невозможности, лучшего не сыскать. А помначштаба придира тыловая, необстрелянная. Хотел Иван начальнику штаба вякнуть, но старого перевели от них, а нового не прислали. Никонов к командиру полка, тот ротного не поддержал.

— Выполняй указание!

Запасных красноармейцев у Никонова не было, надо кого-то снимать с другого поста и гнать в ночь по болоту за пять километров.

Но делать нечего, снял с точки двух добрых вояк, отрядил их сменить Гончарука. А через полчаса возникла в той стороне стрельба. Завязался бой, немцы поднаперли, атаковали к ночи, чего за ними прежде не водилось. Гончарук по телефону передал: "Немцы лезут со всех сторон! Отстреливаюсь!" Иван слышал в трубке, как частят автоматы. Потом невежливый Гончарук, который помначштаба не потрафил, вдруг крикнул: "Патроны кончились!.. Погибаю, товарищ командир!"

Стрельба прекратилась. Никонов тяжело вздохнул и сообщил в штаб, что снимать с дежурства некого, так как красноармеец Гончарук героически погиб в бою за Родину.

Под утро вызвал Никонова комполка и говорит:

— Ты у нас, ротный, человек бывалый, даю тебе особое задание. Собери своих бойцов да возьми еще больных из санчасти, отправишься с ними на край болота. Туда ушла дивизионная разведка, будешь действовать вместе с ней.

— А больные мне на кой ферт? — спросил Никонов.

— Для численности, — ответил командир полка. — Ежели что, голосом тебе помогут, "ура" там покричат или немцев на себя отвлекут. Изобразят, одним словом, живую силу.

Подкрепили Ивана еще лейтенантом Киселем из новеньких, из своих он взял двоих да четырех больных из санчасти. Эти вообще были без винтовок, но куда денешься, если их в твою "живую силу" определили. Собрались вместе и пошли на край болота. Через какое-то время стало рассветать, и тогда рассмотрели: человек движется навстречу. Остановились, вгляделись, вроде наш. И

незнакомец встал, потом опять двинулся. Тут и увидели, что это их Петряков, один, без Самарина.

— Фашистов там, товарищ командир, — сообщил Петряков, — видимо-невидимо! И вооружены до зубов, автоматчики все. Мы с Самариным в плен к ним попали. Вышли когда Гончарука менять, стрельба началась. Ну, подумали, на переднем крае это обычное дело, не придали значения. Прошли болото, приближаемся к позициям, смотрим: кто-то сучья собирает. Самарин и говорит: "Вам что — дня не хватило? Ночью заготовку дров устроили..." Темно ведь, не видно, кто тут, да и наша ведь сторона. А эти молча подходят, хвать нас — и в дамки. Я скинул карабин с плеча, немец за него схватился, я ему в пах ногой — и бежать. Стали стрелять в спину, никто в меня не попал. А Самарина сразу несколько человек схватили, вырваться ему не удалось. Не ходите туда, товарищ командир!

— Ты, Петряков, отправляйся в штаб и доложи обо всем командиру полка, — распорядился Никонов. — А нам надо выполнять приказ.

Из болота они вышли как раз туда, где должна находиться дивизионная разведка, но здесь и духа ее не было. У Никонова была с собой телефонная трубка, он включился в линию, протянутую здесь, и сообщил обо всем командиру полка, затем бойцов продуманно рассредоточил. Тарасова посадил справа у березы, безоружных бойцов положил у поваленной ели, а сам с Шишкиным разместился у провода. А чтоб немцы не подслушали, перерезал провод.

Вдруг видит Иван — провод пополз. Значит, немцы их засекли, а теперь вытягивали часть провода, чтобы точно определить расстояние до них.

Тут Тарасов ему замахал: сюда, мол, товарищ командир... Подобрался Никонов к нему, тот сообщает: немцы идут, целая колонна. Присмотрелся Иван — действительно, прямо на них движутся. Что делать? Гансы, не дойдя метров двадцати, сворачивают налево. Несут на себе пулеметы, минометы, коробки-чемоданы с патронами.

Не стерпел такого нахальства Никонов, поднял автомат и слева направо выпустил целый диск. А когда кончились патроны, подал команду: "Бойцы! Все за мной в болото! И ложись между кочками. Там и замри".

Лишь залегли, немцы открыли такой огонь из пулеметов и автоматов, что срезали на краю болота мелкие березки и сосенки. Но в само болото войти не рискнули. Зато сразу же изменили направление движения — напугал их Никонов. Все были целы, только лейтенанта Киселя среди них не оказалось.

Иван вывел людей из болота, пошел с ними вслед за первой группой немцев, потом взял вправо и вышел на лежневку.

— Докладываю обстановку, — сказал Никонов командиру полка, подключившись к телефонной линии, ведущей на КП. — Разведки на месте не оказалось, а немцы проходят в наш тыл. Задержать их нам нечем, ни одного патрона... Что делать? Какие будут указания?

Ничего в ответ Иван не услышал, ни слова ему командир не сказал.

Сидит с бойцами на кочках кружком и думает Никонов, какое ему принять решение.

— Вода булькает, — сказал один из красноармейцев.

— Наверно, немцы идут, — добавил второй.

— Какой черт потащит гансов в болото, — возразил Никонов. Глянул в ту сторону. Батюшки! И верно, они... Идут прямо на них цепью. А им стрелять нечем.

— Быстро встали! И за мной! — скомандовал ротный и повел бойцов в ту сторону, куда ушла первая группа противника.

Иван прикинул, что эти новые немцы могут принять их за своих. Так оно и случилось. Ни разу по ним не выстрелили.

Прошли немного и вдруг слышат родные голоса: "Стой! Кто идет?" Это свои, конечно. Остатки батальона, отступавшего с позиций, было их семнадцать человек с лейтенантом во главе.

— Патроны есть? — спросил Никонов. — Поделитесь с нами. Патроны у них случились, дали разжиться огневым припасом.

— Сейчас гансы здесь будут, — сообщил Иван лейтенанту. — Одна группа уже прошла мимо вас. Давай пройдем метров пятьдесят отсюда, есть тут кружевина чистого болота, топь безвылазная... Там немчуру и встретим.

— Никуда не пойду, — ответил лейтенант. — Мне приказа не было.

Никонову лейтенант не подчиненный, заставить нельзя. Иван плюнул, забрал своих бойцов и сел в засаду, где посчитал удобнее всего.

Но фашисты, словно почуяв засаду, отвернули в сторону.

Добрался Иван до телефонного провода, сообщил командиру полка новую обстановку.

— Забери тех бойцов с лейтенантом и двигайся в сторону наших позиций...

А лейтенант снова отказывается сниматься. Второй раз звонит Никонов командиру, просит лейтенанта к трубке, но тот и слышать ничего не хочет.

— Передай этому гусю мой приказ: переходить в твое распоряжение. А тебе разрешаю расстрелять его на месте, если не подчинится.

— Приказано тебя расстрелять, — спокойно сообщил Никонов упрямцу, — если не перестанешь валять дурака. Собирай команду и пошли.

Двинулись к старым позициям, где ночью Гончарук оборонялся. На тропе немцы шалаши успели понастроить, но самих не было видно. Когда вышли из болота, на подходе к позициям натолкнулись на кучку обгорелой одежды. Узнали: Самарина то было обмундирование.

— А где же он сам? — спросил кто-то.

— Переоделся, наверно, и с ними ушел, — предположил лейтенант.

— Ерунда, — отозвался Иван. — Никогда этому не поверю... Надо искать.

А вот и боевая точка Гончарука. И сам он здесь находился, бедняга. Его, Василия Ивановича, железнодорожника из сибирского города Канска, сразу опознали, хотя враги стреляли ему, уже мертвому, в лицо.

Вокруг лежало семь вражеских трупов.

Красноармейцы, командиры, комиссары, политруки 2-й ударной, 52-й и 59-й армий.

Победоносное наступление германских войск привело к окончательному окружению. Захватом последней дороги вы отрезаны от ваших баз.

Ваше положение безнадежное. Снабжение продовольствием ухудшается изо дня в день. Голодные и плохо обутые, ожидает вас в болотах неминуемая гибель.

Бессмысленно для прорыва дальше вести контратаки против германских войск. Сильные германские войсковые части с многочисленной артиллерией предотвратят каждую вашу попытку прорваться из окружения.

Не только на Волховском фронте, а также на других участках фронта Красная Армия терпит неудачи и подвергнута уничтожению.

Известно ли вам, что наступление маршала Тимошенко на Южном фронте под Харьковом провалилось, большинство его дивизий были окружены, уничтожены и взяты в плен.

Прекращайте бессмысленное кровопролитие. Бросайте оружие и переходите к нам. Только этим вы сможете избежать неминуемой гибели.

Перебежчики-красноармейцы и командиры без различия воинского звания, комиссары и политруки — вам обеспечена жизнь, хорошее обращение, вы получите хорошую квартиру, и мы вас вдоволь накормим и дадим работу. Распространение ложных сведений, что якобы германские войска

расстреливают пленных и перебежчиков, является со стороны вашей пропаганды большой подлостью.
Вы можете переходить и без пропуска и с вами будут обращаться как с перебежчиками. Предъявитель сего, не желая бессмысленного кровопролития за интересы жидов, оставляет побежденную Красную Армию и переходит на сторону Германских Вооруженных Сил. Он может перейти и без этого пропуска, крича при подходе к немецким линиям: "Штыки в землю!" Немецкие офицеры и солдаты окажут перешедшему хороший прием, накормят его и устроят на работу.
Пропуск действителен для солдат, офицеров и командиров, а также и для комиссаров и политруков.

-40-

Руди Пикерт стал ефрейтором. Это первое для себя звание он получил после отъезда с передовой писателя, при его активном содействии. Вообще-то Ширрваген просил у комбата Кайзера для Руди нашивки фельдфебеля, но командир роты, этот чертов пруссак, на вопрос командира батальона, каковы у него, Германа Титца, соображения, заявил, что Пикерт и в нынешнем его качестве чересчур умен для рядового солдата вермахта, а в звании фельдфебеля станет просто невыносимо умным.
Саксонец подробностей этих не знал, а к новому званию отнесся иронически, хотя и не поскупился на очередную выпивку для товарищей. Подвыпивший Вендель порывался облобызать Пикерта и твердил, что при такой светлой голове, как у Руди, других званий саксонцу не потребуется, ибо не кто иной, как их любимый фюрер, был только ефрейтором, а стал командовать лучшими генералами рейха.
Это случилось незадолго до того, как группа генерала Венделя, однофамильца фельдфебеля, мощным ударом от Чудова и Спасской Полисти вышла передовыми частями на коммуникации 2-й ударной. Батальон Гельмута Кайзера и входившая в него рота пруссака Титца принимали активное участие в решительных боевых действиях против изможденных голодом, беспрерывными бомбежками и артобстрелами иванов. Когда ловушка у Мясного Бора захлопнулась, русские принялись прорываться изнутри, и ландзеров порою охватывал ужас от той неукротимой ярости, с которой атаковали их позиции одичавшие на вид, одетые в зимнее обмундирование красноармейцы.

В июне пришла небывало жаркая для этих мест погода, в болотах проклюнулись мириады личинок, и в воздухе появились несметные полчища комаров. Спасения от них не было нигде. Утешало разве что осознание непреложного факта: комары в равной степени едят и солдат противника. Правда, Вендель полушутливо, полусерьезно ворчал о том, что комары есть дьявольское оружие Сталина, которое русский фюрер приберегал именно для такого случая. После ожесточенных боев в междуречье Глушицы и Полисти батальон майора Кайзера отвели на кратковременный отдых и пополнили новыми ландзерами вместо выбывших из строя.

Гельмут Кайзер получил задание искать слабые стыки между обессиленными русскими дивизиями, проникать в их глубокий тыл, а там изнутри наносить удары по штабам, сея панику и страх среди окруженцев, деморализуя красноармейцев, сбивая с толку командиров противника.

Первая же попытка проникнуть незамеченными в тыл противника через его весьма разреженные позиции оказалась для роты неудачной. Возьми они правее или левее, все бы обошлось. Но боевому охранению, высланному командиром вперед, "повезло": наткнулись на красноармейца, дежурившего на огневой точке. Он открыл яростный огонь, и хотя никто не пришел ему на помощь, положил семерых солдат.

Остервеневшие ландзеры добили его, даже не допросив, чем вызвали гнев и неподдельное возмущение обер-лейтенанта Германа Титца. Он успокоился только после того, как ему сообщили о захвате в плен второго красноармейца. Но этот был нем как рыба. Напрасно ротный спрашивал его о расположении позиций, где находится штаб, по какой дороге снабжают боеприпасами и продуктами, где установлена их секретная артиллерия — "катюши". Русский молчал. Распалив на костре шомпол от карабина, обер-фельдфебель Вендель прикладывал красный прут к спине и плечам обнаженного по пояс врага, но и слова из него вытянуть не смог.

— Разрешите мне его по-другому испытать, господин обер-лейтенант? — обратился к Титцу ефрейтор Оберман.

Недавний еще новичок, он быстро освоился в роте и метил уже в унтер-офицеры.

Ротный махнул Венделю: пусть, дескать, попробует. Тогда Оберман отхватил ножом кусок хлеба и стал намазывать его свиной тушенкой, проделывая это на глазах у русского. Мужественно терпевший раскаленный шомпол, пленный отвел глаза. Вендель ударил его по щеке: он понял, что задумал сметливый

ефрейтор. Затем Оберман стал вертеть куском хлеба с тушенкой перед лицом красноармейца, визгливо повторяя: "Ессен! Ессен!" Он старался, чтобы запах еды проник в ноздри пленного. Глаза русского расширились, он замычал и, до того бесстрастный, в одно из мгновений, когда Гейнц пронес кусок у него перед носом, рефлекторно повел головою вслед.

— Жри, жри, Иван! — закричал ефрейтор. — Вот посмотри, как это надо делать!

Он приблизился к русскому, широко раскрыл рот и стал кусать хлеб с тушенкой, давясь и проглатывая, почти не жуя, кривляясь, корча забавные рожи. На глазах у русского выступили слезы.

Ландзеры расхохотались, и даже надменный Титц ухмыльнулся. И тут Руди Пикерт выстрелил пленному в живот. Он бы мог просто застрелить его, но тогда поступку его не было бы объяснений и, следовательно, прощения. Руди Пикерт допускал, что по суровым законам войны можно использовать раскаленные шомпола, хотя сам бы не стал этим заниматься. Ефрейтор понимал: его роте нужны сведения о русских. Чем больше они их получат, тем больший урон нанесут врагу, тем меньшее число его товарищей погибнет. Все это старо как мир. И Пикерту было понятно, что если даже этот иван нарушит присягу и выдаст секреты русских, то по приказу ротного командира его все равно пристрелит тот же Вендель или ефрейтор Оберман. Могут и ему, Руди Пикерту, будущему пастору, ловцу человеков, поручить это незначительное, такое обычное во время рейда по тылам дело. Все это так, но фокусов Гейнца с куском хлеба Пикерт перенести не мог. И в живот он стрелял по двум соображениям: хотел обезопасить себя, сейчас он вывернется из создавшейся ситуации, и давал этому славянину шанс. Руди интуитивно ощущал, что после его выстрела добивать пленного не станут, интерес к нему сразу исчезнет и переключится на него, Пикерта. Нисколько не удивляясь тому, что в состоянии действовать так обдуманно и расчетливо, хотя соображение, которое Руди сейчас реализовал, возникло и оформилось в его сознании за несколько секунд, ефрейтор Пикерт поднял автомат и выпустил русскому пулю в живот. "Она совсем небольшая, парень, — внутренне усмехнувшись, сказал Руди пленному ивану. — И если тебя подберут скоро, полевые врачи в два счета ее достанут".

Ошеломленные ландзеры воззрились на товарища, и Пикерт заговорил первым.

— Прошу меня извинить, господин обер-лейтенант. Не сдержался! Виноват! Не мог смотреть, как ефрейтор Оберман угощает русскую свинью немецким хлебом

и салом... Их надо кормить только свинцом, господин обер-лейтенант! Виноват! Не сдержался! Убей русского — так требует фюрер... Кормить свинцом!

Он еще выкрикнул нечто бессмысленное, завершил тираду словами "Хайль Гитлер!" и замолк.

Герман Титц медленно соображал. Идиот уничтожил штиммефанген, готового вот-вот заговорить, и подлежит суровому наказанию. С другой стороны, он поступил так из патриотического рвения. Черт бы их побрал, эти пропагандистские лозунги, они мешают грамотно воевать! И солдаты стояли рядом, слушали... Попробуй докажи потом, что он, командир роты, и в самом деле не собирался кормить русского хлебом с тушенкой.

— Я доложу о вашем поступке, Пикерт, командиру батальона, — нашелся Герман Титц. — Пусть он решает, как наказать вас за самоуправство. Вы помешали мне допросить пленного и превысили полномочия старшего солдата. Хотя я и понимаю ваш искренний порыв...

Он показал на тело рухнувшего у костра красноармейца.

— Оттащите его в кусты. Сюда могут прийти русские. Быстро всем собираться! Выступаем!

Когда Руди Пикерт тащил красноармейца в кусты, он понял, что тот жив. "Держись за последнюю возможность, — мысленно сказал он ему. — Если ты угоден богу, спасешься".

Когда он вернулся к сослуживцам, то увидел, как Вендель бросает в костер одежду пленного. Потом они, почти не таясь, шли низкорослым лесом, обходя болото по краю, и Пикерт, надсмехаясь над самим собой, думал, по какой статье занести его поступок. Руди не боялся никаких последствий для себя, ибо понимал, что сыграл единственно верно, и если его дело будут разбирать в партийной инстанции, то уполномоченный НСДАП непременно будет на стороне ефрейтора Пикерта. Может быть, проявившего фанатичную ненависть к большевистскому солдату, которая лишила командира роты "языка", и следует наказать за самоуправство, но чувство непримиримости к врагу, передаваясь другим, делает армию фюрера непобедимой.

"А перед богом? — подумал Пикерт. — Ему, который знает про тебя то, что тебе самому неизвестно, ты сможешь объяснить, почему ты стрелял в русского, желая таким жестоким способом спасти его от пыток? Ищешь спасения у всевышнего? Веришь, что он подсчитывает и оценивает твои поступки?"

Руди давно уже не верил в бога и, скорее, по привычке, усвоенной вместе с материнским молоком, разговаривал с ним. Дотошно познавший суть и историю

христианства, попутно усвоивший учения десятков философов мира от Демокрита и Эпикура с Диогеном Синопским до Огюста Канта с Фридрихом Ницше и Шпенглером, он свел всю сумму собственных знаний к тому, что Бог, которому стоит поклоняться, заключен в его, Рудольфа, душе и нигде более. А раз так, то надо больше слушать ее, собственную душу, а не священников в казенных храмах. Она же и подсказала ему такой шаг.

Не стал Пикерт и законченным солипсистом, замкнувшим Вселенную на самого себя. Он поместил в собственную душу этический центр мироздания, и все, что вокруг него происходило, получало оценку с позиций этого никому неизвестного божества. Именно повинуясь его призыву, Руди Пикерт увидел в кривляньях жующего хлеб с тушенкой Обермана нечто такое, что требовало немедленного поступка. Он совершил его и теперь был доволен тем согласием, которое наступило между ним и тем, кто был и его вторым "я", и богом одновременно. Саксонец понимал, что как христианин он совершает великий грех, отступаясь от веры в того, кто стал, вознесясь на небо, сыном божьим. Как гражданин рейха, Пикерт вообще оказывался преступником, поскольку подчинялся в деяниях, позволял оценивать их вовсе не фюреру и тем своим командирам, которых на это уполномочил вождь германского народа, а некому подозрительному началу, возникшему в душе солдата.

Недоучившийся йенский богослов позволял себе в последние недели и большую крамолу. Он размышлял о вине и ответственности каждого, кто участвует в войне. Пикерт задумывался о том счете, который предъявит история ему и его товарищам, а также русским. Почему они фанатично продолжают драться вопреки всяким правилам, которые требуют от них, лишенных средств к существованию и продолжению боя, сдаваться на милость победителей? Теолог считал, что русские совершают грех по отношению к собственному народу, тратя без остатка силы и безвестно, а главное, бесцельно погибая в этих кромешных болотах, кишащих зловонными миазмами и комарами. Насколько он мог судить, пусть и с солдатской колокольни русская армия обречена, и чем дальше она сопротивлялась, тем больше таяла, стиралась численно, физически исчезала.

Война так или иначе, но закончится, и тогда вот эти moorsoldaten — болотные солдаты — понадобятся русскому народу живыми, чтобы продолжить род человеческий на Земле. Руди и прежде скептически относился к расовой теории, разговорам об исключительности немцев. И хотя сомнений на этот счет не выражал вслух, понимал, как христианин и попросту умный человек, что

задача ликвидации славянских народов невыполнима и попросту безнравственна, призывы к этому не более чем пропагандистское обеспечение общих мероприятий по подъему воинского духа. А коли так, то после войны, когда бы ни закончилась она, будут по-прежнему существовать немецкий и русский народы, и чем дальше движется человечество к накоплению собственных возможностей, тем все меньше у него альтернатив мирному сосуществованию наций.

Он достаточно хорошо знал историю, чтобы проводить аналогии и параллели, и сейчас раздражался от бессмысленного упорства русских, не желающих сохранить себя для будущего.

Побывав уже у них в плену, Руди Пикерт безо всякого страха думал о той загадочной Сибири, в которой мог оказаться, и эта возможность казалась ему естественной. Это вовсе не означало, что он готов сдаться в плен. Руди был настоящим солдатом и дрался бы до последнего патрона. Но и последний выпустил бы по врагу, в этом его долг солдата. Тех же русских, которые предпочитали застрелиться, лишь бы не сдаваться в плен, он считал ответственными перед их народом, который они осиротили, исключив себя из его общности.

О личной вине перед русскими Пикерт не думал, полагая, что ее не существует. Он участвовал в бойне, затеянной двумя титанами или пигмеями, это на чей вкус, которым верили их народы и позволяли делать над собой все, что им заблагорассудится. Поскольку фюрер олицетворял собой в сознании Германию, с известными оговорками, конечно, то Руди и воевал за отечество и делал это добросовестно, профессионально.

Но кривлянья Обермана с куском хлеба и тушенкой в наборе нравственных ценностей йенского студента не значились.

...По цепи пришла из головы колонны команда подтянуться. Рота огибала край болота, забирая вправо. "И грешники могут надеяться на спасение, если они вернут и оставят дело рук своих, — вспомнил Руди Пикерт пророчество Книги Еноха. — Чести не будет им от имени владыки духов, но его именем они спасутся, и владыка духов помилует их, ибо велика его милость".

Под тяжестью набитого патронами и другим припасом рюкзака он пошатнулся, ступил в сторону, задел ногой за кочку и споткнулся. "Спасутся именем его... Интересно, как звали того пленного? Если он выживет, то в день, о котором говорит Енох, ему ничего не грозит. А вот Гитлеру и Сталину, как и другим сильным мира сего, несдобровать. Ибо сказано: "В те дни цари земные,

правители земли падут на свои лица из-за деяний своих рук, ибо в день своего ужаса и своего горя они не спасут свои души. И я отдам их в руки моего избранника; как лед, в огне они сгорят перед лицом святых; как прах, в водах они потонут перед святыми, и остаток не найдется от них. Да будет так..."

Он успел еще подумать, что слова из Библии, которые мысленно произнес, похожи на заклинания, призывающие кару на головы тех, кто его и товарищей определил в болотные солдаты.

Еще два-три десятка шагов, и чавкающую тишину прорезала длинная очередь. Неизвестный стрелок бил по их колонне со стороны болота из русского автомата. "Не поторопился ли я с Енохом?" — подумал Руди Пикерт и упал в грязь, растоптанную сапогами ландзеров.

Приказ войскам Волховского фронта.

12 июня 1942 года. Действующая армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награждаю:

Орденом Красного Знамени

1. Старшего политрука Сотника Петра Ивановича.

Командующий войсками фронта Герой Советского Союза генерал армии К. МЕРЕЦКОВ

Член Военного совета армейский комиссар 1 ранга А. ЗАПОРОЖЕЦ

Начальник штаба фронта генерал-майор Г. СТЕЛЬМАХ

-41-

Едва Мерецков прибыл в Малую Вишеру, то немедленно принял дела от стушевавшегося генерала Хозина, недалекого и случайного, но зловещего фигуранта трагедии. Затем ознакомился с оперативной обстановкой и тут же отдал командармам Коровникову и Яковлеву категорический приказ — восстановить коридор у Мясного Бора.

Обе армии в два часа ночи следующего дня, 10 июня, начали наступление. Предпринятое давление на немецкие войска, которые вошли в Долину Смерти и спешным порядком принялись укреплять захваченные позиции, оказалось бесполезным. Поддерживаемые авиацией пришельцы успешно отбивали атаки частей 59-й и 52-й армий.

— Давай, Кирилл Афанасьевич, снова перетряхнем наши резервы, — предложил командующему фронтом Василевский. Он прибыл с ним вместе в Малую Вишеру представителем Ставки.

— Перетряхивать нечего, — развел руками Мерецков. — То, что я наскреб весною, Хозин передал Ставке.

Он хотел съязвить по поводу того, что незадачливый Михаил Семенович, которого Сталин отправил вместо него на 33-ю армию, любил вождь подобные рокировки кадров, что Хозин собирался воевать без резервов. Но какой толк сотрясать воздух: теперь он сам командует фронтом и вызволять 2-ю ударную — дело его долга и совести, конечно.

Яковлеву передали они с Василевским 165-ю стрелковую дивизию, только что прибывшую из зауральского города Кургана, где она формировалась. Передана была в распоряжение командарма-52 и 7-я бригада танкистов-гвардейцев. И еще два полка спешенных кавалеристов, тех, что в мае вышли из мешка.

Коровникову добавили 2-ю стрелковую дивизию и три отдельных батальона. На подходе к позициям армии находилась и 29-я танковая бригада.

Вот эта последняя и была серьезной силой, не в пример пехоте. Те стрелки, что здесь воевали, утратили боевой пыл из-за элементарной усталости, а попросту говоря, выдохлись. Новые бойцы, вроде курганцев, были еще сырыми, в такой местности не воевали, они в большей части вообще пороха не нюхали и годились разве что на "пушечное мясо". Или, как принято было говорить, для численности живой силы, для количества, одним словом.

С одной стороны, необходимо было тщательно подготовить сходящиеся удары с востока и запада, и прежде всего дождаться, когда приданные части как следует развернутся и займут исходное положение. С другой, нельзя было тянуть время, ждать, когда немцы закрепятся в горловине.

Едва танкисты из 7-й бригады стали прибывать в район утраченного коридора, Мерецков приказал нанести удар вдоль южной стороны дороги Мясной Бор — Новая Кересть.

— Но у меня только одна рота, — возразил комбриг. — Остальные на марше, товарищ командующий.

— Давай! — махнул Кирилл Афанасьевич. — Там тебя горемычные братья из Второй ударной ждут...

Комбриг хотел уговорить его дождаться большего количества пехоты, но понял, что с комфронта сейчас не поспоришь. Надраенный Сталиным, Мерецков стремился любой ценой добиться хоть небольшого успеха.

Командир танкистов отрядил пять тридцатьчетверок, остальные машины только подходили, и бросил их в указанном генералом армии направлении. Ребята в гвардейской бригаде лихие, рванулись через укрепления и вышли на берег реки Полнеть. Но пехота замешкалась, вслед за танками не пошла. Гвардейцы покрутились-покрутились у Полисти, более суток вели они бой без поддержки родимой матушки-пехоты, расстреляли боеприпасы и благоразумно возвратились.

На Коровникова командующий фронтом особенно давил. Иван Терентьевич и сам вину ощущал: ведь именно его части пропустили фашистов в Долину Смерти. И Коровников, не дожидаясь общего наступления, 16 июня отправил в бой только-только подошедшие пять танков 29-й бригады, придав им стрелковый батальон.

Считая себя большим знатоком по броневой части, в 1937 году закончил бронетанковую академию, Коровников распорядился посадить на машины саперов.

— Ежели застрянете, — напутствовал командарм танкистов, — ребята с брони соскочат, гать вам или лежневку соорудят. Дальше двинете по болоту. Рванете на помощь Второй ударной...

Танки рвали довольно успешно, но пехота из 24-й бригады отстала, а противник открыл такой плотный огонь из автоматов и минометов, что саперов с брони в момент как ветром сдуло. Тем, кто за танками и залег, гансы голов поднять не давали. Атака захлебнулась.

На следующий день подошли новые машины, и Мерецков бросил в Долину Смерти еще четырнадцать танков, придав им бойцов из 374-й стрелковой дивизии. Но красноармейцы-сибиряки полковника Витошкина не смогли пробиться сквозь сплошной огонь. Они отстали от танков, которые из-за отсутствия у противника в коридоре истребительной артиллерии успешно преодолевали заграждения и ушли вперед. Но без сопровождающей пехоты танкисты овладеть положением в горловине, закрепиться там не смогли и повернули назад.

Генерал Коровников растерялся. На него воздействовал Мерецков, обосновавшийся на КП армии, не добавляло покоя и присутствие Василевского, имевшего неограниченные полномочия от Верховного. Иван Терентьевич посылал в бой все новые и новые подразделения, которые несли серьезные потери, но дело не поправлялось. Тем не менее, борьба за коммуникации 2-й

ударной не прекращалась ни днем, ни ночью, благо темнота в это время года здесь не наступала.

-42-

Они постояли возле обезображенного трупа Гончарука, помолчали. Никонову этого бойца особенно было жалко, хотя и от смерти других веселья нет. Но так долго обходила смерть толкового красноармейца, а вот и его настигла. Правда, Гончарук семерых врагов с собой забрал, далеко не каждому такое удается, сколько уходит из жизни в бою, не успев даже ни разу выстрелить.

"За дело надо приниматься", — подумал Иван и велел приданному теперь ему лейтенанту занять оборону левее от того места, где погиб Гончарук. Своих бойцов он расположил правее, а дальше никого уже не было, фланг его оставался голым.

Тут подошел к Никонову красноармеец из примкнувших и говорит: "А там ваш боец лежит, товарищ командир". "Все мои со мной, — ответил Иван, — вот они рядом, оборудуют точки". "Да нет, — настаивает красноармеец, — ваш он, в кустах лежит, полураздетый. Кинулся туда ротный, а там пропавший Самарин. Все тело в рубцах от раскаленного шомпола. На животе дырку обнаружили, стреляли почти в упор, вокруг раны кружочек запекшейся крови. Ощупал Иван беднягу Самарина, убедился в том, что тот не только жив, но и в сознании, губами шевелит.

— Терпи, брат, — сказал ему Никонов, — скоро тебя в медсанбат доставим, там операцию сделают.

— Железом жгли, — прошептал Самарин. — Но я ничего, командир, не сказал им. Только вот Петряков меня бросил...

— Здесь он, Петряков! И не бросил тебя, а едва из плена убег... Это вот тебе, Самарин, не повезло. Да теперь ладно образовалось, теперь в обиду не дадим, у своих ты, Самарин.

Славный он был товарищ, председателем старательской артели работал, опытный сибиряк. Подвижный, поворотливый, надежный человек по военной работе. Никонов часто его брал с собой на сложные задания.

Только чего вздыхать над пострадавшим? То, что он жив еще, побывав у немцев в лапах, чудо. Но Иван хорошо знал, какое короткое время длится чудо на войне. Сразу связался с командиром полка, рассказал о геройстве Анатолия. Красуляк говорит: "Несите Самарина в нашу санчасть. Так что двигайте сюда".

Легко сказать "двигайте", когда бойцы двое суток не спали, не ели и не пили, все время на ходу. А Самарина надо нести пять километров по болотистым кочкам. Выделил на это дело двоих. Поворчали красноармейцы под нос, больше, конечно, для облегчения духа, и понесли товарища в санчасть.

Никонов же двинулся к ручью, захотелось попить. Подошел к воде и увидел на кромке берега комочки икры. "Наверно, щуку удалось поймать счастливчикам", — подумал Никонов, хотя и знал, что в таких лесных ручьях щуки не водятся. Икру он, конечно, съел и пошел назад. Навстречу ему — старшина Григорьев. "Лягушку мы поймали, товарищ командир, — доложил Иван Николаевич, — уже сварили, давайте откушаем". Старшина показал котелок, в котором плавала лягушка, а рядом с нею блестки жира.

"Ишь ты, — удивился Иван. — Вот не знал, что лягушки бывают такими упитанными". Вслух он сказал:

— Так это вы икру в ручей бросили?

— Мы, — ответил Григорьев.

— Напрасно... Это ведь тоже пища. Я ее и съел.

— На здоровье, — просто сказал Григорьев.

Лягушку разделили на пятерых, потом пили из котелка бульон. Отдыхали прямо на земле, от комаров спасенья не было, тучами вились, и что только вкусного они в них, почитавших лягушку за великое счастье, находили... Сами бойцы несколько притерпелись и к голоду, и к комарам. Они и к смерти притерпелись, если к ней вообще можно привыкнуть. На позиции ни землянок, ни шалашей настроено не было. Все лежали на земле и ждали приказа или немцев. Последних надо было уничтожать тем жалким количеством патронов, что у них осталось, а приказы... Они могли быть всякими, не отличались лишь одним: их надо было исполнять.

Вскоре пришел к Ивану посыльный, говорит, что новый помначштаба, тот, который покойного Гончарука намеревался снять с дежурства, хочет пройти на ближнюю, с километр до нее, точку.

— Сходи с ним, Иван Николаевич, — скорее попросил, чем приказал Иван старшине.

Только они отошли, начался артобстрел. Григорьев воякой был опытным, сразу залег, мгновенно выбрав менее опасное место. А штабист засуетился, стал перебегать с места на место и получил осколок. Пришлось Григорьеву тащить его на себе в санчасть.

Тут и Никонова вызвали на КП.

— Собирай, Никонов, тех, кто возле тебя расположился, в одну кучу, — сказал ему командир полка. — Будем отходить, а ты прикроешь. Двигаться тебе, Никонов, позади остальных. Приказ ясен?

Иван увидел яму под елью, в нее складывали штабное имущество, бумаги разные, документы, рацию полковую, пишущую машинку, противотанковое ружье без патронов и другой сохранившийся в полковом хозяйстве скарб. Когда яму зарыли, Иван спросил о состоянии Самарина и помначштаба.

— Скончались они.

Тут появился лейтенант Кисель, который прошлой ночью сбежал из никоновской группы и ночевал где-то под валежиной.

— Чего с ним делать? — спросил Никонов у командира полка.

— Хрен с ним, — махнул тот. — Пусть выходит с нами. А там, живы будем, разберемся.

Из дивизии появился представитель, старший лейтенант, сообщил, что немцы, пройдя с тыла, атакуют штаб, он, дескать, поведет остатки полка обходными путями. Пришли к штабу дивизии уже утром, часов в девять-десять. Бой там все продолжался, и Никонов получил задачу поддержать обороняющихся штабистов. В подробности происходящего он, разумеется, не вникал. Откуда Никонову было знать, что, когда штаб 382-й дивизии перешел на новый КП у реки Тигода, командир полка, в котором служил Иван, майор Красуляк, стал выводить подразделение из боя. Но сделать это незаметно не сумел. Противник, смекнув о действиях русских, силами двух батальонов пехоты с танками и легкой артиллерии обошел их фланг. Это и были те группы, с которыми ночью столкнулся Иван. Они прорвались к Тигоде и напали на штаб дивизии.

Красуляк, не сумев правильно оценить ситуацию, продолжал отводить 1267-и полк. Но комдив Карцев понял опасность сложившейся обстановки. С выходом пришельцев на берег Тигоды его полки оказались бы под двойным ударом: тех, кто прорвался в тыл, и тех, кто давил со стороны старого переднего края.

Тем временем немцы обстреляли КП дивизии из минометов и принялись с ходу атаковать его. Выход был один: собрать бойцов в единый кулак и наброситься на врага. Карцев надеялся, что немцы, ведущие бой в лесу, а воевать в лесных условиях им было не по нутру, не сообразят, что перед ними только штаб, а не стрелковая часть. Сначала штабисты ответили на огонь огнем, а затем сами пошли в атаку. Особо яростно дрались разведчики из специальной роты. Держались до тех пор, пока не стала подходить подмога, вызванная гонцами.

Подробностей этих Никонов не знал, откуда ему, кто станет вводить его в курс происходящего. Иван вел собственную малую войну, видел вокруг с колокольни ротного командира, попросту старался работать боевой урок смекалисто и добротно.

У него осталось с десяток бойцов, среди них надежный Шишкин и телефонист Поспеловский, старшина Григорьев, да еще Иванов помощник, лейтенант Голыкский.

Никонов с бойцами занял оборону между КП дивизии и группой гансов. Общий приказ — ни шагу назад и стоять, безусловно, насмерть. До начала атаки противника огонь по нему не открывать, патроны беречь. Группу Иван разделил на две части. Одна должна была совершить обход и ударить неприятелю во фланг, другая — угрожать левому флангу. А пока рассредоточиться и, осматриваясь, выдвинуться вперед.

По небольшому ручью прошли всего с полсотни шагов и увидели немцев. Сначала небольшая поляна у ручья, затем лес, а в нем засели эти самые пришмандовки, так покойный Гончарук солдат вермахта окрестил. Они ползали меж деревьями, меняли, так сказать, позиции. А Никонов подумал, что они в самом деле напоминают чудовищных насекомых. Его даже затошнило, но это скорее от голода, видно, случилось.

Красноармейцы ворчали:

— Вона их сколько, командир. Патронов на всех не хватит. Тут нам и могила общая светит...

Правое крыло группы растянулось, отстало, а левое зашло в лес. По нему-то и открыли огонь немцы.

Тут заговорила наша артиллерия и накрыла отклонившихся в горячке боя к немецкой стороне красноармейцев. Тем временем к ним в тыл зашли бойцы другого крыла, дружно ударили в штыки. Со спины стали на них никоновские ребята жать и вытеснили на позицию группы, попавшей под артобстрел. Получился слоеный пирог, о котором артиллеристам обеих сторон не было известно. И стало так получаться: русская артиллерия бьет по русским, думая, что лупит по врагу, а немцы стреляют по своим.

Никонов смотрел на это и тихо матерился. Связи у него с богами войны, чтоб поправить дело, не было никакой. Послал Иван бойца сообщить кому надо, но пока тот добирался, стрельба кончилась.

Остатки противника убрались из леса. Наступила тишина.

Фюрер не любил Бисмарка. Конечно, он отдавал должное изворотливости "железного канцлера". Это он привел к объединению Германии под гегемонией Пруссии. Согласно конституции 1871 года германские князья объединились в Вечный союз, в котором высшим органом власти стал бундесрат, подчиненный, тем не менее, императору-пруссаку. Когда Гитлер находился в Ландсбергской крепости и работал над "Моей борьбой", он интересовался личностью Отто фон Бисмарка, его вкладом в отечественную историю, просматривал книгу канцлерских воспоминаний.

Разумеется, Гитлер отдавал должное незаурядному уму и сильному характеру Бисмарка, и его неприятие этого государственного мужа было скорее сугубо личное. В глубине души у фюрера сохранялось осознание собственного былого ничтожества, раболепное чувство к великолепному, породистому аристократу, обусловленное комплексом неполноценности. Этот последний хотя и упорно подавлялся Гитлером, до конца все-таки не исчезал.

Не по душе вождю были и повторявшиеся, как заклинание, предупреждения "железного канцлера" об опасности войны с Россией. Советы Бисмарка зиждились на скрупулезном анализе исторических связей Германии и России, знании материальных возможностей великой русской империи, природном политическом чутье, в котором Бисмарку не отказывали и его враги.

Уже начав боевые действия на Востоке, Гитлер не раз вспоминал Бисмарка, никогда не произнося его имени вслух. Оправдываясь перед самим собой, больше ему оправдываться было не перед кем, фюрер мысленно восклицал: "Хорошо было этому пруссаку полагаться на дружбу с Россией, когда ею правили русские Романовы, цари с большим количеством германской крови! И кронпринцу Вильгельму легко было расточать пиетет Александру Третьему, который был двоюродным внуком его собственного отца. А как мне, рядовому сыну немецкого народа, поднявшемуся на вершину власти благодаря исключительной природной воле, верить на слово азиату сомнительного происхождения, засевшему в Кремле? Именно моими руками пытался Сталин обеспечить себе мировое господство, и я был вынужден двинуть дивизии вермахта в Россию, чтобы не дать Сталину окрепнуть и свалить меня самого".

Тут Гитлер несколько лукавил перед собой. Он хорошо знал, что Сталин не готов к войне и не хочет ее. Пока не хочет... Но фюрера пугала непредсказуемость в поступках кремлевского диктатора. Гитлер поначалу посмеивался в кругу соратников, наблюдая, как Сталин умело копирует

предпринимаемые им, Гитлером, акции в Германии. Но старательный копиист стал быстро опережать художника по изощренности и масштабам собственных действий.

Он, фюрер, 30 июня 1934 года устроил "ночь длинных ножей" и убрал самого опасного, пусть и преданного ему лично соперника, любимого партией и народом Эрнста Рема.

Уничтожив несколько десятков человек, Гитлер к репрессиям среди своих больше не возвращался.

А через пять месяцев был убит Киров, наиболее вероятный преемник Сталина. Казалось бы, с этой стороны его диктатуре ничего больше не угрожает. Но Сталин идет дальше: мученическую смерть соратника делает знаменем борьбы против всех инакомыслящих. Хотя многие из попавших в проскрибиционные списки НКВД и не предполагали мыслить иначе, нежели товарищ Сталин. Счет жертв пошел на сотни тысяч и миллионы, а день 1 декабря 1934-го растянулся на годы безудержного террора.

Это непонятное, не укладывающееся даже в безнравственный смысл законов банды, по которым жили и поступали Гитлер и его товарищи по нацистской партии, фанатичное стремление Сталина убивать своих больше, чем это диктуют интересы дела, всегда пугало Гитлера. Фюрер оставался верным изобретенной им и предложенной немецкому народу идеологии. Он ратовал за расширение жизненного пространства и воевал с соседями, захватившими исконно немецкие земли. Он объявил немца сверхчеловеком и дал ему почувствовать собственную силу и природную мощь, пробудил национальное самосознание.

Да, фюрер построил кацеты, в которых сидели и его соотечественники. Но во-первых, он научился этому у большевиков, имевших подобные учреждения уже полтора десятка лет, от знаменитых Соловков до истинно социалистического объекта — Беломорканала. Во-вторых, в концлагерях сидели либо уголовники, либо коммунисты, с которыми ему пришлось так долго бороться за власть. Что же касается евреев, то вождь относил их к смертельным врагам нации. Ведь и сейчас в основу пропагандистской работы в вермахте нацисты вкладывали тезис: мы пришли в Россию, чтобы помочь славянам освободиться от еврейской деспотии, именно евреи поработили русский народ в семнадцатом году. Чтобы не случилось подобного в рейхе, мы и проводим по отношению к евреям особую политику.

А вот немец, веривший фюреру, в лагерь не попадал. У Сталина же, на которого русские едва ли не молились, верноподданные в умопомрачающем количестве сидели за колючей проволокой, если не были расстреляны до того.

Почему так поступал Сталин, а фюрер многое знал из того, о чем якобы не подозревал остальной мир, Гитлер не мог постичь, ибо беспримерная жестокость Сталина борьбой за власть давно уже не определялась.

Фюрер поверил кремлевскому тирану лишь однажды: когда Розенберг и Молотов подписали 28 сентября 1939 года Договор о границах и дружбе. Гитлеру показалось: Сталин удовлетворился половиной Польши. И 23 ноября 1939 года фюрер сказал, выступая перед генералитетом в берлинском Гранд-паласе, о том, что спокоен за положение на Востоке.

Только не прошло и недели, как начался советско-финляндский конфликт... Сталин играл не по правилам. Он как будто бы соглашался на предложенный ему фюрером раздел мира и даже предпринимал шаги, ориентируя Генеральный штаб Красной Армии на Ближний Восток в зиму 1940/41 года, об этом в Берлине было известно! Но определенного ответа от него Гитлер, предложивший СССР стать четвертым в союзе Рим — Берлин — Токио, так и не дождался, хотя в ноябре 1940 года Молотов в принципе против такой возможности не возражал. [484] Поэтому-то Бисмарк и раздражал Гитлера своей прозорливостью. Он понимал, как прав "железный канцлер", и убеждал себя, что у него, Адольфа Гитлера, не было альтернативы, на которую мог рассчитывать Отто фон Бисмарк.

...Первого июня 1942 года фюрер приехал в украинский город Полтаву. Здесь разместился штаб группы армий "Юг", которой командовал фельдмаршал фон Бок. Гитлеру хотелось лично, находясь в войсках, увидеть, как развиваются события, предусмотренные директивой, подписанной им 5 апреля.

— Милейший фон Бок, — сказал фюрер фельдмаршалу за ужином в тесном кругу особо доверенных лиц, — на вас я возлагаю особые надежды. Если мы не возьмем до осени Майкоп и Грозный, я буду вынужден компромиссно закончить эту войну.

— Мой фюрер, — спокойно и уверенно ответил командующий, — немецкие солдаты полны решимости идти вплоть до Баку и Тегерана. А потом и дальше — в Индию.

Фюрер рассмеялся.

— Подумать только, — сказал он, подкладывая себе большой кусок торта, изображавшего Кавказские горы, — в сороковом году я предложил Индию, эту

жемчужину британской короны, Сталину! Теперь он остался и без Индии, и без России...

Торт был отменного вкуса, и это обстоятельство обострило хорошее настроение Гитлера.

— Не давайте русским отходить, фон Бок, — напомнил он фельдмаршалу. — Главная задача, ваша не только в том, чтобы выйти к Волге и Каспию, но уничтожить Красную Армию, физически уничтожить, фельдмаршал. Чем больше мы убьем русских солдат в этом году, тем меньше нам придется убивать в следующем. Впрочем, я надеюсь, что уже к концу летней кампании Сталин поймет, что проиграл, и начнет переговоры о компромиссном варианте. И я пойду на него при условии, что к западу от Урала рейху не будет угрожать никакая армия.

— За минувший год русские многому научились, мой фюрер, — осторожно заметил фон Бок.

— К сожалению, — согласился Гитлер. — Но ведь и для нас истекшее время не пропало даром. Вспомните ноябрьские разговоры в прошлом году, фельдмаршал. А панические намеки на судьбу Великой армии Наполеона в декабре?.. Мне пришлось лично вмешаться в дела восточного фронта, взять на себя командование сухопутными войсками вермахта вместо струсившего Браухича, принять чрезвычайные меры против неустойчивых солдат и офицеров. И что же? Мы снова наступаем, огромные успехи в Крыму и под Харьковом, а вы сами, фон Бок, мечтаете об Индии!

-44-

У Марьяны Караваевой добавилось новых забот. Поначалу, когда молодая женщина поняла, как изменилась теперь для нее личная ситуация, уверилась в том, что не ошиблась, ее охватила радость, быстро сменившаяся беспокойством. Конечно, она может некоторое время скрывать беременность, пока не станет явным ее положение. А потом? Марьяна знала, что в таких случаях женщин по решению медицинской комиссии демобилизуют. Тем более, что у нее уже есть двое ребятишек.

Родить дитя от любимого — такая радость! А муж он ей или фронтовой друг, какое значение это имеет? То, что затеплилось теперь в ней, — плод необыкновенной любви. Она расцвела там, где царят разрушение и смерть. Редко кому достается такой дар, а вот им с Олегом достался.

Надо было сказать об этом кому-то, ведь довольно редкое для переднего края событие... Только вот не хотелось, чтобы подумали, будто решила она покинуть медсанбат в трудные дни, прежде чем все выйдут из окружения. Но делать нечего, необходимо кого-то поставить в известность, поскольку зародившаяся в ней жизнь делала ее, старшину медицинской службы, менее боеспособной, и воинский долг Марьяна могла в скором времени исполнять уже с некоторой недостачей.

Признаться Марьяна решила доктору Смолиной, Тамаре Николаевне, женщине надежной и не старой, двадцати девяти лет от роду.

— А что, — сказала военврач Смолина, — вполне законное дело. Когда двое любят друг друга, появляется третий.

— Не ко времени вроде, — несмело возразила Марьяна. — Сама ноги еле-еле таскаю...

— Ничего... Скоро нас выведут отсюда, тогда попросишься в госпиталь работать, там полегче. А срок подойдет — на законном основании отправишься домой.

— Только Ососкову ни слова, — попросила Караваева. — У командира и так хлопот выше головы, на меня сил уже не хватит.

— Договорились. Молчу как рыба. Пойдем глянем того лейтенанта, кого на газовую определяли.

Этого лейтенанта доставили с запущенной раной на правой голени. Ее обработали, но рана была плохая, старший хирург приказал держать на контроле. Парня разместили по возможности отдельно: газовая гангрена вещь заразная. Ногу лейтенанту смазали выше того места, где разворотил ее осколок, и перевязали не туго шелковой нитью — для контроля.

Сейчас Тамара Николаевна подошла к раненому, откинула одеяло, чтобы проверить: не отекает ли поврежденная конечность. Марьяна сразу увидела, как врезалась в тело шелковая нитка и вздохнула. Бедняга! Такой молоденький — а уже калекою... Под пальцами Смолиной, нажавшей на вздувшуюся поверхность голени, раздался характерный, такой знакомый Марьине хруст. Сомнений не было... В просторечии — "антонов огонь", для медиков — газовая гангрена. Надо ампутировать. Но Смолина такое решение в одиночку принять не могла, только консилиум из трех врачей, куда обязательно входил комбат или комиссар.

Вот и сейчас, осторожно закрыв ногу, Тамара Николаевна показала Марьяне взглядом на выход. Позови, дескать, Ососкова и.еще [486] кого там сумеешь

найти. Парень в сознании был, беспокойно переводил глаза с военврача на сестру.

— Доктор, — заговорил он скороговоркой, — спасете мне ногу? Доктор, спасете мне ногу? Доктор...

Фразу эту лейтенант повторял без паузы, будто действовал в нем некий органчик, в голосе не было эмоциональных оттенков, слова он произносил механически, бесстрастно, и от этой безликости звучали они особенно жутко. У Марьяны закружилась голова, она медленно направилась прочь, не расслышав, что Тамара Николаевна ответила несчастному.

"Ничего, — мысленно утешила его, — лишь бы ты выжил... И без ноги можно, протезы у нас хорошие делают. Только бы тебя вывезти отсюда". На мгновение пришла и другая мысль: "А ведь никто из нас не выберется из этого болотного ада... О чем ты думаешь?! — тут же сурово одернула себя Марьяна. — О нас заботятся командиры и лично товарищ Сталин. Стыдись, подружка! Разнюнилась... Ты теперь за двоих в ответе".

За операционной палаткой Караваева увидела комбата Ососкова, который разговаривал со старшим хирургом Казиевым, направилась к ним, но когда оставалось обогнуть брезентовый угол, на нее накатило сиреневое облако. Ноги стали ватными, будто без костей, подогнулись, и старшина едва сумела добраться до ближайшего снарядного ящика.

Облако из сиреневого стало малиновым, и Марьяна испугалась, что потеряет сознание. Тогда все и обнаружится... "Этого нельзя допустить, — твердила она себе, усилием воли отгоняя нахлынувшую слабость. — В обморок упасть я не могу, не имею права! Пройдет, сейчас пройдет... Держись, Марьяна, ты ведь сильная, держись!"

Малиновый цвет облака побледнел, стал синим, потом голубым, и сознание молодой женщины несколько прояснилось.

— Боюсь этому поверить, — услыхала она голос комбата за брезентовым углом палатки — Ведь скандал! В международном масштабе...

— Верно, — согласился Казиев. — Нарушена конвенция... Случай, правда, единичный, но факт применения противником ОВ налицо.

"ОВ, — подумала Марьяна. — Что это такое?" В том сумеречном состоянии, в которое ввергла ее голодная слабость, не сразу поняла, что врачи говорят об отравляющих веществах.

— В любом случае необходимо сообщить начальству, — сказал Ососков. — Подготовьте рапорт на мое имя. Обо всех случаях поражения, которые обнаружены у красноармейцев,

— Один из них сержант, — добавил старший хирург. — А всего четыре человека...

— Вот про них и напишите. И про идею одного из тех балбесов, что с Вишневским приезжали, изложите ваше мнение. Дроздов его фамилия вроде...

— Это о том, что спирт помогает выводить из шока? — спросил Казиев. — Бред сивой кобылы... От бедности нашей прибегаем к сивухе, эфира для наркоза нет, местную анестезию слабо применяем, при ней ведь куда меньшая шокопоражаемость. Вот и наливаем раненому стакан. Варварство! Первобытные времена!

— В те времена водки не было, — заметил Ососков. — Меня другое заботит. Мы от дурного снабжения выручаемся спиртом, а эти щелкоперы из фронтовых сануправ после войны в диссертациях напишут, что процент выведения раненых из шока у нас был выше, нежели у противника, из-за применения алкоголя. Вот где страшное таится, доктор! Мало того, что спаивают почти подростков, навязывая им водочную пайку, так еще и научную базу под это подведут, пользу усмотрят, жулики со степенями!

— Надеетесь, что наши рапорта их остановят? — хмыкнул старший хирург.

— Без надежды нет человека, доктор, — серьезно и даже несколько торжественно ответил командир батальона.

В тоне, с которым произнес Ососков эти слова, было нечто такое, что вселило в душу Марьяны уверенность: с нею, а главное тем, кто живет сейчас внутри ее существа, ничего дурного не случится. Облако, отнявшее у Марьяны силы, постепенно стекало с нее, ползало к приблизившимся к палатке кустам.

Молодая женщина поднялась со снарядного ящика, сделала шаг, фугой и очутилась прямо перед военными врачами. Они оборвали разговор и выжидательно смотрели на нее.

— Тамара Николаевна зовет, — неожиданно для себя по-домашнему сообщила Марьяна. — Лейтенанту ногу резать...

— Опять ампутация! — воскликнул Казиев и беспомощно развел руками. — А у меня ни капли эфира... Опять спирт против шока применять! Так я всех раненых в алкоголиков превращу... Где же взять эфир для наркоза?

В окруженную армию "кукурузники" летали еженощно. Собственно говоря, темнота здесь, на этих широтах, настоящая и не наступала, разве что небо посереет. Но считалось: время для ночных бомбардировщиков настало. Они доставляли сухари, медикаменты, патроны и обязательно листовки для поднятия боевого духа. Обратно — раненых красноармейцев и командиров.

Самолеты эти против истребителей люфтваффе были беззащитны. Но спасали их малая скорость, возможность маневрировать у самой земли, полеты под кронами деревьев и даже ниже. Именно так летали молодые лейтенанты Арбузов, Потапов, Охрименко из 674-го легкобомбардировочного полка, которым командовал майор Сонин.

Особо отличался командир эскадрильи Чиханков, тоже лейтенант — ходовое звание для военного пилота, до третьего кубаря они, как правило, не доживали. Чиханков до войны был в Кемерове начальником аэроклуба, еще тогда летал на У-2, знал эту машину, по шутливому выражению боевых товарищей, как пророк Илья небесную колесницу. В полеты вместо штурмана брал он с собою Колю Суханова, авиамеханика.

— Как выйду на костры, сбросишь на огонь мешки с сухарями, — говорил Николаю.

— Дело привычное, — отзывался механик. — Сброшу, конечно...

На этот раз грузились они на аэродроме в Крестцах, четыре мешка сухарей взяли, по два на каждое крыло, привязали их к расчалкам так, чтоб Суханов мог, дернув за веревку, освободить груз мгновенно.

— Наши жизни, Николай, равны двум мешкам сухарей, — усмехнулся Чиханков. — И если ты прохлопаешь, а мешки упадут в болото, я тебя самого заставлю прыгать вниз. Сойдешь голодающим ребятам из Второй ударной заместо пайка. Вон ты какой упитанный...

Чиханков не знал, что от себя Николай еще один паек приготовил — холщовый мешочек с патронами для пистолета ТТ. "Сброшу его на костры, авось кто и подберет, пригодятся "жёлуди" кому-нибудь из командиров", — думал Суханов.

Когда подошли к кольцу окружения, немцы подняли такую стрельбу, что она заглушила звук двигателя. Перкаль, спецматерию такую, которой был обшит самолетик, прорвало пулями всюду, уже куски ее стали задираться от встречного ветра. На чем только летели — неизвестно. Но сбросили сухари, тут же Коля и мешочек кинул. Чиханков развернул машину и снова потянул фанерно-матерчатый "кукурузник" до дому, до хаты... Там, в Крестцах, другие мешки с сухарями их дожидались.

Так и летали. И всего за эти дни, пока пехота с танкистами вызволяли 2-ю ударную из окружения, перевезли к ней через линию фронта 1700 тонн различных грузов. Для целой армии не густо, но для продления агонии хватит.

...Сама 2-я ударная не прекращала боев на рубеже Ольховка — река Рогавка — Финев Луг. Сюда теперь отошли ее боевые части. Но 14 июня противник поднажал и вытеснил русских из Финева Луга и зашел в тыл 327-й дивизии генерал-майора Антюфеева.

Потеряв Финев Луг, командарм Власов понял, что не имеет смысла теперь удерживать прежнюю линию обороны, и приказал войскам сместиться на промежуточный рубеж. Он проходил по ручью Омутному, на берегах которого Иван Никонов нашел и съел лягушачью икру, и через Глухую Кересть. Надо было удержаться здесь, чтобы защитить тылы армии, где скопились техника и тяжелая артиллерия на машинной тяге. Ждали бензовозов с востока. Да и посадочная площадка в Новой Керести продолжала пусть и крохами, но кормить армию, малую толику раненых вывозить.

А враг продолжал наращивать натиск, учащал атаки, гнал к месту боев новые подкрепления. Теперь его группировка здесь имела полных четыре пехотных дивизии, не считая полусотни танков.

Казалось, откуда брать силы бойцам и командирам 2-й ударной, чтобы, изнывая в муках голода, истекая потом в июньскую жару в зимнем обмундировании, продолжать драться с превосходящими силами противника? Они отражали атаки, экономя патроны и гранаты, нередко переходя в штыковой бой. Только с 9 по 13 июня полки 92-й дивизии полковника Ларичева уничтожили тысячу двести гитлеровских солдат, да еще и восемнадцать танков впридачу, и четыре самолета... На других участках урон у противника был не меньшим. И немецкое командование решило изменить тактику. По фронту оно усилило удары артиллерии и авиации, а в стыки между флангами принялось засылать группы автоматчиков, усиленных легкими минометными установками.

Правда, и к этой тактике приспособились наши воины. Отлавливали лазутчиков, обороняли от них штабы, маневрировали в лесу, среди болот. Но с воздуха круглые сутки расстреливали бойцов "юнкерсы", спасения от них не было никакого, при бомбежках выводили из строя оставшиеся еще пушки и минометы. И тогда штаб 2-й ударной поставил дивизиям и бригадам задачу: к 22 июня отойти к новому рубежу обороны. Он проходил по реке Кересть.

... — Тебя в штаб вызывают, подруга, — сказала Марьяне военфельдшер Попова, аптечная начальница. — Сам товарищ Ососков кличет.

Кличет так кличет, надо идти. Пришла Марьяна к командиру медсанбата.

— Срочно собирайся, Караваева, — приказал ей Ососков, — и двигай в штаб.

— Кому это я в дивизии понадобилась? — не по-строевому спросила Марьяна.

— Бери выше, старшина, — усмехнулся комбат. — Тебя в штаб армии требуют, к самому товарищу Зуеву. Явишься к нему и доложишь лично дивизионному комиссару.

— А комиссар не заругается? — спросила Марьяна.

Ососков подозрительно оглядел молодую женщину.

— А с чего это он должен ругаться? К тебе у нас никаких претензий нет. Вон недавно корреспондент из "Отваги" тобой интересовался, интервью брал.

— Брал, — согласилась Марьяна. — Обо всем расспрашивал...

"С чего бы это меня так высоко вызывают?" — думала она, ничего толкового так и не сообразив.

Штаб армии находился теперь неподалеку от КП 46-й дивизии. Когда Караваева приблизилась к землянке штаба армии, оттуда вышел высокий генерал в роговых очках, с тремя звездами на петлицах. Она сразу догадалась, что это Власов, московский герой, о нем рассказы ходили, дескать, строгий, но к простому красноармейцу уважительный.

Марьяна вытянулась и замерла, руку, как положено, к пилотке, удалось ей недавно сменить шапку-ушанку.

Генерал прошел совсем близко, несколько удивленно покосился на сестру милосердия, она ему едва до груди доставала, на приветствие козырнул небрежно. Марьяна заметила рябинки на лице командарма, глаза сквозь сильные стекла очков казались странно глубокими, будто смотрел на нее генерал Власов из глубины черепа.

Марьяне стало жутковато. Но едва командарм миновал ее, она тут же себя обругала. "И чего ты перелякалась, подружка? — сказала она себе. — Разве забыла, как говаривала мама: никто над человеком силы не имеет, если он сам эту силу для себя не придумает..."

— Заходи, заходи, голубушка, и садись, — приветливо встретил Марьяну комиссар Зуев.

Он сидел за столом и писал политдонесение в политуправление фронта. "Сегодня авиация продовольствия не доставила. На 19 июня 1942 года ни

одного грамма продовольствия. Многие бойцы выбыли из строя от истощения... Срочно шлите продукты и боеприпасы!"

Марьяна присела, забыв даже, что надо доложить комиссару, видимо, оттого, что встретил ее Зуев по-домашнему. Увидела фотографию девушки в рамочке над столом, спросила:

— Дочка ваша, товарищ дивизионный комиссар?

Зуев удивленно глянул на сестру, улыбнулся:

— Молод я для таких дочек, Марьяна... Два сына у меня. А это — Таня. Разве не читала о ней очерк в "Правде"? Партизанка, героиня... Немцы ее замучили в Подмосковье.

— И у меня два сына, — просто сказала Марьяна.

— Я знаю, — кивнул Иван Васильевич, как-то деловито глянул на ее живот, и Марьяна покраснела.

"И про это ему известно! — подумала она. — Неспроста меня вызвали..."

— Хотим тебе боевое поручение дать, — заговорил Зуев. — По твоей медицинской части... Надо вывезти двух летчиков в тыл, старшего лейтенанта Родионова и старшего сержанта Суханова. Они нас с воздуха кормили, но были ранены на земле. Ночью придет самолет. Еще и бумаги важные повезешь. Начальство твое обо всем знает, Собирайся в дорогу. И береги себя...

Тут он снова странно посмотрел на нее, и молодая женщина поняла, что Смолина рассказала комбату, тот доложил выше...

— Товарищ комиссар! — умоляюще воскликнула она. — Я со всеми выйти хочу... Вместе с вами!

— Со мной ты в Малой Вишере встретишься, Марьяна, — ласково произнес Зуев. — А сейчас — лети. Мы тут и без тебя справимся. Готовься к полету. Ведь еще до площадки добраться надо.

Когда прощалась в медсанбате, подошел Ососков, протянул сложенный вчетверо листок.

— Тут характеристика на тебя, — сказал он. — Бери, пригодится. Может быть, и не свидимся. Береги себя, девка.

Он заколебался, посунулся вперед, будто обнять хотел боевую сестричку, не решился, козырнул ей и отошел.

...К взлетно-посадочной площадке раненых несли на руках. У летчика Родионова оказались отнятыми обе ноги. А Суханова подобрали партизаны с ранением головы.

На площадке полутемно, немцы рядом, жечь костры опасно. Рассчитывали на мастерство летчика: посадит на ощупь, спланирует на точку. Так оно и случилось. Около полуночи прилетел вездесущий "кукурузник", еще и сухарей привез.

Быстро раненых погрузили. Пора взлетать, а тут откуда ни возьмись появились немецкие автоматчики, открыли стрельбу.

Но тут ввязались в бой красноармейцы из охраны штаба, оттеснили автоматчиков, стрельба поутихла. А Марьяна так и не узнала, что этими бойцами командовал Олег Кружилин. Она думала о нем, надеялась, что сумеет проститься, сказать об ожидаемом ребенке, но, видимо, не судьба. Марьяна занялась ранеными летчиками — пора уже было подниматься в воздух.

Тут, запыхавшись, прибежал санитар Сабиров и протянул записку качсандива. Тот приказывал ей срочно вернуться в медсанбат,

"И верно, — подумала Марьяна, — что место мне, здоровой, в самолете занимать... Можно еще одного ранбольного поднять".

— Прощай, миленький, — сказала она пилоту. — Остаюсь я... Возьми кого-нибудь из раненых. До скорого свиданья.

— А кого же брать? — удивился летчик. — Других раненых не доставили...

— Чего вы медлите? — послышался голос комиссара Зуева. — Почему не летите?

— Начсандив распорядился вернуться в часть, — ответила Марьяна.

— Выполняйте мое приказание! — строгим тоном сказал Иван Васильевич. — Где пакет?

— Летчику отдала...

— Вам надлежит передать его лично товарищу Запорожцу. Быстро в самолет!

— Можно, я два слова напишу? — попросила Марьяна. — Одному человеку...

— Пиши, — улыбнулся Зуев.

На обороте записки начсандива она вывела четыре слова: "Нас уже трое. Люблю". Проставить имя уже не было времени, ну да ладно, Олег и так все поймет.

— Сабиров, голубчик, — попросила Марьяна санитара, — ты ведь помнишь того старшего лейтенанта? Если меня спрашивать будет, отдай ему эту записку.

...Летели от облака к облаку, прятались в них от ночных истребителей. Они, как псы, выслеживали их самолет, а тот все нырял и нырял в темную пелену, прижимался к земле, норовя пролететь эти сто восемьдесят километров незамеченным.

Летчик еще на земле объяснил Марьяне: "Как увидишь, что заходят "мессеры" справа, то за правое плечо меня тронь, а ежели слева, то соответственно... Сзади увидишь — по спине кулаком". Вот и вертела Марьяна головой, следила за стервятниками, давала знать про обстановку пилоту, а тот уж собственный маневр совершал, ускользал от неминуемой смерти.

Когда долетели, Караваева от усталости и слабости из кабины вылезти не могла. Вынули ее, поставили на землю. Удержалась на ногах, еще и на самолет посмотрела, как разодрали его пули, беднягу.

— На чем же вы летели? — спросил летчика начальник, прибывший их встречать.

— На патриотизме, — улыбнулся тот.

Санитарная машина привезла пассажиров в медчасть авиаполка. Раненых унесли на перевязку, а Марьяну повели в баню, первую за удивительные по своей жестокости полгода. Ведь то, как они под лапами елки мылись, баней не назовешь.

Пожилой солдат-банщик жалостливо посмотрел на лядащую девку, в гроб краше кладут, участливо предложил:

— Давай помогу раздеться. Силов ведь у тебя кот наплакал.

— Ничего, — застеснялась Марьяна. — Сама управлюсь.

Не спала она как следует вот уже восьмые сутки. Присела на лавку, блаженное тепло принялось обволакивать ее. "Отдохну немного, разденусь и начну мыться", — подумала Марьяна. Туман сгустился, и все для нее исчезло. Очнулась и понять не может, где она и что с нею. Сырые волосы разметались по подушке, белье чистое на ней, рубаха и кальсоны, простыни белые. "Померла, наверно, я на фронте, — подумала Марьяна, — и это в рай меня определили".

Подошел к ней военврач.

— Летчики твои спрашивают: где наша сестричка, — сказал он. — Отсыпается, говорю, потерпите. Они в соседней палате. А Вторая ударная ваша прорвалась, — продолжал врач. — Слух был: начали выходить из окружения.

"Слава богу, — подумала Марьяна. — Скоро увижу Олега".

— Одежду твою сожгли... Новое обмундирование получишь. В кармане гимнастерки бумага была, помимо красноармейской книжки. Я сохранил.

Это был листок, который вручил ей на прощанье комбат Ососков. Марьяна развернула его и медленно прочла:

БОЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

на хирургическую сестру 322-го отдельного медсанбата старшину медицинской службы КАРАВАЕВУ Марьяну...

Тов. Караваева участница Отечественной войны с июня 1941 года. В 322 омсб работала в должности хирургической послешоковой сестры. Как медицинская сестра подготовлена хорошо. К работе относится серьезно. Всегда проявляет заботу о раненых и больных красноармейцах и командирах, от которых получила много писем и благодарностей. Дисциплинирована, выдержана, принимает участие в партийно-массовой работе. Является агитатором. Политически грамотна, морально устойчива.

Партии Ленина — Сталина предана.

Подпись командира медсанбата и печать... Все, мол, правильно, так оно и есть на самом деле.

-46-

Доктор в медчасти летчиков был прав, когда сказал Марьяне, что 2-я ударная армия прорвалась. Но правота была, увы, относительной... 19 июня красноармейцы 24-й стрелковой бригады и 374-й стрелковой дивизии полковника Витошкина, усиленные танками 29-й бригады, после жестоких боев взломали оборону врага на восточном берегу реки Полнеть и вышли на соединение с частями армии Власова, наступавшей с запада.

На острие прорыва шли танки. Именно с ними и встретились бойцы 314-го полка 46-й стрелковой дивизии, в которой служила Марьяна. Но выход танков на западный берег Полисти еще не означал, что коммуникации 2-й ударной восстановлены. Ситуация сложилась такая: танкисты проломили оборонительные сооружения, которые немцы спешным порядком возвели внутри захваченного ими коридора. Затем вдоль узкоколейной дороги, построенной с таким трудом полтора месяца назад, ко 2-й ударной прорвалось одиннадцать танков Т-34 во главе с командиром роты лейтенантом Азаренком.

Танки буквально утюжили узкую полосу вдоль узкоколейки. Они давили дзоты и блиндажи, уничтожали пулеметные гнезда. Но коридор не расчистили, выходить окруженцам было негде. Едва танки прошли, гитлеровцы вновь полезли на дорогу, лихорадочно закреплялись, закрывая прорыв.

Бои принимали скоротечный и острый характер. Следом за ударными танками, например, шла сформированная по указанию командарма Коровникова танко-десантная рота лейтенанта Антонюка. На броне танков сидели десантом саперы. Если боевая машина получала повреждение, они занимали круговую

оборону, и держали до тех пор, пока их товарищи вводят танк в строй. Десант этот уберег танкистов от многих бед. Они, как и танки Азаренка, все же добрались до первых цепей 2-й ударной.

...Едва началась танковая атака — не повезло машине воентехника Сироты. Снаряд разорвал гусеницу, и тридцатьчетверка беспомощно замерла на месте.

— Надо выходить, ребята, — сказал Сирота.

Механик-водитель Буров выбрался первым, за ним — другие. Оставили в башне танка сержанта Углова, чтобы находился там у пулемета, был начеку, следил за обстановкой. И тут ситуация обострилась. Едва они принялись заменять поврежденные траки, появились немецкие автоматчики, пришлось бросить работу, взяться за оружие. Володя Углов здорово помог, вращал башню и посылал в разные стороны очереди. А пока он стрелял, Буров с друзьями гусеницу исправили. Потом повели машину догонять остальных. И пока шли на соединение, экипаж воентехника Сироты восемь дзотов разрушил, раздавил полдюжины противотанковых орудий да еще несколько десятков оккупантов отправил на тот свет.

Весь день девятнадцатого, ночь на двадцатое, еще день и следующую ночь по всей длине узкоколейки, на левой ее стороне, если смотреть с востока на запад от Мясного Бора, на участке до берегов реки Полнеть гремел жестокий, ни на час не стихавший Зой. Во второй половине дня 21 июня боевые машины 29-й танковой бригады развернулись и прошли этот страшный путь в обратную сторону. Снова броневыми телами они утюжили дзоты, которые немецкие саперы сумели восстановить за эти двое с небольшим суток. Трупов было невиданно много. Вперемежку с оккупантами, которых срезали очереди танковых пулеметов, лежали бойцы 2-й ударной и частей, пытавшихся пробиться к ней на выручку. Сплошной слой трупов вдоль узкоколейной дороги, единственной тверди, по которой могли пройти тридцатьчетверки.

Еще перед этим кровавым броском командир ремонтного взвода изготовил и дал механикам-водителям крючья из толстой проволоки. Бывалым человеком был воентехник Григорий Крапивин, предвидел, что может случиться в пути.

После часа движения по жуткому ковру из мертвых тел гусеницы стали буксовать в мешанине из того, что недавно было живою плотью. Тогда и приводились железные крючья для очистки траков.

...Бойцы 59-й армии выбились из сил. Ведь враг не прекращал попыток закрыть коридор, не жалел на то усилий. Командарм бросил на подмогу два

полка спешившихся кавалеристов и заново сформированную стрелковую бригаду.

— Поднажмите, ребятушки, — напутствовал их Иван Терентьевич, весь взъерошенный от присутствия на его КП Мерецкова и самого начальника Генерального штаба.

Поднатужились, поднажали — внутренние силы в русских людях удивительно беспредельны, отбросили врага, расширили проход вдоль узкоколейки. Узкий, правда, коридор, всего в полтыщи шагов шириной, а может быть, и того меньше, но все-таки какой ни на есть, а проход... Можно было выводить раненых и больных. Идти им приходилось всего несколько километров. Но это были такие километры, которые невозможно вообразить. Рука отказывается писать про ужасы Долины Смерти. И не потому, что трудно... Разве тем, кто входил в этот ад, было легче? Нет, попросту не найдется слов в русском, да и в любом языке, чтобы описать творившееся в простреливаемом с обеих сторон узком коридоре. И нет аналогов в практике смертоубийства тому, через что проходили бессмертные в своем величии и обреченности герои 2-й ударной.

Так, с крещения огнем в Коридоре Зла, начался трагический выход армии. Это был день 22 июня 1942 года.

-47-

Олег Кружилин роту так и не собрал. Начальник Особого отдела разделил его людей на две группы и самого ротного отправил помочь комдиву Антюфееву. Вторую часть подчинил политруку, поручив ему обойти юго-восточную окружность кольца. Никто из кружилинцев оттуда не вернулся. Они могли погибнуть, столкнувшись с немецкими отрядами, которые проникли в стыки между начавшими отступление частями, примкнули, может быть, к случившимся рядом подразделениям, кто знает... Во всяком случае, Кружилин, оставшийся с тремя десятками бойцов, остальных никогда больше не видел.

Александр Георгиевич не держал роту Олега, уменьшившуюся до размера взвода, подле себя, что было бы оправдано, ибо числилась она по штатам как рота охраны Особого отдела. Он посылал Олега и его людей на самые сложные операции от охоты за немецкими кухнями до захвата "языков". Последнее считалось уделом армейских разведчиков, но Шашкову хотелось знать, какие каверзы готовит по его линии противник, и потому позволял себе активно действовать и в епархии соседей — так издавна называли друг друга сотрудники спецслужб, относящиеся к разным ведомствам.

В середине июня, когда бои за прорыв из окружения у входа в Долину Смерти достигли апогея, Олег Кружилин вернулся из рейда в район Финева Луга, доставив в штаб двух "языков". Он узнал, что штаб армии сместился восточнее и расположился неподалеку от 46-й стрелковой дивизии. Полковник Черный встал у входа в горловину и вел бой с занявшими ее фашистами. "Значит, где-то рядом должен быть и медсанбат Марьяны, — с надеждой подумал старший лейтенант. — Исхитриться бы повидать ее..."

Конечно, можно было попросить у Шашкова хотя бы половину суток для свидания с женой, теперь Олег только так и называл в мыслях Марьяну. И Александр Георгиевич понял бы его, отпустил. Но Кружилин не мог себе этого позволить. Он считал, что судьба и без того наградила его великим счастьем. Кому еще мечталось найти такое в кромешном аду неслыханной бойни, увидеть вдруг лучик из иного мира. Да и нечестно будет, считал Олег, по отношению к товарищам по оружию, которые терпят немыслимые лишения. Олегу было невдомек, что и Шашков, и Зуев знали от командира медсанбата о том, что их лучшая медсестра ждет ребенка. И прикидывали, как ее отправить в тыл под благовидным предлогом: приказать ей прямо никто не решался. Дело было куда как интимным, а начальники Олега людьми были по тактичности своей для того жестокого времени уникальными.

Только ни Шашков, ни Зуев, ни Ососков, которому раскрыла тайну Марьяны военврач Смолина, понятия не имели, что отцом ребенка является Олег Кружилин. А сам он был в неведении относительно положения Марьяны.

Когда начальник Особого отдела вызвал его к себе, старший лейтенант готов был ко всему.

— Неприятные новости, доложу я тебе, парень, — неслужебно, усталым и бесцветным голосом обратился к нему главный армейский чекист. — Давай присаживайся, непростой у нас разговор...

— Немцы снова прорвались? — в тон ему по-домашнему спросил Кружилин.

— Они везде прорываются, — махнул рукой Шашков. — На все дыры затычек не наберешься... Тут другое. Имеем сведения о случаях помешательства на почве голода. Сам-то ты как?

— Терплю, — улыбнулся старший лейтенант. — На травку больше нажимаю... Похудел, конечно, шатает порой, но держусь. И бойцы у меня в порядке. Главное, духом выстоять, не поддаться голоду, отгонять прочь мысли о еде.

— Вишь ты, — одобрительно усмехнулся Александр Георгиевич, — целую теорию подвел. Не зря в университете обучался... — Он помрачнел. Сказал: —

Только не все терпят. Есть такие, кто... Как называется, когда человечье мясо потребляют? Слово забыл ученое... От голода ослабла память.

— Канибализм, — подсказал, встрепенувшись, Олег. — Неужели?..

— Вот именно. Представляешь, что будет, если слух подтвердится и об этом узнают в войсках? Да и противнику станет известно... И армии позор из-за двух-трех спятивших с ума, и нам с тобой секир-башка: недоглядели, допустили... Тебя-то, впрочем, не тронут: не велик чин, да и не оперативник...

— Что надо делать, товарищ комбриг? — порывисто поднялся Олег.

— Садись, чего вскочил? Дело тонкое. Когда установишь — пресечь. Любой ценой, Кружилин! Наделяю тебя чрезвычайными полномочиями. Понял? Главное — строжайшая секретность. Никто об этом не должен узнать. Потом мне сам лично доложишь...

Он развернул на столе карту.

— По имеющимся данным, вот в этом квадрате варят мясо... Вот ты и установи, какому зверю оно принадлежит.

...Вдвоем с сержантом Чекиньш они вошли в лесной островок, который оказался в стороне от тех дорог, по которым армия стягивала части к прорыву. Этот кусок пространства не бомбили "юнкерсы", не обстреливала артиллерия, ибо те и другие от воздушных разведчиков доподлинно знали: противника здесь нет.

Под огромной елью, прикрывшей их на высоте двух метров мохнатыми лапами, сидели у костра двое. Над пламенем висел котелок, приспособленный из немецкой каски. Ароматный запах вареного мяса ударил в ноздри, едва не повергнув Кружилина в обморок.

— Прикрывай, — сказал он, сглотнув слюну, Степану. — И гляди в оба, ежели что...

Чекин кивнул и поправил автомат на плече.

— Кто такие? — строго крикнул старший лейтенант, возникнув внезапно перед костром. — Встать!

Поднимались нехотя, с розвальцей.

— Фамилия? — спросил Кружилин.

— Сержант Белобородько, — ответил чернявый парень, невысокого роста, жилистый и, видимо, подвижный как ртуть. Он был худ, но истощенным не казался.

— Красноармеец Гусман, — ответил второй, рыжий верзила с огромными руками, они вылезали из рукавов шинели и казались неестественно, уродливо большими, несмотря на высокий его рост.

— Что делаете здесь?

Белобородько, если его только звали так на самом деле, пожал плечами.

— Мясо варим, — сказал он.

— Откуда взяли?

Сержант открыто усмехнулся, а Гусман вдруг подмигнул Олегу и неожиданно тонким голосом произнес:

— Оленя подобрали, командир... Их тут навалом, олешков. Ешь — не хочу!

— Как в заповеднике, — хмыкнул Белобородько. — Угощайтесь с нами!

— А где рога оленьи? — спросил Кружилин. Оба собеседника разом ухмыльнулись.

— Мы их в болото покидали, — ответил Гусман.

— Чтоб в атаку не спотыкаться, — с серьезной миной на лице сообщил сержант, Он переступил с ноги на ногу и сдвинулся чуть влево, будто хотел что-то загородить.

Олег глянул ему за спину и увидел свежие человечьи берцовые кости, обструганные от мяса. А Степан, вдыхавший запах, поднимавшийся от кипящего в тевтонской каске варева, вдруг зашатался и произвел горлом икающий звук. "Его сейчас вырвет!" — решил Олег.

Ударом ноги он опрокинул котелок, зашипел на углях наваристый бульон, белое облако пара взвилось над костром.

— Обижаешь, начальник! — крикнул Гусман.

Олег рванул из-за пазухи переложенный туда загодя пистолет и тут увидел, как в левой руке Белобородько возникла вдруг граната. Сержант потянулся к ней правой рукой, и в голове Кружилина промелькнула праздная мысль о том, что этот тип, видимо, левша, иначе действовал бы в обратном порядке.

"Вдруг выстрелить не успею", — грустно подумал он, изготовившись бить из пистолета навскидку.

Белобородько схватил уже пальцем кольцо, но выдернуть чеку не успел. Короткой очередью из автомата Чекин свалил и его, и Гусмана, который тоже сунул руку за отворот шинели...

Документов при них не оказалось.

Получив на заседании Политбюро личное указание Сталина вызволить армию Власова из окружения, Мерецков ехал в Малую Вишеру с жестким намерением любой ценой доказать Ставке, что он способен и на такое. Шутка ли: семь дивизий и шесть бригад, не считая многочисленных отдельных батальонов, дивизионов, артполков, медсанбатов и армейских госпиталей, забитых ранеными под завязку и выше, находятся в кольце.

Летевший с ним Василевский открытым текстом говорил о том, что их миссия носит еще и политический характер: мы, дескать, на пороге серьезных переговоров с союзниками. Верховный жмет на них по поводу открытия второго фронта, поэтому неуспех этой операции может отрицательно сказаться на результатах внешнеполитических действий. "Не хватало еще, чтоб меня обвинили в срыве этих переговоров", — с тоской думал Кирилл Афанасьевич, давно уже приготовившись к любому повороту незадачливой его судьбы.

В Малой Вишере Мерецков узнал, что 5 июня 59-й армией была предпринята серьезная попытка пробиться к Власову западнее Мясного Бора. Коровников с санкции Хозина, теперь уже убывшего отсюда на место Мерецкова в 33-ю армию, бросил на прорыв 165-ю стрелковую дивизию, только что прибывшую на фронт из города Кургана. Дивизия дралась вот уже пятые сутки, и, хотя полегла почти вся, рванувшись в заполненную немцами горловину без артиллерийской подготовки, решительных изменений в обстановке бессмысленная жертва не принесла.

В кольце оказались не только регулярные части, но и партизанские отряды Сотникова, Савельева и Носова. По приказу собственного командования в Ленинграде они двинулись ко 2-й ударной армии, когда та получила приказ на отход. А за ними потянулось и местное население — женщины с детьми и старики, обреченные вместе с остальными на голодную смерть. Вся эта масса советских людей, верящая во всемогущество Красной Армии, двинулась за ней, чтобы выйти на Большую землю, и теперь находилась с дивизиями и бригадами армии в огненном аду окружения.

Анализировать ошибки Хозина, которые он нагромоздил здесь, у Мерецкова с Василевским не было ни времени, ни желания. Надо было спасать армию Власова и его самого вместе со штабом. А обстановка была из ряда вон сложной. На западе отступавшие части едва сдерживали противника, а на востоке изо всех сил стремились выбить немцев из Долины Смерти. Армии Яковлева и Коровникова, растянувшись на большое расстояние, пытались не дать пришельцам расширить захваченные ими участки в коридоре.

Мерецков и Василевский наскоро сколотили ударную группировку из трех потрепанных уже стрелковых бригад, усилили ее танковым батальоном. На рассвете 10 июня, после короткого артобстрела, произвели атаку наличными силами. Но атака захлебнулась.

— Охолонь, Кирилл Афанасьевич, — остановил Василевский разъярившегося Мерецкова, который потихоньку впадал в панику, скрывая это состояние непривычным для знавших его подчиненных агрессивным поведением на командном пункте. — С наскока их не возьмешь, думать надо. И прикидывать, где и что можно наскрести по фронтовым сусекам. Ведь не просто народ здесь кладем, а с благородной целью: товарищей выручаем.

Слова начальника Генштаба были вполне справедливы. Ведь нередко бывало, что гнали на смерть не только с благородной целью, но из-за амбиции, из-за душившего армию, бюрократизма, по неграмотности командиров, в результате безответственности и прямого воровства интендантов, плохой обеспеченности оружием и боеприпасами. И вообще из-за отсутствия элементарного умения воевать.

В стране, где человеческая жизнь, отдельно взятая личность ничего не стоила, не была создана, увы, наука сбережения людей на войне, не выработаны принципы, по которым командиры Красной Армии обязаны были заботиться о сохранности живой силы, отдельно взятого красноармейца.

...У Березнева было собственное объяснение грянувших событий. Евгений Ефимыч служил у Коровникова замом по инженерным войскам с 3 мая, смотрел на происходящее вокруг свежими глазами, поскольку прибыл к Мясному Бору из 4-й армии.

Началась его деятельность на новом месте с организации вывоза по узкоколейке имущества кавкорпуса. Сами гусевцы выходили пешком, коней бедолаги съели, а в вагонах везли седла, лошадиную сбрую. Евгений Ефимыч сказал было в штабе, что надо бы вывозить по дороге немощных бойцов, люди, дескать, важнее седел. Но Коровников резонно заметил, что кавалеристов без седел не бывает и ему никто не позволит уменьшить боеспособность советской конницы.

Бойцы частей, охранявших коридор и узкоколейку, повадились уходить с позиций в тыл за обедом с котелками в руках. Кухням к огневому рубежу не проехать, термосов у службы тыла не было, и потому, как только кишка начинала требовать свое, красноармейцы, повинуясь чувству голода, покидали огневые точки, бренча котелками, направлялись к кухне, согласно поговорке:

овес за конем не ходит. Березнев и на это внимание начальника штаба армии обратил, но ему вежливо напомнили, что тыл вовсе не его заведование, пусть лучше командует саперами.

Противник эту процедуру изучил, и когда в очередной раз возвращались бойцы, отобедав, на войну, красноармейцев встретили огнем немцы, занявшие их позиции.

Когда это приключилось, штаб 59-й армии перенесли к Мясному Бору. Одну из землянок заняли Коровников и его комиссар. К ним и заявились Мерецков с Василевским, оттуда и принялся Мерецков руководить. Для начала вызвал к себе для доклада начальника инженерных войск.

К удивлению Берёзнева, командарм заявил:

— Вот он, мой зам по инженерной части, лично занимался укреплением переднего края армии и лучше всех знает обстановку.

"Раньше он вовсе не был обо мне такого лестного мнения", — подумал Евгений Ефимыч, пытаясь понять причину такой перемены.

Но все, что знал, рассказал, кроме походов за питанием, конечно, чего уж тут. Этой подробностью дела не поправишь, и неудобно перед начальником Генштаба сор из избы выносить.

После него, Березнева, сам Коровников доложил о дислокации немцев, ему начальник разведки подготовил справку.

— Западнее Ленинградского шоссе наступают на нас и Вторую ударную три пехотных дивизии, одна полицейская войск СС и отдельные части, — сказал Иван Терентьевич. — Раньше эти отдельные оборонялись на других участках фронта, теперь сведены в бригады. На соседа Яковлева со стороны Новгорода давят группы "Хоппе" и "Яшке". С запада атакует армию Власова группа "Герцог". А из Чудова над нами нависает усиленная в последнее время группа "Вендель"... И опять же "Яшке" висит...

— А хрен моржовый над вами не висит?! — не выдержал спокойного тона Коровникова, перечислявшего силы противника, Василевский. — О чем вы раньше думали? Разнуздай эдакие! Яшки-фуяшки... Позволили окружить целую армию! Что станут говорить союзники, когда узнают: сам начальник Генштаба учит вас, как выводить войска из окружения?

Александр Михайлович ругался редко, в среде обычных матерщинных полководцев считался вроде как интеллигентом, опять же воспитывался где: в семье духовной, в житейском и прямом смысле. Но тут Василевского прорвало,

допекли командиры-орелики из 59-й, а больше всех этот лопух Коровников начальника Генштаба остервенил.

— Слушай, инженер, — остыв немного, обратился Василевский к Березневу, — чем помогает фронт по вашей части?

— Ничем, — смело ответил тот, понимая, что упрек его вовсе не к Мерецкову, ведь тот только что приехал. — А мне нужны рельсы для узкоколейки, шпалы, ремонтировать дорогу для эвакуации нечем.

— Старую дорогу надо сломать и выстроить новую, — сказал Мерецков. — Узкоколейку, которую проложила Вторая ударная, немцы пристреляли до каждого метра.

— Дадите материалы, людей и технику, я построю дорогу зигзагами, — предложил Березнев. — Такую не пристреляют...

— Подумаем, — кивнул Василевский. — Кто еще скажет?

Начали говорить комдивы, докладывая, сколько у них боевых штыков и сабель. Цифры назывались такие малые, что смех, но смеяться не приходилось, да и плакать командирам не пристало. У кого сорок набралось бойцов, у кого — тридцать штыков. Мерецков приказывал кому что передать, с кем слить, сброситься силами в общий котел. Договорились, что к утру соберут до двух сотен, а комдив-25 расщедрился, до полутора сотен сабель нашел.

С этим наличием и решили пойти на штурм горловины.

— А ты, Березнев, — сказал командарм, — разведай ручей за полотном железной дороги, за нашим передним краем. Танкисты жалуются: им его не перескочить. Вот и обеспечь переправу.

На следующий день Березнев взял сапера-сержанта, пролез с ним под мостом на железной дороге и ушел за передний край. Их обстреляли снайперы, но попасть не сумели. Добрались до ручья. Воды в нем не было, а ложе его забили трупы красноармейцев. От июньской жары трупы разбухли, крепко уже пахли и заполняли ручей от берега до берега. Были тут от зимнего еще наступления, были и свежие, но те и другие в одинаковом обмундировании, в валенках и полушубках.

Березнев прикинул, палкой нащупал дно и решил, что танки одолеют этот рубеж, о чем и доложил Коровникову по прибытии на КП.

— Берега не топкие, ширина небольшая, для тридцатьчетверок это не препятствие, товарищ командующий, — резюмировал Березнев.

— Тогда пойдем на прорыв тремя колоннами, — уверенно заявил командарм. — Первая колонна — впереди саперы. Они валят лес, гатят дорогу для танков.

Вторая колонна — впереди тоже саперы... Третья колонна — и перед нею вырастает дорога. Была одна коммуникация — станет сразу три! По ним и выйдет Вторая ударная из вражеского кольца...

На словах было гладко, а на деле саперы не смогли даже одной дороги проложить. Валить лес на болоте и гатить его — и по мирному времени работа не одного дня, а когда ты едва топором тюкнешь, а по тебе огонь открывают, тут дело посложнее.

И все же Коровников упрямо держался за свою идею, то и дело повторяя, что он бронетанковую академию закончил и лучше других знает, как в болотах танками воевать.

В суматохе, которая неизбежно возникала, когда перед танковой колонной саперы, обстреливаемые противником, то валили лес, то брались за оружие, отбивая атаки, случилось ЧП вовсе не боевого характера: танк подмял и раздавил насмерть начштаба саперного батальона. Когда Березнев доложил об этом командарму в присутствии Мерецкова, тот идею Коровникова запретил.

— Танкистов из трех лучших экипажей ко мне! — распорядился комфронта.

А когда те к нему прибыли, заявил: "Будете представлены к званию Героя Советского Союза, если пробьетесь ко Второй ударной... А кто пробьеться первым, пусть тут же возьмет в танк генерала Власова и доставит его сюда".

-49-

Когда наступила тишина и остатки немцев, попавших под огонь собственной артиллерии, отошли, к Никонову явился посыльный, передал распоряжение прибыть на КП полка. Уже вечерело, когда Иван доложил Красуляку о том, что по вызову явился... И тут же получил от майора приказ: взять своих бойцов, и еще троих, и отправить на передний край.

— Снимешь бойцов и командиров, кто остался там в обороне, — сказал командир полка. — И все вместе сюда...

Шли к краю обходными путями, моховыми болотами, измаялись от жажды. На старое место прибыли только утром. Зашли в санчасть и нашли там Самарина. Поискали что-нибудь съестного, покормились, дали поесть и Самарину. Тот благодарно поморгал Ивану, прошептал:

— Вот бы такое чудо случилось, чтобы я жив остался...

— Сейчас народ с переднего края соберем, — ответил ему Никонов, — станем отходить, а тебя понесем на руках.

На переднем крае не набралось и двух десятков. Снял их Никонов с позиций, заглянул к Самарину: живой.

Спросил красноармейцев:

— Как, ребята, понесем Самарина? Знаете ведь, путь нелегкий, на себе придется...

Все дружно загалдели:

— Понесем, конечно... Не бросим!

Военфельдшер Ямпольский отозвал комроты в сторонку и говорит:

— Бесполезно его, Самарина, нести. У него ведь кишки прострелены. И третьи сутки пошли... Полное воспаление брюшной полости. Если и донесете, все равно не спасти.

Снова Иван к бойцам обратился, рассказал, как фельдшер Самарина приговорил. "Все одно понесем", — упрямо сказали красноармейцы. И Никонов понял, что это вовсе и не упрямство. Просто они сознают: бросить товарища — значить убить нечто в них самих, что поддерживает дух и помогает выстоять.

Самарин лежал в отдаленье и разговоров этих не слышал. Ему стало заметно хуже. "Наверно, зря мы его покормили", — сокрушался Никонов. В пути у раненого остыли руки и ноги, жизни в нем не чувствовалось. Но его несли все пятнадцать километров по болоту до самого штаба дивизии и там поместили в пустую избушку. А Иван пошел в штаб. Там был только один командир, по званию капитан.

— Немцы уже впереди нас, — сказал он. — Обстановка осложнилась, штаб сместился на выход из мешка. Велено передать, чтоб ты, Никонов, собрал весь народ и догонял остальных.

Народ Никонов собрал, объяснил положение, а Голынского с Григорьевым послал за Самариным. Они пришли и доложили, что отмучился Самарин, мертв бедолага.

Опять двигались обходными путями, памятуя, что впереди немцы. Страдали от жажды и голода. Когда вышли на гриву, увидел Никонов на дне снарядной воронки кашеобразную красную кровяную землю. Он зачерпнул жуткую смесь ладонью и увидел три больших кирпичного цвета червя.

"Счастье-то какое!" — подумал Иван и проглотил найденную пищу, и не жевал, само прокатилось по горлу. Сразу полегчало.

Встретили еще своих, оставленных дожидаться Никонова и дать ему с его арьергардом направление отхода.

Соединился Иван с родным полком в районе Радофинникова. Тут их впервые за четверо суток покормили и дали три часа поспать.

Теперь Никонов полностью превратился в командира группы прикрытия, так ему приказали Красуляк с комиссаром. Днем и ночью отбивался Иван от наседавших немцев, давая полку и 382-й дивизии отходить. Бывало, что справа и слева Никонова обойдут, а упрямый сибиряк сидит и ни с места, пока не явится связной, не передаст приказ сниматься и догонять полк.

Когда Финев Луг проходили, увидели огромные запасы валенок, зимовать здесь собирались, что ли, прямо скирды сложили из валенок, и все это добро оставляли гансам.

Наконец добрались до узкоколейки, там полку выделили участок левее от полотна, на краю мохового болота, ближе к проходу, который немцы уже закрыли. Человек восемь бойцов, включая Ивана, сели в кружок, ноги под себя. А тут снаряд грохнул рядом, воронку взрыл, мхом всех засыпал, у четверых даже ноги свисли в возникшую вдруг яму.

— Все целы? — спросил Иван.

— Меня в спину вроде, — неуверенно отозвался Петряков.

Заголили гимнастерку, а там опухоль — шишка с кулак. Осколок ударил, но кожу не пробил. Стал Петряков подниматься, а не может. Опять его осмотрели, увидели, что ниже колен на обеих ногах по осколку врезалось в кость, а крови нет.

Отправили Петрякова в санчасть, сами дивились, что легко отделались, ведь прямое попадание снаряда было.

Пришел приказ: больше не отступать, бить немцев. Только вот чем? Из оружия одни винтовки да ручной пулемет, а патронов мало. С гранатами совсем худо, их и под Спасской Полистью не хватало, а теперь-то и подавно.

Снова приказ — отойти на новый рубеж. Послали Никонова с новым помощником начальника штаба старшим лейтенантом Диконовым на рекогносцировку. Тут Ивана и согнула дикая боль в желудке.

— Это у тебя сжатие образовалось от голода, — объяснил ПНШ. — Глотни что-нибудь...

Стал Никонов есть болотный багульник, горстями срывал и запихивал в рот, тогда и отпустило.

Разведали они место, и боевые позиции майор Красуляк перенес еще правее, к узкоколейке. Затем решил оборону немцев прощупать, послал туда Ивана с бойцом, фамилия которого была Сафонов.

— Может быть, и кабель связи где найдете, — напутствовал их майор. — Совсем без связи худо. Вечером Никонов обнаружил стык между вражеской пехотой и минометной батареей и, обойдя огневые точки, оказался с Сафоновым у противника в тылу. Подивились, как немцы позиции оборудуют для минометов. Неглубокую яму выроют, пока вода не выступает, потом над ней сооружение из бревен с крышей изладят и с боков землею засыплют. Отверстие для стрельбы есть и вход для расчета. Ничем их, кроме как авиабомбами, артиллерией или теми же минометами, не возьмешь.

Нащупали они с Сафоновым телефонный провод — здесь проходила линия связи от минометных расчетов в тыл, дошли до землянки, а там гансы разговаривают. Отошли в кусты метров на двадцать, залегли. "Как же кабель у них добыть?" — подумал Никонов. Потом говорит Сафонову:

— Бери ихний провод и отнеси в сторону как можно дальше. Я здесь конец отрежу и начну мотать, отходя в лес, а ты по кабелю подтянешься ко мне.

Так и сделали. Никонов уже полкатушки чужого кабеля отмотал, когда заметил, что из землянки выскочил немец, пощупал там, где линия проходила, а телефонного провода тю-тю. Побежал ганс с криком в землянку. Но Никонов с Сафоновым, взяв круто вправо, стали убираться восвояси.

Никонов шел впереди. Он и увидел первым круглый предмет. Решил, что это диск от ручного пулемета, уже и руку протянул, чтобы поднять. А Сафонов сзади его схватил: "Мина это, командир!" Верно, плоская лепеха с четырьмя проводками, они шли в разные стороны.

Когда добрались, Красуляк новое поручение Ивану дал:

— Пополнение прибыло из тыловых частей. Человек сорок будет, из последних резервов. Принимай их и веди на передний край.

Подошел Никонов к группе усиления и ахнул. Там одни лейтенанты, есть и старшие, даже один капитан оказался.

Кинулся к Красуляку:

— Товарищ майор! Я ведь только лейтенант, а там одни командиры, есть и постарше меня.

— Зато, Никонов, ты академик по работе на переднем крае, — ответил и длинно матюкнулся Красуляк. — Бери этих тыловиков, у них мозоли на задницах от сидения в штабе, и веди на позиции. Только сначала перепиши их, Никонов, на бумажку. Социализм — это учет. Помнишь?

Иван про учет помнил и записал каждого — кто такой и откуда прибыл, немного удивляясь тому, что никто будто и не замечал двух скромных кубарей у него на петлицах, всерьез видели в нем законного своего командира.

Закончил перепись Иван, собрался вести народ на войну, а Красуляк ему:

— Погоди... Передают, что противник заактивничал на переднем крае. Сейчас огонька попрошу, пусть бог войны поможет. — И закричал в трубку: — Довбер! Немцы зашевелились, а я туда еще пополнение не отправил. Шарахни по переднему краю...

Довбер и шарахнул. Первый снаряд упал рядом с группой переписанных Иваном командиров, взорвался. Никонов крикнул:

— За мной! Все в воронку!

Прыгнуло с ним вместе трое, остальные кто куда, брызнули врассыпную. Второй снаряд разорвался, третий. Необстрелянные тыловики мечутся от разрыва к разрыву, осколки их косят почем зря. Крики, стоны...

Майор Красуляк в трубку орет:

— Что делаешь, Довбер, в Бога и Христа, в преисподнюю, в селезенку! Ты же нас разбомбил, растуды твою мать! Хвоесос дремучий!

Стрельба прекратилась. Стали прикидывать ее результаты, и обнаружили в пополнении лишь семерых непострадавших.

"Что за наваждение? — удивился про себя Никонов. — Второй раз при мне Красуляк просит у Довбера помочь огоньком, а тот бьет по своим... Что же это за боги войны у нас такие?"

— Забирай, Никонов, оставшихся мудриков и двигай в наступление с ними! — приказал Красуляк. — Да пусть по науке наступают! Три шага бегом и падай к кочке...

Иван скомандовал разнокалиберному войску "Вперед!", и пошло оно в наступление. Три шага бегом, потом падали к кочке, снова три шага... На какой-то тройке шагов Сафонов смешался, не успел быстро залечь в валежник, и его срезало очередью.

Продвинулись на несколько десятков метров, вышли к кромке болота, и здесь нос к носу с Гансами столкнулись. Никонов этому порадовался, потому как знал: впредь немцы не станут давить их с воздуха или артстрельбой, своих опасаются накрыть.

Но все равно было несладко. Фашист сидел в окопах, из которых пулей его не выбьешь, а никоновские вояки лежали на земле открыто, и ни одной лопаты, чтоб хоть как-то окопаться. Время от времени приходило пополнение из

тыловиков, штаб армии надрывался, выскребал откуда мог живую силу. Но сила эта зачастую была даже без винтовок, надеялись, что подберут их на переднем крае, убитые выручат.

Ранило Шишкина, Иванова земляка. Пуля ударила его пониже горловой ямки и вышла сзади, пробив, наверное, верхушку легкого. Но крови не было.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил Никонов.

— Вроде ничего, — ответил Шишкин.

— Давай в санчасть, — предложил командир роты. — Авось помогут чем... Хоть накормят. Ведь здесь даже траву объели, листочка крупнее копейки не найдешь.

— А приказ? — спросил Шишкин. — В дезертиры неохота попадать.

К тому времени уже поступила такая команда, чтобы раненым, значит, с переднего края не уходить, позиций не оставлять, воевать, пока хоть какие силы имеются в наличии.

— Чего там, — махнул Никонов, — иди с моего разрешения. Куда ты здесь годишься с двумя дырками в теле!

— Тогда отойдем, — предложил Шишкин, — и водички попьем заместо чая на прощанье.

Так и сделали. Зачерпнули зеленой кружкой, в уральском городе Лысьве изготовленной, бурой болотной водицы и по очереди попили, вроде бы на мгновенье ощутили себя в родных местах.

С тем и отправил Иван красноармейца Шишкина в санчасть, а сам остался воевать на переднем крае.

Теперь командир полка с ним иначе разговаривал. Раньше он приказывал: Никонов, сделай то-то и то-то. А сейчас просил: посмотри, дескать, Никонов, что там можно сделать, если пищи у бойцов ровным счетом никакой, люди умирают от голода на ходу, когда идут, поднимаемые Иваном, в атаку. И сам Никонов стал сдавать. Сильные боли появились в животе. Немудрено, пятнадцать суток не оправлялся, немыслимое дело... Правда, и пищи не было почти никакой, все равно ведь что-то жевал, кору там березовую, листья, а наружу ничего не выходило. И Никонов отпросился у командира полка к медикам.

-50-

Миновал год с начала войны, и каждый советский человек задавался вопросом: а когда же будет ей, проклятой, конец? Какой временной единицей отмерять

оставшееся до победы расстояние? Неделями или месяцами? А может быть, понадобятся годы? О последнем сроке старались не думать, тем более что Верховный Главнокомандующий в первомайском приказе заверил народ и Красную Армию: К новому, 1943-му, году будем в Берлине.

И хотя обстановка становилась все более напряженной — но кто про нее знал, обстановку! — Сталин позволил себе подобный аванс, заверив соотечественников в том, что "исчезли благодушие и беспечность в отношении врага, которые имели место среди бойцов в первые месяцы Отечественной войны". Таким образом, вождь чохом зачислил всех красноармейцев, беззаветно дравшихся с врагом летом и осенью сорок первого, продолжавших воевать в бесчисленных окружениях, возникавших из-за его, Сталина, просчетов, в категорию тех, кто позволил противнику подойти на ближние подступы к столице.

А к 22 июня положение ухудшилось еще больше, и верный принципу сваливать с больной головы на здоровую, Сталин поручил доклад об итогах первого года войны сделать Михаилу Ивановичу Калинину, всесоюзному старосте, так предложено было через прессу называть его в народе, или старому козлу, как без обиняков величал его Иосиф Виссарионович в кругу соратников.

Калинина вождь не любил, но терпел, поскольку убедился в его полной безвредности для собственного режима. Но Сталин никогда не забывал некоторых высказываний Михаила Ивановича, а его слова, произнесенные в 1925 году, аккуратно переписал для особой папки, в которой хранились материалы на советского президента, не обладавшего абсолютно никакой властью.

"Административное распоряжение основывается в значительной степени на личных качествах администратора, — не в бровь, а в глаз утверждал Калинин. — Сущность зла в праве администратора, не в злоупотреблении этой властью, а в том, что такая власть, по вполне понятным причинам, приобретает черты самого администратора... Потому-то административная власть и дается в значительных размерах лишь при обстоятельствах чрезвычайных..."

При внимательном рассмотрении этого тезиса заигрывание с демократией можно было бы автору и простить, потому как товарищ Сталин взял власть в надежные руки как раз в чрезвычайных обстоятельствах обострения классовой борьбы. А вот намек на совпадение черт власти с чертами личности вождя следовало помнить всегда. Память у товарища Сталина на такие вещи была хорошая. Конечно, постепенно он сломал Калинина, как сделал это со всеми,

кому позволил остаться в живых, хотя и на ближайших соратников в сейфах НКВД было предостаточно компромата. Любой процесс над "врагами народа" готовился так, чтоб при необходимости он мог дать боковые побеги, могущие захлестнуть надежной удавкой любого члена Политбюро, не говоря уже о членах ЦК или тех, кто стоял на следующих ступенях иерархической лестницы.

В том, что с отчетом "Год войны" вождь поручил выступить Калинину, содержалось и еще одно соображение Сталина, связанное с его довольно своеобразным представлением о юморе. Верховный хорошо помнил, как, выступая 5 июня 1941 года в Военно-политической академии, Михаил Иванович в строгом соответствии с его, Сталина, концепцией сказал: "На нас собираются напасть немцы... Мы ждем этого! И чем скорее они нападут, тем лучше, поскольку раз и навсегда свернем им шею".

Вождь понимал, что комиссарский корпус РККА помнит эти слова, вот пусть и сопоставит их с нынешним отчетом всесоюзного старосты. Удовлетворенный этим тонким, по его мнению, психологическим ходом, Сталин с определенным оптимизмом расценивал положение на фронте.

Да, наступательные операции, намеченные на весну, оказались незавершенными, и Красная Армия в общем и целом перешла к обороне. Вермахт сейчас находится накануне летнего наступления, которое может носить и широкий характер, от Балтики до Черного моря, а может и ограничиться боевыми действиями местного значения.

Вторая точка зрения довольно быстро возобладала. Сталинское окружение с давно уже выработанной чуткостью верно определило, что именно этого хочется вождю. И потому 21 июня "Красная звезда" с завидной лихостью утверждала: "О наступлении германской армии, подобном тому, какое было в летние месяцы прошлого года, не может быть и речи. Перед немцами теперь... стоит вопрос не о завоевании СССР, а о том, чтобы как-нибудь продержаться... Наступательные действия неприятеля не могут выйти за рамки ограниченных целей". И в статье Калинина — ее перепечатали все газеты, и даже "Отвага" окруженной 2-й ударной армии, приняв текст по радио, — и в пространном сообщении Совинформбюро утверждалось, что Красная Армия настолько вымотала германский вермахт, что победа возможна еще в 1942 году. Приводились и цифры, из них следовало, что Германия потеряла убитыми, ранеными и пленными десять! — миллионов человек, в то время как Страна Советов только четыре с половиной миллиона. По технике, мол, примерно такое же соотношение... На самом деле общие потери немцев на восточном

фронте к 25 июня 1942 года составляли 1 миллион 299 тысяч 784 человек. До десяти миллионов было еще далеко.

Через месяц Сталин собственноручно напишет знаменитый приказ № 227, в котором в первый и последний раз будет предельно искренним в оценке обстановки, но и в этом приказе реальных потерь Красной Армии не назовет.

...В ночь на 23 июня вождь, спал плохо. Опять снился сон, кошмар которого мучил Сталина с прошлогодних июньских дней. Ему представлялось, что входят вооруженные люди, поднимают его с постели и зачитывают решение некоего высшего совета, приговорившего "вождя всех времен и народов" к расстрелу.

"За что?" — спрашивал в смятении Сталин, зорко всматриваясь в лица пришельцев — надо ведь запомнить каждого, чтобы принять впоследствии меры.

"За потерю управления государством", — бесстрастно отвечали ему незнакомцы, и вот именно то, что их Сталин прежде не знал и потому не мог ни с кем из близких соратников идентифицировать, выводило его из душевного равновесия.

Но как-то опосредованно о вине вождь все-таки думал. И потому разрешил Мехлису расстреливать генералов за потерю управления войсками, работал на историю. Пусть ответственность за первые неудачи падет на головы Павлова, Качанова, Климовских...

К исходу первого года войны Сталин в оценке виновников стал забирать круче, открыв для себя возможность обвинить в неуспехе всю Красную Армию. Он понимал, что по мере развития летнего наступления германской армии у советских людей будет расти чувство смертельной опасности, которая нависла над Отечеством. Но теперь неожиданностью нападения не оправдаешься, как в речи 3 июля 1941 года, вероломстврм Гитлера собственные ошибки не прикрыть. "Братья и сестры" могут не поверить вождю и утратят привычный энтузиазм, который Сталин нещадно эксплуатировал еще с двадцатых годов.

Революционному нетерпению, на котором Сталин поднялся к вершине личной власти, мог прийти конец. Более того, оно может поменять знак, и тогда вовсе не во сне, а наяву войдут к нему вооруженные люди и прочитают приговор народа.

Этот проклятый сон, который вновь привиделся вождю, привел его в состояние глухой злобы и остервенения к окружающим. Утренний чай показался Сталину недостаточно горячим, и вождь раздраженно смахнул стакан рукою со стола, грубо обложил Поскребышева площадной бранью, с явным удовольствием

четко выговаривая русские матершинные слова. Досталось и Лаврентию Павловичу, когда он прибыл с привычным докладом по части козней, которые затеваются или могут быть затеяны против товарища Сталина. Смиренность, с которой выслушал ругань Берия, успокоила вождя, и тот спросил:

— Ты можешь увидеть чужие сны, Лаврентий?

— Могу заставить рассказать любые сны!

Сталин поморщился, отстраняюще повел рукою.

— Не то, — сказал он. — Надо, чтоб человек видел, что снится другому... Увидел и запомнил. Понимаешь?

Берия растерянно заморгал.

— Надо поручить, — неуверенно сказал он. — Ученых у нас в учреждении много. Заставим поработать в этом плане, товарищ Сталин.

— Мне имена, имена нужны! — воскликнул Верховный.

Он понимал, что требует невозможного, но знал и другое: не знать ему покоя до тех пор, пока не установит тех, кто входит по ночам в спальню и приговаривает его к смерти именем народа.

Товарищ Сталин, готовый отдать жизнь за идею и убедивший в этой готовности самого себя, не боялся этих неизвестных. Но Иосифа Джугашвили при одной мысли о такой возможности охватывал смертельный ужас. В свое время они начали вместе с товарищем Сталиным крупную игру и сорвали банк. Уверовав в собственную хитроумность, вождь затеял подобное с Гитлером, которого [509] хотя и надеялся использовать против Европы, но считал соотносительно с собой человеком недалеким, такого облапошить и сам бог велел.

После падения Франции здравомыслящие политики стали принимать Гитлера всерьез, и только Сталин, который организованными им самим распрями между германскими коммунистами и социал-демократами помог фюреру прийти к власти, надеялся и впредь использовать Гитлера, как "броненосец, вспарывающий брюхо буржуазной Европе". Что ж, этот шулер сомнительного происхождения обманул товарища Сталина, а такое никому не обходится безнаказанно...

К ужину настроение вождя улучшилось, он пригласил разделить с ним трапезу Маленкова и Молотова, Кагановича и Щербакова. Из военных были Жуков с Василевским. Звал Сталин и Калинина, хотел поздравить с удачной и толковой статьей, но Михаил Иванович сказался больным, и Верховный не настаивал.

Когда уселись за стол, Сталин налил в рюмку охлажденную водку, коротко бросил "За победу", быстро, не дожидаясь остальных, выпил и, теперь уже не

торопясь, запил глотком киндзмараули из высокого хрустального бокала, стоявшего у левой руки. Медленно обвел тяжелым взглядом сидевших за столом товарищей по партии, единомышленников, соучастников.

— Все мы в одной упряжке, — громко сказал Сталин, и слова эти, несколько оторванные от текущего событийного ряда, показались его соратникам странными.

Ведь не знали они, какой сон привиделся вождю сегодняшней ночью.

-51-

"Последние три дня продовольствия совершенно не было... Люди до крайности истощены... Боеприпасов нет, — сообщал 22 июня Зуев в политдонесении Военному совету Волховского фронта. — Обстановка на севере и западе угрожающая. Войска с трудом сдерживают непрерывно нарастающие атаки противника за счет оставления территории. Восточная группировка малочисленна и небоеспособна для прорыва... Военный совет 2-й ударной армии просит принять немедленные меры по прорыву с востока до реки Полисть и срочной подаче продовольствия".

— Что будем делать, Кирилл Афанасьевич? — спросил у Мерецкова Запорожец.

— Там ведь доходяги одни, а не бойцы. Самим не выйти...

— Значит, бросить на произвол судьбы? — отозвался комфронта. — Верховный нам голову за Власова оторвет... Надо хотя бы его со штабом вызволить. Но как? Самолетам уже негде садиться.

— Так точно, — ответил тог, привстав. — Коридор у Мясного Бора пробит. Вторая ударная выходит из окружения...

— Проход пока работает, — сообщил начальник штаба фронта Стельмах. — Узкий проход, всего триста-четыреста метров... Выбираются по нему только раненые.

— А штаб армии? — спросил Мерецков.

Стельмах пожал плечами:

— Нет связи... Полагаю, что командование решило в первую очередь эвакуировать небоеспособную часть живой силы, а само организует оборону горловины.

— Боюсь, что они все там небоеспособны, — проворчал Мерецков. — И оборону эту держать некому...

Генерал армии резонно опасался того, что после возникновения прохода, по которому уже спасаются раненые бойцы и командиры, за ними потянутся

другие подразделения, одержимые стремлением выйти из окружения. Необходимо остановить неуправляемый исход, организовать контратаки против немцев, пытающихся вновь овладеть ненадежной коммуникацией.

К вечеру 22 июня военврач Горшенин, начальник штаба объединенного эвакопункта в Мясном Бору, доложил, что он принял свыше двух тысяч раненых. Это были те, кто не только мог двигаться, но и рискнул войти в сплошной огонь, бушующий в Долине Смерти.

— А сколько осталось таких, что не в состоянии передвигаться? — спросил Мерецков у Вишневского, главного хирурга фронта.

— Трудно сказать, — пожал тот плечами. — Знаю только, что очень много. Ведь в последнее время раненых оттуда почти не вывозили...

От вышедших с ранеными медиков Вишневский знал, что санитарные машины с лежачими ранеными стоят колонной на лежневке, не имея в баках ни капли бензина. Ждут заправщиков из Мясного Бора. Дождутся ли?

— Сестрица тут отличилась, — заметил Вишневский. — Калинько фамилия. Одна вывела около сотни раненых бойцов...

— Представьте ее к награде, доктор, — распорядился Мерецков.

Он все еще надеялся, что немцы не смогут вновь закрыть образовавшуюся брешь, пусть подержится коридор хотя бы с неделю. Тогда генерал Власов выведет армию, даже если она будет непрестанно подвергаться интенсивному обстрелу противника.

"Связь! Как она нужна мне сейчас!" — мысленно восклицал Кирилл Афанасьевич. После отъезда Василевского в Москву он чувствовал себя увереннее. Избавился от надзирающего ока представителя Ставки, хотя Александр Михайлович и вел себя здесь достаточно корректно. Мерецков чувствовал, что Василевский расположен к нему еще и по особому сочувствию, проистекавшему к тем, кто попал, но вышел оттуда. На тему эту генералы не заговаривали, но в глазах Василевского командующий фронтом прочитывал нечто.

Об одном его Александр Михайлович предупредил по дружбе:

— Кляуза на тебя, Кирилл Афанасьевич, имеется... Телега. Я притормозил ее, взял на себя разрешение вопроса. Поэтому не сердись, скажу прямо: семейственность ты развел. И сын при тебе воюет, и жена рядом...

Мерецков покраснел, шумно задышал, сдерживаясь, ответил тихим голосом:

— А что тут дурного? Володька на переднем крае дерется, а Евдокия Петровна госпитали опекает. Все при деле, даром хлеб не едят.

Василевский молчал. Мерецков выждал паузу и спросил:

— А хозяин знает?

— Пока нет. Я ведь письмо на себя замкнул. Вот и провожу с тобой душещипательную беседу. Ну ладно... Жена и сын при деле. А вот некий Белов, родич, каким боком в штабе фронта обретается? Кто он тебе?

— Брат Евдокии Петровны, — смутился Кирилл Афанасьевич. — Инженер, в майорском звании.

— Вот и определи его в саперный батальон, чтоб разговоров не было. Люди всякое о нем болтают. Зачем тебе это, Кирилл Афанасьевич?

— Верно говоришь... Ни к чему мне такие разговоры, — согласился Мерецков.

Сейчас он подумал о том, что шурина надо отправить куда подальше. Но генерал армии знал: этот тип напоет сестренке и придется объясняться с женой. А ему вовсе не до этого, воевать надо, 2-ю ударную выручать. Нет, все-таки есть и неудобства в том, что жена с тобою находится на фронте. А куда ее денешь? Привык к тому, что рядом, вроде и представить иное трудно.

О том, что никто, пожалуй, кроме него, из командующих фронтами не держит благоверных при штабе, Кирилл Афанасьевич не думал. Прежде возникало, правда, подобное соображение и у него, но Мерецков отгонял его прочь, оправдываясь тем, что сей случай более нравственный, нежели любовь с армейскими подругами. Вот в последнем грехе его никто упрекнуть не сможет.

...Командующий фронтом не напрасно беспокоился за судьбу пробитого танками 29-й бригады коридора. Вслед за ранеными в проход втянулись части восточной группировки 2-й ударной, находившейся за рекой Полисть. Стали сниматься с позиций и подразделения 59-й армии, оказавшиеся в кольце окружения. Отпор атакующим немцам ослабел. Тогда, оценив положение должным образом, немецкое командование организовало новый мощный удар авиации, артиллерии и минометов. Противник снял редкие заслоны стрелковых частей по обе стороны коридора и захватил укрепления на восточном берегу Полисти.

Выход войск 2-й ударной прекратился. Теперь нельзя было ремонтировать дорогу от Мясного Бора к Полисти, чтобы подбросить по ней бензин для автомашин, ожидающих его на той стороне, за Долиной Смерти.

Положение усугублялось тем, что западная группировка армии отошла на линию реки Кересть. Пространство, на котором сосредоточились дивизии и бригады армии, сократилось до того, что свободно простреливалось вражеской артиллерией на всю глубину. Последняя посадочная площадка в Новой

Керести, куда доставлялись еще продукты и боеприпасы, перешла в руки немцев. Военный совет армии пришел к выводу: оборонять рубежи на Керести нет смысла. Боевые части, прикрывавшие отход, принялись смещаться к реке Глущице, чтобы оттуда массированно пробиться к Мясному Бору. Войска отходили на редкость спокойно, удерживая врага на расстоянии, без суеты и паники. Но к тем местам, куда они двигались, через стыки между боевыми порядками пробирались группы вражеских автоматчиков...

Днем 24 июня на короткое время удалось установить радиосвязь со штабом фронта, договориться о сроках совместных действий с армией Коровникова. Атаку наметили на 22 часа 30 минут...

Поскольку снарядов у 2-й ударной не было, об артподготовке речи не велось вообще. Наступать решили тремя колоннами. Вдоль настила должны были пробивать 22-я и 59-я стрелковые бригады. По жердевой дороге намечался путь 57-й и 25-й бригадам, 46-я и 382-я дивизии вместе с 53-й бригадой направлялись вдоль узкоколейки. А уж за ними полагалось идти частям арьергарда,

Вот он, план последнего штурма ворот из мешка, в который вошла 2-я ударная, чтобы ценой собственной гибели снасти Ленинград. Оставалось совсем немного, еще чуть-чуть, надо только напрячься, ударить как следует по противнику — и выйти из окружения. "Атаку довести до конца любыми средствами!" — такой приказ получили командиры частей. Ведь от их успеха зависела судьба армии.

Когда стало ясно, что бензовозы с востока не пройдут, технику армии, артиллерию, гвардейские минометы уничтожили, а те, кто обслуживал их, стали пехотинцами.

— Разбили на три группы и штаб армии. Во главе каждой был назначен старший. Намечалось выводить штабистов не раньше, чем пойдут в прорыв штабы вторых эшелонов колонн прорыва. Военному совету армии с ротой охраны надлежало следовать самостоятельно, но одновременно с арьергардом.

Теперь очевидно, что если бы командование армии ввело иной порядок выхода из мешка, то самому штабу вырваться бы удалось. Только никому из членов Военного совета и в голову не пришла мысль поставить себя во главу колонн прорыва. Нет, сначала раненые, потом части первого удара, за ними арьергард. Вот с последним выйдем и мы, отцы-командиры.

Кто сейчас возьмется утверждать, что была все-таки альтернатива для вожаков 2-й ударной? Судьбу они выбрали сами.

Спас Никонова адъютант командира полка Загайнов. Увидел Ивана, лежавшего без сил на земле, и спросил:

— Что это с тобой?

— Все, — ответил Никонов. — Отвоевался.

— Жди меня на месте, не уползай никуда, — предупредил Загайнов.

Вернулся он часа через полтора, принес Ивану кусок подсушенной кожи с шерстью и обглоданную кость. Шерсть Никонов спалил на огне и принялся жевать кожу, чувствуя, как прибывают силы. Казалось ему, что ничего более вкусного в жизни не едал. Потом стал кость на костре обжигать, а потом тоже съел и ее без остатка.

С этой вот пищи Никонов был на ногах. Майор Красуляк его увидел и говорит:

— Мы собираемся на выход, а ты, Никонов, остаешься нас прикрывать. Берешь с собой основной состав и тех, которые так и так останутся на переднем крае...

Командир полка имел в виду бойцов, которые от слабости подняться не могли. На выход не годятся, а стрелять лежа еще могут. Вот и задержат немцев, помогут товарищам собственной смертью.

— А как будете отходить сами, — напутствовал майор Красуляк, — не забудьте имущество сжечь.

Никонов взял выделенных бойцов и ушел на передний край. Там он велел тем, кто может ходить, оставить позиции и идти на выход, а полумертвых слабаков оставил в подчинении.

У ручного пулемета Иван обнаружил двух лежачих. Прикинул: эти вроде могут еще двигаться. Один из бойцов был рыжий и длинный, а второй так себе, обыкновенный.

К пулемету два диска оказалось у них.

— Заряжены диски? — спросил Никонов. Рыжий молча кивнул.

— Закладывайте диск в пулемет!

— Не можем, — прошептал обыкновенный.

— Можете! — прикрикнул на них Иван и взвел затвор автомата. — Живо!

Стали двигаться, заложили диск в пулемет.

— Теперь заряжайте патронами второй диск!

Малость оживились ребята, справили и эту работу.

Тех, кого он с собой привел, Никонов расположил справа и слева от пулемета, решил, что тут у него и будет главная огневая точка. Диск к своему автомату он еще на КП полка снарядил.

Тут немцы загалдели и поднялись в атаку. Никонов скомандовал открыть огонь из всего оружия, и те залегли, затихли. Вскоре опять засуетились, и снова Никонов с товарищами положил их на землю.

Потом еще раз гансы поднимались в атаку. Рыжий боец стрелял аккуратно, прицельно бил, но вдруг отвалился от пулемета, замер. Никонов ощупал его: совсем целый парень, только зрачков в открытых глазах нету, мертвый, значит. "Умер от голода, — смекнул Иван, — от полного истощения сил".

Тут и гитлеровцы угомонились, наступила тишина.

Добрались до КП и там сожгли все, что могло гореть, кроме оружия. Здесь помначштаба Казаков их дожидался. Никонов его спросил:

— Кто проводником у нас будет?

— Меня оставили...

— Ну так веди!

— Не знаю, куда вести... Ты, Никонов, лучше дорогу знаешь, будь за проводника.

Делать нечего, пошел Иван впереди, вдоль ручья, что вел к узкоколейке. Группа растянулась, идет кое-как, силы-то на исходе.

Вдруг впереди раздалась стрельба.

— Ложись! — заорал Иван. — Ложись!

Сам подумал: "Может, ошибка какая, свои обстреляли?.. Да нет, вот они, немцы, в воронке, ведут огонь по нам". Иван, не будь дураком, тоже прыгнул в воронку, за ним его бойцы. Потом перебрались в другую и ушли от опасного места.

...Пребывавший в вечном прикрытии родного полка Иван Никонов, разумеется, не знал о боевых действиях всей 382-й дивизии. Он оценивал обстановку с собственной невысокой колокольни, не ведал, что в последние перед развязкой дни дивизия вышла на рубеж за рекой Глушица и заняла участок, примыкавший к позициям дивизии полковника Кошевого.

Доставка боеприпасов и продуктов, и до того неправдоподобно скудная, прекратилась вовсе. Побывавший в дивизии Зуев, худой и изможденный, как и все вокруг, повздыхал-повздыхал, стиснул руку комдиву, сказал:

— Все там будет, за кольцом окружения... Терпите! Вся надежда на прорыв...

— Силами одной дивизии вряд ли прорвешь, — возразил Карцев. — Да и от дивизии одно название осталось...

— Понимаю, — просто сказал Иван Васильевич. — Пришлем все, что наскребем.

Слово комиссар сдержал. Первым прибыл артдивизион без орудий, их затопили в реке Ровань, затем стрелковый полк подполковника Назирова числом около полусотни пехотинцев, без единого пулемета. Такое вот было пополнение... На другие силы рассчитывать не приходилось, рады были и этим штыкам.

В ночь на 25 июня подразделения 382-й дивизии собрались у Дровяного Поля, был там и 1267-й полк, отход которого прикрывал Никонов. На КП комдива Карцева пришел командир 57-й бригады, подполковник Маньковский.

— Есть идея, сосед, — сказал он Кузьме Евгеньевичу. — Ударим вместе по немцу, не дожидаясь остальных, и прорвем кольцо. Немцы и очухаться не успеют.

Карцев заосторожничал.

— Толково говоришь, — согласился он. — Только как быть с приказом по армии? Вроде как вразрез с ним...

— Ну и что? — загорячился Маньковский. — Нам что нужно: следовать букве приказа или вырваться из лап врага?!

— И то, и другое, — усмехнулся Карцев.

— Хочешь и рыбку съесть, и в кресло сесть... Так не бывает, сосед. Да, нам предписано оглядываться назад, чтобы не допустить ударов противника с тыла. В этом есть, конечно, резон... Но при такой системе мы никогда не выберемся отсюда.

— Давай дождемся общей атаки, — примиряюще сказал Карцев, и Маньковский, не простившись, ушел.

Когда началась атака, немцы ответили сильным артиллерийским огнем. Появились самолеты, безнаказанно забрасывая бомбами рванувшиеся к Долине Смерти части. Небо над Дровяным Полем закрыли бурые клубы дыма. Нарушилась связь не только со штабом армии и соседями, но и с собственными полками.

Карцев поднял тех бойцов, до которых могла дойти его личная команда, и повел их на прорыв. Первый эшелон, ее авангард, части стрелковой бригады Маньковского и 176-й полк 46-й дивизии прорвали кольцо и вышли к Мясному Бору. Но это были только передовые отряды. Остальные под сокрушающим огнем противника продвигались медленно, несли тяжелые потери, обрастали огромным количеством раненых. Тех, кто мог еще идти, выползающая из мешка

дивизия захватывала с собой, некоторых тяжелораненых тащили на руках, но большая часть так и осталась в болотах.

Пока Карцев упрямо проламывался вперед, за его спиной в коридор проникли крупные силы немцев. Об этом сообщил чудом пробившийся к ним связной. Он передал приказ полковника Виноградова, начальника штаба армии, — ликвидировать опасность в тылу. Кузьма Евгеньевич развернул часть дивизии назад, не останавливая тех, кто пробивался вперед.

Вражеские автоматчики были уже в ста шагах от карцевского КП.

— Всем рассредоточиться и вступить в бой! — приказал комдив штабистам. Началась рукопашная схватка.

— А Никонов собрал последних красноармейцев и двинулся на выход.

Тут ему старый однополчанин Поспеловский говорит:

— Прости, командир, не могу больше идти. Слепну...

Посмотрел на него Иван, и сердце защемило. Такой справный телефонист был Поспеловский, а теперь вот и у него зрачки в глазах исчезли, глядит прямо, а ничего не видит.

— Отдохни немного, Поспеловский, — сказал Иван, стараясь бодрым голосом говорить. — Может быть, еду какую найдешь, пожуй и проглоти, тогда полегчает. А потом и нас догонишь...

Остался Поспеловский, а Никонов с бойцами вперед заспешил. Только соединился с полком, как слева по ним ударили из пулеметов. Залегли все, а майор Красуляк рукой Ивану махнул: подберись, мол, ко мне поближе. Подполз к нему комполка и приказал развернуть бойцов в цепь во фронт, не давать гансам сюда выйти, иначе коридор они закроют,

В этот момент противно завыла мина. Упала она рядом с командирами, никто даже отползти не успел. Взрывом разнесло в клочья инженера полка, а командира тяжело ранило. А вот комиссара и Никонова даже не оцарапало. Отнесли они майора Красуляка подальше, оставили с ним начальника санчасти Сидоркина и Загайнова.

— Кому командование поручим? — спросил комиссар.

— Вам положено принять, — сказал кто-то. — Кому же еще...

— Но я совсем не-военный человек, — растерялся комиссар, — и командовать не умею...

— Ладно, — вмешался Никонов, — готов взять ответственность на себя. Надо местность разведать, куда идти дальше.

Осмотрелись и увидели: неподалеку, в кустарнике, стоят немецкие минометы, рядом никого не видно.

— Мы в стыке между ихними частями, — объяснил Иван комиссару, все-таки он старший по званию. — Нас обстреляли с левого фланга, а это их минометные позиции. Думаю, что когда мы сюда вклинились, немцы решили, что их обошли, и смылнсь. Надо идти вперед, товарищ комиссар, без остановок.

Так и сделали... За ними двинулись остальные. Все на пути выходящих и выползающих из Долины Смерти вставало вверх дном. Летели в воздух обломки деревьев, болотная грязь, разорванные на части трупы. Пространство окуталось черным дымом, даже ракеты, пускаемые немцами, были едва видны.

Трупы валялись повсюду. Через них уже не перешагивали, из трупов настил образовался, из свежих и уже разложившихся на июньской жаре. Наступишь на такой, а под ногою воздух выходит: фу, фу... Смрада не различали, привыкли, чесноком сильно пахло, да и этого уже никто не замечал.

Километра три одолели — не все, конечно, многие погибли в пути — тогда стало потише. Добрались до воронки от двухтонной авиабомбы, такой огромной, что дом двухэтажный в нее войдет. Забрались в нее передохнуть, отсидеться. Накопилось их здесь десятка два. И стало Ивану жутко.

— Давайте, ребята, уберемся отсюда, — сказал он. — Немец эту яму наверняка пристрелял...

Едва сам выбрался, остальные потянулись за Иваном, потом ахнул снаряд прямо в воронку. Кто не успел ее покинуть, там навеки и остался.

До речки Полисть добрались лишь втроем, а на другой берег Иван выбрался уже один, двух спутников на западном берегу снайперы подстрелили,

От речки он взял левее. Вскоре заметил человека, ползущего на восток. "Кто?" — крикнул Иван. "Свой! Младший лейтенант..." — "Будем вдвоем выходить, все веселее". Потом еще боец на них выполз, сказал, что левее забирать не стоит, его товарищи там только что попали в плен.

Пошли правее и вышли к танку, до башни заваленному трупами. Смотрят — немец на башню взобрался и кричит: "Рус! Давай ходи сюда!" Младший лейтенант выстрелил, и немец свалился с башни.

Пошли дальше, ужасаясь тому, что можно сделать с землей, так испохабить ее и обезобразить донельзя. Ни лесники, ни травинки здесь не было. Ямы, бугры, гигантские царапины-шрамы. Будто и не земля это вовсе... И мертвецы повсюду. Но к ним глаза уже притерпелись, и окаменевшая душа молчала, для сочувствия павшим не оставалось у нее больше сил. И Никонов был вроде еще

живой, но уже как бы и убитый тем, что происходило вокруг. Он еще двигался на восток и, услыхав окрик "Стой! Кто идет?", оцепенело замер.
Это был передний край.
Иван равнодушно подумал: "А может быть, и край света?"

-53-

Когда за полтора часа до полуночи, на исходе дня 2.4 июня, войска 2-й ударной бросились в последнюю атаку, никто не подозревал, что военная судьба оставила армии для существования только одну ночь. Едва началось движение колонн по узкоколейке, настильной дороге и жердевке, противник открыл бешеную артиллерийскую стрельбу. Одновременно в тылы бригад и дивизий проникли группы автоматчиков. Они пытались вызвать панику среди ускользавших из ловушки красноармейцев и командиров, сеяли неразбериху, стремились сорвать управление войсками. И до известной степени это им удавалось.
Поддержала выход 2-й ударной артиллерия 52-й и 59-й армий генералов Яковлева и Коровникова. На помощь окруженцам двинулась от Мясного Бора 29-я танковая бригада с десантниками на броне. Мерецков приказал поднять в воздух всю маломощную авиацию фронта.
Поначалу шло так, как было задумано. Но ураганный огонь противника, сплошная стена разрывов в Долине Смерти нарушили темп движения войск. В надежде на то, что стрельба со временем ослабеет, группы бойцов и целые подразделения останавливались, залегали в воронки, отходили в стороны от намеченных маршрутов. Никто, к сожалению, не внушил каждому бойцу, что спасение лишь в непрерывности движения. Именно последний рывок сквозь огонь выводил их из коридора, каждый метр которого был пристрелян врагами. Да и как объяснишь каждому, что, войдя в смертельный огонь, ты выйдешь из него живым. Такое решение, где был только чет или нечет, принимали теперь в одиночку. И не было времени что-то переиначить, поправить, остановить для альтернативного хода. Возникла возможность выбора. Либо туда, где ждет тебя неминуемая смерть, либо подождать немного, авось надоест противнику тратить металл и взрывчатку, сделает он для себя передышку, тут мы и прошмыгнем к своим.
Одни упрямо шли в огонь, другие залегли, выжидая. Так и нарушилось управление войсками. Авангард 46-й и 382-й дивизий преодолел Долину Смерти и упрямо рвался к Мясному Бору. За ним двигались разрозненные

группы из других подразделений. Теряя товарищей, обрастая новыми ранеными, которым помогали идти вперед через ямы и заполненные болотной водой воронки, к утру 25 июня эти герои, умирающие от голода, одетые в зимнее обмундирование, стали выходить к переднему краю русской обороны. В Долине Смерти остались лишь мертвые да те, кто прятался еще по обе стороны узкоколейки и других дорог, отполз в лес, пережидая ошеломляющую артиллерийскую стрельбу.

А западнее адского коридора оставались окруженными те войска, которые до последнего часа прикрывали отход армии. Это были [518] 92-я дивизия полковника Ларичева и 327-я, которой командовал генерал-майор Антюфеев. С ними была и 23-я стрелковая бригада. Остались в тылу врага и те дивизии, которые действовали по южному и северному фасам горловины, 259-я дивизия подполковника Лаврова, 267-я полковника Потапова, 19-я гвардейская полковника Буланова и 305-я, которой с 6 июня командовал полковник Тарасов. Дивизии, оборонявшие коридор, принадлежали другим армиям, но с 1 июня находились в оперативном подчинении у 2-й ударной армии и были обречены разделить ее судьбу.

ОФИЦЕРЫ, КОМАНДИРЫ, КОМИССАРЫ, ПОЛИТРУКИ И СОЛДАТЫ 2-Й УДАРНОЙ, 59-Й И 52-Й АРМИЙ!

Ваше положение становится безнадежным. Напрасны ваши бессмысленные попытки прорвать кольцо окружающих вас германских войск.

Продовольствие и боеприпасы ваши приближаются к концу, подвозы поступают неравномерно и в скором времени совершенно прекратятся.

Этим самым вы идете на верную смерть.

Поэтому переходите к нам! Только таким путем вы сможете избежать угрожающей вам неминуемой гибели.

С пленными мы обращаемся справедливо и хорошо.

Перебежчики же, переходящие к нам ДОБРОВОЛЬНО, будь это офицеры, командиры, комиссары, политруки или солдаты, получат у нас особенно хороший приют и увеличенный паек. Сообщения вашей пропаганды, якобы все пленные и перебежчики, без различия чина и партийной принадлежности, нами расстреливаются, — гнусная ложь и подлость.

Вы можете и без пропуска перейти к нам, крича при приближении к нашим линиям: "ШТЫКИ В ЗЕМЛЮ!"

ПРОПУСК

Предъявитель сего, не желая бессмысленного кровопролития за интересы жидов, оставляет побежденную Красную Армию и переходит на сторону Германских Вооруженных Сил. Он может перейти и без этого пропуска, крича при подходе к немецким линиям: "Штыки в землю!" Немецкие офицеры и солдаты окажут перешедшему хороший прием, накормят его и устроят на работу.

Перевод на немецкий язык смотри рядом.

Пропуск действителен для солдат, офицеров и командиров, а также и для комиссаров и политруков.

...Комиссару Зуеву нравилось бывать у Соболя, уважительно относился он к командиру полка, воевавшему в этих местах с осени прошлого года. Иван Соболь был грамотным командиром, руководил полком с толком, красноармейцев берег. К таким людям Зуев чувствовал особое расположение.

В майские трудные дни Иван Васильевич дважды побывал у Соболя. Не только беседовал в штабе с командным составом, но ходил на передний край, толковал там с бойцами. Соболю и приятно было от того, что высокое начальство не забывает, и весьма беспокойно. Сплошной обороны у полка уже не было, резервами командир тоже не обладал, немецкие автоматчики шныряли по тылам, могли устроить засаду на члена Военного совета.

К счастью, все обошлось. 24 мая полк, которым командовал Иван Дорофеевич Соболь, получил приказ отойти к Финеву Лугу, сдерживая при этом натиск противника.

28 мая Соболь подошел к Финеву Лугу и угодил под огонь той части, которую должен был сменить. Ее командование не предупредили загодя о замене, оно приняло соболевцев за наступающих немцев. Постреляли друг в друга, но, слава Богу, никого в этот раз не убили...

Тут и узнал Иван Соболь, что их дивизия выводится в резерв командования армии и должна сосредоточиться напротив коридора, ведущего в Долину Смерти, а его полк будет наступать вдоль узкоколейки, К этому времени немцы закрыли коридор, и в первых числах июня дивизия начала изготавливаться к атаке в направлении Мясного Бора. Как и всюду, в дивизии не было продовольствия, не хватало патронов, артиллеристы не имели ни одного снаряда. Они закопали пушки, частью утопили их в болоте, а сами разбрелись по стрелковым полкам.

Две недели подряд гремели бои. Огневая подготовка перед атакой сводилась к слабой — из-за острой нехватки патронов — ружейной и пулеметной стрельбе.

Такая стрельба была для вооруженных до зубов немцев что слону дробина. Наши несли огромные потери в живой силе, а успеха их яростные наскоки не приносили.

19 июня на позиции 176-го полка прорвался с востока танк Т-34, командовал им капитан-комбат, фамилию его Соболь не запомнил, из 7-й танковой бригады. Машины комбат потерял, пробиваясь через Долину Смерти, одному ему только и повезло... Соболь дал танкисту связного и отправил в штаб армии, он стоял теперь неподалеку. Больше этого капитана Иван Дорофеевич не видел.

В день первой годовщины войны после тяжелого ночного боя полк Соболя прорвал на рассвете оборону противника вдоль узкоколейки. Образовался коридор до пятисот метров шириной, он насквозь простреливался немцами из пулеметов и автоматов, про артиллерию и говорить не приходилось. Вот по нему и пошли больные и раненые, местные жители с ребятишками.

— Разрешите мне выйти со штабом из окружения, — обратился Соболь к комдиву полковнику Черному. — На той стороне я разверну полк и организую оборону флангов прорыва.

— Нечего тебе там делать, — резко ответил Черный. — Находись при мне... Будет приказ отправляться в прорыв штабу дивизии, тогда пойдешь вместе с нами.

— Но ведь войско без командира — не войско, — возразил Иван Дорофеевич. — Бойцы мои и командиры, которые прорвались к своим, измучены до предела. Непрерывные бои, голод, усталость... Они могут не удержаться от соблазна уйти с ранеными на восток, оставят фланги коридора без прикрытия. Остановить же их некому. Я со штабом нахожусь здесь, а полк мой там, в Долине Смерти.

— Много разговариваешь, Соболь, — равнодушным, вялым голосом произнес Черный. Он выдержал паузу и вдруг рявкнул: — Исполнять приказ!

— Есть! — ответил Соболь.

А что оставалось делать? Разве утешиться на исходе того дня тем, что оказался прав. Ровно в шестнадцать часов противник открыл ураганный артиллерийский и минометный огонь по коридору. В воздухе постоянно висело до сотни бомбардировщиков люфтваффе. Их было так много, что на глазах Соболя один "юнкерс", заходя на бомбометание, сбросил смертоносный груз на свой же летевший ниже самолет, не успевший сойти с боевого курса. Нижний "юнкерс" разлетелся в куски, и это несколько подняло дух у наблюдавших. Но что такое

гибель одного пирата, когда в адском коридоре тоннами сбрасываемой с неба взрывчатки уничтожалось все живое!

Сопротивляться в Долине Смерти было уже некому, и немцы ликвидировали прорыв. Иван Соболь остался без полка. Он доложил об этом Черному.

— Сдай участок соседнему полку, а сам явись со штабом на мой КП, — распорядился комдив.

Так Иван Дорофеевич и сделал. А через два дня Черный передал ему приказ генерала Власова: из тыловых частей сформировать новый полк и вечером возобновить наступление на прежнем месте, вдоль насыпи узкоколейной дороги.

Тыловики сгрудились в одном месте, искать их не приходилось, но строевых командиров было мало. И Соболь назначил командирами батальонов и рот собственных штабистов и начальников служб. К 20 часам Соболь вместе с комиссаром полка Потаповым лесными тропами, места эти он знал хорошо, вывел сформированный полк на исходные позиции у реки Глушица. Наставив ротных командиров и комбатов, Соболь ждал темноты. Атака готовилась без огневой подготовки, и комполка надеялся, что хоть ночь сослужит им верную службу. Но пришельцы ждать темноты не захотели. Враг предпринял наступление с запада, сдавливая сократившийся, как шагреневая кожа, мешок с другой стороны. И тогда через боевые порядки полка Соболя на восток устремились толпы обезумевших людей. Ими двигало одно стремление: выйти из окружения любой ценой. Толпы бросились на немецкую оборону. Ярость их прорыва была такова, что, устрашенные небывалым напором почти безоружных людей, немцы оставляли позиции, отступали. Тогда-то в эту последнюю ночь и удалось выйти из кольца тем, кто не останавливался ни на минуту, хотя и шел по трупам товарищей.

Было еще светло, да в это время года здесь никогда ночью особенно не темнеет, когда около 22 часов в небольшой и тесный блиндаж Соболя вдруг ввалился бригадный комиссар Лебедев. Тяжело дышал, вытирая рукавом мокрое лицо — то ли от пота, то ли попал в яму с водой... Да и форма на нем была вся в болотной грязи и тине. Соболь выждал, пока комиссар отдышался, и доложил как положено: ждет приказа на атаку.

— Атака — это хорошо, майор, — сказал Николай Алексеевич. — Вижу, что к ней вы готовы. Вашему полку ставится особая задача. За вами следом будет двигаться Военный совет армии. Мы хотели уже соединиться с твоим штабом,

майор, только вот на подходе к позициям встретили сильный заградительный огонь противника. Как видишь, только я и сумел прорваться к тебе...

— Огонь скоро стихнет, товарищ бригадный комиссар, — сказал Соболь, но уверенности в голосе у него не было, — Советую находиться здесь до подхода штаба армии.

— Нет, — возразил Лебедев, — я должен вернуться и доложить командованию, что у тебя, Соболь, все в порядке, ты готов к выступлению.

Спорить с ним Иван Дорофеевич не посмел, выделил только начальника связи для сопровождения. Через полчаса связист вернулся и доложил: разрывом снаряда бригадный комиссар Лебедев убит, а он сам ранен в левую руку.

Велел его Соболь перевязать и стал ждать, когда перестанет бушевать артогонь. Он решил: как только стихнет, поднимет полк и поведет его вдоль узкоколейки, в последний и решительный бой.

Ночью в блиндаже Соболя появился адъютант командарма.

— Выделите одного из ваших командиров, майор, — потребовал он. — Надо провести сюда, на ваш КП, генерала Власова.

Соболь выслал в штаб армии начальника связи, а затем помощника начальника штаба. Оба они не сумели пройти и ста метров, как их сразили осколки рвущихся вокруг снарядов.

— Вот что, друг, — сказал Соболь адъютанту. — Дорогу сюда знаешь, коль сам пришел, без провожатых. Иди в штаб и веди командующего к нам…

— И то верно, — согласился адъютант и выбрался из блиндажа.

К 10 часам утра стрельба прекратилась, только никто больше на КП Соболя не появляйся.

Наконец прибежал посыльный из штаба дивизии: вызывал к себе комдив. Идти пришлось около километра, ладно немцы не стреляли, обошлось благополучно. Тут и увидел Соболь под сосной полковника Черного, он стоял у дерева со старшим батальонным комиссаром Лагутиным, военкомом дивизии, назначенным на эту должность две недели назад. Поодаль находился Зуев, а генерал-лейтенант Власов сидел на поваленном взрывом стволе.

Когда собрались командиры и комиссары полков, Черный объявил им, что получена радиограмма, а в ней сказано: 2-я ударная потеряла способность к организованному сопротивлению. Посему предписывается, или, точнее сказать, рекомендуется, разделиться на мелкие группы по 15 — 20 человек в каждой и выходить из окружения самостоятельно.

Новость ошеломила командиров и комиссаров, они растерянно смотрели на комдива. "Что же получается, — горько подумал Соболь, — нам объявляют: спасайся кто как может..."

Все ждали от командования советов или указаний, но Черный с Лагутиным молчали. Соболь присмотрелся к ним и увидел, что оба не меньше подчиненных угнетены таким распоряжением.

"Кто же отдал подобный приказ? — хотел спросить Иван Дорофеевич и посмотрел на командарма, безучастно сидевшего на дереве. — Черный сказал о радиограмме. Из штаба армии нет смысла ее передавать, вот оно, руководство армии, в двадцати шагах. Значит, команда пришла оттуда".

— Вопросы есть? — спросил Черный.

— У меня в полку четырнадцать командиров, — сказал Соболь, — от старого штаба остались... И я с комиссаром. Итого шестнадцать. Разрешите сформировать группу и выходить вместе.

— Разрешаю, — кивнул Черный.

Больше вопросов не задавали, стали друг с другом прощаться.

Едва Соболь остался один, к нему приблизился Зуев.

— Куда собираетесь идти, командир? — спросил он. — В каком месте надеетесь прорваться?

— Думаю уйти на южный участок района окружения, товарищ член Военного совета... А пробиваться собираюсь в направлении деревни Тютицы.

— Почему именно там?

— Видите ли, еще в декабре сорок первого я ходил с полком по тылам противника, места эти знаю неплохо.

— Имею встречное предложение, Иван Дорофеевич, — улыбнулся Зуев. — Вместе с вашими людьми пойду к южному фасу горловины и я. Там осталась в кольце окружения 305-я дивизия. Поднимем ее и попробуем вместе с дивизией пробиться с боем на Теремец Курляндский. Годится?

— Конечно! — загорелся Соболь. — Дивизия — это не группы по два десятка человек... А как же приказ оттуда?

— Вырвемся отсюда, майор, кто осудит за то, что оказалось нас на выходе куда больше.

-54-

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о пленении гвардии полковника Слепко Александра Васильевича

14 и 15 мая 1942 года 4-я гвардейская стрелковая дивизия сдала боевые позиции и ушла в тыл на формирование. Из состава дивизии 3-й гвардейский стрелковый полк, которым я командовал, был оставлен на позициях по случаю отсутствия частей для замены сроком на 3 — 4 дня, как мне это объяснил врид командира дивизии, полковник Бугачев. Я, мол, поступаю в распоряжение 2-й ударной армии... Прошла неделя, началась вторая неделя, а смены никакой не было.

30 мая 1942 года немцы окончательно сомкнули кольцо, и 2-я ударная армия очутилась в полном окружении. Немцы продолжали сжимать кольцо. 4 июня 1942 года мой полк был сменен одним из полков 92-й стрелковой дивизии, номер полка не помню.

Со своим 3-м гвардейским стрелковым полком поступил в армейский резерв 2-й ударной, выполняя различные задания командующего по прикрытию отдельных направлений и отражению немецких атак. Вскоре кольцо было сжато примерно до радиуса 2 — 3 километров, продовольствие и боеприпасы ниоткуда не поступали.

20 июня командующий армией приказал собрать артиллеристов, так как артиллерия бездействовала по случаю отсутствия снарядов, и всех влить в состав моего полка. Таким образом, к вечеру 20 июня я получил около 600 человек бойцов и укомплектовал ими полк, доведя его до 800 штыков. Это была самая сильная часть в армии. В других соединениях, например в 46 сд, 21 июня было около 80 штыков, аналогично и в других частях и соединениях.

21 июня мною был получен приказ командарма передать один из батальонов командиру 46 сд, а с двумя батальонами продолжать составлять армейский резерв, что мною было выполнено, я направил командиру 46-й дивизии первый батальон.

21 июня со стороны наших, прорвав немецкое кольцо, прибыли шесть танков во главе с капитаном, фамилию не знаю. Они привезли нам поздравление комфронта Мерецкова и его благодарность за мужество и стойкость. Но вслед за танками кольцо снова сомкнулось. Тогда штабом армии командиру 46 сд и силам моего 1-го батальона было приказано совместно с танками сделать прорыв. Начались боевые действия. Вначале был успех, но потом батальон понес большие потери, атака задохнулась.

Утром 22 июня я получил приказ штаба армии передать в оперативное подчинение еще один батальон, а самому с одним батальоном оставаться в армейском резерве. К 10 часам утра 3-й батальон, переданный командиру 46-й

дивизии полковнику Черному, уже перешел в наступление. К вечеру 22 июня прорыв был сделан.

В этот прорыв вечером направились вереницей раненые, а также команды за боеприпасами и продовольствием. Я начал просить у командующего разрешение отправиться к своим с оставшимся со мной батальоном, чтобы прочно закрепить сделанный прорыв, но получил ответ, что там все обеспечено. "Вы будьте готовы действовать по моему сигналу", — сказал мне командарм.

23 июня в 10 часов утра немцы снова закрыли кольцо. К вечеру 23 июня я получил сигнал действовать, но эти действия ни к чему не привели. За два-три часа батальон был разбит. Таким образом, полк был уничтожен по частям. Сил в армии больше не было. 24 июня по приказу члена Военного совета армии дивизионного комиссара Зуева был создан отряд из командного состава примерно около 300 человек и поставлена задача: ночным штурмом прорваться. Предварительно боевая техника, танки и другое было уничтожено путем подрыва.

Командовал отрядом начальник 1-го отдела штаба армии, полковник, фамилию не помню, В этом штурме участвовал и я, но эта ночная атака не увенчалась успехом. Мы понесли большие потери, уцелели единицы. Я потерял около 15 командиров, в том числе комиссара Златкина.

25 июня встретил полковника Черного, командира 46-й дивизии. Он мне сообщил, что было последнее совещание у члена Военного совета армии Зуева. Есть указания сверху оставшимся в живых выбираться мелкими группами, действовать партизанским способом. Я начал собирать своих. Собрал четыре человека командного состава, одного старшину и двух красноармейцев. Начали ползком пробираться через линию немецкой обороны, но были обнаружены и встречены сильным перекрестным огнем. Потеряли убитыми двух красноармейцев и двух командиров, в том числе и адъютанта. Один был ранен. Отползли обратно, нашли пустой дзот, забрались в него и решили держаться. К вечеру 25 июня кольцо было сжато на площади в полкилометра... по центру беспрерывно били минометы, продолжали бомбить немецкие пикировщики. Наш дзот, находившийся в 50 метрах от немецкой линии, подвергался пулеметному огню и ручным гранатам. Сидели голодные, боеприпасов никаких не было.

Вечером 27 июня снова пошли искать выход, но нарвались на немецкую засаду и были неожиданно пленены. В плену находился в городе Кальвария,

Литовская ССР, с 10 июля 1942 года по 15 марта 1943 года, в офицерском лагере военнопленных. С 15 марта по 19 июля 1943 года был в Морктпоикау, Австрия. 19 июля 1943 года бежал, но был задержан и направлен в концлагерь Дахау, где пробыл с 1 сентября 1943 года по 29 апреля 1945 года.
Освобожден американскими войсками.
...Бывший полковник-гвардеец вернулся на Родину, к жене и детям, спустя некоторое время, в течение которого госпроверка выясняла лояльность Александра Васильевича в отношении Советской власти. Госпроверка в те годы была непредсказуемой лотереей. Могли тебя снова отправить в концлагерь, теперь уже в системе ГУЛАГа, могли полностью простить, вернув звание и членство в партии. Могли решить судьбу и компромиссно: свободу оставить, а в полном статусе гражданина не восстанавливать.
Слепко прошел по третьему варианту. Долгие годы писал в инстанции письма с просьбой вернуть ему звание коммуниста. Тщетные попытки убивали богатырское здоровье Александра Васильевича, которое не сломил даже лагерь смерти Дахау. Он все больше и больше мрачнел, замыкался, тяжело переживая отстраненность от партии, за идеалы которой сражался у Мясного Бора.
Наконец, бывший командир гвардейского полка умер. И когда он лежал, прибранный в последний путь, в дверь квартиры Слепко позвонили. Вдова Александра Васильевича открыла и увидела улыбающегося человека.
— Я из горкома, — радостно представился он, — Принес вашему мужу добрую весть. Он наконец восстановлен в партийных рядах!

-55-
Судьбу Кружилина определил Шашков. Поначалу ему предписали выходить с группой, где старшим был Александр Георгиевич. Но когда вечером 22-го июня немцы устроили в Долине Смерти светопреставление и вновь закрыли коридор, начальник Особого отдела сказал старшему лейтенанту:
— Бойцов у тебя от роты осталось — кот наплакал... Командовать некем, а начальников в группе выхода хватает. Есть у меня к тебе последнее поручение, даже не приказ, а просьба. Возьми с собой надежного бойца и отправляйся в штаб Антюфеева. Поможешь ему вывести дивизию сюда, пусть за нами сразу и выходит. И побереги его, все-таки единственный в армии генерал среди комдивов...
От роты Кружилина осталось пятеро бойцов. Четверых он передал охране Особого отдела, взял с собою сержанта Чекина, с ним решил отправиться на КП

командира 327-й дивизии. А по дороге Олег завернул туда, где располагался медсанбат Марьяны. "Надо ведь навестить жену, — думал Кружилин, — узнать, каково ей, не нужна ли помощь..." Хотя и понимал, что помощи ей он оказать никакой не сможет. У него боевой приказ Шашкова, у Марьяны раненые на руках и святой долг сестры милосердия.

Медсанбата на прежнем месте не было. Оставались палатки, брезентовые крыши их кое-где провалились, завернулись и стены, обнажая топчаны, на которых лежали умершие от ран бойцы и командиры. Трупов и вокруг, на земле, под деревьями, на расстеленных плащ-палатках было довольно. Кое-кто из раненых был еще жив, одни тихо стонали, глядели в радостное июньское небо с выцветшей от яркого солнца голубизной безразличными, равнодушными к происходящему глазами.

Олег заглянул в каждую палату, обошел вдоль и поперек, только не нашел ни Марьины, ни тех, у кого бы мог узнать о ее судьбе. У подножия сосны, верхушку ее срезало снарядом, Кружилин увидел молоденького военврача, лицо которого показалось ему знакомым. Военврач сидел, свесив голову влево, а в правой руке, упавшей на колени, сжимал пистолет. Сержант Чекин осторожно высвободил из его пальцев оружие, вынул обойму, выщелкнул на ладонь три патрона и подал командиру.

— Поторопился, бедняга, — сказал Олег Кружилин.

Он потерял уже надежду найти кого-либо, кто в состоянии был произнести хоть слово, как вдруг Степан показал ему рукою на санитарную повозку. Возле нее, опершись спиной на заднее колесо, сидел пожилой красноармеец.

— Живой, — определил Степан Чекин. — Вроде моргает...

Они подошли поближе, Олег всмотрелся и подумал, что он помнит этого человека.

— Санитар ихний, — подтвердил Чекин. — Сабиров его фамилия, а может быть, и Садыков...

Кружилин склонился над сидевшим у колеса человеком и легонько тронул его за плечо.

— Товарищ, — сказал он, — очнись... Идти можешь?

Красноармеец открыл глаза и посмотрел на старшего лейтенанта с укоризною. Или это так показалось ему?

— Ты меня помнишь? — спросил Олег. — Я к медсестре вашей приходил, Марьяне... Где она сейчас? Что с нею? Говори, пожалуйста, говори... Не умирай пока, товарищ!

Санитар разлепил губы и прошептал:

— Марьяна...

— Да-да! — оживился Олег. — Марьяна! Где она?

— Карман, — с трудом выдавил из себя умирающий Садыков, а может быть, и Сабиров.

Кружилин решил, что тот хочет передать ему документы, расстегнул пуговичку на кармане гимнастерки, пошарил пальцами. Документов и смертного медальона там не было, лишь клочок бумаги нащупали пальцы Олега. Он развернул его и прочитал: "Нас уже трое. Люблю". Подписи не было, не успела Марьяна подписаться.

— Вот и свершилось, — вслух проговорил Кружилин. — Теперь я бессмертен.

Он бережно спрятал листок в партийный билет, лежавший в левом кармане, и нагнулся к бойцу. "Что я могу сделать для тебя, товарищ?" — хотел спросить Олег красноармейца. Но санитар был уже мертв.

-56-

— Как поступим, Андрей Андреевич? — спросил Зуев у генерал-лейтенанта Власова.

С той поры, когда пришла радиограмма, командарм не проронил ни слова.

— Будем выполнять директиву, — усмехнулся Власов. — Я понимаю Ставку: вызволять нас извне попросту нецелесообразно. А выйти самим не хватает сил...

— Но вы, как командующий... — начал Иван Васильевич.

— Командующий чем? — перебил его Власов. — Армии больше нет! Ее высочайше предписано расформировать... Мелкие группы... Действовать каждой самостоятельно... А по сути, это отчаянный призыв: спасайся кто как может! От нас попросту отказались, комиссар.

— Все это так, — примирительным тоном сказал Зуев. — Только нельзя ведь сидеть сложа руки и ждать, когда появятся немецкие автоматчики. Надо действовать!

— Такое я испытал уже в прошлом году, — проговорил будто для самого себя Власов. — Мне повезло: через месяц блужданий вышел к своим с партийным билетом, который зашил в сапог. Но повезет ли во второй раз? А если плен?

— Этому есть альтернатива...

— Последняя пуля в висок? — спросил генерал-лейтенант.

— Иного выхода нет. Но до тех пор, когда наступит эта минута, надо попробовать пробиться... Сейчас отправлюсь в Триста пятую дивизию.

— Нам с вами она не подчинена. Это дивизия Яковлева.

— Но ведь она тоже в окружении, — возразил Зуев. — Им, как и нам, надо выбираться отсюда. Там у меня знакомец имеется, комиссар...

— Удачи, Иван Васильевич, — сердечным тоном сказал Власов.

— А вы, Андрей Андреевич, не хотите возглавить прорыв?

— Командовать чужой дивизией, когда мою собственную армию распустили? Увольте, комиссар. Я — солдат. И выполню последний приказ: буду выходить из окружения в составе малой группы.

Зуев пожал плечами и молча отошел от бывшего теперь уже командарма. Он понимал его и потому не осуждал. Власов был военным человеком, остаться без армии для него означало потерять все. А вот он, Зуев, комиссар, солдат партии. Его задача сплотить сохранившиеся силы и ударить по врагу, прорвать кольцо и выйти с возможно большим количеством людей. Власов не может нарушить приказ, исключавший маневр боевыми частями. Формально 2-я ударная для него не существует. Нет ее здесь, в болотах, и для Ставки, для Волховского фронта. Списали из высших, стратегических соображений... Но для него, коммуниста Зуева, русские красноармейцы не перестали существовать. Вот они здесь, пусть и разрозненно, укрываются в лесу, по болотным закраинам. По одиночке им не выйти, он это хорошо понимает. Нужен еще один сильный удар, даже если таковой вовсе не запланирован Ставкой.

Вместе с Соболем и его людьми Иван Васильевич во второй половине дня добрался до позиций 305-й дивизии. На подходе к КП услышали сильную автоматную и ружейную стрельбу.

— Быстрее! — крикнул Соболь. — Наших бьют! Так оно и было. Гитлеровцы блокировали блиндажи, в которых размещался штаб дивизии.

— За мной! — подал команду Иван Васильевич и повел бойцов вместе с Соболем в атаку. Немцы были отброшены от командного пункта, еще и автоматчика взяли в плен.

— Отдыхайте пока, — сказал Зуев Соболю. — Пойду совещаться с командованием дивизии...

Нашлись знакомцы в штабе и у Ивана Дорофеевича. Больше всего командира полка мучила мысль о том, кто же приказал их армии распылиться. И вскоре майор узнал, что сюда пришел такой же приказ, а директиву эту подписали Сталин и Василевский.

— Тогда понятно, — протянул Соболь. — Высший уровень... Он понимал, что это соломоново решение. Для вызволения армии отсюда необходимы свежие силы, новые дивизии, много боеприпасов, которых, наверно, у Ставки нет. И затратить их придется ради тысячи обессиленных, истощенных людей, место которых не на поле боя, а в госпиталях. Вот и прикидывали полководцы по принципу баш на баш. Резервы огромные затратишь, а боеспособность Красной Армии не повысишь... Значит, невыгодно с той, верховной, точки зрения ее, 2-ю ударную, выручать. С другой стороны, перед остальным миром неудобно. Ведь пока армия существует как армия, бросить ее на произвол судьбы нельзя, в цивилизованном обществе не поймут. Вот и родился компромиссный вариант. Поскольку организованно сопротивляться вы не можете, разобраться вам на мелкие группы... Выручайте себя как сможете сами.

Поразмышлял Соболь на эту тему, с другими делиться не стал, а тут и Зуев появился повеселевший.

— Дело будет, майор, — сказал Иван Васильевич. — Убедил я их повременить разбегаться... У дивизии есть вполне боеспособный полк. Вот с ним мы и пойдем, когда стемнеет, на прорыв. А ты со своим штабом организуй здесь прочную оборону. С тем, чтобы прикрыть нас, не дать противнику зайти в тыл, ударить в спину.

Выполнить приказ Зуева делом было далеко не простым. В кольце окружения скопилось огромное количество разрозненных групп бойцов и командиров всех рангов. Никем не управляемые, люди метались из стороны в сторону, подставляясь под огонь немецких автоматчиков, разрывы бомб и снарядов. Соболь пытался сколотить из них отряд, но люди, потеряв собственных командиров, не хотели теперь подчиняться незнакомому майору. Они заразились паникой, которая подогревалась слухами о немцах, переодетых в советскую форму и заманивающих окруженцев в западню.

Кое-как Соболь собрал группу бойцов для прикрытия тех, кто ушел с Зуевым на прорыв.

Наступила ночь на 26 июня... Ночь эта была ужасной. Стремясь покончить с окруженной группировкой как можно скорее, не дать никому выйти из захлопнувшейся ловушки, гитлеровцы обрушили на нее массированный огонь изо всех стволов, ввели в дело ночные бомбардировщики.

С русской стороны, то есть оттуда, где проходила линия обороны двух армий, опекавших 2-ю ударную, никаких ответных ударов не производилось. Немцы громили оставшиеся в окружении дивизии и бригады безнаказанно. И то

сказать: формально в кольце окружения армии уже не было, ведь ей приказано было исчезнуть, испариться.

Когда 305-я дивизия изготовилась к последнему удару, командование ее сумело связаться со штабом родной 52-й армии.

— Идем на прорыв! — сообщили окруженцы. — Помогите огнем... Дайте залп по переднему краю немцев! Надо подавить их пулеметные гнезда...

В ответ на эту пронзительную мольбу генерал Яковлев, командарм, обругал комдива.

— Что ты там самовольничаешь?! — грозно вопрошал Всеволод Федорович. — Какие еще организованные прорывы? Приказом Ставки велено вас раскидать на мелкие группы — вот и выполняйте приказ! И никакого артогня для вас не положено... По какой-такой статье боекомплекты потом спишу?

И ни один снаряд не был выпущен в помощь тем, кого поднял в отчаянную штыковую атаку комиссар Зуев. Не дождавшись, когда их товарищи из-за края света подавят огневые точки гансов, русские ратники бросились с криком "ура" на противника. Свинцовый ливень гитлеровских пулеметов встретил их редкие цепи. Но самоубийственный порыв обреченных был таким яростным и неудержимым, что с двух позиций русским удалось выбить пришельцев. Казалось, еще немного — и вот они, наши окопы... И тогда немецкое командование бросило на безумцев то, что успело собрать, благо освободились войска на других направлениях.

— Они расстреляли почти всех, — сказал Соболю чудом уцелевший в этой бойне знакомый комбат, это было уже утром, часов в шесть следующего дня. — Кто уцелел, вернулся, как вот я, или заполз в Замошское болото.

— А Зуев? — спросил Иван Дорофеевич. — Комиссара ты видел?

— Среди погибших не видел... Может быть, и уцелел.

В восемь утра немцы перешли в наступление, стремясь уничтожить разрозненные части армии или захватить их в плен. Русские продолжали драться, теперь уже без команды, на собственный страх и риск, не думая о безысходности положения.

Многие стали понимать: к своим не пробиться. Значит, надо постараться проскочить сквозь боевые порядки немцев и выйти в их тылы. А потом к партизанам примкнуть. Пока жив и здоров — надо драться с супостатом.

И Соболь, калач тертый и командир хладнокровный, обстоятельный человек, прикидывал, где бы поудобнее прорваться к немцам в тыл. Там он получит

некоторую свободу действий, оглядится и выберет направление для выхода к своим. А не удастся — станет партизаном, как и предписано директивой.
Пока он соображал, появился капитан из инженерной службы 305-й дивизии.
— Дорогу знаю через Замошские болота, товарищ майор, — сказал капитан. — Зимой ставил там мины натяжного действия. Если осторожно передвигаться, то можно днем одолеть это поле. Берусь провести...
— Тогда бегом марш! — скомандовал Соболь товарищам, нельзя было терять ни минуты.
На берегу болота залегли и по-пластунски поползли друг за другом по минному полю. Ползти предстояло с километр. Когда миновали половину смертельного пути, увидели, как на краю болота немцы окружили группу наших и принялись разоружать их. Кто-то крикнул там, в этой толпе прижатых к минному полю людей: "За мной!" И все бросились за смельчаком бежать прямо по минам, задевая проволочки, ведущие к детонаторам. Они видели, конечно, что у них под ногами, но повернуть обратно, где ждал их плен, не захотели.
Раздались взрывы. Ошеломленные пришельцы опустили оружие и уважительно смотрели на погибающих русских.
А Соболь понял, что в такой обстановке, когда уцелевшие от разрывов люди уже подбегают к его группе, не имеет смысла ползти по-пластунски. Он поднял товарищей и повел их за проводником к опушке леса. Немцев там пока не было. По их следу вышли еще три десятка бойцов и командиров.
Несколько дней Иван Соболь и его товарищи находились в немецком тылу. А в ночь на 4 июля пробились через передний край противника и в районе деревни Тютицы вышли на позиции 225-й стрелковой дивизии.

-57-

Шура Капецкая была самой молоденькой в их компании, ей и шестнадцати не исполнилось... Когда 364-й хирургический полевой передвижной госпиталь в декабре сорок первого остановился ненадолго в Тихвине, туда пришли устраиваться местные девчонки. Шура увязалась за ними, недоросток, а туда же. Но чем-то пришлась по душе начальству, ее и взяли вместе с тридцатью другими сандружинницами.
Госпиталь тогда не в Тихвине был, а в Пикалево, потому как в самом городе шли бои. Потом госпиталь поколесил по железным дорогам, в предполье Волховского фронта, и уже в конце января 1942 года проследовал в полном составе через Мясной Бор.

Было непривычно тихо. 2-я ударная продвинулась уже вперед. Дороги накатали по снегу на славу, зимняя суровая стужа сковала болота, о которых медики и не подозревали. Хотели расположиться в деревне Вдицко. Но едва подобрались к ней, а ехали на лошадях, на них и имущество везли, как вдруг налетели "юнкерсы", принялись бомбить.

— Нет, — сказал начальник госпиталя Юмаев, осмотрев уцелевшие после налета избы, — сюда мы заползать не будем. Опасно... Лучше в палатках и в лесу, там безопаснее будет.

Шура Капецкая трудилась самозабвенно. Вместе с подругами снег расчищала в густом березняке, помогала мужчинам ставить палатки, раненых обихаживала: меняла им повязки, поила лекарством, бинты стирала, натапливая для этого воду из снега. Времени на сон оставалось мало, постоянно хотелось спать, но очень уж много было работы. Раненые шли потоком, подвозить их не успевали, а после первого окружения в марте — о нем они, правда, только слыхали смутно — становилось хуже и хуже. И лекарств не хватало, о новых бинтах и думать забыли, с питанием возникли перебои, и вывоз раненых застопорился. Все вокруг ели лошадей. И убитых, и тех, что сохранились еще, а Валера Падерин основную часть конского состава ухитрился сберечь, хотя с кормом для лошадей была и вовсе беда.

Девчонки, подруги Шуры, из тех, кто были тихвинские и из Ленинграда эвакуированные, дружили с Валерой, помогали ему лошадей спасать, поскольку о другом транспорте в госпитале почти не знали, а дороги в апреле как таковые исчезли. Нина и Тамара Щепкины, двоюродные сестры, две Маши — Каширина и Макеева, Лена Иванова и еще одна Мария — Кутузова... А больше других Шурочка старалась, лошадок ей страсть как было жалко — благородных, терпеливых, молча страдающих животных.

Рубили ветки, запаривали их, тем и кормили бессловесную скотину, стойко терпевшую невзгоды вместе с людьми.

— Лошадь — существо гордое, — объяснял Валера-ветеринар Шурочке, она чаще других прибегала приласкать животных. — Ты вот посмотри сама... Если коняга упадет, вытаскивая непосильный воз, застрянет в снегу или в болоте, она всегда старается встать, вроде бы извиняется перед человеком за проявленную слабость, неловко ей... И упаси боже бить упавшую лошадь!. Все равно что ребенка ударить...

Не только Шурочка, но и подружки ее, как только выдавалось свободное время, приходили приласкать лошадей, поговорить с ними. После чего вроде

бы и души их обмякали, черствеющие среди сплошных страданий, кровавых и горячечных будней госпитальной жизни.

...Хоть и в лесу стоял госпиталь, но сверху хорошо просматривался, и бомбили его немцы исправно, не по одному разу в день. Постепенно здесь скапливались бойцы и командиры из частей, подходивших к месту будущего прорыва. Они попадали под бомбежки, и раненых в госпитале прибавлялось. Страдали от ударов с неба и сами медики. В один из налетов погиб замечательный хирург, прекрасный человек военврач Картозия. Узнала про это вроде бы и притерпевшаяся к смертям Шурочка Капецкая и расплакалась. И еще жалко ей было повара Антошу Архипова, балагура и весельчака. Его тоже не миновала бомба. А чуть позднее Шурочка и вовсе страшную вещь узнала.

Сидела она с Тоней Богомазовой и Надей Осиповой в палатке, когда пришел легкораненый боец и сказал:

— Сейчас комиссар троих расстрелял у костра...

— За что? — вскрикнула Шурочка.

Тут они и узнали, что отдельные люди в тяжких условиях не выдерживали испытаний и преступали нормы человеческой морали и нравственности. Конечно, все были голодны сверх меры, но недопустимо варварство. Красноармейцы, которые обнаружили мародеров, разыскали комиссара и привели виновников к костру. После короткого расследования расстреляли преступников в присутствии остальных бойцов.

История эта напугала Шуру. Погибнуть она почти не боялась, а вот от того, что потом над ней, мертвой, могут глумиться, было девчонке очень страшно.

Перед самым выходом из окружения медикам дали по горсточке сухарных крошек. Их залили кипятком, и получилось на каждого по целой кружке тюри. Она так вкусно отдавала хлебным духом, что появилась надежда: все обойдется, госпиталь выберется из болот и уже там, на Большой земле, продолжат они милосердное дело.

Так и пошли на выход, повинуясь разработанному графику, группами, в которых были медики и закрепленные за ними ранбольные, с промежутками во времени в пятнадцать — двадцать минут. Не шли они, а, скорее, ползли эти несколько километров, помогая при этом раненым. Немцы били по ним в упор, справа и слева от конвейера смерти, кричали: "Рус! Иди сюда, сдавайся!"

Когда Нину Щепкину смертельно ранило осколком снаряда, умирая, она попросила взять из кармана комсомольский билет.

А сестра ее, Тамара, пришла к Мясному Бору на коленях: ноги ее уже не держали.

-58-

Происходящее к западу от Мясного Бора разрывало Мерецкову сердце. Кирилл Афанасьевич не покидал командного пункта 59-й армии, не спал почти и не ел, ожидая первых выходцев из 2-й ударной. Когда 22 июня потянулись оттуда первые сотни раненых бойцов и командиров, одолевших адов коридор, он несколько воспрянул духом, поверил в благополучный исход героической эпопеи.

В глубине души он понимал, что лично виноват в сложившейся ситуации. Нельзя было надеяться на мифическую армию, обещанную Ставкой, надо было выводить армию после первого окружения в марте. Но кто бы его понял, заикнись он тогда об этом? Установка была наступательная, и основания для доброй надежды тогда сохранялись.

Мерецков хорошо понимал, что в целом, в масштабе Красной Армии, мы воюем неверно. Где еще такое видано, чтоб против одной 18-й германской армии действовало до десятка наших! Одних у него, Мерецкова, четыре... Правда по численности армии наши поменьше, но все-таки против одной — восемнадцатой. Да еще против шестнадцатой генерала Буша дерется весь Северо-Западный фронт Курочкина.

А все потому, что боеприпасов не хватает, автоматического оружия нет, авиации с гулькин нос, а грамотных командиров и того меньше. Грамотные там остались, откуда он сам непостижимым образом выбраться сумел. Впрочем, собственной его заслуги в том не было. Каприз судьбы, вернее, хозяина. Лаврентий Павлович подобного рода капризами не отличается, принцип у него волчий: чем больше овец перережешь, тем лучше. Берия на особый лад диалектику понимает, верит, что количество жертв дает власти хозяина и его собственной новое качество.

"У Александра был граф Аракчеев, у Наполеона — маршал Даву, — размышлял потаенно Мерецков, когда маячила, застилая все в окоеме, тень черного человека с резиновым шпицрутеном в руке. — А у него этот..."

Страшную фамилию Мерецков даже в уме старался не произносить. Он вспоминал слова Толстого, вычитанные им в "Войне и мире", о том, что в механизме государственного организма нужны эти люди, как нужны волки в организме природы... Они всегда есть, утверждал Лев Николаевич, всегда

являются и держатся, хотя несообразным кажется их присутствие и близость к главе государства.

Сейчас, когда судьба 2-й ударной решалась в считанные часы, в сознании Мерецкова все чаще возникал образ Шварцмана — Черного человека. Теперь Кирилл Афанасьевич не боялся его, ибо знал, на что тот способен. Кроме того, для себя давно решил: при любом раскладе не сдаваться органам живым. Внутренний голос подсказывал Мерецкову: винить его за 2-ю ударную не будут. Но куда деться от угрызений совести? Конечно, он может свалить все на Хозина, вот и Верховный сказал на Политбюро: "Генерал Хозин нас подвел..." Это верно, всех подвел Михаил Семенович, хотя и действовал, может быть, из лучших побуждений, хотел объединить разрозненные боевые действия, координировать проведение Любанской операции из одного штаба. Слишком много войск — девять армий! — в одних руках? Но как же фон Кюхлер успешно управляет войском, отражающим атаки трех наших фронтов...

Надежда, которая поселилась в сердце Мерецкова 22 июня, сменилась отчаянием, когда в следующую ночь коридор снова заняли немцы. Командующий фронтом понимал, что ему уже попросту нечем очищать горловину прорыва, но все еще надеялся на собственные силы 2-й ударной. И воспрянул духом, когда вскоре с ее штабом восстановилась радиосвязь.

"Общая атака в 22.30", — известили окруженцы.

Всю ночь Мерецков провел на ногах, ожидая выхода 2-й ударной из Долины Смерти. Там полыхало сплошное зарево, доносился сильный рев, в котором глохли, не выделялись звуки ружейной и автоматной стрельбы. А едва посветлело в облачных клочьях небо, появились первые уцелевшие в небывалом пекле красноармейцы и командиры. Шли, ковыляя и падая, иные продолжали ползти к переднему краю, не ведая, что можно уже подняться во весь рост, да зачастую не имея для этого сил.

Всех командиров приводили к Мерецкову, комфронта задавал им только один вопрос:

— Где Власов? Что с командармом?

Кирилл Афанасьевич узнал: минувшим вечером штаб армии двинулся к узкоколейке тремя группами, но был накрыт прицельным артиллерийским и минометным огнем, он разрезал выходивших на неравные части. Меньшая двинулась вперед, кое-кто уцелел, вышел-выполз к Мясному Бору. Другие попятились, отошли в район КП дивизии полковника Черного, надеялись переждать, когда стрельба затихнет и тогда можно будет повторить бросок. Но

огонь не стихал до утра. Когда он прекратился, это означало одно: Долину Смерти занял противник.

Еще до того кто-то сказал Мерецкову, будто видел генерала Власова возле узкоколейки. Кирилл Афанасьевич встрепенулся.

— Миша, — сказал он капитану Бороде, верному оруженосцу, — хочешь стать Героем Советского Союза?

— Хочу, товарищ командующий, — тотчас ответил Борода.

— Тогда вперед! Даю тебе танковую роту... Гони вдоль узкоколейки. Доставишь Власова — будет Золотая Звезда и тебе, и тому командиру танка, на котором привезешь генерал-лейтенанта.

"С богом!" — мысленно напутствовал Мерецков адъютанта, когда пятерка танков на полной скорости устремилась в Долину Смерти. Генерал армии не был суеверным, но сейчас молил небо помочь Михаилу Бороде.

...Последнюю атаку, организованную штабом армии в ночь на 25 июня, Иван Михайлович Антюфеев справедливо назвал психической. Она и была таковой — отчаянным штыковым ударом по укрепившимся за двое суток в горловине прорыва немцам.

Правда, атаковать, ставить на карту последнее, что оставалось у армейского командования — яростную решимость, готовность пожертвовать собой во имя Отечества — довелось другим. Дивизия же Антюфеева была зажата между изготовившимися к атаке боевыми порядками русского авангарда и напиравшим на 327-ю дивизию противником с запада. Она защищала участников штурма с тыла.

Но едва атакующие бросились вперед, на ту небольшую относительно площадь, до которой сократился гигантский еще недавно мешок, обрушился огненный шквал. Особенно силен был он у входа в горловину. Этот огнедышащий кратер разделил армию на тех, кто прорвался к Мясному Бору, и тех, кто остался к западу от Долины Смерти, не успел миновать ее или нашел там гибель подобно тысячам других собратьев.

Утром 25 июня директива о малых группах дошла и до штаба Антюфеева. И поскольку исходила она от армейского начальства, первоисточник, естественно не указывался, Иван Михайлович решил, что это местная инициатива. Неудачная атака и это последнее распоряжение спасаться кто как может удручающе подействовали на бойцов и командиров. До того каждый из них осознавал себя частицей единого армейского механизма и полагался во всем на высшее начальство — оно ведь думает за них, заботится по мере возможности и

сил, определяет дальнейшую судьбу. И вдруг — действовать самостоятельно. Вот и растерялись.

Весь день остатки дивизий и бригад метались из стороны в сторону, натыкались на вражеских автоматчиков, гибли под их очередями. Оказавшись в безнадежном положении, иные командиры и политруки, красноармейцы стрелялись, кто-то попадал в плен.

— Что присоветуешь, парень? — спросил Иван Михайлович старшего лейтенанта Кружилина, он со вчерашнего дня находился с сержантом Чекиным у него на КП.

— На Мясной Бор идти бессмысленно, — сказал Олег. — Немцы там настороже, только и ждут нашего броска. Надежнее всего отойти к ним в тыл и там осмотреться, выжидая.

Ночью Антюфеева контузило, у него ослабел слух, и сейчас генерал-майор нагнулся к Олегу, приставив к уху ладонь.

— Верно говоришь, — согласился комдив, — так и поступим. Ударим там, где нас не ожидают...

Собрали всех, кто оказался под рукой, — набралось несколько десятков бойцов и командиров. Надо бы подождать темноты, да недосуг. Приближалась цепь автоматчиков, немцы кричали в мегафоны: "Рус, сдавайся! Штыки в землю!" Над лесом стали возникать привязные аэростаты, с которых наблюдатели сообщали патрулям, где скапливаются окруженцы.

Когда после ожесточенного боя вырвались во вражеский тыл, в группе вместе с Иваном Михайловичем было семнадцать человек. Многие были ранены и контужены, но все стремились оторваться от противника, равно боясь отстать и от комдива, которого сопровождали Кружилин и Чекин.

А когда силы кончились, свалились в кусты, тяжелый сон охватил всех. После него полегчало. Умылись, подкрепились кислицей, хлеба у них давно уже не было, стали держать совет: как быть дальше, что делать. Голоса разделились. Одни говорили, что надо отойти дальше в тыл и прибиться к партизанам, другие выступали за немедленное просачивание через фронт к своим. Последняя точка зрения победила, и это понятно, ибо настоящий военный не мыслит себя вне армии, и само соображение о том, что отныне он сам себе командир, является для его сознания шоковым. Стало ясно и другое: такую группу быстро засекут немцы. Надо разбиться на тройки — пятерки, это самый подходящий вариант. Так и порешили.

Тут уже безо всяких обиняков Олег Кружилин сказал:

— У меня приказ: быть с этим сержантом при комдиве. Антюфеев усмехнулся. Вроде как бы за него уже решили и вручили его судьбу этому старшему лейтенанту. Но от добра добра не ищут...

— Тогда мы с тобой еще Василия Степановича возьмем, Гладышко, — сказал он. — Комиссара... Не возражаешь?

Последние слова он произнес безо всякой иронии. Пусть они, генерал, только в создавшемся положении от его генеральства проку мало, а у парня особая выучка, он ведь спецротой командовал и местность эту знает получше. Олег Кружилин, известное дело, не возражал, пусть их будет четверо. Опять же с комиссаром в отряде надежнее, есть кому характеристики на каждого из них составить. Если выйдут к своим, конечно.

— Идти к Мясному Бору бессмысленно. Попробуем на севере, — предложил Антюфеев, — в районе Спасской Полисти.

Прикинули, что идти туда километров пятнадцать. По доброй дороге — пустяк... А сейчас продвигаться надо только ночью, остерегаться любого шороха в лесу. Тут и дожди начались, похолодало... На пути множество канав и лесных речушек, их вброд переходили, по пояс в воде, потом исхитрялись обсушиться. От усталости ослабели и голода. Питались травой, зелеными ягодами. Порой попадались птичьи гнезда, а в них насиженные уже яйца, с зародышами птенцов, пронизанных кровавыми прожилками. Яйца вызывали особую радость, потому как это была уже стоящая пища.

Антюфеев голода не чувствовал. Его постоянно мучила жажда, генерал через каждые десять — двадцать минут пил, благо вода была всюду. Вскоре распухли ноги, и Олег разрезал Ивану Михайловичу голенища сапог.

Двигались они девять суток и наконец вышли в район юго-западнее Спасской Полисти, к переднему краю врага. Наметили по карте направление, засекли ориентиры и стали ждать, когда хоть посереет эта ненавистная им белая ночь... Ближе к полуночи двинулись ползком, между огневыми позициями немцев. Миновали одну траншею, вторую, тут и рассвет наметился, и ночь короткая, по здешним местам прозывается "воробьиная", пошла на исход.

А окруженцам уже блеск Полисти виден, за нею — свои. Еще немного, еще б силенок собрать, вот уже и второе дыхание открылось. Только теперь особенная осторожность нужна, должны быть в предполье минные заграждения. Вот и они! Вокруг паутина из проволочек — мины натяжного действия. Сплошной лабиринт!

— Переместимся вон к тем кустам, — предложил Олег. — Я пойду первым. Перед кустами мины с проволокой буду обезвреживать. За мною вы, товарищ генерал, потом Василий Степанович. Ты, сержант, задачу свою знаешь. Оттянись и действуй, как приказано.

Задача у Степана Чекина была особая. Пока добрались сюда, Кружилин наказал ему прикрывать их троицу с тыла. И еще поручил: если немцы возьмут неожиданно в плен передних, не дав им открыть огонь по врагу или самим покончить с собой — на войне, знал Кружилин, такое бывает нередко, — то Степану себя пока не обнаруживать. Затем подобраться поближе и застрелить его, командира роты. Потом действовать по обстановке.

— Бей поточнее, прицельно, — спокойно инструктировал сержанта Олег. — Лучше в голову. Сначала меня, потом по ним...

Чекин вопросительно глянул на командира, и Кружилин пояснил:

— Я про немцев... За генерала с комиссаром решать не могу. Мой приказ, сержант Чекин, распространяется только на меня одного. Понял?

Степан кивнул: чего ж не понять. Для себя эту проблему Чекин еще не решил, вернее, он даже не задумывался ни о смерти, ни, тем более, о плене. Степан верил, что они вот-вот выберутся отсюда и все будет хорошо. Делов-то осталось — Полнеть переплыть.

Олег Кружилин ползком двинулся к кустам, обезвреживая мины. За ним генерал-майор Антюфеев и комиссар Гладышко. А Степан Чекин остался на месте. Когда начальники доберутся до укрытого места, он двинется по их следу.

...Сильный взрыв подбросил Ивана Михайловича в воздух и ударил о землю. На мгновение Антюфеев потерял сознание, потом, очнувшись, обнаружил, что Гладышко подхватил его на руки и пытается утащить в кусты. Но до них так и не добрались, внезапно из-за кустов выскочили два автоматчика-немца и противными голосами заорали обычное: "Хальт!" и "Хенде хох".

Пистолет из руки Антюфеева вышибло взрывной волной, он отлетел далеко в траву, и пленившие его с комиссаром немцы оружия не нашли. Зато тщательно их обыскали, отобрали у комдива карту, партбилет, командирское удостоверение, золотые часы, компас и бинокль, сберегательную книжку с пачкой красных тридцаток и фотографию любимой женщины, погибшей в первые дни войны. Степан Чекин, спрятавшийся за кустом, видел, как комдива и Гладышко схватили гитлеровцы, поволокли в штаб их полка. Сержант мог

расстрелять всю группу из верного автомата, у него был еще почти полный патронов диск. Но приказ о ликвидации касался только Кружилина.

Тем временем пленных посадили на машину и повезли в штаб дивизии, где напоили горячим кофе. Антюфеев едва отошел от новой контузии, стал немного слышать. Их почти не допрашивали, только иногда приходили офицеры и рассматривали их с любопытством. Потом комдива с комиссаром наперебой фотографировали и даже пытались зарисовать их небритые жуткие физиономии.

Вопросов оперативно-тактического характера никто не задавал. Ситуация для германского командования была предельно ясна. Генерал, командир их дивизии, спросил лишь, чем объяснить то упорство, которое проявляют русские, оказавшись в столь тяжелых, попросту нечеловеческих условиях. Комиссар Гладышко спокойно ответил, что ему этого не понять, надо самому быть советским человеком.

А Иван Михайлович сделал заявление об отобранном имуществе. Генерал распорядился, и Антюфееву все вернули, кроме карты и компаса с биноклем. И то сказать: пленному комдиву эти предметы были уже ни к чему. Не вернули и партбилет: это уже из идейных соображений. Потом их повезли в штаб корпуса, находившийся в Любани, куда они стремились попасть все эти месяцы трагической военной страды. Тут комдива с комиссаром разлучили. Потом Антюфеев узнал, что Гладышко был в лагере Кальвария, а что дальше — потемки. Сгинул небось в неволе, что же еще.

По документам комдив числился полковником и потому очутился в группе старших командиров, работал на горной шахте. Но едва германской администрации стало известно, что он генерал, Ивана Михайловича отправили в генеральский лагерь. В отношении генералов Гаагскую конвенцию немцы соблюдали, их работать не заставляли. Там Антюфеев встретил бывших командармов, попавших в плен еще в сорок первом году — Лукина, Потапова, Егорова, Самохина, Музыченко и еще десятка два генералов.

Вместе с ними он и дожидался освобождения в старинной крепости-тюрьме близ города Вайсенбурга, в полусотне километров южнее Нюрнберга. На рассвете 21 апреля 1945 года узников подняли по тревоге и повели на юг, через Дунай. Спустя шесть дней доставили в лагерь близ города Мосбург. А через сутки туда ворвалась дивизия бригадного генерала Карла Штадта, входившая в 3-ю американскую армию.

В начале мая союзники доставили русских генералов в Париж и передали советской миссии по репатриации, где их приютили. Одели в цивильное, разместили в добрых гостиницах, кормили в ресторанах, возили на экскурсии. Двадцать три дня приличной жизни, да еще в знаменитом Париже!

А 26 мая 1945 года военно-транспортный самолет ВВС перенес бывших пленников в Москву. Там фанфар не было... Вплотную к аэроплану подогнали автобус известной в народе марки "черный ворон" и повезли их в Медвежьи Озера на объект № 3. Здесь держали до осени, а затем переместили на бывшую дачу князя Голицына, в пятидесяти километрах западнее Москвы. Каждого усиленно проверяли: а как ты, голубчик, вел себя в плену и при каких-таких обстоятельствах в него попал... Для Антюфеева этот "курорт" растянулся на 215 дней, а кое-кто продолжал сидеть, теперь уже под охраной соотечественников, до самой смерти хозяина. Иван Михайлович по высшему набору привилегий был прощен Верховным полностью.

А в декабре 1953 года генерал-майор Антюфеев приказом народного комиссара обороны был уволен в запас, прослужив в армии 39 лет, семь месяцев и семь дней.

Лучший, по свидетельству маршала Мерецкова, комдив Волховского фронта оставил этот мир на восемьдесят четвертом году жизни.

-59-

— Пожар, — сказали комиссару Венцу и новому комбригу-59 Писаренко, — пожар у соседа справа. И тут же сигнал будет продублирован по радио. Держите рацию в состоянии "на прием".

С этого по плану, разработанному штабом 2-й ударной, должен был начаться отход стрелковой бригады, дальше других забравшейся к западу от Мясного Бора. Расписано на бумаге было все как положено, а только вот на деле получалось по-иному.

Вечером 24 мая с КП бригады заметили пожар справа, но радиостанция молчала. Как быть? Может, пожар случайный? Подтверждения на отход по рации не передавали. Пока прикидывали что к чему, отход не только правого, но и левого соседа обнаружили немцы. Стало ясно, что сигнала по радио бригада вряд ли дождется. Она отступила, соблюдая порядок. А поскольку фланги ее никто не прикрывал, в районе Дубовика едва не загнали гансы бригаду в ловушку, из которой выбирались с боем, прорвав тонкое пока еще кольцо окружения. На рубеже Ольховки бригаде приказали остановиться и

пропустить другие части, самим же выполнять вместе с дивизией Антюфеева роль арьергарда.

Едва бригада замедлила темп движения, чтобы дать остальным пройти через собственные боевые порядки, на них с криками, залихватским гиканьем пошли в пьяную атаку гитлеровцы. Двигались открыто, с пулеметами и автоматами наперевес. Наши били из "Дегтяревых" в упор, хладнокровно, будто в тире. В ротах народ остался отборный, из тех, кому сам черт не брат, прошедшие болотную академию ребята, таких давлением на психику, бравадой не возьмешь.

Пока отражали дурные наскоки врага, стемнело, тогда и отошли организованно к Финеву Лугу и проследовали в район сосредоточения, на рубеж реки Глушицы, к жердевой дороге, неподалеку от КП 305-й дивизии. Выход через коридор наметили в ночь на 31 мая. А накануне вечером Венца и Писаренко вызвали в штаб соседней дивизии, где заместитель командарма генерал Алферьев собирал всех на совещание. Когда собрались, он будто обухом по голове ошарашил новостью: немцы закрыли горловину прохода.

— Надо немедленно выступать! — воскликнул сосед-комдив. — Стоит промедлить, так их тогда ничем не выколупнешь...

— И нечем колупать, — сказал артиллерист-подполковник. — Снаряды за Мясным Бором...

— Разрешите мне, товарищ генерал, — поднялся Венец. — Мы с командиром тоже за немедленную атаку. Поставим пушки на прямую наводку, кое-какой боеприпас найдется. А людям объявим, что за Волховом их ждет заслуженный отдых. Надо еще раз нажать, ударим по оккупантам... Последнее усилие! Люди нас поймут, товарищ генерал... А при выходе мы и коридор расширим, оборону укрепим. Надо пробиваться сейчас! Промедление смерти подобно...

Командиры и комиссары нестройно загалдели. Алферьев нахмурился и поднял руку:

— Дело серьезное, — сказал он. — Не мышь в нору пускаем — целая армия должна выйти. И с минимальным ущербом для себя. Надо тщательно готовить операцию! — Но и после этих слов кое-кто продолжал недовольно ворчать. Заместитель командарма оглядел всех, помягче, уже другим тоном сказал: — Ну хорошо, аники-воины, вы, конечно, пробьетесь... Но кроме вас, командиров строевых частей, ваших красноармейцев, есть тысячи людей из других подразделений. Есть медсанбаты и госпитали, забитые тысячами раненых

бойцов. С ними как быть? Бросить в болотах, оставить врагу?.. Молчите? То-то и оно... Операции по прорыву надо готовить на уровне командования фронтом.

"Что ж, — подумал Иосиф Венец, — здесь он прав... Но если все наличные силы бросить на расширение коридора, сделать коммуникации более надежными... Разве в этом нет гарантии на организованный выход всей армии? Ведь может получиться и так: пока мы готовим операцию прорыва, наши силы уйдут на то, чтобы поддерживать собственную жизнь. Ведь в армии нет уже никакого продовольствия. Да и патроны на исходе..."

Молод был комиссар Венец, а мыслил логично. Только до мнения его никому из решавших судьбу 2-й ударной не было дела.

Утром командир с комиссаром получили приказ: вывести бригаду в окрестности поселка Любино Поле, сосредоточиться там в лесу и ждать дальнейших распоряжений. Марш предстоял тяжелый, по топким местам. Но бригада за светлое время суток выполнила изнурительный маневр.

Едва Писаренко доложил об исполнении задачи, ему приказали... срочно вернуть войска на прежнее место.

— Ты что-нибудь понял, комиссар? — спросил комбриг у Венца.

— Ровным счетом ничего, — отозвался обескураженный Иосиф Харитонович.

Поняли или не поняли — выполнять приказ надо. Бригада вернулась и еще через день получила приказ занять оборону правее жердевой дороги.

До 6 июня шла подготовка к прорыву. За это время силы 2-й ударной не увеличились, не с чего было им увеличиваться... Норма довольствия сократилась до двадцати граммов сухарей, точнее крошек, бывших когда-то сухарями, на бойца. Кое-что сбрасывали по ночам с самолетов. Пришел к ним с востока и двухмоторный "дуглас". Вышел на зажженные костры, приготовился бросать груз, и тут его запалил немецкий истребитель, загорелась правая плоскость. С земли кричали: "Прыгай! Прыгай!", будто летчики могли их услышать... А пилот поставил машину на круг, и другой летчик стал швырять из дверцы мешки с сухарями.

Немец-истребитель видит, что подстреленный русский не тянет в сторону, экипаж не выбрасывается на парашютах. Подобрался вплотную, а наши ребята внимания не обращают, знай себе кидают на землю мешки с сухарями. Ганс не выдержал такого презрения к смерти, поджег второй мотор. "Дуглас" резко клюнул вниз, окутался черным дымом и с нарастающим ревом устремился к земле...

Пока готовили прорыв, перегруппировывали войска, судили-рядили, проявляли нерешительность и в армейском, и во фронтовом штабах, противник укреплял позиции в Долине Смерти. И потому попытки вышибить их оттуда были отбиты.

В последние дни в воздухе над 2-й ударной армией постоянно висело от сорока до шестидесяти "юнкереов". Построившись в круг, они пикировали с бомбовым грузом вниз, включая особые сирены для устрашения. Правда ущерб был только от прямых попаданий. Если бомба попадала в болото, она уходила в глубь трясины и там рвалась, вспучивая болото, и только. Но постоянный вой над головами, а главное, непроходящая у всех злость на пиратов, которые безнаказанно носились по небу, трепали и без того напряженные до предела нервы окруженцев.

Кольцо окружения стягивалось и становилось все уже. Потери от мин и снарядов росли, силы таяли, пространство, которое занимала армия, сокращалось, и все чаще скромные посылки с сухарями и патронами, сбрасываемые с неба, попадали в руки немцев.

24 июня дивизионный комиссар Зуев пришел на КП бригады вместе с майором государственной безопасности Шашковым. Оба осунувшиеся, с красными, воспаленными глазами. Пожимая руку Венцу, Александр Георгиевич улыбнулся.

— Готов к атаке, сосед? — спросил чекист комиссара бригады.

То, что они стали соседями, было более чем верно. Блиндаж генерала Власова вплотную примыкал к палаткам бригадной медсанроты.

— Давно был готов, — не сдержался Венец. — Чего вот только ждали три недели... Чтобы немец получше укрепился?

— Начальство критикует, — подмигнул Зуеву особист. — И не боится...

— Правильно делает, — сухо отозвался Зуев.

Он понимал: Шашков принял такой тон из желания подбодрить Венца. Но сам Иван Васильевич так устал в последние дни, что не мог заставить себя удерживаться на подобном уровне. Ему оставалось лишь удивляться неистребимому жизнелюбию Шашкова.

"Вот кому надо быть комиссаром, — все чаще думал об Александре Георгиевиче член Военного совета. — Впрочем, на его месте такие люди, как он, может быть, еще нужнее".

— Венец прав: преступно затянули с прорывом, — продолжал Зуев. — Это была ошибка. А ведь мы предлагали фронту, генералу Хозину, двинуться на прорыв немедленно. Пока же готовили операцию, согласовывали действия с

Коровниковым, а фронтовые штабисты носили оперативные планы на подпись начальству, противник укрепился в горловине.

— При их инженерной технике немцы за пару суток создают такую оборону, что без артиллерии ее не одолеть, — заметил Венец. — Потому мы с командиром и предлагали идти без промедления к Мясному Бору.

— Хорошо хоть, что часть раненых и беженцы прошли туда двадцать второго, — вздохнул Зуев. — Ребятишек до слез жалко. Они-то по какой вине мыкаются с нами?

— Ну, бывай, комиссар, — протянул руку Иосифу майор госбезопасности. — До свиданья на Большой земле.

Венец не знал, что больше никогда не увидит этих людей, но почему-то был уверен, что на самом деле встретится с ними после прорыва.

Общая попытка прорваться южнее Мясного Бора не удалась. Противник буквально воздвиг перед 305-й дивизией и 59-й бригадой непреодолимую завесу огня. А дым, гарь, копоть от свирепого пожара превратил рассвет в настоящую черную ночь. Оставшиеся в живых, уцелевшие в пекле, задыхаясь от чесночной вони — ее издавала начинка немецких снарядов и мин, отошли к Замошскому болоту. И уже там, между десятью и одиннадцатью часами, комдив-305 прислал в бригаду связного, чтоб сообщить: командарм Яковлев передал по радио директиву Ставки с требованием прекратить организованное сопротивление и выходить из окружения малыми [541] группами. А противник тем временем стал наседать со всех сторон.

Решили уходить в Замошское болото.

— Мы прикроем вас, — сказал Венцу безногий лейтенант, застрявший с такими же увечными в санроте. — Оставьте нам оружие и патроны...

Они остались, те, кто не мог идти с остальными, чтобы сдержать натиск немецких автоматчиков. Там были лежачие из бригадной санроты и медсанбата дивизии. Одни стреляли из пулеметов, другие поползли на минное поле, закрывавшее дорогу тем, кто мог еще выбраться отсюда.

— Нам все равно не уйти, — сказал пожилой вислоусый сержант с отхваченной выше колена правой ногой. — Но путь вам проложим... Аида, ребята!

Он ловко пополз вперед, помогая себе коленом целой ноги, и вскоре подорвался на мине. За ним поползли другие, принимая смерть ради боевых товарищей. По их кровавому следу двигались те, кто остался с комбригом и комиссаром. Они миновали проход, минное поле и оказались в примыкавшем к болоту лесу. Здесь еще около часа слышали выстрелы — это безрукие и

безногие герои, оставшиеся на древней, святой для советских людей земле, отбивались еще от наседавших врагов.

Наступила ночь. Она дала окруженцам возможность уйти в немецкий тыл. Наутро вышли к деревне Большое Замошье и натолкнулись на немцев, которые прочесывали опушку леса. Два десятка измученных людей вступили в бой, стараясь отойти в чащу. Когда оторвались от преследователей и отдышались, увидели: в группе осталось всего восемь человек.

-60-

Вот бесценный документ, подлинное свидетельство участника тех событий, написанное вскоре после трагедии 2-й ударной армии заместителем начальника Особого отдела Федором Горбовым. Письмо он адресовал брату майора госбезопасности Шашкову, чекисту Ленинградского фронта Николаю Шашкову:

"...Сегодня получил Ваше письмо и в тот же день спешу ответить. Во-первых: потеря Александра как для его семьи, так же как и для Вас, а равно и для меня является большой утратой-горем.

Я с Александром работал восемь месяцев, но мы жили и работали так, что вряд ли были такие друзья, как мы с ним. Мы всегда и везде были вместе, работали хорошо.

По сообщению ТАСС Вам было известно 30 июня о положении Второй ударной армии — вот это и есть наша родная армия. В январе месяце части нашей армии прорвали линию обороны противника по реке Волхов, глубоко вклинились в тыл врага и действовали все время по тылам. Были мы в пяти километрах от города Любань. В мае месяце по решению вышестоящего командования наша армия стала выходить в имеющийся небольшой коридор, к населенному [542] пункту Мясной Бор. В этом районе противник закрыл нам выход 30 мая, и мы целый день дрались в полном окруженье. У нас отсутствовала дорога, испытывали большой недостаток в продуктах питания и боеприпасах, питания получали незначительное количество только воздухом.

Превосходящие силы противника наше кольцо постепенно сжимали. Мы подвергались сильным ежедневным бомбардировкам с воздуха, кроме того, наш участок, который занимала армия, простреливался со всех сторон артминометным огнем, мы находились в огненном аду. 23 июня на командном пункте армии рота Особого отдела и его сотрудники вели усиленный бой с прорвавшимися автоматчиками.

24 июня в 23 часа командованием было принято решение вывести живую силу. Поэтому в 24 часа мы начали движение, вошли в полосу сильного заградительного огня противника и пошли на штурм. Примерно в 1 час 30 минут ночи Александр попал под обстрел миномета. Разрывом мины ему оторвало ногу и руку, осколком ранило в живот. Двигаться не мог, положение его было безнадежно по характеру ранения. Александр был еще в сознании, сказал нам: "Возьмите мой партбилет" — и застрелился. Вынести его тело никакой возможности не было, шли мы исключительно по топкому болоту, т. е. по пояс в грязи и воде под ураганным ружейно-пулеметно-минометным огнем. Александр остался на поле боя, а сейчас на временно занятой противником территории вместе с другими товарищами по службе, погибшими в это же время. Из Особого отдела армии больше половины сотрудников не вышло, а те, кто вышел, были ранены или больны от недоедания. Но сейчас понемногу поправляются.

Каких-либо вещей у Александра нет, мы их уничтожили еще до момента выхода. Его личные документы также уничтожены — сожжены вместе с другими документами сотрудников и командиров в момент создавшейся для нас тяжелой обстановки после гибели Александра. Но подоспевшая к нам группа бойцов положение исправила, и я вместе с уцелевшей группой работников через два — два с половиной часа вышел к передовым частям 59-й армии. После выхода двадцать дней находился в Москве, где приводил себя в порядок. Вот, товарищ Шашков, коротенько и все, что произошло с нами. Жене Александра я ничего не писал и не буду. Я ожидал Вашего письма и решил все сообщить через Вас. Высылаю письма, которые поступили на имя Александра. Один из моих сотрудников рассказал, что Александр выслал Вам групповой снимок руководящих работников наших отделов в армии, на котором, безусловно, нахожусь и я. Такой же снимок у меня пропал вместе с другими документами, уничтожен. Прошу, если представится возможность, переснять и выслать хотя бы один экземпляр на память. У Вас имеется желание встретиться со мной, я полагаю, это может осуществиться и обязательно должно быть скоро. Надо побить и прогнать всю гадину фашизма и прийти к Вам. Скоро мы это осуществим в действительности и будем у Вас. [543] В первых числах сентября Вы сможете меня увидеть, полагаю быть в Вашем городе, но это не точно. Коротенько все, что мог Вам написать.

С приветом к Вам Ф. Т. Горбов.

25 августа 1942 года".

В последних строках письма чекист Федор Горбов не случайно намекает на возможность скорого свидания с братом бывшего начальника, находящимся в осажденном Ленинграде. В самом разгаре была следующая операция возрожденной 2-й ударной — Сенявинская. На этот раз, столкнувшись с армией Манштейна и разгромив ее, 2-я ударная, а ею снова командовал генерал-лейтенант Клыков, все же не сумела деблокировать город. Но уже в январе 1943 года, при осуществлении операции "Искра", армия соединилась с войсками Ленинградского фронта. Так или иначе, но все мероприятия по освобождению колыбели революции были осуществлены этой многострадальной армией.

Кузнецову показалось, что он бредит, и Виктор поднял к лицу непослушную левую руку, правая намертво сжимала пистолет, с усилием протер глаза. Фантастическое нагромождение металлических балок, причудливо изогнутых над головой, не исчезало.

"Что это? — надсадно подумал Виктор. — Куда мы попали?"

— Ты видишь? — спросил он Сашу Летюшкина, молоденького наборщика, неотступно следовавшего за ответсекретарем редакции с того момента, как бросились они со всеми в Долину Смерти.

— Вижу, — прошептал Саша. — Это узкоколейка. Бывшая...

"А ведь верно", — усмехнулся Кузнецов. У парня больше здравого смысла, подумал он, нежели у него, бывалого бойца, увидевшего в перекрученных взрывами рельсах бог знает что.

Теперь у них есть ориентир. Надо не выпускать узкоколейку из вида. Она приведет их к свободе.

— Отойдем правее, Саша, — предложил спутнику Кузнецов. — По самой дороге идти нельзя, немцы ее пристреляли. Но и отделяться не стоит, там передний край их обороны.

Зардевшийся диск луны, висящей справа от Долины Смерти, стал еще больше, он будто наливался кровью, обильно пролитой в адском коридоре прорыва. Не верилось, что еще два-три часа тому назад тысячи людей устремились сюда, чтобы прорваться к своим. Где они, эти тысячи? Кто из них думал о такой участи еще днем, готовясь к последней атаке?..

Журналисты "Отваги" и те, кто набирал и печатал газету, не были исключением из правила, верили: их не оставят в беде, помогут выйти из вражеского кольца. Ждали бензовозов для редакционных машин, надеялись вывезти типографию,

об этом беспокоились больше, чем о себе. Пока выходит газета, они тоже не даром едят хлеб. Впрочем, о вкусе его люди давным-давно позабыли. [544]

"Отвага" вышла даже 23 июня, накануне прорыва. Ночью особо зверствовали молодчики из люфтваффе, нещадно бомбили редакцию, оказавшуюся в боевых порядках дивизии Буланова, и потому сводку Совинформбюро об итогах первого года войны не удалось принять целиком. Перед читателями извинились: мол, по независящим от редакции обстоятельствам. Вышла газета армрм, жить которой осталось одни сутки... Заготовил Кузнецов и материалы на очередной номер, макет его набросал. Среди его материалов и очерк Спехова о сестре милосердия Нине Карабановой. Собирался заслать в печатную машину, только утром пришел приказ: бензина не будет, всю технику уничтожить.

Вздохнул Кузнецов, собрал оттиски гранок и оригиналы в полевую сумку, а сам стал помогать швырять в болото детали печатных машин, шрифты из наборных касс. Потом подрывали безотказные полуторки, на которых почти шесть месяцев кочевала редакция по зимним, а потом и по весенне-летним фронтовым дорогам.

Так прекратила существование газета "Отвага". Остались только люди, три десятка журналистов и типографских рабочих. Маленький отряд гражданских по сути людей, одетых в военную форму.

И пришла ночь на 25 июня... В Долине Смерти сотворялось массовое убийство. Узкий проход вдоль узкоколейки и настила был окаймлен огневыми точками врага, из них кинжальными очередями били пулеметы, сметая тех, кто пробирался к Мясному Бору.

Едва редакционный отряд вошел в коридор, его тут же разбросало в стороны, и отныне каждый из газетчиков умирал в одиночку.

...Когда-то Перльмуттер любил раскрывать Ветхий Завет на случайной странице, вчитываясь в его текст, неторопливо обдумывать его.

Сейчас, когда он лежал, раненный, в заполнявшейся водой снарядной воронке, уткнувшись в разрытую землю и задыхаясь от острого чесночного запаха немецкой взрывчатки, Перльмуттер мысленно увидел страницу из Первой Книги Царств и прочитал угрожающие слова Яхве: "...Если отвратитесь вы и ваши сыновья от меня, и не будете блюсти мои заповеди, мои законы, которые я дал вам, и пойдете, будете служить другим богам и поклоняться им, то я истреблю Израиль с лица земли, которую я дал вам, и этот дом, который я освятил моему имени, я отброшу от моего лица, и будет Израиль притчей и насмешищем у всех народов".

Лазарь Перльмуттер, военный корреспондент газеты "Отвага", известный в мирное время специалист по творчеству Лермонтова, нашел в себе силы иронически усмехнуться. "Гитлер не верит в бога Яхве, но убивает потомков детей Израилевых", — подумал он. Взрыв мины, упавшей на кромку воронки, отбросил Перльмуттера на самое дно, и Лазарь умер.

-61-

...Женя Желтова выбилась из сил, упала на землю и обреченно зарыдала. Валентина Старченко потрясла ее за плечо.

— Надо идти, Женя, надо идти, — монотонно повторяла она, но девушка не поднималась.

Рядом с ними возникла мужская фигура, на рукаве гимнастерки Старченко заметила звезду, подняла глаза. Это был незнакомый комиссар.

— Ваша подруга ранена в ногу, — сказал он. — Давайте перевяжем ее. У меня остался пакет с бинтом...

"Запасливый какой, — удивилась Валентина. — Индивидуальный пакет сохранил..."

Зафурыкали над головами мины, комиссар и Старченко упали, накрыв собою Желтову. Завизжали осколки.

Валя поднялась, а комиссар не шевелился, так и лежал, придавив крупным телом Женю. Старченко с трудом отвалила его и увидела, что висок комиссара пробит осколком. Пакет с бинтом он держал в левой руке.

...Румянцев шел вместе с капитаном Смирновым из зенитного дивизиона. Их группа взяла правее, и это было до известной степени верное решение: справа от узкоколейки пройти было легче. Но капитан потерял ориентировку и слишком отклонился к южному фасу немецкой обороны, напоролся на огневые точки противника. Смирнов скомандовал: "Ложись! Огонь!" Гитлеровцы застрочили в ответ из автоматов. "Забирайте влево! Влево!" — надрывался капитан. Он оглянулся и увидел редактора газеты, который, смешно прицеливаясь через очки, стрелял из пистолета.

Отбиваясь, они в поредевшем составе выбрались к дороге.

— А где батальонный комиссар? — спросил Смирнов у старшины Щекина, не отставававшего от него ни на шаг.

— Там остался, — ответил Щекин. — Срезали комиссара, бандюги...

"...Furor teutonicus — отрешенно усмехнувшись, подумал Борис Бархаш, когда возникла перед ним огненная стена разрывов. — Их тевтонской ярости я

должен противопоставить нечто... Что именно? Русский воинственный дух! Правда, в жилах моих нет славянской крови... Но разве кровь, а не язык определяют характер личности?! Я же всегда мыслю на русском, и потому мне не страшен этот огонь впереди..."

Он понимал, что, размышляя на подобную тему, загоняет вовнутрь естественный страх перед тем, что творилось сейчас в Долине Смерти. Надо было идти туда, несмотря ни на что. И Борис Бархаш, растерявший в сумятице боя своих редакционных товарищей, шел на восток в толпе незнакомых ему красноармейцев и командиров.

Философ не знал, что справа от него прошли основной заградительный огонь два ярых спорщика и неразлучных друга, старики-добровольцы из народного ополчения, Левин и Раппопорт. Едва попав в адов коридор, они взялись за руки и шли непрестанно вперед, спотыкаясь и падая, снова поднимались и, поддерживая друг друга, пробирались к Мясному Бору. Уже погибли Валя Старченко и Женя Желтова, Ермакович и Разумиенко, Кочетков и Лычагин, а Борис Бархаш был все еще жив. Сейчас он думал о том, как после прорыва соберутся они вместе и пойдут рассказы о том, как им удалось уцелеть... Думал о тех, кто был теперь мертв, как о живых, [546] и до тех пор, пока они сохранялись в его памяти, эти люди и в самом деле продолжали существовать.

"Fuimus, — сказал себе Бархаш. — Мы были..."

И вдруг существо его пронизало предчувствие приближающейся собственной гибели. "Меня сейчас убьют", — спокойно подумал философ и поднялся во весь рост перед завалом из бревен разрушенной снарядами настильной дороги. Ему не хотелось принимать смерть безропотно, как бы согласившись с неизбежным концом. И Бархаш сдвинулся влево, чтобы обойти завал. Если его убьют, то пусть это случится в атаке, но ведь их нынешний прорыв — отнюдь не бегство из ловушки, а удар по врагу.

"Увидеть бы его лицо", — пожелал Бархаш и почувствовал, как поднимается в нем та русская одержимость — о ней он только читал или слышал от фронтовиков, — которая бросает людей на амбразуры. За горло руками, загрызть насмерть!

Миновав завал, Борис увидел немецкую огневую точку. Из нее методично бил пулемет, перекрывая дорогу. "Гранату бы!" — с тоскою подумал философ и бросился на пулемет, вскинув пистолет, в котором не было ни одной пули.

Очередь срезала его за полсотни шагов от пулемета.

Борис Бархаш лежал на спине и смотрел в небо, закрытое багровым дымом. Он жалел, что так и не успел приступить к давно задуманной книге о презумпции естественности в объяснении явлений космического характера. "Естественна ли моя нынешняя смерть? Как соотнести ее с теорией взаимной обусловленности явлений?" — подумал философ, и некоторое время он жил с этой мыслью.
Затем дух его отлетел.

-62-

Его не удивила пустынность венских улиц, которыми он проходил, неторопливо, цепко, художнически примериваясь к выдающимся шедеврам архитектуры, стараясь выделить те, к которым пока еще не обращался при исполнении заказов. Третьего дня мебельщик Блувбанд, брезгливо перебрав стопку гравюр, изготовленных Адольфом, поморщился и заметил, что херр Хитлер — первую букву его фамилии Блувбанд произносил подчеркнуто мягко — повторяет в картинках одно и то же — необходимо разнообразить сюжеты... Адольф хотел возразить: ведь его работ никто не видит. Блувбанд, как и другие мебельщики Вены, по тогдашней моде наклеивает его, Адольфа Гитлера, творения на ту часть шкафов, которой их поворачивают к стене. И что большего унижения для художника придумать невозможно... Вслух Гитлер не сказал ни слова. Только засопел чуть заметнее, но тут же подавил эту рефлекторную привычку, она предшествовала срыву в невротическую истерию, а перед Блувбандом давать выход магнетической энергии бессмысленно. Бог мебельщика, равно как и прочих детей Израилевых, — деньги.
Была середина дня, и пустынность Рингштрассе, площади Святого Стефана странно не удивляла художника. Безлюдным оказался и Бургплац, сиятельные конники которого показались Гитлеру неуместно большими. Он подумал, что следует включить в число новых гравюр мавзолей эрцгерцогини Христины, творение Кановы, и очутился вдруг перед церковью капуцинов, где находился склеп, в нем хоронили императоров, начиная с Матвея. Его и увидел Гитлер в небольшой группе людей, наряженных в царственные одежды. Они стояли друг за другом у входа, образуя смиренную очередь.
— Нам не сюда, молодой человек, — сказал Гитлеру крайний, и Адольф понял, что перед ним император Матвей. — Судя по всему, вы из последних отпрысков, а порядок такой: регистрация мертвецов начинается с недавно умерших.
— Но я еще живой! — воскликнул Гитлер.

— Вы так считаете? — сощурился монарх, — Нет, коль вы с нами, то живым не можете быть.

— Но кто это все придумал? — спросил Адольф.

— Новый император Германии. Ему почему-то нравится, чтобы его называли вождем. Вы из какой ветви Габсбургов?

— Не из какой, — буркнул Гитлер.

— Значит, вы Гогенцоллерн? — осведомился император Матвей. — Кто именно?

— Никто! — воскликнул вдруг истерически Гитлер, — Оставьте меня в покое... Никто!

От собственного крика фюрер проснулся и, постепенно возвращаясь сознанием в явь, подумал о том, что император Матвей неспроста задавал ему вопросы, связанные с происхождением вождя.

"Снова происки моих врагов, — с усталой отрешенностью подумал он, все еще не вернувшись до конца в реальный мир и не понимая, в каком времени и пространстве находится сейчас. — Надо сказать Генриху, пусть еще раз пройдется по цепочкам моей родословной".

К этой глухой еще ночи 3 июля 1942 года, когда Гитлер проснулся за четверть часа до намеченного им самим срока, чтобы лететь с аэродрома Ангербург вместе с Гальдером в Полтаву, нити, так или иначе ведущие к тайне происхождения фюрера, давным-давно были взяты Гиммлером на особый контроль. Любая утечка при этом исключалась, возможные источники ее без лишнего шума ликвидировались.

Главной опасностью было то белое, или иного цвета пятно, которое связывалось с внебрачным появлением отца фюрера, Алоиса Шикльгрубера, который стал Гитлером только тогда, когда его усыновил отчим. Его мать, сорокасемилетняя Мария Анна, вышла замуж за Георга Гидлера — буква "т" в его фамилии появилась позднее, — имея на руках пятилетнего парнишку Алоиса, которого перезрелая девица Шикльгрубер родила от неизвестного лица...

Генеалогию семьи Гитлеров дотошные, геральдисты проследили до пятнадцатого века, но все они спотыкались на одном-единственном факте — отец вождя, Алоис Шикльгрубер-Гитлер, не был родным сыном Георга. И тут возникла кощунственная версия о которой и помыслить было страшно. Враги рейха и германского народа осмеливались предполагать, что соблазнителем Марии Анны был некий еврей-коммивояжер... Версия стоила головы многим

болтунам, но существовать она существовала, и по ней выходило что радетель за чистоту арийской расы сам на четверть является иудеем...

Но это же немыслимо! От Гиммлера фюрер получал непременно только одно утверждение: грязные инсинуации. С происхождением Гитлера полный порядок, оно безупречно. Но вождь не верил Черному Генриху до конца. И довольно часто подумывал о том, что Гиммлер сосредоточил в одних руках слишком мощный сыскной и репрессивный аппарат.

...Пока они с Гальдером летели в Полтаву, в штаб группы армии "Юг", Гитлер втолковывал начальнику генерального штаба Гальдеру, что противника необходимо постоянно ослаблять с помощью небольших прорывов в ходе операций

— Основная цель операции "Блау" — уничтожение живой силы русских, — сказал Гитлер. — Не дать им уползти к Волге, брать в клещи отступающие дивизии и пресекать их попытки прорваться к главным силам!

— Передовые отряды ударной группы Вейхса подходят к Дону, мои фюрер, — сообщил начальник генштаба. — Но северный фланг, на воронежском направлении, активно контратакует 5-я танковая армия Брянского фронта...

— Я снимаю задачу по взятию Воронежа! — резко произнес фюрер. — Война — акт творчества, генерал... Это вдохновение, а не следование инструкциям, пусть и толково разработанным в вашем штабе. Нет необходимости брать Воронеж при любых обстоятельствах. Если обнаружится, что русские наступают с севера крупными силами, то пройдем к Дону южнее.

Прилетели в Полтаву к семи утра, фюрер немедленно открыл совещание. Он начал с трагической случайности, в результате которой майор Реихель попал в руки противника с важными документами по операции "Блау". Будем исходить из того, что русские знают о наших намерениях, — довольно спокойно примирился с этой неизбежностью фюрер. Чем это угрожает нам? Организовать сопротивление вермахту в ближайшее время противнику не удастся. Но есть опасность другого рода. Маршал Тимошенко стремится вывести Красную Армию из-под угрозы новых окружений. Наша задача состоит в том, чтобы не дать ему этого сделать. Ни в коем случае не допустить, чтобы Тимошенко ушел от разгрома! За его спиной обширные степные пространства, которые тот не замедлит использовать, чтобы оторваться от наших боевых порядков. Трудно рассчитывать на крупные прорывы, можно и увлечься, разомкнуть собственные коммуникации. Но дробить русские соединения небольшими охватами необходимо постоянно. О втором фронте англичан и американцев не

беспокойтесь, — продолжал фюрер. — Все их обещания Сталину на сорок второй год — блеф. Лучшее доказательство — поведение Черчилля. Поэтому судьба дает нам шанс, господа генералы... Существуют предельные пространственные возможности сопротивления России. Это нефтеносные районы, Ленинград и Москва. Как только они окажутся в наших руках — для противника наступит экономическая катастрофа.

В конце речи фюрер еще раз повторил: в ходе развития операции необходимы быстрые короткие прорывы, чтобы перемалывать русские армии по частям.

— Этот Тимошенко — опасный противник, — сказал Гитлер генералу Гальдеру, когда в девять утра они вылетели назад, в Ангербург. — Наше счастье, что Сталин перестал ему доверять после Харькова и, видимо, скоро отстранит от командования на юге. Тимошенко умеет отступать и может помешать нашей основной задаче...

— Отступать — русский стиль войны, — усмехнулся Гальдер.

— Неплохо сказано, генерал, — хмыкнул фюрер. — В устах бойкого журналиста это звучит... А вот вам, начальнику генерального штаба...

Гитлер не договорил. Его мысли переметнулись неожиданно на север.

— Как дела у новоиспеченного фельдмаршала? — спросил он о командующем группой армий фон Кюхлере, получившем высшее военное звание 30 июня.

— Волховский котел ликвидирован, — ответил Гальдер. — Идет планомерная зачистка, ликвидация разрозненных групп Второй ударной армии. Все готово к захвату Погостья. Мы направили туда первую роту новых танков.

Фюрер распорядился об этом на совещании с фон Кюхлером три дня назад и теперь довольно склонил голову. Тогда же он поставил задачу по очистке восточного берега Волхова, в порядке подготовки нового наступления на Ленинград с охватом его вторым кольцом блокады, но Кюхлер сказал, что для этого необходимо не менее четырех дивизий.

— Вы знакомы с учением Канта, генерал? — спросил вдруг Гитлер.

Гальдер удивленно взглянул на фюрера и пожал плечами, собираясь с ответом, но Гитлер нетерпеливо поднял руку, удерживая его.

— Ну да, — сказал вождь и усмехнулся, стараясь делать это сдержанно, чтобы пощадить самолюбие этого штабиста, он, как и все они, эти фанфароны в мундирах, болезненно мнителен, — вам, генерал, ни к чему мудрствования прусского философа. Военные люди руководствуются уставами.

— Почему же? — возразил Гальдер, который вовсе не собирался обижаться на фюрера, ибо считал его необузданной стихией, а сердиться на дожди, метель

или землетрясение попросту глупо. — На войне мы, например, руководствуемся категорическим императивом Канта, только, разумеется, со знаком минус.

"Он гораздо образованнее, нежели я предполагал, — подумал о Гальдере фюрер. — Пожалуй, даже слишком для начальника генерального штаба..." Последняя мысль показалась Гитлеру парадоксально-остроумной, и вождь с удовольствием подумал, как обнародует ее сегодня вечером за ужином в узком кругу товарищей по партии, его верных соратников. Они с таким же, как у него, недоверием относятся к генералитету.

Гитлер собирался уже оборвать разговор о Канте, которым хотел поразить солдафона Гальдера, ему расхотелось объяснять собственную провидческую манеру воевать через затверженный им наизусть софизм знаменитого кенигсбержца. Фюрер не знал, что любой софизм можно расценить как абсурд, имеющий вид истины, а парадокс как истину, имеющую вид абсурда... Тем не менее он догадался опустить кавычки и обратился к Гальдеру с изречением, в котором отсутствовала ссылка на авторство Иммануила Канта.

— Запомните, генерал, — сказал Гитлер, — одну бесспорную для творческих натур истину. Когда человеку необходимо действовать, а сложившиеся обстоятельства ему неясны и у него нет знания всех деталей ситуации, надо исходить из предположения и верить в то, что основанное на нем действие приведет к цели.

— Так вы поступили минувшей зимой, экселенц, — почти искренне заметил генерал-полковник.

"Повременю с его отставкой, — подумал Гитлер. — По крайней мере до тех пор, пока Паулюс не выйдет к Волге... Сталин вынужден будет пойти на мои условия. А главное из них в том, чтобы к западу от Урала не было ни одного советского солдата. Тогда и придут новые времена, в которых умникам типа Гальдера не будет места". Вслух же он сказал:

— Я знаю, Гальдер, что вы против моего намерения одновременно захватить Кавказ с его источниками нефти и совершить бросок к Волге. Ваши коллеги считают, что я воюю, как политик, иными словами, непрофессионально. Но подумайте, Гальдер, разве нынешняя война, когда сошлись лицом к лицу гигантские массы носителей столь различных духовных ценностей, разве такая война может вестись только военными средствами? Нет и еще раз нет! Мне кажется, что наши успехи в России были бы куда значительнее, если бы мы с самого начала учитывали в этом военном столкновении идей политический фактор.

Отношение Гальдера к фюреру было сложным. Он и боялся его, как и все, впрочем, генералы вермахта, и поддавался порой той гипнотической силе, что исходила от него, и ненавидел за дикое упрямство и самодурство, которое ставило германскую армию в опасное положение, презирал за некомпетентность и одновременно [551] восхищался прорывами провидческого мышления, которые приводили к конкретным результатам. И хотя приказ о повороте вермахта на Кавказ с одновременным маршем к Сталинграду не был отдан, Гальдер знал, что это в скором времени произойдет... Наступила пауза. Гитлер почти не спал в эту ночь, но был в великолепном расположении духа. И только нынешний сон не выходил у него из головы. Фюрер верил: за любым сновидением могут обнаружиться реальные причины, его вызвавшие. Но вопросы императора Матвея о происхождении вождя?.. Такого могущества, которым он обладает, не имел ни один Габсбург, ни один Гогенцоллерн! И кого-то он ему напоминает, этот давно почивший в бозе сюзерен...

— Мне кажется, — осторожно заметил Гальдер, не оставивший надежды отвлечь фюрера от опасного дробления боевых сил вермахта походом на Кавказ, — представляется возможным утверждать, экселенц, что главной целью нашего летнего наступления должен быть Сталинград...

"Вспомнил!" — едва не выкрикнул вождь, и ему стало вдруг страшно. Теперь он явственно сообразил, что в облике императора Матвея в очереди коронованных особ с ним разговаривал Сталин. "Зачем ему мое происхождение?" — мысленно спросил вождь, покрываясь липким противным потом. Даже самому себе не признавался Гитлер, как панически боится он этого человека.

-63-

Горело, казалось, все. Болото и отчекрыженный лес на нем, ярко освещенная огнем жердевая дорога, по которой им предстояло идти в невыносимую геенну, горело само небо, переставшее противиться немыслимому Армагедону. Пахло порохом, кровью и подгоревшим мясом. Ошеломленные, они с ужасом смотрели на клубящееся пламя. Бывалым бойцам, им не доводилось видеть ничего подобного прежде.

Они пытались прорваться влево, потом вправо, но всюду встречали их автоматные и пулеметные очереди, И тогда стала возникать неуверенность, затем страх и едва сдерживаемая паническая истерия.

Спокойным оставался только полковник Рогов. Начальник разведотдела, который вел не только собственных подчиненных, но и примкнувших к ним

бойцов сводного батальона, внимательно прислушивался к разрывам мин и снарядов, хладнокровно изучал обстановку, поглядывая на секундомер. Затем скомандовал: "За мной, перебежками, по жердевой дороге — марш!" А незадолго до того он сказал радисту Васильеву, прикомандированному для связи из штаба фронта, радисту Помошко, писарю Иванову, Виталию Ротштейну из второго отделения:

— У нас есть только один шанс вырваться отсюда, друзья. Я все рассчитал и поведу вас строго по науке. Но сначала поклянемся: не оставим друг друга на поругание фашистам в случае тяжелого ранения. Если ранят меня, не пытайтесь тащить... Возможно, буду без сознания, поэтому приказываю: застрелите, забрав партийный билет и другие документы. Живым не оставлять! Клянитесь...

Все молча наклонили головы.

— А теперь слушайте внимательно, — продолжал Александр Семенович, сделав короткую паузу и глубоко вздохнув. — Противник поставил перед нами заградительную завесу, кладет снаряды через полторы-две минуты. Часть снарядов уходит в болото, их осколки почти не разлетаются вокруг. В промежутках между залпами мы можем пробежать достаточное расстояние, чтобы оставить заградогонь за спиной. Слушать мои команды и четко их выполнять — в этом залог спасения. Встречавшихся на пути бойцов и командиров зовите с собой. Итак, приготовились... Вперед!

Едва грянул залп, они бросились бежать изо всех сил.

— Ложись! — крикнул Рогов.

Все залегли. Снаряды упали за их спинами. Полковник Рогов снова поднял людей и заставил точно по времени пройти рассчитанную им для них полосу жизни.

...Виталий Ротштейн и капитан Козлов, непосредственный его начальник, в последние недели оказались без работы. Всю зиму и весну ведали они агентурной разведкой, но когда армия готовится покинуть освобожденную территорию через узкое горлышко гигантского кувшина, забрасывать людей через линию фронта не имеет смысла. Разведдеятельность роговского отдела свелась практически к нулю, питать их стали на подобной же отметке. Это, разумеется, шутка, которую запустили в обиход их "соседи" из ведомства Шашкова, они-то всегда находили себе работу.

Кормили всех штабистов едино: тарелка супа в день. Блюдо готовилось из сухарных крошек, заправленных заячьей капустой. Расправившись с кушаньем,

балагуры бодро заявляли, что с такого рациона не помрешь. А вот женщину уж точно не захочешь. Но держались как надо, паники никакой, находились даже охотники острить.

Когда получили приказ на выход, Ротштейну и радисту Помошко начальник отдела поручил прикрывать отход штаба в место сосредоточения.

Был у Виталия в наличии автомат с двумя дисками, наган и граната-лимонка. На нем — хлопчатобумажный костюм, кирзовые сапоги и пилотка. Шинель Ротштейн решил оставить, приспособил брезентовый плащ, в таком плаще по июньскому времени способней. Не забыл захватить и полевую сумку, она у него при надобности вмещала и буханку хлеба, и кусок сала с фляжкой. В зимнее и весеннее время, когда Виталий мотался по переднему краю, обеспечивал заброску агентов во вражеский стан, сумка эта его выручала. Сейчас она съежилась и пустая болталась на боку, выбрасывать ее было жалко. Помошко тоже взял автомат, и одет радист был так же, как сослуживец, но поскольку плаща не имел, то захватил с собою шинель. А за спину повесил вещевой мешок с радиостанцией "Север" — редкой и потому ценной по тем временам аппаратурой.

Когда отходили в место сосредоточения, прошли сосновую рощу, забитую артиллерией. Особенно много было 152-миллиметровых пушек. Теперь уже становилось ясно, что они будут здесь брошены.

Едва добрались до места, налетели пикирующие бомбардировщики и стали густо класть бомбы. Небольшим осколком в сердце убило бойца Швечикова, служившего при разведотделе. Душевного парня, мастера на все руки, здесь любили. Его смерть незадолго до общего спасения показалась разведчикам роковой.

...Полсотни самолетов по очереди заходили на бомбометание, а Иванов сидел, опершись спиной о березку, и клевал носом. Спать хотелось неумолимо. До такой степени измотался в последние недели, что усталость подавила страх смерти, и мощные разрывы, сплошной рев устремлявшихся к земле "юнкерсов" не мешали ему проваливаться в сон, будто в безвозвратное небытие. Когда сознание возвращалось, перед глазами возникало сегодняшнее раннее утро. На короткое время воцарилась удивительно мирная тишина. Слышалось пение давно уж не слышимых ими птиц, весело горел костерок, на котором они с Швечиковым жгли секретные документы разведотдела. Иванову нравился мертвый теперь Швечиков. Потому он и вызвался копать парню могилу, неглубокую, на половину метра, иначе было нельзя: выступала вода. Чтоб

помягче лежать убитому, постелил еловых веток. Иванов достал из кармана гимнастерки комсомольский билет Швечикова, пробитый осколком, положил вместе со своим... Прощального салюта не было: берегли патроны.

...Сразу после налета полковнику Рогову стало известно, что ранен старший политрук Мотрошилов, комиссар его отдела.

— Сможешь двигаться? — коротко спросил Александр Семенович.

Мотрошилов виновато улыбнулся.

— Нога, — сказал он. — Вот угораздило меня... Совсем некстати.

Осколок ударил комиссара чуть ниже колена в правую ногу. Иванов хотел снять с Мотрошилова сапог, не сумел. Сквозь отверстие в голенище била кровь. "Эх!" — вскрикнул комиссар, отчаянно рванул обеими руками сапог, сдернул его и потерял сознание. Иванов вытащил брючной ремешок и перетянул ногу выше колена, разыскал врача. Мотрошилову сделали перевязку, наложили жгут. Он лежал в еловом шалаше случившегося рядом медсанбата и виновато улыбался Рогову.

— Понесем, — сказал Александр Семенович и тут же распорядился выделить шестерых красноармейцев.

Надо было готовить народ к прорыву. У Рогова под началом, как старшего группы, были помимо разведчиков и химики, и инженеры, и политотдел.

Когда он ушел, Мотрошилов сказал Иванову:

— Срежь голенища с моих сапог и заверни в них документы. Потом в вещмешок сложишь, а его мне под голову, авось так целее будут.

Иванов так и сделал, как просил комиссар, вовсе не думая о том, что вскоре Мотрошилова смертельно ранят в болоте, он и останется лежать с документами в вещмешке. А через тридцать пять лет их найдут вместе с останками комиссара новгородские следопыты.

...Когда уткнулись в заградительный огонь, Ротштейн понял, что держаться надо рядом с командиром. Уж очень был спокоен и невозмутим полковник Рогов. И Ротштейн видел, как многие пятились назад от артиллерийского шквала, брали влево от жердевки или вправо, а там болота, которыми не пройдешь за ту короткую, последнюю в Любаньской операции ночь. Так они и трудились вокруг начальника разведотдела — Ротштейн, Помошко, Васильев и Иванов. А Рогов, сверив направление по карте и компасу, колдовал над секундомером, затем объяснил, как действовать, и повел их в пекло. Другого пути не было.

...На краю гигантской воронки лежал на боку разбитый танк. Сама воронка почти доверху была заполнена людьми. Свалились сюда и те, кто бежал с Роговым. Минут пятнадцать лежали, набирались сил, а потом снова двинулись вперед.

Вокруг посерело, и трассирующие пули уже не казались разноцветными светлячками. На них вообще перестали обращать внимание. А Ротштейн так больше беспокоился, чтобы не отстать от Рогова и остальных. Он помогал идти раненой медсестре Фросе, которую подобрали по пути. Она же двигалась с трудом.

С каждой сотней шагов вокруг становилось все больше убитых и раненых. Запомнился Ротштейну лейтенант из интендантов, без обеих ног. Обрубки ног запеклись, и кровь остановилась.

— Заберите меня, — попросил лейтенант спокойным голосом, находясь в полном сознании.

Был он высокого роста, крупный мужчина, с породистым лицом.

— Лежи спокойно, — ответил ему Виталий, — мы уже на выходе. Пришлем за тобой санитаров.

— Бросаете нас, суки! — закричал вдруг лежавший под деревом майор.

Он выхватил пистолет и навел на Рогова. Пришлось обезоружить безумца.

Вскоре они поняли, что, кажется, вышли из огненного ада, и полковник Рогов объявил короткий привал. Фрося потеряла много крови, и прежде всего ее перевязали. Потом Александр Семенович вынул из вещмешка баночку рыбных консервов — хранил на крайний случай, вот он и наступил. Сначала покормили Фросю, потом мужики съели оставшееся.

Собрались было вновь идти, и вдруг медсестра закричала:

— Смотрите! Смотрите туда!

Она показывала в направлении, где находился Мясной Бор. На посветлевшем небе там возник вдруг всадник на белой лошади.

— Орловский рысак, — растерянно определил породу Рогов.

Остальные молчали. Всадник помаячил минуты две или три. Затем завыли снаряды, и там, где явилась белая лошадь, рвануло рыжее пламя, подбитое по краям черно-белым дымом.

— Пора идти, — сказал полковник.

...Когда дошли до Полисти, увидели на другом берегу красноармейца. Он размахивал автоматом, звал к себе: перебирайтесь, мол, через реку. Автомат у него был немецкий, это они хорошо рассмотрели, и медлили, подозревая

подвох. Слухи о том, что фашисты заманивают наших, даже в форму советскую переодеваются для этой цели, были распространены повсеместно.

— Возьмите меня на прицел, товарищ полковник, — попросил Иванов. — Если это ловушка, бейте сначала по мне...

С тем и пошел в воду — плавал он хорошо, опять же была на нем ватная телогрейка, поддержит на первых порах, но лесная река оказалась мелкой. Иванов ее одолел, выбрался на берег, переговорил с красноармейцем и подал остальным сигнал, что все пока в порядке. Медсестру Фросю тащили через Полнеть Васильев и Ротштейн.

На том берегу собрались вместе, и тогда полковник Рогов полез в карман гимнастерки, достал пакетик, развернул его и на глазах изумленных спутников принялся сворачивать самокрутку: табаку давно уже не было ни у кого, курили листья, мох и прочую гадость.

— Сохранил щепотку "Северной Пальмиры", — объяснил, улыбаясь, Рогов. — Для такого вот момента...

Александр Семенович закурил, затянулся два-три раза и передал самокрутку Иванову, тот, курнув, пустил ее по кругу. И стало уютнее, чудовищное напряжение последних недель спало.

Занимался рассвет.

...Они вышли на позиции минометчиков 59-й армии.

— С того света вернулись, — сказал командир роты, жалостливо глядя на мучеников 2-й ударной, такие, как эти, шли через его боевые порядки с середины ночи.

— Не задерживайтесь, товарищи, — вежливо выпроваживали окруженцев минометчики. — Вас ждут чуть подальше...

Неподалеку от переднего края стоял командующий фронтом Мерецков со свитой, спрашивал выходивших командиров: не видел ли кто генерала Власова? Едва Рогов подошел к нему, шатаясь от усталости, и поднял для рапорта руку к непокрытой голове — пилотку он уронил в Полнеть, — тот бросился к нему, обнял:

— Рад, — сказал он, — поздравляю... Где остальные? Что с Власовым?

Начальник разведотдела пожал плечами.

— Его группа двинулась вдоль узкоколейки, — с усилием разжимая губы, сказал он. — Вон там...

Рогов повернулся и показал в сторону Долины Смерти, где продолжала грохотать канонада. Мерецков судорожно вздохнул.

— Рогов, — сказал он, — я дам тебе тринадцать танков КВ... Сможешь доставить мне Власова? Живым или мертвым...

— Прямо сейчас не смогу, товарищ командующий, — сказал Александр Семенович. — Хоть немного поспать...

Кирилл Афанасьевич внимательно оглядел его. Только сейчас он понял, что вынуждены были испытать люди, которых встречал здесь всю ночь и в это вот уже переставшее быть ранним утро.

— Отдыхай, Рогов, — сказал он. — Нет на свете наград, которых вы не заслужили...

...Потом полковник Рогов узнал, что Мерецков послал для спасения генерала Власова танковую роту во главе с капитаном Бородой. Тот, пересаживаясь с подбитых под ним танков на невредимые пока, добрался будто бы до места последней стоянки штаба 2-й ударной, но не нашел там никого и вернулся.

Александр Семенович тогда недоверчиво хмыкнул. "Если не обнаружил никого из штабистов, так как же этот лихой парень, сумевший в оба конца пройти Долину Смерти, определил, что это именно и есть наш КП? — подумал Рогов. — Впрочем, не все ли равно... Там, где мы прошли в ту ночь, теперь уже никому больше спастись не удастся".

На второй день разведчик встретил политрука, лицо которого показалось ему знакомым.

— Мы где-то встречались? — спросил он.

— Так точно, товарищ полковник. Виктор Кузнецов, ответственный секретарь "Отваги", газеты Второй ударной армии.

— Нету больше нашей армии, Виктор Кузнецов, — вздохнул Рогов.

— Будет, — уверенно произнес журналист. — Восстанет из пепла...

— Это точно, — усмехнулся Александр Семенович. — Чего-чего, а фениксов у нас хватает... От Волги до Амура. А что у тебя в руке?

— Несу в политотдел, — сказал Кузнецов и протянул рапорт Рогову.

Тот прочитал: "Группа сотрудников газеты 2-й ударной армии "Отвага", вышедшая из окружения в ночь на 25 июня, сообщает вам следующее.

"Газета "Отвага" выходила в окружении ежедневно. Последний номер вышел 23 июня. Номер за 24-е был почти уже готов — гранки номера сохранены, когда в расположение редакции прорвались автоматчики. Редакция находилась в это время в 3 — 3,5 километрах от Новой Керести по жердевке. Гвардейцы 19-й дивизии Буланова занимали оборону в 800 метрах от нас по дороге Новая Кересть — Замошье. Продвинуться вперед в расположение КП армии, на

Дровяное Поле, мы не имели возможности, так как дорога была местами разбита бомбежками и сплошь забита машинами, вышедшими из района Новой Керести.

Материальная часть нашей типографии была уничтожена по устному приказанию начполитотдела Гаруса, полученному редактором Румянцевым 24 июня. Машины мы уничтожили лишь тогда, когда был уничтожен весь транспорт, стоявший перед нами.

Вечером 24 июня весь личный состав редакции и типографии присоединился к КП 57-й бригады. Отсюда мы отправились на прорыв. Вместе с нами шла группа зенитчиков 100 ОЗАД.

Из окружения вышли..."

Рогов взглянул на Кузнецова.

— Не густо, — сказал он. — Всего шесть человек... Вместе с тобой?

— Да, — ответил Кузнецов. — Холодков, начальник походного издательства, Иван Лаврентьевич... Черных, Каминер, Летюшкин, Раппопорт и Левин.

— А сколько было? Кузнецов опустил голову.

— Много, — глухо сказал он.

Александр Семенович заглянул в рапорт.

"Ничего неизвестно о следующих товарищах, — писал ответственный секретарь. — Румянцев, Бархаш, Лихачев, Чазов, Перльмуттер, Разумиенко, Ермакович, Желтова, Старченко, Голубев, Купорев, Жестов, Смолин, Жуликов, Лакин, Елизаров, Субботин, Ятаев, Мачнев, Корочкин, Ятин..."

— А Залилова почему вычеркнул? — спросил начальник разведки.

— Говорят, что видели его уже на этой стороне...

— Надеешься, значит? Это хорошо. На войне без надежды нельзя. Да... Куда ж ты теперь подашься, парень?

— Новую редакцию создавать.

— Не хочешь ко мне в разведку? Нам нужны соображающие люди.

— Я ведь журналист...

— Тем более. Такие особенно подходят. Ты подумай... Прощай пока. Может быть, и поработаем когда-нибудь вместе.

-64-

Из письма новгородского следопыта Николая Ивановича Орлова председателю Совета ветеранов 92-й стрелковой дивизии В. И. Белокопытову.

"...Вот уже два десятилетия собираю материал о действиях 2-й ударной в январе — июне 42-го года. Вы, наверно, знаете, что эту армию связывают те, кому это выгодно, с именем последнего командующего — А. А. Власова: раз, мол, Власов стал предателем, то и армию нечего вспоминать. Но историю не переделаешь... Сейчас совершенно очевидно, что 2-я ударная армия, несмотря на ее тогдашнее поражение, в труднейшее для страны время спасла Ленинград. Как известно из немецких источников, их войска готовились к последнему штурму города. И вот в это-то время и началось наступление Волховского фронта. 2-я ударная оттянула непосредственно на себя шестнадцать дивизий врага... [558]

Вам можно не рассказывать про голод в мае — июне, сами это пережили. Но знали ли вы о раненых, располагавшихся вдоль Узкоколейки? Их было двенадцать тысяч человек, оставленных врагу... Это в районе между реками Глушица и Кересть, около так называемого Дровяного Поля.

Что сейчас представляет из себя Мясной Бор? Поселок за последние годы отстроился. Сейчас это отделение совхоза "Красный ударник". Из старых жителей осталось пять-шесть семей. Но в лесах, вернее в том, что от них осталось, и в Долине Смерти до сих пор еще пахнет войной.

В этом году по просьбе военкомата я работал там с ребятами-десантниками. Только у речушки Полнеть, это как раз в центре прорыва, мы нашли около семи тысяч единиц боеприпасов и собрали останки пятисот — шестисот воинов, хотя в этих местах работы велись уже много лет. Мне лично удалось установить по медальонам около четырехсот фамилий погибших и сообщить их родственникам.

Вблизи станции Мясной Бор, в радиусе пяти-шести километров, почти вся военная техника вывезена, но в районе Новой Керести по бывшим настильным дорогам осталось много сгоревших и взорванных автомашин, тракторов и другой техники. Деревни Новая Кересть, Теремец Курляндский, Любино Поле, Кречно и другие не восстановлены.

...В Мясном Бору есть три больших братских кладбища. На них стоят памятники. Несколько памятников сделал наш клуб "Сокол". Один из них погибшим воинам 18-го артполка РГК. Там же соорудили памятники войнам 2-й ударной, 59-й и 52-й армий, погибшим в Долине Смерти. Есть памятники у реки Полисть.

...В этом году два раза прошел по местам боев 42-го года, водил ребят из школ. Один поход был лыжный, а второй по весне... Девятого мая народу здесь

бывает очень много. Мы по традиции ежегодно перед Днем Победы ездим сюда и приводим в порядок захоронения. А 9 Мая вместе с ветеранами приезжают взрослые и школьники, идущие по следам родственников и земляков.

У меня выросла неплохая смена, особенно мои сыновья. В прошлом году они сделали много находок, обнаружили медальоны воинов из 305-й стрелковой дивизии. Она держала оборону от Теремца Курляндского через Малое Замошье и до реки Кересть на левом фланге прорыва, если смотреть от Мясного Бора в сторону Новой Керести.

Одна находка уникальная. В неглубокой воронке на болоте в пяти километрах от Мясного Бора, на стыке обороны 1001-го и 1002-го стрелковых полков 305-й дивизии, обнаружили останки погибших и среди останков чудом сохранившийся вещмешок. Я пишу "чудом", и это действительно чудо. Как будто не прошло тридцати пяти лет с той поры. В вещмешке находились три носовых платка, три подворотничка и кисет. Их отстирали от болотной грязи, они нисколько не истлели. Там же находился цинк из-под патронов, в который были вложены голенища хромовых сапог. Подошвы срезаны, голенища засунуты друг в друга. А внутри чехол от гранаты Ф-1, в кем лежали: партийный билет, расчетная книжка, командирское удостоверение, две сберегательные книжки на имя жены, квитанции переводов, характеристика. Удостоверение выдано 23 июня 1941 года Военно-политическим училищем им. В. И. Ленина, ныне академия. И еще 3600 рублей денег. Последняя получка отмечена в партбилете и расчетной книжке. Деньги получены за май и июнь 1942 года. Находились там и фотографии, на которых изображен сам владелец документов, встречи с делегациями, приехавшими на фронт. Фотографии дочерей трех и пяти лет, очень похожих на владельца партбилета. Все это принадлежало комиссару разведотдела 2-й ударной армии Василию Ивановичу Мотрошилову. Мы сразу нашли его родных... В присутствии дочерей и сестры Василия Ивановича его останки были торжественно захоронены на братском кладбище Мясного Бора.

Мои ребята обнаружили останки начальника инженерной службы 305-й стрелковой дивизии майора Бисноватого. Родственников пока найти не удалось. Известно, что жили они в Киеве. В этом году в том же районе Валера и Саша Орловы вблизи немецких огневых точек нашли останки командиров 19-й гвардейской стрелковой дивизии. Несколько лет тому назад мне писал ординарец полковника С. И. Буланова, командира 19-й гвардейской, о последних минутах выхода. Ординарец, будучи раненным, попал в плен, но

смерть комдива Буланова, заместителя начальника штаба, и замкомдива по тылу подполковника Степанова, а также группы командиров штаба 19-й гвардейской помнит хорошо. Сам он жил в Новосибирске, а сейчас его нет, умер... Так вот, по всем данным, это и есть та группа. Среди останков найдены пистолеты ТТ, браунинг. У одного из погибших сохранилась записка к жене. И нам сразу удалось найти в Томской области жену и сына погибшего. Это артиллерист из 19-й гвардейской дивизии, бывшей 366-й стрелковой, П. И. Салтыков. Его сын приезжал на похороны отца.

Среди останков найдена печать 366-й дивизии. Очевидно, не успели сменить печать на 19-ю гвардейскую, началось окружение.

Месяц тому назад ребята нашли еще одного командира. Это видно по оружию и амуниции. У него был угловой штамп и печать автодорожного отдела 2-й ударной армии. Кроме печати у командиров из группы Буланова найдены авторучки, две штабные лупы, различные расчетные линейки и другое. Одной из найденных авторучек — она тридцать пять лет пролежала в болоте — я и написал вам это письмо... 15 сентября 1977 года".

-65-

Варю Муханкину, военфельдшера, перевели в отдельный батальон связи 259-й стрелковой дивизии 28 января 1942 года, в самый разгар наступления 2-й ударной.

Стояли лютые морозы. Спасались тем, что на ночь садились спинами друг к другу, образовывался большой круг. Кто выпадал из него невзначай, больше не просыпался.

Как-то припозднилась Варюха-горюха, прошел накануне жестокий бой, случилось много раненых. Допоздна отправляла их в тыл фельдшерица, стало вовсе темно, когда она примостилась сбоку к спаянному человеческим теплом кругу. И стала замерзать. Но до конца не закоченела, заметили ее связисты и взяли в середку круга, отогрели.

...Зима длилась долго. Насмотрелась смертей Варвара, но самое жуткое ждало ее впереди, когда здоровые и недавно крепкие еще бойцы, закаленные до небывалой стойкости, стали вдруг умирать от голода. Чтобы спасти их, медики, хотя они и сами почти ничего не ели, изобретали разные способы поддержать страдающих от жестокого недоедания людей. И кору с липы толкли, и кислые трилистники собирали, почки березовые шли в дело, а прошлогодняя клюква и появившиеся в мае сморчки проходили уже по разряду деликатеса.

Потом собирались идти на прорыв. Но идти могли те, кто сохранил еще силы, а в армии скопились тысячи лежачих раненых. Вывезти их не было уже никакой возможности. Так и замерли под открытым небом госпитали и медсанбаты — гигантские скопища изувеченных, но живых пока людей, — которым суждено было вскоре превратиться в чудовищные могильники.

И тут возникла еще одна трагедия войны. Медики физически в состоянии были идти на прорыв, но согласно инструкции врачам и медицинским сестрам полагалось быть при подопечных. Отойти от раненых они были не в состоянии, и оставалось им ждать, когда появятся пришельцы и решат их судьбу.

Варваре только-только двадцать минуло, и умирать девушке не хотелось... А кому хочется и в более зрелом возрасте?

Когда пошли в Долину Смерти, наткнулись на убитую ровесницу Варвары. Недавно, видать, поразила мина красивую сестричку.

— Снимем с нее, Варюха, сапожки, — сказал ей усатый сержант-телефонист. — Хромовые ведь, новенькие еще. Твои, товарищ лейтенант медицинской службы, вовсе развалились, каши просят.

— Чтоб я да мертвую подругу разула?! — возмутилась фельдшерица. — Сколько сама проживу — не знаю... Но к своим и босиком выйду.

Напророчила Варвара. Так и шла потом без сапог, подошвы их отвалились, не один десяток километров по немецким тылам, ибо выйти их отряду к Мясному Бору не удалось. Вел группу подполковник Стукаченко, командир 944-го полка. Поначалу взяли курс на Лесопункт, на северо-запад, там наткнулись на засаду, потеряли половину бойцов, осталось их две дюжины всего. Подались западнее, к Чудову, две недели туда пробирались, а когда подошли, Стукаченко послал Варвару с другой медсестрой на разведку: женскому полу, дескать, сподручней.

Добрались они до тракта из Новгорода на Чудово и увидели, что заполнен он немецкими войсками. Вернулись девушки, доложили, что здесь не пройти, а подполковник им говорит: "Отдохните, дочки, часок-полтора в кустах..." Заснули мертвецким сном. Разбудили их ударами сапог в бок. Встрепенулась Варвара — в лицо ей ствол автомата направлен, кругом немцы гогочут, видать, смешны им были эти ошалевшие от страха русские Катюши.

...Воевать военврач Тамара Смолина, выпускница 2-го Московского мединститута начала в сентябре тридцать девятого года. Тогда это и не войной вовсе называлось, а Освободительным походом, обусловленным соглашением с Гитлером от 23 августа. Завершился поход передачей ровно половины старой

Польши под нашу руку и заключением Договора о границах и дружбе с нацистской Германией. Но едва Смолина вернулась с военной службы домой, как началась заварушка с северными соседями, которых, как и белополяков, называли тоже почему-то белофиннами. Тут пробыла она до мая сорокового, лечила раненых и обмороженных, последних было едва ли не больше первых. В это же время и специализацию прошла, превратилась из детского врача во фронтового хирурга. Потому-то и была, согласно предписанию, призвана в Красную Армию на второй день Отечественной войны.

И начались армейские испытания — передряги в составе медсанбата, приданного 259-й стрелковой дивизии. Адская работа в условиях жестоких боев на Западном фронте, потом Валдай, Малая Вишера, Старая Русса — это уже Северо-Западный фронт генерала Курочкина. В январе 1942 года началась для Смолиной мясноборовская эпопея, состоявшая из множества таких немыслимых эпизодов, что те, кому не довелось побывать там, могут и засомневаться в их возможности. И колодцы, забитые трупами испанцев из Голубой дивизии, их побросали туда франкисты при отступлении. И немыслимая усталость от нескончаемого потока хирургических операций. И первобытные условия существования, когда во всем был недостаток, от медикаментов и продуктов до самой обычной воды, без которой невозможна никакая санитария.

Тамара обрабатывала раненого бойца, ей помогали фельдшер и два санитара, когда начался авианалет. Бомба разорвалась рядом, воздушная волна обрушила на их палатку огромную ель. Боец был убит наповал, хирург получила контузию и закрытый перелом левой ключицы.

И снова, едва оклемавшись, работала у операционного стола. Потом совсем стало худо. Раненые прибывали тысячами. Тех, кто мог ходить, приводили группами по двадцать человек. Медики валились с ног от усталости. А потом начал мучить голод...

19 июня медики собрались на партийное собрание, принимали кандидатами в члены ВКП(б) врачей, медицинских сестер и санитаров. Многим из них жить осталось всего несколько дней.

Перед наступлением тяжелораненых перенесли на носилках к узкоколейке, надеялись, что вывезут их по дороге, а ходячих повели младший лейтенант Карманов и сестра Леля Романова. Ночью упал на землю туман, и все радовались ему, пошли в Долину Смерти с надеждой. Но вскоре нарвались на автоматный огонь, его вели, казалось, со всех сторон. Тут и мины полетели, а

сверху посыпались бомбы. Осколки срезали верхние части деревьев, они падали вниз, на укрывшихся под стволами людей. Вскоре от леса остались лишь голые стволы и свежие воронки между ними. Кто-то крикнул: "Перебежать в новые воронки!" Бойцы добирались до развороченной земли, надеясь укрыться, создавая трагические накопители. В них летели мины с близких минометных позиций врага и превращали воронки в братские могилы.

И вдруг наступила оглушительная тишина, будто оборвалось что-то... Рявкнули громкоговорители, развешанные на стволах вдоль адского коридора:

— Сопротивление бесполезно! Вы окружены! Бросайте оружие! Сдавшимся в плен гарантируем жизнь и отправку домой...

Потом грянула песня "Вот мчится тройка удалая по Волге-матушке зимой". Тогда-то и стало жутко... Хотя сдаваться никто не собирался, а вот обида горькая вдруг возникла. Где же помощь с востока? Почему никто руку не протянет?

Осталось их человек двадцать во главе с командиром медсанбата Краевым. Тут же и начсандив Цветков, зубной врач Ида Франк, начальник аптеки, санврач, несколько бойцов. Днями бродили они по немецкому тылу, прячась от автоматчиков в болотах. 5 июля вышли на патруль, зачищавший котел. Возникла перестрелка, были убитые и раненые. А Тамара Смолина попала в плен. Окружили ее солдаты, сорвали с берета звезду, шпалы с петлиц.

— Я доктор, — сказала Тамара и показала на медицинскую эмблему.

Змея, обвивавшая чашу, и выручила ее — символ, известный во всем мире.

Из плена Тамаре удалось бежать в октябре сорок третьего, вместе с медсестрой Юлей Астафьевой. Случилось это уже в Западной Белоруссии. Попали они в партизанскую бригаду имени Гастелло. Довоевала уже в звании народного мстителя, многих партизан поставила на ноги.

...Судьбы у них были разные, у девушек и молодых женщин из госпиталей и медсанбатов 2-й ударной. Кое-кому удалось выбраться из окружения, но большинство погибло или попало в плен, всем заправлял бесстрастный случай.

Настя Еремина и сестра милосердия Валентина Тихонюк служили в одном медсанбате, который был придан 92-й Дальневосточной стрелковой дивизии. Хирург Еремина попала в плен, а затем ей удалось с Полиной Журавлевой и Ольгой Ковальчук сбежать к партизанам и там заслужить орден Красного Знамени. А Валентина Тихонюк вышла к Мясному Бору. Кто сделал за них этот расклад?

...Санитарные машины, заполненные тяжелоранеными, стояли вереницей по настланной дороге. Были здесь и открытые грузовики, и штабные автобусы, и боевая техника — все ждали бензовозов, но горючего подвижной состав так и не дождался... И тогда артиллеристы, у которых осталась еще малая толика снарядов, получили приказ выпустить их по длинной колонне машин, замерших в ожидании своей участи на деревянной дороге. Теперь их судьба была решена — не достаться врагу в целости и сохранности. Технике, как и людям, ни под каким видом нельзя было сдаваться в плен.

Теперь уже не установить — знали те, кто развернул стволы орудий и ударил по колонне, что в санитарных машинах лежат раненые соотечественники? Да и значения, наверно, эта истина не имеет. Но Валя Тихонюк обомлела, когда на ее глазах снаряд ударил точно в красный крест на зеленом борту специального газика и разметал машину вдребезги. Били прицельно, прямой наводкой.

Случившийся рядом военврач бросился к артиллеристам, размахивая наганом, безбожно проклиная орудийную прислугу. Молоденький лейтенант перехватил руку доктора с наганом, отобрал оружие и сунул в кобуру военврачу. А тот враз обессилел, порыв его угас, он сел на сваленное дерево, спрятал лицо в ладонях. Валентина подошла к командиру медсанбата, по-матерински прижала его голову к груди.

— Может быть, так и надо, — пробормотал военврач. — Мы ведь все равно их здесь оставим...

В начале мая Валентину перевели в санитарную роту 317-го стрелкового полка. А 21 мая полк с боями стал отступать из района деревни Ольховка, поставляя в санроту массу раненых. Врачи Кретинин, Камшалов, Александра Михайловна Мокрова, фельдшеры Тамара Дмитриева и Таня Пашкова трудились не покладая рук. 9 июня Валю Тихонюк ударил в пах осколок снаряда, и ее отправили в медсанбат. Отлежав там четыре дня и отказавшись от операции, Валентина потребовала возвращения в полк.

Потом был лес у Новой Керести, собирали щавель на огородах. Его никто по нынешней весне не сеял, сам вырос, выручая голодных бойцов. К 23 июня переместились к Дровяному Полю, и тут началась невиданная бомбежка. Укрыться было негде, лес срезало, будто прошлась по нему коса злобного великана, лес больше не прятал человека, не охранял его, как это издревле водилось в здешних местах.

Опять же неизбывный голод, и полчища комаров. Вся эта огненная свистопляска, безжалостная к людям, была маленьким кровопийцам нипочем...

Прежние связи обрывались, терялось взаимодействие и между частями гигантского организма армии, и между отдельными людьми, ранее обусловленные совместной службой.

Осталась Валя вдвоем с Таней Дашковой, и к утру 24 июня той удалось раздобыть у бойцов кусочек вареной конины, из тех последних лошадок, что погибли от воздушного налета накануне. Уселись подруги под кустом, чтоб подкрепиться, и услыхали вдруг шорох за их спинами. Обернулись и видят, как выходит к ним мальчик лет пяти или шести, жадно смотрит на мясо в руках у Лашковой.

— Ах ты, сиротинушка, — сказала Валентина, — Иди сюда, мы поделимся с тобой...

Тут и капитан Василий Иванович Небольсин возник, начальник одной службы их части.

— Ты откуда, сынок? — спросил он мальчонку.

— Из Ольховки я, зовут меня Вася.

— А попал сюда как?

— Шел с тетей к своим... Тетю потерял, когда бомбить стали. Мамку немцы убили. Сестренку они в сарай посадили. Мамка хлеба ей понесла, а немец застрелил.

Поел Вася конины, потом снова посыпались с неба бомбы, и больше они мальчонку не видали... А вечером начался последний поход. Зрелище было кошмарным. Пошли все, кто мог хоть как-то передвигаться. Раненые скакали на костылях, застревавших между бревен настила, падали с него в болото, снова карабкались на дорогу. Иные ползли, все еще надеясь, что им удастся выбраться из ада. На пути лежал труп девушки. Его обходили или равнодушно перешагивали, двигаясь как лунатики, одержимые одним страстным желанием: выйти. Когда колонна, в которой находились подруги, подошла к реке, немцы открыли бешеный огонь из минометов и пушек. Люди рассыпались в стороны от дороги, утопая в болотной трясине. Девушки повернули назад и встретились с сослуживцами из медсанбата. Тут были Валентина Сорокина, Нина Митрофанова, врачи Лычева и политрук Новиков. Сели на кочки и стали решать, что же им теперь делать.

— Валя, — обратилась ее тезка Сорокина к Тихонюк, — у тебя пистолет с полной обоймой. Отойдем в ельник и застрелимся по очереди. Лучше так, чем в плен...

— Застрелиться никогда не поздно, — ответила Тихонюк, а про себя подумала: "Видно, и поступим по-твоему, когда потеряем последнюю надежду". Сама она ее не теряла.

Вдруг слева от них, из того ельника, который Сорокина облюбовала, вышла группа бойцов и командиров. Это были гвардейцы из 19-й дивизии,

— Можно с вами? — спросили девушки.

— Даже нужно, красавицы, — ответили им бойцы. Они перешли через узкоколейку, двигались, забирая левее, к северу. Подошли к лесному островку, сухому месту, тут к ним еще человек сорок примкнуло. Потом встретили бесхозную лошадь, застрелили ее, быстро разделали. Валя Сорокина и Таня Лашкова нарезали ведро мяса, стали готовить костер. Но появился незнакомый командир и приказал занять круговую оборону. Только патронов для этого ни у кого уже не было.

Гвардейцы подались из леса, девушки снова потянулись за ними. Тут и встретили медсанбатовского врача — Марианну Францевну Абарбанель. Она к ним присоединилась, пошла впереди. За нею прихрамывала — рана-то в паху! — Валя Тихонюк, потом Сорокина с ведром в руке, а в нем бесценная, так и не сваренная конина. Красноармейцы шли быстро, подруги едва за ними поспевали. Снова вышли на узкоколейку. Тихонюк оглянулась — нет позади Сорокиной. Спутники же ушли далеко. Валентина осталась одна. Что делать? Раздались автоматные очереди. Одна из пуль обожгла Вале висок...

Постепенно из отставших бойцов образовалась группа.

— Проход в Долину Смерти, кажется, закрыт, — сказал младший лейтенант Николай Долгих, сибиряк из Томска, взявший на себя руководство. Были среди них командиры званием повыше, но получилось так, что именно он, человек с одним кубарем в петлице, стал вожаком. — Будем искать слабину в их обороне...

Шесть суток скитались они по болотам. Один день, 29 июня, жаркий, с комарами, провели в лесу между двух немецких батарей. В середине дня оккупанты открыли стрельбу по русским артиллерийским позициям. Оттуда прилетали ответные снаряды, они падали вокруг спрятавшихся окруженцев, решивших, что пришел их последний час. Обидно было помереть от залпов собственных пушек. Слава богу, на этот раз обошлось, никого даже не поцарапало.

Около полуночи решили продвинуться к переднему краю, по звукам боя чувствовалось, что край недалеко. Но идти было опасно, пришлось ползти до

шоссейной дороги. Миновали "железку", перед ними лежало вспаханное поле, километра два протяженностью. Только ступили на то поле, как по ним открыли огонь, видимо, засекли наблюдатели. Николай Долгих, велев всем лечь и притаиться, ловко пополз к огневой позиции немцев. Ему удалось незаметно подобраться к стрелковым ячейкам. Сибиряк одного за другим убил ножом троих гансов.

Снова поползли. Обогнули минное поле и колючую спираль. Часам к пяти утра подобрались к переднему краю нашей обороны, увидели блиндажи.

Николай Долгих закричал:

— Не стреляйте! Свои! Выходим из окружения!

Валя Тихонюк поднялась во весь рост и, хромая, пошла вперед. Путь ей преградила канава с водой. Девушка хотела ее перепрыгнуть, но оступилась, упала в канаву и потеряла сознание. Очнулась она в землянке, услышала родную русскую речь и поняла, что муки окружения для нее позади...

-66-

Когда Степан Чекин убедился, что генералу Антюфееву и комиссару Гладышко уже ничем помочь не может, он вспомнил о командире. "Может, он жив", — с надеждой подумал сержант и затаился, выжидая, пока не уйдут гитлеровцы. А потом, помедлив еще немного, внимательно огляделся и стал подбираться к Кружилину. Командир роты лежал ничком, забросанный комьями земли, неподвижный. Степан подполз к старшему лейтенанту и принялся очищать его от комьев земли.

И тут командир шевельнулся, пробормотал нечто, повел головой, согнул разбросанные в стороны руки и попытался, оперевшись на них, приподняться. Но сил у него не хватило и, глухо застонав, снова припал к земле.

— Товарищ старший лейтенант! — зашептал ему в ухо Чекин. — Надо подняться, уходить отсюда...

— Сейчас, Степа, сейчас, — с усилием проговорил Кружилин. — Помоги мне встать...

Кое-как они добрались до молодого ельника, зеленый язык которого подходил почти вплотную к переднему краю. У Олега кружилась голова, тело повиновалось с трудом, хотя никаких внешних повреждений осмотревший его Степан не нашел. Близкий взрыв контузил старшего лейтенанта: слух и речь у него были в порядке, голова не тряслась, а вот сознание странно раздвоилось. Он видел себя и здесь, среди молодых елок, рядом с сержантом Чекиным,

терпеливо ожидавшим, что прикажет командир роты, и в аудитории университета, которую сменила затем землянка Особого отдела, где Александр Георгиевич Шашков ставил ему задачу на поиск в немецком тылу.

"Со мною что-то творится, — подумал Олег, возвращаясь в реальное бытие. — Это происходит в предсознании, на пороге бессознательного... Но так долго продолжаться не может... Я должен усилием воли прервать этот кошмар..."

— Мне хочется спать, сержант, — прошептал Кружилин, почувствовав, как расплывается в его глазах лицо Степана. — Стереги меня. Когда стемнеет — разбудишь...

Проснулся Кружилин другим человеком. Голова не кружилась, видений не возникало. Едва он пробудился, Чекин доложил ему, что их теперь стало пятеро.

— Два бойца и политрук из стрелковой бригады, товарищ старший лейтенант... Вышли на меня. Я их задержал, проверил документы и велел ждать, когда вы очнетесь.

— Молодец, Степа! Где они?

— Здесь мы, — послышался голос, и к Олегу подошел высокий боец. — Политрук Семен Коломиец. И еще красноармейцы Лебедев и Щербаков. Принимайте командование. У нас два автомата есть и по два диска к ним — немецкий патруль хлопнули.

— Это уже дело, — оживился Олег, — их оружием и будем сражаться. Надо уходить на запад. Здесь немцы ведут себя беспокойно, знают, что наши будут пробиваться через передний край.

— По дороге будем подбирать тех, кто бродит еще в лесу, — сказал Коломиец.

— Непременно, — согласился Олег. — И надо подумать о пропитании... Возьмем его там же, где вы взяли оружие.

К обеду следующего дня под началом старшего лейтенанта Кружилина уже была группа в два десятка бойцов и командиров из разных частей.

...Вместе с комбригом Писаренко и комиссаром Венцем осталось от 59-й отдельной стрелковой бригады восемь человек. Остались к западу от Долины Смерти, стало быть, в окружении. Среди них комиссар штаба Петр Есюткин, начальник Особого отдела Синев, Николай Баранов — ординарец комбрига, Володя Чупраков — ординарец Венца, и еще двое. Был поначалу с ними и начальник политотдела Канащенко. Но когда Венец предложил пробиваться через минное поле, тот заколебался.

— Давайте, — сказал он, — зароемся в мох и полежим под ним до наступления темноты... А там решим, что делать.

— Нет, — не согласился комиссар бригады. — Этого никак нельзя. Все равно нас немцы отыщут — у них собаки. Значит, без боя сдаться в плен?! Не согласен. Кто не боится смерти — за мной!

И повел людей через минное поле. На одной из мин Венец подорвался. Но отделался легко — его лишь оглушило. Спасибо Володя Чупраков выручил...

На той стороне ни Канащенко, ни ординарца его с ними не оказалось. "Неужели поддались соблазну зарыться в мох?" — подумал Венец. И долго потом стоял перед его глазами Иосиф Канащенко с рукою на перевязи. Много времени спустя доходили до него слухи, будто видели комиссара в лагере Кальвария. Оттуда Канащенко пытался бежать, оказался в Маутхаузене и с группой политработников был сожжен в начале сорок третьего года.

В первый же день окружения комиссар Венец стал вести краткий дневник. 25 июня сделал такую запись: "Конец 2-й УА. Я с товарищами ухожу в лес. Вечером напала группа немцев".

26 июня: "Кругом немецкие патрули. Сидим, ждем. Всю ночь над нами висел самолет. Наш... Ищет связи, но..."

В последующие ночи самолет снова появлялся в небе и грустно гудел мотором, будто звал окруженцев, надрывая сердце.

А пока им везло. В районе землянок тыла армии набрели на раненую лошадь и добили ее. Теперь у них была пища, теперь можно было жить дальше. Стали обсуждать возможные варианты действий.

— Выходить надо здесь, — предложил особист Синев.

Комбриг Писаренко покачал головой:

— Немцы этого только и ждут.

— Отойти в тыл и скрытно двигаться на юг, — подал голос Венец. — Путь будет долгим, зато он надежнее, чем этот короткий.

— А кто нас кормить будет? — усмехнулся Синев.

— Советские люди, — просто сказал Венец.

— Их там нет, на оккупированной территории, советских, — упорствовал Синев. — Кто остался, тот продался немцам за гороховый суп. Выдадут и нас не за понюх табаку.

— Не исключено, — согласился Писаренко. — Но будем действовать осторожно. Как командир бригады я за предложение комиссара.

Утром 27 июня Венец записал: "Принято решение двигаться к К. Ф. ночью".

Две заглавные буквы означали — Калининский фронт. До него было далеко, но расстояние их не пугало. Двинулись в путь. Правда, несколько дней комиссар записей в дневнике не делал, хотя они перешли за это время железную дорогу Новгород — Ленинград, а затем Витебскую, неподалеку от станции Оредеж. Выбирались на сухое место. Немцев тут было меньше, но кое-где стояли, пусть и небольшие, их гарнизоны.

2 июля: "Ночью двигались. Все время по болотам... К утру подошли к деревне Мыселки. В ней шесть гансов. Вступать в драку не стали".

За эти дни у Венца с комбригом вызрел новый план — двинуть в более глубокий тыл, где вообще нет немцев. Там подкормиться, окрепнуть и быстрым маршем — в район Старой Руссы, к переднему краю Северо-Западного фронта.

Синев к идее этой отнесся с большим сомнением, хотя собственного варианта не предложил. Венец учитывал, что их спутник принадлежал к иному ведомству, но смириться с расхлябанностью, в которую окончательно впал бригадный особист, не мог. Сейчас Синев опустился, превратился в злобного брюзгу, оспаривавшего уже просто из духа противоречия все их с комбригом идеи.

Конечно, физически они заметно сдали, особенно Есюткин и Чупраков, Трудно приходилось и Писаренко. Он как-то незаметно уступил первенство комиссару, которому не было еще и тридцати лет, только стойкости его мог позавидовать каждый.

3 июля: "Ночью наша группа организовала вылазку в деревню, где имеются гансы. Под носом у них хотели увести телку и лошадку. Но предали собаки. Завязалась перестрелка... Ушли без ничего. Отвратительное здесь население. Ни один не пустил в дом. Есть совсем нечего... Изнемогаем от голода. Ждем результатов разведки в другие деревни. Достать бы продуктов и как можно быстрее к своим..."

И был новый день, день удачный.

4 июля: "Ура! Сегодня нам повезло... Ночью добыли четырех животных в деревне Кошелево, доставили их через болото в лес. В живых оставили козу. Будет идти с нами".

Постепенно окруженцы выработали правила действий в необычных для них условиях. Узнали, что немцы боятся останавливаться в лесных поселках. Поэтому выбирали деревни, окруженные лесом, заходили в них с той стороны, где деревья подступают к избам вплотную. Они понимали, что сами крестьяне живут сейчас впроголодь. Поэтому сразу выясняли, где дом старосты-

бургомистра — у того скотины, награбленной в колхозном стаде, изрядно — и шли туда.

Вот и в Кошелеве реквизировали у старосты три овцы и козу. Затащили их в глухой лес, освежевали. Тут пригодились навыки Коли Баранова: он до войны работал забойщиком на мясокомбинате в Питере, стали жарить на костре баранину.

6 июля. "Прошли мало. Заболел Синев... По-моему, хитростью. Не желает принимать участие в переходе через линию фронта, намерен остаться в тылу и ждать окончания войны. Об этом Синев неоднократно говорил. Теперь нашел себе такого же друга. Ну что ж, пусть ждут. А мы пойдем на риск. Отдохнем — и в путь".

— Что же ты предлагаешь? — спросил у Синева командир бригады. — Наш план тебе не нравится — давай свой.

— Пойдем на Лугу и допытаемся связаться с подпольем, будем в нем действовать. И ждать на месте Красную Армию. Венец в сердцах сплюнул:

— И это говорит оперативный работник! Простительно моему Володе сказануть такое, ему восемнадцать лет. Кто же тебя там примет, Синев, без явки и пароля... Или ты будешь ходить по домам и объявлять: "Я из Особого отдела. Где тут у вас подпольщики прописаны?.." Смехота! Авантюра чистой воды, если что не похуже.

— Комиссар прав, — сказал Писаренко.

— Ага, — вскричал Синев, — он у нас всегда оказывается прав, а вы, комбриг, у него на побегушках! Он и прежних комбригов, Черника и Глазунова, подмял под себя и сейчас верховодит... В конце концов, у меня собственное начальство, и никаким комиссарам я не подчиняюсь.

— Никто тобой не командует, Синев, — спокойно ответил Венец. — Но поскольку ты с нами вместе — изволь подчиняться старшим.

— Я сам себе старший, — огрызнулся особист. — И не один... Со мной вон старший лейтенант согласен.

Старший лейтенант был из тех, что присоединились к ним позднее, в пути.

— Отсидеться решили? — зло сощурился Венец. — Конца войны за нашим горбом дожидаться? Подонки!

— Оставь их, комиссар, — устало махнул Писаренко. — Пусть сами определят судьбу.

Добрых отношений с Синевым у комиссара никогда не было, за всю совместную службу. Венец видел, как тот использует любую возможность, чтобы очернить

человека, не стесняется оклеветать того, с кем делит хлеб и соль. И это в условиях, когда жизнь любого висит на волоске и крайне важно чувствовать локоть и боевую поддержку товарища. Их отношения стали еще более натянутыми, когда в бригаде побывал член Военного совета армии Зуев. Он обошел с Венцем передний край, пообедал с ним, а на прощание доверительно сказал:

— Хочу предупредить, старший батальонный комиссар... Ваш Синев пишет на вас с комбригом компромат, всякие мелочи сообщает. Например, то, что у вас в блиндаже есть термос, из которого вы принимаете положенные сто граммов... Имеется такой?

— Так он же из него сам угощается, когда обедает с нами, — растерянно проговорил Венец. — Из этого самого термоса...

— Ну и гусь! — покачал головой Зуев. — Значит, не приглашайте больше за стол, держите Синева в рамках служебных отношений. Тем более, мне известно, что водочкой он сам любит баловаться. И хамеет при этом сверх меры. Поняли?

Венец не выдержал, рассказал об этом Петру Есюткину, комиссару штаба. Тот возмущаться не стал, только устроил вечеринку для Синева, тот напился до свинского состояния, открыл стрельбу из пистолета... Дело получило огласку, и тогда Шашков врезал ему на полную катушку. "Где они теперь? — подумал Венец, отойдя от костра, где произошла стычка с Синевым. — И Шашков, вынужденный терпеть у себя в подчинении таких "рыцарей", и дивизионный комиссар Зуев..."

Откуда ему было знать, что Александра Георгиевича давно уже нет в живых, а Иван Васильевич ушел с группой на север, обогнул Чудово и пытался выйти к своим через Октябрьскую железную дорогу. 17 июля в районе деревни Коломовка он подойдет к дорожным рабочим и попросит у них хлеба. Возможно, его люди оставались в ближнем лесу, а Зуев сам вызвался пойти на это рискованное предприятие. Бригадир рабочих оказался предателем. Он послал подручного сообщить немцам о появлении комиссара — Иван Васильевич был с ромбами в петлицах и при орденах.

Когда появились автоматчики, Зуев укрылся в кустах и стал отстреливаться сразу из двух пистолетов. Последнюю пулю он сберег для себя.

-67-

К Сталину пришел страх.

Это был не тот внезапный ужас, который он испытал, когда ранним утром 22 июня Молотов положил трубку телефона прямой связи, он говорил сейчас с Гитлером, и отрицательно покачал головой.

Тогда из предсознания вождя вырвалась и заполнила существо мысль о том, что он-таки проиграл. Этого Сталин вовсе [571] не предполагал, недопустимо долго блефуя в игре с таким единственно достойным для себя партнером, каковым Сталин считал фюрера германского народа.

Осознание неминуемого краха взорвалось в мозгу вождя, резко вскинулось артериальное давление, и хвативший Сталина апоплексический, по старинному выражению, удар на целую неделю вывел вождя из строя.

Последующая лихорадочная деятельность его, изобилующая ошибками, цена которых исчислялась миллионами человеческих жизней, определялась звериной страстью этого существа: во что бы то ни стало выжить... Животная основа чувства самосохранения отягощалась мстительным нетерпением, стремлением немедленно наказать Гитлера, уничтожить до конца и без остатка, как умел он, товарищ Сталин, расправляться с теми, кто не только противоречил "отцу народов", но даже предположительно мог мыслить несколько иначе.

Победа советских войск под Москвой вскружила Сталину голову. Он утвердился в намерении закончить войну уже в сорок втором году, о чем сообщил народу и Красной Армии в праздничном приказе к 23 февраля.

Но для столь радужного намерения не было никаких объективных данных. Теперь, в июле, это стало очевидным и для Сталина. И страх, который охватывал его все больше и больше, обретал форму душного ватного одеяла. Оно время от времени накрывало вождя с головой, и тогда становилось трудно дышать, путались мысли, приходило отчаяние от осознания суровой реальности: окончательно окружена 2-я ударная армия, оставлены Севастополь и Воронеж, противник форсировал Дон... Ростов, видимо, придется оставить, и тогда немцы беспрепятственно устремятся на Кавказ и к городу, названному его, Сталина, именем.

Стратегические неудачи Красной Армии весной и летом 1942 года во многом объяснялись тем, что Сталин безоговорочно поверил дезинформации гитлеровцев о намечаемой якобы операции "Кремль". Он ожидает генерального наступления вермахта на орловско-тульском направлении с последующим глубоким охватом Москвы с юго-востока.

Эта убежденность не оставила Сталина и после харьковской катастрофы. Боясь за Москву, он продолжал усиливать Брянский фронт, не дав ни одной свежей дивизии маршалу Тимошенко, латавшему крепко потрепанное немцами Юго-Западное направление, и бросив на произвол судьбы 2-ю ударную армию.

А через три дня войска генерал-полковника Вейхса перешли в наступление из районов восточнее Курска. Командование вермахта рассчитывало ударом на Воронеж ликвидировать войска Брянского фронта, затем повернуть на юг, прорвать Юго-Западный и Южный фронты и создать условия для броска к Волге и на Кавказ.

Брянский фронт, которым командовал Филипп Иванович Голиков, укрепленный пятью танковыми корпусами, не смог своевременно организовать серьезный удар по флангам противника. Голиков вводил танковые корпуса в дело по частям и через такие временные промежутки, которые не диктовались сложившейся боевой обстановкой. Да и многие командиры танкистов еще не умели действовать решительно, никто не учил их принципам маневрирования подвижными броневойсками, ибо принципы эти обосновал "враг народа", бывший маршал Тухачевский.

Словом, первая неделя июля ознаменовалась чередою наших поражений. И самым обидным было промедление с вводом танковой армии генерала Лизюкова. Пришлось вмешаться в дело Василевскому. Но время было упущено, и над Воронежем нависла серьезная угроза.

Между тем генерал Паулюс вывел 6-ю армию к Каменке и создал угрозу тылам не только Юго-Западного, но и Южного фронтов. И тогда маршал Тимошенко отдал единственно разумный в подобной ситуации приказ: используя степные пространства, сдерживать противника до последней возможности, а затем отходить, остерегаясь окружения. Семен Константинович верно рассчитал, что такой план является единственным пока средством пусть и пассивного, но противодействия противнику.

Главные силы маршала Тимошенко и без того были сжаты концентрическими ударами танковой армии Клейста и 6-й армии Паулюса, а 4-я танковая армия заходила ему в тыл. Во что бы то ни стало уйти от окружения — вот что более всего заботило в эти июльские дни Семена Константиновича.

Вождю приказ Тимошенко пришелся не по душе. Признавая в целом его разумность, Сталин понимал, что другие военачальники неизбежно проведут аналогию между нынешней ситуацией и отступлением сорок первого года. И, глядишь, начнут сдавать одну позицию за другой...

Необходимо было предпринять нечто такое, чтобы отрезвить некоторые горячие головы, повысить стойкость войск, чтобы ни пяди земли не отдавали врагу. Снова обратиться к русскому патриотизму, как это сделал он в ноябре прошлого года? Нет, сейчас не та обстановка, дважды на одной мякине людей не проведешь, они резонно вспомнят о том, как товарищ Сталин обещал им закончить войну уже в нынешнем году, а немцы форсируют Дон и катятся к Волге...

Оставалось только одно испытанное средство — страх. Вождь знал по себе, каким решающим стимулом может быть инстинкт самосохранения, когда во весь рост встает суровая альтернатива — быть тебе лично или не быть. Всю жизнь боявшийся лишиться власти, что было для него равносильно физической смерти, он понимал — будучи развенчан при жизни, неминуемо превратится в заурядного преступника. Сталин патологически боялся заговоров, хотя ни разу для этого не возникали мало-мальски реальные основания.

Он все равно боялся. Сильных характеров, умных, независимых людей, смелости чьих-либо суждений, сомнений в его гениальности, малейших попыток высказать неординарное мнение... За всем этим вождь видел покушение на основание той пирамиды, которую с таким тщанием создал и на вершину которой водрузил самого себя.

О, товарищ Сталин хорошо знал, что такое страх, каким мощным инструментом для управления людьми является он в умелых руках! Но пока вождь не решил, в какой форме отольет это оружие, которое поставит военных умников на место и еще раз покажет всем, на что способен Народный Комиссар Обороны.

Ему нужны были сейчас те, которым он в той или иной степени доверял, товарищ Сталин никогда никому не верил, на них можно было проиграть зародившуюся идею, не раскрывая, разумеется, сути вопроса до конца. Он вспомнил о Мехлисе, с которого снял за Керчь два из пяти ромбов в петлице, разжаловав до корпусного комиссара. Лев Захарович лишился и поста начальника Главпура, теперь он прозябал пока в неизвестности о дальнейшей судьбе, терпеливо дожидаясь, когда товарищ Сталин решит его участь. Если пригласить его на ужин, Мехлис сочтет себя прощенным, несколько оживится от того состояния, в котором просил у вождя немедленного расстрела для себя, сможет трезво оценить новую идею... Да, Мехлис именно тот человек, который нужен товарищу Сталину. "И посажу его рядом с Анастасом", — усмехнулся Верховный Главнокомандующий, предвкушая заранее удовольствие от того, что стравит на ужине этих, мягко говоря, не любивших друг друга соратников.

К Микояну у Сталина отношение было нейтральным. Вождь полагал Анастаса Ивановича неплохим исполнителем — и только. Кроме того, он нужен был Сталину для национального равновесия в официальном руководстве, дабы советский народ видел, что товарищ Сталин выше тех извечных предрассудков, которые в обывательской молве якобы существуют в отношениях грузин и армян. Вместе с тем, когда Берия намекал, что Анастас Иванович засиделся около вождя, и у него, Лаврентия, есть достаточно компры , чтобы по-настоящему посадить Микояна, Сталин улыбался и говорил, что Анастас — человек недалекий, а потому вреда от него не приходится ждать.

— Микоян пороха не выдумает, — говорил вождь и добавлял с усмешкой: — Чтобы взорвать товарища Сталина...

Было тут и еще одно соображение, по которому Сталин держал Микояна возле себя. Как существо сомнительного происхождения, по официальному статусу выходец из подлинного плебса, вождь опасался армян, их природного духовного аристократизма, обусловленного тысячелетиями исторического и культурного развития. Традиционную скромность и трудолюбие армянского народа, который никогда не кичился знаменитыми предками, вождь рассматривал как проявление национального снобизма, попытку армян через эти качества поставить на место соседей, но прежде всего показать пример поведения самому товарищу Сталину. А через приближенного к себе Микояна он нейтрализует возможное недовольство советских армян, а тем, кто живет за пределами Страны Советов, успешно демонстрирует собственное братское чувство к инородцам на практике.

"Конечно, Лаврентий будет, — прикидывал Сталин, — еще кто-нибудь из русских — вот и настоящий интернационал".

Мелькнула мысль пригласить военных, скажем, Василевского или Жукова. Но последнего надо было вызвать из Перхушкова, у него сложности на Западном направлении, а Василевский, кажется, симпатизирует Тимошенко и одобряет его действия на юге.

"Никаких военных, — решил Сталин. — Пусть приходит Щербаков..."

Александр Сергеевич принял у Мехлиса Главное политическое управление РККА, и вождя позабавило это обстоятельство: на ужине не будет никого, кто б относился друг к другу с приязнью.

...Все складывалось так, как задумал Сталин. Мехлис и Микоян демонстративно не общались, будто одного не существовало для другого. Щербаков, правда,

игнорировал кислую мину на лице Льва Захаровича, который стал теперь его подчиненным, хотя и не имел определенной должности.

Все они разговаривали только с вождем, когда тот обращал на них внимание. Но к намекам его по части крутых мер относились разно. Микоян говорил о резервах и припасах, свел все к продовольственной проблеме, увяз во фронтовых пайках, и совсем уже некстати рассказал армянский анекдот о крестьянине, который плохо кормил корову и выбивал из нее молоко палкой.

Щербаков соглашался с необходимостью усиления дисциплины, но панацею видел в расширении воспитательной работы, увеличении тиражей листовок, качестве армейской печати.

Лаврентий Павлович отмалчивался, да Сталина и не интересовала его точка зрения, он знал ее заранее.

— Комиссары, — сказал Мехлис, — вот в чем корень зла... Нынешние комиссары переродились в бесхребетных, слюнтяев, утратили революционный дух! Нужны решительные действия против трусов и паникеров! Расстреливать каждого, кто отдаст врагу хоть пядь родной земли... В том числе и комиссаров! Другого выхода я не вижу, товарищ Сталин.

— Я тоже, — улыбнулся вождь, и Мехлис, этот суровый и по-своему мужественный человек, едва не прослезился благодарно в ответ.

А Микоян с тоской смотрел на заставленный бутылками со спиртным стол, думал о том, что завтра опять его будет мучить изжога от выпитого вина. Но попробуй не выпить, сразу вызовешь подозрение хозяина и этого кровопийцы-мингрела, который зорко следит за всеми через стекла пенсне. Анастас Иванович вспомнил, как в начале двадцатых годов по заданию ЦК он выехал в Нижний Новгород укрепить там местный губком, ибо дошли до Москвы слухи, будто тамошние партийцы позволяют себе порой употреблять сивуху. Тогда это считалось чрезвычайным происшествием, а сейчас с легкой — или тяжелой? — руки генсека, пьющего ежедневно, нетерпимое при трезвеннике Ленине пьянство стало бытовой нормой коммунистов.

— Лаврентий, — громко сказал Сталин, и задумавшийся Микоян вздрогнул, — налей гостям рюмки. Надо выпить за назначение товарища Мехлиса на самостоятельную должность.

Все с готовностью повернулись к вождю.

— Есть мнение послать его членом Военного совета к Мерецкову... Если, конечно, товарищ Щербаков не возражает. Александр Сергеевич молча закивал.

— Мерецков все ищет генерала Власова, — продолжал Сталин. — Подвел нас этот человек. Заманил Вторую ударную в волховские болота, а сам пропал без вести. Вот товарищ Мехлис и разберется: все ли сделал Мерецков, чтобы выручить командарма.

-68-

Когда Власов вдруг предложил назначить генерала Афанасьева комиссаром группы, Алексей Васильевич ушам своим не поверил. "Что ж получается, — подумал он ошеломленно, — я его из партии предлагал исключить во время чистки, он же за время командования армией ни разу мне об этом не напомнил, ни сном, как говорится, ни духом. И теперь, когда все мы вообще в пиковом положении, доверяет вдруг партийное руководство... Тут что-то не так. Не мог Власов забыть, что я и есть тот самый Афанасьев, раскопавший факт с коровой, которую не сдал в колхоз его батяня..."

Мысль о каком-то хитром ходе командарма не давала Афанасьеву покоя в эти дни, хотя они все теперь находились в одинаковом положении окруженцев.

...Двинулись на штурм позиций противника в Долине Смерти в ночь на 25 июня. В два часа ночи окруженцы попали под плотный огонь. В дыму и грохоте сплошных разрывов группы потерялись. Одна из них с Шашковым во главе у реки Полнеть взяла вправо в направлении на высоту 40,5. Группа Власова, Зуева, Виноградова, Белышева и Афанасьева, спасаясь от минометного и артиллерийского огня, повернула налево, потыкалась-потыкалась в надежде найти разрыв в смертоносной завесе, но безрезультатно. Заградогонь казался непреодолимым, и командование армии вернулось на исходные позиции, надеясь, что рано или поздно немцы перестанут стрелять, наступит затишье и тогда они возобновят попытку прорваться к своим.

Но противник не оставил времени для штаба 2-й ударной. Утром 25 июня он прорвал линию обороны на западе — там уже почти некому было сдерживать его. Немцы двигались по просеке, крича на весь лес в рупоры: "Рус, сдавайся!"

— Соберите бойцов и отбросьте противника в лес, — распорядился командарм, когда на глаза ему попался Афанасьев. — А вы, комиссар, помогите генерал-майору.

Последнее относилось к комиссару штаба Свиридову. Вдвоем они собрали полсотни красноармейцев, вооруженных винтовками, были кое у кого и автоматы, ударили по беспечно шагающим немцам, рассеяли их. Но приближались новые группы противника, огонь по расположению штаба

усилился. Афанасьев подобрался, чтоб получить указания, и увидел, что генерал Власов, несмотря на обстрел, стоит как бы задумавшись, совсем не маскируясь.

— Ложитесь, товарищ командарм! — крикнул генерал-связист. — Стреляют ведь! Опасно!

Власов усмехнулся и пожал плечами. Но с места не двинулся, так и продолжал стоять во весь огромный рост.

"Смерти он ищет, что ли, — осуждающе — Власову не верил еще с тех, тридцатых, годов — подумал Афанасьев. — Или растерялся... Вроде как забыл, что делать".

Случилось же так, что, пока Афанасьев отбивал атаки немцев на КП, пришла радиограмма с директивой о выходе мелкими группами. Впрочем, и так уже армия распалась на разрозненные отряды.

За организацию выхода через линию фронта взялся полковник Виноградов. Он воевал в этих краях с осени прошлого года и знал, что крупным силам в здешней местности не укрыться и через занятую немцами Долину Смерти не пройти,

— А где Зуев? — спросил Афанасьев у начальника штаба, когда тот принялся формировать свой отряд, стараясь сделать его поменьше.

— Отправился в 305-ю дивизию, — ответил полковник Виноградов. — Надеется прорваться организованно. Только вряд ли противник позволит им такое...

Афанасьев пожалел, что Зуев не взял его с собой. Ему не нравилось, что Виноградов готовит группу келейно, а Власов вовсе не участвует в подборе людей, передал все на откуп начальнику штаба. В этот момент и предложил командарм, его, Афанасьева, в комиссары, чем окончательно смутил Алексея Васильевича.

Группа получилась большой, человек сорок пять. Виноградов недовольно морщился, он понимал, что такая толпа людей сразу же обнаружит себя. А тут еще полковник Черный присоединился со штабом, а это тоже около сорока человек. Но что поделаешь, не гнать же от себя людей.

Составили список личного состава, разбили отряд на отделения охраны, истребителей и разведки. Афанасьев, как новоиспеченный комиссар, стал выявлять и брать на учет членов и кандидатов в члены ВКП(б), строго проверял наличие партийных билетов.

— Берегите их до выхода к своим, — предупреждал генерал-майор, — Тем, кто выйдет без партбилета, веры не будет. Коммунисты прятали билеты в укромные места.

— Пойдем от Глушицы на Большой Михайловский Мох, перейдем Кересть у отметки 31,8, — наметал Виноградов.

Но там пройти не удалось, подались дальше на север. И здесь, на лесной дороге, встретили три группы полковника Ларичева. От отряда Власова отделились полковник Черный и командование 259-й дивизии. Они решили идти отдельно.

Едва прошли болото Протнино, как вновь повстречали Черного с его людьми. Они, оказывается, наткнулись на минное поле и повернули на северо-восток.

— Тогда пойдем на юг, к сараям, что за отметкой 31,8, — сказал Виноградов. — И оттуда вышлем разведку.

Он отобрал четверых командиров, проинструктировал их. Разведчики ушли, но обратно никто из них не вернулся. Подождали их до утра и снова пошли на север, под Ольховские Хутора, там решили перейти Кересть и взять восточнее. Но гитлеровцы соображали, что русские будут пытаться отойти в тыл, где имелось немало укрытий, позволявших отсидеться или, не дай бог, соединиться с партизанами. По всей Керести они оставили пикеты.

Но группе, в которой был генерал Власов, повезло: наткнулась на подвесную переправу и без осложнений перешла на западный берег реки. Здесь сориентировались по карте и двинулись на Вдицко. Люди устали, изголодались, питаясь травой и грибами.

— Надо сделать налет на автомашину с продовольствием, — сказал Виноградов.

Отряд истребителей из полутора десятков человек возглавил комиссар Свиридов. Стали выдвигаться к дороге, только нарвались на немецкий дзот. Завязался бой. Свиридов был ранен пулей в грудь навылет, один истребитель погиб. Утешало лишь то, что двенадцать немцев перебили. Но продовольствия, тем не менее, не добыли.

Еще одна голодная ночь прошла. Послали людей за продуктами в Шелковку, а там полицаи. Двух предателей убили, но и своего одного потеряли. И этот поход оказался безрезультатным.

Пошла третья неделя скитаний. Они шли в сторону Подберезья, пересекли железную дорогу, уже перешитую на более узкую, под западноевропейские

вагоны, колею. Охрана их не заметила, окруженцы скрылись в лесу и стали на дневку.

— Мы с командармом считаем, что большим отрядом линию фронта нам не перейти, — объявил полковник Виноградов. — Надо разбиться на более мелкие группы. Каждая выберет особый маршрут и начнет двигаться по нему. Давайте составим списки, кто куда пойдет.

— Не согласен, — сказал Афанасьев. — Предлагаю всем идти на реку Оредеж. Там есть озеро Черное, будем ловить рыбу, а разведчики начнут искать партизан. Найдем их и по радиостанции попросим у своих помощи.

Но поддержки Афанасьев не получил. Ему в подчинение выделили четыре человека, они должны были идти туда, куда поведет старший.

Тут подошел политрук, записанный в группу Власова.

— Разрешите и мне с вами, товарищ генерал-майор?

— Не возражаю, — ответил Афанасьев.

— Ты что это моих людей к себе переманиваешь? — возмутился начальник штаба.

Афанасьев пожал плечами, промолчал. Положение каждого из них было крайне двусмысленным и спорным. Командарм без армии, мифический начальник штаба, управляющий горсткой людей, он, главный армейский связист, не имеющий никакой связи с внешним миром.

— Куда вы намерены идти? — спросил Алексей Васильевич у Виноградова.

— Мы еще не приняли решения, — ответил начальник штаба. — И пойдем, когда разойдутся остальные...

"Мудро, — подумал Афанасьев. — Если кто-то попадет в плен, то не сможет указать маршрут движения командарма..."

Перед самым уходом Афанасьев подошел к командарму попрощаться. Тот сидел в стороне ото всех на пеньке, неторопливо строгал перочинным ножом прутик, напевая чуть слышно любимую песню:

Будет дождик осенний мочить, Ты услышишь печальное пение — То меня понесут хоронить... И забудут мое погребение.

— До свидания, товарищ командующий, — кашлянув, обратился к нему генерал-майор. — Не поминайте лихом...

— Прощай, брат Афанасьев...

Власов поднялся и протянул начальнику связи руку:

— Будь здоров и удачлив. Авось тебе повезет...

— Вам того же, — сказал Алексей Васильевич. — Если найду радиосвязь, то первым долгом о вас сообщу, чтоб слали помощь.

Власов безучастно наклонил голову. Генерал-майор попытался поймать его взгляд, но толстые стекла очков прятали глаза командарма.

...Голод замучил их окончательно, когда генерал Афанасьев и его люди набрели на муравейник. Кто-то вспомнил, что это обожаемая медведями пища. Решили попробовать, разрыли обиталище лесных тружеников. Стесняясь друг друга, ели яйца с личинками, слизывали с пальцев встревоженных нападением муравьев, старались поймать и разжевать маленьких насекомых ослабевшими, отвыкшими от работы зубами.

Заморив червячка, двинулись дальше. В полутора километрах южнее отметки 64,5 они увидели сидевшего на пне человека с винтовкой. Афанасьев подполз к нему, вырвал оружие и потребовал документы. Это был уснувший на посту партизан.

— Веди нас к командиру, — приказал генерал.

Так они оказались в Лужском партизанском отряде, которым командовал секретарь райкома партии Дмитриев. Встретили здесь окруженцев радушно. Но рации у партизан не было. Пришлось искать Оредежский отряд Сазонова, он размещался в четырех километрах западнее Горки. Нашли его 14 июля. Алексей Васильевич немедленно отправил сообщение за линию фронта, а сам принялся разрабатывать план операции по спасению Власова и Виноградова.

— Найти их надо во что бы то ни стало, — сказал он Сазонову, — и взять их в ваш отряд.

Партизаны решили для поисков этих разделиться. Первый отряд, в двадцать два человека, получил задание выступить на север по маршруту: Выдрица — Лисино-Корпус — Тосно... Второй отряд, в двенадцать человек, пойдет западнее, в деревню Остров и на реку Оредеж. Третий, в двадцать три человека, направится на юго-запад, он прочешет лес близ дороги от Подберезья до Печнова.

— Их группа состоит из двух политруков, двух красноармейцев и одной женщины, она заведует личным хозяйством командарма, — объяснил командирам групп генерал Афанасьев. — Зовут ее Мария.

Сазонову он сказал:

— Отвечает за маршрут Виноградов. Командарм ему полностью доверился, подпал, по-моему, под его влияние. Еще раньше начальник штаба мне говорил, что намерен идти через Лужский район на Старую Руссу или на Калининский

фронт. Но это утопия, не хватит никаких сил и духа. Конспирацию разводил Виноградов. Думаю, в действительности они пошли на север. Виноградов там служил и знает местность.

С Большой земли пришла радиограмма. Она подтвердила, что Афанасьев действует верно, партизанским отрядам зоны отдавался приказ: принять срочные меры к розыску командующего 2-й ударной и начальника штаба. Приказ был, увы, запоздалым. Именно в этот день генерал-лейтенант Власов был задержан полицаями деревни Пятница и передан немецкому патрулю. Судьба полковника Виноградова неизвестна и по сей день.

Но о пленении Власова не знали пока ни партизаны, ни генерал Афанасьев. Находился он в неведении относительно судьбы командарма и ранним утром 23 июля, когда прилетевший в партизанский лагерь самолет доставил Алексея Васильевича в Малую Вишеру, Встречал его Мерецков. В четыре часа утра он позвонил Маленкову и сообщил, что генерал Афанасьев благополучно прибыл.

— Товарищ Сталин просил меня сообщить об этом, — пояснил комфронта ошалевшему от счастья Афанасьеву, с трудом верящему, что сам Верховный интересуется им, беспокоится о судьбе неизвестного ему прежде генерала. Когда восторги спасенного улеглись, Мерецков отвез его в госпиталь.

— Отоспись, Алексей Васильевич, — дружески говорил он генералу. — Подлечи нервы, приди в себя, успокойся.

Когда Афанасьев проснулся, он увидел товарища из Особого отдела фронта. Допрашивал тот бывшего окруженца, о котором пекся сам товарищ Сталин, двое суток.

-69-

Под каким номером обнародуют этот приказ, Верховный не знал и пока был уверен, что вообще сделает написанное им достоянием истории. Но понимал, что общие слова будут здесь неуместны, и поэтому начал уверенно и конкретно: "Враг бросает на фронт все новые и новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, лезет вперед, рвется в глубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует и убивает советское население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на Юге — у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону,

половину Воронежа. Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставили Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои знамена позором".

Сталин перестал писать и часто-часто задышал, наливаясь гневом. Затем привычным усилием воли укротил себя. Перечитал написанное не торопясь, подчеркнул жирной чертой слово "Москва", затем так же выделил все географические названия, потом их наберут другим, более заметным шрифтом.

Он помедлил и, будто бросившись в омут, продолжал: "Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из них проклинают Красную Армию за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток".

Последнее слово он тоже подчеркнул. Теперь надо будет воздать должное маршалу Тимошенко, поставить его на место: "Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, много населения и что хлеба у нас всегда будет в избытке. Этим они хотят оправдать свое позорное поведение на фронтах, но такие разговоры являются насквозь фальшивыми и ложными, выгодными лишь нашим врагам..."

Что ж, главную мысль он направил в нужную сторону, теперь необходимо закрепить сказанное: "Каждый командир, красноармеец и политработник должен понять, что наши средства не безграничны. Территория Советского государства — это не пустыня, а люди — рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы, матери, жены, братья, сестры.

Территория СССР, которую захватил и стремится захватить враг, — это хлеб и другие продукты для армии и тыла, металл и топливо для промышленности, фабрики, заводы, снабжающие армию вооружением и боеприпасами, железные дороги.

После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории, стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик.

Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба..."

Вождь перевел дыхание и засомневался: надо ли так обнаженно сообщать советскому народу о потерях? Потом он вспомнил, к чему придет дальнейшее развитие этого документа, и сохранил этот абзац.

"Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину. Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без конца отступать, что у нас много территории, страна наша велика и богата, населения много, хлеба будет в избытке.

Такие разговоры являются лживыми и вредными, они ослабляют нас и усиливают врага, ибо если не прекратим отступление — останемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог..."

Главного виновника неудач Сталин выявил в самом начале. Это была вся Красная Армия целиком. Теперь он спорил с Мерецковым и Тимошенко, а в их лице и с Кутузовым, Барклаем-де-Толли, обобщившим их опыт Клаузевицем. Сталин даже не допускал мысли, что немцы прорвались за Дон и устремились к Волге и на Кавказ исключительно по его собственной вине, в результате игнорирования плана стратегической обороны на сорок второй год, который предложил маршал Шапошников.

Виноваты были другие, а товарищу Сталину, как всегда, исправлять положение, спасать первое в мире социалистическое государство рабочих и крестьян. Величайший демагог всех времен и народов, он писал сейчас исторический приказ, нимало, как всегда, не заботясь о стиле изложения. Здесь были привычные для Сталина, плохо знавшего русский язык, повторы, которые в любом другом тексте производили бы ощущение лингвистической неряшливости. Но под пером товарища Сталина они казались вырубленными в граните, отлитыми из бронзы. С небывалой для него откровенностью обрисовав тяжелое положение страны, сделал вывод: "Из этого следует, что пора кончать отступление. Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв. Надо упорно, до последней капли крови защищать позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок Советской земли и отстаивать его до последней возможности.

Наша Родина переживает тяжелые дни, мы должны остановить, а затем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. Немцы не так сильны, как это кажется паникерам, они напрягают последние силы. Выдержать их удар

сейчас, в ближайшие несколько месяцев, — это значит обеспечить нам победу. Можем ли мы выдержать удар, а потом и отбросить врага на запад? Да, можем, ибо наши фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно и наш фронт получает все больше и больше самолетов, танков, артиллерии, минометов. Чего же у нас не хватает? Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, дивизиях, в танковых частях, в авиаэскадрильях. В этом наш главный недостаток. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять нашу Родину. Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, политработников части и соединения, которые самовольно оставляют боевые позиции. Нельзя терпеть больше, когда командиры, комиссары, политработники допускают, чтобы несколько паникеров определили положение на поле боя, чтобы они увлекали в отступление других бойцов и открывали фронт врагу..."

Вождь перестал писать и отложил перо. Написанное ему нравилось. Он ухватил основное звено в цепи последних неудач и свел на нет приказ Тимошенко. Упрекнув поначалу всю Красную Армию, товарищ Сталин диалектически подошел к тезису, который хорошо выразила народная поговорка, о паршивой овце в стаде баранов. Роль вождя как раз и заключается в том, чтобы, удалив негодную овцу, спасти остальных баранов. От частного к общему... Знания диалектики товарищу Сталину не занимать, более того, он всегда умело использует ее законы на практике. Размышления об использовании диалектического метода в нынешних условиях привели Сталина в хорошее настроение. Захотелось курить, но вождь подавил возникшее желание и отвел взгляд от лежавшей слева от него трубки.

Нет, надо закончить центральное место приказа. Он взял перо и решительно вывел на бумаге: "Паникеры и трусы должны истребляться на месте. Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника должно являться требование — ни шагу назад без приказа Высшего Командования. Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие комиссары и политработники, отступающие с боевых позиций без приказа свыше, являются предателями Родины. С такими командирами и политработниками и поступать надо как с предателями Родины. Таков призыв нашей Родины. Выполнить этот призыв — значит отстоять нашу землю, спасти Родину, истребить и победить ненавистного врага..."

На этом Сталин полагал закончить констатирующую часть и перейти к приказной, которую в общем и целом уже наметил. Но ему казалось, что в

аргументации чего-то недостает... Надо еще раз все обдумать. Сталин поднялся из-за стола, стоя набил трубку табаком, раскурил от одной спички, аккуратно поддевая пламенем табачные волокна, глубоко затянулся, так, что голова немного закружилась, подошел к окну.

Он знал, к каким доводам ему хочется прибегнуть, и потому подумал о Гитлере. Стратегическая разведка сообщала, что фюрер находится сейчас в ближней ставке, расположенной где-то на Украине. Недавно он побывал в штабе командующего группой армий "Юг", лично руководит наступлением вермахта в этом направлении.

"На весь Восточный фронт духу уже не хватает", — злорадно подумал Сталин о Гитлере, как о партнере, в колоде которого уменьшилось количество козырей. Вождь не мог знать, что именно в эти минуты Франц Гальдер докладывает фюреру о том, что русские успешно сопротивляются на участке 29-й моторизованной дивизии, что взрыв железной дороги на участке Сальск — Сталинград не удался, 6-я армия с трудом преодолевает сопротивление частей Красной Армии в излучине Дона. Русские продолжали неистово драться, отходя только по приказу непосредственного начальства, хорошо понимавшего, когда возникает необходимость отойти, чтобы не попасть в плен.

Но Сталин не видел этого из окна кремлевского кабинета. Он придумывал сейчас, как действеннее напугать верных защитников Отечества, стойкость которых уже по достоинству оценил генерал-полковник Гальдер...

В дверях без вызова возник Поскребышев. И хотя дверь открывалась бесшумно, Сталин спиной почувствовал появление помощника, повернулся, вопросительно посмотрел на него.

— Звонит товарищ Маленков... Командующий Волховским фронтом доложил ему, что генерал Афанасьев вывезен из партизанского отряда.

— Это хорошо, — кивнул Сталин. — А генерал Власов? Знает ли Мерецков, что с ним?

— О судьбе Власова ничего пока неизвестно, — ответил помощник.

...О пленении командарма 2-й ударной армии немцы сообщили не сразу. Первыми об этом узнали партизаны, но до тех пор, пока не появилась листовка с фотографией Власова и его заявлением, официально он считался пропавшим без вести.

Существуют разные версии того, при каких обстоятельствах Власов попал к немцам в плен. Видимо, сразу надо исключить те из них, которые утверждают, что бывший командарм стремился стать пленником. Для этого не имело смысла

три недели скитаться по лесам и болотам, ежечасно подвергаясь смертельному риску. Безусловно, его группа, которую вел полковник Виноградов, пыталась подойти к переднему краю и пересечь линию фронта. И прав был Афанасьев, утверждая, что Виноградов пойдет со спутниками на север: Власова и Марию Воронову задержали полицаи в деревне Пятница, в пятнадцати километрах к северо-западу от станции Чудово.

Примерно в это же время в соседней деревне Коломовка вышел к железной дороге и оказался жертвой предательства Зуев. Не встретилась ли его группа с теми, кого вел Виноградов? Об этом, наверно, никто никогда доподлинно не узнает...

Но вот что тогда же писали немецкие авторы в книге "Битва за Ленинград", выпущенной штабом 18-й армии в городе Риге: "Обер-лейтенанту С., патрулирующему по дорогам, бургомистр одной маленькой деревни сообщил, что ему удалось захватить одного большевика вместе с сопровождавшей его женщиной и запереть в сарае...

Обер-лейтенант отправился с автоматом к сараю. Когда дверь открылась, переводчик окликнул находящихся в нем. Все с напряжением смотрели в открытую дверь, в которой появился большевистский солдат, одетый в длинную характерную блузу. На обветренном лице блестели большие роговые очки. "Возможно ли это? — подумал обер-лейтенант. — Судя по фотографии, это же разыскиваемый командующий большевистской армией". Обер-лейтенант еще внимательнее посмотрел на фигуру, которая начала говорить и на ломаном немецком языке выдавила слова: "Не стрелять, я генерал Власов". Одновременно человек вынул бумажник со своими документами и передал немецкому офицеру".

Исследование дальнейшей судьбы генерала Власова в немецком плену, а затем во главе Комитета освобождения народов России и Русской освободительной армии, вплоть до виселицы во внутреннем дворе Бутырской тюрьмы, выходит за временные и пространственные границы нашего повествования. Но приведем свидетельства, которые оставили потомкам враги и союзники Красной Армии.

Бывший генерал вермахта Курт фон Типпельскирх в фундаментальной "Истории второй мировой войны" записал:

"В течение лета в ходе длительных боев было сжато кольцо окружения вокруг русских войск западнее Волхова. При этом русский генерал Власов попал в плен к немцам. Впоследствии он возглавил крупные добровольческие части,

сформированные из советских военнопленных. Эти части возникли первоначально для того, чтобы включением "добровольцев" в тыловые службы высвободить немецких солдат для использования на фронте. Постепенно при дивизиях армейских корпусах и армиях были сформированы целые подразделения численностью до батальона...

Как правило, эти "добровольческие" подразделения на фронте не использовались... Их моральный дух и, следовательно, надежность колебались в зависимости от обстановки на фронте. Пока им казалось, что немцы сильнее русских, на них можно было положиться. Но когда в 1943 г. немецкие войска начали терпеть повсюду крупные поражения, которые привели к большим отступлениям, использование этих "добровольцев" на Востоке стало невозможным. Только тогда немецкая пропаганда в связи с изменившейся военной обстановкой и нехваткой людских резервов заговорила о "русском человеке", которого нужно было завоевать на свою сторону. Однако было уже слишком поздно, чтобы воодушевить людей Востока и мобилизовать их на борьбу за интересы Германии. Таким образом, "власовская армия" была мертворожденным плодом".

Непроясненной до конца остается и история освобождения Праги в сорок пятом году, восстание в которой началось не в мае, как привыкли указывать наши военные историки, а еще 5 апреля. "Одной из самых странных историй на том этапе войны была роль, — пишет английский журналист Александр Верт в книге "Россия в войне 1942 — 1945", — которую сыграли в боях в Праге власовцы, бросавшие своих немецких хозяев..." Эти события не такого уж давнего времени все еще ждут искреннего и добросовестного летописца.

Бывший же командующий 2-й ударной армией генерал-лейтенант Власов, попавший в немецкий плен 15 июля 1942 года, за измену Родине и пособничество врагу Военной коллегией Верховного суда СССР 1 августа 1946 года был приговорен к высшей мере наказания — смертной казни через повешение.

Второго августа приговор приведен в исполнение.

-70-

Руди Пикерт не знал, что, оставь он автомат в блиндаже, разыгравшиеся события не были бы столь трагичными. Да и событий бы никаких не случилось, пойди он безоружным навестить фельдфебеля Венделя, который стал ротным

обером и жил теперь со старшим писарем в отдельной землянке. Но откуда Пикерту было знать, что охотятся вовсе не за ним, а за его автоматом...

Удар по затылку был достаточно сильным, чтобы навсегда избавить фюрера от ефрейтора по имени Рудольф Пикерт. Но пилотка, сдвинутая назад, помешала рослому старшине Паше Хрестенкову отправить студента-богослова к праотцам. Когда же вместе со Степаном Чекиным оттащили его в кусты, Хрестенков поднял руку с ножом, чтобы добить оглушенного немца. Сержант остановил его.

— Доставим "языка" командиру, — шепнул он, громко говорить не полагалось, ведь рядом проходила жердевая дорожка, по которой сообщались немцы. — Авось и пригодится, проходы нам покажет.

...Отряд Олега Кружилина, который вот уже месяц действовал в немецком тылу, превратился в довольно боеспособную единицу, перешедшую к партизанским методам борьбы с врагом. Пригодился опыт, который накопил Олег за время службы при Особом отделе. Надежным помощником оказался сержант Чекин. В свою группу Кружилин брал далеко не каждого, понимая, что чересчур разросшийся отряд станет в условиях болотистого леса неуправляемым, уязвимым и небоеспособным. И собирал вокруг себя таких людей, которые в состоянии были и не отсиживаться в кустах, и не спешить очертя голову к линии фронта, чтобы попасть в расставленные гитлеровцами сети, а умело драться, нанося врагу максимальный урон. Конечно, и Кружилин мыслил вырваться на свободу. Только он, много раз ходивший в тыл врага, хорошо понимал, что сейчас передний край стабилизировался, и пройти через него весьма непросто.

Надо было отойти на запад, оборудовать в непроходимых местах хотя бы относительно безопасный лагерь, дать людям прийти в себя, а затем двинуться на север. Сначала по дальним тылам, затем повернуть на восток, перейти Октябрьскую железную дорогу и выйти к линии фронта там, где нет сплошной линии обороны, и в одно из таких окон провести своих людей.

Сейчас они решили главную проблему — добыли продовольствие, удачно напав на машину немецких фуражиров. Операция была так тщательно спланирована, что люди Олега не получили ни царапины, а вермахт потерял добротный грузовик, его утопили, предварительно разгрузив, в болоте, а с ним фельдфебеля и двух солдат.

В машине обнаружили мешок соли, что было как нельзя кстати: кое-какой скот удалось реквизировать на подворьях старост и полицаев, из него приготовили

впрок солонину. Теперь очередь за оружием. Кружилин понимал, что им надо перейти на немецкие автоматы, ибо к немногим русским автоматам и винтовкам патронов почти не осталось. Был у них и ручной пулемет с одним диском, но его надолго не хватит. Надо вооружить отряд заново, а затем уже предпринять налет на небольшой гарнизон, где можно разжиться и продовольствием, и боеприпасами.

Боевой опыт подсказывал Олегу, что только внезапность будущих акций обеспечит успех действий, ибо нет защиты от истинной внезапности. А пока он разослал наиболее ловких бойцов попарно, чтоб охотились на одиночных, зазевавшихся немцев, вооруженных автоматами. На долю Чекина и Хрестенкова достался ефрейтор Пикерт. Когда его доставили в лагерь, старший лейтенант удивленно посмотрел на долговязую фигуру. Лицо ее пока скрывал вещмешок, который Хрестенков набросил пленному на голову.

— А это что за чудо? — спросил Кружилин.

— Степаша вам сюрприз сготовил, — усмехнулся Хрестенков, так и не уверовавший в то, что этот белобрысый черт может им быть полезен. Но спорить с Чекиным, который был правой рукой командира, не стал.

— "Язык", товарищ старший лейтенант, — объяснил Степан.

— Мешок-то снимите, — распорядился командир.

Хрестенков повиновался. Под мешком оказалась всклокоченная голова белокурого парня. Руди Пикерт ошалело посмотрел на старшего лейтенанта и замычал. Едва Степан вынул изо рта пленника кусок портянки, тот с отвращением сплюнул.

— Unrat! — сказал он. — Дерьмо!..

Олег Кружилин оживился и с интересом посмотрел на "языка".

— Кто вы? — спросил он по-немецки.

Пикерт вытянулся так, словно перед ним находился командир батальона майор Гельмут Кайзер, и четко ответил на вопрос, сохраняя достоинство солдата германского вермахта.

— Я хотел бы узнать, кем вы были в гражданской жизни, — заметил Олег. — До призыва в армию...

Тот удивленно посмотрел на русского офицера, вид у которого был, прямо сказать, далеко не элегантный. Хотя Кружилин и старался изо всех сил продлить жизнь выцветшей гимнастерке и хлопчатобумажным брюкам, но, увы, сказывался месяц лесной жизни... Удивил Пикерта не сам вопрос, о духовном

образовании его уже спрашивали, когда он попал в плен впервые. Этот русский говорил с ним на чистом немецком языке.

Узнав, где учился Руди, Олег усмехнулся.

— В какой-то степени мы с вами коллеги, ефрейтор Пикерт, — сказал он. — Я изучал философию в Ленинградском университете. Жаль, что у нас нет времени для беседы на специальные темы...

— Я понимаю, — вздохнул Пикерт, — вы обязаны меня расстрелять.

По облику русских солдат и этого офицера, оказавшегося философом, он понял, что это не регулярный отряд разведчиков, пробравшийся в их тыл, а чудом сохранившийся осколок многострадальной армии, которую они разгромили в болотах.

Старший лейтенант неопределенно пожал плечами, но по тому, как он отвел глаза, Руди сообразил, что существованию его в этом мире подошел конец.

"Ну что же, — с тихой грустью подумал он, — когда-то эта свинская война должна была и до меня дотянуться. Хорошо хоть попал в руки интеллигентному человеку". Будущая судьба стала вдруг для Пикерта безразличной. Неестественное равнодушие к тому, что вскоре произойдет, несколько даже испугало его. Пикерт встрепенулся. До того как он умрет, пройдет некое время, и прожить его необходимо достойно.

— Руди лежит здесь, до срока похищенный роком враждебным, — заговорил вдруг по-латыни замогильным голосом саксонец, — кто в роду Пикертов первою славою был.

Олег удивленно посмотрел на него.

— Жить не хотел он, супруг, пережив дорогую супругу, умер как голубь, тотчас вослед за подругой своей.

В стихи Эразма Роттердамского "На смерть Бруно Амербаха" он подставил собственное имя.

— Но я еще не женат, — пояснил Руди Пикерт уже по-немецки, — так что эпитафия несколько неточна, Кружилин усмехнулся.

— Нежные плачут Хариты по нем, трехъязычные Музы и поседевшие вдруг с Честностью Вера сама, — в тон несостоявшемуся богослову ответил командир роты.

— Вы знаете латынь? — искренне удивился Руди. — А как же быть с русским варварством?

— Бывшему студенту подобает лучше знать историю страны, с армией которой он имеет дело. Неужели все немцы думают о нас, как вы?

Руди смутился:

— Нет, конечно... Сейчас я говорю со слов наших пропагандистов. Привычные стереотипы, господин офицер. Мне неплохо известна ваша литература. Пушкин, Гоголь, Достоевский. Я читал историю императора Петра, работы философа Соловьева...

— Вот видите... — вздохнул Кружилин и неожиданно для себя вдруг спросил: — Хотите кофе? Настоящий, не эрзац...

Кофе они добыли в той же машине с продовольственным грузом.

— Степан, — сказал Кружилин, — приготовь кипяток в котелке.

Сержант Чекин находился здесь вроде как в роли конвоира при "языке". Сидел на корточках, с автоматом Пикерта под мышкой, опершись спиной о ствол молодой, но уже искривленной, суковатой сосны. Она росла в одиночестве среди деревьев лиственных пород и потому не имела привычной для сестер своих стройности. Чекин встал и беспокойно посмотрел на пленного.

— Иди-иди, — улыбнулся Олег, — я сам постерегу. [588]

Маленький сержант пробурчал неразборчиво, подошел к Руди и знаком велел расстегнуть мундир. Затем ловко выдернул из брюк Пикерта ремень и, выхватив нож, срезал крючки.

Теперь "язык" должен был придерживать брюки руками.

— Так надежнее, — сказал Степан и отошел в сторону кипятите воду.

— Вы садитесь, — предложил Олег Кружилин ефрейтору, стоявшему перед ним в нелепой позе. — И расскажите, как организована оборона переднего края на участке вашего батальона.

— Вы хотите уйти туда?

Вопрос немецкого ефрейтора был праздным, и Кружилин на него не ответил.

— Может быть, возьмете меня с собой?

— Хотите в русский плен? А как же присяга на верность фюреру?

— По собственной воле в вашу Сибирь я бы не согласился. Но у меня нет другого выхода. Впрочем, вы сами пленники ситуации, и возиться со мной вам ни к чему, я это понимаю... Лишние заботы с человеком, которого считаете смертельным врагом.

— Это так, — согласился Олег. — Надев эту форму, вы стали моим врагом, хотя бы и казались мне лично симпатичным существом. Не будь войны, которую затеял с нами фюрер, мы бы встретились на философском симпозиуме в Йенском университете, где преподавал великий Гегель. Я ведь и немецкий язык выучил, чтобы читать Канта, Шеллинга, Фихте в оригинале.

— И Маркса, — с усмешкой добавил Руди.

— И его тоже, — спокойно согласился старший лейтенант, — Но вместо симпозиума мы встретились вот так... И поверьте, Рудольф Пикерт, я искренне сожалею об этом.

— Мне еще в большей степени по душе предложенная вами альтернатива, — кивнул тот. — Симпозиум по философским проблемам бытия... Моей судьбе не позавидуешь, но и вы обречены, господин офицер.

— Меня зовут Олег, — просто сказал Кружилин.

Удивительное дело, но старший лейтенант не испытывал сейчас привычной вражды к этому немцу. Была глухая и всеобъемлющая, космическая досада на бессмысленность того, что происходило вокруг.

— Так звали одного из ваших первых князей, — отозвался Руди, и Кружилин поймал себя на крамольной мысли о том, что этот бывший студент нравится ему.

"Но я обязан убить тебя сегодня, — с горечью подумал он. — Хотя ты и пленный, которых по всем конвенциям надо оставлять в живых".

— Последняя чашка кофе в жизни, — усмехнулся Пикерт, когда Олег, приняв из рук Степана крышку от немецкого котелка, протянул ее пленнику-гостю. — Спасибо.

— На здоровье, — все еще насилуя себя, ответил Кружилин.

— Совсем как в средневековые времена, — продолжал Пикерт, отхлебнув глоток кофе. — Приговоренного к смертной казни угощают изысканным обедом... Что ж, я обойдусь и чашкой кофе: на тот свет надо отправляться налегке.

"В стойкости духа ему не откажешь, — подумал Олег. — Сюда бы ребят из седьмого отдела, утверждающих, что солдаты Гитлера слюнтяи и трусы... Не так-то это просто".

— Что ж, моей личной вины в том, что сейчас происходит между нами, нет никакой. Германии, ее народу следовало прибавить к слову "фюрер" три буквы... И судьба страны будет решена.

— Какие же это буквы?

— Ver, — сказал Кружилин.

— Verführer, — задумчиво проговорил Пикерт. — Совратитель ... В этой игре слов есть нечто, но у меня нет уже времени на лингвистические экзерсисы. Я готов на тот свет, мой русский коллега.

Ефрейтор Рудольф Пикерт осторожно отставил опорожненную крышку от котелка и медленно поднялся, придерживая брюки левой рукой.

"Позвать Степана и... Сам, видимо, не смогу, — лихорадочно думал Олег. — Черт бы меня побрал! Зачем затеял разговор по душам, предложил кофе... "Обед перед казнью". Интеллигентские выкрутасы! Ведь это враг... Кто не с нами... Если враг не сдается... Но ведь он-то как раз и сдался! Но куда я с ним денусь, если сам обложен со всех сторон?"

— Моя идеология не позволяет мне отпустить вас, Рудольф, под честное слово, — с трудом заговорил Кружилин. — Сейчас иное время, и вы обязаны понять...

— К сожалению, и меня не поймет мой фюрер, если поклянусь вам никогда не поднимать оружия на русских, — улыбнулся Пикерт. — В плохое время мы живем, Олег, если наши идеологии исключают понятие честное слово.

Кружилин молчал. Он просто не знал, как поспособнее убить этого немца, но мысль о том, что может существовать другой расклад, в голову ему не приходила.

— Разрешите последнюю просьбу, — обратился Руди. — Кажется, я нашел выход. И для вас, и для меня... Верните мне ремень для брюк.

Не поняв, зачем он Пикерту, Олег протянул ему ремешок.

Саксонец, продолжая поддерживать брюки левой рукой, правой поставил к стволу дерева ящик из-под мин, встал на него и ловко приладил ремень к сосновому суку. Затем просунул голову в петлю.

— Если загробный мир существует, — сказал он ошеломленному Олегу, — там и доспорим... Прощайте!

Пикерт решительно шагнул вперед, и молодая сосна вздрогнула под тяжестью его тела. Левая рука, державшая брюки, рефлекторно метнулась к горлу, словно желая сдернуть петлю, но петля уже перехватила дыхание, и Рудольф умер, качаясь, с бесстыдно упавшими на сапоги штанами.

Кружилин отвернулся.

"Ну что ж, — подумал он, — спасибо, коллега... Ты снял с души моей грех убийства безоружного человека. И доказал силу немецкого духа. Как же все-таки смогли вас совратить? Кому было нужно столкнуть немцев и русских лбами? Трудно нам придется ломать этих людей... Зачем мне смерть такою вот? Ведь он вовсе не фанатичный нацист. В другое время мы могли бы и подружиться".

Из кустов вынырнул Чекин. Степан изумленно глянул на висевшего немца, потом испуганно посмотрел на командира роты.

— Нет, — покачал головой Кружилин. — Это он сподобился сам... Так ему захотелось. Вот и нам развязал руки. И повесился-то на сосне ... Философ был у них такой — Фихте. Да... Сними его с кем-нибудь, один не сумеешь, тяжелый. И похороните как человека. Это все, что я могу для него сделать. Половинку смертного жетона положи с ним в могилу, а вторую отдай мне, Степан. Кто знает, может быть, еще и попаду когда-нибудь в Йену.

Степан позвал Пашу Хрестенкова, и вдвоем, обрезав брючный ремень, они сняли ефрейтора с сосны.

— Место здесь песчаное, сухое, — тихо проговорил Кружилин. — Пусть останется лежать в русской земле. До скончания века!

Латинские слова в устах Олега прозвучали заупокойной молитвой.

-71-

Маршала Тимошенко срочно вызвали в Ставку. Начальник Генштаба Василевский сообщил, что Верховный хотел лично расспросить Семена Константиновича о существе происходящих на юге военных событий. Но в последние два дня товарищ Сталин занят составлением важного документа, и тому придется подождать. О приезде Тимошенко Верховному доложили, вождь в любой момент может спросить, где находится маршал.

— И где же прикажете мне находиться, Александр Михайлович? — спросил Тимошенко, усмехаясь и потирая бритый затылок, половина его загорела до коричнево-кирпичного цвета и была совсем светлой там, где голову прикрывала фуражка.

— А хоть здесь, у меня в кабинете, — радушно предложил Василевский. — Но лучше вам побыть в приемной у самого, чтобы в любой момент оказаться под рукой - Тимошенко вздохнул.

"Вот именно, — подумал он. — Не в бровь, а в глаз сказано... Под рукой. Все мы, как один, ходим под его рукой..."

— У самого, так у самого, — с наигранной бодростью, хотя было ему вовсе невесело, сказал Семен Константинович и отправился в так хорошо знакомую ему приемную кремлевского кабинета вождя.

Отношения между Сталиным и маршалом складывались своеобразно Тимошенко всегда помнил ту сцену в царицынском штабе, когда он так невзначай испугал Сталина, но сам вождь никогда об этом маршалу не напоминал. Семен Константинович по некоей счастливой случайности, природы которой не ведал, не попал в проскрибционные списки ни Ежова, ни Берии. А после того, как в

финской кампании опростоволосился на посту наркома обороны Ворошилов, даже принял его до крайней степени запущенные дела. Лихорадочные попытки Тимошенко исправить положение за отведенный ему судьбою год с небольшим, сначала с начальником Генштаба Мерецковым, потом со сменившим его Жуковым, дали кое-какие результаты. Но до тех пор, пока не грянула война, маршалу Тимошенко так и не удалось доказать Сталину ее приближающуюся неизбежность. Последняя попытка его и Жукова обратить внимание Политбюро и вождя на военные приготовления Гитлера, предпринятая 6 июня прошлого года, закончилась скандалом. У изруганного Сталиным начальника Генштаба случился нервный приступ, и Жукова под руки увели из зала. Сам вождь, вдруг разъярясь до крика, чего с ним почти никогда не бывало, уходя с заседания Политбюро, остановился в дверях и сказал, глядя на Тимошенко: "Если хоть что-то предпримете на западной границе, с вас головы полетят!"

Когда война с Германией стала реальностью, Тимошенко обреченно ждал, что именно его обвинит Сталин в неудачах Красной Армии, вызванных, как вождь сам заявил об этом 3 июля, неожиданностью нападения. Но пока все обходилось.

"Пока , — отстранение думал Тимошенко, сдержанно здороваясь с Поскребышевым и принимая от него традиционный стакан с крепким чаем, им помощник Сталина угощал только избранных, и Семен Константинович относился к их числу. — Но это когда-нибудь кончится. Может быть, даже сегодня..."

Маршал Тимошенко давно уже свыкся с мыслью, что рано или поздно и его не минует чаша сия. Он положил за правило всегда считать себя находящимся под обстрелом. Заденет или не заденет тебя осколок неприятельского снаряда, подловит вражеская пуля или нет — не тебе решать. Подобный фатализм помогал не только выстоять, но и сохранять при этом чувство собственного достоинства, не терять лица, что в сталинском окружении удавалось далеко не каждому.

Поскребышев подтвердил, что действительно есть смысл находиться под рукой. Товарищ Сталин работает над ответственным документом, беспокоить его нельзя ни под каким видом, но в любой момент он может вспомнить о вызове Тимошенко.

Чай был вкусный. Тимошенко знал, что именно такой пьет вождь, и ему вдруг стало смешно от парадоксальности положения.

"Как в кино", — помыслил он любимым присловьем, и из глубин памяти выплыл забавный эпизод предвоенной поры. Он был тогда уже наркомом обороны и удостаивался по статусу особой чести смотреть вместе с товарищем Сталиным и членами Политбюро новые кинофильмы. В маленьком просмотровом зале за каждым было закреплено постоянное место. Сам вождь устраивался в переднем ряду между двумя крепкими парнями из охраны. Маршалу Тимошенко, человеку большого роста, он отвел позицию сразу за собственной спиной.

Однажды, когда все было готово для демонстрации фильма, припоздал Калинин. Сталин, для которого кино было одним из любимейших развлечений, уже нетерпеливо посматривал на входную дверь, когда в ней возник вдруг Михаил Иванович.

— Опять все вместе, — заговорил он, окинув взглядом высший партийный синклит с вождем народа во главе, — опять никаких мер безопасности... А если ворвется сюда террорист да бросит в нас всех бомбу? Разом обезглавит партию, осиротит страну...

Шутил ли так странно всесоюзный староста или говорил всерьез, Семен Константинович так и не понял. Но в этот момент вдруг погас свет. Когда снова загорелся, Тимошенко увидел перед собой пустое кресло. Сталина в нем не было.

Маршал растерянно привстал, наклонился вперед и увидел, как вождь выбирается из-под кресла, развертывая рукой платок: он любил, чтоб они были большими и белыми.

— Платок, понимаешь, уронил, — несколько смущенно, но быстро овладев собой, проговорил Сталин, зорко постреливая глазами по сторонам, чтобы определить, кто и как реагирует на случившееся.

Но все сделали вид, будто ничего не произошло.

Сейчас Тимошенко подумал, что многое бы отдал за несбыточную возможность выехать с Верховным на Южный фронт и под палящими лучами июльского солнца пройтись под грохот канонады с ним по переднему краю наспех вырытых пехотой окопов. Интересно, как бы он повел себя под бомбежкой?

Товарищ Сталин не знал о том, какие крамольные мысли посетили голову маршала Тимошенко. Дописать вчера приказ ему не удалось, он споткнулся на необходимости как-то обосновать обращение к опыту Гитлера, но путного ничего не нашел, и сегодня решил действовать напрямую, без обиняков, и написал:

"После всего зимнего наступления под напором Красной Армии, когда в немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановления дисциплины приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они сформировали более 100 штрафных рот из бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, поставили их на опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они сформировали, далее, около десяти штрафных батальонов из командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, лишили их орденов, поставили их на еще более опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они сформировали, наконец, специальные отряды заграждения, поставили на позиции неустойчивых дивизий и велели им расстреливать на месте паникеров в случае попытки самовольного оставления позиций и в случае попытки сдаться в плен..."

Никогда еще до этого Сталин не был так близок к признанию подлинной, но тщательно скрываемой даже от самого себя зависти, которую всегда испытывал по поводу эффективности и действенности применяемых Гитлером методов. Его искренне восхищал фюрер, который за три-четыре года после прихода к власти сумел без особых усилий навести в стране железный порядок. Этого не удалось товарищу Сталину и за двадцать лет... Собственно говоря, он был старательным учеником Гитлера, хотя и считал его существом более низкого порядка, нежели он сам.

Сталин писал сейчас, когда нашел демагогическую формулу оправдания тому, что обратился к опыту фашистов, безостановочно и быстро: "Как известно, эти меры возымели свое действие, и теперь немецкие войска дерутся лучше, чем они дрались зимой, и вот получается, что немецкие войска имеют хорошую дисциплину, хотя у них нет возвышенной цели защиты своей родины, а есть лишь одна грабительская цель — покорить чужую страну, а наши войска, имеющие возвышенную цель защиты своей поруганной Родины, не имеют такой дисциплины и терпят ввиду этого поражение. Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились в прошлом наши предки у врагов и одержали потом над ними победу?"

Сталин перестал писать и подумал, что ссылка на предков пришлась как нельзя кстати, она продолжает линию на использование возможностей национального самосознания, которую он открыл для себя осенью и которая далеко еще себя

не исчерпала. Затем вождь решительно вывел на бумаге: "Я думаю, что следует".

Он написал, где и сколько должно быть штрафных рот и заградотрядов, и предписал прочесть приказ во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах, штабах.

Сталин облегченно вздохнул и отложил перо. "Главное в том, чтобы в критическое для социалистического Отечества время найти в себе мужество сказать партии и народу горькую правду и потребовать от всех высшего напряжения сил. Товарищ Сталин, — подумал с удовлетворением Верховный, — сделал это. Товарищ Сталин еще раз доказал профессиональным военным, что истинно политическое чутье позволяет правильно решать и их специфические проблемы".

Он заново просмотрел исписанные листки. Как будто бы все правильно, линия выдержана, акценты расставлены удачно. Смущала откровенность, с которой было написано о потерях. Такой приказ следовало бы засекретить. Но как тогда быть с необходимостью огласить его в подразделениях?

С одной стороны — максимальная гласность. А с другой товарищу Сталину не хотелось, чтобы потомки узнали о такой откровенности вождя. Как бы не заподозрили его в проявлении слабости духа, этого допустить никаким образом нельзя. Как будто бы возникает неразрешимое противоречие... Надо найти приемлемый для истории выход. Сталин задумался ненадолго, затем взял первый листок приказа и в верхнем правом углу написал: "Для Военного совета. Без публикации".

-72-

За месяц скитаний в немецком тылу окруженцы прошли более пятисот километров. Дважды пересекали Витебскую железную дорогу, затем еще одну, Дно — Старая Русса. Удивлялись при этом частому движению поездов, потому как не знали, что Северо-Западный фронт генерала Курочкина ведет сейчас бои с 16-й германской армией. Рвануть бы парочку составов, да нечем… А тут еще Петр Есюткин сдал, израсходовал себя вконец комиссар штаба бригады, дойдет ли последние десятки километров — как знать.

29 июля комиссар Венец записал в дневничке: "Сегодня адский день. С раннего утра дожди. Местность — перелески и открытое поле. Решили двигаться днем. Почти в каждой деревне немцы. Даже костер разжечь нельзя, замерзли, ждем темноты, чтобы перейти речку Полонку..."

Обувь у них сносилась, одежда оборвалась, на всех оставались две старенькие солдатские плащ-палатки. А дожди лили не переставая. Приходило отчаяние, оно сменилось безразличием, а постоянным их спутником был голод.

Выручало, что ненастная погода не радовала и немцев, им тоже не хотелось мокнуть. Они предпочитали отсиживаться под крышей, а это было на руку окруженцам. Вот и сейчас они смело остановились у стога сена прямо посреди открытого поля. Риск был огромный, но удача им покуда не изменяла. Зарылись в мокрое сено, передохнули, стараясь согреться, жались друг к другу, подрагивая от холода, как оставленные безответственной сукой слепые и жалкие щенки.

А ночью перебрались через Полонку. После ледяной воды вовсе осатанели, махнули рукой на бдительность и, едва углубившись в лес, развели костер. Костер мог их выдать, но в такую непогоду добрый хозяин собаку на двор не выгонит, а немцы себя собаками отнюдь не считали.

Начался уже август, а до переднего края они еще так и не добрались. Надоедливые дожди замучили вконец. В ночь на 2 августа прошли достаточно много, а утром, когда набрели на неизвестную деревню у края большой дороги, выяснилось, что Есюткин ослеп, а Баранов с Чупраковым, молодые ординарцы, стерли ноги. Нужно бы становиться на дневку, но где? Кругом болото, заросшее мелким кустарником, укрыться в нем невозможно. Нашли заброшенный хуторок, спрятались в сарае. Переждали день, дали отдохнуть Николаю с Володей, у них между пальцами ног образовались язвы. А вечером в окрестных деревнях появились немцы.

— Немедленно отходим! — скомандовал Венец.

Через день он записал, что опасается минных полей, так как фронт уже близок. Но эти последние полсотни километров дались особенно трудно — преодолевали их несколько дней. Весь день 9 августа отвели на разведку переднего края немцев. Обидно было бы споткнуться в последний момент... Расположились в густых зарослях молодого леса, освоились, стали присматривать ориентиры, изучать обстановку.

Было тихо. Только изредка там, куда им предстояло идти, раздавались пулеметные очереди. Надо было подобраться еще ближе и собственными глазами увидеть местность, по которой предстояло идти ночью.

— Пойдем с тобою вдвоем, комиссар, — предложил Писаренко. — Там и примем решение. Только пусть немного стемнеет.

Они установили, что передние края двух войск разделяет река Ловать. Наши окопы подходили к самому берегу, а немецкие находились в километре от него, шли через открытый болотистый луг. Огневые точки располагались метров через восемьдесят, заграждений не было никаких. Словом, вышли окруженцы в такое место, что будто бы по заказу.

Это обстоятельство привело комиссара с комбригом в такой восторг, что они утратили осторожность и едва не попались. Венец первым обнаружил немца-связиста, он шел по линии, соединявшей огневые точки, пропуская через руку телефонный кабель. Он, видимо, искал повреждение и, увлеченный делом, не заметил, как Венец схватил Писаренко за руку и потянул его в кусты. Там они и укрылись.

Двинулись в путь в четверть первого ночи уже 10 августа. Пошли двумя шеренгами, во весь рост, по мокрому лугу к реке, падали, когда взлетали в черное ночное небо осветительные ракеты.

Мин на их пути, к счастью, не оказалось. До реки добрались спокойно, если вообще переходить "ничейное" пространство на войне можно спокойно. Переплыли речку. Но берега Ловати оказались здесь крутыми, пришлось помучиться, двигаясь в воде, пока нашли тропу, по которой выбрались на противоположную сторону.

— Начали! — шепотом, по укоренившейся уже привычке, подал команду Венец, и, как заранее условились, стали громко разговаривать между собой, чтоб было слышно — идут свои...

И тут же раздалось долгожданное, родное:

— Стой! Кто идет?

...Когда через несколько дней комиссар Венец докладывал командованию 3-й ударной армии Северо-Западного фронта о полуторамесячных мытарствах в тылу, член Военного совета и начальник Особого отдела отчитали его за Синева.

— Напрасно вы согласились отпустить его, — сказал комиссар армии. — Ишь ты, решил отсидеться в тылу... Подполье он будет мифическое искать... Бред сивой кобылы! Надо было тащить его через линию фронта силой!

— А в случае сопротивления — уничтожить, — жестко добавил чекист.

Комиссар Венец согласно кивал, говорил "Так точно!", но во всю оставшуюся жизнь полагал, что поступил правильно, отпустив с миром Синева. Он всегда верил людям и потому определил пусть и неприятному лично ему особисту возможность самостоятельно выбрать собственную судьбу.

Олег Кружилин остался один. Он чувствовал, как уходят силы, сознание становится сумеречным, он собирал волю в кулак, чтоб не провалиться в небытие прежде, чем исполнит последнее, к чему он был готов всегда, а теперь, когда ребята, кажется, сумели уйти, сделает без колебаний. Ему и не остается ничего другого, кроме того, что скоро произойдет. Только бы не отключиться, не стать беспомощным, это страшнее всего — перестать управлять собой.

Двигаться старший лейтенант не мог. Крупный осколок мины раздробил Кружилину голень правой ноги. Степан сунулся было перевязывать командира, но тот рявкнул на него: "К пулемету!" Когда отбили очередную атаку, Олег попросил стянуть ногу повыше колена жгутом, но от перевязки отказался.

— Ни к чему это, Степан, — сказал он, — Кровь остановилась — и ладно. Продержусь пока.

— Понесем вас, командир, — угрюмо проговорил Паша Хрестенков, легко раненный в голову, в набухшей от крови повязке из немецких бумажных бинтов. — По очереди со Степой...

Олег улыбнулся, представив, как тащит его пятипудовое тело щуплый сержант Чекин.

— Спасибо, — просто сказал он и расстегнул карман гимнастерки. — Документы возьмите... Вот вам обязательно повезет.

Он ласково посмотрел на Степана. Парнишка был на удивление невредимым, уж в какие передряги не попадали они за два месяца войны, а вот поди ж ты, даже не царапнуло. "Мама, наверно, молится за тебя, — подумал Кружилин. — Пусть в последний раз попросит за вас двоих провидение..."

Когда командир протянул старшине документы, Степан понял, что это конец, его обозначил последним жестом Олег Кружилин. Сейчас они расстанутся. Мир разделит черта, за которой, быть может, останется он, Степан Чекин, но там не будет места старшему лейтенанту.

— Не надо, — сказал он, — мы вытащим вас отсюда...

— Слушайте последний приказ, — возвысил голос Кружилин. — У нас остался ящик гранат, не считая двух пулеметов... Их надо установить поближе друг к другу. Так, чтобы я потом смог стрелять из них попеременно. Когда немцы снова пойдут в атаку, отбиваемся гранатами. Я хоть и лежачий, но тоже не отстану… Вы сразу отходите к линии фронта, а я вас прикрою... Как и собирались прежде, пробивайтесь к своим. Они уже рядом, им позарез нужны сведения разведки.

— Но те ребята уже прошли, — возразил Паша Хрестенков. — Ведь мы же для них затеяли этот шум,

— Может быть, и не сумели. На войне всякое бывает. Вы со Степой продублируете то, что расскажут разведчики, если они доберутся до своих.

...Они встретили их третьего дня, когда вплотную подобрались к переднему краю и тщательно изучали его. Два месяца дрались кружилинцы в тылу, чем могли вредили они врагам, нападая по ночам на посты, перехватывая одиночные машины, бесшумно уничтожая зазевавшихся ландзеров, но избегая при этом открытых столкновений, в которых горстке храбрецов было бы не выстоять и живыми не уйти.

А им так хотелось остаться в живых, перебраться на ту сторону и снова сражаться в общем строю... Когда попадались среди трофеев немецкие газеты и журналы, Кружилин узнавал из них о том, что дела наши неважные, гитлеровцы добились больших успехов на юге, открыто заявляют о намерениях выйти к Волге и завоевать Кавказ.

В последнее время ощущалось оживление и в районах, по которым двигался отряд Олега. Шла большая переброска войск, и Кружилин с особой скрупулезностью допрашивал попавших в их руки солдат. Так, он узнал, что из Крыма прибывает целая армия, готовится новый штурм Ленинграда. Надо было торопиться на свою сторону, и Олег принял решение переходить линию фронта в ближайшие дни.

Тут они и встретили их, разведчиков 2-й ударной. Поначалу едва не перестреляли друг друга. Обросшие бородами кружилинцы, одетые кто во что горазд, никак не походили на красноармейцев, хотя у всех были звездочки на пилотках, а сам Олег сохранил и кубики на петлицах.

Он узнал в командире группы лейтенанта из дивизионной разведки, вспомнил его фамилию, и это помогло объясниться. Словом, обошлось, и сведения, собранные Олегом, пригодились. Правда, лейтенант захотел лично убедиться в истинности их, и потому специально для него отловили "языка", решили взять его с собой, если сумеют протащить через передний край.

Встреча с разведчиками, известие о том, что 2-я ударная вновь в полном составе готовится к броску на Ленинград в районе Сенявино, взбудоражила окруженцев.

— И генерал Клыков вернулся, — сказал лейтенант. — Снова стал у нас командармом.

— А прежний штаб? — спросил Кружилин, надеясь, что узнает что-нибудь о судьбе Шашкова.

— Почти все погибли, — ответил разведчик, и Олег не стал расспрашивать дальше.

Слишком частые исчезновения немецких солдат в довольно ограниченном пространстве встревожило командование вермахта, озабоченное тем, чтобы сохранить в тайне переброску под Ленинград 11-й армии Манштейна. Штаб фон Кюхлера знал о том, что русские готовят наступление южнее Ладожского озера. Следовательно, тогда активнее заработает их разведка. А коль стали пропадать ландзеры, значит, она уже работает...

Пока разведгруппа и дюжина оставшихся с Олегом окруженцев готовились уйти к своим, немцы развернули широкую сеть облавы и накрыли их, отрезав от переднего края.

— Атакуем дзот на линии обороны, — предложил Кружилин лейтенанту. — Мы затеем шум, подержимся подольше, а вы уходите... Ваши головы сейчас на вес золота потянут.

Дзот они захватили, теперь вот осталось их трое, и Кружилин думает, как спасти последних бойцов.

...Снова закричали немцы:

— Рус, сдавайся! Иди в плен!..

Олег усмехнулся. "Сам иди, — подумал он. — Тут кое-что имеется для тебя".

Его не покидала уверенность: ребята сумели уйти. В той стороне, куда он велел им пробираться, было тихо.

"Смерть-друг, — попросил Кружилин, — не подведи меня... Выручи в этот решительный миг".

Иногда возникал перед Олегом образ Марьяны, но Кружилин гнал его прочь, полагая, что это видение ослабит его дух, помешает выполнить задуманное. К нему он готов, только бы не потерять сознание, пусть сохранятся силы для последнего поступка.

Замаячило некое пятно справа. Олег сдвинул туда ствол пулемета, дал короткую очередь, и пятно исчезло.

"Сократилось ли это сейчас, когда оборвал жизнь конкретного носителя его? — подумал Кружилин. — Ведь вовсе не в них, оболваненных гансах, высшее зло... Они лишь перенесли его на русскую землю. И я вынужден убивать каждого из них, чтобы исчез роковой феномен этого переноса".

Он вспомнил, что высшего зла не может быть, ибо зло хотя всегда и умаляет благо, однако никогда не может его вполне уничтожить. Древнее утверждение святого Фомы успокоило старшего лейтенанта. "...Когда от того, что порождает мое сознание, не останется ни грамма вещества, не перейдет ли сущность Кружилина в разряд идеального? — спросил себя мысленно Олег. — И если это случится, то возникнет иная форма, непостижимая для тех, кто остался в нынешнем мире. Следовательно, отпечаток конкретного индивида сохранится?.. Никому пока не дано знать, как это произойдет и какую форму след этот примет, но предполагать нечто такое — святая надежда..."

Снова вспомнилась Марьяна. Олег позволил ей побыть с ним недолго и спросил, кто у них будет — сын или дочь.

— Прости, не у нас, а у тебя, — поправился он. — Видишь, я не смогу быть с вами.

— Ты всегда будешь оставаться рядом, — возразила Марьяна, и Кружилин взглядом поблагодарил ее.

— А теперь уходи, — попросил он. — Мне надо выполнить последний воинский долг.

"Виртуальна ли смерть? — подумал Олег. — Что произойдет с моим сознанием, когда наступит небытие? Перейду ли в какое иное измерение? Не может быть, чтоб бесследно исчезло неуловимое, составлявшее мою духовную сущность. Непостижимое нечто, которое существует между личностью Кружилина и тем, к чему направлено мое сознание, не должно исчезнуть бесследно. Идеальное виртуально существует во времени и пространстве. Да, его невозможно пока обнаружить, но я верю, что все мы, якобы умершие в этих болотах и лесах, останемся как сгустки мыслящей субстанции, вновь образуя невидимую армию защитников Земли Русской".

Кружилин знал: прежде этот термин означал нечто, что может или должно проявиться. Теперь он полагал считать виртуальным феномен, который, по серьезным теоретическим и косвенным опытным [599] основаниям, существует на самом деле, но остается невоспринимаемым кем-либо со стороны.

Так неожиданно возникшая философская идея захватила Олега. В сознании глыбилось стройное учение об идеальном образе вообще и связях его с материальным миром в частности. Он видел родившуюся в таком неподходящем месте теорию целиком. Опираясь на нее, ему легче было умирать, и только осознание того, что не сумеет отдать человечеству новое знание, омрачило Кружилину душу.

"А может быть, все мои доводы лишь фикции приговоренного к смерти разума? — самокритично помыслил Кружилин. — Но почему бы не предположить особое качество, которое существует в природе и практике материально, но как-то иначе, нежели привычные для нас объекты..."

Ход рассуждений его прервался. Немцы вновь засобирались в атаку, патроны у Олега кончились, и последние сомнения исчезли. "Да будет так!" — мысленно сказал он, додумывая великую идею о психической энергии погибших товарищей, которая высвободилась из тысяч принявших смерть героев, только не исчезнувших бесследно, а продолжающих невидимо существовать окрест.

Пришельцам надоел упрямый русский, надо кончать с ним, этим фанатиком, к упорству таких, как он, нельзя было привыкнуть. И старший лейтенант не ведал, готовясь умереть, что собственным примером подтверждал передовую статью в газете "Шварце Кор", которую 9 июля прочитали ландзеры.

"Опыт научил нас считаться с упорством противника, потому неправильно торопиться регистрировать недели войны, километры завоеванной территории, число пленных. Прежде всего нужно примириться с особенностями русского человека, к которому следует подходить с особой меркой. В отдельном человеке отражается упорство системы, не знающей компромисса. Нам, европейцам, кажется феноменальным, что большевистские солдаты месяц за месяцем идут в наступление на верную смерть и, не задумываясь, жертвуют жизнью в обороне, Капитуляций окруженных частей, крепостей, опорных пунктов — этих нормальных явлений всех прочих войн — в СССР не бывает. Пленных удается брать только в тех случаях, когда враг полностью рассеян. Откуда берется это непонятное ожесточение? Здесь действуют силы, которым нет места в мире наших обычных представлений... Нужно предполагать, что у большевистского человека есть вера, помогающая ему совершать невероятные вещи..."

И вот теперь немцы снова видели, как бессмысленно, с их точки зрения, но стойко продолжает драться русский человек.

"Смерть для того и поставлена в конце жизни, чтобы удобнее к ней приготовиться, — усмехнулся Кружилин. — Готов ли к ней я сейчас?"

Он силился вспомнить, где слышал или читал первую фразу, но решил, что теперь это не имеет значения.

"Пусть и виртуально, но я останусь существовать", — подумал Кружилин, и ему стало грустно от того, что не сможет развить философскую идею по эту сторону барьера, в оставляемой им материальной жизни.

Пришли на ум немецкие слова "Inner Lichkeit" — погруженность во внутреннюю жизнь, и Олег подумал, что пришельцев обязательно погубит неумение смотреть на окружающий мир, выводя самих себя за скобки. Но если он прав в последнем суждении, то и дух Пикерта бродит неподалеку, и тогда они доспорят с этим неплохим вроде парнем. "Странно, — усмехнулся Кружилин, — но мне кажется, что с ним я войну уже закончил..."

Патронов не было, и пулемет больше не лаял. Кружилин попробовал шевельнуть правой рукой, рука не повиновалась, и ему стало вдруг жутко. "Обойдусь и левой", — успокоил себя Олег.

Он вспомнил о том, что отдал документы ребятам, и если те не сумеют дойти, его будут считать пропавшим без вести. Никто не узнает о том, что случится сейчас. "Я уж давно определен в пропавшие без вести", — пришла в сознание отстраненная мысль, но Кружилин не стал додумывать ее до конца. Кружилину было уже все равно.

Пришельцы поняли, что патроны у него иссякли, и теперь без опаски приближались к старшему лейтенанту, по-домашнему негромко обмениваясь словами.

"Пора", — решил Кружилин. Он сполз с бруствера, немеющей левой рукой нащупал припасенную гранату, придвинул ее к лицу, надежно стиснул зубами кольцо и замер.

Старший лейтенант почувствовал: немцы обступили его. Один из ландзеров ткнул русского командира сапогом. Олег Кружилин вскинул голову и выдернул чеку.

Приложения

Записки из смертных медальонов, найденные с останками ратников, которых похоронили в Мясном Бору 9 мая 1989 года

МИНАЕВ Александр Петрович, ряд. санитар, 1907 г. р.,Московская обл., Малинский р-н, с. Спасское. Адрес брата: г. Москва, ул. Спиридоновская, д. 7/10, кв. 24, Минаев Павел Петрович, адрес жены в эвакуации: Башкирская АССР, станция Улу-Теляк, Горный с/с. дер. Витебск, дом Пшеничникова, Минаева Любовь Герасимовна.

БРЫКИНОВ Григори. Андри., 1912 г. р., русский, Воронежская обл., Водопьянинский р-н, Докторовский с/с, дер. Докторово. Адрес семьи: Брыкиново, Водопьянинский РВК.

РОЩИН Николай Андреевич, красноармеец, 1917 г. р., РСФСР, Горысовская обл., г. Выкса, Выксинский р-н, с/с Дощатое, дер. Сырящное. Рощин А. И. призван Выксинским РВК, 1 гр. крови по Янскому.

НАУМОВ Сергей Иванович, сержант, 1912 г. р., Курская обл., р-н Короча (Корочанский), с/с Семиянский, село Сетное.

БЕРЕЗИН Михаил Михайлович, рядовой, 1911 г. р., край Кировский, обл. Кировская, р-н Белохолунинский, с/с Юдинский, дер. Помелки, Березина Афо..., адрес тот же.

СУСЛОВ Николай Александрович, п/о Авищево, Семеновский р-н, Ивановская обл., Авищевский с/с, дер, М. Займище. Жена: Суслова Мария Никифоровна.

КОТЕЛЬНИКОВ Петр Иванович, сержант, 1905 г. р., дер. Селедкова, Красноярский край, Назаровский р-н, с/с Селедков, Нестерова Анна, адрес тот же.

СЕЙФУТДИНОВ Шима (?) Сейфутдинович, рядовой, 1902 г. р., Татарская АССР, Казанская обл., Савинский с/с, дер. Савино, Сейфутдинова Н. Е.

ХАРИТОНОВ Иван Иванович, рядовой, Ивановская обл., Гороховецкий р-н, Старковский с/с, дер. Мулино, Харитонова Д. Р.

БУЛГАКОВ Владимир Иванович, рядовой, 1918 г. р., обл. Саратовская, Буеракский р-н, дер. Уликовка, Булгакова Агафья Васильевна, Вольский РВК, кровь III.

СЕМИСТЯНОВ Иван Матвеевич, красноармеец, 1907 г. р., Куйбышевская обл., г. Чапаев, ул. Расскова, д. 22. Семья: Семистянова, Куйбышевская обл., г" Чапаев, Д- 22.

ПОЛУБОТКА Алексей Елисеевич, 1905 г. р., Украина, Черниговская обл., Березян-ский р-н, с/с Локнистянского, дер. Локнисятя, красноармеец. № Уля Мануилоана Полуботка, адрес тот же, Березняиский РВК.

УРАЗМУХАМВЕТОВ Заза. Чикаловская обл. Акбулавский р-н, Новопавловский с/с, дер. Новопавловская.

ЕРОФЕЕВ Алексей Петрович, 1906 г. р., Куйбышевская обл., Безенчукский р-н, Никольский с/с, дер. Никольская, Ерофеева Марфа Алексеевна, адрес тот же.

НЕСТЕРОВ Сергей Захарович, 1911 г. р., край , Челябинская обл., р-н Кусенский, с/с Кувашинский, Нестерова Прасковья, Челябинск, Кусенский р-н, с/с Ку-вашинский.

ТОКАРЕНКО Лаврентий Яковлевич, красноармеец, 1905 г. р., Куйбышевская обл., Ку-тозовский р-н, Клеский с/с, пос. Вишневка. Адрес семьи: Токаренко Мария Павловна.

ТАГАЕВ Сергей Ксенофанович, красноармеец, 1918 г. р. Ивановская обл., Пестяков-ский р-н, Емельяновский с/с, дер. Блиново. Адрес семьи: Митрофанов Петр Дмитриевич. Моб. Пестиковским РВК.

КОКШАРОВ Александр Иванович, 199 г. р. (так зап. в медальоне), край Северный, Вологодская обл., Никольский р-н, Краснополянский с/с, дер. Носково. Адрес семьи: Кокшарова Евгения Федоровна.

ЛОПАТИН Григорий Павлович, Красноярский край, Енисей, Казачинский р-н, с/с Мокрушенский, д. Велиловка. Адрес родственников: тот же. Лопатиной Ксане Моисеевне.

КОРН (П) У КОВ Алка (и) Зарим (л) ович, Воронежская обл., Водопьяновский р-н, Гагаринский с/с, дер. (Л)едищи, Корнукова А...

ПАРАЗ... (фамилия далее не читается), РСФСР, Курская обл., имя солдата не установлено, Адрес семьи: р-н Иванинский, с/с (Чапл)инский.

ШИПОВАЛОВ (Яков) Иванович, лейтенант, РСФСР, обл. Воронежская, р-н Бутур-линовский, Елизаветинский с/с, с. Елизаветино. Тот же адрес: Шиповаловой Варваре Михайловне.

РЕХАЧЕВ Иван Иванович, рядовой повозочный, 1907 г. р., СССР Северной, обл. Архангельская, р-н с/с Елецкий, Монастырски Выселки (или Выселок), тот же адрес: Рехачева Парасковья Федоровна

СПИРИ... (Спиридонов или Спирин) Ст... (Степан или Станислав) Мих..., повозочный, 189... г. р., адрес: обл. Кур..., р-н Кур..., с/с Ка..., дер. Арис..., гр. кр. 4 по Янек.

Для справки: Согласно административно-территориальному делению РСФСР, издание 1950 г., наиболее вероятно: обл. Курганская (т. к. в Курской обл. нет р-на на "Кур"), р-н Куртамышский, с/с Камышевский. дер. Арис... Курганская обл. (образована в 1943 г.)

БОЛТАБАИВ (Болтабаев) Прангали (предположительно: Мирангали). КССР, Павлодарская обл., Павлодарский р-н, Елешивск... с/совет, к/з Жана Аул (на обороте) Бану Жусков Ахмет (вероятно, Жусуков или Жутов)

КОРЕЙКИН (Фед)ор Иванович, рядовой, 1922 г. р., обл. Калининская, ст. Сонково, р-н Сонковский, с/с Сонковский, ул. Луначарского, дом 11. Семья: Корейкина Мария Дмитриевна (основной текст чернилами, остальное вписано карандашом позже); в настоящее время проживает: Свердловская обл., г. Кировоград, ул. Февральская, дом 2, кв. 25 (Снова чернилами): Калининская обл., р-н Сонковский, ст. Сонково, ул. Луначарского, д. 11, мобилизован Сонковским РВК.

ЧЕРНИКОВ Дмитрий Лаврович, красноармеец, 1910 г. р., Челябинская обл., Мостов-ской р-н, Михайловский с/с, д. Михайловка. Адрес семьи: Воробьев. РСФСР (зачеркнуто), р-н Мостовской, с/с (Ново)трои(т)ской (вероятно, Новотроицкий), дер. (не разобрать).

Для справки: в настоящее время Мостовской р-н относится к Курганской области (образована в 1943 году).

ДОЛГОПЯТОВ Тихон Романович, НСО (Новосибирская обл., ныне Кемеровская обл.), Ижморской р-н (Ижморский), Ольховский с/с (Ольговский), получить Дол-гопятовой Мария А.

КОЗЛОВ Георгий Николаевич, санитар, житель г. Ростова-на-Дону, мать Анна Антоновна Козлова, сын Андрей Георгиевич Козлов, дочь Нина Георгиевна Козлова.

Для справки: записка написана на обороте карточки на сахар, выданной в Ярославской области на имя Лосева О. С.

ЧЕКИН Гавриил Иванович, ст. сержант, Новосибирская обл., Верх-Ирлинский р-н, Верх-Ирлинский с/с. Адрес семьи: Чекин Иван Петрович (предположит. отец), Новосибирская обл., г. Новосибирск, Кировский р-н, ул. (Б)аскова, № 25, мобилизован: з-д № 179. Брат: Чекин Василий, Читинская обл., ст. Магдагачи, в/ч п/я 13/А; Молотовская (в н. вр. Пермская) обл., г. Кизель (Кизел), п/я 3130/3; друг Алексей 6/5 Понаморенко (последний адрес предположительно относится к другу).

ГРЕХОВ Яков Иванович, красноармеец, 1907 г. р., область НСО (Новосибирская прим.?), г. Сталинск, р-н Рудник Богдаевка, ул. 22 Штольня, д. 19. Адрес семьи: (Д)омна (Полина?) Терентьевна, адрес тот же, призван Кировским РВК.

СУВОРОВ Константинович, Новосибирская обл., пос. Тайга, второй кабинет, седьмая улица, дом № 10, Суворовой Евдокии Ивановне; рядовой, мобилизован Тайнинским РВК.

ЖАРИНОВ Андрей Степанович, Башкирская АССР, мл. сержант, адрес семьи: БаАССР, Зиличуринский р-н, с/с "Сакмара", № 401, призван Заличуринским РВК.

ЕФРЕНКИН Иван Иванович, красноармеец, 1920 г. р. Адрес семьи: Мордовская АССР, Инцарский р-н, ст. Кодошкино, село Салнишино, мобилизован Красносельским.

КОТЕЛЬНИКОВ Петр Иванович, сын: Красноармейский край, пос. Сушинский, 6-й микрорайон, д. 52, кв. 16, Котельников Алексей Петрович.

ШИШОВ Серо... (Серофим) Андреевич, красноармеец пол. рядовой, 1919 г. р., РСФСР, Кировская обл., Доровский р-н, с/с Вок(н)данский, дер. Гурята. Семья: Шишова Ольга Ивановна, адрес тот же. Призван Доровским РВК.

СОРОКИН Андрей Васильевич, красноармеец, 1918 г. р., Башкирская АССР, ст. Туймазы, Максимовского с/с, дер. Максимовка, Сорокин Василий, адрес тот же.

АХМЕДЯНОВ Марсаяф Мухамедянович, Башкирская АССР, г. Уфа, Кармаскалинский р-н, Сахайевский с/с, Дор. ст. Акто(а)шола.

БАРАШКИН Петр, г. Красноярск, правый берег Енисея, Красмаш, 1-й поселок Центральной улицы, дом 90. Новгородская обл., Пестовский р-н, дер. Крестцы (Кресицы), Быстровой Хар. Бог.

ТИПСИН Леонид Яковлевич, красноармеец, 1921 г. р., РСФСР, Н.С.О. Новосибирская обл., Нарымский округ, р-н Александровский, дер. Александр... Семья: Типсина Евгения Т., адрес тот же.

КУ ЗИНКИ Н (Кудинкин) Антон Федорович, Курская обл., г. Рыльск, ул. Сталина, д. 32, жена: Валентина Васильевна.

КОРОЛЕВ Арсений Григорьевич, звание повозочный, 1914 г. р., РСФСР, Калининская обл., г. Зубцов, р-н Зубцовский, Белогурьевский с/с, д. Бубилева, Королева Мария Семеновна.

БЕЗУГЛОВ (Безугнов) Яков Андреевич, 1903 г. р., красноармеец, Ростовская обл., Орловский р-н, хутор Хохлачев. Семья: Безуглов, станция (станица) Двойная, Орловское почтовое отделение, Пушкинская, 35.

ЗАХАРОВ Яков Иванович, шофер, 1913 г. р., Алтайский край, Топчихинский р-н, Фун-тиковский с/с, дер. Фунтик, жена: Захарова Елена Степановна, адрес: Алтайский край, р-н Топчихинский, с/с Макарьевский, пос. Михайловский, призван Топчихинским РВК.

ЛЯШКИН Филипп Иванович, курсант, 1920 г. р., уроженец РСФСР, Новосибирская обл., Чаинский р-н, Подгорнский с/с, дер. Подгорное, адрес семьи тот же, мобилизован Чаинским РВК,

ОВЧИННИКОВ Петр Сергеевич, 1907 г. р., РСФСР, Тамбовская обл., г. Липецк, с/с Лубня, семья: Ворошиловградская УССР, дер. Шахта Войково, Угольная Балка, 47, Овчинникова Е. П.

БУЗУНОВ Яков Васильевич, 1907 г. р., Красноярский край, Липусинский р-н, дер. Шошина, Бузуновой Марии Афанасьевне.

ЧЕРНОВ Александр Петрович, 1919 г. р., красноармеец, Новосибирская обл., Заряновский р-н, Семеновский с/с, дер. Арышево, Чернова Анна Михайловна.

ТУСУБАЛИЕВ Абылкан, КССР, гор. Семиполатинский, ул. Пром (ф) секторная, д. 18, получить Тусуболиевой Кулян, 18/V — 42 г.

РЕГАНЕЦ Сергей Григорьевич, Сибирь, русский, воин, звание (тран), 19... г. р., с/с Ис...ской, дер. Красный Восток, призван Ключевским РВК, адрес семьи тот же, Реганец Наталье Ивановне.

ТРИФОНОВ Петр Григорьевич — красноармеец, 1920 г. р., Красноярский край, Бердюский р-н, Старославский с/с, дер. Старославня.

КУЗЬМИНА Кристина Григорьевна, мобилизована Игарским РВК.

ТАРИНОВ Андрей Степанович, уроженец Башкирской АССР, мл. сержант. Адрес семьи: БаАССР Зиличуринский район, с-з Сакмара № 401. Призван Заличуринским РВК.

Надписи, сделанные на различных предметах, найденных с останками погибших:

На котелках:

Шильников В. Н.

Раков

Вяльмисов

Шахов

Ирьянов

В. К. ВОВК

Васильков В. П.

Байбаков А. Н.

Акулов Ф. М.

Сакович А. С.

Огарков И. П., 2 мая 1942 года

Чистяков Н. Ф., 1919 — 1939 г.

На ложках:

Полищук Н.

Карелин

Калентьев К. Ф., год 1896

Рейшер Миша

Алешин, на обороте: А. Е.

Луканин

Веричев

Белоножко Г.

Стрельцов Г. Н.

Жатик

Вольников, 7 декабря 1941 г.

Кочуров

Николай Симин, 1923 г.

На ножах:

Улитин Г. И.

Чирков Т. П. — моряк, 1920 г. Нико...(?)

На мундштуке:

В. Сергеев

На фляжке:

Чуйков